

И.А. ГОНЧАРОВ • ОБЛОМОВ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



И. А. ГОНЧАРОВ



ОБЛОМОВ

РОМАН В ЧЕТЫРЕХ ЧАСТЯХ

ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛА

Л. С. ГЕЙРО

ЛЕНИНГРАД
«НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1987

Ответственный редактор

Б. Ф. ЕГОРОВ

Рецензент

С. А. РЕЙСЕР

Г $\frac{4702010100-537}{042(02)-87}$ без объявления



И. А. Гончаров. Портрет работы Н. А. Майкова. 1860 г.

ОТ РЕДАКЦИИ

Роман И. А. Гончарова «Обломов» — не просто выдающееся произведение русской литературы XIX в., но и своеобразнейшее ее явление, ибо оно, во-первых, обстоятельно и тщательно раскрыло оригинальный характер, воспитанный национальной и социальной средой того времени, а во-вторых, выявило изумительную уникальность творческого метода и стиля писателя, занявшего совершенно особое место в истории отечественной литературы и общественной мысли.

Роман «Обломов» — второе научно подготовленное издание Гончарова в серии «Литературные памятники» (первое — «Фрегат „Паллада“», 1986). Как это ни странно, но Гончаров, первоклассный русский писатель, до сих пор не удостоен полного собрания сочинений, подготовленного на академическом уровне. Не изданы ценные черновики и варианты. Не собраны воедино письма Гончарова. Текст романа «Обломов» тоже не мог до сих пор считаться научно обоснованным, несмотря на наличие нескольких собраний сочинений Гончарова, претендующих на научность.

В основу данного тома впервые положено скрупулезное изучение сохранившейся почти полностью черновой рукописи «Обломова». Тексты последних при жизни Гончарова переизданий романа в составе двух «Полных собраний сочинений» 1884 и 1887 гг. сверены с другими прижизненными публикациями: первопечатным текстом («Отечественные записки», 1859, № 1—4) и последующими отдельными изданиями романа 1859 и 1862 гг. Именно при этой сверке обнаружилось до сих пор не известное науке о Гончарове обстоятельство. Оказалось, что текст романа «Обломов» существует в двух редакциях. Одна зафиксирована в первой журнальной публикации, отдельном издании 1859 г. и двух «Полных собраниях сочинений» 1880-х гг. Она общеизвестна, поскольку вот уже более ста лет перепечатывается в однотомниках и собраниях гончаровских сочинений. Другая представлена только в отдельном издании 1862 г., в которое, по сравнению с изданием 1859 г., внесено Гончаровым около 600 поправок, не учтенных в изданиях 1884 и 1887 гг. В сущности, эти поправки отменяют текст 1859 г., а следовательно, и текст публикаций 1880-х гг., подготовленных Гончаровым на основе издания 1859 г. Таким образом, выявилась первоочередная проблема: по какому источнику печатать текст «Обломова».

Лишь тот, кто видел в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина полуистершуюся черновую рукопись Гончарова, написанную к тому же неразборчивым почерком, может представить себе, какую колоссальную работу нужно проделать, какие виртуозные способности текстолога нужно иметь, чтобы расшифровать и воспроизвести эти материалы, к которым обращались многие поколения предшественников, не выдержавших, однако, трудностей и отказавшихся от изучения черновика романа. На основании этой полностью прочитанной рукописи, сопоставления всех, включая мельчайшие, вариантов с текстом всех прижизненных публикаций «Обломова», Л. С. Гейро, готовившая настоящий том, пришла к убедительному, по мнению редакционной коллегии «Литературных памятников», выводу о необходимости публикации текста романа именно по изданию 1862 г.

Понятно, что столь ответственный шаг, как изменение источника текста при публикации одного из крупнейших произведений русской классической литературы, потребовал сопоставления самых различных фактов, привлечения биографии писателя, определения всех обстоятельств «за» и «против» принятого решения. Обоснование его содержится в обстоятельной статье «История создания и публикации романа „Обломов“», где показаны все основные этапы работы Гончарова над романом — от создания первоначального чернового текста до правки в отдельных переизданиях. На многих примерах демонстрируется авторитетность издания 1862 г., в котором Гончаров не только проделал большую творческую работу по усовершенствованию текста романа, но и освободил его от значительного количества смысловых опечаток (вплоть до пропуска слов и строк, изменения вследствие типографской небрежности эпитетов и т. п.), наслоившихся в процессе публикации романа в «Отечественных записках» и в отдельном издании 1859 г. А в собраниях 1884 и 1887 гг. эта необходимейшая правка оказалась неучтенной.

Особого внимания заслуживает многоаспектный анализ рукописи романа, подробная характеристика принципов работы Гончарова на его пути от первых этапов воплощения замысла к созданию окончательного текста романа, прежде всего так называемых «программ», т. е. помет на полях рукописи, изучение которых позволяет проследить зарождение, становление и развитие главнейших мотивов произведения, основных сюжетных, структурных и образных мотивов. В издании впервые представлен свод наиболее значительных вариантов рукописного текста и прижизненных публикаций «Обломова». В примечаниях поясняются многие до сих пор не раскрытые или неверно интерпретированные фрагменты текста, в том числе некоторые известные современникам, но ныне забытые обстоятельства культурной, экономической, общественной жизни 40—50-х годов XIX в., бытовые реалии и проч.

Таковы основные особенности и новации настоящего издания, на которые хотелось бы обратить внимание читателя очередного тома «Литературных памятников».



ОБЛОМОВ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В Гороховой улице,[1] в одном из больших домов, народонаселения которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели, на своей квартире, Илья Ильич Обломов.

Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, гулявшими беспечно по стенам, по потолку, с тою неопределенною задумчивостью, которая показывает, что его ничто не занимает, ничто не тревожит. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока.[2]

Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или скуки. Но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением, не лица только, а всей души. Душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, рук. И поверхностно наблюдательный, холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал бы: «Добряк должен быть, простота!». Человек поглубже и посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо его, отошел бы в приятном раздумье, с улыбкой.

Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный или казался таким, может быть, потому, что Обломов как-то обрюзг не по летам: от недостатка ли движения, или воздуха, а может быть, того и другого. Вообще же тело его, судя по матовому, чересчур белому цвету шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изнеженным для мужчины.

Движения его, когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и не лишенною своего рода грации ленью. Если на лицо набегала из души туча заботы, взгляд туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга; но редко тревога эта застывала в форме определенной идеи, еще реже превращалась в намерение. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте.

Как шел домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу! На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что Обломов мог дважды завернуться в него. Рукава, по неизменной азиатской моде, шли от пальцев к плечу все шире и шире. Хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой первобытный, естественный лоск другим, благоприобретенным, но все еще сохранял яркость восточной краски и прочность ткани.

Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств: он мягок, гибок; не чувствуешь его на себе; он, как послушный раб, покоряется самомалейшему движению тела.

Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил простор и приволье. Туфли на нем были длинные, мягкие и широкие; когда он, не глядя, опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу.

Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состоянием. Когда он был дома — а он был почти всегда дома, — он все лежал, и все постоянно в одной комнате, где мы его нашли, служившей ему спальней, кабинетом и приемной. У него было еще три комнаты, но он редко туда заглядывал, утром разве, и то не всякий день, когда человек мел кабинет его,[3] чего всякий день не делалось. В тех комнатах мебель закрыта была чехлами, шторы спущены.

Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранною. Там стояло бюро красного дерева, два дивана, обитые шелковою материею, красивые ширмы с вышитыми небывалыми в природе птицами и плодами. Были там шелковые занавесы, ковры, несколько картин, бронза, фарфор и множество красивых мелочей.

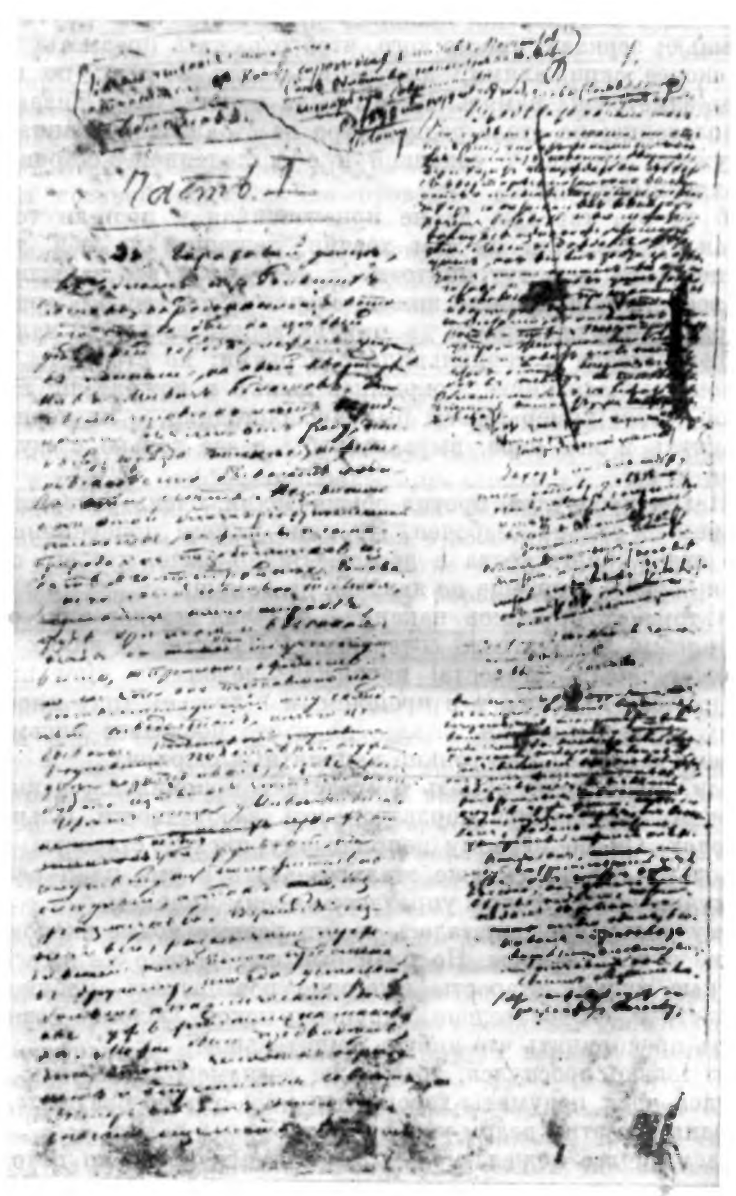
Но опытный глаз человека с чистым вкусом одним беглым взглядом на все, что тут было, прочел бы только желание кое-как соблюсти decorum * неизбежных приличий, лишь бы отделаться от них. Обломов хлопотал, конечно, только об этом, когда убирал свой кабинет. Утонченный вкус не удовольствовался бы этими тяжелыми, неграциозными стульями красного дерева, шаткими этажерками. Задок у одного дивана оселся вниз, наклеенное дерево местами отстало.

Точно тот же характер носили на себе картины, вазы, мелочи.

Сам хозяин, однако, смотрел на убранство своего кабинета так холодно и рассеянно, как будто спрашивал глазами: «Кто сюда натащил и наставил все это?». От такого холодного воззрения Обломова на свою собственность, а может быть, и еще от более холодного воззрения на тот же предмет слуги его, Захара, вид кабинета, если осмотреть там все повнимательнее, поражал господствующею в нем запущенностью и небрежностью.

---

* видимость (*лат.*).


Часть I

Первый лист рукописи романа с рядом «программ».

По стенам, около картин, лепилась в виде фестонов паутина, напитанная пылью; зеркала, вместо того, чтоб отражать предметы, могли бы служить скорее скрижалями,[4] для записывания на них, по пыли, каких-нибудь заметок на память. Ковры были в пятнах. На диване лежало забытое полотенце; на столе редкое утро не стояла не убранная от вчерашнего ужина тарелка с солонкой и с обглоданной косточкой да не валялись хлебные крошки.

Если б не эта тарелка, да не прислоненная к постели только что выкуренная трубка, или не сам хозяин, лежащий на ней, то можно было бы подумать, что тут никто не живет, — так все запылилось, полиняло и вообще лишено было живых следов человеческого присутствия. На этажерках, правда, лежали две-три развернутые книги, валялась газета, на бюро стояла и чернильница с перьями; но страницы, на которых развернуты были книги, покрылись пылью и пожелтели; видно, что их бросили давно; нумер газеты был прошлогодний, а из чернильницы, если обмакнуть в нее перо, вырвалась бы разве только с жужжаньем испуганная муха.

Илья Ильич проснулся, против обыкновения, очень рано, часов в восемь. Он чем-то сильно озабочен. На лице у него попеременно выступал не то страх, не то тоска и досада. Видно было, что его одолевала внутренняя борьба, а ум еще не являлся на помощь.

Дело в том, что Обломов накануне получил из деревни, от своего старосты, письмо неприятного содержания. Известно, о каких неприятностях может писать староста: неурожай, недоимки, уменьшение дохода и т. п. Хотя староста и в прошлом, и в третьем году писал к своему барину точно такие же письма, но и это последнее письмо подействовало так же сильно, как всякий неприятный сюрприз.

Легко ли? предстояло думать о средствах к принятию каких-нибудь мер. Впрочем, надо отдать справедливость заботливости Ильи Ильича о своих делах. Он по первому неприятному письму старосты, полученному несколько лет назад, уже стал создавать в уме план разных перемен и улучшений в порядке управления своим имением.

По этому плану предполагалось ввести разные новые экономические, полицейские и другие меры. Но план был еще далеко не весь обдуман, а неприятные письма старосты ежегодно повторялись, побуждали его к деятельности и, следовательно, нарушали покой. Обломов сознавал необходимость предпринять что-нибудь решительное.

Он, как только проснулся, тотчас же вознамерился встать, умыться и, напившись чаю, подумать хорошенько, кое-что сообразить, записать и вообще заняться этим делом как следует.

С полчаса он все лежал, мучась этим намерением, но потом рассудил, что успеет еще сделать это и после чаю, а чай можно пить по обыкновению в постели, тем более, что ничто не мешает думать и лежа.

Так и сделал. После чаю он уже приподнялся с своего ложа и чуть было не встал; поглядывая на туфли, он даже начал спускать к ним одну ногу с постели, но тотчас же опять подобрал ее.

Пробило половина десятого, Илья Ильич встрепенулся.

«Что ж это я в самом деле? — сказал он вслух с досадой, — надо совесть знать: пора за дело! Дай только волю себе, так и...»

— Захар! — закричал он.

В комнате, которая отделялась только небольшим коридором от кабинета Ильи Ильича, послышалось сначала точно ворчанье цепной собаки, потом стук спрыгнувших откуда-то ног. Это Захар спрыгнул с лежанки, на которой обыкновенно проводил время, сидя погруженный в дремоту.

В комнату вошел пожилой человек, в сером сюртуке, с прорехою под мышкой, откуда торчал клочок рубашки, в сером же жилете, с медными пуговицами, с голым, как колено, черепом и с широкими и густыми русыми с проседью бакенбардами, из которых каждой стало бы на три бороды.

Захар не старался изменить не только данного ему богом образа, но и своего костюма, в котором ходил в деревне. Платье ему шилось по вывезенному им из деревни образцу. Серый сюртук и жилет нравились ему и потому, что в этой полуформенной одежде он видел слабое воспоминание ливреи, которую он носил некогда, провожая покойных господ в церковь или в гости; а ливрея в воспоминаниях его была единственною представительницею достоинства дома Обломовых.

Более ничто не напоминало старику барского широкого и покойного быта в глуши деревни. Старые господа умерли, фамильные портреты остались дома и, чай, валяются где-нибудь на чердаке; предания о старинном быте и важности фамилии всё глохнут или живут только в памяти немногих, оставшихся в деревне же стариков. Поэтому для Захара дорог был серый сюртук: в нем да еще в кое-каких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его родителей, и в его капризах, на которые хотя он и ворчал, и про себя, и вслух, но которые между тем уважал внутренно, как проявление барской воли, господского права, видел он слабые намеки на отжившее величие.

Без этих капризов он как-то не чувствовал над собой барина; без них ничто не воскрешало молодости его, деревни, которую они покинули давно, и преданий об этом старинном доме.

Дом Обломовых был когда-то богат и знаменит в своей стороне, но потом, бог знает отчего, все беднел, мельчал и, наконец, незаметно потерялся между нестарыми дворянскими домами. Только поседевшие слуги дома хранили и передавали друг другу верную память о минувшем, дорожа ею, как святынею.

Вот отчего Захар так любил свой серый сюртук. Может быть, и бакенбардами своими он дорожил потому, что видел в детстве своем много старых слуг с этим старинным, аристократическим украшением.

Илья Ильич, погруженный в задумчивость, долго не замечал Захара. Захар стоял перед ним молча. Наконец он кашлянул.

— Что ты? — спросил Илья Ильич.

— Ведь вы звали?

— Звал? Зачем же это я звал — не помню! — отвечал он, потягиваясь. — Поди пока к себе, а я вспомню.

Захар ушел, а Илья Ильич продолжал лежать и думать о проклятом письме.

Прошло с четверть часа.

«Ну, полно лежать! — сказал он, — надо же встать... А впрочем, дай-ка я прочту еще раз со вниманием письмо старосты, а потом уж и встану».

— Захар!

Опять тот же прыжок и ворчанье сильнее. Захар вошел, а Обломов опять погрузился в задумчивость. Захар стоял минуты две, неблагосклонно, немного стороной посматривая на барина, и, наконец, пошел к дверям.

— Куда же ты? — вдруг спросил Обломов.

— Вы ничего не говорите, так что ж тут стоять-то даром? — захрипел Захар, за неимением другого голоса, который, по словам его, он потерял на охоте с собаками, когда ездил с старым барином и когда ему дунуло будто сильным ветром в горло.

Он стоял вполуоборот середи комнаты и глядел все стороной на Обломова.

— А у тебя разве ноги отсохли, что ты не можешь постоять? Ты видишь, я озабочен — так и подожди! Не належался еще там? Сыщи письмо, что я вчера от старосты получил. Куда ты его дел?

— Какое письмо? Я никакого письма не видал, — сказал Захар.

— Ты же от почтальона принял его: грязное такое!

— Куда ж вы его положили — почем мне знать? — говорил Захар, похлопывая рукой по бумагам и по разным вещам, лежавшим на столе.

— Ты никогда ничего не знаешь. Там, в корзине посмотри! Или не завалилось ли за диван? Вот спинка-то у дивана до сих пор не починена; что б тебе призвать столяра да починить? Ведь ты же изломал.

— Я не ломал, — отвечал Захар, — она сама изломалась; не век же ей быть: надо когда-нибудь и изломаться.

Илья Ильич не счел за нужное доказывать противное.

— Нашел, что ли? — спросил он только.

— Вот какие-то письма.

— Не те.

— Ну, так нет больше, — говорил Захар.

— Ну хорошо, поди! — с нетерпением сказал Илья Ильич, — я встану, сам найду.

Захар пошел к себе, но только он уперся было руками о лежанку, чтоб прыгнуть на нее, как опять послышался торопливый крик: «Захар, Захар!».

«Ах ты, господи! — ворчал Захар, отправляясь опять в кабинет. — Что это за мученье? Хоть бы смерть скорей пришла!»

— Чего вам? — сказал он, придерживаясь одной рукой за дверь кабинета и глядя на Обломова, в знак неблаговоления, до того стороной, что ему приходилось видеть барина вполглаза, а барину видна была только одна необъятная бакенбарда, из которой, так и ждешь, что вылетят две-три птицы.

— Носовой платок, скорей! Сам бы ты мог догадаться: не видишь! — строго заметил Илья Ильич.

Захар не обнаружил никакого особенного неудовольствия или удивления при этом приказании и упреке барина, находя, вероятно, с своей стороны и то и другое весьма естественным.

— А кто его знает, где платок? — ворчал он, обходя вокруг комнату и ощупывая каждый стул, хотя и так можно было видеть, что на стульях ничего не лежит.

— Все теряете! — заметил он, отворяя дверь в гостиную, чтоб посмотреть, нет ли там.

— Куда? Здесь ищи! Я с третьего дня там не был. Да скорей же! — говорил Илья Ильич.

— Где платок? Нету платка! — говорил Захар, разводя руками и озираясь во все углы. — Да вон он, — вдруг сердито захрипел он, — под вами! Вон конец торчит. Сами лежите на нем, а спрашиваете платка!

И, не дожидаясь ответа, Захар пошел было вон. Обломову стало немного неловко от собственного промаха. Он быстро нашел другой повод сделать Захара виноватым.

— Какая у тебя чистота везде: пыли-то, грязи-то, боже мой! Вон, вон, погляди в углах — ничего не делаешь!

— Уж коли я ничего не делаю... — заговорил Захар обиженным голосом, — стараюсь, жизни не жалею! И пыль-то стираю, и мету-то почти каждый день...

Он указал на середину пола и на стол, на котором Обломов обедал.

— Вон, вон, — говорил он, — все подметено, прибрано, словно к свадьбе... Чего еще?

— А это что? — прервал Илья Ильич, указывая на стены и на потолок. — А это? А это? — Он указал и на брошенное со вчерашнего дня полотенце, и на забытую на столе тарелку с ломтем хлеба.

— Ну, это, пожалуй, уберу, — сказал Захар снисходительно, взяв тарелку.

— Только это! А пыль по стенам, а паутина? — говорил Обломов, указывая на стены.

— Это я к Святой неделе [5] убираю: тогда образа чищу и паутину снимаю...

— А книги и картины обмести?..

— Книги и картины перед Рождеством: [6] тогда с Анисьей все шкафы переберем. А теперь когда станешь убирать? Вы все дома сидите.

— Я иногда в театр хожу да в гости: вот бы...

— Что за уборка ночью!

Обломов с упреком поглядел на него, покачал головой и вздохнул, а Захар равнодушно поглядел в окно и тоже вздохнул. Барин, кажется, думал: «Ну, брат, ты еще больше Обломов, нежели я сам», а Захар чуть ли не подумал: «Врешь! ты только мастер говорить мудреные да жалкие слова, а до пыли и до паутины тебе и дела нет».

— Понимаешь ли ты, — сказал Илья Ильич, — что от пыли заводится моль? Я иногда даже вижу клопа на стене!

— У меня и блохи есть! — равнодушно отозвался Захар.

— Разве это хорошо? Ведь это гадость!

Захар усмехнулся во все лицо, так что усмешка охватила даже брови и бакенбарды, которые от этого раздвинулись в стороны, и по всему лицу до самого лба расплылось красное пятно.

— Чем же я виноват, что клопы на свете есть? — сказал он с наивным удивлением. — Разве я их выдумал?

— Это от нечистоты, — перебил Обломов. — Что ты все врешь!

— И нечистоту не я выдумал.

— У тебя, вот, там, мыши бегают по ночам — я слышу.

— И мышей не я выдумал. Этой твари, что мышей, что кошек, что клопов, везде много.

— Как же у других не бывает ни моли, ни клопов?

На лице Захара выразилась недоверчивость, или, лучше сказать, покойная уверенность, что этого не бывает.

— У меня всего много, — сказал он упрямо, — за всяким клопом не усмотришь, в щелку к нему не влезешь.

А сам, кажется, думал: «Да и что за спанье без клопа?».

— Ты мети, выбирай сор из углов — и не будет ничего, — учил Обломов.

— Уберешь, а завтра опять наберется, — говорил Захар.

— Не наберется, — перебил барин, — не должно.

— Наберется — я знаю, — твердил слуга.

— А наберется, так опять вымети.

— Как это? Всякий день перебирай все углы? — спросил Захар. — Да что ж это за жизнь? Лучше бог по душу пошли!

— Отчего ж у других чисто? — возразил Обломов. — Посмотри напротив, у настройщика: любо взглянуть, а всего одна девка...

— А где немцы сору возьмут, — вдруг возразил Захар. — Вы поглядите-ко, как они живут! Вся семья целую неделю кость гложет. Сюртук с плеч отца переходит на сына, а с сына опять на отца. На жене и дочерях платьишки коротенькие: всё поджимают под себя ноги, как гусыни... Где им сору взять? У них нет этого вот, как у нас, чтоб в шкафах лежала по годам куча старого изношенного платья или набрался целый угол корок хлеба за зиму... У них и корка зря не валяется: наделают сухариков да с пивом и выпьют!

Захар даже сквозь зубы плюнул, рассуждая о таком скаредном житье.

— Нечего разговаривать! — возразил Илья Ильич. — Ты лучше убирай.

— Иной раз и убрал бы, да вы же сами не даете, — сказал Захар.

— Пошел свое! Все, видишь, я мешаю.

— Конечно, вы; все дома сидите: как при вас станешь убирать? Уйдите на целый день, так и уберу.

— Вот еще выдумал что — уйти! Поди-ка ты лучше к себе.

— Да правда! — настаивал Захар. — Вот, хоть бы сегодня ушли, мы бы с Анисьей и убрали все. И то не управимся вдвоем-то: надо еще баб нанять, перемыть все.

— Э! какие затеи — баб! Ступай себе, — говорил Илья Ильич.

Он уж был не рад, что вызвал Захара на этот разговор. Он все забывал, что чуть тронешь этот деликатный предмет, так и не оберешься хлопот.

Обломову и хотелось бы, чтоб было чисто, да он бы желал, чтоб это делалось как-нибудь, незаметно, само собой; а Захар всегда заводил тяжбу, лишь только начинали требовать от него сметания пыли, мытья полов и т. п. Он в таком случае станет доказывать необходимость громадной возни в доме, зная очень хорошо, что одна мысль об этом приводила барина его в ужас.

Захар ушел, а Обломов погрузился в размышления. Чрез несколько минут пробило еще полчаса.

«Что это? — почти с ужасом сказал Илья Ильич. — Одиннадцать часов скоро, а я еще не встал, не умылся до сих пор?»

— Захар, Захар!

— Ах ты, боже мой! Ну! — послышалось из передней, и потом известный прыжок.

— Умыться готово? — спросил Обломов.

— Готово давно! — отвечал Захар. — Чего вы не встаете?

— Что ж ты не скажешь, что готово? Я бы уж и встал давно. Поди же, я сейчас иду вслед за тобою. Мне надо заниматься, я сяду писать.

Захар ушел, но чрез минуту воротился с исписанной и замасленной тетрадкой и клочками бумаги.

— Вот, коли будете писать, так уж кстати извольте и счеты поверить: надо деньги заплатить.

— Какие счеты? Какие деньги? — с неудовольствием спросил Илья Ильич.

— От мясника, от зеленщика,[7] от прачки, от хлебника: все денег просят.

— Только о деньгах и забота! — ворчал Илья Ильич. — А ты что понемногу не подаешь счеты, а все вдруг?

— Вы же ведь все прогоняли меня: завтра да завтра.

— Ну, так и теперь разве нельзя до завтра?

— Нет! Уж очень пристают: больше не дают в долг. Нынче первое число.

— Ах! — с тоской сказал Обломов. — Новая забота! Ну, что стоишь? Положи на стол. Я сейчас встану, умоюсь и посмотрю, — сказал Илья Ильич. — Так умыться готово?

— Готово!

— Ну, теперь.

Он начал было, кряхтя, приподниматься на постели, чтоб встать.

— Я забыл вам сказать, — начал Захар, — давеча, как вы еще по-

чивали, управляющий дворника присылал: говорит, что непременно надо съехать... квартира нужна.

— Ну, что ж такое? Если нужна, так, разумеется, съедем. Что ты пристаешь ко мне? Уж ты третий раз говоришь мне об этом.

— Ко мне пристают тоже.

— Скажи, что съедем.

— Они говорят: вы уж с месяц, говорят, обещали, а все не съезжаете; мы, говорят, полиции дадим знать.

— Пусть дают знать! — сказал решительно Обломов. — Мы и сами переедем, как потеплее будет, недели через три.

— Куда недели через три! Управляющий говорит, что чрез две недели рабочие придут: ломать все будут... «Съезжайте, говорит, завтра или послезавтра...»

— Э-э-э! слишком проворно! завтра! Видишь, еще что! Не сейчас ли прикажете? А ты мне не смей и напоминать о квартире. Я уж тебе запретил раз, а ты опять. Смотри!

— Что ж мне делать-то? — отозвался Захар.

— Что ж делать? — вот он чем отделывается от меня! — отвечал Илья Ильич. — Он меня спрашивает! Мне что за дело? Ты не беспокой меня, а там, как хочешь, так и распорядись, только чтоб не переезжать. Не может постараться для барина!

— Да как же, батюшка, Илья Ильич, я распоряжусь? — начал мягким сипеньем Захар. — Дом-то не мой: как же из чужого дома не переезжать, коли гонят? Кабы мой дом был, так я бы с великим моим удовольствием...

— Нельзя ли их уговорить как-нибудь. «Мы, дескать, живем давно, платим исправно».

— Говорил, — сказал Захар.

— Ну, что ж они?

— Что! Наладили свое: «Переезжайте, говорят, нам нужно квартиру переделывать». Хотят из докторской и из этой одну большую квартиру сделать, к свадьбе хозяйского сына.

— Ах ты, боже мой! — с досадой сказал Обломов. — Ведь есть же этакие ослы, что женятся!

Он повернулся на спину.

— Вы бы написали, сударь, к хозяину, — сказал Захар, — так, может быть, он бы вас не тронул, а велел бы сначала вон ту квартиру ломать.

Захар при этом показал рукой куда-то направо.

— Ну, хорошо, как встану, напишу... Ты ступай к себе, а я подумаю. Ничего ты не умеешь сделать, — добавил он, — мне и об этой дряни надо самому хлопотать.

Захар ушел, а Обломов стал думать.

Но он был в затруднении, о чем думать: о письме ли старосты, о переезде ли на новую квартиру, приняться ли сводить счеты? Он терялся в приливе житейских забот и все лежал, ворочаясь с боку

на бок. По временам только слышались отрывистые восклицания: «Ах, боже мой! Трогает жизнь, везде достает».

Неизвестно, долго ли бы еще пробыл он в этой нерешительности, но в передней раздался звонок.

«Уж кто-то и пришел! — сказал Обломов, кутаясь в халат. — А я еще не вставал — срам да и только! Кто бы это так рано?»

И он, лежа, с любопытством глядел на двери.

II

Вошел молодой человек лет двадцати пяти, блещущий здоровьем, с смеющимися щеками, губами и глазами. Зависть брала смотреть на него.

Он был причесан и одет безукоризненно, ослеплял свежестию лица, белья, перчаток и фрака. По жилету лежала изящная цепочка, с множеством мельчайших брелоков.[1] Он вынул тончайший батистовый платок, вдохнул ароматы Востока,[2] потом небрежно провел им по лицу, по глянцевитой шляпе и обмахнул лакированные сапоги.

— А, Волков, здравствуйте! — сказал Илья Ильич.

— Здравствуйте, Обломов, — говорил блистающий господин, подходя к нему.

— Не подходите, не подходите: вы с холода! — сказал тот.

— О баловень, сибарит! — говорил Волков, глядя, куда бы положить шляпу, и, видя везде пыль, не положил никуда; раздвинул обе полы фрака, чтоб сесть, но, посмотрев внимательно на кресло, остался на ногах.

— Вы еще не вставали! Что это на вас за шлафрок? Такие давно бросили носить, — стыдил он Обломова.

— Это не шлафрок, а халат, — сказал Обломов, с любовью кутаясь в широкие полы халата.

— Здоровы ли вы? — спросил Волков.

— Какое здоровье! — зевая, сказал Обломов. — Плохо! приливы замучили. А вы как поживаете?

— Я? Ничего: здорово и весело, — очень весело! — с чувством прибавил молодой человек.

— Откуда вы так рано? — спросил Обломов.

— От портного. Посмотрите, хорош фрак? — говорил он, ворочаясь перед Обломовым.

— Отличный! С большим вкусом сшит, — сказал Илья Ильич, — только отчего он такой широкий сзади?

— Это рейт-фрак:[3] для верховой езды.

— Разве вы ездите верхом?

— Как же! К нынешнему дню и фрак нарочно заказал. Ведь сегодня первое мая: с Горюновым едем в Екатерингоф.[4] Ах! Вы не знаете? Горюнова Мишу произвели — вот мы сегодня и отличаемся, — в восторге добавил Волков.

— Вот как! — сказал Обломов.

— У него рыжая лошадь, — продолжал Волков, — у них в полку рыжие, а у меня вороная. Вы как будете: пешком или в экипаже?

— Да... никак.

— Первого мая в Екатерингофе не быть! Что вы, Илья Ильич! Да там все!

— Ну, как все! Нет, не все! — лениво заметил Обломов.

— Поезжайте, душенька, Илья Ильич! Софья Николаевна с Лидией будут в экипаже только две, напротив в коляске есть скамеечка: вот бы с ними...

— Нет, я не усядусь на скамеечке. Да и что стану я там делать?

— Ну так, хотите, Миша другую лошадь вам даст?

— Бог знает что выдумает! — почти про себя сказал Обломов. — Что вам дались Горюновы?

— Ах! — вспыхнув, произнес Волков, — сказать?

— Говорите!

— Вы никому не скажете — честное слово? — продолжал Волков, садясь к нему на диван.

— Пожалуй.

— Я... влюблен в Лидию, — прошептал он.

— Браво! Давно ли? Она, кажется, такая миленькая.

— Вот уж три недели! — с глубоким вздохом сказал Волков. — А Миша в Дашеньку влюблен.

— В какую Дашеньку?

— Откуда вы, Обломов? Не знает Дашеньки! Весь город без ума, как она танцует! Сегодня мы с ним в балете; он бросит букет. Надо его ввести: он робок, еще новичок... Ах! ведь нужно ехать камелий достать...

— Куда еще? Полно вам, приезжайте-ка обедать: мы бы поговорили. У меня два несчастья...

— Не могу: я у князя Тюменева обедаю; там будут все Горюновы и она, она... Лидинька, — прибавил он шепотом. — Что это вы оставили князя? Какой веселый дом! На какую ногу поставлен! А дача! Утонула в цветах! Галерею пристроили, gothique.* Летом, говорят, будут танцы, живые картины.[6] Вы *будете бывать?*

— Нет, я думаю, не буду.

— Ах, какой дом! Нынешнюю зиму по средам меньше пятидесяти человек не бывало, а иногда набиралось и до ста.

— Боже мой! Вот скука-то должна быть адская!

— Как это можно? Скука! Да чем больше, тем веселее. Лидия бывала там, я ее не замечал, да вдруг...

Напрасно я забыть ее стараюсь[7]
И страсть хочу рассудком победить... —

---

* в готическом стиле (*франц.*).

запел он и сел, забывшись, на кресло, но вдруг вскочил и стал отирать пыль с платья.

— Какая у вас пыль везде! — сказал он.

— Все Захар! — пожаловался Обломов.

— Ну, мне пора! — сказал Волков. — За камелиями для букета Мише. Au revoir.*

— Приезжайте вечером чай пить, из балета: расскажете, как там что было, — приглашал Обломов.

— Не могу, дал слово к Муссинским: их день сегодня. Поедемте и вы. Хотите, я вас представлю?

— Нет, что там делать?

— У Муссинских? Помилуйте, да там полгорода бывает. Как что делать? Это такой дом, где обо всем говорят.

— Вот это-то и скучно, что обо всем, — сказал Обломов.

— Ну, посещайте Мездровых, — перебил Волков, — там уж об одном говорят, об искусствах; только и слышишь: венецианская школа,[8] Бетховен да Бах, Леонардо да Винчи...

— Век об одном и том же — какая скука! Педанты, должно быть! — сказал, зевая, Обломов.

— На вас не угодишь. Да мало ли домов! Теперь у всех дни: у Савиновых по четвергам обедают, у Маклашиных — пятницы, у Вязниковых — воскресенья, у князя Тюменева — середы. У меня все дни заняты! — с сияющими глазами заключил Волков.

— И вам не лень мыкаться изо дня в день?

— Вот, лень! Что за лень? Превесело! — беспечно говорил он. — Утро почитаешь, надо быть au courant** всего, знать новости. Слава богу, у меня служба такая, что не нужно бывать в должности. Только два раза в неделю посижу да пообедаю у генерала, а потом поедешь с визитом, где давно не был; ну, а там... новая актриса, то на русском, то на французском театре.[9] Вот опера будет, я абонируюсь.[10] А теперь влюблен... Начинается лето; Мише обещали отпуск; поедем к ним в деревню на месяц, для разнообразия. Там охота. У них отличные соседи, дают bals champêtres.*** С Лидией будем в роще гулять, кататься в лодке, рвать цветы... Ах! — и он перевернулся от радости. — Однако пора... Прощайте, — говорил он, напрасно стараясь оглядеть себя спереди и сзади в запыленное зеркало.

— Погодите, — удерживал Обломов, — я было хотел поговорить с вами о делах.

— Pardon,**** некогда, — торопился Волков, — в другой раз! — А не хотите ли со мной есть устриц?[11] Тогда и расскажете. Поедемте, Миша угощает.

— Нет, бог с вами! — говорил Обломов.

---

* До свиданья (*франц.*).
** в курсе (*франц.*).
*** сельские балы (*франц.*).
**** Извините (*франц.*).

— Прощайте же.

Он пошел и вернулся.

— Видели это? — спросил он, показывая руку, как вылитую в перчатке.

— Что это такое? — спросил Обломов в недоумении.

— А новые lacets! * Видите, как отлично стягивает: не мучишься над пуговкой два часа; потянул шнурочек — и готов. Это только что из Парижа. Хотите, привезу вам на пробу пару?

— Хорошо, привезите!

— А посмотрите это: не правда ли, очень мило? — говорил он, отыскав в куче брелоков один, — визитная карточка с загнутым углом.

— Не разберу, что написано.

— Pr. prince M. Michel,** — говорил Волков, — а фамилия Тюменева не уписалась; это он мне в Пасху подарил, вместо яичка. Но прощайте, au revoir. Мне еще в десять мест. — Боже мой, что это за веселье на свете!

И он исчез.

«В десять мест в один день — несчастный! — думал Обломов. — И это жизнь! — Он сильно пожал плечами. — Где же тут человек? На что он раздробляется и рассыпается? Конечно, недурно заглянуть и в театр, и влюбиться в какую-нибудь Лидию... она миленькая! В деревне с ней цветы рвать и кататься — хорошо; да в десять мест в один день — несчастный!» — заключил он, перевертываясь на спину и радуясь, что нет у него таких пустых желаний и мыслей, что он не мыкается, а лежит вот тут, сохраняя свое человеческое достоинство и свой покой.

Новый звонок прервал его размышления.

Вошел новый гость.

Это был господин в темно-зеленом фраке с гербовыми пуговицами,[12] гладко выбритый, с темными, ровно окаймлявшими его лицо бакенбардами, с утружденным, но спокойно-сознательным выражением в глазах, с сильно потертым лицом, с задумчивой улыбкой.

— Здравствуй, Судьбинский! — весело поздоровался Обломов. — Насилу заглянул к старому сослуживцу! Не подходи, не подходи! Ты с холоду.

— Здравствуй, Илья Ильич. Давно собирался к тебе, — говорил гость, — да ведь ты знаешь, какая у нас дьявольская служба! Вон, посмотри, целый чемодан везу к докладу; и теперь, если там спросят что-нибудь, велел курьеру скакать сюда. Ни минуты нельзя располагать собой.

— Ты еще на службу? Что так поздно? — спросил Обломов. — Бывало, ты с десяти часов...

— Бывало — да; а теперь другое дело: в двенадцать часов *езжу*. — Он сделал на последнем слове ударение.

---

* шнурки (*франц.*).
** Князь М. Мишель (*франц.*).

— А! догадываюсь! — сказал Обломов. — Начальник отделения![13] Давно ли?

Судьбинский значительно кивнул головой.

— К Святой, — сказал он. — Но сколько дела — ужас! С восьми до двенадцати часов дома, с двенадцати до пяти в канцелярии, да вечером занимаюсь. От людей отвык совсем!

— Гм! Начальник отделения — вот как! — сказал Обломов. — Поздравляю! Каков? А вместе канцелярскими чиновниками служили. Я думаю, на будущий год в статские махнешь.[14]

— Куда! Бог с тобой! Еще нынешний год корону надо получить; думал *за отличие* представят, а теперь новую должность занял: нельзя два года сряду...[15]

— Приходи обедать, выпьем за повышение! — сказал Обломов.

— Нет, сегодня у вице-директора обедаю. К четвергу надо приготовить доклад — адская работа! На представления из губерний положиться нельзя. Надо проверить самому списки. Фома Фомич такой мнительный: все хочет сам. Вот сегодня вместе после обеда и засядем.

— Ужели и после обеда? — спросил Обломов недоверчиво.

— А как ты думал? Еще хорошо, если пораньше отделаюсь да успею хоть в Екатерингоф прокатиться... Да, я заехал спросить: не поедешь ли ты на гулянье? Я бы заехал...

— Нездоровится что-то, не могу! — сморщившись, сказал Обломов. — Да и дела много...

— Жаль! — сказал Судьбинский, — а день хорош. Только сегодня и надеюсь вздохнуть.

— Ну, что нового у вас? — спросил Обломов.

— Да много кое-чего: в письмах отменили писать «покорнейший слуга», пишут «примите уверение»;[16] формулярных списков[17] по два экземпляра не велено представлять. У нас прибавляют три стола и двух чиновников особых поручений.[18] Нашу комиссию закрыли... Много!

— Ну, а что наши бывшие товарищи?

— Ничего пока; Свинкин дело потерял!

— В самом деле? Что ж директор? — спросил Обломов дрожащим голосом. Ему, по старой памяти, страшно стало.

— Велел задержать награду, пока не отыщется. Дело важное: «о взысканиях». Директор думает, — почти шепотом прибавил Судьбинский, — что он потерял его... нарочно.

— Так вот как: всё в трудах! — говорил Обломов, — работаешь.

— Ужас, ужас! Ну, конечно, с таким человеком, как Фома Фомич, приятно служить: без наград не оставляет; кто и ничего не делает, и тех не забудет. Как вышел срок — за отличие, так и представляет; кому не вышел срок к чину, к кресту, деньги выхлопочет...

— Ты сколько получаешь?

— Да что, тысяча двести рублей жалованья, особо столовых семьсот пятьдесят, квартирных шестьсот, пособия девятьсот, на разъезды пятьсот, да награды рублей до тысячи.[19]

— Фу! черт возьми! — сказал, вскочив с постели, Обломов. — Голос, что ли, у тебя хорош? Точно итальянский певец!

— Что еще это! Вон Пересветов прибавочные получает, а дела-то меньше моего делает и не смыслит ничего.[20] Ну, конечно, он не имеет той репутации. Меня очень ценят, — скромно прибавил он, потупя глаза, — министр недавно выразился про меня, что я «украшение министерства».

— Молодец! — сказал Обломов. — Вот только работать с восьми часов до двенадцати, с двенадцати до пяти, да дома еще — ой, ой!

Он покачал головой.

— А что ж бы я стал делать, если б не служил? — спросил Судьбинский.

— Мало ли что! Читал бы, писал... — сказал Обломов.

— Я и теперь только и делаю, что читаю да пишу.

— Да это не то; ты бы печатал...

— Не всем же быть писателями. Вот и ты ведь не пишешь.

— Зато у меня имение на руках, — со вздохом сказал Обломов. — Я соображаю новый план; разные улучшения ввожу. Мучаюсь, мучаюсь... А ты ведь чужое делаешь, не свое.

— Что ж делать! Надо работать, коли деньги берешь. Летом отдохну: Фома Фомич обещает выдумать командировку нарочно для меня... вот, тут получу прогоны на пять лошадей, суточных рубля по три в сутки,[21] а потом награду...

— Эк ломят! — с завистью говорил Обломов; потом вздохнул и задумался.

— Деньги нужны: осенью женюсь, — прибавил Судьбинский.

— Что ты! В самом деле? На ком? — с участием сказал Обломов.

— Не шутя, на Мурашиной. Помнишь, подле меня на даче жили? Ты пил чай у меня и, кажется, видел ее.

— Нет, не помню! Хорошенькая?

— Да, мила. Поедем, если хочешь, к ним обедать...

Обломов замялся.

— Да... хорошо, только...

— На той неделе, — сказал Судьбинский.

— Да, да, на той неделе, — обрадовался Обломов, — у меня еще платье не готово. Что ж, хорошая партия?

— Да, отец действительный статский советник;[22] десять тысяч дает, квартира казенная. Он нам целую половину отвел, двенадцать комнат; мебель казенная, отопление, освещение тоже: можно жить...

— Да, можно! Еще бы! Каков Судьбинский! — прибавил, не без зависти, Обломов.

— На свадьбу, Илья Ильич, шафером приглашаю: смотри...

— Как же, непременно! Ну, а что Кузнецов, Васильев, Махов?

— Кузнецов женат давно, Махов на мое место поступил, а Васильева перевели в Польшу. Ивану Петровичу дали Владимира,[23] Олешкин — его превосходительство.[24]

— Он добрый малый! — сказал Обломов.

— Добрый, добрый; он стоит.

— Очень добрый, характер мягкий, ровный, — говорил Обломов.

— Такой обязательный, — прибавил Судьбинский, — и нет этого, знаешь, чтоб выслужиться, подгадить, подставить ногу, опередить... все делает, что может.

— Прекрасный человек! Бывало, напутаешь в бумаге, не доглядишь, не то мнение или законы подведешь в записке,[25] ничего: велит только другому переделать. Отличный человек! — заключил Обломов.

— А вот наш Семен Семеныч так неисправим, — сказал Судьбинский, — только ма́стер пыль в глаза пускать. Недавно что он сделал: из губерний поступило представление о возведении при зданиях, принадлежащих нашему ведомству, собачьих конур для сбережения казенного имущества от расхищения; наш архитектор, человек дельный, знающий и честный, составил очень умеренную смету; вдруг показалась ему велика, и давай наводить справки, что может стоить постройка собачьей конуры? Нашел где-то тридцатью копейками меньше — сейчас докладную записку...

Раздался еще звонок.

— Прощай, — сказал чиновник, — я заболтался, что-нибудь понадобится там...

— Посиди еще, — удерживал Обломов. — Кстати, я посоветуюсь с тобой: у меня два несчастья...

— Нет, нет, я лучше опять заеду на днях, — сказал он, уходя.

«Увяз, любезный друг, по уши увяз, — думал Обломов, провожая его глазами. — И слеп, и глух, и нем для всего остального в мире. А выйдет в люди, будет со временем ворочать делами и чинов нахватает... У нас это называется тоже карьерой! А как мало тут человека-то нужно: ума его, воли, чувства — зачем это? Роскошь! И проживет свой век, и не пошевелится в нем многое, многое.. А между тем ра́ботает с двенадцати до пяти в канцелярии, с восьми до двенадцати дома — несчастный!»

Он испытал чувство мирной радости, что он с девяти до трех, с восьми до девяти может пробыть у себя на диване, и гордился, что не надо идти с докладом, писать бумаг, что есть простор его чувствам, воображению.

Обломов философствовал и не заметил, что у постели его стоял очень худощавый, черненький господин, заросший весь бакенбардами, усами и эспаньолкой.[26] Он был одет с умышленной небрежностью.

— Здравствуйте, Илья Ильич.

— Здравствуйте, Пенкин; не подходите, не подходите: вы с холода! — говорил Обломов.

— Ах вы, чудак! — сказал тот. — Все такой же неисправимый, беззаботный ленивец!

— Да, беззаботный! — сказал Обломов. — Вот я вам сейчас покажу письмо от старосты: ломаешь, ломаешь голову, а вы говорите: беззаботный! Откуда вы?

— Из книжной лавки: ходил узнать, не вышли ли журналы. Читали мою статью?

— Нет.

— Я вам пришлю, прочтите.

— О чем? — спросил сквозь сильную зевоту Обломов.

— О торговле, об эмансипации женщин, о прекрасных апрельских днях, какие выпали нам на долю, и о вновь изобретенном составе против пожаров. Как это вы не читаете? Ведь тут наша вседневная жизнь. А пуще всего я ратую за реальное направление в литературе.

— Много у вас дела?

— Да, довольно. Две статьи в газету каждую неделю, потом разборы беллетристов пишу, да вот написал рассказ...

— О чем?

— О том, как в одном городе городничий бьет мещан по зубам...

— Да, это в самом деле реальное направление, — сказал Обломов.

— Не правда ли? — подтвердил обрадованный литератор. — Я провожу вот какую мысль и знаю, что она новая и смелая. Один проезжий был свидетелем этих побоев и при свидании с губернатором пожаловался ему. Тот приказал чиновнику, ехавшему туда на следствие, мимоходом удостовериться в этом и вообще собрать сведения о личности и поведении городничего. Чиновник созвал мещан, будто расспросить о торговле, а между тем давай разведывать и об этом. Что ж мещане? Кланяются да смеются и городничего превозносят похвалами. Чиновник стал узнавать стороной, и ему сказали, что мещане — мошенники страшные, торгуют гнилью, обвешивают, обмеривают даже казну, все безнравственны, так что побои эти — праведная кара...

— Стало быть, побои городничего выступают в повести, как fatum * древних трагиков? — сказал Обломов.

— Именно, — подхватил Пенкин. — У вас много такта, Илья Ильич, вам бы писать! А между тем мне удалось показать и самоуправство городничего, и развращение нравов в простонародье; [27] дурную организацию действий подчиненных чиновников и необходимость строгих, но законных мер... Не правда ли, эта мысль... довольно новая?

— Да, в особенности для меня, — сказал Обломов, — я так мало читаю...

— В самом деле не видать книг у вас! — сказал Пенкин. — Но, умоляю вас, прочтите одну вещь; готовится великолепная, можно сказать, обличительная, поэма: «Любовь взяточника к падшей женщине». Я не могу вам сказать, кто автор: это еще секрет.

— Что ж там такое?

— Обнаружен весь механизм нашего общественного движения, и все в поэтических красках. Все пружины тронуты; все ступени общественной лестницы перебраны. Сюда, как на суд, созваны автором и слабый, но порочный вельможа, и целый рой обманывающих его взяточников; и все разряды падших женщин разобраны... француженки,

* рок (*лат.*).

немки, чухонки,[28] и всё, всё... с поразительной, животрепещущей верностью... Я слышал отрывки — автор велик! в нем слышится то Дант, то Шекспир...

— Вон куда хватили! — в изумлении сказал Обломов, привстав.

Пенкин вдруг смолк, видя, что действительно он далеко хватил.

— Вот вы прочтите, увидите сами, — добавил он уже без азарта.

— Нет, Пенкин, я не стану читать.

— Отчего ж? Это делает шум, об этом говорят...

— Да пускай их! Некоторым ведь больше нечего и делать, как только говорить. Есть такое призвание.

— Да хоть из любопытства прочтите.

— Чего я там не видал? — говорил Обломов. — Зачем это они пишут: только себя тешат...

— Как себя: верность-то, верность какая! До смеха похоже. Точно живые портреты. Как кого возьмут, купца ли, чиновника, офицера, будочника,[29] — точно живьем и отпечатают.

— Из чего же они бьются: из потехи, что вот кого ни возьмем, а верно и выйдет? А жизни-то и нет ни в чем: нет понимания ее и сочувствия, нет того, что там у вас называется гуманитетом. Одно самолюбие только. Изображают они воров, падших женщин, точно ловят их на улице да отводят в тюрьму. В их рассказе слышны не «невидимые слезы»,[30] а один только видимый, грубый смех, злость...

— Что ж еще нужно? И прекрасно, вы сами высказались: это кипучая злость — желчное гонение на порок, смех презрения над падшим человеком... тут все!

— Нет, не все! — вдруг воспламенившись, сказал Обломов. — Изобрази вора, падшую женщину, надутого глупца, да и человека тут же не забудь. Где же человечность-то? Вы одной головой хотите писать! — почти шипел Обломов. — Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нет, она оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему человеку, чтоб поднять его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не глумитесь. Любите его, помните в нем самого себя и обращайтесь с ним, как с собой, — тогда я стану вас читать и склоню перед вами голову. — сказал он, улегшись опять покойно на диване. — Изображают они вора, падшую женщину, — говорил он, — а человека-то забывают или не умеют изобразить. Какое же тут искусство, какие поэтические краски нашли вы? Обличайте разврат, грязь, только, пожалуйста, без претензии на поэзию.

— Что же, природу прикажете изображать: розы, соловья или морозное утро, между тем как все кипит, движется вокруг? Нам нужна одна голая физиология общества; не до песен нам теперь...

— Человека, человека давайте мне! — говорил Обломов, — любите его...

— Любить ростовщика, ханжу, ворующего или тупоумного чиновника — слышите? Что вы это? И видно, что вы не занимаетесь литературой! — горячился Пенкин. — Нет, их надо карать, извергнуть из гражданской среды, из общества...

— Извергнуть из гражданской среды! — вдруг заговорил вдохновенно Обломов, встав перед Пенкиным. — Это значит, забыть, что в этом негодном сосуде присутствовало высшее начало; что он испорченный человек, но все человек же, то есть вы сами.[31] Извергнуть! А как вы извергнете его из круга человечества, из лона природы, из милосердия божия? — почти крикнул он с пылавшими глазами.

— Вон куда хватили! — в свою очередь с изумлением сказал Пенкин.

Обломов увидел, что и он далеко хватил. Он вдруг смолк, постоял с минуту, зевнул и медленно лег на диван.

Оба погрузились в молчание.

— Что ж вы читаете? — спросил Пенкин.

— Я... да все путешествия больше.

Опять молчание.

— Так прочтете поэму, когда выйдет? Я бы принес.. — спросил Пенкин.

Обломов сделал отрицательный знак головой.

— Ну, я вам свой рассказ пришлю?

Обломов кивнул в знак согласия.

— Однако мне пора в типографию! — сказал Пенкин. — Я, знаете, зачем пришел к вам? Я хотел предложить вам ехать в Екатерингоф; у меня коляска. Мне завтра надо статью писать о гулянье: вместе бы наблюдать стали, чего бы не заметил я, вы бы сообщили мне; веселее бы было. Поедемте...

— Нет, нездоровится, — сказал Обломов, морщась и прикрываясь одеялом, — сырости боюсь, теперь еще не высохло. А вот вы бы сегодня обедать пришли: мы бы поговорили... У меня два несчастья...

— Нет, наша редакция вся у Сен-Жоржа сегодня,[32] оттуда и поедем на гулянье. А ночью писать и чем свет в типографию отсылать. До свидания.

— До свиданья, Пенкин.

«Ночью писать, — думал Обломов, — когда же спать-то? А поди, тысяч пять в год заработает! Это хлеб! Да писать-то все, тратить мысль, душу свою на мелочи, менять убеждения, торговать умом и воображением, насиловать свою натуру, волноваться, кипеть, гореть, не знать покоя и все куда-то двигаться... И все писать, все писать, как колесо, как машина: пиши завтра, послезавтра; праздник придет, лето настанет — а он все пиши? Когда же остановиться и отдохнуть? Несчастный!»

Он повернул голову к столу, где все было гладко, и чернила засохли и пера не видать, и радовался, что лежит он, беззаботен, как новорожденный младенец, что не разбрасывается, не продает ничего...

«А письмо старосты, а квартира?» — вдруг вспомнил он и задумался.

Но вот опять звонят.

«Что это сегодня за раут[33] у меня?» — сказал Обломов и ждал, кто войдет.

Вошел человек неопределенных лет, с неопределенной физиономией, в такой поре, когда трудно бывает угадать лета; не красив и не дурен, не высок и не низок ростом, не блондин и не брюнет. Природа не

дала ему никакой резкой, заметной черты, ни дурной, ни хорошей. Его многие называли Иваном Иванычем, другие — Иваном Васильичем, третьи — Иваном Михайлычем.

Фамилию его называли тоже различно: одни говорили, что он Иванов, другие звали Васильевым или Андреевым, третьи думали, что он Алексеев. Постороннему, который увидит его в первый раз, скажут имя его — тот забудет сейчас, и лицо забудет; что он скажет — не заметит. Присутствие его ничего не придаст обществу, так же как отсутствие ничего не отнимет от него. Остроумия, оригинальности и других особенностей, как особых примет на теле, в его уме нет.

Может быть, он умел бы по крайней мере рассказать все, что видел и слышал, и занять хоть этим других, но он нигде не бывал: как родился в Петербурге, так и не выезжал никуда; следовательно, видел и слышал то, что знали и другие.

Симпатичен ли такой человек? Любит ли, ненавидит ли, страдает ли? Должен бы, кажется, и любить, и не любить, и страдать, потому что никто не избавлен от этого. Но он как-то ухитряется всех любить. Есть такие люди, в которых, как ни бейся, не возбудишь никак духа вражды, мщения и т. п. Что ни делай с ними, они всё ласкаются. Хотя про таких людей говорят, что они любят всех и потому добры, а в сущности они никого не любят и добры потому только, что не злы.

Если при таком человеке подадут другие нищему милостыню — и он бросит ему свой грош, а если обругают, или прогонят, или посмеются — так и он обругает и посмеется с другими. Богатым его нельзя назвать, потому что он не богат, а скорее беден; но решительно бедным тоже не назовешь, потому, впрочем, только, что много есть беднее его.

Он имеет своего какого-то дохода рублей триста в год, сверх того он служит в какой-то неважной должности и получает неважное жалованье: нужды не терпит и денег ни у кого не занимает, а занять у него и подавно в голову никому не приходит.

В службе у него нет особенного постоянного занятия, потому что никак не могли заметить сослуживцы и начальники, что он делает хуже, что лучше, так, чтоб можно было определить, к чему он именно способен.

Едва ли кто-нибудь, кроме матери, заметил появление его на свет, очень немногие замечают его в течение жизни, но, верно, никто не заметит, как он исчезнет со света, никто не спросит, не пожалеет о нем, никто и не порадуется его смерти. У него нет ни врагов, ни друзей, но знакомых множество. Может быть, только похоронная процессия обратит на себя внимание прохожего, который почтит это неопределенное лицо в первый раз достающеюся ему почестью — глубоким поклоном; может быть, даже другой, любопытный, забежит вперед процессии узнать об имени покойника и тут же забудет его.

Весь этот Алексеев, Васильев, Андреев, или как хотите, есть какой-то неполный, безличный намек на людскую массу, глухое отзвучие, неясный ее отблеск.

Даже Захар, который в откровенных беседах, на сходках у ворот или в лавочке, делал резкую характеристику всех гостей, посещавших барина его, всегда затруднялся, когда очередь доходила до этого... положим хоть, Алексеева. Он долго думал, долго ловил какую-нибудь угловатую черту, за которую можно было бы уцепиться, в наружности, в манерах или в характере этого лица, наконец, махнув рукой, выражался так: «А у этого ни кожи, ни рожи, ни ведения!».

— А! — встретил его Обломов. — Это вы, Алексеев? Здравствуйте. Откуда? Не подходите, не подходите; я вам не дам руки: вы с холода!

— Что вы, какой холод! Я не думал к вам сегодня, — сказал Алексеев, — да Овчинин встретился и увез к себе. Я за вами, Илья Ильич.

— Куда это?

— К Овчинину, поедемте. Там Матвей Андреич Альянов, Казимир Альбертыч Пхайло, Василий Севастьяныч Колымягин.

— Что ж они там собрались и что им нужно от меня?

— Овчинин зовет вас обедать.

— Гм! Обедать.. — повторил Обломов монотонно.

— А потом все в Екатерингоф отправляются: они велели сказать, чтоб вы коляску наняли.

— А что там делать?

— Как же! Нынче там гулянье. Разве не знаете: сегодня первое мая?

— Посидите: мы подумаем... — сказал Обломов.

— Вставайте же! Пора одеваться.

— Погодите немного: ведь рано.

— Что за рано! Они просили в двенадцать часов; отобедаем пораньше, часа в два, да и на гулянье. Едемте же скорей! Велеть вам одеваться давать?

— Куда одеваться? Я еще не умылся.

— Так умывайтесь.

Алексеев стал ходить взад и вперед по комнате, потом остановился перед картиной, которую видел тысячу раз прежде, взглянул мельком в окно, взял какую-то вещь с этажерки, повертел в руках, посмотрел со всех сторон и положил опять, а там пошел опять ходить, посвистывая, — чтоб не мешать Обломову встать и умыться. Так прошло минут десять.

— Что ж вы? — вдруг спросил Алексеев Илью Ильича.

— Что?

— Да все лежите?

— А разве надо вставать?

— Как же! Нас дожидаются. Вы хотели ехать.

— Куда это ехать? Я не хотел ехать никуда...

— Вот, Илья Ильич, сейчас ведь говорили, что едем обедать к Овчинину, а потом в Екатерингоф...

— Это я по сырости поеду! И чего я там не видал? Вон дождь собирается, пасмурно на дворе, — лениво говорил Обломов.



Екатерингофское гулянье. Гравюра К. Гампельна. 1824 г.

— На небе ни облачка, а вы выдумали дождь. Пасмурно оттого, что у вас окошки-то с которых пор не мыты? Грязи-то, грязи на них! Зги божией не видно, да и одна штора почти совсем опущена.

— Да, вот подите-ка, заикнитесь об этом Захару, так он сейчас баб предложит да из дому погонит на целый день!

Обломов задумался, а Алексеев барабанил пальцами по столу, у которого сидел, рассеянно пробегая глазами по стенам и по потолку.

— Так как же нам? Что делать? Будете одеваться или останетесь так? — спросил он чрез несколько минут.

— Куда?

— А в Екатерингоф?..

— Дался вам этот Екатерингоф, право! — с досадой отозвался Обломов. — Не сидится вам здесь? Холодно, что ли, в комнате, или пахнет нехорошо, что вы так и смотрите вон?

— Нет, мне у вас всегда хорошо; я доволен, — сказал Алексеев.

— А если хорошо тут, так зачем и хотеть в другое место? Останьтесь-ка лучше у меня на целый день, отобедайте, а там вечером — бог с вами!.. Да, я и забыл: куда мне ехать! Тарантьев обедать придет: сегодня суббота.[34]

— Уж если оно так... я хорошо... как вы... — говорил Алексеев.

— А о делах своих я вам не говорил? — живо спросил Обломов.

— О каких делах? Не знаю, — сказал Алексеев, глядя на него во все глаза.

— Отчего я не встаю-то так долго? Ведь я вот тут лежал все да думал, как мне выпутаться из беды.

— Что такое? — спросил Алексеев, стараясь сделать испуганное лицо.

— Два несчастья! Не знаю, как и быть.

— Какие же?

— С квартиры гонят; вообразите — надо съезжать: ломки, возни... подумать страшно! Ведь восемь лет жил на квартире. Сыграл со мной штуку хозяин: «Съезжайте, говорит, поскорее».

— Еще поскорее! стало быть нужно. Это очень несносно — переезжать: с переездкой всегда хлопот много, — сказал Алексеев, — растеряют, перебьют — очень скучно! А у вас такая славная квартира... вы что платите?

— Где сыщешь другую этакую, — говорил Обломов, — и еще второпях? Квартира сухая, теплая; в доме смирно: обокрали всего один раз! Вон потолок, кажется и непрочен: штукатурка совсем отстала, — а все не валится.

— Скажите, пожалуйста! — говорил Алексеев, качая головой.

— Как бы это устроить, чтоб... не съезжать? — в раздумье, про себя рассуждал Обломов.

— Да у вас по контракту нанята квартира? — спросил Алексеев, оглядывая комнату с потолка до полу.

— Да, только срок контракту вышел; я все это время платил помесячно... не помню только, с которых пор.

Оба задумались.

— Как же вы полагаете? — спросил, после некоторого молчания, Алексеев, — съехать или оставаться?

— Никак не полагаю, — сказал Обломов, — мне и думать-то об этом не хочется. Пусть Захар что-нибудь придумает.

— А вот некоторые так любят переезжать, — сказал Алексеев, — в том только и удовольствие находят, как бы квартиру переменить...

— Ну, пусть эти «некоторые» и переезжают. А я терпеть не могу никаких перемен! Это еще что, квартира! А вот посмотрите, что староста пишет ко мне. Я вам сейчас покажу письмо... где оно? Захар. Захар!

«Ах ты, владычица небесная! — захрипел у себя Захар, прыгая с печки, — когда это бог приберет меня?»

Он вошел и мутно поглядел на барина.

— Что ж ты письмо не сыскал?

— А где я его сыщу? Разве я знаю, какое письмо вам нужно? Я не умею читать.

— Все равно поищи, — сказал Обломов.

— Вы сами какое-то письмо вчера вечером читали, — говорил Захар, — а после я не видал.

— Где же оно? — с досадой возразил Илья Ильич. — Я его не проглотил. Я очень хорошо помню, что ты взял у меня и куда-то вон туда положил. А то вот, где оно, смотри!

Он тряхнул одеялом: из складок его выпало на пол письмо.

— Вот вы этак все на меня!.. — Ну, ну, поди, поди! — в одно и то же время закричали друг на друга Обломов и Захар. Захар ушел, а Обломов начал читать письмо, писанное точно квасом, на серой бумаге, с печатью из бурого сургуча.

«Милостивый государь, — начал Обломов, — ваше благородие, отец наш и кормилец, Илья Ильич...»

Тут он пропустил несколько приветствий и пожеланий здоровья и продолжал с середины:

«Доношу твоей барской милости, что у тебя в вотчине, кормилец наш, все благополучно. Пятую неделю нет дождей: знать, прогневали господа бога, что нет дождей. Этакой засухи старики не запомнят: яровое так и палит, словно полымем. Озимь ино место червь сгубил, ино место ранние морозцы сгубили; перепахали было на яровое, да не знамо, уродится ли что? Авось, милосердый господь помилует твою барскую милость, а о себе не заботимся: пусть издохнем. А под Иванов день [35] еще три мужика ушли: Лаптев, Балочов, да особо ушел Васька, кузнецов сын. Я баб погнал по мужей; бабы те не воротились, а проживают, слышно, в Челках, а в Челки поехал кум мой из Верхлёва: управляющий послал его туда: соху, слышь, заморскую привезли, а управляющий послал кума в Челки оную соху посмотреть. Я наказывал куму о беглых мужиках проведать; исправнику кланялся,[36] сказал он: „Подай бумагу, и тогда будет исполнено, водворим крестьян ко дворам на место жительства“, и опричь того ничего не сказал, а я пал в ноги ему и слезно умолял; а он закричал благим матом: „Пошел, пошел! тебе сказано, что будет исполнено, — подай бумагу!“ А бумаги я не подал. А нанять здесь некого: все на Волгу, на работу на барки ушли — такой нынче глупый народ стал здесь, кормилец наш батюшка, Илья Ильич! Холста нашего сей год на ярмарке не будет: сушильню и белильню я запер на замок и Сычуга приставил денно и нощно смотреть: он тверезый мужик; да чтобы не стянул чего господского, я смотрю за ним денно и нощно. Другие больно пьют и просятся на оброк. В недоимках недобор: [37] нынешний год пошлем доходцу, батюшка ты наш, благодетель, тысящи яко две помене против того года, что прошел, только бы засуха не разорила вконец, а то вышлем, о чем твоей милости и предлагаем».

Затем следовали изъявления преданности и подпись: «Староста твой, всенижайший раб Прокофий Вытягушкин собственной рукой руку приложил». За неумением грамоте поставлен был крест. «А писал со слов оного старосты шурин его, Демка Кривой».

Обломов взглянул на конец письма.

— Месяца и года нет, — сказал он, — должно быть, письмо валялось у старосты с прошлого года; тут и Иванов день, и засуха! Когда опомнился!

Он задумался.[38]

— А? — продолжал он. — Каково вам покажется: предлагает «яко тысячи две по́мене»! Сколько же это останется? Сколько я прошлый

год получил? — спросил он, глядя на Алексеева. — Я не говорил вам тогда?

Алексеев обратил глаза к потолку и задумался.

— Надо Штольца спросить, как приедет, — продолжал Обломов, — кажется, тысяч семь, восемь... худо не записывать! Так он теперь сажает меня на шесть! Ведь я с голоду умру! Чем тут жить?

— Что ж так тревожиться, Илья Ильич? — сказал Алексеев. — Никогда не надо предаваться отчаянию: перемелется — мука будет.

— Да вы слышите, что он пишет? Чем бы денег прислать, утешить как-нибудь, а он, как на смех, только неприятности делает мне! И ведь всякий год! Вот я теперь сам не свой! «Тысящи яко две помене»!

— Да, большой убыток, — сказал Алексеев, — две тысячи — не шутка! Вот Алексей Логиныч, говорят, тоже получил нынешний год только двенадцать тысяч вместо семнадцати.

— Так двенадцать, а не шесть, — перебил Обломов. — Совсем расстроил меня староста! Если оно и в самом деле так: неурожай да засуха, так зачем огорчать заранее?

— Да... оно в самом деле... — начал Алексеев, — не следовало бы; но какой же деликатности ждать от мужика? Этот народ ничего не понимает.

— Ну, что бы вы сделали на моем месте? — спросил Обломов, глядя вопросительно на Алексеева, с слабой надеждой, авось не выдумает ли, чем бы успокоить.

— Надо подумать, Илья Ильич, нельзя вдруг решить, — сказал Алексеев.

— К губернатору, что ли, написать! — в раздумье говорил Илья Ильич.

— А кто у вас губернатор?

Илья Ильич не отвечал и задумался. Алексеев замолчал и тоже о чем-то размышлял.

Обломов, комкая письмо в руках, подпер голову руками, а локти упер в коленки и так сидел несколько времени, мучимый приливом беспокойных мыслей.

— Хоть бы Штольц скорей приехал! — сказал он. — Пишет, что скоро будет, а сам черт знает где шатается! Он бы все уладил.

Он опять пригорюнился. Долго молчали оба. Наконец Обломов очнулся первый.

— Вот тут что надо делать! — сказал он решительно и чуть было не встал с постели, — и делать как можно скорее, мешкать нечего... Во-первых...

В это время раздался отчаянный звонок в передней, так что Обломов с Алексеевым вздрогнули, а Захар мгновенно спрыгнул с лежанки.

III

— Дома? — громко и грубо кто-то спросил в передней.

— Куда об эту пору идти? — еще грубее отвечал Захар.

Вошел человек лет сорока, принадлежащий к крупной породе, высокий, объемистый в плечах и во всем туловище, с крупными чертами лица, с большой головой, с крепкой, коротенькой шеей, с большими навыкате глазами, толстогубый. Беглый взгляд на этого человека рождал идею о чем-то грубом и неопрятном. Видно было, что он не гонялся за изяществом костюма. Не всегда удавалось его видеть чисто обритым. Но ему, по-видимому, это было все равно; он не смущался от своего костюма и носил его с каким-то циническим достоинством.

Это был Михей Андреевич Тарантьев, земляк Обломова.

Тарантьев смотрел на все угрюмо, с полупрезрением, с явным недоброжелательством ко всему окружающему, готовый бранить все и всех на свете, как будто какой-нибудь обиженный несправедливостью или непризнанный в каком-то достоинстве, наконец как гонимый судьбою сильный характер, который недобровольно, неуныло покоряется ей.

Движения его были смелы и размашисты; говорил он громко, бойко и почти всегда сердито; если слушать в некотором отдалении, точно будто три пустые телеги едут по мосту. Никогда не стеснялся он ничьим присутствием и в карман за словом не ходил и вообще постоянно был груб в обращении со всеми, не исключая и приятелей, как будто давал чувствовать, что, заговаривая с человеком, даже обедая или ужиная у него, он делает ему большую честь.

Тарантьев был человек ума бойкого и хитрого; никто лучше его не рассудит какого-нибудь общего житейского вопроса или юридического запутанного дела: он сейчас построит теорию действий в том или другом случае и очень тонко подведет доказательства, а в заключение еще почти всегда нагрубит тому, кто с ним о чем-нибудь посоветуется.

Между тем сам как двадцать пять лет назад определился в какую-то канцелярию писцом, так в этой должности дожил до седых волос. Ни ему самому и никому другому и в голову не приходило, чтоб он пошел выше.

Дело в том, что Тарантьев мастер был только говорить; на словах он решал все ясно и легко, особенно что касалось других; но как только нужно было двинуть пальцем, тронуться с места — словом, применить им же созданную теорию к делу и дать ему практический ход, оказать распорядительность, быстроту, — он был совсем другой человек: тут его не хватало — ему вдруг и тяжело делалось, и нездоровилось, то неловко, то другое дело случится, за которое он тоже не примется, а если и примется, так не дай бог что выйдет. Точно ребенок: там недоглядит, тут не знает каких-нибудь пустяков, там опоздает и кончит тем, что бросит дело на половине или примется за него с конца, и так все изгадит, что и поправить никак нельзя, да еще он же потом и браниться станет.

Отец его, провинциальный подьячий старого времени,[1] назначал было сыну в наследство искусство и опытность хождения по чужим делам и свое ловко пройденное поприще служения в присутственном месте;[2]

но судьба распорядилась иначе. Отец, учившийся сам когда-то по-русски на медные деньги, не хотел, чтоб сын его отставал от времени, и пожелал поучить чему-нибудь, кроме мудреной науки хождения по делам.[3] Он года три посылал его к священнику учиться по-латыни.

Способный от природы мальчик в три года прошел латинскую грамматику и синтаксис и начал было разбирать Корнелия Непота,[4] но отец решил, что довольно и того, что он знал, что уж и эти познания дают ему огромное преимущество над старым поколением и что, наконец, дальнейшие занятия могут, пожалуй, повредить службе в присутственных местах.

Шестнадцатилетний Михей, не зная, что делать с своей латынью, стал в доме родителей забывать ее, но зато, в ожидании чести присутствовать в земском или уездном суде,[5] присутствовал пока на всех пирушках отца, и в этой-то школе, среди откровенных бесед, до тонкости развился ум молодого человека.

Он с юношескою впечатлительностью вслушивался в рассказы отца и товарищей его о разных гражданских и уголовных делах, о любопытных случаях, которые проходили через руки всех этих подьячих старого времени.

Но все это ни к чему не повело. Из Михея не выработался делец и крючкотворец,[6] хотя все старания отца и клонились к этому и, конечно, увенчались бы успехом, если б судьба не разрушила замыслов старика. Михей действительно усвоил себе всю теорию отцовских бесед, оставалось только применить ее к делу, но за смертью отца он не успел поступить в суд и был увезен в Петербург каким-то благодетелем, который нашел ему место писца в одном департаменте,[7] да потом и забыл о нем.

Так Тарантьев и остался только теоретиком на всю жизнь. В петербургской службе ему нечего было делать с своею латынью и с тонкой теорией вершить по своему произволу правые и неправые дела; а между тем он носил и сознавал в себе дремлющую силу, запертую в нем враждебными обстоятельствами навсегда, без надежды на проявление. Может быть, от этого сознания бесполезной силы в себе Тарантьев был груб в обращении, недоброжелателен, постоянно сердит и бранчив.

Он с горечью и презрением смотрел на свои настоящие занятия: на переписыванье бумаг, на подшиванье дел и т. п. Ему вдали улыбалась только одна последняя надежда: перейти служить по винным откупам.[8] На этой дороге он видел единственную выгодную замену поприща, завещанного ему отцом и не достигнутого. А в ожидании этого готовая и созданная ему отцом теория деятельности и жизни, теория взяток и лукавства, миновав главное и достойное ее поприще в провинции, применилась ко всем мелочам его ничтожного существования в Петербурге, вкралась во все его приятельские отношения за недостатком официальных.

Он был взяточник в душе, по теории, ухитрялся брать взятки, за неимением дел и просителей, с сослуживцев, с приятелей, бог знает как и за что — заставлял, где и кого только мог, то хитростью, то назойливостью, угощать себя, требовал от всех незаслуженного уважения, был

придирчив. Его никогда не смущал стыд за поношенное платье, но он не чужд был тревоги, если в перспективе дня не было у него громадного обеда, с приличным количеством вина и водки.

От этого он в кругу своих знакомых играл роль большой сторожевой собаки, которая лает на всех, не дает никому пошевелиться, но которая в то же время непременно схватит на лету кусок мяса, откуда и куда бы он ни летел.

Таковы были два самые усердные посетителя Обломова.

Зачем эти два русские пролетария[9] ходили к нему? Они очень хорошо знали зачем: пить, есть, курить хорошие сигары. Они находили теплый, покойный приют и всегда одинаково, если не радушный, то равнодушный прием.

Но зачем пускал их к себе Обломов — в этом он едва ли отдавал себе отчет. А кажется, затем, зачем еще о сю пору в наших отдаленных Обломовках, в каждом зажиточном доме толпится рой подобных лиц обоего пола, без хлеба, без ремесла, без рук для производительности и только с желудком для потребления,[10] но почти всегда с чином и званием.

Есть еще сибариты, которым необходимы такие дополнения в жизни: им скучно без лишнего на свете. Кто подаст куда-то запропастившуюся табакерку или поднимет упавший на пол платок? Кому можно пожаловаться на головную боль с правом на участие, рассказать дурной сон и потребовать истолкования? Кто почитает книжку на сон грядущий и поможет заснуть? А иногда такой пролетарий посылается в ближайший город за покупкой, поможет по хозяйству — не самим же мыкаться!

Тарантьев делал много шума, выводил Обломова из неподвижности и скуки. Он кричал, спорил и составлял род какого-то спектакля, избавляя ленивого барина самого от необходимости говорить и делать. В комнату, где царствовал сон и покой, Тарантьев приносил жизнь, движение, а иногда и вести извне. Обломов мог слушать, смотреть, не шевеля пальцем, на что-то бойкое, движущееся и говорящее перед ним. Кроме того, он еще имел простодушие верить, что Тарантьев в самом деле способен посоветовать ему что-нибудь путное.

Посещения Алексеева Обломов терпел по другой, не менее важной причине. Если он хотел жить по-своему, то есть лежать молча, дремать или ходить по комнате, Алексеева как будто не было тут: он тоже молчал, дремал или смотрел в книгу, разглядывал с ленивой зевотой до слез картинки и вещицы. Он мог так пробыть хоть трои сутки. Если же Обломову наскучивало быть одному и он чувствовал потребность выразиться, говорить, читать, рассуждать, проявить волнение, — тут был всегда покорный и готовый слушатель и участник, разделявший одинаково согласно и его молчание, и его разговор, и волнение, и образ мыслей, каков бы он ни был.

Другие гости заходили нечасто, на минуту, как первые три гостя; с ними со всеми все более и более порывались живые связи. Обломов иногда интересовался какою-нибудь новостью, пятиминутным разговором, потом, удовлетворенный этим, молчал. Им надо было платить взаимностью, принимать участие в том, что их интересовало. Они купались в людской толпе; всякий понимал жизнь по-своему, как не хотел

понимать ее Обломов, а они путали в нее и его: все это не нравилось ему, отталкивало его, было ему не по душе.

Был ему по сердцу один человек: тот тоже не давал ему покоя; он любил и новости, и свет, и науку, и всю жизнь, но как-то глубже, теплее, искреннее — и Обломов хотя был ласков со всеми, но любил искренно его одного, верил ему одному, может быть потому, что рос, учился и жил с ним вместе. Это Андрей Иванович Штольц.

Он был в отлучке, но Обломов ждал его с часу на час.

IV

— Здравствуй, земляк, — отрывисто сказал Тарантьев, протягивая мохнатую руку к Обломову. — Что ты это лежишь по сю пору, как колода?

— Не подходи, не подходи: ты с холода! — говорил Обломов, прикрываясь одеялом.

— Вот еще что выдумал, с холода! — заголосил Тарантьев. — Ну, ну, бери руку, коли дают! Скоро двенадцать часов, а он валяется!

Он хотел приподнять Обломова с постели, но тот предупредил его, опустив быстро ноги и сразу попал в обе туфли.

— Я сам сейчас хотел вставать, — сказал он, зевая.

— Знаю я, как встаешь: ты бы тут до обеда провалялся. Эй, Захар! Где ты там, старый дурак? Давай скорей одеваться барину.

— А вы заведите-ка прежде своего Захара, да и лайтесь тогда! — заговорил Захар, войдя в комнату и злобно поглядывая на Тарантьева. — Вон натоптали как, словно разносчик! — прибавил он.

— Ну, еще разговаривает, образина! — говорил Тарантьев и поднял ногу, чтоб сзади ударить проходившего мимо Захара; но Захар остановился, обернулся к нему и ощетинился.

— Только вот троньте! Что это такое? Я уйду... — сказал он, идучи назад к дверям.

— Да полно тебе, Михей Андреич, какой ты неугомонный! Ну, что ты его трогаешь? — сказал Обломов. — Давай, Захар, что нужно!

Захар воротился и, косясь на Тарантьева, проворно шмыгнул мимо его.

Обломов, облокотясь на него, нехотя, как очень утомленный человек, привстал с постели и, нехотя же перейдя на большое кресло, опустился в него и остался неподвижен, как сел.

Захар взял со столика помаду, гребенку и щетки, напомадил ему голову, сделал пробор и потом причесал его щеткой.

— Умываться теперь, что ли, будете? — спросил он.

— Немного погожу еще, — отвечал Обломов, — а ты поди себе.

— Ах, да и вы тут? — вдруг сказал Тарантьев, обращаясь к Алексееву в то время, как Захар причесывал Обломова. — Я вас и не видал. Зачем вы здесь? Что это ваш родственник какая свинья! Я вам все хотел сказать...

— Какой родственник? У меня никакого родственника нет, — робко отвечал оторопевший Алексеев, выпуча глаза на Тарантьева.

— Ну, вот этот, что еще служит тут, как его? Афанасьев зовут. Как же не родственник? — родственник.

— Да я не Афанасьев, я Алексеев, — сказал Алексеев, — у меня нет родственника.

— Вот еще не родственник! Такой же, как вы, невзрачный, и зовут тоже Васильем Николаичем.

— Ей-богу, не родня; меня зовут Иваном Алексеичем.

— Ну, все равно, похож на вас. Только он свинья; вы ему скажите это, как увидите.

— Я его не знаю, не видал никогда, — говорил Алексеев, открывая табакерку.

— Дайте-ка табаку! — сказал Тарантьев. — Да у вас простой, не французский? Так и есть, — сказал он, понюхав, — отчего не французский? — строго прибавил потом.

— Да, еще этакой свиньи я не видывал, как ваш родственник, — продолжал Тарантьев. — Взял я когда-то у него, уж года два будет, пятьдесят рублей взаймы. Ну, велики ли деньги пятьдесят рублей? Как, кажется, не забыть? Нет, помнит: через месяц, где ни встретит: «А что ж должок?» — говорит. Надоел! Мало того, вчера к нам в департамент пришел: «Верно, вы, говорит, жалованье получили, теперь можете отдать». Дал я ему жалованье: пошел при всех срамить, так он насилу двери нашел. «Бедный человек, самому надо!» Как будто мне не надо! Я что за богач, чтоб ему по пятидесяти рублей отваливать! Дай-ка, земляк, сигару.

— Сигары вон там, в коробочке, — отвечал Обломов, указывая на этажерку.

Он задумчиво сидел в креслах, в своей лениво-красивой позе, не замечая, что вокруг него делалось, не слушая, что говорилось. Он с любовью рассматривал и гладил свои маленькие, белые руки.

— Э! Да это все те же? — строго спросил Тарантьев, вынув сигару и поглядывая на Обломова.

— Да, те же, — отвечал Обломов машинально.

— А я говорил тебе, чтоб ты купил других, заграничных? Вот как ты помнишь, что тебе говорят! Смотри же, чтоб к следующей субботе непременно было, а то долго не приду. Вишь ведь, какая дрянь! — продолжал он, закурив сигару и пустив одно облако дыма на воздух, а другое втянув в себя. — Курить нельзя.

— Ты рано сегодня пришел, Михей Андреич, — сказал Обломов, зевая.

— Что ж, я надоел тебе, что ли?

— Нет, я так только заметил; ты обыкновенно к обеду прямо приходишь, а теперь только еще первый час.

— Я нарочно заранее пришел, чтоб узнать, какой обед будет. Ты все дрянью кормишь меня, так я вот узнаю, что-то ты велел готовить сегодня.

— Узнай там, на кухне, — сказал Обломов.

Тарантьев вышел.

— Помилуй! — сказал он, воротясь. — Говядина и телятина! Эх, брат

Обломов, не умеешь ты жить, а еще помещик! Какой ты барин? По-мещански живешь; не умеешь угостить приятеля! Ну, мадера куплена?

— Не знаю, спроси у Захара, — почти не слушая его, сказал Обломов, — там, верно, есть вино.

— Это прежняя-то, от немца? Нет, изволь в английском магазине купить.[1]

— Ну, и этой довольно, — сказал Обломов, — а то еще посылать!

— Дай деньги, я мимо пойду и принесу; мне еще надо кое-куда сходить.

Обломов порылся в ящике и вынул тогдашнюю красненькую десятирублевую бумажку.

— Мадера семь рублей стоит, — сказал Обломов, — а тут десять.

— Так дай всё: там дадут сдачи, не бойся!

Он выхватил из рук Обломова ассигнацию и проворно спрятал в карман.

— Ну, я пойду, — сказал Тарантьев, надевая шляпу, — а к пяти часам буду; мне надо кое-куда зайти: обещали место в питейной конторе,[2] так велели понаведаться... Да вот что, Илья Ильич: не наймешь ли ты коляску сегодня, в Екатерингоф ехать? И меня бы взял.

Обломов покачал головой в знак отрицания.

— Что, лень или денег жаль? Эх ты, мешок! — сказал он. — Ну, прощай пока...

— Постой, Михей Андреич, — прервал Обломов, — мне надо кое о чем посоветоваться с тобой.

— Что еще там? Говори скорей: мне некогда.

— Да вот на меня два несчастья вдруг обрушились. С квартиры гонят...

— Видно, не платишь: и поделом! — сказал Тарантьев и хотел идти.

— Поди ты! Я всегда вперед отдаю. Нет, тут хотят другую квартиру отделывать... Да постой! Куда ты? Научи, что делать: торопят, чрез неделю чтоб съехали...

— Что я за советник тебе достался?.. Напрасно ты воображаешь...

— Я совсем ничего не воображаю, — сказал Обломов, — не шуми и не кричи, а лучше подумай, что делать. Ты человек практический...

Тарантьев уже не слушал его и о чем-то размышлял.

— Ну, так и быть, благодари меня, — сказал он, снимая шляпу и садясь, — и вели к обеду подать шампанского: дело твое сделано.

— Что такое? — спросил Обломов.

— Шампанское будет?

— Пожалуй, если совет стоит...

— Нет, сам-то ты не стоишь совета. Что я тебе даром стану советовать? Вон спроси его, — прибавил он, указывая на Алексеева, — или у родственника его.

— Ну, ну, полно, говори! — просил Обломов.

— Вот что: завтра же изволь переезжать на квартиру...

— Э! Что придумал! Это я и сам знал...

— Постой, не перебивай! — закричал Тарантьев. — Завтра переезжай на квартиру к моей куме, на Выборгскую сторону...[3]

— Это что за новости? На Выборгскую сторону! Туда, говорят, зимой волки забегают.

— Случается, забегают с островов, да тебе что до этого за дело?

— Там скука, пустота, никого нет.

— Врешь! Там кума моя живет: у ней свой дом, с большими огородами. Она женщина благородная, вдова, с двумя детьми; с ней живет холостой брат: голова, не то, что вот эта, что тут в углу сидит, — сказал он, указывая на Алексеева, — нас с тобой за пояс заткнет!

— Что ж мне до всего до этого за дело? — сказал с нетерпением Обломов. — Я туда не перееду.

— А вот я посмотрю, как ты не переедешь. Нет, уж коли спросил совета, так слушайся, что говорят.

— Я не перееду, — решительно сказал Обломов.

— Ну, так черт с тобой! — отвечал Тарантьев, нахлобучив шляпу, и пошел к дверям.

— Сам ты подумай! к чему мне в глушь-то переезжать? разве нельзя здесь сыскать квартиру, уж если такая беда пришла...

— Чудак ты этакой! — воротясь, говорил он. — Что тебе здесь сладко кажется?

— Как что? От всего близко, — тут и магазины, и театр, и знакомые... центр города, всё...

— Что-о? — перебил Тарантьев. — А давно ли ты ходил со двора, скажи-ка? Давно ли ты был в театре? К каким знакомым ходишь ты? На кой черт тебе этот центр, позволь спросить!

— Ну как зачем? Мало ли зачем!

— Видишь, и сам не знаешь! А там, подумай: ты будешь жить у кумы моей, благородной женщины, в покое, тихо; никто тебя не тронет; ни шуму, ни гаму, чисто, опрятно. Посмотри-ка, ведь ты живешь точно на постоялом дворе, а еще барин, помещик! А там чистота, тишина; есть с кем и слово перемолвить, как соскучишься. Кроме меня, к тебе и ходить никто не будет. Двое ребятишек — играй с ними, сколько хочешь! Чего тебе? А выгода-то, выгода какая. Ты что здесь платишь?

— Полторы тысячи.

— А там тысячу рублей почти за целый дом! Да какие светленькие, славные комнаты! Она давно хотела тихого, аккуратного жильца иметь — вот я тебя и назначаю...

Обломов рассеянно покачал головой в знак отрицания.

— Врешь, переедешь! — сказал Тарантьев. — Ты рассуди, что тебе ведь это вдвое меньше станет: на одной квартире пятьсот рублей выгадаешь. Стол у тебя будет вдвое лучше и чище; ни кухарка, ни Захар воровать не будут...

В передней послышалось ворчанье.

— И порядка больше, — продолжал Тарантьев, — ведь теперь скверно за стол у тебя сесть! Хватишься перцу — нет, уксусу не куплено, ножи не чищены; белье, ты говоришь, пропадает, пыль везде — ну, мерзость!

А там женщина будет хозяйничать: ни тебе, ни твоему дураку, Захару...

Ворчанье в передней раздалось сильнее.

— Этому старому псу, — продолжал Тарантьев, — ни о чем и подумать не придется: на всем готовом будешь жить. Что тут размышлять? Переезжай да и конец...

— Как же это я вдруг, ни с того ни с сего, на Выборгскую сторону...

— Поди с ним! — говорил Тарантьев, отирая пот с лица. — Теперь лето: ведь это все равно, что дача. Что ты гниешь здесь, в Гороховой?.. Там Безбородкин сад,[4] Охта[5] под боком, Нева в двух шагах, свой огород — ни пыли, ни духоты! Нечего и думать: я сейчас же до обеда слетаю к ней — ты мне дай на извозчика, — и завтра же переезжать...

— Что это за человек! — сказал Обломов. — Вдруг выдумает черт знает что: на Выборгскую сторону... Это не мудрено выдумать. Нет, вот ты ухитрись выдумать, чтоб остаться здесь. Я восемь лет живу, так менять не хочется...

— Это кончено: ты переедешь. Я сейчас еду к куме, а про место в другой раз наведаюсь...

Он было пошел.

— Постой, постой! Куда ты? — остановил его Обломов. — У меня еще есть дело, поважнее. Посмотри, какое я письмо от старосты получил, да реши, что мне делать.

— Видишь, ведь ты какой уродился! — возразил Тарантьев. — Ничего не умеешь сам сделать. Все я да я! Ну, куда ты годишься? Не человек: просто солома!

— Где письмо? Захар, Захар! Опять он куда-то дел его! — говорил Обломов.

— Вот письмо старосты, — сказал Алексеев, взяв скомканное письмо.

— Да, вот оно, — повторил Обломов и начал читать вслух.

— Что ты скажешь? Как мне быть! — спросил, прочитав, Илья Ильич. — Засухи, недоимки...

— Пропащий, совсем пропащий человек! — говорил Тарантьев.

— Да отчего ж пропащий?

— Как же не пропащий?

— Ну, если пропащий, так скажи, что делать?

— А что за это?

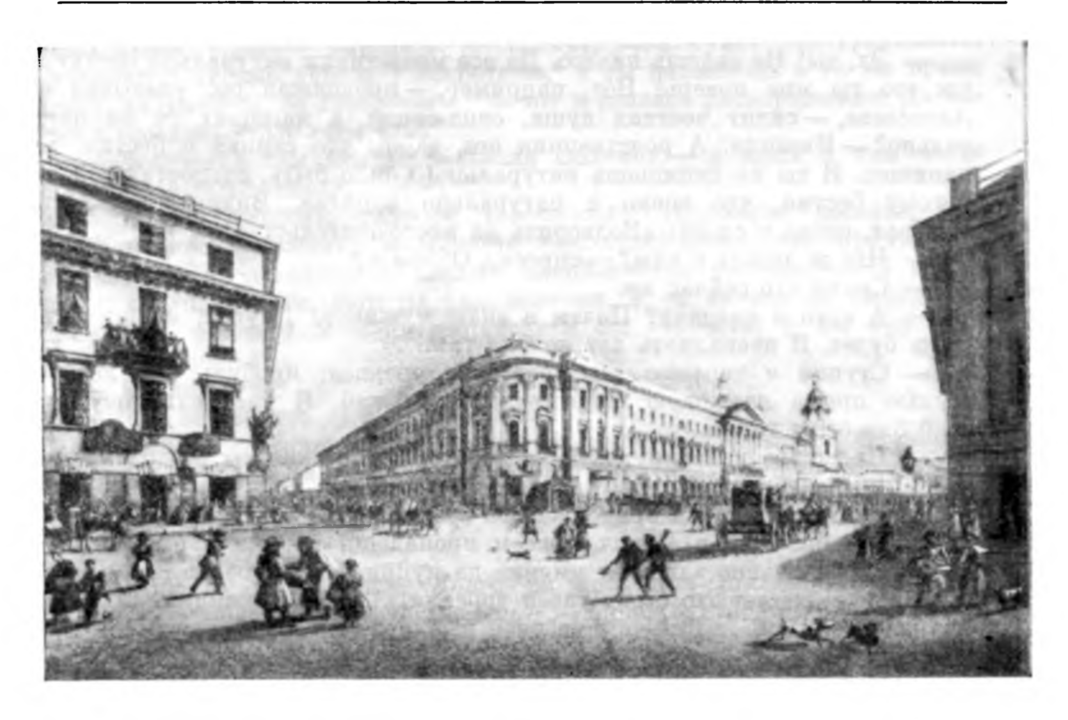
— Ведь сказано, будет шампанское: чего же еще тебе?

— Шампанское за отыскивание квартиры: ведь я тебя облагодетельствовал, а ты не чувствуешь этого, споришь еще; ты неблагодарен! Поди-ка сыщи сам квартиру! Да что квартира? Главное, спокойствие какое тебе будет: все равно как у родной сестры. Двое ребятишек, холостой брат, я всякий день буду заходить...

— Ну, хорошо, хорошо, — перебил Обломов, — ты вот теперь скажи, что мне с старостой делать?

— Нет, прибавь портер[6] к обеду, так скажу.

— Вот теперь портер: мало тебе...



Угол улиц Садовой и Гороховой (ныне ул. Дзержинского). Середина 1820-х годов.

— Ну, так прощай, — сказал Тарантьев, опять надевая шляпу.

— Ах ты, боже мой! Тут староста пишет, что дохода «тысящи две яко помене», а он портер набавил! Ну, хорошо, купи портеру.

— Дай еще денег! — сказал Тарантьев.

— Ведь у тебя останется сдача от красненькой?

— А на извозчика на Выборгскую сторону?

Обломов вынул еще целковый[7] и с досадой сунул ему.

— Староста твой мошенник, — вот что я тебе скажу, — начал Тарантьев, пряча целковый в карман, — а ты веришь ему, разиня рот. Видишь, какую песню поет! Засухи, неурожай, недоимки да мужики ушли. Врет, все врет! Я слышал, что в наших местах, в Шумиловой вотчине,[8] прошлогодним урожаем все долги уплатили, а у тебя вдруг засуха да неурожай. Шумиловское-то в пятидесяти верстах от тебя только: отчего ж там не сожгло хлеба? Выдумал еще недоимки! А он чего смотрел? Зачем запускал? Откуда это недоимки? Работы, что ли, или сбыта в нашей стороне нет? Ах он, разбойник! Да я бы его выучил! А мужики разошлись оттого, что сам же он, чай, содрал с них что-нибудь, да и распустил, а исправнику и не думал жаловаться.

— Не может быть, — говорил Обломов, — он даже и ответ исправника передает в письме — так натурально...

— Эх, ты! Не знаешь ничего. Да все мошенники натурально пишут — уж это ты мне поверь! Вот, например, — продолжал он, указывая на Алексеева, — сидит честная душа, овца-овцой, а напишет ли он натурально? — Никогда. А родственник его, даром что свинья и бестия, тот напишет. И ты не напишешь натурально! Стало быть, староста твой уж потому бестия, что ловко и натурально написал. Видишь ведь, как прибрал, слово к слову: «Водворить на место жительства».

— Что ж делать с ним? — спросил Обломов.

— Смени его сейчас же.

— А кого я назначу? Почем я знаю мужиков? Другой, может быть, хуже будет. Я двенадцать лет не был там.

— Ступай в деревню сам: без этого нельзя; пробудь там лето, а осенью прямо на новую квартиру и приезжай. Я уж похлопочу тут, чтоб она была готова.

— На новую квартиру, в деревню, самому! Какие ты всё отчаянные меры предлагаешь! — с неудовольствием сказал Обломов. — Нет чтоб избегнуть крайностей и придержаться средины...

— Ну, брат Илья Ильич, совсем пропадешь ты. Да я бы на твоем месте давным-давно заложил имение да купил бы другое или дом здесь, на хорошем месте: это стоит твоей деревни. А там заложил бы и дом да купил бы другой... Дай-ка мне твое имение, так обо мне услыхали бы в народе.

— Перестань хвастаться, а выдумай, как бы и с квартиры не съезжать, и в деревню не ехать, и чтоб дело сделалось... — заметил Обломов.

— Да сдвинешься ли ты когда-нибудь с места? — говорил Тарантьев. — Ведь погляди-ка ты на себя: куда ты годишься? Какая от тебя польза отечеству? Не может в деревню съездить!

— Теперь мне еще рано ехать, — прежде дай кончить план... Да знаешь ли что, Михей Андреич? — вдруг сказал Обломов. — Съезди-ка ты. Дело ты знаешь, места тебе тоже известны; а я бы не пожалел издержек.

— Я управитель, что ли, твой? — надменно возразил Тарантьев. — Да и отвык я с мужиками-то обращаться...

— Что делать? — сказал задумчиво Обломов. — Право, не знаю.

— Ну, напиши к исправнику: спроси его, говорил ли ему староста о шатающихся мужиках, — советовал Тарантьев, — да попроси заехать в деревню; потом к губернатору напиши, чтоб предписал исправнику донести о поведении старосты. «Примите, дескать, ваше превосходительство, отеческое участие и взгляните оком милосердия на неминуемое, угрожающее мне ужаснейшее несчастие, происходящее от буйственных поступков старосты, и крайнее разорение, коему я неминуемо должен подвергнуться, с женой и малолетними, остающимися без всякого призрения и куска хлеба, двенадцатью человеками детей...»

Обломов засмеялся.

— Откуда я наберу столько ребятишек, если попросят показать детей? — сказал он.

— Врешь, пиши: с двенадцатью человеками детей; оно проскользнет

мимо ушей, справок наводить не станут, зато будет «натурально»... Губернатор письмо передаст секретарю,[9] а ты напишешь в то же время и ему, разумеется, со вложением,[10] — тот и сделает распоряжение. Да попроси соседей: кто у тебя там?

— Добрынин там близко, — сказал Обломов, — я здесь с ним часто виделся; он там теперь.

— И ему напиши, попроси хорошенько: «Сделаете, дескать, мне этим кровное одолжение и обяжете как христианин, как приятель и как сосед». Да приложи к письму какой-нибудь петербургский гостинец... сигар, что ли. Вот ты как поступи, а то ничего не смыслишь. Пропащий человек! У меня наплясался бы староста: я бы ему дал! Когда туда почта?

— Послезавтра.

— Так вот садись да и пиши сейчас.

— Ведь послезавтра, так зачем же сейчас? — заметил Обломов. — Можно и завтра. Да послушай, Михей Андреич, — прибавил он, — уж доверши свои «благодеяния»: я, так и быть, еще прибавлю к обеду рыбу или птицу какую-нибудь.

— Что еще?

— Присядь да напиши. Долго ли тебе три письма настрочить? Ты так «натурально» рассказываешь... — прибавил он, стараясь скрыть улыбку, — а вон Иван Алексеич переписал бы...

— Э! Какие выдумки! — отвечал Тарантьев. — Чтоб я писать стал! Я и в должности третий день не пишу: как сяду, так слеза из левого глаза и начнет бить; видно, надуло, да и голова затекает, как нагнусь... Лентяй ты, лентяй! Пропадаешь, брат, Илья Ильич, ни за копейку!

— Ах, хоть бы Андрей поскорей приехал! — сказал Обломов. — Он бы все уладил...

— Вот нашел благодетеля! — прервал его Тарантьев. — Немец проклятый, шельма продувная!..

Тарантьев питал какое-то инстинктивное отвращение к иностранцам. В глазах его француз, немец, англичанин были синонимы мошенника, обманщика, хитреца или разбойника. Он даже не делал различия между нациями: они были все одинаковы в его глазах.

— Послушай, Михей Андреич, — строго заговорил Обломов, — я тебя просил быть воздержнее на язык, особенно о близком мне человеке...

— О близком человеке! — с ненавистью возразил Тарантьев. — Что он тебе за родня такая? Немец — известно.

— Ближе всякой родни: я вместе с ним рос, учился и не позволю дерзостей...

Тарантьев побагровел от злости.

— А! Если ты меняешь меня на немца, — сказал он, — так я к тебе больше ни ногой.

Он надел шляпу и пошел к двери. Обломов мгновенно смягчился.

— Тебе бы следовало уважать в нем моего приятеля и осторожнее отзываться о нем — вот все, чего я требую! Кажется, невелика услуга! — сказал он.

— Уважать немца? — с величайшим презрением сказал Тарантьев. — За что это?

— Я уж тебе сказал, хоть бы за то, что он вместе со мной рос и учился.

— Велика важность! Мало ли кто с кем учился!

— Вот если б он был здесь, так он давно бы избавил меня от всяких хлопот, не спросив ни портеру, ни шампанского... — сказал Обломов.

— А! Ты попрекаешь мне! Так черт с тобой и с твоим портером и шампанским! На, вот, возьми свои деньги... Куда я их положил? Вот совсем забыл, куда сунул проклятые!

Он вынул какую-то замасленную, исписанную бумажку.

— Нет, не они!.. — говорил он. Куда это я их положил?

Он шарил по карманам.

— Не трудись, не доставай! — сказал Обломов. — Я тебя не упрекаю, а только прошу отзываться приличнее о человеке, который так много сделал для меня...

— Много! — злобно возразил Тарантьев. — Вот постой, он еще больше сделает — ты слушай его!

— К чему ты это говоришь мне?

— А вот к тому, как ужо немец твой облупит тебя, так ты и будешь знать, как менять земляка, русского человека, на бродягу какого-то..

— Послушай, Михей Андреич... — начал Обломов.

— Нечего слушать-то, я слушал много, натерпелся от тебя горя! Бог видит, сколько обид перенес... Чай, в Саксонии отец его и хлеба-то не видал, а сюда нос поднимать приехал.

— За что ты мертвых тревожишь? Чем виноват отец?

— Виноваты оба, и отец и сын, — мрачно сказал Тарантьев, махнув рукой. — Недаром мой отец советовал беречься этих немцев, а уж он ли не знал всяких людей на своем веку!

— Чем же не нравится отец, например? — спросил Илья Ильич.

— А тем, что приехал в нашу губернию в одном сюртуке да в башмаках, а тут вдруг сыну наследство оставил — что это значит?

— Оставил он сыну наследства всего тысяч сорок. Кое-что он взял в приданое за женой, а остальные приобрел тем, что учил детей да управлял имением: хорошее жалова́нье получал. Видишь, что отец не виноват. Чем же теперь виноват сын?

— Хорош мальчик! Вдруг из отцовских сорока сделал тысяч триста капиталу, и в службе за надворного перевалился,[11] и ученый... теперь вон еще путешествует! Пострел везде поспел! Разве настоящий хороший русский человек станет все это делать? Русский человек выберет что-нибудь одно, да и то еще не спеша, потихоньку да полегоньку, кое-как, а то на-ко, поди! Добро бы в откупа вступил [12] — ну, понятно, отчего разбогател; а то ничего, так, на фу-фу! Нечисто! Я бы под суд этаких! Вот теперь шатается черт знает где! — продолжал Тарантьев. — Зачем он шатается по чужим землям?

— Учиться хочет, все видеть, знать.

— Учиться! Мало еще учили его? Чему это? Врет он, не верь ему: он тебя в глаза обманывает, как твой староста. Слышите, что рассказывает? Станет надворный советник учиться! Вот ты учился в школе, а разве теперь учишься? А он разве (он указал на Алексеева) учится? А родственник его учится? Кто из добрых людей учится? Что он там, в немецкой школе, что ли, сидит да уроки учит? Врет он! Я слышал, он какую-то машину поехал смотреть да заказывать: видно, тиски для русских денег! [13] Я бы его в острог... Акции какие-то... Ох, эти мне акции, так душу и мутят! [14]

Обломов расхохотался.

— Что зубы-то скалишь? Не правду, что ли, я говорю? — сказал Тарантьев.

— Ну, оставим это! — прервал его Илья Ильич. — Ты иди с богом, куда хотел, а я вот с Иваном Алексеевичем напишу все эти письма да постараюсь поскорей набросать на бумагу план: уж кстати заодно делать...

Тарантьев ушел было в переднюю, но вдруг воротился опять.

— Забыл совсем! Шел к тебе за делом с утра, — начал он, уж вовсе не грубо. — Завтра звали меня на свадьбу: Рокотов женится. Дай, земляк, своего фрака надеть; мой-то, видишь ты, пообтерся немного...

— Как же можно! — сказал Обломов, хмурясь при этом новом требовании. — Мой фрак тебе не впору...

— Впору; вот не впору! — перебил Тарантьев. — А помнишь, я примеривал твой сюртук: как на меня сшит! Захар, Захар! Поди-ка сюда, старая скотина!

Захар зарычал, как медведь, но не шел.

— Позови его, Илья Ильич. Что это он у тебя какой? — жаловался Тарантьев.

— Захар! — кликнул Обломов.

— О, чтоб вас там! — раздалось в передней вместе с прыжком ног с лежанки.

— Ну, чего вам? — спросил он, обращаясь к Тарантьеву.

— Дай сюда мой черный фрак! — приказывал Илья Ильич. — Вот Михей Андреич примерит, не впору ли ему: завтра ему на свадьбу надо...

— Не дам фрака, — решительно сказал Захар.

— Как ты смеешь, когда барин приказывает? — закричал Тарантьев. — Что ты, Илья Ильич, его в смирительный дом не отправишь? [15]

— Да, вот этого еще недоставало: старика в смирительный дом! Дай, Захар, фрак, не упрямься!

— Не дам! — холодно отвечал Захар. — Пусть прежде они принесут назад жилет да нашу рубашку: пятый месяц гостит там. Взяли вот этак же на именины, да и поминай как звали. Не дам фрака!

— Ну, прощайте! Черт с вами пока! — с сердцем заключил Тарантьев, уходя и грозя Захару кулаком. — Смотри же, Илья Ильич, я найму тебе квартиру — слышишь ты? — прибавил он.

— Ну, хорошо, хорошо! — с нетерпением говорил Обломов, чтоб только отвязаться от него.

— А ты напиши тут, что нужно, — продолжал Тарантьев, — да не забудь написать губернатору, что у тебя двенадцать человек детей, «мал мала меньше». А в пять часов чтоб суп был на столе! Да что ты не велел пирога сделать?

Но Обломов молчал; он давно уж не слушал его и, закрыв глаза, думал о чем-то другом.

С уходом Тарантьева в комнате водворилась ненарушимая тишина минут на десять. Обломов был расстроен и письмом старосты, и предстоящим переездом на квартиру, и отчасти утомлен трескотней Тарантьева. Наконец он вздохнул.

— Что ж вы не пишете? — тихо спросил Алексеев. — Я бы вам перышко очинил.

— Очините, да и бог с вами, подите куда-нибудь! — сказал Обломов. — Я уж один займусь, а вы после обеда перепишете.

— Очень хорошо-с, — отвечал Алексеев. — В самом деле, еще помешаю как-нибудь... А я пойду пока скажу, чтоб нас не ждали в Екатерингоф. Прощайте, Илья Ильич.

Но Илья Ильич не слушал его: он, подобрав ноги под себя, почти улегся в кресло и, подгорюнившись, погрузился не то в дремоту, не то в задумчивость.[16]

V

Обломов, дворянин родом, коллежский секретарь чином,[1] безвыездно живет двенадцатый год в Петербурге.

Сначала, при жизни родителей, он жил потеснее, помещался в двух комнатах, довольствовался только вывезенным им из деревни слугой Захаром; но по смерти отца и матери он стал единственным обладателем трехсот пятидесяти душ, доставшихся ему в наследство в одной из отдаленных губерний, чуть не в Азии.

Он вместо пяти получал уже от семи до десяти тысяч рублей ассигнациями[2] дохода; тогда и жизнь его приняла другие, более широкие размеры. Он нанял квартиру побольше, прибавил к своему штату еще повара и завел было пару лошадей.

Тогда еще он был молод, и если нельзя сказать, чтоб он был жив, то по крайней мере живее, чем теперь; еще он был полон разных стремлений, все чего-то надеялся, ждал многого и от судьбы, и от самого себя; все готовился к поприщу, к роли — прежде всего, разумеется, в службе, что и было целью его приезда в Петербург. Потом он думал и о роли в обществе; наконец, в отдаленной перспективе, на повороте с юности к зрелым летам, воображению его мелькало и улыбалось семейное счастие.

Но дни шли за днями, года сменялись годами, пушок обратился в жесткую бороду, лучи глаз сменились двумя тусклыми точками, талия округлилась, волосы стали немилосердно лезть, стукнуло тридцать лет,

а он ни на шаг не подвинулся ни на каком поприще и все еще стоял у порога своей арены, там же, где был десять лет назад.

Жизнь в его глазах разделялась на две половины: одна состояла из труда и скуки — это у него были синонимы; другая — из покоя и мирного веселья. От этого главное поприще — служба на первых порах озадачила его самым неприятным образом.

Воспитанный в недрах провинции, среди кротких и теплых нравов и обычаев родины, переходя в течение двадцати лет из объятий в объятия родных, друзей и знакомых, он до того был проникнут семейным началом, что и будущая служба представлялась ему в виде какого-то семейного занятия, вроде, например, ленивого записыванья в тетрадку прихода и расхода, как делывал его отец.

Он полагал, что чиновники одного места составляли между собою дружную, тесную семью, неусыпно пекущуюся о взаимном спокойствии и удовольствиях, что посещение присутственного места отнюдь не есть обязательная привычка, которой надо придерживаться ежедневно, и что слякоть, жара или просто нерасположение всегда будут служить достаточными и законными предлогами к нехождению в должность.

Но как огорчился он, когда увидел, что надобно быть по крайней мере землетрясению, чтоб не прийти здоровому чиновнику на службу, а землетрясений, как на грех, в Петербурге не бывает; наводнение, конечно, могло бы тоже служить преградой, но и то редко бывает.

Еще более призадумался Обломов, когда замелькали у него в глазах пакеты с надписью *нужное* и *весьма нужное*, когда его заставляли делать разные справки, выписки, рыться в делах, писать тетради в два пальца толщиной, которые, точно на смех, называли *записками*; притом всё требовали скоро, все куда-то торопились, ни на чем не останавливались: не успеют спустить с рук одно дело, как уж опять с яростью хватаются за другое, как будто в нем вся сила и есть, а кончив, забудут его и кидаются на третье — и конца этому никогда нет!

Раза два его поднимали ночью и заставляли писать «записки», несколько раз добывали посредством курьера из гостей — все по поводу этих же записок. Все это навело на него страх и скуку великую. «Когда же жить? жить?» — твердил он в тоске.

О начальнике он слыхал у себя дома, что это отец подчиненных, и потому составил себе самое смеющееся, самое семейное понятие об этом лице. Он его представлял себе чем-то вроде второго отца, который только и дышит тем, как бы за дело и не за дело, сплошь да рядом, награждать своих подчиненных и заботиться не только о их нуждах, но и об удовольствиях.

Илья Ильич думал, что начальник до того входит в положение своего подчиненного, что заботливо расспросит его: каково он почивал ночью, отчего у него мутны глаза и не болит ли голова?

Но он жестоко разочаровался в первый же день своей службы. С приездом начальника начиналась беготня, суета, все смущались, все сбивали друг друга с ног, иные обдергивались, опасаясь, что они не довольно хороши как есть, чтоб показаться начальнику.

Это происходило, как заметил Обломов впоследствии, оттого, что есть такие начальники, которые в испуганном до одурения лице подчиненного, выскочившего к ним навстречу, видят не только почтение к себе, но даже и ревность, а иногда и способности к службе.

Илье Ильичу не нужно было пугаться так своего начальника, доброго и приятного в обхождении человека: он никогда никому дурного не сделал, подчиненные были как нельзя более довольны и не желали лучшего. Никто никогда не слыхал от него неприятного слова, ни крика, ни шуму; он никогда ничего не требует, а все просит. Дело сделать — просит, в гости к себе — просит и под арест сесть — просит. Он никогда никому не сказал *ты*; всем *вы*: и одному чиновнику, и всем вместе.

Но все подчиненные чего-то робели в присутствии начальника; они на его ласковый вопрос отвечали не своим, а каким-то другим голосом, каким с прочими не говорили.

И Илья Ильич вдруг робел, сам не зная отчего, когда начальник входил в комнату, и у него стал пропадать свой голос и являлся какой-то другой, тоненький и гадкий, как скоро заговаривал с ним начальник.

Исстрадался Илья Ильич от страха и тоски на службе даже и при добром, снисходительном начальнике. Бог знает что сталось бы с ним, если б он попался к строгому и взыскательному!

Обломов прослужил кое-как года два; может быть, он дотянул бы и третий, до получения чина,[3] но особенный случай заставил его ранее покинуть службу.

Он отправил однажды какую-то нужную бума́гу вместо Астрахани в Архангельск. Дело объяснилось; стали отыскивать виноватого.

Все другие с любопытством ждали, как начальник позовет Обломова, как холодно и покойно спросит, «он ли это отослал бумагу в Архангельск», и все недоумевали, каким голосом ответит ему Илья Ильич. Некоторые полагали, что он вовсе не ответит: не сможет.

Глядя на других, Илья Ильич и сам перепугался, хотя и он, и все прочие знали, что начальник ограничится замечанием; но собственная совесть была гораздо строже выговора.

Обломов не дождался заслуженной кары, ушел домой и прислал медицинское свидетельство.

В этом свидетельстве сказано было: «Я, нижеподписавшийся, свидетельствую, с приложением своей печати, что коллежский секретарь Илья Обломов одержим *отолщением сердца с расширением левого желудочка оного* (Hypertrophia cordis cum dilatatione ejus ventriculi sinistri), а равно хроническою болью в печени (hepatitis), угрожающею опасным развитием здоровью и жизни больного, каковые припадки происходят, как надо полагать, от ежедневного хождения в должность. Посему, в предотвращение повторения и усиления болезненных припадков, я считаю за нужное прекратить на время г. Обломову хождение на службу и вообще предписываю воздержание от умственного занятия и всякой деятельности».[4]

Но это помогло только на время: надо же было выздороветь, — а за



Невский проспект. Участок от Малой Миллионной (ныне ул. Герцена) до Полицейского (ныне Народного) моста. 1830—1835 гг.

этим в перспективе было опять ежедневное хождение в должность. Обломов не вынес и подал в отставку. Так кончилась — и потом уже не возобновлялась — его государственная деятельность.

Роль в обществе удалась было ему лучше.

В первые годы пребывания в Петербурге, в его ранние, молодые годы, покойные черты лица его оживлялись чаще, глаза подолгу сияли огнем жизни, из них лились лучи света, надежды, силы. Он волновался, как и все, надеялся, радовался пустякам и от пустяков же страдал.

Но это все было давно, еще в ту нежную пору, когда человек во всяком другом человеке предполагает искреннего друга и влюбляется почти во всякую женщину и всякой готов предложить руку и сердце, что иным даже и удается совершить, часто к великому прискорбию потом на всю остальную жизнь.

В эти блаженные дни на долю Ильи Ильича тоже выпало немало мягких, бархатных, даже страстных взглядов из толпы красавиц, пропасть многообещающих улыбок, два-три непривилегированные поцелуя и еще больше дружеских рукожатий, с болью до слез.

Впрочем, он никогда не отдавался в плен красавицам, никогда не был их рабом, даже очень прилежным поклонником, уже и потому, что к сближению с женщинами ведут большие хлопоты. Обломов чаще ограничивался поклонением им издали, на почтительном расстоянии.

Редко судьба сталкивала его с женщиною в обществе до такой степени, чтоб он мог вспыхнуть на несколько дней и почесть себя влюбленным. От этого его любовные отношения не разыгрывались в романы: они останавливались в самом начале и своею невинностью, простотой и чистотой не уступали любви какой-нибудь пансионерки на возрасте.

Пуще всего он бегал тех бледных, печальных дев, большею частию с черными глазами, в которых светятся «мучительные дни и неправедные ночи»,[5] дев с не ведомыми никому скорбями и радостями, с синевой под глазами, дев, у которых всегда есть что-то вверить, сказать, и когда надо сказать, они вздрагивают, заливаются внезапными слезами, потом вдруг обовьют шею друга руками, долго смотрят в глаза, потом на небо, говорят, что жизнь их обречена проклятию, и иногда падают в обморок. Он с боязнью обходил их. Душа его была еще чиста и девственна; она, может быть, ждала своей любви, своей поры, своей патетической страсти, а потом, с годами, кажется, перестала ждать и отчаялась.

Илья Ильич еще холоднее простился с толпой друзей. Тотчас после первого письма старосты о недоимках и неурожае заменил он первого своего друга, повара, кухаркой, потом продал лошадей и, наконец, отпустил прочих «друзей».

Его почти ничто не влекло из дома, и он с каждым днем все крепче и постояннее водворялся в своей квартире.

Сначала ему тяжело стало пробыть целый день одетым, потом он ленился обедать в гостях, кроме коротко знакомых, больше холостых домов, где можно снять галстук, расстегнуть жилет и где можно даже «поваляться» или соснуть часок.

Вскоре и вечера надоели ему: надо надевать фрак, каждый день бриться.

Вычитал он где-то, что только утренние испарения полезны, а вечерние вредны, и стал бояться сырости.

Несмотря на все эти причуды, другу его, Штольцу, удавалось вытаскивать его в люди; но Штольц часто отлучался из Петербурга в Москву, в Нижний,[6] в Крым, а потом и за границу — и без него Обломов опять ввергался весь по уши в свое одиночество и уединение, из которого могло его вывести только что-нибудь необыкновенное, выходящее из ряда ежедневных явлений жизни; но подобного ничего не было и не предвиделось впереди.

Ко всему этому с летами возвратилась какая-то ребяческая робость, ожидание опасности и зла от всего, что не встречалось в сфере его ежедневного быта, — следствие отвычки от разнообразных внешних явлений.

Его не пугала, например, трещина потолка в его спальне: он к ней привык; не приходило ему тоже в голову, что вечно спертый воздух в комнате и постоянное сиденье взаперти чуть ли не губительнее для здоровья, нежели ночная сырость; что переполнять ежедневно желудок есть своего рода постепенное самоубийство; но он к этому привык и не пугался.

Он не привык к движению, к жизни, к многолюдству и суете.

В тесной толпе ему было душно; в лодку он садился с неверною надеждою добраться благополучно до другого берега, в карете ехал, ожидая, что лошади понесут и разобьют.

Не то на него нападал нервический страх: он пугался окружающей

его тишины или просто и сам не знал чего — у него побегут мурашки по телу. Он иногда боязливо косится на темный угол, ожидая, что воображение сыграет с ним штуку и покажет сверхъестественное явление.

Так разыгралась роль его в обществе. Лениво махнул он рукой на все юношеские обманувшие его или обманутые им надежды, все нежно-грустные, светлые воспоминания, от которых у иных и под старость бьется сердце.

VI

Что ж он делал дома? Читал? Писал? Учился?

Да: если попадется под руки книга, газета, он ее прочтет.

Услышит о каком-нибудь замечательном произведении — у него явится позыв познакомиться с ним; он ищет, просит книги, и если принесут скоро, он примется за нее, у него начнет формироваться идея о предмете; еще шаг — и он овладел бы им, а посмотришь, он уже лежит, глядя апатически в потолок, и книга лежит подле него недочитанная, непонятая.

Охлаждение овладевало им еще быстрее, нежели увлечение: он уже никогда не возвращался к покинутой книге.

Между тем он учился, как и другие, как все, то есть до пятнадцати лет в пансионе;[1] потом старики Обломовы, после долгой борьбы, решились послать Илюшу в Москву, где он волей-неволей проследил курс наук до конца.

Робкий, апатический характер мешал ему обнаруживать вполне свою лень и капризы в чужих людях, в школе, где не делали исключений в пользу балованых сынков. Он по необходимости сидел в классе прямо, слушал, что говорили учителя, потому что другого ничего делать было нельзя, и с трудом, с пóтом, со вздохами выучивал задаваемые ему уроки.

Дальше той строки, под которой учитель, задавая урок, проводил ногтем черту, он не заглядывал, расспросов никаких ему не делал и пояснений не требовал. Он довольствовался тем, что написано в тетрадке, и докучливого любопытства не обнаруживал, даже когда и не все понимал, что слушал и учил.

Если ему кое-как удавалось одолеть книгу, называемую статистикой, историей, политической экономией, он совершенно был доволен.

Когда же Штольц приносил ему книги, какие надо еще прочесть сверх выученного, Обломов долго глядел молча на него.

«И ты, Брут, против меня!»[2] — говорил он со вздохом, принимаясь за книги.

Неестественно и тяжело ему казалось такое неумеренное чтение.

Зачем же все эти тетрадки, на которые изведешь пропасть бумаги, времени и чернил? Зачем учебные книги? Зачем же, наконец, шесть-семь лет затворничества, все строгости, взыскания, сиденье и томленье над уроками, запрет бегать, шалить, веселиться, когда еще не все кончено?

«Когда же жить? — спрашивал он опять самого себя. — Когда же, наконец, пускать в оборот этот капитал знаний, из которых большая часть еще ни на что не понадобится в жизни? Политическая экономия, например, алгебра, геометрия — что я стану с ними делать в Обломовке?»

И сама история только в тоску повергает: учишь, читаешь, что вот-де настала година бедствий, несчастлив человек; вот собирается с силами, работает, гомозится,[3] страшно терпит и трудится, все готовит ясные дни. Вот настали они — тут бы хоть сама история отдохнула: нет, опять появились тучи, опять здание рухнуло, опять работать, гомозиться... Не остановятся ясные дни, бегут — и все течет жизнь, все течет, все ломка да ломка.

Серьезное чтение утомляло его. Мыслителям не удалось расшевелить в нем жажду к умозрительным истинам.

Зато поэты задели его за живое: он стал юношей, как все. И для него настал счастливый, никому не изменяющий, всем улыбающийся момент жизни, расцветания сил, надежд на бытие, желания блага, доблести, деятельности, эпоха сильного биения сердца, пульса, трепета, восторженных речей и сладких слез. Ум и сердце просветлели: он стряхнул дремоту, душа запросила деятельности.

Штольц помог ему продлить этот момент, сколько возможно было для такой натуры, какова была натура его друга. Он поймал Обломова на поэтах и года полтора держал его под ферулой мысли и науки.[4]

Пользуясь восторженным полетом молодой мечты, он в чтение поэтов вставлял другие цели, кроме наслаждения, строже указывал вдали пути своей и его жизни и увлекал в будущее. Оба волновались, плакали, давали друг другу торжественные обещания идти разумною и светлой дорогой.

Юношеский жар Штольца заражал Обломова, и он сгорал от жажды труда, далекой, но обаятельной цели.

Но цвет жизни распустился и не дал плодов.[5] Обломов отрезвился и только изредка, по указанию Штольца, пожалуй, и прочитывал ту или другую книгу, но не вдруг, не торопясь, без жадности, а лениво пробегал глазами по строкам.

Как ни интересно было место, на котором он останавливался, но если на этом месте заставал его час обеда или сна, он клал книгу переплетом вверх и шел обедать или гасил свечку и ложился спать.

Если давали ему первый том, он по прочтении не просил второго, а приносили — он медленно прочитывал.

Потом уж он не осиливал и первого тома, а большую часть свободного времени проводил, положив локоть на стол, а на локоть голову; иногда вместо локтя употреблял ту книгу, которую Штольц навязывал ему прочесть.

Так совершил свое ученое поприще Обломов. То число, в которое он выслушал последнюю лекцию, и было геркулесовыми столпами его учености. Начальник заведения подписью своею на аттестате, как прежде учитель ногтем на книге, провел черту, за которую герой наш не считал уже нужным простирать свои ученые стремления.

Голова его представляла сложный архив мертвых дел, лиц, эпох,

цифр, религий, ничем не связанных политико-экономических, математических или других истин, задач, положений и т. п.

Это была библиотека, состоящая из одних разрозненных томов по всем частям знаний.

Странно подействовало ученье на Илью Ильича: у него между наукой и жизнью лежала целая бездна, которой он не пытался перейти. Жизнь у него была сама по себе, а наука сама по себе.

Он учился всем существующим и давно не существующим правам, прошел курс и практического судопроизводства,[6] а когда, по случаю какой-то покражи в доме, понадобилось написать бумагу в полицию, он взял лист бумаги, перо, думал, думал, да и послал за писарем.

Счеты в деревне сводил староста. «Что ж тут было делать науке?» — рассуждал он в недоумении.

Он воротился в свое уединение без груза знаний, которые бы могли дать направление вольно гуляющей в голове или праздно дремлющей мысли.

Что ж он делал? Да все продолжал чертить узор собственной жизни. В ней он, не без основания, находил столько премудрости и поэзии, что и не исчерпаешь никогда и без книг и учености.

Изменив службе и обществу, он начал иначе решать задачу своего существования, вдумывался в своё назначение и, наконец, открыл, что горизонт его деятельности и житья-бытья кроется в нем самом.

Он понял, что ему досталось в удел семейное счастье и заботы об имении. До тех пор он и не знал порядочно своих дел: за него заботился иногда Штольц. Не ведал он хорошенько ни дохода, ни расхода своего, не составлял никогда бюджета — ничего.

Старик Обломов как принял имение от отца, так передал его и сыну. Он хотя и жил весь век в деревне, но не мудрил, не ломал себе головы над разными затеями, как это делают нынешние: как бы там открыть какие-нибудь новые источники производительности земель[7] или распространять и усиливать старые и т. п. Как и чем засевались поля при дедушке, какие были пути сбыта полевых продуктов тогда, такие остались и при нем.

Впрочем, старик бывал очень доволен, если хороший урожай или возвышенная цена даст дохода больше прошлогоднего: он называл это благословением божиим. Он только не любил выдумок и натяжек к приобретению денег.

«Бог даст, будем сыты!» — говорил он.

Илья Ильич уж был не в отца и не в деда. Он учился, жил в свете: все это наводило его на разные чуждые им соображения. Он понимал, что приобретение не только не грех, но что долг всякого гражданина частными трудами поддерживать общее благосостояние.

От этого большую часть узора жизни, который он чертил в своем уединении, занимал новый, свежий, сообразный с потребностями времени план устройства имения и управления крестьянами.

Основная идея плана, расположение, главные части — все давно готово у него в голове; остались только подробности, сметы и цифры.

Он несколько лет неутомимо работает над планом, думает, размышляет и ходя, и лежа, и дома, и в людях; то дополняет, то изменяет разные статьи, то возобновляет в памяти придуманное вчера и забытое ночью; а иногда вдруг, как молния, сверкнет новая, неожиданная мысль и закипит в голове — и пойдет работа.

Он не какой-нибудь мелкий исполнитель чужой, готовой мысли; он сам творец и сам исполнитель своих идей.

Он, как встанет утром с постели, после чая ляжет тотчас на диван, подопрет голову рукой и обдумывает, не щадя сил, до тех пор, пока наконец голова утомится от тяжелой работы и когда совесть скажет: довольно сделано сегодня для общего блага.

Освободясь от деловых забот, Обломов любил уходить в себя и жить в созданном им мире.

Ему доступны были наслаждения высоких помыслов; он не чужд был всеобщих человеческих скорбей. Он горько в глубине души плакал в иную пору над бедствиями человечества, испытывал безвестные, безыменные страдания, и тоску, и стремления куда-то вдаль, туда, вероятно, в тот мир, куда увлекал его, бывало, Штольц...

Сладкие слезы потекут по щекам его...

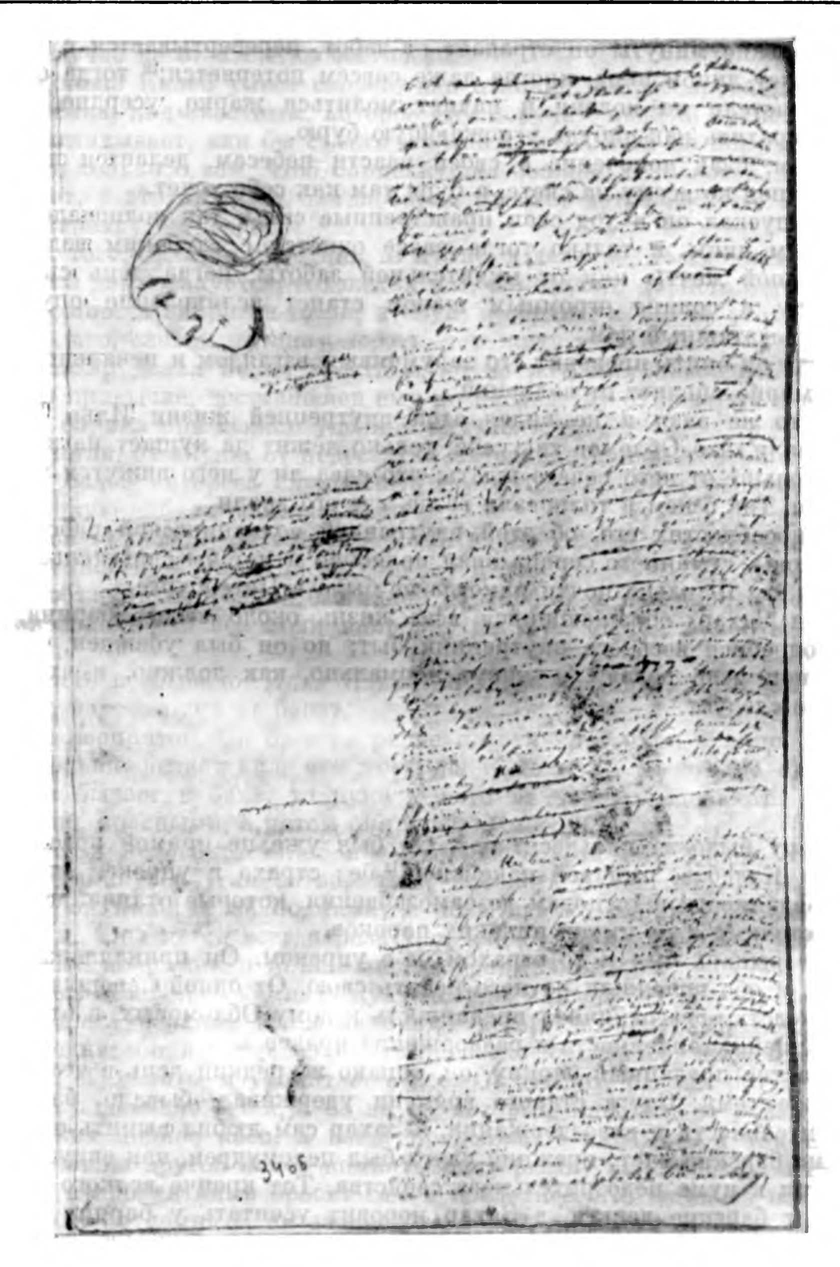
Случается и то, что он исполнится презрением к людскому пороку, ко лжи, к клевете, к разлитому в мире злу и разгорится желанием указать человеку на его язвы, и вдруг загораются в нем мысли, ходят и гуляют в голове, как волны в море, потом вырастают в намерения, зажгут всю кровь в нем, намерения преображаются в стремления: он, движимый нравственною силою, в одну минуту быстро изменит две-три позы, с блистающими глазами привстанет на постели, протянет руку и вдохновенно озирается кругом... Вот, вот стремление осуществится, обратится в подвиг... и тогда, господи! Каких чудес, каких благих последствий могли бы ожидать от такого высокого усилия!..

Но, смотришь, промелькнет утро, день уже клонится к вечеру, а с ним клонятся к покою и утомленные силы Обломова: бури и волнения смиряются в душе, голова отрезвляется от дум, кровь медленнее пробирается по жилам. Обломов тихо, задумчиво переворачивается на спину и, устремив печальный взгляд в окно, с грустью провожает глазами солнце, великолепно садящееся за чей-то четырехэтажный дом.

Сколько раз он провожал так солнечный закат!

Наутро опять жизнь, опять волнения, мечты! Он любит вообразить себя иногда каким-нибудь непобедимым полководцем, перед которым не только Наполеон, но и Еруслан Лазаревич[8] ничего не значат: выдумает войну и причину ее: у него хлынут, например, народы из Африки в Европу, или устроит он новые крестовые походы и воюет, решает участь народов, разоряет города, щадит, казнит, оказывает подвиги добра и великодушия.

Или изберет он арену мыслителя, великого художника: все поклоняются ему; он пожинает лавры; толпа гоняется за ним, восклицая: «Посмотрите, посмотрите, вот идет Обломов, наш знаменитый Илья Ильич!».



Рукопись романа, ч. I, гл. 6.

В горькие минуты он страдает от забот, перевертывается с боку на бок, ляжет лицом вниз, иногда даже совсем потеряется;[9] тогда он встанет с постели на колени и начнет молиться жарко, усердно, умоляя небо отвратить как-нибудь угрожающую бурю.

Потом, сдав попечение о своей участи небесам, делается покоен и равнодушен ко всему на свете, а буря там как себе хочет.

Так пускал он в ход свои нравственные силы, так волновался часто по целым дням, и только тогда разве очнется с глубоким вздохом от обаятельной мечты или от мучительной заботы, когда день склонится к вечеру и солнце огромным шаром станет великолепно опускаться за четырехэтажный дом.

Тогда он опять проводит его задумчивым взглядом и печальной улыбкой и мирно опочиет от волнений.

Никто не знал и не видал этой внутренней жизни Ильи Ильича: все думали, что Обломов так себе, только лежит да кушает на здоровье, и что больше от него нечего ждать; что едва ли у него вяжутся и мысли в голове. Так о нем и толковали везде, где его знали.

О способностях его, об этой внутренней волканической работе пылкой головы, гуманного сердца знал подробно и мог бы свидетельствовать Штольц, но Штольца почти никогда не было в Петербурге.

Один Захар, обращающийся всю жизнь около своего барина, знал еще подробнее весь его внутренний быт; но он был убежден, что они с барином дело делают и живут нормально, как должно, и что иначе жить не следует.

VII

Захару было за пятьдесят лет. Он был уже не прямой потомок тех русских Калебов, рыцарей лакейской,[1] без страха и упрека,[2] исполненных преданности к господам до самозабвения, которые отличались всеми добродетелями и не имели никаких пороков.

Этот рыцарь был и со страхом, и с упреком. Он принадлежал двум эпохам, и обе положили на него печать свою. От одной перешла к нему по наследству безграничная преданность к дому Обломовых, а от другой, позднейшей, утонченность и развращение нравов.

Страстно преданный барину, он, однако ж, редкий день в чем-нибудь не солжет ему. Слуга старого времени удерживал, бывало, барина от расточительности и невоздержания, а Захар сам любил выпить с приятелями на барский счет; прежний слуга был целомудрен, как евнух, а этот все бегал к куме подозрительного свойства. Тот крепче всякого сундука сбережет барские деньги, а Захар норовит усчитать у барина при какой-нибудь издержке гривенник и непременно присвоит себе лежащую на столе медную гривну[3] или пятак. Точно так же, если Илья Ильич забудет потребовать сдачи от Захара, она уже к нему обратно никогда не поступит.

Важнее сумм он не крал, может быть потому, что потребности свои

измерял гривнами и гривенниками или боялся быть замеченным, но во всяком случае не от избытка честности.

Старинный Калеб умрет скорей, как отлично выдрессированная охотничья собака, над съестным, которое ему поручат, нежели тронет; а этот так и выглядывает, как бы съесть и выпить и то, чего не поручают; тот заботился только о том, чтоб барин кушал больше, и тосковал, когда он не кушает; а этот тоскует, когда барин съедает дотла все, что ни положит на тарелку.

Сверх того, Захар и сплетник. В кухне, в лавочке, на сходках у ворот он каждый день жалуется, что житья нет, что этакого дурного барина еще и не слыхано: и капризен-то он, и скуп, и сердит, и что не угодишь ему ни в чем, что, словом, лучше умереть, чем жить у него.

Это Захар делал не из злости и не из желания повредить барину, а так, по привычке, доставшейся ему по наследству от деда его и отца — обругать барина при всяком удобном случае.

Он иногда, от скуки, от недостатка материала для разговора или чтоб внушить более интереса слушающей его публике, вдруг распускал про барина какую-нибудь небывальщину.

— Мой-то повадился вон все к той вдове ходить, — хрипел он тихо, по доверенности, — вчера писал записку к ней.

Или объявит, что барин его такой картежник и пьяница, какого свет не производил; что все ночи напролет до утра бьется в карты и пьет горькую.

А ничего не бывало: Илья Ильич ко вдове не ходит, по ночам мирно почивает, карт в руки не берет.

Захар неопрятен. Он бреется редко и хотя моет руки и лицо, но, кажется, больше делает вид, что моет; да и никаким мылом не отмоешь. Когда он бывает в бане, то руки у него из черных сделаются только часа на два красными, а потом опять черными.

Он очень неловок: станет ли отворять ворота или двери, отворяет одну половинку, другая затворяется, побежит к той, эта затворяется.

Сразу он никогда не поднимет с пола платка или другой какой-нибудь вещи, а нагнется всегда раза три, как будто ловит его, и уж разве в четвертый поднимет, и то еще иногда уронит опять.

Если он несет чрез комнату кучу посуды или других вещей, то с первого же шага верхние вещи начинают дезертировать на пол. Сначала полетит одна; он вдруг сделает позднее и бесполезное движение, чтоб помешать ей упасть, и уронит еще две. Он глядит, разиня рот от удивления, на падающие вещи, а не на те, которые остаются на руках, и оттого держит поднос косо, а вещи продолжают падать, — и так иногда он принесет на другой конец комнаты одну рюмку или тарелку, а иногда с бранью и проклятиями бросит сам и последнее, что осталось на руках.

Проходя по комнате, он заденет то ногой, то боком за стол, за стул, не всегда попадает прямо в отворенную половину двери, а ударится плечом о другую, и обругает при этом обе половинки, или хозяина дома, или плотника, который их делал.

У Обломова в кабинете переломаны и перебиты почти все вещи,

особенно мелкие, требующие осторожного обращения с ними, — и всё по милости Захара. Он свою способность брать в руки вещь прилагает ко всем вещам одинаково, не делая никакого различия в способе обращения с той или другой вещью.

Велят, например, снять со свечи[4] или налить в стакан воды: он употребит на это столько силы, сколько нужно, чтоб отворить ворота.

Не дай бог, когда Захар воспламенится усердием угодить барину и вздумает вдруг все убрать, вычистить, установить, живо, разом привести в порядок! Бедам и убыткам не было конца: едва ли неприятельский солдат, ворвавшись в дом, нанесет столько вреда. Начиналась ломка, паденье разных вещей, битье посуды, опрокидывание стульев; кончалось тем, что надо было его выгнать из комнаты, или он сам уходил с бранью и с проклятиями.

Захар начертал себе однажды навсегда определенный круг деятельности, за который добровольно никогда не переступал.

Он утром ставил самовар, чистил сапоги и то платье, которое барин спрашивал, но отнюдь не то, которое не спрашивал, хоть виси оно десять лет.

Потом он мел — не всякий день однако ж — середину комнаты, не добираясь до углов, и обтирал пыль только с того стола, на котором ничего не стояло, чтоб не снимать вещей.

Затем он уже считал себя вправе дремать на лежанке или болтать с Анисьей в кухне и с дворней у ворот, ни о чем не заботясь.

Если ему приказывали сделать что-нибудь сверх этого, он исполнял приказание неохотно, после споров и убеждений в бесполезности приказания или в невозможности исполнить его.

Никакими средствами нельзя было заставить его внести новую постоянную статью в круг начертанных им себе занятий.

Несмотря на все это, то есть что Захар любил выпить, посплетничать, брал у Обломова пятаки и гривны, ломал и бил разные вещи и ленился, все-таки выходило, что он был глубоко преданный своему барину слуга.

Он бы не задумался сгореть или утонуть за него, не считая это подвигом, достойным удивления или каких-нибудь наград. Он смотрел на это, как на естественное, иначе быть не могущее дело, или, лучше сказать, никак не смотрел, а поступал так без всяких умозрений. Теорий у него на этот предмет не было никаких.

Он бросился бы на смерть, точно так же, как собака, которая при встрече с зверем в лесу бросается на него, не рассуждая, отчего должна броситься она, а не ее господин.

Но зато, если б понадобилось, например, просидеть всю ночь подле постели барина, не смыкая глаз, и от этого бы зависело здоровье или даже жизнь его, Захар непременно бы заснул.

Наружно он не выказывал не только подобострастия к барину, но даже был грубоват, фамильярен в обхождении с ним, сердился на него, не шутя, за всякую мелочь, и даже, как сказано, злословил его у ворот; но все-таки этим только на время заслонялось, а отнюдь не умалялось

кровное, родственное чувство преданности его не к Илье Ильичу собственно, а ко всему, что носит имя Обломова, что близко, мило, дорого ему.

Может быть, даже это чувство было в противоречии с собственным взглядом Захара на личность Обломова, может быть, изучение характера барина внушало другие убеждения Захару. Вероятно, Захар, если б ему объяснили о степени привязанности его к Илье Ильичу, стал бы оспаривать это.

Захар любил Обломовку, как кошка свой чердак, лошадь — стойло, собака — конуру, в которой родилась и выросла. В сфере этой привязанности у него выработывались уже свои особенные, личные впечатления.

Например, обломовского кучера он любил больше, нежели повара, скотницу Варвару больше их обоих, а Илью Ильича меньше их всех; но все-таки обломовский повар для него был лучше и выше всех других поваров в мире, а Илья Ильич выше всех помещиков.

Тараску, буфетчика, он терпеть не мог; но этого Тараску он не променял бы на самого хорошего человека в целом свете потому только, что Тараска был обломовский.

Он обращался фамильярно и грубо с Обломовым, точно так же, как шаман грубо и фамильярно обходится с своим идолом: он и обметает его, и уронит, иногда, может быть, и ударит с досадой, но все-таки в душе его постоянно присутствует сознание превосходства натуры этого идола над своей.

Малейшего повода довольно было, чтоб вызвать это чувство из глубины души Захара и заставить его смотреть с благоговением на барина, иногда даже удариться, от умиления, в слезы.

Захар на всех других господ и гостей, приходивших к Обломову, смотрел несколько свысока и служил им, подавал чай и проч., с каким-то снисхождением, как будто давал им чувствовать честь, которою они пользуются, находясь у его барина. Отказывал им грубовато: «Барин-де почивает», — говорил он, надменно оглядывая пришедшего с ног до головы.

Иногда вместо сплетней и злословия он вдруг принимался неумеренно возвышать Илью Ильича по лавочкам и на сходках у ворот, и тогда не было конца восторгам. Он начинал вычислять достоинства барина, ум, ласковость, щедрость, доброту; и если у барина его недоставало качеств для панегирика, он занимал у других и придавал ему знатность, богатство или необычайное могущество.

Если нужно было постращать дворника, управляющего домом, даже самого хозяина, он стращал всегда барином: «Вот постой, я скажу барину, — говорил он с угрозой, — будет ужо тебе!». Сильнее авторитета он и не подозревал на свете.

Но наружные сношения Обломова с Захаром были всегда как-то враждебны. Они, живучи вдвоем, надоели друг другу. Короткое, ежедневное сближение человека с человеком не обходится ни тому, ни другому даром: много надо и с той и с другой стороны жизненного опыта, логики и сердечной теплоты, чтоб, наслаждаясь только достоинствами, не колоть и не колоться взаимными недостатками.

Илья Ильич знал уже одно необъятное достоинство Захара — преданность к себе, и привык к ней, считая также, с своей стороны, что это не может и не должно быть иначе; привыкши же к достоинству однажды навсегда, он уже не наслаждался им, а между тем не мог, и при своем равнодушии ко всему, сносить терпеливо бесчисленных мелких недостатков Захара.

Если Захар, питая в глубине души к барину преданность, свойственную старинным слугам, разнился от них современными недостатками, то и Илья Ильич, с своей стороны, ценя внутренно преданность его, не имел уже к нему того дружеского, почти родственного расположения, какое питали прежние господа к слугам своим. Он позволял себе иногда крупно браниться с Захаром.

Захару он тоже надоедал собой. Захар, отслужив в молодости лакейскую службу в барском доме, был произведен в дядьки к Илье Ильичу и с тех пор начал считать себя только предметом роскоши, аристократическою принадлежностью дома, назначенною для поддержания полноты и блеска старинной фамилии, а не предметом необходимости. От этого он, одев барчонка утром и раздев его вечером, остальное время ровно ничего не делал.

Ленивый от природы, он был ленив еще и по своему лакейскому воспитанию. Он важничал в дворне, не давал себе труда ни поставить самовара, ни подмести полов. Он или дремал в прихожей, или уходил болтать в людскую, в кухню; не то так по целым часам, скрестив руки на груди, стоял у ворот и с сонною задумчивостью посматривал на все стороны.

И после такой жизни на него вдруг навалили тяжелую обузу выносить на плечах службу целого дома! Он и служи барину, и мети, и чисть, он и на побегушках! От всего этого в душу его залегла угрюмость, а в нраве проявилась грубость и жесткость; от этого он ворчал всякий раз, как голос барина заставлял его покидать лежанку.

Несмотря, однако ж, на эту наружную угрюмость и дикость, Захар был довольно мягкого и доброго сердца. Он любил даже проводить время с ребятишками. На дворе, у ворот, его часто видали с кучей детей. Он их мирит, дразнит, устраивает игры или просто сидит с ними, взяв одного на одно колено, другого на другое, а сзади шею его обовьет еще какой-нибудь шалун руками или треплет его за бакенбарды.

И так Обломов мешал Захару жить тем, что требовал поминутно его услуг и присутствия около себя, тогда как сердце, сообщительный нрав, любовь к бездействию и вечная, никогда не умолкающая потребность жевать влекли Захара то к куме, то в кухню, то в лавочку, то к воротам.

Давно знали они друг друга и давно жили вдвоем. Захар нянчил маленького Обломова на руках, а Обломов помнит его молодым, проворным, прожорливым и лукавым парнем.

Старинная связь была не истребима между ними. Как Илья Ильич не умел ни встать, ни лечь спать, ни быть причесанным и обутым, ни отобедать без помощи Захара, так Захар не умел представить себе дру-

гого барина, кроме Ильи Ильича, другого существования, как одевать, кормить его, грубить ему, лукавить, лгать и в то же время внутренно благоговеть перед ним.

VIII

Захар, заперев дверь за Тарантьевым и Алексеевым, когда они ушли, не садился на лежанку, ожидая, что барин сейчас позовет его, потому что слышал, как тот собирался писать. Но в кабинете Обломова все было тихо, как в могиле.

Захар заглянул в щель — что же? Илья Ильич лежал себе на диване, опершись головой на ладонь; перед ним лежала книга. Захар отворил дверь.

— Вы чего лежите-то опять? — спросил он.

— Не мешай; видишь, читаю! — отрывисто сказал Обломов.

— Пора умываться да писать, — говорил неотвязчивый Захар.

— Да, в самом деле пора, — очнулся Илья Ильич. — Сейчас: ты поди. Я подумаю.

«И когда это он успел опять лечь-то! — ворчал Захар, прыгая на печку. — Проворен!»

Обломов успел, однако ж, прочитать пожелтевшую от времени страницу, на которой чтение прервано было с месяц назад. Он положил книгу на место и зевнул, потом погрузился в неотвязчивую думу «о двух несчастиях».

— Какая скука! — шептал он, то вытягивая, то поджимая ноги.

Его клонило к неге и мечтам; он обращал глаза к небу, искал своего любимого светила, но оно было на самом зените и только обливало ослепительным блеском известковую стену дома, за который закатывалось по вечерам в виду Обломова. «Нет, прежде дело, — строго подумал он, — а потом...»

Деревенское утро давно прошло, и петербургское было на исходе. До Ильи Ильича долетал со двора смешанный шум человеческих и нечеловеческих голосов: пенье кочующих артистов, сопровождаемое большею частию лаем собак. Приходили показывать и зверя морского, приносили и предлагали на разные голоса всевозможные продукты.

Он лег на спину и заложил обе руки под голову. Илья Ильич занялся разработкою плана имению. Он быстро пробежал в уме несколько серьезных, коренных статей об оброке, о запашке, придумал новую меру, построже, против лени и бродяжничества крестьян и перешел к устройству собственного житья-бытья в деревне.

Его занимала постройка деревенского дома; он с удовольствием остановился несколько минут на расположении комнат, определил длину и ширину столовой, бильярдной, подумал и о том, куда будет обращен окнами его кабинет; даже вспомнил о мебели и коврах.

После этого расположил флигеля дома, сообразив число гостей, которое намеревался принимать, отвел место для конюшен, сараев, людских и разных других служб.

Наконец обратился к саду: он решил оставить все старые липовые и

дубовые деревья так, как они есть, а яблони и груши уничтожить и на место их посадить акации; подумал было о парке,[1] но, сделав в уме примерно смету издержкам, нашел, что дорого, и, отложив это до другого времени, перешел к цветникам и оранжереям.

Тут мелькнула у него соблазнительная мысль о будущих фруктах до того живо, что он вдруг перенесся за несколько лет в деревню, когда уж имение устроено по его плану и когда он живет там безвыездно.

Ему представилось, как он сидит в летний вечер на террасе, за чайным столом, под непроницаемым для солнца навесом деревьев, с длинной трубкой, и лениво втягивает в себя дым, задумчиво наслаждаясь открывающимся из-за деревьев видом, прохладой, тишиной; а вдали желтеют поля, солнце опускается за знакомый березняк и румянит гладкий, как зеркало, пруд; с полей восходит пар; становится прохладно, наступают сумерки; крестьяне толпами идут домой.

Праздная дворня сидит у ворот; там слышатся веселые голоса, хохот, балалайка, девки играют в горелки; кругом его самого резвятся его малютки, лезут к нему на колени, вешаются на шею; за самоваром сидит... царица всего окружающего, его божество... женщина! жена! А между тем в столовой, убранной с изящной простотой, ярко заблистали приветные огоньки, накрывался большой круглый стол; Захар, произведенный в мажордомы,[2] с совершенно седыми бакенбардами, накрывает стол, с приятным звоном расставляет хрусталь и раскладывает серебро, поминутно роняя на пол то стакан, то вилку; садятся за обильный ужин; тут сидит и товарищ его детства, неизменный друг его, Штольц, и другие, все знакомые лица; потом отходят ко сну...

Лицо Обломова облилось румянцем счастья: мечта была так ярка, жива, поэтична. Он вдруг почувствовал смутное желание любви, тихого счастья, вдруг зажаждал полей и холмов своей родины, своего дома, жены и детей...

Полежав ничком минут пять, он медленно опять повернулся на спину. Лицо его сияло кротким, трогательным чувством: он был счастлив.

Он с наслаждением, медленно вытянул ноги, отчего панталоны его засучились немного вверх, но он и не замечал этого маленького беспорядка. Услужливая мечта носила его, легко и вольно, далеко в будущем.

Теперь его поглотила любимая мысль: он думал о маленькой колонии друзей, которые поселятся в деревеньках и фермах, в пятнадцати или двадцати верстах вокруг его деревни, как попеременно будут каждый день съезжаться друг к другу в гости, обедать, ужинать, танцевать; ему видятся всё ясные дни, ясные лица, без забот и морщин, смеющиеся, круглые, с ярким румянцем, с двойным подбородком и неувядающим аппетитом; будет вечное лето, вечное веселье, сладкая еда да сладкая лень...

«Боже, боже!» — произнес он от полноты счастья и очнулся.

А тут раздается со двора в пять голосов: «Картофеля! Песку, песочку не надо ли? Уголья! Уголья!.. Пожертвуйте, милосердые господа,

на построение храма господня!» А из соседнего, вновь строящегося дома раздавался стук топоров, крик рабочих, с улицы несется треск от езды. Везде говор, движение!

«Ах! — горестно вслух вздохнул Илья Ильич. — Что за жизнь! Какое безобразие этот столичный шум! Когда же настанет райское, желанное житье? Когда в поля, в родные рощи? — думал он. — Лежать бы теперь на траве, под деревом, да глядеть сквозь ветки на солнышко и считать, сколько птичек перебывает на ветках. А тут тебе на траву то обед, то завтрак принесет какая-нибудь краснощекая прислужница, с голыми, круглыми и мягкими локтями и с загорелой шеей; потупляет, плутовка, взгляд и улыбается... Когда же настанет эта пора?..»

«А план! А староста, а квартира?» — вдруг раздалось в памяти его.

«Да, да! — торопливо заговорил Илья Ильич, — сейчас, сию минуту!»

Обломов быстро приподнялся и сел на диване, потом спустил ноги на пол, попал разом в обе туфли и посидел так; потом встал совсем и постоял задумчиво минуты две.

— Захар, Захар! — закричал он громко, поглядывая на стол и на чернильницу.

— Что еще там? — послышалось вместе с прыжком. — Как только ноги-то таскают меня?

— Захар! — повторил Илья Ильич задумчиво, не спуская глаз со стола. — Вот что, братец... — начал он, указывая на чернильницу, но, не кончив фразы, впал опять в раздумье.

Тут руки стали у него вытягиваться кверху, колени подгибаться, он начал потягиваться, зевать...

— Там оставался у нас, — заговорил он, все потягиваясь, с расстановкой, — сыр, да... дай мадеры; до обеда долго, так я позавтракаю немного...

— Где это он оставался? — сказал Захар, — не оставалось ничего...

— Как не оставалось? — перебил Илья Ильич. — Я очень хорошо помню: вот какой кусок был...

— Нет, нету! Никакого куска не было! — упорно твердил Захар.

— Был! — сказал Илья Ильич.

— Не был, — отвечал Захар.

— Ну, так купи.

— Пожалуйте денег.

— Вон мелочь там, возьми.

— Да тут только рубль сорок, а надо рубль шесть гривен.

— Там еще медные были.

— Я не видал! — сказал Захар, переминаясь с ноги на ногу. — Серебро было, вон оно и есть, а медных не было!

— Были: вчера мне разносчик самому в руки дал.

— Он при мне дал, — сказал Захар, — я видел, что мелочь давал, а меди не видал...

«Уж не Тарантьев ли взял? — подумал нерешительно Илья Ильич. — Да нет, тот бы и мелочь взял».

— Так что ж там есть еще? — спросил он.

— А ничего не было. Вон вчерашней ветчины нет ли, надо у Анисьи спросить, — сказал Захар. — Принести, что ли?

— Принеси, что есть. Да как это не было?

— Так, не было! — сказал Захар и ушел. А Илья Ильич медленно и задумчиво прохаживался по кабинету.

«Да, много хлопот, — говорил он тихонько. — Вон хоть бы в плане — пропасть еще работы!.. А сыр-то ведь оставался, — прибавил он задумчиво, — съел этот Захар, да и говорит, что не было! И куда это запропастились медные деньги?» — говорил он, шаря на столе рукой.

Через четверть часа Захар отворил дверь подносом, который держал в обеих руках, и, войдя в комнату, хотел ногой притворить дверь, но промахнулся и ударил по пустому месту: рюмка упала, а вместе с ней еще пробка с графина и булка.

— Ни шагу без этого! — сказал Илья Ильич. — Ну, хоть подними же, что уронил; а он еще стоит да любуется!

Захар, с подносом в руках, наклонился было поднять булку, но, присев, вдруг увидел, что обе руки заняты и поднять нечем.

— Ну-ка, подними! — с насмешкой говорил Илья Ильич. — Что же ты? За чем дело стало?

— О, чтоб вам пусто было, проклятые! — с яростью разразился Захар, обращаясь к уроненным вещам. — Где это видано завтрак перед самым обедом?

И, поставив поднос, он поднял с пола, что уронил; взяв булку, он дунул на нее и положил на стол.

Илья Ильич принялся завтракать, а Захар остановился в некотором отдалении от него, поглядывая на него стороной и намереваясь, по-видимому, что-то сказать.

Но Обломов завтракал, не обращая на него ни малейшего внимания.

Захар кашлянул раза два.

Обломов все ничего.

— Управляющий опять сейчас присылал, — робко заговорил, наконец, Захар, — подрядчик был у него, говорит: нельзя ли взглянуть нашу квартиру? Насчет переделки-то всё...

Илья Ильич кушал, не отвечая ни слова.

— Илья Ильич, — помолчав, еще тише сказал Захар.

Илья Ильич сделал вид, что не слышит.

— На будущей неделе велят съезжать, — просипел Захар.

Обломов выпил рюмку вина и молчал.

— Как же нам быть-то, Илья Ильич? — почти шепотом спросил Захар.

— А я тебе запретил говорить мне об этом, — строго сказал Илья Ильич и, привстав, подошел к Захару.

Тот попятился от него.

— Какой ты ядовитый человек, Захар! — прибавил Обломов с чувством.

Захар обиделся.

— Вот, — сказал он, — ядовитый! Что я за ядовитый? Я никого не убил.

— Как же не ядовитый! — повторил Илья Ильич, — ты отравляешь мне жизнь.

— Я не ядовитый! — твердил Захар.

— Что ты ко мне пристаешь с квартирой?

— Что ж мне делать-то?

— А мне что делать?

— Вы хотели ведь написать к домовому хозяину?

— Ну и напишу; погоди; нельзя же вдруг!

— Вот бы теперь и написали.

— Теперь, теперь! Еще у меня поважнее есть дело. Ты думаешь, что это дрова рубить? тяп да ляп? Вон, — говорил Обломов, поворачивая сухое перо в чернильнице, — и чернил-то нет! Как я стану писать?

— А я вот сейчас квасом разведу, — сказал Захар и, взяв чернильницу, проворно пошел в переднюю, а Обломов начал искать бумаги.

— Да никак и бумаги-то нет! — говорил он сам с собой, роясь в ящике и ощупывая стол. — И так нет! Ах, этот Захар: житья нет от него!

— Ну, как же ты не ядовитый человек? — сказал Илья Ильич вошедшему Захару, — ни за чем не посмотришь! Как же в доме бумаги не иметь?

— Да что это, Илья Ильич, за наказание! Я христианин: что ж вы ядовитым-то браните? Далось: ядовитый! Мы при старом барине родились и выросли, он и щенком изволил бранить, и за уши драл, а этакого слова не слыхивали, выдумок не было! Долго ли до греха? Вот бумага, извольте.

Он взял с этажерки и подал ему полулист серой бумаги.

— На этом разве можно писать? — спросил Обломов, бросив бумагу. — Я этим на ночь стакан закрывал, чтоб туда не попало что-нибудь... ядовитое.

Захар отвернулся и смотрел в стену.

— Ну, да нужды нет: подай сюда, я начерно напишу, а Алексеев уже перепишет.

Илья Ильич сел к столу и быстро вывел: «Милостивый государь!..».

— Какие скверные чернила! — сказал Обломов. — В другой раз у меня держи ухо востро, Захар, и делай свое дело как следует!

Он подумал немного и начал писать.

«Квартира, которую я занимаю во втором этаже дома, в котором вы предположили произвести некоторые перестройки, вполне соответствует моему образу жизни и приобретенной вследствие долгого пребывания в сем доме привычке. Известясь через крепостного моего человека, Захара Трофимова, что вы приказали сообщить мне, что занимаемая мною квартира...»

Обломов остановился и прочитал написанное.

«Нескладно, — сказал он, — тут два раза сряду *что*, а там два раза *который*».

Он пошептал и переставил слова: вышло, что *который* относится к этажу — опять неловко. Кое-как переправил и начал думать, как бы избежать два раза *что*.

Он то зачеркнет, то опять поставит слово. Раза три переставлял *что*, но выходило или бессмыслица, или соседство с другим *что*.

«И не отвяжешься от этого другого *что*! — сказал он с нетерпением. — Э! да черт с ним совсем, с письмом-то! Ломать голову из таких пустяков! Я отвык деловые письма писать. А вот уж третий час в исходе».

— Захар, на вот тебе. — Он разорвал письмо на четыре части и бросил на пол.

— Видел? — спросил он.

— Видел, — отвечал Захар, подбирая бумажки.

— Так не приставай больше с квартирой. А это что у тебя!

— А счеты-то.

— Ах ты, господи! Ты совсем измучишь меня! Ну, сколько тут, говори скорей!

— Да вот мяснику восемьдесят шесть рублей пятьдесят четыре копейки.

Илья Ильич всплеснул руками.

— Ты с ума сошел? Одному мяснику такую кучу денег?

— Не платили месяца три, так и будет куча! Вот оно тут записано, не украли!

— Ну, как же ты не ядовитый? — сказал Обломов. — На мильон говядины купил! Во что это в тебя идет? Добро бы впрок.

— Не я съел! — огрызался Захар.

— Нет! Не ел?

— Что ж вы мне хлебом-то попрекаете? Вот, смотрите!

И он совал ему счеты.

— Ну, еще кому? — говорил Илья Ильич, отталкивая с досадой замасленные тетрадки.

— Еще сто двадцать один рубль восемнадцать копеек хлебнику да зеленщику.

— Это разорение! Это ни на что не похоже! — говорил Обломов, выходя из себя. — Что ты, корова, что ли, чтоб столько зелени сжевать...

— Нет! Я ядовитый человек! — с горечью заметил Захар, повернувшись совсем стороной к барину. — Кабы не пускали Михея Андреича, так бы меньше выходило! — прибавил он.

— Ну, сколько ж это будет всего, считай! — говорил Илья Ильич и сам начал считать.

Захар делал ту же выкладку по пальцам.

— Черт знает, что за вздор выходит: всякий раз разное! — сказал Обломов. — Ну, сколько у тебя? двести, что ли?

— Вот погодите, дайте срок! — говорил Захар, зажмуриваясь и ворча. — Восемь десятков да десять десятков — восемнадцать, да два десятка...

— Ну, ты никогда этак не кончишь, — сказал Илья Ильич, — поди-ка к себе, а счеты подай мне завтра, да позаботься о бумаге и чернилах... Этакая куча денег! Говорил, чтоб понемножку платить, — нет, норовит все вдруг... народец!

— Двести пять рублей семьдесят две копейки, — сказал Захар, сосчитав. — Денег пожалуйте.

— Как же, сейчас! Еще погоди: я поверю завтра...

— Воля ваша, Илья Ильич, они просят...

— Ну, ну, отстань! Сказал — завтра, так завтра и получишь. Иди к себе, а я займусь: у меня поважнее есть забота.

Илья Ильич уселся на стуле, подобрал под себя ноги и не успел задуматься, как раздался звонок.

Явился низенький человек, с умеренным брюшком, с белым лицом, румяными щеками и лысиной, которую с затылка, как бахрома, окружали черные густые волосы. Лысина была кругла, чиста и так лоснилась, как будто была выточена из слоновой кости. Лицо гостя отличалось заботливо-внимательным ко всему, на что он ни глядел, выражением, сдержанностью во взгляде, умеренностью в улыбке и скромно-официальным приличием.

Одет он был в покойный фрак, отворявшийся широко и удобно, как ворота, почти от одного прикосновения. Белье на нем так и блистало белизной, как будто под стать лысине. На указательном пальце правой руки надет был большой массивный перстень с каким-то темным камнем.

— Доктор! Какими судьбами? — воскликнул Обломов, протягивая одну руку гостю, а другою подвигая стул.

— Я соскучился, что вы всё здоровы, не зовете, сам зашел, — отвечал доктор шутливо. — Нет, — прибавил он потом серьезно, — я был вверху, у вашего соседа, да и зашел проведать.

— Благодарю. А что сосед?

— Что: недели три-четыре, а может быть, до осени дотянет, а потом... водяная в груди: конец известный. Ну, вы что?

Обломов печально тряхнул головой.

— Плохо, доктор. Я сам подумывал посоветоваться с вами. Не знаю, что мне делать. Желудок почти не варит, под ложечкой тяжесть, изжога замучила, дыханье тяжело... — говорил Обломов с жалкой миной.

— Дайте руку, — сказал доктор, взял пульс и закрыл на минуту глаза. — А кашель есть? — спросил он.

— По ночам, особенно когда поужинаю.

— Гм! Биение сердца бывает? Голова болит?

И доктор сделал еще несколько подобных вопросов, потом наклонил свою лысину и глубоко задумался. Чрез две минуты он вдруг приподнял голову и решительным голосом сказал:

— Если вы еще года два-три проживете в этом климате да будете все лежать, есть жирное и тяжелое — вы умрете ударом.

Обломов встрепенулся.

— Что ж мне делать? Научите, ради бога! — спросил он.

— То же, что другие делают: ехать за границу.

— За границу! — с изумлением повторил Обломов.

— Да; а что?

— Помилуйте, доктор, за границу! Как это можно?

— Отчего же неможно?

Обломов молча обвел глазами себя, потом свой кабинет и машинально повторил:

— За границу!

— Что ж вам мешает?

— Как что? Все...

— Что ж все? Денег, что ли, нет?

— Да, да, вот денег-то в самом деле нет, — живо заговорил Обломов, обрадовавшись этому самому естественному препятствию, за которое он мог спрятаться совсем с головой. — Вы посмотрите, что мне староста пишет... Где письмо, куда я его девал? Захар!

— Хорошо, хорошо, — заговорил доктор, — это не мое дело; мой долг сказать вам, что вы должны изменить образ жизни, место, воздух, занятие — все, все.

— Хорошо, я подумаю, — сказал Обломов. — Куда же мне ехать и что делать?

— Поезжайте в Киссинген, — начал доктор, — там проживите июнь и июль; пейте воды; потом отправляйтесь в Швейцарию или в Тироль:[3] лечиться виноградом. Там проживете сентябрь и октябрь...

«Черт знает что, в Тироль!» — едва слышно прошептал Илья Ильич.

— Потом куда-нибудь в сухое место, хоть в Египет.

«Вот еще!» — шепнул Обломов.

— Устраняйте заботы и огорчения...

— Хорошо вам говорить, — заметил Обломов, — вы не получаете от старосты таких писем...

— Надо тоже избегать мыслей, — продолжал доктор.

— Мыслей?

— Да, умственного напряжения.

— А план устройства имения? Помилуйте, разве я осиновый чурбан?

— Ну, там как хотите. Мое дело только остеречь вас. Страстей тоже надо беречься: они вредят леченью. Надо стараться развлекать себя верховой ездой, танцами, умеренным движеньем на чистом воздухе, приятными разговорами, особенно с дамами, чтоб сердце билось слегка и только от приятных ощущений.

Обломов слушал его, повеся голову.

— Потом? — спросил он.

— Потом от чтения, писанья — боже вас сохрани! Наймите виллу, окнами на юг, побольше цветов, чтоб около были музыка да женщины...

— А пищу какую?

— Пищи мясной и вообще животной избегайте, мучнистой и студенистой тоже. Можете кушать легкий бульон, зелень; только берегитесь: теперь холера почти везде бродит, так надо осторожнее... Ходить можете часов восемь в сутки. Заведите ружье...

— Господи! .. — простонал Обломов.

— Наконец, — заключил доктор, — к зиме поезжайте в Париж и там, в вихре жизни, развлекайтесь, не задумывайтесь: из театра на бал, в маскарад, за город с визитами, чтоб около вас друзья, шум, смех...

— Не нужно ли еще чего-нибудь? — спросил Обломов с худо скрытой досадой.

Доктор задумался...

— Разве попользоваться морским воздухом: сядьте в Англии на пароход да прокатитесь до Америки...

Он встал и стал прощаться.

— Если вы все это исполните в точности... — говорил он...

— Хорошо, хорошо, непременно исполню, — едко отвечал Обломов, провожая его.

Доктор ушел, оставив Обломова в самом жалком положении. Он закрыл глаза, положил обе руки на голову, сжался на стуле в комок и так сидел, никуда не глядя, ничего не чувствуя.

Сзади его послышался робкий зов.

— Илья Ильич!

— Ну? — откликнулся он.

— А что ж управляющему-то сказать?

— О чем?

— А насчет того, чтоб переехать?

— Ты опять об этом? — с изумлением спросил Обломов.

— Да как же, батюшка, Илья Ильич, быть-то мне? Сами рассудите: и так жизнь-то моя горька, я в гроб гляжу...

— Нет, ты, видно, в гроб меня хочешь вогнать своим переездом, — сказал Обломов. — Послушай-ка, что говорит доктор!

Захар не нашел, что сказать, только вздохнул так, что концы шейного платка затрепетали у него на груди.

— Ты решился уморить меня? — спросил опять Обломов. — Я надоел тебе — а? Ну, говори же?

— Христос с вами! Живите на здоровье! Кто вам зла желает? — ворчал Захар в совершенном смущении от трагического оборота, который начинала принимать речь.

— Ты! — сказал Илья Ильич. — Я запретил тебе заикаться о переезде, а ты, не проходит дня, чтоб пять раз не напомнил мне: ведь это расстроивает меня — пойми ты. И так здоровье мое никуда не годится.

— Я думал, сударь, что.. отчего, мол, думал, не переехать? — дрожащим от душевной тревоги голосом говорил Захар.

— Отчего не переехать! Ты так легко судишь об этом! — говорил Обломов, оборачиваясь с креслами к Захару. — Да ты вникнул ли хорошенько, что значит переехать — а? Верно, не вникнул?

— И так не вникнул! — смиренно отвечал Захар, готовый во всем согласиться с барином, лишь бы не доводить дела до патетических сцен, которые были для него хуже горькой редьки.

— Не вникнул, так слушай, да и разбери, можно переезжать или

нет. Что значит переехать? Это значит: барин уйди на целый день да так одетый с утра и ходи...

— Что ж, хоть бы и уйти? — заметил Захар. — Отчего ж и не отлучиться на целый день? Ведь нездорово сидеть дома. Вон вы какие нехорошие стали! Прежде вы были как огурчик, а теперь, как сидите, бог знает на что похожи. Походили бы по улицам, посмотрели бы на народ или на другое что...

— Полно вздор молоть, а слушай! — сказал Обломов. — Ходить по улицам!

— Да, право, — продолжал Захар с бо́льшим жаром. — Вон, говорят, какое-то неслыханное чудовище привезли: его бы поглядели. В тиатр или маскарад бы пошли, а тут бы без вас и переехали.

— Не болтай пустяков! Славно ты заботишься о барском покое! Потвоему, шатайся целый день — тебе нужды нет, что я пообедаю нивесть где и как и не прилягу после обеда?.. Без меня они тут перевезут! Не догляди, так и перевезут — черепки. Знаю я, — с возрастающей убедительностью говорил Обломов, — что значит перевозка! Это значит ломка, шум; все вещи свалят в кучу на полу: тут и чемодан, и спинка дивана, и картины, и чубуки, и книги, и склянки какие-то, которых в другое время и не видать, а тут черт знает откуда возьмутся! Смотри за всем, чтоб не растеряли да не переломали... половина тут, другая на возу или на новой квартире: захочется покурить, возьмешь трубку, а табак уже уехал... Хочешь сесть, да не на что; до чего ни дотронулся — выпачкался; всё в пыли; вымыться нечем, и ходи вон с этакими руками, как у тебя...

— У меня руки чисты, — заметил Захар, показывая какие-то две подошвы вместо рук.

— Ну, уж не показывай только! — сказал Илья Ильич, отворачиваясь. — А захочется пить, — продолжал Обломов, — взял графин, да стакана нет...

— Можно и из графина напиться! — добродушно прибавил Захар.

— Вот у вас все так: можно и не мести, и пыли не стирать, и ковров не выколачивать. А на новой квартире, — продолжал Илья Ильич, увлекаясь сам живо представившейся ему картиной переезда, — дня в три не разберутся, все не на своем месте: картины у стен, на полу, галоши на постели, сапоги в одном узле с чаем да с помадой. То, глядишь, ножка у кресла сломана, то стекло на картине разбито или диван в пятнах. Чего ни спросишь, — нет, никто не знает — где, или потеряно, или забыто на старой квартире: беги туда...

— В ину пору раз десять взад и вперед сбегаешь, — перебил Захар.

— Вот видишь ли! — продолжал Обломов. — А встанешь на новой квартире утром, что за скука! Ни воды, ни угольев нет, а зимой так холодом насидишься, настудят комнаты, а дров нет; поди бегай, занимай...

— Еще каких соседей бог даст, — заметил опять Захар, — от иных не то что вязанки дров — ковша воды не допросишься.

— То-то же! — сказал Илья Ильич. — Переехал — к вечеру, ка-

жется бы, и конец хлопотам: нет, еще провозишься недели две. Кажется, все расставлено... смотришь, что-нибудь да осталось: шторы привесить, картины приколотить — душу всю вытянет, жить не захочется... А издержек, издержек...

— Прошлый раз, восемь лет назад, рублев двести стало — как теперь помню, — подтвердил Захар.

— Ну вот, шутка! — говорил Илья Ильич. — А как дико жить сначала на новой квартире! Скоро ли привыкнешь? Я ночей пять не усну на новом месте; меня тоска загрызет, как встану да увижу вон вместо этой вывески токаря другое что-нибудь, напротив, или вон ежели из окна не выглянет эта стриженая старуха перед обедом, так мне и скучно... Видишь ли ты сам теперь, до чего доводил барина — а? — спросил с упреком Илья Ильич.

— Вижу, — прошептал смиренно Захар.

— Зачем же ты предлагал мне переехать? Станет ли человеческих сил вынести все это?

— Я думал, что другие, мол, не хуже нас, да переезжают, так и нам можно... — сказал Захар.

— Что? Что? — вдруг с изумлением спросил Илья Ильич, приподнимаясь с кресел. — Что ты сказал?

Захар вдруг смутился, не зная, чем он мог подать барину повод к патетическому восклицанию и жесту. Он молчал.

— Другие не хуже! — с ужасом повторил Илья Ильич. — Вот ты до чего договорился! Я теперь буду знать, что я для тебя все равно, что «другой»!

Обломов поклонился иронически Захару и сделал в высшей степени оскорбленное лицо.

— Помилуйте, Илья Ильич, разве я равняю вас с кем-нибудь?..

— С глаз долой! — повелительно сказал Обломов, указывая рукой на дверь. — Я тебя видеть не могу. А! «другие»! Хорошо!

Захар с глубоким вздохом удалился к себе.

«Эка жизнь, подумаешь!» — ворчал он, садясь на лежанку.

«Боже мой! — стонал тоже Обломов. — Вот хотел посвятить утро дельному труду, а тут расстроили на целый день! И кто же? свой собственный слуга, преданный, испытанный, а что сказал! И как это он мог?»

Обломов долго не мог успокоиться; он ложился, вставал, ходил по комнате и опять ложился. Он в низведении себя Захаром до степени *других* видел нарушение прав своих на исключительное предпочтение Захаром особы барина всем и каждому.

Он вникал в глубину этого сравнения и разбирал, что такое *другие* и что он сам, в какой степени возможна и справедлива эта параллель и как тяжела обида, нанесенная ему Захаром; наконец, сознательно ли оскорбил его Захар, то есть убежден ли он был, что Илья Ильич все равно, что «другой», или так это сорвалось у него с языка, без участия головы. Все это задело самолюбие Обломова, и он решился показать Захару разницу между ним и теми, которых разумел Захар под именем «других», и дать почувствовать ему всю гнусность его поступка.

— Захар! — протяжно и торжественно кликнул он.

Захар, услышав этот зов, не прыгнул по обыкновению с лежанки, стуча ногами, не заворчал; он медленно сполз с печки и пошел, задевая за все и руками и боками, тихо, нехотя, как собака, которая по голосу господина чувствует, что проказа ее открыта и что ее зовут на расправу.

Захар отворил вполовину дверь, но войти не решался.

— Войди! — сказал Илья Ильич.

Хотя дверь отворялась свободно, но Захар отворял так, как будто нельзя было пролезть, и оттого только завяз в двери, но не вошел.

Обломов сидел на краю постели.

— Поди сюда! — настойчиво сказал он.

Захар с трудом высвободился из двери, но тотчас притворил ее за собой и прислонился к ней плотно спиной.

— Сюда! — говорил Илья Ильич, указывая пальцем место подле себя. Захар сделал полшага и остановился за две сажени от указанного места.

— Еще! — говорил Обломов.

Захар сделал вид, что будто шагнул, а сам только качнулся, стукнул ногой и остался на месте.

Илья Ильич, видя, что ему никак не удастся на этот раз подманить Захара ближе, оставил его там, где он стоял, и смотрел на него несколько времени молча, с укоризной.

Захар, чувствуя неловкость от этого безмолвного созерцания его особы, делал вид, что не замечает барина, и более, нежели когда-нибудь, стороной стоял к нему и даже не кидал в эту минуту своего одностороннего взгляда на Илью Ильича.

Он упорно стал смотреть налево, в другую сторону: там увидал он давно знакомый ему предмет — бахрому из паутины около картин, и в пауке — живой упрек своему нерадению.

— Захар! — тихо, с достоинством произнес Илья Ильич.

Захар не отвечал; он, кажется, думал: «Ну, чего тебе? Другого, что ли, Захара? Ведь я тут стою», и перенес взгляд свой мимо барина, слева направо; там тоже напомнило ему о нем самом зеркало, подернутое, как кисеей, густою пылью: сквозь нее дико, исподлобья смотрел на него, как из тумана, собственный его же угрюмый и некрасивый лик.

Он с неудовольствием отвратил взгляд от этого грустного, слишком знакомого ему предмета и решился на минуту остановить его на Илье Ильиче. Взгляды их встретились.

Захар не вынес укора, написанного в глазах барина, и потупил свои вниз, под ноги: тут опять, в ковре, пропитанном пылью и пятнами, он прочел печальный аттестат своего усердия к господской службе.

— Захар! — с чувством повторил Илья Ильич.

— Чего изволите? — едва слышно прошептал Захар и чуть-чуть вздрогнул, предчувствуя патетическую речь.

— Дай мне квасу! — сказал Илья Ильич.

У Захара отлегло от сердца; он, с радости, как мальчишка, проворно бросился в буфет и принес квасу.

— Что, каково тебе? — кротко спросил Илья Ильич, отпив из стакана и держа его в руках. — Ведь нехорошо?

Вид дикости на лице Захара мгновенно смягчился блеснувшим в чертах его лучом раскаяния. Захар почувствовал первые признаки проснувшегося в груди и подступавшего к сердцу благоговейного чувства к барину, и он вдруг стал смотреть прямо ему в глаза.

— Чувствуешь ли ты свой проступок? — спросил Илья Ильич.

«Что это за „проступок“ за такой? — думал Захар с горестью, — что-нибудь жалкое; ведь нехотя заплачешь, как он станет этак-то пропекать».[4]

— Что ж, Илья Ильич, — начал Захар с самой низкой ноты своего диапазона, — я ничего не сказал, окроме того, что, мол...

— Нет, ты погоди! — перебил Обломов. — Ты понимаешь ли, что ты сделал? На вот, поставь стакан на стол и отвечай!

Захар ничего не отвечал и решительно не понимал, что он сделал, но это не помешало ему с благоговением посмотреть на барина; он даже понурил немного голову, сознавая свою вину.

— Как же ты не ядовитый человек? — говорил Обломов.

Захар все молчал, только крупно мигнул раза три.

— Ты огорчил барина! — с расстановкой произнес Илья Ильич и пристально смотрел на Захара, наслаждаясь его смущением.

Захар не знал, куда деваться от тоски.

— Ведь огорчил? — спросил Илья Ильич.

«Огорчил!» — шептал, растерявшись совсем, Захар от этого нового *жалкого* слова. Он метал взгляды направо, налево и прямо, ища в чем-нибудь спасения, и опять замелькали перед ним и паутина, и пыль, и собственное отражение, и лицо барина.

«Хоть бы сквозь землю провалиться! Эх, смерть нейдет!» — подумал он, видя, что не избежать ему патетической сцены, как ни вертись. И так он чувствовал, что мигает чаще и чаще, и вот того и гляди брызнут слезы.

Наконец он отвечал барину известной песней, только в прозе.[5]

— Чем же я огорчил вас, Илья Ильич? — почти плача сказал он.

— Чем? — повторил Обломов. — Да ты подумал ли, что такое *другой*?

Он остановился, продолжая глядеть на Захара.

— Сказать ли тебе, что это такое?

Захар повернулся, как медведь в берлоге, и вздохнул на всю комнату.

— *Другой* — кого ты разумеешь — есть голь окаянная, грубый, необразованный человек, живет грязно, бедно, на чердаке; он и выспится себе на войлоке где-нибудь на дворе. Что этакому сделается? Ничего. Трескает он картофель да селедку. Нужда мечет его из угла в угол, он и бегает день-деньской. Он, пожалуй, и переедет на новую квартиру. Вон, Лягаев, возьмет линейку подмышку да две рубашки в носовой платок и идет... «Куда, мол, ты?» — «Переезжаю», — говорит. Вот это так «другой»! А я, по-твоему, «другой» — а?

Захар взглянул на барина, переступил с ноги на ногу и молчал.

— Что такое *другой*? — продолжал Обломов. — Другой есть такой человек, который сам себе сапоги чистит, одевается сам, хоть иногда и барином смотрит, да врет, он и не знает, что такое прислуга; послать некого — сам сбегает за чем нужно; и дрова в печке сам помешает, иногда и пыль оботрет...

— Из немцев много этаких, — угрюмо сказал Захар.

— То-то же! А я? Как ты думаешь, я «другой»?

— Вы совсем другой! — жалобно сказал Захар, все не понимавший, что хочет сказать барин. — Бог знает, что это напустило такое на вас...

— Я совсем другой — а? Погоди, ты посмотри, что ты говоришь! Ты разбери-ка, как «другой»-то живет? «Другой» работает без устали, бегает, суетится, — продолжал Обломов, — не поработает, так и не поест. «Другой» кланяется, «другой» просит, унижается... А я? Ну-ка, реши: как ты думаешь, «другой» я — а?

— Да полно вам, батюшка, томить-то меня жалкими словами! — умолял Захар. — Ах ты, господи!

— Я «другой»! Да разве я мечусь, разве работаю? Мало ем, что ли? Худощав или жалок на вид? Разве недостает мне чего-нибудь? Кажется, подать, сделать — есть кому! Я ни разу не натянул себе чулок на ноги, как живу, слава богу! Стану ли я беспокоиться? Из чего мне? И кому я это говорю? Не ты ли с детства ходил за мной? Ты все это знаешь, видел, что я воспитан нежно, что я ни холода, ни голода никогда не терпел, нужды не знал, хлеба себе не заработывал и вообще черным делом не занимался. Так как же это у тебя достало духу равнять меня с другими? Разве у меня такое здоровье, как у этих «других»? Разве я могу все это делать и перенести?

Захар потерял решительно всякую способность понять речь Обломова; но губы у него вздулись от внутреннего волнения; патетическая сцена гремела, как туча, над головой его. Он молчал.

— Захар! — повторил Илья Ильич.

— Чего изволите? — чуть слышно просипел Захар.

— Дай еще квасу.

Захар принес квасу, и когда Илья Ильич, напившись, отдал ему стакан, он было проворно пошел к себе.

— Нет, нет, ты постой! — заговорил Обломов. — Я спрашиваю тебя: как ты мог так горько оскорбить барина, которого ты ребенком носил на руках, которому век служишь и который благодетельствует тебе?

Захар не выдержал: слово *благодетельствует* доконало его! Он начал мигать чаще и чаще. Чем меньше понимал он, что говорил ему в патетической речи Илья Ильич, тем грустнее становилось ему.

— Виноват, Илья Ильич, — начал он сипеть с раскаянием, — это я по глупости, право по глупости...

И Захар, не понимая, что он сделал, не знал, какой глагол употребить в конце своей речи.

— А я, — продолжал Обломов голосом оскорбленного и не оценен-

ного по достоинству человека, — еще забочусь день и ночь, тружусь, иногда голова горит, сердце замирает, по ночам не спишь, ворочаешься, все думаешь, как бы лучше... а о ком? Для кого? Все для вас, для крестьян; стало быть, и для тебя. Ты, может быть, думаешь, глядя, как я иногда покроюсь совсем одеялом с головой, что я лежу как пень да сплю; нет, не сплю я, а думаю все крепкую думу, чтоб крестьяне не потерпели ни в чем нужды, чтоб не позавидовали чужим, чтоб не плакались на меня господу богу на страшном суде, а молились бы да поминали меня добром. Неблагодарные! — с горьким упреком заключил Обломов.

Захар тронулся окончательно последними *жалкими* словами. Он начал понемногу всхлипывать.

— Батюшка, Илья Ильич! — умолял он. — Полно вам! Что вы, господь с вами, такое несете! Ах ты, мать пресвятая богородица! Какая беда вдруг стряслась нежданно-негаданно...

— А ты, — продолжал, не слушая его, Обломов, — ты бы постыдился выговорить-то! Вот какую змею отогрел на груди!

— Змея! — произнес Захар, всплеснув руками, и так приударил плачем, как будто десятка два жуков влетели и зажужжали в комнате. — Когда же я змею поминал? — говорил он среди рыданий. — Да я и во сне-то не вижу ее, поганую!

Оба они перестали понимать друг друга, а, наконец, каждый и себя.

— Да как это язык поворотился у тебя? — продолжал Илья Ильич. — А я еще в плане моем определил ему особый дом, огород, отсыпной хлеб,[6] назначил жалованье! Ты у меня и управляющий, и мажордом, и поверенный по делам! Мужики тебе в пояс; все тебе: Захар Трофимыч да Захар Трофимыч! А он все еще недоволен, в «другие» пожаловал! Вот и награда! Славно барина честит!

Захар продолжал всхлипывать, и Илья Ильич был сам растроган. Увещевая Захара, он глубоко проникся в эту минуту сознанием благодеяний, оказанных им крестьянам, и последние упреки досказал дрожащим голосом, со слезами на глазах.

— Ну, теперь иди с богом! — сказал он примирительным тоном Захару. — Да постой, дай еще квасу! В горле совсем пересохло: сам бы догадался — слышишь, барин хрипит? До чего довел!

— Надеюсь, что ты понял свой проступок, — говорил Илья Ильич, когда Захар принес квасу, — и вперед не станешь сравнивать барина с другими. Чтоб загладить свою вину, ты как-нибудь улади с хозяином, чтоб мне не переезжать. Вот как ты бережешь покой барина: расстроил совсем и лишил меня какой-нибудь новой, полезной мысли. А у кого отнял? У себя же; для вас я посвятил всего себя, для вас вышел в отставку, сижу взаперти... Ну, да бог с тобой! Вон, три часа бьет! Два часа только до обеда, что успеешь сделать в два часа? — Ничего. А дела куча. Так и быть, письмо отложу до следующей почты, а план набросаю завтра. Ну, я теперь прилягу немного: измучился совсем; ты опусти шторы да затвори меня поплотнее, чтоб не мешали; может быть, я с часик и усну; а в половине пятого разбуди.

Захар начал закупоривать барина в кабинете; он сначала покрыл его самого и подоткнул одеяло под него, потом опустил шторы, плотно запер все двери и ушел к себе.

«Чтоб тебе издохнуть, леший этакой! — ворчал он, отирая следы слез и влезая на лежанку. — Право, леший! Особый дом, огород, жалованье! — говорил Захар, понявший только последние слова. — Мастер жалкие-то слова говорить: так по сердцу точно ножом и режет... Вот тут мой и дом, и огород, тут и ноги протяну! — говорил он, с яростью ударяя по лежанке. — Жалованье! Как не приберешь гривен да пятаков к рукам, так и табаку не на что купить, и куму нечем попотчивать! Чтоб тебе пусто было!.. Подумаешь, смерть-то нейдет!»

Илья Ильич лег на спину, но не вдруг заснул. Он думал, думал, волновался, волновался...

«Два несчастья вдруг! — говорил он, завертываясь в одеяло совсем с головой. — Прошу устоять!»

Но в самом-то деле эти два *несчастья*, то есть зловещее письмо старосты и переезд на новую квартиру, переставали тревожить Обломова и поступали уже только в ряд беспокойных воспоминаний.

«До бед, которыми грозит староста, еще далеко, — думал он, — до тех пор многое может перемениться: авось, дожди поправят хлеб; может быть, недоимки староста пополнит: бежавших мужиков „водворят на место жительства", как он пишет».

«И куда это они ушли, эти мужики? — думал он и углубился более в художественное рассмотрение этого обстоятельства. — Поди, чай, ночью ушли, по сырости, без хлеба. Где же они уснут? Неужели в лесу? Ведь не сидится же! В избе хоть и скверно пахнет, да тепло по крайней мере...»

«И что тревожиться? — думал он. — Скоро и план подоспеет — чего ж пугаться заранее? Эх, я...»

Мысль о переездке тревожила его несколько более. Это было свежее, позднейшее *несчастье*; но в успокоительном духе Обломова и для этого факта наступила уже история. Хотя он смутно и предвидел неизбежность переезда, тем более, что тут вмешался Тарантьев, но он мысленно отдалял это тревожное событие своей жизни хоть на неделю, и вот уже выиграна целая неделя спокойствия!

«А *может быть*, еще Захар постарается так уладить, что и вовсе не нужно будет переезжать, *авось* обойдутся: отложат до будущего лета или совсем отменят перестройку: ну, *как-нибудь* да сделают![7] Нельзя же в самом деле... переезжать!..»

Так он попеременно волновался и успокоивался, и, наконец, в этих примирительных и успокоительных словах *авось, может быть* и *как-нибудь* Обломов нашел и на этот раз, как находил всегда, целый ковчег надежд и утешений, как в ковчеге завета отцов наших,[8] и в настоящую минуту он успел оградить себя ими от двух несчастий.

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие морозцы ту-

манят поверхность вод; еще минута — и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл глаза.

— А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, — прошептал он. — Хотел изложить план на бумаге и не изложил, к исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не поверил и денег не выдал — утро так и пропало!

Он задумался...

«Что ж это такое? А *другой бы* все это сделал! — мелькнуло у него в голове. — Другой, другой... Что же это такое *другой*?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем противоположная той, которую он дал Захару о *другом*.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что *который* и *что* ни разу не столкнулись бы между собою, другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы...

«Ведь и я бы мог все это... — думалось ему, — ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее этого! Куда же все это делось? И переехать что за штука? Стоит захотеть! „Другой“ и халата никогда не надевает, — прибавилось еще к характеристике другого; — „другой“... — тут он зевнул... — почти не спит... „другой“ тешится жизнью, везде бывает, все видит, до всего ему дело... А я! я... не „другой“!» — уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных сознательных минут в жизни Обломова.

Как страшно стало ему, когда вдруг в душе его возникло живое и ясное представление о человеческой судьбе и назначении и когда мелькнула параллель между этим назначением и собственной его жизнью, когда в голове просыпались, один за другим, и беспорядочно, пугливо носились, как птицы, пробужденные внезапным лучом солнца в дремлющей развалине, разные жизненные вопросы.

Ему грустно и больно стало за свою неразвитость, остановку в росте нравственных сил, за тяжесть, мешающую всему; и зависть грызла его, что другие так полно и широко живут, а у него как будто тяжелый камень брошен на узкой и жалкой тропе его существования.

В робкой душе его вырабатывалось мучительное сознание, что многие стороны его натуры не пробуждались совсем, другие были чуть-чуть тронуты, и ни одна не разработана до конца.

А между тем он болезненно чувствовал, что в нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее, светлое начало, может быть, теперь уже умершее, или лежит оно, как золото в недрах горы, и давно бы пора этому золоту быть ходячей монетой.

Но глубоко и тяжело завален клад дрянью, наносным сором. Кто-то будто украл и закопал в собственной его душе принесенные ему в дар миром и жизнью сокровища. Что-то помешало ему ринуться на поприще жизни и лететь по нему на всех парусах ума и воли. Какой-то тайный

враг наложил на него тяжелую руку в начале пути и далеко отбросил от прямого человеческого назначения...

И уж не выбраться ему, кажется, из глуши и дичи на прямую тропинку. Лес кругом его и в душе все чаще и темнее; тропинка зарастает более и более; светлое сознание просыпается все реже и только на мгновение будит спящие силы. Ум и воля давно парализованы и, кажется, безвозвратно.

События его жизни умельчились до микроскопических размеров, но и с теми событиями не справится он; он не переходит от одного к другому, а перебрасывается ими, как с волны на волну; он не в силах одному противопоставить упругость воли или увлечься разумно вслед за другим.

Горько становилось ему от этой тайной исповеди перед самим собою. Бесплодные сожаления о минувшем, жгучие упреки совести язвили его, как иглы, и он всеми силами старался свергнуть с себя бремя этих упреков, найти виноватого вне себя и на него обратить жало их. Но на кого?

«Это все... Захар!» — прошептал он.

Вспомнил он подробности сцены с Захаром, и лицо его вспыхнуло целым пожаром стыда.

«Что, если б кто-нибудь слышал это? .. — думал он, цепенея от этой мысли. — Слава богу, что Захар не сумеет пересказать никому; да и не поверят; слава богу!»

Он вздыхал, проклинал себя, ворочался с боку на бок, искал виноватого и не находил. Охи и вздохи его достигли даже до ушей Захара.

«Эк его там с квасу-то раздувает!» — с сердцем ворчал Захар.

«Отчего же это я такой? — почти со слезами спросил себя Обломов и спрятал опять голову под одеяло, — право?»

Поискав бесполезно враждебного начала, мешающего ему жить как следует, как живут «другие», он вздохнул, закрыл глаза, и чрез несколько минут дремота опять начала понемногу оковывать его чувства.

«И я бы тоже... хотел... — говорил он, мигая с трудом, — что-нибудь такое... Разве природа уж так обидела меня... Да нет, слава богу... жаловаться нельзя...»

За этим послышался примирительный вздох. Он переходил от волнения к нормальному своему состоянию, спокойствию и апатии.

«Видно, уж так судьба... Что ж мне тут делать? ..» — едва шептал он, одолеваемый сном.

«Яко две тысячи поменее доходу. — сказал он вдруг громко в бреду. — Сейчас, сейчас, погоди...» — и очнулся вполовину.

«Однако... любопытно бы знать... отчего я... такой? .. — сказал он опять шепотом. Веки у него закрылись совсем. — Да, отчего? Должно быть... это... оттого...» — силился выговорить он и не выговорил.

Так он и не додумался до причины; язык и губы мгновенно замерли на полуслове и остались, как были, полуоткрыты. Вместо слова послышался еще вздох, и вслед за тем начало раздаваться ровное храпенье безмятежно спящего человека.

Сон остановил медленный и ленивый поток его мыслей и мгновенно перенес его в другую эпоху, к другим людям, в другое место, куда перенесемся за ним и мы с читателем в следующей главе.

IX

СОН ОБЛОМОВА

Где мы? В какой благословенный уголок земли перенес нас сон Обломова? Что за чудный край!

Нет, правда, там моря, нет высоких гор, скал и пропастей, ни дремучих лесов — нет ничего грандиозного, дикого и угрюмого.

Да и зачем оно, это дикое и грандиозное? Море, например? Бог с ним! Оно наводит только грусть на человека: глядя на него, хочется плакать. Сердце смущается робостью перед необозримой пеленой вод, и не на чем отдохнуть взгляду, измученному однообразием бесконечной картины.

Рев и бешеные раскаты валов не нежат слабого слуха: они всё твердят свою, от начала мира одну и ту же песнь мрачного и неразгаданного содержания; и все слышится в ней один и тот же стон, одни и те же жалобы будто обреченного на муку чудовища да чьи-то пронзительные, зловещие голоса. Птицы не щебечут вокруг; только безмолвные чайки, как осужденные, уныло носятся у прибрежья и кружатся над водой.

Бессилен рев зверя пред этими воплями природы, ничтожен и голос человека, и сам человек так мал, слаб, так незаметно исчезает в мелких подробностях широкой картины! От этого, может быть, так и тяжело ему смотреть на море.

Нет, бог с ним, с морем! Самая тишина и неподвижность его не рождают отрадного чувства в душе: в едва заметном колебании водяной массы человек все видит ту же необъятную, хотя и спящую силу, которая подчас так ядовито издевается над его гордой волей и так глубоко хоронит его отважные замыслы, все его хлопоты и труды.

Горы и пропасти созданы тоже не для увеселения человека. Они грозны, страшны, как выпущенные и устремленные на него когти и зубы дикого зверя; они слишком живо напоминают нам бренный состав наш и держат в страхе и тоске за жизнь. И небо там, над скалами и пропастями, кажется таким далеким и недосягаемым, как будто оно отступилось от людей.

Не таков мирный уголок, где вдруг очутился наш герой.

Небо там, кажется, напротив, ближе жмется к земле, но не с тем, чтоб метать сильнее стрелы, а разве только, чтоб обнять ее покрепче, с любовью: оно распростерлось так невысоко над головой, как родительская надежная кровля, чтоб уберечь, кажется, избранный уголок от всяких невзгод.

Солнце там ярко и жарко светит около полугода и потом удаляется оттуда не вдруг, точно нехотя, как будто оборачивается назад взглянуть еще раз или два на любимое место и подарить ему осенью, среди ненастья, ясный, теплый день.

Горы там как будто только модели тех страшных где-то воздвигнутых гор, которые ужасают воображение. Это ряд отлогих холмов, с которых приятно кататься, резвясь, на спине или, сидя на них, смотреть в раздумье на заходящее солнце.

Река бежит весело, шаля и играя; она то разольется в широкий пруд, то стремится быстрой нитью, или присмиреет, будто задумавшись, и чуть-чуть ползет по камешкам, выпуская из себя по сторонам резвые ручьи, под журчанье которых сладко дремлется.

Весь уголок верст на пятнадцать или на двадцать вокруг представляет ряд живописных этюдов, веселых, улыбающихся пейзажей. Песчаные и отлогие берега светлой речки, подбирающийся с холма к воде мелкий кустарник, искривленный овраг с ручьем на дне и березовая роща — все как будто было нарочно прибрано одно к одному и мастерски нарисовано.

Измученное волнениями или вовсе незнакомое с ними сердце так и просится спрятаться в этот забытый всеми уголок и жить никому не ведомым счастьем. Все сулит там покойную, долговременную жизнь до желтизны волос и незаметную, сну подобную смерть.

Правильно и невозмутимо совершается там годовой круг.

По указанию календаря наступит в марте весна, побегут грязные ручьи с холмов, оттает земля и задымится теплым паром; скинет крестьянин полушубок, выйдет в одной рубашке на воздух и, прикрыв глаза рукой, долго любуется солнцем, с удовольствием пожимая плечами; потом он потянет опрокинутую вверх дном телегу то за одну, то за другую оглоблю или осмотрит и ударит ногой праздно лежащую под навесом соху, готовясь к обычным трудам.

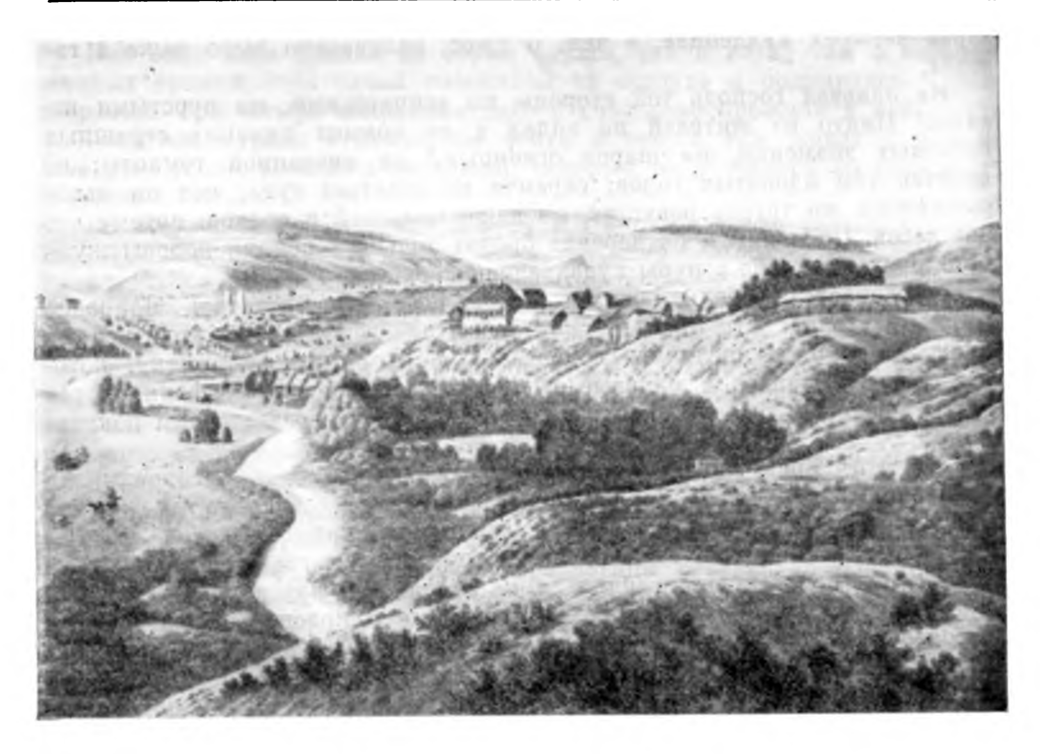
Не возвращаются внезапные вьюги весной, не засыпают полей и не ломают снегом деревьев.

Зима, как неприступная, холодная красавица, выдерживает свой характер вплоть до узаконенной поры тепла; не дразнит неожиданными оттепелями и не гнет в три дуги неслыханными морозами; все идет обычным, предписанным природой общим порядком.

В ноябре начинается снег и мороз, который к Крещенью усиливается[1] до того, что крестьянин, выйдя на минуту из избы, воротится непременно с инеем на бороде; а в феврале чуткий нос уже чувствует в воздухе мягкое веянье близкой весны.

Но лето, лето особенно упоительно в том краю. Там надо искать свежего, сухого воздуха, напоенного — не лимоном и не лавром,[2] а просто запахом полыни, сосны и черемухи; там искать ясных дней, слегка жгучих, но не палящих лучей солнца и почти в течение трех месяцев безоблачного неба.

Как пойдут ясные дни, то и длятся недели три-четыре; и вечер тепел там, и ночь душна. Звезды так приветливо, так дружески мигают с небес.



Деревня Самайкино бывшей Симбирской губернии. 1853 г.

Дождь ли пойдет — какой благотворный летний дождь! Хлынет бойко, обильно, весело запрыгает, точно крупные и жаркие слезы внезапно обрадованного человека; а только перестанет — солнце уже опять с ясной улыбкой любви осматривает и сушит поля и пригорки: и вся страна опять улыбается счастьем в ответ солнцу.

Радостно приветствует дождь крестьянин: «Дождичек вымочит, солнышко высушит!» — говорит он, подставляя с наслаждением под теплый ливень лицо, плечи и спину.

Грозы не страшны, а только благотворны там: бывают постоянно в одно и то же установленное время, не забывая почти никогда Ильина дня,[3] как будто для того, чтоб поддержать известное предание в народе. И число и сила ударов, кажется, всякий год одни и те же, точно как будто из казны отпускалась на год на весь край известная мера электричества.

Ни страшных бурь, ни разрушений не слыхать в том краю.

В газетах ни разу никому не случалось прочесть чего-нибудь подобного об этом благословенном богом уголке. И никогда бы ничего и не было напечатано, и не слыхали бы про этот край, если б только крестьянская вдова Марина Кулькова, двадцати восьми лет, не родила

зараз четырех младенцев, о чем, о ужас, напечатано было даже в газетах.

Не наказал господь той стороны ни египетскими, ни простыми язвами.[4] Никто из жителей не видал и не помнит никаких страшных небесных знамений, ни шаров огненных,[5] ни внезапной темноты; не водится там ядовитых гадов; саранча не залетает туда; нет ни львов рыкающих, ни тигров ревущих, ни даже медведей и волков, потому что нет лесов. По полям и по деревне бродят только в обилии коровы жующие, овцы блеющие и куры кудахтающие.

Бог знает, удовольствовался ли бы поэт или мечтатель природой мирного уголка. Эти господа, как известно, любят засматриваться на луну да слушать щелканье соловьев. Любят они луну-кокетку, которая бы наряжалась в палевые облака да сквозила таинственно через ветви дерев или сыпала снопы серебряных лучей в глаза своим поклонникам.

А в этом краю никто и не знал, что за луна такая, — все называли ее месяцем. Она как-то добродушно, во все глаза смотрела на деревни и поле и очень походила на медный вычищенный таз.

Напрасно поэт стал бы глядеть восторженными глазами на нее: она так же бы простодушно глядела и на поэта, как круглолицая деревенская красавица глядит в ответ на страстные и красноречивые взгляды городского волокиты.

Соловьев тоже не слыхать в том краю, может быть оттого, что не водилось там тенистых приютов и роз; но зато какое обилие перепелов! Летом, при уборке хлеба, мальчишки ловят их руками.

Да не подумают, однако ж, чтоб перепела составляли там предмет гастрономической роскоши, — нет, такое развращение не проникло в нравы жителей того края: перепел — птица, уставом в пищу не показанная. Она там услаждает людской слух пением: оттого почти в каждом дому под кровлей в нитяной клетке висит перепел.

Поэт и мечтатель не остались бы довольны даже общим видом этой скромной и незатейливой местности. Не удалось бы им там видеть какого-нибудь вечера в швейцарском или шотландском вкусе, когда вся природа — и лес, и вода, и стены хижин, и песчаные холмы — все горит точно багровым заревом; когда по этому багровому фону резко оттеняется едущая по песчаной извилистой дороге кавалькада мужчин, сопутствующих какой-нибудь леди в прогулках к угрюмой развалине или поспешающих в крепкий замок, где их ожидает эпизод о войне двух роз,[6] рассказанный дедом, дикая коза на ужин, да пропетая молодою мисс под звуки лютни баллада — картины, которыми так богато населил наше воображение Вальтер Скотт.[7]

Нет, этого ничего не было в нашем краю.

Как все тихо, все сонно в трех-четырех деревеньках, составляющих этот уголок! Они лежали недалеко друг от друга и были как будто случайно брошены гигантской рукой и рассыпались в разные стороны, да так с тех пор и остались.

Как одна изба попала на обрыв оврага, так и висит там с незапамятных времен, стоя одной половиной на воздухе и подпираясь тремя жердями. Три-четыре поколения тихо и счастливо прожили в ней.

Кажется, курице страшно бы войти в нее, а там живет с женой Онисим Суслов, мужчина солидный, который не уставится во весь рост в своем жилище.

Не всякий сумеет и войти в избу к Онисиму; разве только что посетитель упросит ее *стать к лесу задом, а к нему передом*.[8]

Крыльцо висело над оврагом, и, чтоб попасть на крыльцо ногой, надо было одной рукой ухватиться за траву, другой за кровлю избы и потом шагнуть прямо на крыльцо.

Другая изба прилепилась к пригорку, как ласточкино гнездо; там три очутились случайно рядом, а две стоят на самом дне оврага.

Тихо и сонно все в деревне: безмолвные избы отворены настежь: не видно ни души; одни мухи тучами летают и жужжат в духоте.

Войдя в избу, напрасно станешь кликать громко: мертвое молчание будет ответом; в редкой избе отзовется болезненным стоном или глухим кашлем старуха, доживающая свой век на печи, или появится из-за перегородки босой длинноволосый трехлетний ребенок, в одной рубашонке, молча, пристально поглядит на вошедшего и робко спрячется опять.

Та же глубокая тишина и мир лежат и на полях; только кое-где, как муравей, гомозится на черной ниве палимый зноем пахарь, налегая на соху и обливаясь потом.

Тишина и невозмутимое спокойствие царствуют и в нравах людей в том краю. Ни грабежей, ни убийств, никаких страшных случайностей не бывало там; ни сильные страсти, ни отважные предприятия не волновали их.

И какие бы страсти и предприятия могли волновать их? Всякий знал там самого себя. Обитатели этого края далеко жили от других людей. Ближайшие деревни и уездный город были верстах в двадцати пяти и тридцати.

Крестьяне в известное время возили хлеб на ближайшую пристань к Волге, которая была их Колхидой[9] и геркулесовыми столпами, да раз в год ездили некоторые на ярмарку, и более никаких сношений ни с кем не имели.

Интересы их были сосредоточены на них самих, не перекрещивались и не соприкасались ни с чьими.

Они знали, что в восьмидесяти верстах от них была «губерния», то есть губернский город, но редкие езжали туда; потом знали, что подальше, там, Саратов или Нижний; слыхали, что есть Москва и Питер, что за Питером живут французы или немцы, а далее уже начинался для них, как для древних, темный мир, неизвестные страны, населенные чудовищами, людьми о двух головах, великанами; там следовал мрак — и, наконец, все оканчивалось той рыбой, которая держит на себе землю.[10]

И как уголок их был почти непроезжий, то и неоткуда было почерпать новейших известий о том, что делается на белом свете: обоз-

жики с деревянной посудой жили только в двадцати верстах и знали не больше их. Не с чем даже было сличить им своего житья-бытья: хорошо ли они живут, нет ли; богаты ли они, бедны ли; можно ли было чего еще пожелать, что есть у других.

Счастливые люди жили, думая, что иначе и не должно и не может быть, уверенные, что и все другие живут точно так же и что жить иначе — грех.

Они бы и не поверили, если б сказали им, что другие как-нибудь иначе пашут, сеют, жнут, продают. Какие же страсти и волнения могли быть у них?

У них, как и у всех людей, были и заботы, и слабости, взнос подати или оброка,[11] лень и сон; но все это обходилось им дешево, без волнений крови.

В последние пять лет из нескольких сот душ не умер никто, не то что насильственною, даже естественной смертью.

А если кто от старости или от какой-нибудь застарелой болезни и почил вечным сном, то там долго после того не могли надивиться такому необыкновенному случаю.

Между тем им нисколько не показалось удивительно, как это, например, кузнец Тарас чуть было собственноручно не запарился до смерти в землянке,[12] до того, что надо было отливать его водой.

Из преступлений одно, именно: кража гороху, моркови и репы по огородам, было в большом ходу, да однажды вдруг исчезли два поросенка и курица — происшествие, возмутившее весь околоток и приписанное единогласно проходившему накануне обозу с деревянной посудой на ярмарку. А то вообще случайности всякого рода были весьма редки.

Однажды, впрочем, еще найден был лежащий за околицей, в канаве, у моста, видно, отставший от проходившей в город артели человек.

Мальчишки первые заметили его и с ужасом прибежали в деревню с вестью о каком-то страшном змее или оборотне, который лежал в канаве, прибавив, что он погнался за ними и чуть не съел Кузьку.

Мужики, поудалее, вооружились вилами и топорами и гурьбой пошли к канаве.

— Куда вас несет? — унимали старики. — Аль шея-то крепка? Чего вам надо? Не замайте: вас не гонят.

Но мужики пошли и сажен за пятьдесят[13] до места стали окликать чудовище разными голосами: ответа не было; они остановились; потом опять двинулись.

В канаве лежал мужик, опершись головой в пригорок; около него валялись мешок и палка, на которой навешаны были две пары лаптей.

Мужики не решались ни подходить близко, ни трогать.

— Эй! Ты, брат! — кричали они по очереди, почесывая кто затылок, кто спину. — Как там тебя? Кто ты? Эй, ты! Что тебе тут?

Прохожий сделал движение, чтоб приподнять голову, но не мог: он, по-видимому, был нездоров или очень утомлен.

Один решился было тронуть его вилой.

— Не замай! Не замай! — закричали многие. — Почем знать, какой он: ишь, не бает ничего; может быть, какой-нибудь такой... Не замайте его, ребята!

— Пойдем, — говорили некоторые, — право-слово, пойдем: что он нам, дядя, что ли? Только беды с ним!

И все ушли назад, в деревню, рассказав старикам, что там лежит нездешний, ничего не бает, и бог его ведает, что он там...

— Нездешний, так и не замайте! — говорили старики, сидя на завалинке и положив локти на коленки. — Пусть его себе! И ходить не по что было вам!

Таков был уголок, куда вдруг перенесся во сне Обломов.

Из трех или четырех разбросанных там деревень была одна Сосновка, другая Вавиловка, в одной версте друг от друга.

Сосновка и Вавиловка были наследственной отчиной рода Обломовых и оттого известны были под общим именем Обломовки.

В Сосновке была господская усадьба и резиденция. Верстах в пяти от Сосновки лежало сельцо [14] Верхлёво, тоже принадлежавшее некогда фамилии Обломовых и давно перешедшее в другие руки, и еще несколько причисленных к этому же селу кое-где разбросанных изб.

Село принадлежало богатому помещику, который никогда не показывался в свое имение: им заведовал управляющий из немцев.

Вот и вся география этого уголка.

Илья Ильич проснулся утром в своей маленькой постельке. Ему только семь лет. Ему легко, весело.

Какой он хорошенький, красненький, полный! Щечки такие кругленькие, что иной шалун надуется нарочно, а таких не сделает.

Няня ждет его пробуждения. Она начинает натягивать ему чулочки; он не дается, шалит, болтает ногами; няня ловит его, и оба они хохочут.

Наконец удалось ей поднять его на ноги; она умывает его, причесывает головку и ведет к матери.

Обломов, увидев давно умершую мать, и во сне затрепетал от радости, от жаркой любви к ней: у него, у сонного, медленно выплыли из-под ресниц и стали неподвижно две теплые слезы.

Мать осыпала его страстными поцелуями, потом осмотрела его жадными, заботливыми глазами, не мутны ли глазки, спросила, не болит ли что-нибудь, расспросила няньку, покойно ли он спал, не просыпался ли ночью, не метался ли во сне, не было ли у него жару? Потом взяла его за руку и подвела к образу.

Там, став на колени и обняв его одной рукой, подсказывала она ему слова молитвы.

Мальчик рассеянно повторял их, глядя в окно, откуда лилась в комнату прохлада и запах сирени.

— Мы, маменька, сегодня пойдем гулять? — вдруг спрашивал он среди молитвы.

— Пойдем, душенька, — торопливо говорила она, не отводя от иконы глаз и спеша договорить святые слова.

Мальчик вяло повторял их, но мать влагала в них всю свою душу.

Потом шли к отцу, потом к чаю.

Около чайного стола Обломов увидал живущую у них престарелую тетку, восьмидесяти лет, беспрерывно ворчавшую на свою девчонку,[15] которая, тряся от старости головой, прислуживала ей, стоя за ее стулом. Там и три пожилые девушки, дальние родственницы отца его, и немного помешанный деверь его матери, и помещик семи душ, Чекменев, гостивший у них, и еще какие-то старушки и старички.

Весь этот штат и свита дома Обломовых подхватили на руки Илью Ильича и начали осыпать его ласками и похвалами; он едва успевал утирать следы непрошеных поцелуев.

После того начиналось кормление его булочками, сухариками, сливочками.

Потом мать, приласкав его еще, отпускала гулять в сад, по двору, на луг, с строгим подтверждением няньке не оставлять ребенка одного, не допускать к лошадям, к собакам, к козлу, не уходить далеко от дома, а главное, не пускать его в овраг, как самое страшное место в околотке, пользовавшееся дурною репутацией.

Там нашли однажды собаку, признанную бешеною потому только, что она бросилась от людей прочь, когда на нее собрались с вилами и топорами, и исчезла где-то за горой; в овраг свозили падаль; в овраге предполагались и разбойники, и волки, и разные другие существа, которых или в том краю, или совсем на свете не было.

Ребенок не дождался предостережений матери: он уж давно на дворе.

Он с радостным изумлением, как будто в первый раз, осмотрел и обежал кругом родительский дом, с покривившимися набок воротами, с севшей на середине деревянной кровлей, на которой рос нежный зеленый мох, с шатающимся крыльцом, разными пристройками и настройками и с запущенным садом.

Ему страх хочется взбежать на огибавшую весь дом висячую галерею, чтоб посмотреть оттуда на речку; но галерея ветха, чуть-чуть держится, и по ней дозволяется ходить только «людям», а господа не ходят.

Он не внимал запрещениям матери и уже направился было к соблазнительным ступеням, но на крыльце показалась няня и кое-как поймала его.

Он бросился от нее к сеновалу, с намерением взобраться туда по крутой лестнице, и едва она поспевала дойти до сеновала, как уж надо было спешить разрушать его замыслы влезть на голубятню, проникнуть на скотный двор и, чего боже сохрани! — в овраг.

— Ах ты, господи, что это за ребенок, за юла за такая! Да посидишь ли ты смирно, сударь? Стыдно! — говорила нянька.

И целый день, и все дни и ночи няни наполнены были суматохой, беготней: то пыткой, то живой радостью за ребенка, то страхом, что

он упадет и расшибет нос, то умилением от его непритворной детской ласки или смутной тоской за отдаленную его будущность: этим только и билось сердце ее, этими волнениями подогревалась кровь старухи, и поддерживалась кое-как ими сонная жизнь ее, которая без того, может быть, угасла бы давным-давно.

Не все резов, однако ж, ребенок: он иногда вдруг присмиреет, сидя подле няни, и смотрит на все так пристально. Детский ум его наблюдает все совершающиеся перед ним явления; они западают глубоко в душу его, потом растут и зреют вместе с ним.

Утро великолепное; в воздухе прохладно; солнце еще не высоко. От дома, от деревьев, и от голубятни, и от галереи — от всего побежали далеко длинные тени. В саду и на дворе образовались прохладные уголки, манящие к задумчивости и сну. Только вдали поле с рожью точно горит огнем, да речка так блестит и сверкает на солнце, что глазам больно.

— Отчего это, няня, тут темно, а там светло, а ужо будет и там светло? — спрашивал ребенок.

— Оттого, батюшка, что солнце идет навстречу месяцу и не видит его, так и хмурится; а ужо, как завидит издали, так и просветлеет.

Задумывается ребенок и все смотрит вокруг: видит он, как Антип поехал за водой и по земле, рядом с ним, шел другой Антип, вдесятеро больше настоящего, и бочка казалась с дом величиной, а тень лошади покрыла собой весь луг, тень шагнула только два раза по лугу и вдруг двинулась за гору, а Антип еще и со двора не успел съехать.

Ребенок тоже шагнул раза два, еще шаг — и он уйдет за гору.

Ему хотелось бы к горе, посмотреть, куда делась лошадь. Он к воротам, но из окна послышался голос матери:

— Няня! Не видишь, что ребенок выбежал на солнышко! Уведи его в холодок; напечет ему головку — будет болеть, тошно сделается, кушать не станет. Он этак у тебя в овраг уйдет!

«У! баловень!» — тихо ворчит нянька, утаскивая его на крыльцо.

Смотрит ребенок и наблюдает острым и переимчивым взглядом, как и что делают взрослые, чему посвящают они утро.

Ни одна мелочь, ни одна черта не ускользает от пытливого внимания ребенка; неизгладимо врезывается в душу картина домашнего быта; напитывается мягкий ум живыми примерами и бессознательно чертит программу своей жизни по жизни, его окружающей.

Нельзя сказать, чтоб утро пропадало даром в доме Обломовых. Стук ножей, рубивших котлеты и зелень в кухне, долетал даже до деревни.

Из людской слышалось шипенье веретена да тихий, тоненький голос бабы: трудно было распознать, плачет ли она или импровизирует заунывную песню без слов.[16]

На дворе, как только Антип воротился с бочкой, из разных углов поползли к ней с ведрами, корытами и кувшинами бабы, кучера.

А там старуха пронесет из амбара в кухню чашку с мукой да кучу яиц; там повар вдруг выплеснет воду из окошка и обольет Арапку,

которая целое утро, не сводя глаз, смотрит в окно, ласково виляя хвостом и облизываясь.

Сам Обломов-старик тоже не без занятий. Он целое утро сидит у окна и неукоснительно наблюдает за всем, что делается на дворе.

— Эй, Игнашка! Что несешь, дурак? — спросит он идущего по двору человека.

— Несу ножи точить в людскую, — отвечает тот, не взглянув на барина.

— Ну неси, неси; да хорошенько, смотри, наточи!

Потом остановит бабу:

— Эй, баба! Баба! Куда ходила?

— В погреб, батюшка, — говорила она, останавливаясь, и, прикрыв глаза рукой, глядела на окно, — молока к столу достать.

— Ну иди, иди! — отвечал барин. — Да смотри, не пролей молоко-то. — А ты, Захарка, постреленок, куда опять бежишь? — кричал потом. — Вот я тебе дам бегать! Уж я вижу, что ты это в третий раз бежишь. Пошел назад, в прихожую!

И Захарка шел опять дремать в прихожую.

Придут ли коровы с поля, старик первый позаботится, чтоб их напоили; завидит ли из окна, что дворняжка преследует курицу, тотчас примет строгие меры против беспорядков.

И жена его сильно занята: она часа три толкует с Аверкой, портным, как из мужниной фуфайки перешить Илюше курточку, сама рисует мелом и наблюдает, чтоб Аверка не украл сукна; потом перейдет в девичью, задаст каждой девке, сколько сплести в день кружев; потом позовет с собой Настасью Ивановну или Степаниду Агаповну, или другую из своей свиты погулять по саду с практической целью: посмотреть, как наливается яблоко, не упало ли вчерашнее, которое уж созрело; там привить, там подрезать и т. п.

Но главною заботою была кухня и обед. Об обеде совещались целым домом; и престарелая тетка приглашалась к совету. Всякий предлагал свое блюдо: кто суп с потрохами, кто лапшу или желудок, кто рубцы, кто красную, кто белую подливку к соусу.

Всякий совет принимался в соображение, обсуживался обстоятельно и потом принимался или отвергался по окончательному приговору хозяйки.

На кухню посылались беспрестанно то Настасья Петровна, то Степанида Ивановна напомнить о том, прибавить это или отменить то, отнести сахару, меду, вина для кушанья и посмотреть, все ли положит повар, что отпущено.

Забота о пище была первая и главная жизненная забота в Обломовке. Какие телята утучнялись там к годовым праздникам! Какая птица воспитывалась! Сколько тонких соображений, сколько знания и забот в ухаживанье за нею! Индейки и цыплята, назначаемые к именинам и другим торжественным дням, откармливались орехами; гусей лишали моциона, заставляли висеть в мешке неподвижно за несколько дней до праздника, чтоб они заплыли жиром. Какие запасы были там

варений, солений, печений! Какие меды, какие квасы варились, какие пироги пеклись в Обломовке!

И так до полудня все суетилось и заботилось, все жило такою полною, муравьиною, такою заметною жизнью.

В воскресенье и в праздничные дни тоже не унимались эти трудолюбивые муравьи: тогда стук ножей на кухне раздавался чаще и сильнее; баба совершала несколько раз путешествие из амбара в кухню с двойным количеством муки и яиц; на птичьем дворе было более стонов и кровопролития. Пекли исполинский пирог, который сами господа ели еще на другой день; на третий и четвертый день остатки поступали в девичью; пирог доживал до пятницы, так что один совсем черствый конец, без всякой начинки, доставался, в виде особой милости, Антипу, который, перекрестясь, с треском неустрашимо разрушал эту любопытную окаменелость, наслаждаясь более сознанием, что это господский пирог, нежели самым пирогом, как археолог, с наслаждением пьющий дрянное вино из черепка какой-нибудь тысячелетней посуды.

А ребенок все смотрел и все наблюдал своим детским, ничего не пропускающим умом. Он видел, как после полезно и хлопотливо проведенного утра наставал полдень и обед.

Полдень знойный; на небе ни облачка. Солнце стоит неподвижно над головой и жжет траву. Воздух перестал струиться и висит без движения. Ни дерево, ни вода не шелохнутся; над деревней и полем лежит невозмутимая тишина — все как будто вымерло. Звонко и далеко раздается человеческий голос в пустоте. В двадцати саженях слышно, как пролетит и прожужжит жук, да в густой траве кто-то все храпит, как будто кто-нибудь завалился туда и спит сладким сном.

И в доме воцарилась мертвая тишина. Наступил час всеобщего послеобеденного сна.

Ребенок видит, что и отец, и мать, и старая тетка, и свита — все разбрелись по своим углам; а у кого не было его, тот шел на сеновал, другой в сад, третий искал прохлады в сенях, а иной, прикрыв лицо платком от мух, засыпал там, где сморила его жара и повалил громоздкий обед. И садовник растянулся под кустом в саду, подле своей пешни,[17] и кучер спал на конюшне.

Илья Ильич заглянул в людскую: в людской все легли вповалку, по лавкам, по полу и в сенях, предоставив ребятишек самим себе; ребятишки ползают по двору и роются в песке. И собаки далеко залезли в конуры, благо не на кого было лаять.

Можно было пройти по всему дому насквозь и не встретить ни души; легко было обокрасть все кругом и свезти со двора на подводах: никто не помешал бы, если б только водились воры в том краю.

Это был какой-то всепоглощающий, ничем не победимый сон, истинное подобие смерти. Все мертво, только из всех углов несется разнообразное храпенье на все тоны и лады.

Изредка кто-нибудь вдруг поднимет со сна голову, посмотрит бессмысленно, с удивлением, на обе стороны и перевернется на другой

бок или, не открывая глаз, плюнет спросонья и, почавкав губами или поворчав что-то под нос себе, опять заснет.

А другой быстро, без всяких предварительных приготовлений, вскочит обеими ногами с своего ложа, как будто боясь потерять драгоценные минуты, схватит кружку с квасом и, подув на плавающих там мух, так, чтоб их отнесло к другому краю, отчего мухи, до тех пор неподвижные, сильно начинают шевелиться, в надежде на улучшение своего положения, промочит горло и потом падает опять на постель, как подстреленный.

А ребенок все наблюдал да наблюдал.

Он с няней после обеда опять выходил на воздух. Но и няня, несмотря на всю строгость наказов барыни и на свою собственную волю, не могла противиться обаянию сна. Она тоже заражалась этой господствовавшей в Обломовке повальной болезнью.

Сначала она бодро смотрела за ребенком, не пускала далеко от себя, строго ворчала за резвость, потом, чувствуя симптомы приближавшейся заразы, начинала упрашивать не ходить за ворота, не затрогивать козла, не лазить на голубятню или галерею.

Сама она усаживалась где-нибудь в холодке: на крыльце, на пороге погреба или просто на травке, по-видимому с тем, чтоб вязать чулок и смотреть за ребенком. Но вскоре она лениво унимала его, кивая головой.

«Влезет, ах, того и гляди влезет эта юла на галерею, — думала она почти сквозь сон, — или еще... как бы в овраг...»

Тут голова старухи клонилась к коленям, чулок выпадал из рук; она теряла из виду ребенка и, открыв немного рот, испускала легкое храпенье.

А он с нетерпением дожидался этого мгновения, с которым начиналась его самостоятельная жизнь.

Он был как будто один в целом мире; он на цыпочках убегал от няни, осматривал всех, кто где спит; остановится и смотрит пристально, как кто очнется, плюнет или промычит что-то во сне; потом с замирающим сердцем взбегал на галерею, обегал по скрипучим доскам кругом, лазил на голубятню, забирался в глушь сада, слушал, как жужжит жук, и далеко следил глазами его полет в воздухе; прислушивался, как кто-то все стрекочет в траве, искал и ловил нарушителей этой тишины; поймает стрекозу, оторвет ей крылья и смотрит, что из нее будет, или проткнет сквозь нее соломинку и следит, как она летает с этим прибавлением; с наслаждением, боясь дохнуть, наблюдает за пауком, как он сосет кровь пойманной мухи, как бедная жертва бьется и жужжит у него в лапах. Ребенок кончит тем, что убьет и жертву, и мучителя.

Потом он заберется в канаву, роется, отыскивает какие-то корешки, очищает от коры и ест всласть, предпочитая яблокам и варенью, которые дает маменька.

Он выбежит и за ворота: ему бы хотелось в березняк; он так близко кажется ему, что вот он в пять минут добрался бы до него, не кругом,

по дороге, а прямо, через канаву, плетни и ямы; но он боится; там, говорят, и лешие, и разбойники, и страшные звери.

Хочется ему и в овраг сбегать: он всего саженях в пятидесяти от сада; ребенок уж прибежал к краю, зажмурил глаза, хотел заглянуть, как в кратер волкана... но вдруг перед ним восстали все толки и предания об этом овраге: его объял ужас, и он, ни жив ни мертв, мчится назад и, дрожа от страха, бросился к няньке и разбудил старуху.

Она вспрянула от сна, поправила платок на голове, подобрала под него пальцем клочки седых волос и, притворяясь, что будто не спала совсем, подозрительно поглядывает на Илюшу, потом на барские окна и начинает дрожащими пальцами тыкать одну в другую спицы чулка, лежащего у нее на коленях.

Между тем жара начала понемногу спадать; в природе стало все поживее; солнце уже подвинулось к лесу.

И в доме мало-помалу нарушилась тишина: в одном углу где-то скрипнула дверь; послышались по двору чьи-то шаги; на сеновале кто-то чихнул.

Вскоре из кухни торопливо пронес человек, нагибаясь от тяжести, огромный самовар. Начали собираться к чаю: у кого лицо измято и глаза заплыли слезами; тот належал себе красное пятно на щеке и висках; третий говорит со сна не своим голосом. Все это сопит, охает, зевает, почесывает голову и разминается, едва приходя в себя.

Обед и сон рождали неутолимую жажду. Жажда палит горло; выпивается чашек по двенадцати чаю, но это не помогает: слышится оханье, стенанье; прибегают к брусничной, к грушевой воде, к квасу, а иные и к врачебному пособию, чтоб только залить засуху в горле.

Все искали освобождения от жажды, как от какого-нибудь наказания господня; все мечутся, все томятся, точно караван путешественников в аравийской степи, не находящий нигде ключа воды.

Ребенок тут, подле маменьки: он вглядывается в странные окружающие его лица, вслушивается в их сонный и вялый разговор. Весело ему смотреть на них, любопытен кажется ему всякий сказанный ими вздор.

После чая все займутся чем-нибудь: кто пойдет к речке и тихо бродит по берегу, толкая ногой камешки в воду; другой сядет к окну и ловит глазами каждое мимолетное явление: пробежит ли кошка по двору, пролетит ли галка, наблюдатель и ту, и другую преследует взглядом и кончиком своего носа, поворачивая голову то направо, то налево. Так иногда собаки любят сидеть по целым дням на окне, подставляя голову под солнышко и тщательно оглядывая всякого прохожего.

Мать возьмет голову Илюши, положит к себе на колени и медленно расчесывает ему волосы, любуясь мягкостью их и заставляя любоваться и Настасью Ивановну, и Степаниду Тихоновну, и разговаривает с ними о будущности Илюши, ставит его героем какой-нибудь созданной ею блистательной эпопеи. Те сулят ему золотые горы.

Но вот начинает смеркаться. На кухне опять трещит огонь, опять раздается дробный стук ножей: готовится ужин.

Дворня собралась у ворот: там слышится балалайка, хохот. Люди играют в горелки.

А солнце уж опускалось за лес; оно бросало несколько чуть-чуть теплых лучей, которые прорезывались огненной полосой через весь лес, ярко обливая золотом верхушки сосен. Потом лучи гасли один за другим; последний луч оставался долго; он, как тонкая игла, вонзился в чащу ветвей; но и тот потух.

Предметы теряли свою форму; все сливалось сначала в серую, потом в темную массу. Пение птиц постепенно ослабевало; вскоре они совсем замолкли, кроме одной какой-то упрямой, которая, будто наперекор всем, среди общей тишины, одна монотонно чирикала с промежутками, но все реже и реже, и та наконец свистнула слабо, незвучно, в последний раз, встрепенулась, слегка пошевелив листья вокруг себя... и заснула.

Все смолкло. Одни кузнечики взапуски трещали сильнее. Из земли поднялись белые пары и разостлались по лугу и по реке. Река тоже присмирела; немного погодя и в ней вдруг кто-то плеснул еще в последний раз, и она стала неподвижна.

Запахло сыростью. Становилось все темнее и темнее. Деревья сгруппировались в каких-то чудовищ; в лесу стало страшно: там кто-то вдруг заскрипит, точно одно из чудовищ переходит с своего места на другое, и сухой сучок, кажется, хрустит под его ногой.

На небе ярко сверкнула, как живой глаз, первая звездочка, и в окнах дома замелькали огоньки.

Настали минуты всеобщей, торжественной тишины природы, те минуты, когда сильнее работает творческий ум, жарче кипят поэтические думы, когда в сердце живее вспыхивает страсть или больнее ноет тоска, когда в жестокой душе невозмутимее и сильнее зреет зерно преступной мысли, и когда... в Обломовке все почивают так крепко и покойно.

— Пойдем, мама, гулять, — говорит Илюша.

— Что ты, бог с тобой! Теперь гулять, — отвечает она, — сыро, ножки простудишь; и страшно: в лесу теперь леший ходит, он уносит маленьких детей.

— Куда он уносит? Какой он бывает? Где живет? — спрашивает ребенок.

И мать давала волю своей необузданной фантазии.

Ребенок слушает ее, открывая и закрывая глаза, пока наконец сон не сморит его совсем. Приходила нянька и, взяв его с коленей матери, уносила сонного, с повисшей через ее плечо головой, в постель.

— Вот день-то и прошел, и слава богу! — говорили обломовцы, ложась в постель, кряхтя и осеняя себя крестным знамением. — Прожили благополучно; дай бог и завтра так! Слава тебе, господи! Слава тебе, господи!

Потом Обломову приснилась другая пора: он в бесконечный зимний вечер робко жмется к няне, а она нашептывает ему о какой-то неведомой стороне, где нет ни ночей, ни холода, где все совершаются чудеса, где текут реки меду и молока, где никто ничего круглый год не делает, а день-деньской только и знают, что гуляют всё добрые молодцы, такие,

как Илья Ильич, да красавицы, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Там есть и добрая волшебница, являющаяся у нас иногда в виде щуки, которая изберет себе какого-нибудь любимца, тихого, безобидного, другими словами, какого-нибудь лентяя, которого все обижают, да и осыпает его, ни с того ни с сего, разным добром, а он знай кушает себе да наряжается в готовое платье, а потом женится на какой-нибудь неслыханной красавице, Милитрисе Кирбитьевне.[18]

Ребенок, навострив уши и глаза, страстно впивался в рассказ.

Нянька или предание так искусно избегали в рассказе всего, что существует на самом деле, что воображение и ум, проникшись вымыслом, оставались уже у него в рабстве до старости. Нянька с добродушием повествовала сказку о Емеле-дурачке, эту злую и коварную сатиру на наших прадедов, а может быть, еще и на нас самих.

Взрослый Илья Ильич хотя после и узнает, что нет медовых и молочных рек, нет добрых волшебниц, хотя и шутит он с улыбкой над сказаниями няни, но улыбка эта не искрення, она сопровождается тайным вздохом: сказка у него смешалась с жизнью, и он бессознательно грустит подчас, зачем сказка не жизнь, а жизнь не сказка.

Он невольно мечтает о Милитрисе Кирбитьевне; его все тянет в ту сторону, где только и знают, что гуляют, где нет забот и печалей; у него навсегда остается расположение полежать на печи, походить в готовом, незаработанном платье и поесть на счет доброй волшебницы.

И старик Обломов, и дед выслушивали в детстве те же сказки, прошедшие в стереотипном издании старины, в устах нянек и дядек, сквозь века и поколения.

Няня между тем уж рисует другую картину воображению ребенка.

Она повествует ему о подвигах наших Ахиллов и Улиссов,[19] об удали *Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича, о Полкане-богатыре, о Колечище прохожем,*[20] о том, как они странствовали по Руси, побивали несметные полчища басурман, как состязались в том, кто одним духом выпьет чару зелена вина и не крякнет; потом говорила о злых разбойниках, о спящих царевнах, окаменелых городах и людях; наконец переходила к нашей демонологии, к мертвецам, к чудовищам и к оборотням.

Она с простотою и добродушием Гомера, с тою же животрепещущею верностью подробностей и рельефностью картин влагала в детскую память и воображение Илиаду русской жизни, созданную нашими гомеридами[21] тех туманных времен, когда человек еще не ладил с опасностями и тайнами природы и жизни, когда он трепетал и перед оборотнем, и перед лешим, и у Алеши Поповича искал защиты от окружавших его бед, когда и в воздухе, и в воде, и в лесу, и в поле царствовали чудеса.

Страшна и неверна была жизнь тогдашнего человека; опасно было ему выйти за порог дома: его того гляди запорет зверь, зарежет разбойник, отнимет у него все злой татарин, или пропадет человек без вести, без всяких следов.

А то вдруг явятся знамения небесные, огненные столпы да шары; а там, над свежей могилой, вспыхнет огонек, или в лесу кто-то прогуливается, будто с фонарем, да страшно хохочет и сверкает глазами в темноте.

И с самим человеком творилось столько непонятного: живет-живет человек долго и хорошо — ничего, да вдруг заговорит такое непутное, или учнет кричать не своим голосом, или бродить сонный по ночам; другого, ни с того ни с сего, начнет коробить и бить оземь. А перед тем, как сделаться этому, только что курица прокричала петухом да ворон прокаркал над крышей.

Терялся слабый человек, с ужасом озираясь в жизни, и искал в воображении ключа к таинствам окружающей его и своей собственной природы.

А, может быть, сон, вечная тишина вялой жизни и отсутствие движения и всяких действительных страхов, приключений и опасностей заставляли человека творить среди естественного мира другой, несбыточный, и в нем искать разгула и потехи праздному воображению или разгадки обыкновенных сцеплений обстоятельств и причин явления вне самого явления.

Ощупью жили бедные предки наши; не окрыляли и не сдерживали они своей воли, а потом наивно дивились или ужасались неудобству, злу и допрашивались причин у немых и неясных иероглифов природы.

Смерть у них приключалась от вынесенного перед тем из дома покойника головой, а не ногами из ворот; пожар — от того, что собака выла три ночи под окном; и они хлопотали, чтоб покойника выносили ногами из ворот, а ели все то же, по стольку же и спали по-прежнему на голой траве; воющую собаку били или сгоняли со двора, а искры от лучины все-таки сбрасывали в трещину гнилого пола.

И поныне русский человек среди окружающей его строгой, лишенной вымысла действительности любит верить соблазнительным сказаниям старины, и долго, может быть, еще не отрешиться ему от этой веры.

Слушая от няни сказки о нашем *золотом руне* — *Жар-птице*, о преградах и тайниках волшебного замка, мальчик то бодрился, воображая себя героем подвига, — и мурашки бегали у него по спине, то страдал за неудачи храбреца.

Рассказ лился за рассказом. Няня повествовала с пылом, живописно, с увлечением, местами вдохновенно, потому что сама вполовину верила рассказам. Глаза старухи искрились огнем; голова дрожала от волнения; голос возвышался до непривычных нот.

Ребенок, объятый неведомым ужасом, жался к ней со слезами на глазах.

Заходила ли речь о мертвецах, поднимающихся в полночь из могил, или о жертвах, томящихся в неволе у чудовища, или о медведе с деревянной ногой, который идет по селам и деревням отыскивать отрубленную у него натуральную ногу, — волосы ребенка трещали на голове от ужаса; детское воображение то застывало, то кипело; он испытывал

мучительный, сладко болезненный процесс; нервы напрягались как струны.

Когда нянька мрачно повторяла слова медведя: «Скрипи, скрипи, нога липовая; я по селам шел, по деревням шел, все бабы спят, одна баба не спит, на моей шкуре сидит, мое мясо варит, мою шерстку прядет» и т. д.; когда медведь входил, наконец, в избу и готовился схватить похитителя своей ноги, ребенок не выдерживал: он с трепетом и визгом бросался на руки к няне; у него брызжут слезы испуга, и вместе хохочет он от радости, что он не в когтях у зверя, а на лежанке, подле няни.

Населилось воображение мальчика странными призраками; боязнь и тоска засели надолго, может быть навсегда, в душу. Он печально озирается вокруг и все видит в жизни вред, беду, все мечтает о той волшебной стороне, где нет зла, хлопот, печалей, где живет Милитриса Кирбитьевна, где так хорошо кормят и одевают даром...

Сказка не над одними детьми в Обломовке, но и над взрослыми до конца жизни сохраняет свою власть. Все в доме и в деревне, начиная от барина, жены его и до дюжего кузнеца Тараса, — все трепещут чего-то в темный вечер: всякое дерево превращается тогда в великана, всякий куст — в вертеп разбойников.

Стук ставни и завыванье ветра в трубе заставляли бледнеть и мужчин, и женщин, и детей. Никто в Крещенье не выйдет после десяти часов вечера один за ворота; всякий в ночь на Пасху побоится идти в конюшню, опасаясь застать там домового.

В Обломовке верили всему: и оборотням, и мертвецам. Расскажут ли им, что копна сена разгуливала по полю, — они не задумаются и поверят; пропустит ли кто-нибудь слух, что вот это не баран, а что-то другое, или что такая-то Марфа или Степанида — ведьма, они будут бояться и барана, и Марфы: им и в голову не придет спросить, отчего баран стал не бараном, а Марфа сделалась ведьмой, да еще накинутся и на того, кто бы вздумал усомниться в этом, — так сильна вера в чудесное в Обломовке!

Илья Ильич и увидит после, что просто устроен мир, что не встают мертвецы из могил, что великанов, как только они заведутся, тотчас сажают в балаган, а разбойников — в тюрьму; но если пропадает самая вера в призраки, то остается какой-то осадок страха и безотчетной тоски.

Узнал Илья Ильич, что нет бед от чудовищ, а какие есть — едва знает, и на каждом шагу все ждет чего-то страшного и боится. И теперь еще, оставшись в темной комнате или увидя покойника, он трепещет от зловещей, в детстве зароненной в душу тоски; смеясь над страхами своими поутру, он опять бледнеет вечером.

Далее Илья Ильич вдруг увидел себя мальчиком лет тринадцати или четырнадцати.

Он уж учится в селе Верхлёве, верстах в пяти от Обломовки, у тамошнего управляющего, немца Штольца, который завел небольшой пансион для детей окрестных дворян.

У него был свой сын, Андрей, почти одних лет с Обломовым, да еще отдали ему одного мальчика, который почти никогда не учился, а больше страдал золотухой, все детство проходил постоянно с завязанными глазами или ушами да плакал все втихомолку о том, что живет не у бабушки, а в чужом доме, среди злодеев, что вот его и приласкать-то некому и никто любимого пирожка не испечет ему.

Кроме этих детей, других еще в пансионе пока не было.

Нечего делать, отец и мать посадили баловника Илюшу за книгу. Это стоило слез, воплей, капризов. Наконец отвезли.

Немец был человек дельный и строгий, как почти все немцы. Может быть, у него Илюша и успел бы выучиться чему-нибудь хорошенько, если б Обломовка была верстах в пятистах от Верхлёва. А то как выучиться? Обаяние обломовской атмосферы, образа жизни и привычек простиралось и на Верхлёво; ведь оно тоже было некогда Обломовкой; там, кроме дома Штольца, все дышало тою же первобытною ленью, простотою нравов, тишиной и неподвижностью.

Ум и сердце ребенка исполнились всех картин, сцен и нравов этого быта прежде, нежели он увидел первую книгу. А кто знает, как рано начинается развитие умственного зерна в детском мозгу? Как уследить за рождением в младенческой душе первых понятий и впечатлений?

Может быть, когда дитя еще едва выговаривает слова, а может быть, еще вовсе не выговаривало, даже не ходило, а только смотрело на все тем пристальным немым детским взглядом, который взрослые называют тупым, и уж видело и угадывало значение и связь явлений окружающей его сферы, да только не признавалось в этом ни себе, ни другим.

Может быть, Илюша уж давно замечает и понимает, что говорят и делают при нем: как батюшко-то его, в плисовых панталонах,[22] в коричневой суконной ваточной куртке, день-деньской только и знает, что ходит из угла в угол, заложив руки назад, нюхает табак и сморкается, а матушка переходит от кофе к чаю, от чая к обеду; что родитель и не вздумает никогда поверить, сколько копен скошено или сжато, и взыскать за упущение, а подай-ко ему не скоро носовой платок, он накричит о беспорядках и поставит вверх дном весь дом.

Может быть, детский ум его давно решил, что так, а не иначе следует жить, как живут около него взрослые. Да и как иначе прикажете решить ему? А как жили взрослые в Обломовке?

Делали ли они себе вопрос: зачем дана жизнь? Бог весть. И как отвечали на него? Вероятно, никак: это казалось им очень просто и ясно.

Не слыхивали они о так называемой многотрудной жизни, о людях, носящих томительные заботы в груди, снующих зачем-то из угла в угол по лицу земли или отдающих жизнь вечному, нескончаемому труду.

Плохо верили обломовцы и душевным тревогам; не принимали за жизнь круговорота вечных стремлений куда-то, к чему-то; боялись, как огня, увлечения страстей; и как в другом месте тело у людей быстро

сгорало от волканической работы внутреннего, душевного огня, так душа обломовцев мирно, без помехи утопала в мягком теле.

Не клеймила их жизнь, как других, ни преждевременными морщинами, ни нравственными разрушительными ударами и недугами.

Добрые люди понимали ее не иначе, как идеалом покоя и бездействия, нарушаемого по временам разными неприятными случайностями, как-то: болезнями, убытками, ссорами и между прочим трудом.

Они сносили труд как наказание, наложенное еще на праотцев наших, но любить не могли, и где был случай, всегда от него избавлялись, находя это возможным и должным.

Они никогда не смущали себя никакими туманными умственными или нравственными вопросами: оттого всегда и цвели здоровьем и весельем, оттого там жили долго; мужчины в сорок лет походили на юношей; старики не боролись с трудной, мучительной смертью, а, дожив до невозможности, умирали как будто украдкой, тихо застывали и незаметно испускали последний вздох. Оттого и говорят, что прежде был крепче народ.

Да, в самом деле крепче: прежде не торопились объяснять ребенку значения жизни и приготовлять его к ней, как к чему-то мудреному и нешуточному; не томили его над книгами, которые рождают в голове тьму вопросов, а вопросы гложут ум и сердце и сокращают жизнь.

Норма жизни была готова и преподана им родителями, а те приняли ее, тоже готовую, от дедушки, а дедушка от прадедушки, с заветом блюсти ее целость и неприкосновенность, как огонь Весты.[23] Как что делалось при дедах и отцах, так делалось при отце Ильи Ильича, так, может быть, делается еще и теперь в Обломовке.

О чем же им было задумываться и чем волноваться, что узнавать, каких целей добиваться?

Ничего не нужно: жизнь, как покойная река, текла мимо их; им оставалось только сидеть на берегу этой реки и наблюдать неизбежные явления, которые по очереди, без зову, представали пред каждого из них.

И вот воображению спящего Ильи Ильича начали так же по очереди, как живые картины, открываться сначала три главные акта жизни, разыгрывавшиеся как в его семействе, так у родственников и знакомых: родины, свадьба, похороны.

Потом потянулась пестрая процессия веселых и печальных подразделений ее: крестин, именин, семейных праздников, заговенья, розговенья,[24] шумных обедов, родственных съездов, приветствий, поздравлений, официальных слез и улыбок.

Все отправлялось с такою точностью, так важно и торжественно.

Ему представлялись даже знакомые лица и мины их при разных обрядах, их заботливость и суета. Дайте им какое хотите щекотливое сватовство, какую хотите торжественную свадьбу или именины — справят по всем правилам, без малейшего упущения. Кого где посадить, что и как подать, кому с кем ехать в церемонии, примету ли соблюсти — во всем этом никто никогда не делал ни малейшей ошибки в Обломовке.

Ребенка ли выходить не сумеют там? Стоит только взглянуть, каких розовых и увесистых купидонов носят и водят за собой тамошние матери. Они на том стоят, чтоб дети были толстенькие, беленькие и здоровенькие.

Они отступятся от весны, знать ее не захотят, если не испекут в начале ее жаворонка.[25] Как им не знать и не исполнять этого?

Тут вся их жизнь и наука, тут все их скорби и радости: оттого они и гонят от себя всякую другую заботу и печаль и не знают других радостей, что жизнь их кишила этими коренными и неизбежными событиями, которые задавали бесконечную пищу их уму и сердцу.

Они с бьющимся от волнения сердцем ожидали обряда, пира, церемонии, а потом, окрестив, женив или похоронив человека, забывали самого человека и его судьбу и погружались в обычную апатию, из которой выводил их новый такой же случай — именины, свадьба и т. п.

Как только рождался ребенок, первою заботою родителей было как можно точнее, без малейших упущений, справить над ним все требуемые приличием обряды, то есть задать после крестин пир; затем начиналось заботливое ухаживанье за ним.

Мать задавала себе и няньке задачу: выходить здоровенького ребенка, беречь его от простуды, от глазу и других враждебных обстоятельств. Усердно хлопотали, чтоб дитя было всегда весело и кушало много.

Только лишь поставят на ноги молодца, то есть когда нянька станет ему не нужна, как в сердце матери закрадывается уже тайное желание приискать ему подругу — тоже поздоровее, порумянее.

Опять настает эпоха обрядов, пиров, наконец, свадьба; на этом и сосредоточивался весь пафос жизни.

Потом уже начинались повторения: рождение детей, обряды, пиры, пока похороны не изменят декорации; но не надолго: одни лица уступают место другим, дети становятся юношами и вместе с тем женихами, женятся, производят подобных себе — и так жизнь по этой программе тянется беспрерывной однообразною тканью, незаметно обрываясь у самой могилы.

Навязывались им, правда, порой и другие заботы, но обломовцы встречали их по большей части с стоическою неподвижностью, и заботы, покружившись над головами их, мчались мимо, как птицы, которые прилетя к гладкой стене и не найдя местечка приютиться, потрепещут напрасно крыльями около твердого камня и летят далее.

Так, например, однажды часть галереи с одной стороны дома вдруг обрушилась и погребла под развалинами своими наседку с цыплятами; досталось бы и Аксинье, жене Антипа, которая уселась было под галереей с донцом, да на ту пору, к счастью своему, пошла за мочками.[26]

В доме сделался гвалт: все прибежали, от мала до велика, и ужаснулись, представив себе, что вместо наседки с цыплятами тут могла прохаживаться сама барыня с Ильей Ильичом.

Все ахнули и начали упрекать друг друга в том, как это давно в го-

лову не пришло: одному — напомнить, другому — велеть поправить, третьему — поправить.

Все дались диву, что галерея обрушилась, а накануне дивились, как это она так долго держится!

Начались заботы и толки, как поправить дело; пожалели о наседке с цыплятами и медленно разошлись по своим местам, настрого запретив подводить к галерее Илью Ильича.

Потом, недели через три, велено было Андрюшке, Петрушке, Ваське обрушившиеся доски и перила оттащить к сараям, чтоб они не лежали на дороге. Там валялись они до весны.

Старик Обломов всякий раз, как увидит их из окошка, так и озаботится мыслью о поправке: призовет плотника, начнет совещаться, как лучше сделать, новую ли галерею выстроить или сломать и остатки; потом отпустит его домой, сказав: «Поди себе, а я подумаю».

Это продолжалось до тех пор, пока Васька или Мотька донес барину, что, вот-де, когда он, Мотька, сего утра лазил на остатки галереи, так углы совсем отстали от стен и того гляди рухнут опять.

Тогда призван был плотник на окончательное совещание, вследствие которого решено было подпереть пока старыми обломками остальную часть уцелевшей галереи, что и было сделано к концу того же месяца.

— Э! Да галерея-то пойдет опять заново! — сказал старик жене. — Смотри-ка, как Федот красиво расставил бревна, точно колонны у предводителя в дому! [27] Вот теперь и хорошо: опять надолго!

Кто-то напомнил ему, что вот кстати бы уж и ворота исправить и крыльцо починить, а то, дескать, сквозь ступеньки не только кошки, и свиньи пролезают в подвал.

— Да, да, надо, — заботливо отвечал Илья Иванович и шел тотчас осмотреть крыльцо.

— В самом деле, видишь, ведь как, совсем расшаталось, — говорил он, качая ногами крыльцо, как колыбель.

— Да оно и тогда шаталось, когда его сделали, — заметил кто-то.

— Так что ж, что шаталось? — отвечал Обломов. — Да вот не развалилось же, даром что шестнадцать лет без поправки стоит. Славно тогда сделал Лука! Вот был плотник, так плотник. . . умер — царство ему небесное! Нынче избаловались: не сделают так.

И он обращал глаза в другую сторону, а крыльцо, говорят, шатается и до сих пор и все еще не развалилось.

Видно, в самом деле славный был плотник этот Лука.

Надо, впрочем, отдать хозяевам справедливость: иной раз в беде или при неудобстве они очень обеспокоятся, даже погорячатся и рассердятся.

Как, дескать, можно запускать или оставлять то и другое? Надо сейчас принять меры. И говорят долго о том, как бы починить мостик, что ли, через канаву или огородить в одном месте сад, чтоб скотина не портила деревьев, потому что часть плетня совсем лежала на земле.

Илья Иванович простер свою заботливость даже до того, что однажды, гуляя по саду, собственноручно приподнял, кряхтя и охая, пле-

тень и велел садовнику поставить поскорей две жерди: плетень благодаря этой распорядительности Обломова простоял так все лето, и только зимой снегом повалило его опять.

Наконец даже дошло до того, что на мостик настлали три новые доски, тотчас же, как только Антип свалился с него, с лошадью и с бочкой, в канаву. Он еще не успел выздороветь от ушиба, а уж мостик отделан был почти заново.

Коровы и козы тоже немного взяли после нового падения плетня в саду: они съели только смородинные кусты да принялись обдирать всего десятую липу, а до яблонь и не дошли, как последовало распоряжение врыть плетень как надо и даже окопать канавкой.

Досталось же и двум коровам и козе, пойманным на деле: славно вздули бока!

Снится еще Илье Ильичу большая темная гостиная в родительском доме, с ясеневыми старинными креслами, вечно покрытыми чехлами, с огромным, неуклюжим и жестким диваном, обитым полинялым голубым бараканом[28] в пятнах, и одним большим кожаным креслом.

Наступает длинный зимний вечер.

Мать сидит на диване, поджав ноги под себя, и лениво вяжет детский чулок, зевая и почесывая по временам спицей голову.

Подле нее сидят Настасья Ивановна да Пелагея Игнатьевна и, уткнув носы в работу, прилежно шьют что-нибудь к празднику для Илюши, или для отца его, или для самих себя.

Отец, заложив руки назад, ходит по комнате взад и вперед, в совершенном удовольствии, или присядет в кресло и, посидев немного, начнет опять ходить, внимательно прислушиваясь к звуку собственных шагов. Потом понюхает табаку, высморкается и опять понюхает.

В комнате тускло горит одна сальная свечка, и то это допускалось только в зимние и осенние вечера. В летние месяцы все старались ложиться и вставать без свечей, при дневном свете.

Это частью делалось по привычке, частью из экономии. На всякий предмет, который производился не дома, а приобретался покупкою, обломовцы были до крайности скупы.

Они с радушием заколют отличную индейку или дюжину цыплят к приезду гостя, но лишней изюминки в кушанье не положат и побледнеют, когда тот же гость самовольно вздумает сам наливать себе в рюмку вина.

Впрочем, такого разврата там почти не случалось: это сделает разве сорванец какой-нибудь, погибший в общем мнении человек; такого гостя и во двор не пустят.

Нет, не такие нравы были там: гость там прежде троекратного потчеванья и не дотронется ни до чего. Он очень хорошо знает, что однократное потчеванье чаще заключает в себе просьбу отказаться от предлагаемого блюда или вина, нежели отведать его.

Не для всякого зажгут и две свечи: свечка покупалась в городе на деньги и береглась, как и все покупные вещи, под ключом самой хозяйки. Огарки бережно считались и прятались.

Вообще там денег тратить не любили, и, как ни необходима была вещь, но деньги за нее выдавались всегда с великим соболезнованием, и то если издержка была незначительна. Значительная же трата сопровождалась стонами, воплями и бранью.

Обломовцы соглашались лучше терпеть всякого рода неудобства, даже привыкали не считать их неудобствами, чем тратить деньги.

От этого и диван в гостиной давным-давно весь в пятнах, от этого и кожаное кресло Ильи Иваныча только называется кожаным, а в самом-то деле оно — не то мочальное, не то веревочное: кожи-то остался только на спинке один клочок, а остальная уж пять лет как развалилась в куски и слезла; оттого же, может быть, и ворота все кривы, и крыльцо шатается. Но заплатить за что-нибудь, хоть самонужнейшее, вдруг двести, триста, пятьсот рублей казалось им чуть не самоубийством.

Услыхав, что один из окрестных молодых помещиков ездил в Москву и заплатил там за дюжину рубашек триста рублей, двадцать пять рублей за сапоги и сорок рублей за жилет к свадьбе, старик Обломов перекрестился и сказал с выражением ужаса, скороговоркой, что «этакого молодца надо посадить в острог».

Вообще они глухи были к политико-экономическим истинам о необходимости быстрого и живого обращения капиталов, об усиленной производительности и мене продуктов.[29] Они в простоте души понимали и приводили в исполнение единственное употребление капиталов — держать их в сундуке.

На креслах в гостиной, в разных положениях, сидят и сопят обитатели или обычные посетители дома.

Между собеседниками по большей части царствует глубокое молчание: все видятся ежедневно друг с другом; умственные сокровища взаимно исчерпаны и изведаны, а новостей извне получается мало.

Тихо; только раздаются шаги тяжелых, домашней работы сапог Ильи Ивановича, еще стенные часы в футляре глухо постукивают маятником, да порванная время от времени рукой или зубами нитка у Пелагеи Игнатьевны или у Настасьи Ивановны нарушает глубокую тишину.

Так иногда пройдет полчаса, разве кто-нибудь зевнет вслух и перекрестит рот, примолвив: «Господи помилуй!».

За ним зевнет сосед, потом следующий, медленно, как будто по команде, отворяет рот, и так далее, заразительная игра воздуха в легких обойдет всех, причем иного прошибет слеза.

Или Илья Иванович подойдет к окну, взглянет туда и скажет с некоторым удивлением: «Еще пять часов только, а уж как темно на дворе!».

— Да, — ответит кто-нибудь, — об эту пору всегда темно; длинные вечера наступают.

А весной удивятся и обрадуются, что длинные дни наступают. А спросите-ка, зачем им эти длинные дни, так они и сами не знают.

И опять замолчат.

А там кто-нибудь станет снимать со свечи и вдруг погасит — все встрепенутся: «Нечаянный гость!» — скажет непременно кто-нибудь.

Иногда на этом завяжется разговор.

— Кто ж бы это гость? — скажет хозяйка. — Уж не Настасья ли Фаддеевна? Ах, дай-то господи! Да нет; она ближе праздника не будет. То-то бы радости! То-то бы обнялись да наплакались с ней вдвоем! И к заутрене, и к обедне бы вместе... Да куда мне за ней! Я даром что моложе, а не выстоять мне столько!

— А когда, бишь, она уехала от нас? — спросил Илья Иванович. — Кажется, после Ильина дня?

— Что ты, Илья Иваныч! Всегда перепутаешь! Она и семика не дождалась,[30] — поправила жена.

— Она, кажется, в Петровки здесь была,[31] — возражает Илья Иванович.

— Ты всегда так! — с упреком скажет жена. — Споришь, только срамишься...

— Ну, как же не была в Петровки? Еще тогда всё пироги с грибами пекли: она любит...

— Так это Марья Онисимовна: она любит пироги с грибами — как это не помнишь! Да и Марья Онисимовна не до Ильина дня, а до Прохора и Никанора [32] гостила.

Они вели счет времени по праздникам, по временам года, по разным семейным и домашним случаям, не ссылаясь никогда ни на месяцы, ни на числа. Может быть, это происходило частью и оттого, что, кроме самого Обломова, прочие всё путали и названия месяцев, и порядок чисел.

Замолчит побежденный Илья Иванович, и опять все общество погрузится в дремоту. Илюша, завалившись за спину матери, тоже дремлет, а иногда и совсем спит.

— Да, — скажет потом какой-нибудь из гостей с глубоким вздохом, — вот муж-то Марьи Онисимовны, покойник Василий Фомич, какой был, бог с ним, здоровый, а умер! И шестидесяти лет не прожил, — жить бы этакому сто лет!

— Все умрем, кому когда — воля божья! — возражает Пелагея Игнатьевна со вздохом. — Кто умирает, а вот у Хлоповых так не поспевают крестить: говорят, Анна Андревна опять родила — уж это шестой.

— Одна ли Анна Андревна! — сказала хозяйка. — Вот как брата-то ее женят и пойдут дети — столько ли еще будет хлопот! И меньшие подрастают, тоже в женихи смотрят; там дочерей выдавай замуж, а где женихи здесь? Нынче, вишь, ведь все хотят приданого, да всё деньгами...

— Что вы такое говорите? — спросил Илья Иванович, подойдя к беседовавшим.

— Да вот говорим, что...

И ему повторяют рассказ.

— Вот жизнь-то человеческая! — поучительно произнес Илья Иванович. — Один умирает, другой родится, третий женится, а мы вот всё

стареемся: не то что год на год, день на день не приходится! Зачем это так? То ли бы дело, если б каждый день как вчера, вчера как завтра! .. Грустно, как подумаешь...

— Старый старится, а молодой растет! — сонным голосом кто-то сказал из угла.

— Надо богу больше молиться да не думать ни о чем! — строго заметила хозяйка.

— Правда, правда, — трусливо, скороговоркой отозвался Илья Иванович, вздумавший было пофилософствовать, и пошел опять ходить взад и вперед.

Долго опять молчат; шипят только продеваемые взад и вперед иглой нитки. Иногда хозяйка нарушит молчание.

— Да, темно на дворе, — скажет она. — Вот, бог даст, как дождемся святок, приедут погостить свои, ужо будет повеселее, и не видно, как будут проходить вечера. Вот если б Маланья Петровна приехала, уж тут было бы проказ-то! Чего она не затеет! И олово лить, и воск топить, и за ворота бегать;[33] девок у меня всех с пути собьет. Затеет игры разные... такая, право!

— Да, светская дама! — заметил один из собеседников. — В третьем году она и с гор выдумала кататься, вот как Лука Савич бровь расшиб...

Вдруг все встрепенулись, посмотрели на Луку Савича и разразились хохотом.

— Как это ты, Лука Савич? Ну-ка, ну, расскажи! — говорит Илья Иванович и помирает со смеху.

И все продолжают хохотать, и Илюша проснулся, и он хохочет.

— Ну, чего рассказывать! — говорил смущенный Лука Савич. — Это все вот Алексей Наумыч выдумал: ничего и не было совсем.

— Э! — хором подхватили все. — Да как же ничего не было? Мы-то умерли разве? А лоб-то, лоб-то, вон и до сих пор рубец виден...

И захохотали.

— Да что вы смеетесь? — старается выговорить в промежутках смеха Лука Савич. — Я бы... и не того... да все Васька, разбойник... салазки старые подсунул... они и разъехались подо мной... я и того...

Общий хохот покрыл его голос. Напрасно он силился досказать историю своего падения: хохот разлился по всему обществу, проник до передней и до девичьей, обнял весь дом, все вспомнили забавный случай, все хохочут долго, дружно, *несказанно*, как олимпийские боги.[34] Только начнут умолкать, кто-нибудь подхватит опять — и пошло писать.

Наконец кое-как, с трудом успокоились.

— А что, нынче о святках будешь кататься, Лука Савич? — спросил, помолчав, Илья Иванович.

Опять общий взрыв хохота, продолжавшийся минут десять.

— Не велеть ли Антипке постом сделать гору? — вдруг опять скажет Обломов. — Лука Савич, мол, охотник большой, не терпится ему...

Хохот всей комнаты не дал договорить ему.

— Да целы ли те... салазки-то? — едва от смеха выговорил один из собеседников.

Опять смех.

Долго смеялись все, наконец стали мало-помалу затихать: иной утирал слезы, другой сморкался, третий кашлял неистово и плевал, с трудом выговаривая:

— Ах ты, господи! Задушила мокрота совсем... насмешил тогда, ей-богу! Такой грех! Как он спиной-то кверху, а полы кафтана врозь...

Тут следовал окончательно последний, самый продолжительный раскат хохота, и затем все смолкло. Один вздохнул, другой зевнул вслух, с приговоркой, и все погрузилось в молчание.

По-прежнему слышалось только качанье маятника, стук сапогов Обломова да легкий треск откушенной нитки.

Вдруг Илья Иванович остановился посреди комнаты с встревоженным видом, держась за кончик носа.

— Что это за беда? Смотри-ка! — сказал он. — Быть покойнику: у меня кончик носа все чешется...

— Ах ты, господи! — всплеснув руками, сказала жена. — Какой же это покойник, коли кончик чешется? Покойник — когда переносье чешется. Ну, Илья Иваныч, какой ты, бог с тобой, беспамятный! Вот этак скажешь в людях когда-нибудь или при гостях и — стыдно будет.

— А что ж это значит, кончик-то чешется? — спросил сконфуженный Илья Иванович.

— В рюмку смотреть. А то, как это можно: покойник!

— Все путаю! — сказал Илья Иванович. — Где тут упомнить: то сбоку нос чешется, то с конца, то брови...

— Сбоку, — подхватила Пелагея Ивановна, — означает вести; брови чешутся — слезы; лоб — кланяться; с правой стороны чешется — мужчине, с левой — женщине; уши зачешутся — значит, к дождю, губы — целоваться, усы — гостинцы есть, локоть — на новом месте спать, подошвы — дорога...

— Ну, Пелагея Ивановна, молодец! — сказал Илья Иванович. — А то еще когда масло дешево будет, так затылок, что ли, чешется...

Дамы начали смеяться и перешептываться; некоторые из мужчин улыбались; готовился опять взрыв хохота, но в эту минуту в комнате раздалось в одно время как будто ворчанье собаки и шипенье кошки, когда они собираются броситься друг на друга. Это загудели часы.

— Э! Да уж девять часов! — с радостным изумлением произнес Илья Иванович. — Смотри-ка, пожалуй, и не видать, как время прошло. Эй, Васька! Ванька, Мотька!

Явились три заспанные физиономии.

— Что ж вы не накрываете на стол? — с удивлением и досадой спросил Обломов. — Нет, чтоб подумать о господах! Ну, чего стоите? Скорей, водки!

— Вот отчего кончик носа чесался! — живо сказала Пелагея Ивановна. — Будете пить водку и посмотрите в рюмку.

После ужина, почмокавшись и перекрестив друг друга, все расходятся по своим постелям, и сон воцаряется над беспечными головами.

Видит Илья Ильич во сне не один, не два такие вечера, но целые недели, месяцы и годы так проводимых дней и вечеров.

Ничто не нарушало однообразия этой жизни, и сами обломовцы не тяготились ею, потому что и не представляли себе другого житья-бытья; а если б и смогли представить, то с ужасом отвернулись бы от него.

Другой жизни и не хотели, и не любили бы они. Им бы жаль было, если б обстоятельства внесли перемены в их быт, какие бы то ни было. Их загрызет тоска, если завтра не будет похоже на сегодня, а послезавтра на завтра.

Зачем им разнообразие, перемены, случайности, на которые напрашиваются другие? Пусть же другие и расхлебывают эту чашу, а им, обломовцам, ни до чего и дела нет. Пусть другие и живут, как хотят.

Ведь случайности, хоть бы и выгоды какие-нибудь, беспокойны; они требуют хлопот, забот, беготни, езды, не посиди на месте, торгуй или пиши, — словом, поворачивайся, шутка ли!

Они продолжали целые десятки лет сопеть, дремать и зевать или заливаться добродушным смехом от деревенского юмора, или, собираясь в кружок, рассказывали, что кто видел ночью во сне.

Если сон был страшный — все задумывались, боялись не шутя; если пророческий — все непритворно радовались или печалились, смотря по тому, горестное или утешительное снилось во сне. Требовал ли сон соблюдения какой-нибудь приметы, тотчас для этого принимались деятельные меры.

Не это, так играют в дураки, в свои козыри, а по праздникам с гостями в бостон, или раскладывают гран-пасьянс, гадают на червонного короля да на трефовую даму, предсказывая марьяж.[35]

Иногда приедет какая-нибудь Наталья Фаддеевна в гости на неделю, на две. Сначала старухи переберут весь околоток, кто как живет, кто что делает; они проникнут не только в семейный быт, в закулисную жизнь, но в сокровенные помыслы и намерения каждого, влезут в душу, побранят, обсудят недостойных, всего более неверных мужей, потом пересчитают разные случаи: именины, крестины, родины, кто чем угощал, кого звал, кого нет.

Уставши от этого, начнут показывать обновки, платья, салопы, даже юбки и чулки. Хозяйка похвастается какими-нибудь полотнами, нитками, кружевами домашнего изделия.

Но истощится и это. Тогда пробавляются кофеями, чаями, вареньями. Потом уже переходят к молчанию.

Сидят подолгу, глядя друг на друга, по временам тяжко о чем-то вздыхают. Иногда которая-нибудь и заплачет.

— Что ты, мать моя? — спросит в тревоге другая.

— Ох, грустно, голубушка! — отвечает с тяжким вздохом гостья. — Прогневали мы господа бога, окаянные. Не бывать добру.

— Ах, не пугай, не стращай, родная! — прерывает хозяйка.

— Да, да, — продолжает та. — Придут последние дни: восстанет язык на язык, царство на царство...[36] наступит светопреставление! — выговаривает наконец Наталья Фаддеевна, и обе плачут горько.

Основания никакого к такому заключению со стороны Натальи Фаддеевны не было, никто ни на кого не восставал, даже кометы в тот год не было,[37] но у старух бывают иногда темные предчувствия.

Изредка разве это провождение времени нарушится каким-нибудь нечаянным случаем, когда, например, все угорят целым домом, от мала до велика.

Других болезней почти и не слыхать было в дому и деревне; разве кто-нибудь напорется на какой-нибудь кол в темноте, или свернется с сеновала, или с крыши свалится доска да ударит по голове.

Но все это случалось редко, и против таких нечаянностей употреблялись домашние испытанные средства: ушибенное место потрут бодягой или зарей,[38] дадут выпить святой водицы или пошепчут — и все пройдет.

Но угар случался частенько. Тогда все валяются вповалку по постелям; слышится оханье, стоны; один обложит голову огурцами и повяжется полотенцем, другой положит клюквы в уши и нюхает хрен, третий в одной рубашке уйдет на мороз, четвертый просто валяется без чувств по полу.

Это случалось периодически один или два раза в месяц, потому что тепла даром в трубу пускать не любили и закрывали печи, когда в них бегали еще такие огоньки, как в «Роберте-Дьяволе».[39] Ни к одной лежанке, ни к одной печке нельзя было приложить руки: того и гляди вскочит пузырь.

Однажды только однообразие их быта нарушилось уж подлинно нечаянным случаем.

Когда, отдохнув после трудного обеда, все собрались к чаю, вдруг пришел воротившийся из города обломовский мужик, и уж он доставал, доставал из-за пазухи, наконец насилу достал скомканное письмо на имя Ильи Ивановича Обломова.

Все обомлели; хозяйка даже изменилась немного в лице; глаза у всех устремились и носы вытянулись по направлению к письму.

— Что за диковина! От кого это? — произнесла наконец барыня, опомнившись.

Обломов взял письмо и с недоумением ворочал его в руках, не зная, что с ним делать.

— Да ты где взял? — спросил он мужика. — Кто тебе дал?

— А на дворе, где я приставал в городе-то, слышь ты, — отвечал мужик, — с почты приходили два раза спрашивать, нет ли обломовских мужиков: письмо, слышь, к барину есть.

— Ну?

— Ну, я перва-наперво притаился: солдат и ушел с письмом-то. Да верхлёвский дьячок видал меня, он и сказал. Пришли вдругорядь. Как пришли вдругорядь-то, ругаться стали и отдали письмо, еще пятак взяли. Я спросил, что, мол, делать мне с ним, куда его деть? Так вот велели вашей милости отдать.

— А ты бы не брал, — сердито заметила барыня.

— Я и то не брал. На что, мол, нам письмо-те, — нам не надо. Нам, мол, не наказывали писем брать — я не смею: подите вы, с письмом-то! Да пошел больно ругаться солдат-то: хотел начальству жаловаться; я и взял.

— Дурак! — сказала барыня.

— От кого ж бы это? — задумчиво говорил Обломов, рассматривая адрес. — Рука как будто знакомая, право!

И письмо пошло ходить из рук в руки. Начались толки и догадки: от кого и о чем оно могло быть? Все наконец стали в тупик.

Илья Иванович велел сыскать очки: их отыскивали часа полтора. Он надел их и уже подумывал было вскрыть письмо.

— Полно, не распечатывай, Илья Иваныч, — с боязнью остановила его жена, — кто его знает, какое оно там, письмо-то? может быть, еще страшное, беда какая-нибудь. Вишь ведь народ-то нынче какой стал! Завтра или послезавтра успеешь — не уйдет оно от тебя.

И письмо с очками было спрятано под замок. Все занялись чаем. Оно бы пролежало там годы, если б не было слишком необыкновенным явлением и не взволновало умы обломовцев. За чаем и на другой день у всех только и разговора было, что о письме.

Наконец не вытерпели, и на четвертый день, собравшись толпой, с смущением распечатали. Обломов взглянул на подпись.

— «Радищев», — прочитал он. — Э! Да это от Филиппа Матвеича!

— А! Э! Вот от кого! — поднялось со всех сторон. — Да как это он еще жив по сю пору? Поди ты, еще не умер! Ну, слава богу! Что он пишет?

Обломов стал читать вслух. Оказалось, что Филипп Матвеевич просит прислать ему рецепт пива, которое особенно хорошо варили в Обломовке.

— Послать, послать ему! — заговорили все. — Надо написать письмецо.

Так прошло недели две.

— Надо, надо написать! — твердил Илья Иванович жене. — Где рецепт-то?

— А где он? — отвечала жена. — Еще надо сыскать. Да погоди, что торопиться? Вот, бог даст, дождемся праздника, разговеемся, тогда и напишешь; еще не уйдет...

— В самом деле, о празднике лучше напишу, — сказал Илья Иванович.

На празднике опять зашла речь о письме. Илья Иванович собрался совсем писать. Он удалился в кабинет, надел очки и сел к столу.

В доме воцарилась глубокая тишина; людям не велено было топать и шуметь. «Барин пишет!» — говорили все таким робко-почтительным голосом, каким говорят, когда в доме есть покойник.

Он только было вывел: «Милостивый государь», медленно, криво, дрожащей рукой и с такою осторожностью, как будто делает какое-нибудь опасное дело, как к нему явилась жена.

— Искала, искала — нету рецепта, — сказала она. — Надо еще в спальне в шкафу поискать. Да как посылать письмо-то?

— С почтой надо, — отвечал Илья Иванович.

— А что туда стоит?

Обломов достал старый календарь.[40]

— Сорок копеек, — сказал он.

— Вот, сорок копеек на пустяки бросать! — заметила она. — Лучше подождем, не будет ли из города оказии туда. Ты вели узнавать мужикам.

— И в самом деле по оказии-то лучше, — отвечал Илья Иванович и, пощелкав перо об стол, всунул в чернильницу и снял очки.

— Право, лучше, — заключил он, — еще не уйдет: успеем послать.

Неизвестно, дождался ли Филипп Матвеевич рецепта.

Илья Иванович иногда возьмет и книгу в руки — ему все равно, какую-нибудь. Он и не подозревал в чтении существенной потребности, а считал его роскошью, таким делом, без которого легко и обойтись можно, так точно, как можно иметь картину на стене, можно и не иметь, можно пойти прогуляться, можно и не пойти: от этого ему все равно, какая бы ни была книга; он смотрел на нее, как на вещь, назначенную для развлечения, от скуки и от нечего делать.

— Давно не читал книги, — скажет он или иногда изменит фразу: — Дай-ка почитаю книгу, — скажет или просто, мимоходом, случайно увидит доставшуюся ему после брата небольшую кучку книг и вынет, не выбирая, что попадется.[41] Голиков[42] ли попадется ему, *Новейший* ли *Сонник*,[43] Хераскова *Россияда*,[44] или трагедия Сумарокова,[45] или, наконец, третьегодичные ведомости[46] — он все читает с равным удовольствием, приговаривая по временам:

«Видишь, что ведь выдумал! Экой разбойник! Ах, чтоб тебе пусто было!»

Эти восклицания относились к авторам — звание, которое в глазах его не пользовалось никаким уважением; он даже усвоил себе и то полупрезрение к писателям, которое питали к ним люди старого времени.[47] Он, как и многие тогда, почитал сочинителя не иначе как весельчаком, гулякой, пьяницей и потешником, вроде плясуна.

Иногда он из третьегодичных газет почитает и вслух, для всех, или так сообщает им известия.

— Вот из Гаги пишут,[48] — скажет он, — что его величество король изволил благополучно возвратиться из кратковременного путешествия во дворец, — и при этом поглядит через очки на всех слушателей.

Или:

— В Вене такой-то посланник вручил свои кредитивные грамматы.

— А вот тут пишут, — читал он еще, — что сочинения госпожи Жанлис перевели на российский язык.[49]

— Это все, чай, для того переводят, — замечает один из слушателей, мелкопоместный помещик, — чтоб у нашего брата, дворянина, деньги выманивать.

А бедный Илюша ездит да ездит учиться к Штольцу. Как только он

проснется в понедельник, на него уж нападает тоска. Он слышит резкий голос Васьки, который кричит с крыльца:

— Антипка! Закладывай пегую: барчонка к немцу везти!

Сердце дрогнет у него. Он печальный приходит к матери. Та знает, отчего, и начинает золотить пилюлю, втайне вздыхая сама о разлуке с ним на целую неделю.

Не знают, чем и накормить его в то утро, напекут ему булочек и крендельков, отпустят с ним соленья, печенья, варенья, пастил разных и других всяких сухих и мокрых лакомств и даже съестных припасов. Все это отпускалось в тех видах, что у немца нежирно кормят.

— Там не разъешься, — говорили обломовцы, — обедать-то дадут супу, да жаркова, да картофелю, к чаю масла, а ужинать-то *морген фри* — нос утри.[50]

Впрочем, Илье Ильичу снятся больше такие понедельники, когда он не слышит голоса Васьки, приказывающего закладывать пегашку, и когда мать встречает его за чаем с улыбкой и с приятною новостью:

— Сегодня не поедешь; в четверг большой праздник: стоит ли ездить взад и вперед на три дня?

Или иногда вдруг объявит ему, что сегодня родительская неделя,[51] — не до ученья: блины будем печь.

А не то, так мать посмотрит утром в понедельник пристально на него да и скажет:

— Что-то у тебя глаза несвежи сегодня. Здоров ли ты? — и покачает головой.

Лукавый мальчишка здоровехонек, но молчит.

— Посиди-ка ты эту недельку дома, — скажет она, — а там — что бог даст.

И все в доме были проникнуты убеждением, что ученье и родительская суббота никак не должны совпадать вместе или что праздник в четверг — неодолимая преграда к ученью во всю неделю.

Разве только иногда слуга или девка, которым достанется за барчонка, проворчат:

«У, баловень! Скоро ли провалишься к своему немцу?»

В другой раз вдруг к немцу Антипка явится на знакомой пегашке, среди или в начале недели, за Ильей Ильичом.

— Приехала, дескать, Марья Савишна или Наталья Фаддеевна гостить или Кузовковы со всеми детьми, так пожалуйте домой!

И недели три Илюша гостит дома, а там, смотришь, до Страстной недели[52] уж недалеко, а там и праздник, а там кто-нибудь в семействе почему-то решит, что на Фоминой неделе не учатся; до лета остается недели две — не стоит ездить, а летом и сам немец отдыхает, так уж лучше до осени отложить.

Посмотришь, Илья Ильич и отгуляется в полгода, и как вырастет он в это время! Как потолстеет! Как спит славно! Не налюбуются на него в доме, замечая, напротив, что, возвратясь в субботу от немца, ребенок худ и бледен.

— Долго ли до греха? — говорили отец и мать. — Ученье-то не уйдет, а здоровья не купишь; здоровье дороже всего в жизни. Вишь, он из ученья как из больницы воротится: жирок весь пропадает, жиденький такой... да и шалун: все бы ему бегать!

— Да, — заметит отец, — ученье-то не свой брат: хоть кого в бараний рог свернет!

И нежные родители продолжали приискивать предлоги удерживать сына дома. За предлогами, и кроме праздников, дело не ставало. Зимой казалось им холодно, летом по жаре тоже не годится ехать, а иногда и дождь пойдет, осенью слякоть мешает. Иногда Антипка что-то сомнителен покажется: пьян, не пьян, а как-то дико смотрит: беды бы не было, завязнет или оборвется где-нибудь.

Обломовы старались, впрочем, придать как можно более законности этим предлогам в своих собственных глазах и особенно в глазах Штольца, который не щадил и в глаза, и за глаза *доннерветтеров*[53] за такое баловство.

Времена Простаковых и Скотининых миновались давно.[54] Пословица: *ученье свет, а неученье тьма*, бродила уже по селам и деревням вместе с книгами, развозимыми букинистами.[55]

Старики понимали выгоду просвещения, но только внешнюю его выгоду. Они видели, что уж все начали выходить в люди, то есть приобретать чины, кресты и деньги не иначе, как только путем ученья; что старым подьячим, заторелым на службе дельцам,[56] состаревшимся в давнишних привычках, кавычках и крючках, приходилось плохо.

Стали носиться зловещие слухи о необходимости не только знания грамоте, но и других, до тех пор неслыханных в том быту наук. Между титулярным советником и коллежским асессором разверзалась бездна, мостом через которую служил какой-то диплом.[57]

Старые служаки, чада привычки и питомцы взяток, стали исчезать. Многих, которые не успели умереть, выгнали за неблагонадежность, других отдали под суд; самые счастливые были те, которые, махнув рукой на новый порядок вещей, убрались подобру да поздорову в благоприобретенные углы.

Обломовы смекали это и понимали выгоду образования, но только эту *очевидную* выгоду. О внутренней потребности ученья они имели еще смутное и отдаленное понятие, и оттого им хотелось уловить для своего Илюши пока некоторые блестящие преимущества.

Они мечтали о шитом мундире для него,[58] воображали его советником в палате, а мать даже и губернатором; но всего этого хотелось бы им достигнуть как-нибудь подешевле, с разными хитростями, обойти тайком разбросанные по пути просвещения и честей[59] камни и преграды, не трудясь перескакивать через них, то есть, например, учиться слегка, не до изнурения души и тела, не до утраты благословенной, в детстве приобретенной полноты, а так, чтоб только соблюсти предписанную форму и добыть как-нибудь аттестат, в котором бы сказано было, что Илюша *прошел все науки и искусства.*

Вся эта обломовская система воспитания встретила сильную оппозицию в системе Штольца. Борьба была с обеих сторон упорная. Штольц прямо, открыто и настойчиво поражал противников, а они уклонялись от ударов вышесказанными и другими хитростями.

Победа не решилась никак; может быть, немецкая настойчивость и преодолела бы упрямство и закоснелость обломовцев, но немец встретил затруднения на своей собственной стороне, и победе не суждено было решиться ни на ту, ни на другую сторону. Дело в том, что сын Штольца баловал Обломова, то подсказывая ему уроки, то делая за него переводы.

Илье Ильичу ясно видится и домашний быт его, и житье у Штольца.

Он только что проснется у себя дома, как у постели его уже стоит Захарка, впоследствии знаменитый камердинер его Захар Трофимыч.

Захар, как, бывало, нянька, натягивает ему чулки, надевает башмаки, а Илюша, уже четырнадцатилетний мальчик, только и знает, что подставляет ему лежа то ту, то другую ногу; а чуть что покажется ему не так, то он поддаст Захарке ногой в нос.

Если недовольный Захарка вздумает пожаловаться, то получит еще от старших колотушку.

Потом Захарка чешет голову, натягивает куртку, осторожно продевая руки Ильи Ильича в рукава, чтоб не слишком беспокоить его, и напоминает Илье Ильичу, что надо сделать то, другое: вставши поутру, умыться и т. п.

Захочет ли чего-нибудь Илья Ильич, ему стоит только мигнуть — уж трое-четверо слуг кидаются исполнять его желание; уронит ли он что-нибудь, достать ли ему нужно вещь, да не достанет, — принести ли что, сбегать ли за чем: ему иногда, как резвому мальчику, так и хочется броситься и переделать все самому, а тут вдруг отец и мать, да три тетки в пять голосов и закричат:

— Зачем? Куда? А Васька, а Ванька, а Захарка на что?[60] Эй! Васька! Ванька! Захарка! Чего вы смотрите, разини? Вот я вас!..

И не удастся никак Илье Ильичу сделать что-нибудь самому для себя.

После он нашел, что оно и покойнее гораздо, и сам выучился покрикивать: «Эй, Васька! Ванька! подай то, дай другое! Не хочу того, хочу этого! Сбегай, принеси!».

Подчас нежная заботливость родителей и надоедала ему.

Побежит ли он с лестницы или по двору, вдруг вслед ему раздастся в десять отчаянных голосов: «Ах, ах! Поддержите, остановите! Упадет, расшибется... стой, стой!».

Задумает ли он выскочить зимой в сени или отворить форточку, — опять крики: «Ай, куда? Как можно? Не бегай, не ходи, не отворяй: убьешься, простудишься...».

И Илюша с печалью оставался дома, лелеемый, как экзотический цветок в теплице, и так же, как последний под стеклом, он рос медленно и вяло. Ищущие проявления силы обращались внутрь и никли, увядая.

А иногда он проснется такой бодрый, свежий, веселый; он чувствует: в нем играет что-то, кипит, точно поселился бесенок какой-нибудь, который так и поддразнивает его то влезть на крышу, то сесть на савраску да поскакать в луга, где сено косят, или посидеть на заборе верхом, или подразнить деревенских собак; или вдруг захочется пуститься бегом по деревне, потом в поле, по буеракам, в березняк, да в три скачка броситься на дно оврага, или увязаться за мальчишками играть в снежки, попробовать свои силы.

Бесенок так и подмывает его: он крепится, крепится, наконец не вытерпит, и вдруг, без картуза, зимой, прыг с крыльца на двор, оттуда за ворота, захватил в обе руки по кому снега и мчится к куче мальчишек.

Свежий ветер так и режет ему лицо, за уши щиплет мороз, в рот и горло пахнуло холодом, а грудь охватило радостью — он мчится. откуда ноги взялись, сам и визжит, и хохочет.

Вот и мальчишки: он бац снегом — мимо: сноровки нет; только хотел захватить еще снежку, как все лицо залепила ему целая глыба снегу: он упал; и больно ему с непривычки, и весело, и хохочет он, и слезы у него на глазах...

А в доме гвалт: Илюши нет! Крик, шум. На двор выскочил Захарка, за ним Васька, Митька, Ванька — все бегут, растерянные, по двору.

За ними кинулись, хватая их за пятки, две собаки, которые, как известно, не могут равнодушно видеть бегущего человека.

Люди с криками, с воплями, собаки с лаем мчатся по деревне.

Наконец набежали на мальчишек и начали чинить правосудие: кого за волосы, кого за уши, иному подзатыльника; пригрозили и отцам их.

Потом уже овладели барчонком, окутали его в захваченный тулуп, потом в отцовскую шубу, потом в два одеяла, и торжественно принесли на руках домой.

Дома отчаялись уже видеть его, считая погибшим, но при виде его, живого и невредимого, радость родителей была неописанна. Возблагодарили господа бога, потом напоили его мятой, там бузиной, к вечеру еще малиной, и продержали дня три в постели, а ему бы одно могло быть полезно: опять играть в снежки...

X

Только что храпенье Ильи Ильича достигло слуха Захара, как он прыгнул осторожно, без шума, с лежанки, вышел на цыпочках в сени, запер барина на замок и отправился к воротам.

— А, Захар Трофимыч: добро пожаловать! Давно вас не видно! — заговорили на разные голоса кучера, лакеи, бабы и мальчишки у ворот.

— Что ваш-то? Со двора, что ли, ушел? — спросил дворник.

— Дрыхнет, — мрачно сказал Захар.

— Что так? — спросил кучер. — Рано бы, кажись, об эту пору... нездоров, видно?

— Э, какое нездоров! Нарезался! — сказал Захар таким голосом, как будто и сам убежден был в этом. — Поверите ли? Один выпил полторы бутылки мадеры, два штофа квасу, да вон теперь и завалился.

— Эк! — с завистью сказал кучер.

— Что ж это он нынче так подгулял? — спросила одна из женщин.

— Нет, Татьяна Ивановна, — отвечал Захар, бросив на нее свой односторонний взгляд, — не то что нынче: совсем никуда не годен стал — и говорить-то тошно!

— Видно, как моя! — со вздохом заметила она.

— А что, Татьяна Ивановна, поедет она сегодня куда-нибудь? — спросил кучер, — мне бы вон тут недалечко сходить?

— Куда ее унесет! — отвечала Татьяна. — Сидит с своим ненаглядным, да не налюбуются друг на друга.

— Он к вам частенько, — сказал дворник, — надоел по ночам, проклятый: уж все выйдут, и все придут: он всегда последний, да еще ругается, зачем парадное крыльцо заперто... Стану я для него тут караулить крыльцо-то!

— Какой дурак, братцы, — сказала Татьяна, — так этакого поискать! Чего, чего не надарит ей? Она разрядится, точно пава, и ходит так важно; а кабы кто посмотрел, какие юбки да какие чулки носит, так срам посмотреть! Шеи по две недели не моет, а лицо мажет... Иной раз согрешишь, право, подумаешь: «Ах ты, убогая! надела бы ты платок на голову, да шла бы в монастырь, на богомолье...».

Все, кроме Захара, засмеялись.

— Ай да Татьяна Ивановна, мимо не попадет! — говорили одобрительно голоса.

— Да право! — продолжала Татьяна. — Как это господа пускают с собой этакую?

— Куда это вы собрались? — спросил ее кто-то. — Что это за узел у вас?

— Платье несу к портнихе; послала щеголиха-то моя: вишь, широко! А как станем с Дуняшей тушу-то стягивать, так руками после дня три делать ничего нельзя: все обломаешь! Ну, мне пора. Прощайте, пока.

— Прощайте, прощайте! — сказали некоторые.

— Прощайте, Татьяна Ивановна, — сказал кучер. — Приходите-ка вечерком.

— Да не знаю как; может, приду, а то так... уж прощайте!

— Ну, прощайте, — сказали все.

— Прощайте... счастливо вам! — отвечала она, уходя.

— Прощайте, Татьяна Ивановна! — крикнул еще вслед кучер.

— Прощайте! — звонко откликнулась она издали.

Когда она ушла, Захар как будто ожидал своей очереди говорить. Он сел на чугунный столбик у ворот и начал болтать ногами, угрюмо и рассеянно поглядывая на проходящих и проезжающих.

— Ну, как ваш-то сегодня, Захар Трофимыч? — спросил дворник.

— Да как всегда: бесится с жиру, — сказал Захар, — а все за тебя,

по твоей милости перенес я горя-то немало: все насчет квартиры-то! Бесится: больно не хочется съезжать...

— Что я-то виноват? — сказал дворник. — По мне, живи себе хоть век; нешто я тут хозяин? Мне велят... Кабы я был хозяин, а то я не хозяин...

— Что ж он, ругается, что ли? — спросил чей-то кучер.

— Уж так ругается, что как только бог дает силу переносить!

— Ну, что ж? Это добрый барин, коли все ругается! — сказал один лакей, медленно, со скрипом открывая круглую табакерку, и руки всей компании, кроме Захаровых, потянулись за табаком. Началось всеобщее нюханье, чиханье и плеванье.

— Коли ругается, так лучше, — продолжал тот, — чем пуще ругается, тем лучше: по крайности, не прибьет, коли ругается. А вот как я жил у одного: ты еще не знаешь — за что, а уж он, смотришь, за волосы держит тебя.

Захар презрительно ожидал, пока этот кончил свою тираду, и, обратившись к кучеру, продолжал:

— Так вот опозорить тебе человека ни за что, ни про что, — говорил он, — это ему нипочем!

— Неугодлив, видно? [1] — спросил дворник.

— И! — прохрипел Захар значительно, зажмурив глаза. — Так неугодлив, что беда! И то не так, и это не так, и ходить не умеешь, и подать-то не смыслишь, и ломаешь-то все, и не чистишь, и крадешь, и съедаешь... Тьфу, чтоб тебе!.. Сегодня напустил — срам слушать! А за что? Кусочек сыру еще от той недели остался — собаке стыдно бросить — так нет, человек и не думай съесть! Спросил — «нет, мол», и пошел: «Тебя, говорит, повесить надо, тебя, говорит, сварить в горячей смоле надо да щипцами калеными рвать; кол осиновый, говорит, в тебя вколотить надо!». А сам так и лезет, так и лезет... Как вы думаете, братцы? Намедни обварил я ему — кто его знает как — ногу кипятком, так ведь как заорал! Не отскочи я, так он бы толкнул меня в грудь кулаком... так и норовит! Чисто толкнул бы...

Кучер покачал головой, а дворник сказал: «Вишь ты, бойкий барин: не дает повадки!».[2]

— Ну, коли еще ругает, так это славный барин! — флегматически говорил все тот же лакей. — Другой хуже, как не ругается: глядит, глядит, да вдруг тебя за волосы поймает, а ты еще не смекнул, за что!

— Да даром, — сказал Захар, не обратив опять никакого внимания на слова перебившего его лакея, — нога еще и доселева не зажила: все мажет мазью; пусть-ка его!

— Характерный барин! — сказал дворник.

— И не дай бог! — продолжал Захар, — убьет когда-нибудь человека; ей-богу, до смерти убьет! И ведь за всяку безделицу норовит выругать лысым... уж не хочется договаривать. А вот сегодня так новое выдумал: «ядовитый», говорит! Поворачивается же язык-то!..

— Ну, это что? — говорил все тот же лакей. — Коли ругается, так это слава богу, дай бог такому здоровья... А как все молчит; ты идешь

мимо, а он глядит, глядит да и вцепится, вон как тот, у которого я жил. А ругается, так ничего...

— И поделом тебе, — заметил ему Захар с злостью за непрошенные возражения, — я бы еще не так тебя.

— Как же он ругает «лысым», Захар Трофимыч, — спросил казачок[3] лет пятнадцати, — чертом, что ли?

Захар медленно поворотил к нему голову и остановил на нем мутный взгляд.

— Смотри ты у меня! — сказал он потом едко. — Молод, брат, востер очень! Я не посмотрю, что ты генеральский: я те за вихор! Пошел-ка к своему месту!

Казачок отошел шага на два, остановился и глядел с улыбкой на Захара.

— Что скалишь зубы-то? — с яростью захрипел Захар. — Погоди, попадешься, я те уши-то направлю, как раз: будешь у меня скалить зубы!

В это время из подъезда выбежал огромный лакей, в ливрейном фраке нараспашку, с аксельбантами и в штиблетах.[4] Он подошел к казачку, дал ему сначала оплеуху, потом назвал дураком.

— Что вы, Матвей Мосеич, за что это? — сказал озадаченный и сконфуженный казачок, придерживаясь за щеку и судорожно мигая.

— А! Ты еще разговаривать? — отвечал лакей. — Я за тобой по всему дому бегаю, а ты здесь!

Он взял его одной рукой за волосы, нагнул ему голову и три раза методически, ровно и медленно, ударил его по шее кулаком.

— Барин пять раз звонил, — прибавил он в виде нравоучения, — а меня ругают за тебя, щенка этакого! Пошел!

И он повелительно указывал ему рукой на лестницу. Мальчик постоял с минуту в каком-то недоумении, мигнул раза два, взглянул на лакея и, видя, что от него больше ждать нечего, кроме повторения того же самого, встряхнул волосами и пошел на лестницу, как встрепанный.

Какое торжество для Захара!

— Хорошенько его, хорошенько, Матвей Мосеич! Еще, еще! — приговаривал он, злобно радуясь. — Эх, мало! Ай да Матвей Мосеич! Спасибо! А то востер больно... Вот тебе «лысый черт»! Будешь вперед зубоскалить?

Дворня хохотала, дружно сочувствуя и лакею, прибившему казачка, и Захару, злобно радовавшемуся этому. Только казачку никто не сочувствовал.

— Вот, вот этак же, ни дать, ни взять, бывало, мой прежний барин, — начал опять тот же лакей, что все перебивал Захара, — ты, бывало, думаешь, как бы повеселиться, а он вдруг, словно угадает, что ты думал, идет мимо, да и ухватит вот этак, вот как Матвей Мосеич Андрюшку. А это что, коли только ругается! Велика важность: «лысым чертом» выругает!

— Тебя бы, может, ухватил и его барин, — отвечал ему кучер, указывая на Захара, — вишь, у те войлок какой на голове! А за что он

ухватит Захара-то Трофимыча? Голова-то словно тыква. Разве вот за эти две бороды, что на скулах-то, поймает: ну, там есть за что!..

Все захохотали, а Захар был как ударом поражен этой выходкой кучера, с которым одним он и вел до тех пор дружескую беседу.

— А вот как я скажу барину-то, — начал он с яростью хрипеть на кучера, — так он найдет за что и тебя ухватить: он тебе бороду-то выгладит: вишь, она у тебя в сосульках вся!

— Горазд же твой барин, коли будет чужим кучерам бороды гладить! Нет, вы заведите-ка своих да в те поры и гладьте, а то больно тароват![5]

— Не тебя ли взять в кучера, мазурика этакого? — захрипел Захар. — Так ты не стоишь, чтоб тебя самого запрячь моему барину-то!

— Ну, уж барин! — заметил язвительно кучер. — Где ты этакого выкопал?

Он сам, и дворник, и цирюльник, и лакей, защитник системы ругательства, все захохотали.

— Смейтесь, смейтесь, а я вот скажу барину! — хрипел Захар.

— А тебе, — сказал он, обращаясь к дворнику, — надо бы унять этих разбойников, а не смеяться. Ты зачем приставлен здесь? — Порядок всякий исправлять. А ты что? Я вот скажу барину; постой, будет тебе!

— Ну, полно, полно, Захар Трофимыч! — говорил дворник, стара́ясь успокоить его, — что он тебе сделал?

— Как он смеет так говорить про моего барина? — возразил горячо Захар, указывая на кучера. — Да знает ли он, кто мой барин-то? — с благоговением спросил он. — Да тебе, — говорил он, обращаясь к кучеру, — и во сне не увидать такого барина: добрый, умница, красавец! А твой-то точно некормленая кляча! Срам посмотреть, как выезжаете со двора на бурой кобыле: точно нищие! Едите-то редьку с квасом. Вон на тебе армячишка: дыр-то не сосчитаешь!..

Надо заметить, что армяк на кучере был вовсе без дыр.

— Да уж такого не сыщешь, — перебил кучер и выдернул проворно совсем наружу торчавший из-под мышки Захара клочок рубашки.

— Полно, полно вам! — твердил дворник, протягивая между них руки.

— А! Ты платье мое драть! — закричал Захар, вытаскивая еще больше рубашки наружу. — Постой, я покажу барину! Вот, братцы, посмотрите, что он сделал: платье мне разорвал!..

— Да, я! — говорил кучер, несколько струсив. — Видно, барин оттрепал...

— Оттреплет этакий барин! — говорил Захар. — Такая добрая душа; да это золото — а не барин, дай бог ему здоровья! Я у него как в царствии небесном: ни нужды никакой не знаю, отроду дураком не назвал; живу в добре, в покое, ем с его стола, уйду, куда хочу, — вот что!.. А в деревне у меня особый дом, особый огород, отсыпной хлеб; мужики все в пояс мне! Я и управляющий, и можедом! А вы-то с своим...

У него от злости недоставало голоса, чтоб окончательно уничтожить своего противника. Он остановился на минуту, чтоб собраться с силами

и придумать ядовитое слово, но не придумал от избытка скопившейся желчи.

— Да, вот постой, как еще ты за платье-то разделаешься; дадут тебе рвать!.. — проговорил он наконец.

Задевши его барина, задели за живое и Захара. Расшевелили и честолюбие, и самолюбие: преданность проснулась и высказалась со всей силой. Он готов был облить ядом желчи не только противника своего, но и его барина, и родню барина, которой даже не знал, есть ли она, и знакомых. Тут он с удивительною точностью повторил все клеветы и злословия о господах, почерпнутые им из прежних бесед с кучером.

— А вы-то с барином голь проклятая, жиды, хуже немца! — говорил он. — Дедушка-то, я знаю, кто у вас был: приказчик с толкучего.[6] Вчера гости-то вышли от вас вечером, так я подумал, не мошенники ли какие забрались в дом: жалость смотреть! Мать тоже на толкучем торговала крадеными да изношенными платьями.

— Полно, полно вам! — унимал дворник.

— Да! — говорил Захар. — У меня-то, слава богу! барин столбовой; приятели-то генералы, графы да князья. Еще не всякого графа посадит с собой: иной придет да и настоится в прихожей... Ходят всё сочинители...

— Какие это такие, братец ты мой, сочинители? — спросил дворник, желая прекратить раздор. — Чиновники, что ли, такие?

— Нет, это такие господа, которые всё валяются по диванам, пьют херес да курят трубки. Иной раз так натопчут, что не дай бог... — сказал Захар и остановился, заметив, что почти все насмешливо улыбаются.

— А вы тут все мерзавцы, сколько вас ни на есть! — скороговоркой сказал он, окинув всех односторонним взглядом. — Дадут тебе чужое платье драть! Я пойду барину скажу! — прибавил он и быстро пошел домой.

— Полно тебе! Постой, постой! — кричал дворник. — Захар Трофимыч! Пойдем в полпивную,[7] пожалуйста, пойдем.

Захар остановился на дороге, быстро обернулся и, не глядя на дворню, еще быстрее ринулся на улицу. Он дошел, не оборачиваясь ни на кого, до двери полпивной, которая была напротив; тут он обернулся, мрачно окинул взглядом все общество и еще мрачнее махнул всем рукой, чтоб шли за ним, и скрылся в дверях.

Все прочие тоже разбрелись: кто в полпивную, кто домой; остался только один лакей.

«Ну, что за беда, коли и скажет барину? — сам с собой в раздумье, флегматически говорил он, открывая медленно табакерку. — Барин добрый, видно по всему, только обругает! Это еще что, коли обругает! А то, иной, глядит, глядит, да и за волосы...»

XI

В начале пятого часа Захар осторожно, без шума, отпер переднюю и на цыпочках пробрался в свою комнату; там он подошел к двери барского кабинета и сначала приложил к ней ухо, потом присел и приставил к замочной скважине глаз.

В кабинете раздавалось мерное храпенье.

— Спит, — прошептал он, — надо будить: скоро половина пятого.

Он кашлянул и вошел в кабинет.

— Илья Ильич! А, Илья Ильич! — начал он тихо, стоя у изголовья Обломова.

Храпенье продолжалось.

«Эк спит-то! — сказал Захар, — словно каменщик».

— Илья Ильич! — Захар слегка тронул Обломова за рукав.

— Вставайте: пятого половина.

Илья Ильич только промычал в ответ на это, но не проснулся.

— Вставайте же, Илья Ильич! Что это за срам! — говорил Захар, возвышая голос.

Ответа не было.

— Илья Ильич! — твердил Захар, потрогивая барина за рукав.

Обломов повернул немного голову и с трудом открыл на Захара один глаз, из которого так и выглядывал паралич.

— Кто тут? — спросил он хриплым голосом.

— Да я. Вставайте.

— Поди прочь! — проворчал Илья Ильич и погрузился опять в тяжелый сон. Вместо храпенья стал раздаваться свист носом. Захар потянул его за полу.

— Чего тебе? — грозно спросил Обломов, вдруг открыв оба глаза.

— Вы велели разбудить себя.

— Ну, знаю. Ты исполнил свою обязанность и пошел прочь! Остальное касается до меня...

— Не пойду, — говорил Захар, потрогивая его опять за рукав.

— Ну же, не трогай! — кротко заговорил Илья Ильич и, уткнув голову в подушку, начал было храпеть.

— Нельзя, Илья Ильич, — говорил Захар, — я бы рад-радехонек, да никак нельзя!

И сам трогал барина.

— Ну, сделай же такую милость, не мешай, — убедительно говорил Обломов, открывая глаза.

— Да, сделай вам милость, а после сами же будете гневаться, что не разбудил...

— Ах ты, боже мой! Что это за человек! — говорил Обломов. — Ну, дай хоть минутку соснуть; ну что это такое, одна минута? Я сам знаю...

Илья Ильич вдруг смолк, внезапно пораженный сном.

«Знаешь ты дрыхнуть! — говорил Захар, уверенный, что барин не слышит. — Вишь, дрыхнет, словно чурбан осиновый! Зачем ты на свет-то божий родился?»

— Да вставай же ты! говорят тебе... — заревел было Захар.

— Что? что? — грозно заговорил Обломов, приподнимая голову.

— Что, мол, сударь, не встаете? — мягко отозвался Захар.

— Нет, ты как сказал-то — а? Как ты смеешь так — а?

— Как?

— Грубо говорить?

— Это вам во сне померещилось... ей-богу, во сне.

— Ты думаешь, я сплю? Я не сплю, я все слышу...

А сам уж опять спал.

«Ну, — говорил Захар в отчаянии, — ах ты, головушка! Что лежишь, как колода? Ведь на тебя смотреть тошно. Поглядите, добрые люди!.. Тьфу!»

— Вставайте, вставайте! — вдруг испуганным голосом заговорил он. — Илья Ильич! Посмотрите-ка, что вокруг вас делается...

Обломов быстро поднял голову, поглядел кругом и опять лег, с глубоким вздохом.

— Оставь меня в покое! — сказал он важно. — Я велел тебе будить меня, а теперь отменяю приказание, — слышишь ли? Я сам проснусь, когда мне вздумается.

Иногда Захар так и отстанет, сказав: «Ну, дрыхни, черт с тобой!». А в другой раз так настоит на своем, и теперь настоял.

— Вставайте, вставайте! — во все горло заголосил он и схватил Обломова обеими руками за полу и за рукав. Обломов вдруг, неожиданно вскочил на ноги и ринулся на Захара.

— Постой же, вот я тебя выучу, как тревожить барина, когда он почивать хочет! — говорил он.

Захар со всех ног бросился от него, но на третьем шагу Обломов отрезвился совсем от сна и начал потягиваться, зевая.

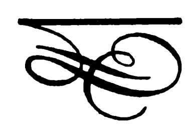
— Дай... квасу... — говорил он в промежутках зевоты.

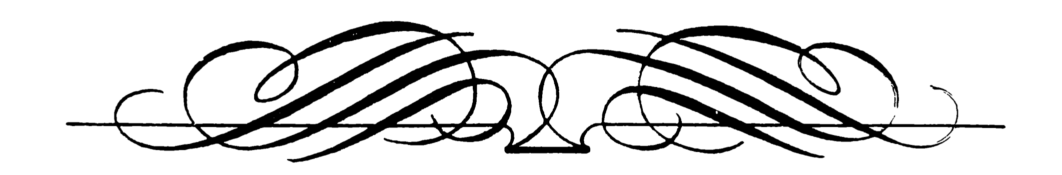
Тут же из-за спины Захара кто-то разразился звонким хохотом.[1] Оба оглянулись.

— Штольц! Штольц! — в восторге кричал Обломов, бросаясь к гостю.

— Андрей Иваныч! — осклабясь, говорил Захар.

Штольц продолжал покатываться со смеха: он видел всю происходившую сцену.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Штольц был немец только вполовину, по отцу: мать его была русская; веру он исповедовал православную; природная речь его была русская: он учился ей у матери и из книг, в университетской аудитории и в играх с деревенскими мальчишками, в толках с их отцами и на московских базарах. Немецкий же язык он наследовал от отца да из книг.

В селе Верхлёве, где отец его был управляющим, Штольц вырос и воспитывался. С восьми лет он сидел с отцом за географической картой, разбирал по складам Гердера, Виланда, библейские стихи и подводил итоги безграмотным счетам крестьян, мещан и фабричных, а с матерью читал священную историю, учил басни Крылова и разбирал по складам же Телемака.[1]

Оторвавшись от указки, бежал разорять птичьи гнезда с мальчишками, и нередко, среди класса или за молитвой, из кармана его раздавался писк галчат.

Бывало и то, что отец сидит в послеобеденный час под деревом в саду и курит трубку, а мать вяжет какую-нибудь фуфайку или вышивает по канве; вдруг с улицы раздается шум, крики, и целая толпа людей врывается в дом.

— Что такое? — спрашивает испуганная мать.

— Верно, опять Андрея ведут, — хладнокровно говорит отец.

Двери распахиваются, и толпа мужиков, баб, мальчишек вторгается в сад. В самом деле, привели Андрея — но в каком виде: без сапог, с разорванным платьем и с разбитым носом или у него самого, или у другого мальчишки.

Мать всегда с беспокойством смотрела, как Андрюша исчезал из дома на полсутки, и если б только не положительное запрещение отца мешать ему, она бы держала его возле себя.

Она его обмоет, переменит белье, платье, и Андрюша полсутки ходит таким чистеньким, благовоспитанным мальчиком, а к вечеру, иногда и к утру, опять его кто-нибудь притащит выпачканного, растрепанного,

неузнаваемого, или мужики привезут на возу с сеном, или, наконец, с рыбаками приедет он на лодке, заснувши на неводу.

Мать в слезы, а отец ничего, еще смеется.

— Добрый бурш будет,[2] добрый бурш! — скажет иногда.

— Помилуй, Иван Богданыч, — жаловалась она, — не проходит дня, чтоб он без синего пятна воротился, а намедни нос до крови разбил.

— Что за ребенок, если ни разу носу себе или другому не разбил? — говорил отец со смехом.

Мать поплачет, поплачет, потом сядет за фортепьяно и забудется за Герцом:[3] слезы каплют одна за другой на клавиши. Но вот приходит Андрюша или его приведут; он начнет рассказывать так бойко, так живо, что рассмешит и ее, притом он такой понятливый! Скоро он стал читать Телемака, как она сама, и играть с ней в четыре руки.

Однажды он пропал уже на неделю: мать выплакала глаза, а отец ничего — ходит по саду да курит.

— Вот, если б Обломова сын пропал, — сказал он на предложение жены поехать поискать Андрея, — так я бы поднял на ноги всю деревню и земскую полицию,[4] а Андрей придет. О, добрый бурш!

На другой день Андрея нашли преспокойно спящего в своей постели, а под кроватью лежало чье-то ружье и фунт пороху и дроби.

— Где ты пропадал? Где взял ружье? — засыпала мать вопросами. — Что ж молчишь?

— Так! — только и было ответа.

Отец спросил: готов ли у него перевод из Корнелия Непота на немецкий язык.

— Нет, — отвечал он.

Отец взял его одной рукой за воротник, вывел за ворота, надел ему на голову фуражку и ногой толкнул сзади так, что сшиб с ног.

— Ступай, откуда пришел, — прибавил он, — и приходи опять с переводом, вместо одной, двух глав, а матери выучи роль из французской комедии, что она задала: без этого не показывайся!

Андрей воротился через неделю и принес и перевод и выучил роль.

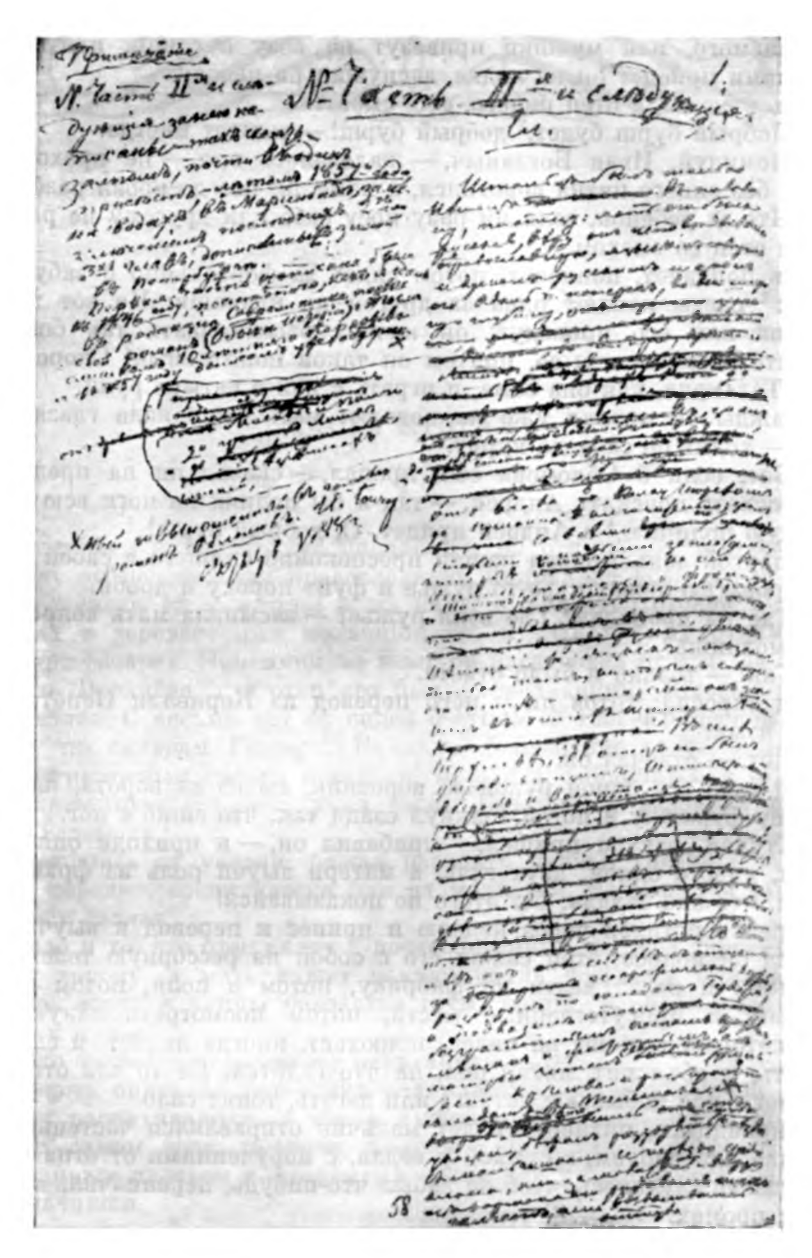
Когда он подрос, отец сажал его с собой на рессорную тележку, давал вожжи и велел везти на фабрику, потом в поля, потом в город, к купцам, в присутственные места, потом посмотреть какую-нибудь глину, которую возьмет на палец, понюхает, иногда лизнет, и сыну даст понюхать, и объяснит, какая она, на что годится. Не то так отправятся посмотреть, как добывают поташ[5] или деготь, топят сало.

Четырнадцати, пятнадцати лет мальчик отправлялся частенько один, в тележке или верхом, с сумкой у седла, с поручениями от отца в город, и никогда не случалось, чтоб он забыл что-нибудь, переиначил, не доглядел, дал промах.

«Recht gut, mein lieber Junge!» * — говорил отец, выслушав отчет, и, трепля его широкой ладонью по плечу, давал два, три рубля, смотря по важности поручения.

---

* «Очень хорошо, мой дорогой мальчик!» (*нем.*).



Рукопись романа, ч. II, гл. 1.

Мать после долго отмывает копоть, грязь, глину и сало с Андрюши.

Ей не совсем нравилось это трудовое, практическое воспитание. Она боялась, что сын ее сделается таким же немецким бюргером,[6] из каких вышел отец. На всю немецкую нацию она смотрела как на толпу патентованных мещан, не любила грубости, самостоятельности и кичливости, с какими немецкая масса предъявляет везде свои тысячелетием выработанные бюргерские права, как корова носит свои рога, не умея кстати их спрятать.

На ее взгляд, во всей немецкой нации не было и не могло быть ни одного джентльмена. Она в немецком характере не замечала никакой мягкости, деликатности, снисхождения, ничего того, что делает жизнь так приятною в хорошем свете, с чем можно обойти какое-нибудь правило, нарушить общий обычай, не подчиниться уставу.

Нет, так и ломят эти невежи, так и напирают на то, что у них положено, что заберут себе в голову, готовы хоть стену пробить лбом, лишь бы поступить по правилам.

Она жила гувернанткой в богатом доме и имела случай быть за границей, проехала всю Германию и смешала всех немцев в одну толпу курящих коротенькие трубки и поплевывающих сквозь зубы приказчиков, мастеровых, купцов, прямых, как палка, офицеров с солдатскими и чиновников с будничными лицами, способных только на черную работу, на труженическое добывание денег, на пошлый порядок, скучную правильность жизни и педантическое отправление обязанностей: всех этих бюргеров, с угловатыми манерами, с большими грубыми руками, с мещанской свежестью в лице и с грубой речью.

«Как ни наряди немца, — думала она, — какую тонкую и белую рубашку он ни наденет, пусть обуется в лакированные сапоги, даже наденет желтые перчатки, а все он скроен как будто из сапожной кожи; из-под белых манжет все торчат жесткие и красноватые руки, и из-под изящного костюма выглядывает если не булочник, так буфетчик. Эти жесткие руки так и просятся приняться за шило или много-много — что за смычок в оркестре».

А в сыне ей мерещился идеал барина, хотя выскочки, из черного тела, от отца бюргера, но все-таки сына русской дворянки, все-таки беленького, прекрасно сложенного мальчика, с такими маленькими руками и ногами, с чистым лицом, с ясным, бойким взглядом, такого, на каких она нагляделась в русском богатом доме, и тоже за границею, конечно не у немцев.

И вдруг он будет чуть не сам ворочать жернова на мельнице, возвращаться домой с фабрик и полей, как отец его: в сале, в навозе, с красно-грязными, загрубевшими руками, с волчьим аппетитом!

Она бросалась стричь Андрюше ногти, завивать кудри, шить изящные воротнички и манишки; заказывала в городе курточки; учила его прислушиваться к задумчивым звукам Герца, пела ему о цветах, о поэзии жизни, шептала о блестящем призвании то воина, то писателя, мечтала с ним о высокой роли, какая выпадает иным на долю...

И вся эта перспектива должна сокрушиться от щелканья счетов, от разбиранья замасленных расписок мужиков, от обращения с фабричными!

Она возненавидела даже тележку, на которой Андрюша ездил в город, и клеенчатый плащ, который подарил ему отец, и замшевые зеленые перчатки — все грубые атрибуты трудовой жизни.

На беду, Андрюша отлично учился, и отец сделал его репетитором в своем маленьком пансионе.

Ну, пусть бы так; но он положил ему жалованье, как мастеровому, совершенно по-немецки: по десяти рублей в месяц, и заставлял его расписываться в книге.

Утешься, добрая мать: твой сын вырос на русской почве — не в будничной толпе, с бюргерскими коровьими рогами, с руками, ворочающими жернова. Вблизи была Обломовка: там вечный праздник! Там сбывают с плеч работу, как иго; там барин не встает с зарей и не ходит по фабрикам около намазанных салом и маслом колес и пружин.

Да и в самом Верхлёве стоит, хотя большую часть года пустой, запертой дом, но туда частенько забирается шаловливый мальчик, и там видит он длинные залы и галереи, темные портреты на стенах, не с грубой свежестью, не с жесткими большими руками, — видит томные голубые глаза, волосы под пудрой, белые, изнеженные лица, полные груди, нежные с синими жилками руки в трепещущих манжетах, гордо положенные на эфес шпаги; видит ряд благородно-бесполезно в неге протекших поколений,[7] в парче, бархате и кружевах.

Он в лицах проходит историю славных времен, битв, имен; читает там повесть о старине, не такую, какую рассказывал ему сто раз, поплевывая, за трубкой, отец о жизни в Саксонии, между брюквой и картофелем, между рынком и огородом. . .

Года в три раз этот замок вдруг наполнялся народом, кипел жизнью, праздниками, балами; в длинных галереях сияли по ночам огни.

Приезжали князь и княгиня с семейством: князь, седой старик, с выцветшим пергаментным лицом, тусклыми навыкате глазами и большим плешивым лбом, с тремя звездами, с золотой табакеркой, с тростью с яхонтовым набалдашником, в бархатных сапогах; княгиня — величественная красотой, ростом и объемом женщина, к которой, кажется, никогда никто не подходил близко, не обнял, не поцеловал ее, даже сам князь, хотя у ней было пятеро детей.

Она казалась выше того мира, в который нисходила в три года раз; ни с кем не говорила, никуда не выезжала, а сидела в угольной зеленой комнате с тремя старушками да через сад, пешком, по крытой галерее, ходила в церковь и садилась на стул за ширмы.

Зато в доме, кроме князя и княгини, был целый, такой веселый и живой мир, что Андрюша детскими зелененькими глазками своими смотрел вдруг в три или четыре разные сферы, бойким умом жадно и бессознательно наблюдал типы этой разнородной толпы, как пестрые явления маскарада.

Тут были князья Пьер и Мишель, из которых первый тотчас преподал Андрюше, как бьют зорю в кавалерии и пехоте,[8] какие сабли и шпоры

гусарские и какие драгунские,[9] каких мастей лошади в каждом полку и куда непременно надо поступить после ученья, чтоб не опозориться.

Другой, Мишель, только лишь познакомился с Андрюшей, как поставил его в позицию и начал выделывать удивительные штуки кулаками, попадая ими Андрюше то в нос, то в брюхо, потом сказал, что это английская драка.

Дня через три Андрей, на основании только деревенской свежести и с помощию мускулистых рук, разбил ему нос и по английскому, и по русскому способу, без всякой науки, и приобрел авторитет у обоих князей.

Были еще две княжны, девочки одиннадцати и двенадцати лет, высокенькие, стройные, нарядно одетые, ни с кем не говорившие, никому не кланявшиеся и боявшиеся мужиков.

Была их гувернантка, m-lle Ernestine, которая ходила пить кофе к матери Андрюши и научила делать ему кудри. Она иногда брала его голову, клала на колени и завивала в бумажки до сильной боли, потом брала белыми руками за обе щеки и целовала так ласково!

Потом был немец, который точил на станке табакерки и пуговицы, потом учитель музыки, который напивался от воскресенья до воскресенья, потом целая шайка горничных, наконец стая собак и собачонок.

Все это наполняло дом и деревню шумом, гамом, стуком, кликами и музыкой.

С одной стороны Обломовка, с другой — княжеский замок, с широким раздольем барской жизни, встретились с немецким элементом, и не вышло из Андрея ни доброго бурша, ни даже филистера.[10]

Отец Андрюши был агроном, технолог, учитель. У отца своего, фермера, он взял практические уроки в агрономии, на саксонских фабриках изучил технологию, а в ближайшем университете, где было около сорока профессоров, получил призвание к преподаванию того, что кое-как успели ему растолковать сорок мудрецов.[11]

Дальше он не пошел, а упрямо поворотил назад, решив, что надо делать дело, и возвратился к отцу. Тот дал ему сто талеров,[12] новую котомку и отпустил на все четыре стороны.

С тех пор Иван Богданович не видал ни родины, ни отца. Шесть лет пространствовал он по Швейцарии, Австрии, а двадцать лет живет в России и благословляет свою судьбу.

Он был в университете и решил, что сын его должен быть также там — нужды нет, что это будет уже не немецкий университет, нужды нет, что университет русский должен будет произвести переворот в жизни его сына и далеко отвести от той колеи, которую мысленно проложил отец в жизни сына.[13]

А он сделал это очень просто: взял колею от своего деда и продолжил ее, как по линейке, до будущего своего внука, и был покоен, не подозревая, что варьяции Герца, мечты и рассказы матери, галерея и будуар в княжеском замке обратят узенькую немецкую колею в такую широкую дорогу, какая не снилась ни деду его, ни отцу, ни ему самому.

Впрочем, он не был педант в этом случае и не стал бы настаивать на своем; он только не умел бы начертать в своем уме другой дороги сыну.

Он мало об этом заботился. Когда сын его воротился из университета и прожил месяца три дома, отец сказал, что делать ему в Верхлёве больше нечего, что вон уж даже Обломова отправили в Петербург, что, следовательно, и ему пора.

А отчего нужно ему в Петербург, почему не мог он остаться в Верхлёве и помогать управлять имением, — об этом старик не спрашивал себя; он только помнил, что когда он сам кончил курс ученья, то отец отослал его от себя.

И он отослал сына — таков обычай в Германии. Матери не было на свете, и противоречить было некому.

В день отъезда Иван Богданович дал сыну сто рублей ассигнациями.

— Ты поедешь верхом до губернского города, — сказал он. — Там получи от Калинникова триста пятьдесят рублей, а лошадь оставь у него. Если ж у него нет, продай лошадь; там скоро ярмарка: дадут четыреста рублей и не на охотника. До Москвы доехать тебе станет рублей сорок, оттуда — в Петербург — семьдесят пять; останется довольно. Потом — как хочешь. Ты делал со мной дела, стало быть, знаешь, что у меня есть некоторый капитал; но ты прежде смерти моей на него не рассчитывай, а я, вероятно, еще проживу лет двадцать, разве только камень упадет на голову. Лампада горит ярко, и масла в ней много. Образован ты хорошо: перед тобой все карьеры открыты; можешь служить, торговать, хоть сочинять, пожалуй, — не знаю, что ты изберешь, к чему чувствуешь больше охоты...

— Да я посмотрю, нельзя ли вдруг по всем, — сказал Андрей.

Отец захохотал изо всей мочи и начал трепать сына по плечу так, что и лошадь бы не выдержала. Андрей ничего.

— Ну, а если не станет уменья, не сумеешь сам отыскать вдруг свою дорогу, понадобится посоветоваться, спросить — зайди к Рейнгольду: он научит. О! — прибавил он, подняв пальцы вверх и тряся головой. — Это... это (он хотел похвалить и не нашел слова)... Мы вместе из Саксонии пришли. У него четырехэтажный дом. Я тебе адрес скажу...

— Не надо, не говори, — возразил Андрей, — я пойду к нему, когда у меня будет четырехэтажный дом, а теперь обойдусь без него.

Опять трепанье по плечу.

Андрей вспрыгнул на лошадь. У седла были привязаны две сумки: в одной лежал клеенчатый плащ и видны были толстые, подбитые гвоздями сапоги да несколько рубашек из верхлёвского полотна — вещи, купленные и взятые по настоянию отца; в другой лежал изящный фрак тонкого сукна, мохнатое пальто, дюжина тонких рубашек и ботинки, заказанные в Москве, в память наставлений матери.

— Ну! — сказал отец.

— Ну! — сказал сын.

— Все? — спросил отец.

— Все! — отвечал сын.

Они посмотрели друг на друга молча, как будто пронзали взглядом один другого насквозь.

Между тем около собралась кучка любопытных соседей посмотреть, с разинутыми ртами, как управляющий отпустит сына на чужую сторону.

Отец и сын пожали друг другу руки. Андрей поехал крупным шагом.

«Каков щенок: ни слезинки! — говорили соседи. — Вон две вороны так и надседаются, каркают на заборе: накаркают они ему — погоди ужо!..»

«Да что ему вороны? Он на Ивана Купала по ночам в лесу один шатается:[14] к ним, братцы, это не пристает. Русскому бы не сошло с рук!..»

«А старый-то нехристь хорош! — заметила одна мать. — Точно котенка выбросил на улицу: не обнял, не взвыл!»

— Стой! Стой, Андрей! — закричал старик.

Андрей остановил лошадь.

— А! Заговорило, видно, ретивое! — сказали в толпе с одобрением.

— Ну? — спросил Андрей.

— Подпруга слаба, надо подтянуть.

— Доеду до Шамшевки, сам поправлю. Время тратить нечего, надо засветло приехать.

— Ну! — сказал, махнув рукой, отец.

— Ну! — кивнув головой, повторил сын и, нагнувшись немного, только хотел пришпорить коня.

«Ах вы, собаки, право собаки! Словно чужие!» — говорили соседи.

Но вдруг в толпе раздался громкий плач: какая-то женщина не выдержала.

— Батюшка ты, светик! — приговаривала она, утирая концом головного платка глаза. — Сиротка бедный! Нет у тебя родимой матушки, некому благословить-то тебя... Дай хоть я перекрещу тебя, красавец мой!..

Андрей подъехал к ней, соскочил с лошади, обнял старуху, потом хотел было ехать — и вдруг заплакал, пока она крестила и целовала его. В ее горячих словах послышался ему будто голос матери, возник на минуту ее нежный образ.

Он еще крепко обнял женщину, наскоро отер слезы и вскочил на лошадь. Он ударил ее по бокам и исчез в облаке пыли; за ним с двух сторон отчаянно бросились вдогонку три дворняжки и залились лаем.

II

Штольц ровесник Обломову: и ему уже за тридцать лет. Он служил, вышел в отставку, занялся своими делами и в самом деле нажил дом и деньги. Он участвует в какой-то компании, отправляющей товары за границу.

Он беспрестанно в движении: понадобится обществу послать в Бельгию или Англию агента — посылают его; нужно написать какой-нибудь

проект или приспособить новую идею к делу — выбирают его. Между тем он ездит и в свет, и читает: когда он успевает — бог весть.

Он весь составлен из костей, мускулов и нерв, как кровная английская лошадь. Он худощав; щек у него почти вовсе нет, то есть есть кость да мускул, но ни признака жирной округлости; цвет лица ровный, смугловатый и никакого румянца; глаза хотя немного зеленоватые, но выразительные.

Движений лишних у него не было. Если он сидел, то сидел покойно, если же действовал, то употреблял столько мимики, сколько было нужно.

Как в организме нет у него ничего лишнего, так и в нравственных отправлениях своей жизни он искал равновесия практических сторон с тонкими потребностями духа. Две стороны шли параллельно, перекрещиваясь и перевиваясь на пути, но никогда не запутываясь в тяжелые, неразрешаемые узлы.

Он шел твердо, бодро; жил по бюджету, стараясь тратить каждый день, как каждый рубль, с ежеминутным, никогда не дремлющим контролем издержанного времени, труда, сил души и сердца.

Кажется, и печалями, и радостями он управлял как движением рук, как шагами ног или как обращался с дурной и хорошей погодой.

Он распускал зонтик, пока шел дождь, то есть страдал, пока длилась скорбь, да и страдал без робкой покорности, а больше с досадой, переносил терпеливо только потому, что причину всякого страдания приписывал самому себе, а не вешал, как кафтан, на чужой гвоздь.

И радостью наслаждался, как сорванным по дороге цветком, пока он не увял в руках, не допивая чаши никогда до той капельки горечи, которая лежит в конце всякого наслаждения.

Простой, то есть прямой, настоящий взгляд на жизнь — вот что было его постоянною задачею, и, добираясь постепенно до ее решения, он понимал всю трудность ее и внутренно был горд и счастлив всякий раз, когда ему случалось заметить кривизну на своем пути и сделать прямой шаг.

«Мудрено и трудно жить просто!» — говорил он часто себе и торопливыми взглядами смотрел, где криво, где косо, где нить шнурка жизни начинает завертываться в неправильный, сложный узел.

Больше всего он боялся воображения, этого двуличного спутника, с дружеским на одной и вражеским на другой стороне лицом, друга — чем меньше веришь ему, и врага — когда уснешь доверчиво под его сладкий шепот.

Он боялся всякой мечты или, если входил в ее область, то входил, как входят в грот с надписью: ma solitude, mon hermitage, mon repos,* зная час и минуту, когда выйдешь оттуда.

Мечте, загадочному, таинственному не было места в его душе. То, что не подвергалось анализу опыта, практической истины, было в глазах его оптический обман, то или другое отражение лучей и красок на сетке

---

* мое уединение, моя обитель, мой отдых (*франц.*).

органа зрения или же, наконец, факт, до которого еще не дошла очередь опыта.

У него не было и того дилетантизма, который любил порыскать в области чудесного или подонкихотствовать в поле догадок и открытий за тысячу лет вперед. Он упрямо останавливался у порога тайны, не обнаруживая ни веры ребенка, ни сомнения фата, а ожидал появления закона, а с ним и ключа к ней.

Так же тонко и осторожно, как за воображением, следил он за сердцем. Здесь, часто оступаясь, он должен был сознаться, что сфера сердечных отправлений была еще terra incognita.*

Он горячо благодарил судьбу, если в этой неведомой области удавалось ему заблаговременно различить нарумяненную ложь от бледной истины; уже не сетовал, когда от искусно прикрытого цветами обмана он отступался, а не падал, если только лихорадочно и усиленно билось сердце, и рад-радехонек был, если не обливалось оно кровью, если не выступал холодный пот на лбу и потом не ложилась надолго длинная тень на его жизнь.

Он считал себя счастливым уже и тем, что мог держаться на одной высоте и, скача на коньке чувства, не проскакать тонкой черты, отделяющей мир чувства от мира лжи и сентиментальности, мир истины от мира смешного, или, скача обратно, не заскакать на песчаную, сухую почву жесткости, умничанья, недоверия, мелочи, оскопления сердца.

Он и среди увлеченья чувствовал землю под ногой и довольно силы в себе, чтоб в случае крайности рвануться и быть свободным. Он не ослеплялся красотой и потому не забывал, не унижал достоинства мужчины, не был рабом, «не лежал у ног» красавиц, хотя не испытывал огненных радостей.

У него не было идолов, зато он сохранил силу души, крепость тела, зато он был целомудренно-горд; от него веяло какою-то свежестью и силой, перед которой невольно смущались и незастенчивые женщины.

Он знал цену этим редким и дорогим свойствам и так скупо тратил их, что его звали эгоистом, бесчувственным. Удержанность его от порывов, уменье не выйти из границ естественного, свободного состояния духа клеймили укором и тут же оправдывали, иногда с завистью и удивлением, другого, который со всего размаха летел в болото и разбивал свое и чужое существование.

— Страсти, страсти все оправдывают, — говорили вокруг него, [1] — а вы в своем эгоизме бережете только себя: посмотрим, для кого.

— Для кого-нибудь да берегу, — говорил он задумчиво, как будто глядя вдаль, и продолжал не верить в поэзию страстей, не восхищался их бурными проявлениями и разрушительными следами, а все хотел видеть идеал бытия и стремлений человека в строгом понимании и отправлении жизни.

И чем больше оспаривали его, тем глубже «коснел» [2] он в своем упрямстве, впадал даже, по крайней мере в спорах, в пуританский фа-

* неизвестная область (*лат.*).

натизм. Он говорил, что «нормальное назначение человека — прожить четыре времени года, то есть четыре возраста,[3] без скачков и донести сосуд жизни до последнего дня, не пролив ни одной капли напрасно, и что ровное и медленное горение огня лучше бурных пожаров, какая бы поэзия ни пылала в них». В заключение прибавлял, что он «был бы счастлив, если б удалось ему на себе оправдать свое убеждение, но что достичь этого он не надеется, потому что это очень трудно, что человек вообще слишком испорчен и что нет еще настоящего воспитания».

А сам все шел да шел упрямо по избранной дороге. Не видали, чтоб он задумывался над чем-нибудь болезненно и мучительно; по-видимому, его не пожирали угрызения утомленного сердца; не болел он душой, не терялся никогда в сложных, трудных или новых обстоятельствах, а подходил к ним, как к бывшим знакомым, как будто он жил вторично, проходил знакомые места.

Что ни встречалось, он сейчас употреблял тот прием, какой был нужен для этого явления, как ключница сразу выберет из кучи висящих на поясе ключей тот именно, который нужен для той или другой двери.

Выше всего он ставил настойчивость в достижении целей: это было признаком характера в его глазах, и людям с этой настойчивостью он никогда не отказывал в уважении, как бы ни были не важны их цели.

— Это люди! — говорил он.

Нужно ли прибавлять, что сам он шел к своей цели, отважно шагая через все преграды, и разве только тогда отказывался от задачи, когда на пути его возникала стена или отверзалась непроходимая бездна.

Но он неспособен был вооружиться той отвагой, которая, закрыв глаза, скакнет через бездну или бросится на стену на авось. Он измерит бездну или стену, и если нет верного средства одолеть, он отойдет, что бы там про него ни говорили.

Чтоб сложиться такому характеру, может быть, нужны были и такие смешанные элементы, из каких сложился Штольц. Деятели издавна отливались у нас в пять, шесть стереотипных форм, лениво, вполглаза глядя вокруг, прикладывали руку к общественной машине и с дремотой двигали ее по обычной колее, ставя ногу в оставленный предшественником след. Но вот глаза очнулись от дремоты, послышались бойкие, широкие шаги, живые голоса... Сколько Штольцев должно явиться под русскими именами!

Как такой человек мог быть близок Обломову, в котором каждая черта, каждый шаг, все существование было вопиющим протестом против жизни Штольца? Это, кажется, уже решенный вопрос, что противоположные крайности, если не служат поводом к симпатии, как думали прежде, то никак не препятствуют ей.

Притом их связывало детство и школа — две сильные пружины, потом русские, добрые, жирные ласки, обильно расточаемые в семействе Обломова на немецкого мальчика, потом роль сильного, которую Штольц занимал при Обломове и в физическом, и в нравственном отношении, а наконец, и более всего, в основании натуры Обломова лежало чистое, светлое и доброе начало, исполненное глубокой симпатии ко всему, что

хорошо и что только отверзалось и откликалось на зов этого простого, нехитрого, вечно доверчивого сердца.[4]

Кто только случайно или умышленно заглядывал в эту светлую детскую душу — будь он мрачен, зол, — он уж не мог отказать ему во взаимности или, если обстоятельства мешали сближению, то хоть в доброй и прочной памяти.

Андрей часто, отрываясь от дел или из светской толпы, с вечера, с бала ехал посидеть на широком диване Обломова и в ленивой беседе отвести и успокоить встревоженную или усталую душу, и всегда испытывал то успокоительное чувство, какое испытывает человек, приходя из великолепных зал под собственный скромный кров или возвратясь от красот южной природы в березовую рощу, где гулял еще ребенком.

III

— Здравствуй, Илья. Как я рад тебя видеть! Ну, что, как ты поживаешь? Здоров ли? — спросил Штольц.

— Ох, нет, плохо, брат Андрей, — вздохнув, сказал Обломов, — какое здоровье!

— А что, болен? — спросил заботливо Штольц.

— Ячмени одолели: только на той неделе один сошел с правого глаза, а теперь вот садится другой.

Штольц засмеялся.

— Только? — спросил он. — Это ты наспал себе.

— Какое «только»: изжога мучит. Ты послушал бы, что давеча доктор сказал. «За границу, говорит, ступайте, а то плохо: удар может быть».

— Ну, что ж ты?

— Не поеду.

— Отчего же?

— Помилуй! Ты послушай, что он тут наговорил: «живи я где-то на горе, поезжай в Египет или в Америку. . .».

— Что ж? — хладнокровно сказал Штольц. — В Египте ты будешь через две недели, в Америке через три.

— Ну, брат Андрей, и ты то же! Один толковый человек и был, и тот с ума спятил. Кто же ездит в Америку и Египет! Англичане: так уж те так господом богом устроены; да и негде им жить-то у себя. А у нас кто поедет? Разве отчаянный какой-нибудь, кому жизнь нипочем.

— В самом деле, какие подвиги: садись в коляску или на корабль, дыши чистым воздухом, смотри на чужие страны, города, обычаи, на все чудеса. . . Ах, ты! Ну, скажи, что твои дела, что в Обломовке?

— Ах! . . — произнес Обломов, махнув рукою.

— Что случилось?

— Да что: жизнь трогает!

— И славу богу!

— Как слава богу! Если б она все по голове гладила, а то пристает, как, бывало, в школе к смирному ученику пристают забияки: то ущип-

нет исподтишка, то вдруг нагрянет прямо со лба и обсыплет песком... мочи нет!

— Ты уж слишком — смирен. Что же случилось?

— Два несчастья.

— Какие же?

— Совсем разорился.

— Как так?

— Вот я тебе прочту, что староста пишет. где письмо-то? Захар, Захар!

Захар отыскал письмо. Штольц пробежал его и засмеялся, вероятно от слога старосты.

— Какой плут этот староста! — сказал он. — Распустил мужиков, да и жалуется! Лучше бы дать им паспорты, да и пустить на все четыре стороны.

— Помилуй, этак, пожалуй, и все захотят, — возразил Обломов.

— Да пусть их! — беспечно сказал Штольц. — Кому хорошо и выгодно на месте, тот не уйдет; а если ему невыгодно, то и тебе невыгодно: зачем же его держать?

— Вон что выдумал! — говорил Илья Ильич. — В Обломовке мужики смирные, домоседы; что им шататься?

— А ты не знаешь, — перебил Штольц, — в Верхлёве пристань хотят устроить и предположено шоссе провести, так что и Обломовка будет недалеко от большой дороги, а в городе ярмарку учреждают...

— Ах, боже мой! — сказал Обломов. — Этого еще недоставало! Обломовка была в таком затишье, в стороне, а теперь ярмарка, большая дорога! Мужики повадятся в город, к нам будут таскаться купцы — все пропало! Беда!

Штольц засмеялся.

— Как же не беда? — продолжал Обломов. — Мужики были так себе, ничего не слышно, ни хорошего, ни дурного, делают свое дело, ни за чем не тянутся; а теперь развратятся! Пойдут чаи, кофеи, бархатные штаны, гармоники, смазные сапоги. не будет проку!

— Да, если это так, конечно, мало проку, — заметил Штольц.. — А ты заведи-ка школу в деревне.

— Не рано ли? — сказал Обломов. — Грамотность вредна мужику: выучи его, так он, пожалуй, и пахать не станет. .[1]

— Да ведь мужики будут читать о том, как пахать, — чудак! Однако послушай: не шутя, тебе надо самому побывать в деревне в этом году.

— Да, правда; только у меня план еще не весь.. — робко заметил Обломов.

— И не нужно никакого! — сказал Штольц. — Ты только поезжай: на месте увидишь, что надо делать. Ты давно что-то с этим планом возишься: ужели еще все не готово? Что ж ты делаешь?

— Ах, братец! Как будто у меня только и дела, что по имению. А другое несчастье?

— Какое же?

— С квартиры гонят.

— Как гонят?

— Так: съезжай, говорят, да и только.

— Ну, так что ж?

— Как, что ж? Я тут спину и бока протер, ворочаясь от этих хлопот. Ведь один: и то надо, и другое, там счеты сводить, туда плати, здесь плати, а тут перевозка! Денег выходит ужас сколько, и сам не знаю, куда! Того и гляди, останешься без гроша.

— Вот избаловался человек: с квартиры тяжело выехать! — с удивлением произнес Штольц. — Кстати о деньгах: много их у тебя? Дай мне рублей пятьсот: надо сейчас послать; завтра из нашей конторы возьму..

— Постой! Дай вспомнить... Недавно из деревни прислали тысячу рублей, а теперь осталось. вот, погоди.

Обломов начал шарить по ящикам.

— Вот тут. десять, двадцать, вот двести рублей. да вот двадцать. Еще тут медные были. Захар, Захар!

Захар прежним порядком спрыгнул с лежанки и вошел в комнату.

— Где тут две гривны были на столе? вчера я положил..

— Что это, Илья Ильич, дались вам две гривны! Я уж вам докладывал, что никаких тут двух гривен не лежало.

— Как не лежало! С апельсинов сдачи дали.

— Отдали кому-нибудь, да и забыли, — сказал Захар, поворачиваясь к двери.

Штольц засмеялся.

— Ах вы, обломовцы! — упрекнул он. — Не знают, сколько у них денег в кармане!

— А давеча Михею Андреичу какие деньги отдавали? — напомнил Захар.

— Ах, да, вот Тарантьев взял еще десять рублей, — живо обратился Обломов к Штольцу, — я и забыл.

— Зачем ты пускаешь к себе это животное? — заметил Штольц.

— Чего пускать! — вмешался Захар. — Придет словно в свой дом или в трактир. Рубашку и жилет барские взял, да и поминай как звали! Давеча за фраком пожаловал: «дай надеть!». Хоть бы вы, батюшка, Андрей Иваныч, уняли его...

— Не твое дело, Захар. Поди к себе! — строго заметил Обломов.

— Дай мне лист почтовой бумаги, — спросил Штольц, — записку написать.

— Захар, дай бумаги: вон Андрею Иванычу нужно... — сказал Обломов.

— Ведь нет ее! Давеча искали, — отозвался из передней Захар и даже не пришел в комнату.

— Клочок какой-нибудь дай! — приставал Штольц.

Обломов поискал на столе: и клочка не было.

— Ну, дай хоть визитную карточку.

— Давно их нет у меня, визитных-то карточек, — сказал Обломов.

— Что это с тобой? — с иронией возразил Штольц. — А собираешься

дело делать, план пишешь. Скажи, пожалуйста, ходишь ли ты куда-нибудь, где бываешь? С кем видишься?

— Да где бываю! Мало где бываю, все дома сижу: вот план-то тревожит меня, а тут еще квартира... Спасибо, Тарантьев хотел постараться, приискать...

— Бывает ли кто-нибудь у тебя?

— Бывает... вот Тарантьев, еще Алексеев. Давеча доктор зашел... Пенкин был, Судьбинский, Волков...

— Я у тебя и книг не вижу, — сказал Штольц.

— Вот книга! — заметил Обломов, указав на лежавшую на столе книгу.

— Что такое? — спросил Штольц, посмотрев книгу. — «Путешествие в Африку».[2] И страница, на которой ты остановился, заплесневела. Ни газеты не видать... Читаешь ли ты газеты?

— Нет, печать мелка, портит глаза... и нет надобности: если есть что-нибудь новое, целый день со всех сторон только и слышишь об этом.

— Помилуй, Илья! — сказал Штольц, обратив на Обломова изумленный взгляд. — Сам-то ты что ж делаешь? Точно ком теста, свернулся и лежишь.

— Правда, Андрей, как ком, — печально отозвался Обломов.

— Да разве сознание есть оправдание?

— Нет, это только ответ на твои слова; я не оправдываюсь, — со вздохом заметил Обломов.

— Надо же выйти из этого сна.

— Пробовал прежде, не удалось, а теперь... зачем? Ничто не вызывает, душа не рвется, ум спит покойно! — с едва заметною горечью заключил он. — Полно об этом... Скажи лучше, откуда ты теперь?

— Из Киева. Недели через две поеду за границу. Поезжай и ты...

— Хорошо; пожалуй... — решил Обломов.

— Так садись, пиши просьбу, завтра и подашь...

— Вот уж и завтра! — начал Обломов, спохватившись. — Какая у них торопливость, точно гонит кто-нибудь! Подумаем, поговорим, а там что бог даст! Вот разве сначала в деревню, а за границу... после...

— Отчего же после? Ведь доктор велел? Ты сбрось с себя прежде жир, тяжесть тела, тогда отлетит и сон души. Нужна и телесная, и душевная гимнастика.

— Нет, Андрей, все это меня утомит: здоровье-то плохо у меня. Нет, уж ты лучше оставь меня, поезжай себе один...

Штольц поглядел на лежащего Обломова, Обломов поглядел на него. Штольц покачал головой, а Обломов вздохнул.

— Тебе, кажется, и жить-то лень? — спросил Штольц.

— А что, ведь и то правда: лень, Андрей.

Андрей ворочал в голове вопрос, чем бы задеть его за живое и где у него живое, между тем молча разглядывал его и вдруг засмеялся.

— Что это на тебе один чулок нитяный, а другой бумажный?[3] — вдруг заметил он, показывая на ноги Обломова. — Да и рубашка наизнанку надета?

Обломов поглядел на ноги, потом на рубашку.

— В самом деле, — смутясь, сознался он. — Этот Захар в наказанье мне послан! Ты не поверишь, как я измучился с ним! Спорит, грубиянит, а дела не спрашивай!

— Ах, Илья, Илья! — сказал Штольц. — Нет, я тебя не оставлю так. Через неделю ты не узнаешь себя. Ужо вечером я сообщу тебе подробный план о том, что я намерен делать с собой и с тобой, а теперь одевайся. Постой, я встряхну тебя. Захар! — закричал он. — Одеваться Илье Ильичу!

— Куда, помилуй, что ты? Сейчас придет Тарантьев с Алексеевым обедать. Потом хотели было...

— Захар, — говорил, не слушая его, Штольц, — давай ему одеваться.

— Слушаю, батюшка, Андрей Иваныч, вот только сапоги почищу, — охотливо говорил Захар.

— Как? У тебя не чищены сапоги до пяти часов?

— Чищены-то они чищены, еще на той неделе, да барин не выходил, так опять потускнели...

— Ну, давай как есть. Мой чемодан внеси в гостиную; я у вас остановлюсь. Я сейчас оденусь, и ты будь готов, Илья. Мы пообедаем где-нибудь на ходу, потом поедем дома в два, три, и...

— Да ты того... как же это вдруг... постой... дай подумать.. ведь я не брит...

— Нечего думать да затылок чесать... Дорогой обреешься: я тебя завезу.

— В какие дома мы еще поедем? — горестно воскликнул Обломов. — К незнакомым? Что выдумал! Я пойду лучше к Ивану Герасимовичу; дня три не был.

— Кто это Иван Герасимыч?

— Что служил прежде со мной...

— А! Этот седой экзекутор:[4] что ты там нашел? Что за страсть убивать время с этим болваном!

— Как ты иногда резко отзываешься о людях, Андрей, так бог тебя знает. А ведь это хороший человек: только что не в голландских рубашках ходит...[5]

— Что ты у него делаешь? О чем с ним говоришь? — спросил Штольц.

— У него, знаешь, как-то привольно, уютно в доме. Комнаты маленькие, диваны такие глубокие: уйдешь с головой, и не видать человека. Окна совсем закрыты плющами да кактусами, канареек больше дюжины, три собаки, такие добрые! Закуска со стола не сходит. Гравюры всё изображают семейные сцены. Придешь, и уйти не хочется. Сидишь, не заботясь, не думая ни о чем, знаешь, что около тебя есть человек... конечно, немудрый, поменяться с ним идеей нечего и думать, зато нехитрый, добрый, радушный, без претензий и не уязвит тебя за глаза!

— Что ж вы делаете?

— Что? Вот я приду, сядем друг против друга на диваны, с ногами; он курит...

— Ну, а ты?

— Я. тоже курю, слушаю, как канарейки трещат. Потом Марфа принесет самовар.

— Тарантьев, Иван Герасимыч! — говорил Штольц, пожимая плечами. — Ну, одевайся скорей, — торопил он. — А Тарантьеву скажи, как придет, — прибавил он, обращаясь к Захару, — что мы дома не обедаем и что Илья Ильич все лето не будет дома обедать, а осенью у него много будет дела, и что видеться с ним не удастся.

— Скажу, не забуду, все скажу, — отозвался Захар, — а с обедом как прикажете?

— Съешь его с кем-нибудь на здоровье.

— Слушаю, сударь.

Минут через десять Штольц вышел одетый, обритый, причесанный, а Обломов меланхолически сидел на постели, медленно застегивая грудь рубашки и не попадая пуговкой в петлю. Перед ним на одном колене стоял Захар с нечищенным сапогом, как с каким-нибудь блюдом, готовясь надевать и ожидая, когда барин кончит застегиванье груди.

— Ты еще сапог не надел! — с изумлением сказал Штольц. — Ну, Илья, скорей же, скорей!

— Да куда это? Да зачем? — с тоской говорил Обломов. — Чего я там не видал? Отстал я, не хочется.

— Скорей, скорей! — торопил Штольц.

IV

Хотя было уже не рано, но они успели заехать куда-то по делам, потом Штольц захватил с собой обедать одного золотопромышленника, потом поехали к этому последнему на дачу пить чай, застали большое общество, и Обломов из совершенного уединения вдруг очутился в толпе людей. Воротились они домой к поздней ночи.

На другой, на третий день опять, и целая неделя промелькнула незаметно. Обломов протестовал, жаловался, спорил, но был увлекаем и сопутствовал другу своему всюду.

Однажды, возвратясь откуда-то поздно, он особенно восстал против этой суеты.

— Целые дни, — ворчал Обломов, надевая халат, — не снимаешь сапог: ноги так и зудят! Не нравится мне эта ваша петербургская жизнь! — продолжал он, ложась на диван.

— Какая же тебе нравится? — спросил Штольц.

— Не такая, как здесь.

— Что ж здесь именно так не понравилось?

— Все, вечная беготня взапуски, вечная игра дрянных страстишек, особенно жадности, перебиванья друг у друга дороги, сплетни, пересуды, щелчки друг другу, это оглядыванье с ног до головы; послушаешь, о чем говорят, так голова закружится, одуреешь. Кажется, люди на взгляд такие умные, с таким достоинством на лице, только и слышишь: «Этому дали то, тот получил аренду».[1] — «Помилуйте, за что?» — кричит

кто-нибудь. «Этот проигрался вчера в клубе; тот берет триста тысяч!» Скука, скука, скука! Где же тут человек? Где его целость? Куда он скрылся, как разменялся на всякую мелочь?

— Что-нибудь да должно же занимать свет и общество, — сказал Штольц, — у всякого свои интересы. На то жизнь.

— Свет, общество! Ты, верно, нарочно, Андрей, посылаешь меня в этот свет и общество, чтоб отбить больше охоту быть там. Жизнь: хороша жизнь! Чего там искать? интересов ума, сердца? Ты посмотри, где центр, около которого вращается все это: нет его, нет ничего глубокого, задевающего за живое. Все это мертвецы, спящие люди, хуже меня, эти члены света и общества! Что водит ими в жизни? Вот они не лежат, а снуют каждый день, как мухи, взад и вперед, а что толку? Войдешь в залу и не налюбуешься, как симметрически рассажены гости, как смирно и глубокомысленно сидят — за картами. Нечего сказать, славная задача жизни! Отличный пример для ищущего движения ума![2] Разве это не мертвецы? Разве не спят они всю жизнь сидя? Чем я виноватее их, лежа у себя дома и не заражая головы тройками и валетами?

— Это все старое, об этом тысячу раз говорили, — заметил Штольц. — Нет ли чего поновее?

— А наша лучшая молодежь, что она делает? Разве не спит, ходя, разъезжая по Невскому, танцуя? Ежедневная пустая перетасовка дней! А посмотри, с какою гордостью и неведомым достоинством, отталкивающим взглядом смотрят, кто не так одет, как они, не носит их имени и звания. И воображают, несчастные, что еще они выше толпы: «Мы-де служим, где, кроме нас, никто не служит; мы в первом ряду кресел, мы на бале у князя N, куда только нас пускают».. А сойдутся между собой, перепьются и подерутся, точно дикие! Разве это живые, неспящие люди? Да не одна молодежь: посмотри на взрослых. Собираются, кормят друг друга, ни радушия, ни доброты, ни взаимного влечения! Собираются на обед, на вечер, как в должность, без веселья, холодно, чтоб похвастать поваром, салоном и потом под рукой осмеять, подставить ногу один другому. Третьего дня, за обедом, я не знал, куда смотреть, хоть под стол залезть, когда началось терзание репутаций отсутствующих: «Тот глуп, этот низок, другой вор, третий смешон» — настоящая травля! Говоря это, глядят друг на друга такими же глазами: «вот уйди только за дверь, и тебе то же будет»... Зачем же они сходятся, если они таковы? Ни искреннего смеха, ни проблеска симпатии! Стараются залучить громкий чин, имя. «У меня был такой-то, а я был у такого-то», — хвастают потом... Что ж это за жизнь? Я не хочу ее. Чему я там научусь, что извлеку?

— Знаешь что, Илья? — сказал Штольц. — Ты рассуждаешь, точно древний: в старых книгах вот так всё писали. А впрочем, и то хорошо: по крайней мере рассуждаешь, не спишь. Ну, что еще? Продолжай.

— Что продолжать-то? Ты посмотри: ни на ком здесь нет свежего, здорового лица.

— Климат такой, — перебил Штольц. — Вон и у тебя лицо измято, а ты и не бегаешь, все лежишь.

— Ни у кого ясного, покойного взгляда, — продолжал Обломов, — все заражаются друг от друга какой-нибудь мучительной заботой, тоской, болезненно чего-то ищут. И добро бы истины, блага себе и другим — нет, они бледнеют от успеха товарища. У одного забота: завтра в присутственное место зайти, дело пятый год тянется, противная сторона одолевает, и он пять лет носит одну мысль в голове, одно желание: сбить с ног другого и на его падении выстроить здание своего благосостояния. Пять лет ходить, сидеть и вздыхать в приемной — вот идеал и цель жизни! Другой мучится, что осужден ходить каждый день на службу и сидеть до пяти часов, а тот вздыхает тяжко, что нет ему такой благодати...

— Ты философ, Илья! — сказал Штольц. — Все хлопочут, только тебе ничего не нужно!

— Вот этот желтый господин в очках, — продолжал Обломов, — пристал ко мне: читал ли я речь какого-то депутата, и глаза вытаращил на меня, когда я сказал, что не читаю газет. И пошел о Лудовике-Филиппе,[3] точно как будто он родной отец ему. Потом привязался, как я думаю: отчего французский посланник выехал из Рима?[4] Как, всю жизнь, обречь себя на ежедневное заряжанье всесветными новостями, кричать неделю, пока не выкричишься! Сегодня Мехмет-Али[5] послал корабль в Константинополь, и он ломает себе голову: зачем? Завтра не удалось Дон-Карлосу[6] — и он в ужасной тревоге. Там роют канал,[7] тут отряд войска послали на Восток;[8] батюшки, загорелось! лица нет, бежит, кричит, как будто на него самого войско идет. Рассуждают, соображают вкривь и вкось, а самим скучно — не занимает это их; сквозь эти крики виден непробудный сон! Это им постороннее; они не в своей шапке ходят. Дела-то своего нет, они и разбросались на все стороны, не направились ни на что. Под этой всеобъемлемостью кроется пустота, отсутствие симпатии ко всему! А избрать скромную, трудовую тропинку и идти по ней, прорывать глубокую колею — это скучно, незаметно; там всезнание не поможет и пыль в глаза пускать некому.

— Ну, мы с тобой не разбросались, Илья. Где же наша скромная, трудовая тропинка? — спросил Штольц.

Обломов вдруг смолк.

— Да вот я кончу только... план... — сказал он. — Да бог с ни́ми! — с досадой прибавил потом. — Я их не трогаю, ничего не ищу; я только не вижу нормальной жизни в этом. Нет, это не жизнь, а искажение нормы, идеала жизни, который указала природа целью человеку...

— Какой же это идеал, норма жизни?

Обломов не отвечал.

— Ну, скажи мне, какую бы ты начертал себе жизнь? — продолжал спрашивать Штольц.

— Я уж начертал.

— Что ж это такое? Расскажи, пожалуйста, как?

— Как? — сказал Обломов, перевертываясь на спину и глядя в потолок. — Да как! Уехал бы в деревню.

— Что ж тебе мешает?

— План не кончен. Потом я бы уехал не один, а с женой...

— А! вот что! Ну, с богом. Чего ж ты ждешь? Еще года три-четыре, никто за тебя не пойдет...

— Что делать, не судьба! — сказал Обломов, вздохнув. — Состояние не позволяет!

— Помилуй, а Обломовка? Триста душ!

— Так что ж? Чем тут жить, с женой?

— Вдвоем, чем жить!

— А дети пойдут?

— Детей воспитаешь, сами достанут; умей направить их так...

— Нет, что из дворян делать мастеровых! — сухо перебил Обломов.[9] — Да и кроме детей, где же вдвоем? Это только так говорится, с женой вдвоем, а в самом-то деле только женился, тут наползет к тебе каких-то баб в дом. Загляни в любое семейство: родственницы, не родственницы и не экономки; если не живут, так ходят каждый день кофе пить, обедать... Как же прокормить с тремя стами душ такой пансион?[10]

— Ну, хорошо; пусть тебе подарили бы еще триста тысяч, что б ты сделал? — спрашивал Штольц с сильно задетым любопытством.

— Сейчас же в ломбард, — сказал Обломов, — и жил бы процентами.[11]

— Там мало процентов; отчего ж бы куда-нибудь в компанию, вот хоть в нашу?[12]

— Нет, Андрей, меня не надуешь.

— Как; ты бы и мне не поверил?

— Ни за что; не то что тебе, а все может случиться: ну, как лопнет, вот я и без гроша. То ли дело в банке?

— Ну, хорошо; что ж бы ты стал делать?

— Ну, приехал бы я в новый, покойно устроенный дом... В окрестности жили бы добрые соседи, ты, например... Да нет, ты не усидишь на одном месте...

— А ты разве усидел бы всегда? Никуда бы не поехал?

— Никуда.

— Зачем же хлопочут строить везде железные дороги, пароходы,[13] если идеал жизни — сидеть на месте? Подадим-ко, Илья, проект, чтоб остановились; мы ведь не поедем.

— И без нас много; мало ли управляющих, приказчиков, купцов, чиновников, праздных путешественников, у которых нет угла? Пусть ездят себе!

— А ты кто же?

Обломов молчал.

— К какому же разряду общества причисляешь ты себя?

— Спроси Захара, — сказал Обломов.

Штольц буквально исполнил желание Обломова.

— Захар! — закричал он.

Пришел Захар, с сонными глазами.

— Кто это такой лежит? — спросил Штольц.

Захар вдруг проснулся и стороной, подозрительно взглянул на Штольца, потом на Обломова.

— Как кто? Разве вы не видите?

— Не вижу, — сказал Штольц.

— Что за диковина? Это барин, Илья Ильич.

Он усмехнулся.

— Хорошо, ступай.

— Барин! — повторил Штольц и закатился хохотом.

— Ну, джентльмен, — с досадой поправил Обломов.

— Нет, нет, ты барин! — продолжал с хохотом Штольц.

— Какая же разница? — сказал Обломов. — Джентльмен — такой же барин.

— Джентльмен есть такой барин, — определил Штольц, — который сам надевает чулки и сам же снимает с себя сапоги.[14]

— Да, англичанин сам, потому что у них не очень много слуг, а русский...

— Продолжай же дорисовывать мне идеал твоей жизни. Ну, добрые приятели вокруг; что ж дальше? Как бы ты проводил дни свои?

— Ну вот, встал бы утром, — начал Обломов, подкладывая руки под затылок, и по лицу разлилось выражение покоя: он мысленно был уже в деревне. — Погода прекрасная, небо синее-пресинее, ни одного облачка, — говорил он, — одна сторона дома в плане обращена у меня балконом на восток, к саду, к полям, другая — к деревне. В ожидании, пока проснется жена, я надел бы шлафрок и походил по саду подышать утренними испарениями; там уж нашел бы я садовника, поливали бы вместе цветы, подстригали кусты, деревья. Я составляю букет для жены. Потом иду в ванну или в реку купаться, возвращаюсь — балкон уже отворен; жена в блузе, в легком чепчике, который чуть-чуть держится, того и гляди слетит с головы. Она ждет меня. «Чай готов», — говорит она. Какой поцелуй! Какой чай! Какое покойное кресло! Сажусь около стола; на нем сухари, сливки, свежее масло.

— Потом?

— Потом, надев просторный сюртук или куртку какую-нибудь, обняв жену за талью, углубиться с ней в бесконечную, темную аллею; идти тихо, задумчиво, молча или думать вслух, мечтать, считать минуты счастья, как биение пульса; слушать, как сердце бьется и замирает; искать в природе сочувствия. и незаметно выйти к речке, к полю... Река чуть плещет; колосья волнуются от ветерка, жара... сесть в лодку, жена правит, едва поднимая весла.

— Да ты поэт, Илья! — перебил Штольц.

— Да, поэт в жизни, потому что жизнь есть поэзия.[15] Вольно людям искажать ее! Потом можно зайти в оранжерею, — продолжал Обломов, сам упиваясь идеалом нарисованного счастья.

Он извлекал из воображения готовые, давно уже нарисованные им картины и оттого говорил с одушевлением, не останавливаясь.

— Посмотреть персики, виноград, — говорил он, — сказать, что подать к столу, потом воротиться, слегка позавтракать и ждать гостей... А тут то записка к жене от какой-нибудь Марьи Петровны, с книгой, с нотами, то прислали ананас в подарок или у самого в парнике созрел

чудовищный арбуз — пошлешь к доброму приятелю к завтрашнему обеду и сам туда отправишься... А на кухне в это время так и кипит; повар в белом, как снег, фартуке и колпаке суетится; поставит одну кастрюлю, снимет другую, там помешает, тут начнет валять тесто, там выплеснет воду... ножи так и стучат... крошат зелень... там вертят мороженое. До обеда приятно заглянуть в кухню, открыть кастрюлю, понюхать, посмотреть, как свертывают пирожки, сбивают сливки. Потом лечь на кушетку; жена вслух читает что-нибудь новое; мы останавливаемся, спорим. Но гости едут, например ты с женой.

— Ба, ты и меня женишь?

— Непременно! Еще два, три приятеля, всё одни и те же лица. Начнем вчерашний, неконченный разговор; пойдут шутки или наступит красноречивое молчание, задумчивость — не от потери места, не от сенатского дела,[16] а от полноты удовлетворенных желаний, раздумье наслаждения... Не услышишь филиппики с пеной на губах отсутствующему, не подметишь брошенного на тебя взгляда с обещанием и тебе того же, чуть выйдешь за дверь. Кого не любишь, кто не хорош, с тем не обмакнешь хлеба в солонку.[17] В глазах собеседников увидишь симпатию, в шутке искренний, незлобный смех. Всё по душе! Что в глазах, в словах, то и на сердце! После обеда мокка, гавана[18] на террасе...

— Ты мне рисуешь одно и то же, что бывало у дедов и отцов.

— Нет, не то, — отозвался Обломов, почти обидевшись, — где же то? Разве у меня жена сидела бы за вареньями да за грибами? Разве считала бы тальки да разбирала деревенское полотно? Разве била бы девок по щекам?[19] Ты слышишь: ноты, книги, рояль, изящная мебель?

— Ну, а ты сам?

— И сам я прошлогодних бы газет не читал, в колымаге не ездил, ел бы не лапшу и гуся, а выучил бы повара в английском клубе или у посланника.

— Ну, потом?

— Потом, как свалит жара, отправили бы телегу с самоваром, с десертом в березовую рощу, а не то так в поле, на скошенную траву, разостлали бы между стогами ковры и там блаженствовали бы вплоть до окрошки и бифштекса. Мужики идут с поля, с косами на плечах; там воз с сеном проползет, закрыв всю телегу и лошадь; вверху, из кучи, торчит шапка мужика с цветком да детская головка; там толпа босоногих баб, с серпами, голосят.. Вдруг завидели господ, притихли, низко кланяются. Одна из них, с загорелой шеей, с голыми локтями, с робко опущенными, но лукавыми глазами, чуть-чуть, для виду только, обороняется от барской ласки, а сама счастлива... тс! жена чтоб не увидела, боже сохрани!

И сам Обломов и Штольц покатились со смеху.

— Сыро в поле, — заключил Обломов, — темно; туман, как опрокинутое море, висит над рожью; лошади вздрагивают плечом и бьют копытами: пора домой. В доме уж засветились огни; на кухне стучат в пятеро ножей; сковорода грибов, котлеты, ягоды... тут музыка. Casta diva...

Casta diva! — запел Обломов. — Не могу равнодушно вспомнить Casta diva, — сказал он, пропев начало каватины, — как выплакивает сердце эта женщина! [20] Какая грусть заложена в эти звуки!.. И никто не знает ничего вокруг... Она одна... Тайна тяготит ее; она вверяет ее луне...

— Ты любишь эту арию? очень рад: ее прекрасно поет Ольга Ильинская. Я познакомлю тебя — вот голос, вот пение! Да и сама она что за очаровательное дитя! Впрочем, может быть, я пристрастно сужу: у меня к ней слабость... Однако ж не отвлекайся, не отвлекайся, — прибавил Штольц, — рассказывай!

— Ну, — продолжал Обломов, — что еще? Да тут и все!.. Гости расходятся по флигелям, по павильонам; а завтра разбрелись: кто удить, кто с ружьем, а кто так просто, сидит себе...

— Просто, ничего в руках? — спросил Штольц.

— Чего тебе надо? Ну, носовой платок, пожалуй. Что ж, тебе не хотелось бы так пожить? — спросил Обломов. — А? Это не жизнь?

— И весь век так? — спросил Штольц.

— До седых волос, до гробовой доски. Это жизнь!

— Нет, это не жизнь!

— Как не жизнь? Чего тут нет? Ты подумай, что ты не увидал бы ни одного бледного, страдальческого лица, никакой заботы, ни одного вопроса о сенате, о бирже, об акциях, о докладах, о приеме у министра, о чинах, о прибавке столовых денег. А всё разговоры по душе! Тебе никогда не понадобилось бы переезжать с квартиры — уж это одно чего стоит! И это не жизнь?

— Это не жизнь! — упрямо повторял Штольц.

— Что ж это, по-твоему?

— Это... (Штольц задумался и искал, как назвать эту жизнь). Какая-то... обломовщина, — сказал он наконец.

— О-бло-мовщина! — медленно произнес Илья Ильич, удивляясь этому странному слову и разбирая его по складам. — Об-ло-мов-щина!

Он странно и пристально глядел на Штольца.

— Где же идеал жизни, по-твоему? Что ж не обломовщина? — без увлечения, робко спросил он. — Разве не все добиваются того же, о чем я мечтаю? Помилуй! — прибавил он смелее. — Да цель всей вашей беготни, страстей, войн, торговли и политики разве не выделка покоя, не стремление к этому идеалу утраченного рая?

— И утопия-то у тебя обломовская, — возразил Штольц.

— Все ищут отдыха и покоя, — защищался Обломов.

— Не все, и ты сам, лет десять, не того искал в жизни.

— Чего же я искал? — с недоумением спросил Обломов, погружаясь мыслью в прошедшее.

— Вспомни, подумай. Где твои книги, переводы?

— Захар куда-то дел, — отвечал Обломов, — тут где-нибудь в углу лежат.

— В углу! — с упреком сказал Штольц. — В этом же углу лежат и замыслы твои «служить, пока станет сил, потому что России нужны руки и головы для разработывания неистощимых источников (твои

слова); работать, чтоб слаще отдыхать, а отдыхать — значит жить другой, артистической, изящной стороной жизни, жизни художников, поэтов». Все эти замыслы тоже Захар сложил в угол? Помнишь, ты хотел после книг объехать чужие края, чтоб лучше знать и любить свой? «Вся жизнь есть мысль и труд, — твердил ты тогда, — труд хоть безвестный, темный, но непрерывный, и умереть с сознанием, что сделал свое дело». А? В каком углу лежит это у тебя?

— Да... да... — говорил Обломов, беспокойно следя за каждым словом Штольца, — помню, что я точно... кажется... Как же, — сказал он, вдруг вспомнив прошлое, —ведь мы, Андрей, сбирались сначала изъездить вдоль и поперек Европу, исходить Швейцарию пешком, обжечь ноги на Везувии, спуститься в Геркулан.[21] С ума чуть не сошли! Сколько глупостей!

— Глупостей! — с упреком повторил Штольц. — Не ты ли со слезами говорил, глядя на гравюры рафаэлевских мадонн, Корреджиевой ночи, на Аполлона Бельведерского:[22] «Боже мой! Ужели никогда не удастся взглянуть на оригиналы и онеметь от ужаса, что ты стоишь перед произведением Микеланджело, Тициана и попираешь почву Рима? Ужели провести век и видеть эти мирты, кипарисы и померанцы в оранжереях, а не на их родине? Не подышать воздухом Италии, не упиться синевой неба!». И сколько великолепных фейерверков пускал ты из головы! Глупости!

— Да, да, помню! — говорил Обломов, вдумываясь в прошлое. — Ты еще взял меня за руку и сказал: «Дадим обещание не умирать, не увидавши ничего этого...».

— Помню, — продолжал Штольц, — как ты однажды принес мне перевод из Сея,[23] с посвящением мне в именины; перевод цел у меня. А как ты запирался с учителем математики, хотел непременно добиться, зачем тебе знать круги и квадраты, но на половине бросил и не добился? По-английски начал учиться... и не доучился! А когда я сделал план поездки за границу, звал заглянуть в германские университеты, ты вскочил, обнял меня и подал торжественно руку: «Я твой, Андрей, с тобой всюду» — это всё твои слова. Ты всегда был немножко актер. Что ж, Илья? Я два раза был за границей, после нашей премудрости, смиренно сидел на студенческих скамьях в Бонне, в Иене, в Эрлангене,[24] потом выучил Европу как свое имение. Но, положим, вояж — это роскошь, и не все в состоянии и обязаны пользоваться этим средством; а Россия? Я видел Россию вдоль и поперек. Тружусь...

— Когда-нибудь перестанешь же трудиться, — заметил Обломов.

— Никогда не перестану. Для чего?

— Когда удвоишь свои капиталы, — сказал Обломов.

— Когда учетверю их, и тогда не перестану.

— Так из чего же, — заговорил он, помолчав, — ты бьешься, если цель твоя не обеспечить себя навсегда и удалиться потом на покой, отдохнуть?

— Деревенская обломовщина! — сказал Штольц.

— Или достигнуть службой значения и положения в обществе и потом в почетном бездействии наслаждаться заслуженным отдыхом.

— Петербургская обломовщина! — возразил Штольц.

— Так когда же жить? — с досадой на замечания Штольца возразил Обломов. — Для чего же мучиться весь век?

— Для самого труда, больше ни для чего. Труд — образ, содержание, стихия и цель жизни, по крайней мере моей. Вон ты выгнал труд из жизни: на что она похожа? Я попробую приподнять тебя, может быть в последний раз. Если ты и после этого будешь сидеть вот тут, с Тарантьевыми и Алексеевыми, то совсем пропадешь, станешь в тягость даже себе. Теперь или никогда![25] — заключил он.

Обломов слушал его, глядя на него встревоженными глазами. Друг как будто подставил ему зеркало, и он испугался, узнав себя.

— Не брани меня, Андрей, а лучше в самом деле помоги! — начал он со вздохом. — Я сам мучусь этим; и если бы ты посмотрел и послушал меня вот хоть бы сегодня, как я сам копаю себе могилу и оплакиваю себя, у тебя бы упрек не сошел с языка. Все знаю, все понимаю, но силы и воли нет. Дай мне своей воли и ума и веди меня, куда хочешь. За тобой я, может быть, пойду, а один не сдвинусь с места. Ты правду говоришь: «Теперь или никогда больше». Еще год — поздно будет!

— Ты ли это, Илья? — говорил Андрей. — А помню я тебя тоненьким, живым мальчиком, как ты каждый день с Пречистенки ходил в Кудрино;[26] там, в садике. ты не забыл двух сестер? Не забыл Руссо, Шиллера, Гёте, Байрона, которых носил им и отнимал у них романы Коттень,[27] Жанлис. важничал перед ними, хотел очистить их вкус?

Обломов вскочил с постели.

— Как, ты и это помнишь, Андрей? Как же! Я мечтал с ними, нашептывал надежды на будущее, развивал планы, мысли и... чувства тоже, тихонько от тебя, чтоб ты на смех не поднял. Там все это и умерло, больше не повторялось никогда! Да и куда делось все — отчего погасло? Непостижимо! Ведь ни бурь, ни потрясений не было у меня; не терял я ничего; никакое ярмо не тяготит моей совести: она чиста, как стекло; никакой удар не убил во мне самолюбия, а так, бог знает отчего, все пропадает!

Он вздохнул.

— Знаешь ли, Андрей, в жизни моей ведь никогда не загоралось никакого, ни спасительного, ни разрушительного огня? Она не была похожа на утро, на которое постепенно падают краски, огонь, которое потом превращается в день, как у других, и пылает жарко, и все кипит, движется в ярком полудне, и потом все тише и тише, все бледнее, и все естественно и постепенно гаснет к вечеру. Нет, жизнь моя началась с погасания. Странно, а это так! С первой минуты, когда я сознал себя, я почувствовал, что я уже гасну. Начал гаснуть я над писаньем бумаг в канцелярии; гаснул потом, вычитывая в книгах истины, с которыми не знал что делать в жизни, гаснул с приятелями, слушая толки, сплетни, передразниванье, злую и холодную болтовню, пустоту, глядя на дружбу,

поддерживаемую сходками без цели, без симпатии; гаснул и губил силы с Миной: платил ей больше половины своего дохода и воображал, что люблю ее; гаснул в унылом и ленивом хождении по Невскому проспекту, среди енотовых шуб и бобровых воротников, — на вечерах, в приемные дни, где оказывали мне радушие как сносному жениху; гаснул и тратил по мелочи жизнь и ум, переезжая из города на дачу, с дачи в Гороховую, определяя весну привозом устриц и омаров, осень и зиму — положенными днями, лето — гуляньями и всю жизнь — ленивой и покойной дремотой, как другие. Даже самолюбие — на что оно тратилось? Чтоб заказывать платье у известного портного? Чтоб попасть в известный дом? Чтоб князь П* подал мне руку? А ведь самолюбие — соль жизни! Куда оно ушло? Или я не понял этой жизни, или она никуда не годится, а лучшего я ничего не знал, не видал, никто не указал мне его. Ты появлялся и исчезал, как комета, ярко, быстро, и я забывал все это и гаснул.

Штольц не отвечал уже небрежной насмешкой на речь Обломова. Он слушал и угрюмо молчал.

— Ты сказал давеча, что у меня лицо не совсем свежо, измято, — продолжал Обломов, — да, я дряблый, ветхий, изношенный кафтан, но не от климата, не от трудов, а от того, что двенадцать лет во мне был заперт свет, который искал выхода, но только жег свою тюрьму,[28] не вырвался на волю и угас. Итак, двенадцать лет, милый мой Андрей, прошло: не хотелось уж мне просыпаться больше.

— Зачем же ты не вырвался, не бежал куда-нибудь, а молча погибал? — нетерпеливо спросил Штольц.

— Куда?

— Куда? Да хоть с своими мужиками на Волгу: и там больше движения, есть интересы какие-нибудь, цель, труд. Я бы уехал в Сибирь, в Ситху.[29]

— Вон ведь ты всё такие сильные средства прописываешь! — заметил Обломов уныло. — Да я ли один? Смотри: Михайлов, Петров, Семенов, Степанов. не пересчитаешь: наше имя легион! [30]

Штольц еще был под влиянием этой исповеди и молчал. Потом вздохнул.

— Да, воды много утекло! — сказал он. — Я не оставлю тебя так, увезу тебя отсюда, сначала за границу, потом в деревню: похудеешь немного, перестанешь хандрить, а там сыщем и дело.

— Да, поедем куда-нибудь отсюда! — вырвалось у Обломова.

— Завтра начнем хлопотать о паспорте за границу, потом станем собираться. Я не отстану — слышишь, Илья?

— Ты все завтра! — возразил Обломов, спустившись будто с облаков.

— А тебе бы хотелось «не откладывать до завтра, что можно сделать сегодня»? Какая прыть! Поздно нынче, — прибавил Штольц, — но через две недели мы будем далеко.

— Что это, братец, через две недели, помилуй, вдруг так! — говорил Обломов. — Дай хорошенько обдумать и приготовиться. Тарантас[31] надо какой-нибудь. разве месяца через три.

— Выдумал тарантас! До границы мы поедем в почтовом экипаже или на пароходе до Любека,[32] как будет удобнее; а там во многих местах железные дороги есть.

— А квартира, а Захар, а Обломовка? Ведь надо распорядиться, — защищался Обломов.

— Обломовщина, обломовщина! — сказал Штольц, смеясь, потом взял свечку, пожелал покойной ночи и пошел спать. — Теперь или никогда — помни! — прибавил он, обернувшись к Обломову и затворяя за собой дверь.

V

«Теперь или никогда!» — явились Обломову грозные слова, лишь только он проснулся утром.

Он встал с постели, прошелся три раза по комнате, заглянул в гостиную: Штольц сидит и пишет.

— Захар! — кликнул он.

Не слышно прыжка с печки — Захар нейдет: Штольц услал его на почту.

Обломов подошел к своему запыленному столу, сел, взял перо, обмакнул в чернильницу, но чернил не было, поискал бумаги — тоже нет. Он задумался и машинально начал чертить пальцем по пыли, потом посмотрел, что написал: вышло *Обломовщина*.

Он проворно стер написанное рукавом. Это слово снилось ему ночью, написанное огнем на стенах, как Бальтазару на пиру.[1]

Пришел Захар и, найдя Обломова не на постели, мутно поглядел на барина, удивляясь, что он на ногах. В этом тупом взгляде удивления написано было: «Обломовщина!».

«Одно слово, — думал Илья Ильич, — а какое... ядовитое!..»

Захар по обыкновению взял гребенку, щетку, полотенце и подошел было причесывать барина.

— Поди ты к черту! — сердито сказал Обломов и вышиб из рук Захара щетку, а Захар сам уже уронил и гребенку на пол.

— Не ляжете, что ли, опять? — спросил Захар. — Так я бы поправил постель.

— Принеси мне чернил и бумаги, — отвечал Обломов.

Он задумался над словами: «Теперь или никогда!».

Вслушиваясь в это отчаянное воззвание разума и силы, он сознавал и взвешивал, что у него осталось еще в остатке воли и куда он понесет, во что положит этот скудный остаток.

После мучительной думы он схватил перо, вытащил из угла книгу и в один час хотел прочесть, написать и передумать все, что не прочел, не написал и не передумал в десять лет.

Что ему делать теперь? Идти вперед или остаться? Этот обломовский вопрос был для него глубже гамлетовского.[2] Идти вперед — значит вдруг сбросить широкий халат не только с плеч, но и с души, с ума; вместе с пылью и паутиной со стен смести паутину с глаз и прозреть!

Какой первый шаг сделать к тому? С чего начать? Не знаю, не могу... нет... лукавлю, знаю и... Да и Штольц тут, под боком; он сейчас скажет.

А что он скажет? «В неделю, скажет, набросать подробную инструкцию поверенному и отправить его в деревню, Обломовку заложить, прикупить земли, послать план построек, квартиру сдать, взять паспорт и ехать на полгода за границу, сбыть лишний жир, сбросить тяжесть, освежить душу тем воздухом, о котором мечтал некогда с другом, пожить без халата, без Захара и Тарантьева, надевать самому чулки и снимать с себя сапоги, спать только ночью, ехать, куда все едут, по железным дорогам, на пароходах, потом. Потом... поселиться в Обломовке, знать, что такое посев и умолот, отчего бывает мужик беден и богат; ходить в поле, ездить на выборы, на завод, на мельницу, на пристань. В то же время читать газеты, книги, беспокоиться о том, зачем англичане послали корабль на Восток...»[3]

Вот что он скажет! Это значит идти вперед.. И так всю жизнь! Прощай, поэтический идеал жизни! Это какая-то кузница, не жизнь; тут вечно пламя, трескотня, жар, шум... когда же пожить? Не лучше ли остаться?

Остаться — значит надевать рубашку наизнанку, слушать прыганье Захаровых ног с лежанки, обедать с Тарантьевым, меньше думать обо всем, не дочитать до конца путешествия в Африку, состареться мирно на квартире у кумы Тарантьева.

«Теперь или никогда!» — «Быть или не быть!» Обломов приподнялся было с кресла, но не попал сразу ногой в туфлю и сел опять.

Через две недели Штольц уже уехал в Англию, взяв с Обломова слово приехать прямо в Париж. У Ильи Ильича уже и паспорт был готов, он даже заказал себе дорожное пальто, купил фуражку. Вот как подвинулись дела.

Уже Захар глубокомысленно доказывал, что довольно заказать и одну пару сапог, а под другую подкинуть подметки. Обломов купил одеяло, шерстяную фуфайку, дорожный несессер, хотел — мешок для провизии, но десять человек сказали, что за границей провизии не возят.

Захар метался по мастеровым, по лавкам, весь в поту, и хоть много гривен и пятаков положил себе в карман от сдач по лавкам, но проклял и Андрея Ивановича, и всех, кто выдумал путешествия.

— Что он там один-то будет делать? — говорил он в лавочке. — Там, слышь, служат господам всё девки. Где девке сапоги стащить? И как она станет чулки натягивать на голые ноги барину?

Он даже усмехнулся, так что бакенбарды подались в сторону, и покачал головой. Обломов не поленился, написал, что взять с собой и что оставить дома. Мебель и прочие вещи поручено Тарантьеву отвезти на квартиру к куме, на Выборгскую сторону, запереть их в трех комнатах и хранить до возвращения из-за границы.

Уже знакомые Обломова, иные с недоверчивостью, другие со смехом, а третьи с каким-то испугом, говорили: «Едет; представьте, Обломов сдвинулся с места!».

Но Обломов не уехал ни через месяц, ни через три.

Накануне отъезда у него ночью раздулась губа. «Муха укусила, нельзя же с этакой губой в море!» — сказал он и стал ждать другого парохода. Вот уж август, Штольц давно в Париже, пишет к нему неистовые письма, но ответа не получает.

Отчего же? Вероятно, чернила засохли в чернильнице и бумаги нет? Или, может быть, оттого, что в обломовском стиле часто сталкиваются *который* и *что*, или, наконец, Илья Ильич в грозном клике: *теперь* или *никогда* остановился на последнем, заложил руки под голову — и напрасно будил его Захар.

Нет, у него чернильница полна чернил, на столе лежат письма, бумага, даже гербовая,[4] притом исписанная его рукой.

Написав несколько страниц, он ни разу не поставил два раза *который*; слог его лился свободно и местами выразительно и красноречиво, как в «оны дни», когда он мечтал со Штольцем о трудовой жизни, о путешествии, писал тетради прозы, стихов и плакал над поэтами.

Встает он в семь часов, читает, носит куда-то книги. На лице ни сна, ни усталости, ни скуки. На нем появились даже краски, в глазах блеск, что-то вроде отваги или по крайней мере самоуверенности. Халата не видать на нем: Тарантьев увез его с собой к куме с прочими вещами. Обломов сидит с книгой или пишет в домашнем пальто;[5] на шее надета легкая косынка; воротнички рубашки выпущены на галстук и блестят, как снег. Выходит он в сюртуке, прекрасно сшитом, в щегольской шляпе. Он весел, напевает. Отчего же это?

Вот он сидит у окна своей дачи (он живет на даче, в нескольких верстах от города), подле него лежит букет цветов. Он что-то проворно дописывает, а сам беспрестанно поглядывает через кусты, на дорожку, и опять спешит писать.

Вдруг по дорожке захрустел песок под легкими шагами; Обломов бросил перо, схватил букет и подбежал к окну.

— Это вы, Ольга Сергевна? Сейчас, сейчас! — сказал он, схватил фуражку, тросточку, выбежал в калитку, подал руку какой-то прекрасной женщине и исчез с ней в лесу, в тени огромных елей.

Захар вышел из-за какого-то угла, поглядел ему вслед, запер комнату и пошел в кухню.

— Ушел! — сказал он Анисье.

— А обедать будет?

— Кто его знает? — сонно отвечал Захар.

Захар все такой же: те же огромные бакенбарды, небритая борода, тот же серый жилет и прореха на сюртуке, но он женат на Анисье, вследствие ли разрыва с кумой или так, по убеждению, что человек должен быть женат; он женился и, вопреки пословице, не переменился.

Штольц познакомил Обломова с Ольгой и ее теткой. Когда Штольц привел Обломова в дом к Ольгиной тетке в первый раз, там были гости. Обломову было тяжело и по обыкновению неловко.

«Хорошо бы перчатки снять, — думал он, — ведь в комнате тепло. Как я отвык от всего! .»

Штольц сел подле Ольги, которая сидела одна, под лампой, поодаль от чайного стола, опершись спиной на кресло, и мало занималась тем, что вокруг нее происходило.

Она очень обрадовалась Штольцу; хотя глаза ее не зажглись блеском, щеки не запылали румянцем, но по всему лицу разлился ровный, покойный свет и явилась улыбка.

Она называла его другом, любила за то, что он всегда смешил ее и не давал скучать, но немного и боялась, потому что чувствовала себя слишком ребенком перед ним.

Когда у ней рождался в уме вопрос, недоумение, она не вдруг решалась поверить ему: он был слишком далеко впереди ее, слишком выше ее, так что самолюбие ее иногда страдало от этой недозрелости, от расстояния в их уме и летах.

Штольц тоже любовался ею бескорыстно, как чудесным созданием, с благоухающею свежестью ума и чувств. Она была в глазах его только прелестный, подающий большие надежды ребенок.

Штольц, однако ж, говорил с ней охотнее и чаще, нежели с другими женщинами, потому что она, хотя бессознательно, но шла простым, природным путем жизни и по счастливой натуре, по здравому, не перехитренному воспитанию не уклонялась от естественного проявления мысли, чувства, воли, даже до малейшего, едва заметного движения глаз, губ, руки.

Не оттого ли, может быть, шагала она так уверенно по этому пути, что по временам слышала рядом другие, еще более уверенные шаги «друга», которому верила, и с ними соразмеряла свой шаг.

Как бы то ни было, но в редкой девице встретишь такую простоту и естественную свободу взгляда, слова, поступка. У ней никогда не прочтешь в глазах: «теперь я подожму немного губу и задумаюсь — я так недурна. Взгляну туда и испугаюсь, слегка вскрикну, сейчас подбегут ко мне. Сяду у фортепьяно и выставлю чуть-чуть кончик ноги».

Ни жеманства, ни кокетства, никакой лжи, никакой мишуры, ни умысла! Зато ее и ценил почти один Штольц, зато не одну мазурку просидела она одна, не скрывая скуки; зато, глядя на нее, самые любезные из молодых людей были неразговорчивы, не зная, что и как сказать ей..

Одни считали ее простой, недальней, неглубокой,[6] потому что не сыпались с языка ее ни мудрые сентенции о жизни, о любви, ни быстрые, неожиданные и смелые реплики, ни вычитанные или подслушанные суждения о музыке и литературе: говорила она мало, и то свое, неважное — и ее обходили умные и бойкие «кавалеры»; небойкие, напротив, считали ее слишком мудреной и немного боялись. Один Штольц говорил с ней без умолка и смешил ее.

Любила она музыку, но пела чаще втихомолку, или Штольцу, или какой-нибудь пансионской подруге; а пела она, по словам Штольца, как ни одна певица не поет.

Только что Штольц уселся подле нее, как в комнате раздался ее смех, который был так звучен, так искренен и заразителен, что кто ни послушает этого смеха, непременно засмеется сам, не зная о причине.

Но не все смешил ее Штольц; через полчаса она слушала его с любопытством и с удвоенным любопытством переносила глаза на Обломова, а Обломову от этих взглядов — хоть сквозь землю провалиться.

«Что они такое говорят обо мне?» — думал он, косясь в беспокойстве на них. Он уже хотел уйти, но тетка Ольги подозвала его к столу и посадила подле себя, под перекрестный огонь взглядов всех собеседников.

Он боязливо обернулся к Штольцу — его уже не было, взглянул на Ольгу и встретил устремленный на него все тот же любопытный взгляд.

«Все еще смотрит!» — подумал он, в смущении оглядывая свое платье.

Он даже отер лицо платком, думая, не выпачкан ли у него нос, трогал себя за галстук, не развязался ли: это бывает иногда с ним; нет, все, кажется, в порядке, а она смотрит!

Но человек подал ему чашку чаю и поднос с кренделями. Он хотел подавить в себе смущение, быть развязным и в этой развязности захватил такую кучу сухарей, бисквит, кренделей, что сидевшая с ним рядом девочка засмеялась. Другие поглядывали на кучу с любопытством.

«Боже мой, и она смотрит! — думал Обломов. — Что я с этой кучей сделаю?»

Он, и не глядя, видел, как Ольга встала с своего места и пошла в другой угол. У него отлегло от сердца.

А девочка навострила на него глаза, ожидая, что он сделает с сухарями.

«Съем поскорей», — подумал он и начал проворно убирать бисквиты; к счастью, они так и таяли во рту.

Оставались только два сухаря; он вздохнул свободно и решился взглянуть туда, куда пошла Ольга...

Она стоит у бюста, опершись на пьедестал, и следит за ним. Она ушла из своего угла, кажется, затем, чтоб свободнее смотреть на него: она заметила его неловкость с сухарями.

За ужином она сидела в другом конце стола, говорила, ела и, казалось, вовсе не занималась им. Но едва только Обломов боязливо оборачивался в ее сторону, с надеждой, авось она не смотрит, как встречал ее взгляд, исполненный любопытства, но вместе такой добрый...

Обломов после ужина торопливо стал прощаться с теткой: она пригласила его на другой день обедать и Штольцу просила передать приглашение. Илья Ильич поклонился и, не поднимая глаз, прошел всю залу. Вот сейчас за роялем ширмы и дверь. Он взглянул — за роялем сидела Ольга и смотрела на него с большим любопытством. Ему показалось, что она улыбалась.

«Верно, Андрей рассказал, что на мне были вчера надеты чулки разные или рубашка наизнанку!» — заключил он и поехал домой не в духе и от этого предположения, и еще более от приглашения обедать, на которое отвечал поклоном: значит, принял.

С этой минуты настойчивый взгляд Ольги не выходил из головы Обломова. Напрасно он во весь рост лег на спину, напрасно брал самые ленивые и покойные позы — не спится, да и только. И халат показался ему противен, и Захар глуп и невыносим, и пыль с паутиной нестерпима.

Он велел вынести вон несколько дрянных картин, которые навязал ему какой-то покровитель бедных артистов; сам поправил штору, которая давно не поднималась, позвал Анисью и велел протереть окна, смахнул паутину, а потом лег на бок и продумал с час — об Ольге.

Он сначала пристально занялся ее наружностью, все рисовал в памяти ее портрет.

Ольга в строгом смысле не была красавица, то есть не было ни белизны в ней, ни яркого колорита щек и губ, и глаза не горели лучами внутреннего огня; ни кораллов на губах, ни жемчугу во рту не было, ни миньятюрных рук, как у пятилетнего ребенка, с пальцами в виде винограда.

Но если б ее обратить в статую, она была бы статуя грации и гармонии. Несколько высокому росту строго отвечала величина головы, величине головы — овал и размеры лица; все это в свою очередь гармонировало с плечами, плечи — с станом...

Кто ни встречал ее, даже рассеянный, и тот на мгновение останавливался перед этим так строго и обдуманно, артистически созданным существом.

Нос образовал чуть заметно выпуклую, грациозную линию; губы тонкие и большею частию сжатые: признак непрерывно устремленной на что-нибудь мысли. То же присутствие говорящей мысли светилось в зорком, всегда бодром, ничего не пропускающем взгляде темных, серо-голубых глаз. Брови придавали особенную красоту глазам: они не были дугообразны, не округляли глаз двумя тоненькими, нащипанными пальцем ниточками — нет, это были две русые, пушистые, почти прямые полоски, которые редко лежали симметрично: одна на линию была выше другой, от этого над бровью лежала маленькая складка, в которой как будто что-то говорило, будто там покоилась мысль.

Ходила Ольга с наклоненной немного вперед головой, так стройно, благородно покоившейся на тонкой, гордой шее; двигалась всем телом ровно, шагая легко, почти неуловимо...

«Что это она вчера смотрела так пристально на меня? — думал Обломов. — Андрей божится, что о чулках и о рубашке еще не говорил, а говорил о дружбе своей ко мне, о том, как мы росли, учились, — все, что было хорошего, и между тем (и это рассказал), как несчастлив Обломов, как гибнет все доброе от недостатка участия, деятельности, как слабо мерцает жизнь и как. .»

«Чему ж улыбаться? — продолжал думать Обломов. — Если у ней есть сколько-нибудь сердца, оно должно бы замереть, облиться кровью от жалости, а она... ну, бог с ней! Перестану думать! Вот только съезжу сегодня отобедаю — и ни ногой».

Проходили дни за днями: он там и обеими ногами, и руками, и головой.

В одно прекрасное утро Тарантьев перевез весь его дом к своей куме, в переулок, на Выборгскую сторону, и Обломов дня три провел, как давно не проводил: без постели, без дивана, обедал у Ольгиной тетки.

Вдруг оказалось, что против их дачи есть одна свободная. Обломов нанял ее заочно и живет там. Он с Ольгой с утра до вечера; он читает с ней, посылает цветы, гуляет по озеру, по горам. он, Обломов.

Чего не бывает на свете! Как же это могло случиться? А вот как.

Когда они обедали со Штольцем у ее тетки, Обломов во время обеда испытывал ту же пытку, что и накануне, жевал под ее взглядом, говорил, зная, чувствуя, что над ним, как солнце, стоит этот взгляд, жжет его, тревожит, шевелит нервы, кровь. Едва-едва на балконе, за сигарой, за дымом, удалось ему на мгновение скрыться от этого безмолвного, настойчивого взгляда.

— Что это такое? — говорил он, ворочаясь во все стороны. — Ведь это мученье! На смех, что ли, я дался ей? На другого ни на кого не смотрит так: не смеет. Я посмирнее, так вот она... Я заговорю с ней! — решил он, — и выскажу лучше сам словами то, что она так и тянет у меня из души глазами.

Вдруг она явилась перед ним на пороге балкона; он подал ей стул, и она села подле него.

— Правда ли, что вы очень скучаете? — спросила она его.

— Правда, — отвечал он, — но только не очень. У меня есть занятия.

— Андрей Иваныч говорил, что вы пишете какой-то план?

— Да, я хочу ехать в деревню пожить, так приготовляюсь понемногу.

— А за границу поедете?

— Да непременно, вот как только Андрей Иваныч соберется.

— Вы охотно едете? — спросила она.

— Очень охотно. .

Он взглянул: улыбка так и ползает у ней по лицу, то осветит глаза, то разольется по щекам, только губы сжаты, как всегда. У него недостало духа солгать покойно.

— Я немного ленив. — сказал он, — но.

Ему стало вместе и досадно, что она так легко, почти молча, выманила у него сознание в лени. «Что она мне? Боюсь, что ли, я ее?» — думал он.

— Ленивы! — возразила она с едва приметным лукавством. — Может ли это быть? Мужчина ленив — я этого не понимаю.

«Чего тут не понимать? — думал он, — кажется, просто». — Я все больше дома сижу, оттого Андрей и думает, что я.

— Но, вероятно, вы много пишете, — сказала она, — читаете. — Читали ли вы?

Она смотрела на него так пристально.

— Нет, не читал! — вдруг сорвалось у него в испуге, чтоб она не вздумала его экзаменовать.

— Чего? — засмеявшись, спросила она. И он засмеялся. .

— Я думал, что вы хотите спросить меня о каком-нибудь романе: я их не читаю.

— Не угадали; я хотела спросить о путешествиях...

Он зорко поглядел на нее: у ней все лицо смеялось, а губы нет...

«О! да она. с ней надо быть осторожным...» — думал Обломов.

— Что же вы читаете? — с любопытством спросила она.

— Я, точно, люблю больше путешествия.

— В Африку? — лукаво и тихо спросила она.

Он покраснел, догадываясь, не без основания, что ей было известно не только о том, что он читает, но и как читает.

— Вы музыкант? — спросила она, чтоб вывести его из смущения. В это время подошел Штольц.

— Илья! Вот я сказал Ольге Сергевне, что ты страстно любишь музыку, просил спеть что-нибудь... Casta diva.

— Зачем же ты наговариваешь на меня? — отвечал Обломов. — Я вовсе не страстно люблю музыку...

— Каков? — перебил Штольц. — Он как будто обиделся! Я рекомендую его как порядочного человека, а он спешит разочаровать на свой счет!

— Я уклоняюсь только от роли любителя: это сомнительная, да и трудная роль!

— Какая же музыка вам больше нравится? — спросила Ольга.

— Трудно отвечать на этот вопрос! всякая! Иногда я с удовольствием слушаю сиплую шарманку, какой-нибудь мотив, который заронился мне в память, в другой раз уйду на половине оперы; там Мейербер зашевелит меня; даже песня с барки: смотря по настроению! Иногда и от Моцарта уши зажмешь...

— Значит, вы истинно любите музыку.

— Спойте же что-нибудь, Ольга Сергевна, — просил Штольц.

— А если мсьё Обломов теперь в таком настроении, что уши зажмет? — сказала она, обращаясь к нему.

— Тут следует сказать какой-нибудь комплимент, — отвечал Обломов. — Я не умею, да если б и умел, так не решился бы.

— Отчего же?

— А если вы дурно поете! — наивно заметил он. — Мне бы потом стало неловко...

— Как вчера с сухарями. — вдруг вырвалось у ней, и она сама покраснела и бог знает что дала бы, чтоб не сказать этого. — Простите — виновата! — сказала она.

Обломов никак не ожидал этого и потерялся.

— Это злое предательство! — сказал он вполголоса.

— Нет, разве маленькое мщение, и то, ей-богу, неумышленное, за то, что у вас не нашлось даже комплимента для меня.

— Может быть, найду, когда услышу.

— А вы хотите, чтоб я спела? — спросила она.

— Нет, это он хочет, — отвечал Обломов, указывая на Штольца.

— А вы?

Обломов покачал отрицательно головой.

— Я не могу хотеть, чего не знаю.

— Ты грубиян, Илья! — заметил Штольц. — Вот что значит залежаться дома и надевать чулки...

— Помилуй, Андрей, — живо перебил Обломов, не давая ему договорить, — мне ничего не стоит сказать: «Ах! я очень рад, буду счастлив, вы, конечно, отлично поете... — продолжал он, обратясь к Ольге, — это мне доставит» и т. д. Да разве это нужно?

— Но вы могли пожелать по крайней мере, чтоб я спела... хоть из любопытства.

— Не смею, вы не актриса...

— Ну, я вам спою, — сказала она Штольцу.

— Илья, готовь комплимент.

Между тем наступил вечер. Засветили лампу, которая, как луна, сквозила в трельяже с плющом. Сумрак скрыл очертания лица и фигуры Ольги и набросил на нее как будто флёровое покрывало; лицо было в тени: слышался только мягкий, но сильный голос, с нервной дрожью чувства.

Она пела много арий и романсов, по указанию Штольца; в одних выражалось страдание с неясным предчувствием счастья, в других радость, но в звуках этих таился уже зародыш грусти.

От слов, от звуков, от этого чистого, сильного девического голоса билось сердце, дрожали нервы, глаза искрились и заплывали слезами. В один и тот же момент хотелось умереть, не пробуждаться от звуков, и сейчас же опять сердце жаждало жизни...

Обломов вспыхивал, изнемогал, с трудом сдерживал слезы, и еще труднее было душить ему радостный, готовый вырваться из души крик. Давно не чувствовал он такой бодрости, такой силы, которая, казалось, вся поднялась со дна души, готовая на подвиг.

Он в эту минуту уехал бы даже за границу, если б ему оставалось только сесть и поехать.

В заключение она запела Casta diva: все восторги, молнией несущиеся мысли в голове, трепет, как иглы, пробегающий по телу, — все это уничтожило Обломова: он изнемог.

— Довольны вы мной сегодня? — вдруг спросила Ольга Штольца, перестав петь.

— Спросите Обломова, что он скажет? — сказал Штольц.

— Ах! — вырвалось у Обломова.

Он вдруг схватил было Ольгу за руку и тотчас же оставил и сильно смутился.

— Извините... — пробормотал он.

— Слышите? — сказал ей Штольц. — Скажи по совести, Илья: как давно с тобой не случалось этого?

— Это могло случиться сегодня утром, если мимо окон проходила сиплая шарманка... — вмешалась Ольга с добротой, так мягко, что вынула жало из сарказма.

Он с упреком взглянул на нее.

— У него окна по сю пору не выставлены: не слыхать, что делается наруже, — прибавил Штольц.

Обломов с упреком взглянул на Штольца.

Штольц взял руку Ольги...

— Не знаю, чему приписать, что вы сегодня пели, как никогда не пели, Ольга Сергевна, по крайней мере я давно не слыхал. Вот мой комплимент! — сказал он, целуя каждый палец у нее.

Штольц уехал. Обломов тоже собрался, но Штольц и Ольга удержали его.

— У меня дело есть, — заметил Штольц, — а ты ведь пойдешь лежать... еще рано...

— Андрей! Андрей! — с мольбой в голосе проговорил Обломов. — Нет, я не могу остаться сегодня, я уеду! — прибавил он и уехал.

Он не спал всю ночь: грустный, задумчивый проходил он взад и вперед по комнате; на заре ушел из дома, ходил по Неве, по улицам, бог знает что чувствуя, о чем думая...

Чрез три дня он опять был там и вечером, когда прочие гости уселись за карты, очутился у рояля, вдвоем с Ольгой. У тетки разболелась голова; она сидела в кабинете и нюхала спирт.

— Хотите, я вам покажу коллекцию рисунков, которую Андрей Иваныч привез мне из Одессы? — спросила Ольга. — Он вам не показывал?

— Вы, кажется, стараетесь по обязанности хозяйки занять меня? — спросил Обломов. — Напрасно!

— Отчего напрасно? Я хочу, чтоб вам не было скучно, чтоб вы были здесь как дома, чтоб вам было ловко, свободно, легко и чтоб вы не уехали... лежать.

«Она — злое, насмешливое создание!» — подумал Обломов, любуясь против воли каждым ее движением.

— Вы хотите, чтоб мне было легко, свободно и не было скучно? — повторил он.

— Да, — отвечала она, глядя на него по-вчерашнему, но еще с большим выражением любопытства и доброты.

— Для этого, во-первых, не глядите на меня так, как теперь и как глядели намедни...

Любопытство в ее глазах удвоилось.

— Вот именно от этого взгляда мне становится очень неловко... Где моя шляпа?

— Отчего же неловко? — мягко спросила она, и взгляд ее потерял выражение любопытства. Он стал только добр и ласков.

— Не знаю; только мне кажется, вы этим взглядом добываете из меня все то, что не хочется, чтобы знали другие, особенно вы...

— Отчего же? Вы друг Андрея Иваныча, а он друг мне, следовательно...

— Следовательно, нет причины, чтоб вы знали про меня все, что знает Андрей Иваныч, — договорил он.

— Причины нет, а есть возможность...

— Благодаря откровенности моего друга — плохая услуга с его стороны!..

— Разве у вас есть тайны? — спросила она. — Может быть, преступления? — прибавила она, смеясь и отодвигаясь от него.

— Может быть, — вздохнув, отвечал он.

— Да, это важное преступление, — сказала она робко и тихо, — надевать разные чулки.

Обломов схватил шляпу.

— Нет сил! — сказал он. — И вы хотите, чтоб мне было ловко! Я разлюблю Андрея... Он и это сказал вам?

— Он сегодня ужасно рассмешил меня этим, — прибавила Ольга, — он все смешит. Простите, не буду, не буду, и глядеть постараюсь на вас иначе.

Она сделала лукаво-серьезную мину.

— Все это еще во-первых, — продолжала она, — ну, я не гляжу повчерашнему, стало быть, вам теперь свободно, легко. Следует: во-вторых, что надо сделать, чтоб вы не соскучились?

Он глядел прямо в ее серо-голубые, ласковые глаза.

— Вот вы сами смотрите на меня теперь как-то странно.. — сказала она.

Он в самом деле смотрел на нее как будто не глазами, а мыслью, всей своей волей, как магнетизер,[7] но смотрел невольно, не имея силы не смотреть.

«Боже мой, какая она хорошенькая! Бывают же такие на свете! — думал он, глядя на нее почти испуганными глазами. — Эта белизна, эти глаза, где, как в пучине, темно и вместе блестит что-то, душа, должно быть! Улыбку можно читать, как книгу; за улыбкой эти зубы и вся эта голова... как она нежно покоится на плечах, точно зыблется, как цветок, дышит ароматом...»

«Да, я что-то добываю из нее, — думал он, — из нее что-то переходит в меня. У сердца, вот здесь, начинает кипеть и биться... Тут я чувствую что-то лишнее, чего, кажется, не было. Боже мой, какое счастье смотреть на нее! Даже дышать тяжело».

У него вихрем неслись эти мысли, и он все смотрел на нее, как смотрят в бесконечную даль, в бездонную пропасть, с самозабвением, с негой.

— Да полноте, мсьё Обломов, теперь как вы сами смотрите на меня! — говорила она, застенчиво отворачивая голову, но любопытство превозмогало, и она не сводила глаз с его лица.

Он не слышал ничего.

Он в самом деле все глядел и не слыхал ее слов и молча поверял, что в нем делается; дотронулся до головы — там тоже что-то волнуется, несется с быстротой. Он не успевает ловить мыслей: точно стая птиц, порхнули они, а у сердца, в левом боку, как будто болит.

— Не смотрите же на меня так странно, — сказала она, — мне тоже неловко. И вы, верно, хотите добыть что-нибудь из моей души...

— Что я могу добыть у вас? — машинально спросил он.

— У меня тоже есть *планы*, начатые и неконченные, — отвечала она.

Он очнулся от этого намека на его неконченный план.

— Странно! — заметил он. — Вы злы, а взгляд у вас добрый. Недаром говорят, что женщинам верить нельзя: они лгут и с умыслом —

языком, и без умысла — взглядом, улыбкой, румянцем, даже обмороками...

Она не дала усилиться впечатлению, тихо взяла у него шляпу и сама села на стул.

— Не стану, не стану, — живо повторила она. — Ах! простите, несносный язык! Но, ей-богу, это не насмешка! — почти пропела она, и в пении этой фразы задрожало чувство.

Обломов успокоился.

— Этот Андрей! — с упреком произнес он.

— Ну, во-вторых, скажите же, что делать, чтоб вы не соскучились? — спросила она.

— Спойте! — сказал он.

— Вот он, комплимент, которого я ждала! — радостно вспыхнув, перебила она. — Знаете ли, — с живостью продолжала потом, — если б вы не сказали третьего дня этого «ах» после моего пения, я бы, кажется, не уснула ночь, может быть плакала бы.

— Отчего? — с удивлением спросил Обломов.

Она задумалась.

— Сама не знаю, — сказала потом.

— Вы самолюбивы; это оттого.

— Да, конечно, оттого, — говорила она, задумываясь и перебирая одной рукой клавиши, — но ведь самолюбие везде есть, и много. Андрей Иваныч говорит, что это почти единственный двигатель, который управляет волей. Вот у вас, должно быть, нет его, оттого вы всё...

Она не договорила.

— Что? — спросил он.

— Нет, так, ничего, — замяла она. — Я люблю Андрея Иваныча, — продолжала она, — не за то только, что он смешит меня, иногда он говорит — я плачу, и не за то, что он любит меня, а, кажется, за то... что он любит меня больше других: видите, куда вкралось самолюбие!

— Вы любите Андрея? — спросил ее Обломов и погрузил напряженный, испытующий взгляд в ее глаза.

— Да, конечно, если он любит меня больше других, я его и подавно, — отвечала она серьезно.

Обломов глядел на нее молча; она ответила ему простым, молчаливым взглядом.

— Он любит Анну Васильевну тоже, и Зинаиду Михайловну, да все не так, — продолжала она, — он с ними не станет сидеть два часа, не смешит их и не рассказывает ничего от души; он говорит о делах, о театре, о новостях, а со мной он говорит, как с сестрой... нет, как с дочерью, — поспешно прибавила она, — иногда даже бранит, если я не пойму чего-нибудь вдруг или не послушаюсь, не соглашусь с ним. А их не бранит, и я, кажется, за это еще больше люблю его. Самолюбие! — прибавила она задумчиво, — но я не знаю, как оно сюда попало, в мое пение? Про него давно говорят мне много хорошего, а вы не хотели даже слушать меня, вас почти насильно заставили. И если б вы после этого ушли, не сказав мне ни слова, если б на лице у вас

я не заметила ничего... я бы, кажется, захворала... да, точно, это самолюбие! — решительно заключила она.

— А вы разве заметили у меня что-нибудь на лице? — спросил он.

— Слезы, хотя вы и скрывали их; это дурная черта у мужчин — стыдиться своего сердца. Это тоже самолюбие, только фальшивое. Лучше бы они постыдились иногда своего ума: он чаще ошибается. Даже Андрей Иваныч, и тот стыдлив сердцем. Я это ему говорила, и он согласился со мной. А вы?

— В чем не согласишься, глядя на вас! — сказал он.

— Еще комплимент! Да какой...

Она затруднилась в слове.

— Пошлый! — договорил Обломов, не спуская с нее глаз.

Она улыбкой подтвердила значение слова.

— Вот я этого и боялся, когда не хотел просить вас петь... Что скажешь, слушая в первый раз? А сказать надо. Трудно быть умным и искренним в одно время, особенно в чувстве, под влиянием такого впечатления, как тогда...

— А я в самом деле пела тогда, как давно не пела, даже, кажется, никогда... Не просите меня петь, я не спою уж больше так... Постойте, еще одно спою... — сказала она, и в ту же минуту лицо ее будто вспыхнуло, глаза загорелись, она опустилась на стул, сильно взяла два-три аккорда и запела.

Боже мой, что слышалось в этом пении! Надежды, неясная боязнь гроз, самые грозы, порывы счастия — все звучало, не в песне, а в ее голосе.

Долго пела она, по временам оглядываясь к нему, детски спрашивая: «Довольно? Нет, вот еще это», — и пела опять.

Щеки и уши рдели у нее от волнения; иногда на свежем лице ее вдруг сверкала игра сердечных молний, вспыхивал луч такой зрелой страсти, как будто она сердцем переживала далекую будущую пору жизни, и вдруг опять потухал этот мгновенный луч, опять голос звучал свежо и серебристо.

И в Обломове играла такая же жизнь; ему казалось, что он живет и чувствует все это — не час, не два, а целые годы...

Оба они, снаружи неподвижные, разрывались внутренним огнем, дрожали одинаким трепетом; в глазах стояли слезы, вызванные одинаким настроением. Все это симптомы тех страстей, которые должны, по-видимому, заиграть некогда в ее молодой душе, теперь еще подвластной только временным, летучим намекам и вспышкам спящих сил жизни.

Она кончила долгим певучим аккордом, и голос ее пропал в нем. Она вдруг остановилась, усталая, положила руки на колени, и, сама растроганная, взволнованная, поглядела на Обломова: что он?

У него на лице сияла заря пробужденного, со дна души восставшего счастья; наполненный слезами взгляд устремлен был на нее.

Теперь она невольно взяла его за руку.

— Что с вами? — спросила она. — Какое у вас лицо! Отчего?

Но она знала, отчего у него такое лицо, и внутренно скромно торжествовала, любуясь этим выражением своей силы.

— Посмотритесь в зеркало, — продолжала она, с улыбкой указывая ему его же лицо в зеркале, — глаза блестят, боже мой, слезы в них! Как глубоко вы чувствуете музыку!..

— Нет, я чувствую... не музыку... а... любовь! — тихо сказал Обломов.

Она мгновенно оставила его руку и изменилась в лице. Ее взгляд встретился с его взглядом, устремленным на нее: взгляд этот был неподвижный, почти безумный; им глядел не Обломов, а страсть.

Ольга поняла, что у него слово вырвалось, что́ он не властен в нем и что оно — истина.

Он опомнился, взял шляпу и, не оглядываясь, выбежал из комнаты. Она уже не провожала его любопытным взглядом, долго, не шевелясь, стояла у фортепьяно, как статуя, и упорно глядела вниз; только усиленно поднималась и опускалась грудь...

VI

Обломову, среди ленивого лежанья в ленивых позах, среди тупой дремоты и среди вдохновенных порывов, на первом плане всегда грезилась женщина как жена и никогда — как любовница.

В мечтах пред ним носился образ высокой, стройной женщины, с покойно сложенными на груди руками, с тихим, но гордым взглядом, небрежно сидящей среди плющей в боскете,[1] легко ступающей по ковру, по песку аллеи, с колеблющейся талией, с грациозно положенной на плечи головой, с задумчивым выражением — как идеал, как воплощение целой жизни, исполненной неги и торжественного покоя, как сам покой.

Снилась она ему сначала вся в цветах, у алтаря, с длинным покрывалом, потом у изголовья супружеского ложа, с стыдливо опущенными глазами, наконец — матерью, среди группы детей.

Грезилась ему на губах ее улыбка, не страстная, глаза, не влажные от желаний, а улыбка, симпатичная к нему, к мужу, и снисходительная ко всем другим; взгляд, благосклонный только к нему и стыдливый, даже строгий, к другим.

Он никогда не хотел видеть трепета в ней, слышать горячей мечты, внезапных слез, томления, изнеможения и потом бешеного перехода к радости. Не надо ни луны, ни грусти. Она не должна внезапно бледнеть, падать в обморок, испытывать потрясающие взрывы...

«У таких женщин любовники есть, — говорил он, — да и хлопот много: доктора, воды и пропасть разных причуд. Уснуть нельзя покойно!»

А подле гордо-стыдливой, покойной подруги спит беззаботно человек. Он засыпает с уверенностию, проснувшись, встретить тот же кроткий, симпатичный взгляд. И чрез двадцать, тридцать лет на свой теплый взгляд он встретил бы в глазах ее тот же кроткий, тихо мерцающий луч симпатии. И так до гробовой доски!

«Да не это ли — тайная цель всякого и всякой: найти в своем друге неизменную физиономию покоя, вечное и ровное течение чувства? Ведь это норма любви, и чуть что отступает от нее, изменяется, охлаждается — мы страдаем: стало быть, мой идеал — общий идеал? — думал он. — Не есть ли это венец выработанности, выяснения взаимных отношений обоих полов?»

Давать страсти законный исход, указать порядок течения, как реке, для блага целого края, — это общечеловеческая задача, это вершина прогресса, на которую лезут все эти передовые люди, да сбиваются в сторону. За решением ее ведь уже нет ни измен, ни охлаждений, а вечно ровное биение покойно-счастливого сердца, следовательно, вечно наполненная жизнь, вечный сок жизни, вечное нравственное здоровье.

Есть примеры такого блага, но редкие: на них указывают, как на феномен. Родиться, говорят, надо для этого. А бог знает, не воспитаться ли, не идти ли к этому сознательно?

Страсть! все это хорошо в стихах да на сцене, где, в плащах, с ножами, расхаживают актеры, а потом идут, и убитые, и убийцы, вместе ужинать. . .

Хорошо, если б и страсти так кончались, а то после остаются дым, смрад, а счастья нет! Воспоминания — один только стыд и рвание волос.

Наконец, если и постигнет такое несчастие — страсть, так это все равно, как случается попасть на избитую, гористую, несносную дорогу, по которой и лошади падают и седок изнемогает, а уж родное село в виду: не надо выпускать его из глаз и скорей, скорей выбираться из опасного места.

Да, страсть надо ограничить, задушить и утопить в женитьбе.

Он с ужасом побежал бы от женщины, если она вдруг прожжет его глазами или сама застонет, упадет к нему на плечо с закрытыми глазами, потом очнется и обовьет руками шею до удушья. Это фейерверк, взрыв бочонка с порохом; а потом что? Оглушение, ослепление и опаленные волосы!

Но посмотрим, что за женщина Ольга!

Долго после того, как у него вырвалось признание, не видались они наедине. Он прятался, как школьник, лишь только завидит Ольгу. Она переменилась с ним, но не бегала, не была холодна, а стала только задумчивее.

Ей, казалось, было жаль, что случилось что-то такое, что помешало ей мучить Обломова устремленным на него любопытным взглядом и добродушно уязвлять его насмешками над лежаньем, над ленью, над его неловкостью.

В ней разыгрался комизм, но это был комизм матери, которая не может не улыбнуться, глядя на смешной наряд сына. Штольц уехал, и ей скучно было, что некому петь; рояль ее был закрыт — словом, на них обоих легло принуждение, оковы, обоим было неловко.

А как было пошло хорошо! Как просто познакомились они! Как свободно сошлись! Обломов был проще Штольца и добрее его, хотя не смешил ее так, или смешил собой и так легко прощал насмешки.

Потом еще Штольц, уезжая, завещал Обломова ей, просил приглядывать за ним, мешать ему сидеть дома. У ней, в умненькой, хорошенькой головке, развился уже подробный план, как она отучит Обломова спать после обеда, да не только спать, — она не позволит ему даже прилечь на диване днем: возьмет с него слово.

Она мечтала, как «прикажет» ему прочесть книги, которые оставил Штольц, потом читать каждый день газеты и рассказывать ей новости, писать в деревню письма, дописывать план устройства имения, приготовиться ехать за границу, — словом, он не задремлет у нее; она укажет ему цель, заставит полюбить опять все, что он разлюбил, и Штольц не узнает его, воротясь.

И все это чудо сделает она, такая робкая, молчаливая, которой до сих пор никто не слушался, которая еще не начинала жить! Она — виновница такого превращения!

Уж оно началось: только лишь она запела, Обломов — не тот...

Он будет жить, действовать, благословлять жизнь и ее. Возвратить человека к жизни — сколько славы доктору, когда он спасает безнадежного больного! А спасти нравственно погибающий ум, душу?

Она даже вздрагивала от гордого, радостного трепета; считала это уроком, назначенным свыше. Она мысленно сделала его своим секретарем, библиотекарем.

И вдруг все это должно кончиться! Она не знала, как поступить ей, и оттого молчала, когда встречалась с Обломовым.

Обломов мучился тем, что он испугал, оскорбил ее, и ждал молниеносных взглядов, холодной строгости, дрожал, завидя ее, сворачивал в сторону.

Между тем уж он переехал на дачу и дня три пускался все один по кочкам, через болото, в лес или уходил в деревню и праздно сидел у крестьянских ворот, глядя, как бегают ребятишки, телята, как утки полощутся в пруде.

Около дачи было озеро, огромный парк: он боялся идти туда, чтоб не встретить Ольгу одну.

«Дернуло меня, брякнул!» — думал он и даже не спрашивал себя, в самом ли деле у него вырвалась истина, или это только было мгновенным действием музыки на нервы.

Чувство неловкости, стыда, или «срама», как он выражался, который он наделал, мешало ему разобрать, что это за порыв был; и вообще, что такое для него Ольга? Уж он не анализировал, что прибавилось у него к сердцу лишнее, какой-то комок, которого прежде не было. В нем все чувства свернулись в один ком — стыда.

Когда же минутно являлась она в его воображении, там возникал и тот образ, тот идеал воплощенного покоя, счастья жизни; этот идеал точь-в-точь был — Ольга! Оба образа сходились, сходились и сливались в один.

«Ах, что я наделал! — говорил он. — Все сгубил! Слава богу, что Штольц уехал: она не успела сказать ему, а то бы хоть сквозь землю провалиться! Любовь, слезы — к лицу ли это мне? И тетка Ольги не шлет, не зовет к себе: верно, она сказала... Боже мой!..»

Так думал он, забираясь подальше в парк, в боковую аллею.

Ольга затруднялась только тем, как она встретится с ним, как пройдет это событие: молчанием ли, как будто ничего не было, или надо сказать ему что-нибудь?

А что сказать? Сделать суровую мину, посмотреть на него гордо или даже вовсе не посмотреть, а надменно и сухо заметить, что она «никак не ожидала от него такого поступка: за кого он ее считает, что позволил себе такую дерзость? . .». Так Сонечка в мазурке отвечала какому-то корнету, хотя сама из всех сил хлопотала, чтоб вскружить ему голову.

«Да что же тут дерзкого? — спросила она себя. — Ну, если он в самом деле чувствует, почему же не сказать? . . Однако как же это, вдруг, едва познакомился. . . Этого никто другой ни за что не сказал бы, увидя во второй, в третий раз женщину; да никто и не почувствовал бы так скоро любви. Это только Обломов мог. . .»

Но она вспомнила, что она слышала и читала, как любовь приходит иногда внезапно.

«И у него был порыв, увлечение; теперь он глаз не кажет: ему стыдно; стало быть, это не дерзость. А кто виноват? — подумала еще. — Андрей Иваныч, конечно, потому что заставил ее петь».

Но Обломов сначала слушать не хотел — ей было досадно, и она. . . старалась. . . (Она сильно покраснела) да, всеми силами старалась расшевелить его.

Штольц сказал про него, что он апатичен, что ничто его не занимает, что все угасло в нем. . . Вот ей и захотелось посмотреть, все ли угасло, и она пела, пела. . . как никогда. . .

«Боже мой! да ведь я виновата: я попрошу у него прощения. А в чем? — спросила потом. — Что я скажу ему: мсьё Обломов, я виновата, я завлекала. . . Какой стыд! Это неправда! — сказала она, вспыхнув и топнув ногой. — Кто смеет это подумать? Разве я знала, что выйдет? А если б этого не было, если б не вырвалось у него. . что тогда? . — спросила она. — Не знаю. .» — думала.

У ней с того дня как-то странно на сердце. . . должно быть, ей очень обидно. . . даже в жар кидает, на щеках рдеют два розовые пятнышка.

«Раздражение. . . маленькая лихорадка», — говорил доктор.

«Что наделал этот Обломов! О, ему надо дать урок, чтоб этого вперед не было! Попрошу ma tante * отказать ему от дома: он не должен забываться. . . Как он смел!» — думала она, идя по парку; глаза ее горели. . .

Вдруг кто-то идет, слышит она.

«Идет кто-то. . .» — подумал Обломов.

И сошлись лицом к лицу.

— Ольга Сергевна! — сказал он, трясясь, как осиновый лист.

— Илья Ильич! — отвечала она робко, и оба остановились.

— Здравствуйте, — сказал он.

* тетушку (*франц.*).

— Здравствуйте, — повторила она.

— Вы куда идете? — спросил он.

— Так... — сказала она, не поднимая глаз.

— Я вам мешаю?

— О, ничуть.. — отвечала она, взглянув на него быстро и с любопытством.

— Можно мне с вами? — спросил он вдруг, кинув на нее пытливый взгляд.

Они молча шли по дорожке. Ни от линейки учителя, ни от бровей директора никогда в жизни не стучало так сердце Обломова, как теперь. Он хотел что-то сказать, пересиливал себя, но слова с языка не шли; только сердце билось неимоверно, как перед бедой.

— Не получили вы письма от Андрея Иваныча? — спросила она.

— Получил.

— Что он пишет?

— Зовет в Париж.

— Что ж вы?

— Поеду.

— Когда?

— Ужо... нет, завтра... как сберусь.

— Отчего так скоро? — спросила она.

Он молчал.

— Вам дача не нравится, или. скажите, отчего вы хотите уехать?

«Дерзкий! он еще ехать хочет!» — подумала она.

— Мне отчего-то больно, неловко, жжет меня, — прошептал Обломов, не глядя на нее.

Она молчала. Потом сорвала ветку сирени и нюхала ее, закрыв лицо и нос.

— Понюхайте, как хорошо пахнет! — сказала она и закрыла нос и ему.

— А вот ландыши! Постойте, я нарву, — говорил он, нагибаясь к траве, — те лучше пахнут: полями, рощей; природы больше. А сирень все около домов растет, ветки так и лезут в окна, запах приторный. Вон еще роса на ландышах не высохла.

Он поднес ей несколько ландышей.

— А резеду вы любите? — спросила она.

— Нет; сильно очень пахнет; ни резеды, ни роз не люблю. Да я вообще не люблю цветов; в поле еще так, а в комнате — сколько возни с ними... сор...

— А вы любите, чтоб в комнатах чисто было? — спросила она, лукаво поглядывая на него. — Не терпите сору?

— Да; но у меня человек такой. — бормотал он. «О, злая!» — прибавил про себя.

— Вы прямо в Париж поедете? — спросила она.

— Да; Штольц давно ждет меня.

— Отвезите письмо к нему; я напишу.

— Так дайте сегодня; я завтра в город перееду.

— Завтра? — спросила она. — Отчего так скоро? Вас как будто гонит кто-нибудь.

— И так гонит...

— Кто же?

— Стыд... — прошептал он.

— Стыд! — повторила она машинально. «Вот теперь скажу ему: мсьё Обломов, я никак не ожидала...»

— Да, Ольга Сергевна, — наконец пересилил он себя, — вы, я думаю, удивляетесь... сердитесь...

«Ну, пора... вот настоящая минута. — Сердце так и стучало у ней. — Не могу, боже мой!»

Он старался заглянуть ей в лицо, узнать, что она; но она нюхала ландыши и сирени и не знала сама, что она. что ей сказать, что сделать.

«Ах, Сонечка сейчас бы что-нибудь выдумала, а я такая глупая! ничего не умею...» — мучительно думала она.

— Я совсем забыла... — сказала она.

— Поверьте мне, это было невольно... я не мог удержаться. — заговорил он, понемногу вооружаясь смелостью. — Если б гром загремел тогда, камень упал бы надо мной, я бы все-таки сказал. Этого никакими силами удержать было нельзя... Ради бога, не подумайте, чтоб я хотел... Я сам чрез минуту бог знает что дал бы, чтоб воротить неосторожное слово...

Она шла, потупя голову и нюхая цветы.

— Забудьте же это, — продолжал он, — забудьте, тем более, что это неправда...

— Неправда? — вдруг повторила она, выпрямившись, и выронила цветы.

Глаза ее раскрылись широко и блеснули изумлением...

— Как неправда? — повторила она еще.

— Да, ради бога, не сердитесь и забудьте. Уверяю вас, это только минутное увлечение. от музыки.

— Только от музыки!

Она изменилась в лице: пропали два розовые пятнышка, и глаза потускли.

«Вот ничего и нет! Вот он взял назад неосторожное слово, и сердиться не нужно! Вот и хорошо... теперь покойно... Можно по-прежнему говорить, шутить...» — думала она и сильно рванула мимоходом ветку с дерева, оторвала губами один листок и потом тотчас же бросила и ветку и листок на дорожку.

— Вы не сердитесь? Забыли? — говорил Обломов, наклоняясь к ней.

— Да что такое? О чем вы просите? — с волнением, почти с досадой отвечала она, отворачиваясь от него. — Я все забыла... я такая беспамятная!

Он замолчал и не знал, что делать. Он видел только внезапную досаду и не видал причины.

«Боже мой! — думала она. — Вот все пришло в порядок; этой сцены

как не бывало, слава богу! Что ж... Ах, боже мой! Что ж это такое? Ах, Сонечка, Сонечка! Какая ты счастливая!»

— Я домой пойду, — вдруг сказала она, ускоряя шаги и поворачивая в другую аллею.

У ней в горле стояли слезы. Она боялась заплакать.

— Не туда, здесь ближе, — заметил Обломов. «Дурак, — сказал он сам себе уныло, — нужно было объясняться! Теперь пуще разобидел. Не надо было напоминать: оно бы так и прошло, само бы забылось. Нечего делать, надо выпросить прощение».

«Мне, должно быть, оттого стало досадно, — думала она, — что я не успела сказать ему: мсьё Обломов, я никак не ожидала, чтоб вы позволили себе... Он предупредил меня... „Неправда!“ скажите, пожалуйста, он еще лгал! Да как он смел?»

— Точно ли вы забыли? — спросил он тихо.

— Забыла, все забыла! — скоро проговорила она, торопясь идти домой.

— Дайте руку, в знак, что вы не сердитесь.

Она, не глядя на него, подала ему концы пальцев и, едва он коснулся их, тотчас же отдернула руку назад.

— Нет, вы сердитесь! — сказал он со вздохом. — Как уверить мне вас, что это было увлечение, что я не позволил бы себе забыться? Нет, кончено, не стану больше слушать вашего пения..

— Никак не уверяйте: не надо мне ваших уверений, — с живостью сказала она. — Я и сама не стану петь!

— Хорошо, я замолчу, — только, ради бога, не уходите так, а то у меня на душе останется такой камень...

Она пошла тише и стала напряженно прислушиваться к его словам.

— Если правда, что вы заплакали бы, не услыхав, как я ахнул от вашего пения, то теперь, если вы так уйдете, не улыбнетесь, не подадите руки дружески, я... пожалейте, Ольга Сергевна! Я буду нездоров, у меня колени дрожат, я насилу стою...

— Отчего? — вдруг спросила она, взглянув на него.

— И сам не знаю, — сказал он, — стыд у меня прошел теперь: мне не стыдно от моего слова... мне кажется, в нем...

Опять у него мурашки поползли по сердцу; опять что-то лишнее оказалось там; опять ее ласковый и любопытный взгляд стал жечь его. Она так грациозно оборотилась к нему, с таким беспокойством ждала ответа.

— Что в нем? — нетерпеливо спросила она.

— Нет, боюсь сказать: вы опять рассердитесь.

— Говорите! — сказала она повелительно.

Он молчал.

— Ну?

— Мне опять плакать хочется, глядя на вас. Видите, у меня нет самолюбия, я не стыжусь сердца...

— Отчего же плакать? — спросила она мягко, и на щеках появились два розовые пятна.

— Мне все слышится ваш голос... я опять чувствую...

— Что? — сказала она, и слезы отхлынули от груди; она ждала напряженно.

Они подошли к крыльцу.

— Чувствую... — торопился досказать Обломов и останавливался.

Она медленно, как будто с трудом, всходила по ступеням.

— Ту же музыку... то же... волнение... то же... чув... простите, простите — ей-богу, не могу сладить с собой...

— M-r Обломов... — строго начала она, потом вдруг лицо ее озарилось лучом улыбки, — я не сержусь, прощаю, — прибавила она кротко, — только вперед...

Она, не оборачиваясь, протянула ему назад руку; он схватил ее, поцеловал в ладонь; она тихо сжала его губы и мгновенно порхнула в стеклянную дверь, а он остался как вкопанный.

VII

Долго он глядел ей вслед большими глазами, с разинутым ртом, долго поводил взглядом по куста́м...

Прошли чужие, пролетела птица. Баба мимоходом спросила, не надо ли ему ягод, — столбняк продолжался.

Он опять пошел тихонько по той же аллее и до половины ее дошел тихо, набрел на ландыши, которые уронила Ольга, на ветку сирени, которую она сорвала и с досадой бросила.

«Отчего это она?» — стал он соображать, припоминать...

— Дурак, дурак! — вдруг вслух сказал он, хватая ландыши, ветку, и почти бегом бросился по аллее. — Я прощенья просил, а она... ах, ужели? Какая мысль!

Счастливый, сияющий, точно «с месяцем во лбу»,[1] по выражению няньки, пришел он домой, сел в угол дивана и быстро начертал по пыли на столе крупными буквами: «Ольга».

«Ах, какая пыль! — очнувшись от восторга, заметил он. — Захар! Захар!» — долго кричал он, потому что Захар сидел у ворот, обращенных в переулок, с кучерами.

«Поди ты! — грозным шепотом говорила Анисья, дергая его за рукав. — Барин давно зовет тебя».

— Посмотри, Захар, что это такое? — сказал Илья Ильич, но мягко, с добротой: он сердиться был не в состоянии теперь. — Ты и здесь хочешь такой же беспорядок завести: пыль, паутину? Нет, извини, я не позволю! И так Ольга Сергевна мне проходу не дает: «Вы любите, говорит, сор».

— Да, им хорошо говорить: у них пятеро людей, — заметил Захар, поворачиваясь к двери.

— Куда ты? Возьми да смети: здесь сесть нельзя, ни облокотиться... Ведь это гадость, это обломовщина!

Захар надулся и стороной посмотрел на барина.

«Вона! — подумал он, — еще выдумал какое-то жалкое слово! А знакомое!»

— Ну, мети же, что стоишь? — сказал Обломов.

— Чего мести? Я мел сегодня! — упрямо отвечал Захар.

— А откуда ж пыль, если мел? Смотри, вон, вон! Чтоб не было! Сейчас смести!

— Я мел, — твердил Захар, — не по десяти же раз мести! А пыль с улицы набирается... здесь поле, дача: пыли много на улице.

— Да ты, Захар Трофимыч, — начала Анисья, вдруг выглянув из другой комнаты, — напрасно сначала метешь пол, а потом со столов сметаешь: пыль-то опять и насядет... Ты бы прежде...

— Ты что тут пришла указывать? — яростно захрипел Захар. — Иди к своему месту!

— Где же это видано, сначала пол мести, а потом со столов убирать?.. Барин оттого и гневается...

— Ну, ну, ну! — закричал он, замахиваясь на нее локтем в грудь.

Она усмехнулась и спряталась. Обломов махнул и ему рукой, чтоб он шел вон. Он прилег на шитую подушку головой, приложил руку к сердцу и стал прислушиваться, как оно стучит.

«Ведь это вредно, — сказал он про себя. — Что делать? Если с доктором посоветоваться, он, пожалуй, в Абиссинию пошлет!» [2]

Пока Захар и Анисья не были женаты, каждый из них занимался своей частью и не входил в чужую, то есть Анисья знала рынок и кухню и участвовала в убирании комнат только раз в год, когда мыла полы.

Но после свадьбы доступ в барские покои ей сделался свободнее. Она помогала Захару, и в комнатах стало чище, и вообще некоторые обязанности мужа она взяла на себя, частью добровольно, частью потому, что Захар деспотически возложил их на нее.

«На вот, выколоти ковер, — хрипел он повелительно, или: — Ты бы перебрала вон, что там в углу навалено, да лишнее вынесла бы в кухню».

Так блаженствовал он с месяц: в комнатах чисто, барин не ворчит, «жалких слов» не говорит, и он, Захар, ничего не делает. Но это блаженство миновалось — и вот по какой причине.

Лишь только они с Анисьей принялись хозяйничать в барских комнатах вместе, Захар что ни сделает, окажется глупостью. Каждый шаг его — все не то и не так. Пятьдесят пять лет ходил он на белом свете с уверенностью, что все, что он ни делает, иначе и лучше сделано быть не может.

И вдруг теперь в две недели Анисья доказала ему, что он — хоть брось, и притом она делает это с такой обидной снисходительностью, так тихо, как делают только с детьми или с совершенными дураками, да еще усмехается, глядя на него.

— Ты, Захар Трофимыч, — ласково говорила она, — напрасно прежде закрываешь трубу, а потом форточки отворяешь: опять настудишь комнаты.

— А как же по-твоему? — с грубостью мужа спросил он, — когда же отворять?

— А когда затопишь: воздух и вытянет, а потом нагреется опять, — отвечала она тихо.

— Экая дура! — говорил он. — Двадцать лет я делал так, а для тебя менять стану...

На полке шкафа лежали у него вместе чай, сахар, лимон, серебро, тут же вакса, щетки и мыло.

Однажды он пришел и вдруг видит, что мыло лежит на умывальном столике, щетки и вакса в кухне на окне, а чай и сахар в особом ящике комода.

— Это ты что у меня тут все будоражишь по-своему — а? — грозно спросил он. — Я нарочно сложил все в один угол, чтоб под рукой было, а ты разбросала все по разным местам?

— А чтоб чай не пахнул мылом, — кротко заметила она.

В другой раз она указала ему две-три дыры на барском платье от моли и сказала, что в неделю раз надо непременно встряхнуть и почистить платье.

— Дай я выколочу веничком, — ласково заключила она.

Он вырвал у ней веничек и фрак, который было она взяла, и положил на прежнее место.

Когда еще он однажды по обыкновению стал пенять на барина, что тот бранит его понапрасну за тараканов, что «не он выдумал их», Анисья молча выбрала с полки куски и завалявшиеся с незапамятных времен крошки черного хлеба, вымела и вымыла шкафы, посуду — и тараканы почти совсем исчезли.

Захар все еще не понимал хорошенько, в чем дело, и приписывал это только ее усердию. Но когда однажды он понес поднос с чашками и стаканами, разбил два стакана и начал по обыкновению ругаться и хотел бросить на пол и весь поднос, она взяла поднос у него из рук, поставила другие стаканы, еще сахарницу, хлеб и так уставила все, что ни одна чашка не шевельнулась, и потом показала ему, как взять поднос одной рукой, как плотно придержать другой, и как потом два раза прошла по комнате, вертя подносом направо и налево, и ни одна ложечка не пошевелилась на нем, Захару вдруг ясно стало, что Анисья — умнее его!

Он вырвал у ней поднос, разронял стаканы и уже с тех пор не мог простить ей этого.

— Вот видишь, как надо! — еще прибавила она тихо.

Он взглянул на нее с тупым высокомерием, а она усмехается.

— Ах ты, баба, солдатка этакая, хочешь ты умничать! Да разве у нас в Обломовке такой дом был? На мне все держалось одном: одних лакеев, с мальчишками, пятнадцать человек! А вашей братьи, бабья, так и поименно-то не знаешь... А ты тут... Ах, ты!..

— Я ведь доброго хочу, — начала было она.

— Ну, ну, ну! — хрипел он, делая угрожающий жест локтем

в грудь. — Пошла отсюда, из барских комнат, на кухню. знай свое бабье дело!

Она усмехнулась и пошла, а он мрачно, стороной глядел ей вслед.

Гордость его страдала, и он мрачно обращался с женой. Когда же, однако, случалось, что Илья Ильич спрашивал какую-нибудь вещь, а вещи не оказывалось или она оказывалась разбитою, и вообще, когда случался беспорядок в доме и над головой Захара собиралась гроза, сопровождаемая «жалкими словами», Захар мигал Анисье, кивал головой на кабинет барина и, указывая туда большим пальцем, повелительным шепотом говорил: «Поди ты к барину: что ему там нужно?».

Анисья входила, и гроза всегда разрешалась простым объяснением. И сам Захар, чуть начинали проскакивать в речи Обломова «жалкие слова», предлагал ему позвать Анисью.

Таким образом опять все заглохло бы в комнатах Обломова, если б не Анисья: она уже причислила себя к дому Обломова, бессознательно разделила неразрываемую связь своего мужа с жизнью, домом и особой Ильи Ильича, и ее женский глаз и заботливая рука бодрствовали в запущенных покоях.

Захар только отвернется куда-нибудь, Анисья смахнет пыль со столов, с диванов, откроет форточку, поправит шторы, приберет к месту кинутые посреди комнаты сапоги, повешенные на парадных креслах панталоны, переберет все платья, даже бумаги, карандаши, ножичек, перья на столе — все положит в порядке; взобьет измятую постель, поправит подушки — и все в три приема; потом окинет еще беглым взглядом всю комнату, подвинет какой-нибудь стул, задвинет полуотворенный ящик комода, стащит салфетку со стола и быстро скользнет в кухню, заслыша скрипучие сапоги Захара.

Она была живая, проворная баба, лет сорока семи, с заботливой улыбкой, с бегавшими живо во все стороны глазами, крепкой шеей и грудью и красными, цепкими, никогда не устающими руками.

Лица у ней почти вовсе не было: только и был заметен нос; хотя он был небольшой, но он как будто отстал от лица или неловко был приставлен, и притом нижняя часть его была вздернута кверху, оттого лица за ним было незаметно: оно так обтянулось, выцвело, что о носе ее давно уже получишь ясное понятие, а лица все не заметишь.

Много в свете таких мужей, как Захар. Иногда дипломат небрежно выслушает совет жены, пожмет плечами — и втихомолку напишет по ее совету.

Иногда администратор, посвистывая, гримасой сожаления ответит на болтовню жены о важном деле — а завтра важно докладывает эту болтовню министру.

Обходятся эти господа с женами так же мрачно или легко, едва удостоивают говорить, считая их так, если не за баб, как Захар, так за цветки, для развлечения от деловой, серьезной жизни...

Уж полдень давно ярко жег дорожки парка. Все сидели в тени, под холстинными навесами; только няньки с детьми, группами, отважно ходили и сидели на траве, под полуденными лучами.

Обломов все лежал на диване, веря и не веря смыслу утреннего разговора с Ольгой.

«Она любит меня, в ней играет чувство ко мне. Возможно ли? Она обо мне мечтает; для меня пела она так страстно, и музыка заразила нас обоих симпатией».

Гордость заиграла в нем, засияла жизнь, ее волшебная даль, все краски и лучи, которых еще недавно не было. Он уж видел себя за границей с ней, в Швейцарии на озерах, в Италии, ходит в развалинах Рима, катается в гондоле, потом теряется в толпе Парижа, Лондона, потом... потом в своем земном раю — в Обломовке.

Она — божество, с этим милым лепетом, с этим изящным, беленьким личиком, тонкой, нежной шеей...

Крестьяне не видали никогда ничего подобного; они падают ниц перед этим ангелом. Она тихо ступает по траве, ходит с ним в тени березняка, она поет ему.

И он чувствует жизнь, ее тихое теченье, ее сладкие струи, плесканье... он впадает в раздумье от удовлетворенных желаний, от полноты счастья..

Вдруг лицо его омрачилось.

«Нет, этого быть не может! — вслух произнес он, встав с дивана и ходя по комнате. — Любить меня, смешного, с сонным взглядом, с дряблыми щеками... Она все смеется надо мной...»

Он остановился перед зеркалом и долго рассматривал себя, сначала неблагосклонно, потом взгляд его прояснел; он даже улыбнулся.

«Я как будто получше, посвежее, нежели как был в городе, — сказал он, — глаза у меня не тусклые. Вот ячмень показался было, да и пропал... Должно быть, от здешнего воздуха; много хожу, вина не пью совсем, не лежу... Не надо и в Египет ехать».

Пришел человек от Марьи Михайловны, Ольгиной тетки, звать обедать.

— Иду, иду! — сказал Обломов.

Человек пошел.

— Постой! Вот тебе.

Он дал ему денег.

Ему весело, легко. В природе так ясно. Люди всё добрые, все наслаждаются; у всех счастье на лице. Только Захар мрачен, все стороной смотрит на барина; зато Анисья усмехается так добродушно. «Собаку заведу, — решил Обломов, — или кота... лучше кота: коты ласковы, мурлычат».

Он побежал к Ольге.

«Но, однако ж.. Ольга любит меня! — думал он дорогой. — Это молодое, свежее создание! Ее воображению открыта теперь самая поэтическая сфера жизни: ей должны сниться юноши с черными кудрями, стройные, высокие, с задумчивой, затаенной силой, с отвагой на лице, с гордой улыбкой, с этой искрой в глазах, которая тонет и трепещет во взгляде и так легко добирается до сердца, с мягким и свежим голосом, который звучит как металлическая струна. Наконец, любят и не юношей,

не отвагу на лице, не ловкость в мазурке, не скаканье на лошади. Положим, Ольга не дюжинная девушка, у которой сердце можно пощекотать усами, тронуть слух звуком сабли; но ведь тогда надо другое... сила ума, например, чтоб женщина смирялась и склоняла голову перед этим умом, чтоб и свет кланялся ему... Или прославленный артист... А я что такое? Обломов — больше ничего. Вот Штольц — другое дело: Штольц — ум, сила, уменье управлять собой, другими, судьбой. Куда ни придет, с кем ни сойдется — смотришь, уж овладел, играет, как будто на инструменте...[3] А я? И с Захаром не управлюсь. и с собой тоже... я — Обломов! Штольц! Боже! Ведь она его любит, — в ужасе подумал он, — сама сказала: как друга — говорит она; да это ложь, может быть, бессознательная... Дружбы между мужчиной и женщиной не бывает...»

Он пошел тише, тише, одолеваемый сомнениями.

«А что, если она кокетничает со мной? Если только...»

Он остановился совсем, оцепенел на минуту.

«Что, если тут коварство, заговор. И с чего я взял, что она любит меня? Она не сказала: это сатанинский шепот самолюбия! Андрей! Ужели? быть не может: она такая, такая.. Вон она какая!» — вдруг радостно сказал он, завидя идущую ему навстречу Ольгу.

Ольга с веселой улыбкой протянула ему руку.

«Нет, она не такая, она не обманщица, — решил он, — обманщицы не смотрят таким ласковым взглядом; у них нет такого искреннего смеха... они всё пищат. Но... она, однако ж, не сказала, что любит! — вдруг опять подумал в испуге: это он так себе растолковал. — А досада отчего же? .. Господи! в какой я омут попал!»

— Что это у вас? — спросила она.

— Ветка.

— Какая ветка?

— Вы видите: сиреневая.

— Где вы взяли? Тут нет сирени. Где вы шли?

— Это вы давеча сорвали и бросили.

— Зачем же вы подняли?

— Так, мне нравится, что вы. с досадой бросили ее.

— Нравится досада — это новость! Отчего?

— Не скажу.

— Скажите, пожалуйста, я прошу.

— Ни за что, ни за какие блага!

— Умоляю вас.

Он потряс отрицательно головой.

— А если я спою?

— Тогда ... может быть..

— Так только музыка действует на вас? — сказала она с нахмуренной бровью. — Так это правда?

— Да, музыка, передаваемая вами...

— Ну, я буду петь. Casta diva, Casta di. — зазвучала она воззвание Нормы и остановилась.

— Ну, говорите теперь! — сказала она.

Он боролся несколько времени с собой.

— Нет, нет! — еще решительнее прежнего заключил он. — Ни за что... никогда! Если это неправда, если мне так показалось? Никогда, никогда!

— Что это такое? Что-нибудь ужасное, — говорила она, устремив мысль на этот вопрос и пытливый взгляд на него.

Потом лицо ее наполнялось постепенно сознанием; в каждую черту пробирался луч мысли, и вдруг все лицо озарилось догадкою. Солнце так же иногда, выходя из-за облака, понемногу освещает один куст, другой, кровлю и вдруг обольет светом целый пейзаж. Она уже знала мысль Обломова.

— Нет, нет, у меня язык не поворотится. — твердил Обломов, — и не спрашивайте.

— Я не спрашиваю вас, — отвечала она равнодушно.

— А как же? Сейчас вы..

— Пойдемте домой, — серьезно, не слушая его, сказала она, — ma tante ждет.

Она пошла вперед, оставила его с теткой и прямо прошла в свою комнату.

VIII

Весь этот день был днем постепенного разочарования для Обломова. Он провел его с теткой Ольги, женщиной очень умной, приличной, одетой всегда прекрасно, всегда в новом шелковом платье, которое сидит на ней отлично, всегда в таких изящных кружевных воротничках; чепец тоже со вкусом сделан, и ленты прибраны кокетливо к ее почти пятидесятилетнему, но еще свежему лицу. На цепочке висит золотой лорнет.[1]

Позы, жесты ее исполнены достоинства; она очень ловко драпируется в богатую шаль, так кстати обопрется локтем на шитую подушку, так величественно раскинется на диване. Ее никогда не увидишь за работой: нагибаться, шить, заниматься мелочью нейдет к ее лицу, важной фигуре. Она и приказания слугам и служанкам отдавала небрежным тоном, коротко и сухо.

Она иногда читала, никогда не писала, но говорила хорошо, впрочем больше по-французски. Однако ж она тотчас заметила, что Обломов не совсем свободно владеет французским языком, и со второго дня перешла на русскую речь.

В разговоре она не мечтает и не умничает; у ней, кажется, проведена в голове строгая черта, за которую ум не переходил никогда. По всему видно было, что чувство, всякая симпатия, не исключая и любви, входят или входили в ее жизнь наравне с прочими элементами, тогда как у других женщин сразу увидишь, что любовь, если не на деле, то на словах, участвует во всех вопросах жизни и что все остальное входит стороной, настолько, насколько остается простора от любви.

У этой женщины впереди всего шло уменье жить, управлять собой, держать в равновесии мысль с намерением, намерение с исполнением. Нельзя было застать ее неприготовленную, врасплох, как бдительного врага, которого, когда ни подкараульте, всегда встретите устремленный на вас, ожидающий взгляд.

Стихия ее была свет, и оттого такт, осторожность шли у ней впереди каждой мысли, каждого слова и движения.

Она ни перед кем никогда не открывает сокровенных движений сердца, никому не поверяет душевных тайн; не увидишь около нее доброй приятельницы, старушки, с которой бы она шепталась за чашкой кофе. Только с бароном фон Лангваген часто остается она наедине; вечером он сидит иногда до полуночи, но почти всегда при Ольге; и то они все больше молчат, но молчат как-то значительно и умно, как будто что-то знают такое, чего другие не знают, но и только.

Они, по-видимому, любят быть вместе — вот единственное заключение, какое можно вывести, глядя на них; обходится она с ним так же, как и с другими: благосклонно, с добротой, но так же ровно и покойно.

Злые языки воспользовались было этим и стали намекать на какую-то старинную дружбу, на поездку за границу вместе; но в отношениях ее к нему не проглядывало ни тени какой-нибудь затаившейся особенной симпатии, а это бы прорвалось наружу.

Между тем он был опекун небольшого имения Ольги, которое как-то попало в залог при одном подряде, да там и село.[2]

Барон вел процесс, то есть заставлял какого-то чиновника писать бумаги, читал их сквозь лорнетку, подписывал и посылал того же чиновника с ними в присутственные места, а сам связями своими в свете давал этому процессу удовлетворительный ход. Он подавал надежду на скорое и счастливое окончание. Это прекратило злые толки, и барона привыкли видеть в доме, как родственника.

Ему было под пятьдесят лет, но он был очень свеж, только красил усы и прихрамывал немного на одну ногу. Он был вежлив до утонченности, никогда не курил при дамах, не клал одну ногу на другую и строго порицал молодых людей, которые позволяют себе в обществе опрокидываться в кресле и поднимать коленку и сапоги наравне с носом. Он и в комнате сидел в перчатках, снимая их, только когда садился обедать.

Одет был в последнем вкусе и в петлице фрака носил много ленточек.[3] Ездил всегда в карете и чрезвычайно берег лошадей: садясь в экипаж, он прежде обойдет кругом его, осмотрит сбрую, даже копыта лошадей, а иногда вынет белый платок и потрет по плечу или хребту лошадей, чтоб посмотреть, хорошо ли они вычищены.

Знакомого он встречал с благосклонно-вежливой улыбкой, незнакомого — сначала холодно; но когда его представляли ему, холодность заменялась также улыбкой, и представленный мог уже рассчитывать на нее всегда.

Рассуждал он обо всем: и о добродетели, и о дороговизне, о науках и о свете одинаково отчетливо; выражал свое мнение в ясных и закон-

ченных фразах, как будто говорил сентенциями, уже готовыми, записанными в какой-нибудь курс и пущенными для общего руководства в свет.

Отношения Ольги к тетке были до сих пор очень просты и покойны: в нежности они не переходили никогда границ умеренности, никогда не ложилось между ними и тени неудовольствия.

Это происходило частью от характера Марьи Михайловны, тетки Ольги, частью от совершенного недостатка всякого повода для обеих — вести себя иначе. Тетке не приходило в голову требовать от Ольги что-нибудь такое, что б резко противоречило ее желаниям; Ольге не приснилось бы во сне не исполнить желания тетки, не последовать ее совету.

И в чем проявлялись эти желания? — В выборе платья, в прическе, в том, например, поехать ли во французский театр или в оперу.

Ольга слушалась настолько, насколько тетка выражала желание или высказывала совет, отнюдь не более, — а она всегда высказывала его с умеренностью до сухости, насколько допускали права тетки, никогда более.

Отношения эти были так бесцветны, что нельзя было никак решить, есть ли в характере тетки какие-нибудь притязания на послушание Ольги, на ее особенную нежность, или есть ли в характере Ольги послушание к тетке и особенная к ней нежность.

Зато с первого раза, видя их вместе, можно было решить, что они — тетка и племянница, а не мать и дочь.

— Я еду в магазин: не надо ли тебе чего-нибудь? — спрашивала тетка.

— Да, ma tante, мне нужно переменить лиловое платье, — говорила Ольга, и они ехали вместе; или: — Нет, ma tante, — скажет Ольга, — я недавно была.

Тетка возьмет ее двумя пальцами за обе щеки, поцелует в лоб, а она поцелует руку у тетки, и та поедет, а эта останется.

— Мы опять ту же дачу возьмем? — скажет тетка ни вопросительно, ни утвердительно, а так, как будто рассуждает сама с собой и не решается.

— Да, там очень хорошо, — говорила Ольга.

И дачу брали.

А если Ольга скажет:

— Ах, ma tante, неужели вам не наскучил этот лес да песок? Не лучше ли посмотреть в другой стороне?

— Посмотрим, — говорила тетка. — Поедем, Оленька, в театр? — говорила тетка, — давно кричат об этой пьесе.

— С удовольствием, — отвечала Ольга, но без торопливого желания угодить, без выражения покорности.

Иногда они слегка и спорили.

— Помилуй, ma chère,* к лицу ли тебе зеленые ленты? — говорила тетка. — Возьми палевые.

* моя дорогая (*франц.*).

— Ах, ma tante! уж я шестой раз в палевых, наконец приглядится.

— Ну, возьми pensée.*

— А эти вам нравятся?

Тетка вглядывалась и медленно трясла головой.

— Как хочешь, ma chère, а я бы на твоем месте взяла pensée или палевые.

— Нет, ma tante, я лучше вот эти возьму, — говорила Ольга мягко и брала, что ей хотелось.

Ольга спрашивала у тетки советов не как у авторитета, которого приговор должен быть законом для нее, а так, как бы спросила совета у всякой другой, более ее опытной женщины.

— Ma tante, вы читали эту книгу — что это такое? — спрашивала она.

— Ах, какая гадость! — говорила тетка, отодвигая, но не пряча книгу и не принимая никаких мер, чтоб Ольга не прочла ее.

И Ольге никогда не пришло бы в голову прочесть. Если они затруднялись обе, тот же вопрос обращался к барону фон Лангвагену или к Штольцу, когда он был налицо, и книга читалась или не читалась, по их приговору.

— Ma chère Ольга! — скажет иногда тетка. — Про этого молодого человека, который к тебе часто подходит у Завадских, вчера мне что-то рассказывали, какую-то глупую историю.

И только. А Ольга как себе хочет потом: говори или не говори с ним.

Появление Обломова в доме не возбудило никаких вопросов, никакого особенного внимания ни в тетке, ни в бароне, ни даже в Штольце. Последний хотел познакомить своего приятеля в таком доме, где все было немного чопорно, где не только не предложат соснуть после обеда, но где даже неудобно класть ногу на ногу, где надо быть свежеодетым, помнить, о чем говоришь, — словом, нельзя ни задремать, ни опуститься, и где постоянно шел живой, современный разговор.

Потом Штольц думал, что если внести в сонную жизнь Обломова присутствие молодой, симпатичной, умной, живой и отчасти насмешливой женщины — это все равно, что внести в мрачную комнату лампу, от которой по всем темным углам разольется ровный свет, несколько градусов тепла, и комната повеселеет.

Вот весь результат, которого он добивался, знакомя друга своего с Ольгой. Он не предвидел, что он вносит фейерверк, Ольга и Обломов — и подавно.

Илья Ильич высидел с теткой часа два чинно, не положив ни разу ноги на ногу, разговаривая прилично обо всем; даже два раза ловко подвинул ей скамеечку под ноги.

Приехал барон, вежливо улыбнулся и ласково пожал ему руку.

Обломов еще чиннее вел себя, и все трое как нельзя более довольны были друг другом.

---

* темно-фиолетовых (*франц.*).

Тетка на разговоры по углам, на прогулки Обломова с Ольгой смотрела... или, лучше сказать, никак не смотрела.

Гулять с молодым человеком, с франтом — это другое дело: она бы и тогда не сказала ничего, но с свойственным ей тактом, как-нибудь незаметно установила бы другой порядок: сама бы пошла с ними раз или два, послала бы кого-нибудь третьего, и прогулки сами собою бы кончились.

Но гулять «с мсьё Обломовым», сидеть с ним в углу большой залы, на балконе... что ж из этого? Ему за тридцать лет: не станет же он говорить ей пустяков, давать каких-нибудь книг... Да этого ничего никому и в голову не приходило.

Притом тетка слышала, как Штольц накануне отъезда говорил Ольге, чтоб она не давала дремать Обломову, чтоб запрещала спать, мучила бы его, тиранила, давала ему разные поручения — словом, распоряжалась им. И ее просил не выпускать Обломова из вида, приглашать почаще к себе, втягивать в прогулки, поездки, всячески шевелить его, если б он не поехал за границу.

Ольга не показывалась, пока он сидел с теткой, и время тянулось медленно. Обломова опять стало кидать в жар и холод. Теперь уж он догадывался о причине этой перемены Ольги. Перемена эта была для него тяжеле прежней.

От прежнего промаха ему было только страшно и стыдно, а теперь тяжело, неловко, холодно, уныло на сердце, как в сырую, дождливую погоду. Он дал ей понять, что догадался о ее любви к нему, да еще, может быть, догадался невпопад. Это уже в самом деле была обида, едва ли исправимая. Да если и впопад, то как неуклюже! Он просто фат.

Он мог спугнуть чувство, которое стучится в молодое, девственное сердце робко, садится осторожно и легко, как птичка на ветку: посторонний звук, шорох — и оно улетит.

Он с замирающим трепетом ждал, когда Ольга сойдет к обеду, что и как она будет говорить, как будет смотреть на него...

Она сошла — и он надивиться не мог, глядя на нее; он едва узнал ее. У ней другое лицо, даже другой голос.

Молодая, наивная, почти детская усмешка ни разу не показалась на губах, ни разу не взглянула она так широко, открыто, глазами, когда в них выражался или вопрос, или недоумение, или простодушное любопытство, как будто ей уж не о чем спрашивать, нечего знать, нечему удивляться!

Взгляд ее не следил за ним, как прежде. Она смотрела на него, как будто давно знала, изучила его, наконец, как будто он ей ничего, все равно как барон, — словом, он точно не видел ее с год, и она на год созрела.

Не было суровости, вчерашней досады, она шутила и даже смеялась, отвечала на вопросы обстоятельно, на которые бы прежде не отвечала ничего. Видно было, что она решилась принудить себя делать, что делают другие, чего прежде не делала. Свободы, непринужденности, по-

зволяющей все высказать, что на уме, уже не было. Куда все вдруг делось?

После обеда он подошел к ней спросить, не пойдет ли она гулять. Она, не отвечая ему, обратилась к тетке с вопросом:

— Пойдем ли *мы* гулять?

— Разве недалеко, — сказала тетка. — Вели дать мне зонтик.

И пошли все. Ходили вяло, смотрели вдаль, на Петербург, дошли до леса и воротились на балкон.

— Вы, кажется, не расположены сегодня петь? Я и просить боюсь, — спросил Обломов, ожидая, не кончится ли это принуждение, не возвратится ли к ней веселость, не мелькнет ли хоть в одном слове, в улыбке, наконец в пении луч искренности, наивности и доверчивости.

— Жарко! — заметила тетка.

— Ничего, я попробую, — сказала Ольга и спела романс.

Он слушал и не верил ушам.

Это не она: где же прежний, страстный звук?

Она пела так чисто, так правильно и вместе так... так... как поют все девицы, когда их просят спеть в обществе: без увлечения. Она вынула свою душу из пения, и в слушателе не шевельнулся ни один нерв.

Лукавит, что ли, она, притворяется, сердится? Ничего нельзя угадать: она смотрит ласково, охотно говорит, но говорит так же, как поет, как все... Что это такое?

Обломов, не дождавшись чаю, взял шляпу и раскланялся.

— Приходите чаще, — сказала тетка, — в будни мы всегда одни, если вам не скучно, а в воскресенье у нас всегда кое-кто есть — не соскучитесь.

Барон вежливо встал и поклонился ему.

Ольга кивнула ему, как доброму знакомому, и когда он пошел, она повернулась к окну, смотрела туда и равнодушно слушала удалявшиеся шаги Обломова.

Эти два часа и следующие три-четыре дня, много неделя, сделали на нее глубокое действие, двинули ее далеко вперед. Только женщины способны к такой быстроте расцветания сил, развития всех сторон души.

Она как будто слушала курс жизни не по дням, а по часам. И каждый час малейшего, едва заметного опыта, случая, который мелькнет, как птица, мимо носа мужчины, схватывается неизъяснимо быстро девушкой: она следит за его полетом вдаль, и кривая, описанная полетом линия остается у ней в памяти неизгладимым знаком, указанием, уроком.

Там, где для мужчины надо поставить поверстный столб с надписью, ей довольно прошумевшего ветерка, трепетного, едва уловимого ухом сотрясения воздуха.

Отчего вдруг, вследствие каких причин, на лице девушки, еще на той неделе такой беззаботной, с таким до смеха наивным лицом, вдруг ляжет строгая мысль? И какая это мысль? О чем? Кажется, все лежит

в этой мысли, вся логика, вся умозрительная и опытная философия мужчины, вся система жизни!

Cousin,* который оставил ее недавно девочкой, кончил курс ученья, надел эполеты,[4] завидя ее, бежит к ней весело, с намерением, как прежде, потрепать ее по плечу, повертеться с ней за руки, поскакать по стульям, по диванам... вдруг, взглянув ей пристально в лицо, оробеет, отойдет смущенный и поймет, что он еще — мальчишка, а она — уже женщина!

Откуда? Что случилось? Драма? Громкое событие? Новость какая-нибудь, о которой весь город знает?

Ничего, ни maman, ни mon oncle, ни ma tante,** ни няня, ни горничная — никто не знает. И некогда было случиться: она протанцевала две мазурки, несколько контрдансов,[5] да голова у ней что-то разболелась: не поспала ночь...

А потом опять все прошло, только уже в лице прибавилось что-то новое: иначе смотрит она, перестала смеяться громко, не ест по целой груше зараз, не рассказывает, «как у них в пансионе»... Она тоже кончила курс.

Обломов на другой, на третий день, как cousin, едва узнал Ольгу и глядел на нее робко, а она на него просто, только без прежнего любопытства, без ласки, а так, как другие.

«Что это с ней? Что она теперь думает, чувствует? — терзался он вопросами. — Ей-богу, ничего не понимаю!»

И где было понять ему, что с ней совершилось то, что совершается с мужчиной в двадцать пять лет при помощи двадцати пяти профессоров, библиотек, после шатанья по свету, иногда даже с помощью некоторой утраты нравственного аромата души, свежести мысли и волос, то есть что она вступила в сферу сознания. Вступление это обошлось ей так дешево и легко.

«Нет, это тяжело, скучно! — заключил он. — Перееду на Выборгскую сторону, буду заниматься, читать, уеду в Обломовку... один! — прибавил потом с глубоким унынием. — Без нее! Прощай, мой рай, мой светлый, тихий идеал жизни!»

Он не пошел ни на четвертый, ни на пятый день; не читал, не писал, отправился было погулять, вышел на пыльную дорогу, дальше надо в гору идти.

«Вот охота тащиться в жар!» — сказал он сам себе, зевнул и воротился, лег на диван и заснул тяжелым сном, как, бывало, сыпа́л в Гороховой улице, в запыленной комнате, с опущенными шторами.

Сны снились такие смутные. Проснулся — перед ним накрытый стол, ботвинья, битое мясо. Захар стоит, глядя сонно в окно; в другой комнате Анисья гремит тарелками.

Он пообедал, сел к окну. Скучно, нелепо, все один! Опять никуда и ничего не хочется!

---

* двоюродный брат (*франц.*).

** ни мать, ни дядюшка, ни тетушка (*франц.*).

— Вот посмотрите, барин, котеночка от соседей принесли; не надо ли? Вы спрашивали вчера, — сказала Анисья, думая развлечь его, и положила ему котенка на колени.

Он начал гладить котенка: и с котенком скучно!

— Захар! — сказал он.

— Чего изволите? — вяло отозвался Захар.

— Я, может быть, в город перееду.

— Куда в город? Квартиры нет.

— А на Выборгскую сторону.

— Что ж это будет, с одной дачи на другую станем переезжать? Чего там не видали? Михея Андреича, что ли?

— Да здесь неудобно. .

— Это еще перевозиться? Господи! И тут умаялись совсем; да вот еще двух чашек не доищусь да половой щетки; коли не Михей Андреич увез туда, так того и гляди пропали.

Обломов молчал. Захар ушел и тотчас воротился, таща за собою чемодан и дорожный мешок.

— А это куда девать? Хоть бы продать, что ли? — сказал он, толкнув ногой чемодан.

— Что ты, с ума сошел? Я на днях поеду за границу, — с сердцем перебил Обломов.

— За границу! — вдруг, усмехнувшись, проговорил Захар. — Благо что поговорили, а то за границу!

— Что ж тебе так странно? Поеду, да и конец... У меня и паспорт готов.

— А кто там сапоги-то с вас станет снимать? — иронически заметил Захар. — Девки-то, что ли? Да вы там пропадете без меня!

Он опять усмехнулся, от чего бакенбарды и брови раздались в стороны.

— Ты все глупости говоришь! Вынеси это и ступай! — с досадой отвечал Обломов.

На другой день, только что Обломов проснулся в десятом часу утра, Захар, подавая ему чай, сказал, что когда он ходил в булочную, так встретил барышню.

— Какую барышню?

— Какую? Ильинскую барышню, Ольгу Сергевну.

— Ну? — нетерпеливо спросил Обломов.

— Ну, кланяться приказали, спрашивали, здоровы ли вы, что делаете.

— Что ж ты сказал?

— Сказал, что здоровы; что, мол, ему делается?

— Зачем же ты прибавляешь свои глупые рассуждения? — заметил Обломов. — «Что ему делается!» Ты почем знаешь, что мне делается? Ну, еще что?

— Спрашивали, где вы обедали вчера.

— Ну?

— Я сказал, что дома, и ужинали, мол, дома. «А разве он ужинает?» — спрашивает барышня-то. Двух цыплят, мол, только скушали...

— Дур-р-р-ак! — крепко произнес Обломов.

— Что за дурак! Разве это неправда? — сказал Захар. — Вон я и кости, пожалуй, покажу...

— Право, дурак! — повторил Обломов. — Ну, что ж она?

— Усмехнулись. «Что ж так мало?» — примолвили после.[6]

— Вот дурак-то! — твердил Обломов. — Ты бы еще рассказал, что ты рубашку на меня надеваешь навыворот.

— Не спрашивали, так и не сказал, — отвечал Захар.

— Что еще спрашивала?

— Спрашивали, что делали эти дни.

— Ну, что ж ты?

— Ничего, мол, не делают, лежат все.

— Ах! — с сильной досадой произнес Обломов, подняв кулаки к вискам. — Поди вон! — прибавил он грозно. — Если ты когда-нибудь осмелишься рассказывать про меня такие глупости, посмотри, что я с тобой сделаю! Какой яд — этот человек!

— Что ж мне, лгать, что ли, на старости лет? — оправдывался Захар.

— Поди вон! — повторил Илья Ильич.

Захару брань ничего, только бы «жалких слов» не говорил барин.

— Я сказал, что вы хотите переехать на Выборгскую сторону, — заключил Захар.

— Ступай! — повелительно крикнул Обломов.

Захар ушел и вздохнул на всю прихожую, а Обломов стал пить чай.

Он отпил чай и из огромного запаса булок и кренделей съел только одну булку, опасаясь опять нескромности Захара. Потом закурил сигару и сел к столу, развернул какую-то книгу, прочел лист, хотел перевернуть, книга оказалась неразрезанною.

Обломов разорвал листы пальцем: от этого по краям листа образовались фестоны, а книга чужая, Штольца, у которого заведен такой строгий и скучный порядок, особенно насчет книг, что не приведи бог! Бумаги, карандаши, все мелочи — как положит, так чтоб и лежали.

Надо бы взять костяной ножик, да его нет; можно, конечно, спросить и столовый, но Обломов предпочел положить книгу на свое место и направиться к дивану; только что он оперся рукой в шитую подушку, чтоб половчей приладиться лечь, как Захар вошел в комнату.

— А ведь барышня-то просила вас прийти в этот. как его... ох! — доложил он.

— Что ж ты не сказал давеча, два часа назад? — торопливо спросил Обломов.

— Вон велели идти, не дали досказать... — возразил Захар.

— Ты губишь меня, Захар! — произнес Обломов патетически.

«Ну, никак опять за свое! — думал Захар, подставляя барину левую бакенбарду и глядя в стену, — по-намеднишнему. ввернет словцо!»

— Куда прийти? — спросил Обломов.

— А вон в этот, как его? Да в сад, что ли...

— В парк? — спросил Обломов.

— В парк, точно так, «погулять, дескать, если угодно; я там буду»...

— Одеваться!

Обломов избегал весь парк, заглядывал в куртины,[7] в беседки — нет Ольги. Он пошел по той аллее, где было объяснение, и застал ее там, на скамье, недалеко от того места, где она сорвала и бросила ветку.

— Я думала, что вы уж не придете, — сказала она ему ласково.

— Я давно ищу вас по всему парку, — отвечал он.

— Я знала, что вы будете искать, и нарочно села здесь, в этой аллее: думала, что вы непременно пройдете по ней.

Он хотел было спросить: «Почему вы это думали?», но взглянул на нее и не спросил.

У ней лицо было другое, не прежнее, когда они гуляли тут, а то, с которым он оставил ее в последний раз и которое задало ему такую тревогу. И ласка была какая-то сдержанная, все выражение лица такое сосредоточенное, такое определенное; он видел, что в догадки, намеки и наивные вопросы играть с ней нельзя, что этот ребяческий, веселый миг пережит.

Многое, что не досказано, к чему можно бы подойти с лукавым вопросом, было уже между ними решено без слов, без объяснений, бог знает как, но воротиться к тому уже нельзя.

— Что вас не видать давно? — спросила она.

Он молчал. Ему хотелось бы опять как-нибудь стороной дать ей понять, что тайная прелесть отношений их исчезла, что его тяготит эта сосредоточенность, которою она окружила себя, как облаком, будто ушла в себя, и он не знает, как ему быть, как держать себя с ней.

Но он чувствовал, что малейший намек на это вызовет у ней взгляд удивления, потом прибавит холодности в обращении, может быть и совсем пропадет та искра участия, которую он так неосторожно погасил в самом начале. Надо ее раздуть опять, тихо и незаметно, но как — он решительно не знал.

Он смутно понимал, что она выросла и чуть ли не выше его, что отныне нет возврата к детской доверчивости, что перед ними Рубикон[8] и утраченное счастье уже на другом берегу: надо перешагнуть.

А как? Ну, если он шагнет один?

Она понимала яснее его, что в нем происходит, и потому перевес был на ее стороне. Она открыто глядела в его душу, видела, как рождалось чувство там, как играло и выходило наружу; видела, что с ним женская хитрость, лукавство, кокетство — орудия Сонечки — были бы лишние, потому что не предстояло борьбы.

Она даже видела и то, что, несмотря на ее молодость, ей принадлежит первая и главная роль в этой симпатии, что от него можно было ожидать только глубокого впечатления, страстно-ленивой покорности, вечной гармонии с каждым биением ее пульса, но никакого движения воли, никакой активной мысли.

Она мигом взвесила свою власть над ним, и ей нравилась эта роль путеводной звезды, луча света, который она разольет над стоячим озером и отразится в нем. Она разнообразно торжествовала свое первенство в этом поединке.

В этой комедии или трагедии, смотря по обстоятельствам, оба действующие лица являются почти всегда с одинаковым характером: мучителя или мучительницы и жертвы.

Ольга, как всякая женщина в первенствующей роли, то есть в роли мучительницы, конечно, менее других и бессознательно, но не могла отказать себе в удовольствии немного поиграть им по-кошачьи;[9] иногда у ней вырвется, как молния, как нежданный каприз, проблеск чувства, а потом, вдруг, опять она сосредоточится, уйдет в себя; но больше и чаще всего она толкала его вперед, дальше, зная, что он сам не сделает ни шагу и останется неподвижен там, где она оставит его.

— Вы заняты были? — спросила она, вышивая какой-то лоскуток канвы.

«Сказал бы занят, да этот Захар!» — простонало у него в груди.

— Да, я читал кое-что, — небрежно отозвался он.

— Что ж, роман? — спросила она и подняла на него глаза, чтоб посмотреть, с каким лицом он станет лгать.

— Нет, я романов почти не читаю, — отвечал он очень покойно, — я читал «Историю открытий и изобретений».[10]

«Слава богу, что я пробежал сегодня лист книги!» — подумал он.

— По-русски? — спросила она.

— Нет, по-английски.

— А вы читаете по-английски?

— С трудом, но читаю. — А вы не были ли где-нибудь в городе? — спросил он больше затем, чтоб замять разговор о книгах.

— Нет, все дома. Я все здесь работаю, в этой аллее.

— Все здесь?

— Да, мне очень нравится эта аллея, я благодарна вам, что вы мне ее указали: здесь никто почти не ходит...

— Я вам ее не указывал, — перебил он, — мы, помните? случайно оба встретились в ней.

— Да, в самом деле.

Они замолчали.

— У вас ячмень совсем прошел? — спросила она, глядя ему прямо в правый глаз.

Он покраснел.

— Прошел теперь, слава богу, — сказал он.

— Вы примачивайте простым вином, когда у вас зачешется глаз, ячмень и не сядет. Это няня научила меня.

«Что это она все о ячменях?» — подумал Обломов.

— Да не ужинайте, — прибавила она серьезно.

«Захар!» — шевелилось у него в горле яростное воззвание к Захару.

— Стоит только поужинать хорошенько, — продолжала она, не под-

нимая глаз с работы, — да полежать дня три, особенно на спине, непременно сядет ячмень.

«Ду. . .р. . .р. .ак!» — грянуло внутри Обломова обращение к Захару.

— Что это вы работаете? — спросил он, чтоб переменить разговор.

— Сонетку, — сказала она, развертывая свиток канвы и показав ему узор, — барону.[11] Хорошо?

— Да, очень хорошо, узор очень мил. Это ветка сирени?

— Кажется. да, — небрежно отвечала она. — Я выбрала наугад, какой попался. — и, покраснев немного, проворно свернула канву.

«Однако это скучно, если это так продолжится, если из нее ничего добыть нельзя, — думал он, — другой — Штольц например, добыл бы, а я не умею».

Он нахмурился и сонно смотрел вокруг. Она посмотрела на него, потом положила работу в корзинку.

— Пойдемте до рощи, — сказала она, давая ему нести корзинку, сама распустила зонтик, оправила платье и пошла.

— Отчего вы не веселы? — спросила она.

— Не знаю, Ольга Сергевна. Да отчего мне веселиться? И как?

— Занимайтесь, будьте чаще с людьми.

— Заниматься можно, когда есть цель. Какая у меня цель? Нет ее.

— Цель — жить.

— Когда не знаешь, для чего живешь, так живешь как-нибудь, день за днем; радуешься, что день прошел, что ночь пришла, и во сне погрузишь скучный вопрос о том, зачем жил этот день, зачем будешь жить завтра.

Она слушала молча, с строгим взглядом; в сдвинутых бровях таилась суровость, в линии губ, как змей, ползала не то недоверчивость, не то пренебрежение.

— Зачем жил! — повторила она. — Разве может быть чье-нибудь существование ненужным?

— Может. Например, мое.

— Вы до сих пор не знаете, где цель вашей жизни? — спросила она, остановясь. — Я не верю: вы клевещете на себя; иначе бы вы не стоили жизни. .

— Я уж прошел то место, где она должна быть, и впереди больше ничего нет.

Он вздохнул, а она улыбнулась.

— Ничего нет? — вопросительно повторила она, но живо, весело, со смехом, как будто не веря ему и предвидя, что есть у него что-то впереди.

— Смейтесь, — продолжал он, — а это так!

Она тихо шла вперед, наклонив голову.

— Для чего, для кого я буду жить? — говорил он, идучи за ней. — Чего искать, на что направить мысль, намерения? Цвет жизни опал, остались только шипы.

Они шли тихо; она слушала рассеянно, мимоходом сорвала ветку сирени и, не глядя на него, подала ему.

— Что это? — спросил он, оторопев.

— Вы видите — ветка.

— Какая ветка? — говорил он, глядя на нее во все глаза.

— Сиреневая.

— Знаю. но что она значит?

— Цвет жизни и.

Он остановился, она тоже.

— И? — повторил он вопросительно.

— Мою досаду, — сказала она, глядя на него прямо, сосредоточенным взглядом, и улыбка говорила, что она знает, что делает

Облако непроницаемости слетело с нее Взгляд ее был говорящ и понятен. Она как будто нарочно открыла известную страницу книги и позволила прочесть заветное место.

— Стало быть, я могу надеяться. — вдруг, радостно вспыхнув, сказал он.

— Всего! Но.

Она замолчала.

Он вдруг воскрес. И она в свою очередь не узнала Обломова: туманное, сонное лицо мгновенно преобразилось, глаза открылись; заиграли краски на щеках; задвигались мысли; в глазах сверкнули желания и воля. Она тоже ясно прочла в этой немой игре лица, что у Обломова мгновенно явилась цель жизни.

— Жизнь, жизнь опять отворяется мне, — говорил он как в бреду, — вот она, в ваших глазах, в улыбке, в этой ветке, в Casta diva. все здесь.

Она покачала головой.

— Нет, не все... половина.

— Лучшая.

— Пожалуй, — сказала она.

— Где же другая? Что после этого еще?

— Ищите.

— Зачем?

— Чтоб не потерять первой, — досказала она, подала ему руку, и они пошли домой.

Он с восторгом, украдкой кидал взгляд на ее головку, на стан, на кудри и сжимал судорожно ветку.

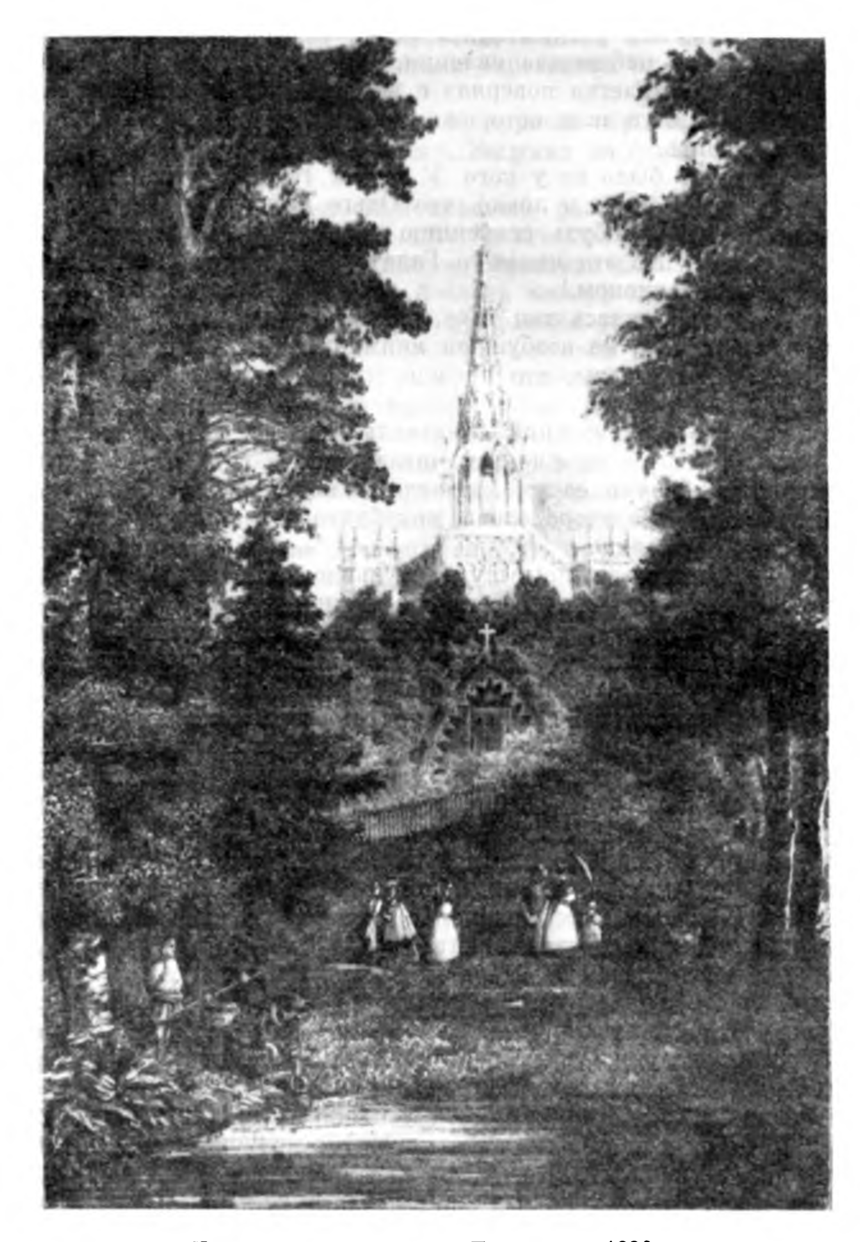
— Опять жизнь, опять надежды! — задумчиво твердил он и не верил сам себе.

— Вы не переедете на Выборгскую сторону? — спросила она, когда он уходил домой.

Он засмеялся и даже не назвал Захара дураком.

IX

С тех пор не было внезапных перемен в Ольге. Она была ровна, покойна с теткой, в обществе, но жила и чувствовала жизнь только с Обломовым. Она уже никогда не спрашивала, что ей делать, как поступить, не ссылалась мысленно на авторитет Сонечки.



Церковь и памятник в Парголове. 1836 г.

По мере того, как раскрывались перед ней фазисы жизни, то есть чувства, она зорко наблюдала явления, чутко прислушивалась к голосу своего инстинкта и слегка поверяла с немногими, бывшими у ней в запасе наблюдениями и шла осторожно, пытая ногой почву, на которую предстояло ступить.

Спрашивать ей было не у кого. У тетки? Но она скользит по подобным вопросам так легко и ловко, что Ольге никогда не удалось свести ее отзывов в какую-нибудь сентенцию и зарубить в памяти. Штольца нет. У Обломова? Но это какая-то Галатея, с которой ей самой приходилось быть Пигмалионом.[1]

Жизнь ее наполнилась так тихо, незаметно для всех, что она жила в своей новой сфере, не возбуждая внимания, без видимых порывов и тревог. Она делала то же, что прежде, для всех других, но делала все иначе.

Она ехала во французский спектакль, но содержание пьесы получало какую-то связь с ее жизнью; читала книгу, и в книге непременно были строки с искрами ее ума, кое-где мелькал огонь ее чувств, записаны были сказанные вчера слова, как будто автор подслушал, как теперь бьется у ней сердце.

В лесу те же деревья, но в шуме их явился особенный смысл: между ними и ею водворилось живое согласие. Птицы не просто трещат и щебечут, а всё что-то говорят между собой; и все говорит вокруг, все отвечает ее настроению; цветок распускается, и она слышит будто его дыхание.

В снах тоже появилась своя жизнь: они населились какими-то видениями, образами, с которыми она иногда говорила вслух... они что-то ей рассказывают, но так неясно, что она не поймет, силится говорить с ними, спросить, и тоже говорит что-то непонятное. Только Катя скажет ей поутру, что она бредила.

Она вспомнила предсказания Штольца: он часто говорил ей, что она не начинала еще жить, и она иногда обижалась, зачем он считает ее за девочку, тогда как ей двадцать лет. А теперь она поняла, что он был прав, что она только что начала жить.

«Вот когда заиграют все силы в вашем организме, тогда заиграет жизнь и вокруг вас, и вы увидите то, на что закрыты у вас глаза теперь, услышите, чего не слыхать вам: заиграет музыка нерв, услышите шум сфер, будете прислушиваться к росту травы.[2] Погодите, не торопитесь, придет само!» — грозил он.

Оно пришло. «Это, должно быть, силы играют, организм проснулся...» — говорила она его словами, чутко вслушиваясь в небывалый трепет, зорко и робко вглядываясь в каждое новое проявление пробуждающейся силы.

Она не вдалась в мечтательность, не покорилась внезапному трепету листьев, ночным видениям, таинственному шепоту, когда как будто кто-то наклонится над ее ухом и скажет что-то неясное и непонятное.

«Нервы!» — шепнет она, вздрогнув, но с улыбкою, сквозь слезы, едва пересиливая страх и выдерживая борьбу неокрепших нерв с пробуждав-

шимися силами. Она встанет с постели, выпьет стакан воды, откроет окно, помашет себе в лицо платком и отрезвится от грезы наяву и во сне.

А Обломов, лишь проснется утром, первый образ в воображении — образ Ольги с веткой сирени в руках. Засыпал он с мыслью о ней, шел гулять, читал — она тут.

Он мысленно вел с ней нескончаемый разговор и днем, и ночью. К «Истории открытий и изобретений» он все примешивал какие-нибудь новые открытия в наружности или в характере Ольги, изобретал случай нечаянно встретиться с ней, послать книгу, сделать сюрприз.

Говоря с ней при свидании, он продолжал разговор дома, так что иногда войдет Захар, а он чрезвычайно нежным и мягким тоном, каким мысленно разговаривал с Ольгой, скажет ему: «Ты, лысый черт, мне давеча опять нечищенные сапоги подал: смотри, чтоб я с тобой не разделался. .».

Но беззаботность отлетела от него с той минуты, как она в первый раз пела ему. Он уже жил не прежней жизнью, когда ему все равно было, лежать ли на спине и смотреть в стену, сидит ли у него Алексеев, или он сам сидит у Ивана Герасимовича, в те дни, когда он не ждал никого и ничего ни от дня, ни от ночи.

Теперь и день и ночь, всякий час утра и вечера принимал свой образ и был или исполнен радужного сияния, или бесцветен и сумрачен, смотря по тому, наполнялся ли этот час присутствием Ольги или протекал без нее и, следовательно, протекал вяло и скучно.

Все это отражалось в его существе: в голове у него была сеть ежедневных, ежеминутных соображений, догадок, предвидений, мучений неизвестности, и все от вопросов, увидит или не увидит он ее? Что она скажет и сделает? Как посмотрит, какое даст ему поручение, о чем спросит, будет довольна или нет? Все эти соображения сделались насущными вопросами его жизни.

«Ах, если б испытывать только эту теплоту любви да не испытывать ее тревог! [3] — мечтал он. — Нет, жизнь трогает, куда ни уйди, так и жжет! Сколько нового движения вдруг втеснилось в нее, занятий! Любовь — претрудная школа жизни!»

Он уж прочел несколько книг: Ольга просила его рассказывать содержание и с неимоверным терпением слушала его рассказ. Он написал несколько писем деревню, сменил старосту и вошел в сношения с одним из соседей чрез посредство Штольца. Он бы даже поехал в деревню, если б считал возможным уехать от Ольги.

Он не ужинал и вот уже две недели не знает, что значит прилечь днем.

В две-три недели они объездили все петербургские окрестности. Тетка с Ольгой, барон и он являлись на загородных концертах, на больших праздниках. Поговаривают съездить в Финляндию, на Иматру.[4]

Что касается Обломова, он дальше парка никуда бы не тронулся, да Ольга все придумывает, и лишь только он на приглашение куда-нибудь поехать замнется ответом, наверное поездка предпринималась.

И тогда не было конца улыбкам Ольги. На пять верст кругом дачи не было пригорка, на который бы он не влезал по нескольку раз.

Между тем симпатия их росла, развивалась и проявлялась по своим непреложным законам. Ольга расцветала вместе с чувством. В глазах прибавилось света, в движениях грации; грудь ее так пышно развилась, так мерно волновалась.

«Ты похорошела на даче, Ольга», — говорила ей тетка. В улыбке барона выражался тот же комплимент.

Ольга, краснея, клала голову на плечо тетки; та ласково трепала ее по щеке.

— Ольга, Ольга! — осторожно, почти шепотом, кликал однажды Обломов Ольгу внизу горы, где она назначила ему сойтись, чтоб идти гулять.

Нет ответа. Он посмотрел на часы.

— Ольга Сергевна! — вслух прибавил потом. Молчание.

Ольга сидела на горе, слышала зов и, сдерживая смех, молчала. Ей хотелось заставить его взойти на гору.

— Ольга Сергевна! — взывал он, пробравшись между кустами до половины горы и заглядывая наверх. «В половине шестого назначила она», — говорил он про себя.

Она не удержала смеха.

— Ольга, Ольга! Ах, да вы там! — сказал он и полез на гору.

— Ух! Охота же вам прятаться на горе! — Он сел подле нее. — Чтоб помучить меня, вы и сами мучитесь.

— Откуда вы? Прямо из дома? — спросила она.

— Нет, я к вам зашел; там сказали, что вы ушли.

— Что вы сегодня делали?

— Сегодня.

— Бранились с Захаром? — досказала она.

Он засмеялся этому, как делу совершенно невозможному.

— Нет, я читал «Revue».[5] Но, послушайте, Ольга. . .

Но он ничего не сказал, сел только подле нее и погрузился в созерцание ее профиля, головы, движения руки взад и вперед, как она продевала иглу в канву и вытаскивала назад. Он наводил на нее взгляд, как зажигательное стекло, и не мог отвести.

Сам он не двигался, только взгляд поворачивался то вправо, то влево, то вниз, смотря по тому, как двигалась рука. В нем была деятельная работа: усиленное кровообращение, удвоенное биение пульса и кипение у сердца — все это действовало так сильно, что он дышал медленно и тяжело, как дышат перед казнью и в момент высочайшей неги духа.

Он был нем и не мог даже пошевелиться, только влажные от умиления глаза неотразимо были устремлены на нее.

Она по временам кидала на него глубокий взгляд, читала немудреный смысл, начертанный на его лице, и думала: «Боже мой! Как он любит! Как он нежен, как нежен!». И любовалась, гордилась этим поверженным к ногам ее, ее же силою, человеком!

Момент символических намеков, знаменательных улыбок, сиреневых

веток прошел невозвратно. Любовь делалась строже, взыскательнее, стала превращаться в какую-то обязанность; явились взаимные права. Обе стороны открывались более и более: недоразумения, сомнения исчезали или уступали место более ясным и положительным вопросам.

Она все колола его легкими сарказмами за праздно убитые годы, изрекала суровый приговор, казнила его апатию глубже, действительнее, нежели Штольц; потом, по мере сближения с ним, от сарказмов над вялым и дряблым его существованием она перешла к деспотическому проявлению воли, отважно напоминала ему цель жизни и обязанностей и строго требовала движения, беспрестанно вызывала наружу его ум, то запутывая его в тонкий, жизненный, знакомый ей вопрос, то сама шла к нему с вопросом о чем-нибудь неясном, не доступном ей.

И он бился, ломал голову, изворачивался, чтоб не упасть тяжело в глазах ее или чтоб помочь ей разъяснить какой-нибудь узел, не то так геройски рассечь его.

Вся ее женская тактика была проникнута нежной симпатией; все его стремления поспеть за движением ее ума дышали страстью.

Но чаще он изнемогал, ложился у ног ее, прикладывал руку к сердцу и слушал, как оно бьется, не сводя с нее неподвижного, удивленного, восхищенного взгляда.

«Как он любит меня!» — твердила она в эти минуты, любуясь им. Если же иногда замечала она затаившиеся прежние черты в душе Обломова, — а она глубоко умела смотреть в нее, — малейшую усталость, чуть заметную дремоту жизни, на него лились упреки, к которым изредка примешивалась горечь раскаяния, боязнь ошибки.

Иногда только соберется он зевнуть, откроет рот — его поражает изумленный взгляд: он мгновенно сомкнет рот, так что зубы стукнут. Она преследовала малейшую тень сонливости даже у него на лице. Она спрашивала не только, что он делает, но и что будет делать.

Еще сильнее, нежели от упреков, просыпалась в нем бодрость, когда он замечал, что от его усталости уставала и она, делалась небрежною, холодною. Тогда в нем появлялась лихорадка жизни, сил, деятельности, и тень исчезала опять, и симпатия била опять сильным и ясным ключом.

Но все эти заботы не выходили пока из магического круга любви; деятельность его была отрицательная: он не спит, читает, иногда подумывает писать и план, много ходит, много ездит. Дальнейшее же направление, самая мысль жизни, дело — остается еще в намерениях.

«Какой еще жизни и деятельности хочет Андрей? — говорил Обломов, тараща глаза после обеда, чтоб не заснуть. — Разве это не жизнь? Разве любовь не служба? Попробовал бы он! Каждый день — верст по десяти пешком! Вчера ночевал в городе, в дрянном трактире, одетый, только сапоги снял, и Захара не было — все по милости ее поручений!»

Всего мучительнее было для него, когда Ольга предложит ему специальный вопрос и требует от него, как от какого-нибудь профессора, полного удовлетворения; а это случалось с ней часто, вовсе не из педантизма, а просто из желания знать, в чем дело. Она даже забывала часто свои цели относительно Обломова, а увлекалась самым вопросом.

«Зачем нас не учат этому?» — с задумчивой досадой говорила она, иногда с жадностью, урывками, слушая разговор о чем-нибудь, что привыкли считать ненужным женщине.

Однажды вдруг приступила к нему с вопросами о двойных звездах: он имел неосторожность сослаться на Гершеля[6] и был послан в город, должен был прочесть книгу и рассказывать ей, пока она не удовлетворилась.

В другой раз, опять по неосторожности, вырвалось у него в разговоре с бароном слова два о школах живописи — опять ему работа на неделю: читать, рассказывать; да потом еще поехали в Эрмитаж: и там еще он должен был делом подтверждать ей прочитанное.

Если он скажет что-нибудь наобум, она сейчас увидит, да тут-то и пристанет.

Потом он должен был с неделю ездить по магазинам, отыскивать гравюры с лучших картин.

Бедный Обломов то повторял зады, то бросался в книжные лавки за новыми увражами[7] и иногда целую ночь не спал, рылся, читал, чтоб утром, будто нечаянно, отвечать на вчерашний вопрос знанием, вынутым из архива памяти.

Она предлагала эти вопросы не с женскою рассеянностью, не по внушению минутного каприза знать то или другое, а настойчиво, с нетерпением, и в случае молчания Обломова казнила его продолжительным, испытующим взглядом. Как он дрожал от этого взгляда!

— Что вы не скажете ничего, молчите? — спросила она. — Можно подумать, что вам скучно.

— Ах! — произнес он, как будто приходя в себя от обморока. — Как я люблю вас!

— В самом деле? А не спроси я, оно и непохоже.

— Да неужели вы не чувствуете, что во мне происходит? — начал он. — Знаете, мне даже трудно говорить. Вот здесь. дайте руку, что-то мешает, как будто лежит что-нибудь тяжелое, точно камень, как бывает в глубоком горе. Не странно ли, что, и в горе, и в счастии, в организме один и тот же процесс: тяжело, почти больно дышать, хочется плакать! Если б я заплакал, мне так же, как в горе, от слез стало бы легко. .

Она поглядела на него молча, как будто поверяла слова его, сравнила с тем, что у него написано на лице, и улыбнулась: поверка оказалась удовлетворительною. И на ее лице разлито было дыхание счастья, но мирного, которое, казалось, ничем не возмутишь. Видно, что у ней не было тяжело на сердце, а только хорошо, как в природе в это тихое утро.

— Что со мной? — в раздумье спросил будто себя Обломов.

— Сказать что?

— Скажите.

— Вы. влюблены.

— Да, конечно, — подтвердил он, отрывая ее руку от канвы, и не поцеловал, а только крепко прижал ее пальцы к губам и располагал, кажется, держать так долго.

Она пробовала тихонько отнять, но он крепко держал.

— Ну пустите, довольно, — сказала она.

— А вы? — спросил он. — Вы... не влюблены...

— Влюблена, нет... я не знаю, боюсь этого: я вас люблю! — сказала она и поглядела на него долго и задумчиво, как будто мысленно поверяла и себя, точно ли она любит.

— Лю... блю! — произнес Обломов. — Но ведь любить можно мать, отца, няньку, даже собачонку: все это покрывается общим, собирательным понятием «люблю», как старым...

— Халатом? — сказала она, засмеявшись. — À propos,* где ваш халат?

— Какой халат? У меня никакого не было.

Она посмотрела на него с улыбкой упрека.

— Вот вы о старом халате! — сказал он. — Я жду, душа замерла у меня от нетерпения слышать, как из сердца у вас порывается чувство, каким именем назовете вы эти порывы, а вы... бог с вами, Ольга! Да, я влюблен в вас и говорю, что без этого нет и прямой любви: ни в отца, ни в мать, ни в няньку не влюбляются, а любят их..

— Не знаю, — повторила она почти про себя, все еще вникая в себя и стараясь уловить, что в ней происходит. — Не знаю, влюблена ли я в вас; если нет, то, может быть, не наступила еще минута; знаю только одно, что я так не любила ни отца, ни мать, ни няньку...

— Какая же разница? Чувствуете ли вы что-нибудь особенное?.. — добивался он.

— А вам хочется знать? — спросила она лукаво.

— Да, да, да! Неужели у вас нет потребности высказаться?

— А зачем вам хочется знать?

— Чтоб поминутно жить этим: сегодня, всю ночь, завтра — до нового свидания. Я только тем и живу.

— Вот видите, вам нужно обновлять каждый день запас вашей нежности! Вот где разница между влюбленным и любящим. Я...

— Вы? — нетерпеливо ждал он.

— Я люблю иначе, — сказала она, опрокидываясь спиной на скамью и блуждая глазами в несущихся облаках. — Мне без вас скучно; расставаться с вами не надолго — жаль, надолго — больно. Я однажды навсегда узнала, увидела и верю, что вы меня любите, — и счастлива, хоть не повторяйте мне никогда, что любите меня. Больше и лучше любить я не умею.

«Это слова. как будто Корделии!» [8] — подумал Обломов, глядя на Ольгу страстно.

— Умрете... вы, — с запинкой продолжала она, — я буду носить вечный траур по вас и никогда более не улыбнусь в жизни. Полюбите другую — роптать, проклинать не стану, а про себя пожелаю вам счастья... Для меня любовь эта — все равно что. жизнь, а жизнь.

Она искала выражения.

— Что ж жизнь, по-вашему?

---

* Кстати (*франц.*).

— Жизнь — долг, обязанность, следовательно, любовь — тоже долг: мне как будто бог послал ее, — досказала она, подняв глаза к небу, — и велел любить.

— Корделия! — вслух произнес Обломов. — И ей двадцать один год! Так вот что любовь, по-вашему! — прибавил он в раздумье.

— Да, и у меня, кажется, достанет сил прожить и пролюбить всю жизнь... Одно без другого невозможно.

«Кто ж внушил ей это! — думал Обломов, глядя на нее чуть не с благоговением. — Не путем же опыта, истязаний, огня и дыма дошла она до этого ясного и простого понимания жизни и любви».

— А есть радости живые, есть страсти? — заговорил он.

— Не знаю, — сказала она, — я не испытала и не понимаю, что это такое.

— О, как я понимаю теперь!

— Может быть, и я со временем испытаю, может быть, и у меня будут те же порывы, как у вас, так же буду глядеть при встрече на вас и не верить, точно ли вы передо мной. А это, должно быть, очень смешно! — весело прибавила она. — Какие вы глаза иногда делаете: я думаю, ma tante замечает.

— В чем же счастье у вас в любви, — спросил он, — если у вас нет тех живых радостей, какие испытываю я?

— В чем? А вот в чем! — говорила она, указывая на него, на себя, на окружавшее их уединение. — Разве это не счастье, разве я жила когда-нибудь так? Прежде я не просидела бы здесь и четверти часа одна, без книги, без музыки, между этими деревьями. Говорить с мужчиной, кроме Андрея Иваныча, мне было скучно, не о чем: я все думала, как бы остаться одной... А теперь... и молчать вдвоем весело!

Она повела глазами вокруг, по деревьям, по траве, потом остановила их на нем, улыбнулась и подала ему руку.

— Разве мне не будет больно ужо, когда вы будете уходить? — прибавила она. — Разве я не стану торопиться поскорей лечь спать, чтоб заснуть и не видать скучной ночи? Разве завтра не пошлю к вам утром? Разве...

С каждым «разве» лицо Обломова все расцветало, взгляд наполнялся лучами.

— Да, да, — повторял он, — я тоже жду утра, и мне скучна ночь, и я завтра пошлю к вам не за делом, а чтоб только произнести лишний раз и услыхать, как раздается ваше имя, узнать от людей какую-нибудь подробность о вас, позавидовать, что они уж вас видели... Мы думаем, ждем, живем и надеемся одинаково. Простите, Ольга, мои сомнения: я убеждаюсь, что вы любите меня, как не любили ни отца, ни тетку, ни...

— Ни собачонку, — добавила она.

— Верьте же мне, — заключила она, — как я вам верю, и не сомневайтесь, не тревожьте пустыми сомнениями этого счастья, а то оно улетит. Что я раз назвала своим, того уже не отдам назад, разве отнимут. Я это знаю, нужды нет, что я молода, но... Знаете ли, — сказала она с уверенностью в голосе, — в месяц, с тех пор, как знаю вас, я много

передумала и испытала, как будто прочла большую книгу, так, про себя, понемногу... Не сомневайтесь же...

— Не могу не сомневаться, — перебил он, — не требуйте этого. Теперь, при вас, я уверен во всем: ваш взгляд, голос, все проникнуто истиной и симпатией. Вы смотрите на меня, как будто говорите: мне слов не надо, я умею читать ваши взгляды. Но когда вас нет, начинается такая мучительная игра в сомнения, в вопросы, и мне опять надо бежать к вам, опять взглянуть на вас, без этого я не верю. Что это?

— А я верю вам: отчего же?

— Еще бы вы не верили! Перед вами сумасшедший, зараженный страстью! В глазах моих вы видите, я думаю, себя, как в зеркале. Притом вам двадцать лет; посмотрите на себя: может ли мужчина, встретя вас, не заплатить вам дань удивления... хоть взглядом? А знать вас, слушать, глядеть на вас подолгу, любить — о, да тут с ума сойдешь! А вы так ровны, покойны; и если пройдут сутки, двои, и я не услышу от вас «люблю...», здесь начинается тревога...

Он указал на сердце.

— Люблю, люблю, люблю — вот вам на трое суток запаса! — сказала она, вставая со скамьи.

— Вы все шутите, а мне-то каково! — вздохнув, заметил он, спускаясь с нею с горы.

Так разыгрывался между ними все тот же мотив в разнообразных варьяциях. Свидания, разговоры — все это была одна песнь, одни звуки, один свет, который горел ярко, и только преломлялись и дробились лучи его на розовые, на зеленые, на палевые и трепетали в окружавшей их атмосфере. Каждый день и час приносил новые звуки и лучи, но свет горел один, мотив звучал все тот же.

И он, и она прислушивались к этим звукам, уловляли их и спешили выпевать, что каждый слышит, друг перед другом, не подозревая, что завтра зазвучат другие звуки, явятся иные лучи, и забывая на другой день, что вчера было пение другое.

Она одевала излияния сердца в те краски, какими горело ее воображение в настоящий момент, и веровала, что они верны природе, и спешила в невинном и бессознательном кокетстве явиться в прекрасном уборе перед глазами своего друга.

Он веровал еще больше в эти волшебные звуки, в обаятельный свет и спешил предстать пред ней во всеоружии страсти, показать ей весь блеск и всю силу огня, который пожирал его душу.

Они не лгали ни перед собой, ни друг другу: они выдавали то, что говорило сердце, а голос его проходил чрез воображение.

Обломову нужды в сущности не было, являлась ли Ольга Корделией и осталась ли бы верна этому образу или пошла бы новой тропой и преобразилась в другое видение, лишь бы она являлась в тех же красках и лучах, в каких она жила в его сердце, лишь бы ему было хорошо.

И Ольга не справлялась, поднимет ли страстный друг ее перчатку, если б она бросила ее в пасть ко льву, бросится ли для нее в бездну,[9] лишь бы она видела симптомы этой страсти, лишь бы он оставался верен

идеалу мужчины, и притом мужчины, просыпающегося чрез нее к жизни, лишь бы от луча ее взгляда, от ее улыбки горел огонь бодрости в нем и он не переставал бы видеть в ней цель жизни.

И потому в мелькнувшем образе Корделии, в огне страсти Обломова отразилось только одно мгновение, одно эфемерное дыхание любви, одно ее утро, один прихотливый узор. А завтра, завтра блеснет уже другое, может быть, такое же прекрасное, но все-таки другое...

X

Обломов был в том состоянии, когда человек только что проводил глазами закатившееся летнее солнце и наслаждается его румяными следами, не отрывая взгляда от зари, не оборачиваясь назад, откуда выходит ночь, думая только о возвращении назавтра тепла и света.

Он лежал на спине и наслаждался последними следами вчерашнего свидания. «Люблю, люблю, люблю», — дрожало еще в его ушах лучше всякого пения Ольги; еще на нем покоились последние лучи ее глубокого взгляда. Он дочитывал в нем смысл, определял степень ее любви и стал было забываться сном, как вдруг...

Завтра утром Обломов встал бледный и мрачный; на лице следы бессонницы; лоб весь в морщинах; в глазах нет огня, нет желаний. Гордость, веселый, бодрый взгляд, умеренная, сознательная торопливость движений занятого человека — все пропало.

Он вяло напился чаю, не тронул ни одной книги, не присел к столу, задумчиво закурил сигару и сел на диван. Прежде бы он лег, но теперь отвык и его даже не тянуло к подушке; однако ж он уперся локтем в нее — признак, намекавший на прежние наклонности.

Он был мрачен, иногда вздыхал, вдруг пожимал плечами, качал с сокрушением головой.

В нем что-то сильно работает, но не любовь. Образ Ольги пред ним, но он носится будто вдали, в тумане, без лучей, как чужой ему; он смотрит на него болезненным взглядом и вздыхает.

«Живи, как бог велит, а не как хочется — правило мудрое, но...» И он задумался.

«Да, нельзя жить, как хочется, — это ясно, — начал говорить в нем какой-то угрюмый, строптивый голос, — впадешь в хаос противоречий, которых не распутает один человеческий ум, как он ни глубок, как ни дерзок! Вчера пожелал, сегодня стремишься к желаемому страстно, до изнеможения, а послезавтра краснеешь, что пожелал, потом клянешь жизнь, зачем исполнилось, — ведь вот что выходит от самостоятельного и дерзкого шагания в жизни, от своевольного *хочу*. Надо идти ощупью, на многое закрывать глаза и не бредить счастьем, не сметь роптать, что оно ускользает, — вот жизнь! Кто выдумал, что она — счастье, наслаждение? Безумцы! «Жизнь есть жизнь, долг, — говорит Ольга, — обязанность, а обязанность бывает тяжела. Исполним же долг...» Он вздохнул.

«Не увидимся с Ольгой... Боже мой! Ты открыл мне глаза и указал долг, — говорил он, глядя в небо, — где же взять силы? Расстаться!

Еще есть возможность теперь, хотя с болью, зато после не будешь клясть себя, зачем не расстался? А от нее сейчас придут, она хотела прислать... Она не ожидает...»

Что за причина? Какой ветер вдруг подул на Обломова? Какие облака нанес? И отчего он поднимает такое печальное иго? А, кажется, вчера еще он глядел в душу Ольги и видел там светлый мир и светлую судьбу, прочитал свой и ее гороскоп. Что же случилось?

Должно быть, он поужинал или полежал на спине, и поэтическое настроение уступило место каким-то ужасам.

Часто случается заснуть летом в тихий, безоблачный вечер, с мерцающими звездами, и думать, как завтра будет хорошо поле при утренних светлых красках! Как весело углубиться в чащу леса и прятаться от жара!.. И вдруг просыпаешься от стука дождя, от серых печальных облаков; холодно, сыро...

Обломов с вечера по обыкновению прислушивался к биению своего сердца, углубился в анализ своего счастья и вдруг попал в каплю горечи и отравился.

Отрава подействовала сильно и быстро. Он пробежал мысленно всю свою жизнь: в сотый раз раскаяние и позднее сожаление о минувшем подступило к сердцу. Он представил себе, что б он был теперь, если б шел бодро вперед, как бы жил полнее и многостороннее, если б был деятелен, и перешел к вопросу, что он теперь и как могла, как может полюбить его Ольга и за что?

«Не ошибка ли это?» — вдруг мелькнуло у него в уме, как молния, и молния эта попала в самое сердце и разбила его. Он застонал. «Ошибка! да... вот что!» — ворочалось у него в голове.

«Люблю, люблю, люблю», — раздалось вдруг в памяти, и сердце начинало согреваться, но потом похолодело. И это троекратное «люблю» Ольги — что это? Обман ее глаз, лукавый шепот еще праздного сердца; не любовь, а только предчувствие любви!

Этот голос когда-нибудь раздастся, но так сильно зазвучит, таким грянет аккордом, что весь мир встрепенется! Узнает и тетка, и барон, и далеко раздастся гул от этого голоса! Не станет то чувство пробираться так тихо, как ручей, прячась в траве, с едва слышным журчаньем.

Она любит теперь, как вышивает по канве: тихо, лениво выходит узор, она еще ленивее развертывает его, любуется, потом положит и забудет. Да, это только приготовление к любви, опыт, а он — субъект, который подвернулся первый, немного сносный, для опыта, по случаю...

Ведь случай свел и сблизил их. Она бы его не заметила: Штольц указал на него, заразил молодое, впечатлительное сердце своим участием, явилось сострадание к его положению, самолюбивая забота стряхнуть сон с ленивой души, потом оставить ее.

«Вот оно что! — с ужасом говорил он, вставая с постели и зажигая дрожащей рукой свечку. — Больше ничего тут нет и не было! Она готова была к воспринятию любви, сердце ее ждало чутко, и он встретился нечаянно, попал ошибкой... Другой только явится — и она с ужасом отрезвится от ошибки! Как она взглянет тогда на него, как отвернется...

ужасно! Я похищаю чужое! Я — вор! Что я делаю, что я делаю? Как я ослеп! — Боже мой!»

Он посмотрел в зеркало: бледен, желт, глаза тусклые. Он вспомнил тех молодых счастливцев, с подернутым влагой задумчивым, но сильным и глубоким взглядом, как у нее, с трепещущей искрой в глазах, с уверенностью на победу в улыбке, с такой бодрой походкой, с звучным голосом. И он дождется, когда один из них явится: она вспыхнет вдруг, взглянет на него, Обломова, и... захохочет!

Он опять поглядел в зеркало. «Этаких не любят!» — сказал он.

Потом лег и припал лицом к подушке. «Прощай, Ольга, будь счастлива!» — заключил он.

— Захар! — кликнул он утром.

— Чего изволите?

— Если от Ильинских придет человек за мной, скажи, что меня дома нет, в город уехал.

— Слушаю.

«Да... нет, я лучше напишу к ней, — сказал он сам себе, — а то дико покажется ей, что я вдруг пропал. Объяснение необходимо».

Он сел к столу и начал писать быстро, с жаром, с лихорадочной поспешностью, не так, как в начале мая писал к домовому хозяину. Ни разу не произошло близкой и неприятной встречи двух *которых* и двух *что*.

«Вам странно, Ольга Сергевна (писал он), вместо меня самого получить это письмо, когда мы так часто видимся. Прочитайте до конца, и вы увидите, что мне иначе поступить нельзя. Надо было бы начать с этого письма: тогда мы оба избавились бы многих упреков совести впереди; но и теперь не поздно. Мы полюбили друг друга так внезапно, так быстро, как будто оба вдруг сделались больны, и это мне мешало очнуться ранее. Притом, глядя на вас, слушая вас по целым часам, кто бы добровольно захотел принимать на себя тяжелую обязанность отрезвляться от очарования? Где напасешься на каждый миг оглядки и силы воли, чтоб остановиться у всякой покатости и не увлечься по ее склону? И я всякий день думал: „Дальше не увлекусь, я остановлюсь: от меня зависит“ — и увлекся, и теперь настает борьба, в которой требую вашей помощи. Я только сегодня, в эту ночь, понял, как быстро скользят ноги мои: вчера только удалось мне заглянуть поглубже в пропасть, куда я падаю, и я решился остановиться.

Я говорю только о себе — не из эгоизма, а потому, что, когда я буду лежать на дне этой пропасти, вы всё будете, как чистый ангел, летать высоко, и не знаю, захотите ли бросить в нее взгляд. Послушайте, без всяких намеков, скажу прямо и просто: вы меня не любите и не можете любить. Послушайтесь моей опытности и поверьте безусловно. Ведь мое сердце начало биться давно: положим, билось фальшиво, невпопад, но это самое научило меня различать его правильное биение от случайного. Вам нельзя, а мне можно и должно знать, где истина, где заблуждение, и на мне лежит обязанность предостеречь того, кто еще не успел узнать этого. И вот я предостерегаю вас: вы в заблуждении, оглянитесь!

Пока между нами любовь появилась в виде легкого, улыбающегося видения, пока она звучала в Casta diva, носилась в запахе сиреневой ветки, в невысказанном участии, в стыдливом взгляде, я не доверял ей, принимая ее за игру воображения и шепот самолюбия. Но шалости прошли; я стал болен любовью, почувствовал симптомы страсти; вы стали задумчивы, серьезны; отдали мне ваши досуги; у вас заговорили нервы; вы начали волноваться, и тогда, то есть теперь только, я испугался и почувствовал, что на меня падает обязанность остановиться и сказать, что это такое.

Я сказал вам, что люблю вас, вы ответили тем же — слышите ли, какой диссонанс звучит в этом? Не слышите? Так услышите позже, когда я уже буду в бездне. Посмотрите на меня, вдумайтесь в мое существование: можно ли вам любить меня, любите ли вы меня? „Люблю, люблю, люблю!“ — сказали вы вчера. „Нет, нет, нет!“ — твердо отвечаю я.

Вы не любите меня, но вы не лжете — спешу прибавить — не обманываете меня; вы не можете сказать *да*, когда в вас говорит *нет*. Я только хочу доказать вам, что ваше настоящее *люблю* не есть настоящая любовь, а будущая; это только бессознательная потребность любить, которая, за недостатком настоящей пищи, за отсутствием огня, горит фальшивым, негреющим светом, высказывается иногда у женщин в ласках к ребенку, к другой женщине, даже просто в слезах или в истерических припадках. Мне с самого начала следовало бы строго сказать вам: „Вы ошиблись, перед вами не тот, кого вы ждали, о ком мечтали. Погодите, он придет, и тогда вы очнетесь; вам будет досадно и стыдно за свою ошибку, а мне эта досада и стыд сделают боль“, — вот что следовало бы мне сказать вам, если б я от природы был попрозорливее умом и пободрее душой, если б, наконец, был искреннее... Я и говорил, но, помните, как: с боязнью, чтоб вы не поверили, чтоб этого не случилось; я вперед говорил все, что могут потом сказать другие, чтоб приготовить вас не слушать и не верить, а сам торопился видеться с вами и думал: „Когда-то еще другой придет, я пока счастлив“ Вот она, логика увлечения и страстей.

Теперь уже я думаю иначе. А что будет, когда я привяжусь к ней, когда видеться — сделается не роскошью жизни, а необходимостью, когда любовь вопьется в сердце (недаром я чувствую там отверделость)? Как оторваться тогда? Переживешь ли эту боль? Худо будет мне. Я и теперь без ужаса не могу подумать об этом. Если б вы были опытнее, старше, тогда бы я благословил свое счастье и подал вам руку навсегда. А то...

Зачем же я пишу? Зачем не пришел прямо сказать сам, что желание видеться с вами растет с каждым днем, а видеться не следует? Сказать это вам в лицо — достанет ли духу, сами посудите! Иногда я и хочу сказать что-то похожее на это, а говорю совсем другое. Может быть, на лице вашем выразилась бы печаль (если правда, что вам нескучно было со мной), или вы, не поняв моих добрых намерений, оскорбились бы: ни того, ни другого я не перенесу, заговорю опять не то, и честные намерения разлетятся в прах и кончатся уговором видеться на другой день. Теперь, без вас, совсем не то: ваших кротких глаз, доброго, хоро-

шенького личика нет передо мной; бумага терпит и молчит, и я пишу покойно (лгу): *мы не увидимся больше* (не лгу).

Другой бы прибавил: *пишу и обливаюсь слезами*, но я не рисуюсь перед вами, не драпируюсь в свою печаль, потому что не хочу усиливать боль, растравлять сожаление, грусть. Вся эта драпировка скрывает обыкновенно умысел глубже пустить корни на почве чувства, а я хочу истребить и в вас, и в себе семена его. Да и плакать пристало или соблазнителям, которые ищут уловить фразами неосторожное самолюбие женщин, или томным мечтателям. Я говорю это, прощаясь, как прощаются с добрым другом, отпуская его в далекий путь. Недели чрез три, чрез месяц было бы поздно, трудно: любовь делает неимоверные успехи, это душевный антонов огонь. И теперь я уже ни на что не похож, не считаю часы и минуты, не знаю восхождения и захождения солнца, а считаю: видел — не видал, увижу — не увижу, приходила — не пришла, придет. Все это к лицу молодости, которая легко переносит и приятные, и неприятные волнения; а мне к лицу покой, хотя скучный, сонный, но он знаком мне; а с бурями я не управлюсь.

Многие бы удивились моему поступку: отчего бежит? скажут; другие будут смеяться надо мной; пожалуй, я и на то решаюсь. Уж если я решаюсь не видаться с вами, значит на все решаюсь.

В своей глубокой тоске немного утешаюсь тем, что этот коротенький эпизод нашей жизни мне оставит навсегда такое чистое, благоуханное воспоминание, что одного его довольно будет, чтоб не погрузиться в прежний сон души, а вам, не принеся вреда, послужит руководством в будущей, нормальной любви. Прощайте, ангел, улетайте скорее, как испуганная птичка улетает с ветки, где села ошибкой, так же легко, бодро и весело, как она».

Обломов с одушевлением писал; перо летало по страницам. Глаза сияли, щеки горели. Письмо вышло длинно, как все любовные письма: любовники страх как болтливы.

«Странно! Мне уж не скучно, не тяжело! — думал он. — Я почти счастлив... Отчего это? Должно быть, оттого, что я сбыл груз души в письмо».

Он перечитал письмо, сложил и запечатал.

— Захар! — сказал он. — Когда придет человек, отдай ему это письмо к барышне.

— Слушаю, — сказал Захар.

Обломову в самом деле стало почти весело. Он сел с ногами на диван и даже спросил: нет ли чего позавтракать. Съел два яйца и закурил сигару. И сердце, и голова у него были наполнены; он жил. Он представлял себе, как Ольга получит письмо, как изумится, какое сделает лицо, когда прочтет. Что будет потом?

Он наслаждался перспективой этого дня, новостью положения.. Он с замиранием сердца прислушивался к стуку двери, не приходил ли человек, не читает ли уже Ольга письма.. Нет, в передней тихо.

«Что ж бы это значило? — с беспокойством думал он, — никого не было: как же так?»

Тайный голос тут же шептал ему: «Отчего ты беспокоишься? Ведь тебе это и нужно, чтоб не было, чтоб разорвать сношения?». Но он заглушал этот голос.

Чрез полчаса он докликался Захара со двора, где он сидел с кучером.

— Не было никого? — спросил он. — Не приходили?

— Нет, приходили, — отвечал Захар.

— Что ж ты?

— Сказал, что вас нет: в город, дескать, уехали.

Обломов вытаращил на него глаза.

— Зачем же ты это сказал? — спросил он. — Я что тебе велел, когда человек придет?

— Да не человек приходил, горничная, — с невозмутимым хладнокровием отозвался Захар.

— А письмо отдал?

— Никак нет: ведь вы сначала велели сказать, что дома нет, а потом велели отдать письмо. Вот как придет человек, так отдам.

— Нет, нет, ты... просто душегубец! Где письмо? Подай сюда!

Захар принес письмо, уже значительно запачканное.

— Ты руки мой, смотри! — злобно сказал Обломов, указывая на пятно.

— У меня руки чисты, — отозвался Захар, глядя в сторону.

— Анисья, Анисья! — закричал Обломов.

Анисья выставилась до половины из передней.

— Посмотри, что делает Захар? — пожаловался он ей. — На вот письмо и отдай его человеку или горничной, кто придет от Ильинских, чтоб барышне отдали, слышишь?

— Слышу, батюшка. Пожалуйте, отдам.

Но только она вышла в переднюю, Захар вырвал у ней письмо.

— Ступай, ступай, — закричал он, — знай свое бабье дело!

Вскоре опять прибежала горничная. Захар стал отпирать ей дверь, а Анисья подошла было к ней, но Захар яростно взглянул на нее.

— Ты чего тут? — спросил он хрипло.

— Я пришла только послушать, как ты...

— Ну, ну, ну! — загремел он, замахиваясь на нее локтем. — Туда же!

Она усмехнулась и пошла, но из другой комнаты в щелку смотрела, то ли сделает Захар, что велел барин.

Илья Ильич, услышав шум, выскочил сам.

— Что ты, Катя? — спросил он.

— Барышня приказали спросить, куда вы уехали? А вы и не уехали, дома! Побегу сказать, — говорила она и побежала было.

— Я дома. Это вот все врет, — сказал Обломов. — На вот, отдай барышне письмо!

— Слушаю, отдам!

— Где барышня теперь?

— Они по деревне пошли, велели сказать, что если вы кончили книжку, так чтоб пожаловали в сад часу во втором.

Она ушла.

«Нет, не пойду... зачем раздражать чувство, когда все должно быть кончено?..» — думал Обломов, направляясь в деревню.

Он издали видел, как Ольга шла по горе, как догнала ее Катя и отдала письмо; видел, как Ольга на минуту остановилась, посмотрела на письмо, подумала, потом кивнула Кате и вошла в аллею парка.

Обломов пошел в обход, мимо горы, с другого конца вошел в ту же аллею и, дойдя до средины, сел в траве, между кустами, и ждал.

«Она пройдет здесь, — думал он, — я только погляжу незаметно, что она, и удалюсь навсегда».

Он ждал с замирающим сердцем ее шагов. Нет, тихо. Природа жила деятельною жизнью; вокруг кипела невидимая, мелкая работа, а все, казалось, лежит в торжественном покое.

Между тем в траве все двигалось, ползало, суетилось. Вон муравьи бегут в разные стороны так хлопотливо и суетливо, сталкиваются, разбегаются, торопятся, все равно как посмотреть с высоты на какой-нибудь людской рынок: те же кучки, та же толкотня, так же гомозится народ.

Вот шмель жужжит около цветка и вползает в его чашечку; вот мухи тучей лепятся около выступившей капли сока на трещине липы; вот птица где-то в чаще давно все повторяет один и тот же звук, может быть зовет другую.

Вот две бабочки, вертясь друг около друга в воздухе, опрометью, как в вальсе, мчатся около древесных стволов. Трава сильно пахнет; из нее раздается неумолкаемый треск...

«Какая тут возня! — думал Обломов, вглядываясь в эту суету и вслушиваясь в мелкий шум природы, — а снаружи все так тихо, покойно!..»

А шагов все не слыхать. Наконец, вот... «Ох! — вздохнул Обломов, тихонько раздвигая ветви. — Она, она... Что это? плачет! Боже мой!»

Ольга шла тихо и утирала платком слезы; но едва оботрет, являются новые. Она стыдится, глотает их, хочет скрыть даже от деревьев и не может. Обломов не видал никогда слез Ольги; он не ожидал их, и они будто обожгли его, но так, что ему от того было не горячо, а тепло.

Он быстро пошел за ней.

— Ольга, Ольга! — нежно говорил он, следуя за ней.

Она вздрогнула, оглянулась, поглядела на него с удивлением, потом отвернулась и пошла дальше.

Он пошел рядом с ней.

— Вы плачете? — сказал он.

У ней слезы полились сильнее. Она уже не могла удержать их, прижала платок к лицу, разразилась рыданием и села на первую скамью.

— Что я наделал! — шептал он с ужасом, взяв ее руку и стараясь оторвать от лица.

— Оставьте меня! — проговорила она. — Уйдите. Зачем вы здесь? Я знаю, что я не должна плакать: о чем? Вы правы: да, все может случиться.

— Что делать, чтоб не было этих слез? — спрашивал он, став перед ней на колени. — Говорите, приказывайте: я готов на все...

— Вы сделали, чтоб были слезы, а остановить их не в вашей власти... Вы не так сильны! Пустите! — говорила она, махая себе платком в лицо.

Он смотрел на нее и мысленно читал себе проклятия.

— Несчастное письмо! — произнес он с раскаянием.

Она открыла рабочую корзинку, вынула письмо и подала ему.

— Возьмите, — сказала она, — и унесите его с собой, чтоб мне долго еще не плакать, глядя на него.

Он молча спрятал его в карман и сидел, повесив голову.

— По крайней мере вы отдадите справедливость моим намерениям, Ольга? — тихо говорил он. — Это доказательство, как мне дорого ваше счастье.

— Да, дорого! — вздохнув, сказала она. — Нет, Илья Ильич, вам, должно быть, завидно стало, что я так тихо была счастлива, и вы поспешили возмутить счастье.

— Возмутить! Так вы не читали моего письма? Я вам повторю..

— Не дочитала, потому что глаза залились слезами: я еще глупа! Но я угадала остальное: не повторяйте, чтоб больше не плакать...

Слезы закапали опять.

— Не затем ли я отказываюсь от вас, — начал он, — что предвижу ваше счастье впереди, что жертвую ему собой?.. Разве я делаю это хладнокровно? Разве у меня не плачет все внутри? Зачем же я это делаю?

— Зачем? — повторила она, вдруг перестав плакать и обернувшись к нему. — Затем же, зачем спрятались теперь в кусты, чтоб подсмотреть, буду ли я плакать и как я буду плакать — вот зачем! Если б вы хотели искренно того, что написано в письме, если б были убеждены, что надо расстаться, вы бы уехали за границу, не повидавшись со мной.

— Какая мысль!.. — заговорил он с упреком и не договорил. Его поразило это предположение, потому что ему вдруг стало ясно, что это правда.

— Да, — подтвердила она, — вчера вам нужно было мое *люблю*, сегодня понадобились слезы, а завтра, может быть, вы захотите видеть, как я умираю.

— Ольга, можно ли так обижать меня! Ужели вы не верите, что я отдал бы теперь полжизни, чтоб услышать ваш смех и не видеть слез...

— Да, теперь, может быть, когда уже видели, как плачет о вас женщина... Нет, — прибавила она, — у вас нет сердца. Вы не хотели моих слез, говорите вы, так бы и не сделали, если б не хотели...

— Да разве я знал?!.. — с вопросом и восклицанием в голосе сказал он, прикладывая обе ладони к груди.

— У сердца, когда оно любит, есть свой ум, — возразила она, — оно знает, чего хочет, и знает наперед, что будет. Мне вчера нельзя было прийти сюда: к нам вдруг приехали гости, но я знала, что вы измучились бы, ожидая меня, может быть, дурно бы спали: я пришла, потому что не хотела вашего мученья... А вы... вам весело, что я плачу. Смотрите, смотрите, наслаждайтесь!

И опять заплакала.

— Я и так дурно спал, Ольга; я измучился ночь...

— И вам жаль стало, что я спала хорошо, что я не мучусь — не правда ли? Если б я не заплакала теперь, вы бы сегодня дурно спали.

— Что ж мне теперь делать: просить прощения? — с покорной нежностью сказал он.

— Просят прощения дети или когда в толпе отдавят ногу кому-нибудь, а тут извинение не поможет, — говорила она, обмахивая опять платком лицо.

— Однако, Ольга, если это правда. Если моя мысль справедлива и ваша любовь — ошибка? Если вы полюбите другого, а, взглянув на меня тогда, покраснеете.

— Так что же? — спросила она, глядя на него таким иронически-глубоким, проницательным взглядом, что он смутился.

«Она что-то хочет добыть из меня! — подумал он, — держись, Илья Ильич!»

— Как «что же»! — машинально повторил он, беспокойно глядя на нее и не догадываясь, какая мысль формируется у ней в голове, как оправдает она свое *что же*, когда, очевидно, нельзя оправдать этой любви, если она ошибка.

Она глядела на него так сознательно, с такой уверенностью, так, по-видимому, владела своею мыслью.

— Вы боитесь, — возразила она колко, — упасть «на дно бездны»; вас пугает будущая обида, что я разлюблю вас!.. «Мне будет худо», пишете вы...

Он все еще плохо понимал.

— Да ведь мне тогда будет хорошо, если я полюблю другого: значит, я буду счастлива! А вы говорите, что «предвидите мое счастье впереди и готовы пожертвовать для меня всем, даже жизнью»?

Он глядел на нее пристально и мигал редко и широко.

«Вон какая вышла логика! — шептал он. — Признаться, я не ожидал...»

А она оглядывала его так ядовито с ног до головы.

— А счастье, от которого вы с ума сходите? — продолжала она. — А эти утра и вечера, этот парк, а мое *люблю* — все это ничего не стоит, никакой цены, никакой жертвы, никакой боли?

«Ах, если б сквозь землю провалиться!» — думал он, внутренно мучась, по мере того как мысль Ольги открывалась ему вполне.

— А если, — начала она горячо вопросом, — вы устанете от этой любви, как устали от книг, от службы, от света; если со временем, без соперницы, без другой любви, уснете вдруг около меня, как у себя на диване, и голос мой не разбудит вас; если опухоль у сердца пройдет, если даже не другая женщина, а халат вам будет дороже?..

— Ольга, это невозможно! — перебил он с неудовольствием, отодвигаясь от нее.

— Отчего невозможно? Вы говорите, что я «ошибаюсь, что полюблю другого», а я думаю иногда, что вы просто разлюбите меня. И что тогда? Как я оправдаю себя в том, что делаю теперь? Если не люди, не свет, что я скажу самой себе? И я иногда тоже не сплю от этого, но не тер-

заю вас догадками о будущем, потому что верю в лучшее. У меня счастье пересиливает боязнь. Я во что-нибудь ценю, когда от меня у вас заблестят глаза, когда вы отыскиваете меня, карабкаясь на холмы, забываете лень и спешите для меня по жаре в город за букетом, за книгой; когда вижу, что я заставляю вас улыбаться, желать жизни... Я жду, ищу одного — счастья, и верю, что нашла. Если ошибусь, если правда, что я буду плакать над своей ошибкой, по крайней мере я чувствую здесь (она приложила ладонь к сердцу), что я не виновата в ней; значит, судьба не хотела этого, бог не дал. Но я не боюсь за будущие слезы; я буду плакать не напрасно: я купила ими что-нибудь... Мне так хорошо... было!.. — прибавила она.

— Пусть же будет опять хорошо! — умолял Обломов.

— А вы видите только мрачное впереди; вам счастье нипочем... Это неблагодарность, — продолжала она, — это не любовь, это...

— Эгоизм! — досказал Обломов и не смел взглянуть на Ольгу, не смел говорить, не смел просить прощения.

— Идите, — тихо сказала она, — куда вы хотели идти.

Он поглядел на нее. Глаза у ней высохли. Она задумчиво смотрела вниз и чертила зонтиком по песку.

— Ложитесь опять на спину, — прибавила потом, — не ошибетесь, «не упадете в бездну».

— Я отравился и отравил вас, вместо того, чтоб быть просто и прямо счастливым... — бормотал он с раскаянием.

— Пейте квас: не отравитесь, — язвила она.[1]

— Ольга! Это невеликодушно! — сказал он. — После того, когда я сам казнил себя сознанием.

— Да, на словах вы казните себя, бросаетесь в пропасть, отдаете полжизни, а там придет сомнение, бессонная ночь: как вы становитесь нежны к себе, осторожны, заботливы, как далеко видите вперед!..

«Какая истина, и как она проста!» — подумал Обломов, но стыдился сказать вслух. Отчего ж он не сам растолковал ее себе, а женщина, едва начинающая жить? И как это она скоро! Недавно еще таким ребенком смотрела.

— Нам больше не о чем говорить, — заключила она, вставая. — Прощайте, Илья Ильич, и будьте... покойны; ведь ваше счастье в этом.

— Ольга! Нет, ради бога, нет! Теперь, когда все стало опять ясно, не гоните меня... — говорил он, взяв ее за руку.

— Чего же вам надо от меня? Вы сомневаетесь, не ошибка ли моя любовь к вам: я не могу успокоить вашего сомнения; может быть, и ошибка — я не знаю...

Он выпустил ее руку. Опять занесен нож над ним.

— Как не знаете? Разве вы не чувствуете? — спросил он опять с сомнением на лице. — Разве вы подозреваете?

— Я ничего не подозреваю; я сказала вам вчера, что я чувствую, а что будет через год — не знаю. Да разве после одного счастья бывает другое, потом третье, такое же? — спрашивала она, глядя на него во все глаза. — Говорите, вы опытнее меня.

Но ему не хотелось уже утверждать ее в этой мысли, и он молчал, покачивая одной рукой акацию.

— Нет, любят только однажды! — повторил он, как школьник, заученную фразу.

— Вот видите: и я верю в это, — добавила она. — Если же это не так, то, может быть, и я разлюблю вас, может быть, мне будет больно от ошибки и вам тоже; может быть, мы расстанемся!.. Любить два, три раза... нет, нет... Я не хочу верить этому!

Он вздохнул. Это *может быть* ворочало у него душу, и он задумчиво плелся за ней. Но ему с каждым шагом становилось легче; выдуманная им ночью *ошибка* было такое отдаленное будущее... «Ведь не одна любовь, ведь вся жизнь такова... — вдруг пришло ему в голову, — и если отталкивать всякий случай, как ошибку, когда же будет — не ошибка? Что же я? Как будто ослеп...»

— Ольга, — сказал он, едва касаясь двумя пальцами ее талии (она остановилась), — вы умнее меня.

Она потрясла головой.

— Нет, проще и смелее. Чего вы боитесь? Ужели вы не шутя думаете, что можно разлюбить? — с гордою уверенностью спросила она.

— Теперь и я не боюсь! — бодро сказал он. — С вами не страшна судьба!

— Эти слова я недавно где-то читала... у Сю, кажется, — вдруг возразила она с иронией, обернувшись к нему, — только их там говорит женщина мужчине...

У Обломова краска бросилась в лицо.

— Ольга! Пусть будет все по-вчерашнему, — умолял он, — я не буду бояться *ошибок*.

Она молчала.

— Да? — робко спрашивал он.

Она молчала.

— Ну, если не хотите сказать, дайте знак какой-нибудь... ветку сирени..

— Сирени... отошли, пропали! — отвечала она. — Вон, видите, какие остались: поблеклые!

— Отошли, поблекли! — повторил он, глядя на сирени. — И письмо отошло! — вдруг сказал он.

Она потрясла отрицательно головой. Он шел за ней и рассуждал про себя о письме, о вчерашнем счастье, о поблекшей сирени.

«В самом деле, сирени вянут! — думал он. — Зачем это письмо? К чему я не спал всю ночь, писал утром? Вот теперь, как стало на душе опять покойно... (он зевнул)... ужасно спать хочется. А если б письма не было, и ничего б этого не было: она бы не плакала, было бы все по-вчерашнему; тихо сидели бы мы тут же, в аллее, глядели друг на друга, говорили о счастье. И сегодня бы так же, и завтра...» Он зевнул во весь рот.

Далее ему вдруг пришло в голову, что бы было, если б письмо это достигло цели, если б она разделила его мысль, испугалась, как он,

ошибок и будущих отдаленных гроз, если б послушала его так называемой опытности, благоразумия и согласилась расстаться, забыть друг друга?

Боже сохрани! Проститься, уехать в город, на новую квартиру! Потянулась бы за этим длинная ночь, скучное завтра, невыносимое послезавтра и ряд дней все бледнее, бледнее...

Как это можно? Да это смерть! А ведь было бы так! Он бы заболел. Он и не хотел разлуки, он бы не перенес ее, пришел бы умолять видеться. «Зачем же я писал письмо?» — спросил он себя.

— Ольга Сергевна! — сказал он.

— Что вам?

— Ко всем моим признаниям я должен прибавить еще одно...

— Какое?

— Ведь письмо-то было вовсе не нужно...

— Неправда, оно было необходимо.

Она оглянулась и засмеялась, увидя лицо, какое он сделал, как у него прошел вдруг сон, как растворились глаза от изумления.

— Необходимо? — повторил он медленно, вперяя удивленный взгляд в ее спину. Но там были только две кисти мантильи.

Что же значат эти слезы, упреки? Ужели хитрость? Но Ольга не хитра: это он ясно видел.

Хитрят и пробавляются хитростью только более или менее ограниченные женщины. Они за недостатком прямого ума двигают пружинами ежедневной мелкой жизни посредством хитрости, плетут, как кружево, свою домашнюю политику, не замечая, как вокруг их располагаются главные линии жизни, куда они направятся и где сойдутся.

Хитрость — все равно что мелкая монета, на которую не купишь многого. Как мелкой монетой можно прожить час, два, так хитростью можно там прикрыть что-нибудь, тут обмануть, переиначить, а ее не хватит обозреть далекий горизонт, свести начало и конец крупного, главного события.

Хитрость близорука: хорошо видит только под носом, а не вдаль, и оттого часто сама попадается в ту же ловушку, которую расставила другим.

Ольга просто умна: вот хоть сегодняшний вопрос, как легко и ясно разрешила она, да и всякий! Она тотчас видит прямой смысл события и подходит к нему по прямой дороге.

А хитрость — как мышь: обежит вокруг, прячется... Да и характер у Ольги не такой. Что же это такое? Что еще за новость?

— Почему же письмо необходимо? — спросил он.

— Почему? — повторила она и быстро обернулась к нему с веселым лицом, наслаждаясь тем, что на каждом шагу умеет ставить его в тупик. — А потому, — с расстановкой начала потом, — что вы не спали ночь, писали все для меня; я тоже эгоистка! Это, во-первых..

— За что ж вы упрекали меня сейчас, если сами соглашаетесь теперь со мной? — перебил Обломов.

— За то, что вы выдумали мучения. Я не выдумала их, они случились, и я наслаждаюсь тем, что уж прошли, а вы готовили их и наслаждались заранее. Вы — злой! за это я вас и упрекала. Потом... в письме вашем играют мысль, чувство... вы жили эту ночь и утро не по-своему, а как хотел, чтоб вы жили, ваш друг и я, — это во-вторых; наконец, в-третьих...

Она подошла к нему так близко, что кровь бросилась ему в сердце и в голову; он начал дышать тяжело, с волнением. А она смотрит ему прямо в глаза.

— В-третьих, потому, что в письме этом, как в зеркале, видна ваша нежность, ваша осторожность, забота обо мне, боязнь за мое счастье, ваша чистая совесть... все, что указал мне в вас Андрей Иваныч и что я полюбила, за что забываю вашу лень... апатию... Вы высказались там невольно: вы не эгоист, Илья Ильич, вы написали совсем не для того, чтоб расставаться, — этого вы не хотели, а потому, что боялись обмануть меня... это говорила честность, иначе бы письмо оскорбило меня и я не заплакала бы — от гордости! Видите, я знаю, за что я люблю вас, и не боюсь ошибки: я в вас не ошибаюсь...

Она показалась Обломову в блеске, в сиянии, когда говорила это. Глаза у ней горели таким торжеством любви, сознанием своей силы; на щеках рдели два розовые пятна. И он, он был причиной этого! Движением своего честного сердца он бросил ей в душу этот огонь, эту игру, этот блеск.

— Ольга!.. Вы... лучше всех женщин, вы первая женщина в мире! — сказал он в восторге и, не помня себя, простер руки, наклонился к ней.

— Ради бога. . один поцелуй, в залог невыразимого счастья, — прошептал он, как в бреду.

Она мгновенно подалась на шаг назад; торжественное сияние, краски слетели с лица; кроткие глаза заблистали грозой.

— Никогда! Никогда! Не подходите! — с испугом, почти с ужасом сказала она, вытянув обе руки и зонтик между ним и собой, и остановилась как вкопанная, окаменелая, не дыша, в грозной позе, с грозным взглядом, вполуоборот.

Он вдруг присмирел: перед ним не кроткая Ольга, а оскорбленная богиня гордости и гнева, с сжатыми губами, с молнией в глазах.

— Простите!.. — шептал он, смущенный, уничтоженный.

Она медленно обернулась и пошла, косясь боязливо через плечо, что он. А он ничего: идет тихо, будто волочит хвост, как собака, на которую топнули.

Она было прибавила шагу, но, увидя лицо его, подавила улыбку и пошла покойнее, только вздрагивала по временам. Розовое пятно появлялось на одной щеке, пропадало, потом являлось на другой.

По мере того как она шла, лицо ее прояснялось, дыхание становилось реже и покойнее, и она опять пошла ровным шагом. Она видела, как свято ее «никогда» для Обломова, и порыв гнева мало-помалу утихал и уступал место сожалению. Она шла все тише, тише.

Ей хотелось смягчить свою вспышку; она придумывала предлог заговорить.

«Все изгадил! Вот настоящая ошибка! „Никогда!“ Боже! Сирени поблекли, — думал он, глядя на висящие сирени, — *вчера* поблекло, письмо тоже поблекло, и этот миг, лучший в моей жизни, когда женщина в первый раз сказала мне, как голос с неба, что есть во мне хорошего, и он поблек!..»

Он посмотрел на Ольгу — она стоит и ждет его, потупив глаза.

— Дайте мне письмо!.. — тихо сказала она.

— Оно поблекло! — печально отвечал он, подавая письмо.

Она опять близко подвинулась к нему и наклонила еще голову; веки были опущены совсем... Она почти дрожала. Он отдал письмо: она не поднимала головы, не отходила.

— Вы меня испугали, — мягко прибавила она.

— Простите, Ольга, — бормотал он.

Она молчала.

— Это грозное «никогда!..» — сказал он печально и вздохнул.

— Поблекнет! — чуть слышно прошептала она, краснея. Она бросила на него стыдливый, ласковый взгляд, взяла обе его руки, крепко сжала в своих, потом приложила их к своему сердцу.

— Слышите, как бьется! — сказала она. — Вы испугали меня! Пустите!

И, не взглянув на него, обернулась и побежала по дорожке, подняв спереди немного платье.

— Куда вы так? — говорил он. — Я устал, не могу за вами...

— Оставьте меня. Я бегу петь, петь, петь!.. — твердила она с пылающим лицом. — Мне теснит грудь, мне почти больно!

Он остался на месте и долго смотрел ей вслед, как улетающему ангелу.

«Ужели и этот миг поблекнет?» — почти печально спрашивал он, и сам не чувствовал, идет ли он, стоит ли на месте.

«Сирени отошли, — думал он, — вчера отошло, и ночь с призраками, с удушьем тоже отошла... Да! и этот миг отойдет, как сирени! Но когда отходила сегодняшняя ночь, в это время уже расцветало нынешнее утро...»

«Что ж это такое? — вслух сказал он в забывчивости. — И — любовь тоже. любовь? А я думал, что она, как знойный полдень, повиснет над любящимися и ничто не двигнется и не дохнет в ее атмосфере: и в любви нет покоя, и она все меняется, все движется куда-то вперед, вперед... „как вся жизнь“, говорил Штольц. И не родился еще Иисус Навин,[2] который бы сказал ей: „Стой и не движись!“ Что ж будет завтра?» — тревожно спросил он себя и задумчиво, лениво пошел домой.

Проходя мимо окон Ольги, он слышал, как стесненная грудь ее облегчалась в звуках Шуберта, как будто рыдала от счастья.

Боже мой! Как хорошо жить на свете!

XI

Обломов дома нашел еще письмо от Штольца, которое начиналось и кончалось словами: «Теперь или никогда!», потом было исполнено упреков в неподвижности, потом приглашений приехать непременно в Швейцарию, куда собирался Штольц, и, наконец, в Италию.

Если же не это, так он посылал Обломова в деревню, поверить свои дела, встряхнуть запущенную жизнь мужиков, поверить и определить свой доход и при себе распорядиться постройкой нового дома.

«Помни наш уговор: теперь или никогда», — заключил он.

«Теперь, теперь, теперь!» — повторил Обломов. — Андрей не знает, какая поэма разыгрывается в моей жизни. Какие ему еще дела? Разве я могу когда-нибудь и чем-нибудь быть так занят? Попробовал бы он! Вот почитаешь о французах, об англичанах: будто они всё работают, будто все дело на уме! Совсем нет! Ездят себе по всей Европе, иные даже в Азию и в Африку, так, без всякого дела: кто рисовать альбом, или древности откапывать, кто стрелять львов или змей ловить.[1] Не то, так дома сидят в благородной праздности;[2] завтракают, обедают с приятелями, с женщинами — вот и все дело! Что ж я за каторжник? Андрей только выдумал: «Работай да работай, как лошадь!». К чему? Я сыт, одет. Однако Ольга опять спрашивала, намерен ли я съездить в Обломовку...

Он бросился писать, соображать, ездил даже к архитектору. Вскоре на маленьком столике у него разложен был план дома, сада. Дом семейный, просторный, с двумя балконами.

«Тут я, тут Ольга, тут спальня, детская... — улыбаясь, думал он. — Но мужики, мужики... — и улыбка слетала, забота морщила ему лоб. — Сосед пишет, входит в подробности, говорит о запашке, об умолоте... Экая скука! да еще предлагает на общий счет проложить дорогу в большое торговое село, с мостом через речку, просит три тысячи денег, хочет, чтоб я заложил Обломовку... А почем я знаю, нужно ли это? Выйдет ли толк? Не обманывает ли он? Положим, он честный человек: Штольц его знает, да ведь он тоже может обмануться, а я деньги-то ухну! Три тысячи — такую кучу! Где их взять? Нет, страшно! Еще пишет, чтоб выселить некоторых мужиков на пустошь,[3] и требует поскорей ответа — все поскорей. Он берется выслать все документы для заклада имения в совет.[4] „Пришли я ему доверенность, в палату ступай засвидетельствовать“ — вон чего захотел! А я и не знаю, где палата, как и двери-то отворяются туда».

Обломов другую неделю не отвечал ему, между тем даже и Ольга спрашивает, был ли он в палате. Недавно Штольц также прислал письмо и к нему, и к ней, спрашивает: «Что он делает?».

Впрочем, Ольга могла только поверхностно наблюдать за деятельностью своего друга, и то в доступной ей сфере. Весело ли он смотрит, охотно ли ездит всюду, является ли в условный час в рощу, насколько занимает его городская новость, общий разговор. Всего ревнивее следит она, не выпускает ли он из вида главную цель жизни. Если она и спро-

сила его о палате, так затем только, чтоб отвечать что-нибудь Штольцу о делах его друга.

Лето в самом разгаре; июль проходит; погода отличная. С Ольгой Обломов почти не расстается. В ясный день он в парке, в жаркий полдень теряется с ней в роще, между сосен, сидит у ее ног, читает ей; она уже вышивает другой лоскуток канвы — для него. И у них царствует жаркое лето: набегают иногда облака и проходят.

Если ему и снятся тяжелые сны и стучатся в сердце сомнения, Ольга, как ангел, стоит на страже; она взглянет ему своими светлыми глазами в лицо, добудет, что у него на сердце, — и все опять тихо, и опять чувство течет плавно, как река, с отражением новых узоров неба.

Взгляд Ольги на жизнь, на любовь, на все сделался еще яснее, определеннее. Она увереннее прежнего глядит около себя, не смущается будущим; в ней развернулись новые стороны ума, новые черты характера. Он проявляется то поэтически разнообразно, глубоко, то правильно, ясно, постепенно и естественно...

У ней есть какое-то упорство, которое пересиливает не только судьбу, но даже лень и апатию Обломова. Если у ней явится какое-нибудь намерение, так дело и закипит. Только и слышишь об этом. Если и не слышишь, то видишь, что у ней на уме все одно, что она не забудет, не отстанет, не растеряется, все сообразит и добьется, чего искала.

Он не мог понять, откуда у ней является эта сила, этот такт — знать и уметь, как и что делать, какое бы событие ни явилось.

«Это оттого, — думал он, — что у ней одна бровь никогда не лежит прямо, а все немного поднявшись, и над ней такая тоненькая, чуть заметная складка... Там, в этой складке, гнездится у ней упорство».

Какое покойное, светлое выражение ни ляжет ей на лицо, а эта складка не разглаживается и бровь не ложится ровно. Но внешней силы, резких приемов и наклонностей у ней нет. Настойчивость в намерениях и упорство ни на шаг не увлекают ее из женской сферы.

Она не хочет быть львицей, обдать резкой речью неловкого поклонника, изумить быстротой ума всю гостиную, чтоб кто-нибудь из угла закричал: «браво! браво!».

В ней даже есть робость, свойственная многим женщинам: она, правда, не задрожит, увидя мышонка, не упадет в обморок от падения стула, но побоится пойти подальше от дома, своротит, завидя мужика, который ей покажется подозрительным, закроет на ночь окно, чтоб воры не влезли, — все по-женски.

Потом, она так доступна чувству сострадания, жалости! У ней нетрудно вызвать слезы; к сердцу ее доступ легок. В любви она так нежна; в ее отношениях ко всем столько мягкости, ласкового внимания — словом, она женщина!

Иногда речь ее и сверкнет искрой сарказма, но там блещет такая грация, такой кроткий, милый ум, что всякий с радостью подставит лоб!

Зато она не боится сквозного ветра, ходит легко одетая в сумерки — ей ничего! В ней играет здоровье; кушает она с аппетитом; у ней есть любимые блюда; она знает, как и готовить их.

Да это все знают многие, но многие не знают, что делать в том или другом случае, а если и знают, то только заученное, слышанное, и не знают, почему так, а не иначе делают они, сошлются сейчас на авторитет тетки, кузины. . .

Многие даже не знают сами, чего им хотеть, а если и решатся на это, то вяло, так что, пожалуй, надо, пожалуй, и не надо. Это, должно быть, оттого, что у них брови лежат ровно, дугой, прощипаны пальцами и нет складки на лбу.

Между Обломовым и Ольгой установились тайные, невидимые для других отношения: всякий взгляд, каждое незначительное слово, сказанное при других, имело для них свой смысл. Они видели во всем намек на любовь.

И Ольга вспыхнет иногда при всей уверенности в себе, когда за столом расскажут историю чьей-нибудь любви, похожей на ее историю; а как все истории о любви очень сходны между собой, то ей часто приходилось краснеть.

И Обломов при намеке на это вдруг схватит в смущении за чаем такую кучу сухарей, что кто-нибудь непременно засмеется.

Они стали чутки и осторожны. Иногда Ольга не скажет тетке, что видела Обломова, и он дома объявит, что едет в город, а сам уйдет в парк.

Однако ж как ни ясен был ум Ольги, как ни сознательно смотрела она вокруг, как ни была свежа, здорова, но у нее стали являться какие-то новые, болезненные симптомы. Ею по временам овладевало беспокойство, над которым она задумывалась и не знала, как растолковать его себе.

Иногда, идучи в жаркий полдень под руку с Обломовым, она лениво обопрется на плечо его и идет машинально, в каком-то изнеможении, молчит упорно. Бодрость пропадает в ней; взгляд утомленный, без живости, делается неподвижен, устремляется куда-нибудь на одну точку, и ей лень обратить его на другой предмет.

Ей становится тяжело, что-то давит грудь, беспокоит. Она снимет мантилью, косынку с плеч, но и это не помогает — все давит, все теснит. Она бы легла под дерево и пролежала так целые часы.

Обломов теряется, машет веткой ей в лицо, но она нетерпеливым знаком устранит его заботы и мается.

Потом вдруг вздохнет, оглянется вокруг себя сознательно, поглядит на него, крепко пожмет руку, улыбнется, и опять явится бодрость, смех, и она уже владеет собой.

Особенно однажды вечером она впала в это тревожное состояние, в какой-то лунатизм любви, и явилась Обломову в новом свете.

Было душно, жарко; из леса глухо шумел теплый ветер; небо заволакивало тяжелыми облаками. Становилось все темнее и темнее.

«Дождь будет», — сказал барон и уехал домой.

Тетка ушла в свою комнату. Ольга долго, задумчиво играла на фортепиано, но потом оставила.

— Не могу, у меня пальцы дрожат, мне как будто душно, — сказала она Обломову. — Походимте по саду.

Долго ходили они молча по аллеям рука в руку. Руки у ней влажны и мягки. Они вошли в парк.

Деревья и кусты смешались в мрачную массу; в двух шагах ничего не было видно; только беловатой полосой змеились песчаные дорожки.

Ольга пристально вглядывалась в мрак и жалась к Обломову. Молча блуждали они.

— Мне страшно! — вдруг, вздрогнув, сказала она, когда они почти ощупью пробирались в узкой аллее, между двух черных, непроницаемых стен леса.

— Чего? — спросил он. — Не бойся, Ольга, я с тобой.

— Мне страшно и тебя! — говорила она шепотом. — Но как-то хорошо страшно! Сердце замирает. Дай руку, попробуй, как оно бьется.

А сама вздрагивала и озиралась вокруг.

— Видишь, видишь? — вздрогнув, шептала она, крепко хватая его обеими руками за плечо. — Ты не видишь, мелькает в темноте кто-то?

Она теснее прижалась к нему.

— Никого нет... — говорил он; но и у него мурашки поползли по спине.

— Закрой мне глаза скорей чем-нибудь... крепче! — шепотом говорила она... — Ну, теперь ничего... Это нервы, — прибавила она с волнением. — Вон опять! Смотри, кто это? Сядем где-нибудь на скамье...

Он ощупью отыскал скамью и посадил ее.

— Пойдем домой, Ольга, — уговаривал он, — ты нездорова.

Она положила ему голову на плечо.

— Нет, здесь воздух свежее, — сказала она, — у меня тут теснит, у сердца.

Она дышала горячо ему на щеку.

Он дотронулся до ее головы рукой — и голова горяча. Грудь тяжело дышит и облегчается частыми вздохами.

— Не лучше ли домой? — твердил в беспокойстве Обломов, — надо лечь...

— Нет, нет, оставь меня, не трогай. — говорила она томно, чуть слышно, — у меня здесь горит... — указывала она на грудь.

— Право, пойдем домой. — торопил Обломов.

— Нет, постой, это пройдет.

Она сжимала ему руку и по временам близко взглядывала в глаза и долго молчала. Потом начала плакать, сначала тихонько, потом навзрыд. Он растерялся.

— Ради бога, Ольга, скорей домой! — с беспокойством говорил он.

— Ничего, — отвечала она, всхлипывая, — не мешай, дай выплакаться... огонь выйдет слезами, мне легче будет; это все нервы играют...

Он слушал в темноте, как тяжело дышит она, чувствовал, как каплют ему на руку ее горячие слезы, как судорожно пожимает она ему руку.

Он не шевелил пальцем, не дышал. А голова ее лежит у него на плече, дыхание обдает ему щеку жаром... Он тоже вздрагивал, но не смел коснуться губами ее щеки.

Потом она становилась все тише, тише, дыхание делалось ровнее... Она примолкла. Он думал, не заснула ли она, и боялся шевельнуться.

— Ольга! — шепотом кликнул он.

— Что? — шепотом же ответила она и вздохнула вслух. — Вот теперь... прошло... — томно сказала, — мне легче, я дышу свободно.

— Пойдем, — говорил он.

— Пойдем! — нехотя повторила она. — Милый мой! — с негой прошептала потом, сжав ему руку, и, опершись на его плечо, нетвердыми шагами дошла до дома.

В зале он взглянул на нее: она была слаба, но улыбалась странно, бессознательной улыбкой, как будто под влиянием грезы.

Он посадил ее на диван, стал подле нее на колени и несколько раз в глубоком умилении поцеловал у ней руку.

Она все с той же улыбкой глядела на него, оставляя ему обе руки, и провожала его до дверей глазами.

Он в дверях обернулся: она все глядит ему вслед, на лице все то же изнеможение, та же жаркая улыбка, как будто она не может сладить с нею...

Он ушел в раздумье. Он где-то видал эту улыбку; он припоминал какую-то картину, на которой изображена женщина с такой улыбкой... только не Корделия...

На другой день он послал узнать о здоровье. Приказали сказать: «Слава богу, и просят сегодня кушать, а вечером все на фейерверк изволят ехать, за пять верст».

Он не поверил и отправился сам. Ольга была свежа, как цветок: в глазах блеск, бодрость, щеки рдеют румянцем, голос так звучен! Но она вдруг смутилась, чуть не вскрикнула, когда Обломов подошел к ней, и вся вспыхнула, когда он спросил: «Как она себя чувствует после вчерашнего?».

«Это маленькое нервическое расстройство, — торопливо сказала она. — Ma tante говорит, что надо раньше ложиться. Это недавно только со мной...»

Она не досказала и отвернулась, как будто просила пощады. А отчего смутилась она — и сама не знает. Отчего ее грызло и жгло воспоминание о вчерашнем вечере, об этом расстройстве?

Ей было и стыдно чего-то, и досадно на кого-то, не то на себя, не то на Обломова. А в иную минуту казалось ей, что Обломов стал ей милее, ближе, что она чувствует к нему влечение до слез, как будто она вступила с ним со вчерашнего вечера в какое-то таинственное родство...

Она долго не спала, утром ходила одна в волнении по аллее, от парка до дома и обратно, все думала, думала, теряясь в догадках, то хмурилась, то вдруг вспыхивала краской и улыбалась чему-то, и все не могла ничего решить. «Ах, Сонечка! — думала она в досаде. — Какая счастливая! Сейчас бы решила!»

А Обломов? Отчего он был нем и неподвижен с нею вчера, нужды нет, что дыхание ее обдавало жаром его щеку, что ее горячие слезы капали ему на руку, что он почти нес ее в объятиях домой, слышал нескромный шепот ее сердца?.. А другой на его месте...

Обломов хотя и прожил молодость в кругу всезнающей, давно решившей все жизненные вопросы, ни во что не верующей и все холодно, мудро анализирующей молодежи, но в душе у него теплилась вера в дружбу, в любовь, в людскую честь, и сколько ни ошибался он в людях, сколько бы ни ошибся еще, страдало его сердце, но ни разу не пошатнулось основание добра и веры в него.[5] Он втайне поклонялся чистоте женщины, признавал ее власть и права и приносил ей жертвы.

Но у него недоставало характера явно признать учение добра и уважения к невинности. Тихонько он упивался ее ароматом, но явно иногда приставал к хору циников, трепетавших даже подозрения в целомудрии или уважении к нему, и к буйному хору их прибавлял и свое легкомысленное слово.

Он никогда не вникал ясно в то, как много весит слово добра, правды, чистоты, брошенное в поток людских речей, какой глубокий извив прорывает оно; не думал, что сказанное бодро и громко, без краски ложного стыда, а с мужеством, оно не потонет в безобразных криках светских сатиров, а погрузится, как перл, в пучину общественной жизни, и всегда найдется для него раковина.

Многие запинаются на добром слове, рдея от стыда, и смело, громко произносят легкомысленное слово, не подозревая, что оно тоже, к несчастью, не пропадает даром, оставляя длинный след зла, иногда неистребимого.

Зато Обломов был прав на деле: ни одного пятна, упрека в холодном, бездушном цинизме, без увлечения и без борьбы, не лежало на его совести. Он не мог слушать ежедневных рассказов о том, как один переменил лошадей, мебель, а тот — женщину... и какие издержки повели за собой перемены.

Не раз он страдал за утраченное мужчиной достоинство и честь, плакал о грязном падении чужой ему женщины, но молчал, боясь света.

Надо было угадывать это: Ольга угадала.

Мужчины смеются над такими чудаками, но женщины сразу узнают их; чистые, целомудренные женщины любят их — по сочувствию; испорченные ищут сближения с ними — чтоб освежиться от порчи.

Лето подвигалось, уходило. Утра и вечера становились темны и сыры. Не только сирени, и липы отцвели, ягоды отошли. Обломов и Ольга виделись ежедневно.

Он догнал жизнь, то есть усвоил опять все, от чего отстал давно; знал, зачем французский посланник выехал из Рима, зачем англичане посылают корабли с войском на Восток; интересовался, когда проложат новую дорогу в Германии или Франции. Но насчет дороги через Обломовку в большое село не помышлял, в палате доверенность не засвидетельствовал и Штольцу ответа на письма не послал.

Он усвоил только то, что вращалось в кругу ежедневных разговоров в доме Ольги, что читалось в получаемых там газетах, и довольно прилежно, благодаря настойчивости Ольги, следил за текущей иностранной литературой. Все остальное утопало в сфере чистой любви.

Несмотря на частые видоизменения в этой розовой атмосфере, главным основанием была безоблачность горизонта. Если Ольге приходилось иногда раздумываться над Обломовым, над своей любовью к нему, если от этой любви оставалось праздное время и праздное место в сердце, если вопросы ее не все находили полный и всегда готовый ответ в его голове и воля его молчала на призыв ее воли, и на ее бодрость и трепетанье жизни он отвечал только неподвижно-страстным взглядом, — она впадала в тягостную задумчивость: что-то холодное, как змея, вползало в сердце, отрезвляло ее от мечты, и теплый, сказочный мир любви превращался в какой-то осенний день, когда все предметы кажутся в сером цвете.

Она искала, отчего происходит эта неполнота, неудовлетворенность счастья? Чего недостает ей? Что еще нужно? Ведь это судьба — назначение любить Обломова? Любовь эта оправдывается его кротостью, чистой верой в добро, а пуще всего нежностью, нежностью, какой она не видала никогда в глазах мужчины.

Что ж за дело, что не на всякий взгляд ее он отвечает понятным взглядом, что не то звучит иногда в его голосе, что ей как будто уже звучало однажды, не то во сне, не то наяву... Это воображение, нервы: что слушать их и мудрить?

Да наконец, если б она хотела уйти от этой любви — как уйти? Дело сделано: она уже любила, и скинуть с себя любовь по произволу, как платье, нельзя. «Не любят два раза в жизни, — думала она, — это, говорят, безнравственно...»

Так училась она любви, пытала ее и всякий новый шаг встречала слезой или улыбкой, вдумывалась в него. Потом уже являлось то сосредоточенное выражение, под которым крылись и слезы, и улыбка и которое так пугало Обломова.

Но об этих думах, об этой борьбе она и не намекала ему.

Обломов не учился любви, он засыпал в своей сладостной дремоте, о которой некогда мечтал вслух при Штольце. По временам он начинал веровать в постоянную безоблачность жизни, и опять ему снилась Обломовка, населенная добрыми, дружескими и беззаботными лицами, сиденье на террасе, раздумье от полноты удовлетворенного счастья.

Он и теперь иногда поддавался этому раздумью и даже, тайком от Ольги, раза два соснул в лесу, ожидая ее замедленного прихода... как вдруг неожиданно налетело облако.

Однажды они вдвоем откуда-то возвращались лениво, молча, и только стали переходить большую дорогу, навстречу им бежало облако пыли, и в облаке мчалась коляска, в коляске сидела Сонечка с мужем, еще какой-то господин, еще какая-то госпожа...

— Ольга! Ольга! Ольга Сергевна! — раздались крики.

Коляска остановилась. Все эти господа и госпожи вышли из нее,

окружили Ольгу, начали здороваться, чмокаться, все вдруг заговорили, долго не замечая Обломова. Потом вдруг все взглянули на него, один господин в лорнет.

— Кто это? — тихо спросила Сонечка.

— Илья Ильич Обломов! — представила его Ольга.

Все пошли до дома пешком. Обломов был не в своей тарелке; он отстал от общества и занес было ногу через плетень, чтоб ускользнуть через рожь домой. Ольга взглядом воротила его.

Оно бы ничего, но все эти господа и госпожи смотрели на него так странно; и это, пожалуй, ничего. Прежде, бывало, иначе на него и не смотрели благодаря его сонному, скучающему взгляду, небрежности в одежде.

Но тот же странный взгляд с него переносили господа и госпожи и на Ольгу. От этого сомнительного взгляда на нее у него вдруг похолодело сердце; что-то стало угрызать его, но так больно, мучительно, что он не вынес и ушел домой, и был задумчив, угрюм.

На другой день милая болтовня и ласковая шаловливость Ольги не могли развеселить его. На ее настойчивые вопросы он должен был отозваться головною болью и терпеливо позволил себе вылить на семьдесят пять копеек одеколону на голову.

Потом, на третий день, после того, когда они поздно воротились домой, тетка как-то чересчур умно поглядела на них, особенно на него, потом потупила свои большие, немного припухшие веки, а глаза всё будто смотрят и сквозь веки, и с минуту задумчиво нюхала спирт.

Обломов мучился, но молчал. Ольге поверять своих сомнений он не решался, боясь встревожить ее, испугать, и, надо правду сказать, боялся также и за себя, боялся возмутить этот невозмутимый, безоблачный мир вопросом такой строгой важности.

Это уже не вопрос о том, ошибкой или нет полюбила она его, Обломова, а не ошибка ли вся их любовь, эти свидания в лесу, наедине, иногда поздно вечером?

«Я посягал на поцелуй, — с ужасом думал он, — а ведь это уголовное преступление в кодексе нравственности, и не первое, не маловажное! Еще до него есть много степеней: пожатие руки, признание, письмо.. Это мы всё прошли. Однако ж, — думал он дальше, выпрямляя голову, — мои намерения честны, я. .»

И вдруг облако исчезло, перед ним распахнулась светлая, как праздник, Обломовка, вся в блеске, в солнечных лучах, с зелеными холмами, с серебряной речкой; он идет с Ольгой задумчиво по длинной аллее, держа ее за талию, сидит в беседке, на террасе...

Около нее все склоняют голову с уважением — словом, все то, что он говорил Штольцу.

«Да, да; но ведь этим надо было начать! — думал он опять в страхе. — Троекратное люблю, ветка сирени, признание — все это должно быть залогом счастья всей жизни и не повторяться у чистой женщины. Что ж я? Кто я?» — стучало, как молотком, ему в голову.

«Я соблазнитель, волокита! Недостает только, чтоб я, как этот скверный старый селадон,[6] с маслеными глазами и красным носом, воткнул украденный у женщины розан в петлицу и шептал на ухо приятелю о своей победе, чтоб... чтоб... Ах, боже мой, куда я зашел! Вот где пропасть! И Ольга не летает высоко над ней, она на дне ее... за что, за что...»

Он выбивался из сил, плакал, как ребенок, о том, что вдруг побледнели радужные краски его жизни и о том, что Ольга будет жертвой. Вся любовь его была преступление, пятно на совести.

Потом на минуту встревоженный ум прояснялся, когда Обломов сознавал, что всему этому есть законный исход: протянуть Ольге руку с кольцом...

«Да, да, — в радостном трепете говорил он, — и ответом будет взгляд стыдливого согласия... Она не скажет ни слова, она вспыхнет, улыбнется до дна души, потом взгляд ее наполнится слезами...»

Слезы и улыбка, молча протянутая рука, потом живая, резвая радость, счастливая торопливость в движениях, потом долгий, долгий разговор, шепот наедине, этот доверчивый шепот душ, таинственный уговор слить две жизни в одну!

В пустяках, в разговорах о будничных вещах будет сквозить никому, кроме их, невидимая любовь. И никто не посмеет оскорбить их взглядом...

Вдруг лицо его стало так строго, важно.

«Да, — говорил он с собой, — вот он где, мир прямого, честного и прочного счастья! Стыдно мне было до сих пор срывать эти цветы, носиться в аромате любви, точно мальчику, искать свиданий, ходить при луне, подслушивать биение девического сердца, ловить трепет ее мечты... Боже!»

Он покраснел до ушей.

«Сегодня же вечером Ольга узнает, какие строгие обязанности налагает любовь; сегодня будет последнее свидание наедине, сегодня...»

Он приложил руку к сердцу: оно бьется сильно, но ровно, как должно биться у честных людей. Опять он волнуется мыслию, как Ольга сначала опечалится, когда он скажет, что не надо видеться; потом он робко объявит о своем намерении, но прежде выпытает ее образ мыслей, упьется ее смущением, а там...

Дальше ему все грезится ее стыдливое согласие, улыбка и слезы, молча протянутая рука, долгий, таинственный шепот и поцелуй в виду целого света.

XII

Он побежал отыскивать Ольгу. Дома сказали, что она ушла; он в деревню — нет. Видит, вдали она, как ангел восходит на небеса, идет на гору, так легко опирается ногой, так колеблется ее стан.

Он за ней, но она едва касается травы и в самом деле как будто улетает. Он с полугоры начал звать ее.

Она подождет его, и только он подойдет сажени на две, она двинется вперед и опять оставит большое пространство между ним и собой, остановится и смеется.

Он наконец остановился, уверенный, что она не уйдет от него. И она сбежала к нему несколько шагов, подала руку и, смеясь, потащила за собой.

Они вошли в рощу: он снял шляпу, а она платком отерла ему лоб и начала махать зонтиком в лицо.

Ольга была особенно жива, болтлива, резва или вдруг увлекалась нежным порывом, потом впадала внезапно в задумчивость.

— Угадай, что я делала вчера? — спросила она, когда они сели в тени.

— Читала?

Она потрясла головой.

— Писала?

— Нет.

— Пела?

— Нет. Гадала! — сказала она. — Графинина экономка была вчера; она умеет гадать на картах, я и попросила.

— Ну, что ж?

— Ничего. Вышла дорога, потом какая-то толпа, и везде блондин, везде... Я вся покраснела, когда она при Кате вдруг сказала, что обо мне думает бубновый король. Когда она хотела говорить, о ком я думаю, я смешала карты и убежала. Ты думаешь обо мне? — вдруг спросила она.

— Ах! — сказал он. — Если б можно было поменьше думать!

— А я! — задумчиво говорила она. — Я уж и забыла, как живут иначе. Когда ты на той неделе надулся и не был два дня — помнишь, рассердился! — я вдруг переменилась, стала злая. Бранюсь с Катей, как ты с Захаром; вижу, как она потихоньку плачет, и мне вовсе не жаль ее. Не отвечаю ma tante, не слышу, что она говорит, ничего не делаю, никуда не хочу. А только ты пришел, вдруг совсем другая стала. Кате подарила лиловое платье...

— Это любовь! — патетически произнес он.

— Что? Лиловое платье?

— Все! я узнаю из твоих слов себя: и мне без тебя нет дня и жизни, ночью снятся всё какие-то цветущие долины. Увижу тебя — я добр, деятелен; нет — скучно, лень, хочется лечь и ни о чем не думать... Люби, не стыдись своей любви...

Вдруг он замолчал. «Что это я говорю? ведь я не за тем пришел!» — подумал он и стал откашливаться; нахмурил было брови.

— А если я вдруг умру? — спросила она.

— Какая мысль! — небрежно сказал он.

— Да, — говорила она, — я простужусь, сделается горячка; ты придешь сюда — меня нет, пойдешь к нам — скажут: больна; завтра то же; ставни у меня закрыты; доктор качает головой; Катя выйдет к тебе в слезах, на цыпочках и шепчет: больна, умирает...

— Ах!.. — вдруг сказал Обломов.

Она засмеялась.

— Что с тобой будет тогда? — спросила она, глядя ему в лицо.

— Что? С ума сойду или застрелюсь, а ты вдруг выздоровеешь!

— Нет, нет, перестань! — говорила она боязливо. — До чего мы договорились! Только ты не приходи ко мне мертвый: я боюсь покойников...

Он засмеялся, и она тоже.

— Боже мой, какие мы дети! — сказала она, отрезвляясь от этой болтовни.

Он опять откашлянулся.

— Послушай... я хотел сказать.

— Что? — спросила она, живо обернувшись к нему.

Он боязливо молчал.

— Ну, говори же, — спрашивала она, слегка дергая его за рукав.

— Ничего, так... — проговорил он, оробев.

— Нет, у тебя что-то есть на уме?

Он молчал.

— Если что-нибудь страшное, так лучше не говори, — сказала она. — Нет, скажи! — вдруг прибавила опять.

— Да ничего нет, вздор.

— Нет, нет, что-то есть, говори! — приставала она, крепко держа за оба борта сюртука, и держала так близко, что ему надо было ворочать лицо то вправо, то влево, чтоб не поцеловать ее.

Он бы не ворочал, но у него в ушах гремело ее грозное «никогда».

— Скажи же!.. — пристала она.

— Не могу, не нужно... — отговаривался он.

— Как же ты проповедовал, что «доверенность есть основа взаимного счастья», что «не должно быть ни одного изгиба в сердце, где бы не читал глаз друга». Чьи это слова?

— Я хотел только сказать, — начал он медленно, — что я так люблю тебя, так люблю, что если б.

Он медлил.

— Ну? — нетерпеливо спросила она.

— Что, если б ты полюбила теперь другого и он был бы способнее сделать тебя счастливой, я бы... молча проглотил свое горе и уступил ему место.

Она вдруг выпустила из рук его сюртук.

— Зачем? — с удивлением спросила она. — Я не понимаю этого. Я не уступила бы тебя никому; я не хочу, чтоб ты был счастлив с другой. Это что-то мудрено, я не понимаю.

Взгляд ее задумчиво блуждал по деревьям.

— Значит, ты не любишь меня? — спросила она потом.

— Напротив, я люблю тебя до самоотвержения, если готов жертвовать собой.

— Да зачем? Кто тебя просит?

— Я говорю в таком случае, если б ты полюбила другого.

— Другого! Ты с ума сошел? Зачем, если я люблю тебя? Разве ты полюбишь другую?

— Что ты слушаешь меня? Я бог знает что говорю, а ты веришь! Я не то и сказать-то хотел совсем...

— Что ж ты хотел сказать?

— Я хотел сказать, что виноват перед тобой, давно виноват...

— В чем? Как? Не любишь? Пошутил, может быть? Говори скорей!

— Нет, нет, все не то! — говорил он с тоской. — Вот видишь ли что... — нерешительно начал он, — мы видимся с тобой... тихонько...

— Тихонько? Отчего тихонько? Я почти всякий раз говорю ma tante, что видела тебя.

— Ужели всякий раз? — с беспокойством спросил он.

— Что ж тут дурного?

— Я виноват: мне давно бы следовало сказать тебе, что это... не делается..

— Ты говорил.

— Говорил? А! Ведь в самом деле я... намекал. Так, значит, я сделал свое дело.

Он ободрился и рад был, что Ольга так легко снимала с него бремя ответственности.

— Еще что? — спросила она.

— Еще... — да только.

— Неправда, — положительно заметила Ольга, — есть что-то; ты не все сказал.

— Да я думал... — начал он, желая дать небрежный тон словам, — что...

Он остановился, она ждала.

— Что нам надо видеться реже... — Он робко взглянул на нее.

Она молчала.

— Почему? — спросила потом, подумав.

— Меня грызет змея: это — совесть... Мы так долго остаемся наедине: я волнуюсь, сердце замирает у меня; ты тоже непокойна... я боюсь... — с трудом договорил он.

— Чего?

— Ты молода и не знаешь всех опасностей, Ольга. Иногда человек не властен в себе; в него вселяется какая-то адская сила, на сердце падает мрак, а в глазах блещут молнии. Ясность ума меркнет: уважение к чистоте, к невинности — все уносит вихрь; человек не помнит себя; на него дышит страсть; он перестает владеть собой — и тогда под ногами открывается бездна.

Он даже вздрогнул.

— Ну, что ж? Пусть открывается! — сказала она, глядя на него во все глаза.

Он молчал; дальше или нечего, или не нужно было говорить.

Она глядела на него долго, как будто читала у него в складках на лбу, как в писанных строках, и сама вспоминала каждое его слово, взгляд, мысленно пробегала всю историю своей любви, дошла до темного вечера в саду и вдруг покраснела.

— Ты все глупости говоришь! — скороговоркой заметила она, глядя в сторону. — Никаких я молний не видала у тебя в глазах... ты смотришь на меня большею частью как... моя няня Кузьминишна! — прибавила она и засмеялась.

— Ты шутишь, Ольга, а я не шутя говорю... и не все еще сказал.

— Что еще? — спросила она. — Какая там бездна?

Он вздохнул.

— А то, что не надо нам видеться... наедине...

— Почему?

— Нехорошо...

Она задумалась.

— Да, говорят, это нехорошо, — сказала она в раздумье, — да почему?

— Что скажут, когда узнают, когда разнесется...

— Кто ж скажет? У меня нет матери: она одна могла бы спросить меня, зачем я вижусь с тобой, и перед ней одной я заплакала бы в ответ и сказала бы, что я дурного ничего не делаю и ты тоже. Она бы поверила. Кто ж другой? — спросила она.

— Тетка, — сказал Обломов.

— Тетка?

Ольга печально и отрицательно покачала головой.

— Она никогда не спросит. Если б я ушла совсем, она бы не пошла искать и спрашивать меня, а я не пришла бы больше сказать ей, где была и что делала. Кто ж еще?

— Другие, все... Намедни Сонечка смотрела на тебя и на меня, улыбалась, и эти все господа и госпожи, что были с ней, тоже.

Он рассказал ей всю тревогу, в какой он жил с тех пор.

— Пока она смотрела только на меня, — прибавил он, — я ничего; но когда этот же взгляд упал на тебя, у меня руки и ноги похолодели...

— Ну?.. — спросила она холодно.

— Ну, вот я и мучусь с тех пор день и ночь, ломаю голову, как предупредить огласку; заботился, чтоб не напугать тебя... Я давно хотел поговорить с тобой...

— Напрасная забота! — возразила она. — Я знала и без тебя...

— Как знала? — спросил он с удивлением.

— Так. Сонечка говорила со мной, выпытывала из меня, язвила, даже учила, как мне вести себя с тобой...

— И ты мне ни слова, Ольга! — упрекнул он.

— Ты мне тоже до сих пор не сказал ничего о своей заботе!

— Что ж ты отвечала ей?

— Ничего! Что было отвечать на это? Покраснела только.

— Боже мой! До чего дошло: ты краснеешь! Как мы неосторожны! Что выйдет из этого?

Он вопросительно глядел на нее.

— Не знаю, — коротко сказала она.

Обломов думал успокоиться, разделив заботу с Ольгой, почерпнуть в ее глазах и ясной речи силу воли и вдруг, не найдя живого и решительного ответа, упал духом.

Лицо у него подернулось нерешительностию, взгляд уныло блуждал вокруг. Внутри его уже разыгрывалась легкая лихорадка. Он почти забыл про Ольгу; перед ним толпились: Сонечка с мужем, гости; слышались их толки, смех.

Ольга вместо обыкновенной своей находчивости молчит, холодно смотрит на него и еще холоднее говорит свое «не знаю». А он не потрудился или не умел вникнуть в сокровенный смысл этого «не знаю».

И он молчал: без чужой помощи мысль или намерение у него не созрело бы и, как спелое яблоко, не упало бы никогда само собою: надо его сорвать.

Ольга поглядела несколько минут на него, потом надела мантилью, достала с ветки косынку, не торопясь надела на голову и взяла зонтик.

— Куда? Так рано! — вдруг, очнувшись, спросил он.

— Нет, поздно. Ты правду сказал, — с задумчивым унынием говорила она, — мы зашли далеко, а выхода нет: надо скорей расстаться и замести след прошлого. Прощай! — сухо, с горечью, прибавила она и, склонив голову, пошла было по дорожке.

— Ольга, помилуй, бог с тобой! Как не видаться! Да я... Ольга!

Она не слушала и пошла скорее; песок сухо трещал под ее ботинками.

— Ольга Сергевна! — крикнул он.

Не слышит, идет.

— Ради бога, воротись! — не голосом, а слезами кричал он. — Ведь и преступника надо выслушать... Боже мой! Есть ли сердце у ней? Вот женщины!

Он сел и закрыл обеими руками глаза. Шагов не стало слышно.

— Ушла! — сказал он почти в ужасе и поднял голову.

Ольга перед ним.

Он радостно схватил ее за руку.

— Ты не ушла, не уйдешь?.. — говорил он. — Не уходи: помни, что если ты уйдешь — я мертвый человек!

— А если не уйду, я преступница, помни это, Илья.

— Ах, нет...

— Как нет? Если Сонечка с мужем застанет нас еще раз вместе, — я погибла.

Он вздрогнул.

— Послушай, — торопливо и запинаясь начал он, — я не все сказал... — и остановился.

То, что дома казалось ему так просто, естественно, необходимо, так улыбалось ему, что было его счастьем, вдруг стало какой-то бездной. У него захватывало дух перешагнуть через нее. Шаг предстоял решительный, смелый.

— Кто-то идет! — сказала Ольга.

В боковой дорожке послышались шаги.

— Уж не Сонечка ли? — спросил Обломов, с неподвижными от ужаса глазами.

Прошли двое мужчин с дамой, незнакомые. У Обломова отлегло от сердца.

— Ольга, — торопливо начал он и взял ее за руку, — пойдем отсюда воп туда, где никого нет. Сядем здесь.

Он посадил ее на скамью, а сам сел на траве, подле нее.

— Ты вспыхнула, ушла, а я не все сказал! — проговорил он.

— И опять уйду и не ворочусь более, если ты будешь играть мной. Тебе понравились однажды мои слезы, теперь, может быть, ты захотел бы видеть меня у ног своих и так, мало-помалу, сделать своей рабой, капризничать, читать мораль, потом плакать, пугаться, пугать меня, а после спрашивать, что нам делать? Помните, Илья Ильич, — вдруг гордо прибавила она, встав со скамьи, — что я много выросла с тех пор, как узнала вас, и знаю, как называется игра, в которую вы играете.. но слез моих вы больше не увидите...

— Ах, ей-богу, я не играю! — сказал он убедительно.

— Тем хуже для вас, — сухо заметила она. — На все ваши опасения, предостережения и загадки я скажу одно: до нынешнего свидания я вас любила и не знала, что мне делать; теперь знаю, — решительно заключила она, готовясь уйти, — и с вами советоваться не стану.

— И я знаю, — сказал он, удерживая ее за руку и усаживая на скамью, и на минуту замолчал, собираясь с духом.

— Представь, — начал он, — сердце у меня переполнено одним желанием, голова — одной мыслью, но воля, язык не повинуются мне: хочу говорить, и слова нейдут с языка. А ведь как просто, как... Помоги мне, Ольга.

— Я не знаю, что у вас на уме..

— О, ради бога, без этого *вы*: твой гордый взгляд убивает меня, каждое слово, как мороз, леденит.

Она засмеялась.

— Ты сумасшедший! — сказала она, положив ему руку на голову.

— Вот так, вот я получил дар мысли и слова! Ольга, — сказал он, став перед ней на колени, — будь моей женой!

Она молчала и отвернулась от него в противоположную сторону.

— Ольга, дай мне руку! — продолжал он.

Она не давала. Он взял сам и приложил к губам. Она не отнимала. Рука была тепла, мягка и чуть-чуть влажна. Он старался заглянуть ей в лицо — она отворачивалась все больше.

— Молчание? — сказал он тревожно и вопросительно, целуя ей руку.

— Знак согласия! — договорила она тихо, все еще не глядя на него.

— Что ты теперь чувствуешь? Что думаешь? — спросил он, вспоминая мечту свою о стыдливом согласии, о слезах.

— То же, что ты, — отвечала она, продолжая глядеть куда-то в лес; только волнение груди показывало, что она сдерживает себя.

«Есть ли у ней слезы на глазах?» — думал Обломов, но она упорно смотрела вниз.

— Ты равнодушна, ты покойна? — говорил он, стараясь притянуть ее за руку к себе.

— Не равнодушна, но покойна.

— Отчего ж?

— Оттого, что давно предвидела это и привыкла к мысли.

— Давно! — с изумлением повторил он.

— Да, с той минуты, как дала тебе ветку сирени. я мысленно назвала тебя...

Она не договорила.

— С той минуты?

— С той минуты!

Он распахнул было широко объятия и хотел заключить ее в них.

— Бездна разверзается, молнии блещут... осторожнее! — лукаво сказала она, ловко ускользая от объятий и устраняя руки его зонтиком.

Он вспомнил грозное «никогда» и присмирел.

— Но ты никогда не говорила, даже ничем не выразила... — говорил он.

— Мы не выходим замуж, нас выдают или берут.

— С той минуты. ужели?.. — задумчиво повторил он.

— Ты думал, что я, не поняв тебя, была бы здесь с тобою одна, сидела бы по вечерам в беседке, слушала и доверялась тебе? — гордо сказала она.

— Так это... — начал он, меняясь в лице и выпуская ее руку.

У него шевельнулась странная мысль. Она смотрела на него с покойной гордостью и твердо ждала; а ему хотелось бы в эту минуту не гордости и твердости, а слез, страсти, охмеляющего счастья, хоть на одну минуту, а потом уже пусть потекла бы жизнь невозмутимого покоя!

И вдруг ни порывистых слез от неожиданного счастья, ни стыдливого согласия! Как это понять!

В сердце у него проснулась и завозилась змея сомнения... Любит она или только выходит замуж?

— Но есть другой путь к счастью, — сказал он.

— Какой? — спросила она.

— Иногда любовь не ждет, не терпит, не рассчитывает... Женщина вся в огне, в трепете, испытывает разом муку и такие радости, каких...

— Я не знаю, какой это путь.

— Путь, где женщина жертвует всем: спокойствием, молвой, уважением и находит награду в любви... она заменяет ей все.

— Разве нам нужен этот путь?

— Нет.

— Ты хотел бы этим путем искать счастья на счет моего спокойствия, потери уважения?

— О нет, нет! Клянусь богом, ни за что, — горячо сказал он.

— Зачем же ты заговорил о нем?

— Право, и сам не знаю...

— А я знаю: тебе хотелось бы узнать, пожертвовала ли бы я тебе своим спокойствием, пошла ли бы я с тобой по этому пути? Не правда ли?

— Да, кажется, ты угадала. Что ж?

— Никогда, ни за что! — твердо сказала она.

Он задумался, потом вздохнул.

— Да, то ужасный путь, и много надо любви, чтоб женщине пойти по нем вслед за мужчиной, гибнуть — и все любить.

Он вопросительно взглянул ей в лицо: она ничего; только складка над бровью шевельнулась, а лицо покойно.

— Представь, — говорил он, — что Сонечка, которая не стоит твоего мизинца, вдруг не узнала бы тебя при встрече!

Ольга улыбнулась, и взгляд ее был так же ясен. А Обломов увлекался потребностью самолюбия допроситься жертв у сердца Ольги и упиться этим.

— Представь, что мужчины, подходя к тебе, не опускали бы с робким уважением глаз, а смотрели бы на тебя с смелой и лукавой улыбкой...

Он поглядел на нее: она прилежно двигает зонтиком камешек по песку.

— Ты вошла бы в залу, и несколько чепцов пошевелилось бы от негодования;[1] какой-нибудь один из них пересел бы от тебя... а гордость бы у тебя была все та же, а ты бы сознавала ясно, что ты выше и лучше их.

— К чему ты говоришь мне эти ужасы? — сказала она покойно. — Я не пойду никогда этим путем.

— Никогда? — уныло спросил Обломов.

— Никогда! — повторила она.

— Да, — говорил он задумчиво, — у тебя недостало бы силы взглянуть стыду в глаза. Может быть, ты не испугалась бы смерти: не казнь страшна, но приготовления к ней, ежечасные пытки, ты бы не выдержала и зачахла — да?

Он все заглядывал ей в глаза, что она.

Она смотрит весело; картина ужаса не смутила ее; на губах ее играла легкая улыбка.

— Я не хочу ни чахнуть, ни умирать! Все не то, — сказала она, — можно нейти тем путем и любить еще сильнее...

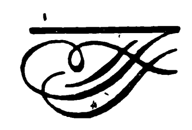
— Отчего же бы ты не пошла по этому пути, — спросил он настойчиво, почти с досадой, — если тебе не страшно?

— Оттого, что на нем... впоследствии всегда... расстаются, — сказала она, — а я... расстаться с тобой!..

Она остановилась, положила ему руку на плечо, долго глядела на него и вдруг, отбросив зонтик в сторону, быстро и жарко обвила его шею руками, поцеловала, потом вся вспыхнула, прижала лицо к его груди и прибавила тихо:

— Никогда!

Он испустил радостный вопль и упал на траву к ее ногам.





ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Обломов сиял, идучи домой. У него кипела кровь, глаза блистали. Ему казалось, что у него горят даже волосы. Так он и вошел к себе в комнату — и вдруг сиянье исчезло и глаза в неприятном изумлении остановились неподвижно на одном месте: в его кресле сидел Тарантьев.

— Что это тебя не дождешься? Где ты шатаешься? — строго спросил Тарантьев, подавая ему свою мохнатую руку. — И твой старый черт совсем от рук отбился: спрашиваю закусить — нету, водки — и той не дал.

— Я гулял здесь в роще, — небрежно сказал Обломов, еще не опомнясь от обиды, нанесенной появлением земляка, и в какую минуту!

Он забыл ту мрачную сферу, где долго жил, и отвык от ее удушливого воздуха. Тарантьев в одно мгновение сдернул его будто с неба опять в болото. Обломов мучительно спрашивал себя: зачем пришел Тарантьев? надолго ли? — терзался предположением, что, пожалуй, он останется обедать и тогда нельзя будет отправиться к Ильинским. Как бы спровадить его, хоть бы это стоило некоторых издержек, — вот единственная мысль, которая занимала Обломова. Он молча и угрюмо ждал, что скажет Тарантьев.

— Что ж ты, земляк, не подумаешь взглянуть на квартиру? — спросил Тарантьев.

— Теперь это не нужно, — сказал Обломов, стараясь не глядеть на Тарантьева. — Я... не перееду туда.

— Что-о? Как не переедешь? — грозно возразил Тарантьев. — Нанял, да не переедешь? А контракт?

— Какой контракт?

— Ты уж и забыл? Ты на год контракт подписал. Подай восемьсот рублей ассигнациями да и ступай, куда хочешь. Четыре жильца смотрели, хотели нанять: всем отказали. Один нанимал на три года.

Обломов теперь только вспомнил, что в самый день переезда на дачу Тарантьев привез ему бумагу, а он второпях подписал, не читая.

«Ах, боже мой, что я наделал!» — думал он.

— Да мне не нужна квартира, — говорил Обломов, — я еду за границу...

— За границу! — перебил Тарантьев. — Это с этим немцем? Да где тебе, не поедешь!

— Отчего не поеду? У меня и паспорт есть: вот я покажу. И чемодан куплен.

— Не поедешь! — равнодушно повторил Тарантьев. — А ты вот лучше деньги-то за полгода вперед отдай.

— У меня нет денег.

— Где хочешь достань; брат кумы, Иван Матвеич, шутить не любит. Сейчас в управу подаст:[1] не разделаешься. Да я свои заплатил, отдай мне.

— Ты где взял столько денег? — спросил Обломов.

— А тебе что за дело? Старый долг получил. Давай деньги! Я за тем приехал.

— Хорошо, я на днях приеду и передам квартиру другому, а теперь я тороплюсь...

Он начал застегивать сюртук.

— А какую тебе квартиру нужно? Лучше этой во всем городе не найдешь. Ведь ты не видал?

— И видеть не хочу, зачем я туда перееду? Мне далеко...

— От чего? — грубо спросил Тарантьев.

Но Обломов не сказал, от чего.

— От центра, — прибавил он потом.

— От какого это центра? Зачем он тебе нужен? Лежать-то?

— Нет, уж я теперь не лежу.

— Что так?

— Так. Я... сегодня... — начал Обломов.

— Что? — перебил Тарантьев.

— Обедаю не дома...

— Ты деньги-то подай, да и черт с тобой!

— Какие деньги? — с нетерпением повторил Обломов. — Я на днях заеду на квартиру, переговорю с хозяйкой.

— Какая хозяйка? Кума-то? Что она знает? Баба! Нет, ты поговори с ее братом — вот увидишь!

— Ну, хорошо; я заеду и переговорю.

— Да, жди тебя! Ты отдай деньги, да и ступай.

— У меня нет; надо занять.

— Ну, так заплати же мне теперь по крайней мере за извозчика, — приставал Тарантьев, — три целковых.

— Где же твой извозчик? И за что три целковых?

— Я отпустил его. — Как за что? И то не хотел везти: «по песку-то?», говорит. Да отсюда три целковых — вот двадцать два рубля![2]

— Отсюда дилижанс ходит за полтинник,[3] — сказал Обломов, — на вот!

Он достал ему четыре целковых. Тарантьев спрятал их в карман.

— Семь рублей ассигнациями за тобой, — прибавил он. — Да дай на обед!

— На какой обед?

— Я теперь в город не поспею: на дороге в трактире придется; тут все дорого: рублей пять сдерут.

Обломов молча вынул целковый и бросил ему. Он не садился от нетерпения, чтоб Тарантьев ушел скорей; но тот не уходил.

— Вели же мне дать чего-нибудь закусить, — сказал он.

— Ведь ты хотел в трактире обедать? — заметил Обломов.

— Это обедать! А теперь всего второй час.

Обломов велел Захару дать чего-нибудь.

— Ничего нету, не готовили, — сухо отозвался Захар, глядя мрачно на Тарантьева. — А что, Михей Андреич, когда принесете барскую рубашку да жилет?..

— Какой тебе рубашки да жилета? — отговаривался Тарантьев. — Давно отдал.

— Когда это? — спросил Захар.

— Да не тебе ли в руки отдал, как вы переезжали? А ты куда-то сунул в узел да спрашиваешь еще...

Захар остолбенел.

— Ах ты, господи! Что это, Илья Ильич, за срам такой! — возопил он, обратясь к Обломову.

— Пой, пой эту песню! — возразил Тарантьев. — Чай, пропил, да и спрашиваешь...

— Нет, я еще отроду барского не пропивал! — захрипел Захар. — Вот вы...

— Перестань, Захар! — строго перебил Обломов.

— Вы, что ли, увезли одну половую щетку да две чашки у нас? — спросил опять Захар.

— Какие щетки? — загремел Тарантьев. — Ах ты, старая шельма! Давай-ка лучше закуску!

— Слышите, Илья Ильич, как лается? — сказал Захар. — Нет закуски, даже хлеба нет дома, и Анисья со двора ушла, — договорил он и ушел.

— Где ж ты обедаешь? — спросил Тарантьев. — Диво, право: Обломов гуляет в роще, не обедает дома... Когда ж ты на квартиру-то? Ведь осень на дворе. Приезжай смотреть.

— Хорошо, хорошо, на днях...

— Да деньги не забудь привезти!

— Да, да, да... — нетерпеливо говорил Обломов.

— Ну, не нужно ли чего на квартире? Там, брат, для тебя выкрасили полы и потолки, окна, двери — всё: больше ста рублей стоит.

— Да, да, хорошо... Ах, вот что я хотел тебе сказать, — вдруг вспомнил Обломов, — сходи, пожалуйста, в палату, нужно доверенность засвидетельствовать...

— Что я тебе за ходатай достался?

— Я тебе прибавлю на обед.

— Туда сапог больше изобьешь, чем ты прибавишь.

— Ты поезжай, я заплачу.

— Нельзя мне в палату идти, — мрачно проговорил Тарантьев.

— Отчего?

— Враги есть, злобствуют на меня, ковы строят, как бы погубить.

— Ну, хорошо, я сам съезжу, — сказал Обломов и взялся за фуражку.

— Вот, как приедешь на квартиру, Иван Матвеич тебе все сделает. Это, брат, золотой человек, не чета какому-нибудь выскочке-немцу! Коренной, русский служака, тридцать лет на одном стуле сидит, всем присутствием вертит, и деньжонки есть, а извозчика не наймет; фрак не лучше моего; сам тише воды, ниже травы, говорит чуть слышно, по чужим краям не шатается, как твой этот...

— Тарантьев! — крикнул Обломов, стукнув по столу кулаком. — Молчи, чего не понимаешь!

Тарантьев выпучил глаза в ответ на эту никогда небывалую выходку Обломова и даже забыл обидеться тем, что его поставили ниже Штольца.

— Вот как ты нынче, брат... — бормотал он, взяв шляпу, — какая прыть!

Он погладил свою шляпу рукавом, потом поглядел на нее и на шляпу Обломова, стоявшую на этажерке.

— Ты не носишь шляпу, вон у тебя фуражка, — сказал он, взяв шляпу Обломова и примеривая ее, — дай-ка, брат, на лето...

Обломов молча снял с его головы свою шляпу и поставил на прежнее место, потом скрестил на груди руки и ждал, чтоб Тарантьев ушел.

— Ну, черт с тобой! — говорил Тарантьев, неловко пролезая в дверь. — Ты, брат, нынче что-то... того... Вот поговори-ка с Иваном Матвеичем да попробуй денег не привезти.

II

Он ушел, а Обломов сел в неприятном расположении духа в кресло и долго, долго освобождался от грубого впечатления. Наконец он вспомнил нынешнее утро, и безобразное явление Тарантьева вылетело из головы; на лице опять появилась улыбка.

Он стал перед зеркалом, долго поправлял галстук, долго улыбался, глядел на щеку, нет ли там следа горячего поцелуя Ольги.

— Два «никогда», — сказал он, тихо, радостно волнуясь, — и какая разница между ними: одно уже поблекло, а другое так пышно расцвело...

Потом он задумывался, задумывался все глубже. Он чувствовал, что светлый, безоблачный праздник любви отошел, что любовь в самом деле становилась долгом, что она мешалась со всею жизнью, входила в состав ее обычных отправлений и начинала линять, терять радужные краски.

Может быть, сегодня утром мелькнул последний розовый ее луч, а там она будет уже — не блистать ярко, а согревать невидимо жизнь; жизнь поглотит ее, и она будет ее сильною, конечно, но скрытою пружиной. И отныне проявления ее будут так просты, обыкновенны.

Поэма минует, и начнется строгая история: палата, потом поездка в Обломовку, постройка дома, заклад в совет, проведение дороги, нескончаемый разбор дел с мужиками, порядок работ, жнитво, умолот, щелканье счетов, заботливое лицо приказчика, дворянские выборы, заседание в суде.

Кое-где только, изредка, блеснет взгляд Ольги, прозвучит Casta diva, раздастся торопливый поцелуй, а там опять на работы ехать, в город ехать, там опять приказчик, опять щелканье счетов.

Гости приехали — и то не отрада: заговорят, сколько кто вина выкуривает на заводе, сколько кто аршин сукна ставит в казну... Что ж это? Ужели то сулил он себе? Разве это жизнь? А между тем живут так весь век. И Андрею это нравится!

Но женитьба, свадьба — все-таки это поэзия жизни, это готовый, распустившийся цветок. Он представил себе, как он ведет Ольгу к алтарю: она — с померанцевой веткой на голове, с длинным покрывалом. В толпе шепот удивления. Она стыдливо, с тихо волнующейся грудью, с своей горделиво и грациозно наклоненной головой, подает ему руку и не знает, как ей глядеть на всех. То улыбка блеснет у ней, то слезы явятся, то складка над бровью заиграет мыслью.

Дома, когда гости уедут, она, еще в пышном наряде, бросается ему на грудь, как сегодня.

«Нет, побегу к Ольге, не могу думать и чувствовать один, — мечтал он. — Расскажу всем, целому свету. нет, сначала тетке, потом барону, напишу к Штольцу — вот изумится-то! Потом скажу Захару: он поклонится в ноги и завопит от радости, дам ему двадцать пять рублей. Придет Анисья, будет руку ловить целовать: ей дам десять рублей; потом... потом, от радости, закричу на весь мир, так закричу, что мир скажет: „Обломов счастлив, Обломов женится!“ Теперь побегу к Ольге: там ждет меня продолжительный шепот, таинственный уговор слить две жизни в одну!..»

Он побежал к Ольге. Она с улыбкой выслушала его мечты; но только он вскочил, чтоб бежать объявить тетке, у ней так сжались брови, что он струсил.

— Никому ни слова! — сказала она, приложив палец к губам и грозя ему, чтоб он тише говорил, чтоб тетка не услыхала из другой комнаты. — Еще не пора!

— Когда же пора, если между нами все решено? — нетерпеливо спросил он. — Что ж теперь делать? С чего начать? Не сидеть же сложа руки. Начинается обязанность, серьезная жизнь...

— Да, начинается, — повторила она, глядя на него пристально.

— Ну, вот я и хотел сделать первый шаг, идти к тетке...

— Это последний шаг.

— Какой же первый?

— Первый. идти в палату: ведь надо какую-то бумагу писать?

— Да... я завтра...

— Отчего ж не сегодня?

— Сегодня... сегодня такой день, и уйти от тебя, Ольга!

— Ну, хорошо, завтра. А потом?

— Потом — сказать тетке, написать к Штольцу.

— Нет, потом ехать в Обломовку... Ведь Андрей Иваныч писал, что надо делать в деревне: я не знаю, какие там у вас дела, постройка, что ли? — спросила она, глядя ему в лицо.

— Боже мой! — говорил Обломов. — Да если слушать Штольца, так ведь до тетки век дело не дойдет! Он говорит, что надо начать строить дом, потом дорогу, школы заводить... Этого всего в целый век не переделаешь. Мы, Ольга, вместе поедем, и тогда...

— А куда мы приедем? Есть там дом?

— Нет: старый плох; крыльцо совсем, я думаю, расшаталось...

— Куда ж мы приедем? — спросила она.

— Надо здесь квартиру приискать.

— Для этого тоже надо ехать в город, — заметила она, — это второй шаг...

— Потом... — начал он.

— Да ты прежде шагни два раза, а там...

«Что ж это такое? — печально думал Обломов, — ни продолжительного шепота, ни таинственного уговора слить обе жизни в одну! Все как-то иначе, по-другому. Какая странная эта Ольга! Она не останавливается на одном месте, не задумывается сладко над поэтической минутой, как будто у ней вовсе нет мечты, нет потребности утонуть в раздумье! Сейчас поезжай в палату, на квартиру — точно Андрей! Что это все они как будто сговорились торопиться жить!» [1]

На другой день он, с листом гербовой бумаги, отправился в город, сначала в палату, и ехал нехотя, зевая и глядя по сторонам. Он не знал хорошенько, где палата, и заехал к Ивану Герасимычу спросить, в каком департаменте нужно засвидетельствовать.

Тот обрадовался Обломову и без завтрака не хотел отпустить. Потом послал еще за приятелем, чтоб допроситься от него, как это делается, потому что сам давно отстал от дел.

Завтрак и совещание кончились в три часа, и в палату идти было поздно, а завтра оказалась суббота — присутствия нет, пришлось отложить до понедельника.

Обломов отправился на Выборгскую сторону, на новую свою квартиру. Долго он ездил между длинными заборами по переулкам. Наконец отыскали будочника; тот сказал, что это в другом квартале, рядом, вот по этой улице — и он показал еще улицу без домов, с заборами, с травой и с засохшими колеями из грязи.

Опять поехал Обломов, любуясь на крапиву у заборов и на выглядывавшую из-за заборов рябину. Наконец будочник указал на старый домик на дворе, прибавив: «Вот этот самый».

«Дом вдовы коллежского секретаря Пшеницына», прочитал Обломов на воротах и велел въехать на двор.

Двор величиной был с комнату, так что коляска стукнула дышлом в угол и распугала кучу кур, которые с кудахтаньем бросились стремительно, иные даже в лёт, в разные стороны; да большая черная со-



Весной на окраине Петербурга. Акварель середины XIX века.

бака начала рваться на цепи направо и налево, с отчаянным лаем, стараясь достать за морды лошадей.

Обломов сидел в коляске наравне с окнами и затруднялся выйти. В окнах, установленных резедой, бархатцами и ноготками, засуетились головы. Обломов кое-как вылез из коляски; собака пуще заливалась лаем.

Он вошел на крыльцо и столкнулся с сморщенной старухой, в сарафане, с заткнутым за пояс подолом.

— Вам кого? — спросила она.

— Хозяйку дома, госпожу Пшеницыну.

Старуха потупила с недоумением голову.

— Не Ивана ли Матвеича вам надо? — спросила она. — Его нет дома; он еще из должности не приходил.

— Мне нужно хозяйку, — сказал Обломов.

Между тем в доме суматоха продолжалась. То из одного, то из другого окна выглянет голова; сзади старухи дверь отворялась немного и затворялась; оттуда выглядывали разные лица.

Обломов обернулся: на дворе двое детей, мальчик и девочка, смотрят на него с любопытством.

Откуда-то появился сонный мужик в тулупе и, загораживая рукой глаза от солнца, лениво смотрел на Обломова и на коляску.

Собака все лаяла густо и отрывисто, и, только Обломов пошевелится или лошадь стукнет копытом, начиналось скаканье на цепи и непрерывный лай.

Через забор, направо, Обломов видел бесконечный огород с капустой, налево, через забор, видно было несколько деревьев и зеленая деревянная беседка.

— Вам Агафью Матвевну надо? — спросила старуха. — Зачем?

— Скажи хозяйке дома, — говорил Обломов, — что я хочу с ней видеться: я нанял здесь квартиру...

— Вы, стало быть, новый жилец, знакомый Михея Андреича? Вот погодите, я скажу.

Она отворила дверь, и от двери отскочило несколько голов и бросилось бегом в комнаты. Он успел увидеть какую-то женщину, с голой шеей и локтями, без чепца, белую, довольно полную, которая усмехнулась, что ее увидел посторонний, и тоже бросилась от дверей прочь.

— Пожалуйте в комнату, — сказала старуха, воротясь, ввела Обломова, чрез маленькую переднюю, в довольно просторную комнату и просила подождать. — Хозяйка сейчас выйдет, — прибавила она.

«А собака-то все еще лает», — подумал Обломов, оглядывая комнату.

Вдруг глаза его остановились на знакомых предметах: вся комната завалена была его добром. Столы в пыли; стулья; грудой наваленные на кровать тюфяки; посуда в беспорядке, шкафы.

— Что ж это? И не расставлено, не прибрано? — сказал он. — Какая гадость!

Вдруг сзади его скрипнула дверь, и в комнату вошла та самая женщина, которую он видел в дверь с голой шеей и локтями.

Ей было лет тридцать. Она была очень бела и полна в лице, так что румянец, кажется, не мог пробиться сквозь щеки. Бровей у ней почти совсем не было, а были на их местах две немного будто припухлые, лоснящиеся полосы, с редкими светлыми волосами. Глаза серовато-простодушные, как и все выражение лица; руки белые, но жесткие, с выступившими наружу крупными узлами синих жил.

Платье сидело на ней в обтяжку: видно, что она не прибегала ни к какому искусству, даже к лишней юбке, чтоб увеличить объем бедр и уменьшить талию. От этого даже и закрытый бюст ее, когда она была без платка, мог бы послужить живописцу или скульптору моделью крепкой, здоровой груди, не нарушая ее скромности. Платье ее, в отношении к нарядной шали и парадному чепцу, казалось старо и поношено.

Она не ожидала гостей, и, когда Обломов пожелал ее видеть, она на домашнее будничное платье накинула воскресную свою шаль, а голову прикрыла чепцом. Она вошла робко и остановилась, глядя застенчиво на Обломова.

Он привстал и поклонился.

— Я имею удовольствие видеть госпожу Пшеницыну? — спросил он.

— Да-с, — отвечала она. — Вам, может быть, нужно с братцем поговорить? — нерешительно спросила она. — Они в должности, раньше пяти часов не приходят.

— Нет, я с вами хотел видеться, — начал Обломов, когда она села на диван, как можно дальше от него, и смотрела на концы своей шали, которая, как попона, покрывала ее до полу. Руки она прятала тоже под шаль.

— Я нанял квартиру у вас; теперь, по обстоятельствам, мне надо искать квартиру в другой части города,[2] так я пришел поговорить с вами...

Она тупо выслушала и тупо задумалась.

— Теперь братца нет, — сказала она потом.

— Да ведь этот дом ваш? — спросил Обломов.

— Мой, — коротко отвечала она.

— Так я и думал, что вы сами можете решить...

— Да вот братца-то нет; они у нас всем заведывают, — сказала она монотонно, взглянув в первый раз на Обломова прямо и опустив опять глаза на шаль.

«У ней простое, но приятное лицо, — снисходительно решил Обломов, — должно быть, добрая женщина!» В это время голова девочки высунулась из двери. Агафья Матвеевна с угрозой, украдкой, кивнула ей головой, и она скрылась.

— А где ваш братец служит?

— В канцелярии.

— В какой?

— Где мужиков записывают...[3] я все забываю, как она называется.

Она простодушно усмехнулась, и в ту ж минуту опять лицо ее приняло свое обыкновенное выражение.

— Вы не одни живете здесь с братцем? — спросил Обломов.

— Нет, двое детей со мной, от покойного мужа: мальчик по восьмому году да девочка по шестому, — довольно словоохотливо начала хозяйка, и лицо у ней стало поживее, — еще бабушка наша, больная, еле ходит, и то в церковь только; прежде на рынок ходила с Акулиной, а теперь с Николы перестала:[4] ноги стали отекать. И в церкви-то все больше сидит на ступеньке. Вот и только. Иной раз золовка приходит погостить да Михей Андреич.

— А Михей Андреич часто бывает у вас?

— Иногда по месяцу гостит; они с братцем приятели, всё вместе... И замолчала, истощив весь запас мыслей и слов.

— Какая тишина у вас здесь! — сказал Обломов. — Если б не лаяла собака, так можно бы подумать, что нет ни одной живой души.

Она усмехнулась в ответ.

— Вы часто ходите со двора?

— Летом случается. Вот намедни, в ильинскую пятницу, на Пороховые Заводы ходили.[5]

— Что ж, там много бывает? — спросил Обломов, глядя, чрез распахнувшийся платок, на высокую, крепкую, как подушка дивана, никогда не волнующуюся грудь.

— Нет, нынешний год немного было: с утра дождь шел, а после разгулялось. А то много бывает.

— Еще где же бываете вы?

— Мы мало где бываем. Братец с Михеем Андреичем на тоню ходят,[6] уху там варят, а мы всё дома.

— Ужели всё дома?

— Ей-богу, правда. В прошлом году были в Колпине,[7] да вот тут в рощу иногда ходим. Двадцать четвертого июня братец именинники,[8] так обед бывает, все чиновники из канцелярии обедают.

— А в гости ездите?

— Братец бывают, а я с детьми только у мужниной родни в Светлое Воскресенье да в Рождество обедаем.

Говорить уж было больше не о чем.

— У вас цветы: вы любите их? — спросил он.

Она усмехнулась.

— Нет, — сказала она, — нам некогда цветами заниматься. Это дети с Акулиной ходили в графский сад, так садовник дал, а ерани[9] да алоэ давно тут, еще при муже были.

В это время вдруг в комнату ворвалась Акулина; в руках у ней бился крыльями и кудахтал, в отчаянии, большой петух.

— Этого, что ли, петуха, Агафья Матвевна, лавочнику отдать? — спросила она.

— Что ты, что ты! Поди! — сказала хозяйка стыдливо. — Ты видишь, гости!

— Я только спросить, — говорила Акулина, взяв петуха за ноги, головой вниз, — семьдесят копеек дает.

— Поди, поди в кухню! — говорила Агафья Матвеевна. — Серого с крапинками, а не этого, — торопливо прибавила она, и сама застыдилась, спрятала руки под шаль и стала смотреть вниз.

— Хозяйство! — сказал Обломов.

— Да, у нас много кур; мы продаем яйца и цыплят. Здесь, по этой улице, с дач и из графского дома всё у нас берут, — отвечала она, поглядев гораздо смелее на Обломова.

И лицо ее принимало дельное и заботливое выражение; даже тупость пропадала, когда она заговаривала о знакомом ей предмете. На всякий же вопрос, не касавшийся какой-нибудь положительной, известной ей цели, она отвечала усмешкой и молчанием.

— Надо бы это разобрать, — заметил Обломов, указывая на кучу своего добра...

— Мы было хотели, да братец не велят, — живо перебила она и уж совсем смело взглянула на Обломова, — «Бог знает, что у него там в столах да в шкафах... — сказали они, — после пропадет — к нам привяжутся...» — Она остановилась и усмехнулась.

— Какой осторожный ваш братец! — прибавил Обломов.

Она слегка опять усмехнулась и опять приняла свое обычное выражение.

Усмешка у ней была больше принятая форма, которою прикрывалось незнание, что в том или другом случае надо сказать или сделать.

— Мне долго ждать его прихода, — сказал Обломов, — может быть, вы передадите ему, что, по обстоятельствам, я в квартире надобности не имею и потому прошу передать ее другому жильцу, а я, с своей стороны, тоже поищу охотника.

Она тупо слушала, ровно мигая глазами.

— Насчет контракта потрудитесь сказать...

— Да нет их дома-то теперь, — твердила она, — вы лучше завтра опять пожалуйте: завтра суббота, они в присутствие не ходят...

— Я ужасно занят, ни минуты свободной нет, — отговаривался Обломов. — Вы потрудитесь только сказать, что так как задаток остается в вашу пользу, а жильца я найду, то...

— Нету братца-то, — монотонно говорила она, — нейдут они что-то... — И поглядела на улицу. — Вот они тут проходят, мимо окон: видно, когда идут, да вот нету!

— Ну, я отправлюсь... — сказал Обломов.

— А как братец-то придут, что сказать им: когда вы переедете? — спросила она, встав с дивана.

— Вы передайте, что я просил, — говорил Обломов, — что по обстоятельствам...

— Вы бы завтра сами пожаловали да поговорили с ними... — повторила она.

— Завтра мне нельзя.

— Ну, послезавтра, в воскресенье: после обедни у нас водка и закуска бывает. И Михей Андреич приходит.

— Ужели и Михей Андреич приходит?

— Ей-богу, правда.

— И послезавтра мне нельзя, — отговаривался с нетерпением Обломов.

— Так уж на той неделе... — заметила она. — А когда переезжать-то станете? Я бы полы велела вымыть и пыль стереть.

— Я не перееду.

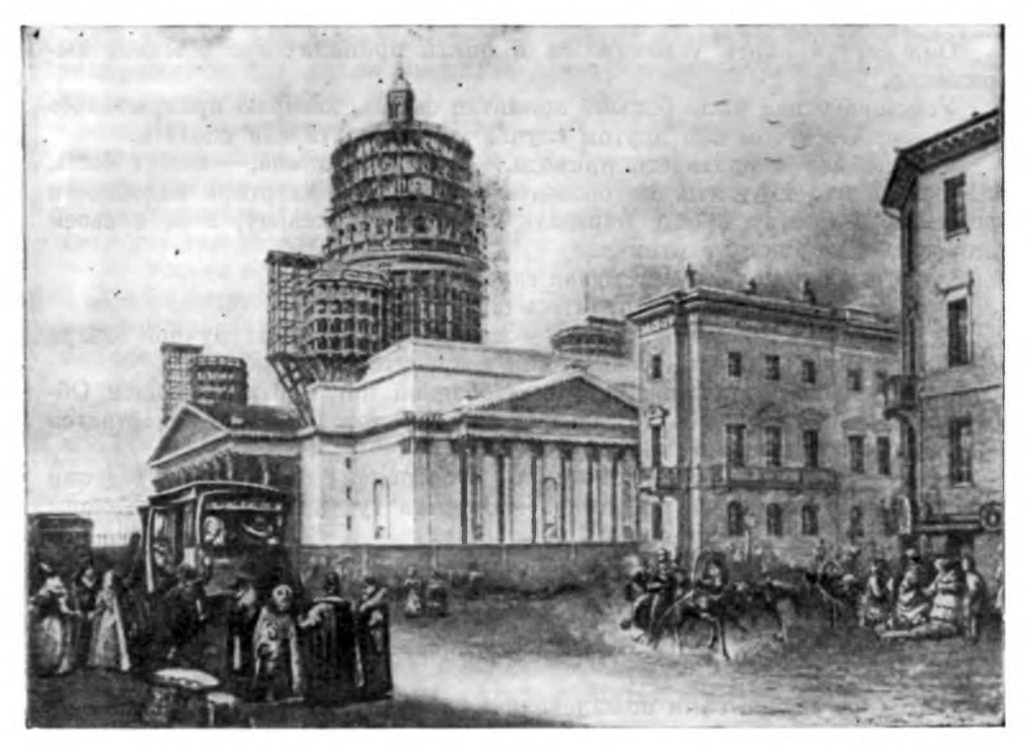
— Как же? А вещи-то куда же мы денем?

— Вы потрудитесь сказать братцу, — начал говорить Обломов расстановисто, упирая глаза ей прямо в грудь, — что по обстоятельствам...

— Да вот долго нейдут что-то, не видать, — сказала она монотонно, глядя на забор, отделявший улицу от двора. — Я знаю и шаги их; по деревянной мостовой слышно, как кто идет. Здесь мало ходят...

— Так вы передадите ему, что я вас просил? — кланяясь и уходя, говорил Обломов.

— Вот через полчаса они сами будут... — с несвойственным ей беспокойством говорила хозяйка, стараясь как будто голосом удержать Обломова.



Вид Исаакиевского собора с Малой Морской улицы, 1841.

— Я больше не могу ждать, — решил он, отворяя дверь.

Собака, увидя его на крыльце, залилась лаем и начала опять рваться с цепи. Кучер, спавший опершись на локоть, начал пятить лошадей; куры опять, в тревоге, побежали в разные стороны; в окно выглянуло несколько голов.

— Так я скажу братцу, что вы были, — в беспокойстве прибавила хозяйка, когда Обломов уселся в коляску.

— Да, и скажите, что я, по обстоятельствам, не могу оставить квартиры за собой и что передам ее другому или чтоб он... поискал...

— Об эту пору они всегда приходят... — говорила она, слушая его рассеянно. — Я скажу им, что вы хотели побывать.

— Да, на днях я заеду.

При отчаянном лае собаки коляска выехала со двора и пошла колыхаться по засохшим кочкам немощеного переулка.

В конце его показался какой-то одетый в поношенном пальто человек средних лет, с большим бумажным пакетом под мышкой, с толстой палкой и в резинковых [10] калошах, несмотря на сухой и жаркий день.

Он шел скоро, не смотрел по сторонам и ступал так, как будто хо-

тел продавить деревянный тротуар. Обломов оглянулся ему вслед и видел, что он завернул в ворота к Пшеницыной.

«Вон, должно быть, и братец пришли! — заключил он. — Да черт с ним! Еще протолкуешь с час, а мне и есть хочется, и жарко! Да и Ольга ждет меня... До другого раза!»

— Ступай скорей! — сказал он кучеру.

— А квартиру другую посмотреть? — вдруг вспомнил он, глядя по сторонам, на заборы. — Надо опять назад, в Морскую [11] или в Конюшенную...[12] До другого раза!» — решил он.

— Пошел скорей!

III

В конце августа пошли дожди, и на дачах задымились трубы, где были печи, а где их не было, там жители ходили с подвязанными щеками, и, наконец, мало-помалу, дачи опустели.

Обломов не казал глаз в город, и в одно утро мимо его окон повезли и понесли мебель Ильинских. Хотя уж ему не казалось теперь подвигом переехать с квартиры, пообедать где-нибудь мимоходом и не прилечь целый день, но он не знал, где и на ночь приклонить голову.

Оставаться на даче одному, когда опустел парк и роща, когда закрылись ставни окон Ольги, казалось ему решительно невозможно.

Он прошелся по ее пустым комнатам, обошел парк, сошел с горы, и сердце теснила ему грусть.

Он велел Захару и Анисье ехать на Выборгскую сторону, где решился остаться до приискания новой квартиры, а сам уехал в город, отобедал наскоро в трактире и вечер просидел у Ольги.

Но осенние вечера в городе не походили на длинные, светлые дни и вечера в парке и роще. Здесь он уж не мог видеть ее по три раза в день; здесь уж не прибежит к нему Катя и не пошлет он Захара с запиской за пять верст. И вся эта летняя, цветущая поэма любви как будто остановилась, пошла ленивее, как будто не хватило в ней содержания.

Они иногда молчали по получасу. Ольга углубится в работу, считает про себя иглой клетки узора, а он углубится в хаос мыслей и живет впереди, гораздо дальше настоящего момента.

Только иногда, вглядываясь пристально в нее, он вздрогнет страстно, или она взглянет на него мимоходом и улыбнется, уловив луч нежной покорности, безмолвного счастья в его глазах.

Три дня сряду ездил он в город к Ольге и обедал у них, под предлогом, что у него там еще не устроено, что на этой неделе он съедет и оттого не располагается на новой квартире, как дома.

Но на четвертый день ему уж казалось неловко прийти, и он, побродив около дома Ильинских, со вздохом поехал домой.

На пятый день они не обедали дома.

На шестой Ольга сказала ему, чтоб он пришел в такой-то магазин, что она будет там, а потом он может проводить ее до дома пешком, а экипаж будет ехать сзади.

Все это было неловко; попадались ему и ей знакомые, кланялись, некоторые останавливались поговорить.

«Ах ты, боже мой, какая мука!» — говорил он весь в поту от страха и неловкого положения.

Тетка тоже глядит на него своими томными большими глазами и задумчиво нюхает спирт, как будто у нее от него болит голова. А ездить ему какая даль! Едешь, едешь с Выборгской стороны да вечером назад — три часа!

— Скажем тетке, — настаивал Обломов, — тогда я могу оставаться у вас с утра, и никто не будет говорить...

— А ты в палате был? — спросила Ольга.

Обломова так и подмывало сказать: «был и все сделал», да он знает, что Ольга взглянет на него так пристально, что прочтет сейчас ложь на лице. Он вздохнул в ответ.

— Ах, если б ты знала, как это трудно! — говорил он.

— А говорил с братом хозяйки? Приискал квартиру? — спросила она потом, не поднимая глаз.

— Его никогда утром дома нет, а вечером я все здесь, — сказал Обломов, обрадовавшись, что есть достаточная отговорка.

Теперь Ольга вздохнула, но не сказала ничего.

— Завтра непременно поговорю с хозяйским братом, — успокоивал ее Обломов, — завтра воскресенье, он в присутствие не пойдет.

— Пока это все не устроится, — сказала задумчиво Ольга, — говорить ma tante нельзя и видеться надо реже...

— Да, да... правда, — струсив, прибавил Обломов.

— Ты обедай у нас в воскресенье, в наш день, а потом хоть в среду, один, — решила она. — А потом мы можем видеться в театре: ты будешь знать, когда мы едем, и тоже поезжай.

— Да, это правда, — говорил он, обрадованный, что она попечение о порядке свиданий взяла на себя.

— Если ж выдастся хороший день, — заключила она, — я поеду в Летний сад[1] гулять, и ты можешь прийти туда; это напомнит нам парк... парк! — повторила она с чувством.

Он молча поцеловал у ней руку и простился с ней до воскресенья. Она уныло проводила его глазами, потом села за фортепьяно и вся погрузилась в звуки. Сердце у ней о чем-то плакало, плакали и звуки. Хотела петь — не поется!

На другой день Обломов встал и надел легкий сюртучок, что носил на даче. С халатом он простился давно и велел его спрятать в шкаф.

Захар по обыкновению, колебля подносом, неловко подходил к столу с кофе и кренделями. Сзади Захара по обыкновению же высовывалась до половины из двери Анисья, приглядывая, донесет ли Захар чашки до стола, и тотчас, без шума, пряталась, если Захар ставил поднос бла-

тополучно на стол, или стремительно подскакивала к нему, если с подноса падала одна вещь, чтоб удержать остальные. Причем Захар разразится бранью сначала на вещи, потом на жену и замахнется локтем ей в грудь.

— Какой славный кофе! Кто это варит? — спросил Обломов.

— Сама хозяйка, — сказал Захар, — шестой день все она. «Вы, говорит, много цикорию кладете да не довариваете. Дайте-ко я!»

— Славный, — повторил Обломов, наливая другую чашку. — Поблагодари ее.

— Вон она сама, — говорил Захар, указывая на полуотворенную дверь боковой комнаты. — Это у них буфет, что ли; она тут и работает, тут у них чай, сахар, кофе лежит и посуда.

Обломову видна была только спина хозяйки, затылок и часть белой шеи да голые локти.

— Что это она там локтями так живо ворочает? — спросил Обломов.

— Кто ее знает! Кружева, что ли, гладит.

Обломов следил, как ворочались локти, как спина нагибалась и выпрямлялась опять.

Внизу, когда она нагибалась, видны были чистая юбка, чистые чулки и круглые, полные ноги.

«Чиновница, а локти хоть бы графине какой-нибудь; еще с ямочками!» — подумал Обломов.

В полдень Захар пришел спросить, не угодно ли попробовать их пирога; хозяйка велела предложить.

— Сегодня воскресенье, у них пирог пекут.

— Ну, уж, я думаю, хорош пирог! — небрежно сказал Обломов. — С луком да с морковью...

— Пирог не хуже наших обломовских, — заметил Захар, — с цыплятами и с свежими грибами.

— Ах, это хорошо должно быть: принеси! Кто ж у них печет? Эта грязная баба?

— Куда ей! — с презрением сказал Захар. — Кабы не хозяйка, так она и опары поставить не умеет. Хозяйка сама все на кухне. Пирог-то они с Анисьей вдвоем пекли.

Чрез пять минут из боковой комнаты высунулась к Обломову голая рука, едва прикрытая виденною уже им шалью, с тарелкой, на которой дымился, испуская горячий пар, огромный кусок пирога.

— Покорно благодарю, — ласково отозвался Обломов, принимая пирог, и, заглянув в дверь, уперся взглядом в высокую грудь и голые плечи. Дверь торопливо затворилась.

— Водки не угодно ли? — спросил голос.

— Я не пью; покорно благодарю, — еще ласковее сказал Обломов, — у вас какая?

— Своя, домашняя: сами настаиваем на смородинном листу, — говорил голос.

— Я никогда не пивал на смородинном листу, позвольте попробовать!

Голая рука опять просунулась с тарелкой и рюмкой водки. Обломов выпил: ему очень понравилась.

— Очень благодарен, — говорил он, стараясь заглянуть в дверь, но дверь захлопнулась.

— Что вы не дадите на себя взглянуть, пожелать вам доброго утра? — упрекнул Обломов.

Хозяйка усмехнулась за дверью.

— Я еще в будничном платье, все на кухне была. Сейчас оденусь; братец скоро от обедни придут, — застенчиво отвечала она.

— Ах, à propos о братце, — заметил Обломов, — мне надо с ним поговорить. Попросите его зайти ко мне.

— Хорошо, я скажу, как они придут.

— А кто это у вас кашляет? Чей это такой сухой кашель?

— Это бабушка; уж она восьмой год кашляет.

И дверь захлопнулась.

«Какая она... простая, — подумал Обломов, — а есть в ней что-то такое... И держит себя чисто!»

До сих пор он с «братцем» хозяйки еще не успел познакомиться. Он видел только, и то редко, с постели, как, рано утром, мелькал сквозь решетку забора человек, с большим бумажным пакетом под мышкой, и пропадал в переулке, и потом, в пять часов, мелькал опять, с тем же пакетом, мимо окон, возвращаясь, тот же человек и пропадал за крыльцом. Его в доме не было слышно.

А между тем заметно было, что там жили люди, особенно по утрам: на кухне стучат ножи, слышно в окно, как баба полощет что-то в углу, как дворник рубит дрова или везет на двух колесах бочонок с водой; за стеной плачут ребятишки или раздается упорный, сухой кашель старухи.

У Обломова было четыре комнаты, то есть вся парадная анфилада. Хозяйка с семейством помещалась в двух непарадных комнатах, а братец жил вверху, в так называемой светелке.

Кабинет и спальня Обломова обращены были окнами на двор, гостиная к садику, а зала к большому огороду, с капустой и картофелем. В гостиной окна были драпированы ситцевыми полинявшими занавесками.

По стенам жались простые, под орех, стулья; под зеркалом стоял ломберный стол; на окнах теснились горшки с еранью и бархатцами и висели четыре клетки с чижами и канарейками.

Братец вошел на цыпочках и отвечал троекратным поклоном на приветствие Обломова. Вицмундир на нем был застегнут на все пуговицы, так что нельзя было узнать, есть ли на нем белье или нет; галстук завязан простым узлом и концы спрятаны вниз.

Он был лет сорока, с прямым хохлом на лбу и двумя небрежно на ветер пущенными такими же хохлами на висках, похожими на собачьи уши средней величины. Серые глаза не вдруг глядели на предмет, а сначала взглядывали украдкой, а во второй раз уж останавливались.

Рук своих он как будто стыдился, и когда говорил, то старался прятать или обе за спину или одну за пазуху, а другую за спину. Подавая начальнику бумагу и объясняясь, он одну руку держал на спине, а средним пальцем другой руки, ногтем вниз, осторожно показывал какую-нибудь строку или слово и, показав, тотчас прятал руку назад, может быть оттого, что пальцы были толстоваты, красноваты и немного тряслись, и ему не без причины казалось не совсем приличным выставлять их часто напоказ.

— Вы изволили, — начал он, бросив свой двойной взгляд на Обломова, — приказать мне прийти к себе.

— Да, я хотел поговорить с вами насчет квартиры. Прошу садиться! — вежливо отвечал Обломов.

Иван Матвеич, после двукратного приглашения, решился сесть, перегнувшись телом вперед и поджав руки в рукава.

— По обстоятельствам я должен приискать себе другую квартиру, — сказал Обломов, — поэтому желал бы эту передать.

— Теперь трудно передать, — кашлянув в пальцы и проворно спрятав их в рукав, отозвался Иван Матвеевич, — если б в конце лета пожаловали, тогда много ходили смотреть.

— Я был, да вас не было.

— Сестра сказывала, — прибавил чиновник. — Да вы не беспокойтесь насчет квартиры: здесь вам будет удобно. Может быть, птица вас беспокоит?

— Какая птица?

— Куры-с.

Обломов хотя слышал постоянно с раннего утра под окнами тяжелое кудахтанье наседки и писк цыплят, но до того ли ему? Перед ним носился образ Ольги, и он едва замечал окружающее.

— Нет, это ничего, — сказал он, — я думал, вы говорите о канарейках: они с утра начинают трещать.

— Мы их вынесем, — отвечал Иван Матвеевич.

— И это ничего, — заметил Обломов, — но мне, по обстоятельствам, нельзя оставаться.

— Как угодно-с, — отвечал Иван Матвеевич. — А если не приищете жильца, как же насчет контракта? Сделаете удовлетворение? Вам убыток будет.

— А сколько там следует? — спросил Обломов.

— Да вот я принесу расчет.

Он принес контракт и счеты.

— Вот-с, за квартиру восемьсот рублей ассигнациями, сто рублей получено задатку, осталось семьсот рублей, — сказал он.

— Да неужели вы с меня за целый год хотите взять, когда я у вас и двух недель не прожил? — перебил его Обломов.

— Как же-с? — кротко и совестливо возразил Иван Матвеевич. — Сестра убыток понесет несправедливо. Она бедная вдова, живет только тем, что с дома получит; да разве на цыплятах и яйцах выручит кое-что на одежонку ребятишкам.

— Помилуйте, я не могу, — заговорил Обломов, — посудите, я не прожил двух недель. Что же это, за что?

— Вот-с, в контракте сказано, — говорил Иван Матвеевич, показывая средним пальцем две строки и спрятав палец в рукав, — извольте прочесть: «Буде же я, Обломов, пожелаю прежде времени съехать с квартиры, то обязан передать ее другому лицу на тех же условиях или, в противном случае, удовлетворить ее, Пшеницыну, сполна платою за весь год, по первое июня будущего года».

— Как же это? — говорил Обломов. — Это несправедливо.

— По закону так-с, — заметил Иван Матвеевич. — Сами изволили подписать: вот подпись-с!

Опять появился палец под подписью и опять спрятался.

— Сколько же? — спросил Обломов.

— Семьсот рублей, — начал щелкать тем же пальцем Иван Матвеевич, подгибая его всякий раз проворно в кулак, — да за конюшню и сарай сто пятьдесят рублей.

И он щелкнул еще.

— Помилуйте, у меня лошадей нет, я не держу: зачем мне конюшня и сарай? — с живостью возразил Обломов.

— В контракте есть-с, — заметил, показывая пальцем строку, Иван Матвеевич. — Михей Андреич сказывал, что у вас лошади будут.

— Врет Михей Андреич! — с досадой сказал Обломов. — Дайте мне контракт!

— Вот-с, копию извольте получить, а контракт принадлежит сестре, — мягко отозвался Иван Матвеевич, взяв контракт в руки. — Сверх того за огород и продовольствие из оного капустой, репой и прочими овощами считая на одно лицо, — читал Иван Матвеевич, — примерно двести пятьдесят рублей...

И он хотел щелкнуть на счетах.

— Какой огород? Какая капуста? Я и знать не знаю, что вы! — почти грозно возражал Обломов.

— Вот-с, в контракте: Михей Андреич сказали, что вы с тем нанимаете...

— Что же это такое, что вы без меня моим столом распоряжаетесь? Я не хочу ни капусты, ни репы... — говорил Обломов, вставая.

И Иван Матвеевич вскочил со стула.

— Помилуйте, как можно без вас: вот подпись есть! — возразил он.

И опять толстый палец трясся на подписи, и вся бумага тряслась в его руке.

— Сколько всего считаете вы? — нетерпеливо спросил Обломов.

— Еще за окраску потолка и дверей, за переделку окон в кухне, за новые пробои к дверям — сто пятьдесят четыре рубля двадцать восемь копеек ассигнациями.

— Как, и это на мой счет? — с изумлением спросил Обломов. — Это всегда на счет хозяина делается. Кто же переезжает в неотделанную квартиру?

— Вот-с, в контракте сказано, что на ваш счет, — сказал Иван Мат-

веевич, издали показывая пальцем в бумаге, где это сказано. — Тысячу триста пятьдесят четыре рубля двадцать восемь копеек ассигнациями всего-с! — кротко заключил он, спрятав обе руки с контрактом назади.

— Да где я возьму? У меня нет денег! — возразил Обломов, ходя по комнате. — Нужно мне очень вашей репы да капусты!

— Как угодно-с! — тихо прибавил Иван Матвеевич. — Да не беспокойтесь: вам здесь будет удобно. А деньги... сестра подождет.

— Нельзя мне, нельзя по обстоятельствам! Слышите?

— Слушаю-с. Как угодно, — послушно отвечал Иван Матвеевич, отступив на шаг.

— Хорошо, я подумаю и постараюсь передать квартиру! — сказал Обломов, кивнув чиновнику головой.

— Трудно-с; а впрочем, как угодно! — заключил Иван Матвеевич и, троекратно поклонясь, вышел вон.

Обломов вынул бумажник и счел деньги: всего триста пять рублей. Он обомлел.

«Куда ж я дел деньги? — с изумлением, почти с ужасом спросил самого себя Обломов. — В начале лета из деревни прислали тысячу двести рублей, а теперь всего триста!»

Он начал считать, припоминать все траты и мог припомнить только двести пятьдесят рублей.

— Куда ж это вышли деньги? — говорил он.

— Захар, Захар!

— Чего изволите?

— Куда это у нас все деньги вышли? Ведь денег-то нет у нас!

Захар начал шарить в карманах, вынул полтинник, гривенник и положил на стол.

— Вот, забыл отдать, от перевозки осталось, — сказал он.

— Что ты мне мелочь-то суешь? Ты скажи, куда восемьсот рублей делись?

— Почем я знаю? Разве я знаю, куда вы тратите? Что вы там извозчикам за коляски платите?

— Да, вот на экипаж много вышло, — вспомнил Обломов, глядя на Захара. — Ты не помнишь ли, сколько мы на даче отдали извозчику?

— Где помнить? Один раз вы велели мне тридцать рублей отдать, так я и помню.

— Что бы тебе записывать? — упрекнул его Обломов. — Худо быть безграмотным!

— Прожил век и без грамоты, слава богу, не хуже других! — возразил Захар, глядя в сторону.

«Правду говорит Штольц, что надо завести школу в деревне!» — подумал Обломов.

— Вон у Ильинских был грамотный-то, сказывали люди, — продолжал Захар, — да серебро из буфета и стащил.

«Прошу покорнейше! — трусливо подумал Обломов. — В самом деле, эти грамотеи — всё такой безнравственный народ: по трактирам, с гармоникой, да чаи... Нет, рано школы заводить!..»

— Ну, куда еще вышли деньги? — спросил он.

— Почем я знаю? Вон, Михею Андреичу дали на даче...

— В самом деле, — обрадовался Обломов, вспомнив про эти деньги. — Так, вот извозчику тридцать да, кажется, двадцать пять рублей Тарантьеву... Еще куда?

Он задумчиво и вопросительно глядел на Захара. Захар угрюмо, стороной, смотрел на него.

— Не помнит ли Анисья? — спросил Обломов.

— Где дуре помнить? Что баба знает? — с презрением сказал Захар.

— Не припомню! — с тоской заключил Обломов, — уж не воры ли были?

— Кабы воры, так все бы взяли, — сказал Захар, уходя.

Обломов сел в кресло и задумался. «Где же я возьму денег? — до холодного пота думал он. — Когда пришлют из деревни и сколько?»

Он взглянул на часы: два часа, пора ехать к Ольге. Сегодня положенный день обедать. Он мало-помалу развеселился, велел привести извозчика и поехал в Морскую.

IV

Он сказал Ольге, что переговорил с братом хозяйки, и скороговоркой прибавил от себя, что есть надежда на этой неделе передать квартиру.

Ольга поехала с теткой с визитом до обеда, а он пошел глядеть квартиры поблизости. Заходил в два дома; в одном нашел квартиру в четыре комнаты за четыре тысячи ассигнациями, в другом за пять комнат просили шесть тысяч рублей.

«Ужас! ужас!» — твердил он, зажимая уши и убегая от изумленных дворников. Прибавив к этим суммам тысячу с лишком рублей, которые надо было заплатить Пшеницыной, он, от страха, не поспел вывести итога и только прибавил шагу и побежал к Ольге.

Там было общество. Ольга была одушевлена, говорила, пела и произвела фурор. Только Обломов слушал рассеянно, а она говорила и пела для него, чтоб он не сидел повеся нос, опустя веки, чтоб все говорило и пело беспрестанно в нем самом.

— Приезжай завтра в театр, у нас ложа, — сказала она.

«Вечером, по грязи, этакую даль!» — подумал Обломов, но, взглянув ей в глаза, отвечал на ее улыбку улыбкой согласия.

— Абонируйся в кресло, — прибавила она, — на той неделе приедут Маевские; ma tante пригласила их к нам в ложу.

И она глядела ему в глаза, чтоб знать, как он обрадуется.

«Господи! — подумал он в ужасе. — А у меня всего триста рублей денег».[1]

— Вот, попроси барона; он там со всеми знаком, завтра же пошлет за креслами.

И она опять улыбнулась, и он улыбался, глядя на нее, и с улыбкой просил барона; тот, тоже с улыбкой, взялся послать за билетом.

— Теперь в кресле, а потом, когда ты кончишь дела, — прибавила Ольга, — ты уж займешь по праву место в нашей ложе.

И окончательно улыбнулась, как улыбалась, когда была совершенно счастлива.

Ух, каким счастьем вдруг пахнуло на него, когда Ольга немного подняла завесу обольстительной дали, прикрытой, как цветами, улыбками!

Обломов и про деньги забыл; только когда, на другой день утром, увидел мелькнувший мимо окон пакет братца, он вспомнил про доверенность и просил Ивана Матвеевича засвидетельствовать ее в палате. Тот прочитал доверенность, объявил, что в ней есть один неясный пункт, и взялся прояснить.

Бумага была вновь переписана, наконец засвидетельствована и отослана на почту. Обломов с торжеством объявил об этом Ольге и успокоился надолго.

Он радовался, что до получения ответа квартиры приискивать не понадобится и деньги понемногу заживаются.

«Оно бы и тут можно жить, — думал он, — да далеко от всего, а в доме у них порядок строгий и хозяйство идет славно».

В самом деле хозяйство шло отлично. Хотя Обломов держал стол особо, но глаз хозяйки бодрствовал и над его кухней.

Илья Ильич зашел однажды в кухню и застал Агафью Матвеевну с Анисьей чуть не в объятиях друг друга.

Если есть симпатия душ, если родственные сердца чуют друг друга издалека, то никогда это не доказывалось так очевидно, как на симпатии Агафьи Матвеевны и Анисьи. С первого взгляда, слова и движения они поняли и оценили одна другую.

По приемам Анисьи, по тому, как она, вооруженная кочергой и тряпкой, с засученными рукавами, в пять минут привела полгода нетопленную кухню в порядок, как смахнула щеткой разом пыль с полок, со стен и со стола; какие широкие размахи делала метлой по полу и по лавкам; как мгновенно выгребала из печки золу — Агафья Матвеевна оценила, что такое Анисья и какая бы она великая сподручница была ее хозяйственным распоряжениям. Она дала ей с той поры у себя место в сердце.

И Анисья, в свою очередь, поглядев однажды только, как Агафья Матвеевна царствует в кухне, как соколиными очами, без бровей, видит каждое неловкое движение неповоротливой Акулины; как гремит приказаниями вынуть, поставить, подогреть, посолить, как на рынке одним взглядом и много-много прикосновением пальца безошибочно решает, сколько курице месяцев от роду, давно ли уснула рыба, когда сорваны с гряд петрушка или салат, — она с удивлением и почтительною боязнью возвела на нее глаза и решила, что она, Анисья, миновала свое назначение, что поприще ее — не кухня Обломова, где торопливость ее, вечно бьющаяся, нервическая лихорадочность движений устремлена только на то, чтоб подхватить на лету уроненную Захаром тарелку или стакан, и где опытность ее и тонкость соображений подавляются мрач-

ною завистию и грубым высокомерием мужа. Две женщины поняли друг друга и стали неразлучны.

Когда Обломов не обедал дома, Анисья присутствовала на кухне хозяйки и, из любви к делу, бросалась из угла в угол, сажала, вынимала горшки, почти в одно и то же мгновение отпирала шкаф, доставала что надо и захлопывала прежде, нежели Акулина успеет понять, в чем дело.

Зато наградой Анисье был обед, чашек шесть кофе утром и столько же вечером и откровенный, продолжительный разговор, иногда доверчивый шепот с самой хозяйкой.

Когда Обломов обедал дома, хозяйка помогала Анисье, то есть указывала, словом или пальцем, пора ли или рано вынимать жаркое, надо ли к соусу прибавить немного красного вина или сметаны, или что рыбу надо варить не так, а вот как...

И боже мой, какими знаниями поменялись они в хозяйственном деле, не по одной только кулинарной части, но и по части холста, ниток, шитья, мытья белья, платьев, чистки блонд,[2] кружев, перчаток, выведения пятен из разных материй, также употребления разных домашних лекарственных составов, трав — всего, что внесли в известную сферу жизни наблюдательный ум и вековые опыты!

Илья Ильич встанет утром часов в девять, иногда увидит сквозь решетку забора мелькнувший бумажный пакет под мышкой уходящего в должность братца, потом примется за кофе. Кофе все такой же славный, сливки густые, булки сдобные, рассыпчатые.

Потом он примется за сигару и слушает внимательно, как тяжело кудахтает наседка, как пищат цыплята, как трещат канарейки и чижи. Он не велел убирать их: «Деревню напоминают, Обломовку», — сказал он.

Потом сядет дочитывать начатые на даче книги, иногда приляжет небрежно с книгой на диван и читает.

Тишина идеальная; пройдет разве солдат какой-нибудь по улице или кучка мужиков, с топорами за поясом. Редко-редко заберется в глушь разносчик и, остановясь перед решетчатым забором, с полчаса горланит: «Яблоки, арбузы астраханские» — так, что нехотя купишь что-нибудь.

Иногда придет к нему Маша, хозяйская девочка, от маменьки, сказать, что грузди или рыжики продают: не велит ли он взять кадочку для себя, или зазовет он к себе Ваню, ее сына, спрашивает, что он выучил, заставит прочесть или написать и посмотрит, хорошо ли он пишет и читает.

Если дети не затворят дверь за собой, он видит голую шею и мелькающие, вечно движущиеся локти и спину хозяйки.

Она все за работой, все что-нибудь гладит, толчет, трет и уже не церемонится, не накидывает шаль, когда заметит, что он видит ее сквозь полуотворенную дверь, только усмехнется и опять заботливо толчет, гладит и трет на большом столе.

Он иногда с книгой подойдет к двери, заглянет к ней и поговорит с хозяйкой.

— Вы все за работой! — сказал он ей однажды.

Она усмехнулась и опять заботливо принялась вертеть ручку кофейной мельницы, и локоть ее так проворно описывал круги, что у Обломова рябило в глазах.

— Ведь вы устанете, — продолжал он.

— Нет, я привыкла, — отвечала она, треща мельницей.

— А когда нет работы, что ж вы делаете?

— Как нет работы? Работа всегда есть: утром обед готовить, после обеда шить, а к вечеру ужин.

— Разве вы ужинаете?

— Как же без ужина? ужинаем. Под праздник ко всенощной ходим.

— Это хорошо, — похвалил Обломов. — В какую же церковь?

— К Рождеству: это наш приход.[3]

— А читаете что-нибудь?

Она поглядела на него тупо и молчала.

— Книги у вас есть? — спросил он.

— У братца есть, да они не читают. Газеты из трактира берем, так иногда братец вслух читают... да вот у Ванечки много книг.

— Ужели же вы никогда не отдыхаете?

— Ей-богу, правда!

— И в театре не бываете?

— Братец на святках бывают.

— А вы?

— Когда мне? А ужин как? — спросила она, боком поглядев на него.

— Кухарка может без вас...

— Акулина-то! — с удивлением возразила она. — Как же можно? Что она сделает без меня? Ужин и к завтрему не поспеет. У меня все ключи.

Молчание. Обломов любовался ее полными, круглыми локтями.

— Как у вас хороши руки, — вдруг сказал он, — можно хоть сейчас нарисовать.

Она усмехнулась и немного застыдилась.

— Неловко с рукавами, — оправдывалась она, — нынче ведь вон какие пошли платья, рукава все выпачкаешь.

И замолчала. Обломов тоже молчал.

— Вот только домелю кофе, — шептала про себя хозяйка, — сахар буду колоть. Еще не забыть за корицей послать.

— Вам бы замуж надо выйти, — сказал Обломов, — вы славная хозяйка.

Она усмехнулась и стала пересыпать кофе в большую стеклянную банку.

— Право, — прибавил Обломов.

— Кто меня с детьми-то возьмет? — отвечала она и что-то начала считать в уме.

— Два десятка... — задумчиво говорила она, — ужели она их все положит? — И, поставив в шкаф банку, побежала в кухню. А Обломов ушел к себе и стал читать книгу...

«Какая еще свежая, здоровая женщина и какая хозяйка! Право бы, замуж ей...» — говорил он сам себе и погружался в мысль... об Ольге.

Обломов в хорошую погоду наденет фуражку и обойдет окрестность; там попадет в грязь, здесь войдет в неприятное сношение с собаками и вернется домой.

А дома уж накрыт стол, и кушанье такое вкусное, подано чисто. Иногда сквозь двери просунется голая рука, с тарелкой — просят попробовать хозяйского пирога.

«Тихо, хорошо в этой стороне, только скучно!» — говорил Обломов, уезжая в оперу.

Однажды, воротясь поздно из театра, он с извозчиком стучал почти час в ворота; собака, от скаканья на цепи и лая, потеряла голос. Он иззяб и рассердился, объявив, что съедет на другой же день. Но и другой, и третий день, и неделя прошла — он еще не съезжал.

Ему было очень скучно не видеть Ольги в неположенные дни, не слыхать ее голоса, не читать в глазах все той же, неизменяющейся ласки, любви, счастья.

Зато в положенные дни он жил, как летом, заслушивался ее пения или глядел ей в глаза; а при свидетелях довольно было ему одного ее взгляда, равнодушного для всех, но глубокого и знаменательного для него.

По мере того, однако ж, как дело подходило к зиме, свидания их становились реже наедине. К Ильинским стали ездить гости, и Обломову по целым дням не удавалось сказать с ней двух слов. Они менялись взглядами. Ее взгляды выражали иногда усталость и нетерпение.

Она с нахмуренными бровями глядела на всех гостей. Обломов раза два даже соскучился и после обеда однажды взялся было за шляпу.

— Куда? — с изумлением спросила Ольга, очутясь подле него и хватая за шляпу.

— Позвольте домой...

— Зачем? — спросила она. Одна бровь у ней лежала выше другой. — Что вы станете делать?

— Я так... — говорил он, едва таращa глаза от сна.

— Кто ж вам позволит? Уж не спать ли вы собираетесь? — спрашивала она, строго поглядев ему попеременно в один глаз, потом в другой.

— Что вы! — живо возразил Обломов. — Спать днем! Мне просто скучно.

И он отдал шляпу.

— Сегодня в театр, — сказала она.

— Не вместе в ложу, — прибавил он со вздохом.

— Так что же? А это разве ничего, что мы видим друг друга, что ты зайдешь в антракте, при разъезде подойдешь, подашь руку до кареты?.. Извольте ехать! — повелительно прибавила она. — Что это за новости!

Нечего делать, он ехал в театр, зевал, как будто хотел вдруг проглотить сцену, чесал затылок и перекладывал ногу на ногу.

«Ах, скорей бы кончить это да сидеть с ней рядом, не таскаться такую даль сюда! — думал он. — А то после такого лета да еще видеться урывками, украдкой, играть роль влюбленного мальчика... Правду сказать, я бы сегодня не поехал в театр, если б уж был женат: шестой раз слышу эту оперу...»

В антракте он пошел в ложу к Ольге и едва протеснился до нее между двух каких-то франтов. Через пять минут он ускользнул и остановился у входа в кресла, в толпе. Акт начался, и все торопились к своим местам. Франты из ложи Ольги тоже были тут и не видели Обломова.

— Что это за господин был сейчас в ложе у Ильинских? — спросил один у другого.

— Это Обломов какой-то, — небрежно отвечал другой.

— Что это за Обломов?

— Помещик, друг Штольца.

— А! — значительно произнес другой. — Друг Штольца. Что ж он тут делает?

— Dieu sait! * — отвечал другой, и все разошлись по местам. Но Обломов потерялся от этого ничтожного разговора.

«Что за *господин? какой-то* Обломов... что он тут делает... Dieu sait, — все это застучало ему в голову. — „Какой-то!“ Что я тут делаю? Как что? Люблю Ольгу; я ее... Однако ж вот уж в свете родился вопрос: что я тут делаю? Заметили... Ах, боже мой! как же, надо что-нибудь...»

Он уж не видел, что делается на сцене, какие там выходят рыцари и женщины; оркестр гремит, а он не слышит. Он озирается по сторонам и считает, сколько знакомых в театре: вон тут, там — везде сидят, все спрашивают: «Что это за господин входил к Ольге в ложу?..» — «Какой-то Обломов!» — говорят все.

«Да, я „какой-то“! — думал он в робком унынии. — Меня знают, потому что я „друг Штольца“. — Зачем я у Ольги? — „Dieu sait!..“ Вон, вон, эти франты смотрят на меня, потом на ложу Ольги!»

Он взглянул на ложу: бинокль Ольги устремлен на него.

«Ах ты, господи! — думал он. — А она глаз не спускает с меня! Что она нашла во мне такого? Экое сокровище далось! Вон, кивает теперь, на сцену указывает... франты, кажется, смеются, смотрят на меня... Господи, господи!»

Он опять в волнении неистово почесал затылок, опять переложил ногу на ногу.

Она звала франтов из театра пить чай, обещала повторить каватину [4] и ему велела приехать.

«Нет, уж сегодня не поеду; надо решить дело скорей, да потом... Что это, ответа поверенный не шлет из деревни? Я бы давно уехал, перед отъездом обручился бы с Ольгой... Ах, а она все смотрит на меня! Беда, право!»

---

* Бог его знает (франц.).

Он, не дождавшись конца оперы, уехал домой. Мало-помалу впечатление это изгладилось, и он опять с трепетом счастья смотрел на Ольгу наедине, слушал, с подавляемыми слезами восторга, ее пение при всех и, приезжая домой, ложился, без ведома Ольги, на диван, но ложился не спать, не лежать мертвой колодой, а мечтать о ней, играть мысленно в счастье и волноваться, заглядывая в будущую перспективу своей домашней, мирной жизни, где будет сиять Ольга, — и все засияет около нее. Заглядывая в будущее, он иногда невольно, иногда умышленно заглядывал, в полуотворенную дверь, и на мелькавшие локти хозяйки.

Однажды тишина в природе и в доме была идеальная; ни стуку карет, ни хлопанья дверей; в передней на часах мерно постукивал маятник да пели канарейки; но это не нарушает тишины, а придает ей только некоторый оттенок жизни.

Илья Ильич лежал небрежно на диване, играя туфлей, ронял ее на пол, поднимал на воздух, повертит там, она упадет, он подхватывает с пола ногой... Вошел Захар и стал у дверей.

— Ты что? — небрежно спросил Обломов.

Захар молчал и почти прямо, не стороной, глядел на него.

— Ну? — спросил Обломов, взглянув на него с удивлением. — Пирог, что ли, готов?

— Вы нашли квартиру? — спросил, в свою очередь, Захар.

— Нет еще. А что?

— Да я не все еще разобрал: посуда, одежа, сундуки — все еще в чулане горой стоит. Разбирать, что ли?

— Погоди, — рассеянно сказал Обломов, — я жду ответа из деревни.

— Стало быть, свадьба-то после Рождества будет? — прибавил Захар.

— Какая свадьба? — вдруг встав, спросил Обломов.

— Известно какая: ваша! — отвечал Захар положительно, как о деле давно решенном. — Ведь вы женитесь?

— Я же-нюсь! На ком? — с ужасом спросил Обломов, пожирая Захара изумленными глазами.

— На Ильинской барыш... — Захар еще не договорил, а Обломов был у него почти на носу.

— Что ты, несчастный, кто тебе внушил эту мысль? — патетически, сдержанным голосом воскликнул Обломов, напирая на Захара.

— Что я за несчастный? Слава тебе господи! — говорил Захар, отступая к дверям. — Кто? Люди Ильинские еще летом сказывали.

— Цссс!.. — зашипел на него Обломов, подняв палец вверх и грозя на Захара. — Ни слова больше!

— Разве я выдумал? — говорил Захар.

— Ни слова! — повторил Обломов, грозно глядя на него, и указал ему дверь. Захар ушел и вздохнул на все комнаты.

Обломов не мог опомниться; он все стоял в одном положении, с ужасом глядя на то место, где был Захар, потом в отчаянье положил руки на голову и сел в кресло.

«Люди знают! — ворочалось у него в голове. — По лакейским, по

кухням толки идут! Вот до чего дошло! Он осмелился спросить, когда свадьба. А тетка еще не подозревает, или если подозревает, то, может быть, другое, недоброе... Ай, ай, ай, что она может подумать! А я? А Ольга?»

— Несчастный, что я наделал! — говорил он, переваливаясь на диван лицом к подушке. — Свадьба! Этот поэтический миг в жизни любящихся, венец счастья — о нем заговорили лакеи, кучера, когда еще ничего не решено, когда ответа из деревни нет, когда у меня пустой бумажник, когда квартира не найдена...

Он стал разбирать «поэтический миг», который вдруг потерял краски, как только заговорил о нем Захар. Обломов стал видеть другую сторону медали и мучительно переворачивался с боку на бок, ложился на спину, вдруг вскакивал, делал три шага по комнате и опять ложился.

«Ну, не бывать добру! — думал со страхом Захар у себя в передней. — Эк меня дернула нелегкая!»

«Откуда они знают? — твердил Обломов. — Ольга молчала, я и подумать вслух не смел, а в передней все решили! Вот что значит свидания наедине, поэзия утренних и вечерних зорь, страстные взгляды и обаятельное пение! Ох, уж эти поэмы любви, никогда добром не кончаются! Надо прежде стать под венец и тогда плавать в розовой атмосфере! Боже мой! Боже мой! Бежать к тетке, взять Ольгу за руку и сказать: „Вот моя невеста!“ да не готово ничего, ответа из деревни нет, денег нет, квартиры нет! Нет, надо выбить прежде из головы Захара эту мысль, затушить слухи, как пламя, чтоб оно не распространилось, чтоб не было огня и дыма... Свадьба! Что такое свадьба?..»

Он было улыбнулся, вспомнив прежний свой поэтический идеал свадьбы, длинное покрывало, померанцевую ветку, шепот толпы...

Но краски были уже не те: тут же, в толпе, был грубый, неопрятный Захар и вся дворня Ильинских, ряд карет, чужие, холодно-любопытные лица. Потом, потом мерещилось все такое скучное, страшное...

«Надо выбить из головы Захара эту мысль, чтоб он счел ее за нелепость», — решил он, то судорожно волнуясь, то мучительно задумываясь.

Через час он кликнул Захара.

Захар притворился, что не слышит, и стал было потихоньку выбираться на кухню. Он уж отворил без скрипу дверь, да не попал боком в одну половинку и плечом так задел за другую, что обе половинки распахнулись с грохотом.

— Захар! — повелительно закричал Обломов.

— Чего вам? — из передней отозвался Захар.

— Поди сюда!

— Подать, что ли, что? Так говорите, я подам! — ответил он.

— Поди сюда! — расстановисто и настойчиво произнес Обломов.

— Ах, смерть нейдет! — прохрипел Захар, влезая в комнату.

— Ну, чего вам? — спросил он, увязнув в дверях.

— Подойди сюда! — торжественно-таинственным голосом говорил Обломов, указывая Захару, куда стать, и указал так близко, что почти пришлось бы ему сесть на колени барину.

— Куда я туда подойду? Там тесно, я и отсюда слышу, — отговаривался Захар, остановясь упрямо у дверей.

— Подойди, тебе говорят! — грозно произнес Обломов.

Захар сделал шаг и стал как монумент, глядя в окно на бродивших кур и подставляя барину, как щетку, бакенбарду. Илья Ильич в один час, от волнения, изменился, будто осунулся в лице; глаза бегали беспокойно.

«Ну, будет теперь!» — подумал Захар, делаясь мрачнее и мрачнее.

— Как ты мог сделать такой несообразный вопрос барину? — спросил Обломов.

«Вона, пошел!» — думал Захар, крупно мигая, в тоскливом ожидании «жалких слов».

— Я тебя спрашиваю, как ты мог забрать такую нелепость себе в голову? — повторил Обломов.

Захар молчал.

— Слышишь, Захар? Зачем ты позволяешь себе не только думать, даже говорить?

— Позвольте, Илья Ильич, я лучше Анисью позову... — отвечал Захар и шагнул было к двери.

— Я хочу с тобой говорить, а не с Анисьей. Зачем ты выдумал такую нелепость?

— Я не выдумывал. Ильинские люди сказывали.

— А им кто сказывал?

— Я почем знаю! Катя сказала Семену, Семен Никите, Никита Василисе, Василиса Анисье, а Анисья мне.

— Господи, господи! Все! — с ужасом произнес Обломов. — Все это вздор, нелепость, ложь, клевета — слышишь ли ты? — постучав кулаком об стол, сказал Обломов. — Этого быть не может!

— Отчего не может быть? — равнодушно перебил Захар. — Дело обыкновенное — свадьба! Не вы одни, все женятся.

— Все! — сказал Обломов. — Ты мастер равнять меня с другими да со всеми! Это быть не может! И нет, и не было! Свадьба — обыкновенное дело: слышите? Что такое свадьба?

Захар взглянул было на Обломова, да увидал яростно устремленные на него глаза и тотчас перенес взгляд направо, в угол.

— Слушай, я тебе объясню, что это такое. «Свадьба, свадьба», — начнут говорить праздные люди, женщины, дети, пойдет по лакейским, по магазинам, по рынкам. Человек перестает называться Ильей Ильичом или Петром Петровичем, а называется «жених». Вчера на него никто и смотреть не хотел, а завтра все глаза пучат, как на шельму какую-нибудь. Ни в театре, ни на улице прохода не дадут. «Вот, вот жених!» — шепчут все. А сколько человек подойдет к нему в день, всякий норовит сделать рожу поглупее, вот как у тебя теперь! (Захар быстро перенес взгляд опять на двор) и сказать что-нибудь понеле-

нее, — продолжал Обломов. — Вот оно, какое начало! А ты езди каждый день, как окаянный, с утра к невесте, да все в палевых перчатках, чтоб у тебя платье с иголочки было, чтоб ты не глядел скучно, чтоб не ел, не пил как следует, обстоятельно, а так, ветром бы жил да букетами! Это месяца три, четыре! Видишь? Так как же я-то могу?

Обломов остановился и посмотрел, действует ли на Захара это изображение неудобств женитьбы.

— Идти, что ли, мне? — спросил Захар, оборачиваясь к двери.

— Нет, ты постой! Ты мастер распускать фальшивые слухи, так узнай, почему они фальшивые.

— Что мне узнавать? — говорил Захар, осматривая стены.

— Ты забыл, сколько беготни, суматохи и у жениха, и у невесты. А кто у меня, ты, что ли, будешь бегать по портным, по сапожникам, к мебельщику? Один я не разорвусь на все стороны. Все в городе узнают. «Обломов женится — вы слышали?» — «Ужели? На ком? Кто такая? Когда свадьба? — говорил Обломов разными голосами. — Только и разговора! Да я измучусь, слягу от одного этого, а ты выдумал: свадьба!

Он опять взглянул на Захара.

— Позвать, что ли, Анисью? — спросил Захар.

— Зачем Анисью? Ты, а не Анисья, допустил это необдуманное предположение.

— Ну, за что это наказал меня господь сегодня? — прошептал Захар, вздохнув так, что у него приподнялись даже плечи.

— А издержки какие? — продолжал Обломов. — А деньги где? Ты видел, сколько у меня денег? — почти грозно спросил Обломов. — А квартира где? Здесь надо тысячу рублей заплатить, да нанять другую, три тысячи дать, да на отделку сколько! А там экипаж, повар, на прожиток! Где я возьму?

— Как же с тремястами душ женятся другие? — возразил Захар, да и сам раскаялся, потому что барин почти вскочил с кресла, так и припрыгнул на нем.

— Ты опять «другие»? Смотри! — сказал он, погрозив пальцем. — Другие в двух, много в трех комнатах живут: и столовая, и гостиная — все тут; а иные и спят тут же; дети рядом; одна девка на весь дом служит. Сама барыня на рынок ходит! А Ольга Сергевна пойдет на рынок?

— На рынок-то и я схожу, — заметил Захар.

— Ты знаешь, сколько дохода с Обломовки получаем? — спрашивал Обломов. — Слышишь, что староста пишет? доходу «тысящи яко две помене»! А тут дорогу надо строить, школы заводить, в Обломовку ехать; там негде жить, дома еще нет... Какая же свадьба? Что ты выдумал?

Обломов остановился. Он сам пришел в ужас от этой грозной, безотрадной перспективы. Розы, померанцевые цветы, блистанье праздника, шепот удивления в толпе — все вдруг померкло.

Он изменился в лице и задумался. Потом понемногу пришел в себя, оглянулся и увидел Захара.

— Что ты? — спросил он угрюмо.

— Ведь вы велели стоять!

— Поди! — с нетерпением махнул ему Обломов. Захар быстро шагнул в двери.

— Нет, постой! — вдруг остановил Обломов.

— То поди, то постой! — ворчал Захар, придерживаясь рукой за дверь.

— Как же ты смел распускать про меня такие, ни с чем не сообразные слухи? — встревоженным шепотом спрашивал Обломов.

— Когда же я, Илья Ильич, распускал? Это не я, а люди Ильинские сказывали, что барин, дескать, сватался...

— Цссс... — зашипел Обломов, грозно махая рукой, — ни слова, никогда! Слышишь?

— Слышу, — робко отвечал Захар.

— Не станешь распространять этой нелепости?

— Не стану, — тихо отвечал Захар, не поняв половины слов и зная только, что они «жалкие».

— Смотри же, чуть услышишь, заговорят об этом, спросят, — скажи: это вздор, никогда не было и быть не может! — шепотом добавил Обломов.

— Слушаю, — чуть слышно прошептал Захар.

Обломов оглянулся и погрозил ему пальцем. Захар мигал испуганными глазами и на цыпочках уходил было к двери.

— Кто первый сказал об этом? — догнав, спросил его Обломов.

— Катя сказала Семену, Семен Никите, — шептал Захар, — Никита Василисе...

— А ты всем разболтал! Я тебя! — грозно шипел Обломов. — Распускать клевету про барина! А!

— Что вы томите меня жалкими-то словами? — сказал Захар, — я позову Анисью: она все знает...

— Что она знает? Говори, говори сейчас!..

Захар мгновенно выбрался из двери и с необычайной быстротой шагнул в кухню.

— Брось сковороду, пошла к барину! — сказал он Анисье, указав ей большим пальцем на дверь. Анисья передала сковороду Акулине, выдернула из-за пояса подол, ударила ладонями по бедрам и, утерев указательным пальцем нос, пошла к барину. Она в пять минут успокоила Илью Ильича, сказав ему, что никто о свадьбе ничего не говорил: вот побожиться не грех и даже образ со стены снять, и что она в первый раз об этом слышит; говорили, напротив, совсем другое, что барон, слышь, сватался за барышню...

— Как барон! — вскочив вдруг, спросил Илья Ильич, и у него похолоденело не только сердце, но руки и ноги.

— И это вздор! — поспешила сказать Анисья, видя, что она из огня попала в полымя. — Это Катя только Семену сказала, Семен Марфе,

Марфа переврала все Никите, а Никита сказал, что «хорошо, если б ваш барин, Илья Ильич, посватал барышню...»

— Какой дурак этот Никита! — заметил Обломов.

— Точно что дурак, — подтвердила Анисья, — он и за каретой когда едет, так словно спит. Да и Василиса не поверила, — скороговоркой продолжала она, — она еще в Успеньев день [5] говорила ей, а Василисе рассказывала сама няня, что барышня и не думает выходить замуж, что статочное ли дело, чтоб ваш барин давно не нашел себе невесты, кабы захотел жениться, и что еще недавно она видела Самойлу, так тот даже смеялся этому: какая, дескать, свадьба? И на свадьбу не похоже, а скорее на похороны, что у тетеньки все головка болит, а барышня плачут да молчат; да в доме и приданого не готовят; у барышни чулков пропасть нештопанных, и те не соберутся заштопать; что на той неделе даже заложили серебро...

«Заложили серебро? И у них денег нет!» — подумал Обломов, с ужасом поводя глазами по стенам и останавливая их на носу Анисьи, потому что на другом остановить их было не на чем. Она как будто и говорила все это не ртом, а носом.

— Смотри же, не болтать пустяков! — заметил Обломов, грозя ей пальцем.

— Какое болтать! Я и в мыслях не думаю, не токмо что болтать, — трещала Анисья, как будто лучину щепала, — да ничего и нет, в первый раз слышу сегодня, вот перед господом богом, сквозь землю провалиться! Удивилась, как барин молвил мне, испугалась, даже затряслась вся! Как это можно? Какая свадьба? Никому и во сне не грезилось. Я ни с кем ничего не говорю, все на кухне сижу. С Ильинскими людьми не видалась с месяц, забыла, как их зовут. А здесь с кем болтать? С хозяйкой только и разговору, что о хозяйстве; с бабушкой говорить нельзя: та кашляет да и на ухо крепка; Акулина дура набитая, а дворник пьяница; остаются ребятишки только: с теми что говорить? Да я и барышню в лицо забыла...

— Ну, ну, ну! — говорил Обломов, с нетерпением махнув рукой, чтоб она шла.

— Как можно говорить, чего нет? — договаривала Анисья, уходя. — А что Никита сказал, так для дураков закон не писан. Мне самой и в голову-то не придет: день-деньской маешься, маешься — до того ли? Бог знает, что это! Вот образ-то на стене... — И вслед за этим говорящий нос исчез за дверь, но говор еще слышался с минуту за дверью.

— Вот оно что! И Анисья твердит: статочное ли дело! — говорил шепотом Обломов, складывая ладони вместе.

«Счастье, счастье! — едко проговорил он потом. — Как ты хрупко, как ненадежно! Покрывало, венок, любовь, любовь! А деньги где? а жить чем? И тебя надо купить, любовь, чистое, законное благо».

С этой минуты мечты и спокойствие покинули Обломова. Он плохо спал, мало ел, рассеянно и угрюмо глядел на все.

Он хотел испугать Захара и испугался сам больше его, когда вникнул в практическую сторону вопроса о свадьбе и увидел, что это, ко-

нечно, поэтический, но вместе и практический, официальный шаг к существенной и серьезной действительности и к ряду строгих обязанностей.

А он не так воображал себе разговор с Захаром. Он вспомнил, как торжественно хотел он объявить об этом Захару, как Захар завопил бы от радости и повалился ему в ноги; он бы дал ему двадцать пять рублей, а Анисье десять...

Все вспомнил, и тогдашний трепет счастья, руку Ольги, ее страстный поцелуй... и обмер: «Поблекло, отошло!» — раздалось внутри его.

— Что же теперь?..

V

Обломов не знал, с какими глазами покажется он к Ольге, что будет говорить она, что будет говорить он, и решился не ехать к ней в среду, а отложил свидание до воскресенья, когда там много народу бывает и им наедине говорить не удастся.

Сказать ей о глупых толках людей он не хотел, чтоб не тревожить ее злом неисправимым, а не говорить тоже было мудрено; притвориться с ней он не сумеет: она непременно добудет из него все, что бы он ни затаил в самых глубоких пропастях души.

Остановившись на этом решении, он уже немного успокоился и написал в деревню к соседу, своему поверенному, другое письмо, убедительно прося его поспешить ответом, по возможности удовлетворительным.

Затем стал размышлять, как употребить это длинное, несносное послезавтра, которое было бы так наполнено присутствием Ольги, невидимой беседой их душ, ее пением. А тут вдруг Захара дернуло встревожить его так некстати!

Он решился поехать к Ивану Герасимовичу и отобедать у него, чтоб как можно менее заметить этот несносный день. А там, к воскресенью, он успеет приготовиться, да, может быть, к тому времени придет и ответ из деревни.

Пришло послезавтра.

Его разбудило неистовое скаканье на цепи и лай собаки. Кто-то вошел на двор, кого-то спрашивают. Дворник вызвал Захара. Захар принес Обломову письмо с городской почты.

— От Ильинской барышни, — сказал Захар.

— Ты почем знаешь? — сердито спросил Обломов. — Врешь!

— На даче всё такие письма от нее носили, — твердил свое Захар.

«Здорова ли она? Что это значит?» — думал Обломов, распечатывая письмо.

«Не хочу ждать среды (писала Ольга): мне так скучно не видеться подолгу с вами, что я завтра непременно жду вас в три часа в Летнем саду».

И только.

Опять поднялась было тревога со дна души, опять он начал метаться от беспокойства, как говорить с Ольгой, какое лицо сделать ей.

— Не умею, не могу, — говорил он. — Поди, узнай у Штольца!

Но он успокоил себя тем, что, вероятно, она приедет с теткой или с другой дамой — с Марьей Семеновной, например, которая так ее любит, не налюбуется на нее. При них он кое-как надеялся скрыть свое замешательство и готовился быть разговорчивым и любезным.

«И в самый обед: нашла время!» — думал он, направляясь, не без лени, к Летнему саду.

Лишь только он вошел в длинную аллею, он видел, как с одной скамьи встала и пошла к нему навстречу женщина под вуалью.

Он никак не принял ее за Ольгу: одна! быть не может! Не решится она, да и нет предлога уйти из дома.

Однако ж... походка как будто ее: так легко и быстро скользят ноги, как будто не переступают, а движутся; такая же наклоненная немного вперед шея и голова, точно она все ищет чего-то глазами под ногами у себя.

Другой бы, по шляпке, по платью заметил, но он, просидев с Ольгой целое утро, никогда не мог потом сказать, в каком она была платье и шляпке.

В саду почти никого нет; какой-то пожилой господин ходит проворно: очевидно, делает моцион для здоровья, да две... не дамы, а женщины, нянька с двумя озябшими, до синевы в лице, детьми.

Листья облетели, видно все насквозь; вороны на деревьях кричат так неприятно. Впрочем, ясно, день хорош, и если закутаться хорошенько, так и тепло.

Женщина под вуалью ближе, ближе...

«Она!» — сказал Обломов и остановился в страхе, не веря глазам.

— Как ты? Что ты? — спросил он, взяв ее за руку.

— Как я рада, что ты пришел, — говорила она, не отвечая на его вопрос, — я думала, что ты не придешь, начинала бояться!

— Как ты сюда, каким образом? — спрашивал он, растерявшись.

— Оставь; что за дело, что за расспросы? Это скучно! Я хотела видеть тебя и пришла — вот и все!

Она крепко пожимала ему руку и весело, беззаботно смотрела на него, так явно и открыто наслаждаясь украденным у судьбы мгновением, что ему даже завидно стало, что он не разделяет ее игривого настроения. Как, однако ж, ни был он озабочен, но не мог не забыться на минуту, увидя лицо ее, лишенное той сосредоточенной мысли, которая играла ее бровями, вливалась в складку на лбу; теперь она являлась без этой не раз смущавшей его чудной зрелости в чертах.

В эти минуты лицо ее дышало такою детскою доверчивостью к судьбе, к счастью, к нему... Она была очень мила.

— Ах, как я рада! Как я рада! — твердила она, улыбаясь и глядя на него. — Я думала, что не увижу тебя сегодня. Мне вчера такая тоска вдруг сделалась — не знаю, отчего, я и написала. Ты рад?

Она взглянула ему в лицо.

— Что ты такой нахмуренный сегодня? Молчишь? Ты не рад? Я думала, ты с ума сойдешь от радости, а он точно спит. Проснитесь, сударь, с вами Ольга!

Она, с упреком, слегка оттолкнула его от себя.

— Ты нездоров? Что с тобой? — приставала она.

— Нет, я здоров и счастлив, — поспешил он сказать, чтоб только дело не доходило до добыванья тайн у него из души. — Я вот только тревожусь, как ты одна...

— Это уж моя забота, — сказала она с нетерпением. — Лучше разве, если б я с ma tante приехала?

— Лучше, Ольга...

— Если б я знала, я бы попросила ее, — перебила обиженным голосом Ольга, выпуская его руку из своей. — Я думала, что для тебя нет больше счастья, как побыть со мной.

— И нет, и быть не может! Да как же ты одна...

— Нечего долго и разговаривать об этом; поговорим лучше о другом. Послушай... Ах, что-то я хотела сказать, да забыла...

— Не о том ли, как ты одна пришла сюда? — заговорил он, оглядываясь беспокойно по сторонам.

— Ах, нет! Ты все свое! Как не надоест! Что такое я хотела сказать? Ну, все равно, после вспомню. Ах, как здесь хорошо: листья все упали, feuilles d'automne*[1] — помнишь Гюго? Там вон солнце, Нева... Пойдем к Неве, покатаемся в лодке...

— Что ты? Бог с тобой! Этакой холод, а я только в ваточной шинели...

— Я тоже в ваточном платье. Что за нужда. Пойдем, пойдем.

Она бежала, тащила и его. Он упирался и ворчал. Однако ж надо было сесть в лодку и поехать.

— Как ты это одна попала сюда? — твердил тревожно Обломов.

— Сказать, как? — лукаво дразнила она, когда они выехали на средину реки. — Теперь можно: ты не уйдешь отсюда, а там убежал бы...

— А что? — со страхом заговорил он.

— Завтра придешь к нам? — вместо ответа спросила она.

«Ах, боже мой! — подумал Обломов. — Она как будто в мыслях прочла у меня, что я не хотел приходить».

— Приду, — отвечал он вслух.

— С утра, на целый день.

Он замялся.

— Ну, так не скажу, — сказала она.

— Приду на целый день.

— Вот видишь... — начала она серьезно, — я за тем звала тебя сегодня сюда, чтоб сказать тебе...

— Что?

— Чтоб ты... завтра пришел к нам...

---

* осенние листья (*франц.*).

— Ах ты, боже мой! — с нетерпением перебил он. — Да как ты сюда-то попала?

— Сюда? — рассеянно повторила она. — Как я сюда попала? Да вот так, пришла... Постой... да что об этом говорить!

Она зачерпнула горстью воды и брызнула ему в лицо. Он зажмурился, вздрогнул, а она засмеялась.

— Какая холодная вода, совсем рука оледенела! Боже мой! Как весело, как хорошо! — продолжала она, глядя по сторонам. — Поедем завтра опять, только уж прямо из дома...

— А теперь разве не прямо? Откуда же ты? — торопливо спросил он.

— Из магазина.

— Из какого магазина?

— Как из какого? Я еще в саду сказала, из какого...

— Да нет, не сказала... — с нетерпением говорил он.

— Не сказала! Как странно! Забыла! Я пошла из дома с человеком к золотых дел мастеру...

— Ну?

— Ну вот... Какая это церковь? — спросила она у лодочника, указывая вдаль.

— Которая? Вон эта-то? — переспросил лодочник.

— Смольный! [2] — нетерпеливо сказал Обломов. — Ну что ж, в магазин пошла, а там?

— Там... славные вещи.. Ах, какой браслет я видела!

— Не о браслете речь! — перебил Обломов, — что ж потом?

— Ну, и только, — рассеянно добавила она и зорко оглядывала местность вокруг.

— Где же человек? — приставал Обломов.

— Домой пошел, — едва отвечала она, вглядываясь в здания противоположного берега.

— А ты как?

— Как там хорошо! Нельзя ли туда? — спросила она, указывая зонтиком на противоположную сторону. — Ведь ты там живешь!

— Да.

— В какой улице, покажи.

— Как же человек-то? — спрашивал Обломов.

— Так, — небрежно отвечала она, — я послала его за браслетом. Он ушел домой, а я сюда.

— Как же ты так? — сказал Обломов, тараща на нее глаза.

Он сделал испуганное лицо. И она сделала нарочно такое же.

— Говори серьезно, Ольга; полно шутить.

— Я не шучу, право так! Я нарочно забыла дома браслет, а ma tante просила меня сходить в магазин. Ты ни за что не выдумаешь этого! — прибавила она с гордостью, как будто дело сделала.

— А если человек воротится?

— Я велела сказать, чтоб подождал меня, что я в другой магазин пошла, а сама сюда...

— А если Марья Михайловна спросит, в какой другой магазин пошла?

— Скажу, у портнихи была.

— А если она у портнихи спросит?

— А если Нева вдруг вся утечет в море, а если лодка перевернется, а если Морская и наш дом провалятся, а если ты вдруг разлюбишь меня... — говорила она и опять брызнула ему в лицо.

— Ведь человек уж воротился, ждет... — говорил он, утирая лицо. — Эй, лодочник, к берегу!

— Не надо, не надо! — приказывала она лодочнику.

— К берегу! человек уж воротился, — твердил Обломов.

— Пусть его! Не надо!

Но Обломов настоял на своем и торопливо пошел с нею по саду, а она, напротив, шла тихо, опираясь ему на руку.

— Что ты спешишь? — говорила она. — Погоди, мне хочется побыть с тобой.

Она шла еще тише, прижималась к его плечу и близко взглядывала ему в лицо, а он говорил ей тяжело и скучно об обязанностях, о долге. Она слушала рассеянно, с томной улыбкой, склонив голову, глядя вниз или опять близко ему в лицо, и думала о другом.

— Послушай, Ольга, — заговорил он наконец торжественно, — под опасением возбудить в тебе досаду, навлечь на себя упреки, я должен, однако ж, решительно сказать, что мы зашли далеко. Мой долг, моя обязанность сказать тебе это.

— Что сказать? — спросила она, отрезвляясь от задумчивости.

— Что мы делаем очень дурно, что видимся тайком.

— Ты говорил это еще на даче.

— Да, но я тогда увлекался: одной рукой отталкивал, а другой удерживал. Ты была доверчива, а я... как будто... обманывал тебя. Тогда было еще ново чувство...

— А теперь уж оно не новость, и ты начинаешь скучать...

— Ах нет, Ольга! Ты несправедлива. Ново, говорю я, и потому некогда, невозможно было образумиться. Меня убивает совесть: ты молода, мало знаешь свет и людей, и притом ты так чиста, так свято любишь, что тебе и в голову не приходит, какому строгому порицанию подвергаемся мы оба за то, что делаем, — больше всего я.

— Что же мы делаем? — остановившись, спросила она.

— Как что? Ты обманываешь тетку, тайком уходишь из дома, видишься наедине с мужчиной... Попробуй сказать это все в воскресенье, при гостях...

— Отчего же не сказать? — произнесла она покойно. — Пожалуй, скажу...

— И увидишь, — продолжал он, — что тетке твоей сделается дурно, дамы бросятся вон, а мужчины лукаво и смело посмотрят на тебя...

Она задумалась.

— Но ведь мы — жених и невеста! — возразила она.

— Да, да, милая Ольга, — говорил он, пожимая ей обе руки, — и

тем строже нам надо быть, тем осмотрительнее на каждом шагу. Я хочу с гордостью вести тебя под руку по этой самой аллее, всенародно, а не тайком, хочу, чтоб взгляды склонялись перед тобой с уважением, а не устремлялись на тебя смело и лукаво, чтоб ни в чьей голове не смело родиться подозрение, что ты, гордая девушка, могла, очертя голову, забыв стыд и воспитание, увлечься и нарушить долг...

— Я не забыла ни стыда, ни воспитания, ни долга, — гордо ответила она, отняв руку от него.

— Знаю, знаю, мой невинный ангел, но это не я говорю, это скажут люди, свет, и никогда не простят тебе этого. Пойми, ради бога, чего я хочу. Я хочу, чтоб ты и в глазах света была чиста и безукоризненна, какова ты в самом деле...

Она шла задумавшись.

— Пойми, для чего я говорю тебе это: ты будешь несчастлива, и на меня одного ляжет ответственность в этом. Скажут, я увлекал, закрывал от тебя пропасть с умыслом. Ты чиста и покойна со мной, но кого ты уверишь в этом? Кто поверит?

— Это правда, — вздрогнув, сказала она. — Слушай же, — прибавила решительно, — скажем все ma tante, и пусть она завтра благословит нас...

Обломов побледнел.

— Что ты? — спросила она.

— Погоди, Ольга: к чему так торопиться?.. — поспешно заметил он. У самого дрожали губы.

— Не ты ли, две недели назад, сам торопил меня? — Она глядела сухо и внимательно на него.

— Да я не подумал тогда о приготовлениях, а их много! — сказал он, вздохнув. — Дождемся только письма из деревни.

— Зачем же дожидаться письма? Разве тот или другой ответ может изменить твое намерение? — спросила она, еще внимательнее глядя на него.

— Вот мысль! Нет; а все нужно для соображений; надо же будет сказать тетке, когда свадьба. С ней мы не о любви будем говорить, а о таких делах, для которых я вовсе не приготовлен теперь.

— Тогда и скажем, как получишь письмо, а между тем все будут знать, что мы жених и невеста, и мы будем видеться ежедневно. — Мне скучно, — прибавила она, — я томлюсь этими длинными днями; все замечают, ко мне пристают, намекают лукаво на тебя... Все это мне надоело!

— Намекают на меня? — едва выговорил Обломов.

— Да, по милости Сонечки.

— Вот видишь, видишь? Ты не слушала меня, рассердилась тогда!

— Ну, что, видишь? Ничего не вижу, вижу только, что ты трус... Я не боюсь этих намеков.

— Не трус, а осторожен... Но пойдем, ради бога, отсюда, Ольга: смотри, вон карета подъезжает. Не знакомые ли? Ах! Так в пот и бросает... Пойдем, пойдем... — боязливо говорил он и заразил страхом и ее.

— Да, пойдем скорее, — сказала и она шепотом, скороговоркой.

И они почти побежали по аллее до конца сада, не говоря ни слова, Обломов, оглядываясь беспокойно во все стороны, а она, совсем склонив голову вниз и закрывшись вуалью.

— Так завтра! — сказала она, когда они были у того магазина, где ждал ее человек.

— Нет, лучше послезавтра... или нет, в пятницу или субботу, — отвечал он.

— Отчего ж?

— Да... видишь... Ольга... я все думаю, не подоспеет ли письмо?

— Пожалуй. Но завтра та́к приди, к обеду, слышишь?

— Да, да, хорошо, хорошо! — торопливо прибавил он, а она вошла в магазин.

«Ах, боже мой, до чего дошло! Какой камень вдруг упал на меня! Что я теперь стану делать? Сонечка! Захар! франты...»

VI

Он не заметил, что Захар подал ему совсем холодный обед, не заметил, как после того очутился в постели и заснул крепким, как камень, сном.

На другой день он содрогнулся при мысли ехать к Ольге, живо представив себе, как на него все станут смотреть значительно.

Швейцар и без того встречает его как-то особенно ласково. Семен так и бросается сломя голову, когда он спросит стакан воды. Катя, няня провожают его дружелюбной улыбкой.

«Жених, жених!» — написано у всех на лбу, а он еще не просил согласия тетки, у него ни гроша денег нет, и он не знает, когда будут, не знает даже, сколько он получит дохода с деревни в нынешнем году; дома в деревне нет — хорош жених!

Он решил, что до получения положительных известий из деревни он будет видеться с Ольгой только в воскресенье, при свидетелях. Поэтому, когда пришло завтра, он не подумал с утра начать готовиться ехать к Ольге.

Он не брился, не одевался, лениво перелистывал французские газеты, взятые на той неделе у Ильинских, не смотрел беспрестанно на часы и не хмурился, что стрелка долго не подвигается вперед.

Захар и Анисья думали, что он по обыкновению не будет обедать дома, и не спрашивали его, что готовить.

Он их разбранил, объявив, что он совсем не всякую среду обедал у Ильинских, что это «клевета», что обедал он у Ивана Герасимовича и что вперед, кроме разве воскресенья, и то не каждого, будет обедать дома.

Анисья опрометью побежала на рынок за потрохами для любимого супа Обломова.

Приходили хозяйские дети к нему: он поверил сложение и вычитание у Вани и нашел две ошибки. Маше налиневал тетрадь и напи-

сал большие азы,[1] потом слушал, как трещат канарейки, и смотрел в полуотворенную дверь, как мелькали и двигались локти хозяйки.

Часу во втором хозяйка из-за двери спросила, не хочет ли он закусить: у них пекли ватрушки. Подали ватрушки и рюмку смородиновой водки.

Волнение Ильи Ильича немного успокоилось, и на него нашла только тупая задумчивость, в которой он пробыл почти до обеда.

После обеда, лишь только было он, лежа на диване, начал кивать головой, одолеваемый дремотой, дверь из хозяйской половины отворилась, и оттуда появилась Агафья Матвеевна с двумя пирамидами чулок в обеих руках.

Она положила их на два стула, а Обломов вскочил и предложил ей самой третий, но она не села; это было не в ее привычках: она вечно на ногах, вечно в заботе и в движении.

— Вот я разобрала сегодня ваши чулки, — сказала она, — пятьдесят пять пар, да почти всё худые...

— Какие же вы добрые! — говорил Обломов, подходя к ней и взяв ее шутливо слегка за локти.

Она усмехнулась.

— Что вы беспокоитесь? Мне, право, совестно.

— Ничего, наше дело хозяйское: у вас некому разбирать, а мне в охоту, — продолжала она. — Вот тут двадцать пар совсем не годятся: их уж и штопать не стоит.

— Не надо, бросьте все, пожалуйста! что вы занимаетесь этой дрянью. Можно новые купить...

— Как бросить, зачем? Вот эти можно все надвязать. — Она начала живо отсчитывать чулки.

— Да сядьте, пожалуйста; что вы стоите? — предлагал он ей.

— Нет, покорнейше благодарю, некогда покладываться, — отвечала она, уклоняясь опять от стула.[2] — Сегодня стирка у нас; надо все белье приготовить.

— Вы чудо, а не хозяйка! — говорил он, останавливая глаза на ее горле и на груди.

Она усмехнулась.

— Так как же, — спросила она, — надвязать чулки-то? Я бумаги и ниток закажу. Нам старуха из деревни носит, а здесь не стоит покупать: всё гниль.

— Если вы так добры, сделайте одолжение, только мне, право, совестно, что вы хлопочете.

— Ничего; что нам делать-то? Вот это я сама надвяжу, эти бабушке дам; завтра золовка придет гостить: по вечерам нечего будет делать и надвяжем. У меня Маша уж начинает вязать, только спицы все выдергивает: большие, не по рукам.

— Ужели и Маша привыкает?

— Ей-богу, правда.

— Не знаю, как и благодарить вас, — говорил Обломов, глядя на нее с таким же удовольствием, с каким утром смотрел на горячую ват-

рушку. — Очень, очень благодарен вам и в долгу не останусь, особенно у Маши: шелковых платьев накуплю ей, как куколку одену.

— Что вы? Что за благодарность? Куда ей шелковые платья? Ей и ситцевых не напасешься: так вот на ней все и горит, особенно башмаки: не успеваем на рынке покупать.

Она встала и взяла чулки.

— Куда ж вы торопитесь? — говорил он. — Посидите, я не занят.

— В другое время когда-нибудь, в праздник; и вы к нам, милости просим, кофе кушать. А теперь стирка: я пойду посмотрю, что Акулина, начала ли?

— Ну, бог с вами, не смею задерживать, — сказал Обломов, глядя ей вслед в спину и на локти.

— Еще я халат ваш достала из чулана, — продолжала она, — его можно починить и вымыть: материя такая славная! Он долго прослужит.

— Напрасно! Я его не ношу больше, я отстал, он мне не нужен.

— Ну, все равно, пусть вымоют: может быть, наденете когда-нибудь... к свадьбе! — досказала она, усмехаясь и захлопывая дверь.

У него вдруг и сон отлетел, и уши навострились, и глаза он вытаращил.

— И она знает — все! — сказал он, опускаясь на приготовленный ей стул. — О Захар, Захар!

Опять полились на Захара «жалкие» слова, опять Анисья заговорила носом, что «она в первый раз от хозяйки слышит о свадьбе, что в разговорах с ней даже помину не было, да и свадьбы нет, и статочное ли дело? Это выдумал, должно быть, враг рода человеческого, хоть сейчас сквозь землю провалиться, и что хозяйка тоже готова снять образ со стены, что она про Ильинскую барышню и не слыхивала, а разумела какую-нибудь другую невесту...».

И много говорила Анисья, так что Илья Ильич замахал рукой. Захар попробовал было на другой день попроситься в старый дом, в Гороховую, в гости сходить, так Обломов таких гостей задал ему, что он насилу ноги унес.

— Там еще не знают, так надо распустить клевету. Дома сиди! — прибавил он грозно.

Прошла среда. В четверг Обломов получил опять по городской почте письмо от Ольги, с вопросом, что значит, что такое случилось, что его не было. Она писала, что проплакала целый вечер и почти не спала ночь.

«Плачет, не спит этот ангел! — восклицал Обломов. — Господи! Зачем она любит меня? Зачем я люблю ее? Зачем мы встретились? Это все Андрей: он привил любовь, как оспу, нам обоим.[3] И что это за жизнь, всё волнения да тревоги! Когда же будет мирное счастье, покой?»

Он с громкими вздохами ложился, вставал, даже выходил на улицу и все доискивался нормы жизни, такого существования, которое было бы и исполнено содержания, и текло бы тихо, день за днем, капля по капле, в немом созерцании природы и тихих, едва ползущих явлениях

семейной, мирно-хлопотливой жизни. Ему не хотелось воображать ее широкой, шумно несущейся рекой, с кипучими волнами, как воображал ее Штольц.

«Это болезнь, — говорил Обломов, — горячка, скаканье с порогами, с прорывами плотин, с наводнениями».

Он написал Ольге, что в Летнем саду простудился немного, должен был напиться горячей травы и просидеть дня два дома, что теперь все прошло и он надеется видеть ее в воскресенье.

Она написала ему ответ и похвалила, что он поберегся, советовала остаться дома и в воскресенье, если нужно будет, и прибавила, что она лучше проскучает с неделю, чтоб только он берегся.

Ответ принес Никита, тот самый, который, по словам Анисьи, был главным виновником болтовни. Он принес от барышни новые книги, с поручением от Ольги прочитать и сказать при свидании, стоит ли их читать ей самой.

Она требовала ответа о здоровье. Обломов, написав ответ, сам отдал его Никите и прямо из передней выпроводил его на двор и провожал глазами до калитки, чтоб он не вздумал зайти на кухню и повторить там «клевету» или чтоб Захар не пошел провожать его на улицу.

Он обрадовался предложению Ольги поберечься и не приходить в воскресенье и написал ей, что, действительно, для совершенного выздоровления нужно просидеть еще несколько дней дома.

В воскресенье он был с визитом у хозяйки, пил кофе, ел горячий пирог и к обеду посылал Захара на ту сторону за мороженым и за конфектами для детей.

Захара насилу перевезли через реку назад; мосты сняли, и Нева собралась уже замерзнуть.[4] Обломову нельзя было думать и в среду ехать к Ольге.

Конечно, можно было бы броситься сейчас же на ту сторону, поселиться на несколько дней у Ивана Герасимовича и бывать, даже обедать каждый день у Ольги.

Предлог был законный: Нева захватила на той стороне, не успел переправиться.

У Обломова первым движением была эта мысль, и он быстро спустил ноги на пол, но, подумав немного, с заботливым лицом и со вздохом, медленно опять улегся на своем месте.

«Нет, пусть замолкнут толки, пусть посторонние лица, посещающие дом Ольги, забудут немного его и увидят уж опять каждый день там тогда, когда они объявлены будут женихом и невестой».

«Скучно ждать, да нечего делать», — прибавил он со вздохом, принимаясь за присланные от Ольги книги.

Он прочел страниц пятнадцать. Маша пришла звать его, не хочет ли пойти на Неву: все идут посмотреть, как становится река. Он пошел и воротился к чаю.

Так проходили дни. Илья Ильич скучал, читал, ходил по улице, а дома заглядывал в дверь к хозяйке, чтоб от скуки перемолвить слова

два. Он даже смолол ей однажды фунта три кофе с таким усердием, что у него лоб стал мокрый.

Он хотел было дать ей книгу прочесть. Она, медленно шевеля губами, прочла про себя заглавие и возвратила книгу, сказав, что когда придут святки, так она возьмет ее у него и заставит Ваню прочитать вслух, тогда и бабушка послушает, а теперь некогда.

Между тем на Неву настлали мостки, и однажды скаканье собаки на цепи и отчаянный лай возвестили вторичный приход Никиты с запиской, с вопросом о здоровье и с книгой.

Обломов боялся, чтоб и ему не пришлось идти по мосткам на ту сторону, спрятался от Никиты, написав в ответ, что у него сделалась маленькая опухоль в горле, что он не решается еще выходить со двора и что «жестокая судьба лишает его счастья еще несколько дней видеть ненаглядную Ольгу».

Он накрепко наказал Захару не сметь болтать с Никитой и опять глазами проводил последнего до калитки, а Анисье погрозил пальцем, когда она показала было нос из кухни и что-то хотела спросить Никиту.

VII

Прошла неделя. Обломов, встав утром, прежде всего с беспокойством спрашивал, наведены ли мосты.

«Нет еще», — говорили ему, и он мирно проводил день, слушая постукиванье маятника, треск кофейной мельницы и пение канареек.

Цыплята не пищали больше, они давно́ стали пожилыми курами и прятались по курятникам. Книг, присланных Ольгой, он не успел прочесть: как на сто пятой странице он положил книгу, обернув переплетом вверх, так она и лежит уже несколько дней.

Зато он чаще занимается с детьми хозяйки. Ваня такой понятливый мальчик, в три раза запомнил главные города в Европе, и Илья Ильич обещал, как только поедет на ту сторону, подарить ему маленький глобус; а Машенька обрубила ему три платка — плохо, правда, но зато она так смешно трудится маленькими ручонками и все бегает показать ему каждый обрубленный вершок.

С хозяйкой он беседовал беспрестанно, лишь только завидит ее локти в полуотворенную дверь. Он уже, по движению локтей, привык распознавать, что делает хозяйка, сеет, мелет или гладит.

Даже пробовал заговорить с бабушкой, да она не сможет никак докончить разговора: остановится на полуслове, упрет кулаком в стену, согнется и давай кашлять, точно трудную работу какую-нибудь исправляет, потом охнет — тем весь разговор и кончится.

Только братца одного не видит он совсем или видит, как мелькает большой пакет мимо окон, а самого его будто и не слыхать в доме. Даже когда Обломов нечаянно вошел в комнату, где они обедают, сжавшись в тесную кучу, братец наскоро вытер пальцами губы и скрылся в свою светлицу.

Однажды, лишь только Обломов беззаботно проснулся утром и принялся за кофе, вдруг Захар донес, что мосты наведены. У Обломова стукнуло сердце.

«А завтра воскресенье, — сказал он, — надо ехать к Ольге, целый день мужественно выносить значительные и любопытные взгляды посторонних, потом объявить ей, когда он намерен говорить с теткой. А он еще все на той же точке невозможности двинуться вперед».

Ему живо представилось, как он объявлен женихом, как на другой, на третий день приедут разные дамы и мужчины, как он вдруг станет предметом любопытства, как дадут официальный обед, будут пить его здоровье. Потом... потом, по праву и обязанности жениха, он привезет невесте подарок...

«Подарок!» — с ужасом сказал он себе и расхохотался горьким смехом.

Подарок! А у него двести рублей в кармане! Если деньги и пришлют, так к Рождеству, а может быть, и позже, когда продадут хлеб, а когда продадут, сколько его там и как велика сумма выручена будет — все это должно объяснить письмо, а письма нет. Как же быть? Прощай, двухнедельное спокойствие!

Между этими заботами рисовалось ему прекрасное лицо Ольги, ее пушистые, говорящие брови и эти умные серо-голубые глаза, и вся головка, и коса ее, которую она спускала как-то низко на затылок, так что она продолжала и дополняла благородство всей ее фигуры, начиная с головы до плеч и стана.

Но лишь только он затрепещет от любви, тотчас же, как камень, сваливается на него тяжелая мысль: как быть, что делать, как приступить к вопросу о свадьбе, где взять денег, чем потом жить?

«Подожду еще; авось, письмо придет завтра или послезавтра». И он принимался рассчитывать, когда должно прийти в деревню его письмо, сколько времени может промедлить сосед и какой срок понадобится для присылки ответа.

«В эти три, много четыре дня должно прийти; подожду ехать к Ольге», — решил он, тем более, что она едва ли знает, навели ли мосты...

— Катя, навели мосты? — проснувшись в то же утро, спросила Ольга у своей горничной.

И этот вопрос повторялся каждый день. Обломов не подозревал этого.

— Не знаю, барышня; нынче не видала ни кучера, ни дворника, а Никита не знает.

— Ты никогда не знаешь, что мне нужно! — с неудовольствием сказала Ольга, лежа в постели и рассматривая цепочку на шее.

— Я сейчас узнаю, барышня. Я не смела отойти, думала, что вы проснетесь, а то бы давно сбегала. — И Катя исчезла из комнаты.

А Ольга отодвинула ящик столика и достала последнюю записку Обломова. «Болен, бедный, — заботливо думала она, — он там один, скучает... Ах, боже мой, скоро ли...»

Она не окончила мысли, а раскрасневшаяся Катя влетела в комнату.

— Наведены, наведены сегодня в ночь! — радостно сказала она и

приняла быстро вскочившую с постели барышню на руки, накинула на нее блузу и пододвинула крошечные туфли. Ольга проворно отворила ящик, вынула что-то оттуда и опустила в руку Кате, а Катя поцеловала у ней руку. Все это — прыжок с постели, опущенная монета в руку Кати и поцелуй барышниной руки — случилось в одну и ту же минуту. «Ах, завтра воскресенье: как это кстати! Он придет!» — подумала Ольга и живо оделась, наскоро напилась чаю и поехала с теткой в магазин.

— Пойдемте, ma tante, завтра в Смольный, к обедне, — просила она.

Тетка прищурилась немного, подумала, потом сказала:

— Пожалуй; только какая даль, ma chère! Что это тебе вздумалось зимой!

А Ольге вздумалось только потому, что Обломов указал ей эту церковь с реки, и ей захотелось помолиться в ней... о нем, чтоб он был здоров, чтоб любил ее, чтоб был счастлив ею, чтоб... эта нерешительность, неизвестность скорее кончилась... Бедная Ольга!

Настало и воскресенье. Ольга как-то искусно умела весь обед устроить по вкусу Обломова.

Она надела белое платье, скрыла под кружевами подаренный им браслет, причесалась, как он любит; накануне велела настроить фортепьяно и утром попробовала спеть Casta diva. И голос так звучен, как не был с дачи. Потом стала ждать.

Барон застал ее в этом ожидании и сказал, что она опять похорошела, как летом, но что немного похудела.

— Отсутствие деревенского воздуха и маленький беспорядок в образе жизни заметно подействовали на вас, — сказал он. — Вам, милая Ольга Сергевна, нужен воздух полей и деревня.

Он несколько раз поцеловал ей руку, так что крашеные усы оставили даже маленькое пятнышко на пальцах.

— Да, деревня, — отвечала она задумчиво, но не ему, а так кому-то, на воздух.

— À propos о деревне, — прибавил он, — в будущем месяце дело ваше кончится, а в апреле вы можете ехать в свое имение. Оно невелико, но местоположение — чудо! Вы будете довольны. Какой дом! Сад! Там есть один павильон, на горе: вы его полюбите. Вид на реку... вы не помните, вы пяти лет были, когда папá выехал оттуда и увез вас.

— Ах, как я буду рада! — сказала она и задумалась.

«Теперь уж решено, — думала она, — мы поедем туда, но он узнает об этом не прежде, как...»

— В будущем месяце, барон? — живо спросила она. — Это верно?

— Как то, что вы прекрасны вообще, а сегодня в особенности, — сказал он и пошел к тетке.

Ольга осталась на своем месте и замечталась о близком счастье, но она решилась не говорить Обломову об этой новости, о своих будущих планах.

Она хотела доследить до конца, как в его ленивой душе любовь совершит переворот, как окончательно спадет с него гнет, как он не устоит перед близким счастьем, получит благоприятный ответ из деревни

и, сияющий, прибежит, прилетит и положит его к ее ногам, как они оба, вперегонку, бросятся к тетке, и потом. . .

Потом вдруг она скажет ему, что и у нее есть деревня, сад, павильон, вид на реку и дом, совсем готовый для житья, как надо прежде поехать туда, потом в Обломовку.

«Нет, не хочу благоприятного ответа, — подумала она, — он загордится и не почувствует даже радости, что у меня есть свое имение, дом, сад. Нет, пусть он лучше придет расстроенный неприятным письмом, что в деревне беспорядок, что надо ему побывать самому. Он поскачет сломя голову в Обломовку, наскоро сделает все нужные распоряжения, многое забудет, не сумеет, все кое-как, и поскачет обратно, и вдруг узнает, что не надо было скакать — что есть дом, сад и павильон с видом, что есть где жить и без его Обломовки. . Да, да, она ни за что не скажет ему, выдержит до конца; пусть он съездит туда, пусть пошевелится, оживет — все для нее, во имя будущего счастья! Или нет: зачем посылать его в деревню, расставаться? Нет, когда он в дорожном платье придет к ней бледный, печальный, прощаться на месяц, она вдруг скажет ему, что не надо ехать до лета: тогда вместе поедут. .»

Так мечтала она, и побежала к барону, и искусно предупредила его, чтоб он до времени об этой новости не говорил никому, решительно *никому*. Под этим *никому* она разумела одного Обломова.

— Да, да, зачем? — подтвердил он. — Разве мсьё Обломову только, если речь зайдет. .

Ольга выдержала себя и равнодушно сказала:

— Нет, и ему не говорите.

— Ваша воля, вы знаете, для меня закон. . — прибавил барон любезно.

Она была не без лукавства. Если ей очень хотелось взглянуть на Обломова при свидетелях, она прежде взглянет попеременно на троих других, потом уж на него.

Сколько соображений — все для Обломова! Сколько раз загорались два пятна у ней на щеках! Сколько раз она тронет то тот, то другой клавиш, чтоб узнать, не слишком ли высоко настроено фортепиано, или переложит ноты с одного места на другое! И вдруг нет его! Что это значит?

Три, четыре часа — все нет! В половине пятого красота ее, расцветание начали пропадать: она стала заметно увядать и села за стол побледневшая.

А прочие ничего: никто и не замечает — все едят те блюда, которые готовились для него, разговаривают так весело, равнодушно.

После обеда, вечером — его нет, нет. До десяти часов она волновалась надеждой, страхом; в десять часов ушла к себе.

Сначала она обрушила мысленно на его голову всю желчь, накипевшую в сердце; не было едкого сарказма, горячего слова, какие только были в ее лексиконе, которыми бы она мысленно не казнила его.

Потом вдруг как будто весь организм ее наполнился огнем, потом льдом.

«Он болен; он один; он не может даже писать. . .» — сверкнуло у ней в голове.

Это убеждение овладело ею вполне и не дало ей уснуть всю ночь. Она лихорадочно вздремнула два часа, бредила ночью, но потом, утром встала хотя бледная, но такая покойная, решительная.

В понедельник утром хозяйка заглянула к Обломову в кабинет и сказала:

— Вас какая-то девушка спрашивает.

— Меня? Не может быть! — отвечал Обломов. — Где она?

— Вот здесь: она ошиблась, на наше крыльцо прошла. Впустить?

Обломов не знал еще, на что решиться, как перед ним очутилась Катя. Хозяйка ушла.

— Катя! — с изумлением сказал Обломов. — Как? Что ты?

— Барышня здесь, — шепотом отвечала она, — велели спросить. . .

Обломов изменился в лице.

— Ольга Сергевна! — в ужасе шептал он. — Неправда, Катя, ты пошутила? Не мучь меня!

— Ей-богу, правда: в наемной карете, в чайном магазине остановились, дожидаются,[1] сюда хотят. Послали меня сказать, чтоб Захара выслали куда-нибудь. Они через полчаса будут.

— Я лучше сам пойду. Как можно ей сюда?

— Не успеете: они, того и гляди, войдут; они думают, что вы нездоровы. Прощайте, я побегу: они одни, ждут меня. . .

И ушла.

Обломов с необычайной быстротой надел галстук, жилет, сапоги и кликнул Захара.

— Захар, ты недавно просился у меня в гости на ту сторону, в Гороховую, что ли, так вот, ступай теперь! — с лихорадочным волнением говорил он.

— Не пойду, — решительно отвечал Захар.

— Нет, ты ступай! — настойчиво говорил Обломов.

— Что за гости в будни? Не пойду! — упрямо сказал Захар.

— Поди же, повеселись, не упрямься, когда барин делает милость, отпускает тебя. . . ступай к приятелям!

— Ну их, приятелей-то!

— Разве тебе не хочется повидаться с ними?

— Мерзавцы всё такие, что иной раз не глядел бы!

— Поди же, поди! — настойчиво твердил Обломов, и кровь у него бросилась в голову.

— Нет, сегодня целый день дома пробуду, а вот в воскресенье, пожалуй! — равнодушно отнекивался Захар.

— Теперь же, сейчас! — в волнении торопил его Обломов. — Ты должен. . .

— Да куда я пойду семь верст киселя есть?

— Ну, поди погуляй часа два: видишь, рожа-то у тебя какая заспанная — проветрись!

— Рожа как рожа: обыкновенно какая бывает у нашего брата! — сказал Захар, лениво глядя в окно.

«Ах ты, боже мой, сейчас явится!» — думал Обломов, отирая пот на лбу.

— Ну, пожалуйста, поди погуляй, тебя просят! На вот двугривенный: выпей пива с приятелем.

— Я лучше на крыльце побуду: а то куда я в мороз пойду? У ворот, пожалуй, посижу, это могу...

— Нет, дальше от ворот, — живо сказал Обломов, — в другую улицу ступай, вон туда, налево, к саду... на ту сторону.

«Что за диковина? — думал Захар, — гулять гонит; этого не бывало».

— Я лучше в воскресенье, Илья Ильич.

— Уйдешь ли ты? — сжав зубы, заговорил Обломов, напирая на Захара.

Захар скрылся, а Обломов позвал Анисью.

— Ступай на рынок, — сказал он ей, — и купи там к обеду...

— К обеду все куплено; скоро будет готово... — заговорил было нос.

— Молчать и слушать! — крикнул Обломов, так что Анисья оробела.

— Купи... хоть спаржи... — договорил он, придумывая и не зная, за чем послать ее.

— Какая теперь, батюшка, спаржа? Да и где здесь ее найдешь.

— Марш! — закричал он, и она убежала. — Беги что есть мочи туда, — кричал он ей вслед, — и не оглядывайся, а оттуда как можно тише иди, раньше двух часов и носа не показывай.

— Что это за диковина! — говорил Захар Анисье, столкнувшись с ней за воротами. — Гулять прогнал, двугривенный дал. Куда я пойду гулять?

— Барское дело, — заметила сметливая Анисья, — ты поди к Артемью, графскому кучеру, напой его чаем: он все поит тебя, а я побегу на рынок.

— Что это за диковина, Артемий? — сказал Захар и ему. — Барин гулять прогнал и на пиво дал...

— Да не вздумал ли сам нализаться? — остроумно догадался Артемий, — так и тебе дал, чтоб не завидно было. Пойдем!

Он мигнул Захару и махнул головой в какую-то улицу.

— Пойдем! — повторил Захар и тоже махнул головой в ту улицу.

— Экая диковина: гулять прогнал! — с усмешкой сипел он про себя.

Они ушли, а Анисья, добежав до первого перекрестка, присела за плетень, в канаве, и ждала, что будет.

Обломов прислушивался и ждал: вот кто-то взялся за кольцо у калитки, и в то же мгновение раздался отчаянный лай и началось скаканье на цепи собаки.

— Проклятая собака! — проскрежетал зубами Обломов, схватил фуражку и бросился к калитке, отворил ее и почти в объятиях донес Ольгу до крыльца.

Она была одна. Катя ожидала ее в карете, неподалеку от ворот.

— Ты здоров? Не лежишь? Что с тобой? — бегло спросила она,

не снимая ни салопа, ни шляпки и оглядывая его с ног до головы, когда они вошли в кабинет.

— Теперь мне лучше, горло прошло... почти совсем, — сказал он, дотрогиваясь до горла и кашлянув слегка.

— Что ж ты не был вчера? — спросила она, глядя на него таким добывающим взглядом, что он не мог сказать ни слова.

— Как это ты решилась, Ольга, на такой поступок? — с ужасом заговорил он. — Ты знаешь ли, что ты делаешь...

— Об этом после! — перебила она нетерпеливо. — Я спрашиваю тебя: что значит, что тебя не видать?

Он молчал.

— Не ячмень ли сел?

Он молчал.

— Ты не был болен; у тебя не болело горло, — сказала она, сдвинув брови.

— Не был, — отвечал Обломов голосом школьника.

— Обманул меня! — Она с изумлением глядела на него. — Зачем?

— Я все объясню тебе, Ольга, — оправдывался он, — важная причина заставила меня не быть две недели.. я боялся.

— Чего? — спросила она, садясь и снимая шляпку и салоп.

Он взял то и другое и положил на диван.

— Толков, сплетней.

— А не боялся, что я не спала ночь, бог знает что передумала и чуть не слегла в постель? — сказала она, поводя по нем испытующим взглядом.

— Ты не знаешь, Ольга, что тут происходит у меня, — говорил он, показывая на сердце и голову, — я весь в тревоге, как в огне. Ты не знаешь, что случилось?

— Что еще случилось? — спросила она холодно.

— Как далеко распространился слух о тебе и обо мне! Я не хотел тебя тревожить и боялся показаться на глаза.

Он рассказал ей все, что слышал от Захара, от Анисьи, припомнил разговор франтов и заключил, сказав, что с тех пор он не спит, что он в каждом взгляде видит вопрос, или упрек, или лукавые намеки на их свидания.

— Но ведь мы решили объявить на этой неделе ma tante, — возразила она, — тогда эти толки должны замолкнуть...

— Да; но мне не хотелось заговаривать с теткой до нынешней недели, до получения письма. Я знаю, она не о любви моей спросит, а об имении, войдет в подробности, а этого ничего я не могу объяснить, пока не получу ответа от поверенного.

Она вздохнула.

— Если б я не знала тебя, — в раздумье говорила она, — я бог знает что могла бы подумать. Боялся тревожить меня толками лакеев, а не боялся мне сделать тревогу! Я перестаю понимать тебя.

— Я думал, что болтовня их взволнует тебя. Катя, Марфа, Семен и этот дурак Никита бог знает что говорят...

— Я давно знаю, что они говорят, — равнодушно сказала она.

— Как, знаешь?

— Так. Катя и няня давно донесли мне об этом, спрашивали о тебе, поздравляли меня...

— Ужели поздравляли? — с ужасом спросил он. — Что ж ты?

— Ничего, поблагодарила; няне подарила платок, а она обещала сходить к Сергию пешком.[2] Кате взялась выхлопотать отдать ее замуж за кондитера: у ней есть свой роман...

Он смотрел на нее испуганными и изумленными глазами.

— Ты бываешь каждый день у нас: очень натурально, что люди толкуют об этом, — прибавила она, — они первые начинают говорить. С Сонечкой было то же: что ж это так пугает тебя?

— Так вот откуда эти слухи? — сказал он протяжно.

— Разве они неосновательны? Ведь это правда?

— Правда! — ни вопросительно, ни отрицательно повторил Обломов. — Да, — прибавил он потом, — в самом деле, ты права: только я не хочу, чтоб они знали о наших свиданиях, оттого и боюсь..

— Ты боишься, дрожишь, как мальчик... Не понимаю! Разве ты крадешь меня?

Ему было неловко; она внимательно глядела на него.

— Послушай, — сказала она, — тут есть какая-то ложь, что-то не то. Поди сюда и скажи все, что у тебя на душе. Ты мог не быть день, два — пожалуй, неделю, из предосторожности, но все бы ты предупредил меня, написал. Ты знаешь, я уж не дитя и меня не так легко смутить вздором. Что это все значит?

Он задумался, потом поцеловал у ней руку и вздохнул.

— Вот что, Ольга, я думаю, — сказал он, — у меня все это время так напугано воображение этими ужасами за тебя, так истерзан ум заботами, сердце наболело то от сбывающихся, то от пропадающих надежд, от ожиданий, что весь организм мой потрясен: он немеет, требует хоть временного успокоения...

— Отчего ж у меня не немеет, и я ищу успокоения только подле тебя?

— У тебя молодые, крепкие силы, и ты любишь ясно, покойно, а я.. но ты знаешь, как я тебя люблю! — сказал он, сползая на пол и целуя ее руки.

— Нет еще, мало знаю, — ты так странен, что я теряюсь в соображениях; у меня гаснут ум и надежда.. скоро мы перестанем понимать друг друга: тогда худо!

Они замолчали.

— Что ж ты делал эти дни? — спросила она, в первый раз оглядывая глазами комнату. — У тебя нехорошо: какие низенькие комнаты! Окна маленькие, обои старые.. Где ж еще у тебя комнаты?

Он бросился показывать ей квартиру, чтоб замять вопрос о том, что он делал эти дни. Потом она села на диван, он поместился опять на ковре, у ног ее.

— Что ж ты делал две недели? — допрашивала она.

— Читал, писал, думал о тебе.

— Прочел мои книги? Что они? Я возьму их с собой.

Она взяла со стола книгу и посмотрела на развернутую страницу: страница запылилась.

— Ты не читал! — сказала она.

— Нет, — отвечал он.

Она посмотрела на измятые, шитые подушки, на беспорядок, на запыленные окна, на письменный стол, перебрала несколько покрытых пылью бумаг, пошевелила перо в сухой чернильнице и с изумлением поглядела на него.

— Что ж ты делал? — повторила она. — Ты не читал и не писал?

— Времени мало было, — начал он, заминаясь, — утром встанешь, убирают комнаты, мешают, потом начнутся толки об обеде, тут хозяйские дети придут, просят задачу поверить, а там и обед. После обеда. когда читать?

— Ты спал после обеда, — сказала она так положительно, что после минутного колебания он тихо отвечал:

— Спал..

— Зачем же?

— Чтоб не замечать времени: тебя не было со мной, Ольга, и жизнь скучна, несносна без тебя...

Он остановился, а она строго глядела на него.

— Илья! — серьезно заговорила она. — Помнишь, в парке, когда ты сказал, что в тебе загорелась жизнь, уверял, что я — цель твоей жизни, твой идеал, взял меня за руку и сказал, что она твоя, — помнишь, как я дала тебе согласие?

— Да разве это можно забыть? Разве это не перевернуло всю мою жизнь? Ты не видишь, как я счастлив?

— Нет, не вижу; ты обманул меня, — холодно сказала она, — ты опять опускаешься...

— Обманул! Не грех тебе? Богом клянусь, я кинулся бы сейчас в бездну!..

— Да, если б бездна была вот тут, под ногами, сию минуту, — перебила она, — а если б отложили на три дня, ты бы передумал, испугался, особенно если б Захар или Анисья стали болтать об этом. Это не любовь.

— Ты сомневаешься в моей любви? — горячо заговорил он. — Думаешь, что я медлю от боязни за себя, а не за тебя? Не оберегаю, как стеной, твоего имени, не бодрствую, как мать, чтоб не смел коснуться слух тебя... Ах, Ольга! Требуй доказательств! Повторю тебе, что если б ты с другим могла быть счастливее, я бы без ропота уступил права свои; если б надо было умереть за тебя, я бы с радостью умер! — со слезами досказал он.

— Этого ничего не нужно, никто не требует! Зачем мне твоя жизнь? Ты сделай, что надо. Это уловка лукавых людей предлагать жертвы, которых не нужно или нельзя приносить, чтоб не приносить нужных. Ты не лукав — я знаю, но.

— Ты не знаешь, сколько здоровья унесли у меня эти страхи и за-

боты! — продолжал он. — У меня нет другой мысли с тех пор, как я тебя знаю. Да, и теперь, повторю, ты моя цель, и только ты одна. Я сейчас умру, сойду с ума, если тебя не будет со мной! Я теперь дышу, смотрю, мыслю и чувствую тобой. Что ж ты удивляешься, что в те дни, когда не вижу тебя, я засыпаю и падаю? Мне все противно, все скучно: я машина: хожу, делаю и не замечаю, что делаю. Ты огонь и сила этой машины, — говорил он, становясь на колени и выправляясь.

Глаза заблистали у него, как, бывало, в парке. Опять гордость и сила воли засияли в них.

— Я сейчас готов идти, куда ты велишь, делать, что хочешь. Я чувствую, что живу, когда ты смотришь на меня, говоришь, поешь.

Ольга с строгой задумчивостью слушала эти излияния страсти.

— Послушай, Илья, — сказала она, — я верю твоей любви и своей силе над тобой. Зачем же ты пугаешь меня своей нерешительностью, доводишь до сомнений? Я цель твоя, говоришь ты и идешь к ней так робко, медленно; а тебе еще далеко идти; ты должен стать выше меня. Я жду этого от тебя! Я видала счастливых людей, как они любят, — прибавила она со вздохом, — у них все кипит, и покой их не похож на твой; они не опускают головы; глаза у них открыты; они едва спят, они действуют! А ты... нет, не похоже, чтоб любовь, чтоб я была твоей целью...

Она с сомнением покачала головой.

— Ты, ты!.. — говорил он, целуя опять у ней руки и волнуясь у ног ее. — Одна ты! Боже мой, какое счастье! — твердил он, как в бреду. — И ты думаешь — возможно обмануть тебя, уснуть после такого пробуждения, не сделаться героем! Вы увидите, ты и Андрей, — продолжал он, озираясь вдохновенными глазами, — до какой высоты поднимает человека любовь такой женщины, как ты! Смотри, смотри на меня: не воскрес ли я, не живу ли в эту минуту? Пойдем отсюда! Вон! Вон! Я не могу ни минуты оставаться здесь; мне душно, гадко! — говорил он, с непритворным отвращением оглядываясь вокруг. — Дай мне дожить сегодня этим чувством... Ах, если б тот же огонь жег меня, какой теперь жжет, — и завтра, и всегда! А то нет тебя — я гасну, падаю! Теперь я ожил, воскрес. Мне кажется, я... Ольга, Ольга! Ты прекраснее всего в мире, ты первая женщина, ты... ты...

Он припал к ее руке лицом и замер. Слова не шли более с языка. Он прижал руку к сердцу, чтоб унять волнение, устремил на Ольгу свой страстный, влажный взгляд и стал неподвижен.

«Нежен, нежен, нежен!» — мысленно твердила Ольга, но со вздохом, не как, бывало, в парке, и погрузилась в глубокую задумчивость.

— Мне пора! — очнувшись, сказала она ласково.

Он вдруг отрезвился.

— Ты здесь, боже мой! У меня? — говорил он, и вдохновенный взгляд заменился робким озираньем по сторонам. Горячая речь не шла больше с языка.

Он торопливо хватал шляпку и салоп и, в суматохе, хотел надеть салоп ей на голову.

Она засмеялась.

— Не бойся за меня, — успокоивала она, — ma tante уехала на целый день; дома только няня знает, что меня нет, да Катя. Проводи меня.

Она подала ему руку и без трепета, покойно, в гордом сознании своей невинности, перешла двор, при отчаянном скаканье на цепи и лае собаки, села в карету и уехала.

Из окон с хозяйской половины смотрели головы; из-за угла, за плетнем, выглянула из канавы голова Анисьи.

Когда карета заворотила в другую улицу, пришла Анисья и сказала, что она избегала весь рынок и спаржи не оказалось. Захар вернулся часа через три и проспал целые сутки.

Обломов долго ходил по комнате и не чувствовал под собой ног, не слыхал собственных шагов: он ходил как будто на четверть от полу.

Лишь только замолк скрип колес кареты по снегу, увезшей его жизнь, счастье, — беспокойство его прошло, голова и спина у него выпрямились, вдохновенное сияние воротилось на лицо, и глаза были влажны от счастья, от умиления. В организме разлилась какая-то теплота, свежесть, бодрость. И опять, как прежде, ему захотелось вдруг всюду, куда-нибудь далеко: и туда, к Штольцу, с Ольгой, и в деревню, на поля, в рощи, хотелось уединиться в своем кабинете и погрузиться в труд, и самому ехать на Рыбинскую пристань,[3] и дорогу проводить, прочесть только что вышедшую новую книгу, о которой все говорят, и в оперу — сегодня.

Да, сегодня она у него, он у ней, потом в опере. Как полон день! Как легко дышится в этой жизни, в сфере Ольги, в лучах ее девственного блеска, бодрых сил, молодого, но тонкого и глубокого, здравого ума! Он ходит, точно летает; его будто кто-то носит по комнате.

«Вперед, вперед! — говорит Ольга, — выше, выше, туда, к той черте, где нежность и грация теряют свои права и где начинается царство мужчины!»

Как она ясно видит жизнь! Как читает в этой мудреной книге свой путь и инстинктом угадывает и его дорогу! Обе жизни, как две реки, должны слиться: он ее руководитель, вождь!

Она видит его силы, способности, знает, сколько он может, и покорно ждет его владычества. Чудная Ольга! Невозмутимая, неробкая, простая, но решительная женщина, естественная, как сама жизнь!

«Какая, в самом деле, здесь гадость! — говорил он, оглядываясь. — И этот ангел спустился в болото, освятил его своим присутствием!»

Он с любовью смотрел на стул, где она сидела, и вдруг глаза его заблистали: на полу, около стула, он увидел крошечную перчатку.

«Залог! Ее рука: это предзнаменование! О!..» — простонал он страстно, прижимая перчатку к губам.

Хозяйка выглянула из двери с предложением посмотреть полотно: принесли продавать, так не понадобится ли?

Но он сухо поблагодарил ее, не подумал взглянуть на локти и извинился, что очень занят. Потом углубился в воспоминания лета, перебрал все подробности, вспомнил о всяком дереве, кусте, скамье, о каждом

сказанном слове, и нашел все это милее, нежели как было в то время, когда он наслаждался этим.

Он решительно перестал владеть собой, пел, ласково заговаривал с Анисьей, шутил, что у нее нет детей, и обещал крестить, лишь только родится ребенок. С Машей поднял такую возню, что хозяйка выглянула и прогнала Машу домой, чтоб не мешала жильцу «заниматься».

Остальной день подбавил сумасшествия. Ольга была весела, пела, и потом еще пели в опере, потом он пил у них чай, и за чаем шел такой задушевный, искренний разговор между ним, теткой, бароном и Ольгой, что Обломов чувствовал себя совершенно членом этого маленького семейства. Полно жить одиноко: есть у него теперь угол; он крепко намотал свою жизнь; есть у него свет и тепло — как хорошо жить с этим!

Ночь он спал мало: все дочитывал присланные Ольгой книги и прочитал полтора тома.

«Завтра письмо должно прийти из деревни», — думал он, и сердце у него билось... билось... Наконец-то!

VIII

На другой день Захар, убирая комнату, нашел на письменном столе маленькую перчатку, долго разглядывал ее, усмехнулся, потом подал Обломову.

— Должно быть, Ильинская барышня забыла, — сказал он.

— Дьявол! — грянул Илья Ильич, вырывая у него перчатку из рук. — Врешь! Какая Ильинская барышня! Это портниха приезжала из магазина рубашки примерять. Как ты смеешь выдумывать!

— Что за дьявол? Что я выдумываю? Вон, уж на хозяйской половине говорят...

— Что говорят?

— Да что, слышь, Ильинская барышня с девушкой была.

— Боже мой! — с ужасом произнес Обломов. — А почем они знают Ильинскую барышню? Ты же или Анисья разболтали.

Вдруг Анисья высунулась до половины из дверей передней.

— Как тебе не грех, Захар Трофимыч, пустяки молоть? Не слушайте его, батюшка, — сказала она, — никто и не говорил, и не знает, Христом богом.

— Ну, ну, ну! — захрипел на нее Захар, замахиваясь локтем в грудь. — Туда же суешься, где тебя не спрашивают.

Анисья скрылась. Обломов погрозил обоими кулаками Захару, потом быстро отворил дверь на хозяйскую половину. Агафья Матвеевна сидела на полу и перебирала рухлядь в старом сундуке; около нее лежали груды тряпок, ваты, старых платьев, пуговиц и отрезков мехов.

— Послушайте, — ласково, но с волнением заговорил Обломов, — мои люди болтают разный вздор; вы, ради бога, не верьте им.

— Я ничего не слыхала, — сказала хозяйка. — Что они болтают?

— Насчет вчерашнего визита, — продолжал Обломов, — они говорят, будто приезжала какая-то барышня...

— Что нам за дело, кто к жильцам ездит? — сказала хозяйка.

— Да нет, вы, пожалуйста, не верьте: это совершенная клевета! Никакой барышни не было: приезжала просто портниха, которая рубашки мне шьет. Примерять приезжала.

— А вы где заказали рубашки? Кто вам шьет? — живо спросила хозяйка.

— Во французском магазине.

— Покажите, как принесут: у меня есть две девушки: так шьют, такую строчку делают, что никакой француженке не сделать. Я видела, они приносили показать, графу Метлинскому шьют: никто так не сошьет. Куда ваши, вот эти, что на вас...

— Очень хорошо, я припомню. Вы только, ради бога, не подумайте, что это была барышня.

— Что за дело, кто к жильцу ходит? Хоть бы и барышня.

— Нет, нет! — опровергал Обломов. — Помилуйте, та барышня, про которую болтает Захар, огромного роста, говорит басом, а эта, портниха-то, чай, слышали, каким тоненьким голосом говорит: у ней чудесный голос. Пожалуйста, не думайте...

— Что нам за дело? — говорила хозяйка, когда он уходил. — Так не забудьте, когда понадобится рубашки шить, сказать мне: мои знакомые такую строчку делают... их зовут Лизавета Николавна и Марья Николавна.

— Хорошо, хорошо, не забуду; только вы не подумайте, пожалуйста...

И он ушел, потом оделся и уехал к Ольге.

Воротясь вечером домой, он нашел у себя на столе письмо из деревни, от соседа, его поверенного. Он бросился к лампе, прочел — и у него опустились руки.

«Прошу покорно передать доверенность другому лицу (писал сосед), а у меня накопилось столько дела, что, по совести сказать, не могу как следует присматривать за вашим имением. Всего лучше вам самим приехать сюда, и еще лучше поселиться в имении. Имение хорошее, но сильно запущено. Прежде всего надо аккуратнее распределить барщину [1] и оброк; без хозяина этого сделать нельзя: мужики избалованы, старосты нового не слушают, а старый плутоват, за ним надо смотреть. Количества дохода определить нельзя. При нынешнем беспорядке едва ли вы получите больше трех тысяч, и то при себе. Я считаю доход с хлеба, а на оброчных надежда плоха: надо их взять в руки и разобрать недоимки — на это на все понадобится месяца три. Хлеб был хорош и в цене, и в марте или апреле вы получите деньги, если сами присмотрите за продажей. Теперь же денег наличных нет ни гроша. Что касается дороги через Верхлёво и моста, то, не получая от вас долгое время ответа, я уж решился с Одонцовым и Беловодовым проводить дорогу от себя на Нельки, так что Обломовка остается далеко в стороне. В заключение повторю просьбу пожаловать как можно скорее: месяца в три можно привести в известность, чего надеяться на будущий год. Кстати, теперь выборы: не пожелали ли бы вы баллотироваться в уездные судьи? Поспешайте. Дом ваш очень плох (прибавлено было в конце). Я велел

скотнице, старому кучеру и двум старым девкам выбраться оттуда в избу: долее опасно бы было оставаться».

При письме приложена была записка, сколько четвертей хлеба снято, умолочено, сколько ссыпано в магазины,[2] сколько назначено в продажу и тому подобные хозяйственные подробности.

«Денег ни гроша, три месяца, приехать самому, разобрать дела крестьян, привести доход в известность, служить по выборам», — все это в виде призраков обступило Обломова. Он очутился будто в лесу, ночью, когда в каждом кусте и дереве чудится разбойник, мертвец, зверь.

«Однако ж это позор: я не поддамся!» — твердил он, стараясь ознакомиться с этими призраками, как и трус силится сквозь зажмуренные веки, взглянуть на призраки и чувствует только холод у сердца и слабость в руках и ногах.

Чего ж надеялся Обломов? Он думал, что в письме сказано будет определительно, сколько он получит дохода и, разумеется, как можно больше, тысяч, например, шесть, семь; что дом еще хорош, так что по нужде в нем можно жить, пока будет строиться новый; что, наконец, поверенный пришлет тысячи три, четыре, — словом, что в письме он прочтет тот же смех, игру жизни и любовь, что читал в записках Ольги.

Он уже не ходил на четверть от полу по комнате, не шутил с Анисьей, не волновался надеждами на счастье: их надо было отодвинуть на три месяца; да нет! В три месяца он только разберет дела, узнает свое имение, а свадьба...

«О свадьбе ближе года и думать нельзя, — боязливо сказал он, — да, через год, не прежде! Ему еще надо дописать свой план, надо порешить с архитектором, потом... потом...» — Он вздохнул.

«Занять!» — блеснуло у него в голове, но он оттолкнул эту мысль. «Как можно! А как не отдашь в срок? если дела пойдут плохо, тогда подадут ко взысканию, и имя Обломова, до сих пор чистое, неприкосновенное...» Боже сохрани! Тогда прощай его спокойствие, гордость... нет, нет! Другие займут да потом и мечутся, работают, не спят, точно демона впустят в себя. Да, долг — это демон, бес, которого ничем не изгонишь, кроме денег!

Есть такие молодцы, что весь век живут на чужой счет, наберут, нахватают справа, слева, да и в ус не дуют![3] Как они могут покойно уснуть, как обедают — непонятно! Долг! последствия его — или неисходный труд, как каторжного, или бесчестие.

Заложить деревню? Разве это не тот же долг, только неумолимый, неотсрочимый? Плати каждый год — пожалуй, на прожиток не останется.

Еще на год отодвинулось счастье! Обломов застонал болезненно и повалился было на постель, но вдруг опомнился и встал. А что говорила Ольга? Как взывала к нему, как к мужчине, доверилась его силам? Она ждет, как он пойдет вперед и дойдет до той высоты, где протянет ей руку и поведет за собой, покажет ее путь! Да, да! Но с чего начать?

Он подумал, подумал, потом вдруг ударил себя по лбу и пошел на хозяйскую половину.

— Ваш братец дома? — спросил он хозяйку.

— Дома, да спать легли.

— Так завтра попросите его ко мне, — сказал Обломов, — мне нужно видеться с ним.

IX

Братец опять тем же порядком вошли в комнату, так же осторожно сели на стул, подобрали руки в рукава и ждали, что скажет Илья Ильич.

— Я получил очень неприятное письмо из деревни, в ответ на посланную доверенность — помните? — сказал Обломов. — Вот потрудитесь прочесть.

Иван Матвеевич взял письмо и привычными глазами бегал по строкам, а письмо слегка дрожало в его пальцах. Прочитав, он положил письмо на стол, а руки спрятал за спину.

— Как вы полагаете, что теперь делать? — спросил Обломов.

— Они советуют вам ехать туда, — сказал Иван Матвеевич. — Что же-с: тысячу двести верст не бог знает что! Через неделю установится дорога, вот и съездили бы.

— Я отвык совсем ездить; с непривычки, да еще зимой, признаюсь, мне бы трудно было, не хотелось бы... Притом же в деревне одному очень скучно.

— А у вас много оброчных? — спросил Иван Матвеевич.

— Да. не знаю: давно не был в деревне.

— Надо знать-с: без этого как же-с? нельзя справок навести, сколько доходу получите.

— Да, надо бы, — повторил Обломов, — и сосед тоже пишет, да вот дело-то подошло к зиме.

— А сколько оброку вы полагаете?

— Оброку? Кажется. вот позвольте, у меня было где-то расписание... Штольц еще тогда составил, да трудно отыскать: Захар, должно быть, сунул куда-нибудь. Я после покажу. кажется, тридцать рублей с тягла.[1]

— Мужики-то у вас каковы? Как живут? — спрашивал Иван Матвеевич. — Богатые или разорены, бедные? Барщина-то какова?

— Послушайте, — сказал, подойдя к нему, Обломов, и доверчиво взяв его за оба борта вицмундира.

Иван Матвеевич проворно встал, но Обломов усадил его опять.

— Послушайте, — повторил он расстановисто, почти шепотом, — я не знаю, что такое барщина, что такое сельский труд, что значит бедный мужик, что богатый; не знаю, что значит четверть[2] ржи или овса, что она стоит, в каком месяце и что сеют и жнут, как и когда продают; не знаю, богат ли я или беден, буду ли я через год сыт или буду нищий — я ничего не знаю! — заключил он с унынием, выпустив борты вицмундира и отступая от Ивана Матвеевича, — следовательно, говорите и советуйте мне, как ребенку...



Конно-подгорная слобода бывшей Симбирской губернии. Конец XIX века.

— Как же-с, надо знать: без этого ничего сообразить нельзя, — с покорной усмешкой сказал Иван Матвеевич, привстав и заложив одну руку за спину, а другую за пазуху. — Помещик должен знать свое имение, как с ним обращаться... — говорил он поучительно.

— А я не знаю. Научите меня, если можете.

— Я сам не занимался этим предметом, надо посоветоваться с знающими людьми. Да вот-с, в письме пишут вам, — продолжал Иван Матвеевич, указывая средним пальцем, ногтем вниз, на страницу письма, — чтоб вы послужили по выборам: вот и славно бы! Пожили бы там, служили в уездном суде и узнали бы между тем временем и хозяйство.

— Я не знаю, что такое уездный суд, что в нем делают, как служат! — выразительно, но вполголоса опять говорил Обломов, подойдя вплоть к носу Ивана Матвеевича.

— Привыкнете-с. Вы ведь служили здесь, в департаменте: дело везде одно, только в формах будет маленькая разница. Везде предписания, отношения, протокол... Был бы хороший секретарь, а вам что заботы? Подписать только. Если знаете, как в департаментах дело делается...

— Я не знаю, как дело делается в департаментах, — монотонно сказал Обломов.

Иван Матвеевич бросил свой двойной взгляд на Обломова и молчал.

— Должно быть, все книги читали-с? — с той же покорной усмешкой заметил он.

— Книги! — с горечью возразил Обломов и остановился.

Недостало духа и не нужно было обнажаться до дна души перед чиновником. «Я и книг не знаю», — шевельнулось в нем, но не сошло с языка и выразилось печальным вздохом.

— Изволили же чем-нибудь заниматься, — смиренно прибавил Иван Матвеевич, как будто дочитав в уме Обломова ответ о книгах, — нельзя, чтоб. . .

— Можно, Иван Матвеевич: вот вам живое доказательство — я! Кто же я? Что такое? Подите спросите у Захара, и он скажет вам: «барин!» Да, я барин и делать ничего не умею! Делайте вы, если знаете, и помогите, если можете, а за труд возьмите себе, что хотите, — на то и наука!

Он начал ходить по комнате, а Иван Матвеевич стоял на своем месте и всякий раз слегка ворочался всем корпусом в тот угол, куда пойдет Обломов. Оба они молчали некоторое время.

— Где вы учились? — спросил Обломов, остановясь опять перед ним.

— Начал было в гимназии, да из шестого класса взял меня отец и определил в правление. Что наша наука! Читать, писать, грамматике, арифметике, а дальше и не пошел-с. Кое-как приспособился к делу, да и перебиваюсь помаленьку. Ваше дело другое-с: вы проходили настоящие науки. . .

— Да, — со вздохом подтвердил Обломов, — правда, я проходил и высшую алгебру, и политическую экономию, и права́, а все к делу не приспособился. Вот видите, с высшей алгеброй не знаю, много ли у меня дохода. Приехал в деревню, послушал, посмотрел — как делалось у нас в доме и в имении кругом нас — совсем не те права́. Уехал сюда, думал как-нибудь с политической экономией выйду в люди. . . А мне сказали, что науки годятся мне со временем, разве под старость, а прежде надо выйти в чины, и для этого нужна одна наука — писать бумаги. Вот я и не приспособился к делу, а сделался просто барином, а вы приспособились: ну, так решите же, как извоਰотиться.

— Можно-с, ничего, — сказал наконец Иван Матвеевич.

Обломов остановился против него и ждал, что он скажет.

— Можно поручить это все знающему человеку и доверенность перевести на него, — прибавил Иван Матвеевич.

— А где взять такого человека?

— У меня есть сослуживец, Исай Фомич Затертый: он заикается немного, а деловой и знающий человек. Три года управлял большим имением, да помещик отпустил его по этой самой причине, что заикается. Вот он и вступил к нам.

— Да можно ли положиться на него?

— Честнейшая душа, не извольте беспокоиться! Он свое проживет, лишь бы доверителю угодить. Двенадцатый год у нас состоит на службе.

— Как же он поедет, если служит?

— Ничего-с, отпуск на четыре месяца возьмет. Вы извольте решиться, а я приведу его сюда. Ведь он не даром поедет...

— Конечно, нет, — подтвердил Обломов.

— Вы ему извольте положить прогоны,[3] на прожиток, сколько понадобится в сутки, а там, по окончании дела, вознаграждение, по условию. Поедет-с, ничего!

— Я вам очень благодарен: вы меня от больших хлопот избавите, — сказал Обломов, подавая ему руку. — Как его?..

— Исай Фомич Затертый, — повторил Иван Матвеевич, отирая наскоро руку обшлагом другого рукава, и, взяв на минуту руку Обломова, тотчас спрятал свою в рукав. — Я завтра поговорю с ним-с и приведу.

— Да приходите обедать, мы и потолкуем. — Очень, очень благодарен вам! — говорил Обломов, провожая Ивана Матвеевича до дверей.

X

Вечером в тот же день, в двухэтажном доме, выходившем одной стороной в улицу, где жил Обломов, а другой на набережную, в одной из комнат верхнего этажа сидели Иван Матвеевич и Тарантьев.

Это было так называемое «заведение»,[1] у дверей которого всегда стояло двое-трое пустых дрожек,[2] а извозчики сидели в нижнем этаже, с блюдечками в руках. Верхний этаж назначался для «господ» Выборгской стороны.

Перед Иваном Матвеевичем и Тарантьевым стоял чай и бутылка рому.

— Чистейший ямайский, — сказал Иван Матвеевич, наливая дрожащей рукой себе в стакан рому, — не побрезгуй, кум, угощением.

— Признайся, есть за что и угостить, — отозвался Тарантьев, — дом сгнил бы, а этакого жильца не дождался.

— Правда, правда, — перебил Иван Матвеевич. — А если наше дело состоится и Затертый поедет в деревню — магарыч будет!

— Да ты скуп, кум: с тобой надо торговаться, — говорил Тарантьев, — пятьдесят рублей за этакого жильца!

— Боюсь, грозится съехать, — заметил Иван Матвеевич.

— Ах ты: а еще дока! Куда он съедет? Его не выгонишь теперь.

— А свадьба-то? Женится, говорят.

Тарантьев захохотал.

— Он женится! Хочешь об заклад, что не женится? — возразил он. — Да ему Захар и спать-то помогает, а то женится! Доселе я ему все благодетельствовал: ведь без меня, братец ты мой, он бы с голоду умер или в тюрьму попал. Надзиратель[3] придет, хозяин домовый что-нибудь спросит, так ведь ни в зуб толкнуть — все я! Ничего не смыслит...

— Подлинно ничего: в уездном суде, говорит, не знаю, что делают,

в департаменте то же; какие мужики у него — не ведает. Что за голова! Меня даже смех взял.

— А контракт-то, контракт-то каков заключили? — хвастался Тарантьев. — Мастер ты, брат, строчить бумаги, Иван Матвеевич, ей-богу, мастер! Вспомнишь покойника отца! И я был горазд, да отвы́к, видит бог, отвык! Присяду, слеза так и бьет из глаз. Не читал, так и подмахнул! А там и огороды, и конюшни, и амбары.

— Да, кум, пока не перевелись олухи на Руси, что подписывают бумаги не читая, нашему брату можно жить. А то хоть пропадай, плохо стало! Послышишь от стариков, так не то! В двадцать пять лет службы какой я капитал составил? Можно прожить на Выборгской стороне, не показывая носа на свет божий: кусок будет хороший, не жалуюсь, хлеба не переешь! А чтоб там квартиры на Литейной,[4] ковры да жениться на богатой, детей в знать выводить — прошло времечко! И рожа-то, слышь, не такая, и пальцы, видишь, красны, зачем водку пьешь... А как ее не пить-то? Попробуй! Хуже лакея, говорят: нынче и лакей этаких сапог не носит и рубашку каждый день меняет. Воспитание не такое — все молокососы перебили: ломаются, читают да говорят по-французски.

— А дела не смыслят, — прибавил Тарантьев.

— Нет, брат, смыслят: дело-то нынче не такое; всякий хочет проще, всё гадят нам. Так не нужно писать: это лишняя переписка, трата времени; можно скорее... гадят!

— А контракт-то подписан: не изгадили! — сказал Тарантьев.

— То уж, конечно, свято. Выпьем, кум! Вот пошлет Затертого в Обломовку, тот повысосет немного: пусть достается потом наследникам...

— Пусть! — заметил Тарантьев. — Да наследники-то какие: троюродные, седьмая вода на киселе.

— Вот только свадьбы боюсь! — сказал Иван Матвеевич.

— Не бойся, тебе говорят. Вот помяни мое слово.

— Ой ли? — весело возразил Иван Матвеевич. — А ведь он пялит глаза на мою сестру... — шепотом прибавил он.

— Что ты?

— Молчи только! Ей-богу, так...

— Ну, брат, — дивился Тарантьев, насилу приходя́ в себя, — мне бы и во сне не приснилось! Ну, а она что?

— Что она? Ты ее знаешь — вот что!

Он кулаком постучал об стол.

— Разве умеет свои́ выгоды соблюсти? Корова, сущая корова: ее хоть ударь, хоть обними — все ухмыляется, как лошадь на овес. Другая бы... ой-ой! Да я глаз не спущу — понимаешь, чем это пахнет!

XI

«Четыре месяца! Еще четыре месяца принуждений, свиданий тайком, подозрительных лиц, улыбок! — думал Обломов, поднимаясь на лестницу к Ильинским. — Боже мой! когда это кончится? А Ольга будет торопить: сегодня, завтра. Она так настойчива, непреклонна!»

Обломов дошел почти до комнаты Ольги, не встретив никого. Ольга сидела в своей маленькой гостиной, перед спальней, и углубилась в чтение какой-то книги.

Он вдруг явился перед ней, так что она вздрогнула; потом ласково, с улыбкой, протянула ему руку, но глаза еще как будто дочитывали книгу: она смотрела рассеянно.

— Ты одна? — спросил он ее.

— Да, ma tante уехала в Царское Село;[1] звала меня с собой. Мы будем обедать почти одни: Марья Семеновна только придет; иначе бы я не могла принять тебя. Сегодня ты не можешь объясниться. Как это все скучно! Зато завтра... — прибавила она и улыбнулась. — А что, если б я сегодня уехала в Царское Село? — спросила она шутливо.

Он молчал.

— Ты озабочен? — продолжала она.

— Я получил письмо из деревни, — сказал он монотонно.

— Где оно? с тобой?

Он подал ей письмо.

— Я ничего не разберу, — сказала она, посмотрев на бумагу.

Он взял у ней письмо и прочел вслух. Она задумалась.

— Что ж теперь? — спросила она, помолчав.

— Я сегодня советовался с братом хозяйки, — отвечал Обломов, — и он рекомендует мне поверенного, Исая Фомича Затертого: я поручу ему обделать все это...

— Чужому, незнакомому человеку! — с удивлением возразила Ольга. — Собирать оброк, разбирать крестьян, смотреть за продажей хлеба...

— Он говорит, что это честнейшая душа, двенадцать лет с ним служит... Только заикается немного.

— А сам брат твоей хозяйки каков? Ты его знаешь?

— Нет; да он, кажется, такой положительный, деловой человек, и притом я живу у него в доме: посовестится обмануть!

Ольга молчала и сидела, потупя глаза.

— Иначе ведь самому надо ехать, — сказал Обломов, — мне бы, признаться, этого не хотелось. Я совсем отвык ездить по дорогам, особенно зимой... никогда даже не езжал.

Она все глядела вниз, шевеля носком ботинки.

— Если даже я и поеду, — продолжал Обломов, — то ведь решительно из этого ничего не выйдет: я толку не добьюсь: мужики меня обманут; староста скажет, что хочет, — я должен верить всему; денег даст, сколько вздумает. Ах, Андрея нет здесь: он бы все уладил! — с огорчением прибавил он.

Ольга усмехнулась, то есть у ней усмехнулись только губы, а не сердце: на сердце была горечь. Она начала глядеть в окно, прищуря немного один глаз и следя за каждой проезжавшей каретой.

— Между тем поверенный этот управлял большим имением, — продолжал он, — да помещик отослал его именно потому, что заикается. Я дам ему доверенность, передам планы: он распорядится закупкой материалов для постройки дома, соберет оброк, продаст хлеб, привезет

деньги, и тогда.. Как я рад, милая Ольга, — сказал он, целуя у ней руку, — что мне не нужно покидать тебя! Я бы не вынес разлуки; без тебя в деревне, одному.. это ужас! Но только теперь нам надо быть очень осторожными.

Она взглянула на него таким большим взглядом и ждала.

— Да, — начал он говорить медленно, почти заикаясь, — видеться изредка; вчера опять заговорили у нас даже на хозяйской половине. а я не хочу этого... Как только все дела устроятся, поверенный распорядится стройкой и привезет деньги... все это кончится в какой-нибудь год... тогда нет более разлуки, мы скажем все тетке, и... и..

Он взглянул на Ольгу: она без чувств. Голова у ней склонилась на сторону, из-за посиневших губ видны были зубы. Он не заметил, в избытке радости и мечтанья, что при словах: «когда устроятся дела, поверенный распорядится», Ольга побледнела и не слыхала заключения его фразы.

— Ольга!.. Боже мой, ей дурно! — сказал он и дернул звонок.

— Барышне дурно, — сказал он прибежавшей Кате. — Скорей, воды!.. спирту...

— Господи! Все утро такие веселые были... Что с ними? — шептала Катя, принеся со стола тетки спирт и суетясь со стаканом воды.

Ольга очнулась, встала, с помощью Кати и Обломова, с кресла и, шатаясь, пошла к себе в спальню.

— Это пройдет, — слабо сказала она, — это нервы; я дурно спала ночь. Катя, затвори дверь, а вы подождите меня: я оправлюсь и выйду.

Обломов остался один, прикладывал к двери ухо, смотрел в щель замка, но ничего не слышно и не видно.

Чрез полчаса он пошел по коридору до девичьей и спросил Катю: «Что барышня?».

«Ничего, — сказала Катя, — они легли, а меня выслали; потом я входила: они сидят в кресле».

Обломов опять пошел в гостиную, опять смотрел в дверь — ничего не слышно.

Он чуть-чуть постучал пальцем — нет ответа.

Он сел и задумался. Много передумал он в эти полтора часа, многое изменилось в его мыслях, много он принял новых решений. Наконец он остановился на том, что сам поедет с поверенным в деревню, но прежде выпросит согласие тетки на свадьбу, обручится с Ольгой, Ивану Герасимовичу поручит отыскать квартиру и даже займет денег.. немного, чтоб свадьбу сыграть.

Этот долг можно заплатить из выручки за хлеб. Что ж он так приуныл? Ах, боже мой, как все может переменить вид в одну минуту! А там, в деревне, они распорядятся с поверенным собрать оброк; да, наконец, Штольцу напишет: тот даст денег и потом приедет и устроит ему Обломовку на славу, он всюду дороги проведет, и мостов настроит, и школы заведет... А там они, с Ольгой! Боже! вот оно, счастье! Как это все ему в голову не пришло!

Вдруг ему стало так легко, весело; он начал ходить из угла в угол,

даже пощелкивал тихонько пальцами, чуть не закричал от радости, подошел к двери Ольги и тихо позвал ее веселым голосом:

«Ольга, Ольга! Что я вам скажу! — говорил он, приложив губы сквозь двери. — Никак не ожидаете...»

Он даже решил не уезжать сегодня от нее, а дождаться тетки. «Сегодня же объявим ей, и я уеду отсюда женихом».

Дверь тихо отворилась, и явилась Ольга: он взглянул на нее и вдруг упал духом; радость его как в воду канула: Ольга как будто немного постарела. Бледна, но глаза блестят; в замкнутых губах, во всякой черте таится внутренняя напряженная жизнь, окованная, точно льдом, насильственным спокойствием и неподвижностью.

Во взгляде ее он прочел решение, но какое — еще не знал, только у него сердце стукнуло, как никогда не стучало. Таких минут не бывало в его жизни.

— Послушай, Ольга, не гляди на меня так: мне страшно! — сказал он. — Я передумал: совсем иначе надо устроить... — продолжал потом, постепенно понижая тон, останавливаясь и стараясь вникнуть в этот новый для него смысл ее глаз, губ и говорящих бровей, — я решился сам ехать в деревню, вместе с поверенным... чтоб там... — едва слышно досказал он.

Она молчала, глядя на него пристально, как привидение.

Он смутно догадывался, какой приговор ожидал его, и взял шляпу, но медлил спрашивать: ему страшно было услыхать роковое решение и, может быть, без апелляции. Наконец он осилил себя.

— Так ли я понял?.. — спросил он ее изменившимся голосом.

Она медленно, с кротостью наклонила, в знак согласия, голову. Он хотя до этого угадал ее мысль, но побледнел и все стоял перед ней.

Она была несколько томна, но казалась такою покойною и неподвижною, как будто каменная статуя. Это был тот сверхъестественный покой, когда сосредоточенный замысел или пораженное чувство дают человеку вдруг всю силу, чтоб сдержать себя, но только на один момент. Она походила на раненого, который зажал рану рукой, чтоб досказать, что нужно, и потом умереть.

— Ты не возненавидишь меня? — спросил он.

— За что? — сказала она слабо.

— За все, что я сделал с тобой...

— Что ты сделал?

— Любил тебя: это оскорбление!

Она с жалостью улыбнулась.

— За то, — говорил он, поникнув головой, — что ты ошибалась.. Может быть, ты простишь меня, если вспомнишь, что я предупреждал, как тебе будет стыдно, как ты станешь раскаиваться...

— Я не раскаиваюсь. Мне только больно, так больно. — сказала она и остановилась, чтоб перевести дух.

— Мне хуже, — отвечал Обломов, — но я стою этого: за что *ты* мучишься?

— За гордость, — сказала она, — я наказана, я слишком понадеялась на свои силы — вот в чем я ошиблась, а не в том, чего ты боялся.

Не о первой молодости и красоте мечтала я: я думала, что я оживлю тебя, что ты можешь еще жить для меня, — а ты уж давно умер. Я не предвидела этой ошибки, я все ждала, надеялась... и вот!.. — с трудом, со вздохом досказала она.

Она замолчала, потом села.

— Я не могу стоять: ноги дрожат. Камень ожил бы от того, что я сделала, — продолжала она разбитым голосом. — Теперь не сделаю ничего, ни шагу, даже не пойду в Летний сад: все бесполезно — ты умер! Ты согласен со мной, Илья? — прибавила она потом, помолчав. — Не упрекнешь меня никогда, что я по гордости или по капризу рассталась с тобой?

Он отрицательно покачал головой.

— Убежден ли ты, что нам ничего не осталось, никакой надежды?

— Да, — сказал он, — это правда... Но, может быть... — нерешительно прибавил потом, — через год... — У него недоставало духа нанести решительный удар своему счастью.

— Ужели ты думаешь, что через год ты устроил бы свои дела жизнь? — спросила она. — Подумай!

Он вздохнул и задумался, боролся с собой. Она прочла эту борьбу на лице.

— Послушай, — сказала она, — я сейчас долго смотрела на портрет моей матери и, кажется, заняла в ее глазах совета и силы. Если ты теперь, как честный человек... Помни, Илья, мы не дети и не шутим: дело идет о целой жизни! Спроси же строго у своей совести и скажи — я поверю тебе, я тебя знаю: станет ли тебя на всю жизнь? Будешь ли ты для меня тем, что мне нужно? Ты меня знаешь, следовательно, понимаешь, что я хочу сказать. Если ты скажешь смело и обдуманно *да*: я беру назад свое решение: вот моя рука и пойдем, куда хочешь, за границу, в деревню, даже на Выборгскую сторону!

Он молчал.

— Если б ты знала, как я люблю...

— Я жду не уверений в любви, а короткого ответа, — перебила она почти сухо.

— Не мучь меня, Ольга! — с унынием умолял он.

— Что ж, Илья, права я или нет?

— Да, — внятно и решительно сказал он, — ты права!

— Так нам пора расстаться, — решила она, — пока не застали тебя и не видали, как я расстроена!

Он все не шел.

— Если б ты и женился, что потом? — спросила она.

Он молчал.

— Ты засыпал бы с каждым днем все глубже — не правда ли? А я? Ты видишь, какая я? Я не состареюсь, не устану жить никогда. А с тобой мы стали бы жить изо дня в день, ждать Рождества, потом масленицы, ездить в гости, танцевать и не думать ни о чем; ложились бы спать и благодарили бога, что день скоро прошел, а утром просыпались бы с желанием, чтоб сегодня походило на вчера. вот наше буду-

щее — да? Разве это жизнь? Я зачахну, умру... за что, Илья? Будешь ли ты счастлив...

Он мучительно провел глазами по потолку, хотел сойти с места, бежать — ноги не повиновались. Хотел сказать что-то: во рту было сухо, язык не ворочался, голос не выходил из груди. Он протянул ей руку.

— Стало быть... — начал он упавшим голосом, но не кончил и взглядом досказал: «прости!».

И она хотела что-то сказать, но ничего не сказала, протянула ему руку, но рука, не коснувшись его руки, упала; хотела было также сказать: «прощай», но голос у ней на половине слова сорвался и взял фальшивую ноту; лицо исказилось судорогой; она положила руку и голову ему на плечо и зарыдала. У ней как будто вырвали оружие из рук. Умница пропала — явилась просто женщина, беззащитная против горя.

— Прощай, прощай... — вырывалось у ней среди рыданий.

Он молчал и в ужасе слушал ее слезы, не смея мешать им. Он не чувствовал жалости ни к ней, ни к себе; он был сам жалок. Она опустилась в кресло и, прижав голову к платку, оперлась на стол и плакала горько. Слезы текли не как мгновенно вырвавшаяся жаркая струя, от внезапной и временной боли, как тогда в парке, а изливались безотрадно, холодными потоками, как осенний дождь, беспощадно поливающий нивы.

— Ольга, — наконец сказал он, — за что ты терзаешь себя? Пусть я не стою счастья, но пощади себя! Ты меня любишь, ты не перенесешь разлуки! Возьми меня, как я есть, люби во мне, что есть хорошего.

Она отрицательно покачала головой, не поднимая ее.

— Нет.. нет... — силилась выговорить потом, — за меня и за мое горе не бойся. Я знаю себя: я выплачу его и потом уж больше плакать не стану. А теперь не мешай плакать... уйди... Ах, нет, постой!.. Бог наказывает меня!.. Мне больно, ах, как больно... здесь, у сердца..

Рыдания возобновились.

— А если боль не пройдет, — сказал он, — и здоровье твое пошатнется? Такие слезы ядовиты. Ольга, ангел мой, не плачь... забудь все...

— Нет, дай мне плакать! Я плачу не о будущем, а о прошедшем... — выговаривала она с трудом, — оно «поблекло, отошло»... Не я плачу, воспоминания плачут!.. Лето... парк... помнишь? Мне жаль нашей аллеи, сирени... Это все приросло к сердцу: больно отрывать!..

Она, в отчаянии, качала головой и рыдала, повторяя:

— О, как больно, больно!

— Если ты умрешь? — вдруг с ужасом сказал он. — Подумай, Ольга...

— Нет, — перебила она, подняв голову и стараясь взглянуть на него сквозь слезы. — Я узнала недавно только, что я любила в тебе то, что я хотела, чтоб было в тебе, что указал мне Штольц, что мы выдумали с ним. Я любила будущего Обломова! Ты кроток, честен, Илья; ты нежен. как голубь; ты прячешь голову под крыло — и ничего не хочешь больше; ты готов всю жизнь проворковать под кровлей... да я не такая: мне мало этого, мне нужно чего-то еще, а чего — не знаю! Можешь ли научить меня, сказать, что это такое, чего мне недостает, дать это все, чтоб я... А нежность... где ее нет!

У Обломова подкосились ноги; он сел в кресло и отер платком руки и лоб.

Слово было жестоко; оно глубоко уязвило Обломова: внутри оно будто обожгло его, снаружи повеяло на него холодом. Он в ответ улыбнулся как-то жалко, болезненно-стыдливо, как нищий, которого упрекнули его наготой. Он сидел с этой улыбкой бессилия, ослабевший от волнения и обиды; потухший взгляд его ясно говорил: «Да, я скуден, жалок, нищ... бейте, позорьте меня!..».[2]

Ольга вдруг увидела, сколько яду было в ее слове; она стремительно бросилась к нему.

— Прости меня, мой друг! — заговорила она нежно, будто слезами. — Я не помню, что говорю: я безумная! Забудь все; будем по-прежнему; пусть все останется, как было...

— Нет! — сказал он, вдруг встав и устраняя решительным жестом ее порыв. — Не останется! Не тревожься, что сказала правду: я стою... — прибавил он с унынием.

— Я мечтательница, фантазерка! — говорила она. — Несчастный характер у меня. Отчего другие, отчего Сонечка так счастлива...

Она заплакала.

— Уйди! — решила она, терзая мокрый платок руками. — Я не выдержу; мне еще дорого прошедшее...

Она опять закрыла лицо платком и старалась заглушить рыдания.

— Отчего погибло все? — вдруг, подняв голову, спросила она. — Кто проклял тебя, Илья? Что ты сделал? Ты добр, умен, нежен, благороден... и... гибнешь! Что сгубило тебя? Нет имени этому злу...

— Есть, — сказал он чуть слышно.

Она вопросительно, полными слез глазами взглянула на него.

— Обломовщина! — прошептал он, потом взял ее руку, хотел поцеловать, но не мог, только прижал крепко к губам, и горячие слезы закапали ей на пальцы. Не поднимая головы, не показывая ей лица, он обернулся и пошел.

XII

Бог знает, где он бродил, что делал целый день, но домой вернулся поздно ночью. Хозяйка первая услыхала стук в ворота и лай собаки и растолкала от сна Анисью и Захара, сказав, что барин воротился.

Илья Ильич почти не заметил, как Захар раздел его, стащил сапоги и накинул на него — халат!

— Что это? — спросил он только, поглядев на халат.

— Хозяйка сегодня принесла: вымыли и починили халат, — сказал Захар.

Обломов как сел, так и остался в кресле.

Все погрузилось в сон и мрак около него. Он сидел, опершись на руку, не замечал мрака, не слыхал боя часов. Ум его утонул в хаосе безобразных, неясных мыслей; они неслись, как облака в небе, без цели и без связи, — он не ловил ни одной.

Сердце было убито: там на время затихла жизнь. Возвращение к жизни, к порядку, к течению правильным путем скопившегося напора жизненных сил совершалось медленно.

Прилив был очень жесток, и Обломов не чувствовал тела на себе, не чувствовал ни усталости, никакой потребности. Он мог лежать, как камень, целые сутки или целые сутки идти, ехать, двигаться, как машина.

Понемногу, трудным путем выработывается в человеке или покорность судьбе — и тогда организм медленно и постепенно вступает во все свои отправления, — или горе сломит человека, и он не встанет больше, смотря по горю, и по человеку тоже.

Обломов не помнил, где он сидел, даже сидел ли он: машинально смотрел и не замечал, как забрезжилось утро; слышал и не слыхал, как раздался сухой кашель старухи, как стал дворник колоть дрова на дворе, как застучали и загремели в доме, видел и не видал, как хозяйка и Акулина пошли на рынок, как мелькнул пакет мимо забора.

Ни петухи, ни лай собаки, ни скрип ворот не могли вывести его из столбняка. Загремели чашки, зашипел самовар.

Наконец часу в десятом Захар отворил подносом дверь в кабинет, лягнул по обыкновению назад ногой, чтоб затворить ее, и по обыкновению промахнулся, но удержал, однако ж, поднос: наметался[1] от долговременной практики, да притом знал, что сзади смотрит в дверь Анисья, и только урони он что-нибудь, она сейчас подскочит и сконфузит его.

Он благополучно дошел, уткнув бороду в поднос и обняв его крепко, до самой постели, и только располагал поставить чашки на стол подле кровати и разбудить барина — глядь, постель не измята, барина нет!

Он встрепенулся, и чашка полетела на пол, за ней сахарница. Он стал ловить вещи на воздухе и качал подносом, другие летели. Он успел удержать на подносе только ложечку.

— Что это за напасть такая? — говорил он, глядя, как Анисья подбирала куски сахару, черепки чашки, хлеб. — Где же барин?

А барин сидит в кресле, и лица на нем нет. Захар посмотрел на него с разинутым ртом.

— Вы зачем это, Илья Ильич, всю ночь просидели в кресле, не ложились? — спросил он.

Обломов медленно обернул к нему голову, рассеянно посмотрел на Захара, на разлитый кофе, на разбросанный по ковру сахар.

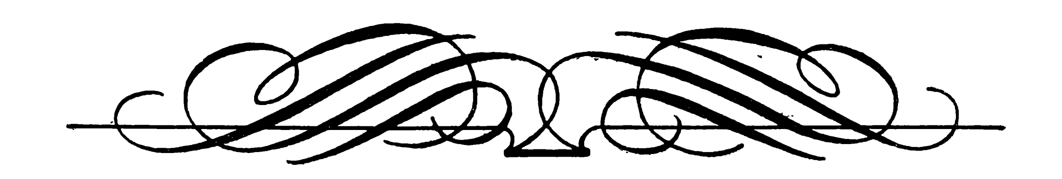
— А ты зачем чашку-то разбил? — сказал он, потом подошел к окну.

Снег валил хлопьями и густо устилал землю.

«Снег, снег, снег! — твердил он бессмысленно, глядя на снег, густым слоем покрывший забор, плетень и гряды на огороде. — Все засыпал!» — шепнул потом отчаянно, лег в постель и заснул свинцовым, безотрадным сном. Уж было за полдень, когда его разбудил скрип двери с хозяйской половины; из двери просунулась обнаженная рука, с тарелкой; на тарелке дымился пирог.

— Сегодня воскресенье, — говорил ласково голос, — пирог пекли; не угодно ли закусить?

Но он не отвечал ничего: у него была горячка.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Год прошел со времени болезни Ильи Ильича. Много перемен принес этот год в разных местах мира: там взволновал край, а там успокоил; там закатилось какое-нибудь светило мира, там засияло другое; там мир усвоил себе новую тайну бытия, а там рушились в прах жилища и поколения. Где падала старая жизнь, там, как молодая зелень, пробивалась новая...

И на Выборгской стороне, в доме вдовы Пшеницыной, хотя дни и ночи текут мирно, не внося буйных и внезапных перемен в однообразную жизнь, хотя четыре времени года повторили свои отправления, как в прошедшем году, но жизнь все-таки не останавливалась, все менялась в своих явлениях, но менялась с такою медленною постепенностью, с какою происходят геологические видоизменения нашей планеты: там потихоньку осыпается гора, здесь целые века море наносит ил или отступает от берега и образует приращение почвы.

Илья Ильич выздоровел. Поверенный Затертый отправился в деревню и прислал вырученные за хлеб деньги сполна и был из них удовлетворен прогонами, суточными деньгами и вознаграждением за труд.

Что касается оброка, то Затертый писал, что денег этих собрать нельзя, что мужики частью разорились, частью ушли по разным местам и где находятся — неизвестно, и что он собирает на месте деятельные справки.

О дороге, о мостах писал он, что время терпит, что мужики охотнее предпочитают переваливаться через гору и через овраг до торгового села, чем работать над устройством новой дороги и мостов.

Словом, сведения и деньги получены удовлетворительные, и Илья Ильич не встретил крайней надобности ехать сам и был с этой стороны успокоен до будущего года.

Поверенный распорядился и насчет постройки дома: определив, вместе с губернским архитектором, количество нужных материалов, он оставил старосте приказ с открытием весны возить лес и велел построить сарай

для кирпича, так что Обломову оставалось только приехать весной и, благословясь, начать стройку при себе. К тому времени предполагалось собрать оброк и, кроме того, было в виду заложить деревню, следовательно, расходы было из чего покрыть.

После болезни Илья Ильич долго был мрачен, по целым часам повергался в болезненную задумчивость и иногда не отвечал на вопросы Захара, не замечал, как он ронял чашки на пол и не сметал со стола, или хозяйка, являясь по праздникам с пирогом, заставала его в слезах.

Потом мало-помалу место живого горя заступило немое равнодушие. Илья Ильич по целым часам смотрел, как падал снег и наносил сугробы на дворе и на улице, как покрыл дрова, курятники, конуру, садик, гряды огорода, как из столбов забора образовались пирамиды, как все умерло и окуталось в саван.

Подолгу слушал он треск кофейной мельницы, скаканье на цепи и лай собаки, чищенье сапог Захаром и мерный стук маятника.

К нему по-прежнему входила хозяйка, с предложением купить что-нибудь или откушать чего-нибудь; бегали хозяйские дети: он равнодушно-ласково говорил с первой, последним задавал уроки, слушал, как они читают, и улыбался на их детскую болтовню вяло и нехотя.

Но гора осыпалась понемногу, море отступало от берега или приливало к нему, и Обломов мало-помалу входил в прежнюю нормальную свою жизнь.

Осень, лето и зима прошли вяло, скучно. Но Обломов ждал опять весны и мечтал о поездке в деревню.

В марте напекли жаворонков, в апреле у него выставили рамы и объявили, что вскрылась Нева и наступила весна.

Он бродил по саду. Потом стали сажать овощи в огороде; пришли разные праздники, Троица,[1] семик, первое мая,[2] все это ознаменовалось березками, венками; в роще пили чай.

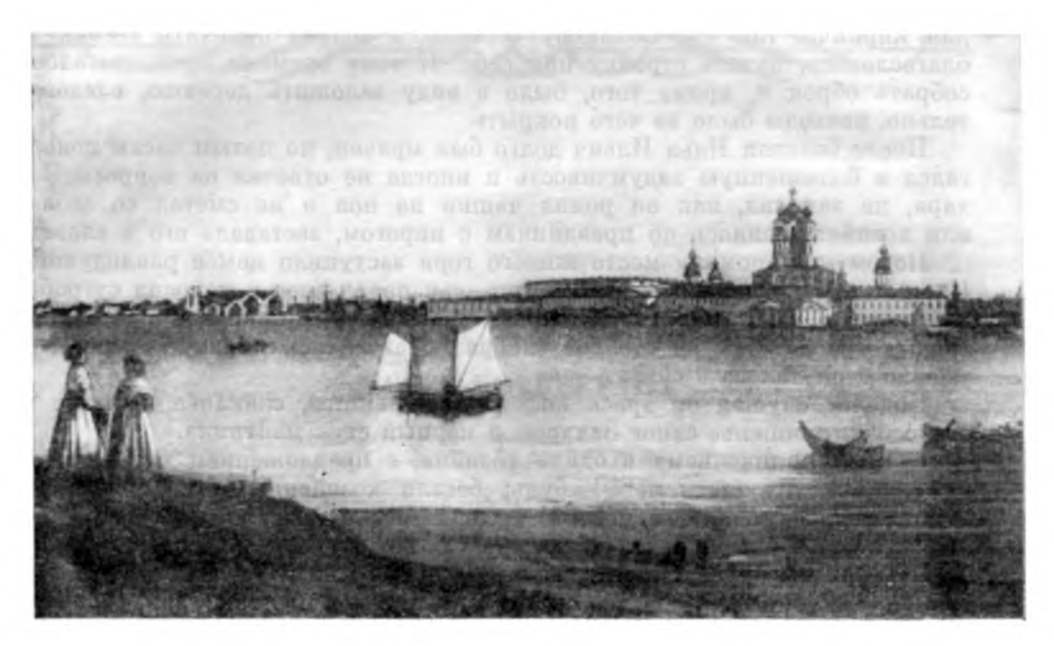
С начала лета в доме стали поговаривать о двух больших предстоящих праздниках: Иванове дне, именинах братца, и об Ильине дне — именинах Обломова: это были две важные эпохи в виду. И когда хозяйке случалось купить или видеть на рынке отличную четверть телятины или удавался особенно хорошо пирог, она приговаривала: «Ах, если б этакая телятина попалась или этакий пирог удался в Иванов или в Ильин день!».

Поговаривали об ильинской пятнице и о совершаемой ежегодно на Пороховые Заводы прогулке пешком, о празднике на Смоленском кладбище,[3] в Колпине.

Под окнами снова раздалось тяжелое кудахтанье наседки и писк нового поколения цыплят; пошли пироги с цыплятами и свежими грибами, свежепросольные огурцы; вскоре появились и ягоды.

«Потроха уж теперь нехороши, — сказала хозяйка Обломову, — вчера за две пары маленьких просили семь гривен, зато лососина свежая есть: ботвинье хоть каждый день можно готовить».

Хозяйственная часть в доме Пшеницыной процветала, не потому только, что Агафья Матвеевна была образцовая хозяйка, что это было



Охта. Акварель 1840-х гг.

ее призванием, но и потому еще, что Иван Матвеевич Мухояров был, в гастрономическом отношении, великий эпикуреец. Он был более нежели небрежен в платье, в белье: платье носил по многим годам и тратил деньги на покупку нового с отвращением и досадой, не развешивал его тщательно, а сваливал в угол, в кучу. Белье, как чернорабочий, менял только в субботу; но что касалось стола, он не щадил издержек.

В этом он отчасти руководствовался своей собственной, созданной им, со времени вступления в службу, логикой: «Не увидят, что в брюхе, — и толковать пустяков не станут; тогда как тяжелая цепочка на часах, новый фрак, светлые сапоги — все это порождает лишние разговоры».

От этого на столе у Пшеницыных являлась телятина первого сорта, янтарная осетрина, белые рябчики. Он иногда сам обходит и обнюхает, как легавая собака, рынок или Милютины лавки,[4] под полой принесет лучшую пулярдку,[5] не пожалеет четырех рублей на индейку.

Вино он брал с биржи[6] и прятал сам, и сам доставал; но на столе никогда никто не видал ничего, кроме графина водки, настоенной смородинным листом; вино же выпивалось в светлице.

Когда он с Тарантьевым отправлялся на тоню, в пальто у него всегда спрятана была бутылка высокого сорта мадеры, а когда пили они «в заведении» чай, он приносил свой ром.

Постепенная осадка ила, выступление дна морского и осыпка горы совершались над всем и, между прочим, над Анисьей: взаимное вле-

ченье Анисьи и хозяйки превратилось в неразрывную связь, в одно существование.

Обломов, видя участие хозяйки в его делах, предложил однажды ей, в виде шутки, взять все заботы о его продовольствии на себя и избавить его от всяких хлопот.

Радость разлилась у ней по лицу; она усмехнулась даже сознательно. Как расширялась ее арена: вместо одного два хозяйства или одно, да какое большое! Кроме того, она приобретала Анисью.

Хозяйка поговорила с братцем, и на другой день из кухни Обломова все было перетаскано на кухню Пшеницыной; серебро его и посуда поступили в ее буфет, а Акулина была разжалована из кухарок в птичницы и в огородницы.

Все пошло на большую ногу; закупка сахару, чаю, провизии, соленье огурцов, моченье яблок и вишен, варенье — все приняло обширные размеры.

Агафья Матвеевна выросла, Анисья расправила свои руки, как орлица крылья, и жизнь закипела и потекла рекой.

Обломов обедал с семьей в три часа, только братец обедали особо, после, больше в кухне, потому что очень поздно приходили из должности.

Чай и кофе носила Обломову сама хозяйка, а не Захар.

Последний, если хотел, стирал пыль, а если не хотел, так Анисья влетит, как вихрь, и отчасти фартуком, отчасти голой рукой, почти носом, разом все сдует, смахнет, сдернет, уберет и исчезнет; не то так сама хозяйка, когда Обломов выйдет в сад, заглянет к нему в комнату, найдет беспорядок, покачает головой и, ворча что-то про себя, взобьет подушки горой, тут же посмотрит наволочки, опять шепнет себе, что надо переменить, и сдернет их, оботрет окна, заглянет за спинку дивана и уйдет.

Постепенная осадка дна морского, осыпанье гор, наносный ил с прибавкой легких волканических взрывов — все это совершилось всего более в судьбе Агафьи Матвеевны, и никто, всего менее она сама, не замечал это. Это стало заметно только по обильным, неожиданным и бесконечным последствиям.

Отчего она с некоторых пор стала сама не своя?

Отчего прежде, если подгорит жаркое, переварится рыба в ухе, не положится зелени в суп, она строго, но с спокойствием и достоинством сделает замечание Акулине и забудет, а теперь, если случится что-нибудь подобное, она выскочит из-за стола, побежит на кухню, осыплет всею горечью упреков Акулину и даже надуется на Анисью, а на другой день присмотрит сама, положена ли зелень, не переварилась ли рыба.

Скажут, может быть, что она совестится показаться неисправной в глазах постороннего человека в таком предмете, как хозяйство, на котором сосредоточивалось ее самолюбие и вся ее деятельность!

Хорошо. А почему прежде, бывало, с восьми часов вечера у ней слипаются глаза, а в девять, уложив детей и осмотрев, потушены ли огни

на кухне, закрыты ли трубы, прибрано ли все, она ложится — и уже никакая пушка не разбудит ее до шести часов?

Теперь же, если Обломов поедет в театр или засидится у Ивана Герасимовича и долго не едет, ей не спится, она ворочается с боку на бок, крестится, вздыхает, закрывает глаза — нет сна, да и только!

Чуть застучат на улице, она поднимет голову, иногда вскочит с постели, отворит форточку и слушает: не он ли?

Если застучат в ворота, она накинет юбку и бежит в кухню, расталкивает Захара, Анисью и посылает отворить ворота.

Скажут, может быть, что в этом высказывается добросовестная домохозяйка, которой не хочется, чтоб у ней в доме был беспорядок, чтоб жилец ждал ночью на улице, пока пьяный дворник услышит и отопрет, что, наконец, продолжительный стук может перебудить детей...

Хорошо. А отчего, когда Обломов сделался болен, она никого не впускала к нему в комнату, устлала ее войлоками и коврами, завесила окна и приходила в ярость — она, такая добрая и кроткая, если Ваня и Маша чуть вскрикнут или громко засмеются?

Отчего по ночам, не надеясь на Захара и Анисью, просиживала у его постели, не спуская с него глаз, до ранней обедни, а потом, накинув салоп и написав крупными буквами на бумажке «Илья», бежала в церковь, подавала бумажку в алтарь, помянуть за здравие, потом отходила в угол, бросалась на колени и долго лежала, припав головой к полу, потом поспешно шла на рынок и с боязнью возвращалась домой, взглядывая в дверь, и шепотом спрашивала у Анисьи: «Что?»

Скажут, что это ничего больше, как жалость, сострадание, господствующие элементы в существе женщины.

Хорошо. Отчего же, когда Обломов, выздоравливая, всю зиму был мрачен, едва говорил с ней, не заглядывал к ней в комнату, не интересовался, что она делает, не шутил, не смеялся с ней, — она похудела, на нее вдруг пал такой холод, такая нехоть ко всему: мелет она кофе — и не помнит, что делает, или накладет такую пропасть цикория, что пить нельзя — и не чувствует, точно языка нет. Не доварит Акулина рыбу, разворчатся братец, уйдут из-за стола: она, точно каменная, будто и не слышит.

Прежде, бывало, ее никто не видал задумчивой, да это и не к лицу ей: все она ходит да движется, на все смотрит зорко и видит все, а тут вдруг, со ступкой на коленях, точно заснет и не двигается, потом вдруг так начнет колотить пестиком, что даже собака залает, думая, что стучатся в ворота.

Но только Обломов ожил, только появилась у него добрая улыбка, только он начал смотреть на нее по-прежнему ласково, заглядывать к ней в дверь и шутить — она опять пополнела, опять хозяйство ее пошло живо, бодро, весело, с маленьким оригинальным оттенком: бывало, она движется целый день, как хорошо устроенная машина, стройно, правильно, ходит плавно, говорит ни тихо, ни громко, намелет кофе, наколет сахару, просеет что-нибудь, сядет за шитье, игла у ней ходит мерно, как часовая стрелка; потом она встанет, не суетясь; там оста-

новится на полдороге в кухню, отворит шкаф, вынет что-нибудь, отнесет — все, как машина.

А теперь, когда Илья Ильич сделался членом ее семейства, она и толчет и сеет иначе. Свои кружева почти забыла. Начнет шить, усядется покойно, вдруг Обломов кричит Захару, чтоб кофе подавал, — она, в три прыжка, является в кухню и смотрит во все глаза так, как будто прицеливается во что-нибудь, схватит ложечку, перельет на свету ложечки три, чтоб узнать, уварился ли, отстоялся ли кофе, не подали бы с гущей, посмотрит, есть ли пенки в сливках.

Готовится ли его любимое блюдо, она посмотрит на кастрюлю, поднимет крышку, понюхает, отведает, потом схватит кастрюлю сама и держит на огне. Трет ли миндаль или толчет что-нибудь для него, так трет и толчет с таким огнем, с такой силой, что ее бросит в пот.

Все ее хозяйство, толченье, глаженье, просеванье и т. п. — все это получило новый, живой смысл: покой и удобство Ильи Ильича. Прежде она видела в этом обязанность, теперь это стало ее наслаждением. Она стала жить по-своему полно и разнообразно.

Но она не знала, что с ней делается, никогда не спрашивала себя, а перешла под это сладостное иго безусловно, без сопротивлений и увлечений, без трепета, без страсти, без смутных предчувствий, томлений, без игры и музыки нерв.

Она как будто вдруг перешла в другую веру и стала исповедовать ее, не рассуждая, что это за вера, какие догматы в ней, а слепо повинуясь ее законам.

Это как-то легло на нее само собой, и она подошла точно под тучу, не пятясь назад и не забегая вперед, а полюбила Обломова просто, как будто простудилась и схватила неизлечимую лихорадку.

Она сама и не подозревала ничего: если б это ей сказать, то это было бы для нее новостью, — она бы усмехнулась и застыдилась.

Она молча приняла обязанности в отношении к Обломову, выучила физиономию каждой его рубашки, сосчитала протертые пятки на чулках, знала, какой ногой он встает с постели, замечала, когда хочет сесть ячмень на глазу, какого блюда и по скольку съедает он, весел он или скучен, много спал или нет, как будто делала это всю жизнь, не спрашивая себя, зачем, что такое ей Обломов, отчего она так суетится.

Если б ее спросили, любит ли она его, она бы опять усмехнулась и отвечала утвердительно, но она отвечала бы так и тогда, когда Обломов жил у нее всего с неделю.

За что или отчего полюбила она его именно, отчего, не любя, вышла замуж, не любя, дожила до тридцати лет, а тут вдруг как будто на нее нашло?

Хотя любовь и называют чувством капризным, безотчетным, рождающимся, как болезнь, однако ж и она, как все, имеет свои законы и причины. А если до сих пор эти законы исследованы мало, так это потому, что человеку, пораженному любовью, не до того, чтоб ученым оком следить, как вкрадывается в душу впечатление, как оковывает

будто сном чувства, как сначала ослепнут глаза, с какого момента пульс, а за ним сердце начинают биться сильнее, как является со вчерашнего дня вдруг преданность до могилы, стремление жертвовать собою, как мало-помалу исчезает свое *я* и переходит в *него* или в *нее*, как ум необыкновенно тупеет или необыкновенно изощряется, как воля отдается в волю другого, как клонится голова, дрожат колени, являются слезы, горячка...

Агафья Матвевна мало прежде видала таких людей, как Обломов, а если видала, так издали, и, может быть, они нравились ей, но жили они в другой, не в ее сфере, и не было никакого случая к сближению с ними.

Илья Ильич ходит не так, как ходил ее покойный муж, коллежский секретарь Пшеницын, мелкой, деловой прытью, не пишет беспрестанно бумаг, не трясется от страха, что опоздает в должность, не глядит на всякого так, как будто просит оседлать его и поехать, а глядит он на всех и на все так смело и свободно, как будто требует покорности себе.

Лицо у него не грубое, не красноватое, а белое, нежное; руки не похожи на руки братца — не трясутся, не красные, а белые, небольшие. Сядет он, положит ногу на ногу, подопрет голову рукой — все это делает так вольно, покойно и красиво; говорит так, как не говорят ее братец и Тарантьев, как не говорил муж; многого она даже не понимает, но чувствует, что это умно, прекрасно, необыкновенно; да и то, что она понимает, он говорит как-то иначе, нежели другие.

Белье носит тонкое, меняет его каждый день, моется душистым мылом, ногти чистит — весь он так хорош, так чист, может ничего не делать и не делает, ему делают все другие: у него есть Захар и еще триста Захаров...

Он барин, он сияет, блещет! Притом он так добр: как мягко он ходит, делает движения, дотронется до руки — как бархат, а тронет, бывало, рукой муж, как ударит! И глядит он и говорит так же мягко, с такой добротой.

Она не думала, не сознавала ничего этого, но если б кто другой вздумал уследить и объяснить впечатление, сделанное на ее душу появлением в ее жизни Обломова, тот бы должен был объяснить его так, а не иначе.

Илья Ильич понимал, какое значение он внес в этот уголок, начиная с братца до цепной собаки, которая, с появлением его, стала получать втрое больше костей, но он не понимал, как глубоко пустило корни это значение и какую неожиданную победу он сделал над сердцем хозяйки.

В ее суетливой заботливости о его столе, белье и комнатах он видел только проявление главной черты ее характера, замеченной им еще в первое посещение, когда Акулина внесла внезапно в комнату трепещущего петуха и когда хозяйка, несмотря на то, что смущена была неуместною ревностью кухарки, успела, однако, сказать ей, чтоб она отдала лавочнику не этого, а серого петуха.

Сама Агафья Матвеевна не в силах была не только пококетничать

с Обломовым, показать ему каким-нибудь признаком, что в ней происходит, но она, как сказано, никогда не сознавала и не понимала этого, даже забыла, что несколько времени назад этого ничего не происходило в ней, и любовь ее высказалась только в безграничной преданности до гроба.

У Обломова не были открыты глаза на настоящее свойство ее отношений к нему, и он продолжал принимать это за характер. И чувство Пшеницыной, такое нормальное, естественное, бескорыстное, оставалось тайною для Обломова, для окружающих ее и для нее самой.

Оно было в самом деле бескорыстно, потому что она ставила свечку в церкви, поминала Обломова за здравие затем только, чтоб он выздоровел, и он никогда не узнал об этом. Сидела она у изголовья его ночью и уходила с зарей, и потом не было разговора о том.

Его отношения к ней были гораздо проще: для него в Агафье Матвеевне, в ее вечно движущихся локтях, в заботливо останавливающихся на всем глазах, в вечном хождении из шкафа в кухню, из кухни в кладовую, оттуда в погреб, во всезнании всех домашних и хозяйственных удобств воплощался идеал того необозримого, как океан, и ненарушимого покоя жизни, картина которого неизгладимо легла на его душу в детстве, под отеческой кровлей.

Как там отец его, дед, дети, внучата и гости сидели или лежали в ленивом покое, зная, что есть в доме вечно ходящее около них и промышляющее око и непокладные руки, которые обошьют их, накормят, напоят, оденут и обуют и спать положат,[7] а при смерти закроют им глаза, так и тут Обломов, сидя и не трогаясь с дивана, видел, что движется что-то живое и проворное в его пользу и что не взойдет завтра солнце, застелют небо вихри, понесется бурный ветр из концов в концы вселенной, а суп и жаркое явятся у него на столе, а белье его будет чисто и свежо, а паутина снята со стены, и он не узнает, как это сделается, не даст себе труда подумать, чего ему хочется, а оно будет угадано и принесено ему под нос, не с ленью, не с грубостью, не грязными руками Захара, а с бодрым и кротким взглядом, с улыбкой глубокой преданности, чистыми, белыми руками и с голыми локтями.

Он каждый день все более и более дружился с хозяйкой: о любви и в ум ему не приходило, то есть о той любви, которую он недавно перенес, как какую-нибудь оспу, корь или горячку, и содрогался, когда вспоминал о ней.

Он сближался с Агафьей Матвевной — как будто подвигался к огню, от которого становится все теплее и теплее, но которого любить нельзя.

Он после обеда охотно оставался и курил трубку в ее комнате, смотрел, как она укладывала в буфет серебро, посуду, как вынимала чашки, наливала кофе, как, особенно тщательно вымыв и обтерев одну чашку, наливала прежде всех, подавала ему и смотрела, доволен ли он.

Он охотно останавливал глаза на ее полной шее и круглых локтях, когда отворялась дверь к ней в комнату, и даже, когда она долго не отворялась, он потихоньку ногой отворял ее сам и шутил с ней, играл с детьми.

Но ему не было скучно, если утро проходило и он не видал ее; после обеда, вместо того чтоб остаться с ней, он часто уходил соснуть часа на два; но он знал, что лишь только он проснется, чай ему готов, и даже в ту самую минуту, как проснется.

И главное, все это делалось покойно: не было у него ни опухоли у сердца, ни разу он не волновался тревогой о том, увидит ли он хозяйку или нет, что она подумает, что сказать ей, как отвечать на ее вопрос, как она взглянет, — ничего, ничего.

Тоски, бессонных ночей, сладких и горьких слез — ничего не испытал он. Сидит и курит и глядит, как она шьет, иногда скажет что-нибудь или ничего не скажет, а между тем покойно ему, ничего не надо, никуда не хочется, как будто все тут есть, что ему надо.

Никаких понуканий, никаких требований не предъявляет Агафья Матвеевна. И у него не рождается никаких самолюбивых желаний, позывов, стремлений на подвиги, мучительных терзаний о том, что уходит время, что гибнут его силы, что ничего не сделал он, ни зла, ни добра, что празден он и не живет, а прозябает.

Его как будто невидимая рука посадила, как драгоценное растение, в тень от жара, под кров от дождя, и ухаживает за ним, лелеет.

— Что это как у вас проворно ходит игла мимо носа, Агафья Матвеевна! — сказал Обломов. — Вы так живо снизу поддеваете, что я, право, боюсь, как бы вы не пришили носа к юбке.

Она усмехнулась.

— Вот только дострочу эту строчку, — говорила она почти про себя, — ужинать станем.

— А что к ужину?

— Капуста кислая с лососиной, — сказала она. — Осетрины нет нигде: уж я все лавки выходила, и братец спрашивали — нет. Вот разве попадется живой осетр — купец из каретного ряда заказал, — так обещали часть отрезать. Потом телятина, каша на сковороде...

— Вот это прекрасно! Как вы милы, что вспомнили, Агафья Матвеевна! Только не забыла бы Анисья.

— А я-то на что? Слышите, шипит? — отвечала она, отворив немного дверь в кухню. — Уж жарится.

Потом дошила, откусила нитку, свернула работу и отнесла в спальню.

Итак, он подвигался к ней, как к теплому огню, и однажды подвинулся очень близко, почти до пожара, по крайней мере до вспышки.

Он ходил по своей комнате и, оборачиваясь к хозяйской двери, видел, что локти действуют с необыкновенным проворством.

— Вечно заняты! — сказал он, входя к хозяйке. — Что это такое?

— Корицу толку, — отвечала она, глядя в ступку, как в пропасть, и немилосердно стуча пестиком.

— А если я вам помешаю? — спросил он, взяв ее за локти и не давая толочь.

— Пустите! Еще надо сахару натолочь да вина отпустить на пудинг.

Он все держал ее за локти, и лицо его было у ее затылка.

— Скажите, что если б я вас... полюбил?

Она усмехнулась.

— А вы бы полюбили меня? — опять спросил он.

— Отчего же не полюбить? Бог всех велел любить.

— А если я поцелую вас? — шепнул он, наклонясь к ее щеке, так что дыхание его обожгло ей щеку.

— Теперь не Святая неделя, — сказала она с усмешкой.

— Ну, поцелуйте же меня!

— Вот, бог даст, доживем до Пасхи, так поцелуемся, — сказала она, не удивляясь, не смущаясь, не робея, а стоя прямо и неподвижно, как лошадь, на которую надевают хомут. Он слегка поцеловал ее в шею.

— Смотрите, просыплю корицу; вам же нечего будет в пирожное положить, — заметила она.

— Не беда! — отвечал он.

— Что это у вас на халате опять пятно? — заботливо спросила она, взяв в руки полу халата. — Кажется, масло? — Она понюхала пятно. — Где это вы? Не с лампадки ли накапало?

— Не знаю, где это я приобрел.

— Верно, за дверь задели? — вдруг догадалась Агафья Матвевна. — Вчера мазали петли: всё скрипят. Скиньте да дайте скорее, я выведу и замою: завтра ничего не будет.

— Добрая Агафья Матвевна! — сказал Обломов, лениво сбрасывая с плеч халат. — Знаете что: поедемте-ка в деревню жить: там-то хозяйство! Чего, чего нет: грибов, ягод, варенья, птичий, скотный двор. . .

— Нет, зачем? — заключила она со вздохом. — Здесь родились, век жили, здесь и умереть надо.

Он глядел на нее с легким волнением, но глаза не блистали у него, не наполнялись слезами, не рвался дух на высоту, на подвиги. Ему только хотелось сесть на диван и не спускать глаз с ее локтей.

II

Иванов день прошел торжественно. Иван Матвеевич накануне не ходил в должность, ездил, как угорелый, по городу и всякий раз приезжал домой то с кульком, то с корзиной.

Агафья Матвевна трои сутки жила одним кофе, и только для Ильи Ильича готовились три блюда, а прочие ели как-нибудь и что-нибудь.

Анисья накануне даже вовсе не ложилась спать. Только один Захар выспался за нее и за себя и на все эти приготовления смотрел небрежно, с полупрезрением.

— У нас, в Обломовке, этак каждый праздник готовили, — говорил он двум поварам, которые приглашены были с графской кухни, — бывало, пять пирожных подадут, а соусов что, так и не пересчитаешь! И целый день господа-то кушают, и на другой день. А мы дней пять доедаем остатки. Только доели, смотришь, гости приехали — опять пошло, а здесь раз в год!

Он за обедом подавал первому Обломову и ни за что не соглашался подать какому-то господину с большим крестом на шее.[1]

— Наш-то столбовой,[2] — гордо говорил он, — а это что за гости!

Тарантьеву, сидевшему на конце, вовсе не подавал или сам сваливал ему на тарелку кушанье, сколько заблагорассудит.

Все сослуживцы Ивана Матвеевича были налицо, человек тридцать.

Огромная форель, фаршированные цыплята, перепелки, мороженое и отличное вино — все это достойно ознаменовало годичный праздник.

Гости под конец обнимались, до небес превозносили вкус хозяина и потом сели за карты. Мухояров кланялся и благодарил, говоря, что он, для счастья угостить дорогих гостей, не пожалел третного будто бы жалованья.[3]

К утру гости разъехались и разошлись, с грехом пополам, и опять все смолкло в доме до Ильина дня.

В этот день из посторонних были только в гостях у Обломова Иван Герасимович и Алексеев, безмолвный и безответный гость, который звал в начале рассказа Илью Ильича на первое мая. Обломов не только не хотел уступить Ивану Матвеевичу, но старался блеснуть тонкостью и изяществом угощения, неизвестными в этом углу.

Вместо жирной кулебяки явились начиненные воздухом пирожки; перед супом подали устрицы; цыплята в папильотках, с трюфелями, сладкие мяса, тончайшая зелень, английский суп.

Посредине стола красовался громадный ананас, и кругом лежали персики, вишни, абрикосы. В вазах живые цветы.

Только принялись за суп, только Тарантьев обругал пирожки и повара, за глупую выдумку ничего не класть в них, как послышалось отчаянное скаканье и лай собаки на цепи.

На двор въехал экипаж, стукнув дышлом в забор, и кто-то спрашивал Обломова. Все и рты разинули.

— Кто-нибудь из прошлогодних знакомых вспомнил мои именины, — сказал Обломов, — дома нет, скажи — дома нет! — кричал он шепотом Захару.

Обедали в саду, в беседке. Захар бросился было отказать и столкнулся на дорожке — с Штольцем.

— Андрей Иваныч! — прохрипел он радостно.

— Андрей! — громко воззвал к нему Обломов и бросился обнимать его.

— Как я кстати, к самому обеду! — сказал Штольц, — накорми меня; я голоден. Насилу отыскал тебя!

— Пойдем, пойдем, садись! — суетливо говорил Обломов, сажая его подле себя.

При появлении Штольца Тарантьев первый проворно перепрaвился чрез плетень и шагнул в огород; за ним скрылся за беседку Иван Матвеевич и исчез в светлицу. Хозяйка тоже поднялась с места.

— Я помешал, — сказал Штольц, вскакивая.

— Куда это, зачем? Иван Матвеич! Михей Андреич! — кричал Обломов.

Хозяйку он усадил на свое место, а Ивана Матвеевича и Тарантьева дозваться не мог.

— Откуда, как, надолго ли? — посыпались вопросы.

Штольц приехал на две недели, по делам, и отправлялся в деревню, потом в Киев и еще бог знает куда.

Штольц за столом говорил мало, но ел много: видно, что он в самом деле был голоден. Прочие и подавно ели молча.

После обеда, когда все убрали со стола, Обломов велел оставить в беседке шампанское и сельтерскую воду и остался вдвоем с Штольцем.

Они молчали некоторое время. Штольц пристально и долго глядел на него.

— Ну, Илья?! — сказал он наконец, но так строго, так вопросительно, что Обломов смотрел вниз и молчал.

— Стало быть, «никогда»?

— Что «никогда»? — спросил Обломов, будто не понимая.

— Ты уж забыл: «теперь или никогда!»

— Я не такой теперь... что был тогда, Андрей, — сказал он наконец, — дела мои, слава богу, в порядке: я не лежу праздно, план почти кончен, выписываю два журнала; книги, что ты оставил, почти все прочитал...

— Отчего ж не приехал за границу? — спросил Штольц.

— За границу мне помешала приехать...

Он замялся.

— Ольга? — сказал Штольц, глядя на него выразительно.

Обломов вспыхнул.

— Как, ужели ты слышал... Где она теперь? — быстро спросил он, взглянув на Штольца.

Штольц, не отвечая, продолжал смотреть на него, глубоко заглядывая ему в душу.

— Я слышал, она с теткой уехала за границу, — говорил Обломов, — вскоре...

— Вскоре после того, как узнала свою ошибку, — договорил Штольц.

— Разве ты знаешь... — говорил Обломов, не зная, куда деваться от смущенья.

— Все, — сказал Штольц, — даже и о ветке сирени. И тебе не стыдно, не больно, Илья? не жжет тебя раскаяние, сожаление?

— Не говори, не поминай! — торопливо перебил его Обломов, — я и то вынес горячку, когда увидел, какая бездна лежит между мной и ею, когда убедился, что я не стою ее... Ах, Андрей! если ты любишь меня, не мучь, не поминай о ней: я давно указывал ей ошибку, она не хотела верить... право, я не очень виноват...

— Я не виню тебя, Илья, — дружески, мягко продолжал Штольц, — я читал твое письмо. Виноват больше всех я, потом она, потом уж ты, и то мало.

— Что она теперь? — робко спросил Обломов.

— Что: грустит, плачет неутешными слезами и проклинает тебя...

Испуг, сострадание, ужас, раскаяние с каждым словом являлись на лице Обломова.

— Что ты говоришь, Андрей! — сказал он, вставая с места. — Поедем, ради бога, сейчас, сию минуту: я у ног ее выпрошу прощение...

— Сиди смирно! — перебил Штольц, засмеявшись, — она весела, даже счастлива, велела кланяться тебе и хотела писать, но я отговорил, сказал, что это тебя взволнует.

— Ну, слава богу! — почти со слезами произнес Обломов, — как я рад, Андрей, позволь поцеловать тебя и выпьем за ее здоровье.

Они выпили по бокалу шампанского.

— Где ж она теперь?

— Теперь в Швейцарии. К осени она с теткой поедет к себе в деревню. Я за этим здесь теперь: нужно еще окончательно похлопотать в палате. Барон не доделал дела, он вздумал посвататься за Ольгу.

— Ужели? Так это правда? — спросил Обломов, — ну, что ж она?

— Разумеется, что: отказала; он огорчился и уехал, а я вот теперь доканчивай дела! На той неделе все кончится. Ну, ты что? Зачем ты забился в эту глушь?

— Покойно здесь, тихо, Андрей, никто не мешает...

— В чем?

— Заниматься...

— Помилуй, здесь та же Обломовка, только гаже, — говорил Штольц, оглядываясь. — Поедем-ка в деревню, Илья.

— В деревню... хорошо, пожалуй: там же стройка начнется скоро, только не вдруг, Андрей, дай сообразить...

— Опять сообразить! Знаю я твои соображения: сообразишь, как года два назад сообразил ехать за границу. Поедем на той неделе.

— Как же вдруг, на той неделе? — защищался Обломов, — ты на ходу, а мне ведь надо приготовиться... У меня здесь все хозяйство: как я кину его? У меня ничего нет.

— Да ничего и не надо. Ну, что тебе нужно?

Обломов молчал.

— Здоровье плохо, Андрей, — сказал он, — одышка одолевает. Ячмени опять пошли, то на том, то на другом глазу, и ноги стали отекать. А иногда заспишься ночью, вдруг точно ударит кто-нибудь по голове или по спине, так что вскочишь...

— Послушай, Илья, серьезно скажу тебе, что надо переменить образ жизни, иначе ты наживешь себе водяную или удар. Уж с надеждами на будущность — кончено: если Ольга, этот ангел, не унес тебя на своих крыльях из твоего болота, так я ничего не сделаю. Но избрать себе маленький круг деятельности, устроить деревушку, возиться с мужиками, входить в их дела, строить, садить — все это ты должен и можешь сделать... Я от тебя не отстану. Теперь уж слушаюсь не одного своего желания, а воли Ольги: она хочет — слышишь? — чтоб ты не умирал совсем, не погребался заживо, и я обещал откапывать тебя из могилы...

— Она еще не забыла меня! Да стою ли я! — сказал Обломов с чувством.

— Нет, не забыла и, кажется, никогда не забудет: это не такая женщина. Ты еще должен ехать к ней в деревню, в гости.

— Не теперь только, ради бога, не теперь, Андрей! Дай забыть. Ах, еще здесь...

Он указал на сердце.

— Что здесь? Не любовь ли?

— Нет, стыд и горе! — с вздохом ответил Обломов.

— Ну, хорошо! Поедем к тебе: ведь тебе строиться надо; теперь лето, драгоценное время уходит...

— Нет, у меня поверенный есть. Он и теперь в деревне, а я могу после приехать, когда соберусь, подумаю.

Он стал хвастаться перед Штольцем, как, не сходя с места, он отлично устроил дела, как поверенный собирает справки о беглых мужиках, выгодно продает хлеб и как прислал ему полторы тысячи, и, вероятно, соберет и пришлет в этом году оброк.

Штольц руками всплеснул при этом рассказе.

— Ты ограблен кругом! — сказал он. — С трехсот душ полторы тысячи рублей! Кто поверенный? Что за человек?

— Больше полуторы тысячи, — поправил Обломов, — он из выручки же за хлеб получил вознаграждение за труд...

— Сколько ж?

— Не помню, право, да я тебе покажу: у меня где-то есть расчет.

— Ну, Илья! Ты в самом деле умер, погиб! — заключил он. — Одевайся, поедем ко мне!

Обломов стал было делать возражения, но Штольц почти насильно увез его к себе, написал доверенность на свое имя, заставил Обломова подписать и объявил ему, что он берет Обломовку на аренду до тех пор, пока Обломов сам приедет в деревню и привыкнет к хозяйству.

— Ты будешь получать втрое больше, — сказал он, — только я долго твоим арендатором не буду, — у меня свои дела есть. Поедем в деревню теперь или приезжай вслед за мной. Я буду в имении Ольги: это в трехстах верстах, заеду и к тебе, выгоню поверенного, распоряжусь, а потом являйся сам. Я от тебя не отстану.

Обломов вздохнул.

— Ах, жизнь! — сказал он.

— Что жизнь?

— Трогает, нет покоя! Лег бы и заснул... навсегда...

— То есть погасил бы огонь и остался в темноте! Хороша жизнь! Эх, Илья! ты хоть пофилософствовал бы немного, право! Жизнь мелькнет, как мгновение, а он лег бы да уснул! Пусть она будет постоянным горением! Ах, если б прожить лет двести, триста! — заключил он, — сколько бы можно было переделать дела!

— Ты — другое дело, Андрей, — возразил Обломов, — у тебя крылья есть: ты не живешь, ты летаешь; у тебя есть дарования, самолюбие; ты вон не толст, не одолевают ячмени, не чешется затылок. Ты как-то иначе устроен...

— Э, полно! Человек создан сам устроивать себя и даже менять свою природу, а он отрастил брюхо да и думает, что природа послала ему эту ношу! У тебя были крылья, да ты отвязал их.

— Где они, крылья-то? — уныло говорил Обломов. — Я ничего не умею...

— То есть не хочешь уметь, — перебил Штольц. — Нет человека, который бы не умел чего-нибудь, ей-богу нет!

— А вот я не умею! — сказал Обломов.

— Тебя послушать, так ты и бумаги не умеешь в управу написать и письма к домовому хозяину, а к Ольге письмо написал же? Не путал там *которого* и *что*? И бумага нашлась атласная, и чернила из английского магазина, и почерк бойкий: что?

Обломов покраснел.

— Понадобилось, так явились и мысли и язык, хоть напечатать в романе где-нибудь. А нет нужды, так и не умею, и глаза не видят, и в руках слабость! Ты свое уменье затерял еще в детстве, в Обломовке, среди теток, нянек и дядек. Началось с неуменья надевать чулки и кончилось неуменьем жить.

— Все это, может быть, правда, Андрей, да делать нечего, не воротишь! — с решительным вздохом сказал Илья.

— Как не воротишь! — сердито возразил Штольц. — Какие пустяки. Слушай да делай, что я говорю, вот и воротишь!

Но Штольц уехал в деревню один, а Обломов остался, обещаясь приехать к осени.

— Что сказать Ольге? — спросил Штольц Обломова перед отъездом.

Обломов наклонил голову и печально молчал; потом вздохнул.

— Не поминай ей обо мне! — наконец сказал он в смущении, — скажи, что не видал, не слыхал...

— Она не поверит.

— Ну скажи, что я погиб, умер, пропал...

— Она заплачет и долго не утешится: за что же печалить ее?

Обломов задумался с умилением; глаза были влажны.

— Ну, хорошо; я солгу ей, скажу, что ты живешь ее памятью, — заключил Штольц, — и ищешь строгой и серьезной цели. Ты заметь, что сама жизнь и труд есть цель жизни, а не женщина: в этом вы ошибались оба. Как она будет довольна!

Они простились.

III

Тарантьев и Иван Матвеевич на другой день Ильина дня опять сошлись вечером в заведении.

— Чаю! — мрачно приказывал Иван Матвеевич, и когда половой подал чай и ром, он с досадой сунул ему бутылку назад. — Это не ром, а гвозди! — сказал он и, вынув из кармана пальто свою бутылку, откупорил и дал понюхать половому.

— Не суйся же вперед с своей! — заметил он.

— Что, кум, ведь плохо! — сказал он, когда ушел половой.

— Да, черт его принес! — яростно возразил Тарантьев. — Каков

шельма, этот немец! Уничтожил доверенность да на аренду имение взял! Слыханное ли это дело у нас? Обдерет же он овечку-то.

— Если он дело знает, кум, я боюсь, чтоб там чего не вышло. Как узнает, что оброк-то собран, а получили-то его мы, да, пожалуй, дело затеет...

— Уж и дело! Труслив ты стал, кум! Затертый не первый раз запускает лапу в помещичьи деньги, умеет концы прятать. Расписки, что ли, он дает мужикам: чай, с глазу на глаз берет. Погорячится немец, покричит, и будет с него. А то еще дело!

— Ой ли? — развеселясь, сказал Мухояров. — Ну, выпьем же.

Он подлил рому себе и Тарантьеву.

— Глядишь, кажется, нельзя и жить на белом свете, а выпьешь, можно жить! — утешался он.

— А ты тем временем вот что сделай, кум, — продолжал Тарантьев, — ты выведи какие-нибудь счеты, какие хочешь, за дрова, за капусту, ну, за что хочешь, благо Обломов теперь передал куме хозяйство, и покажи сумму в расход. А Затертый, как приедет, скажем, что привез оброчных денег столько-то и что в расход ушли.

— А как он возьмет счеты да покажет после немцу, тот сосчитает, так, пожалуй, того...

— Во-на! Он их сунет куда-нибудь, и сам черт не сыщет. Когда-то еще немец приедет, до тех пор забудется...

— Ой ли? Выпьем, кум, — сказал Иван Матвеевич, наливая в рюмку, — жалко разбавлять чаем добро. Ты понюхай: три целковых. Не заказать ли селянку?

— Можно.

— Эй!

— Нет, каков шельма! «Дай, говорит, мне на аренду», — опять с яростью начал Тарантьев, — ведь нам с тобой, русским людям, этого в голову бы не пришло! Это заведение-то немецкой стороной пахнет. Там все какие-то фермы да аренды. Вот постой, он его еще акциями допечет.[1]

— Что это за акции такие, я все не разберу хорошенько? — спросил Иван Матвеевич.

— Немецкая выдумка! — сказал Тарантьев злобно. — Это, например, мошенник какой-нибудь выдумает делать несгораемые домы и возьмется город построить: нужны деньги, он и пустит в продажу бумажки, положим, по пятисот рублей, а толпа олухов и покупает, да и перепродает друг другу. Послышится, что предприятие идет хорошо, бумажки вздорожают, худо — все и лопнет. У тебя останутся бумажки, а денег-то нет. Где город? спросишь: сгорел, говорят, не достроился, а изобретатель бежал с твоими деньгами. Вот они, акции-то! Немец уж втянет его! Диво, как до сих пор не втянул! Я все мешал, благодетельствовал земляку!

— Да, эта статья кончена: дело решено и сдано в архив; заговелись мы оброк-то получать с Обломовки... — говорил, опьянев немного, Мухояров.

— А черт с ним, кум! У тебя денег-то лопатой не переворочаешь! — возражал Тарантьев, тоже немного в тумане, — источник есть верный, черпай только, не уставай. Выпьем!

— Что, кум, за источник? По целковому да по трехрублевому собираешь весь век...

— Да ведь двадцать лет собираешь, кум: не греши!

— Уж и двадцать! — нетвердым языком отозвался Иван Матвеевич, — ты забыл, что я всего десятый год секретарем. А прежде гривенники да двугривенные болтались в кармане, а иногда, срам сказать, зачастую и медью приходилось собирать. Что это за жизнь! Эх, кум! Какие это люди на свете есть счастливые, что за одно словцо, так вот шепнет на ухо другому, или строчку продиктует, или просто имя свое напишет на бумаге — и вдруг такая опухоль сделается в кармане, словно подушка, хоть спать ложись. Вот бы поработать этак-то, — замечтал он, пьянея все более и более, — просители и в лицо почти не видят и подойти не смеют. Сядет в карету, «в клуб!» — крикнет, а там, в клубе-то, в звездах руку жмут, играет-то не по пятачку, а обедает-то, обедает — ах! Про селянку и говорить постыдится: сморщится да плюнет. Нарочно зимой цыплят делают к обеду, землянику в апреле подадут! Дома жена в блондах, у детей гувернантка, ребятишки причесанные, разряженные. Эх, кум! Есть рай, да грехи не пускают. Выпьем! Вот и селянку несут!

— Не жалуйся, кум, не греши: капитал есть, и хороший... — говорил опьяневший Тарантьев с красными, как в крови, глазами. — Тридцать пять тысяч серебром — не шутка!

— Тише, тише, кум! — прервал Иван Матвеевич. — Что ж, все тридцать пять! Когда до пятидесяти дотянешь? Да и с пятидесятью в рай не попадешь. Женишься, так живи с оглядкой, каждый рубль считай, об ямайском забудь и думать — что это за жизнь!

— Зато покойно, кум; тот целковый, тот два — смотришь, в день рублей семь и спрятал. Ни привязки, ни придирки, ни пятен, ни дыму. А под большим делом подпишешь иной раз имя, так после всю жизнь и выскабливаешь боками. Нет, брат, не греши, кум!

Иван Матвеевич не слушал и давно о чем-то думал.

— Послушай-ка, — вдруг начал он, выпучив глаза и чему-то обрадовавшись, так что хмель почти прошел, — да нет, боюсь, не скажу, не выпущу из головы такую птицу. Вот сокровище-то залетело... Выпьем, кум, выпьем скорей!

— Не стану, пока не скажешь, — говорил Тарантьев, отодвигая рюмку.

— Дело-то, кум, важное, — шептал Мухояров, поглядывая на дверь.

— Ну?.. — нетерпеливо спросил Тарантьев.

— Вот набрел на находку. Ну, знаешь что, кум, ведь это все равно, что имя под большим делом подписать, ей-богу так!

— Да что, скажешь ли?

— А магарыч-то какой? магарыч? [2]

— Ну? — понукал Тарантьев.

— Погоди, дай еще подумать. Да, тут нечего уничтожить, тут закон. Так и быть, кум, скажу, и то потому, что ты нужен; без тебя неловко. А то, видит бог, не сказал бы; не такое дело, чтоб другая душа знала.

— Разве я другая душа для тебя, кум? Кажется, не раз служил тебе, и свидетелем бывал, и копии... помнишь? Свинья ты этакая!

— Кум, кум! Держи язык за зубами. Вон ведь ты какой, из тебя, как из пушки, так и палит!

— Кой черт услышит здесь? Не помню, что ли, я себя? — с досадой сказал Тарантьев. — Что ты меня учишь? Ну, говори.

— Слушай же: ведь Илья Ильич трусоват, никаких порядков не знает: тогда от контракта голову потерял, доверенность прислали, так не знал, за что приняться, не помнит даже, сколько оброку получает, сам говорит: «Ничего не знаю»...

— Ну? — нетерпеливо спросил Тарантьев.

— Ну, вот он к сестре-то больно часто повадился ходить. Намедни часу до первого засиделся, столкнулся со мной в прихожей и будто не видал. Так вот, поглядим еще, что будет, да и того. Ты стороной и поговори с ним, что бесчестье в доме заводить нехорошо, что она вдова: скажи, что уж об этом узнали; что теперь ей не выйти замуж; что жених присватывался, богатый купец, а теперь прослышал, дескать, что он по вечерам сидит у ней, не хочет.

— Ну, что ж, он перепугается, повалится на постель, да и будет ворочаться, как боров, да вздыхать — вот и все, — сказал Тарантьев. — Какая же выгода? Где магарыч?

— Экой какой! А ты скажи, что пожаловаться хочу, что будто подглядели за ним, что свидетели есть...

— Ну?

— Ну, коли перепугается очень, ты скажи, что можно помириться, пожертвовать маленький капитал.

— Где у него деньги-то? — спросил Тарантьев. — Он обещать-то обещает со страху хоть десять тысяч...

— Ты мне только мигни тогда, а я уж заемное письмецо[3] заготовлю... на имя сестры: «занял я, дескать, Обломов, у такой-то вдовы десять тысяч, сроком и т. д.».

— Что ж толку-то, кум? Я не пойму: деньги достанутся сестре и ее детям. Где ж магарыч?

— А сестра мне даст заемное письмо на таковую же сумму; я дам ей подписать.

— Если она не подпишет? упрется?

— Сестра-то!

И Иван Матвеевич залился тоненьким смехом.

— Подпишет, кум, подпишет, свой смертный приговор подпишет и не спросит что, только усмехнется, «Агафья Пшеницына» подмахнет в сторону, криво и не узнает никогда, что подписала. Видишь ли: мы с тобой будем в стороне: сестра будет иметь претензию на коллежского секретаря Обломова, а я на коллежской секретарше Пшеницыной. Пусть

немец горячится — законное дело! — говорил он, подняв трепещущие руки вверх. — Выпьем, кум!

— Законное дело! — в восторге сказал Тарантьев. — Выпьем.

— А как удачно пройдет, можно годика через два повторить; законное дело!

— Законное дело! — одобрительно кивнув, провозгласил Тарантьев. — Повторим и мы!

— Повторим!

И они выпили.

— Вот как бы твой земляк-то не уперся да не написал предварительно к немцу, — опасливо заметил Мухояров, — тогда, брат, плохо! Дела никакого затеять нельзя; она вдова, не девица!

— Напишет! Как не напишет! Года через два напишет, — сказал Тарантьев. — А упираться станет — обругаю...

— Нет, нет, боже сохрани! Все испортишь, кум: скажет, что принудили, пожалуй, упомянет про побои, уголовное дело. Нет, это не годится! А вот что можно: предварительно закусить с ним и выпить; он смородиновку-то любит. Как в голове зашумит, ты и мигни мне: я и войду с письмецом-то. Он и не посмотрит сумму, подпишет, как тогда контракт, а после поди, как у маклера будет засвидетельствовано, допрашивайся! Совестно будет этакому барину сознаваться, что подписал в нетрезвом виде; законное дело!

— Законное дело! — повторил Тарантьев.

— Пусть тогда Обломовка достается наследникам.

— Пусть достается! Выпьем, кум.

— За здоровье олухов! — сказал Иван Матвеевич.

Они выпили.

IV

Надо теперь перенестись несколько назад, до приезда Штольца на именины к Обломову, и в другое место, далеко от Выборгской стороны. Там встретятся знакомые читателю лица, о которых Штольц не все сообщил Обломову, что знал, по каким-нибудь особенным соображениям, или, может быть, потому, что Обломов не все о них расспрашивал, тоже, вероятно, по особенным соображениям.

Однажды в Париже Штольц шел по бульвару и рассеянно перебегал глазами по прохожим, по вывескам магазинов, не останавливая глаз ни на чем. Он долго не получал писем из России, ни из Киева, ни из Одессы, ни из Петербурга. Ему было скучно, и он отнес еще три письма на почту и возвращался домой.

Вдруг глаза его остановились на чем-то неподвижно, с изумлением, но потом опять приняли обыкновенное выражение. Две дамы свернули с бульвара и вошли в магазин.

«Нет, не может быть, какая мысль! Я бы знал! Это не они».

Однако ж он подошел к окну этого магазина и разглядывал сквозь стекла дам: «Ничего не разглядишь, они стоят задом к окнам».

Штольц вошел в магазин и стал что-то торговать. Одна из дам обернулась к свету, и он узнал — Ольгу Ильинскую — и не узнал! Хотел броситься к ней и остановился, стал пристально вглядываться.

Боже мой! Что за перемена! Она и не она. Черты ее, но она бледна, глаза немного будто впали, и нет детской усмешки на губах, нет наивности, беспечности. Над бровями носится не то важная, не то скорбная мысль, глаза говорят много такого, чего не знали, не говорили прежде. Смотрит она не по-прежнему, открыто, светло и покойно; на всем лице лежит облако или печали, или тумана.

Он подошел к ней. Брови у ней сдвинулись немного; она с недоумением посмотрела на него минуту, потом узнала: брови раздвинулись и легли симметрично, глаза блеснули светом тихой, не стремительной, но глубокой радости. Всякий брат был бы счастлив, если б ему так обрадовалась любимая сестра.

— Боже мой! Вы ли это? — сказала она проникающим до души, до неги радостным голосом.

Тетка быстро обернулась, и все трое заговорили разом. Он упрекал, что они не написали к нему; они оправдывались. Они приехали всего третий день и везде ищут его. На одной квартире сказали им, что он уехал в Лион,[1] и они не знали, что делать.

— Да как это вы вздумали? И мне ни слова! — упрекал он.

— Мы так быстро собрались, что не хотели писать к вам, — сказала тетка. — Ольга хотела вам сделать сюрприз.

Он взглянул на Ольгу: лицо ее не подтверждало слов тетки. Он еще пристальнее поглядел на нее, но она была непроницаема, недоступна его наблюдению.

— «Что с ней? — думал Штольц. — Я, бывало, угадывал ее сразу, а теперь... какая перемена!»

— Как вы развились, Ольга Сергевна, выросли, созрели, — сказал он вслух, — я вас не узнаю! А всего год какой-нибудь не видались. Что вы делали, что с вами было? Расскажите, расскажите!

— Да... ничего особенного, — сказала она, рассматривая материю.

— Что ваше пение? — говорил Штольц, продолжая изучать новую для него Ольгу и стараясь прочесть незнакомую ему игру в ее лице; но игра эта, как молния, вырывалась и пряталась.

— Давно не пела, месяца два, — сказала она небрежно.

— А Обломов что? — вдруг бросил он вопрос. — Жив ли? Не пишет?

Здесь, может быть, Ольга невольно выдала бы свою тайну, если б не подоспела на помощь тетка.

— Вообразите, — сказала она, выходя из магазина, — каждый день бывал у нас, потом вдруг пропал. Мы собрались за границу; я послала к нему — сказали, что болен, не принимает: так и не видались.

— И вы не знаете? — заботливо спросил Штольц у Ольги.

Ольга пристально лорнировала проезжавшую коляску.

— Он в самом деле захворал, — сказала она, с притворным вниманием рассматривая проезжавший экипаж.

— Посмотрите, ma tante, кажется, это наши спутники проехали?

— Нет, вы мне отдайте отчет о моем Илье, — настаивал Штольц, — что вы с ним сделали? Отчего не привезли с собой?

— Mais ma tante vient de dire,* — говорила она.

— Он ужасно ленив, — заметила тетка, — и дикарь такой, что лишь только соберутся трое-четверо к нам, сейчас уйдет. Вообразите, абонировался в оперу и до половины абонемента не дослушал.

— Рубини[2] не слыхал, — прибавила Ольга.

Штольц покачал головой и вздохнул.

— Как это вы решились! Надолго ли? Что вам вдруг вздумалось? — спрашивал он.

— Для нее по совету доктора, — сказала тетка, указывая на Ольгу. — Петербург заметно стал действовать на нее, мы и уехали на зиму, да вот еще не решились, где провести ее: в Ницце или в Швейцарии.

— Да, вы очень переменились, — задумчиво говорил Штольц, глядя в глаза Ольге.

Полгода прожили Ильинские в Париже: Штольц был ежедневным и единственным их собеседником и путеводителем.

Ольга заметно начала оправляться: от задумчивости она перешла к спокойствию и равнодушию, по крайней мере наружно. Что у ней делалось внутри — бог ведает, но она мало-помалу становилась для Штольца прежнею приятельницею, хотя уже и не смеялась по-прежнему громким, детским, серебряным смехом, а только улыбалась сдержанной улыбкой, когда смешил ее Штольц. Иногда даже ей как будто было досадно, что она не может не засмеяться.

Он тотчас увидел, что ее смешить уже нельзя: часто взглядом и несимметрично лежащими одна над другой бровями со складкой на лбу она выслушает смешную выходку и не улыбнется, продолжает молча глядеть на него, как будто с упреком в легкомыслии или с нетерпением, или вдруг, вместо ответа на шутку, сделает глубокий вопрос и сопровождает его таким настойчивым взглядом, что ему станет совестно за небрежный, пустой разговор.

Иногда в ней выражалось такое внутреннее утомление от ежедневной людской пустой беготни и болтовни, что Штольцу приходилось внезапно переходить в другую сферу, в которую он редко и неохотно пускался с женщинами. Сколько мысли, изворотливости ума тратилось единственно на то, чтоб глубокий, вопрошающий взгляд Ольги прояснялся и успокоивался, не жаждал, не искал вопросительно чего-нибудь дальше, где-нибудь мимо его!

Как он тревожился, когда, за небрежное объяснение, взгляд ее становился сух, суров, брови сжимались и по лицу разливалась тень безмолвного, но глубокого неудовольствия. И ему надо было положить двои, трои сутки тончайшей игры ума, даже лукавства, огня и все свое уменье обходиться с женщинами, чтоб вызвать, и то с трудом, мало-по-

* Но тетушка сказала вам только что (*франц.*).

малу, из сердца Ольги зарю ясности на лицо, кротость примирения во взгляд и в улыбку.

Он к концу дня приходил иногда домой измученный этой борьбой и бывал счастлив, когда выходил победителем.

«Как она созрела, боже мой! как развилась эта девочка! Кто ж был ее учителем? Где она брала уроки жизни? У барона? Там гладко, не почерпнешь в его щегольских фразах ничего! Не у Ильи же!..»

И не мог понять Ольгу, и бежал опять на другой день к ней, и уже осторожно, с боязнью читал ее лицо, затрудняясь часто и побеждая только с помощью всего своего ума и знания жизни вопросы, сомнения, требования — все, что всплывало в чертах Ольги.

Он, с огнем опытности в руках, пускался в лабиринт ее ума, характера и каждый день открывал и изучал все новые черты и факты, и все не видел дна, только с удивлением и тревогой следил, как ее ум требует ежедневно насущного хлеба, как душа ее не умолкает, все просит опыта и жизни.

Ко всей деятельности, ко всей жизни Штольца прирастала с каждым днем еще чужая деятельность и жизнь: обстановив Ольгу цветами, обложив книгами, нотами и альбомами, Штольц успокоивался, полагая, что надолго наполнил досуги своей приятельницы, и шел работать или ехал осматривать какие-нибудь копи, какое-нибудь образцовое имение, шел в круг людей, знакомиться, сталкиваться с новыми или замечательными лицами; потом возвращался к ней утомленный, сесть около ее рояля и отдохнуть под звуки ее голоса. И вдруг на лице ее заставал уже готовые вопросы, во взгляде настойчивое требование отчета. И незаметно, невольно, мало-помалу, он выкладывал перед ней, что он осмотрел, зачем.

Иногда выражала она желание сама видеть и узнать, что видел и узнал он. И он повторял свою работу: ехал с ней смотреть здание, место, машину, читать старое событие на стенах, на камнях. Мало-помалу, незаметно, он привык при ней вслух думать, чувствовать, и вдруг однажды, строго поверив себя, узнал, что он начал жить не один, а вдвоем, и что живет этой жизнью со дня приезда Ольги.

Почти бессознательно, как перед самим собой, он вслух при ней делал оценку приобретенного им сокровища и удивлялся себе и ей; потом поверял заботливо, не осталось ли вопроса в ее взгляде, лежит ли заря удовлетворенной мысли на лице и провожает ли его взгляд ее, как победителя.

Если это подтверждалось, он шел домой с гордостью, с трепетным волнением и долго ночью втайне готовил себя на завтра. Самые скучные, необходимые занятия не казались ему сухи, а только необходимы: они входили глубже в основу, в ткань жизни; мысли, наблюдения, явления не складывались, молча и небрежно, в архив памяти, а придавали яркую краску каждому дню.

Какая жаркая заря охватывала бледное лицо Ольги, когда он, не дожидаясь вопросительного и жаждущего взгляда, спешил бросать перед ней, с огнем и энергией, новый запас, новый материал!

И сам он как полно счастлив был, когда ум ее, с такой же заботливостью и с милой покорностью, торопился ловить его взгляд, каждое слово, и оба зорко смотрели: он на нее, не осталось ли вопроса в ее глазах, она на него, не осталось ли чего-нибудь недосказанного, не забыл ли он и, пуще всего, боже сохрани! не пренебрег ли открыть ей какой-нибудь туманный, для нее недоступный уголок ума, развить свою мысль?

Чем важнее, сложнее был вопрос, чем внимательнее он поверял его ей, тем долее и пристальнее останавливался на нем ее признательный взгляд, тем этот взгляд был теплее, глубже, сердечнее.

«Это дитя, Ольга! — думал он в изумлении. — Она перерастает меня!»

Он задумывался над Ольгой, как никогда и ни над чем не задумывался.

Весной они все уехали в Швейцарию. Штольц еще в Париже решил, что отныне без Ольги ему жить нельзя. Решив этот вопрос, он начал решать вопрос о том, может ли жить без него Ольга. Но этот вопрос не давался ему так легко.

Он подбирался к нему медленно, с оглядкой, осторожно, шел то ощупью, то смело и думал, вот-вот он близко у цели, вот уловит какой-нибудь несомненный признак, взгляд, слово, скуку или радость: еще нужно маленький штрих, едва заметное движение бровей Ольги, вздох ее, и завтра тайна падет: он любим!

На лице у ней он читал доверчивость к себе до ребячества; она глядела иногда на него, как ни на кого не глядела, разве глядела бы так на мать, если б у ней была мать.

Приход его, досуги, целые дни угождения она не считала одолжением, лестным приношением любви, любезностью сердца, а просто обязанностью, как будто он был ее брат, отец, даже муж: а это много, это все. И сама, в каждом слове, в каждом шаге с ним, была так свободна и искренна, как будто он имел над ней неоспоримый вес и авторитет.

Он и знал, что имеет этот авторитет; она каждую минуту подтверждала это, говорила, что она верит ему одному и может в жизни положиться слепо только на него и ни на кого более.

Он, конечно, был горд этим, но ведь этим мог гордиться и какой-нибудь пожилой, умный и опытный дядя, даже барон, если б он был человек с светлой головой, с характером.

Но был ли это авторитет любви — вот вопрос! Входило ли в этот авторитет сколько-нибудь ее обаятельного обмана, того лестного ослепления, в котором женщина готова жестоко ошибиться и быть счастлива ошибкой?

Нет, она так сознательно покоряется ему. Правда, глаза ее горят, когда он развивает какую-нибудь идею или обнажает душу перед ней; она обливает его лучами взгляда, но всегда видно, за что; иногда сама же она говорит и причину. А в любви заслуга приобретается так слепо, безотчетно, и в этой-то слепоте и безотчетности и лежит счастье. Оскорбляется она и сейчас же видно, за что оскорблена.

Ни внезапной краски, ни радости до испуга, ни томного или трепе-

щущего огнем взгляда он не подкараулил никогда, и если было что-нибудь похоже на это, показалось ему, что лицо ее будто исказилось болью, когда он скажет, что на днях уедет в Италию, только лишь сердце у него замрет и обольется кровью от этих драгоценных и редких минут, как вдруг опять все точно задернется флером; она наивно и открыто прибавит: «Как жаль, что я не могу поехать с вами туда, а *ужасно* хотелось бы! Да вы мне все расскажете и так передадите, что как будто я сама была там».

И очарование разрушено этим явным, нескрываемым ни перед кем желанием и этой пошлой, форменной похвалой его искусству рассказывать. Он только соберет все мельчайшие черты, только удастся ему соткать тончайшее кружево, остается закончить какую-нибудь петлю — вот ужó, вот сейчас...

И вдруг она опять стала покойна, ровна, проста, иногда даже холодна. Сидит, работает и молча слушает его, поднимает по временам голову, бросает на него такие любопытные, вопросительные, прямо идущие к делу взгляды, так что он не раз с досадой бросал книгу или прерывал какое-нибудь объяснение, вскакивал и уходил. Оборотится — она провожает его удивленным взглядом: ему совестно станет, он воротится и что-нибудь выдумает в оправдание.

Она выслушает так просто и поверит. Даже сомнения, лукавой улыбки нет у нее.

«Любит или не любит?» — играли у него в голове два вопроса.

Если любит, отчего же она так осторожна, так скрытна? Если не любит, отчего так предупредительна, покорна? Он уехал на неделю из Парижа в Лондон и пришел сказать ей об этом в самый день отъезда, не предупредив заранее.

Если б она вдруг испугалась, изменилась в лице — вот и кончено, тайна поймана, он счастлив! А она крепко пожала ему руку, опечалилась: он был в отчаянии.

— Мне *ужасно* скучно будет, — сказала она, — я плакать готова, я точно сирота теперь. Ma tante! Посмотрите, Андрей Иваныч едет! — плаксиво прибавила она.

Она срезала его.

«Еще к тетке обратилась! — думал он, — этого недоставало! Вижу, что ей жаль, что любит, пожалуй... да этой любви можно, как товару на бирже, купить во столько-то времени, на столько-то внимания, угодливости... Не ворочусь, — угрюмо думал он. — Прошу покорно, Ольга, девочка! по ниточке, бывало, ходила. Что с ней?»

И он погружался в глубокую задумчивость.

Что с ней? Он не знал безделицы, что она любила однажды, что уже перенесла, насколько была способна, девический период неуменья владеть собой, внезапной краски, худо скрытой боли в сердце, лихорадочных признаков любви, первой ее горячки.

Знай он это, он бы узнал если не ту тайну, любит ли она его или нет, так по крайней мере узнал бы, отчего так мудрено стало разгадать, что делается с ней.

В Швейцарии они перебывали везде, куда ездят путешественники. Но чаще и с большей любовью останавливались в мало посещаемых затишьях. Их, или по крайней мере Штольца, так занимало «свое собственное дело», что они утомлялись от путешествия, и оно отодвигалось на второй план.

Он ходил за ней по горам, смотрел на обрывы, на водопады, и во всякой рамке она была на первом плане. Он идет за ней по какой-нибудь узкой тропинке, пока тетка сидит в коляске внизу; он следит втайне зорко, как она остановится, взойдя на гору, переведет дыхание и какой взгляд остановит на нем, непременно и прежде всего на нем: он уже приобрел это убеждение.

Оно бы и хорошо: и тепло, и светло станет на сердце, да вдруг она окинет потом взглядом местность и оцепенеет, забудется в созерцательной дремоте — и его уже нет перед ней.

Чуть он пошевелится, напомнит о себе, скажет слово, она испугается, иногда вскрикнет: явно, что забыла, тут ли он или далеко, просто — есть ли он на свете.

Зато после, дома, у окна, на балконе, она говорит ему одному, долго говорит, долго выбирает из души впечатления, пока не выскажется вся, и говорит горячо, с увлечением, останавливается иногда, прибирает слово и на лету хватает подсказанное им выражение, и во взгляде у ней успеет мелькнуть луч благодарности за помощь. Или сядет, бледная от усталости, в большое кресло, только жадные, неустающие глаза говорят ему, что она хочет слушать его.

Она слушает неподвижно, не проронит слова, не пропустит ни одной черты. Он замолчит, она еще слушает, глаза еще спрашивают, и он на этот немой вызов продолжает высказываться с новой силой, с новым увлечением.

Оно бы и хорошо: светло, тепло, сердце бьется; значит, она живет тут, больше ей ничего не нужно: здесь ее свет, огонь и разум. А она вдруг встанет утомленная, и те же, сейчас вопросительные, глаза просят его уйти, или захочет кушать она, и кушает с таким аппетитом. . .

Все бы это прекрасно: он не мечтатель; он не хотел бы порывистой страсти, как не хотел ее и Обломов, только по другим причинам. Но ему хотелось бы, однако, чтоб чувство потекло по ровной колее, вскипев сначала горячо у источника, чтоб черпнуть и упиться в нем и потом всю жизнь знать, откуда бьет этот ключ счастья. . .

«Любит ли она или нет?» — говорил он с мучительным волнением, почти до кровавого пота, чуть не до слез.

У него все более и более разгорался этот вопрос, охватывал его, как пламя, сковывал намерения: это был один главный вопрос уже не любви, а жизни. Ни для чего другого не было теперь места у него в душе.

Кажется, в эти полгода зараз собрались и разыгрались над ним все муки и пытки любви, от которых он так искусно берегся в встречах с женщинами.

Он чувствовал, что и его здоровый организм не устоит, если продлятся еще месяцы этого напряжения ума, воли, нерв. Он понял, — что было чуждо ему доселе, — как тратятся силы в этих скрытых от глаз борьбах души со страстью, как ложатся на сердце неизлечимые раны без крови, но порождают боль и стоны, как уходит и жизнь.

С него немного спала спесивая уверенность в своих силах; он уже не шутит легкомысленно, слушая рассказы, как иные теряют рассудок, чахнут от разных причин, между прочим... от любви.

Ему становилось страшно.

«Нет, я положу конец этому, — сказал он, — я загляну ей в душу, как прежде, и завтра — или буду счастлив, или уеду!»

«Нет сил! — говорил он дальше, глядясь в зеркало. — Я ни на что не похож... Довольно!..» Он пошел прямо к цели, то есть к Ольге.

А что ж Ольга? Она не замечала его положения или была бесчувственна к нему?

Не замечать этого она не могла: и не такие тонкие женщины, как она, умеют отличить дружескую преданность и угождения от нежного проявления другого чувства. Кокетства в ней допустить нельзя по верному пониманию истинной, нелицемерной, никем не навеянной ей нравственности. Она была выше этой пошлой слабости.

Остается предположить одно, что ей нравилось, без всяких практических видов, это непрерывное, исполненное ума и страсти поклонение такого человека, как Штольц. Конечно, нравилось: это поклонение восстановляло ее оскорбленное самолюбие и мало-помалу опять ставило ее на тот пьедестал, с которого она упала; мало-помалу возрождалась ее гордость.

Но как же она думала: чем должно разрешиться это поклонение? Не может же оно всегда выражаться в этой вечной борьбе пытливости Штольца с ее упорным молчанием. По крайней мере предчувствовала ли она, что вся эта борьба его не напрасна, что он выиграет дело, в которое положил столько воли и характера? Даром ли он тратит это пламя, блеск? Потонет ли в лучах этого блеска образ Обломова и той любви?

Она ничего этого не понимала, не сознавала ясно и боролась отчаянно с этими вопросами, сама с собой, и не знала, как выйти из хаоса.

Как ей быть? Оставаться в нерешительном положении нельзя: когда-нибудь от этой немой игры и борьбы запертых в груди чувств дойдет до слов — что она ответит о прошлом! Как назовет его и как назовет то, что чувствует к Штольцу?

Если она любит Штольца, что же такое была та любовь? — кокетство, ветреность или хуже? Ее бросало в жар и краску стыда при этой мысли. Такого обвинения она не взведет на себя.

Если же то была первая, чистая любовь, что такое ее отношения к Штольцу? — Опять игра, обман, тонкий расчет, чтоб увлечь его к замужству и покрыть этим ветреность своего поведения? Ее бросало в холод, и она бледнела от одной мысли.

А не игра, не обман, не расчет — так... опять любовь?

От этого предположения она терялась: вторая любовь — чрез семь, восемь месяцев после первой! Кто ж ей поверит? Как она заикнется о ней, не вызвав изумления, может быть... презрения! Она и подумать не смеет, не имеет права!

Она порылась в своей опытности: там о второй любви никакого сведения не отыскалось. Вспомнила про авторитеты теток, старых дев, разных умниц, наконец, писателей, «мыслителей о любви»,[3] — со всех сторон слышит неумолимый приговор: «Женщина истинно любит только однажды». И Обломов так изрек свой приговор. Вспомнила о Сонечке, как бы она отозвалась о второй любви, но от приезжих из России слышала, что приятельница ее перешла на третью...

Нет, нет у ней любви к Штольцу, решала она, и быть не может! Она любила Обломова, и любовь эта умерла, цвет жизни увял навсегда! У ней только дружба к Штольцу, основанная на его блистательных качествах, потом на дружбе его к ней, на внимании, на доверии.

Так она отталкивала мысль, даже возможность о любви к старому своему другу.

Вот причина, по которой Штольц не мог уловить у ней на лице и в словах никакого знака, ни положительного равнодушия, ни мимолетной молнии, даже искры чувства, которое хоть бы на волос выходило за границы теплой, сердечной, но обыкновенной дружбы.

Чтоб кончить все это разом, ей оставалось одно: заметив признаки рождающейся любви в Штольце, не дать ей пищи и хода и уехать поскорей. Но она уже потеряла время: это случилось давно, притом надо было ей предвидеть, что чувство разыграется у него в страсть; да это и не Обломов: от него никуда не уедешь.

Положим, это было бы физически и возможно, но ей морально невозможен отъезд: сначала она пользовалась только прежними правами дружбы и находила в Штольце, как и давно, то игривого, остроумного, насмешливого собеседника, то верного и глубокого наблюдателя явлений жизни — всего, что случалось с ними или проносилось мимо их, что их занимало.

Но чем чаще они виделись, тем больше сближались нравственно, тем роль его становилась оживленнее: из наблюдателя он нечувствительно перешел в роль истолкователя явлений, ее руководителя. Он невидимо стал ее разумом и совестью, и явились новые права, новые тайные узы, опутавшие всю жизнь Ольги, всё, кроме одного заветного уголка, который она тщательно прятала от его наблюдения и суда.

Она приняла эту нравственную опеку над своим умом и сердцем и видела, что и сама получила на свою долю влияние на него. Они поменялись правами; она как-то незаметно, молча допустила размен.

Как теперь вдруг все отнять?.. Да притом в этом столько... столько занятия... удовольствия, разнообразия... жизни... Что она вдруг станет делать, если не будет этого? И когда ей приходила мысль бежать — было уже поздно, она была не в силах.

Каждый проведенный не с ним день, не поверенная ему и не разделенная им мысль — все это теряло для нее свой цвет и значение.

«Боже мой! Если б она могла быть его сестрой! — думалось ей. — Какое счастье иметь вечные права на такого человека, не только на ум, но и на сердце, наслаждаться его присутствием законно, открыто, не платя за то никакими тяжелыми жертвами, огорчениями, доверенностью жалкого прошедшего. А теперь что я такое? Уедет он — я не только не имею права удержать его, но должна желать разлуки; а удержу — что я скажу ему, по какому праву хочу его ежеминутно видеть, слышать? Потому что мне скучно, что я тоскую, что он учит, забавляет меня, что он мне полезен и приятен. Конечно, это причина, но не право. А я что взамен приношу ему? Право любоваться мною бескорыстно и не сметь подумать о взаимности, когда столько других женщин сочли бы себя счастливыми...»

Она мучилась и задумывалась, как она выпутается из этих жизненных дилемм, и не видала никакой цели, конца. Впереди был только страх его разочарования и вечной разлуки. Иногда приходило ей в голову открыть ему все, чтоб кончить разом и свою, и его борьбу, да дух захватывало, лишь только она задумает это. Ей было стыдно, больно.

Страннее всего то, что она перестала уважать свое прошедшее, даже начала его стыдиться с тех пор, как стала неразлучна с Штольцем, как он овладел ее жизнью. Узнай барон, например, или другой кто-нибудь, она бы, конечно, смутилась, ей было бы неловко, но она не терзалась бы так, как терзается теперь при мысли, что об этом узнает Штольц.

Она с ужасом представляла себе, что выразится у него на лице, как он взглянет на нее, что скажет, что будет думать потом? Она вдруг покажется ему такой ничтожной, слабой, мелкой. Нет, нет, ни за что!

Она стала наблюдать за собой и с ужасом открыла, что ей не только стыдно прошлого своего романа, но и героя... Тут жгло ее и раскаяние в неблагодарности за глубокую преданность ее прежнего друга.

Может быть, она привыкла бы и к своему стыду, обтерпелась бы: к чему не привыкает человек! если б ее дружба к Штольцу была чужда всяких корыстолюбивых помыслов и желаний. Но если она заглушала даже всякий лукавый и льстивый шепот сердца, то не могла совладеть с грезами воображения: часто перед глазами ее, против ее власти, становился и сиял образ этой другой любви; все обольстительнее, обольстительнее росла мечта роскошного счастья, не с Обломовым, не в ленивой дремоте, а на широкой арене всесторонней жизни, со всей ее глубиной, со всеми прелестями и скорбями — счастья с Штольцем...

Тогда-то она обливала слезами свое прошедшее и не могла смыть. Она отрезвлялась от мечты и еще тщательнее спасалась за стеной непроницаемости, молчания и того дружеского равнодушия, которое терзало Штольца. Потом, забывшись, увлекалась опять бескорыстно при-

сутствием друга, была очаровательна, любезна, доверчива, пока опять незаконная мечта о счастье, на которое она утратила права, не напомнит ей, что будущее для нее потеряно, что розовые мечты уже назади, что опал цвет жизни.

Вероятно, с летами она успела бы помириться с своим положением и отвыкла бы от надежд на будущее, как делают все старые девы, и погрузилась бы в холодную апатию или стала бы заниматься «добрыми делами»;[4] но вдруг незаконная мечта ее приняла более грозный образ, когда из нескольких вырвавшихся у Штольца слов она ясно увидела, что потеряла в нем друга и приобрела страстного поклонника. Дружба утонула в любви.

Она была бледна в то утро, когда открыла это, не выходила целый день, волновалась и от счастья, и от ужаса, боролась с собой, думала, что ей делать теперь, какой долг лежит на ней, — и ничего не придумала. Она только кляла себя, зачем она вначале не победила стыда и не открыла Штольцу раньше прошедшее, а теперь ей надо победить еще ужас.

Бывали припадки решимости, когда в груди у ней наболит, накипят там слезы, когда ей хочется броситься к нему и не словами, а рыданиями, судорогами, обмороками рассказать про свою любовь, чтоб он видел и искупление. Но силы нет: где взять ее? Или поступить, как поступают в подобных случаях другие: Сонечка, например, сказала своему жениху про корнета,[5] что она дурачила его, что он мальчишка, что она нарочно заставляла ждать его на морозе, пока она выйдет садиться в карету, и т. д.

Сонечка не задумалась бы сказать и про Обломова, что пошутила с ним, для развлечения, что он такой смешной, что можно ли любить «такой мешок», что этому никто не поверит. Но такой образ поведения мог бы быть оправдан только мужем Сонечки и многими другими, но не Штольцем.

Ольга могла бы благовиднее представить дело, сказать, что хотела извлечь Обломова только из пропасти и для того прибегала, так сказать, к дружескому кокетству... чтоб оживить угасающего человека и потом отойти от него. Но это было бы уж чересчур изысканно, натянуто и во всяком случае фальшиво... Нет, нет спасения!

«Боже, в каком я омуте! — терзалась она про себя. — Открыть!.. Ах, нет! пусть он долго, никогда не узнает об этом! А не открыть — все равно, что воровать. Это похоже на обман, на заискиванье. Боже, помоги мне!..» Но помощи не было.

Как ни наслаждалась она присутствием Штольца, но по временам она лучше бы желала не встречаться с ним более, пройти в жизни его едва заметною тенью, не мрачить его ясного и разумного существования незаконной страстью.

Она бы потосковала еще о своей неудавшейся любви, оплакала бы прошедшее, похоронила бы в душе память о нем, потом... потом, может быть, нашла бы «приличную партию», каких много, и была бы хорошей, умной, заботливой женой и матерью, а прошлое сочла бы

девической мечтой и не прожила, а протерпела бы жизнь. Ведь все так делают!

Но тут не в ней одной дело, тут замешан другой, и этот другой на ней покоит лучшие и конечные жизненные надежды.

«Зачем... я любила?» — в тоске мучилась она и вспоминала утро в парке, когда Обломов хотел бежать, а она думала тогда, что книга ее жизни закроется навсегда, если он бежит. Она так смело и легко решала вопрос любви, жизни, так все казалось ей ясно — и все запуталось в неразрешимый узел.

Она поумничала, думала, что стоит только глядеть просто, идти прямо — и жизнь послушно, как скатерть, будет расстилаться под ногами, и вот! Не на кого даже свалить вину: она одна преступна!

Ольга, не подозревая, зачем пришел Штольц, беззаботно встала с дивана, положила книгу и пошла ему навстречу.

— Я не мешаю вам? — спросил он, садясь к окну в ее комнате, обращенному на озеро. — Вы читали?

— Нет, я уж перестала читать: темно становится. Я ждала вас! — мягко, дружески, доверчиво говорила она.

— Тем лучше: мне нужно говорить с вами, — заметил он серьезно, подвинув ей другое кресло к окну.

Она вздрогнула и онемела на месте. Потом машинально опустилась в кресло и, наклонив голову, не поднимая глаз, сидела в мучительном положении. Ей хотелось бы быть в это время за сто верст от того места.

В эту минуту, как молния, сверкнуло у ней в памяти прошедшее. «Суд настал! Нельзя играть в жизнь, как в куклы! — слышался ей какой-то посторонний голос. — Не шути с ней — расплатишься!»

Они молчали несколько минут. Он очевидно собирался с мыслями. Ольга боязливо вглядывалась в его похудевшее лицо, в нахмуренные брови, в сжатые губы с выражением решительности.

«Немезида!..[6]» — думала она, внутренно вздрагивая. Оба как будто готовились к поединку.

— Вы, конечно, угадываете, Ольга Сергевна, о чем я хочу говорить? — сказал он, глядя на нее вопросительно.

Он сидел в простенке, который скрывал его лицо, тогда как свет от окна прямо падал на нее, и он мог читать, что было у ней на уме.

— Как я могу знать? — отвечала она тихо.

Перед этим опасным противником у ней уж не было ни той силы воли и характера, ни проницательности, ни уменья владеть собой, с какими она постоянно являлась Обломову.

Она понимала, что если она до сих пор могла укрываться от зоркого взгляда Штольца и вести удачно войну, то этим обязана была вовсе не своей силе, как в борьбе с Обломовым, а только упорному молчанию Штольца, его скрытному поведению. Но в открытом поле перевес был не на ее стороне, и потому вопросом: «как я могу знать?» она хотела только выиграть вершок пространства и минуту времени, чтоб неприятель яснее обнаружил свой замысел.

— Не знаете? — сказал он простодушно. — Хорошо, я скажу...

— Ах, нет! — вдруг вырвалось у нее.

Она схватила его за руку и глядела на него, как будто моля о пощаде.

— Вот видите, я угадал, что вы знаете! — сказал он. — Отчего же «нет»? — прибавил потом с грустью.

Она молчала.

— Если вы предвидели, что я когда-нибудь выскажусь, то знали, конечно, что и отвечать мне? — спросил он.

— Предвидела и мучилась! — сказала она, откидываясь на спинку кресел и отворачиваясь от света, призывая мысленно скорее сумерки себе на помощь, чтоб он не читал борьбы смущения и тоски у ней на лице.

— Мучились! Это страшное слово, — почти шепотом произнес он, — это Дантово: «Оставь надежду навсегда».[7] Мне больше и говорить нечего: тут все! Но благодарю и за то, — прибавил он с глубоким вздохом, — я вышел из хаоса, из тьмы и знаю по крайней мере, что мне делать. Одно спасенье — бежать скорей!

Он встал.

— Нет, ради бога, нет! — бросившись к нему, схватив его опять за руку, с испугом и мольбой заговорила она. — Пожалейте меня: что со мной будет?

Он сел, и она тоже.

— Но я вас люблю, Ольга Сергевна! — сказал он почти сурово. — Вы видели, что в эти полгода делалось со мной! Чего же вам хочется: полного торжества? чтоб я зачах или рехнулся? Покорно благодарю!

Она изменилась в лице.

— Уезжайте! — сказала она с достоинством подавленной обиды и вместе глубокой печали, которой не в силах была скрыть.

— Простите, виноват! — извинялся он. — Вот мы, не видя ничего, уж и поссорились. Я знаю, что вы не можете хотеть этого, но вы не можете и стать в мое положение, и оттого вам странно мое движение — бежать. Человек иногда бессознательно делается эгоистом.

Она переменила положение в кресле, как будто ей неловко было сидеть, но ничего не сказала.

— Ну, пусть бы я остался: что из этого? — продолжал он. — Вы, конечно, предложите мне дружбу; но ведь она и без того моя. Я уеду, и через год, через два она все будет моя. Дружба — вещь хорошая, Ольга Сергевна, когда она — любовь между молодыми мужчиной и женщиной или воспоминание о любви между стариками. Но боже сохрани, если она с одной стороны дружба, с другой — любовь. Я знаю, что вам со мной не скучно, но мне-то с вами каково?

— Да, если так, уезжайте, бог с вами! — чуть слышно прошептала она.

— Остаться! — размышлял он вслух, — ходить по лезвию ножа — хороша дружба!

— А мне разве легче? — неожиданно возразила она.

— Вам отчего? — спросил он с живостью. — Вы... вы не любите...

— Не знаю, клянусь богом, не знаю! Но если вы... если изменится как-нибудь моя настоящая жизнь, что со мной будет? — уныло, почти про себя прибавила она.

— Как я должен понимать это? Вразумите меня, ради бога! — придвигая кресло к ней, сказал он, озадаченный ее словами и глубоким, непритворным тоном, каким они были сказаны.

Он старался разглядеть ее черты. Она молчала. У ней горело в груди желание успокоить его, воротить слово «мучилась» или растолковать его иначе, нежели как он понял; но как растолковать — она не знала сама, только смутно чувствовала, что оба они под гнетом рокового недоумения, в фальшивом положении, что обоим тяжело от этого и что он только мог или она, с его помощию, могла привести в ясность и порядок и прошедшее, и настоящее. Но для этого нужно перейти бездну, открыть ему, что с ней было: как она хотела и как боялась — его суда!

— Я сама ничего не понимаю; я больше в хаосе, во тьме, нежели вы! — сказала она.

— Послушайте, верите ли вы мне? — спросил он, взяв ее за руку.

— Безгранично, как матери, — вы это знаете, — отвечала она слабо.

— Расскажите же мне, что было с вами с тех пор, как мы не видались. Вы непроницаемы теперь для меня, а прежде я читал на лице ваши мысли: кажется, это одно средство для нас понять друг друга. Согласны вы?

— Ах да, это необходимо. надо кончить чем-нибудь... — проговорила она с тоской от неизбежного признания. «Немезида! Немезида!» — думала она, клоня голову к груди.

Она потупилась и молчала. А ему в душу пахнуло ужасом от этих простых слов и еще более от ее молчания.

«Она терзается! Боже! Что с ней было?» — с холодеющим лбом думал он и чувствовал, что у него дрожат руки и ноги. Ему вообразилось что-то очень страшное. Она все молчит и видимо борется с собой.

— Итак... Ольга Сергевна... — торопил он.

Она молчала, только опять сделала какое-то нервное движение, которого нельзя было разглядеть в темноте, лишь слышно было, как шаркнуло ее шелковое платье.

— Я собираюсь с духом, — сказала она наконец, — как трудно, если б вы знали! — прибавила потом, отворачиваясь в сторону, стараясь одолеть борьбу.

Ей хотелось, чтоб Штольц узнал все не из ее уст, а каким-нибудь чудом. К счастью, стало темнее, и ее лицо было уж в тени: мог только изменять голос, и слова не сходили у ней с языка, как будто она затруднялась, с какой ноты начать.

«Боже мой! Как я должна быть виновата, если мне так стыдно, больно!» — мучилась она внутренно.

А давно ли она с такой уверенностью ворочала своей и чужой судьбой, была так умна, сильна! И вот настал ее черед дрожать, как девочке! Стыд за прошлое, пытка самолюбия за настоящее фальшивое положение терзали ее... Невыносимо!

— Я вам помогу... вы... любили? — насилу выговорил Штольц — так стало больно ему от собственного слова.

Она подтвердила молчанием. А на него опять пахнуло ужасом.

— Кого же? Это не секрет? — спросил он, стараясь выговорить твердо, но сам чувствовал, что у него дрожат губы.

А ей было еще мучительнее. Ей хотелось бы сказать другое имя, выдумать другую историю. Она с минуту колебалась, но делать было нечего: как человек, который, в минуту крайней опасности, кидается с крутого берега или бросается в пламя, она вдруг выговорила: «Обломова».

Он остолбенел. Минуты две длилось молчание.

— Обломова! — повторил он в изумлении. — Это неправда! — прибавил потом положительно, понизив голос.

— Правда! — покойно сказала она.

— Обломова! — повторил он вновь. — Не может быть! — прибавил опять уверительно. — Тут есть что-то: вы не поняли себя, Обломова или, наконец, любви.

Она молчала.

— Это не любовь, это что-нибудь другое, говорю я! — настойчиво твердил он.

— Да, я кокетничала с ним, водила за нос, сделала несчастным... потом, по вашему мнению, принимаюсь за вас! — произнесла она сдержанным голосом, и в голосе ее опять закипели слезы обиды.

— Милая Ольга Сергевна! Не сердитесь, не говорите так: это не ваш тон. Вы знаете, что я не думаю ничего этого. Но в мою голову не входит, я не понимаю, как Обломов...

— Он стоит, однако ж, вашей дружбы; вы не знаете, как ценить его: отчего ж он не стоит любви? — защищала она.

— Я знаю, что любовь менее взыскательна, нежели дружба, — сказал он, — она даже часто слепа, любят не за заслуги — всё так. Но для любви нужно что-то такое, иногда пустяки, чего ни определить, ни назвать нельзя и чего нет в моем несравненном, но неповоротливом Илье. Вот почему я удивляюсь. Послушайте, — продолжал он с живостью, — мы никогда не дойдем так до конца, не поймем друг друга. Не стыдитесь подробностей, не пощадите себя на полчаса, расскажите мне все, а я скажу вам, что это такое было, и даже, может быть, что будет... Мне все кажется, что тут... не то... Ах, если б это была правда! — прибавил он с одушевлением. — Если б Обломова, а не другого! Обломова! Ведь это значит, что вы принадлежите не прошлому, не любви, что вы свободны... Расскажите, расскажите скорей! — покойным, почти веселым голосом заключил он.

— Да, ради бога! — доверчиво ответила она, обрадованная, что часть цепей с нее снята. — Одна я с ума схожу. Если б вы знали, как я жалка! Я не знаю, виновата ли я или нет, стыдиться ли мне прошедшего, жалеть ли о нем, надеяться ли на будущее или отчаиваться. Вы говорили о своих мучениях, а моих не подозревали. Выслушайте же до конца, но только не умом: я боюсь вашего ума; сердцем лучше:

может быть, оно рассудит, что у меня нет матери, что я была, как в лесу... — тихо, упавшим голосом прибавила она. — Нет, — торопливо поправилась потом, — не щадите меня. Если это была любовь, то... уезжайте. — Она остановилась на минуту. — И приезжайте после, когда заговорит опять одна дружба. Если же это была ветреность, кокетство, то казните, бегите дальше и забудьте меня. Слушайте.

Он в ответ крепко пожал ей обе руки.

Началась исповедь Ольги, длинная, подробная. Она отчетливо, слово за словом, перекладывала из своего ума в чужой все, что ее так долго грызло, чего она краснела, чем прежде умилялась, была счастлива, а потом вдруг упала в омут горя и сомнений.

Она рассказала о прогулках, о парке, о своих надеждах, о просветлении и падении Обломова, о ветке сирени, даже о поцелуе. Только прошла молчанием душный вечер в саду — вероятно потому, что все еще не решила, что за припадок с ней случился тогда.

Сначала слышался только ее смущенный шепот, но по мере того, как она говорила, голос ее становился явственнее и свободнее; от шепота он перешел в полутон, потом возвысился до полных грудных нот. Кончила она покойно, как будто пересказывала чужую историю.

Перед ней самой снималась завеса, развивалось прошлое, в которое до этой минуты она боялась заглянуть пристально. На многое у ней открывались глаза, и она смело бы взглянула на своего собеседника, если б не было темно.

Она кончила и ждала приговора. Но ответом была могильная тишина.

Что он? Не слыхать ни слова, ни движения, даже дыхания, как будто никого не было с нею.

Эта немота опять бросила в нее сомнение. Молчание длилось. Что значит это молчание? Какой приговор готовится ей от самого проницательного, снисходительного судьи в целом мире? Все прочее безжалостно осудит ее, только один он мог быть ее адвокатом, его бы избрала она... он бы все понял, взвесил и лучше ее самой решил в ее пользу! А он молчит: ужели дело ее потеряно?

Ей стало опять страшно...

Отворились двери, и две свечи, внесенные горничной, озарили светом их угол.

Она бросила на него робкий, но жадный, вопросительный взгляд. Он сложил руки крестом и смотрит на нее такими кроткими, открытыми глазами, наслаждается ее смущением.

У ней сердце отошло, отогрелось. Она успокоительно вздохнула и чуть не заплакала. К ней мгновенно воротилось снисхождение к себе, доверенность к нему. Она была счастлива, как дитя, которое простили, успокоили и обласкали.

— Все? — спросил он тихо.

— Все! — сказала она.

— А письмо его?

Она вынула из портфеля письмо и подала ему. Он подошел к свечке, прочел и положил на стол. А глаза опять обратились на нее с тем же выражением, какого она уж давно не видала в нем.

Перед ней стоял прежний, уверенный в себе, немного насмешливый и безгранично добрый, балующий ее друг. В лице у него ни тени страдания, ни сомнения. Он взял ее за обе руки, поцеловал ту и другую, потом глубоко задумался. Она притихла в свою очередь и, не смигнув, наблюдала движение его мысли на лице.

Вдруг он встал.

— Боже мой, если б я знал, что дело идет об Обломове, мучился ли бы я так! — сказал он, глядя на нее так ласково, с такою доверчивостью, как будто у ней не было этого ужасного прошедшего. На сердце у ней так повеселело, стало празднично. Ей стало ясно, что она стыдилась его одного, а он не казнит ее, не бежит! Что ей за дело до суда целого света!

Он уж владел опять собой, был весел; но ей мало было этого. Она видела, что она оправдана; но ей, как подсудимой, хотелось знать приговор. А он взял шляпу.

— Куда вы? — спросила она.

— Вы взволнованы, отдохните! — сказал он. — Завтра поговорим.

— Вы хотите, чтоб я не спала всю ночь? — перебила она, удерживая его за руку и сажая на стул. — Хотите уйти, не сказав, что это. было, что я теперь, что я... буду. Пожалейте, Андрей Иваныч: кто же мне скажет? Кто накажет меня, если я стою, или... кто простит? — прибавила она и взглянула на него с такой нежной дружбой, что он бросил шляпу и чуть сам не бросился пред ней на колени.

— Ангел — позвольте сказать — мой! — говорил он. — Не мучьтесь напрасно: ни казнить, ни миловать вас не нужно. Мне даже нечего и прибавлять к вашему рассказу. Какие могут быть у вас сомнения? Вы хотите знать, что это было, назвать по имени? Вы давно знаете... Где письмо Обломова? — Он взял письмо со стола.

— Слушайте же! — и читал: — «Ваше настоящее *люблю*[8] не есть настоящая любовь, а будущая. Это только бессознательная потребность любить, которая, за недостатком настоящей пищи, высказывается иногда у женщин в ласках к ребенку, к другой женщине, даже просто в слезах или в истерических припадках!.. Вы *ошиблись* (читал Штольц, ударяя на этом слове): перед вами не тот, кого вы ждали, о ком мечтали. Погодите — он придет, и тогда вы очнетесь, вам будет досадно и стыдно за свою ошибку...» — Видите, как это верно! — сказал он. — Вам было и стыдно, и досадно за... ошибку. К этому нечего прибавить. Он был прав, а вы не поверили, и в этом вся ваша вина. Вам бы тогда и разойтись; но его одолела ваша красота... а вас трогала... его голубиная нежность! — чуть-чуть насмешливо прибавил он.

— Я не поверила ему, я думала, что сердце не ошибается.

— Нет, ошибается: и как иногда гибельно! Но у вас до сердца и не доходило, — прибавил он, — воображение и самолюбие с одной стороны, слабость с другой... А вы боялись, что не будет другого праздника

в жизни, что этот бледный луч озарит жизнь и потом будет вечная ночь...

— А слезы? — сказала она. — Разве они не от сердца были, когда я плакала? Я не лгала, я была искренна..

— Боже мой! О чем не плачут женщины? Вы сами же говорите, что вам было жаль букета сирени, любимой скамьи. К этому прибавьте обманутое самолюбие, неудавшуюся роль спасительницы, немного привычки... Сколько причин для слез!

— И свидания наши, прогулки тоже ошибка? Вы помните, что я.. была у него... — досказала она с смущением и сама, кажется, хотела заглушить свои слова. Она старалась сама обвинять себя затем только, чтоб он жарче защищал ее, чтоб быть все правее и правее в его глазах.

— Из рассказа вашего видно, что в последних свиданиях вам и говорить было не о чем. У вашей так называемой «любви» не хватало и содержания; она дальше пойти не могла. Вы еще до разлуки разошлись и были верны не любви, а призраку ее, который сами выдумали, — вот и вся тайна.

— А поцелуй? — шепнула она так тихо, что он не слыхал, а догадался.

— О, это важно, — с комическою строгостью произнес он, — за это надо было лишить вас.. одного блюда за обедом. — Он глядел на нее все с большей лаской, с большей любовью.

— Шутка не оправдание такой «ошибки»! — возразила она строго, обиженная его равнодушием и небрежным тоном. — Мне легче было бы, если б вы наказали меня каким-нибудь жестким словом, назвали бы мой проступок его настоящим именем.

— Я бы и не шутил, если б дело шло не об Илье, а о другом, — оправдывался он, — там ошибка могла бы кончиться... бедой: но я знаю Обломова...

— Другой, никогда! — вспыхнув, перебила она. — Я узнала его больше, нежели вы..

— Вот видите! — подтвердил он.

— Но если б он... изменился, ожил, послушался меня и... разве я не любила бы его тогда? Разве и тогда была бы ложь, ошибка? — говорила она, чтоб осмотреть дело со всех сторон, чтоб не осталось ни малейшего пятна, никакой загадки.

— То есть если б на его месте был другой человек, — перебил Штольц, — нет сомнения, ваши отношения разыгрались бы в любовь, упрочились, и тогда... Но это другой роман и другой герой, до которого нам дела нет.

Она вздохнула, как будто сбросила последнюю тяжесть с души. Оба молчали.

— Ах, какое счастье... выздоравливать, — медленно произнесла она, как будто расцветая, и обратила к нему взгляд такой глубокой признательности, такой горячей, небывалой дружбы, что в этом взгляде почудилась ему искра, которую он напрасно ловил почти год. По нем пробежала радостная дрожь.

— Нет, выздоравливаю я! — сказал он и задумался. — Ах, если б только я мог знать, что герой этого романа — Илья! Сколько времени ушло, сколько крови испортилось! За что? Зачем! — твердил он почти с досадой.

Но вдруг как будто отрезвился от этой досады, очнулся от тяжелого раздумья. Лоб разгладился, глаза повеселели.

— Но, видно, это было неизбежно: зато как я покоен теперь и... как счастлив! — с упоением прибавил он.

— Как сон, как будто ничего не было! — говорила она задумчиво, едва слышно, удивляясь своему внезапному возрождению. — Вы вынули не только стыд, раскаяние, но и горечь, боль — все... Как это вы сделали? — тихо спросила она. — И все это пройдет, эта... ошибка?

— Да уж, я думаю, и прошло! — сказал он, взглянув на нее в первый раз глазами страсти и не скрывая этого, — то есть все, что было.

— А что... будет... а не ошибка... истина?.. — спрашивала она, не договаривая.

— Вот тут написано, — решил он, взяв опять письмо: — «Перед вами не тот, кого вы ждали, о ком мечтали: он придет, и вы очнетесь...» И полюбите, прибавлю я, так полюбите, что мало будет не года, а целой жизни для той любви, только не знаю... кого? — досказал он, впиваясь в нее глазами.

Она потупила глаза и сжала губы, но сквозь веки порывались наружу лучи, губы удерживали улыбку, но не удержали. Она взглянула на него и засмеялась так от души, что у ней навернулись даже слезы.

— Я вам сказал, что с вами было и даже что будет, Ольга Сергевна, — заключил он. — А вы мне ничего не скажете в ответ на мой вопрос, который не дали кончить.

— Но что я могу сказать? — в смущении говорила она. — Имела ли бы я право, если б могла сказать то, что вам так нужно и чего... вы так стоите? — шепотом прибавила и стыдливо взглянула на него.

Во взгляде опять почудились ему искры небывалой дружбы; опять он дрогнул от счастья.

— Не торопитесь, — прибавил он, — скажите, чего я стою, когда кончится ваш сердечный траур, траур приличия. Мне кое-что сказал и этот год. А теперь решите только вопрос: ехать мне или... оставаться?

— Послушайте: вы кокетничаете со мной! — вдруг весело сказала она.

— О нет! — с важностью заметил он. — Это не давешний вопрос, теперь он имеет другой смысл: если я останусь, то... на каких правах?

Она вдруг смутилась.

— Видите, что я не кокетничаю! — смеялся он, довольный, что поймал ее. — Ведь нам, после нынешнего разговора, надо быть иначе друг с другом: мы оба уж не те, что были вчера.

— Я не знаю. — шептала она, еще более смущенная.

— Позволите мне дать вам совет?

— Говорите. я слепо исполню! — почти с страстною покорностью прибавила она.

— Выйдьте за меня замуж, в ожидании, пока *он* придет!

— Еще не смею... — шептала она, закрывая лицо руками, в волнении, но счастливая.

— Отчего же не смеете? — шепотом же спросил он, наклоняя ее голову к себе.

— А это прошлое? — шептала она опять, кладя ему голову на грудь, как матери.

Он тихонько отнял ее руки от лица, поцеловал в голову и долго любовался ее смущением, с наслаждением глядел на выступившие у ней и поглощенные опять глазами слезы.

— Поблекнет, как ваша сирень! — заключил он. — Вы взяли урок: теперь настала пора пользоваться им. Начинается жизнь: отдайте мне ваше будущее и не думайте ни о чем — я ручаюсь за все. Пойдемте к тетке.

Поздно ушел к себе Штольц.

«Нашел свое, — думал он, глядя влюбленными глазами на деревья, на небо, на озеро, даже на поднимавшийся с воды туман. — Дождался! Столько лет жажды чувства, терпения, экономии сил души! Как долго я ждал — все награждено: вот оно, последнее счастье человека!»

Все теперь заслонилось в его глазах счастьем: контора, тележка отца, замшевые перчатки, замасленные счеты — вся деловая жизнь. В его памяти воскресла только благоухающая комната его матери, варьяции Герца, княжеская галерея, голубые глаза, каштановые волосы под пудрой — и все это покрывал какой-то нежный голос, голос Ольги: он в уме слышал ее пение...

«Ольга — моя жена! — страстно вздрогнув, прошептал он. — Все найдено, нечего искать, некуда идти больше!»

И в задумчивом чаду счастья шел домой, не замечая дороги, улиц..

Ольга долго провожала его глазами, потом открыла окно, несколько минут дышала ночной прохладой; волнение понемногу улеглось, грудь дышала ровно.

Она устремила глаза на озеро, на даль и задумалась так тихо, так глубоко, как будто заснула. Она хотела уловить, о чем она думает, что чувствует, и не могла. Мысли неслись так ровно, как волны, кровь струилась так плавно в жилах. Она испытывала счастье и не могла определить, где его начало, где границы, что оно такое. Она думала, отчего ей так тихо, мирно, ненарушимо-хорошо, отчего ей покойно, между тем...

«Я его невеста...» — прошептала она.

«Я невеста!» — с гордым трепетом думает девушка, дождавшись этого момента, озаряющего всю ее жизнь, и вырастет высоко, и с высоты смотрит на ту темную тропинку, где вчера шла одиноко и незаметно.

Отчего же Ольга не трепещет? Она тоже шла одиноко, незаметной тропой, также на перекрестке встретился ей *он*, подал руку и вывел не в блеск ослепительных лучей, а как будто на разлив широкой реки, к пространным полям и дружески улыбающимся холмам. Взгляд ее не зажмурился от блеска, не замерло сердце, не вспыхнуло воображение.

Она с тихой радостью успокоила взгляд на разливе жизни, на ее широких полях и зеленых холмах. Не бегала у ней дрожь по плечам, не горел взгляд гордостью: только когда она перенесла этот взгляд с полей и холмов на того, кто подал ей руку, она почувствовала, что по щеке у ней медленно тянется слеза. .

Она все сидела, точно спала — так тих был сон ее счастья: она не шевелилась, почти не дышала. Погруженная в забытье, она устремила мысленный взгляд в какую-то тихую, голубую ночь, с кротким сиянием, с теплом и ароматом. Греза счастья распростерла широкие крылья и плыла медленно, как облако в небе, над ее головой. . .

Не видала она себя в этом сне завернутою в газы и блонды на два часа и потом в будничные тряпки на всю жизнь. Не снился ей ни праздничный пир, ни огни, ни веселые клики; ей снилось счастье, но такое простое, такое неукрашенное, что она еще раз, без трепета гордости, и только с глубоким умилением прошептала: «Я его невеста!».

V

Боже мой! Как все мрачно, скучно смотрело в квартире Обломова года полтора спустя после именин, когда нечаянно приехал к нему обедать Штольц. И сам Илья Ильич обрюзг, скука въелась в его глаза и выглядывала оттуда, как немочь какая-нибудь.

Он походит, походит по комнате, потом ляжет и смотрит в потолок; возьмет книгу с этажерки, развернет, пробежит несколько строк глазами, зевнет и начнет барабанить пальцами по столу.

Захар стал еще неуклюжее, неопрятнее; у него появились заплаты на локтях; он смотрит так бедно, голодно, как будто плохо ест, мало спит и за троих работает.

Халат на Обломове истаскался, и как ни заботливо зашивались диры на нем, но он расползался везде и не по швам: давно бы надо новый. Одеяло на постели тоже истасканное, кое-где с заплатами; занавески на окнах полиняли давно, и хотя они вымыты, но похожи на тряпки.

Захар принес старую скатерть, постлал на половине стола, подле Обломова, потом осторожно, прикусив язык, принес прибор с графином водки, положил хлеб и ушел.

Дверь с хозяйской половины отворилась, и вошла Агафья Матвеевна, неся проворно шипящую сковороду с яичницей.

И она ужасно изменилась, не в свою пользу. Она похудела. Нет круглых, белых, некраснеющих и небледнеющих щек; не лоснятся редкие брови; глаза у ней впали.

Одета она в старое ситцевое платье; руки у ней не то загорели, не то загрубели от работы, от огня или от воды, или от того и от другого.

Акулины уже не было в доме. Анисья — и на кухне, и на огороде, и за птицами ходит, и полы моет, и стирает; она не управится одна, и Агафья Матвеевна, волей-неволей, сама работает на кухне: она толчет, сеет и трет мало, потому что мало выходит кофе, корицы и миндалю,

а о кружевах она забыла и думать. Теперь ей чаще приходится крошить лук, тереть хрен и тому подобные пряности. В лице у ней лежит глубокое уныние.

Но не о себе, не о своем кофе вздыхает она, тужит не оттого, что ей нет случая посуетиться, похозяйничать широко, потолочь корицу, положить ваниль в соус или варить густые сливки, а оттого, что другой год не кушает этого ничего Илья Ильич, оттого, что кофе ему не берется пудами из лучшего магазина, а покупается на гривенники в лавочке; сливки приносит не чухонка, а снабжает ими та же лавочка, оттого, что вместо сочной котлетки она несет ему на завтрак яичницу, заправленную жесткой, залежавшейся в лавочке же ветчиной.

Что же это значит? А то, что другой год доходы с Обломовки, исправно присылаемые Штольцем, поступают на удовлетворение претензии по заемному письму, данному Обломовым хозяйке.

«Законное дело» братца удалось сверх ожидания. При первом намеке Тарантьева на скандалезное дело Илья Ильич вспыхнул и сконфузился; потом пошли на мировую, потом выпили все трое, и Обломов подписал заемное письмо, сроком на четыре года; а через месяц Агафья Матвеевна подписала такое же письмо на имя братца, не подозревая, что такое и зачем она подписывает. Братец сказали, что это нужная бумага по дому, и велели написать: «К сему заемному письму такая-то (чин, имя и фамилия) руку приложила».

Она только затруднилась тем, что много понадобилось написать, и попросила братца заставить лучше Ванюшу: «он-де бойко стал писать», а она, пожалуй, что-нибудь напутает. Но братец настоятельно потребовали, и она подписала криво, косо и крупно. Больше об этом уж никогда и речи не было.

Обломов, подписывая, утешался отчасти тем, что деньги эти пойдут в пользу сирот, а потом, на другой день, когда голова у него была свежа, он со стыдом вспомнил об этом деле и старался забыть, избегал встречи с братцем, и если Тарантьев заговаривал о том, он грозил немедленно съехать с квартиры и уехать в деревню.

Потом, когда он получил деньги из деревни, братец пришли к нему и объявили, что ему, Илье Ильичу, легче будет начать уплату немедленно из дохода; что года в три претензия будет покрыта, между тем как с наступлением срока, когда документ будет подан ко взысканию, деревня должна будет поступить в публичную продажу, так как суммы в наличности у Обломова не имеется и не предвидится.

Обломов понял, в какие тиски попал он, когда все, что присылал Штольц, стало поступать на уплату долга, а ему оставалось только небольшое количество денег на прожиток.

Братец спешил окончить эту добровольную сделку с своим должником года в два, чтоб как-нибудь и что-нибудь не помешало делу, и оттого Обломов вдруг попал в затруднительное положение.

Сначала это было не очень заметно благодаря его привычке не знать, сколько у него в кармане денег; но Иван Матвеевич вздумал присвататься к дочери какого-то лабазника, нанял особую квартиру и переехал.

Хозяйственные размахи Агафьи Матвеевны вдруг приостановились: осетрина, белоснежная телятина, индейки стали появляться на другой кухне, в новой квартире Мухоярова.

Там по вечерам горели огни, собирались будущие родные братца, сослуживцы и Тарантьев; все очутилось там. Агафья Матвеевна и Анисья вдруг остались с разинутыми ртами и с праздно повисшими руками, над пустыми кастрюлями и горшками.

Агафья Матвеевна в первый раз узнала, что у ней есть только дом, огород и цыплята и что ни корица, ни ваниль не растут в ее огороде; увидела, что на рынках лавочники мало-помалу перестали ей низко кланяться с улыбкой и что эти поклоны и улыбки стали доставаться новой, толстой, нарядной кухарке ее братца.

Обломов отдал хозяйке все деньги, оставленные ему братцем на прожиток, и она, месяца три-четыре, без памяти по-прежнему молола пудами кофе, толкла корицу, жарила телятину и индеек и делала это до последнего дня, в который истратила последние семь гривен и пришла к нему сказать, что у ней денег нет.

Он три раза перевернулся на диване от этого известия, потом посмотрел в ящик к себе: и у него ничего не было. Стал припоминать, куда их дел, и ничего не припомнил; пошарил на столе рукой, нет ли медных денег, спросил Захара, тот и во сне не видал. Она пошла к братцу и наивно сказала, что в доме денег нет.

— А куда вы с вельможей ухлопали тысячу рублей, что я дал ему на прожитье? — спросил он. — Где же я денег возьму? Ты знаешь я в законный брак вступаю: две семьи содержать не могу, а вы с барином-то по одежке протягивайте ножки.

— Что вы, братец, меня барином попрекаете? — сказала она. — Что он вам делает? Никого не трогает, живет себе. Не я приманивала его на квартиру: вы с Михеем Андреичем.

Он дал ей десять рублей и сказал, что больше нет. Но потом, обдумав дело с кумом в «заведении», решил, что так покидать сестру и Обломова нельзя, что, пожалуй, дойдет дело до Штольца, тот нагрянет, разберет и, чего доброго, как-нибудь переделает, не успеешь и взыскать долг, даром что «законное дело»: немец — следовательно, продувной!

Он стал давать по пятидесяти рублей в месяц еще, предположив взыскать эти деньги из доходов Обломова третьего года, но при этом растолковал и даже побожился сестре, что больше ни гроша не положит, и рассчитал, какой стол должны они держать, как уменьшить издержки, даже назначил, какие блюда когда готовить, высчитал, сколько она может получить за цыплят, за капусту, и решил, что со всем этим можно жить припеваючи.

В первый раз в жизни Агафья Матвеевна задумалась не о хозяйстве, а о чем-то другом, в первый раз заплакала, не от досады на Акулину за разбитую посуду, не от брани братца за недоваренную рыбу; в первый раз ей предстала грозная нужда, но грозная не для нее, для Ильи Ильича.

«Как вдруг этот барин, — разбирала она, — станет кушать, вместо

спаржи, репу с маслом, вместо рябчиков баранину, вместо гатчинских форелей, янтарной осетрины — соленого судака, может быть студень из лавочки...»

Ужас! Она не додумалась до конца, а торопливо оделась, наняла извозчика и поехала к мужниной родне, не в Пасху и Рождество, на семейный обед, а утром рано, с заботой, с необычной речью и вопросом, что делать, и взять у них денег.

У них много: они сейчас дадут, как узнают, что это для Ильи Ильича. Если б это было ей на кофе, на чай, детям на платье, на башмаки или на другие подобные прихоти, она бы и не заикнулась, а то на крайнюю нужду, дозарезу: спаржи Илье Ильичу купить, рябчиков на жаркое, он любит французский горошек...[1]

Но там удивились, денег ей не дали, а сказали, что если у Ильи Ильича есть вещи какие-нибудь, золотые или, пожалуй, серебряные, даже мех, так можно заложить и что есть такие благодетели, что третью часть просимой суммы дадут до тех пор, пока он опять получит из деревни.

Этот практический урок в другое время пролетел бы над гениальной хозяйкой, не коснувшись ее головы, и не втолковать бы ей его никакими путями, а тут она умом сердца поняла, сообразила все и взвесила. свой жемчуг, полученный в приданое.

Илья Ильич, не подозревая ничего, пил на другой день смородинную водку, закусывал отличной семгой, кушал любимые потроха и белого свежего рябчика. Агафья Матвеевна с детьми поела людских щей и каши и только за компанию с Ильей Ильичом выпила две чашки кофе.

Вскоре за жемчугом достала она из известного сундука фермуар,[2] потом пошло серебро, потом салоп.

Пришел срок присылки денег из деревни: Обломов отдал ей все. Она выкупила жемчуг и заплатила проценты за фермуар, серебро и мех, и опять готовила ему спаржу, рябчики, и только для виду пила с ним кофе. Жемчуг опять поступил на свое место.

Из недели в неделю, изо дня в день тянулась она из сил, мучилась, перебивалась, продала шаль, послала продать парадное платье и осталась в ситцевом ежедневном наряде, с голыми локтями, и по воскресеньям прикрывала шею старой затасканной косынкой.

Вот отчего она похудела, отчего у ней впали глаза и отчего она сама принесла завтрак Илье Ильичу.

У ней даже доставало духа сделать веселое лицо, когда Обломов объявлял ей, что завтра к нему придут обедать Тарантьев, Алексеев или Иван Герасимович. Обед являлся вкусный и чисто поданный. Она не срамила хозяина. Но скольких волнений, беготни, упрашиванья по лавочкам, потом бессонницы, даже слез стоили ей эти заботы!

Как вдруг глубоко окунулась она в треволнения жизни и как познала ее счастливые и несчастные дни! Но она любила эту жизнь: несмотря на всю горечь своих слез и забот, она не променяла бы ее на прежнее, тихое теченье, когда она не знала Обломова, когда с достоинством господствовала среди наполненных, трещавших и шипевших кастрюль, сковород и горшков, повелевала Акулиной, дворником.

Она от ужаса даже вздрогнет, когда вдруг ей предстанет мысль о смерти, хотя смерть разом положила бы конец ее невысыхаемым слезам, ежедневной беготне и еженочной несмыкаемости глаз.

Илья Ильич, позавтракав, прослушал, как Маша читает по-французски, посидел в комнате у Агафьи Матвеевны, смотрел, как она починивала Ванечкину курточку, переворачивая ее раз десять то на ту, то на другую сторону, и в то же время беспрестанно бегала в кухню посмотреть, как жарится баранина к обеду, не пора ли заваривать уху.

— Что вы все хлопочете, право? — говорил Обломов, — оставьте!

— Кто ж будет хлопотать, если не я? — сказала она. — Вот только положу две заплатки здесь, и уху станем варить. Какой дрянной мальчишка этот Ваня! На той неделе заново вычинила куртку — опять разорвал! Что смеешься? — обратилась она к сидевшему у стола Ване, в панталонах и в рубашке об одной помочи. — Вот не починю до утра, и нельзя будет за ворота бежать. Мальчишки, должно быть, разорвали: дрался — признавайся?

— Нет, маменька, это само разорвалось! — сказал Ваня.

— Утри нос, не видишь? — заметила она, бросив ему платок.

Ванюша фыркнул, но носа не утер.

— Вот погодите, получу из деревни деньги, я ему две пары сошью, — вмешался Обломов, — синюю курточку, а на будущий год мундир: в гимназию поступит.

— Ну, еще и в старом походит, — сказала Агафья Матвеевна, — а деньги понадобятся на хозяйство. Солонины запасем, варенья вам наварю... Пойти посмотреть, принесла ли Анисья сметаны... — Она встала.

— А что нынче? — спросил Обломов.

— Уха из ершей, жареная баранина да вареники.

Обломов молчал.

Вдруг подъехал экипаж, застучали в калитку, началось скаканье на цепи и лай собаки.

Обломов ушел к себе, думая, что кто-нибудь пришел к хозяйке: мясник, зеленщик или другое подобное лицо. Такой визит сопровождался обыкновенно просьбами денег, отказом со стороны хозяйки, потом угрозой со стороны продавца, потом просьбами подождать со стороны хозяйки, потом бранью, хлопаньем дверей, калитки и неистовым скаканьем и лаем собаки — вообще неприятной сценой. Но подъехал экипаж — что бы это значило? Мясники и зеленщики в экипажах не ездят.

Вдруг хозяйка, в испуге, вбежала к нему.

— К вам гость! — сказала она.

— Кто же: Тарантьев или Алексеев?

— Нет, нет, тот, что обедал в Ильин день.

— Штольц? — в тревоге говорил Обломов, озираясь кругом, куда бы уйти. — Боже! что он скажет, как увидит. Скажите, что я уехал! — торопливо прибавил он и ушел к хозяйке в комнату.

Анисья кстати подоспела навстречу гостю. Агафья Матвеевна успела передать ей приказание. Штольц поверил, только удивился, как это Обломова не было дома.

— Ну, скажи, что я через два часа приду, обедать буду! — сказал он и пошел поблизости, в публичный сад.[3]

— Обедать будет! — с испугом передавала Анисья.

— Обедать будет! — повторила в страхе Агафья Матвеевна Обломову.

— Надо другой обед изготовить, — решил он, помолчав.

Она обратила на него взгляд, полный ужаса. У ней оставался всего полтинник, а до первого числа, когда братец выдают деньги, осталось еще десять дней. В долг никто не дает.

— Не успеем, Илья Ильич, — робко заметила она, — пусть покушают, что есть.

— Не ест он этого, Агафья Матвеевна: ухи терпеть не может, даже стерляжьей не ест; баранины тоже в рот не берет.

— Языка можно в колбасной взять! — вдруг, как будто по вдохновению, сказала она, — тут близко.

— Это хорошо, это можно; да велите зелени какой-нибудь, бобов свежих.

— Бобы восемь гривен фунт! — пошевелилось у ней в горле, но на язык не сошло.

— Хорошо, я сделаю... — сказала она, решившись заменить бобы капустой.

— Сыру швейцарского велите фунт взять! — командовал он, не зная о средствах Агафьи Матвеевны, — и больше ничего! Я извинюсь, скажу, что не ждали.

Она было ушла.

— А вина? — вдруг вспомнил он.

Она отвечала новым взглядом ужаса.

— Надо послать за лафитом, — хладнокровно заключил он.

I

Через два часа пришел Штольц.

— Что с тобой? Как ты переменился, обрюзг, бледен! Ты здоров? — спросил Штольц.

— Плохо здоровье, Андрей, — говорил Обломов, обнимая его, — левая нога что-то все немеет.

— Как у тебя здесь гадко! — сказал, оглядываясь, Штольц, — что это ты не бросишь этого халата? Смотри, весь в заплатах!

— Привычка, Андрей; жаль расстаться.

— А одеяло, а занавески... — начал Штольц, — тоже привычка? Жаль переменить эти тряпки? Помилуй, неужели ты можешь спать на этой постели? Да что с тобой?

Штольц пристально посмотрел на Обломова, потом опять на занавески, на постель.

— Ничего, — говорил смущенный Обломов, — ты знаешь, я всегда был не очень рачителен о своей комнате... Давай лучше обедать. Эй, Захар! Накрывай скорей на стол. Ну, что ты, надолго ли? Откуда?

— Узнай, что я и откуда? — спросил Штольц, — до тебя ведь здесь не доходят вести из живого мира?

Обломов с любопытством смотрел на него и дожидался, что он скажет.

— Что Ольга? — спросил он.

— А, не забыл! Я думал, что ты забудешь.

— Нет, Андрей, разве ее можно забыть? Это значит забыть, что я когда-то жил, был в раю. А теперь вот!.. — Он вздохнул. — Но где же она?

— В своей деревне, хозяйничает.

— С теткой? — спросил Обломов.

— И с мужем.

— Она замужем? — вдруг, вытаращив глаза, произнес Обломов.

— Чего ж ты испугался? Не воспоминания ли? — тихо, почти нежно прибавил Штольц.

— Ах, нет, бог с тобой! — оправдывался Обломов, приходя в себя. — Я не испугался, но удивился; не знаю, почему это поразило меня. Давно ли? Счастлива ли? скажи, ради бога. Я чувствую, что ты снял с меня большую тяжесть! Хотя ты уверял меня, что она простила, но, знаешь. я не был покоен! Все грызло меня что-то. Милый Андрей, как я благодарен тебе!

Он радовался так от души, так подпрыгивал на своем диване, так шевелился, что Штольц любовался им и был даже тронут.

— Какой ты добрый, Илья! — сказал он. — Сердце твое стоило ее! Я ей все перескажу.

— Нет, нет, не говори! — перебил Обломов. — Она сочтет меня бесчувственным, что я с радостью услыхал о ее замужестве.

— А радость разве не чувство, и притом еще без эгоизма? Ты радуешься только ее счастью.

— Правда, правда! — перебил Обломов. — Бог знает, что я мелю... Кто ж, кто этот счастливец? Я и не спрошу.

— Кто? — повторил Штольц. — Какой ты недогадливый, Илья!

Обломов вдруг остановил на своем друге неподвижный взгляд: черты его окоченели на минуту, и румянец сбежал с лица.

— Не... ты ли? — спросил он.

— Опять испугался! Чего же? — засмеявшись, сказал Штольц.

— Не шути, Андрей, скажи правду! — с волнением говорил Обломов.

— Ей-богу, не шучу. Другой год я женат на Ольге.

Мало-помалу испуг пропадал в лице Обломова, уступая место мирной задумчивости; он еще не поднимал глаз, но задумчивость его через минуту была уж полна тихой и глубокой радости, и когда он медленно взглянул на Штольца, во взгляде его уж было умиление и слезы.

— Милый Андрей! — произнес Обломов, обнимая его. — Милая

Ольга.. Сергевна! — прибавил потом, сдержав восторг. — Вас благословил сам бог! Боже мой! как я счастлив! Скажи же ей...

— Скажу, что другого Обломова не знаю! — перебил его глубоко тронутый Штольц.

— Нет, скажи, напомни, что я встретился ей затем, чтоб вывести ее на путь, и что я благословляю эту встречу, благословляю ее и на новом пути! Что, если б другой... — с ужасом прибавил он, — а теперь, — весело заключил он, — я не краснею своей роли, не каюсь; с души тяжесть спала; там ясно, и я счастлив. Боже! благодарю тебя!

Он опять чуть не прыгал на диване от волнения: то прослезится, 16
то засмеется.

— Захар, шампанского к обеду! — закричал он, забыв, что у него не было ни гроша.

— Все скажу Ольге, все! — говорил Штольц. — Недаром она забыть не может тебя. Нет, ты стоил ее: у тебя сердце как колодезь глубоко!

Голова Захара выставилась из передней.

— Пожалуйте сюда! — говорил он, мигая барину.

— Что там? — с нетерпением спросил он. — Поди вон!

— Денег пожалуйте! — шептал Захар.

Обломов вдруг замолчал.

— Ну, не нужно! — шепнул он в дверь. — Скажи, что забыл, не успел! Поди!.. Нет, поди сюда! — громко сказал он. — Знаешь ли новость, Захар? Поздравь: Андрей Иваныч женился!

— Ах, батюшка! Привел бог дожить до этакой радости! Поздравляем, батюшка, Андрей Иваныч; дай бог вам несчетные годы жить, деток наживать. Ах, господи, вот радости!

Захар кланялся, улыбался, сипел, хрипел. Штольц вынул ассигнацию и подал ему.

— На, вот тебе, да купи себе сюртук, — сказал он, — посмотри, ты точно нищий.

— На ком, батюшка? — спросил Захар, ловя руку Штольца.

— На Ольге Сергевне — помнишь? — сказал Обломов.

— На Ильинской барышне! Господи! Какая славная барышня! Поделом бранили меня тогда Илья Ильич, старого пса! Грешен, виноват: все на вас сворачивал. Я тогда и людям ильинским рассказал, а не Никита! Точно, что клевета вышла. Ах ты, господи, ах, боже мой! — твердил он, уходя в переднюю.

— Ольга зовет тебя в деревню к себе гостить; любовь твоя простыла, неопасно: ревновать не станешь. Поедем.

Обломов вздохнул. 40

— Нет, Андрей, — сказал он, — не любви и не ревности я боюсь, а все-таки к вам не поеду.

— Чего ж ты боишься?

— Боюсь зависти: ваше счастье будет для меня зеркалом, где я все буду видеть свою горькую и убитую жизнь; а ведь уж я жить иначе не стану, не могу.

— Полно, милый Илья! Нехотя станешь жить, как живут около тебя. Будешь считать, хозяйничать, читать, слушать музыку. Как у ней теперь выработался голос! Помнишь Casta diva?

Обломов замахал рукой, чтоб он не напоминал.

— Едем же! — настаивал Штольц. — Это ее воля; она не отстанет. Я устану, а она нет. Это такой огонь, такая жизнь, что даже подчас достается мне. Опять забродит у тебя в душе прошлое. Вспомнишь парк, сирень и будешь пошевеливаться...

— Нет, Андрей, нет, не поминай, не шевели, ради бога! — серьезно перебил его Обломов. — Мне больно от этого, а не отрадно. Воспоминания — или величайшая поэзия, когда они — воспоминания о живом счастье, или — жгучая боль, когда они касаются засохших ран... Поговорим о другом. Да, я не поблагодарил тебя за твои хлопоты о моих делах, о деревне. Друг мой! Я не могу, не в силах; ищи благодарности в своем собственном сердце, в своем счастье — в Ольге... Сергевне, а я... я... не могу! Прости, что сам я до сих пор не избавил тебя от хлопот. Но вот скоро весна, я непременно отправлюсь в Обломовку...

— А знаешь, что делается в Обломовке? Ты не узнаешь ее! — сказал Штольц. — Я не писал к тебе, потому что ты не отвечаешь на письма. Мост построен, дом прошлым летом возведен под крышу. Только уж об убранстве внутри ты хлопочи сам, по своему вкусу — за это не берусь. Хозяйничает новый управляющий, мой человек. Ты видел в ведомости расходы?

Обломов молчал.

— Ты не читал их? — спросил Штольц, глядя на него. — Где они?

— Постой, я после обеда сыщу; надо Захара спросить...

— Ах, Илья, Илья! Не то смеяться, не то плакать.

— После обеда сыщем. Давай обедать!

Штольц поморщился, садясь за стол. Он вспомнил Ильин день: устриц, ананасы, дупелей; а теперь видел толстую скатерть, судки для уксуса и масла без пробок, заткнутые бумажками; на тарелках лежало по большому черному ломтю хлеба, вилки с изломанными черенками. Обломову подали уху, а ему суп с крупой и вареного цыпленка, потом следовал жесткий язык, после баранина. Явилось красное вино. Штольц налил полстакана, попробовал, поставил стакан на стол и больше уж не пробовал. Илья Ильич выпил две рюмки смородинной водки, одну за другой, и с жадностью принялся за баранину.

— Вино никуда не годится! — сказал Штольц.

— Извини, второпях не успели на ту сторону сходить, — говорил Обломов. — Вот, не хочешь ли смородинной водки? Славная, Андрей, попробуй! — Он налил еще рюмку и выпил.

Штольц с изумлением поглядел на него, но промолчал.

— Агафья Матвеевна сама настаивает: славная женщина! — говорил Обломов, несколько опьянев. — Я, признаться, не знаю, как я буду в деревне жить без нее: такой хозяйки не найдешь.

Штольц слушал его, немного нахмурив брови.

— Ты думаешь, это кто все готовит? Анисья? Нет! — продолжал Обломов. — Анисья за цыплятами ходит, да капусту полет в огороде, да полы метет; а это все Агафья Матвевна делает.

Штольц не ел ни баранины, ни вареников, положил вилку и смотрел, с каким аппетитом ел это все Обломов.

— Теперь ты уж не увидишь на мне рубашки наизнанку, — говорил дальше Обломов, с аппетитом обсасывая косточку, — она все осмотрит, все увидит, ни одного нештопанного чулка нет — и все сама. А кофе как варит! Вот я угощу тебя после обеда.

Штольц слушал молча, с озабоченным лицом.

— Теперь брат ее съехал, жениться вздумал, так хозяйство, знаешь, уж не такое большое. А прежде, бывало, так у ней все и кипит в руках! С утра до вечера так и летает: и на рынок, и в Гостиный двор. Знаешь, я тебе скажу, — плохо владея языком, заключил Обломов, — дай мне тысячи две-три, так я бы тебя не стал подчивать языком да бараниной: целого бы осетра подал, форелей, филе первого сорта. А Агафья Матвевна без повара чудес бы наделала — да!

Он выпил еще рюмку водки.

— Да выпей, Андрей, право выпей: славная водка! Ольга Сергевна тебе этакой не сделает! — говорил он нетвердо. — Она споет Casta diva, а водки сделать не умеет так! И пирога такого с цыплятами и грибами не сделает! Так пекли только, бывало, в Обломовке да вот здесь! И что хорошо, что не повар; тот бог знает какими руками заправляет пирог; а Агафья Матвевна — сама опрятность!

Штольц слушал внимательно, навострив уши.

— А руки-то у нее были белые, — продолжал значительно отуманенный вином Обломов, — поцеловать не грех! Теперь стали жестки, потому что все сама! Сама крахмалит мне рубашки! — с чувством, почти со слезами произнес Обломов. — Ей-богу, так, я сам видел. За другим жена так не смотрит — ей-богу! Славная баба Агафья Матвевна! Эх, Андрей! Переезжай-ко сюда с Ольгой Сергевной, найми здесь дачу: то-то бы зажили! В роще чай бы стали пить, в ильинскую пятницу на Пороховые бы Заводы пошли, за нами бы телега с припасами да с самоваром ехала. Там, на траве, на ковре легли бы! Агафья Матвевна выучила бы и Ольгу Сергевну хозяйничать, право выучила бы. Теперь вот только плохо пошло: брат переехал; а если б *нам* дали три-четыре тысячи, я бы тебе таких индеек наставил тут.

— Ты получаешь пять от меня! — сказал Штольц. — Куда ж ты их деваешь?

— А долг? — вдруг вырвалось у Обломова.

Штольц вскочил с места.

— Долг? — повторил он. — Какой долг?

И он, как грозный учитель, глядел на прячущегося ребенка.

Обломов вдруг замолчал. Штольц пересел к нему на диван.

— Кому ты должен? — спросил он.

Обломов немного отрезвился и опомнился.

— Никому, я соврал, — сказал он.

— Нет, ты вот теперь лжешь, да неискусно. Что у тебя? Что с тобой, Илья? А! Так вот что значит баранина, кислое вино! У тебя денег нет! Куда ж ты деваешь?

— Я точно должен... немного, хозяйке за припасы... — говорил Обломов.

— За баранину и за язык! Илья, говори, что у тебя делается? Что это за история: брат переехал, хозяйство пошло плохо... Тут что-то неловко. Сколько ты должен?

— Десять тысяч, по заемному письму... — прошептал Обломов.

Штольц вскочил и опять сел.

— Десять тысяч? Хозяйке? За припасы? — повторил он с ужасом.

— Да, много забирали; я жил очень широко... Помнишь, ананасы да персики... вот и задолжал... — бормотал Обломов. — Да что об этом?

Штольц не отвечал ему. Он соображал: «Брат переехал, хозяйство пошло плохо — и точно оно так: все смотрит голо, бедно, грязно! Что ж хозяйка за женщина? Обломов хвалит ее: она смотрит за ним; он говорит о ней с жаром...».

Вдруг Штольц изменился в лице, поймав истину. На него пахнуло холодом.

— Илья! — спросил он. — Эта женщина... что она тебе?.. — Но Обломов положил голову на стол и задремал.

«Она его грабит, тащит с него все... это вседневная история, а он до сих пор не догадался!» — думал Штольц.

Он встал и быстро отворил дверь к хозяйке, так что та, увидя его, с испугу выронила ложечку из рук, которою мешала кофе.

— Мне нужно с вами поговорить, — вежливо сказал он.

— Пожалуйте в гостиную, я сейчас приду, — отвечала она робко.

И, накинув на шею косынку, вошла вслед за ним в гостиную и села на кончике дивана. Шали уж не было на ней, и она старалась прятать руки под косынку.

— Илья Ильич дал вам заемное письмо? — спросил он.

— Нет, — с тупым взглядом удивления отвечала она, — они никакого письма мне не давали.

— Как никакого?

— Я никакого письма не видала! — твердила она с тем же тупым удивлением.

— Заемное письмо! — повторил Штольц.

Она подумала немного.

— Вы бы поговорили с братцем, — сказала она, — а я никакого письма не видала.

«Что она, дура или плутовка?» — подумал Штольц.

— Но он должен вам? — спросил он.

Она поглядела на него тупо, потом вдруг лицо у ней осмыслилось, даже выразило тревогу. Она вспомнила о заложенном жемчуге, о серебре, о салопе и вообразила, что Штольц намекает на этот долг; только никак не могла понять, как узнали об этом, она ни слова не проронила не

только Обломову об этой тайне, даже Анисье, которой отдавала отчет в каждой копейке.

— Сколько он вам должен? — с беспокойством спрашивал Штольц.

— Ничего не должны! Ни копеечки!

«Скрывает передо мной, стыдится, жадная тварь, ростовщица! — думал он. — Но я доберусь».

— А десять тысяч? — сказал он.

— Какие десять тысяч? — в тревожном удивлении спросила она.

— Илья Ильич вам должен десять тысяч по заемному письму — да или нет? — спросил он.

— Они ничего не должны. Были должны постом мяснику двенадцать с полтиной, так еще на третьей неделе отдали; за сливки молочнице тоже заплатили — они ничего не должны.

— Разве документа у вас на него нет?

Она тупо поглядела на него.

— Вы бы с братцем поговорили, — отвечала она, — они живут через улицу, в доме Замыкалова, вот здесь; еще погреб в доме есть.

— Нет, позвольте переговорить с вами, — решительно сказал он, — Илья Ильич считает себя должным вам, а не братцу...

— Они мне не должны, — отвечала она, — а что я закладывала серебро, *земчуг* и мех, так это я для себя закладывала. Маше и себе башмаки купила, Ванюше на рубашки да в зеленные лавки отдала. А на Илью Ильича ни копеечки не пошло.

Он смотрел на нее, слушал и вникал в смысл ее слов. Он один, кажется, был близок к разгадке тайны Агафьи Матвеевны, и взгляд пренебрежения, почти презрения, который он кидал на нее, говоря с ней, невольно сменился взглядом любопытства, даже участия.

В закладе жемчуга, серебра он вполовину смутно прочел тайну жертв и только не мог решить, приносились ли они чистою преданностью или в надежде каких-нибудь будущих благ.

Он не знал, печалиться ли ему или радоваться за Илью. Открылось явно, что он не должен ей, что этот долг есть какая-то мошенническая проделка ее братца, но зато открывалось многое другое... Что значат эти заклады серебра, жемчугу?

— Так вы не имеете претензий на Илье Ильиче? — спросил он.

— Вы потрудитесь с братцем поговорить, — отвечала она монотонно, — теперь они должны быть дома.

— Вам не должен Илья Ильич, говорите вы?

— Ни копеечки, ей-богу, правда! — божилась она, глядя на образ и крестясь.

— Вы это подтвердите при свидетелях?

— При всех, хоть на исповеди! — А что *земчуг* и серебро я заложила, так это на свои расходы...

— Очень хорошо! — перебил ее Штольц. — Завтра я побываю у вас с двумя моими знакомыми, и вы не откажетесь сказать при них то же самое?

— Вы бы лучше с братцем переговорили, — повторяла она, — а то я одета-то не так... все на кухне, нехорошо, как чужие увидят; осудят.

— Ничего, ничего; а с братцем вашим я увижусь завтра же, после того как вы подпишете бумагу.

— Писать-то я отвыкла совсем.

— Да тут немного нужно написать, всего две строки.

— Нет, уж увольте; пусть вот лучше Ванюша бы написал: он чисто пишет..

— Нет, вы не отказывайтесь, — настаивал он, — если вы не подпишете бумаги, то это значит, что Илья Ильич должен вам десять тысяч.

— Нет, они не должны ничего, ни копеечки, — твердила она, — ей-богу!

— В таком случае вы должны подписать бумагу. Прощайте, до завтра.

— Завтра бы вы лучше к братцу зашли... — говорила она, провожая его, — вон тут, на углу, через улицу.

— Нет, и вас прошу братцу до меня ничего не говорить, иначе Илье Ильичу будет очень неприятно.

— Так я не скажу им ничего! — послушно сказала она.

VII

На другой день Агафья Матвевна дала Штольцу свидетельство, что она никакой денежной претензии на Обломова не имеет. С этим свидетельством Штольц внезапно явился перед братцем.

Это было истинным громовым ударом для Ивана Матвеевича. Он вынул документ и показал трепещущим средним пальцем правой руки, ногтем вниз, на подпись Обломова и на засвидетельствование маклера.

— Закон-с, — сказал он, — мое дело сторона; я только соблюдаю интересы сестры, а какие деньги брали Илья Ильич, мне неизвестно.

— Этим не кончится ваше дело, — погрозил ему, уезжая, Штольц.

— Законное дело-с, а я в стороне! — оправдывался Иван Матвеевич, пряча руки в рукава.

На другой день, только что он пришел в присутствие, явился курьер от генерала,[1] который немедленно требовал его к себе.

«К генералу!» — с ужасом повторило все присутствие. — Зачем? Что такое? Не требует ли дела какого-нибудь? Какое именно? Скорей, скорей! Подшивать дела, делать описи! Что такое?

Вечером Иван Матвеевич пришел в «заведение» сам не свой. Тарантьев уже давно ждал его там.

— Что, кум? — спросил он с нетерпением.

— Что! — монотонно произнес Иван Матвеевич. — А как ты думаешь, что̀!

— Обругали, что ли?

— Обругали! — передразнил его Иван Матвеевич. — Лучше бы прибили! А ты хорош! — упрекнул он. — Не сказал, что̀ это за немец такой!

— Ведь я говорил тебе, что продувной!

— Это что: продувной! Видали мы продувных! Зачем ты не сказал, что он в силе? Они с генералом друг другу *ты* говорят, вот как мы с тобой. Стал бы я связываться с этаким, если б знал!

— Да ведь законное дело! — возразил Тарантьев.

— Законное дело! — опять передразнил его Мухояров. — Поди-ко скажи там: язык прильпе к гортани.[2] Ты знаешь, что генерал спросил меня?

— Что? — с любопытством спросил Тарантьев.

— «Правда ли, что вы, с каким-то негодяем, напоили помещика Обломова пьяным и заставили подписать заемное письмо на имя вашей сестры?»

— Так и сказал: «с негодяем»? — спросил Тарантьев.

— Да, так и сказал...

— Кто же это такой негодяй-то? — спросил опять Тарантьев.

Кум поглядел на него.

— Небойсь, не знаешь? — желчно сказал он. — Нешто не ты?

— Меня-то как припутали?

— Скажи спасибо немцу да своему земляку. Немец-то все пронюхал, выспросил..

— Ты бы, кум, на другого показал, а про меня бы сказал, что меня тут не было!

— Вона! Ты что за святой!

— Что ж ты отвечал, когда генерал спросил: «Правда ли, что вы там, с каким-то негодяем»? Вот тут-то бы и обойти его.

— Обойти? Обойдешь, поди-ко! Глаза какие-то зеленые! Силился, силился, хотел выговорить: «Неправда, мол, клевета, ваше превосходительство, никакого Обломова и знать не знаю: это все Тарантьев!..» — да с языка нейдет: только пал пред стопы его.

— Что ж они, дело, что ли, хотят затевать? — глухо спросил Тарантьев. — Я ведь в стороне; вот ты, кум...

— В стороне! Ты в стороне? Нет, кум, уж если в петлю лезть, так тебе первому: кто уговаривал Обломова пить-то? Кто срамил, грозил?

— Ты же научил, — говорил Тарантьев.

— А ты несовершеннолетний, что ли? Я знать ничего не знаю, ведать не ведаю.

— Это, кум, бессовестно! Сколько через меня перепало тебе, а мне-то всего триста рублей досталось.

— Что ж, одному все взять на себя? Экой ты какой ловкий! Нет, я знать ничего не знаю! Меня просила сестра, по женскому незнанию дела, заявить письмо у маклера — вот и все. Ты и Затертый были свидетелями, вы и в ответе!

— Ты бы сестру-то хорошенько: как она смела против брата идти? — сказал Тарантьев.

— Сестра — дура: что с ней будешь делать?

— Что она?

— Что? Плачет, а сама стоит на своем: «Не должен, дескать, Илья Ильич, да и только, и денег она никаких ему не давала».

— У тебя зато есть письмо на нее, — сказал Тарантьев, — ты не потеряешь своего.

Мухояров вынул из кармана заемное письмо на сестру, разорвал его на части и подал Тарантьеву.

— На вот, я тебе подарю, не хочешь ли? — прибавил он. — Что с нее взять? Дом, что ли, с огородишком? И тысячи не дадут: он весь разваливается. Да что я, нехристь, что ли, какой? По миру ее пустить с ребятишками?

— Стало, следствие начнется? — робко спросил Тарантьев. — Вот тут-то, кум, отделаться подешевле: ты уж, брат, выручи!

— Какое следствие? Никакого следствия не будет! Генерал было погрозил выслать из города, да немец-то вступился, не хочет срамить Обломова.

— Что ты, кум! Как гора с плеч! Выпьем! — сказал Тарантьев.

— Выпьем? Из каких это доходов? На твои, что ль?

— А твои? Сегодня, поди, целковых семь забрал!

— Что-о! Прощай доходы: что генерал-то сказал, я не договорил.

— А что? — вдруг опять струсив, спросил Тарантьев.

— В отставку велел подать.

— Что ты, кум! — выпуча на него глаза, сказал Тарантьев. — Ну, — заключил он с яростью, — теперь обругаю же я земляка на чем свет стоит!

— Только бы тебе ругаться!

— Нет, уж обругаю, как ты хочешь! — говорил Тарантьев. — А впрочем, правда, лучше погожу; вот что я вздумал; слушай-ко, кум!

— Что еще? — повторил в раздумье Иван Матвеевич.

— Можно тут хорошее дело сделать. Жаль только, что ты съехал с квартиры..

— А что?

— Что! — говорил он, глядя на Ивана Матвеевича. — Подсматривать за Обломовым да за сестрой, какие они там пироги пекут, да и того.. свидетелей! Так тут и немец ничего не сделает. А ты теперь вольный казак: затеешь следствие — законное дело! Небойсь, и немец струсит, на мировую пойдет!

— А что, в самом деле, можно! — отвечал Мухояров задумчиво. — Ты неглуп на выдумки, только в дело не годишься, и Затертый тоже. Да я найду, постой! — говорил он, ударяя по столу кулаком. — Я им дам! Я кухарку свою на кухню к сестре подошлю: она подружится с Анисьей, все выведает, а там. Выпьем, кум!

— Выпьем! — повторил Тарантьев. — А потом уж я обругаю земляка!

Штольц попытался увезти Обломова, но тот просил оставить его только на месяц, так просил, что Штольц не мог не сжалиться. Ему нужен был этот месяц, по словам его, чтоб кончить все расчеты, сдать квартиру и так уладить дела с Петербургом, чтоб уж более туда не возвращаться. Потом нужно было закупить все для уборки деревенского дома; наконец, он хотел приискать себе хорошую экономку, вроде Агафьи Матвеевны, даже не отчаивался уговорить и ее продать дом и переселиться в деревню, на достойное ее поприще — сложного и обширного хозяйства.

— Кстати о хозяйке, — перебил его Штольц, — я хотел тебя спросить, Илья, в каких ты отношениях к ней...

Обломов вдруг покраснел.

— Что ты хочешь сказать? — торопливо спросил он.

— Ты очень хорошо знаешь, — заметил Штольц, — иначе бы не отчего было краснеть. Послушай, Илья, если тут предостережение может что-нибудь сделать, то всей дружбой нашей прошу, будь осторожен...

— В чем? Помилуй! — защищался смущенный Обломов.

— Ты говорил о ней с таким жаром, что, право, я начинаю думать, что ты ее...

— Любишь, что ли, хочешь ты сказать! Помилуй! — перебил Обломов с принужденным смехом.

— Так еще хуже, если тут нет никакой нравственной искры, если это только...

— Андрей! Разве ты знал меня безнравственным человеком?

— Отчего ж ты покраснел?

— Оттого, что ты мог допустить такую мысль.

Штольц покачал с сомнением головой.

— Смотри, Илья, не упади в яму. Простая баба; грязный быт, удушливая сфера тупоумия, грубости — фи!

Обломов молчал.

— Ну, прощай, — заключил Штольц, — так я скажу Ольге, что летом мы увидим тебя, если не у нас, так в Обломовке. Помни: она не отстанет!

— Непременно, непременно, — уверительно отвечал Обломов, — даже прибавь, что если она позволит, я зиму проведу у вас.

— То-то бы обрадовал!

Штольц уехал в тот же день, а вечером к Обломову явился Тарантьев. Он не утерпел, чтоб не обругать его хорошенько за кума. Он не взял одного в расчет: что Обломов, в обществе Ильинских, отвык от подобных ему явлений и что апатия и снисхождение к грубости и наглости заменились отвращением. Это бы уж обнаружилось давно и даже проявилось отчасти, когда Обломов жил еще на даче, но с тех пор Тарантьев посещал его реже и притом бывал при других и столкновений между ними не было.

— Здорово, земляк! — злобно сказал Тарантьев, не протягивая руки.

— Здравствуй! — холодно отвечал Обломов, глядя в окно.

— Что, проводил своего благодетеля?

— Проводил. Что же?

— Хорош благодетель! — ядовито продолжал Тарантьев.

— А что, тебе не нравится?

— Да я бы его повесил! — с ненавистью прохрипел Тарантьев.

— Вот как!

— И тебя бы на одну осину! [3]

— За что так?

— Делай честно дела: если должен, так плати, не увертывайся. Что ты теперь наделал?

— Послушай, Михей Андреич, уволь меня от своих сказок; долго я, по лености, по беспечности, слушал тебя: я думал, что у тебя есть хоть капля совести, а ее нет. Ты с пройдохой хотел обмануть меня: кто из вас хуже — не знаю, только оба вы гадки мне. Друг выручил меня из этого глупого дела. .

— Хорош друг! — говорил Тарантьев. — Я слышал, он и невесту у тебя поддел; благодетель, нечего сказать! Ну, брат, дурак ты, земляк.

— Пожалуйста, оставь эти нежности! — остановил его Обломов.

— Нет, не оставлю! Ты меня не хотел знать, ты неблагодарный! Я пристроил тебя здесь, нашел женщину-клад. Покой, удобство всякое — все доставил тебе, облагодетельствовал кругом, а ты и рыло отворотил. Благодетеля нашел: немца! На аренду имение взял; вот погоди: он тебя облупит, еще акций надает. Уж пустит по миру, помяни мое слово! Дурак, говорю тебе, да мало дурак, еще и скот вдобавок, неблагодарный!

— Тарантьев! — грозно крикнул Обломов.

— Что кричишь-то? Я сам закричу на весь мир, что ты дурак, скотина! — кричал Тарантьев. — Я и Иван Матвеич ухаживали за тобой, берегли, словно крепостные служили тебе, на цыпочках ходили, в глаза смотрели, а ты обнес его перед начальством:[4] теперь он без места и без куска хлеба! Это низко, гнусно! Ты должен теперь отдать ему половину состояния; давай вексель на его имя: ты теперь не пьян, в своем уме, давай, говорю тебе, я без того не выйду. . .

— Что вы, Михей Андреич, кричите так? — сказали хозяйка и Анисья, выглянув из-за дверей. — Двое прохожих остановились, слушают, что за крик. . .

— Буду кричать, — вопил Тарантьев, — пусть срамится этот олух! Пусть обдует тебя этот мошенник немец, благо он теперь стакнулся с твоей любовницей. . .

В комнате раздалась громкая оплеуха. Пораженный Обломовым в щеку, Тарантьев мгновенно смолк, опустился на стул и в изумлении ворочал вокруг одуревшими глазами.

— Что это? Что это — а? Что это! — бледный, задыхаясь, говорил он, держась за щеку. — Бесчестье? Ты заплатишь мне за это! Сейчас просьбу генерал-губернатору:[5] вы видели?

— Мы ничего не видали! — сказали обе женщины в один голос.

— А! Здесь заговор, здесь разбойничий притон! Шайка мошенников! Грабят, убивают. . .

— Вон, мерзавец! — закричал Обломов, бледный, трясясь от ярости. — Сию минуту, чтоб нога твоя здесь не была, или я убью тебя, как собаку!

Он искал глазами палки.

— Батюшки! Разбой! Помогите! — кричал Тарантьев.

— Захар! Выбрось вон этого негодяя, и чтоб он не смел глаз казать сюда! — закричал Обломов.

— Пожалуйте, вот вам бог, а вот двери! — говорил Захар, показывая на образ и на дверь.

— Я не к тебе пришел, я к куме, — вопил Тарантьев.

— Бог с вами! Мне вас не надо, Михей Андреич, — сказала Агафья

Матвеевна, — вы к братцу ходили, а не ко мне! Вы мне хуже горькой редьки. Опиваете, объедаете да еще лаетесь.

— А! так-то, кума! Хорошо, вот брат даст вам знать! А ты заплатишь мне за бесчестье! Где моя шляпа? Черт с вами! Разбойники, душегубцы! — кричал он, идучи по двору. — Заплатишь мне за бесчестье!

Собака скакала на цепи и заливалась лаем.

После этого Тарантьев и Обломов не видались более.

VIII

Штольц не приезжал несколько лет в Петербург. Он однажды только заглянул на короткое время в имение Ольги и в Обломовку. Илья Ильич получил от него письмо, в котором Андрей уговаривал его самого ехать в деревню и взять в свои руки приведенное в порядок имение, а сам с Ольгой Сергеевной уезжал на южный берег Крыма, для двух целей: по делам своим в Одессе и для здоровья жены, расстроенного после родов.

Они поселились в тихом уголке, на морском берегу. Скромен и невелик был их дом. Внутреннее устройство его имело так же свой стиль, как наружная архитектура, как все убранство носило печать мысли и личного вкуса хозяев. Много сами они привезли с собой всякого добра, много присылали им из России и из-за границы тюков, чемоданов, возов.

Любитель комфорта, может быть, пожал бы плечами, взглянув на всю наружную разнорядицу мебели, ветхих картин, статуй с отломанными руками и ногами, иногда плохих, но дорогих по воспоминанию гравюр, мелочей. Разве глаза знатока загорелись бы не раз огнем жадности при взгляде на ту или другую картину, на какую-нибудь пожелтевшую от времени книгу, на старый фарфор или камеи и монеты.

Но среди этой разновековой мебели, картин, среди не имеющих ни для кого значения, но отмеченных для них обоих счастливым часом, памятной минутой мелочей, в океане книг и нот веяло теплой жизнью, чем-то раздражающим ум и эстетическое чувство; везде присутствовала или недремлющая мысль, или сияла красота человеческого дела, как кругом сияла вечная красота природы.

Здесь же нашла место и высокая конторка, какая была у отца Андрея, замшевые перчатки; висел в углу и клеенчатый плащ около шкафа с минералами, раковинами, чучелами птиц, с образцами разных глин, товаров и прочего. Среди всего, на почетном месте, блистал, в золоте с инкрустацией, флигель[1] Эрара.[2]

Сеть из винограда, плющей и миртов покрывала коттедж сверху донизу. С галереи видно было море, с другой стороны — дорога в город.

Там караулила Ольга Андрея, когда он уезжал из дома по делам, и, завидя его, спускалась вниз, пробегала великолепный цветник, длинную тополевую аллею и бросалась на грудь к мужу, всегда с пылающими от радости щеками, с блещущим взглядом, всегда с одинаким жаром нетерпеливого счастья, несмотря на то, что уже пошел не первый и не второй год ее замужства.

Штольц смотрел на любовь и на женитьбу, может быть, оригинально, преувеличенно, но во всяком случае самостоятельно. И здесь он пошел свободным и, как казалось ему, простым путем; но какую трудную школу наблюдения, терпения, труда выдержал он, пока выучился делать эти «простые шаги»!

От отца своего он перенял смотреть на все в жизни, даже на мелочи, не шутя; может быть, перенял бы от него и педантическую строгость, которою немцы сопровождают взгляд свой, каждый шаг в жизни, в том числе и супружество.

Как таблица на каменной скрижали, была начертана открыто всем и каждому жизнь старого Штольца, и под ней больше подразумевать было нечего. Но мать, своими песнями и нежным шепотом, потом княжеский разнохарактерный дом, далее университет, книги и свет — все это отводило Андрея от прямой, начертанной отцом колеи; русская жизнь рисовала свои невидимые узоры и из бесцветной таблицы делала яркую, широкую картину.

Андрей не налагал педантических оков на чувства и даже давал законную свободу, стараясь только не терять «почвы из-под ног», задумчивым мечтам, хотя, отрезвляясь от них, по немецкой своей натуре или по чему-нибудь другому, не мог удержаться от вывода и выносил какую-нибудь жизненную заметку.

Он был бодр телом, потому что был бодр умом. Он был резв, шаловлив в отрочестве, а когда не шалил, то занимался, под надзором отца, делом. Некогда было ему расплываться в мечтах. Не растлелось у него воображение, не испортилось сердце: чистоту и девственность того и другого зорко берегла мать.

Юношей он инстинктивно берег свежесть сил своих, потом стал рано уже открывать, что эта свежесть рождает бодрость и веселость, образует ту мужественность, в которой должна быть закалена душа, чтоб не бледнеть пред жизнью, какова бы она ни была, смотреть на нее не как на тяжкое иго, крест, а только как на долг, и достойно вынести битву с ней.

Много мыслительной заботы посвятил он и сердцу, и его мудреным законам. Наблюдая сознательно и бессознательно отражение красоты на воображение, потом переход впечатления в чувство, его симптомы, игру, исход и глядя вокруг себя, подвигаясь в жизнь, он выработал себе убеждение, что любовь, с силою Архимедова рычага, движет миром;[3] что в ней лежит столько всеобщей, неопровержимой истины и блага, сколько лжи и безобразия в ее непонимании и злоупотреблении. Где же благо? Где зло? Где граница между ними?

При вопросе: где ложь? в воображении его потянулись пестрые маски настоящего и минувшего времени. Он с улыбкой, то краснея, то нахмурившись, глядел на бесконечную вереницу героев и героинь любви: на донкихотов в стальных перчатках, на дам их мыслей, с пятидесятилетнею взаимною верностью в разлуке; на пастушков с румяными лицами и простодушными глазами навыкате и на их Хлой с барашками.[4]

Являлись перед ним напудренные маркизы, в кружевах, с мерцающими умом глазами и с развратной улыбкой; потом застрелившиеся,

повесившиеся и удавившиеся Вертеры;[5] далее увядшие девы, с вечными слезами любви, с монастырем, и усатые лица недавних героев, с буйным огнем в глазах, наивные и сознательные донжуаны, и умники, трепещущие подозрения в любви и втайне обожающие своих ключниц... все, все!

При вопросе: где же истина? он искал и вдалеке и вблизи, в воображении и глазами примеров простого, честного, но глубокого и неразрывного сближения с женщиной, и не находил; если, казалось, и находил, то это только казалось, потом приходилось разочаровываться, и он грустно задумывался и даже отчаивался.

«Видно, не дано этого блага во всей его полноте, — думал он, — или те сердца, которые озарены светом такой любви, застенчивы: они робеют и прячутся, не стараясь оспаривать умников: может быть, жалеют их, прощают им во имя своего счастья, что те топчут в грязь цветок, за неимением почвы, где бы он мог глубоко пустить корни и вырасти в такое дерево, которое бы осенило всю жизнь».

Глядел он на браки, на мужей, и в их отношениях к женам всегда видел сфинкса с его загадкой,[6] все будто что-то непонятое, недосказанное; а между тем эти мужья не задумываются над мудреными вопросами, идут по брачной дороге таким ровным, сознательным шагом, как будто нечего им решать и искать.

«Не правы ли они? Может быть, в самом деле больше ничего не нужно», — с недоверчивостью к себе думал он, глядя, как одни быстро проходят любовь как азбуку супружества или как форму вежливости, точно отдали поклон, входя в общество, и — скорей за дело!

Они нетерпеливо сбывают с плеч весну жизни; многие даже косятся потом весь век на жен своих, как будто досадуя за то, что когда-то имели глупость любить их.

Других любовь не покидает долго, иногда до старости, но их не покидает никогда и улыбка сатира. . .[7]

Наконец, бóльшая часть вступает в брак, как берут имение, наслаждаются его существенными выгодами: жена вносит лучший порядок в дом — она хозяйка, мать, наставница детей; а на любовь смотрят, как практический хозяин смотрит на местоположение имения, то есть сразу привыкает и потом не замечает его никогда.

«Что же это: врожденная неспособность вследствие законов природы, — говорил он, — или недостаток подготовки, воспитания? Где же эта симпатия, не теряющая никогда естественной прелести, не одевающаяся в шутовский наряд, видоизменяющаяся, но не гаснущая? Какой естественный цвет и краски этого разлитого повсюду и всенаполняющего собой блага, этого сока жизни?»

Он пророчески вглядывался вдаль, и там, как в тумане, появлялся ему образ чувства, а с ним и женщины, одетой его цветом и сияющей его красками, образ такой простой, но светлый, чистый.

«Мечта! мечта!» — говорил он, отрезвляясь, с улыбкой, от праздного раздражения мысли.[8] Но очерк этой мечты против воли жил в его памяти.

Сначала ему снилась в этом образе будущность женщины вообще; когда же он увидел потом, в выросшей и созревшей Ольге, не только роскошь расцветшей красоты, но и силу, готовую на жизнь и жаждущую разумения и борьбы с жизнью, все задатки его мечты, в нем возник давнишний, почти забытый им образ любви, и стала сниться в этом образе Ольга, и далеко впереди казалось ему, что в симпатии их возможна истина — без шутовского наряда и без натяжек.

Не играя вопросом о любви и браке, не путая в него никаких других расчетов, денег, связей, мест, Штольц, однако ж, задумывался о том, как примирится его внешняя, до сих пор неутомимая деятельность с внутреннею, семейною жизнью, как из туриста, негоцианта он превратится в семейного домоседа? Если он успокоится от этой внешней беготни, чем наполнится его жизнь в домашнем быту? Воспитание, образование детей, направление их жизни, конечно, не легкая и не пустая задача, но до нее еще далеко, а до тех пор что же он будет делать?

Эти вопросы давно и часто тревожили его, и он не тяготился холостою жизнью; не приходило ему в голову, как только забьется его сердце, почуя близость красоты, надеть на себя брачные цепи. Оттого он как будто пренебрегал даже Ольгой-девицей, любовался только ею, как милым ребенком, подающим большие надежды; шутя, мимоходом, забрасывал ей в жадный и восприимчивый ум новую, смелую мысль, меткое наблюдение над жизнью и порождал в ее душе, не думая и не гадая, живое понимание явлений, верный взгляд, а потом забывал и Ольгу, и свои небрежные уроки.

А по временам, видя, что в ней мелькают не совсем обыкновенные черты ума, взгляда, что нет в ней лжи, не ищет она общего поклонения, что чувства в ней приходят и уходят просто и свободно, что нет ничего чужого, а все свое, и это свое так смело, свежо и прочно — он недоумевал, откуда далось ей это, не узнавал своих летучих уроков и заметок.

Останови он тогда внимание на ней, он бы сообразил, что она идет почти одна своей дорогой, оберегаемая поверхностным надзором тетки от крайностей, но что не тяготеют над ней, многочисленной опекой, авторитеты семи нянек, бабушек, теток, с преданиями рода, фамилии, сословия, устаревших нравов, обычаев, сентенций; что не ведут ее насильно по избитой дороге, что она идет по новой тропе, по которой ей приходилось пробивать свою колею собственным умом, взглядом, чувством.

А природа ее ничем этим не обидела; тетка не управляет деспотически ее волей и умом, и Ольга многое угадывает, понимает сама, осторожно вглядывается в жизнь, вслушивается... между прочим, и в речи, советы своего друга...

Он этого не соображал ничего и только ждал от нее многого впереди, но далеко впереди, не проча никогда ее себе в подруги.

А она, по самолюбивой застенчивости, — долго не давала угадывать себя, и только после мучительной борьбы за границей он с изумлением увидел, в какой образ простоты, силы и естественности выросло это многообещавшее и забытое им дитя. Там мало-помалу открывалась пе-

ред ним глубокая бездна ее души, которую приходилось ему наполнять и никогда не наполнить.

Сначала долго приходилось ему бороться с живостью ее натуры, прерывать лихорадку молодости, укладывать порывы в определенные размеры, давать плавное течение жизни, и то на время: едва он закрывал доверчиво глаза, поднималась опять тревога, жизнь била ключом, слышался новый вопрос беспокойного ума, встревоженного сердца; там надо было успокоивать раздраженное воображение, унимать или будить самолюбие. Задумывалась она над явлением — он спешил вручить ей ключ к нему.

Вера в случайности, туман, галлюцинации исчезали из жизни. Светла и свободна, открывалась перед ней даль, и она, как в прозрачной воде, видела в ней каждый камешек, рытвину и потом чистое дно.

«Я счастлива!» — шептала она, окидывая взглядом благодарности свою прошедшую жизнь, и, пытая будущее, припоминала свой девический сон счастья, который ей снился когда-то в Швейцарии, ту задумчивую, голубую ночь, и видела, что сон этот, как тень, носится в жизни.

«За что мне это выпало на долю, мне?» — смиренно думала она. Она задумывалась, задумывалась, иногда даже боялась, не оборвалось бы это счастье.

Шли годы, а они не уставали жить. Настала и тишина, улеглись и порывы; кривизны жизни стали понятны, выносились терпеливо и бодро, а жизнь все не умолкала у них.

Ольга довоспиталась уже до строгого понимания жизни, хотя еще счастливой жизни; два существования, ее и Андрея, слились в одно русло; разгула диким страстям быть не могло: все было у них гармония и тишина.

Казалось бы, заснуть в этом заслуженном покое и блаженствовать, как блаженствуют обитатели затишьев, сходясь трижды в день, зевая за обычным разговором, впадая в тупую дремоту, томясь с утра до вечера, что все передумано, переговорено и переделано, что нечего больше говорить и делать и что «такова уж жизнь на свете».

Снаружи и у них делалось все, как у других. Вставали они хотя не с зарей, но рано; любили долго сидеть за чаем, иногда даже будто лениво молчали, потом расходились по своим углам или работали вместе, обедали, ездили в поля, занимались музыкой... как все, как мечтал и Обломов...

Только не было дремоты, уныния у них; без скуки и без апатии проводили они дни; не было вялого взгляда, слова; разговор не кончался у них, бывал часто жарок.

По комнатам разносились их звонкие голоса, доходили до сада, или тихо передавали они, как будто рисуя друг перед другом узор своей мечты, неуловимое для языка первое движение, рост возникающей мысли, чуть слышный шепот души...

И молчание их было — иногда задумчивое счастье, о котором одном мечтал, бывало, Обломов, или мыслительная работа в одиночку над нескончаемым, задаваемым друг другу материалом...

Часто погружались они в безмолвное удивление перед вечно новой и блещущей красотой природы. Их чуткие души не могли привыкнуть к этой красоте: земля, небо, море — все будило их чувство, и они молча сидели рядом, глядели одними глазами и одной душой на этот творческий блеск и без слов понимали друг друга.

Не встречали они равнодушно утра; не могли тупо погрузиться в сумрак теплой, звездной, южной ночи. Их будило вечное движение мысли, вечное раздражение души и потребность думать вдвоем, чувствовать, говорить!

Но что же было предметом этих жарких споров, тихих бесед, чтений, далеких прогулок?

Да все. Еще за границей Штольц отвык читать и работать один: здесь, с глазу на глаз с Ольгой, он и думал вдвоем. Его едва-едва ставало поспевать за томительною торопливостью ее мысли и воли.

Вопрос, что он будет делать в семейном быту, уж улегся, разрешился сам собою. Ему пришлось посвятить ее даже в свою трудовую, деловую жизнь, потому что в жизни без движения она задыхалась, как без воздуха.

Какая-нибудь постройка, дела по своему или обломовскому имению, компанейские операции — ничто не делалось без ее ведома или участия. Ни одного письма не посылалось без прочтения ей, никакая мысль, а еще менее исполнение, не проносилось мимо нее; она знала все, и все занимало ее, потому что занимало его.

Сначала он делал это потому, что нельзя было укрыться от нее: писалось письмо, шел разговор с поверенным, с какими-нибудь подрядчиками — при ней, на ее глазах; потом он стал продолжать это по привычке, а наконец это обратилось в необходимость и для него.

Ее замечание, совет, одобрение или неодобрение стали для него неизбежною поверкою: он увидел, что она понимает точно так же, как он, соображает, рассуждает не хуже его... Захар обижался такой способностью в своей жене, и многие обижаются, — а Штольц был счастлив!

А чтение, а ученье — вечное питание мысли, ее бесконечное развитие! Ольга ревновала к каждой непоказанной ей книге, журнальной статье, не шутя сердилась или оскорблялась, когда он не заблагорассудит показать ей что-нибудь, по его мнению, слишком серьезное, скучное, непонятное ей, называла это педантизмом, пошлостью, отсталостью, бранила его «старым немецким париком».[9] Между ними по этому поводу происходили живые, раздражительные сцены.

Она сердилась, а он смеялся, она еще пуще сердилась и тогда только мирилась, когда он перестанет шутить и разделит с ней свою мысль, знание или чтение. Кончалось тем, что все, что нужно и хотелось знать, читать ему, то надобилось и ей.

Он не навязывал ей ученой техники, чтоб потом, с глупейшею из хвастливостей, гордиться «ученой женой».[10] Если б у ней вырвалось в речи одно слово, даже намек на эту претензию, он покраснел бы пуще, чем когда бы она ответила тупым взглядом неведения на обыкновенный в области знания, но еще недоступный для женского современного воспи-

тания вопрос. Ему только хотелось, а ей вдвое, чтоб не было ничего недоступного — не ведению, а ее пониманию.

Он не чертил ей таблиц и чисел, но говорил обо всем, многое читал, не обегая педантически и какой-нибудь экономической теории, социальных или философских вопросов, он говорил с увлечением, с страстью: он как будто рисовал ей бесконечную, живую картину знания. После из памяти ее исчезали подробности, но никогда не сглаживался в восприимчивом уме рисунок, не пропадали краски и не потухал огонь, которым он освещал творимый ей космос.

Он задрожит от гордости и счастья, когда заметит, как потом искра этого огня светится в ее глазах, как отголосок переданной ей мысли звучит в речи, как мысль эта вошла в ее сознание и понимание, переработалась у ней в уме и выглядывает из ее слов, не сухая и суровая, а с блеском женской грации, и особенно если какая-нибудь плодотворная капля из всего говоренного, прочитанного, нарисованного опускалась, как жемчужина, на светлое дно ее жизни.

Как мыслитель и как художник, он ткал ей разумное существование, и никогда еще в жизни не бывал он поглощен так глубоко, ни в пору ученья, ни в те тяжелые дни, когда боролся с жизнью, выпутывался из ее изворотов и крепчал, закаливая себя в опытах мужественности, как теперь, нянчась с этой неумолкающей, волканической работой духа своей подруги!

«Как я счастлив!» — говорил Штольц про себя и мечтал по-своему, забегал вперед, когда минуют медовые годы брака.

Вдали ему опять улыбался новый образ, не эгоистки Ольги, не страстно любящей жены, не матери-няньки, увядающей потом в бесцветной, никому не нужной жизни, а что-то другое, другое, высокое, почти небывалое...

Ему грезилась мать-создательница и участница нравственной и общественной жизни целого счастливого поколения.

Он с боязнью задумывался, достанет ли у ней воли и сил... и торопливо помогал ей покорять себе скорее жизнь, выработать запас мужества на битву с жизнью, — теперь именно, пока они оба молоды и сильны, пока она щадила их или удары ее не казались тяжелы, пока горе тонуло в любви.

Мрачились их дни, но не надолго. Неудачи в делах, утрата значительной суммы денег — все это едва коснулось их. Это стоило им лишних хлопот, разъездов, потом скоро забылось.

Смерть тетки вызвала горькие, искренние слезы Ольги и легла тенью на ее жизнь на какие-нибудь полгода.

Самое живое опасение и вечную заботу рождали болезни детей; но лишь миновало опасение, возвращалось счастье.

Его тревожило более всего здоровье Ольги: она долго оправлялась после родов, и хотя оправилась, но он не переставал этим тревожиться. Страшнее горя он не знал.

«Как я счастлива!» — твердила и Ольга тихо, любуясь своей жизнью, и в минуту такого сознания иногда впадала в задумчивость... особенно с некоторого времени, после трех-четырех лет замужства.

Странен человек! Чем счастье ее было полнее, тем она становилась задумчивее и даже боязливее. Она стала строго замечать за собой и уловила, что ее смущала эта тишина жизни, ее остановка на минутах счастья. Она насильственно стряхивала с души эту задумчивость и ускоряла жизненные шаги, лихорадочно искала шума, движения, забот, просилась с мужем в город, пробовала заглянуть в свет, в люди, но ненадолго.

Суета света касалась ее слегка, и она спешила в свой уголок сбыть с души какое-нибудь тяжелое, непривычное впечатление, и снова уходила то в мелкие заботы домашней жизни, по целым дням не покидала детской, несла обязанности матери-няньки, то погружалась с Андреем в чтение, в толки о «серьезном и скучном», или читали поэтов, поговаривали о поездке в Италию.

Она боялась впасть во что-нибудь похожее на обломовскую апатию. Но как она ни старалась сбыть с души эти мгновения периодического оцепенения, сна души, к ней нет-нет да подкрадется сначала греза счастья, окружит ее голубая ночь и окует дремотой, потом опять настанет задумчивая остановка, будто отдых жизни, а затем... смущение, боязнь, томление, какая-то глухая грусть, послышатся какие-то смутные, туманные вопросы в беспокойной голове.

Ольга чутко прислушивалась, пытала себя, но ничего не выпытывала, не могла добиться, чего по временам просит, чего ищет душа, а только просит и ищет чего-то, даже будто — страшно сказать — тоскует, будто ей мало было счастливой жизни, будто она уставала от нее и требовала еще новых, небывалых явлений, заглядывала дальше вперед...

«Что ж это? — с ужасом думала она. — Ужели еще нужно и можно желать чего-нибудь? Куда же идти? Некуда! Дальше нет дороги... Ужели нет, ужели ты совершила круг жизни? Ужели тут все... все...» — говорила душа ее и чего-то не договаривала... и Ольга с тревогой озиралась вокруг, не узнал бы, не подслушал бы кто этого шепота души... Спрашивала глазами небо, море, лес... нигде нет ответа: там даль, глубь и мрак.

Природа говорила все одно и то же; в ней видела она непрерывное, но однообразное течение жизни, без начала, без конца.

Она знала, у кого спросить об этих тревогах, и нашла бы ответ, но какой? Что, если это ропот бесплодного ума или, еще хуже, жажда не созданного для симпатии, неженского сердца! Боже! Она, его кумир — без сердца, с черствым, ничем не довольным умом! Что ж из нее выйдет? Ужели синий чулок! [11] Как она падет, когда откроются перед ним эти новые, небывалые, но, конечно, известные ему страдания!

Она пряталась от него или выдумывала болезнь, когда глаза ее, против воли, теряли бархатную мягкость, глядели как-то сухо и горячо, когда на лице лежало тяжелое облако, и она, несмотря на все старания, не могла принудить себя улыбнуться, говорить, равнодушно слушала самые горячие новости политического мира, самые любопытные объяснения нового шага в науке, нового творчества в искусстве.

Между тем ей не хотелось плакать, не было внезапного трепета, как

в то время, когда играли нервы, пробуждались и высказывались ее девические силы. Нет, это не то!

«Что же это?» — с отчаянием спрашивала она, когда вдруг становилась скучна, равнодушна ко всему, в прекрасный, задумчивый вечер или за колыбелью, даже среди ласк и речей мужа...

Она вдруг как будто окаменеет и смолкнет, потом с притворной живостью суетится, чтоб скрыть свой странный недуг, или сошлется на мигрень и ляжет спать.

Но нелегко ей было укрыться от зоркого взгляда Штольца: она знала это и внутренно с такою же тревогой готовилась к разговору, когда он настанет, как некогда готовилась к исповеди прошедшего. Разговор настал.

Они однажды вечером гуляли по тополевой аллее. Она почти повисла у него на плече и глубоко молчала. Она мучилась своим неведомым припадком, и, о чем он ни заговаривал, она отвечала коротко.

— Нянька говорит, что Оленька кашляла почью. Не послать ли завтра за доктором? — спросил он.

— Я напоила ее теплым и завтра не пущу гулять, а там посмотрим! — отвечала она монотонно.

Они прошли до конца аллеи молча.

— Что ж ты не отвечала на письмо своей приятельницы, Сонечки? — спросил он. — А я все ждал, чуть не опоздал на почту. Это уж третье письмо ее без ответа.

— Да, мне хочется скорей забыть ее... — сказала она и замолчала.

— Я кланялся от тебя Бичурину, — заговорил Андрей опять, — ведь он влюблен в тебя, так, авось, утешится хоть этим немного, что пшеница его не поспеет на место в срок.

Она сухо улыбнулась.

— Что ты, спать хочешь? — спросил он.

У пей стукнуло сердце, и не в первый раз, лишь только начинались вопросы, близкие к делу.

— Нет еще, — с искусственной бодростью сказала она, — а что?

— Нездорова? — спросил он опять.

— Нет. Что тебе так кажется?

— Ну, так скучаешь!

Она крепко сжала ему обеими руками плечо.

— Нет, нет! — отнекивалась она фальшиво-развязным голосом, в котором, однако, звучала как будто в самом деле скука.

Он вывел ее из аллеи и оборотил лицом к лунному свету.

— Погляди на меня! — сказал он и пристально смотрел ей в глаза. — Можно подумать, что ты... несчастлива! Такие странные у тебя глаза сегодня, да и не сегодня только. Что с тобой, Ольга?

Он повел ее за талию опять в аллею.

— Знаешь, что: я... проголодалась! — сказала она, стараясь засмеяться.

— Не лги, не лги! Я этого не люблю! — с притворной строгостью прибавил он.

— Несчастлива! — с упреком повторила она, остановив его в аллее. — Да, несчастлива тем разве... что уж слишком счастлива! — досказала она с такой нежной, мягкой нотой в голосе, что он поцеловал ее.

Она стала смелее. Предположение, хотя легкое, шуточное, что она может быть несчастлива, неожиданно вызвало ее на откровенность.

— Не скучно мне и не может быть скучно: ты это знаешь и сам, конечно, не веришь своим словам; не больна я, а... мне грустно... бывает иногда... вот тебе — несносный человек, если от тебя нельзя спрятаться! Да, грустно, и я не знаю отчего!

Она положила ему голову на плечо.

— Вот что! Отчего же? — спросил он ее тихо, наклонившись к ней.

— Не знаю, — повторила она.

— Однако ж должна быть причина, если не во мне, не кругом тебя, так в тебе самой. Иногда такая грусть не что иное, как зародыш болезни... Здорова ли ты?

— Да, может быть, — серьезно сказала она, — это что-нибудь в этом роде, хотя я ничего не чувствую. Ты видишь, как я ем, гуляю, сплю, работаю. Вдруг как будто найдет на меня что-нибудь, какая-то хандра. мне жизнь покажется... как будто не все в ней есть... Да нет, ты не слушай: это все пустое...

— Говори, говори! — пристал он с живостью. — Ну, не все есть в жизни: что еще?

— Иногда я как будто боюсь, чтоб это не изменилось, не кончилось... не знаю сама! Или мучусь глупою мыслью: что ж будет еще? Что ж это счастье... вся жизнь... — говорила она все тише-тише, стыдясь этих вопросов, — все эти радости, горе... природа... — шептала она, — все тянет меня куда-то еще; я делаюсь ничем недовольна... Боже мой! мне даже стыдно этих глупостей — это мечтательность... Ты не замечай, не смотри. — прибавила она умоляющим голосом, ласкаясь к нему. — Эта грусть скоро проходит, и мне опять станет так светло, весело, как вот опять стало теперь!

Она жалась к нему робко и ласково, стыдясь в самом деле и как будто прося прощения «в глупостях».

Долго спрашивал ее муж, долго передавала она, как больная врачу, симптомы грусти, высказывала все глухие вопросы, рисовала ему смятение души и потом — как исчезал этот мираж — все, все, что могла припомнить, заметить.

Штольц молча опять пошел по аллее, склонив голову на грудь, погрузясь всей мыслью, с тревогой, с недоуменьем, в неясное признание жены.

Она заглядывала ему в глаза, но ничего не видела; и когда, в третий раз, они дошли до конца аллеи, она не дала ему обернуться и в свою очередь вывела его на лунный свет и вопросительно посмотрела ему в глаза.

— Что ты? — застенчиво спросила она. — Смеешься моим глупостям — да? это очень глупо, эта грусть — не правда ли?

Он молчал.

— Что ж ты молчишь?

— Ты долго молчала, хотя, конечно, знала, что я давно замечал за тобой; дай же мне помолчать и подумать. Ты мне задала нелегкую задачу.

— Вот ты теперь станешь думать, а я буду мучиться, что ты выдумываешь один про себя. Напрасно я сказала! — прибавила она. — Лучше говори что-нибудь...

— Что ж я тебе скажу? — задумчиво говорил он. — Может быть, в тебе проговаривается еще нервическое расстройство: тогда доктор, а не я, решит, что с тобой. Надо завтра послать... Если же не то... — начал он и задумался.

— Что «если же не то», говори!

Он шел, все думая.

— Да ну! — говорила она, тряся его за руку.

— Может быть, это избыток воображения: ты слишком жива... а может быть, ты созрела до той поры... — вполголоса докончил он почти про себя.

— Говори, пожалуйста, вслух, Андрей! Терпеть не могу, когда ты ворчишь про себя! — жаловалась она, — я насказала ему глупостей, а он повесил голову и шепчет что-то под нос! Мне даже страшно с тобой, здесь, в темноте...

— Что сказать — я не знаю... «грусть находит, какие-то вопросы тревожат»: что из этого поймешь? Мы поговорим опять об этом и посмотрим: кажется, надо опять купаться в море...

— Ты сказал про себя: «Если же... может быть... созрела»: что у тебя за мысль была? — спрашивала она.

— Я думал... — говорил он медленно, задумчиво высказываясь и сам не доверяя своей мысли, как будто тоже стыдясь своей речи, — вот видишь ли... бывают минуты... то есть я хочу сказать, если это не признак какого-нибудь расстройства, если ты совершенно здорова, то, может быть, ты созрела, подошла к той поре, когда остановился рост жизни... когда загадок нет, она открылась вся...

— Ты, кажется, хочешь сказать, что я состарелась? — живо перебила она. — Не смей! — Она даже погрозила ему. — Я еще молода, сильна... — прибавила она, выпрямляясь.

Он засмеялся.

— Не бойся, — сказал он, — ты, кажется, не располагаешь состареться никогда! Нет, это не то... в старости силы падают и перестают бороться с жизнью. Нет, твоя грусть, томление — если это только то, что я думаю — скорее признак силы... Поиски живого, раздраженного ума порываются иногда за житейские грани, не находят, конечно, ответов, и является грусть... временное недовольство жизнью... Это грусть души, вопрошающей жизнь о ее тайне... Может быть, и с тобой то же... Если это так — это не глупости.

Она вздохнула, но, кажется, больше от радости, что опасения ее кончились и она не падает в глазах мужа, а напротив...

— Но ведь я счастлива; ум у меня не празден; я не мечтаю; жизнь моя разнообразна — чего же еще? К чему эти вопросы? — говорила она. — Это болезнь, гнет!

Да, пожалуй, гнет для темного, слабого ума, не подготовленного к нему. Эта грусть и вопросы, может быть, многих свели с ума; иным они являются как безобразные видения, как бред ума.

— Счастье льется через край, так хочется жить. а тут вдруг примешивается какая-то горечь...

— А! Это расплата за Прометеев огонь![12] Мало того, что терпи, еще люби эту грусть и уважай сомнения и вопросы: они — переполненный избыток, роскошь жизни и являются больше на вершинах счастья, когда нет грубых желаний; они не родятся среди жизни обыденной: там не до того, где горе и нужда; толпы идут и не знают этого тумана сомнений, тоски вопросов... Но кто встретился с ними своевременно, для того они не молот, а милые гости.

— Но с ними не справишься: они дают тоску и равнодушие. почти ко всему... — нерешительно прибавила она.

— А надолго ли? Потом освежают жизнь. Они приводят к бездне, от которой не допросишься ничего, и с большей любовью заставляют опять глядеть на жизнь... Они вызывают на борьбу с собой уже испытанные силы, как будто затем, чтоб не давать им уснуть...

— Мучиться каким-то туманом, призраками! — жаловалась она. — Все светло, а тут вдруг ложится на жизнь какая-то зловещая тень! Ужели нет средств?

— Как не быть: опора в жизни! А нет ее, так и без вопросов тошно жить!

— Что ж делать? Поддаться и тосковать?

— Ничего, — сказал он, — вооружаться твердостью и терпеливо, настойчиво идти своим путем. Мы не Титаны с тобой, — продолжал он, обнимая ее, — мы не пойдем, с Манфредами и Фаустами,[13] на дерзкую борьбу с мятежными вопросами, не примем их вызова, склоним головы и смиренно переживем трудную минуту, и опять потом улыбнется жизнь, счастье и.

— А если они никогда не отстанут: грусть будет тревожить все больше, больше? — спрашивала она.

— Что ж? примем ее как новую стихию жизни. Да нет, этого не бывает, не может быть у нас! Это не твоя грусть; это общий недуг человечества. На тебя брызнула одна капля... Все это страшно, когда человек отрывается от жизни. когда нет опоры. А у нас. Дай бог, чтоб эта грусть твоя была то, что я думаю, а не признак какой-нибудь болезни. то хуже. Вот горе, перед которым я упаду без защиты, без силы. А то, ужели туман, грусть, какие-то сомнения, вопросы могут лишить нас нашего блага, нашей...

Он не договорил, а она, как безумная, бросилась к нему в объятия и, как вакханка, в страстном забытьи замерла на мгновение, обвив ему шею руками.

— Ни туман, ни грусть, ни болезнь, ни... даже смерть! — шептала она восторженно, опять счастливая, успокоенная, веселая. Никогда, казалось ей, не любила она его так страстно, как в эту минуту.

— Смотри, чтоб судьба не подслушала твоего ропота, — заключил он

суеверным замечанием, внушенным нежною предусмотрительностью, — и не сочла за неблагодарность! Она не любит, когда не ценят ее даров. До сих пор ты еще познавала жизнь, а придется испытывать ее... Вот погоди, когда разыграется она, настанут горе и труд... а они настанут — тогда... не до этих вопросов... Береги силы! — прибавил тихо, почти про себя, Штольц в ответ на ее страстный порыв. В словах его звучала грусть, как будто он уже видел вдали и «горе, и труд».

Она молчала, мгновенно пораженная грустным звуком его голоса. Она безгранично верила ему, верила и его голосу. Она заразилась его задумчивостью, сосредоточилась, ушла в себя.

Опершись на него, машинально и медленно ходила она по аллее, погруженная в упорное молчание. Она боязливо, вслед за мужем, глядела в даль жизни, туда, где, по словам его, настанет пора «испытаний», где ждут «горе и труд».

Ей стал сниться другой сон, не голубая ночь, открывался другой край жизни, не прозрачный и праздничный, в затишье, среди безграничного обилия, наедине с *ним*...

Нет, там видела она цепь утрат, лишений, омываемых слезами, неизбежных жертв, жизнь поста и невольного отречения от рождающихся в праздности прихотей, вопли и стоны от новых, теперь неведомых им чувств; снились ей болезни, расстройство дел, потеря мужа...

Она содрогалась, изнемогала, но с мужественным любопытством глядела на этот новый образ жизни, озирала его с ужасом и измеряла свои силы. Одна только любовь не изменяла ей и в этом сне, она стояла верным стражем и новой жизни; но и она была не та!

Нет ее горячего дыхания, нет светлых лучей и голубой ночи; через годы все это казалось играми детства перед той далекой любовью, которую восприняла в себя глубокая и грозная жизнь. Там не слыхать поцелуев и смеха, ни трепетно-задумчивых бесед в боскете, среди цветов, на празднике природы и жизни.. Все «поблекло и отошло».

Та неувядающая и негибнущая любовь лежала могуче, как сила жизни, на лицах их — в годину дружной скорби светилась в медленно и молча обмененном взгляде совокупного страдания, слышалась в бесконечном взаимном терпении против жизненной пытки, в сдержанных слезах и заглушенных рыданиях...

В туманную грусть и вопросы, посещавшие Ольгу, тихо вселились другие, хотя отдаленные, но ясные, определенные и грозные сны...

Под успокоительным и твердым словом мужа, в безграничном доверии к нему отдыхала Ольга и от своей загадочной, не всем знакомой грусти, и от вещих и грозных снов будущего, шла бодро вперед.

После «тумана» наставало светлое утро, с заботами матери, хозяйки; там манил к себе цветник и поле, там кабинет мужа. Только не с беззаботным самонаслаждением играла она жизнью, а с затаенной и бодрой мыслью жила она, готовилась, ждала...

Она росла все выше, выше. Андрей видел, что прежний идеал его женщины и жены недосягаем, но он был счастлив и бледным отражением его в Ольге: он не ожидал никогда и этого.

Между тем и ему долго, почти всю жизнь предстояла еще немалая забота поддерживать на одной высоте свое достоинство мужчины в глазах самолюбивой, гордой Ольги не из пошлой ревности, а для того, чтоб не помрачилась эта хрустальная жизнь; а это могло бы случиться, если б хоть немного поколебалась ее вера в него.

Многим женщинам не нужно ничего этого: раз вышедши замуж, они покорно принимают и хорошие и дурные качества мужа, безусловно мирятся с приготовленным им положением и сферой или так же покорно уступают первому случайному увлечению, сразу признавая невозможным или не находя нужным противиться ему: «Судьба, дескать, страсти, женщина — создание слабое» и т. д.

Даже если муж и превышает толпу умом — этой обаятельной силой в мужчине, такие женщины гордятся этим преимуществом мужа, как каким-нибудь дорогим ожерельем, и то в таком только случае, если ум этот остается слеп на их жалкие, женские проделки. А если он осмелится прозирать в мелочную комедию их лукавого, ничтожного, иногда порочного существования, им делается тяжело и тесно от этого ума.

Ольга не знала этой логики покорности слепой судьбе и не понимала женских страстишек и увлечений. Признав раз в избранном человеке достоинство и права на себя, она верила в него и потому любила, а переставала верить — переставала и любить, как случилось с Обломовым.

Но там еще шаги ее были нерешительны, воля шатка; она только что вглядывалась и вдумывалась в жизнь, только приводила в сознание стихии своего ума и характера и собирала материалы; дело создания еще не начиналось, пути жизни угаданы не были.

Но теперь она уверовала в Андрея не слепо, а с сознаньем, и в нем воплотился ее идеал мужского совершенства. Чем больше, чем сознательнее она веровала в него, тем труднее было ему держаться на одной высоте, быть героем не ума ее и сердца только, но и воображения. А она веровала в него так, что не признавала между ним и собой другого посредника, другой инстанции, кроме бога.

Оттого она не снесла бы понижения ни на волос признанных ею достоинств; всякая фальшивая нота в его характере или уме произвела бы потрясающий диссонанс. Разрушенное здание счастья погребло бы ее под развалинами, или, если б еще уцелели ее силы, она бы искала..

Да нет, такие женщины не ошибаются два раза. После упадка такой веры, такой любви, возрождение невозможно.

Штольц был глубоко счастлив своей наполненной, волнующейся жизнью, в которой цвела неувядаемая весна, и ревниво, деятельно, зорко возделывал, берег и лелеял ее. Со дна души поднимался ужас тогда только, когда он вспоминал, что Ольга была на волос от гибели, что эта угаданная дорога — их два существования, слившиеся в одно, могли разойтись; что незнание путей жизни могло дать исполниться гибельной ошибке, что Обломов...

Он вздрагивал. Как! Ольга в той жизни, которую Обломов ей готовил! Она — среди переползанья изо дня в день, деревенская барыня, нянька своих детей, хозяйка — и только!

Все вопросы, сомнения, вся лихорадка жизни уходила бы на заботы по хозяйству, на ожидания праздников, гостей, семейных съездов, на родины, крестины, в апатию и сон мужа!

Брак был бы только формой, а не содержанием, средством, а не целью; служил бы широкой и неизменной рамкой для визитов, приема гостей, обедов и вечеров, пустой болтовни?

Как же она вынесет эту жизнь? Сначала бьется, отыскивая и угадывая тайну жизни, плачет, мучится, потом привыкает, толстеет, ест, спит, тупеет.

Нет, не так бы с ней было: она — плачет, мучится, чахнет и умирает в объятиях любящего, доброго и бессильного мужа... Бедная Ольга!

А если огонь не угаснет, жизнь не умрет, если силы устоят и запросят свободы, если она взмахнет крыльями, как сильная и зоркая орлица, на миг плененная слабыми руками, и ринется на ту высокую скалу, где видит орла, который еще сильнее и зорче ее? Бедный Илья!

— Бедный Илья! — сказал однажды Андрей вслух, вспомнив прошлое.

Ольга, при этом имени, вдруг опустила руки с вышиваньем на колени, откинула голову назад и глубоко задумалась. Восклицание вызвало воспоминание.

— Что с ним? — спросила она потом. — Ужели нельзя узнать?

Андрей пожал плечами.

— Подумаешь, — сказал он, — что мы живем в то время, когда не было почт, когда люди, разъехавшись в разные стороны, считали друг друга погибшими и в самом деле пропадали без вести.

— Ты бы написал опять к кому-нибудь из своих приятелей: узнали б по крайней мере...

— Ничего не узнали бы, кроме того, что мы уже знаем: жив, здоров, на той же квартире — это я и без приятелей знаю. А что с ним, как он переносит свою жизнь, умер ли он нравственно, или еще тлеет искра жизни — этого посторонний не узнает.

— Ах, не говори так, Андрей: мне страшно и больно слушать! Мне и хотелось бы, и боюсь знать...

Она готова была заплакать.

— Весной будем в Петербурге, — узнаем сами.

— Этого мало, что узнаем, надо сделать все...

— А я разве не делал? Мало ли я его уговаривал, хлопотал за него, устроил его дела — а он хоть бы откликнулся на это! При свидании готов на все, а чуть с глаз долой — и прощай: опять заснул. Возишься, как с пьяницей!

— Зачем с глаз долой? — нетерпеливо возразила Ольга. — С ним надо действовать решительно: взять его с собой в карету и увезти. Теперь же мы переселяемся в имение; он будет близко от нас... мы возьмем его с собой.

— Вот далась нам с тобой забота! — рассуждал Андрей, ходя взад и вперед по комнате. — И конца ей нет!

— Ты тяготишься ею? — сказала Ольга. — Это новость! Я в первый раз слышу твой ропот на эту заботу.

— Я не ропщу, — отвечал Андрей, — а рассуждаю.

— А откуда взялось это рассуждение? Ты сознался себе самому, что это скучно, беспокойно — да?

Она поглядела на него пытливо. Он покачал отрицательно головой.

— Нет, не беспокойно, а бесполезно: это я иногда думаю.

— Не говори, не говори! — остановила его она. — Я опять, как на той неделе, буду целый день думать об этом и тосковать. Если в тебе погасла дружба к нему, так из любви к человеку ты должен нести эту заботу. Если ты устанешь, я одна пойду и не выйду без него: он тронется моими просьбами; я чувствую, что я заплачу горько, если увижу его убитого, мертвого! Может быть, слезы. .

— Воскресят, ты думаешь? — перебил Андрей.

— Нет, не воскресят к деятельности, по крайней мере заставят его оглянуться вокруг себя и переменить свою жизнь на что-нибудь лучшее. Он будет не в грязи, а близь равных себе, с нами. Я только появилась тогда — и он в одну минуту очнулся и застыдился. . .

— Уж не любишь ли ты его по-прежнему? — спросил Андрей шутя.

— Нет! — не шутя, задумчиво, как бы глядя в прошедшее, говорила Ольга. — Я люблю его не по-прежнему, но есть что-то, что я люблю в нем, чему я, кажется, осталась верна и не изменюсь, как иные. . .

— Кто же это иные? Скажи, ядовитая змея, уязви, ужаль: я, что ли? Ошибаешься. А если хочешь знать правду, так я и тебя научил любить его и чуть не довел до добра. Без меня ты бы прошла мимо его, не заметив. Я дал тебе понять, что в нем есть и ума не меньше других, только зарыт, задавлен он всякою дрянью и заснул в праздности. Хочешь, я скажу тебе, отчего он тебе дорог, за что ты еще любишь его?

Она кивнула, в знак согласия, головой.

— За то, что в нем дороже всякого ума: честное, верное сердце! Это его природное золото; он невредимо пронес его сквозь жизнь. Он падал от толчков, охлаждался, заснул, наконец, убитый, разочарованный, потеряв силу жить, но не потерял честности и верности. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало к нему грязи. Не обольстит его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечет на фальшивый путь; пусть волнуется около него целый океан дряни, зла, пусть весь мир отравится ядом и пойдет навыворот — никогда Обломов не поклонится идолу лжи, в душе его всегда будет чисто, светло, честно. Это хрустальная, прозрачная душа; таких людей мало; они редки; это перлы в толпе![14] Его сердца не подкупишь ничем; на него всюду и везде можно положиться. Вот чему ты осталась верна и почему забота о нем никогда не будет тяжела мне. Многих людей я знал с высокими качествами, но никогда не встречал сердца чище, светлее и проще; многих любил я, но никого так прочно и горячо, как Обломова. Узнав раз, его разлюбить нельзя. Так это? Угадал?

Ольга молчала, потупя глаза на работу. Андрей задумался.

— Ужели не все тут? Что же еще? Ах! — очнувшись, весело прибавил потом. — Совсем забыл «голубиную нежность»...

Ольга засмеялась, проворно оставила свое шитье, подбежала к Андрею, обвила его шею руками, несколько минут поглядела лучистыми глазами прямо ему в глаза, потом задумалась, положив голову на плечо мужа. В ее воспоминании воскресло кроткое, задумчивое лицо Обломова, его нежный взгляд, покорность, потом его жалкая, стыдливая улыбка, которою он при разлуке ответил на ее упрек... и ей стало так больно, так жаль его...

— Ты его не оставишь, не бросишь? — говорила она, не отнимая рук от шеи мужа.

— Никогда! Разве бездна какая-нибудь откроется неожиданно между нами, стена встанет...

Она поцеловала мужа.

— В Петербурге ты возьмешь меня к нему?

Он нерешительно молчал.

— Да? да? — настойчиво требовала она ответа.

— Послушай, Ольга, — сказал он, стараясь освободить шею от кольца ее рук, — прежде надо...

— Нет, скажи: да, обещай, я не отстану!

— Пожалуй, — отвечал он, — но только не в первый, а во второй раз: я знаю, что с тобой будет, если он.

— Не говори, не говори! — перебила она. — Да, ты возьмешь меня: вдвоем мы сделаем все. Один ты не сумеешь, не захочешь!

— Пусть так; но ты расстроишься и, может быть, надолго, — сказал он, не совсем довольный, что Ольга вынудила у него согласие.

— Помни же, — заключила она, садясь на свое место, — что ты отступишься только тогда, когда «откроется бездна или встанет стена» между ним и тобой. Я не забуду этих слов.

IX

Мир и тишина покоятся над Выборгской стороной, над ее немощеными улицами, деревянными тротуарами, над тощими садами, над заросшими крапивой канавами, где под забором какая-нибудь коза, с оборванной веревкой на шее, прилежно щиплет траву или дремлет тупо, да в полдень простучат щегольские, высокие каблуки прошедшего по тротуару писаря, зашевелится кисейная занавеска в окошке и из-за ерани выглянет чиновница, или вдруг над забором, в саду, мгновенно выскочит и в ту ж минуту спрячется веселое, свежее лицо девушки, вслед за ним выскочит другое такое же лицо и также исчезнет, потом явится опять первое и сменится вторым; раздается визг и хохот качающихся на качелях девушек.

Все тихо и в доме Пшеницыной. Войдешь на дворик и будешь охвачен живой идиллией: куры и петухи засуетятся и побегут прятаться в углы; собака начнет скакать на цепи, заливаясь лаем; Акулина пере-

станет доить корову, а дворник остановится рубить дрова, и оба с любопытством посмотрят на посетителя.

«Кого вам?» — спросит он и, услыхав имя Ильи Ильича или хозяйки дома, молча укажет крыльцо и примется опять рубить дрова, а посетитель по чистой, усыпанной песком тропинке пойдет к крыльцу, на ступеньках которого постлан простой, чистый коврик, дернет за медную, ярко вычищенную ручку колокольчика, и дверь отворит Анисья, дети, иногда сама хозяйка или Захар — Захар после всех.

Все в доме Пшеницыной дышало таким обилием и полнотой хозяйства, какой не бывало и прежде, когда Агафья Матвевна жила одним домом с братцем.

Кухня, чуланы, буфет — все было установлено поставцами с посудой, большими и небольшими, круглыми и овальными блюдами, соусниками, чашками, грудами тарелок, горшками чугунными, медными и глиняными.

В шкафах разложено было и свое, давным-давно выкупленное и никогда не закладываемое теперь серебро, и серебро Обломова.

Целые ряды огромных, пузатых и миньятюрных чайников и несколько рядов фарфоровых чашек, простых, с живописью, с позолотой, с девизами, с пылающими сердцами, с китайцами. Большие стеклянные банки с кофе, корицей, ванилью, хрустальные чайницы, судки с маслом, с уксусом.

Потом целые полки загромождены были пачками, склянками, коробочками с домашними лекарствами, с травами, примочками, пластырями, спиртами, камфарой, с порошками, с куреньями; тут же было мыло, снадобья для чищенья кружев, выведения пятен и прочее, и прочее — все, что найдешь в любом доме всякой провинции, у всякой домовитой хозяйки.

Когда Агафья Матвеевна внезапно отворит двери шкафа, исполненного всех этих принадлежностей, то сама не устоит против букета всех наркотических запахов и на первых порах на минуту отворотит лицо в сторону.

В кладовой к потолку привешены были окорока, чтоб не портили мыши, сыры, головы сахару, провесная рыба, мешки с сушеными грибами, купленными у чухонца орехами.

На полу стояли кадки масла, большие крытые корчаги [1] с сметаной, корзины с яйцами — и чего-чего не было! Надо перо другого Гомера, чтоб исчислить с полнотой и подробностью [2] все, что скоплено было во всех углах, на всех полках этого маленького ковчега домашней жизни.

Кухня была истинным палладиумом деятельности великой хозяйки [3] и ее достойной помощницы, Анисьи. Все было в доме и все под рукой, на своем месте, во всем порядок и — чистота, можно бы сказать, если б не оставался один угол в целом доме, куда никогда не проникал ни луч света, ни струя свежего воздуха, ни глаз хозяйки, ни проворная, всесметающая рука Анисьи. Это угол или гнездо Захара.

Комнатка его была без окна, и вечная темнота способствовала к устройству из человеческого жилья темной норы. Если Захар заставал

иногда там хозяйку с какими-нибудь планами улучшений и очищений, он твердо объявлял, что это не женское дело разбирать, где и как должны лежать щетки, вакса и сапоги, что никому дела нет до того, зачем у него платье лежит в куче на полу, а постель в углу за печкой, в пыли, что *он* носит платье и спит на этой постели, а не она. А что касается веника, досок, двух кирпичей, днища бочки и двух полен, которые он держит у себя в комнате, так ему без них в хозяйстве обойтись нельзя, а почему — он не объяснял; далее, что пыль и пауки ему не мешают и, словом, что он не сует носа к ним в кухню, следовательно, не желает, чтоб и его трогали.

Анисью, которую он однажды застал там, он обдал таким презрением, погрозил так серьезно локтем в грудь, что она боялась заглядывать к нему. Когда дело было перенесено в высшую инстанцию, на благоусмотрение Ильи Ильича, барин пошел было осмотреть и распорядиться как следует, построже, но, всунув в дверь к Захару одну голову и поглядев с минуту на все, что там было, он только плюнул и не сказал ни слова.

— Что, взяли? — примолвил Захар Агафье Матвевне и Анисье, которые пришли с Ильей Ильичом, надеясь, что его участие поведет к какой-нибудь реформе. Потом он усмехнулся по-своему, во все лицо, так что брови и бакенбарды подались в стороны.

В прочих комнатах везде было светло, чисто и свежо. Старые, полинялые занавески исчезли, и окна и двери гостиной и кабинета осенялись синими и зелеными драпри и кисейными занавесками с красными фестонами — всё работа рук Агафьи Матвевны.

Подушки белели, как снег, и горой возвышались чуть не до потолка; одеяла шелковые, стеганые.

Целые недели комната хозяйки была загромождена несколькими раскинутыми и приставленными один к другому ломберными столами, на которых расстилались эти одеяла и халат Ильи Ильича.

Агафья Матвевна собственноручно кроила, подкладывала ватой и простегивала их, припадая к работе своею крепкой грудью, впиваясь в нее глазами, даже ртом, когда надо было откусить нитку, и трудилась с любовью, с неутомимым прилежанием, скромно награждая себя мыслью, что халат и одеяла будут облекать, греть, нежить и покоить великолепного Илью Ильича.

Он целые дни, лежа у себя на диване, любовался, как обнаженные локти ее двигались взад и вперед, вслед за иглой и ниткой. Он не раз дремал под шипенье продеваемой и треск откушенной нитки, как бывало в Обломовке.

— Полноте работать, устанете! — унимал он ее.

— Бог труды любит! — отвечала она, не отводя глаз и рук от работы.

Кофе подавался ему так же тщательно, чисто и вкусно, как вначале, когда он, несколько лет назад, переехал на эту квартиру. Суп с потрохами, макароны с пармезаном,[4] кулебяка, ботвинье, свои цыплята — все это сменялось в строгой очереди одно другим и приятно разнообразило монотонные дни маленького домика.

В окна с утра до вечера бил радостный луч солнца, полдня на одну сторону, полдня на другую, не загораживаемый ничем благодаря огородам с обеих сторон.

Канарейки весело трещали; ерань и порой приносимые детьми из графского сада гиацинты изливали в маленькой комнатке сильный запах, приятно мешавшийся с дымом чистой гаванской сигары да корицы или ванили, которую толкла, энергически двигая локтями, хозяйка.

Илья Ильич жил как будто в золотой рамке жизни, в которой, точно в диораме,[5] только менялись обычные фазисы дня и ночи и времен года; других перемен, особенно крупных случайностей, возмущающих со дна жизни весь осадок, часто горький и мутный, не бывало.

С тех пор, как Штольц выручил Обломовку от воровских долгов братца, как братец и Тарантьев удалились совсем, с ними удалилось и все враждебное из жизни Ильи Ильича. Его окружали теперь такие простые, добрые, любящие лица, которые все согласились своим существованием подпереть его жизнь, помогать ему не замечать ее, не чувствовать.

Агафья Матвеевна была в зените своей жизни; она жила и чувствовала, что жила полно, как прежде никогда не жила, но только высказать этого, как и прежде, никогда не могла, или, лучше, ей в голову об этом не приходило. Она только молила бога, чтоб он продлил веку Илье Ильичу и чтоб избавил его от всякой «скорби, гнева и нужды»,[6] а себя, детей своих и весь дом предавала на волю божию. Зато лицо ее постоянно высказывало одно и то же счастье, полное, удовлетворенное и без желаний, следовательно, редкое и при всякой другой натуре невозможное.

Она пополнела; грудь и плечи сияли тем же довольством и полнотой, в глазах светились кротость и только хозяйственная заботливость. К ней воротились то достоинство и спокойствие, с которыми она прежде властвовала над домом, среди покорных Анисьи, Акулины и дворника. Она по-прежнему не ходит, а будто плавает, от шкафа к кухне, от кухни к кладовой, и мерно, неторопливо отдает приказания с полным сознанием того, что делает.

Анисья стала еще живее прежнего, потому что работы стало больше: все у ней так и кипит в руках, все она движется, суетится, бегает, работает, все по слову хозяйки. Глаза у ней даже ярче, и нос, этот говорящий нос, так и выставляется прежде всей ее особы, так и рдеет заботой, мыслями, намерениями, так и говорит, хотя язык и молчит.

Обе они одеты каждая сообразно достоинству своего сана и должностей. У хозяйки завелся большой шкаф с рядом шелковых платьев, мантилий и салопов; чепцы заказывались на той стороне, чуть ли не на Литейной, башмаки не с Апраксина, а из Гостиного двора, а шляпка — представьте, из Морской![7] И Анисья, когда отстряпает, а особенно в воскресенье, надевает шерстяное платье.

Только Акулина все ходит с заткнутым за пояс подолом, да дворник не может, даже в летние каникулы, расстаться с полушубком.

Про Захара и говорить нечего: этот из серого фрака сделал себе куртку, и нельзя решить, какого цвета у него панталоны, из чего сделан



Невский проспект, дом 11, угол Малой Морской (ныне ул. Гоголя). 1830—1835 гг.

его галстук. Он чистит сапоги, потом спит, сидит у ворот, тупо глядя на редких прохожих, или, наконец, сидит в ближней мелочной лавочке и делает все то же и так же, что делал прежде, сначала в Обломовке, потом в Гороховой.

А сам Обломов? Сам Обломов был полным и естественным отражением и выражением того покоя, довольства и безмятежной тишины. Вглядываясь, вдумываясь в свой быт и все более и более обживаясь в нем, он, наконец, решил, что ему некуда больше идти, нечего искать, что идеал его жизни осуществился, хотя без поэзии, без тех лучей, которыми некогда воображение рисовало ему барское, широкое и беспечное течение жизни в родной деревне, среди крестьян, дворни.

Он смотрел на настоящий свой быт, как на продолжение того же обломовского существования, только с другим колоритом местности и, отчасти, времени. И здесь, как в Обломовке, ему удавалось дешево отделываться от жизни, выторговать у ней и застраховать себе невозмутимый покой.

Он торжествовал внутренно, что ушел от ее докучливых, мучительных требований и гроз, из-под того горизонта, под которым блещут молнии великих радостей и раздаются внезапные удары великих скорбей, где играют ложные надежды и великолепные призраки счастья, где гложет и снедает человека собственная мысль и убивает страсть, где падает и торжествует ум, где сражается в непрестанной битве человек и уходит с поля битвы истерзанный и все недовольный и ненасытимый. Он, не испытав наслаждений, добываемых в борьбе, мысленно отказался от них и чувствовал покой в душе только в забытом уголке, чуждом движения, борьбы и жизни.

А если закипит еще у него воображение, восстанут забытые воспоминания, неисполненные мечты, если в совести зашевелятся упреки за прожитую так, а не иначе жизнь — он спит непокойно, просыпается, вскакивает с постели, иногда плачет холодными слезами безнадежности по светлом, навсегда угаснувшем идеале жизни, как плачут по дорогом усопшем, с горьким чувством сознания, что недовольно сделали для него при жизни.

Потом он взглянет на окружающее его, вкусит временных благ и успокоится, задумчиво глядя, как тихо и покойно утопает в пожаре зари вечернее солнце, наконец, решит, что жизнь его не только сложилась, но и создана, даже предназначена была так просто, немудрено, чтоб выразить возможность идеально покойной стороны человеческого бытия.

Другим, думал он, выпадало на долю выражать ее тревожные стороны, двигать созидающими и разрушающими силами: у всякого свое назначение!

Вот какая философия выработалась у обломовского Платона и убаюкивала его среди вопросов и строгих требований долга и назначения![8] И родился и воспитан он был не как гладиатор для арены, а как мирный зритель боя; не вынести бы его робкой и ленивой душе ни тревог счастья, ни ударов жизни — следовательно, он выразил собою один ее край, и добиваться, менять в ней что-нибудь или каяться — нечего.

С летами волнения и раскаяние являлись реже, и он тихо и постепенно укладывался в простой и широкий гроб остального своего существования, сделанный собственными руками, как старцы пустынные, которые, отворотясь от жизни, копают себе могилу.

Он уж перестал мечтать об устройстве имения и о поездке туда всем домом. Поставленный Штольцем управляющий аккуратно присылал ему весьма порядочный доход, к Рождеству мужики привозили хлеба и живности, и дом процветал обилием и весельем.

Илья Ильич завел даже пару лошадей, но, из свойственной ему осторожности, таких, что они только после третьего кнута трогались от крыльца, а при первом и втором ударе одна лошадь пошатнется и ступит в сторону, потом вторая лошадь пошатнется и ступит в сторону, потом уже, вытянув напряженно шею, спину и хвост, двинутся они разом и побегут, кивая головами. На них возили Ваню на ту сторону Невы, в гимназию, да хозяйка ездила за разными покупками.

На масленице и на Святой вся семья и сам Илья Ильич ездили на гулянье кататься и в балаганы; брали изредка ложу и посещали, также всем домом, театр.

Летом отправлялись за город, в ильинскую пятницу — на Пороховые Заводы, и жизнь чередовалась обычными явлениями, не внося губительных перемен, можно было бы сказать, если б удары жизни вовсе не достигали маленьких мирных уголков. Но, к несчастью, громовой удар, потрясая основания гор и огромные воздушные пространства, раздается и в норке мыши, хотя слабее, глуше, но для норки ощутительно.

Илья Ильич кушал аппетитно и много, как в Обломовке, ходил и

работал лениво и мало, тоже как в Обломовке. Он, несмотря на нарастающие лета, беспечно пил вино, смородиновую водку и еще беспечнее и подолгу спал после обеда.

Вдруг все это переменилось.

Однажды, после дневного отдыха и дремоты, он хотел встать с дивана и не мог, хотел выговорить слово — и язык не повиновался ему. Он в испуге махал только рукой, призывая к себе на помощь.

Живи он с одним Захаром, он мог бы телеграфировать рукой до утра и, наконец, умереть, о чем узнали бы на другой день, но глаз хозяйки светил над ним, как око провидения: ей не нужно было ума, а только догадка сердца, что Илья Ильич что-то не в себе.

И только эта догадка озарила ее, Анисья летела уже на извозчике за доктором, а хозяйка обложила голову ему льдом и разом вытащила из заветного шкафчика все спирты, примочки — все, что навык и наслышка указывали ей употребить в дело. Даже Захар успел в это время надеть один сапог и так, об одном сапоге, ухаживал вместе с доктором, хозяйкой и Анисьей около барина.

Илью Ильича привели в чувство, пустили кровь и потом объявили, что это был апоплексический удар и что ему надо повести другой образ жизни.

Водка, пиво и вино, кофе, с немногими и редкими исключениями, потом все жирное, мясное, пряное было ему запрещено, а вместо этого предписано ежедневное движение и умеренный сон только ночью.

Без ока Агафьи Матвевны ничего бы этого не состоялось, но она умела ввести эту систему тем, что подчинила ей весь дом и то хитростью, то лаской отвлекала Обломова от соблазнительных покушений на вино, на послеобеденную дремоту, на жирные кулебяки.

Чуть он вздремнет, падал стул в комнате, так, сам собою, или с шумом разбивалась старая, негодная посуда в соседней комнате, а не то зашумят дети — хоть вон беги! Если это не поможет, раздавался ее кроткий голос: она звала его и спрашивала о чем-нибудь.

Дорожка сада продолжена была в огород, и Илья Ильич совершал утром и вечером по ней двухчасовое хождение. С ним ходила она, а нельзя ей, так Маша, или Ваня, или старый знакомый, безответный, всему покорный и на все согласный Алексеев.

Вот Илья Ильич идет медленно по дорожке, опираясь на плечо Вани. Ваня уж почти юноша, в гимназическом мундире, едва сдерживает свой бодрый, торопливый шаг, подлаживаясь под походку Ильи Ильича. Обломов не совсем свободно ступает одной ногой — следы удара.

— Ну, пойдем, Ванюша, в комнату! — сказал он.

Они было направились к двери. Навстречу им появилась Агафья Матвевна.

— Куда это вы так рано? — спросила она, не давая войти.

— Что за рано! Мы раз двадцать взад и вперед прошли, а ведь отсюда до забора пятьдесят сажен, значит, две версты.

— Сколько раз прошли? — спросила она Ванюшу.

Тот было замялся.

— Не ври, смотри у меня! — грозила она, глядя ему в глаза. — Я сейчас увижу. Помни воскресенье, не пущу в гости.

— Нет, маменька, право, мы раз. . двенадцать прошли.

— Ах ты, плут этакой! — сказал Обломов. — Ты все акацию щипал, а я считал всякий раз.

— Нет, походите еще: у меня и уха не готова! — решила хозяйка и захлопнула перед ними дверь.

И Обломов волей-неволей отсчитал еще восемь раз, потом уже пришел в комнату.

Там, на большом круглом столе, дымилась уха. Обломов сел на свое место, один на диване, около него, справа на стуле, Агафья Матвевна, налево, на маленьком детском стуле с задвижкой, усаживался какой-то ребенок лет трех. Подле него садилась Маша, уже девочка лет тринадцати, потом Ваня и, наконец, в этот день и Алексеев сидел напротив Обломова.

— Вот постойте, дайте еще я положу вам ершика: жирный такой попался! — говорила Агафья Матвевна, подкладывая Обломову в тарелку ершика.

— Хорошо бы к этому пирог! — сказал Обломов.

— Забыла, право забыла! А хотела еще с вечера, да память у меня словно отшибло! — схитрила Агафья Матвевна.

— И вам тоже, Иван Алексеич, забыла капусты к котлетам приготовить, — прибавила она, обращаясь к Алексееву. — Не взыщите.

И опять схитрила.

— Ничего-с: я все могу есть, — сказал Алексеев.

— Что это, в самом деле, не приготовят ему ветчины с горошком или бифштекс? — спросил Обломов. — Он любит. . .

— Сама ходила, смотрела, Илья Ильич, не было хорошей говядины! Зато вам кисель из вишневого сиропа велела сделать: знаю, что вы охотник, — добавила она, обращаясь к Алексееву.

Кисель был безвреден для Ильи Ильича, и потому его должен был любить и есть на все согласный Алексеев.

После обеда никто и ничто не могло отклонить Обломова от лежанья. Он обыкновенно ложился тут же на диване на спину, но только полежать часок. Чтоб он не спал, хозяйка наливала тут же, на диване, кофе, тут же играли на ковре дети, и Илья Ильич волей-неволей должен был принимать участие.

— Полно дразнить Андрюшу: он сейчас заплачет! — журил он Ванечку, когда тот дразнил ребенка.

— Машенька, смотри, Андрюша ушибется об стул! — заботливо предостерегал он, когда ребенок залезал под стулья.

И Маша бросалась доставать «братца», как она называла его.

Все замолкло на минуту, хозяйка вышла на кухню посмотреть, готов ли кофе. Дети присмирели. В комнате послышалось храпенье, сначала тихое, как под сурдинкой, потом громче, и когда Агафья Матвевна появилась с дымящимся кофейником, ее поразило храпенье, как в ямской избе.

Она, с упреком, покачала головой Алексееву.

— Я будил, да они не слушают! — сказал в свое оправдание Алексеев.

Она быстро поставила кофейник на стол, схватила с пола Андрюшу и тихонько посадила его на диван к Илье Ильичу. Ребенок пополз по нем, добрался до лица и схватил за нос.

— А! Что? Кто это? — беспокойно говорил очнувшийся Илья Ильич.

— Вы задремали, а Андрюша влез да разбудил вас, — ласково сказала хозяйка.

— Когда же я задремал? — оправдывался Обломов, принимая Андрюшу в объятия. — Разве я не слыхал, как он ручонками карабкался ко мне? Я все слышу! Ах, шалун этакой: за нос поймал! Вот я тебя! Вот постой, постой! — говорил он, нежа и лаская ребенка. Потом спустил его на пол и вздохнул на всю комнату.

— Расскажите что-нибудь, Иван Алексеич! — сказал он.

— Все переговорили, Илья Ильич; нечего рассказывать, — отвечал тот.

— Ну, как нечего? Вы бываете в людях: нет ли чего новенького? Я думаю, читаете?

— Да-с, иногда читаю, или другие читают, разговаривают, а я слушаю. Вот вчера у Алексея Спиридоныча сын, студент, читал вслух.

— Что ж он читал?

— Про англичан, что они ружья да пороху кому-то привезли. Алексей Спиридоныч сказали, что война будет.

— Кому же они привезли?

— В Испанию или в Индию — не помню, только посланник был очень недоволен.

— Какой же посланник?

— Вот уж это забыл! — сказал Алексеев, поднимая нос к потолку и стараясь вспомнить.

— С кем война-то?

— С турецким пашой, кажется.

— Ну, что еще нового в политике? — спросил, помолчав, Илья Ильич.

— Да пишут, что земной шар все охлаждается: когда-нибудь замерзнет весь.

— Разве это политика? — сказал Обломов.

Алексеев оторопел.

— Дмитрий Алексеич сначала упомянули политику, — оправдывался он, — а потом все сподряд читали и не сказали, когда она кончится. Я знаю, что уж это литература пошла.

— Что же он о литературе-то читал? — спросил Обломов.

— Да читал, что самые лучшие сочинители Дмитриев,[9] Карамзин, Батюшков и Жуковский...

— А Пушкин?

— Пушкина нет там. Я сам тоже подумал, отчего его нет! Ведь он *х*ений, — сказал Алексеев, произнося *г*, как *х*.

Последовало молчание. Хозяйка принесла работу и принялась сновать иглой взад и вперед, поглядывая по временам на Илью Ильича, на Алексеева и прислушиваясь чуткими ушами, нет ли где беспорядка, шума, не бранится ли на кухне Захар с Анисьей, моет ли посуду Акулина, не скрипнула ли калитка на дворе, то есть не отлучился ли дворник в «заведение».

Обломов тихо погрузился в молчание и задумчивость. Эта задумчивость была не сон и не бдение: он беспечно пустил мысли бродить по воле, не сосредоточивая их ни на чем, покойно слушал мерное биение сердца и изредка ровно мигал, как человек, ни на что не устремляющий глаз. Он впал в неопределенное, загадочное состояние, род галлюцинации.

На человека иногда нисходят редкие и краткие задумчивые мгновения, когда ему кажется, что он переживает в другой раз когда-то и где-то прожитой момент. Во сне ли он видел происходящее перед ним явление, жил ли когда-нибудь прежде, да забыл, но он видит: те же лица сидят около него, какие сидели тогда, те же слова были произнесены уже однажды: воображение бессильно перенести опять туда, память не воскрешает прошлого и наводит раздумье.

То же было с Обломовым теперь. Его осеняет какая-то, бывшая уже где-то тишина, качается знакомый маятник, слышится треск откушенной нитки; повторяются знакомые слова и шепот: «Вот никак не могу попасть ниткой в иглу: на-ка ты, Маша, у тебя глаза повострее!».

Он лениво, машинально, будто в забытьи, глядит в лицо хозяйки, и из глубины его воспоминаний возникает знакомый, где-то виденный им образ. Он добирался, когда и где слышал он это...

И видится ему большая темная, освещенная сальной свечкой гостиная в родительском доме, сидящая за круглым столом покойная мать и ее гостьи: они шьют молча; отец ходит молча. Настоящее и прошлое слились и перемешались.

Грезится ему, что он достиг той обетованной земли,[10] где текут реки меду и молока, где едят незаработанный хлеб, ходят в золоте и серебре...

Слышит он рассказы снов, примет, звон тарелок и стук ножей, жмется к няне, прислушивается к ее старческому, дребезжащему голосу: «Милитриса Кирбитьевна!» — говорит она, указывая ему на образ хозяйки.

Кажется ему, то же облачко плывет в синем небе, как тогда, тот же ветерок дует в окно и играет его волосами; обломовский индейский петух ходит и горланит под окном.

Вон залаяла собака: должно быть, гость приехал. Уж не Андрей ли приехал с отцом из Верхлёва? Это был праздник для него. В самом деле, должно быть он: шаги ближе, ближе, отворяется дверь... «Андрей!» — говорит он. В самом деле, перед ним Андрей, но не мальчик, а зрелый мужчина.

Обломов очнулся: перед ним наяву, не в галлюцинации, стоял настоящий, действительный Штольц.

Хозяйка быстро схватила ребенка, стащила свою работу со стола, увела детей; исчез и Алексеев. Штольц и Обломов остались вдвоем, молча и неподвижно глядя друг на друга. Штольц так и пронзал его глазами.

— Ты ли это, Андрей? — спросил Обломов едва слышно от волнения, как спрашивает только после долгой разлуки любовник свою подругу.

— Я, — тихо сказал Андрей. — Ты жив, здоров?

Обломов обнял его, крепко прижимаясь к нему.

— Ах! — произнес он в ответ продолжительно, излив в этом *ах* всю силу долго таившейся в душе грусти и радости, и никогда, может быть, со времени разлуки не изливавшейся ни на кого и ни на что.

Они сели и опять пристально смотрели друг на друга.

— Здоров ли ты? — спросил Андрей.

— Да, теперь слава богу.

— А был болен?

— Да, Андрей, у меня удар был...

— Возможно ли? Боже мой! — с испугом и участием сказал Андрей. — Но без последствий?

— Да, только левой ногой не свободно владею... — отвечал Обломов.

— Ах, Илья, Илья! Что с тобой? Ведь ты опустился совсем! Что ты делал это время? Шутка ли, пятый год пошел, как мы не видались!

Обломов вздохнул.

— Что ж ты не ехал в Обломовку? Отчего не писал?

— Что говорить тебе, Андрей? Ты знаешь меня и не спрашивай больше! — печально сказал Обломов.

— И всё здесь, на этой квартире? — говорил Штольц, оглядывая комнату, — и не съезжал?

— Да, всё здесь... Теперь уж и не съеду!

— Как, решительно нет?

— Да, Андрей... решительно.

Штольц пристально посмотрел на него, задумался и стал ходить по комнате.

— А Ольга Сергевна? Здорова ли? Где она? Помнит ли?

Он не договорил.

— Здорова и помнит тебя, как будто вчера расстались. Я сейчас скажу тебе, где она.

— А дети?

— И дети здоровы... Но скажи, Илья: ты шутишь, что останешься здесь? А я приехал за тобой с тем, чтоб увезти туда, к нам, в деревню...

— Нет, нет! — понизив голос и поглядывая на дверь, заговорил Обломов, очевидно встревоженный. — Нет, пожалуйста, ты и не начинай, не говори...

— Отчего? Что с тобой? — начал было Штольц. — Ты знаешь меня: я давно задал себе эту задачу и не отступлюсь. До сих пор меня отвлекали разные дела, а теперь я свободен. Ты должен жить с нами,

вблизи нас: мы с Ольгой так решили, так и будет. Слава богу, что я застал тебя таким же, а не хуже. Я не надеялся... Едем же! Я готов силой увезти тебя! Надо жить иначе, ты понимаешь как...

Обломов с нетерпением слушал эту тираду.

— Не кричи, пожалуйста, тише! — упрашивал он. — Там...

— Что там?

— Услышат.. хозяйка подумает, что я в самом деле хочу уехать.

— Ну, так что ж? Пусть ее думает!

— Ах, как это можно! Послушай, Андрей! — вдруг прибавил он решительным, небывалым тоном, — не делай напрасных попыток, не уговаривай меня: я останусь здесь.

Штольц с изумлением поглядел на своего друга. Обломов покойно и решительно глядел на него.

— Ты погиб, Илья! — сказал он. — Этот дом, эта женщина... весь этот быт... Не может быть: едем, едем!

Он хватал его за рукав и тащил к двери.

— Зачем ты хочешь увезти меня? Куда? — говорил, упираясь, Обломов.

— Вон из этой ямы, из болота, на свет, на простор, где есть здоровая, нормальная жизнь! — настаивал Штольц строго, почти повелительно. — Где ты? Что ты стал? Опомнись! Разве ты к этому быту готовил себя, чтоб спать, как крот в норе? Ты вспомни все...

— Не напоминай, не тревожь прошлого: не воротишь! — говорил Обломов с мыслью на лице, с полным сознанием рассудка и воли. — Что ты хочешь делать со мной? С тем миром, куда ты влечешь меня, я распался навсегда; ты не спаяешь, не составишь две разорванные половины. Я прирос к этой яме больным местом: попробуй оторвать — будет смерть.

— Да ты оглянись, где и с кем ты?

— Знаю, чувствую... Ах, Андрей, все я чувствую, все понимаю: мне давно совестно жить на свете! Но не могу идти с тобой твоей дорогой, если б даже захотел... Может быть, в последний раз было еще возможно. Теперь... (он опустил глаза и промолчал с минуту) теперь поздно... Иди и не останавливайся надо мной. Я стою твоей дружбы — это бог видит, но не стою твоих хлопот.

— Нет, Илья, ты что-то говоришь, да не договариваешь. А все-таки я увезу тебя, именно потому и увезу, что подозреваю... Послушай, — сказал он, — надень что-нибудь и поедем ко мне, просиди у меня вечер. Я тебе расскажу много-много: ты не знаешь, что закипело у нас теперь, ты не слыхал?

Обломов смотрел на него вопросительно.

— Ты не видишься с людьми, я и забыл: пойдем, я все расскажу тебе... Знаешь, кто здесь у ворот, в карете, ждет меня... Я позову сюда!

— Ольга! — вдруг вырвалось у испуганного Обломова. Он даже изменился в лице. — Ради бога, не допускай ее сюда, уезжай. Прощай, прощай, ради бога!

Он почти толкал Штольца вон; но тот не двигался.

— Я не могу пойти к ней без тебя: я дал слово, слышишь, Илья? Не сегодня, так завтра, ты только отсрочишь, но не отгонишь меня... Завтра, послезавтра, а все-таки увидимся!

Обломов молчал, опустив голову, и не смел взглянуть на Штольца.

— Когда же? Меня Ольга спросит.

— Ах, Андрей, — сказал он нежным, умоляющим голосом, обнимая его и кладя голову ему на плечо. — Оставь меня совсем... забудь...

— Как, навсегда? — с изумлением спросил Штольц, устраняясь от его объятий и глядя ему в лицо.

— Да! — прошептал Обломов.

Штольц отступил от него на шаг.

— Ты ли это, Илья? — упрекал он. — Ты отталкиваешь меня, и все для нее, для этой женщины! Боже мой! — почти закричал он, как от внезапной боли. — Этот ребенок, что я сейчас видел... Илья, Илья! Беги отсюда, пойдем, пойдем скорее! Как ты пал! Эта женщина. что она тебе...

— Жена! — покойно произнес Обломов.

Штольц окаменел.

— А этот ребенок — мой сын! Его зовут Андреем, в память тебе! — досказал Обломов разом и покойно перевел дух, сложив с себя бремя откровенности.

Теперь Штольц изменился в лице и ворочал изумленными, почти бессмысленными глазами вокруг себя. Перед ним вдруг «отверзлась бездна», воздвиглась «каменная стена», и Обломова как будто не стало, как будто он пропал из глаз его, провалился, и он только почувствовал ту жгучую тоску, которую испытывает человек, когда спешит с волнением после разлуки увидеть друга и узнает, что его давно уже нет, что он умер.

— Погиб! — машинально, шепотом сказал он. — Что ж я скажу Ольге?

Обломов услыхал последние слова, хотел что-то сказать и не мог. Он протянул к Андрею обе руки, и они обнялись молча, крепко, как обнимаются перед боем, перед смертью. Это объятие задушило их слова, слезы, чувства...

— Не забудь моего Андрея, когда меня не будет! — были последние слова Обломова, сказанные угасшим голосом.

Андрей молча, медленно вышел вон, медленно, задумчиво шел он двором и сел в карету, а Обломов сел на диван, оперся локтями на стол и закрыл лицо руками.

«Нет, не забуду я твоего Андрея, — с грустью, идучи двором, думал Штольц. — Погиб ты, Илья: нечего тебе говорить, что твоя Обломовка не в глуши больше, что до нее дошла очередь, что на нее пали лучи солнца! Не скажу тебе, что года через четыре она будет станцией дороги, что мужики твои пойдут работать насыпь, а потом по чугунке покатится твой хлеб к пристани. А там... школы, грамота, а дальше. Нет, перепугаешься ты зари нового счастья, больно будет непривыч-

ным глазам. Но поведу твоего Андрея, куда ты не мог идти... и с ним будем приводить в дело наши юношеские мечты». — Прощай, старая Обломовка! — сказал он, оглянувшись в последний раз на окна маленького домика. — Ты отжила свой век!

— Что там? — спросила Ольга с сильным биением сердца.

— Ничего! — сухо, отрывисто отвечал Андрей.

— Он жив, здоров?

— Да, — нехотя отозвался Андрей.

— Что ж ты так скоро воротился? Отчего не позвал меня туда и его не привел? Пусти меня!

— Нельзя!

— Что ж там делается? — с испугом спрашивала Ольга. — Разве «бездна открылась»? Скажешь ли ты мне?

Он молчал.

— Да что такое там происходит?

— Обломовщина! — мрачно отвечал Андрей и на дальнейшие расспросы Ольги хранил до самого дома угрюмое молчание.

X

Прошло лет пять. Многое переменилось и на Выборгской стороне: пустая улица, ведущая к дому Пшеницыной, обстроилась дачами,[1] между которыми возвышалось длинное, каменное, казенное здание, мешавшее солнечным лучам весело бить в стекла мирного приюта лени и спокойствия.

И сам домик обветшал немного, глядел небрежно, нечисто, как небритый и немытый человек. Краска слезла, дождевые трубы местами изломались: оттого на дворе стояли лужи грязи, через которые, как прежде, брошена была узенькая доска. Когда кто войдет в калитку, старая Арапка не скачет бодро на цепи, а хрипло и лениво лает, не вылезая из конуры.

А внутри домика какие перемены! Там властвует чужая женщина, резвятся не прежние дети. Там опять является по временам красное, испитое лицо буйного Тарантьева и нет более кроткого, безответного Алексеева. Не видать ни Захара, ни Анисьи: новая толстая кухарка распоряжается на кухне, нехотя и грубо исполняя тихие приказания Агафьи Матвеевны, да та же Акулина, с заткнутым за пояс подолом, моет корыта и корчаги; тот же сонный дворник и в том же тулупе праздно доживает свой век в конурке. Мимо решетчатого забора в урочные часы раннего утра и обеденной поры мелькает опять фигура «братца» с большим пакетом подмышкой, в резинковых галошах зимой и летом.

Что же стало с Обломовым? Где он? Где? — На ближайшем кладбище под скромной урной покоится тело его, между кустов, в затишье. Ветки сирени, посаженные дружеской рукой, дремлют над могилой, да безмятежно пахнет полынь. Кажется, сам ангел тишины охраняет сон его.

Как зорко ни сторожило каждое мгновение его жизни любящее око жены, но вечный покой, вечная тишина и ленивое переползанье изо дня в день тихо остановили машину жизни. Илья Ильич скончался, по-видимому, без боли, без мучений, как будто остановились часы, которые забыли завести.

Никто не видал последних его минут, не слыхал предсмертного стона. Апоплексический удар повторился еще раз, спустя год, и опять миновал благополучно: только Илья Ильич стал бледен, слаб, мало ел, мало стал выходить в садик и становился все молчаливее и задумчивее, иногда даже плакал. Он предчувствовал близкую смерть и боялся ее.

Несколько раз делалось ему дурно и проходило. Однажды утром Агафья Матвеевна принесла было ему по обыкновению кофе и — застала его так же кротко покоящимся на одре смерти, как на ложе сна, только голова немного сдвинулась с подушки да рука судорожно прижата была к сердцу, где, по-видимому, сосредоточилась и остановилась кровь.

Три года вдовеет Агафья Матвеевна: в это время все изменилось на прежний лад. Братец занимались подрядами, но разорились и поступили кое-как, разными хитростями и поклонами, на прежнее место секретаря в канцелярии, «где записывают мужиков», и опять ходят пешком в должность и приносят четвертаки,[2] полтинники и двугривенные, наполняя ими далеко спрятанный сундучок. Хозяйство пошло такое же грубое, простое, но жирное и обильное, как в прежнее время, до Обломова.

Первенствующую роль в доме играла супруга братца, Ирина Пантелеевна, то есть она предоставляла себе право вставать поздно, пить три раза кофе, переменять три раза платье в день и наблюдать только одно по хозяйству, чтоб ее юбки были накрахмалены как можно крепче. Более она ни во что не входила, и Агафья Матвевна по-прежнему была живым маятником в доме: она смотрела за кухней и столом, поила весь дом чаем и кофе, обшивала всех, смотрела за бельем, за детьми, за Акулиной и за дворником.

Но отчего же так? Ведь она госпожа Обломова, помещица; она могла бы жить отдельно, независимо, ни в ком и ни в чем не нуждаясь? Что ж могло заставить ее взять на себя обузу чужого хозяйства, хлопот о чужих детях, обо всех этих мелочах, на которые женщина обрекает себя или по влечению любви, по святому долгу семейных уз, или из куска насущного хлеба? Где же Захар, Анисья, ее слуги по всем правам? Где, наконец, живой залог, оставленный ей мужем, маленький Андрюша? Где ее дети от прежнего мужа?

Дети ее пристроились, то есть Ванюша кончил курс наук и поступил на службу; Машенька вышла замуж за смотрителя какого-то казенного дома, а Андрюшу выпросили на воспитание Штольц и жена и считают его членом своего семейства. Агафья Матвевна никогда не равняла и не смешивала участи Андрюши с судьбою первых детей своих, хотя в сердце своем, может быть бессознательно, и давала им всем равное место. Но воспитание, образ жизни, будущую жизнь Андрюши она отделяла целой бездной от жизни Ванюши и Машеньки.

— Те что? Такие же замарашки, как я сама, — небрежно говорила она, — они родились в черном теле, а этот, — прибавляла она почти с уважением об Андрюше и с некоторою если не робостью, то осторожностью лаская его, — этот — барчонок! Вон он какой беленький, точно наливной; какие маленькие ручки и ножки, а волоски, как шелк. Весь в покойника!

Поэтому она беспрекословно, даже с некоторою радостью, согласилась на предложение Штольца взять его на воспитание, полагая, что там его настоящее место, а не тут, «в черноте», с грязными ее племянниками, детками братца.

С полгода по смерти Обломова жила она с Анисьей и Захаром в дому, убиваясь горем. Она проторила тропинку к могиле мужа и выплакала все глаза, почти ничего не ела, не пила, питалась только чаем и часто по ночам не смыкала глаз и истомилась совсем. Она никогда никому не жаловалась и, кажется, чем более отодвигалась от минуты разлуки, тем больше уходила в себя, в свою печаль, и замыкалась от всех, даже от Анисьи. Никто не знал, каково у ней на душе.

— А ваша хозяйка все плачет по муже, — говорил кухарке лавочник на рынке, у которого брали в дом провизию.

«Все грустит по муже», — говорил староста, указывая на нее просвирне [3] в кладбищенской церкви, куда каждую неделю приходила молиться и плакать безутешная вдова.

«Все еще убивается!» — говорили в доме братца.

Однажды вдруг к ней явилось неожиданно нашествие всего семейства братца, с детьми, даже с Тарантьевым, под предлогом сострадания. Полились пошлые утешения, советы «не губить себя, поберечь для детей» — все, что говорено было ей лет пятнадцать назад, по случаю смерти первого мужа, и что произвело тогда желанное действие, а теперь производило в ней почему-то тоску и отвращение.

Ей стало гораздо легче, когда заговорили о другом и объявили ей, что теперь им можно опять жить вместе, что и ей будет легче «среди своих горе мыкать», и им хорошо, потому что никто, как она, не умеет держать дома в порядке.

Она просила срока подумать, потом убивалась месяца два еще и, наконец, согласилась жить вместе. В это время Штольц взял Андрюшу к себе, и она осталась одна.

Вон она, в темном платье, в черном шерстяном платке на шее, ходит из комнаты в кухню, как тень, по-прежнему отворяет и затворяет шкафы, шьет, гладит кружева, но тихо, без энергии, говорит будто нехотя, тихим голосом, и не по-прежнему смотрит вокруг беспечно перебегающими с предмета на предмет глазами, а с сосредоточенным выражением, с затаившимся внутренним смыслом в глазах. Мысль эта села невидимо на ее лицо, кажется, в то мгновение, когда она сознательно и долго вглядывалась в мертвое лицо своего мужа, и с тех пор не покидала ее.

Она двигалась по дому, делала руками все, что было нужно, но мысль ее не участвовала тут. Над трупом мужа, с потерею его, она,

кажется, вдруг уразумела свою жизнь и задумалась над ее значением, и эта задумчивость легла навсегда тенью на ее лицо. Выплакав потом живое горе, она сосредоточилась на сознании о потере: все прочее умерло для нее, кроме маленького Андрюши. Только когда видела она его, в ней будто пробуждались признаки жизни, черты лица оживали, глаза наполнялись радостным светом и потом заливались слезами воспоминаний.

Она была чужда всего окружающего: рассердится ли братец за напрасно истраченный или невыторгованный рубль, за подгорелое жаркое, за несвежую рыбу, надуется ли невестка за мягко накрахмаленные юбки, за некрепкий и холодный чай, нагрубит ли толстая кухарка, Агафья Матвеевна не замечает ничего, как будто не о ней речь, не слышит даже язвительного шепота: «Барыня, помещица!».

Она на все отвечает достоинством своей скорби и гордым молчанием.

Напротив, в святки, в Светлый день, в веселые вечера масленицы, когда все ликует, поет, ест и пьет в доме, она вдруг, среди общего веселья, зальется горючими слезами и спрячется в свой угол.

Потом опять сосредоточится и иногда даже смотрит на братца и на жену его как будто с гордостью, с сожалением.

Она поняла, что проиграла и просияла ее жизнь, что бог вложил в эту жизнь душу и вынул опять; что засветилось в ней солнце и померкло навсегда. Навсегда, правда; но зато навсегда осмыслилась и жизнь ее: теперь уж она знала, зачем она жила и что жила не напрасно.

Она так полно и много любила: любила Обломова — как любовника, как мужа и как барина; только рассказать никогда она этого, как прежде, не могла никому. Да никто и не понял бы ее вокруг. Где бы она нашла язык? В лексиконе братца, Тарантьева, невестки не было таких слов, потому что не было понятий; только Илья Ильич понял бы ее, но она ему никогда не высказывала, потому что не понимала тогда сама и не умела.

С летами она понимала свое прошедшее все больше и яснее и таила все глубже, становилась все молчаливее и сосредоточеннее. На всю жизнь ее разлились лучи, тихий свет от пролетевших, как одно мгновение, семи лет, и нечего было ей желать больше, некуда идти.

Только когда приезжал на зиму Штольц из деревни, она бежала к нему в дом и жадно глядела на Андрюшу, с нежной робостью ласкала его и потом хотела бы сказать что-нибудь Андрею Ивановичу, поблагодарить его, наконец выложить перед ним все, все, что сосредоточилось и жило неисходно в ее сердце: он бы понял, да не умеет она, и только бросится к Ольге, прильнет губами к ее рукам и зальется потоком таких горячих слез, что и та невольно заплачет с нею, а Андрей, взволнованный, поспешно уйдет из комнаты.

Их всех связывала одна общая симпатия, одна память о чистой, как хрусталь, душе покойного. Они упрашивали ее ехать с ними в деревню, жить вместе, подле Андрюши — она твердила одно: «Где родились, жили век, тут надо и умереть».

Напрасно давал ей Штольц отчет в управлении именьем, присылал

следующие ей доходы, все отдавала она назад, просила беречь для Андрюши.

— Это его, а не мое, — упрямо твердила она, — ему понадобится; он барин, а я проживу и так.

XI

Однажды, около полудня, шли по деревянным тротуарам на Выборгской стороне два господина; сзади их тихо ехала коляска. Один из них был Штольц, другой — его приятель, литератор, полный, с апатическим лицом, задумчивыми, как будто сонными глазами. Они поравнялись с церковью; обедня кончилась, и народ повалил на улицу; впереди всех нищие. Коллекция их была большая и разнообразная.

— Я бы хотел знать, откуда нищие берутся? — сказал литератор, глядя на нищих.

— Как откуда? Из разных щелей и углов наползают...

— Я не то спрашиваю, — возразил литератор, — я хотел бы знать: как можно сделаться нищим, стать в это положение? Делается ли это внезапно или постепенно, искренно или фальшиво?

— Зачем тебе? Не хочешь ли писать «Mystères de Pétersbourg» *? [1]

— Может быть... — лениво зевая, проговорил литератор.

— Да вот случай: спроси любого, за рубль серебром он тебе продаст всю свою историю, а ты запиши и перепродай с барышом. Вот старик, тип нищего, кажется, самый нормальный. Эй, старик! Поди сюда!

Старик обернулся на зов, снял шапку и подошел к ним.

— Милосердые господа! — захрипел он. — Помогите бедному, увечному в тридцати сражениях, престарелому воину...

— Захар! — с удивлением сказал Штольц. — Это ты?

Захар вдруг замолчал, потом, прикрыв глаза рукой от солнца, пристально поглядел на Штольца.

— Извините, ваше превосходительство, не признаю... ослеп совсем!

— Забыл друга своего барина, Штольца! — упрекнул Штольц.

— Ах, ах, батюшка, Андрей Иваныч! Господи, слепота одолела! Батюшка, отец родной!

Он суетился, ловил руку Штольца и, не поймав, поцеловал полу его платья.

— Привел господь дожить до этакой радости меня, пса окаянного... — завопил он, не то плача, не то смеясь. Все лицо его как будто прожжено было багровой печатью от лба до подбородка. Нос был, сверх того, подернут синевой. Голова совсем лысая; бакенбарды были по-прежнему большие, но смятые и перепутанные, как войлок, в каждой точно положено было по комку снега. На нем была ветхая, совсем полинявшая шинель, у которой недоставало одной полы; обут он

* «Петербургские тайны» (*франц.*).

был в старые стоптанные галоши на босу ногу; в руках держал меховую, совсем обтертую шапку.

— Ах ты, господи милосердый! Какую милость сотворил мне сегодня для праздника...

— Что ты это в каком положении? Отчего? Тебе не стыдно? — строго спросил Штольц.

— Ах, батюшка, Андрей Иваныч! Что ж делать? — тяжело вздохнув, начал Захар. — Чем питаться? Бывало, когда Анисья была жива, так я не шатался, был кусок и хлеба, а как она померла в холеру[2] — царство ей небесное, — братец барынин не захотели держать меня, звали дармоедом. Михей Андреич Тарантьев все норовил, как пойдешь мимо, сзади ногой ударить: житья не стало! Попреков сколько перенес. Поверите ли, сударь, кусок хлеба в горло не шел. Кабы не барыня, дай бог ей здоровье! — прибавил Захар, крестясь, — давно бы сгиб я на морозе. Она одежонку на зиму дает и хлеба сколько хочешь, и на печке угол — все по милости своей давала. Да из-за меня и ее стали попрекать, я и ушел куда глаза глядят! Вот теперь второй год мыкаю горе...

— Зачем на место не шел? — спросил Штольц.

— Где, батюшка, Андрей Иваныч, нынче место найдешь? Был на двух местах, да не потрафил. Все не то теперь, не по-прежнему; хуже стало. В лакеи грамотных требуют; да и у знатных господ нет уж этого, чтоб в передней битком набито было народу. Всё по одному, редко где два лакея. Сапоги сами снимают с себя: какую-то машинку выдумали! — с сокрушением продолжал Захар. — Срам, стыд, пропадает барство!

Он вздохнул.

— Вот определился было я к немцу, к купцу, в передней сидеть; все шло хорошо, а он меня послал к буфету служить: мое ли дело? Однажды понес посуду, какую-то богемскую,[3] что ли, полы-то гладкие, скользкие — чтоб им провалиться! Вдруг ноги у меня врозь, вся посуда, как есть с подносом, и грянулась оземь: ну, и прогнали! Вдругорядь одной старой графине видом понравился: «почтенный на взгляд», говорит, и взяла в швейцары. Должность хорошая, старинная: сиди только важнее на стуле, положи ногу на ногу, покачивай, да не отвечай сразу, когда кто придет, а сперва зарычи, а потом уж пропусти или в шею вытолкай, как понадобится; а хорошим гостям, известно: булавой наотмашь,[4] вот так! — Захар сделал рукой наотмашь. — Оно лестно, что говорить! — Да барыня попалась такая неугодливая — бог с ней! Раз заглянула ко мне в каморку, увидала клопа, растопалась, раскричалась, словно я выдумал клопов! Когда без клопа хозяйство бывает! В другой раз шла мимо меня, почудилось ей, что вином от меня пахнет... такая, право! И отказала.

— А ведь в самом деле пахнет, так и несет! — сказал Штольц.

— С горя, батюшка, Андрей Иваныч, ей-богу с горя, — засипел Захар, сморщившись горько. — Пробовал тоже извозчиком ездить. Нанялся к хозяину, да ноги ознобил: сил-то мало, стар стал! Лошадь попалась злющая; однажды под карету бросилась, чуть не изломала меня; в другой раз старуху смял, в часть взяли...[5]

— Ну, полно, не бродяжничай и не пьянствуй, приходи ко мне, я тебе угол дам, в деревню поедем — слышишь?

— Слышу, батюшка, Андрей Иваныч, да...

Он вздохнул.

— Ехать-то не охота отсюда, от могилки-то! Наш-то кормилец-то, Илья Ильич, — завопил он, — опять помянул его сегодня, царство ему небесное! Этакого барина отнял господь! На радость людям жил, жить бы ему сто лет... — всхлипывал и приговаривал Захар, морщась. — Вот сегодня на могилке у него был; как в эту сторону приду, так и туда, сяду да и сижу; слезы так и текут... Этак-то иногда задумываюсь, притихнет все, и почудится, как будто кличет: «Захар! Захар!». Инда мурашки по спине побегут! Не нажить такого барина! А вас-то как любил — помяни, господи, его душеньку во царствии своем!

— Ну, приходи на Андрюшу взглянуть: я тебя велю накормить, одеть, а там как хочешь! — сказал Штольц и дал ему денег.

— Приду; как не прийти взглянуть на Андрея Ильича? Чай, великонек стал! Господи! Радости какой привел дождаться господь! Приду, батюшка, дай бог вам доброго здоровья и несчетные годы. — ворчал Захар вслед уезжавшей коляске.

— Ну, ты слышал историю этого нищего? — сказал Штольц своему приятелю.

— А что это за Илья Ильич, которого он поминал? — спросил литератор.

— Обломов: я тебе много раз про него говорил.

— Да, помню имя: это твой товарищ и друг. Что с ним сталось?

— Погиб, пропал ни за что.

Штольц вздохнул и задумался.

— А был не глупее других, душа чиста и ясна, как стекло; благороден, нежен, и — пропал!

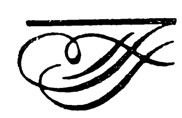
— Отчего же? Какая причина?

— Причина... какая причина! Обломовщина! — сказал Штольц.

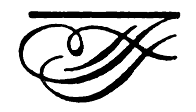
— Обломовщина! — с недоумением повторил литератор. — Что это такое?

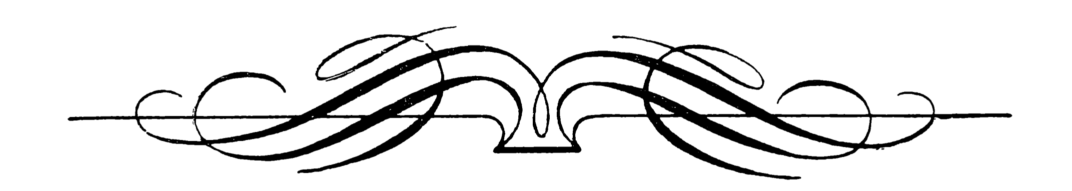
— Сейчас расскажу тебе: дай собраться с мыслями и памятью. А ты запиши: может быть, кому-нибудь пригодится.

И он рассказал ему, что здесь написано.



ВАРИАНТЫ





Рукопись романа (без главы «Сон Обломова», автограф которой за исключением очень небольшого отрывка не сохранился) занимает 203 архивных листа большого формата или более 73 листов авторской пагинации. Один гончаровский лист соответствует примерно 8 машинописным страницам, т. е рукопись занимает приблизительно 584 страницы, или 27 а. л. Объем окончательного печатного текста романа составляет 605 машинописных страниц, т. е. те же 27 авторских листов. Полный свод вариантов рукописи, выведенный составителем настоящего издания, занимает почти 500 машинописных страниц, т. е. всего на сто страниц меньше, чем основной текст. Понятно, что представить в данном издании все без исключения варианты рукописного текста, снабдив их, как это делается в академических собраниях сочинений (И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского и др.), пометами: *вписано над строкой, вдоль полей, в нижней части страницы*, или: *далее было, было начато, отчеркнуто, отмечено особым знаком* и т. п., по условиям серии «Литературные памятники» и объему данного издания не представляется возможным. Это дело будущего академического собрания сочинений Гончарова. Поэтому для настоящего издания составителем произведен строгий отбор, в результате которого во всех подразделах Вариантов представлены только те рукописные или первопечатные и проч. тексты, которые существенно отличаются от окончательного (основного) и при этом (как правило) достаточно объемны. Исключение — полный свод вариантов 1859 г.

Основные принципы подачи рукописных и печатных вариантов в соответствии с вышесказанным таковы.

В Варианты рукописи романа «Обломов» в абсолютном большинстве случаев введены лишь законченные правкой редакции, которые воспроизводятся по последнему слою правки, причем предшествующие варианты, независимо от их объема, за редчайшими исключениями не демонстрируются (в текст иногда вводятся отдельные зачеркнутые слова, не имеющие в рукописи замены, поскольку без них нарушается или остается неясным смысл приведенных строк). В данном подразделе приводятся также являющиеся неотъемлемой частью и самой характерной особенностью творческих рукописей Гончарова наброски содержания отдельных глав романа, прочие подготовительные материалы — заготовки

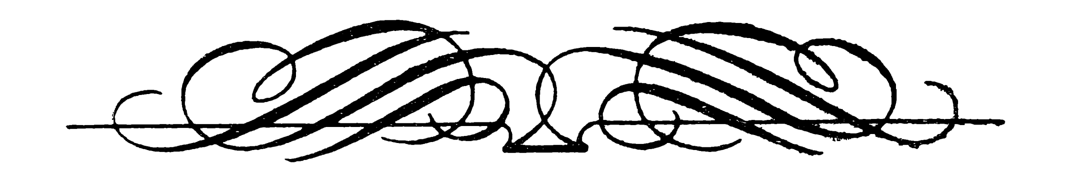
к тексту, которые писатель называл «программами» (подробнее об этом см. статью, с. 562—565). Отмечается, в каком месте рукописного текста они находятся (в примечаниях сообщается, содержание каких фрагментов они раскрывают). Способ записи данных заготовок весьма своеобразен: Гончаров редко расставляет здесь знаки препинания, после точки не всегда следует прописная буква, слово разбивается отнюдь не по правилам переноса, а в зависимости от того, можно ли уместить в углу листа, на полях, между строк хотя бы одну букву. Записи часто выстраиваются в узкий и длинный столбец по краю листа, огибают ранее написанное, вклиниваются в связный текст и т. д. Разрыв строки в «программах» отмечается в Вариантах условным знаком: двумя вертикальными чертами (¦¦), авторская пунктуация в «программах» сохраняется.

Впервые в практике изданий сочинений Гончарова (обоснование см. в статье, с. 622—631) источником текста настоящего издания является текст *1862*, основой которого (значительно переработанной) является первое отдельное издание романа: *1859*. Это же, 1859 г., издание послужило (без значительных изменений) основой двух прижизненных Полных собраний сочинений Гончарова: *1884* и *1887*. Поэтому в подразделе «Варианты прижизненных изданий» составитель счел необходимым представить полный свод вариантов *1859*, в скобках указав все прижизненные печатные источники текста, где встречается данный вариант. Таким образом, читатель может составить себе довольно полное представление о том, как шла авторская работа над текстом нескольких переизданий «Обломова». Варианты первопечатного текста — *ОЗ*, не совпадающие с вариантами последующих переизданий, приведены лишь выборочно. То же относится к вариантам *1887*. Варианты *1884* вообще не представлены, поскольку они малы по объему и малозначительны. Наиболее существенные из них совпадают с вариантами *1887*

Техника подачи вариантов такова.

Варианты к основному тексту печатаются вслед за указанием отрывка, к которому они относятся, с обозначением слева на поле номеров страниц и строк основного текста. Вслед за цифрой, обозначающей номер строки (или строк), печатается соответствующий отрывок основного текста, правее — после косой черты — предшествующий ему вариант. В тех случаях, когда рукописный (или печатный текст одного из прижизненных изданий) полнее окончательного, соответствующий вариант вводится словом: *После.* В больших отрывках основного текста обозначаются крайние границы фрагмента, остальное содержание которого опускается и заменяется знаком ∾.

Введенные в варианты рукописи зачеркнутые слова заключаются в квадратные скобки. Редакторские добавления недописанных или поврежденных в рукописи слов, восстановленные по догадке (конъектуры), заключаются в ломаные скобки. Слова, чтение которых предположительно, сопровождаются знаком вопроса. Неразобранные в автографе слова обозначаются: ‹*нрзб.*›. Комментируемые в примечаниях отрывки и слова помечены звездочкой * и поясняются в порядке их следования в тексте.



ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

С. 7.

3 *Над текстом начала главы на верхнем поле листа помета*: Начало писания этого романа относится к концу сороковых годов. Помнится, *Сон Обломова*[1] напечатан в *Альманахе* при *Современнике* в 1848 или 1849 году. Этой главы (*Сон Обломова*) тут нет. И. Гончаров.

4–7 *Против текста*: В Гороховой улице,∾лет тридцати двух-трех от роду, — *на верхнем поле листа и на полях зачеркнутая помета*: *Переделать начало так:*

Его будят записками, то от || приятелей, то от женщины, кото||рая его любит,[2] наконец дворник || приходит понуждать его съехать || с квартиры, потом он вспоми||нает о письме старосты, потом || Захар со счетами. Он всякий раз || хочет вставать и все лежит, || волнуясь однако же, что много || дела. Лакей не дождался ответа, || ушел, он велел зайти за отве||том, тот пришел — все еще не || готово и так ушел только || с словесным приказанием; с || квартирой сцена известная, || со счетами, с письмом ста||росты — тоже. Так и проходит || утро. — Женщина влюблена в || него и зовет его в театр, || чтоб оттуда вечером к ней — || он в театр не поспевает. || Обломов[а] любил полежать и в || темной комнате, не спать, а так, || полежать...

С. 7—8.

7–2 лет тридцати двух-трех∾На нем был халат / лет тридцати пяти от роду, полный, гораздо полнее,[б] нежели обыкновенно бывают люди

[а] *Имена и фамилии героев романа, сокращенные в рукописи (преимущественно в первой ее части), раскрываются без оговорок и угловых скобок.*

[б] *Против слов*: полный, гораздо полнее, — *на полях зачеркнутая запись*: — Что это у нас хорошо пахнет, Захар? || — Нет, не хорошо. || (от раздушенной записочки)

в эти лета. Независимо от этой благоприобретенной полноты, кажется и сама природа не позаботилась создать его постройнее. Голова у него была довольно большая, плеча широкие, грудь крепкая и высокая:[а] глядя на это могучее туловище, непременно ожидаешь,[б] что оно поставлено на соответствующий ему солидный пьедестал, — ничего не бывало. Подставкой служили две коротенькие, слабые как будто измятые[2] чем-то[1] ноги.[в]

Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а так, безразличный. Взгляд беспечный, рассеянно переходивший от одного предмета к другому, иногда усталый, больше апатический.[г] Волосы уж редели на маковке. Можно было предвидеть, что этот человек обрюзгнет и опустится совсем. Теперь его от этого пока спасали еще лета. Впрочем, оклад и черты лица у него были довольно приятные, мягкие. Нельзя сказать, чтоб на этом лице не сквозило ума, только ум, по-видимому, не был постоянным и самовластным хозяином физиономии Обломова: он, как церемонный гость, приходил, кажется, посидеть у него в глазах, в улыбке, чтобы робко озарить на время покойные черты лица, а потом вдруг, при появлении первой тучки, взбежавшей на лицо от внутреннего волнения, тихонько пропадал, точно так же, как пропадает и гость, пользуясь приходом другого. Ум не отстаивал своей позиции и не боролся с беспокойными пришельцами, он бежал. И тогда лицо Обломова волновалось, то нерешительностию и сомнением, то тревогой и испугом, смотря по тому, какое чувство наполняло его душу. Ум появлялся опять не прежде, как когда налетевший ураган исчезал с лица сам собою. Но и волнения, так же, как ум, не надолго напечатлевались на лице Ильи Ильича: оно тотчас принимало свой обычный характер беззаботности, покоя, по временам счастливого, а чаще равнодушного, похожего на усыпление.

[а] *Против текста*: бывают люди ∾ и высокая: — *на полях зачеркнутая запись*: Захар любил сидеть у ‖ печки на полу и, глядя на ‖ огонь, мешать кочергой. Он ‖и мечтал тогда, уносился ‖ к себе в Обломовку, от‖того и любил топить. ‖ Обломов вскакивал иногда с ‖ постели и ночью (как В. А. Яз.) * ‖, метался в тоске, что ‖ он ничто, что он не ‖ исполнил своего назначения.

[б] *Против слов*: могучее туловище, непременно ожидаешь, — *на полях зачеркнутая запись*: — Захар! сколько я чашек ‖ чаю выпил? ‖ —Две — Заспал.

[в] *Здесь и далее цифры над строкой принадлежат Гончарову, указывая на перестановку слов.*

[г] *Против текста*: соответствующий ему ∾ апатический. — *на полях зачеркнутая запись*: Пока Захар мурлыкал, сидя ‖ с кочергой, Обломов ворочался (уж ‖ вечером, перед театром) ‖ его волновала мысль о страсти, ‖ когда человек плавает в ней, как ‖в океане, когда ослепленный, ‖ подавленный ею, он волнуется, ‖ как у ног женщины, любовь, ‖ экзальтация, все в нем ‖ работало, как волканический ‖ огонь в груди земли. Нервы его ‖ пели, музыка нерв, он вска‖кивал, ходил и потом ‖ усмиренный ложился опять.

Иногда он, гони‖мый вихрем мыслей, и чу‖вств, он улетал куда-то ‖ высоко, он делал неимо‖верные подвиги, потом ‖ падал с облаков, и ‖ [пла‹кал›] ночью один вска‖кивал и плакал хо‖лодными слезами, слеза‖ми отчаяния над ‖ своим бессилием. ‖ (это пожалуй пусть он ‖ расскажет Почаеву)

И как шел домашний костюм Обломова к этим покойным чертам лица его и изнеженного тела. На нем был халат

С. 8.

8 благоприобретенным, / приобретенным впоследствии, носил также кое-где следы разных масляных яств и неосторожных прикосновений,

10–16 он мягок,∾в них сразу. / Он был так мягок, так гибок: тело не чувствовало его на себе; он, как послушный раб, чуть-чуть, незаметно покорялся самомалейшему движению тела. Халат не ежится, не торчит, нигде не режет, сжимается в тесный комок или развевается широкой пеленой, великолепно драпируясь около тела. Илья Ильич иногда от нечего делать вдруг то плотно обовьется халатом, как статуя греческой богини, которой контуры сквозят чрез прозрачные покровы, и бескорыстно любуется рельефами своего тела, то, как египетский истукан, обвешается бесчисленными складками, или обнажит грудь и одно плечо, а на другое накинет халат, как тогу.* Обломов иногда любил заняться этим в свободное время. Он всегда ходил дома без галстуха и без жилета, с открытою грудью, в панталонах из какой-то почти невесомой материи, потому что любил простор и приволье. Туфли на нем были длинные, мягкие и широкие, так что, когда он, не глядя, опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу.

19–20 *К словам*: нормальным состоянием. — *на полях зачеркнутые пометы*: Позы лежанья[3] (см. лист II).[а] Любил волно||ваться страстями, мечтать и проч., не || сходя с дивана (см. лист III).

(или пожалуй поместить это в главе: *Обломов* и || *Захар*)[4]

30 множество красивых мелочей. / те ненужные вещицы, которые нужным считает иметь у себя всякий, так называемый порядочный человек. Словом, условия комфорта и порядочности были, по-видимому, соблюдены до мельчайших подробностей.

32 *После*: прочел бы только — или мещанскую претензию на роскошь, убирающуюся в павлиньи перья и рассчитывающую на эффект подешевле, или только

36 шаткими этажерками. / этими шаткими этажерками; ящиков никак нельзя было выдвинуть из стола сразу: они, со скрыпом и с визгом, беспрестанно останавливались на ходу;

37 *После*: местами отстало. — Все показывало, что это была скороспелая работа гостиного двора.

38 *После*: мелочи. — На картине, изображавшей, по словам хозяина, Минина и Пожарского,* представлена была группа людей, из которых один сидел, зевая, на постели, с поднятыми кверху руками, как будто он только что проснулся; другой стоял перед ним и зевал,

---

[а] *Здесь и далее авторские сокращения в отсылках типа: «(см. л. II)» на рукописные листы, имевшие римскую пагинацию (см. об этом Примечания, с. 680), раскрываются без угловых скобок.*

протянув руки к первому. Обломов уверял, что они не зевали, а говорили друг другу речи. Вообще, как два главные, так и прочие лица, не обращали друг на друга ни малейшего внимания и смотрели своими большими глазами в разные стороны, как будто недоумевая, зачем они тут собрались. На пейзажах трава была нарисована такая зеленая и крупная, а небо такое синее, каких ни в какой земле не сыщешь. Зато рамки — чудо!

С. 10.

2–4 вместо того,∾на память. / могли бы служить скорее скрижалями для записывания на них по пыли каких-нибудь заметок на память.

19 *Против слов*: Он чем-то — *на полях запись*: праздная форма [5]

45 поглядывая на туфли, / но опять передумал: он непосредственно, вслед за чаем, любил покурить и не терпел никаких промежутков между чаем и трубкой. Куренье продолжалось около часа.

— Ну вот теперь встану: умоюсь, помолюсь, — решил он, поглядывая на туфли.

46 *После*: подобрал ее. — Впрочем, еще минут пять полежу, — сказал он сам себе, — пять минут не бог знает что. Хочется что-то полежать.

С. 11.

13 *После*: на три бороды. — В Петербурге с каждым годом все меньше и меньше встречается людей с такой оригинальной дикообразной наружностью. Может быть, они переводятся и по провинциям. По крайней мере, являясь в Петербург, человек, которого природа одарила неумеренным количеством волос или лишила их совсем, сочтет вероятно нужным в избежание насмешек подойти под общий уровень и [острижется или прикроет наготу головы париком. Захару бы следовало сделать и то и другое, благодаря природе, которая так подшутила над ним. Но он нимало не тревожился этим.] пополнить искусством природный недостаток или излишество.

41 *После*: аристократическим украшением. — Пара огромных бакенбарт придавали лицу Захара какую-то важность и делали не только заметным лицом в огромном доме, где он жил, но снискали ему даже род почета между разнообразной дворовой челядью, какой иному в другом быту снискивают остроумие, талант или что-нибудь подобное. Все звали Захара по имени и по отечеству и предоставляли ему первенствующую роль на сходках у ворот и в мелочной лавочке. А две няньки того дома пугали им детей, когда они упрямились и плакали, грозя отдать их буке.

С. 13.

1–2 — Носовой платок,∾заметил Илья Ильич. / Ты никогда не сделаешь своего дела как следует! посмотри! — строго заметил Илья Ильич, указывая себе на нос, — видишь, что барину нужен платок, а не подашь: все тебя ткни. Ну же: где платок? поскорее.



Рукопись романа, ч. I, гл. 1.

18–20 Он быстро∽боже мой! / но он, однако ж, нашел средство не показаться виноватым перед Захаром.

— Ты же, я думаю, сунул под меня, — сказал он, — от тебя все станется! за тобой только не посмотри: вон какая у тебя чистота везде! пыли-то, грязи-то. Боже мой! боже мой!

С. 15.

9–10 Захар всегда заводил тяжбу, лишь / Захар с своей стороны отнюдь не признавал опрятность и чистоту неизбежной потребностью: он полагал, что может быть пожалуй и чисто, а пожалуй и нет ‹и› всегда заводил тяжбу, как только

12–13 громадной∽в ужас. / радикального переворота в доме, зная очень хорошо, что одна мысль об этом приводила его в ужас.

— Право уйдите. Уйдите, что ли, так я пойду баб приведу: к вечеру все и вымоем и уберем все.

— Ни, ни, ни! — говорил Илья Ильич, — мыть! чтоб все верх дном поставить, стулья на столы, постель на диван — нет, нет! [a]

— Ей-богу, Илья Ильич, лукаво настаивал Захар, — благо заговорили об этом, так вот бы сегодня убрать.

— Что за убиранье, — говорил с нетерпением Илья Ильич. К чему оно: жили так, проживем и еще. Ты вон бы только пыль вытер везде да паутину-то снял. Это и без бабы можно сделать: я для этого, пожалуй, часа на два в те комнаты перейду...

Захар замялся: дело было ясно.

— Да что нынче Святая неделя, что ли, или Рождество, что я стану паутину снимать да пыль везде стирать. Паутину снимаю я всегда перед праздниками, когда образа чищу.

— Что это руки марать из пустяка, — говорил Захар, — полы помыть другое дело: можно. Уйдете, что ли, так я бы за бабами сбегал...

— Каких еще баб: зачем? с ума, что ли, ты спятил? Нельзя ему слова сказать, уж он и привяжется. Ты ему о пыли, а он тебе и полы тут приплетет, и баб начнет предлагать...

— Поди, поди к себе, я сказал, — строго заговорил Обломов, — выдумал еще убиранье: страсть к чистоте припала: а черт бы ее драл, чистоту-то. Что за убиранье? Уйди на целый день: видишь, что выдумал. Не пообедай, как следует, не усни после обеда. Не прикажешь ли мне самому убирать. И для кого убираться-то нам? Кто к нам ходит? Для Алексеева с Тарантьевым, что ли. так эти не взыщут и так.

— Право бы... — заговаривал Захар.

— Поди же, я тебе говорю, лысый...

---

[a] *Против слов*: нет, нет! — *на полях зачеркнутая запись*: умывать‹ся› готово [5]

— Ну, ну, уйду, — говорит Захар, торопясь уйти от брани, — так что ж вы попрекаете мне? [a]

14 *Против слов*: Захар ушел, а Обломов погрузился в размышления — *на полях зачеркнутая запись*: — Счеты, квартира — Ну, хорошо [вот сейчас || встану] вот сейчас || встану! || и он перевернулся || на другой бок

17 *Против слов*: а я еще не встал, не умылся — *на полях зачеркнутая запись*: — [Ах, боже мой:] || не умылся, богу || не помолился. || точно нехристь || какой-н<и>б<удь>. Поми||луй нас греш||ных! со вздохом || сказал он.

19 *Против слов*: — Ах ты, боже мой! — *на полях зачеркнутая запись*: о квартире и счеты

24–25 *После*: сяду писать. — В это время кто-то позвонил громко, как будто с уверенностью возбудить радость.

— От Челоховых! — сказал Захар, подавая письмо от Веры Павловны: приказали просить ответа теперь же. Обломов обрадовался, ожил. Подай, подай! — сказал он. — «Сегодня наши не обедают дома, сказано было в записке; я одна; заезжайте вскоре после обеда, я позову вас в театр, у нас ложа, а из театра к нам пить чай. Dites si ce projet vous sourit j'attends.[+]

Илья Ильич взволновался. — Ах! вот сейчас, постой, — сказал он, — погоди, я сейчас, сейчас... и не знал, за что приняться. —

— Поскорее-с! — крикнул чужой слуга из передней, — мне некогда, меня послали в другое место! Обломов обрадовался этому. — «Так ты зайди же оттуда, я приготовлю ответ». Слуга ушел, и он успокоился.

34 — Только о деньгах и забота! — / — Мерзавцы! ослы! только об деньгах и забота! — с ненавистью говорил Илья Ильич. — И ты-то хорош: не умеешь сладить с ними.

— Что ж мне делать с ними?

— А ты бы сказал им, что у них душа-то не христианская, а жидовская, продажная, так вот они бы и постеснялись <?> — только и знай, что лезут за деньгами.

— Пятый месяц в долг берем, так и лезут, — заметил Захар.

45 *После*: чтоб встать. — оперся рукой в подушку, подумал с минуту и — перевернулся на другой бок.

— Да! — сказал он, — вот поди ж ты: одно к одному так и идет: староста задал задачу, а тут еще счеты ... а! будет ли когда-нибудь конец. Ах, боже мой, боже мой! если б кто знал жизнь-то мою, не позавидовал бы... только горести. Ты что же стоишь, нейдешь к себе? — спросил он Захара.

---

[a] *Против слов*: — Ну, ну, уйду, ∾ попрекаете мне? — *на полях зачеркнутая запись*: [умыва<ть?>] || лоб перекрестить [7] || умываться готово

[+] Ответьте мне, если этот проект вам улыбается (франц.).

С. 16.

42 *После*: хлопотать. — *зачеркнуто*: — сказал он. — Как же с квартирой-то быть, что сказать. — Опять о квартире: [не поминай мне, если не хочешь бесить меня. Ведь не сей час же переезжать: что ж мне только горе да беду делаешь? Ступай, а я подумаю] точно ну глухому толкуешь.

С. 17.

1–2 «Ах, боже мой! Трогает жизнь, везде достает». / ах! боже мой! Ох ты господи! как мудрено жить на свете и т. п.

Пробило одиннадцать часов.

— Вот и 11 пробило, а я все лежу, неумытый! — с горечью произнес Илья Ильич, — по-каковски это? и ни за что по сю пору не принимался. Что мне делать, ей-богу! — Его бросило, даже в тоску, от досады, что он еще не вставал, и он метался лежа.

С. 17, с. 27.[а]

5, 44 *Против текста*: «Уж кто-то и пришел! — ∾ и тут же забудет его. — *вдоль вертикального края листа зачеркнутые записи*: не выезжал || из Петерб<урга> || кондитерские || Его и лицо [не] || и даже || фамилии не || запомнишь, || лицо забудешь, || что скажет не || заметишь, Он ходит, || говорит, || дей||ствует как || [масса] [мно||жество] [боль<шинство?>] || общее выражение || массы, боль||шинства || [он никто] || едва мир <?> замечает || как он || является || в свет но || едва ли кто || заметит || как он ис||чезнет из || мира только разве процес||сия скажет || об этом || [прохожему] || и прохо||жий, сняв шапку, в || пер||вый раз || почтит его глубо||ким покло||ном в первый раз || в жизни || Любит ли || такой чело||век, стра||дает ли || он. Бог || весть: едва || ли? да, || любит он || и чувство || его || [как] || [тоже выра||жение обыч<ной?> || толпы] [это] || выражается || как форма || без от||тенка, || как || все у него, || слова, посту||пки — все без || оттенка. || [он не вы||езжал из] || Чувство || у другого || тоже са||мостоятельно || выражается, || а у него || нет он женит||ся, плодит||ся [и нельзя дать] и нет || характера || [у него] в его || чувстве. Он идет,[б] || остановят || его, позо||вут назад || и он пой||дет. — || Он не был || ни трудо||любив, ни || ленив, || и в школе ни || зол ни || добр, не || замечен || шалуном, || потому что не || было воли || шалить, но || и нельзя наз||вать скром||ным, потому || что если бой||кий това||рищ при||глашал || его участво||вать в ша||лости, он [влекся] || шел влекомый || постороннею || волею. Он ||

[а] *Разрыв страниц основного текста объясняется тем, что в рукописи отсутствует начало 2-й главы (с. 17—26) и первым визитером Обломова является не Волков, как в окончательном тексте, а Алексеев, которому и посвящена данная запись.*

[б] *Против слов*: [чувство у другого ∾ Он идет, — *зачеркнутая запись*: он || не от||личается ни по||роком || ни дос||тоин||ством



**Рукопись романа, ч. 1, гл. 2,
с пометой на полях.**

никогда не || справлялся || с собою, || что || ему делать, || в том или другом слу||чае и что дела‹ют› || другие || о ком[8] ||

С. 26—27.

45-14 Вошел человек∾знали и другие. / Вошел человек... неопределенных лет, неопределенной наружности, с неопределенным именем, с неопределенной фамилией, т. е. он был не молод и не стар, а в такой поре, когда трудно бывает угадать лета; не красив и не дурен, не высок и не низок ростом, не блондин и не брюнет. Природа не дала ему никакой резкой, заметной черты, ни дурной, ни хорошей. Особых примет у него тоже не было. Его многие называли Иваном Иванычем, другие — Иваном Васильичем, третьи — Иваном Михайловичем, фамилию его называли тоже различно: одни говорили, что он Иванов, другие звали то Васильевым, то Андреевым, третьи думали, что он Алексеев. Почти никто наверное не знал настоящего его имени и фамилии, разве только один сослуживец, у которого были на руках формуляр и все списки, но и тот все сбивался, смешивая и с Петровым, и с Матвеевым, и с Афанасьевым. А постороннему, который видит его в первый раз, скажут хоть пять раз сряду имя его, тот забудет сейчас, увидит раз десять его лицо, и лицо забудет, что он скажет — не заметит, присутствие его ничего не придаст тому обществу, куда он явится, также как отсутствие ничего не отнимет от него. Это может быть от того, что ум его никогда не восходит до того градуса, когда он становится замечателен, никогда и не понижается до решительной глупости. Остроумия, оригинальности и других особенностей, как и особых примет на теле, в его уме нет, и оттого так все бледно и бесцветно, оттого так и забывается или не замечается другими все, что он ни скажет. Может быть, он умел бы по крайней мере рассказать, что видел и слышал, и занять хоть этим других, но он нигде не был: как родился в Петербурге, так и не выезжал никуда, следовательно, ничего не видал и не слыхал и наблюдал только то, что было перед глазами и, след‹овательно›, что знали и другие.

С. 27.

19-24 *Над записанным на полях текстом*: Хотя про таких∾с другими. — *на полях запись*: Надо ли ‹?› чтоб в || океане человечества || были всё заметные || волны,[а] || нужны || и капли. ||[б] Вы говорите || Греки, Рим||ляне, Гот||ты * — ведь ||[в] это миллионы: || много ли из || этих

[а] *Против слов*: были всё заметные волны, — *на полях зачеркнутая помета*: Он слаб для порока, || ничтожен для достоинства

[б] *Против слов*: и капли. — *на полях зачеркнутая помета*: ни богат, ни беден

[в] *Против слов*: Греки, ∾ ведь — *на полях зачеркнутая помета*: Не мир, но улица и || может быть всего лучше бы || назвать его легион ||

мил||лионов || много ли ка||пель брызнула || история на || берег — где прочие? ||

23–24 *Против записанных на полях слов*: обругают,∽с другими, — *запись*: Он вторит || Обломову во || всем [9]

24 *После*: посмеется с другими. — Другой и в любовь и в ненависть вложит какой-то свой оттенок, так что любовь или ненависть представляет много данных к составлению характеристики всего человека, этому неопределенному лицу нечего было влить: любовь у него — форма без содержания: [Любовь у него заключает в себе только некоторые признаки общего, всем свойственного понятия о любви: особенности личности никакой] — если он кому-то говорил, что он любит или ненавидит, потому что иначе и не заметишь у него ни того ни другого, то *люблю* и *ненавижу* у него были у него два монотонные слова, не подтверждавшиеся никаким фактом. Как он говорит, мыслит, действует без оттенка, так и чувство его не носит на себе частной печати, особенности, характера, личности. Оно форма. [Но и то <он> не знает и не может себе составить себе идеи о том, как он любит: может быть, иные видали только, как он объясняется, надо, чтоб он сам сказал об этом, а иначе никто не догадается], хотя такой человек иногда женится и плодится.*

Он не отличается ни положительным достоинством, ни пороком: он слишком слаб как для того, так и для другого: ему недостает содержания, чтоб вылиться в хорошую или в дурную форму.

35 После: способен. — ему дадут и то и другое, он так сделает, что начальник всегда затрудняется, как отозваться о его труде; посмотрит, посмотрит, почитает, почитает да и скажет только: оставьте, я после посмотрю... да, оно почти так, как нужно...

Нет у него никакого определенного порядка в [его занятиях] никакой мысли <в> делах и в удовольствиях, не сформировал он себе никакого взгляда на жизнь, на людей: никогда не поймаешь на лице его следа заботы, мечты, что бы показывало, что он в эту минуту беседует сам с собою, или никогда тоже не увидишь, чтоб он устремил пытливый проницательный взгляд на какой-нибудь внешний предмет, который бы хотел усвоить своему ведению. Встретится ему знакомый на улице, куда? — спросит. «Да, вот иду на службу, или в магазин, или проведать кого-нибудь». «Пойдем лучше со мной, — скажет тот, — на почту, или зайдем к портному, или прогуляемся» — и он идет с ним, заходит и к портному, и на почту, и прогуливается в противуположную сторону от той, куда шел. — Он не был трудолюбив никогда, но никогда и не был лентяем, даже и в детстве; не замечен он шалуном, ни скромным тоже: сам по себе он ничего не затеет, и оттого кажется смирен и тих, но если бойкий товарищ приглашал его участвовать в шалости, он шел влекомый посторонней волею. Он никогда не справлялся с самим собою, что ему делать в том или другом случае, а смотрел, что делают кругом его, и подражал ближайшему своему соседу.

[Весь он был какой-то безличный, безтенный (?) [а] неполный намек на массу людскую, какое-то глухое отзвучие, неясный ее отблеск, или, если хотите, плохой, последний бледный литографический оттиск [б] с нормального человека.*]

44 *После*: забудет его. — *зачеркнуто*: — Не отличается он ничем: ни [оригинальностью лиц‹а›] ни особенностью, наружностью, ни ума, ни поступка, нет в нем ничего резкого, выдающегося, делающего заметку на памяти наблюдателя.

47 *После*: отблеск. — или, если [хотите], пожалуй, бледный последний литографический [в] оттиск первоначальной картины. Так, праздная форма, которую природа пустила гулять по белу свету, забыв влить в нее содержание. В то же самое время такого человека видишь везде. Он встречается на каждом шагу. Он населяет публичные места. Утром его увидишь зевающего в кондитерской за газетой, в полдень улицы кишат им во множестве, заглянешь вечером в театр, он там, и к ресторатору, везде видишь, т. е. лучше и приличнее было бы назвать его легионом.

С. 28.

19 *Против слов*: чтоб вы коляску наняли. — *на полях зачеркнутая запись*: снег || дождь.. || заботы [11]

21–22 *После*: первое мая? —

— Будто первое? что вы? не может быть.

— Как же не первое? ей-богу, первое.

— Ну вот... Иван Васильич... Давно ли было первое апреля? Вы еще тогда, помните, пришли да обманули меня: сказали, что меня кто-то спрашивает: я встал с постели, вышел в переднюю, а там никого ... помните: почти вчера.

— Давно, Илья Ильич, — ровно месяц назад, ей-богу... так поедете?

— Пожалуй, поедемте.

— Вставайте же, пора одеваться.

— Вот погодите, немного еще полежу. Ведь рано.

45–46 — Это я по сырости∾лениво говорил Обломов. / — Ах, да, в Екатерингоф-то... Да знаете что, Иван Иваныч... или то бишь... как его... Иван Михайлыч... что делать в Екатерингофе, ведь холодно еще: какой теперь Екатерингоф! Чай там снег не весь растаял...

— Ах, Илья Ильич, что это вы? градусов пятнадцать есть тепла... уж деревья распустились... поедемте, вставайте скорей... — уговаривал Алексеев.

— Куда это ехáть: посмотрите-ка: вон дождь сбирается: пасмурно на дворе...

[а] *Знак вопроса принадлежит Гончарову.*

[б] *Против слов*: литографический оттиск — *на полях запись*: легион, океан [10]

[в] *Против слов*: последний литографический оттиск — *на полях запись*: ни кожи, ни рожи [12]

С. 29.

16–23 Останьтесь-ка лучше∾во все глаза. / — Да там-то забранят, что опоздал.

— Ну — вот еще! успеете!

Опять оба замолчали.

— Что ж? как же, едете? — спросил робко немного погодя Алексеев.

— Не хочется что-то, Иван... Михайлыч.

— Вот теперь не хочется. А давича поедемте... так уж решайте, как... — отвечал Алексеев, — а то там забранят...

— Да вы-то чего там не видали? — с нетерпением начал Обломов, — толпа, теснота, пыль, того и гляди задавят экипажи или на пьяных наткнешься, в историю попадешь, а не пьяные, так мошенники часы вытащат и не увидишь: у меня лет пять назад и так вытащили в Петергофе платок из кармана и не видал как. А все Штольц тогда, поедем да поедем: вот тебе и поедем. Знаю я эти гулянья.

— Волков бояться — в лес не ходить, — сказал Алексеев. — Может быть, ничего и не случится.

— Может быть! [а]

— На этом гулянье всегда много народу, Илья Ильич, там много хороших экипажей, знати пропасть. И народу толпа, знакомых встретишь: весело, Илья Ильич.

— Ну, пустяки, не поеду. Останьтесь-ка лучше у меня на целый день, отобедайте, а там, вечером [б]

— Бог с вами... — да <?> вот прекрасно! Куда мне ехать... я ведь забыл: Тарантьев обедать придет, сегодня суббота, какой тут Екатерингоф. Так останетесь, нечего и думать.

— Уж если оно так... я... хорошо, как вы... — говорил с расстановкой Алексеев.

— И прекрасно. А то дался Екатерингоф — невидаль какая! до того ли мне... забот, забот... Да! я вам кажется не сказал? не говорил?

— Чего? не знаю, — спросил Алексеев, глядя на него во все глаза.

С. 30.

27–28 — Никак не полагаю, — ∾придумает. / — То-то вот я не знаю, на что решиться... оставаться-то нельзя, торопят съезжать.

— Да, что тут станешь делать? дело-то такое, что около пальца не обернешь, — говорил в раздумье Алексеев.

а *Под этой строкой зачеркнутая запись*: (Общ<ее> место) [13]

б *Вставленная строка не завершена.*

С. 31—32.

45–6 Он задумался. ∾ Чем тут жить? / — А!! — сказал Обломов, кидая беспокойные взгляды вокруг.[а] — Тысящи яко две помене! — произнес он таким голосом, каким на сцене говорят что-нибудь необыкновенно страшное, например: «ад и проклятие! убийца» и т. п. Сколько же это останется, сколько бишь я прошлый год получил? — спросил он, глядя на Алексеева. Вы не помните? Алексеев обратил глаза к потолку и задумался. — Надо Штольца спросить, как приедет, — продолжал Обломов, — должно быть 9/т. было. Так он теперь сажает меня на семь, — почти закричал он в испуге, — ведь я с голоду умру! — И он покачал головой, как будто упрекая судьбу, что она рассыпает ему терния по пути жизни. — Да! — со вздохом произнес он, — ошибется тот, кто понадеется на спокойствие этой жизни!» И опять вздохнул.

С. 32.

11–26 *Против текста*: «Тысящи яко две помене»! ∾ написать! — *на полях в низу листа несколько записей:*

‹*1. Зачеркнуто*:› потом, когда пришел другой и они || поговорили, Обломов решает сам весьма || разумно, а потом и успокоивается: || это еще когда, да что заранее || тревожиться, авось... и т. п. А || вот вы уйдите-ка, а я подумаю || о плане-то... да и эти делишки устрою, || старосте, исправнику напишу, генера||лу... (или лучше [не так ли ‹?›] || не так ли: да что думать, *авось* еще || и не будет, еще дела поправятся, ста||роста пришлет всё и на квартиру || не нужно переезжать; [б] || авось по счетам, *мо||жет быть* немного придется запла||тить... что заранее тревожить себя / [14] (шинель просит: [15] Обломову и хо||чется по-барски подарить, и || нет у самого, он лучше денег || дает)

‹*2.*› — Уж Немец твой... шельма: чай как бы || подобраться: он тебя облупит... ||

— Не говори мне о моем Карле, — строго ска||зал Обломов ||

— А! если так, если ты меняешь меня || на Немца, так я и обедать к тебе || не стану ходить... Обломов и молчит: || он слаб, чтоб || выгнать его... || и начал смягчаться [в] [16]

[а] *На полях к словам*: кидая беспокойные взгляды вокруг. — *помета*: (это можно поместить дальше, когда || он остается один) *Имеется в виду текст*: Кидая беспокойные взгляды ∾ Да вы слышите, что он пишет? — *внесенный позднее на поля рукописи.*

[б] *Против слов*: не нужно переезжать; — запись: *как-нибудь*

[в] *Против слов*: не стану ходить... ∾ начал смягчаться — *в углу листа зачеркнутая запись*: Тарантьеву назначено || было судьбой, несмотря || на его ничтожность, бедность, || [есть] по‹чти?› всегда быть сы||тым и проч. и иметь || воспитание его; — для || уезда. Отец хотел, чтоб || он был *учен*, т. е. на языке || порядочных людей знач. образован, || [но] и он хлопотал, чтобы сын || его знал то или другое, а чтоб || то, чего отец и его товарищи ||не знали [17]

Против слов: отец хотел, ∾ товарищи не знали — *зачеркнутая запись*: — Э, говорит он! а чай сама она || ела там || коренья || да воду || знаю я их || [18] — Э! что

31-33 Обломов, комкая∾мыслей. / Ах, ты, боже мой, боже мой! что это за тоска жить на свете! — в величайшем унынии произнес Обломов, комкая письмо в руках и привставая на постеле. И лицо его выразило тревогу: он подпер голову руками, а локти упер в коленки и так сидел несколько времени, мучимый приливом беспокойных мыслей.

С. 33.

8-9 Видно было,∾обритым. / Весь он будто был пропитан каким-то маслом. Густые черные волосы с легкою проседью волнами покрывали его голову и лоснились природным жиром, который проступал и в лице, в ушах росли кусты волос; мохнатые и жирные руки с короткими пальцами высовывались выше кисти из рукавов и походили на лапы ньюфаунлендской собаки. Костюм его тоже не отличался ни свежестью, ни опрятностью. Синий с металлическими пуговицами фрак, побелевший не по одним швам, едва покрывал ему ребра, жилет из пестрой шелковой материи с разными узорами и цветами напрасно старался удержаться на желудке, он беспрестанно скользил вверх, потом черный галстух и черная манишка, старая и иссеченная дождем шляпа довершали его одежду. Он никогда не носил ни перчаток, ни калош. По всему костюму видно было, что этот человек и не гонялся за изяществом костюма, ни за опрятностью своей особы. Руки и лицо он мыл, кажется, не вследствие потребности вымыться, а только вследствие принятого обычая. Редко тоже кому удавалось его видеть чисто обритым, чаще всего видали его с небритой два или три дня бородой; потом где он ни садился, к чему ни прислонялся, везде или приобретал или оставлял сам какое-нибудь пятно, на что обопрется — раздавит, в грязь всегда натопчет.

12 *После*: земляк Обломова. — *зачеркнуто*: Тарантьев был человек бойкого и сметливого ума, который до тонкости и притом весьма оригинально развился в школе особого рода, в доме его отца. Отец его был подьячий старых времен, который нажил было службою в губернии порядочные деньги. Но последние не дошли до единственного его сына Михея, потому что родитель его любил и хорошо пожить. Кончив службу, он поселился в уездном городе, купил там домик и начал весело проживать нажитое. На его пирушки собирался весь город: он любил дать [и парадный обед], отпраздновать и свои именины, и именины жены, и день рождения сына да, кроме того, каждый свой день заключал беседою у себя с приятелями за чашей пунша, что потом к ночи нередко принимало вид оргии, в которой не были забыты и карты.

это за || выдумка: знаю я: || ничего не будет: || уж эти мне пред||приятия... мошен||ники...

Под этой записью еще одна: — Он еще от отца выуч||ился всех подозревать || в шельмовстве, || не доверять новому, || потому что отец || шельма.[19]

Сам он был искусный делец, тонко знал науку хождения по чужим делам. Этой наукой он вышел в люди, т. е. пользовался уважением как от клиентов, так и от товарищей, ею же не только снискивал насущный хлеб, но и нажил деньги, поэтому он хотел передать свое искусство и опытность в наследство и сыну, как единственный капитал, как самый надежный, по его мнению, кусок хлеба. Но он видел час от часу усиливающуюся потребность образования и понял, что сына не худо поучить, кроме мудреной науки хождения по делам, чему-нибудь другому, но чему? вот вопрос. Сам он учился когда-то на медные деньги по-русски и потому не мог решить хорошенько, что и как может вывести сына в люди. Если отдать его в губернскую гимназию, но <sic!> то тогда надо будет удалить его от себя: кто же преподал бы мальчику все тайны судебного делопроизводства, которое отец все-таки считал краеугольным камнем воспитания. Притом в гимназии надо остаться несколько лет, а для приобретения великой тайны ходить по чужим делам надо с ранних лет вступить в службу. Не долго, впрочем, сметливый человек задумывался над этим вопросом: он решил, что если сын его, к законоискусству, которое он, отец, передаст ему лично, прибавит еще что-нибудь, что бы то ни было, то это уже и будет значительный, современный по-тогдашнему шаг вперед. Для этого он начал посылать мальчика к священнику поучиться чему-нибудь такому, чего он, старый законник с товарищами, сам не знал и что, по его мнению, могло бы перенести сына в сферу повыше той, где он жил сам... Священник добросовестно, систематически начал учить тринадцатилетнего мальчика по-русски, по-славянски и по-латыне. Но отец не ограничился этим: он хотел придать некоторый блеск, сообщить модный оттенок воспитанию сына и для этого пригласил одного вольноотпущенного музыканта, проживавшего в городе, давать Михею уроки на гитаре. Понятливый мальчик в три года одолел русскую и латинскую грамату; бойко переводил Корнелия Непота; следовало приступить к чтению классических писателей, как отец решил, что уже сын его довольно учен и что пора выступить ему на великое поприще, пройденное им с такою честью. Он определил сына в уездный суд, сам следил за успехами его по службе и развивал перед ним тайны [а]

22 *После*: со всеми, — и когда с кем заговаривал, то со стороны казалось, что он сейчас обругает его, что и случалось на каждом шагу. Новое лицо встречал полупрезрением и какою-то недоверчивостью.

29 *После*: посоветуется. — Он был очень искусный диалектик* и в споре его одолеть было трудно, разве только противник перенесет спор в сферу выше его образования.[б] Но и тогда Тарантьев сумеет

[а] *Текст не завершен: черновой набросок, посвященный отцу Тарантьева; на следующем листе он переработан и дополнен (см. ниже, с. 403—404).*

[б] *Против текста:* Он был очень ∾ образования. — *на полях зачеркнутая запись:* что выше || его обра||зования. || он ругал, || не доверчив [20]

вывернуться с честью для своего ума: он вдруг оставлял нить спора и с яростию бросался обливать ядом желчи все, что было выше его познаний. Он с удивительным тактом умел отыскать невыгодные или смешные стороны недостающих ему преимуществ и ловкими софизмами сбивал противника, нанося удары уже не ему самому, а его оружию, которое и выбивал из его рук.

Чего бы кажется нельзя достигнуть с таким, богатым и сильным, природным даром, каких бы выгод нельзя бы извлечь из самого неблагодарного положения.

31-32 *Против текста*: Ни ему самому∾выше. — *на полях зачеркнутая запись*: как дело делать, || так лень...[21]

С. 34.

4 Он года три посылал его к священнику учиться по-латыни. / Но чему? Вот вопрос. Старик под конец жизни и поприща жил в уездном городе, где средства к образованию были не широки и выбирать было не из чего, да он и не сумел бы сделать этого. Но недолго старый делец бился над этим вопросом: он решил, что если сын его к законоискусству и крючкотворству, которое намеревался передать ему сам лично, прибавит еще что-нибудь такое, чего ни он, старик, ни его сослуживцы и другие почетные в городе лица не знали, то он уже и сделает значительный по-тогдашнему современный шаг вперед. Для этого обратился к священнику с вопросом, не не может ли научить чему-нибудь его сына, кроме русской граматы. Священник вызвался учить по-латыне, и старик, довольный, что сын будет знать нечто такое, чего на 20 верст кругом никто не разумел, начал посылать 13-летнего Михея к священнику и потом еще к одному вольноотпущенному музыканту * брать уроки на гитаре. Эти два предмета, латынь и музыка, были в глазах его представителями учености и блеска, а краеугольным камнем воспитания он все-таки считал искусство ходить по делам, служить в присутственном месте: это, по его мнению, был самый надежный кусок хлеба, лучший капитал, какой только он может оставить сыну, потому что другой-то, настоящий денежный капитал, он частию проиграл в карты, частию пропировал на пирушках, которые почти ежедневно давал приятелям и которые обращались всегда в шумные оргии.

5 *Над словами*: Способный от природы мальчик[a] — *на полях зачеркнутая запись*: оргии || все проделки[22]

---

[a] *Против слов*: Способный от природы ∾ *Пряди моя пряха*, — *на полях зачеркнутый набросок*: Этот человек противуположен с || Алексеевым: этого хотя все и везде ви||дят, но редко кто замечает его и пом||нят о нем, Тарантьева кто и мель||ком увидит, запомнит навсегда за || фигуру, а [нет] [или] [а есл<и>] если кто || побудет с ним, хоть полчаса, || где-н<и>б<удь>, то уж верно унесет || неприятное впечатление: неопрят||ность его или нагрубит; притом || он рельефен.

5–6 в три года ∾ Корнелия Непота, / под руководством священника в три года до тонкости анатомировал латынь, этот нетленный труп, завещанный миру Римлянами. На гитаре он оказалось <sic!> не меньше успеха: он выучился бойко играть с притопываньем правой ногой и с потряхиваньем головой *И шуме и гуде,* Пряди моя пряха,**[а] Экосезы,* матридуры* и несколько других веселых песен и пьес для танцев. Священник, довольный успехами мальчика, предлагал было систематически заняться чтением и разбором латинских классиков,

18–19 *После*: подьячих старого времени. — истребленных просвещением и законами. Чего он не наслушался? Что встретило его в заре жизни, в ее нежном цвете,[а] на первых ее порах, когда воображение юноши с чуть-чуть пробившимся пушком на подбородке чертит ему радужными красками райскую картину будущего, когда в сердце властвует одна ничем не сокрушимая надежда на нескончаемую радость, на неугасимый свет, когда этот юноша плачет только слезами восторга от обещанных благ, когда задумывается только от избытка жизни, замирает и задыхается от полноты чем-то обещанного счастья? А что представилось шестнадцатилетнему мальчику, какие радости, какое счастье? Что ему посулило будущее? В его чистое юношеское воображение систематически, медленно, с умышленной постепенностью ложилась широкая картина зла, глазам его являлось человечество с самой безобразной мрачной стороны; тонкий и восприим<чивый> ум его с циническою жадностью читал отвратительную хронику преступлений, разврата, людской несправедливости, сердце его билось и трепетало от волнений при рассказах о всех тонкостях и хитростях, о всем уменье самих рассказчиков вертеть запутанными делами, мудреными процессами. Как охотники, собравшись в кружок, после скаканья и порсканья * по лесам хвастаются своими схватками с медведем, боем с волками, гоньбой лисиц, так старые дельцы хвастались своими мрачными и страшными подвигами в распутывании и решении мрачных преступлений, ужасных и необъяснимых случаев, кривых и правых дел. Ужасны были лица повествователей, то являющиеся, то исчезающие среди облаков пун-

---

и наружно и || внутренно: он уже весь [проя<вился>] вылился || в грубую форму и сейчас обнару||жит себя и положит в памяти на||блюдателя несколько заметок: и || имя его запомнят, и голос, и то, || что он сказал, и медвежий по||ступок его не укроется, и всякий || отойдет от него раздосадованный или || оскорбленный, а если [и] кто || и не поговорит, а увидит его, так || уйдет удивленный[23]

Под словами: уйдет удивлённый — *зачеркнутая запись*: живешь как свинья[24] а вот у такого-то не то || что у тебя.

он сделался взяточником, || не имея случая брать[25]

[а] *Против слов*: подьячих старого времени. ∾ в ее нежном цвете — *на полях зачеркнутые записи*: и бог знает, во что бы развились || эти семена || вот отчего сердце его играло || радостью || вот цвет его жизни, || райская картина ||

ему систематически развивалась || картина || и отец с улыбкою[26]

шевых паров, страшны их хвастливые улыбки от удали этих рыцарей Фемиды* семидесятых годов, не раз содрогались ужасом нежные члены ребенка — но за мрачными подвигами раздавались звуки гитары и *шуме и гуде*, и все оканчивалось пляскою, попойкою, дикими восклицаниями. Нередко при этом ум мальчика, отуманенный дикими рассказами, отрезвлялся стаканом крепкого пунша. Вот от каких сказок и историй сердце юноши играло радостью, вот каков был рассвет его жизни, его райская картина будущего! Какой колоссальный злодей мог бы сформироваться в такой адской школе, если б натура хоть немного пособила с своей стороны, одарив ребенка мощной душой и сильными страстями. Но, к счастию, природа распорядилась лучше. Она не дала Михею ни того, ни другого.

33 *Против слов*: постоянно сердит и бранчив. — *на верху листа на полях зачеркнутые записи*: что ваш родственник-то || [да это] [он не родственник] || — да как же, он такой || же, как и вы[27]

33 *После*: бранчив. — Картины людских преступлений и лукавого суда над ними заронили в душу Тарантьева недоверчивость к человеческому достоинству: напрасно перед глазами его проходили отрадные светлые явления, всуе в виду его совершалось благо: напитанный примерами зла ум его отыскивал мутную причину во всяком примере добра и благородства.

34–37 *Под словами*: Он с горечью и презрением∾ выгодную замену — *на полях зачеркнутая запись*: но все же в нем присут||ствовала неупотреблен||ная сила и она-то || шевелила его, и от ||того эта раздражи||тельность, взяточ||ник[28]

41–43 *Против текста*: ничтожного существования∾официальных. — *на полях зачеркнутая запись*: наконец грязный || образ жизни отца[29] || и притом || недостатки [остались] || сделали его неопрятным[30]

С. 35.

1 *После*: придирчив. — Судьба, лишив его широкой арены ходатая по делам, не лишила его по крайней мере мелких преимуществ этого звания: чествований, угощений и т. п. и несмотря на его бедность, ничтожность и бесполезность в службе и жизни, несмотря на его семьсот пятьдесят рублей жалованья, этот маршальский жезл его деятельности, не дала ему пропадать с голоду и холоду, позволив хитро и умно воспользоваться преподанною в доме отца теориею для того, чтоб быть всегда сытым, пьяным и одетым на чужой счет. А грязный и грубый быт отца поселил навсегда и в сыне циническое равнодушие не только к нравственной чистоте и опрятности, но и к наружному изяществу, и оттого он так презрительно холодно носил свое грязное платье: на всякого порядочно одетого человека, не говоря уже о франте, он смотрел как на естественного своего врага;

1 *Против слов*: Его никогда не смущал стыд — *на полях зачеркнутая запись*: жизнь — нищая[31] || ‹*нрзб.*›

9–25 Зачем эти∾много шума, / Как Алексеева везде все видят и никто не замечает и не помнит о нем, так напротив, кто хоть мельком увидит Тарантьева, тот наверное никогда не забудет его: не забудет его рельефной громоздкой фигуры, его неопрятного отталкивающего вида, громкого голоса и размашистых движений. Он в какие-нибудь четверть часа успеет врезать несколько глубоких меток в память наблюдателя: и имя у него такое, что его все заметят, и лицо, и разговор, и медвежий поступок. Всякий, кто побудет с ним хоть полчаса, наверное уж унесет тяжелое и беспокойное впечатление, а кто вступит с ним даже в простое, обыкновенное сношение, хоть только поговорит, тот отойдет от него раздосадованный, оскорбленный и мало-мало если только удивленный.

Обломов, однако ж, не тяготился присутствием ни того, ни другого. Тарантьев — был говорун, хотя бранчивый, вздорный и грубый, но все же он делал много шуму

25–34 *Против текста*: Тарантьев делал много шума,∾причине. — *на полях несколько зачеркнутых записей*: [Захар чешет его] || Э! это дурак || Захар подал: || зачем по || даешь мне [32]

Под этой записью: отчаянные меры,[33] *а против нее — помета*: Живешь, как свинья, || а вот у такого-то || [небось я и] так обед || а ты что. || Да у тебя чай зелен||чак. . .[a] * [34]

37 *После*: хоть трои сутки. — Обломов при нем мог считать себя в совершенном уединении, ничем не стесняясь, ни к чему не принуждая себя.

41 *После*: каков бы он ни был. — Притом и Тарантьев и Алексеев были бедные люди, нуждавшиеся во всем и не везде находившие в Петербурге радушный прием: самолюбию Обломова, как барина и как достаточного человека, льстило одолжить их, принять у себя, накормить хорошим обедом. «Ведь это бедняки, голь, не то что наш брат!» — говорил он с самодовольствием.

С. 35—36.

42–8 Другие гости∾с часу на час. / Другие гости заходили редко: он удалялся от них, они от него. Из них почти никто был не по нем. Одним не сиделось на месте, все бы им поехать толпой обедать куда-нибудь да в театр, летом так за город, тех занимали вечера, танцы, третьи все волочатся за женщинами и только об этом думают, четвертые любят говорить о литературе, о науках, о политике, до всего им дело, везде суют свой нос; всякая политическая или городская новость им точно как родная. Во все это они путали и Обломова, а он был не охотник ни до езды, ни до танцев, ни до прогулок. Все

---

[a] *Над этой записью помета*: Один говорил за него || и избавлял его от труда || говорить,[35] другой слушал || и доставлял [способ] легкий || способ говор‹ить?› *Под этой записью набросок*: взял денег, а потом || вернулся и все-таки [36] || просит шинели [37] || [Не могу] || Обломов просит напи||сать за него, когда тот || посоветовал ему — || — Я и на службе не||писал, палец обрезал [38] — Вот ты не хо||четь ничего сделать, || а сам все просишь — Что ты, попрекаешь, || что ли [39]

это он терпел в одном только человеке, в Карле Михайловиче Штольце, товарище детства и ученья, который был в то время за границею, но Обломов ждал его с часу на час.

С. 36.

16 *После*: коли дают! — в другой раз издали палец только покажу: больше ничего и не получишь. Да что же ты не встаешь, вставай, а то, ей-богу, стащу: вот побожился.

17–20 Он хотел приподнять∾провалялся. / Он схватил Обломова за плечо и начал тащить с постели.

— Что ты, что ты, помилосердуй! — кричал Обломов, плотно прижимаясь спиной к постели и стараясь руками и ногами уцепиться за что возможно. Но Тарантьев ухватил его и за другое плечо и до половины стащил с постели, так что Илья Ильич волей-неволей должен был проворно вскочить на ноги, чтоб не упасть головой вниз.

— Экой медведь! ну, брат, ты прямой медведь, Михей Андреич, — с неудовольствием говорил он, сразу попадая ногами в обе туфли и садясь па постель. — Кто так делает: только медведи в лесу: и те, я думаю, тише: вот ты ногтищами, я думаю, совсем до крови разодрал мне плечо — право медведь! Я сам сейчас хотел вставать.

— Знаю я, как ты встаешь: ты бы тут до обеда провалялся. Ну-ка, ну, ну: одевайся да умывайся живее.

С. 37.

12–14 — Да у вас простой,∾потом. / да ведь у вас, чай, кучерской, мерзость, нюхать нельзя, зеленчак? Так и есть: мерзость! — сказал он, набивая ноздри табаком: постойте закрывать, что вы торопитесь: жаль, что ли, вам? Да дайте-ка сюда табакерку! Я отсыплю его себе: с собой-то я не ношу. — Он схватил бумажку со стола, взял у Алексеева табакерку и высыпал оттуда почти весь табак.

— А вы домой сходите, насыпьте свежего, — сказал он, а то так купите, да только не эдакого. — Как это не купить порядочного табаку, чтоб не стыдно было попотчивать. Да вашим ли носам хороший табак нюхать? Вот у Греева так табак, где это он берет? Алексеев взял табакерку, открыл, печально заглянул на дно и спрятал в карман.

15 *Против слов*: — Да, еще этакой свиньи — *на полях в верхнем углу листа зачеркнутая запись*: отчего || не лосо||сина[40] *Несколько ниже зачеркнутая запись*: винные || откупа[41]

23 *После*: отваливать! — Свинья, свинья! Вы скажите ему. Не приставай он, так я бы отдал, как только получил бы место по откупам, а теперь вот не отдам, хоть сто тысяч будет — не отдам, оттого, что он свинья.

34 *После*: тебе говорят! — В первый раз, как выйду со двора, зайду в магазин: все не собрался, — отвечал Обломов.

38–40 *Против текста*: — Ты рано∽так только — *на полях в низу листа зачеркнутая запись*: Захар! дай ему || шинель.[42] — Не || дам — прежде || жилетку-то || отдайте[43] — || вот Карлы || Мих. жаль || нет: он бы || вас выучил[44]

40 *Против слов*: — Нет, я так только — *на полях зачеркнутая запись*: дрянью || кормишь[45]

45–47 — Узнай там,∽воротясь. / — Да что, — сказал Обломов, — постой-ка, я вспомню, я еще вчера заказал. Будет суп, потом говядина au naturel.

— И тот раз говядина, и теперь говядина! — сказал Тарантьев. Ну еще что?

— Под соусом сиг с яйцом и маслом.

— Ну уж: есть что есть! — сказал с презрением Тарантьев, — отчего не лососина? Теперь лососина пошла.

— Анисья говорит, что лососина еще дорога, — сказал Обломов.

— Так это ты меня дешевой дрянью вздумал кормить? нет, шутишь, вели-ка сейчас лососины купить да приготовить с каперсами.* А то видишь, что выдумал: сига! да черт ли в нем? стану я есть сига! Потом что?

— Макароны.

— Терпеть не могу! — сказал Тарантьев.

— А я так люблю: это мое любимое кушанье, — сказал Обломов.

— И я люблю: это тоже мое любимое кушанье, — заметил Алексеев из своего угла.

Тарантьев обернул к нему голову и поглядел на него с ног до головы.

— Вы лучше поди<те>-ка скажите своему родственнику, что он свинья, — заметил он. — А ты, Илья Ильич, макароны вели отменить.

— Ну так одним блюдом будет меньше, — отвечал Обломов.

— А нельзя другое велеть? вот еще новости! Не умеешь и обеда-то заказать: что бы велеть уху сварить, да пельмени, что ли, да потрох гусиный, да индейку! Вот бы и обед. А вместо макарон раки чтоб были: я люблю заняться ими.

— Жаркое телятина, пирожное, вафли, — заключил Обломов.

С. 38.

32–35 — Что я за советник∽о чем-то размышлял. / — Что я за советник тебе достался? ты стоишь ли, чтоб тебе советы давать? Я управляющий, что ли твой? Хоть бы ты поил, да кормил почаще меня, в трактир бы позвал да угостил, подарок бы к Рождеству или к Святой сделал какой-нибудь, а ты что? Ты думаешь, что говядины дашь да дрянной мадеры, так и можешь распоряжаться, повелевать... Напрасно ты воображаешь, а я не мальчик тебе достался...

— Я совсем ничего не воображаю, — сказал Обломов, — оставь это и посоветуй как добрый приятель, как земляк — ты опытный человек... подумай да и скажи...

Тарантьев в самом деле о чем-то размышлял.

С. 40.

3 *Против слов*: — Этому старому псу, — *запись на полях*: портер[46]

27 *Против слов*: — Где письмо? — *запись на полях*: хоть бы Штольц || приехал[47]

27–28 *После*: говорил Обломов. — И Тарантьев подошел к столу и вдруг стал внюхиваться в воздух. — Что это, чем у вас тут пахнет, хорошо так? и все стали нюхать. — Нет ...кажется, пахнет, как всегда нехорошо... — заметил Тарантьев. Захар пришел и тот стал нюхать. Долго нюхали, наконец Захар приблизил нос к бумагам.

— Да это от бумаг несет! — сказал он.

— В самом деле от них, — заметил Тарантьев.

— Точно, от бумаг, — повторил Алексеев. Это была душистая записочка Веры Павловны.

С. 41.

8 *Против слов*: — Староста твой мошенник, — *на полях зачеркнутые записи*: ‹1.› пиши || к исправ||нику, да к || соседу[48]

‹2.› счеты, чай, || украли мяс||ник и Захар[49]

С. 42.

4–5 *После*: тот напишет. — Дурак никогда натурально не напишет. Только бестия сумеет заметить да подглядеть все и подладить на бумаге так, что вот как будто в самом деле случилось.

28–34 Да знаешь ли что,∞Право, не знаю. / главное все обдумано, остаются подробности, а там и за дело. Вот сегодня же хотел утром набросать на бумагу к приезду Штольца, да вы пришли. В деревню мне нужно будет поехать в конце лета: к тому времени я все обдумаю, напишу, поговорю с архитекторами, запасусь нужными руководствами и приищу управляющего, а теперь пока надо что-нибудь другое придумать.

С. 42—43.

43-1 *Внутри фраз, записанных на полях*: куска хлеба,∞справок — *на полях зачеркнутые записи*: — Кабы Штольц || приехал[50] || — Ну уж, || чай, у себя так где || в Саксонии-то || и хлеба-то не || видал || (желчь на него) || зачем шатается || и проч.[51]

С. 43.

3 *После:* сделает распоряжение. — Я вот это же самое думал сделать, я вот Ивану Иванычу перед тобой говорил, что надо написать к губернатору, — сказал Обломов.

— Врешь, где тебе выдумать: ничего не смыслишь.

29 *Против слов*: — Вот нашел благодетеля! — *на полях зачеркнутая запись*: (ярость Тарантьева) [52]

35–37 я тебя просил∽ — О близком человеке! / выпрямившись в креслах: ни слова больше о моем Карле, или я слушать тебя не стану... — лицо у него мгновенно изменилось, глаза сверкнули, в чертах проявилась жизнь, ноздри несколько вздулись от волнения, щеки оживились румянцем негодования: Обломов стал совсем другой человек.

— О моем Карле!

39–40 — Ближе всякой∽дерзостей... / — Он мне друг вот с этих лет; я вместе с ним рос, учился: и никакая родня, никакой брат, ни земляк — никто не заменит его... и ругать его я не позволю...

44 *После*: смягчился. — Добрый от природы, он не хотел выгонять Тарантьева и потому еще, что это казалось ему нарушением приличия и гостеприимства и вообще сценой, выходившей из порядка обыкновенного быта.

— Никто тебя ни на кого не меняет, — сказал он кротко, — Карл сам по себе, а ты сам по себе.

С. 44.

1 *После*: сказал Тарантьев. — Да, уважать, — говорил Обломов, стараясь говорить мягче, хотя его и возмущал дерзкий тон Тарантьева, — он стоит и не твоего уважения: таких людей мало: я хотел бы походить на него, да и другим желал бы того же...

— Послушай, Илья Ильич, не выводи меня из терпения, или я никогда не приду к тебе. Что он за благодетель тебе, что ты ставишь его так высоко, как родного отца?

— Да, — отвечал Обломов, — ты правду сказал, после покойных отца и матери, я ни к кому не был так привязан, как к нему.

6–7 Вот если б∽сказал Обломов. / — Ну, если ты не понимаешь бескорыстной привязанности, так я скажу тебе, что он делал мне столько добра, сколько и родной брат не сделает: он устроил все мои дела, хлопотал об них, пока жил в Петербурге и служил здесь, и вообще до тех пор, как начал странствовать по России и за границей, заботился обо мне, как о родном брате. Он три раза ездил ко мне в деревню, хозяйничал, распоряжался там за меня, наконец, взял меня в долю в свои обороты и сделал мне тысяч 50 капиталу, который и теперь еще у него в обороте в одной торговой компании... Наконец уж я сказал тебе, что если б он был здесь, так он с своей ловкостью давно бы избавил меня от всяких хлопот, не спросивши ни портеру, ни шампанского...

15–18 а только прошу∽ты слушай его! / я хотел только доказать, как много сделал для меня Карл...

— Много сделал, знаю я! — заревел Тарантьев, — этих благодетелей: эта, говорю тебе, продувная шельма, бестия: торговые компании, спекуляции да разные эдакие затеи: это все мошенничество. Эти спекуляторы хуже картежников.* Они на чужой карман метят с своими немецкими затеями: вдруг выдумают фабрики заводить,

дома строить, компанией, на каких-то акциях, без гроша, облупят какого-нибудь дурака, да и разбегутся: ищи их! Ненавидит душа моя эти<х> проклятых немецких выдумок...

20 *К словам*: — А вот к тому, как уже немец твой облупит тебя, — *на полях запись*: Саксония[53]

26 *После*: приехал. — *зачеркнуто*: — Мне батюшка покойный сказывал, что отец-то его в сентябре м<еся>це — в одном сюртуке, в башмаках в нашу губернию-то приехал, а тут разжирел от русского добра, да и на акциях, компаниях, пошел строить...

43–44 Добро бы в откупа∾этаких! / — Четыреста тысяч он сделал оборотами, счастливыми спекуляциями...

— Вот тут мошенничество и есть. Почему не наживаться? Да наживайся честно, чтоб видно было, как наживается человек. Вот бывало в старые годы выгодные места были: умный человек ходит по делам, решает процессы и получает благодарность с дураков, или купец купит товар да продает, и опять купит — видно, откуда и за что прибыль... понемногу — смотришь: к старости и наживет советами <?>... А тут черт знает что: в 10, в 12 лет и с капиталом: пронюхает, бестия, где что нужно, на бирже да за границей, да предприятие затеет, смотришь, через год и еще 10/т. нажил, а иной и совсем без денег, юлит только везде и тоже деньги берет черт знает за что: нет, это, брат, нечисто: я бы под суд их всех.

Обломов молча пожал плечами.

— Не бестия твой Штольц, — продолжал Обломов <sic!>, — в 12 лет какие деньги нажил, в чины вышел да вот теперь шатается черт знает где!

С. 45.

6–12 Я слышал,∾сказал Тарантьев. / он затем поехал туда, чтоб разузнать, как русские денежки там пристроить: приедет сюда, облупит еще дураков-то да и поминай как звали: я бы его в острог... В двенадцать лет вдруг и надворный советник, и богач, и черт знает что: бестия первого сорта! Терпеть не могу эдаких. Ты меня не смей равнять с ними, а то я никогда не приду к тебе, — заключил он.

43–45 Не дам фрака!∾кулаком. / — Рубашку прачка потеряла, а жилет принесу вместе с фраком, — сказал Тарантьев, — неси фрак...

— Не будет фрака! — сказал Захар, — хоть что хотите! — и ушел к себе.

— Видали ли эдакое животное, а? вот постой: я на тебя бумагу дам... — сказал Тарантьев, — выучат тебя грубиянить...

— Ты чего смотришь, — говорил Тарантьев, обращаясь к Обломову, — как ты позволяешь ему так обращаться с гостями, с благородными людьми?

— Что ж мне с ним делать? — отвечал Обломов, — да знаешь что, Михей Андреич, ты лучше бы купил себе фрак: говорят, где-то готовое платье дешево продают...

— На Апраксином в 9 № всякое есть платье, — вдруг сказал Алексеев, — за 25 рублей можно фрак купить, тонкий, точно новый: и не узнаешь...

Тарантьев посмотрел на него с презрением.

— Это вы с родственником с своим, — начал он, — на мои 50 рублей не по фраку ли хотите себе купить? то-то он все и пристает ко мне, да вот ему — и вам тоже — шиш! Как же, земляк, фрак-то? вели дать.

— Захар не даст, — отвечал Обломов, — уж если он что заберет себе в голову, так оттуда ничем не выбьешь, кончено: ты лучше купи.

— А на что я куплю? на твою красненькую, что ли. Эх, ты, богач, помещик, что бы тебе бедному земляку к Святой сукна на пару подарить или сотенную прислать — не дождешься. А всё новые ваши нынешние модные штуки да приятели, да вот эдакие немцы — жди от тебя! Ну хоть ты дай мне на фрак денег взаймы до жалованья...

— Вот теперь денег: слышишь, что староста пишет! где я их возьму?

— А вот здесь, — отвечал Тарантьев, указывая на ящик,— дай-ка сорок пять рублей, право! И в самом деле лучше купить: твой еще замараю как-нибудь...

— Зачем же сорок пять рублей, когда фрак 25 стоит: вон Иван Иваныч знает...

— Вы бы шли вон отсюда, Иван Иваныч, — сказал Тарантьев, — мутите только. Фрак стоит 45 рублей. Я вам говорю... Ну дай же, земляк, хоть сорок: полно тебе: как это не одолжить приятеля? А пять-то рублей вот он даст...

— У меня всего денег-то целковый, — сказал Алексеев.

— Ну, целковый дайте, я поторгуюсь, уступят. А я вам уж вместе с родственником вдруг и отдам 53 рубля... Ну поскорей, ну давай, Илья Ильич.

— Пристанет же, — с досадой сказал Обломов, отворяя и тотчас опять затворяя ящик.

— Ну уж отворил: чего опять затворять, — заговорил Тарантьев и проворно сунул четыре пальца в ящик, чтоб помешать закрыть его: — давай, давай.

— Пусти, прищемлю пальцы, — говорил Обломов, стараясь закрыть ящик.

— Не пущу, — говорил Тарантьев.

— Пусти, я сам дам...

— Ну, давай.

Обломов вынул 25 рублевую бумажку, швырнул ее с величайшим неудовольствием Тарантьеву и громко захлопнул ящик, заперев ключом.

— Только-то! на это и панталон не купишь, а все вы, — сказал он, обращаясь к Алексееву, — давайте скорее целковый...

Алексеев хотел что-то сказать.

— Ну, ну, проворней, некогда мне! — говорил Тарантьев.

Алексеев пошарил сначала во всех карманах, как будто не зная, где лежат деньги, потом вынул и бережно развернул бумажку, в которой завернут был целковый, взял его и посмотрел на обе стороны. Он начал было завертывать его опять в бумажку и опять хотел что-то сказать, но Тарантьев выхватил у него целковый вместе с бумажкой.

— Это-то возьмите назад, — сказал он, отдавая бумажку, — у меня и без бумажки не пропадет.

С. 46.

8 *После*: думал о чем-то другом. — Тарантьев пошел и опять вернулся.

— А знаешь, что я придумал, — сказал он. — Ведь фрак-то можно достать: ты ушли куда-нибудь Захара минут на пять, а мы бы сами и взяли...

— Нет, нет... — с нетерпением заговорил Обломов, измученный присутствием Обломова ‹sic!› и утомленный его требованиями, бранью и криком.

— Ну черт с тобой, неблагодарный, — говорил Тарантьев уходя, — для него хлопочешь, хлопочешь, благодетельствуешь ему, а он ничего не хочет сделать. Вот к куме должен бежать на Выборгскую сторону...

11–12 отчасти∾вздохнул. / и раздосадован Тарантьевым. Алексеев был огорчен внезапным лишением целкового. Оба были недовольны. Наконец Обломов вздохнул.

23 *Перед началом 5-й главы* (*в рукописи номер главы не обозначен*) *на верху листа и на полях зачеркнутые наброски*: встать не хочет || Ему лишь дома было привольно и хорошо. || Он отстал от знакомых, от всего от || лености и тяжести, от неохоты нарушать || ежедневные привычки, если он не выспится, || [ему день] после обеда, ему день не в день, || не любил он стесняться; ему бы лежать при || госте, любил грязненький халат; обе||дать любил нараспашку, чтоб взять || кость обеими руками и глодать, замусо||ливши и руки и рот; пробыть целый || день где-нибудь было ему уж тяжело; || [с] новых лиц тоже не любил, потому || что с ними надо хоть немного при||нудить себя, принудить мысль, при дамах || нельзя сесть слишком свободно. Но случай || но он мог и сблизиться с кем-нибудь и || легко привыкал. Как Никита Вас.: где || сел, так уж нелегко встанет, || [он устает] надо достать платок, не хо||чется, он устает и оттого, || что спал, и оттого, что не спал, и || оттого, ‹что› говорил, и что сидел и || ходил, и утомляется долго || временным молчанием.[а] 54

[а] *Против текста*: принудить себя, ∾ молчанием — *запись*: Наставала одна из редких и грустных || минут, когда он страдал за [свою] не ‹развитость?› || свою неразвитость, зарытый клад и || проч. (см. лист IIй). / Он тяжело и громко взды-

Он боялся движения. Его не пуга||ли, например, трещины потолка,[55] || галерея ветха,[56] а жизнь, движение || пугали.[58]

Он любил жить, мечтать и волно||ваться лежа[59] (см. лист III): позы лежанья[60] (см. лист II). / Ученье Обломова, приезд, служба, Захар[61] / || энциклопедичность, ученье выдохлось со временем — остался какой-то странный признак — || конечно, что он учился когда-то: он || мог *молчать умно*, т. е. не как || невежда, тупо и бессмысленно, а в глазах, || пожалуй, написано было, || когда говорили о чем-то: да, я || помню, было что-то, || учили, я || забыл; или: я понимаю это, || да рассказать не могу...[62] ||.

Приезд: не иначе понимал [как] || возможность путешествия как с [вет||чиной] и в перинах...[63]
[Он все]

Но он понимал — Штольц натол||ковал ему — что [он не может] || человек должен делать что-н‹и›б‹удь›, || что на каждом из нас ле||жит какая-н‹и›б‹удь› задача, которую || надо сделать, а что [в этом наше] || это наше назначение, цель на||шего создания,[64] может быть, [тогда || уж он стал] Поэтому || [узнав] увидев, что его обма||нула служебная и светская || роль,[65] он стал помыш||лять о прочном счастье и, || стараясь [угадать] определить свое || назначение, *в имении* См. лист IV. / Сначала жил || скромно, но по смерти || родителей, получив доходу до 12/т., начал || жить шире. Но [доход] количество дохода, || расхода — сколько нужно на прожиток, || но бюджета, ничего не было. Сколько || было у него денег налицо, сколько || надо заплатить, сколько истратить, || он ничего не ведал... [Думал о плане] || [Если] Он поиздержал по мелочам, || не обращая внимания, но если вдруг || надо заплатить много денег, прихо||дил в отчаяние. Повар у него, от || пустил его, нанял кухарку...[а]
имение ни в дурном, ни в хорошем || положении (лист II.)[б] *в семейном счастье,* он все *продолжал чер||тить узор своей жизни.*[66] Он любил мечтать, || жить, волноваться лежа. || Он уходил в самого себя (см. лист III.) позы лежанья (см. лист II)[в]

31 *Против слов*: Он вместо пяти получал уже от семи до десяти тысяч рублей — *на верху листа на полях зачеркнутая запись*: Он чувствовал || потребность || делать что-н‹и›б‹удь› || и занялся пла||ном...[68]

37 *После*: надеялся. — как более или менее всякий молодой человек,
38 готовился к поприщу, ∾ в службе, / готовился к поприщу, к роли

хал, || так что иногда [Захар] || эти вздохи долетали до Захара: || эк его там: видно от квасу || раздувает:[57]

[а] *Текст*: См. лист IV. / Сначала жил скромно ∾ нанял кухарку... — *вписан на полях дополнительно. Вклиниваясь в данную помету (с помощью авторского условного значка), он прерывает ее. Ее продолжение см. ниже, со слов: в семейном счастье,* ‹...›

[б] *Вторая дополнительная вставка, также зачеркнутая.*

[в] *Под этой пометой запись*: Захар[67]

или, лучше сказать, к нескольким ролям. Самою важною из них он считал, разумеется, роль в службе,

С. 46.

41–42 *После*: семейное счастие. — так ясно и просто развивалась перед ним картина всей его жизни, картина не новая, не мудреная, не необыкновенная. Он не заносился, как многие другие юноши, не сулил себе никакого особенного назначения, а если и ставил себя героем какого-нибудь блистательного положения, быта, подвига, то делал это единственно из удовольствия помечтать [лежа на постели о разных призраках, с тем, чтоб, встав, тотчас же и забыть о них. Это он любил делать иногда, но о возможности осуществить свои мечты[a] ему и в голову не приходило.]

43 *Против слов*: Но дни шли за днями, года сменялись годами, — *на полях зачеркнутые записи*: (характера [тихого] тихого, || склонного более к созер||цательной, нежели к деятель||ной жизни)[70] лист III

С. 47.

2 *После*: десять лет назад. — Но он все сбирался и готовился начать жить, все рисовал в уме узор своей будущности, и конечно с каждым мелькавшим над головой его годом должен был что-нибудь изменять и отбрасывать в этом узоре.

К нему, кажется, не подкрадывалось сознание, что он был характера более склонного к созерцательной, нежели к деятельной жизни, что волнения, хлопоты всякого рода, вообще движение не уживались с его вкусом и привычками. Ему бы всего более по вкусу пришлась жизнь браминов: * сидеть на солнышке, поджав ноги под себя, и глубокомысленно созерцать кончик собственного носа. А если иногда случай или необходимость и наталкивали Илью Ильича на заботы, то не приведи бог, как грустно становилось ему от этого. Он вовсе не был из числа тех господ, которые всю сладость жизни видят в труде, всю сладость труда не в цели его, а опять в труде же.

4–5 *После*: мирного веселья. — *зачеркнуто*: Но он первую половину допускал не как необходимость, но как неприятную случайность, от которой, как от какой-нибудь болезни или всякого другого худа, всегда искал освобождения.

35 *Против слов*: что это отец подчиненных, — *на полях зачеркнутые записи*: о цвете лица || о расстроен<ном> || желудке[71] *Параллельно первой*: Потом общество, || потом женить||ба[72]

С. 48.

5–6 Илье Ильичу ∼ человека: / А между тем начальник Ильи Ильича был в самом деле добрый и приятный в обхождении человек.

---

[a] *Против текста*: а если и ставил ∼ свои мечты — *на полях зачеркнутая запись*: *В службе* с || первых годов (лист IV) || отстал. || *в обществе* ему || привольно было || дома, а ежели || к кому — придет, || то сидит до || нельзя (см. [особо] лист V) || повадился ходить к || одному кому-то, || лошади поэтому не понадобились... || отпустил — || *жениться* все сби||рался —[69]

14 *После*: не говорили. — у некоторых даже было по два и по три особенных голоса в запасе, которые они смотря по обстоятельствам и пускали в ход в разговоре с начальником.

17–18 *После*: с ним начальник. — Ему казалось, что как только последний поведет взглядом по подчиненным, то вот все хором и грянут: ах, зачем мы горемычные родились на белый свет.* Но если случалось Обломову сделать что-нибудь не так, как следует, и если начальник звал его к себе, то страху и трепету и конца не было. Илья Ильич шел с места быстро и бодро, топал ногами и сапогами и тем явно доказывал, что и у него есть ноги и сапоги, как у всех. Но подвигаясь к начальнику, он, кажется, постепенно терял это сознание, а вместе с сознанием и звук шагов, и шел все медленнее и медленнее, желая никогда, никогда не дойти до рокового места, наконец подходил к начальнику уже как призрак, совсем неслышными шагами, точно без сапог. Дыхание у него замирало, его прошибало от страха потом, до волос, и он просил, кажется, глазами прощения в своем существовании.

30 *После*: не сможет. — Такого голоса еще не было ни у кого, надо было создавать новый, так как случай вышел совсем новый.

34–35 *Под словами*: прислал медицинское свидетельство. — *на полях зачеркнутая запись*: другое поприще — || общество [73] || говядина [74] || уж этот Обломов [75]

С. 49.

17 *После*: с болью до слез. — Вот тогда-то он и завел лошадей, нанял повара и двух лакеев. Как, бывало, любил подкатиться на паре борзых коней к крыльцу, когда знал, что пара хорошеньких глаз караулят его приезд у окна. И он бывал не прочь увековечить священный и неразрывный союз дружбы с приятелями за обедом, среди чаш, объятий, стихов и фраз. Но взгляды и улыбки красавиц стали обращаться к нему реже, по мере того, как он входил в лета, и он стал реже появляться в люди.

20 *После*: хлопоты. — едва ли какая-нибудь другая служба требует столько тонких угождений внимательности, как служение красавицам.

23–24 *После*: себя влюбленным. — Каждая история любви Обломова, как только дело доходило до того, что надо было поспевать в один день и в театр и на обед, иногда и на вечер для какого-нибудь пугливо, стороной брошенного на него взгляда, или для того, чтоб иметь случай сказать или услышать несколько самых простых слов, иногда даже просто чтобы сказать этим присутствием, что вот и я здесь, я слежу за вами всюду, Обломова уже не ставало на это. Нечего и говорить о каких-нибудь энергических способах или хитрых, тонких, неприметных уловках, изыскиваемых влюбленными для достижения своих целей: об этом никогда Илье Ильичу и в голову не мечталось.

С. 50.

9-10 *После*: патетической страсти, — *зачеркнуто:* Илья Ильич довольно холодно расстался с светскими красавицами, но еще холоднее простился он с толпой друзей. Вглядываясь с летами в жизнь и людей, уразумев и то и другое, он многое перестал любить, многому не верил, как и другие, но не счел нужным, как другие притворяться иногда и продолжать вертеться в этой сфере с теми людьми, от которых мог спрятаться. И он прятался по разным причинам.

15 *После:* «друзей». — *зачеркнуто:* Его перестало тянуть из дома. Только в своем кабинете он чувствовал себя хорошо, привольно, безопасно. Какая-то тяжесть, неохота ко всему забралась его в душу. <sic!> Уж ему стало трудно провести целый день в людях; если он не доспит часа утром, не соснет после обеда, ему и день не в день: он ходит сонный и вялый. С каждым днем ему становилось все труднее стеснять себя и приневоливать к чему-нибудь.

Нельзя сказать, чтоб он грустил, расставаясь с приманками молодости, со всеми этими улыбками, взглядами красавиц, с друзьями, со всеми суетными желаниями, с беготней и с волнениями. Нет, расставаясь с этим, он как будто сбрасывал с себя какую-то ношу или сдавал с рук хлопотливую обязанность, которая приходилась ему не по нраву. На все мечты, все мелкие, но дорогие сердцу мелочи и воспоминания, от которых у иных и под старость сердце обливается кровью, он лениво махнул рукой, с сонными глазами простился с ними, и только память о поваре и лошадях почтил искренним вздохом. А впрочем, он чувствовал себя совершенно так, как человек, заплативший долг или какую-то невольную дань или отказавшийся от не свойственной ему роли.

Ему, не как многим другим, только дома казалось хорошо, привольно, безопасно. Возвращаясь от шума и блеска и пустых забот молодости, он как будто возвращался к своим пенатам,* от которых был оторван докучливой обязанностью, с спокойствием, с дружеской улыбкой своим диванам, креслам, всем знакомым предметам.

16-17 Его почти∾квартире. / Потом его ничто почти уже не влекло из дома, и он с каждым днем все крепче и постояннее водворялся в своей квартире, ограничa круг знакомых очень немногими лицами и домами, и постепенно дошел до того сидячего или, лучше сказать, лежачего положения, в котором застал его читатель.

18-23 потом он∾бриться. / и он распоряжался так, что если приходилось ему где-нибудь обедать, то он уж проводил вечер дома; если намеревался ехать на вечер, так оставался обедать дома. Потом он реже обедал в гостях, потому что приобрел привычку спать после обеда, и если не спал, то целый вечер мог только хлопать глазами и молчать. Вскоре и вечера надоели ему: и фрак тяготил его, тяжело было засиживаться поздно, скучно было часто бриться и мало ли что еще?

С. 50—51.

29-28 в свое одиночество и уединение,∾уроки. / в свой любимый образ жизни. Для него и прежде всегда ехать в гости было и наказанием и удовольствием: наказанием сбираться, одеваться, удовольствием — сидеть и беседовать с людьми, которые ему нравились. Когда он был и моложе, он делал так: заехав куда-нибудь и усевшись в покойных креслах или на диване, он иногда просиживал, не вставая с места, до невозможного часу, когда надо идти прямо в постель, не потому, чтоб было ему очень весело, а потому что тяжело и лень подниматься с места. От этого он, обещав приехать в один день в два дома, никогда не добирался до второго, а приехавши в первый, оставался до тех пор, пока никуда нельзя уже было ехать, как только домой. Делая визиты в Новый год, он поступал точно так же. Приедет в первый дом, водворится на покойном месте и просидит до той минуты, когда наступит час обеда и визиты прекращаются, иногда он и отобедает тут же в первом доме. Поэтому ему, чтоб объехать всех знакомых в торжественные дни и посидеть у всех, понадобилось бы, по крайней мере, лет полтораста. Про него и знакомые говорили: «Ну уж этот Обломов: куда заедет, там и сядет: не выживешь его!» Иногда в самом деле надобно было выживать его. Он не всегда понимал тонкий намек. Например, этим еще не всегда поднимешь его с места, когда хозяин дома, наскучив сидеть с ним, пошлет вместо себя жену, а та, зевнув несколько раз среди плохо вяжущегося разговора, уйдет и вышлет сына лет 10 или 12, который занимает гостя тем, что осматривает стены, или заберется на кресло с ногами и, положив палец в рот, смотрит молча в противуположную от гостя сторону, или, напротив, с особенным любопытством глядит гостю в глаза, наблюдает, как он вынет табакерку, как понюхает табаку, или рассматривает, какой у него платок, сапоги и т. п. Тогда только разве поднимется Обломов, когда хозяйка войдет в шляпке и даже в салопе * в комнату и скажет мужу: «Что ж ты сидишь? ведь опоздаем».

Обломов постепенно расставался с кругом своих знакомых. Он сначала ограничился тремя домами, потом посещал два, наконец, один,[a] [Последний дом — было семейство хозяина, у которого он нанимал прежнюю квартиру, где-то у Владимирской.* Хозяин, некогда помещик, продал имение, купил небольшой дом и жил доходами с него. Илья Ильич, выспавшись после обеда, отправлялся каждый вечер к нему. Это были тихие и смирные люди, которые *всякому гостю* рады, как они сами говорили. Илью Ильича они

---

[a] *К словам:* наконец, один, — *над строкой и на полях вынесен текст:* а после уж ни одного. Он обыкновенно зарядит ездить в один какой-нибудь дом почти ежедневно и ездит с полгода, потом, если случайно увлекут его в другое место, он повадится точно так же туда: — *Это, по-видимому, окончательный на данной стадии работы вариант. Однако и другое продолжение текста* наконец, один: но потом с каждым годом ∾ только Штольц. — *не зачеркнуто* (см. ниже).



Церковь Владимирской Божьей матери. Худ. Ф. В. Перро. 1840-е гг.

особенно любили за аккуратный платеж денег и за аккуратное хождение к ним по вечерам. Тут прихаживало иногда человека два приятелей, составлялся вистик * или преферанс, иногда навертывался франт какой-нибудь, но мелькнув, исчезал, потому что ни женщин, ни ужина не было. Говорили обыкновенно о последних городских происшествиях, особенно о несчастных, до которых был охотник хозяин дома — например, о значительной краже, об убийстве, о пожаре, о том, как открыли убийцу, как поймали воров, где нашли краденое, как утушили пожар и т. п. А если происшествий не было, то хозяин рассказывал о своей бывшей деревне, о хозяйстве, об охоте. Истощился этот предмет, тогда молча доканчивали беседу и к 12 часам расходились. Около года Илья Ильич наполнял такими беседами свои вечерние досуги. Но к концу года через дом от его квартиры случился пожар. Обломов перепугался и переехал в Гороховую, где мы его нашли, и с тех пор был только два раза у прежнего хозяина.] но потом с каждым годом он все погружался глубже в свои любимые привычки, из которых периодически, во время приездов своих в Петербург, выводил только его Штольц.

У Обломова много разного нарядного домашнего платья: у него есть красивые шлафроки, комнатные сюртуки, модного покроя, ко-

ротенькие, узенькие, и длинные парижские куртки: все это надарил ему Штольц. Илья Ильич бывало и наденет такой сюртук, или шлафрок, ляжет на шитую подушку на окно, чтоб позевать па соседок, которых предпочитал светским дамам, — но потом он оставил эти затеи. Он постоянно пребывал в своем поместительном покойном халате из прочной материи, в каком он является в начале романа. Халат постарел, засалился, в некоторых местах разорвался, из прорех выглядывали кусочки ваты,[a] но только в этом стареньком и грязненьком халате Илья Ильич и чувствовал себя вполне привольно и покойно. В новом долго было ему неловко. Он все пожимался, морщился — и тогда только успокоивался, когда халат обомнется и засалится: впрочем, это не стоило больших усилий Обломову, даже никаких: у него это делалось быстро самою ‹sic!› собою и не только с халатом, но и со всяким другим платьем. Оно точно горело на нем. Наденет фрак или сюртук по два, по три раза — а кажется, как будто он по три года носит их: всё как-то скоро изомнется, издерется, цвет полиняет, и вещь преждевременно делается старою.

Так он уже почти и не выходил из халата, разве только наденет сюртук, пойдет пройтись по Невскому проспекту, что случалось сначала каждый день, несмотря на погоду, потом два раза в неделю, потом только в ясные дни, а наконец, он ограничил свою прогулку тем, что изредка доходил только до Невского проспекта и обратно домой.

С каждым днем он все становился тяжеле и неподвижнее. Приехав с Штольцем куда-нибудь, он больше молчал: ему скучно казалось принуждать [себя говорить] ворочать языком, потом стало тяжело ворочать и мысль в голове, иногда тяжело ворочать и самую голову. Новые лица утомляли его, с ними все-таки надо было держать мысль на привязи, нельзя было немного не принудить себя говорить или по крайней мере внимательно слушать, наконец, хоть делать вид, что слушаешь, что говорят. Надо было обнаруживать участие к какому-нибудь вопросу, обнаруживать какой-нибудь определенный характер, образ мыслей. А ему все это было тяжело. Он бегал от [прежних] знакомых отчасти и по другим причинам. Вглядываясь с летами в жизнь, уразумев кое-что в ней и рассмотрев попристальнее людей, он многое и многих разлюбил, многому перестал верить, как и другие, и с тех пор не считал, какие ‹sic!› другие, необходимостью надевать по временам маску, сносить терпеливо всякий недостаток, закрывать глаза на какую-нибудь низость, тем более, что для него была возможность — не видеться, с кем не хочешь, не стеснять себя чужим присутствием, и он вполне пользовался этою возможностию. Он не был ни разочарован, ни оже-

---

[a] *Под записанными на полях словами*: в некоторых ∽ кусочки ваты — *зачеркнутая запись*: постарел не летами. а умом, сердцем[76] и Обломов и дошел до || того, что

сточен в душе против людей — нет — куда ему — но он не был и вполне равнодушен к недостаткам ближнего. Если они не возмущали его желчи, а мешали иногда покойно жить, он и прятался от него, тем более что отрад себе никаких не ожидал и потому не считал нужным притворяться. А впрочем, если случай сталкивал его с кем-нибудь в частые отношения, он мог привыкнуть хоть к какому недостатку: так он привык и к Тарантьеву и к Алексееву, случайно, нечаянно, и тогда уже сносил их терпеливо, какие они ни будь. Потом уж ему неудобнее казалось отвыкать от них. Присутствие дам стесняло его еще более: при них нельзя залезть с ногами на диван или в кресло, хотя сами они и ухитряются делать это как-то незаметно. Ему даже жутко стало в людской толпе: чем он реже являлся в нее, тем более робел и конфузился при посторонних: нельзя ни зевнуть ни молчать постоянно. Обедать в гостях стало ему просто невозможно: он уж привык обедать нараспашку, в халате, любил иногда засучить рукава и взять кость в обе руки, чтоб обглодать ее за <sic!> удовольствием, а после обеда немедленно лечь спать. Наконец, он дошел до того, что если сядет где-нибудь, то не хочется встать с места, нужно бы достать платок, который лежит перед ним, или выкурить стоящую в углу трубку, да лень протянуть руку. Он уставал от всего: и от того, что долго спал, и от того, что недоспал; утомлялся сидя на одном месте, [а] от ходьбы делалась одышка; говорить много — было скучно; и долгое молчание томило его.

Он враг всякого движения по натуре своей:[a] он, как живет в Петербурге, не съездил ни разу в Кронштадт,* не видал никаких примечательностей столицы, ни музеев, ни Эрмитажа. Его никуда не влекло. К этому ко всему с летами присоединилась какая-то ребяческая робость, ожидание опасности и зла от всего, что не вертелось в сфере его ежедневного быта, следствие отвычки от разнообразных внешних явлений. Его не пугала, например, трещина потолка в его спальне: он к ней привык; не приходило ему тоже в голову, что вечно спертый воздух в комнате и постоянное сиденье взаперти чуть ли не губительнее для здоровья, нежели ночная сырость: он и к этому привык, но он не привык к движению, к жизни, к многолюдству и суете. В тесной толпе ему казалось, что его задавят, в лодку он садился с неверною надеждою добраться благополучно до другого берега; в карете ехал с бьющимся сердцем, ожидая, что лошади понесут и разобьют. Гора ли случится на дороге, мост ли, у него сейчас рождалась в голове мысль: ну а как оборвешься, сломишь шею. Случится ли ему остаться одному дома, он не преминет подумать, что к нему могут прийти воры, ограбить и убить его, или вдруг на него нападал суеверный ужас: он пугался окружающей его тишины или просто и сам не знал чего, у него

---

[a] *Против слов*: Он враг всякого движения по натуре своей — *на полях зачеркнутая запись*: с летами || робок || не трещина, || а жизнь, дви||жение [77]

побегут мурашки по телу, он иногда боязливо косится на темный угол, ожидая ежеминутно, что ему почудится сверхъестественное явление. Куда ни соберутся, что ни предпримут, у него прежде удовольствия, прежде веселья являлась мысль, нет ли тут опасности какой-нибудь? не убьет ли чем-нибудь, не задавит ли, не вымочит ли, не обожжет ли, не обрушится ли, и он впадал в раздумье, колебался и наконец отказывался от намерения, цели, прогулки и прочего, иногда с тоской, с досадой на самого себя. Так разыгралась роль его в обществе, и он покинул и ее,[а] [уединился. Никто не мешал ему в этом: редко самому строгому отшельнику удается пользоваться таким уединением и тишиной, какая окружала Обломова.

Что ж он делал? Читал? прибегал к перу и беседовал на бумаге с самим собою. Нет: читатель видел в начале первой главы, что книги, газеты, чернильница и перо были в запустении и беспорядке.] [б] простился с приманками молодости, со всеми этими улыбками и взглядами красавиц, с рукожатиями друзей и с самыми друзьями, со всеми суетными желаниями, беготней и волнениями. Он лениво махнул рукой на все юношеские обманувшие его или, лучше сказать, обманутые им надежды, все нежно-грустные, светлые воспоминания, от которых у иных и под старость сердце обливается кровью: только память о поваре и лошадях он почтил искренним вздохом. Расставаясь с молодостью и со всеми ее заботами, он как будто сдавал хлопотливую обязанность, отказывался от не свойственной ему роли и вздохнул свободно, оставшись дома, где только и чувствовал себя вполне хорошо, привольно, безопасно. Он дружески улыбнулся своим пенатам, от которых отрывала его докучливая беготня, покоил приветливый взгляд на свои<х> диванах, креслах, на всех мелочах, на всем, что любил, к чему привык. Никто не возмущал его спокойствия, редко самому строгому отшельнику удавалось пользоваться таким уединением и тишиной, какая, в столице, среди полумиллиона людей, окружала Обломова.[в]

Что ж он делал? Читал? передавал бумаге плоды уединенных мечтаний, дум? Учился? Нет. Чтение, писанье и ученье он еще с детства привык понимать как такое занятие, которое требует особенной, исключительной страсти, как например рыбная ловля, охота, верховая езда. Между тем родители, сколько могли, старались дать ему воспитание. Они даже решились расстаться с ним и пятнадцати

а *Против текста*: с тоской ∾ покинул и ее. — *на полях зачеркнутые пронумерованные автором записи*: 1. так не удалась ему роль ‖ его и в обществе ‖ 2. Что ж он делал дома? Читал ‖ нет, не заронилась охота к чтению в нем. ‖ 3. нет он все-таки [над] пони‖мал — Штольц это натолковал ‖ ему — что на каждом человеке [78]

б *Под словами*: Никто не мешал ∾ беспорядке. — *в низу листа записи*: но без грусти, без сожаления; [без] он ‖ [лениво махнул ‖ рукой и] сонными глазами [79]

в *Против слов*: полумиллиона людей, окружала Обломова. — *на полях зачеркнутые записи*: Что ж он делал? читал? ‖ не заронено охоты к ‖ чтению ‖ он уходил в себя [80]

лет отдали его в [одну школу, где он, волей или неволей, проследил курс наук до самого конца.] пансион. Старики Обломовы после долгой борьбы решились послать Илюшу в Москву. Отец советовался с некоторыми из соседей. Одни были против, другие за. Последние говорили, что можно бы было ограничиться и тем, что Илюша выучил у Штольца, т. е.: грамматикой, арифметикой, географией и историей. Но старик Обломов сам упорно восстал против этого. Нет, — говорил он заботливо, — видно этого мало. Я в газетах читал, чего требуют от поступающих в разные школы и чему их там учат, так волосы дыбом станут. Покойник брат мой, слава богу, учился не мало на своем веку, вон и книги-то все у меня от него достались, а я и от него не слыхивал таких наук. Например, вон там читал я в газетах, есть наука: *психоядрие* * какое-то! Где здесь эдакой выучишься! — Натощак и не выговоришь, — заметил кто-то из присутствующих, — это должно быть на смех, Илья Иваныч. — И так на смех, — живо перебил третий. Вон послушайте-ка, что случилось с Андреем Матвеичем... — А что с ним случилось? — спросил Илья Иваныч. — Надули, да ведь как! курам насмех. — Расскажите, Семен Семеныч, как это? — А вот как: жил в прошлом году в городе по делам, и сын с ним, Ванюша, мальчик лет двенадцати. Он отдал Ванюшу в училище учиться считать, писать, арихметике... ну там чему еще учат. Мальчик ходит себе да учится, и хорошо бы: так нет, мало показалось. Приехал в город, как на грех, из столицы учитель и объявил, что он будет учить детей какой-то *каллиграфии*. — Ну, — сказал один из слушателей, обращаясь к Илье Ив‹анычу›, — стоит вашего *психоядрия*! — Вот, — продолжал рассказчик, — Андрей Матвеич и думает, дай-ко я поучу Ванюшу каллиграфии-то, годится на что-нибудь. Уговорился с учителем, дорого, да нечего делать, по целковому за раз, и то к нему на дом ходить, а если самого звать, так по синенькой берет.* Ходит Ванюша м‹еся›ц, другой, а ничего! — Как ничего? —Так, о каллиграфии и слыхом не слыхать. «Да чему он тебя учит, что тебе говорит? — спрашивает отец Ванюшу, — что вы делаете?» Пишем, слышь, всё. И в самом деле бумаги дестей пять извели,* Ванюша стал куда бойко писать. «Что ж он толкует тебе?» — спрашивает Андрей Матвеич. — «Чтоб палочки одной буквы были ровны с палочками другой, да чтоб перо я, слышь, вот эдак держал, да и всё вот эдак‹ий› вздор. Отец смотрел, смотрел, да и отнял Ванюшу. Вот вам и каллиграфия. Уж после Андрей Матвеич в утешение себе приговаривал: «Ну хоть он каллиграфии Ванюшу и не выучил, да спасибо хоть мальчишка бойко писать выучился: любо дорого смотреть!». Вот эдак же и психоядрие ваше: станут учить психоядрию, а выучат того гляди репу разводить, что мы знаем и без них. Вот нынче каков народец!

Несмотря на все это Илюшу отправили в Москву, в учебное заведение, где он волей-неволей проследил курс наук до конца.

Волей или неволей — потому, что нельзя узнать, кончил ли бы он курс добровольно, если б это предоставили на его произвол. Робкий апатический характер мешал ему обнаруживать вполне свою лень и капризы ‹в› чужих людях, в пансионе, где придерживалось ‹sic!› строгой дисциплины, и не делали никаких исключений в пользу балованых сынков. От этого он, по необходимости, сидел в классе прямо, слушал, что говорили наставники, потому что другого ничего делать было нельзя, и довольно часто выучивал задаваемые ему уроки. Но все это вообще считал за наказание, ниспосланное небом за наши грехи.

С. 51.

33 *После*: слушал и учил. — Например он, выучивая историю Щрека,* никак не мог объяснить себе, отчего история — наставница людей? — слова, которые беспрестанно повторял ему учитель. Что за пример ему какой-нибудь Карл V,* Лютер,* Фридрих Великий? * Что за урок извлечет он, Илья Ильич, для себя хоть из пунических или других войн, трактатов, войн или из реформации? * Ведь он не воюет, никаких договоров ни с кем не заключает, ничем не командует. А выучивать так, только из одного любопытства, всю эту кучу посторонних для него дел, лиц, годов — ему казалось, не приведи бог, как скучно. Если товарищи говорили, что надо читать Плутарха,* Тацита,* Саллюстия * — и мало ли еще каких писателей, и там искать живых физиономий и картин разных эпох и искать сходства с своей физиономией, Обломов недоверчиво качал головой и отвечал упрямо: как же! этого не задавали. Когда же я буду готовиться к французскому или латинскому классу: что-нибудь одно: или читать, или учить урок. . .

34–39 Если ему∾за книги. / И с Статистикой, и с политической экономией и с другими науками оказалось то же самое. Ему кое-как удалось одолеть книгу, называемую статистикой, и он уж больше ничего знать не хотел, но когда Штольц сказал ему, что он выучил только один момент, и то прошедший, и что каждый другой момент ведет за собой и другие данные, поэтому надо следить поминутно за наукой и время от времени прочитывать опять по такой же книге, чтоб во всякое время иметь в голове физиономию какого-нибудь государства, и что, например, в политической экономии с изменением разных обстоятельств и условий государственного быта изменяются и самые истины, и что, следовательно, опять-таки надо читать, Обломов долго глядел молча на Штольца, и, когда тот перестал говорить, он все еще глядел на него большими глазами. — Ну, брат Карл, — сказал он наконец, с вздохом, — не ожидал я от тебя этого. В этом упреке был тот же смысл, как в словах: «и ты, Брут, против меня!». Он считал обыкновенно наукой ту тетрадь, которую приносил учитель: выучить и ее казалось ему каким-то истязанием, а тут вдруг читать! Языки давались ему не лучше, кажется, он переводит все, что задает учитель, только

иногда прибегает к Штольцу, и то больше потому, что Штольц — немец и наследовал от отца целое вавилонское столпотворение * языков, и то Обломов делает по крайней мере половину сам и слова выучивает, и в лексикон заглядывает, иногда кладет его даже под голову, когда сморит жара или одолеет скука в классе, и синтаксис учит исправно всякий раз от одной черты, проведенной ногтем учителя до другой, ну так что в год полкниги переведет, как бы, кажется, не привыкнуть? А чуть возьмет другую книгу — не ту, по которой с учителем переводят, точно по-арабски писана: ничего не понимает. — Читай, — твердили ему, — читай и вне классов, в свободное время, читай и по ночам, читай и вышедши из школы.

С. 52.

1–14 «Когда же жить?∞юношей, как все. / Когда же жить? — спрашивал он опять самого себя. Учиться — так не жить, жить, так не учиться, — думал он. Ученье казалось ему не жизнью, а только каким-то официальным приобретением права на настоящую жизнь. Он видел в ученье давнишний, утвержденный временем обычай. Принято поучиться, прежде нежели начнешь жить, точно так же, как принято присесть перед тем, как ехать в дорогу.

Нечего делать, однако ж: попробовал он читать. Чтение утомляло его вообще. Мыслителям не удалось расшевелить его ума и породить в нем жажду к ученым истинам, зато поэты задели его за живое: он стал юношей, как все. И у него, как у других, явилось *и Божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь.**

19 *После*: деятельности. — Но это был только миг единый. Поэты возбудили мечты юноши, но не привили страсти к подвигам: порывы мало-помалу улеглись,[a] трепет, слезы прошли: аппетит пережил все. Мечты остались мечтами. Обломов не переставал волноваться всю жизнь, но без всякой практической цели, а просто из одной чисто художественной любви к мечтам.

21 *После*: натура его друга. — *зачеркнуто*: Но потом, потом опять заглохло, упало в душе Обломова все, что было забушевало благотворной бурей, несущей жизнь полям. Поэты только поиграли мечтами юноши, но не заронили глубоко в сердце огня, не врезалась в плоть и кровь его любовь к их созданиям, образам, к этим прекрасным призракам, которые накидывают на жизнь меланхолический оттенок и рядом с действительностию ставят зеркало...

21–32 Он поймал Обломова∞по строкам. / Чисто и прекрасно прожил этот момент Илья Ильич, но тоже без грусти перешел к действительности, как после без грусти перешел от молодости к зрелым летам. Натура его и тут взяла опять верх над этими мгновенными интересами и увлечениями и вступила в свои права. Тяжесть тот-

[a] *Между записанными на полях словами*: к подвигам: *и* мало-помалу улеглись — *зачеркнутая запись*: Не сжились эти образы с вообра||жением Обломова, || не пристали[81] || на всю жизнь — аппетит || только оставался долее[82]

2 1

час одолела его, как промелькнул только поэтический миг. Он скоро отрезвился и перестал читать и поэтов. Только изредка по просьбе Штольца, в одолжение ему, он, пожалуй, и прочитывал какую-нибудь интересную книгу, но не вдруг, не торопясь, без жадности, увлечения, а так, лениво пробегал глазами по строкам.

40–41 *Против слов*: которую Штольц навязывал ему прочесть. — *на полях зачеркнутая запись*: Жизнь и ученье — || целая бездна [83] || Геркулесовы столпы

46 *После*: стремления. — Он покинул пансион с запасом сведений, которые в нашем разнохарактерном обществе могли лет двадцать назад доставить ему название образованного человека. Его нельзя было, по крайней мере, вначале, пока еще он не забыл тетрадок, озадачить, заговорив при нем о падении Римской империи, об Альфреде Великом,* о каких-нибудь итальянских войнах. Но по мере того, как он удалялся от эпохи выхода из пансиона, познания его бледнели и испарялись. Если ему случалось как-нибудь нечаянно попасть на ученый разговор, он ссылался на отжившие,[a] уважаемые в его время авторитеты, называл новым открытием устарелую и забытую истину.

Вскоре то, что приобрел из учебных книг и тетрадок, начало мало-помалу сливаться в одну общую массу и наконец превратилось в темное и сбивчивое представление о всем том, на что он потратил несколько лучших лет жизни.

С. 53.

4 *После*: знаний. — Греки, Римляне, Вандалы, Китайцы, Норманны,* Карл, Рашид,* Югурта,* Аттилла * — все это теснилось в беспорядке, рядом, часто под одним ярлычком. Иногда он Локка * перенесет куда-нибудь в Италию, Маккиавели * — в Англию, а Спинозу * провозгласит китайским мудрецом. С годами и этот весь школьный хлам стал куда-то исчезать, превращаться в мелкий сор, в пыль.

11 *После*: за писарем. — В аттестате у него сказано было, что он прошел из математики до интегральных и дифференциальных исчислений, а если дадут ему бывало в лавке сдачи ассигнацию, два-три целковых, да мелочи, так он на четверть часа и станет в тупик. Даже танцы — уж что за наука — и тут как-то не далась ему совсем. Выучившись в школе начинать мазурку и кадриль от печки, он и танцевал исправно и в обществе, если приходилось стать у печки, но если придется начинать от окна, непременно спутает все. Потом он покинул и танцы, находя, что это тряско.

Так сначала неохота к чтению и письму, потом отчасти служба, отчасти — жизнь в обществе — вытеснили мало-помалу из памяти Обломова шаткие, ничем не упроченные энциклопедические сведе-

---

[a] *Против слов*: он ссылался на отжившие — *на полях зачеркнутая запись*: танцы [84]

ния. В нем остался какой-то осадок ученья, только безличные идеи о выученном. Он, при ученых разговорах, выказывал свою ученость только тем, что мог помолчать умно, т. е. по глазам его видно, что он понимает, о чем говорят, там кажется написано было: да, помню, было что-то и я учил это, да забыл... понимаю, да рассказать не могу...»

27 Старик∾сыну. / Отец оставил ему эти триста пятьдесят душ не то в хорошем, не то в дурном положении. Он как сам принял его от своего отца, так передал его и сыну.
Против этих слов на полях зачеркнутая запись: Да не подумают, || чтоб дух его || был так же || всегда покоен, || как тело. Он || любил волновать||ся (лежа), у него || [зрели] мысли,[а] || [росли] намерения, || [возникали] обращались в || стремле||ния, || так что он || иногда вдруг до || половины вскаки||вал с блистаю||щими глазами || и страшно, грозно || озирался кругом, || хотел идти, на||чать делать, || так с угара быва||ло... Но день || склонялся || к вечеру [и он уж || тихо дремал, || а наутро опять] || и силы духа || склонялись на || покой, он || не шел вое||вать, не шел || на то, другое, || а тихо с || грустью смо||трел на за||ходящее солнце и вскоре после || того слыша||лось храпенье. || А наутро || опять жизнь, || опять волне||ния, он уста||вал...[85]

36–37 *После*: к приобретению денег. — Ни фабрик, ни заводов — ничего.
«Отцы и деды не глупее нас были, — говорил он в ответ на какие-нибудь вредные, по его мнению, советы, — да прожили же век счастливо: проживем и мы: даст бог, сыты будем». Получая, без всяких лукавых ухищрений, с имения столько дохода, сколько нужно было ему с семейством, чтоб каждый день обедать и ужинать без меры, с семьей и разными гостями, он благодарил бога и считал грехом стараться приобретать больше. Если приказчик приносил ему две тысячи, спрятав третью в карман, и со слезами ссылался на град, засуху, неурожай, старик Обломов крестился и тоже со слезами приговоривал: «Воля божья: с богом спорить не станешь. Надо благодарить господа и за то, что есть».

Если кто-нибудь из соседей, из которых большая часть чужие дела знают лучше своих, усердствовал породить в Обломове подозрение насчет бескорыстия приказчика, старик всегда качал головой и приговоривал: «Не греши, брат: долго ли опорочить человека? Ну, а как неправда, что тебе на том свете за это будет».[б]

Со времени смерти стариков Обломов‹ых› хозяйственные дела в деревне не только не улучшились, но, как видел читатель из

[а] *Рядом с этой записью еще одна*: [глубокие] волнения || рождались || которые вырастали || он в минуту менял || вдруг две-||три позы || забыв иногда || всякий || порядок: || того и гляди || стремление || обратится || в поступок, || дело — и тогда, || господи, каких || чудес, каких || благих по||следствий || можно бы было ожидать

[б] *Против этих слов на полях зачеркнутая запись*: Не так, думал Обломов. || дела были хуже || Надо бы съездить в деревню — || Обл‹омовский› план

письма старосты, становились все хуже. Ясно, что Илье Ильичу надо было самому съездить в деревню и на месте разыскать причину постепенного уменьшения своих доходов. Он и сбирался сделать это, но все откладывал, отчасти и потому, что поездка у него требовала известной обстановки, не совсем употребительной в наше время, без которой он не мог представить себе возможности путешествовать. Он мог ехать только на долгих,* среди перин, ларцов, чемоданов, окороков, булок, всякой жареной и вареной скотины и птицы и в сопровождении по крайней мере двоих слуг. Так по крайней мере он совершил единственную поездку из своей деревни до Москвы и эту поездку взял за норму всех вообще путешествий. А родители отправили его тогда в огромной, обитой кожей колымаге, до того прочной, что время и стихии не оказывали над ней решительно никакого влияния. Такова и была мысль строителя ее. Ее не взяла бы ни разбойничья пуля, ни воровской лом, может быть, и молния не совладела бы с нею, о дожде нечего и говорить: ни воздух, ни вода не проникали в нее. В нее могло поместиться четыре человека рядом, лечь, как хочешь, и протянуть ‹ноги?› во всю длину и, пожалуй, еще далее, если нужно. Словом, родители сделали с своей стороны все, чтобы смягчить неудобства дальнего пути для сына: виноваты ли они, что все их старания послужили только к тому, чтоб превратить это путешествие в пытку? Повозка была так же важна и не тороплива на ходу, как индийская колесница, на которой возят в процессии идолов ‹*нрзб.*›. От этой важности и солидности путь длился вдвое против обыкновенного, остановки на станциях сопровождались скукой, насекомыми и скверным запахом в избах. Огромный запас съестных припасов не мог быть истреблен скоро и потому испортился. Ларцы, коробки, узлы, по невозможности усмотреть за множеством их, растерялись или были раскрадены; от тряски в этом любопытном экипаже так разломит человека, что потом бока и спина месяца три не давали заснуть покойно и заставляли избегать путешествия, как одной из многих напастей, которыми кишит человеческая жизнь. Таковы уж были старинные удобства: бока переломаешь, да зато прочно, просторно, безопасно, не вертопрашно и вместе с тем важно.

С. 54.

[5] *После*: пойдет работа. — Обломов объяснял некоторые части плана Штольцу и другим: все хвалили, отдавали справедливость обдуманности, отчетливости, прекрасным намерениям Ильи Ильича. Оставалось только сообразить частности, потом изложить план на бумагу, посоветоваться о каждой статье с опытными хозяевами, да тогда уж и ехать в деревню, чтоб под личным руководством приводить свои замыслы в исполнение. Так Илья Ильич и полагал сделать.

Так вот что занимает его теперь, вот на чем сосредоточивались главные и серьезные виды его в жизни.[а] У кого же после этого достанет духа обвинить героя моего в праздности, когда он взаперти, в тиши кабинета, все часы, употребляемые другими на мелкий, незаметный труд, посвящает такой важной и благородной заботе?

6 *После*: мысли; — живущий весь век по диктовке руководителей и потеющий над трудом, указанным ему посторонней волей.

11 *После*: блага. — Тогда только решается он отдохнуть от трудов и переменить заботливую позу на другую, менее деловую и строгую, а более удобную для мечтаний и неги или для беззаботности, покоя, апатии и равнодушия ко всему на свете, смотря по тому, к чему он [был в то время склонен] как он был расположен.[б]

Илья Ильич, вследствие долговременного упражнения и опытности в лежаньи, изучил до удивительной тонкости и разнообразия горизонтальное положение своего тела и все позы, какие оно способно принять, как не изучили, может быть, и древние ваятели. У него на каждый час дня, на всякое расположение духа была создана приличная поза. В минуту важного труда, например, работая над дельной мыслью, мучась заботой, он ложился на бок, погружал локоть в подушку, а ладонью подпирал голову: и положение корпуса и расположение ног тоже выражали заботу и труд. Переходя от заботливого труда к покойному размышлению, он оставался все на боку, но голову клал на подушку, подложив под голову ладонь. Когда же он волновался страстями, или предавался глубокому горю, или необыкновенной радости, словом, когда был во всем пафосе наслаждений и скорбей, то ворочался беспокойно с боку на бок и ложился иногда лицом к подушке. Но самою любимою и наиболее употребительною позой было у него лежанье на спине. Тихая ли грусть заберется ему в душу, посетит ли его счастливая мысль, предается ли он неге мечты, воспоминаний, или осенит ли душу его важная и торжественная дума, он ложится на спину, иногда подложит при этом локоть под голову, иногда закроет рукою глаза; наконец, и безразличное, неопределенное состояние духа его, т. е. равнодушие, апатия, безысходная скука, держали его в этой же позе, на спине.

Но тут сказано только о трех или четырех главных категориях лежанья; а они имели множество подразделений. Откинутая в сторону или прижатая к телу рука, какое-нибудь особенное более сжатое или свободное положение ноги, большее или меньшее наклонение плеча, бедра, выгиб коленки и т. п. — все это сообщало новый, характеристический оттенок той или другой из четырех глав-

---

а *Против слов*: Так вот ∾ в жизни. — *на полях запись*: остальное время || он проводит || волнуется лежа [87]

б *Против слов*: к чему ∾ расположен. — *на полях зачеркнутая запись*: позы, волнения — [88]

ных поз. Спал он, смотря[а] по состоянию души во сне, во всех позах, но ложился всегда спать на спину.

Волнения, страсти! Да! страсти и волнения. Да не подумают, чтобы душа Обломова не покидала никогда, как тело дивана, своей тесной темницы, и не улетала куда-нибудь в свободные пространства неба, или не боролась с какою-нибудь великою мировою мыслью, или сердце его не разгоралось тоже огнем страшных бурь. Нет, он жил по временам полною, широкою жизнию.

13 *После*: им мире. — природа дала ему пылкую голову и горячее сердце, и если б только не мешало это грубое, тяжелое тело, тогда... тогда далеко бы ушел Илья Ильич! [б]

17–19 туда, ∾ щекам его... / или вдруг сердце его забьется радостью, затрепещет от высокой надежды, когда он подумает о вселенной, о святом предназначении человека, об обещанных благах за гробом... и сладкие, благо‹тво›рные слезы потекут по щекам его...

46–47 *После*: наш знаменитый Илья Ильич!» — В другой раз он переходит к скромным законным мечтам о своем счастье, будущем житье-бытье, создает себе жену красавицу, круг друзей и блаженствует.

С. 56.

1 В горькие минуты он страдает от забот, / Бывали тоже горькие минуты в его жизни: читатель застал его в начале романа на одной такой минуте: он страдает от забот, от огорчений, мучится и терзается,

13 *После*: от волнений. — И часто, часто проводил такие часы Обломов, особенно прежде, в молодые годы: в зрелых летах только угомонилась несколько его тревожная натура. Но зато в зрелые лета испуг от пустоты и праздности, от неисполненного назначения представал грозным призраком и бичевал его совесть. Он вдруг очнется иногда ночью от дремоты. Что я такое? — спрашивал себя Обломов в полном сознании своего ничтожества, бесполезности своего грустного и позорного существования. Нега бежала прочь от него, он поднимал голову с подушки, сжимал ее со стоном обеими руками и плакал, горько плакал, холодными слезами отчаяния. Он вскакивал, ходил по комнате, лихорадочно хватался то за книгу, то за перо и в одну ночь хотел воротить всю жизнь, но за бурей следовала усталость, за усталостью — дремота, за дремотой — сон; а наутро: чай, трубка и лежанье на спине.

17 *После*: где его знали. — Ведь как наружность-то в самом деле обманчива: людям довольно только заметить какую-нибудь пустую

[а] *Против слов*: большее или меньшее ∾ смотря — *на полях зачеркнутая запись*: иногда плачет || о бедствиях чело||вечества, состра||дает глубоко || ближнему, || иногда смотрит || радуется || судьбам его, || какими слеза||ми || обливает || тогда он || подушку — [89]

[б] *Под этим, записанным на полях фрагментом, заметка*: (противоречие: выше || сказано, что чтение и || поэты не заронили в ||него ничего, а тут || он пылок и мечта||тель: сгладить это) [90]

слабость в человеке, иногда самую невинную, например слабость к лежанью, чтоб заключить о его лени, неспособности. Иные пожалуй готовы отыскать бог знает еще какие пороки.

24 жить не следует. / не следует жить. *Далее в рукописи зачеркнутая фраза*: Захару было за 50 лет — *которая затем откроет 7-ю главу. Фраза сопровождается авторской пометой*: см. [V] и VI. *На листе V (римская цифра зачеркнута, поставлена цифра 20, арх. паг. — 37) расположен зачеркнутый текст, содержание которого связано с 5-й главой. Границы его можно определить лишь приблизительно — от слов*: Но он жестоко разочаровался *(с. 47) и до конца главы, последние слова*: бьется сердце *(с. 51). Вначале это разработка эпизода с начальником Обломова (ср. с. 415—416 Вариантов), затем — записанное на полях описание быта молодого Обломова (ср. с. 417—422 Вариантов).*

Впрочем, он был не зол и даже готов на добро, лишь бы оно обошлось ему подешевле.

Но он не любил баловать подчиненных и делал это, чтоб внушить и поддержать в подчиненных уважение к себе: что вот-де надо подчиненного сразу, одним взглядом с ног срезать, чтобы он знал вперед и т. п. И грозный вид и грозный голос — все это происходило от счастливого сознания, что он — начальник, что вот этому он может дать награду, а тому дать выговор и что странно же вести себя начальнику иначе, просто как все, как неначальники. Зачем же он и начальник, как не для того, чтоб постоянно наводить страх и трепет на подчиненных? Не будь у него строгой мины, громкого голоса, его бы, пожалуй, приняли за простого смертного и еще, чего боже сохрани, смешали бы с его же подчиненными. Да и сами подчиненные могут подумать, что он точно такой же, как они. Он этого страх боялся. Нет, уж не будет такого начальника: что нынче за начальники: нынче начальника, пожалуй, не отличишь от простого титулярного советника: * ходит по присутствию тихо, чтоб не мешать подчиненным заниматься делом, избегает шарканья и поклонов, говорит с последним писцом ласково и вежливо и ничего никогда не требует, а все просит. Дело сделать — просит, в гости к себе — просит, и под арест сесть — просит, и выйти в отставку — просит. Всем — вы: и десятерым подчиненным, и одному, всё — вы: не только многим, приди к нему хоть самый маленький и дрянный из целого ведомства чиновник, которого, кажется, не только целым человеком и половинкой мудрено назвать — и тому — вы! где же достоинство? Ни крику, ни шуму: слова *ты*, нагоняй, *я тебе дам*, как *ты смеешь*, исчезли совсем из лексикона нынешних начальников. Если сделает что подчиненный нехорошее, чего терпеть нельзя, он позовет его очень вежливо и серьезно, как будто объясняется по обыкновенному делу: возьмет том свода о наказаниях и укажет ему статью: вы, говорит, вот виноваты против статьи: тут определено за это сделать то-то: под арест, например, на три дня, так я прошу вас покорнейше со-

образиться с этой статьей. И еще поклонится при этом. Нет, что это за начальники: то ли дело бывало: льстецы нынешних начальников говорят, что теперь и дела идут лучше, что начальник знает их ближе и подчиненных также, и что обмануть его мудрено, оттого что подчиненные не боятся его как зверя, и начальник доступнее и подчиненный откровенней и свободней и охотнее объясняется с ним по делам службы, и начальник имеет средства входить во все доводы и причины дела, следить за течением его, что он за пустяки не взыскивает, а ошибки предупреждает сам, и т. п. и что он более хозяин в своем ведомстве и знает его, и что подчиненные охотнее работают у него, да мало ли что говорят льстецы.

Исстрадался Илья Ильич от одного страха на службе по милости грозного начальника, не говоря о ежедневном хождении и беспрерывных трудах. Он приезжал домой, убитый страхами и усталостию. «Что это за жизнь, — говорил он, ложась на спину, — когда же придется пожить?» Он не мог понять, как это другие проводят всю жизнь так и многие еще страстно добиваются случая попасть в число этих несчастливцев. Он служил с год, может быть, перемогся бы и натянул бы как-нибудь и другой, но вскоре один случай ускорил его удаление с поприща службы. Он при отправлении на почту бумаг отослал одну самую нужную, не терпевшую отлагательства вместо Архангельска в Астрахань, а неважную бумагу, назначенную в Астрахань, отправил в Архангельск. Дело вскоре объяснилось: стали доискиваться виноватого. Все присутствие трепетало при мысли о том, каким голосом начальник позовет к себе начальник [a] Обломова, какую мину сделает ему, и все недоумевали, каким голосом ответит ему Илья Ильич. Такого голоса еще не было ни у кого, надо было создать новый, так как случай вышел совсем новый: примеров не было. Все товарищи и ближайшие начальники смотрели с состраданием на Обломова, помышляя о предстоящем ему свидании с начальником. Илья Ильич не выдержал одних уже зловещих признаков, он бежал домой, сказался больным, а на другой день прислал просьбу об отставке. Так кончилась его государственная деятельность, и с тех пор уже он начал помышлять о собственных делах, а вскоре потом, когда умерли отец и мать, он уже исключительно предался составлению плана управления своим имением.

Ничто не мешало ему в этом. Редко самому строгому отшельнику удастся пользоваться таким уединением и тишиной, какая окружала Обломова. Когда у него были лошади, он еще любил выехать перед обедом прогуляться, заехать в Милютины лавки, купить что-нибудь лакомое к столу, или посещал двух-трех знакомых в месяц, которые поближе жили, и то еще надо, чтоб его вытащил друг его Штольц, но как Штольц редко жил постоянно

---

[a] *Так в рукописи.*

на месте, то и некому было тревожить Обломова. Он без Штольца отставал от всех знакомых, а посещение знакомых было для него и удовольствием и вместе довольно тяжелым трудом. Подняться и поехать — это труд, сидеть у знакомых и беседовать — удовольствие. Заехав в гости и усевшись покойно на месте, он просиживал до невозможного часу, когда надо идти в постель не потому, чтоб ему было уж очень весело, а потому что тяжело и лень было подниматься с места и еще по причине нерасположения своего ко всяким переменам вообще. Если он обещал приехать в два дома в один день, то до второго дома не добирался никогда. Приехавши в первый, он там и оставался до тех пор, пока уже нельзя никуда было ехать, как только домой. И с визитами в Новый год, когда был помоложе, он поступал точно так же. Приедет к первым знакомым, сядет на кресле и просидит до той минуты, когда наступит час обеда и визиты прекращаются, так, чтобы объехать всех знакомых в торжественные дни, ему понадобилось бы по крайней мере лет полтораста. Про него и знакомые говорили: «Ну уж этот Обломов, куда зайдет, там и сядет: не вытащишь его». Иногда его даже некоторым образом надо было выживать из дому, тем более что догадливость не была в числе его качеств. Он не всегда понимал тонкий намек и другие средства, например, этим его еще не всегда удавалось выживать, когда хозяин дома, наскучив сидеть с ним, пошлет вместо себя хозяйку, а та, зевнув несколько раз и помолчав в беседе с ним, пошлет потом сына лет 10 или 12, который занимает гостя тем, что осматривает стены, или заберется на кресло с ногами и положит два или 3 пальца в рот, или с особенным любопытством смотрит гостю прямо в глаза, наблюдает пристально за его движениями, как он вынет табакерку, как понюхает табаку, как высморкается, какой у него платок и т. п. Тогда разве поднимется Обломов, когда хозяйка вдруг войдет в шляпке и даже в салопе и скажет мужу: что ж ты сидишь? ведь опоздаем! Впрочем, все это относилось к тому времени, когда он, Обломов, был помоложе и когда он держал лошадей. После этого позволял себе только пройтись в хорошую погоду по улице, зимой по утрам, а летом — по вечерам. Но с тех пор, как он продал их, он почти никуда не выезжал. «На извозчиках тряско, — говорил он, — да и не безопасно: дрожки у них прескверные, того и гляди изломаются, упадешь, ногу переломишь, а не то, пожалуй, иной бестия завезет под вечер куда-нибудь подальше да оберет».

И вот он остался наедине с Захаром.[a] Заходили к нему немногие. Он был всегда рад приятелю: и обедать оставит и чаем напоит. Но как он никогда не разделял с приятелями разных затеваемых ими удовольствий не по его вкусу, [как-то] поездка за го-

[a] *Против слов*: под вечер ∾ с Захаром. — *на полях зачеркнутая запись*: так он не утешается и после ‖ в 3й гл. ‖ о том, что он не практически ‖ Захар[91]

род, в окрестности, прогулки по воде и т. п., то они, наскоро отобедав у него, или позавтракав, или напившись чаю, тотчас оставляли его и он оставался все-таки наедине с Захаром.[а]

С. 57.

10-11 *Против слов*: каждый день жалуется, ∾и сердит, — *на полях зачеркнутая запись*: преданность не проявлялась || в нем, он ее ему не || показывал, а таилась || внутри [94]

12 *После*: чем жить у него. — *зачеркнуто*:[б] Но если б в то же самое время кто-нибудь из слушателей осмелился также сказать сентенцию не в пользу Ильи Ильича, или разделить мнение Захара, что барин его действительно хоть брось, или даже просто поддакнуть злословию Захара на Обломова, Захар вдруг опрокидывался с яростию и на него и на его барина, ежели у него есть барин, и на родных его барина и на знакомых [и на то, как они одеваются бедно, и едят плохо, и какие они жиды, хуже немца, и что ему, говорившему, и не видать такого барина, как Илья Ильич, что он у него, как в царстве небесном, что это золото, а не барин, дай бог ему здоровья, и если при этом замечал улыбку, то прибавлял: а вы тут все мерзавцы, сколько вас ни на есть.] то, что он от других слышал о его барине или барыне. Тут он повторял с удивительною точностию все клеветы, слышанные в искренних беседах им от этого человека, или тут же изобретал новые, словом, приходил в неистовство и кончал жаркой защитой своего барина, с экстазом вычислял его достоинства, ум, ласковость, щедрость, доброту, и если у барина его не хватало качеств для панегирика, он смело заимствовал у других и придавал ему знатность, богатство, необычайное могущество и уходил обыкновенно с яростью, грозя навлечь гнев Ильи Ильича и оттого неслыханные несчастия, и прибавлял: «а вы тут все мерзавцы, сколько вас ни на есть».

С. 58.

23 *После*: ни о чем не заботясь. — *зачеркнуто*: Всякое экстраординар-
3 1 2
ное занятие он считал наказанием,[в] и если ему Обломов приказывал что-нибудь вытереть, вымыть, сходить куда-нибудь, то это делалось всегда после противоречий, споров, убеждений со стороны

а *Против слов*: он оставался все-таки наедине с Захаром. — *на полях зачеркнутая запись*: мешали друг другу, || оттого, что видели || ближе один другого, || иногда мы знаем || взаимные пороки||-то и проч.[92] чудовище || привезли || ‹*2 нрзб.*› || Бог создал [93]

жил с Ил. Ил. с детства

Рядом со словом: чудовище — *зачеркнутая дополнительная запись*: бог создал, чтоб смотреть

б *Вдоль всего варианта на полях зачеркнутая запись*: (это все можно поместить в || сцену у ворот) [95]

в *Против слов*: занятие он считал наказанием — *на полях зачеркнутая запись*: вменить в постоянную статью [96]

Захара в бесполезности или невозможности исполнения приказания, и наконец исполнение происходило с ворчаньем и неохотой. Но Захар умел большей частию избегать поручения, угрожая разны<ми> хлопотами и неудобствами и самому барину, как, например, предложив нанять бабу и поставить все вверх дном в доме, чтоб снять только паутину и т. п.

Он исполнял исполнял <sic!> экстренное приказание[а] неохотно, с гримасой, после споров и убеждений в бесполезности приказания, но исполнял его только однажды.

37 *После:* не было никаких. — Ему никогда не приходило в голову подвергать какому-нибудь анализу свои чувства и отношения к Илье Ильичу; потому что они пришли к нему не извне, не надуманы, не приобретены им самим вследствие какого-нибудь убеждения или сознания, а всосано им с материнским молоком и обратилось у него в плоть и кровь. Если б он и барин поставлены были в такое положение, что один мог спастись смертью другого, то умер бы непременно Захар, считая это своею неизбежною и природною должностью и даже не считая ничего.

С. 59.

2–3 *После*: дорого ему. — *зачеркнуто*: Он даже не подозревал и сам этого в себе: это у него делалось бессознательно и так же бессознательно проявлялось, когда заденут его за эту, может быть, единственную нежную струну в его сердце. Для этого нужно было только кому-нибудь неуважительно отозваться о его барине, или чтоб какие-нибудь напасти погрозили ему: он тогда выходил из себя и превращался весь в пылкую преданность.

8 *После*: оспаривать это. — и мог бы сослаться по-видимому на неопровержимые факты, на грубость, леность и т. п. Он даже находил какое-то удовольствие не угодить в пустяках барину. Пошлет ли его Илья Ильич принести, достать что-нибудь или тому подобное, да нельзя, то Захар с особенным удовольствием скажет: «Нет, дескать, этого: нельзя и т. п. Но дело в том, что Захар не властен был над чувством своим к барину. Да, пожалуй, и не к барину, как сказано выше, а ко всему, что относится до дома Обломова.

41 *После*: на свете. — Впрочем, Илья Ильич сам подавал беспрестанно повод к этому: избалованный с детства в деревне потворством отца и матери и всеобщими угождениями целого дома, он не мог сносить противоречий ни от кого и в нем укрепилась [привычка этого влияния на других]. Нагрубит ли ему чужой человек или прохожий на улице, он сейчас грозил ему сделать с ним что-нибудь такое, чего тот и представить себе не может, отправить его туда, куда ворон костей не занашивал, дать знать о нем в полицию — и вот сейчас

а *Против слов*: Он исполнял ∽ экстренное приказание — *на полях запись*: мешали друг другу[97].

там все бросятся исполнять его желание. Захар, глядя и слушая это, также составил себе какое-то преувеличенное понятие о могуществе своего барина.

45–47 много надо∾недостатками. / сколько оба наслаждаются взаимными достоинствами, столько же оба страдают и от обоюдных недостатков. При сближении и те и другие выучиваются взаимно наизусть. Два близких человека как два поставленные друг против друга зеркала(?).[а] Не скроешь ни малейшего штриха ни в достоинстве, ни в недостатке. Нужно иметь в запасе большое знание людей и жизни, много логики в голове и теплоты в сердце, много терпения, чтоб уживаться мирно в тесном сближении с другими.

С. 61.

4 VIII / Глава III *Зачеркнутый вариант начала главы*: Утро значительно подвинулось вперед, а Обломов все лежал на диване. До него долетал со двора смешанный шум человеческих и нечеловеческих голосов, то лай собак, то пение кочующих артистов,[б] большею частию то и другое вместе, потому что собаки приняли за правило бескорыстно аккомпанировать, иногда из одних только побоев, всякому совершающемуся при них на дворе художественному исполнению пьес как во‹ка›льной, так и инструментальной музыки и приставали и к пению певцов, и к игре шарманки. Приходили показывать и зверя морского, приносили и предлагали на разные голоса[в] всевозможные продукты от говядины до мыла, помады и духов, приезжали и телеги с картофелем и песком, а Илья Ильич все еще погружен лежал на диване. И эта разноголосица не выводила его из апатии, может быть более потому, что он, не терпя шуму, не выставлял у себя в спальне зимних рам и летом, и оттого голоса смутно долетали до него. Читатель, конечно, пожалеет о горе, посетившем Илью Ильича, думая, что недаром же он не может сойти с дивана, видно, задело его за живое, что все та же мрачная туча, если говорить высоким слогом, носится над его челом, что в голове борются возникающие один за другим мучительные вопросы. И! нет: если и приходили ему вопросы, так из одного любопытства. Нет! И след мрачной тучи исчез с чела Ильи Ильича, и никакие вопросы не борются в душе его: на лице давно водворился даже мягкий и кроткий оттенок, который отразился и в новой принятой Обломовым позе. Он уже лег на спину и заложил обе руки под голову. Он нашел серьезное за-

---

а *Знак вопроса принадлежит Гончарову.*

б *Против слов*: Утро значительно∾кочующих артистов, — *на полях зачеркнутая запись*: на двор при||ходили и пев||цы, и нищие, || но ничто не || нарушало занятий || Обломова.[98] Читатель || думает, что он || все терзается письмами: ни || чуть не бывало — || он уж меч||тает об оран||жереях[99] || и т. п.

(см. 1й 2й листы)

Под этой записью еще одна зачеркнутая помета. Против слов: то и другое∾за правило: — когда же пожить || на траве, девка с || круглыми локтями[100]

в *Против слов:* приносили и предлагали на разные голоса — *на полях зачеркнутая запись*: счет от || прачки: не || умеет || счесть.[101]

нятие, решил мысленно несколько важных вопросов, придумав, вследствие письма старосты, новую меру построже[а] против побегов и бродяжничества крестьян. Потом перешел к устройству собственного быта в деревне. Его затруднял очень деревенский дом: в архи-
2 1
тектуре он сам был не силен, т. е. вовсе ничего не знал, и потому назначил в уме только архитектора, которому хотел поручить сделать план дома и смету. А сам, чтоб не тратить долго по-пустому времени на неизвестный ему предмет, занялся выбором места для конюшен, людских, разных служб и для оранжереи. Тут невольно мелькнула соблазнительная мысль и о будущих фруктах: он озаботился, что продавать, что оставлять для дома, варить и проч. Картина этого быта мало-помалу все более и более развивалась в его воображении.[б]

22–24 «о двух несчастиях».∾он обращал / и о предстоящем ему переезде и о грозившем уменьшении дохода. Он также тяжело и глубокомысленно ворочал в голове вопрос, переезжать или не переезжать, как вопрос *быть* или не *быть*. Он то льстил себя слабою надеждою, что, может быть, хозяин дома уважит его право, привычки и аккуратный платеж денег и не потревожит его, а изберет другую квартиру, то вдруг живо представлялась ему неизбежность переезда, как грозный фатум, и он закрывал глаза от него, отталкивал от себя мысль о другой квартире, как неестественное, как уродливое видение, но она одолевала его, он окидывал тоскливым прощальным взглядом почерневшие и закопченные от табачного дыма стены своей квартиры, свои мрачные, не выставленные окна; он живо представлял себе, как понесут из комнат его мебель, все вещи, как все вдруг опустеет, точно как будто он едет куда-то в далекий путь... Сердце замирало тоской, он громко вздыхал, то вытягивая, то поджимая ноги. Потом от этой заботы вдруг бросало его к письму старосты: он думал о скорых мерах, которые нужно принять... обращал

31–33 пенье∾продукты. / то лай собак, то пенье кочующих артистов, большею частию то и другое вместе, потому что собаки, по-видимому, приняли за правило аккомпанировать бескорыстно, иногда из одних только побоев, всякому совершающемуся при них художественному исполнению пьес как вокальной, так и инструментальной музыки. Приходили показывать и зверя морского, приносили и предлагали на разные голоса всевозможные продукты от говядины до мыла, духов и помады, а Илья Ильич все лежал. Но как ни глухо доносились до

а *Против слов*: и заложил ∾ меру построже — *зачеркнутая запись*: / Он облокотился на локоть и ‖ думает. — Чего не встаете-то? ‖ — Не мешай, я думаю. Куда это ‖ они ушли, мужики? [102] (см. лист II)

б *Над текстом всего фрагмента на полях зачеркнутые записи*: А! Тебе пришел в голову тяжелый, хоть еще и ‖ смутный вопрос: отчего ты такой и отчего ‖ другие иные — отчего он не *другой*: отчего ‖ эта болезненная неразвитость [103] (см. отчеркнутое на V или IV листе) глаза слипались и открывались *Ниже еще две записи друг под другом*: два несчастья случились с ним [104] *и*: окна вставлены [105]

него разнообразные крики и пение со двора, благодаря не вынутым и на лето двойным рамам, один голос, однако же, вывел его из глубокой задумчивости. Неотвязчивый разносчик стоял посреди двора и, прикрыв одно ухо рукой, не спускал глаз с окон Ильи Ильича и тоскливо нараспев кричал: салат! са-ла-т! са-ла-т! «Ах ты боже мой! так и тянет за душу, — говорил Обломов, с досадой переворачиваясь на другой бок, — вот поди занимайся!»

Но и на другом боку было не легче. Илья Ильич только было составил себе ясную идею о характере старосты и начал поверять ее с мнением Тарантьева на этот счет, как в передней вдруг что-то неестественно завозился Захар.

— Не то, так другое! — сказал Илья Ильич. — Полно тебе резвиться, Захар! — закричал он. Только Захар унялся, как раздалось почти в самой комнате: лососина! лососина!

— Ну! — с яростию произнес Обломов, — народец! Ах! да: ведь лососины надо купить Тарантьеву, — прибавил потом поспешно.

Распорядившись насчет лососины, он опять хотел было устремить мысль на прежний предмет, напрасно: мрачная туча, говоря высоким слогом, уж слетела с его чела: в ум просились другие, менее мучительные заботы: на лице стал водворяться мягкий и кроткий оттенок, который отразился и в новой позе.

С. 62.

29–30 *Под записанными на полях словами*: своего дома, жены и детей... — *непосредственно в тексте авторская заметка*: / Тут впоследствии можно перенести || из предыдущей главы о по||зах лежанья, о других || его мечтах, как он меч||тает о судьбе человечества, || как вдохновенно озирается || и т. п. /[106]

С. 64.

9 *После*: шаря на столе рукой. — Вдруг раздался звонок. — Это кто бы такой? — говорил Илья Ильич, проворно занося ногу на кровать. Кто там? — крикнул он. — Ответ Вере Павловне! — отвечал голос из передней. — Ах, это ты, Кузьма, — сказал встревоженный Обломов, — вот сейчас, сейчас, погоди. — Ни минуты ждать нельзя, и так опоздал, браниться станут: господа едут с визитами, а там на обед. — Ах, — с сожалением произнес Обломов, — я только что собирался писать, всё мешали, задержали меня, вот, вот только садился. Как же быть-то, ах, боже мой! боже мой! — Прощайте, сударь, значит, ответа не будет? — сказал Кузьма, оборачиваясь к двери. — Постой, постой, как это можно, я хоть на словах скажу сейчас, дай подумать... Ах... — Обломов тяжело и мучительно подымался. — Прощенья просим, — решительно сказал Кузьма. — Вот, вот, вот, — заторопился Обломов, минуточку, минуточку... Кузьма отворил дверь, чтоб идти... — Ну, ну скажи, что... хорошо мол. — Так и сказать? — Да, да, — торопливо прибавил Обломов. — мол — хорошо! — Слушаю-с. — Слуга ушел.

С. 66.

22–23 *Против слов*: — Не платили месяца три, так и будет куча! — ∾ не украли! — *на полях зачеркнутые записи*: не серди меня || — не вникнул? || Так слушай, || потом другие. || Сначала он его || бранит за *дру||гих*, Захар плачет. потом когда || хочет засыпать || видит, что он *не* || *другой* и печалится.[107]

С. 70.

11–12 В тиатр или маскарад бы пошли, / зачем же бог создал чудовище, как не затем, чтобы господам смотреть. Зачем бог создал тиатр, зачем бог создал маскарад: вот и пошли бы,

13–15 — Не болтай пустяков! ∾ после обеда? / Экие новости рассказываешь! Уйти советует! славно ты заботишься о барском покое. Это я шатайся целый день, не скинь ни галстуха, ни сапог! Тебе нужды нет, что у барина ноги затекут, что он пообедает нивесть где и как и не приляжет после обеда...

— Уснуть-то везде дадут, — заметил Захар, — не дорого стоит...

— Да! на чужой-то постели: усну я, как же, сейчас!

С. 72—73.

45–14 *Против текста*: — Чего изволите? — едва слышно ∾ своего диапазона, — *на полях зачеркнутые записи*: Захар за||купорил его. || Обломов за||сыпая думает || о познаниях<?> || о деле, не встал || сам, если б не || стащили, не || умылся, не || написал / а все || Захар? да полно, || Захар ли?[108] / утро || пропало. Он || в самом деле || видно не *другой*. || / Другой есть... pen || dant) / он || грустная минута, || отдувается, охает || / Эк его раздувает от ква||су-то! говорил || Захар, прислу||шиваясь... || отчего же? || И засыпает.[109]

С. 73.

35 *Против слов*: — Чем же я огорчил вас, Илья Ильич? — *на полях запись*: губы вздулись <от> внутрен<него>[110]

С. 74.

22 Стану ли я беспокоиться? / Захочу, так чужими руками высморкаюсь, приставлю сторожа чихать за себя... Так как же я другой? Пойду ли я охотой на целый день из дома? стану ли переезжать? беспокоиться?[a]

24–25 *Против слов*: я ни холода, ни голода никогда не терпел, — *на полях в углу листа зачеркнутая запись*: нежно воспитан, ни || от холода, ни || от голода не тер||пел, ни работы || не знал...[111]

26 черным делом не занимался. / никакими подлыми делами не занимался.

---

[a] *Против всего фрагмента, вписанного в нижний край листа, на полях запись*: пойду ли охотно || на целый день? || стану ли пе||реезжать...[112]

26–27 равнять меня с другими? / — Духу! Духу! — твердил в уме Захар, — вон ведь какие слова выдумает, словно кипятком так и обварит.[a]

— Как ты мог равнять-то меня с другими... а?

С. 75.

12 *После*: всхлипывать. — сипенье и хрипенье слились на этот раз в одну, невозможную ни для какого инструмента ноту, разве только для какого-нибудь китайского гонга или индийского тамтама. Эти слезы были более форма, нежели потребность, так, общее место, как иногда кинуться в ноги.

С. 76.

40–41 *Против слов*: в этих примирительных и успокоительных словах *авось, может быть — на полях запись*: не умылся [114]

С. 77.

8 *После*: Он задумался... — Ведь если б не стащили насильно с постели, так и до сих пор еще лежал бы... что ж это такое?

10 *После*: — Другой, другой... — *зачеркнуто:* [Другой и план сейчас набросал бы да уж и исполнил бы, другой все письма успел бы написать, другой] Стало быть, другой-то есть такой человек, — начал он невольно определять в pendant[+] к первому своему определению, — который сразу избежал бы двух *что* и *который*... Другой и на квартиру бы переехал... и в деревню съездил бы... другой по утрам и на бирже, и по делам, и везде ездит... пишет, читает, суетится, не то что голь, необразованный... каков Захар-то? а? запустил какую штуку...

С. 77—78.

26-5 *Против текста*: Настала одна∾светлое сознание — *вдоль листа на полях запись*: Это поместить после, когда он возвра||щается от Ольги Павловны, где провел || с Почаевым вечер и освежился чистыми || и благородными впечатлениями любви и || дружбы, в другой сфере, с другими людьми; ему || стало гадко своей жизни, он болезненно сознал, что || он пал и что не воротиться ему к порядочной жизни. || Он проводит мучительную, бессонную ночь, бросается || с рыданиями на постель и плачет слезами отчая||ния, оплакивая уродство, бессилие, погибшую жизнь. || [это всё] судорожно хватается за перо, за бумагу,[115] || [хоче<т>] за книгу, хочет все воротить разом

/ Не поместить ли тут сон/

---

[a] *Под текстом*: — Духу, Духу! — ∾ обварит. — *вписанным на полях, зачеркнутая запись*: когда тот расчувство||вался, хочет пла||кать ... дай еще || квасу...[113]

[+] в пару, в параллель (франц.).

С. 77.

31–34 *Против текста*: в дремлющей развалине,∾нравственных сил, — *на полях записи*: ‹1.› отчего же я не другой? ‹2. *Зачеркнуто.*› он ворочался и охал: || эк! его там от || квасу-то раздувает [116]

С. 112.

35 *На верху листа над пометой* Гл‹ава X› № — *запись*: Недостает главы || *Сон Обломова* [117]

Против пометы: Гл‹ава X› № — *на полях запись*: № (Перед этой || главой следует || глава *Сон Обломова,* || напечатанная в 1848 или || 1849 в [Альмана‹хе›] Литерат‹урном› || Сборнике при *Современ*||-*нике*: от этого ее || здесь в рукописи нет)

С. 118.

31 *Против слов*: — Не пойду, — говорил Захар, — *на полях запись:* упрашивает || минуточку [118]

С. 119.

30–35 Тут же∾сцену. / Захар тоже успокоился и хотел идти за квасом, как вдруг из угла комнаты раздался чей-то веселый и звонкий хохот. Обломов остолбенел среди потягиванья, Захар, хотевший было высморкаться, замер на месте, придерживаясь рукой за нос.

— Андрей! — наконец с радостным изумлением произнес Обломов и кинулся в угол.

— Андрей Павлыч! — с удивлением сказал Захар.

Новое лицо продолжало заливаться хохотом.

— Да полно тебе хохотать, — говорил Обломов, — дай обнять себя.

— Ох, погоди: не могу, — говорил гость и опять залился хохотом.

Наконец они дружески, с жаром обнялись и расцеловались.

Далее следует не вошедшая в окончательный текст романа сцена:

— Здравствуй, здравствуй, друг Илья! здорово, Захар! — говорил гость. — Что, все тот же: те же бороды на щеках, сморкаешься ли ты, наконец, сам или все по барскому приказанию?

— Эх! Андрей Павлыч! — махнув рукой сказал Захар, — всё-то вы такие же, бог с вами.

— Ну дай же поглядеть на тебя, — говорил гость, подводя Обломова к окну, — еще потолстел, обрюзг немного, а впрочем, все, кажется, по-прежнему. Да что это у тебя слезы на глазах?

— Ты приехал, да еще бы не заплакать от радости. Ах, дружище: вот не чаял, не гадал: а ты, как с облаков. Обними же меня еще. Вот так.

— Да откуда, да как, — спрашивал Обломов, усаживая гостя: — как это мы не видали тебя.

— Да так: дверь не заперта.

— И так не заперта: я и забыл, — сказал Захар и пошел в переднюю.

— Я вошел тихонько, — продолжал гость, — и был свидетелем всей сцены. Долго не видал я ничего родного: а ты вдруг с Захаром перенес меня прямо в Обломовку... и сон, и квас, и русская речь, о fumus patriae.+

— Да откуда ты теперь, как это ты вдруг?

— Сейчас из-за границы приехал с одним тамбовским помещиком. Захар! Возьми, пожалуйста, там внизу у извозчика мои вещи, чемодан и проч. Я у тебя остановлюсь, Обломов.

— Еще бы не у меня?

— А Штольц? разве вы не вместе приехали? — спросил Обломов.

— Нет, он остался в Германии. Он купил себе там землю и заводит ферму.

— Так он не будет сюда.

— Будет приезжать по делам.

— Где ж ты был, что ты делал? как проводил время, Почаев? [a] — спрашивал Обломов, с любовью глядя на приезжего. — Шутка ли? полтора года не видались: и вдруг такой сюрприз! И не написал ничего. Ах! Андрей, Андрей! как я счастлив, как доволен... — говорил Обломов.

— Спасибо верю.

— Ну, говори же, говори: где был, что делал.

— Погоди: все расскажу, успею. А теперь ты расскажи, как ты поживал здесь, не ездил ли куда, в деревню?

— Нет, все здесь, вот еще сбираюсь...

— Да ты уж пятнадцать лет собираешься...

— Все никак нельзя...

— Ну, здоров ли ты? — спрашивал Почаев.

— Э! какое мое здоровье! — со вздохом отвечал Обломов.

— Что же с тобой? — заботливо спросил Почаев.

— Ячмени совсем одолели.

Почаев засмеялся.

— Да, тебе смешно, видишь ты какой свежий да здоровый, а у меня, что неделя, то ячмень: с одного глаза сходит, на другой садится... просто жить нельзя.

— Нет, друг Илья, ты слишком здоров, если только ячменями разделываешься за свое сиденье взаперти, за спанье.

— Да что это? никак у тебя окна не выставлены? — спросил Почаев.

— Да, я не велел: знаешь, шумят братец, на дворе: спать совсем нельзя...

+ дым отечества (лат.).

[a] *К слову:* Почаев — *поздняя выноска на полях:* (*Почаев* этот || потом исчезает || из романа — и || вместо его яв||ляется сам || *Штольц*) [119]

— Да, я видел, как тебе не спится, бедный! Да что это ты, в маскарад собрался, что один чулок нитяный, другой шерстяной, — посмотри, посмотри: и рубашка-то наизнанку одета...

— Ах, и в самом деле, — сказал Обломов, с удивлением оглядывая себя. — А все Захар: оденет черт те знает во что! Только недогляди.

— Да ты сам разве не видишь? Как тут ячменей не быть.

— Что ж он-то будет делать? У меня и без того немало хлопот...

— Да! кстати о делах: ну что у тебя в деревне... что здесь?

— Ох, плохо, брат Андрей...

— А что? не случилось ли чего?

— Ах, братец, как же: случилось, — горестно сказал Обломов.

— Что же такое?

— Два несчастья: не знаю, как и быть. Как я рад, что ты приехал... Ты поможешь мне выпутаться из беды.

— Что ж такое? — спросил Почаев, — ты меня пугаешь.

— Да вот с квартиры надо съезжать...

Почаев опять залился смехом.

— Тебе все смешно, — сказал Обломов, — самому-то не сидится на месте, так и странно, когда другому не хочется...

— Ну это первое несчастье: какое же другое? — спросил Почаев.

— А вот ты прочти, что староста пишет. Где письмо-то? Захар! Захар! куда ты дел письмо от старосты? [a] отыщи. Да садись, Андрей: я бы с дороги дня три ни рукой, ни головой не пошевельнул бы, а он на ногах... чего ты хочешь? чаю, кофе, вина или обедать? Может быть, не съездишь ли ты с дороги в баню: не хочешь ли полежать?

— Ну еще чего не выдумаешь ли? Кофе и чай я пил в свое время; в баню не хожу, полежать успею ночью, а обедать — другое дело — вели давать: пора.

Обломов велел накрывать на стол.

— Ну а ты все по-прежнему? Ужинаешь регулярно, спишь после обеда и... ничего не делаешь?

— Как не так, — возразил Обломов, — спишь, ничего не делаешь! Ужинать-то я точно ужинаю, сплю после обеда.

— И до обеда, как кажется, — перебил Почаев.

— Это только сегодня: утром я очень утомился — а то, брат Андрей, остальное время я...

— Лежишь, вероятно.

— Да, но на боку, ей-богу на боку: на спине очень редко, когда только кончу работать и захочу отдохнуть.

— Что же ты делаешь, лежа на боку?

---

[a] *Против текста*: А вот ты прочти, ∾ письмо от старосты? — *разрозненные зачеркнутые записи*: подниматься || дай бумаги написать [120] || нет || ноги зудят [121]

— Все работаю, все и день и ночь ломаю голову над планом-то...

— А уж много у тебя готово?

— Да почти весь...

— Ну, слава богу. На днях прочти мне: вместе обсудим, потом и за дело...

У Обломова недоставало духа сказать, что читать нечего, что план созрел только в голове, и он поспешил замять этот разговор, дав себе слово поскорей изложить свои намерения на бумаге, а до тех пор поискуснее увернуться от чтения.

— Ну теперь скажи, пожалуйста, что мои дела? — спросил Почаев,[а] — исполнил ли ты мои маленькие поручения, что я дал тебе перед отъездом?

— Как же, как же, — торопливо заговорил Обломов, — всё как следует...

— Что акционеры наши по-прежнему собираются по вторникам?

— Да... вероятно, — сказал Обломов.

— А когда раздавали дивиденд? *

— Разве раздавали его? — спросил Обломов.[б]

— Он меня спрашивает? ведь об этом объявляют в газетах?[в] Где газеты у тебя?

— Захар, Захар! — закричал Обломов, — подай газеты...

Захар снял газету с этажерки и хлопнул по ней пальцем: пыль облаком поднялась с листка и перелетела на его бакенбарты.

— Да это третьегоднишняя: это еще я подписывался: а где же новые? — спросил Почаев, оглядывая столы и этажерки.

— Где новые-то? дай новые! — сказал Илья Ильич Захару.

— Какие новые? Окромя вот этой нет больше.

— Ты и не подписывался? Как же это без газет жить?

— Из ума вон! — сказал Обломов.

— Как же из ума вон: ведь надо же знать, что где делается...

— Э! Андрей! да что в этом толку — знать-то! [Знаешь, оно лучше, как не знаешь. Шубы ведь из этого не сошьешь. Вот если б давали что-нибудь за это: чины, что ли, так оно, пожалуй, можно бы. А то ведь так, из любопытства... всё одно:] Я пробовал читать: знаешь, хорошо, не знаешь — тоже хорошо.. так и бросил...

— Ну как же это можно не подписываться... — говорил Почаев.

— Да вон все Захар, право Захар: никогда не напомнит... Ты зачем прозевал, — продолжал он, обращаясь к Захару. — На что ты годишься? вон посмотри: рубашку на меня надел, говорят, наизнанку, чулки дал разные, на газеты не подписался. что ты за человек?

[а] *Против этой фразы на полях запись*: клочок

[б] *Против этой фразы на полях запись*: всё тот же

[в] *Против этой фразы на полях запись*: Куда бы нибудь || пошел [122]

— Помилуй, да ты как забыл? — сказал Почаев, — а я еще просил следить. Ну, по крайней мере, отослал письмо в Москву, что я прислал из-за границы?

— Письмо! какое же это письмо? ты относил ведь, кажется, какое-то письмо, — спросил Илья Ильич у Захара.

— Что-то не помню, должно быть не относил... — отвечал Захар.

— Ты забыл: я помню, что я давал тебе какое-то письмо-то. Вот как теперь помню, большое такое... Ну, помнишь?

— Нет, что-то не помню! — говорил Захар, — вы тут писем никаких не посылали: хотели в деревню писать, да никак и не написали...

— А вот же и написал...

— Нет, не писали...

— Ну, как не писал? еще об деньгах писал.

— Нет, нету... — говорил Захар.

— Поди-ка, поди, высморкайся да и ври...

— А из Гражданской палаты был запрос? * — начал опять Почаев.

— Какой запрос? — с испугом сказал Обломов, — никакого запроса не было.

— Не может быть, чтоб не было, — возразил тоже с испугом Почаев, — еще в Январе надо было ожидать. Я писал тогда тебе из-за границы, напоминал...

Обломов глядел во все глаза на Почаева, стараясь припомнить, наконец глаза его начали принимать определенное выражение, но он все еще молчал.

— Ах, боже мой, — воскликнул, наконец Обломов, — ведь точно приходили из полиции с какой-то повесткой, а я все думал до сих пор, что я это во сне видел!.. представь себе...

— Ну что же ты? — спросил Почаев.

— Что бишь я? погоди, вспомню... да... ничего...

— Как ничего? ты что сказал?

— Сказал. что я сказал, дай бог память? Вот Захара надо спросить — он тут был. да! я сказал, что ты за границей: а я дескать без него ничего не знаю: так и отстали. именно, именно так.

— Ну, как же можно делать так: разве дела эдак делаются! ах, ты чудак! — говорил Почаев.

— Как же мне было... ведь я не... мог ничего больше... — робко начал оправдываться Обломов.

— Как не мог? А я тебе дал доверенность отвечать за себя.

— А!

Почаев опять озадачил Обломова.

— Доверенность! — глубокомысленно повторил Илья Ильич.

— Ты должен был сделать отзыв на запрос...

— Ах, брат Андрей: ведь я не умею писать казенных бумаг, какой же тут отзыв? что это значит, отзыв? я даже не понимаю, как и приняться!..

— Затем я и оставил черновую: тебе бы только велеть переписать да подписать свое имя: вот и все.

— А! так ты черновую оставил! — с удивлением проговорил Обломов.

— Да где же это у тебя все, доверенность и черновая? — с некоторым нетерпением сказал Почаев.

Обломов глубоко задумался. Через минуту вдруг лицо у него прояснилось.

— Теперь вспомнил, все вспомнил, — сказал он. Я ведь оттого и не отвечал, что черновой не нашли — вот, вот отчего. А все по милости Захара: только положи что-нибудь на стол — как раз запропастит: или трубку подаст раскурить, или к себе затащит — или просто тут же где-нибудь положит,[a] да так что и не отыскать: такого неряхи, я тебе говорю, и свет не производил.

Но Почаев не слушал. Он ходил взад и вперед по комнате.

— Ну по крайней мере надеюсь, что ты принял мои деньги от Любимова? — нерешительно спросил он.

Обломов с новым испугом оцепенел на минуту, но потом вдруг очнулся.

— Ах это, помню, знаю! — с радостью проговорил он. — Это я все уладил, как следует. — Как же, приказчик привозил деньги с книгой...

— Ну, что же ты? взял их? — спросил Почаев.

Обломов оробел.

— Нет! не взял: на что ж мне их брать? — сказал он.

— Как не взял? отчего? каким образом? — с изумлением спрашивал Почаев.

— Да вот видишь ты, тут такое обстоятельство вышло: как он вытащил деньги, смотрю, куча огромная, ассигнаций множество старых, некоторые даже разорваны надвое и вставлены в бумагу... Посмотрел в лицо приказчику: рябой, глаза серые так и бегают, борода маленькая, жидовская, считает пальцем живо, точно мигает, и глазами-то не поспеешь за ним — плут, думаю, должен быть: подсунет старых ассигнаций, еще, пожалуй, и фальшивых... долго ли до беды? да и где мне сосчитать вдруг такую кучу, еще при чужом человеке... Мне пятнадцать-то тысяч часа три надо считать, да и то одному, а тут посторонний человек в глаза смотрит, не смигнет с тебя: у меня и руки затряслись. Я взял да и...

— И что же? — спросил Почаев.

— И отдал ему назад.

— Неужели назад отдал?

---

[a] *Против текста*: по милости Захара: ∾ где-нибудь положит, — *на полях записи*: 2й разгов‹ор› [123] || признайся || Книг не читал, || плана не писал || курп...[124]

— Ей-богу, отдал, я ведь, Андрей очень осторожен.

— Что же ты сказал?

— Я сказал, чтобы подождали тебя, что ты сам примешь, а я дескать ответственности на себя принять не могу...

— *О дружба! это ты!* * — сказал Почаев, — ну что же он?

— Он сказал только: очень хорошо-с, слушаем-с! потом подхватил книгу под мышку и как точно бес в секунду пропал с глаз долой...

Почаев подавил какое-то рычание, стиснул зубы и опять пошел ходить по комнате.

— Как можно так жить на свете! — сказал он наконец, остановившись перед Обломовым.

— Да ты посуди сам, Андрей, — говорил Обломов таким голосом, как будто просил прощения, — ну если б он меня обсчитал или подсунул фальшивых ассигнаций? тогда что? Да и куда бы мне было деть такую кучу денег? Пожалуй, обокрали бы... я бы ни день, ни ночь не спал...

— Зачем у себя беречь? я ведь просил положить в банк...

— Разве ты просил?

— Как же, а в письме-то? Положим, это деньги верные, не пропадут: да за что я теряю проценты?

— То-то вот письмо-то затерялось, а то если б я знал, что ты велел в банк положить, я бы...

— Эх, Илья, Илья! — со вздохом сказал Почаев.

Почаев молча, с озабоченным видом, все ходил взад и вперед по комнате. Обломов молча страдал от немого укора, написанного на лице Почаева.

— Ну, виноват, Андрей! ты сердишься... — сказал он.

— Нет, успокойся: к чему бы это повело? — отвечал Почаев. — Так, это минутная досада.. на самого себя. Вот уж она и прошла. —

И в самом деле у Почаева на лице уж не было и тени беспокойства.

— Ну, скажи, пожалуй, что ты еще делал, кроме плана? читал? посещал знакомых, бывал за городом?

— Да, да... как же? и читал... и знакомых посещал...

— Все ли ты книги прочел, что я подарил тебе?

— Нет, еще... не все...

— Что же ты читаешь теперь? я думаю, романы...

— Нет, какие романы: я принялся теперь за серьезное: читаю Карамзина историю...*

— Да ты это, кажется, еще при мне начал.

— Ну очень рад. Ах да: дай мне почтовой бумаги: два слова написать по делу... — сказал Почаев.

— Отдохни с дороги прежде, — заметил Обломов, — не успел приехать, уж и писать.

— Нужно: всего два слова. Где у тебя бумага?

Почаев сел к столу.

— Захар, Захар! — закричал Обломов, — где почтовая бумага?

— Где она: ее нет, — сказал Захар.

— Ну все равно, простой, — сказал Почаев.

— Да и простой-то нет.

— Ну клочок серой.

— Никакой нету.

— На чем же ты писал свой план? — спросил он Обломова.

— Да тогда... была. Это недавно вышла.

— Ну, клочок картона, что-нибудь: два слова написать накоротке знакомому человеку: он в двух шагах отсюда...

— Нет, нету...

— Нет ли хоть визитной карточки: я бы на обороте написал...

— Я визитов уж лет пять не делаю, так карточки-то нет.

Почаев пожал плечами.

— Вот жизнь, — сказал он и залился своим смехом. Ну, брат Илья! я вижу, ты все тот же!

В это время раздался сильнейший звонок у дверей.

— Вот и гости! давай обедать, — закричал Илья Ильич.[а]

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

С. 120.

[1] Часть вторая / Часть II[я] и следующие.

Против этой строки на полях запись: Примечание. N. Часть II[я] и сле||дующие за нею на||писаны — так сказать — || залпом, почти в один присест, — *летом 1857*[го] *года* || на водах в Мариенбаде, за ис||ключением последних 2[х] или || 3[х] глав, дописанных зимой || в Петербурге.

Первая часть написана была || в 1846 году; после того, как я сдал || в редакцию *Современника* первый || свой роман (Обыкн‹овенную› историю). После || с лишком 10 летнего перерыва || я в 1857 году дописал уже обдуман||ный и выношенный в голове роман *Обломов.* И. Гончаров

Октябрь 1888 г.[127]

природная речь∾ из книг. / языком говорил и думал русским и знал его вдоль и поперек, во всю ширину и глубину,[б] от Ильменя, Мос-

---

а *Под текстом всего фрагмента на полях помета*: Следует характеристика || Почаева.[125] || их воспоминания || (Отдельная сцена || или глава. || См. Прибавл‹ение?›) [126]

б *После*: ширину и глубину — *зачеркнуто: а.* от коренного зерна его, рассадника между Москвой и Волгой, до Сибири, Крыма и Литвы его ясность [и] правильность в недрах России до искаженных наречий прикосновением чужих языков, *б.* от древних озер Ильменя и Чудского *в. на полях* путаницу и уклонения [подслушивал] изучал от [древних озер] Ильменя [и Чудского от]

квы и Волги до Литвы[а] и до Азиатских степей,[б] знал от первобытной славяно-русской речи[в] до [речи] брани степного муж‹ика›, от Слова о Полку Игоревом до Пушкина включительно; знал[г] со всеми старыми и новыми заплатами,[д] которые нашивали[е] на него Варяги, Финны, Татары и Французы,[ж] Шишков,* Каченовский,* Булгарин* и Греч.* Немецкий же язык — он знал только тот, которым говорил его отец и который он нашел в книгах Шиллера и Гете.

9 воспитывался. / воспитался. [От матери наследовал он русский склад ума, предания русского духа, русского сердца, от отца получил терпение, деятельность и точность в отправлении всякой обязанности, всякого дела, как бы оно мало ни было. И то и другое шли в нем параллельно.]

С. 121.

8 говорил отец со смехом. / говорил отец, — он не девочка. Что тебе хочется, чтоб он был как Обломова сын, которого держат в хлопках,* или вон как этот? Он показывал на того мальчика, у которого все подвязана была щека или из носа кровь шла. «Надо, чтоб мальчик сам ознакомился со всякой температурой, чтоб знал, что такое вода, огонь, чтоб не боялся ни собаки, ни быка в поле, чтоб и на дерево умел влезть, упасть и не сломить шеи, и в реку свалиться и вылезти — тогда он будет мужчина. А там, там, когда поступит в университет да сядет за книгу — там будет другое — но об этом после».

С. 123.

41 *После*: с волчьим аппетитом! — Ужели не будет тщательно возделывать ногтей и усов, делать изящного пробора, ужели не будет принимать тех изящно-ленивых поз, а вечно будет [в манерах его резкая торопливость, прямизна, отрывистые движения и речь? Она вспомнила и того и другого, приезжавших в дом, где она жила, и и особенно третьего, от которого хранила две записки и который ухаживал за ней, увы, на двух вечерах, ошибкой, приняв ее за дочь в семействе.

Ужели сын ее останется грубым] деловым приказчиком, управляющим, фабрикантом?

С. 124.

5 *После*: жизни. — И все труды ее исчезнут: вся тонкая, изящная сторона жизни должна улетучиться от крепкого запаха конторской

[а] *Было*: до границ Литвы

[б] *Было*: безбрежных граничных степей

[в] *Было*: знал его от церковнославянской грамоты до Пушкина включительно, [тогда к‹ак?›] знал все, что нало‹жили?›

[г] *После*: знал — *зачеркнуто*: все, что

[д] *Было*: яркими его заплата‹ми›

[е] *Было*: наложили

[ж] *После:* Французы — *зачеркнуто*: и что наложили на него и то, что подбавлял в него широко шагающий вперед Русский ум

приемной, от кож, сала и машин на фабрике перед этой будничной беготней, где от тонкой мысли, от артистическо<го> чувств<а> отрезвляются как от ошибки...

22 *После*: шпаги; видит — повелительные взгляды,[а]

40 *После*: за ширмы. — Андрюшу только однажды мать толкнула к ней поцаловать у ней руку; он с ужасом, не поднимая глаз, коснулся губами бесчисленных колец и перстней, которыми унизаны были ее пальцы, и сквозь пальцев выпала золотая монета, он не успел подхватить, и она покатилась по полу.

С. 125.

23–25 С одной стороны∽филистера. / Здесь широко раздвинулся горизонт ума Андрюши, разыгралось его воображение, здесь легло на него клеймо, которое помешало немецкому элементу пересилить широкое раздолье барской жизни.

С. 127.

23–37 только хотел∽лаем. / ударил лошадь по бокам и исчез в облаке пыли, за ним с двух сторон отчаянно бросились вдогонку с двором <sic!> три собаки и залились лаем.

— Ах, вы, собаки, право слово, собаки, точно чужие... — говорили соседи расходясь.

С. 127—128.

39–2 Он служил,∽бог весть. / Он служит, у него есть дом, деревня, он объехал почти полсвета. Он участвует в приисках в Сибири, он член компании, отправляющей шерсть и пшеницу в Одессу, он занимается подрядами.

С. 128.

11–12 своей жизни∽духа. / его жизни установилась гармония, т. е. разумное сочетание полезных стремлений с тонким удовлетворением высших потребностей духа.

С. 129.

2 *После*: опыта. — В этом только смысле он и верил изречению Гамлета:[б] друг Горацио и т. д.* Его нельзя было подкупить никакой тайной, начиная от месмеризма до вертящихся столов включительно,*

7 *После*: ключа к ней. — Зато с какою жадностью хватался он за всякий новый, возникающий вопрос, который становился на очереди науки, общественной жизни, искусства, как следил за процессом его разработывания и тогда ликованию, радости его не было конца.

[а] *После этих слов непосредственно в тексте запись*: (здесь можно вставить описание ста||ринного дома) [128]

[б] *Против слов*: и верил изречению Гамлета: — *на полях запись*: ячмени [129]

10 *После*: terra incognita. — Открывая глубокую сокровищницу тайн сердца человеческого, проследя ряд истинных, добытых Шекспиром со дна колодезя, он обращался к тени поэта с ироническими вопросами: А всё ли тут? А как тебе достались эти знания? А билось ли сердце твое уже ровно и не обливалось кровью после того, как ты добыл и отдал свету твою последнюю тайну из глубоких недр сердца?

17 *После*: его жизнь. — Он не сетовал, что в сфере жизни сердца ему часто случалось хвататься с жадностью за призрак, как за старый забытый <?> идеал, и вдруг с ужасом и отвращением бросать из рук, за что жадно ухватился.

23–32 Он и среди увлеченья∾что его / Уроки матери, романсы, варьяции, женские лица под пудрой, шум, гам, спектакли и музыка в княжеском доме, потом комната его матери, с цветами, с гравюрами, с нотами, напитанная женской атмосферой, контраст комнате отца, с высокой конторкой, с закапанным чернилами столом и с скамьей для приходящих — подействовали на него. Женщины были для него второй жизнью, отдыхом или сладостно-тревожной муки <sic!>, где энергически подвизалось сердце, но где освежался и обновлялся ум, поглощенный, измученный практической стороной жизни. Едва ли он не больше положил сил ума и энергии воли на изучение женской сферы и на покорение в ней себе места, нежели сколько потратил на всю свою остальную деятельность. Наконец он изучил науку и застраховал себя навсегда от всякого фальшивого шага, который мог завести его в непроходимое болото. Он шел навстречу новой симпатии, далеко определяя вперед и процесс, и результат нового явления. Он сам не уклонялся от простого, естественного пути, увлекался — правда— но так, что всегда чувствовал землю под ногой, и всегда довольно силы, чтоб в случае крайности рвануться и быть свободным. Его

С. 129—130.

37–1 говорили вокруг него, — ∾фанатизм. / говорили вокруг него. — Даже подлость? — спрашивал он. — Даже: а вы в своем эгоизме бережете только себя. — Только себя? — повторял он и пожимал плечами. Но он в поэзию страстей не верил, не восхищался их уродливым<и> проявлениям<и> и разрушительными следами ее и идеал бытия и стремлений человека видел только в непрерывно-деятельном, строгом порядке отправления жизни.

С. 130.

3–9 и что ровное∾по избранной дороге. / Он предпочитал ровное и медленное горение огня бурным пожарам. От этого он любовался румяною старостью, с уважением смотрел на шестидесятилетнего старика, поднимающего десять пуд, читающего без очков и ничего не забывающего. Но Штольц не задумывался, не смущался этим, и те женщины, с которыми встречался близко, расходились с ним, долго

с сожалением оглядываясь назад и всегда оставляя за ним часть неотъемлемых прав.

С. 131.

14 — Здравствуй, Илья. Как я рад тебя видеть! / Андрей! Андрей! — говорил Обломов, крепко обнимая Штольца.

— Андрей Иваныч! — осклабясь, сказал Захар.

— Здравствуй, Илья, как я рад тебя видеть!

33–36 Один толковый∾нипочем. / Один толковый человек был: и тот с ума спятил. Разве я создан на такие подвиги?

С. 132.

10–13 и засмеялся,∾дать им паспорты, / покачал головой и спрятал в карман. — Ну, это мы обделаем на днях, — сказал он. — Не беспокойся: тысящи яко две помене дохода — вздор. Хлеб там хорош, а в нынешнем году купцы закупают огромную партию, ты в убытке не будешь. Беглых мужиков тоже отыщут. Надо узнать, отчего они бежали? Не лучше ли им дать паспорты,*

16–20 — Да пусть их! — ∾шататься?.. / — некому будет пахать.

— Не беспокойся, семейный не пойдет, кому есть что пахать, а ведь уходят бобыли да безземельные. Да хоть бы и все, — прибавил он, — пусть их: без работы не проживут, всякий найдет промысел по вкусу и тебе же больше оброка дадут.

— Как это можно, — говорил Обломов: — этого никогда не бывало!

25 *После*: в таком затишье, в стороне, — и ее трогают — очень нужно.

— Как же не нужно! — сказал Штольц, — что ж она одна в углу стоит и не шелохнется.

— То-то, Андрей, и хорошо, что она вдали от всего, ни в ком не нуждается.

26–31 все пропало!∾развратятся! / еще, пожалуй, книг навезут — беда!

— Вон где беду нашел, чудак! — возразил Штольц.

— Да как же не беда, — перебил Обломов, — мужики теперь смирные, ничего не слышно, ни хорошего, ни дурного. Встретятся тебе — в пояс. А теперь — ярмарка, дорога — развратятся!

33–37 — Да, если это так,∾чудак! / — А тебе хочется, чтоб они в лаптях ходили да ели лук с квасом, а рядом будут носить сапоги и пить чай?

— Да ведь это только к разврату поведет, — упрямо говорил Обломов, — пойдут книги, станут рассуждать...

— Ну так что же?

— Пострадает вера...

— В домового пострадает, — говорил Штольц, — эх, Илья, Илья: нам самим с тобой много еще надо учиться... А ты заведи-ко школу в деревне.

— Школу, ни за что, — сказал Обломов, — выучи мужика, так он и пахать не станет...

— Как же в Германии читают, пишут и пашут.

— То в Германии.

— Да ведь они будут читать о том, как пахать, чудак! — Андрей засмеялся.

38 *После*: в этом году. — *зачеркнуто*: [все пересмотреть, да около-то] Верхлевское именье будут межевать, твоя земля рядом. Да ты строиться затевал: нельзя же заочно на архитектора полагаться. Распорядись при себе и устрой будущее свое жилище так, чтоб после пенять не пришлось. Надо ехать.

41–43 — И не нужно∾не готово? / *зачеркнуто*: — Да долго ли это сделать? Вот летом и займись, а осенью поезжай. Ужо покажи мне, что ты затеваешь у себя. Ведь у тебя план давно начат: ужели ты всего не обдумал.

С. 134.

33 Вот разве∾после... / — да и не хочется, Андрей, куда это я поеду? Как это — нет, нет, да вдруг и поехал! Что скажут — нет, я вот разве в деревню, а за границу... Нет!

Обломов потряс отрицательно головой.

41 *Над записанным на полях текстом*: — Тебе, кажется, и жить-то лень? — спросил Штольц. — *зачеркнутая запись*: ты езди || Парламент || Восток — || — Нет — не || такую бы || жизнь выду||мал я || — А какую — || Рассказ [130]

С. 136.

3–4 — Тарантьев,∾торопил он. — / — Тарантьев, Иван Герасимыч, что они, отличные люди, что ли?

— Нет, какое отличные, я и не знаю хорошенько их, а так, привык я бывать у Ивана Герасимыча, вечер придет — и тянет туда. А от нового человека меня все что-то отталкивает, поди еще узнавай его, знакомься, визиты да приличия...

— Скорей, скорей, — торопил Штольц.

15-21 *Против текста*: Захар с нечищенным сапогом,∾скорей! — *на полях зачеркнутая запись*: разговор || их, || о путешест‹виях› || о Востоке, || не любит этой жизни. || идеал его || жизни [131] || обещает приехать || и обманывает.[132]

40–43 пересуды∾на лице, / пересуды, [клевета, толчки, радость при падении ближнего в грязь, гримаса, когда он опередил нас.] щелчки друг другу, это оглядыванье с ног до головы: и чуть у тебя воротнички у рубашки не так сшиты, фрак не от Руча — вот не годишься.* Послушаешь, о чем говорят, так голова закружится, одуреешь. Кажется, люди на взгляд такие умные, с таким достоинством на лице, ждешь, что у них спасение души на уме, послушаешь, что занимает их, о чем говорят? Стремление к чинам, [добывание мест с бессовестным или невежественным отправлением своей обязанности, кичливость, с грязью на лице, гордость и смирение тоже и перед этой грязью.] хлопочут о месте, как добыть его, а о том, сумеет ли управиться на нем и как надо управляться, как

держать себя, об этом не услышишь ни слова, а ведь как нос поднимают, нужды нет, что грязь на лице,

С. 137.

6–12 *Вдоль текста:* — Свет, общество! ∞ взад и вперед, — *записанного на полях, помета:* это развить еще ярче

13–43 Войдешь в залу ∞ Продолжай. / Вон эти двое шутов зарядят себя вчерашними газетами и носятся, кричат, пересказывают, несут дичь вкривь и вкось: скучно им самим, не занимает это их, это им постороннее, чужое, они не в своей шапке ходят, наконец, выкричатся и посовеют до новых газет — это не поступает в их жизнь... Все это спящие люди! А это что за народ, все молодой, свежий, годный на что-нибудь путное, а что они делают: с гордостью, отталкивающим взглядом смотрят и воображают, несчастные, что они выше толпы, мы-де служим в таком полку, где, кроме нас, никто не служит, мы в первом ряду, мы на бале у князя М, куда только нас пускают... разве они живут и движутся? Нет, спят! Это общество любуется вот этим горьким пьяницей, на которого глядеть тошно, а его принимают везде, находят, что он мил, а в нем все непристойно, начиная с рожи до цинических анекдотов, и ни за что не пустят вот этого умного, милого А. В., который входит в комнату без перчаток? Разве это живые, не спящие люди? Собираются они за тем, чтоб покормить друг друга и потом не встретиться никогда, или затем встречаются, чтоб поесть и потом похвастаться: у меня был такой-то, а я был у такого-то. Это, что ли, жизнь: не хочу я ее! А те холодно цыганят...

— Ба, да ты просыпаешься! — сказал Штольц, садясь на диван с сигарой. — Слава богу! [Ты перекладываешь в прозу Пушкина:

Измен волненье,
Предрассуждений приговор
Толпы безумное веленье
Или блистательный позор.[а] *

— А что ж, это неправда? не так? Разве мы сегодня не видали, как]

— Ну, продолжай.

— Что продолжать-то: это ли жизнь! Подличают, гнутся перед кем, перед чем и из чего?[б] Вот хоть бы сегодня[в] перед этим Хохоревым жеманились и ежились все эти франты с стеклышками в глазу, а на меня глядели через плечо, когда ты меня знакомил с ними, и едва сквозь зубы проговаривали: очень рад.. приятно... А что такое Хохорев? Денег много: да они и денег его не увидят, а разве даст он им пообедать, да натрут они у него полы ногами...

[а] *Против цитаты на полях зачеркнутая запись:*
Любви стыдятся, мысли || гонят и т. д.

[б] *Текст:* — Ну, продолжай. ∞ чего? — *вставки над строкой и на полях.*

[в] *Слова:* Вот хоть бы сегодня — *вставка над строкой.*

Не правда это? * [— Правда, да все это старо. Ты, сидя в своем углу и не показывая носа никуда, не заметил, что уж этот вопрос решен, к нему привыкли...]

С. 138.

12-42 — Ты философ, ∽ продолжал спрашивать Штольц. / четвертый мучается, бегает, ищет, добивается привилегии на какой-то новый чин, который выдумал для завода, четвертый <sic!> отдал свой капитал в предприятие и с ним отдал и всего себя в какую-то кабалу, день, ночь переживает в вечной работе духа, мучительно следит за ним, утром, чуть продерет глаза, хватает газеты, глаза бегают, как у сумасшедшего...

Штольц захохотал, Обломов тоже.

— У иных и нет ничего, так выдумают себе заботу и носятся с ней. Вон с чего этот желтый господин в очках пристал ко мне, читал ли я речь какого-то депутата: и глаза вытаращил на меня, когда я сказал, что не читаю газет.

— И я давича вытаращил, — заметил Штольц.

— Помилуй, — продолжал Обломов, — этот чуть мне глаз не выцарапал: и пошел об Людовике-Филиппе, точно как будто он родной отец ему! К нему пристал и этот маленький, у которого во рту точно ватой подбито, [да вдвоем пристали ко мне, хоть плакать. Этот о митинге, об О'Коннеле,* да черт бы их подрал совсем! и умник их, главный-то, что все в идею-то возводит] Этот вдруг пристает, как я думаю, отчего французский посланник уехал из Рима. Что за народ? И главный-то умник у них препустой малый...

— А что? — небрежно спросил Штольц.

— Помилуй, — продолжал Обломов, — как всю жизнь обречь себя на ежедневное заряжанье всесветными новостями и кричать неделю, пока не выкричится, рассуждает, решает, соображает... всякий день все у него новое, все разное...

— А тебе бы хотелось всякий день одно и то же...

— Помилуй, да это публичный крикун... Сегодня Египетский Паша * корабль послал в Константинополь, и он ломает себе голову, зачем, завтра не удалось Дон-Карлосу — и он в ужасной тревоге — там роют канал, тут отряд войска послали на Восток — батюшки: загорелось, лица нет, бежит, кричит, как будто на него войско-то идет... И все купаются в омуте лжи, обманывают себя и других, едят из одной солонки и тайно ненавидят и продают друг друга, язвят, подкапываются или совершенно равнодушны один к другому — и это самое лучшее.

[— Чудак! — сказал Штольц, — ведь это жизнь!]

— Да, право. Какая же это жизнь! — продолжал Обломов. — Разве это жизнь, что вон этот толстобрюхий мещанин нажил четыреста тысяч — тут бы в затишье куда-нибудь, в родной город, да спокойно доживать, а он каждый день в засаленном зипуне и

в яичных сапожищах стоит между бревнами и досками да меряет, считает, бранится...

[— Нехорошо только, что в засаленном зипуне, а что он ходит каждый день мерять да считать — это прекрасно: он дело делает.

— А вон Игнатий Иваныч рвался из всех сил, чтоб занять теперешнее место, всю жизнь просидел в кабинете, с бумагами, с докладами. Его знают, любят, семья большая, детей женил — имение отличное — как бы, кажется, не отдохнуть, а он, что ты думаешь, добивается еще какого-то места.

— И прекрасно делает.

— Когда же пожить, отдохнуть.

— Да это и жизнь, тут и отдых. Отдых — все равно, что сон: переспал человек, и тяжело, и гадко ему. От отдыха человек развалится скорее, нежели от труда. Ты видал ли развалины? Отчего они развалины? от того, что в них не живут.]

— Отчего Осип Осипыч, у которого три тысячи душ, семья, все лезет выше по службе, чем бы пожить, отдохнуть.

— Он боится развалиться...

— Отчего развалиться, от отдыха? — спросил Обломов.

— Ты видал развалины? — спросил Штольц.

— Ну, так что ж?

— Отчего они развалины?

— Я почем знаю? оттого что давно выстроены.

— Нет, от того, что в них не живут. Ну, так что же, продолжай!

— Нет, это не жизнь, а беготня, искажение того идеала, который указала природа целью человеку...

— Какой это идеал?

— Покой.

— [Нет, труд. Посмотри на природу — день труда и ночь покоя.]

— Как же сама природа целый день в действии, а отдыхает только ночью? — спросил Штольц. — Воля твоя, Илья, тут что-то не то. Ну, скажи мне, какую бы ты начертал себе жизнь?

С. 139.

27 *После*: дом... — *зачеркнуто*: Я говорю тебе это как мечту, потому что нужны большие размеры, состояние.

[— Доставшееся по наследству.]

— Все это возможно: наживи.

— Поздно. Ну, потом.

— Зачем же большое состоян‹ие›

С. 141.

12 *После*: шутки — *зачеркнуто*: или искренняя теплая беседа [до чаю] продолжение вчерашней.

— Обломовщина! Обломовщина! — закричал Штольц, хлопая в ладони и помирая со смеха, — как жили отцы и деды, так и мы! Ты и меня хочешь туда же...

Обломов обиделся.

— Извини, не как отцы и деды, — сказал он, вдруг перевернувшись лицом к Штольцу и опершись на локоть, — я мечтаю, применяясь к веку:

С. 142.

17 Это жизнь! / [Согласись, ведь это рай земной] вот жизнь!

18 не жизнь! / *зачеркнуто:* не рай, а обломовщина! — сказал Штольц.

— Далось — Обломовщина: ну что ж, пусть Обломовщина, если она удовлетворяет идеалу счастья, покоя.

— А труд? — вдруг спросил Штольц.

— Какой труд? — повторил, оторопев, Обломов и принял самую скромную позу.

— Дело? Ты его выключил из своей программы?

— Дело? — повторил Илья Ильич. — Ведь дело есть: с садовником сколько возни, повар придет — с ним часа полтора провозишься. Жена книгу вслух читает.

— Это дело? — иронически спросил Штольц.

— А газеты, — продолжал Обломов, торопливо отыскивая в уме, нет ли еще чего-нибудь. — Мы бы получали все новое, я бы лежал на какой-нибудь козетке * с сигарой и слушал бы, [жена читала бы по-французски вслух, газеты бы выписывали.] Помилуй, чего же еще?

— А имение? Продажа, покупки, отправление хлеба, счеты... Ты выпустил из своей программы многое: какую-нибудь ссору с соседом — не все же бы я жил у тебя сбоку, — забыл неурожай, недоимки, Опекунский Совет, а там доходу тысящи яко две поменее — вот бы обеды, приятели да мебель и потеряли свой цвет...

— Да ведь у меня был бы приказчик, — в сильном раздумье сказал Обломов. — Он бы ходил ко мне каждый день с докладом: это не дело, что ли? видишь? Что ж завести эдакую каторгу, как здесь. Когда же пожить-то, попользоваться-то жизнью...

— Да что ты это, как мальчишка, — выучил урок — да и бегать. У тебя жизнь сшита из двух каких-то безобразных половин, как бывает маскарадное платье, одна красная, другая — желтая — в одной помучился, поработал до какого-то срока, а там взял да и лег — ах, ты...

— Ну, что — я?

— Что? — Обломов — больше ничего!

— Что же мне делать? Не переродиться же: значит, я создан так.

— Нет, извини, вспомни, разве ты был таков? Вспомни, что ты говорил десять лет тому назад. Я тебе не только напомню слова, укажу каждое место, где ты что говорил.

— Что ж я такое говорил? — задумчиво спросил Обломов, отыскивая в памяти, что он мог говорить своему другу, кроме того, что сказал теперь.

— А говорил, что́ не похоже на нынешние твои слова. Помнишь, какую кучу книг накупил ты на триста рублей, хотел изучать камеральные науки,* бредил политической экономией? Где у тебя груды переводов? ведь ты почти всего Сея перевел. Помнишь, ты читал Робертсона,* Юма? * Где у тебя это? Я не вижу ничего?

— Захар куда-то подевал, где-нибудь тут же в углу валяется, — сонно отвечал Обломов.

— Помнишь, как ты готовился проходить службу, не хотел сидеть в Петербурге, называл здешних чиновников франтами, белоручками, хотел изрезать Россию вдоль и поперек, поехать посмотреть Сибирь...

— Да, кажется точно ведь мы собирались? — припомнив, сказал Обломов.

— Как же: не ты ли твердил, что России нужны головы и руки, что стыдно забиваться в угол, когда нас зовут огромные поля, берега морские, призывает торговля, хлебопашество, русская наука. Надо открывать закрытые источники, чтоб они забились русской силой, чтоб русская жизнь потекла широкой рекой и смешала волны свои с общечеловеческой жизнью, чтобы разливалась свободно своими путями в русской сфере, в русских границах, чтобы исполин восстал от долга сна... что ты идешь окунуться в это широкое море с головой и отдаешь всего себя... Я говорю твои слова. Сам я, ты знаешь, так никогда не говорил. У тебя тогда и лицо было не такое сонное, и глаза сияли, и не лежал ты...

— Ужели это все было? — сказал Обломов, сидя на постели. Да, да,

С. 143—144.

33-32 Что ж, Илья? ∾ Непостижимо! / Что ж, Обломов? Я два раза был за границей, обошел пешком Швейцарию, в Париже и Лондоне жил по годам: я исполнил свой обет — я видел Россию вдоль и поперек. [Я тружусь — и поверь: если тебе трудно встать и воротиться к той мечте, от которой мы вместе отправились, то мне труднее теперь перестать работать. Я живу всеми силами души, живу полно и широко, я много вижу, много знаю — и не перестану видеть, знать и извлекать из этого какой-нибудь смысл, а ты,] Тружусь каждый день и не могу не трудиться. Мне теперь труднее лечь, нежели тебе встать.

— Зато ты смотри — какой худой, Андрей: побереги себя: долго ли расстроить здоровье...

— Не беспокойся: вон ты и не худой, а куда годишься? А я и здоров оттого, что все на ногах... — что ж ты не сделал этого? Или ты считаешь тогдашние слова свои за юношеское увлечение, за пустой бред горячки...* Нет, ты разумно развивал свою идею: ты хотел не верхоглядом пробежать по трактирам Европы,* ты считал это приготовительным курсом к изучению России, необходимостью к правильному и глубокому пониманию ее потребностей, <к> методи-

ческому и добросовестному разработыванию русской жизни, ее источников, сил, вот ты что говорил — немножко высокопарно — молод был — но говорил правду — зачем же ты обманул меня [свою совесть, изменил своему долгу, обязанности. Это не горячка молодости, а благодетельное зерно, которое бросил было ты заблаговременно, да потом грубо и затоптал сам. .] и себя? ты не умел выбиться из мелочи, из первых детских шагов жизни, тебе скучно было переписыванье бумаг, страшны казались брови директора, ты не умел перетерпеть этих пустяков и захромал на обе ноги. Вставай, еще не ушло время: может быть, в последний раз протягивается к тебе рука опытного друга, если ты оттолкнешь ее и теперь и останешься в этой сфере, она задушит тебя.

Обломов слушал его почти с ужасом, глядя на него встревоженными глазами. Он заглянул в себя, как будто в пропасть, и вздрогнул.

— Стой, Андрей, не режь меня: вот опять моя рука — иду за тобой, куда поведешь. Но не покидай меня на дороге, не уставай вести и выведи на простор, где я мог вздохнуть свободно, освежить голову и душу. Я теперь как пьяница: у меня пока еще нет ни воли, ни силы. Дай мне своей воли и ума — и веди меня как знаешь. Ты выведешь на простор! Ты правду говоришь: теперь или никогда больше. Еще год — и никакая сила не поднимет меня.

— Помню я тебя тоненьким, живым мальчиком, как ты каждый день с Пречистенки ходил в Кудрино, — говорил Штольц, — там в садике — ты не забыл? [Как теперь помню, застал я однажды живую картину, и хотя я не романтик, однако вон картина эта осталась у меня в памяти, когда ты сидел на лавке под деревом и твоя Лиза достала ветку, наклонила ее и обвила около твоей головы, любуясь тобой, а ты обнял ее за талию, хотел поцаловать, она, не выпуская ветки, устранялась. — Тебе было досадно, Лиза! — шептал ты нетерпеливо. — Достань! — говорила она кокетливо. — Ты не забыл. Я подкрался и видел все.

Обломов в одно мгновение вскочил с постели и сидел] двух сестер, не забыл Руссо, Шиллера, Гете, Байрона, которые носил им и отнимал у них романы Коттень, Жанлис. . . важничал перед ними. Обломов вскочил с постели и пересел рядом на диване <sic!> со Штольцем; [несмотря на усталость, на сон, который одолевал его, лицо у него вспыхнуло и глаза заиграли, лишь только Штольц напомнил Кудрино].

— Забыть? Нет, не забыл, Андрей, и никогда не забуду этих двух сестер. Им я поверял эти мечты, перед ними развертывались мои силы, прекрасные, чистые мысли, свежие чувства, и там они умерли. Перед ними развивался мой взгляд на жизнь, который так помрачился, так погас — и от чего?

С. 145.

32–38 наше имя легион! ∾ вырвалось у Обломова. / — Они служат, работают, добывают хлеб, — заметил Штольц. Про них нельзя сказать того же.

— Служат, да, но не работают: Михайлов двадцать лет сряду линюет все одну и ту же книгу да записывает приход и расход, Петров с тетрадкой всю жизнь поверяет, то же ли число людей пришло на работу, Семенов наблюдает, чтобы амбары с хлебом были вовремя отперты и заперты и чтобы кули были верно показаны в графах, а Ананьев вот уж сороковой год сдувает пыль с старых дел. — Какая же это работа? А народ всё бойкий, живой, грамотный: а так замерли, захирели на своих местах и теперь никуда не годятся. такие тупые: куда, я орел перед ними!

— Оставь их в покое, — перебил Штольц, — они не мечтали об источниках России, они делают свое дело: надо же кому-нибудь и за кулями смотреть, и пыль с мешков сдувать: они не плачут и не рвутся.

— Наконец, Михеев — смотри, — продолжал Обломов, — помнишь, какая острота ума, какая глубина, сколько знаний — куда все это ушло? И у него, брат, запылились книги на полке, а первым был, все историей занимался, с Нибуром * да с Тьери * возился. Десять лет подписывает он одни и те же отчеты да доклады о числе пожалованных, о количестве вычета... А ведь и он мечтал об источниках русской жизни и тоже было засучил рукава, чтоб разработывать эти источники...

— Ну, что ж помешало? — спросил Штольц.

— Что ж? Погорячился, погорячился, а потом — получил место, завелся семейством, да и сел. Он получает пять тысяч рублей. Куда еще ехать? Какого еще источника нужно? Вон Михеев рвался все в Сибирь, добился, наконец, поехал, да теперь письмо за письмом и и пишет: пустите, ради Христа, назад...

— А что?

— Беда, не приведи бог, там. После расскажу, что с ним случилось. Видишь ли, не я один задремал. Я еще благословляю судьбу, что нужда не коробила меня, что я не предавал своих порывов, которые ты хочешь разбудить теперь, а понемногу заглушил...

— Ну, кончим, пора спать, Илья. Поедем за границу, потом в деревню, потом и сыщем дело...

— Да, поедем куда-нибудь отсюда...

С. 146.

6–9 — Обломовщина, обломовщина! — ∾за собой дверь. / — Да зачем сначала за границу непременно? На будущий год, если будем живы да здоровы, уладили бы все дела, да и поехали себе не торопясь. Надо сообразить, куда, как...

— Уж я все сообразил; сначала в Лондон поедем; там у меня дело есть, а потом в Париж...

— Терпеть не могу Англии, — перебил Обломов. — Ты поезжай туда один, а я прямо в Париж... — Да знаешь, что я тебе скажу, — вдруг подхватил Обломов, — я пробуду еще год здесь, запишусь в клуб...

— Так что ж будет? — спросил Штольц, — зачем.

— Чтоб к делу привыкнуть.

— Как так? — все изумляясь более и более, спросил Штольц, — к какому делу?

— Ну, т. е. к движению, к обществу... там и газеты все есть, народу много: не дадут лежать. А потом выберут в старшины, знаешь, сколько дела: что твоя служба! отчеты да... А потом бы... Все деловые люди там...

Штольц сначала засмеялся, потом с упреком поглядел на Обломова.

— Я ведь не отказываюсь, Андрей, — сказал, смутившись, Обломов, — я только полагаю, что мне сначала надо съездить в Обломовку: ты же сам сказал...

— В Обломовке ты сядешь да и заснешь: тебя надо вдруг отрезвить, потом уж Обломовка не опасна будет. Но... помни, Илья, теперь или никогда! — заключил Штольц.

— Теперь или никогда! — пожал Обломову руку, взял свечку и ушел в гостиную.

Обломов остался в темноте на диване, подперев голову коленками. Долго сидел он в одном положении, закрыв глаза, боясь заглянуть в этот омут, который вдруг отверзся перед ним. Наконец вскочил и, натыкаясь в темноте на стулья, на столы, сдернув что-то со стола халатом, с шумом, с грохотом добежал до постели и как камень упал лицом на подушки и погрузился мыслию в эту бездонную пропасть сомнений, вопросов, оглядок, в эту новую сферу, куда его так неудержимо толкала рука друга.

— Я, за границу! в Италию, в Париж! Невозможно: это шутка, сон! Это все равно, что другому взять — да вдруг и полететь вверх, как птицы! Через две недели меня не будет здесь! Эта комната, эти подушки... Я возьму их с собой, и одеяло возьму! — вдруг решил он. — В почтовом экипаже — слышите, что выдумал! Ведь они и ночью едут. А ночью наткнешься на кого-нибудь... в яму попадешь! Тут шоссе, конечно, да оно такое узенькое, рядом около самого колеса — канава идет: ну, как туда! А море! — я — на море! Качка: вон на картинках всё рисуют корабли на боку лежат, вода такая зеленая, противная на вид, из нее торчат головы и руки утопающих, бочонок плывет... Господи! что это вдруг за камень упал на меня! День и ночь ехать! Сидя спать! Нет, нет, Андрей, ты пошутил: с квартиры еще я могу как-нибудь съехать, — говорил он... — Захар и Тарантьев перевезут, а за границу...

Он даже захохотал при мысли, до какой степени это невозможно.

— Да, — думал он, — побалуй я его теперь, он потом и в Сибирь потащит меня, и на Кавказ, и в Крым... Нет, я лучше кончу план... Завтра же за архитектором пошлю... Шатайся, пожалуй, а дела в деревне запустишь. Обло...мов...щина! — произнес он, — ух, какое слово! И отчего мне обидно оно: оттого, кажется, что оно только мне одному к лицу — дураком назвать легче: дураков

много... А ведь хорошо и за границей.. — думал он, — в самом деле хорошо: и на Волге уж не то, что здесь, мягче, по ночам тепло, а в Италии? Во Франции увижу Лувр,* Версаль,* Трианон, там, где жили все эти Людовики, в Германии, в узких улицах, в высоких почерневших домах, башнях — говорят, еще не стерлись следы Средних веков. а в Швейцарии в горах послушать мотив пастушеской песни [не то что] — Кеттли — народной сцене. а. Как же я без Захара? Я его возьму, непременно возьму. Пусть и он послушает, как иностранные мужики песни поют, посмотрит, как платье там чистят... Сапог, говорят, надо взять: там дрянные. Завтра закажу три пары... Но как же, — вдруг потом опять спрашивал себя, — сегодня здесь, завтра там: тут не опоздай, там спеши, вдруг с моря на железную дорогу: говорят, недавно поезд свалился куда-то в овраг... и не высидишь целый день... Нет, Андрей, нет, — ты так только, ты пошутил... — приговаривал Обломов, сбрасывая туфли и скидывая халат. Ведь, между нами сказать, — ты не нежного воспитания, ты... вон этот... «другой», как Захар называет: тебе что? А я... Да нет, ты пошутил... ты завтра опомнишься, пожалеешь меня... У меня и дорожного платья никакого нет. А слово? — вдруг опять придет ему в голову — и грозная необходимость ехать являлась ему как близкая наступающая действительность — и лоб его покрывался потом... Боже мой! какая неосторожность! Что я наделал! — говорил он. Душенька, милый Андрей! — шептал он умоляющим голосом: скажи, что ты пошутил... что ехать не надо и зачем... в клубе, ей-богу, много дела: от одних новостей не оберешься, всё узнаешь в один день: и зачем корабль на Восток отправили, отчего французский посланник вдруг уехал из Рима... важность большая! черт знает, из чего хлопочут! — прибавил потом.

Он вздохнул и начал забываться сном...

— Утро вечера мудренее... — говорил он. — Обломовщина... Обломовщина... — шептал потом, — вот оно что! Какое слово: точно клеймо, жжется... Прочь, прочь, Обломовщина! И заснул.

11 явились Обломову грозные слова, / являлись Обломову грозные слова, *далее зачеркнуто*: [как Бальтасару на пиру,] ежечасно: Обломовщина! — звучало у него в ушах. Утром он читал их на своих брошенных в угол книгах, на пыльных стенах и занавесках, на пустом столе, на изношенном халате, на тупом лице Захара. Ночью они огнем горели в его воображении, напоминая о пройденной половине жизни * и угрожая перспективой тяжелого, пустого существования, без горя и без радости, без дела и без отрадного отдыха, без цели, без желаний. [Прежде он бился, стараясь определить эту пройденную половину, и не знал имени ей; теперь Штольц назвал ее: Обломовщина — таким же длинным неуклюжим словом, как и сама эта жизнь.] «Что ты делал, что делаешь, что будешь делать? — снилось ему беспрестанно: — вставай — теперь или никогда!

Никогда так живо не начертались ему эти слова, как в одном доме, куда однажды вечером завез его Штольц, где он прожил че-

тыре-пять часов тою жизнию, какою некогда жил в Кудрине, в дни своей молодости, где под животворным огнем женской сферы[a]

39–42 он схватил перо,∾остаться? / *зачеркнуто*: голова его снова тяжело падала на подушки и только влажные глаза свидетельствовали, как мучительна была исповедь его перед самим собою и как неудовлетворителен оказывался, после поверки, итог сил и воли. — Боже! — говорил он, — что я сделал с собой [:пошли мне вновь «Ангела-наставника хранителя души и телес наших»]. Он хватался за волосы, рвал рубашку и сжимал в руках полы халата... «Воротиться или падать уж до конца, забываясь в животном сне, покое и неге?

С. 147.

7 *После*: с другом, — *зачеркнуто*: посмотреть на процесс деятельной жизни в Париже и Лондоне, взглянуть разумным взглядом и полюбить порядок, тишину, правильное, невозмутимое отправление жизни в мыслящей и хозяйственной Германии, посмотреть, как люди живут без халатов, не прячась в угол, зачем они взад и вперед разъезжают по России, по морям, на пароходах, как сами надевают чулки и снимают сапоги, как там нет ни одного Захара, ни одного Тарантьева и Алексеева, куда это всякий день и час валит толпа в вагонах, отчего у всех забота на лице...

10 *После*: на пароходах, — *зачеркнуто*: читать и новое, и старое, и рассуждать о том, что случилось на другом конце мира, как о собственном деле,

10 поселиться в Обломовке, / ехать в Обломовку, [приложить свой ум и глаз к рукам крестьян, свои мысли, и смешать с их трудовым потом и, деля время между глубоко-дельной, заботливой жизнью на нивах, мельницах, в лесу, на городских выборах и среди новых и старых писателей, не прерывать связи с миром, не бегать где-то сильно разыгрывающегося и будто чужого нам, но занимающего других людей вопроса... жить долгие годы с вечным клеймом заботы на лице, с вечной, ни на минуту не угасающей мыслью, с вечно поднятой рукой на труд..., с вечно бьющимся perpetuum mobile в целом организме, во всей нравственной природе... и готовить к такой же жизни семью. Вот что значит воротиться!]

36–40 *Против записанного на полях текста*: Там, слышь,∾покачал головой. — *на полях зачеркнутые записи*: Отчего Штольц || из света шел || в темный угол || к Обломову и проводил || с ним вечера? От || того же, отчего из || палат возвращ<аются> || под родимый || кров, от || чего из Ита||лии приходят || в березовую || рощу[133]

Они думали, || там блеск, || там огонь, || здесь счастье[134]

С. 148.

4–29. но ответа не получает.∾подбежал к окну. / *зачеркнуто*: [и получает каждый раз ответ, но не с робким оправданием, а в каком-то торже-

---

[a] *Текст не завершен.*

ственном тоне, с необыкновенным, то тревожным, то возвышенным настроением, в тех выражениях, в которых они бывало переписывались, когда были очень молоды, когда мысль и чувство оспаривали друг у друга страницы. Речь Обломова лилась свободно, без повторения *которых* и *что*. Письма эти повергали Штольца в совершенное недоумение.] Штольц надивиться не мог и наконец потребовал объяснения и получил в ответ такое письмо.

«Ты мучаешься, бедный мой Андрей, догадками, что со мной: удивляюсь тебе! Ты, такой проницательный, ты по десяти письмам не догадываешься, что... Совестно сказать: мне тридцать семь лет — как я выговорю? Я влю... не могу, договори сам. Договорил? Ну, и я повторю: я влюблен, следовательно, цель твоя увенчана успехом. Ты не узнал бы теперь своего друга: во-первых, я живу на даче, в двенадцати верстах от города, у меня хорошенькая квартира, без паутины, без пыли, вся в зелени, в цветах; я не в халате, а в элегантном летнем пальто, письменный стол, этажерка — завалены книгами (вышли, пожалуйста, Гейне последнее сочинение да Мишле * второй том, а если еще что-то появилось, так и то: да нет ли новых порядочных романов, английск‹их› или франц‹узских› — не для меня), перья, бумага, чернила — всё в порядке, окна все настежь. Тарантьев был во все лето всего один раз попросить денег «на содержание моей мебели на квартире у его кумы», Алексеев бывает часто для переписки моих (слышишь, *моих* бумаг) и для отправления их в деревню. Захар... только Захар неизменен: ни бакенбарт остричь, ни серого жилета скинуть не соглашается и на мое предложение мыть руки уверяет, что они чистые. Зато — подивись — он женился на Анисье, кухарке. Не знаю, что за перемена, разрыв ли с soi disante + кумой или внезапный пламень к Анисье, только однажды утром, еще в городе, он — угрюмо, она — усмехаясь и стыдясь — пришли ко мне и попросили благословения и денег на сватьбу. Вот отчего у меня теперь больше порядка в доме. Но я не о Захаре хотел писать к тебе. Я влюблен, следовательно, проснулся и воскрес. Но это только половина и самая неважная. Другая половина дела — лучше, хотя мне еще труднее сказать тебе... Fatuité ++ — не к лицу мне, но перед тобой я являюсь без маски и потому скажу: я. любим! Понял ли ты, отчего я теперь не в Париже, а в окрестностях Петербурга. Но цель твоя достигнута, ты творец моего превращения, потому что я узнал ее через тебя: ты познакомил меня в доме, ты потрудился [сказать ей... сначала, что я чулки надеваю разные, а потом] открыл немного перед ней грубую завесу, под которой, правду сказать, ничего и не таилось особенного, кроме простого неизменно любящего тебя, а теперь и ее — сердца... Однако я говорю она, ее, ей, о ней, а кто — не сказал. Да Ольга, боже мой, к которой ты привез меня весной

+ так сказать (франц.).
++ Фатовство (франц.).

вечером и там оставил до ночи, а сам уехал. А я обезумел в тот вечер и на другой никогда и нигде так ясно не звучали мне твои слова «теперь или никогда». «Теперь, теперь», — повторяло мне сердце, — да, нужно было, Андрей, чтобы не ум, даже твой, а сердце — или лучше сказать — чтоб ее взгляд сказал мне — «теперь!». И он сказал так повелительно, так неотразимо, что я мгновенно проснулся и вот уже стою на возвратном пути с моей темной тропинки — опять к свету, к блеску, к счастью, к жизни. Я знаю, ты обрадуешься: что тебе за дело, что я начал не с того конца, что иду в храм с боковой двери, или — что они вдруг — все открылись передо мной. Вот мой план: мы женимся и поедем вместе за границу, я опять принялся за Винкельмана,* твержу Римские элегии,* письма из Рима, не знаю, за что схватиться — и бросив все, бегу туда, в парк, в голубой павильон, там в известные часы никого нет, мы одни. Тетка ее часто уезжает зачем-то в Кронштадт: она добра, ты ее знаешь, ласкова со мной, но я, кажется, не кажусь ей выгодной партией. [Она прочит Ольгу за какого-то барона], но это не пугает меня, Ольга — олицетворенная энергия, воля, любовь. Она то покорна (мне, т. е. любви своей) как пансионерка, то непреклонна и властолюбива, и притом естественна, проста, как полевой цветок, кажется, только и умеет что ей указано природой: дышать теплым воздухом, питаться росой и окрашиваться лучами и скромно свертываться в сумрак, а иногда она ужасает меня глубиной ума, верностью и разумностью понимания... Но, прощай, песок хрустит на дорожке: я слышу ее шаги по дорожке — и это она... она.

С. 149.

4-6 хотя глаза∾улыбка. / и глаза ее засияли светом удовольствия, но ровным, покойным. [Видно было, что он был для нее знакомое и приятное явление — не больше, пожалуй, друг, какие бывают всегда и у всех.]

7 *После*: смешил ее — *зачеркнуто*: а с другими ей, по ее словам, было скучно. По этой же причине, т. е. потому, что он все смешил ее, она сказала, что она никогда не полюбит его, и не полюбила. Штольц тоже чувствовал большое, но простое дружеское влечение к ней,

С. 151.

34-37 о дружбе своей∾жизнь и как...» / о детстве, о дружбе, рассказал. как добр, чист и симпатичен душой Обломов, как светел и пылок его ум, и между тем (и это рассказал!) как он несчастлив, как гибнет все доброе от недостатка участия, деятельности, как слабо мерцает прекрасная жизнь и как. [одиноко гаснет в темном углу существование, которое [бы] если его повела симпатия, если б впереди блеснул какой-нибудь луч. .]

С. 153.

12 *После*: музыку... — *зачеркнуто*: а просто люблю, и то потому, что от этой любви защититься нельзя...

13–17 Он как будто∽роль! / он как [будто обиделся, что я обвинил его в страстной любви к музыке...] Какое преступление.
— Эта рекомендация может поставить меня в затруднительное положение, потому что заставит предположить во мне музыканта или по крайней мере знатока, а я ни то, ни другое.

С. 158.

4–19 — Слезы,∽никогда... / — Слезы — и я в самом деле пела, как давно не пела, даже, кажется, никогда... [А ведь много похвал слышала я и слезы видала на глазах.]

22–25 и запела.∽в ее голосе. / и полились звуки, которые высказывали, кажется, всю жизнь, запертую пока в этой молодой, девической, сильно поднимающейся груди. Надежды на жизнь, неясная боязнь грозы, самая гроза, все брожение жизни, наконец, брожение разрешилось счастьем бурной, какой-то скачущей радости, далее вдохновенного, торжественного чувства, потом звуки стали задумчивее, чуть-чуть слышны...

28–36 Щеки и уши∽одинаким трепетом; / Уши и щеки горели у ней, иногда на молодом детски свежем лице ее вдруг быстро сверкала игра сердечных молний, которую можно было только уловить взглядом и разве передать в звуках и больше ни в чем. Оно бессознательно и свободно лилось в голосе, горело в глазах, дышало в чертах лица, а зритель и слушатель также бессознательно и молча едва успевал ловить и поглощать эти молнии душевной бури и замыкать в себе, как Обломов. И в нем бушевала такая же роскошная буря, так же потрясала организм. И оба они снаружи неподвижные, разрывались внутренним огнем, дрожали одним трепетом,

С. 159.

38–45 да и хлопот много:∽доски! / *зачеркнуто*: Гордость и спокойствие — вот что видел он в будущей жене. Трепета, внезапных слез нет, не надо и луны и бессознательной грусти и безотчетного томления и изнеможения, а бодрый и покойный взгляд. Зато через двадцать, тридцать лет — на его теплый взгляд ответил бы ‹sic!› та же симпатичная улыбка, проводник законно, правильно тратящегося чувства. [Спал ли бы он, бодрствовал ли, он бы спал и бодрствовал под лучами этого кроткого взгляда, с уверенностию встретить, засыпая, этот же взгляд, эту же симпатию...]

С. 178.

17–18 не рассказывает,∽курс. / *зачеркнуто*: и вовсе не бегает. Потом лицо ее и делается опять весело, покойно, но иначе весело и покойно, но говорит она меньше, осторожно. Кузень, который оставил ее девоч-

кой, кончил курс в университете, уж и чин получил — сойдется с ней, подойдет веселый, с такой уверенностью к ней, а отойдет задумчивый, в недоумении и сознается, что он еще мальчишка, а она — женщина!

С. 181.

17–22 И ласка была∾решено / Выражение было такое сосредоточенное, такое определенное: в догадки и намеки играть с ней нельзя. Казалось, многое, что тогда было не досказано, к чему можно было подойти с лукавым вопросом, было уже между ними решено,

34–37 она выросла∾один? / в ней совершилась перемена, что отныне нет возврата к детской доверчивости, к открытому объяснению, что все это должно принять другой вид, другие формы, а какие — он не знал.

39–42 видела, как рождалось∾борьбы. / видела, что на дне лежит честность, прямой образ мыслей и что думы и чувства выходили как рождались на дне этой души и что с ним женская хитрость, лукавство, кокетство — всё это были лишние оружия, потому что не предстояло борьбы [и она не могла отказать себе в удовольствии немного поиграть им по-кошачьи. Да у ней и не было их в запасе, потому что до сих пор никогда не было никаких умыслов, никакой борьбы и почти никакой симпатии.]

С. 188.

23 *Против слов*: — Ух! Охота же вам прятаться на горе! — *в углу листа на полях запись:* и чувство должно подвигаться вперед: оно как куколка, личинка, бабочка [135]

38–39 *Против слов*: кипение у сердца — *на полях запись*: [решение и Захар.] [136] Гаданье и проч.[137] || письмо.[138]

43–46 кидала на него∾человеком! / поднимала на него глаза, кидала глубокий взгляд, но без улыбки, как будто говорила этим взглядом: я знаю, что в тебе теперь делается: и во мне все тихо только снаружи, а там внутри, что!

С. 189.

9–29 и обязанностей∾что будет делать. / и обязанности по программе Штольца и строго требовала движения, жизни, вызывала весь ум его наружу, заставляла играть силы его воли и души и примешивала столько любви и глубокой нежности к этой игре, если она билась по ее призыву. Потом, когда замечала она в душе Обломова — а она глубоко умела смотреть в нее — малейшую усталость, чуть заметную дремоту жизни, на него лились упреки, к которым примешивалась горечь раскаяния, зачем она полюбила его. Он не выносил этого и жил бодро, читал, писал, ездил в свет, толкался в толпе и ни на минуту не освобождался из-под ее ревнивого надзора. Иногда только соберется он зевнуть, откроет рот и его поражает ее изумленный взгляд — и он мгновенно сомкнет рот, так что зубы стукнут. Она

преследовала малейшую тень сонливости на его лице, открывая под этой сонливостью усталость души. Она спрашивала не только, что он делает, но и то, что будет делать.

С. 190.

4–15 приступила к нему∾картин. / заставила его объяснить себе теорию электричества, в другой раз в Эрмитаже попросила, чтоб он [по порядку, хронологически] категорически последовательно рассказал ей о всех школах живописи.

С. 192.

11 *Против слов*: — А есть радости живые, есть страсти? — *на полях запись*: [тетке] мать могла бы || спросить меня [139]

С. 193.

4–6 во всем:∾начинается / в том, что я дороже вам всего на свете. Ваш взгляд, голос — все ручается мне. Чувство любви розлито у вас в каждой черте, мне даже слов не надо, я вижу его, а только вас нет, начнется

10 *Над словами*: — Еще бы вы не верили! — *на верхнем поле листа записи*: Она не все так покойна была: || нервы пели. Она напрасно хвалилась || опытностью, она || не предвидела (?) [а] что и она || полюбит. || Она идет и задумывается || Отчего она любит Обломова [140] ||

С. 194.

42 *Против слов*: «Жизнь есть жизнь, долг, — *на полях зачеркнутая запись*: на душе лежало || сказать Ольге [141]

С. 198.

10 *После*: в далекий путь. — Вы идете далеко, в путь жизни, я остаюсь и чувствую глубокую печаль, наказание за неосторожное, позднее увлечение. Я делаю свое дело прямо, честно и благоразумно. Кто знает, как вы милы, добры, молоды, свежи телом и душой, тот оправдает меня, что я не сделал этого раньше. Но теперь не поздно, даже для меня, а для вас и подавно. Я забуду о вас через полгода, вы обо мне — через месяц (хотите пари?) Даже будете смеяться, говорить: *да*, я его не любила, он был прав, и скажете мне спасибо, когда полюбите опять, уж не ошибкой, что я опомнился вовремя.

37 *Против слов*: — Слушаю, — сказал Захар. — *на полях зачеркнутая запись*: я рада, что вы написал‹и› [142]

С. 200.

1–2 *Против слов*: «Нет, не пойду...∾направляясь в деревню. — *на полях запись*: Клеопатра [143] || ее упорство || [— Ну, если вам и придется

а *Знак вопроса принадлежит Гончарову.*

выстрадать, || так неужели это счастье, от кото||рого вы с ума сходите, не || вознагра||ждает вас? ||

Отчего вы всё видите ужасы, || а не смотрите как я, покойно] [144]

С. 204.

18–19 и смелее. ∾ спросила она. — прибавила потом, — вы много читали, слышали, испытали, — а потом, чем бы жить этим, вы легли на спину, оттого боитесь *ошибок*. Я жила мало, не ошибалась и оттого не боюсь их.

35–36 *После*: И письмо отошло! — вдруг сказал он. — *зачеркнуто*:

И вдруг лицо его озарилось какою-то мыслию.

— И те мгновения поблекли, и радости, которые они принесли, — поблекли: они кажутся такими бледными в сравнении с тою доверчивостью, с открытым взглядом, с ясною улыбкою, с этим нескончаемым разговором. И письмо это, письмо... ведь оно не нужно было, ведь он бы слег, заболел, если б Ольга разделила его мысль, согласилась расстаться... Боже сохрани! Он и не хотел этого. Зачем же писал? Ужели это письмо — ошибка? А оно, казалось, так нужно: да и в самом деле нужно. Если б он не написал его, он бы измучился. Теперь ему легче, он что-то прояснил, успокоил. а она, а ей?

Он заглянул ей в лицо: свежесть, два розовых пятна играют на щеках, в глазах сияет заря торжества самолюбия, победы, нежности, счастья...

— И в чувстве, в любви... и тут нет покоя... — сказал он вслух. — А я думал, что оно как полуденный недвижущийся воздух повиснет над любящимися и что ничто не дохнет вокруг в страстном покое... А это момент... И любовь движется вперед, также есть облака, грозы... так же, как меняются краски, вчера не похоже на сегодня, а сегодня — на завтра... всякий день видоизменения... ужели это истина, ужели и тут и тут вперед, как в жизни... и не родилось еще Иисуса Навина, который бы сказал ей: «стой и не движись». А завтра опять новое: хоть бы на минуту застыло...

С. 204—205.

35–1 И письмо отошло! ∾ отдаленных гроз, / *зачеркнуто*: Потом со стороны он заглянул ей в лицо.

Она улыбалась по-вчерашнему, и взгляд был вчерашний. На щеках два розовых пятна, даже уши покраснели. Торжество самолюбия, любви, сознание силы — все играло на ее лице. Он не видал еще, кажется, никогда такой хорошенькой: так сказал он себе, что говорят все влюбленные каждый день при новом свидании.

— Ольга! — сказал он шепотом, наклоняясь к ее щеке так близко, что она начала судорожно мигать глазами, — поцалуйте меня...

Она с быстротой молнии обернулась к нему и подалась на шаг назад.

— Никогда! Никогда! — с испугом, почти с ужасом выт‹ян›ув обе руки и зонтик между ним и собой. И остановилась, как вкопанная, едва дыша, в грозной позе, с грозным взглядом.

— Никогда! — повторил он, меняясь в лице. — Простите, Ольга... — бормотал потом.

Она, не спуская с него испуганных глаз, медленно опустила зонтик и руки, медленно обернулась и бледная, с волнующейся грудью, задумчивая, пошла вперед.

— Вот тебе раз: что я наделал. Какая *ошибка!* — говорил он, идучи за ней как собака, на которую топнули ногой.

«Никогда!» гремело в ушах Обломова. Да, это *никогда* так грозно, так истинно, — это не ошибка.

Только ему суждено ошибаться; все ошибки у него! Мысль его — ошибка, каждое слово — ошибка. Зачем это письмо? К чему он писал его? — раздумывался он все больше и больше. И оно ошибка! Ну, если б она разделила его мысль, если б испугалась, так же, как и он будущих бед,

С. 205.

9 *После*: я писал письмо?» — *зачеркнуто*: Если б он не написал его? Тогда... тогда было бы как вчера... весело, хорошо и завтра то же, и после опять то же... неделю то же, две... Он зевнул и не кончил зевоты, какая-то мысль озарила лицо...

Ольга торопливо шла, дотрогиваясь до сердца и спеша вперед. Она боязливо покосилась через плечо, что́ он, и невольно улыбнулась, заметив его физиономию. «Бедный!» — сказала она себе. Но потом вдруг нахмурилась. «Дерзкий!» — говорила потом: еще немного, так того гляди... [Ужасно сердце бьется: я думаю, он слышит. Ах, воды бы выпила! Нет, я вперед не буду ходить с ним, где никого нет.]

— Ольга Сергеевна! — сказал он громко.

Она прибавила шагу.

— Одну минуту... постойте... — робко говорил он.

Она остановилась.

— Знаете что? — начал он.

— Знаю, — коротко отвечала она и пошла опять. — Опять какая-нибудь ошибка.

— Нет, истина.

— Говорите, — сказала она, не оборачиваясь.

— Устал, не могу: вы скоро идете.

Она остановилась и посмотрела на него с некоторой боязнию.

— Ну, что...

— Я думал о письме... о вчерашнем дне... ведь и он поблек, отошел... нужно было другое — в замену ему... другие радости.

С. 206.

35–36 перед ним∾в глазах. / Две секунды она была — как статуя, [какая не грезилась ни Канове,* ни самому Фидию*] гордости и гнева.

45 *После*: ровным шагом. Она — *зачеркнуто*: знала, что если она сказала «никогда», то он все равно что под опасением смертной казни не сделает никогда, чего она не хочет.

С. 207

13 *После*: не отходила. — *зачеркнуто*: У него так стукнуло сердце, что он на секунду окаменел, потом наклонился к ее чистому, белому лбу и хотел коснуться губами.

39 *После*: нет покоя, — *зачеркнуто*: и она движется вперед, все куда-то вперед, вперед, и в ней меняются краски, являются облака, грозы, сегодня не похоже на вчера, завтра на сегодня. — Сначала взгляд, улыбка, ветка сирени, потом троекратное люблю, там гроза, там луч, [Вот летят бабочки, а ведь они были личинкой, вчера куколкой, сегодня улетели. — И чувство улетит? — думал он с тоской, и он ‹sic!› не остановится,] биение сердца...

С. 208.

10–12 — Андрей не знает,∾так занят? / Какой еще жизни нужно, какого движения! — твердил он, насилу успокоивая волнение сердца: [а Андрею и этого мало: да и Ольга все спрашивает, что я делаю, все понукает: читай, пиши!]

С. 209.

17 *Против слов*: У ней есть какое-то упорство, — *на полях в верхнем углу зачеркнутая запись*: Но не всегда || и она владела собой || у ней падали нервы || она склоняла ему || голову на плечо (после || сцены) [145]

С. 210.

22 *Против слов*: Однако ж как ни ясен был ум Ольги, — *на полях зачеркнутая запись*: хорошо — странно || теснит [146]

С. 212.

27 *После*: за пять верст». — *зачеркнуто*: Он не поверил, пошел сам: Ольга свежа, как цветок. «Я перепугала вас вчера, — сказала она, краснея, — мне и самой стыдно. Это недавно со мной делается: пройдет. Ma tante говорит, что надо раньше ложиться спать. [Ну] вы едете на фейерверк с нами? — спросила она. — Да нужно ли? — сказал он: ведь там народу куча...» — лениво заметил он. — В этой куче буду я, — заметила она резко. — И я, — поспешно прибавил Обломов...

42 *После*: родство... — Он стал ей дороже. Она смутно почуяла, разглядела в нем в темноте, какое-то сокровище, как будто заглянула

нечаянно еще в закрытый доселе для нее уголок его души, чистый, светлый...[a]

С. 213.

4 А другой на его месте... / В нем горит луч истинной любви, в нем горит чистое сердце, полное невидимой никому доблести, уважения к ней, к ее доверенности, значит, в нем теплится вера в добро, чистота души, верность чувств, значит, ему можно всегда верить, в нем сияет истинный блеск человеческого достоинства. А другой... Другие смотрят так дерзко...

5 Обломов хотя и прожил молодость / Обломов в самом деле уберег этот светлый рай души, ее чистоту, хотя и прожил молодость

10–35 Он втайне поклонялся∾Ольга угадала. / Цинизм жизни, ума, сердца, грубый внешний цинизм волнами вращался около него — и он попадал иногда в этот цинизм, но не сердцем, не умом, и всегда с отвращением стряхивал с себя грязь и сор. Печать целомудрия души лежала не только на его речах, но светилась во взгляде, проглядывала в улыбке.

С. 214.

2 *Против слов*: что читалось в получаемых там газетах, — *на полях запись*: ревность[148] ‹*зачеркнуто и восстановлено*›, письмо || от Штольца[149]

5–17 главным основанием∾счастья? / главным элементом была безоблачность горизонта. Видоизменения эти не заражали чистой атмосферы, менялись только краски и лучи; розовый свет превращался в палевый, фиолетовый, голубой, и всегда фантастический. Обломов почти засыпал в той сладостной дремоте, о которой некогда мечтал вслух при Штольце, по временам он начинал веровать в постоянную безоблачность, и опять ему снилась Обломовка, населенная добрыми, дружескими и беззаботными лицами, сиденьем на террасе, раздумьем от полноты удовлетворенного счастья...

С. 216.

10–11 встревоженный ум∾протянуть / прояснялся, когда сознавал, что все это в его руках, что ему стоит сказать одно слово... А какое это слово? И даже слово не нужно говорить: просто протянуть

С. 218.

47 *После*: полюбишь другую? — *зачеркнуто*: Он молчал.

— Ты полюбишь, да, я это вижу! полюбишь? — живо спрашивала она, глядя на него так вопросительно.

— Боже мой! уж ты и встревожилась, пожалуй, плакать станешь! — сказал он, целуя у ней руки. —

---

[a] *Под всем этим текстом, записанным на полях, помета*: Обломов задум‹ывается?› и идет сказать ей, а || она проявляется опять девочкой, га||данья, болтовня и проч.[147]

С. 219.

3 *После*: сказать? — *зачеркнуто*: говори, сейчас говори, или я проплачу всю ночь, сделаюсь больна, не приду ни завтра, ни послезавтра...

— Не придет! — вдруг шевельнулось в нем: как же я проживу? Выскажу лучше прямо, хватит духу... — Нет, Ольга, — серьезно сказал он. —

37–41 и тогда под ногами∾во все глаза. / и тогда...[— Я не перестаю помнить себя, я владею собой, — сказала она, глядя и слушая его с удивлением, — и у тебя молний в глазах я не видала.

— Ты, да, но я... я могу увлечься, я боюсь...] бездна, ужас! Он вздрогнул.

[— Молнии, бездна. Что еще выдумал! Какие молнии? Я никаких молний в глазах у тебя не видала, — сказала она. — Я не забываюсь никогда.

— Но я могу забыться?]

Она слушала его с удивлением.

— Ну, что ж [тогда]? — спросила она, глядя на него во все глаза.

[Он молчал. А она покачала головой, как будто говоря, какие глупости он выдумал. Ну?]

— Я увлекусь...

— Что ж из этого?

С. 220.

1–4 — Ты все глупости∾засмеялась. / *зачеркнуто*:

— Нет, милый мой, не бойся: ты напускаешь на себя, наговариваешь какой-то ужас. Я не хочу бездны, — сказала она, вольно потряхивая головой, — и ты не захочешь. Я усну у тебя на плече как у няни на коленях, и ты не дохнешь. Ты на руках донесешь меня не до бездны, а... до рая.

Она глядела на него ласково. Он припал к ее руке. — Благодарю тебя, Ольга — ты поняла меня, ты меня знаешь...

Он был тронут.

6 — Что еще?∾бездна? / *зачеркнуто*:

— Да всё...

— Нет, у тебя еще что-то есть.

— Право, нет.

— Есть, есть, — твердила она, — когда у тебя нет ничего, у тебя не такой взгляд. А там бродит что-то еще... Говори, какая там бездна...

12 *После*: — да почему? — *зачеркнуто*: Разве ты не сделаешь все, что я захочу? — спросила она. — Все, все, — с жаром сказал он. — А я не захочу ничего дурного, — прибавила она. — Да это ничего, что ты не захочешь,

13 *После*: — Что скажут, когда узнают, когда разнесется... — [— А! — произнесла она, и лицо ее как [будто] вдруг не то что побледнело, а как будто озябло. Явились решительность и строгость.]

— Что-то она теперь? [— с испугом думал Обломов.]

14-21 *Против текста*: Кто ж скажет? ∾ Если б я ушла совсем, — *на полях зачеркнутая запись*: Мой долг. || — Есть способ || — Знаю. || — Он один у меня в виду. || — Знаю. || — как || Иначе бы я || не была здесь.[150] || У него явилось самолю||бивое сомнение ||

Ни стыдливого || согласия, ни || взгляда...[151]

С. 220—222.

37-37 И ты мне ни слова, Ольга! — ∾ не глядя на него.

/ — *зачеркнуто*:

Он замолчал. Она глядела на него строго и почти с унынием.

— Теперь все! — робко сказал он.

[— Нет, не все: что-то есть, — сказала она, — но я вас не спрашиваю. — Мне больше ничего не нужно.]

— Все? — повторила она, глядя ему холодно, но глубоко проницательно в глаза.

— Да, все... — бормотал он.

[— Нет, не все! есть что-то еще, но я вас не спрашиваю, мне больше ничего не нужно знать. Вы боитесь увлечься, боитесь злых языков, а не боитесь оскорбить меня этими уроками, не боитесь находить дурное в моих поступках, когда они так просты и чисты, как видит их бог.] Она надела мантилью, достала с ветки косынку, накинула на голову и взяла зонтик.

— Куда ты? так рано! — с изумлением спросил он.

— Домой, — сказала она, — вон тут ходят чужие: нас могут увидеть...

— Ах, никто не увидит.

— А совесть?

— Молчит: ты ее успокоила, — говорил он, мешая ей руками идти.

— Пусти[те], — говорила она, устраняя его руки: моя просыпается...[a]

— Нет, нет, нет, Ольга, не пущу: опять горизонт ясен, [опять я счастлив, буря улеглась в сердце,] [ты успокоила бурю,] я тебя не пущу, нет, нет...

— Никаких бурь нет, — сказала она. — Вы их выдумываете сами. Я молода, неопытна, вы просто играете со мной в любовь, Илья Ильич. Вам хотелось испытать, можете ли вы внушить ее, как тогда

---

[a] *После*: — Пусти[те], — говорила она, ∾ моя просыпается... — *зачеркнуто*: *а*. Вы мне даете другой урок, третьего я не стану дожидаться. *б*. Вы мне открыли глаза на мое поведение, благодарю: теперь уже я знаю, что мне делать, и ждать от вас указаний не стану. Да, в самом деле, мы зашли далеко, а выхода нет. Я как будто ослепла, пора образумиться. Прощайте. Она пошла *в*. — Нет, поздно, ты правду сказал, — с задумчивым унынием говорила она: — мы зашли далеко и оба не знаем, что делать. Остается одно — не видаться. Прощай! — сухо, с горечью, прибавила она и, склонив голову, пошла по дорожке. — Я устала от этой роли, она мне не по силам: я слишком молода, — прибавила она уходя.

хотели видеть мои слезы... испытали, видели и уснули на лаврах. Вам скучно и вы выдумываете бури, тревоги, выдумали какую-то бездну... призываете на суд моих поступков других. Самолюбие польщено, вы начинаете скучать. Любовь не пища вашей жизни, а забава... Но помните, Mr Обломов, что с тех пор, как я поняла свое сердце и ваше, я знаю не только вас и себя, но, может быть, немного знаю... и всех женщин и всех мужчин... Я тоже пользуюсь этим уроком — и плакать больше не стану. Прощайте.

— Как ты, Ольга, можешь думать... Ольга, Ольга... Ты слышала это от Сонички, читала в романах, что есть такие мужчины... А я... я... Она уходила и на этот раз не плачущая, не с надеждой на возврат, а равнодушная, гордая, уязвленная, как будто уносила с собой все его счастье, всю жизнь, весь мир.

— Ольга Сергеевна! — в отчаянии крикнул он.

Она двигалась проворно, песок сухо трещал под ее ботинками.

— Ольга, Ольга, я не все сказал...

Не слышит, идет.

— Ради бога! — отчаянным, подавляемым голосом кричал он, протягивая к ней руки. — Если в тебе была капля любви, если тебе жаль меня... Не бросай... воротись, воротись, — кричал он не голосом, а слезами.[а] — Он сел на траву, сжал кулаки и приложил к лицу — через минуту уже не слышно стало шагов. — Ушла! — в отчаянии подумал он и поднял глаза. — Ольга перед ним. Он задрожал. — Ах, ты здесь, не ушла! — говорил он в радостном трепете [он] схватил ее за руку.

[— Ты сумасшедший, ты ребенок! — сказала она, — и я точно ребенок с тобой. Ну, сядь здесь и успокойся.] [б]

— Ты не уйдешь, не расстанешься? — спрашивал он, держа ее за руку. — Не уходи: [ведь ты, Ольга, одно звено, которое связывает меня с жизнью.] Помни, что если ты уйдешь, — я мертвый человек...

[— А если *другие* скажут, что надо расстаться, — сказала она, опирая на слове другие.] [в]

— Никто не узнает.

[— А совесть, а бездна, — дразнила она, ласково глядя на него.]

— Нет, нет, — все замолчит, я не все сказал, ты увидишь... Как хорошо мне, что ты воротилась. Ольга, как я люблю тебя! — говорил

а *К словам*: а слезами — *позднее добавлено*: убийцу [2], преступника [1] — и того не казнят, не выслушавши.

б — Ты сумасшедший, ∾ успокойся. — / *зачеркнуто*: — Ну что? — кротко спросила она. [— Не ты ли сам решил не видеться? я делаю, как ты хочешь. — а теперь сходишь с ума... — Да, я сумасшедший]

в *После*: на слове другие. — *на полях и над строкой зачеркнуто*: Ты прав: мы в опасном положении — не от молний и не от бездны, а так, как-то странно наше положение — и я не знаю, как выйти из него... — Я знаю! — сказал он, держа ее за руки и становясь на колени перед ней, — я хотел я только что собирался выговорить заветное слово, а ты вспыхнула, ушла.

он, целуя ей руки. — Зачем ты в этом невольном стремлении бежать от тебя — видишь какое-то пресыщение самолюбия, а не ужас примешать к чистоте моего чувства что-нибудь грубое. Ты права, что я не примешаю, не могу, это не в моей натуре, но ты не поняла боязни, [чтоб другие не смели подумать нечисто о тебе.] Ты не поняла, что я [не ищу бурных страстей любовника, а хочу] ищу тихого, вечного счастья — ты, с своим умом, инстинктом не поняла.

— Не поняла! — сказала она. — А отчего ж я воротилась! Ужели ты думаешь, что одни твои слезы да крик воротили меня? Нет, оттого, что в этом крике и слезах я слышала истину: так не плачут, не любя! Ты любишь меня, — сказала она, [взяв его обеими руками за голову и целуя его, — как только может желать женщина, чтоб любили ее.] Прости же, что я дала волю гордости, не выслушала тебя и вспылила...

[— Да, ты не выслушала до конца, а ведь я не все досказал.

— Я знаю, — сказала она].[a]

— Что ж ты знаешь, скажи? — спросил он.

— Ни за что.

— Почему?

— Потому же, почему, ты, помнишь, не хотел сказать, отчего тебе так нравится ветка сирени...

— Я хотел сказать, что в этом счастье, которым мы наслаждаемся, есть какая-то пустота, на дне его лежит грусть... Приходит вечер, я ухожу, ты одна. Завтра ты поедешь туда, сюда — одна, я чувствую, что ты думаешь обо мне, я один дома — думаю о тебе. Я не могу даже взглядом признаться ни перед кем, что ты принадлежишь мне, ты не смеешь сознаться никому, что есть человек, который дышит только тобой. Это отравляет жизнь.

— Есть только один путь к прямому счастью... [У ней на лице написано было все, что он говорил, так что она могла бы подсказывать ему, но она молчала.]

Он остановился и смотрел на нее.

— Ты как думаешь? — спросил он.

— Как ты, — отвечала она.

Он сидел на траве, она на скамейке. Он стал на колени перед ней.

— Это моя мечта, идеал счастья, единственная цель.

[— Я знаю, — сказала она, глядя вниз и чертя зонтиком по песку.

— Дай мне руку, Ольга. — Она молчала. Он взял ее руку.

— Отчего же ты молчала, отчего ты никогда не сказала об этом, а я боялся...

— Чего? — спросила она.

— Что... ты не захочешь быть моей женой...

---

[a] — Да, ты не выслушала ∾ знаю. / — А знаешь ли, что я хотел сказать? — Знаю.

— Ты боялся? — с изумлением сказала она, — ты думал, что я была здесь, с тобой, по вечерам, не зная твоих намерений... Я знала о них с той минуты, когда у тебя вырвалось признание...

— Отчего же ты не говорила о них?

— Разве мы выходим замуж! — сказала она, — нас берут или выдают.]

— Руку, Ольга! — сказал он. Она не давала. Он взял сам и приложил к губам. Она не отнимала и, отвернувшись, глядела в противоположную сторону. Он старался заглянуть ей в лицо, она отворачивалась все больше.

С. 222.

11 *После*: играете... — *зачеркнуто*: но... слез моих вы больше не увидите. На все ваши нынешние загадки и намеки, скажу вам просто и прямо — я люблю вас, но что делать мне [a]

С. 223—224.

20-5 У него шевельнулась∾ — Представь, — говорил он, — / *зачеркнуто*: Вдруг в нем шевельнулась какая-то странная мысль.

— Но есть и другой путь? — спросил он.

— А тебе бы хотелось другого? — спросила она его с такой складкой над бровью, что он струсил.

— Нет, — твердо сказала она. <sic!>

— Что же заставило тебя сделать этот вопрос, скажи откровенно.

— Дай подумать, — сказал он.

Она с любопытством, но ясно глядела на него.

— Самолюбие, — сказал он. Она поцаловала его в лоб.

— Ну, так я скажу тебе в ответ, что если б не было прямого и покойного пути к счастью, я решилась бы...

Она остановилась и покраснела.

— Ну? — с нетерпением спросил он.

— На всякий! — сказала она.

[— Как? Ты решилась бы снести лукавые взгляды, язвительный шепот, холодную мину добродетельных женщин, — говорил Обломов и пожар самолюбия охватил его ум, воображение, сердце. Ему показалось, что у него горят волосы.]

— Как, почему?

— Так, потому что я люблю тебя и чувствую, что эта любовь — долг... я бы исполнила его...

— Ты подумай, Ольга,

С. 224.

16 *После*: пересел бы от тебя... — *зачеркнуто*: — Перестань, — сказала она, а у самой грудь сильно приподнялась и опустилась.

---

[a] *Не завершено*

— Показалась ли бы тогда эта любовь долгом тебе, снесла ли бы ты все это... [Ведь не казнь страшна, Ольга: умереть один раз — что такое, а пытка целых годов, а приготовления к ней.] И так умереть, с каким-то отчуждением, за что?

— Смерть не страшна, — сказала она, — умереть один раз — ничего, но эта пытка, эти приготовления к ней.. Это страшно. [Если б у меня и достало сил взглянуть в лицо стыду, то после от ежедневной и ежечасной пытки] я бы зачахла... А ты, — вдруг спросила она, — ты бы был счастлив?

— Никогда, клянусь богом! — горячо сказал он.

— Не клянись, я верю! — сказала она и опять ясность воротилась к ней: опять она улыбалась. — Ты бы зачах прежде меня... За то, может быть, я так нежно и люблю тебя. — Но все это ничего, все это не так страшно, — сказала она. — Я бы не потому не пошла по этому пути...

— Почему же? — спросил он.

— А потому, что слышишь мельком, читаешь, по нем идут... идут и... расстаются. А я хочу и умереть... и

— И не расставаться, — договорил Обломов. — Пойдем же, Ольга, прямым путем... [У меня один этот путь <?> был и есть в виду...

— Я знаю, — сказала она, — иначе бы я не была здесь...

Он хотел обнять ее.

— Бездна открывается, — сказала она, смеясь, и удержала его порыв зонтиком.]

— Дай мне руку...

Она не подавала руки: руки ее покоились на зонтике.

— Ольга, отдай мне руку... — повторил он, дотрогиваясь до руки. Она молчала. Он взял руку, она не противилась.

— Ты не отвечаешь, Ольга, — а ведь я... беру тебя замуж, — сказал он.

— Нас берут или отдают, сами мы не выходим, — сказала она, глядя на него ясно, с невозмутимым спокойствием и миром.

— Ни молча протянутой руки, ни стыдливого согласия... — думал он почти печально. Он не понимал возвышенной уверенности Ольги в нем, ее чистой любви. Он хотел немного эффекта... «Но теперь начнется долгий разговор, уговор слить обе жизни в одну... — думал он, — суетливая радость, трепет... Но Ольга только улыбается и тихо зорким взглядом следит за ним и, кажется, читает его мысли.

— Не надо говорить об этом тетке, — сказал, — и, ради бога, никому. Теперь я брошусь обделать свои дела, поеду в Обломовку, там распоряжусь постройкой и в октябре вернусь сюда... как ты думаешь Ольга...

— Я делаю свой долг, — сказала она, — и не спрашиваю тебя, как... Я не знаю, что тебе надо делать...

22–23 *После*: взглянуть стыду в глаза. — *зачеркнуто*: ты бы года не прожила, ты зачахла бы... Есть женщины сильные...

— Храбрые, — прибавила Ольга, — даже и такие, которые надевают мужское платье и ходят на войну. — Нет, я бы не хотела счастья на этом пути...

34–40 а я... ∽ к ее ногам. / а я...

Она остановилась и долго покоила взгляд на его лице.

— Не хочу с тобой расстаться никогда, никогда! — с жаром досказала она, бросила зонтик в сторону и вдруг быстро и жарко обвила его шею руками, поцаловала, потом прижала к груди и твердила тихо: — никогда! никогда! [Потом вдруг вспыхнула и закрыла лицо руками и подумала: чтó я сделала, и тут же подумала, что не сделать этого она была не в силах.]

[Он одурел от счастья.

— Какой еще жизни надо Андрею. Какого подвиганья вперед! — говорил он, уходя домой. Вот ведь ни молча протянутой руки, ни стыдливого согласия не было, а как хорошо, боже мой!]

Перед ним вдруг раздвинулся горизонт жизни, он почувствовал себя гордым, могучим; усыпленная душа проснулась[2] от[3] знойного дыхания[1] женской страсти. Ему выпало решительное мгновение на долю, которое возводит человека на крайнюю высоту жизни или для которого люди с блаженством кидаются в бездну. Он вдруг вырос в собственных глазах, вдруг почувствовал и сознал в себе массу способностей и сил, которых не подозревал; воскресло все, что он считал погибшим. Мысли потекли свободным, широким потоком, в груди закипели намерения, забились яркие и сильные надежды. Его любит женщина, душу его обожгло будто славой. Он сделает все, у него есть цель! [Он испустил радостный вопль, упал на землю, цаловал нọги Ольги, положил голову на ее колени и плакал навзрыд, как ребенок. Она неподвижно сидела на скамье и гордым, счастливым взглядом смотрела на трепещущего у ног ее зрелого мужчину, следила, как любовь зажигала и пробуждала в нем силы, как он бился и плакал.]

— Боже! что со мной делается! — шептал он про себя, оглядываясь изумленными глазами вокруг. — Пятнадцать лет сна, позора, как в болоте, — и вдруг одной минутой, одной искрой она зажгла жизнь. Я прихожу в себя как будто из обморока, из тяжкой болезни... Возьми же мою жизнь, ты создала ее опять, отдаю тебе ее всю, сделай, что хочешь, что можешь. — Ты одна можешь сделать, никто больше! Дай мне жить, жить! — [Он страстно цаловал ей руки и ноги и плакал навзрыд, как ребенок.

— Я знала, что это так будет, — говорила она: я давно взяла твою жизнь! Ты — мой! Я одолела твой сон, ты спасен! Я — цель твоей жизни. Как я сильна! — сказала она гордо. — Женщина может все, что захочет: она — одна — цель мужчины: без нее нет ему жизни. — И она опять смотрела на него, лежащего у ее ног.]

Он испустил радостный вопль и упал к ее ногам.[a]

[a] *Конец второй части. В рукописи не обозначен.*

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

С. 225.

2 *После пометы*: Гл<ава> *и двух зачеркнутых фраз*: Воротясь домой, он застал у себя Тарантьева и вдруг похолодел [и от изумления] упал с облаков.

Через час Ольга сидела у себя дома и так<же?> у окна. — *на полях — фрагмент, не вошедший в окончательный текст*:

— Где ты была? — спросила тетка, встретив Ольгу на крыльце.

— До рощи доходила, ma tante, — сказала она.

— Без колош! я думаю, мокро после вчерашнего дождя, — заметила тетка, — нехорошо.

— Очень дурно, — сказала Ольга, — сегодня больше не пойду.

— И хорошо сделаешь: дай просохнуть.

[Ольга, кроме отрывистого ответа, больше ничего не сказала тетке и не могла сказать. Она задумалась так тихо, так глубоко, как будто заснула. Она думала, отчего ей так тихо, мирно-покойно — хорошо, а между тем... «я — невеста!» — раздалось в ней. Отчего не дрожит ее сердце, не горит взгляд, не блестят от волнения слезы, как бывает у других? Я невеста! Я невеста! — с трепетом думает девушка, подкараулив этот момент в жизни, и уже забывает все остальное. Отчего же Ольга не трепещет? Она шла тоже одинокой незаметной тропинкой, на перекрестке встретился ей *он*, подал руку и вывел ее... не в блеск ослепительных лучей, а как будто на разлив какой-то реки, к широким полям и дружески улыбающимся холмам, и взгляд ее не зажмурился от блеска, воображение не заиграло. Она с тихой радостью успокоила взгляд на этом разливе жизни, на ее широких полях, на зеленых холмах. Она не трепетала, не бегали мурашки у ней по плечам, не горел взгляд гордостью: только когда она перевела глаза свои с полей и холмов на того, кто подал ей руку, она почувствовала, что по щеке у ней тихо тянется слеза. А она все сидела в раздумье и [ни разу] не вошло в ее тихую глубокую радость ни белое платье с отделкой, ни массивный браслет, ни ряд карет. Не видала она себя завернутую в праздничное платье на два часа напоказ и потом завернутую в будничные тряпки, с тем, чтобы потом уже никогда не нарушался ежедневный монотонный стук маятника жизни. Не снились ей косые взгляды завистливых подруг из толпы, ни серебряные сервизы, ни ливрея, ни роль царицы в гостиной — Счастье ей снилось так просто, без прикрас — и оттого она еще раз без гордости и только с глубоким умилением прошептала: я невеста!]

3–6 Обломов сиял ∾ Тарантьев. / *зачеркнуто*: Обломов шел с таким праздничным лицом домой, так бодро, живо, вошел к себе в комнаты и остолбенел, похолодел. Ему стало вдруг холодно, противно. Он упал с облаков. В его кресле сидел Тарантьев.

С. 229.

13–17 *Против слов*: Но женитьба, свадьба∾подает ему руку — *на полях запись*: другая || сторона || медали: || свадьба, || поздрав‹ления›, || глупые рожи || жених и || на него на||чинают смо||треть дико || ленты || поэтич‹ная?› жен||щина! || издержки [152]

37–38 — Когда же∾спросил он. / — Когда же пора? — нетерпеливо спросил он, — когда между нами все решено.

[— Когда начнется постройка дома и дороги, когда ты воротишься из Обломовки и когда Штольц приедет сюда —

— Что же я теперь стану делать?

— Что нужно: идите прямо к цели.

— Теперь — ступай в палату, потом на квартиру, откажись и найди другую...

— Завтра же, — сказал он.

— А не сейчас? — спросила она.

— Оставить тебя, Ольга...

Она погрозила ему полудружески, полусерьезно пальцем и позволила остаться.]

С. 241.

40 *Против слов*: Вот-с, за квартиру — *на полях запись*: ей-богу || правда [153]

С. 244.

19–20 *Против начала 4-й главы (в рукописи номер главы не обозначен) на полях зачеркнутая запись*: Сватьба || (сцены в театре, в || летнем саду) [154]

С. 250.

5–8 *Против текста*: не спать,∾засияет около нее. — *на полях запись*: подкрался || Захар. || он хочет вы||колотить из его || головы, а между || тем сам убеж||дается в этом [155]

С. 253.

14 *После*: на все стороны. — И невеста, какая она ни будь, как ни люби жениха, все забудет; всякая дрянная лента, тряпка, шляпка, всё ей милее жениха. О любви и помину тогда нет, и не подступайся!

С. 260.

5–7 *Против слов*: — А если Нева∾разлюбишь меня... — *на полях запись*: ответств‹енность› ляжет || на меня: скажут || ты увлек! || долг [156]

С. 268.

17 *После*: по вкусу Обломова. — только никак не могла склонить тетку приказать сделать суп с потрохами.* «Кто станет есть? — возразила тетка, — на даче еще так, когда у нас обедал только один Обломов, а здесь — фи!» Ольга немного покраснела, но не настаивала.

С. 269.

39–42 *Против слов*: А прочие ничего:∾ушла к себе. — *на полях зачеркнутая запись*: минута || решений || и медлить нельзя || теперь я || требую: || это твой || долг [157]

С. 272.

26–31 *Против текста*: — Ты не знаешь, Ольга,∾показаться на глаза. — *на полях зачеркнутая запись*: Сознайся, что ты || лгал... || Она смотрела на него || и добыла || — Лгал || — Мне || — Что ты делал эти дни? || глядит книгу — ||

Она [села] надела шляпку || и села — || Время решений наступило [158] || Теперь или никогда: говорил || Штольц [159]

С. 273.

17 *После*: оттого и боюсь... — *зачеркнуто:*

— Так поедем сейчас к ma tante... — заговорила она.

— До письма, ради бога, до письма, — с жаром просил он, — даю тебе слово, что если через три дня письма не будет, мы объяснимся с теткой, а до тех пор будем осторожны. — Он поцаловал у ней руку.

— Ах, Илья, Илья! — говорила она, как будто отдыхая от усталости, и в первый раз окинула глазами комнату.

— Какая гадость здесь! — сказала она, — комната низенькая, обои старые, на дворе грязь: что ты не съезжаешь? У тебя еще здесь комнаты есть?

— Ольга, — опасливо заговорил он, — уезжай, ради бога, я буду вслед за тобой. Я в ужасном волнении... Захар может воротиться.

С. 274.

38–46 коснуться слух тебя...∾я знаю, но... / коснуться нечистый слух твоей молодой, прекрасной жизни! Ольга! Ольга! Возьми мою жизнь и будь счастлива!

С. 275.

10–42 Я чувствую, что живу,∾Он вдруг отрезвился. / я живу вот в эту минуту огнем твоих глаз, звуком твоего голоса, ты поглотила все, и мою душу...

Ольга смягчилась, взяла его за руку и кротко слушала эти излияния страсти.

— Ну, слушай же, Илья, — я верю твоей любви и верю своей силе над тобой. Но ты еще не дошел до цели, — сказала она, — еще не отряхнул сна. Ты должен подниматься выше и выше, стать выше меня. [Ты должен велеть, повелевать мне, что нужно делать. чувство и мысль во мне должны идти по следу, который ты укажешь.] Я жду этого от тебя, и когда придет этот день, тогда только буду я счастлива и награждена за любовь. Встань же и прямо держи го-

лову, не опускай ее на грудь, — сказала она, — помни, что цель твоя впереди — это я!

— Ты, ты! — говорил он, целуя опять ей руки, и бился у ног ее, и слезы показались на глазах.

— Пришло время действовать, Илья: я требую этого, приказываю! — сказала она. — Я сделала все, что может сделать женщина: теперь твоя очередь наступила. Я уже не скажу ни слова, и если правда, что от моей любви воскрес в тебе человек, мужчина, не мне уже говорить тебе, что делать! — сказала она, протягивая ему обе руки.

— Боже мой! Сколько счастья! И ты думаешь, что возможно обмануть тебя, уснуть после такого пробуждения, не сделаться героем! Вы увидите, ты и Андрей, — говорил он, озираясь вдохновенными глазами, — до какой высоты поднимает человека любовь такой женщины, как ты...

Она положила ему на плечо руку, любуясь его просветлевшими глазами, прислушиваясь к вдохновенной ею горячей речи. Она любовалась в нем своей силой.

— Да, — говорила она, — женщина может сделать все, одна только женщина! Штольц ничего не сделал. Не он, а я выведу тебя на простор и потом, [когда ты овладеешь собой и жизнию, когда заиграет твой ум, сила души, я с радостью, милый мой, успокою на твоем плече свою голову] и всю жизнь буду гордиться... Мы поедем в деревню и долго будем одни, сначала в...

Вдруг она остановилась и улыбнулась.

— Я тебе готовлю сюрприз, — сказала она, — только ты долго не узнаешь о нем. Сегодня ты...?

— К тебе, Ольга, я не могу ни минуты остаться здесь: мне душно, гадко, — говорил, с непритворным отвращением оглядываясь вокруг. — Дай мне дожить сегодня этим огненным чувством, какое теперь бьется у меня в груди. Я ожил, воскрес, мне кажется, я... Ольга, Ольга! — твердил он и плакал у ног. Она с наслаждением торжества смотрела на его голову, склоненную к ее ногам.

— Мне пора! — сказала она очнувшись.

Вдруг он поднял голову.

С. 276—277

46-2 *Против текста*: Потом углубился∾наслаждался этим. — *на полях зачеркнутая запись*: Я не знаю, что зна||чит барщина, || что значит оброк. || Я не знаю, когда му||жик беден или бо||гат. Я не знаю, || сколько я имею право || требовать дохода и || не знаю, что [значит] || староста — || — Я не знаю что де||лают в уездном суде. || — Всё в Департ‹аменте› служили || Я не знаю, что делают || и в Департ‹аменте› || Тот остановился || Книги всё || И в тех [не з‹наю›] не || много знаю || . Я просто — барин! [160]

С. 277.

13 *Против слов*: Ночь он спал мало: все дочитывал — *на полях запись*: говор<ит?> || басом[161]

С. 287.

15-16 *После*: сказал он. — *зачеркнуто*: Она глядела на него пристально, не спуская глаз, не так, как несколько месяцев тому назад, с добротой и любопытством, а сухо и беспощадно.

— Что ты, Ольга, — спросил он робко.

— Ты здесь[2] еще[1]? — сказала она.

— А что?

— Уезжай скорее, пока не пришла Марья Семеновна, — она заметит, что я расстроена: неловко. Я скажу ей, что извинилась перед тобой, сошлюсь на головную боль или что-нибудь такое...

— Когда же мне приехать? — спросил он, взяв шляпу.

Она взглянула на него с удивлением.

Он взглядом повторил вопрос.

— Как приехать? зачем? — сказала она. — Ужели ли ты еще не понимаешь, что нам делать теперь?

Он изменился в лице.

— Не приезжать, не видаться! — почти шепотом говорил он, — не может быть, чтоб ты решила так...

— А мне не верится, что ты решил иначе, — сказала она.

— Зачем! — повторил он, меняясь в лице. Они глядели друг на друга [он на нее с ужасом, она на него печально и непреклонно] молча. — Я передумал[1], — начал он робко, — я хочу распорядиться совсем иначе.

35-41 За все, что∾раскаиваться... / *зачеркнуто*: — А за мою любовь: она ведь вся — оскорбление; и за свою тоже: твоя ошибка; помнишь, я писал, что тебе будет стыдно и ты станешь раскаиваться...

С. 288—289.

40-13 — Если б ты и женился,∾беззащитная против горя. / *зачеркнуто*: — А если ты вдруг женишься и прочтешь две-три книги, пожалуй, выстроишь новый дом в деревне и потом уснешь и каждый день станешь засыпать все глубже, а у меня только что развернется ум. У меня много бодрости и силы, я чувствую, что я не состареюсь никогда, я захочу все видеть, везде быть, все знать... Я буду приставать к тебе, терзать тебя, опротивлю тебе, а ты мне. Что же потом? плакать всю жизнь, чахнуть и умереть... За что, Илья? Я молода, я хочу жить... Говори же, как честный человек, что ты чувствуешь в себе силу взять эту обязанность на себя. Я сейчас молилась перед образом, которым благословила меня мать, и решилась не видать тебя больше: но если ты твердо скажешь мне да, я все исполню и обещаю [дать тебе жизнь бодрую, не сонную] я беру назад свою молитву и вот — моя рука; я пойду с тобою везде, на край света,

в Обломовку, на Выборгскую сторону, куда хочешь, и буду верить, что ты исполнишь свой долг. А за последствия ответишь ты... Говори же, Илья, да или нет?

Он молчал.

— Что же ты? — спросила она.

— Мне душно, тяжело, — сказал он, не глядя на нее.

— Ответ твой? — повторила она настоятельно.

— Не мучь меня и прости! — прошептал он.

— Уезжай же скорей, чтоб нас не застали теперь, — сказала она.

— Прощай! — На этом простом слове голос у ней вдруг взял другую ноту. Силы изменяли ей.

Они стояли молча, с потупленными глазами, оба бледные.

— Прощай, Ольга, — сказал он, — и [прости меня]: я много сделал тебе зла, но себе вдвое, и то и другое, ей-богу, невольно. Да, ты права: я труп. Она хотела еще сказать «прощай», но[a] ‹не› слушались, лицо исказилось судорогой, она положила голову ему на плечо и оглушительно зарыдала. У ней как будто вдруг вырвали оружие из рук. Вся логика исчезла, умница пропала, явилась простая, беззащитная против горя женщина.

С. 289.

2 *После*: счастлив... — *зачеркнуто*:

— Ты была бы хозяйкой, потом матерью, — тихо возразил он.

— Варить варенье, шить мужу рубашки, часа по два разговаривать с поваром, — не могу, Илья! Может быть, я виновата, но это не по мне. Да если я и стану делать это, так незаметно, как необходимую работу в доме. А потом что? Любить детей, конечно, буду, но нянчить их не стану... А за этим за всем что же мы станем делать. Какую ты выдумаешь жизнь для меня? Я до сих пор не знаю, что я такое, я не люблю выездов, приемов, нарядов: от этого от всего на меня находит уныние. Что же мне нужно, что любить, что делать, к чему готовиться? Это все надо угадать и вести меня, воспитывать — я невежда, слепа, младенец — это твое дело, Илья, а ты в затруднении всегда спрашивал меня, что тебе делать, как быть...

С. 289—290.

27–25 Бог наказывает∾Нет имени этому злу... / Бог наказывает меня за гордость! Мне больно, больно...

[— А если боль не пройдет, Ольга, — говорил он, — если здоровье твое пошатнется. Такие слезы ядовиты... Не плачь...

— Нет, дай мне плакать: это последние слезы. Мне будет легче. Я выплачу свои надежды... они поблекли, отошли... выплачу воспоминания, нынешнее лето, парк... нашу аллею... сирень. Это сжилось с сердцем, больно отрывать, о, больно, тяжело здесь, здесь... — говорила она, прижимая руку к сердцу и трясясь в рыданиях... —

[a] *Дефект рукописи: порван лист, отсутствует слово*: губы ‹?›

Прости, прости меня, что я не жертвую жизнью тебе... я знаю, что не спасла бы... жертва бесполезна, ты заснул бы, а я [зачахнула бы.] Я не могу уснуть... я хочу жить... любить живого человека... Смотри, как я молода... жизнь прекрасна... Прости меня, мой друг, я не помню, что я говорю... Уйди, уйди, не гляди назад, не говори ни слова... я не выдержу...]

— Если ты умрешь? — вдруг с ужасом сказал он. — Подумай, Ольга...

— Нет, — перебила она, подняв голову и стараясь взглянуть на него сквозь слезы: — [знаешь ли, что я узнала, прости меня... что я не жертвую тебе жизнью... своим будущим, все напрасно, ты заснул бы, а я зачахну... я не могу уснуть, я хочу жить, а ты умер.] я узнала недавно только, что я любила в тебе не так, как ты есть, а что я хотела, чтоб было в тебе, что указал мне Штольц, да твою кротость, честность... Я найду и полюблю это везде, в другом, в живом человеке...

Казнь была сильна.

У Обломова подкосились ноги, он сел на кресло и отер платком руки и лоб.

— Прости меня, ради бога! — опомнившись и кинувшись к нему сказала Ольга: я сама не помню, что я говорю! Я безумная, не слушай меня... Уйди, уйди, не оглядывайся, я не выдержу, я все еще люблю тебя.

Она закрыла лицо платком и старалась заглушить рыдания...

[Обломов взял шляпу, но не имел сил сойти с места. Ноги у него будто вросли в землю.]

— Отчего погиб наш рай? — вдруг подняв голову, сказала она, — какое проклятие лежит на твоей душе, Илья, что ты сделал? за что это зло носится в твоей жизни? [И кто снимет его?] Ты добр, умен, благороден... и... и... гибнешь... Что сгубило тебя? Нет имени этому злу...

С. 291.

39-42 «Снег, снег, снег! ∾ безотрадным сном. / [— Так и на сердце мое, на всю жизнь упал снег, — подумал он.] — Снег, снег, снег! — твердил он без смыслу, лег в постель и заснул свинцовым, безотрадным сном.[a]

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

С. 293.

4 *После*: покрыть. — *зачеркнуто*: Потом все потекло без видимых перемен, и если жизнь менялась в своих явлениях, то это происходило с такою медленною постепенностию, с какою происходят геологиче-

[a] *Лист не заполнен до конца, под последней фразой текста подведена черта. Конец третьей части романа. В рукописи не обозначен.*

ские видоизменения земли. Там потихоньку осыпается гора, здесь прилив в течение веков наносит ил и образует приращение почвы, там море медленно отступает.

С. 305.

35–39 — Трогает,∽горением! / Терзанье! нет покоя. Привяжешься к чему-нибудь, увидишь рай и только почувствуешь благо бытия — тут же рядом начнется мука, за каждую радость платишь втридорога слезами; не любишь никого, свободен — мука и в стоячей жизни, скука до слез. Жизнь — терзанье! Устанешь и хочется склонить голову и заснуть, хоть навсегда. — Зачем же ты выдумал, что жизнь — покой? А ты думай, что она — движенье, тогда мука, покой, труд — будут мелькать, как дни и ночи, и не заметишь. Отчего же я не устаю? Мне напротив все больше хочется жить: одно опасение тревожит меня, что жизнь коротка.

С. 306.

30–34 — Ну, хорошо;∽простились. / — Ну, скажи ей... Если я оставил в ее жизни мрачное пятно, если ее хоть немного тревожит совесть, грызет раскаяние, скажи, чтоб простила меня. Если я сделал зло, ей-богу, невольно; себе я повредил еще больше. Когда я вспоминаю, что за рай отверзался мне, какой ангел летал над моей головой, и потом вдруг оглянусь вокруг, мне бывает так тяжело, Андрей, что я теряюсь. Скажи еще, что не напрасно она думала, что была огнем и разумом моей жизни, что я одну ее любил и узнал через нее всю прелесть жизни, что воспоминание о ней так свято мне...

У Обломова явились слезы.

— Что если б я был злодеем, и тогда довольно бы было мне вспомнить о ней, чтоб уж не сделать никогда зла...

— Я вижу, что ты любил ее благородно, Илья, и скажу тебе, чего было не хотел говорить: она велела сказать, что ты оставил чистую память по себе, что воспоминание того, что она любила в тебе, она перенесет, а может быть, уже и перенесла в другую любовь. Живи же ее памятью и — воскресни, ищи более строгой и серьезной цели. Сама жизнь и труд есть цель жизни, а не женщина: в этом вы ошибались оба.

С. 310.

27 *После*: Они выпили. — Пока еще не перевелись баре на Руси, которые подписывают бумаг не читая, нашему брату можно жить, кум! — заключил Мухояров.

С. 312.

17–22 Полгода∽приятельницею, / Четыре месяца прожили Ильинские в Париже, четыре месяца Штольц был ежедневным и единственным их собеседником и путеводителем. Ольга опять пополнела, опять весело смотрела на жизнь,

36-37 Сколько мысли, изворотливости ума тратилось единственно на то, чтоб / и там еще нужно было всколыхать весь свой ум, пошевелить почти все секретные пружины сердца, которые он также неохотно шевелил, открывать даже всю глубокую бездну своей опытности — чтобы этот

С. 313.

40-44 Самые скучные.∾каждому дню. / Жизнь его не текла уже в сухих, суетливых занятиях, не глотал он новых произведений человеческой мысли молча, не складывал их небрежно в архивы своей памяти, а заботливо бежал делиться приобретением к ней.

С. 314.

36 человек с светлой головой, с характером. / человек с сильным характером, с знаниями, практический, с всеобнимающим глазом и умом.

С. 316.

22-28 Или сядет,∾увлечением. / Если он говорит, его одного слушает она, бросит книгу, где описано то же самое, книги ей мало, она вопросительными взглядами выбирает из его души впечатление еще тщательнее, нежели у себя, и если что-нибудь осталось, маленькая подробность, слово, восклицание, черта, и он замолчит, она еще слушает, глаза еще спрашивают, он пороется, пороется и в самом деле найдет, что картина не дорисована, сведение неполно.

С. 316—329.

39-15 с мучительным волнением,∾Поздно ушел к себе Штольц. / и не решал этого вопроса.

Вопрос решился просто, но не сам собою. Бог знает, когда бы добрался до его решения Штольц, если б, может быть, сама Ольга не нашла нужным положить конец этой ежедневной борьбе. Впрочем, у ней не было никаких тайных умыслов, даже просто никаких умыслов. В ее чистой, простой и здоровой натуре явления совершались правильно и естественно, и она подошла к решению важного вопроса тою же прямой, не уклоняющейся в сторону дорогой, какой шла, когда над ней разыгрывалось первое, тогда еще не знакомое ей чувство любви к Обломову. Она переживала ее фазисы и шла, зорко наблюдая за всем и не выпуская из рук воли... Тут было то же самое, но она шла тверже, еще сознательнее и видела дальше вперед. Она решила вопрос, когда надо было остановиться, когда не было пути вперед. Она была у цели, о которой не догадывалась.

Однажды, гуляя по Женевскому озеру, под руку с Ольгой, Штольц нечаянно повторил ей тот же вопрос, который сделал в Париже.

— Что Обломов? Вы никогда не скажете мне порядком о нем, — спросил он, — что он делал все лето, как проводил и что теперь с ним? Придумать не могу: ни одного письма! Жив ли он?

— Он умер, — сказала она глубоко печальным голосом.

— Что вы говорите! — вдруг выпустив ее руку, сказал Штольц, — как умер? И вы мне не сказали?

— Успокойтесь, — прибавила она, — он дышит, ходит, лежит...

— А! вы вот что называете умер! — сказал успокоенный Штольц, — а я думал, в самом деле его нет на свете. Да! непостижимая для меня жизнь! Он в самом деле как труп: поднимите его, поставьте к стене, подоприте, он будет стоять, отнимите подпорку, сейчас упадет. А я надеялся на вас, я думал, что вы его расшевелите.

Ольга шла, наклонив голову, потупя глаза.

— Он часто бывал у вас? — спросил Штольц.

— Да, — сказала она, не поднимая глаз.

— Что он делал? Пели вы ему? возили с собой?

— Да, — сказала она.

— И он не ожил, не воскрес! А помните, как его бросило в горячку от Casta diva!

Она молчала.

— Да может быть, вы делали это так, без участия, а может быть, еще иногда трунили над ним, над его ленью, а он конфузился и удалялся: да? был грех, признайтесь? — Он взглянул ей в лицо, она, бледная, печальная, шла, потупя еще больше глаза и наклонив голову.

— Что вы с ним такое сделали? — спросил Штольц, останавливаясь против Ольги и глядя на нее вопросительно. Вы пренебрегли моим поручением — да, признайтесь: обошлись небрежно с ним? запугали?

Он пытливо смотрел ей в глаза.

Она потрясла отрицательно головой.

— А я думал, вы займетесь им: в память обо мне сделаете что-нибудь для него, пококетничаете, оживите его. У него бы заиграли надежды; надо было столкнуть лодку с берега, а там она пошла бы скользить вон как этот челнок. А вам было лень, скучно; кокетство недостойно нас, мы горды. Отчего не пококетничали немного?

— Я сделала больше, — тихо сказала Ольга, — я его любила...

Штольц вырвал у ней руку, мгновенно очутился против нее и врезал в нее изумленные глаза.

— Лю-би-ли! — медленно произнес он, глядя на Ольгу.

— Да, любила! — оправившись сказала Ольга и покойно взглянула на Штольца.

Он, не спуская с нее глаз, понемногу приходил в себя и понемногу становилось ему ясно загадочность отношения ее к нему и понемногу добирался он до решения важного для него вопроса.

— Любили! — повторил он: губы его бессознательно повторили последнее слово Ольги, но на лице можно было прочесть, что соображения его были уже за сто верст вперед. Они прошли шагов сто молча, и у обоих встревоженные мысли и чувства, пронесшиеся как

вихрь по полю, успели улечься и потекли быстро, но стройно, в порядке.

— Расскажите мне все, Ольга, до мелочей, — сказал он, — не скрывайте: вы увидите, что мне нужно это знать. — Она молчала.

— Вы молчите? — спросил он, — ужели я...

— Я собираюсь с духом, — сказала она, — мне тоже нужно передать это вам. Меня это тяготит: вы были отчасти причиной, вы будете судья.

Началась исповедь Ольги, длинная, подробная, но ясная и светлая. Она без смущения говорила все, и о письме его, и о ветке сирени, и о вечере в саду, и о поцалуе.

Он, сложив руки на груди, жадно слушал ее слова и еще жаднее читал на лице, на движении бровей, в слезах, блеснувших мимоходом и мгновенно опять поглощенных глазами, в улыбке умиления, в сострадании, в отчаянии. Он узнал всю повесть, и взгляд его прояснился, грудь облегчилась громким вздохом, когда она кончила.

— Благодарю вас, Ольга, — сказал он, поглядев на нее в первый раз глазами страсти, открыто, не стараясь скрыть чувства. — Вы разрешили трудную борьбу, из которой, без вашей помощи, без этой исповеди, я не знал бы, как выйти. Знаете ли, зачем мне нужна была эта исповедь? — спросил он, давая глазам своим полную волю высказывать чувства.

Она сделала утвердительный знак головой.

— Как? вы узнали мою тайну? — говорил он, удивленный, смущенный, — не может быть. Вы думаете что-нибудь другое...

— Вы любите меня, — сказала она, взглянув на него сквозь слезы. Он изменился в лице.

— А вы? — У него при всем знании женского сердца, при всей ясности взгляда на всякий сложный узел, при уменье разрешать легко вопросы, при всей [уверенности] зашевелилось сомнение: не хотела ли она бросить эту исповедь, как камень, воздвигнуть стену между ним и собой. Он думал, может быть, еще на дне ее сердца и осталось... Он почувствовал, как похолодело у него в левом боку, как... Он не знал, что подумать. — Отчего вас тяготил этот секрет, отчего вам хотелось высказать мне все? — спросил он и с волнением ждал ответа и боялся.

Вдруг она сквозь слезы же улыбнулась.

— К чему эти вопросы? — сказала она, глядя на него, — вы играете со мной?

— Я играю!

— Да: к лицу ли вам притворство. Разве вы не угадали давно...

— Ей-богу, сию минуту угадываю только, — сказал он убедительно и, схватив ее руку, горячо поцаловал. — Обломов все перепутал. Я думал, что передо мной ученица: я не знал, что азбука пройдена...

— Простите меня, я не верю, — сказала она, — вы не угадали меня!

— Почти полгода бьюсь, — сказал он, — над этим вопросом и не помню, чтоб в жизни что-нибудь казалось мне мудренее этого. Без вашей исповеди я бы еще полгода пробился напрасно.

Она не могла скрыть улыбки торжества.

— А вы? — спросил он, — вы так легко и ясно прочли, угадали...

— Нет, и я мучалась, я угадывала себя и наконец добралась, что...

— Что... — с нетерпением ждал он.

— Трудно договорить, — сказала она краснея.

— Я вам помогу: говорите за мной, и если не то скажу, не говорите: «что я вас люблю...» — диктовал он.

Она молчала.

— Что это? — с испугом спросил он.

— Что я вас любила... — поправила она, — до Обломова. В Обломове искала вас и то, что в нем любила...

— Люблю теперь в вас, — досказал он.

— И никогда не разлюблю, — тихо повторила она: я нашла свое.

— Ольга! эта девочка! — говорил Штольц, любуясь ею, — вы переросли меня, и мне остается склонить перед вами голову.

— Нет, нет, — живо заметила она, — помните мои последние слова Обломову: ум бьется и ищет вопроса, рука ищет другой... Не надевайте же на себя маску ложного смирения. Мы долго не понимали друг друга, теперь поняли. И если вы мне скажете когда-нибудь: мы равны — я буду горда и счастлива...

— Мы равны! — сказал он, быстро протягивая ей руку: она подала ему свою, и они тихо пошли к тетке.

Настал наконец для нее длинный, тихий разговор, слияние двух жизней, доверчивость без конца, слезы, смех, игра открытого, прямого счастья...

Поздно ушел к себе Штольц.

С. 330.

6–10 она не шевелилась, ∾ головой... / ни разу не вошло в ее тихую, глубокую радость ни белое платье с отделкой, ни массивный браслет, ни огонь алмазов, ни ряд карет.

12–13 Не снился ей ни праздничный пир, ни огни, ни веселые клики; / Не снились ей завистливые взгляды подруг из толпы, ни серебряные сервизы, ни ливрея, ни роль царицы среди пышного салона:

С. 334.

2–3 *Против слов*: хотя смерть ∾ глаз. — *на полях зачеркнутая запись*: — Ей воображение [162] || — А что жемчуг, || так это я для || своей надобности [163]

С. 337.

2–11 Скажи же ей... ∾ то засмеется. / Как я рад! Видишь, как не нужно было, чтоб я женился на ней. Теперь я понимаю, Андрей, что ей

надо было прежде узнать меня, чтоб оценить тебя, я не краснею, не каюсь, с души тяжесть спала, я счастлив — боже! благодарю тебя! — Он опять подскакивал на диване, прыгал, то прослезится, то засмеется.

С. 340.

38–42 — Заемное письмо! ∾ подумал Штольц. / *зачеркнуто*: А! документа нет, — подумал легче Обломов ‹sic!›, — это домашняя сделка на честность... И ему легче стало.

С. 344.

40 *Против слов*: Штольц попытался увезти — *на полях запись*: Тарантьева прогнал [164]

С. 345.

15 *После*: это только... — *зачеркнуто*: Разве она пара тебе? Ужели тебя не возмущает мысль, какая грязь, какая уродливость в этом животном союзе с простой бабой! жить вместе, завязать неразрывные сношения, окружить себя каким-то фальшивым семей‹ством›.

30–32 в обществе Ильинских, ∾ отвращением. / много плесени сбросил с себя с прошлого года и что уродливые явления, подобные ему, являлись теперь земляку в настоящем своем виде и уязвляли своим безобразием до нестерпимой боли. Словом, что вместо апатии и снисхождения к грубости и наглости заменилась отвращением.[a]

С. 347—360.

14–19 по делам своим ∾ женских страстишек и увлечений. / покончить свои торговые дела в Одессе и потом пожить там осень и зиму для здоровья Ольги, значительно расстроившегося от родов.

Они избрали самую счастливую местность для жизни, в долине, между гор с одной стороны и морем с другой. Шпалера из винограда защищала их окна от солнца. Прямо с террасы Ольга сходила в цветник, из цветника шла в аллею из акаций и там в беседке ждала своего Карла, если он уезжал из дома по делам. Штольц всегда смотрел на женитьбу, как на гроб — не любви,* этот пошлый приговор пошлых мужей, с пошлыми, отжившими сердцами, мужей, презирающих будто бы любовь, потому что чаша эта пронеслась мимо их, не коснувшись их уст, потому что они святое пламя ее потратили на сожжение нечистых жертв, среди душевных оргий, потому наконец, наделенные бесплодным умом, они кичливо отсутствие сердца в себе, отсутствие сердца[б] сочли за отсутствие любви и не познали ее. Да, бесплодного ума: потому что плодовитый ум не производит плодов без союза сердца: он помогает сердцу любить, как сердце помогает ему познавать, и эти две силы в друж-

---

[а] *Так в рукописи.*
[б] *Так в рукописи.*

ном союзе творят: открывают миру или таинственные законы мироздания, людского бытия, или наделяют его звуками, образами и властвуют человеком. Да, немногие умеют и могут любить, хотя все думают, что любят или любили: сущая любовь редкое благо: те немногие, сердца которых озарены ею, знают это и не признают жизни, радостей и скорбей вне — любви. Любовь — скоропреходящий цветок, говорят, платя урочную дань ей и потом топчут в грязь, потому что нет у них почвы, где бы цветок мог приняться глубоко, пустить корни и вырасти в такое дерево, которое бы осенило ветвями всю жизнь. Штольц считал женитьбу гробом не любви, а своего общественного, гражданского труда, дела и существования — он понимал, что любовь в лице Ольги помешает ему ездить в Сибирь копать золото, посылать грузы пшеницы за границу, участвовать в компаниях, даже служить казне так, как он понимал службу. Другим, вышепоименованным мужьям, женитьба не мешает не только служить, но помогает даже брать взятки, не мешает торговать, наконец, даже не мешает служить по вечерам и по ночам в клубе. В Штольце одна половина была немецкая и оттого, а может быть, и от чего-нибудь другого, он верил и в любовь и считал брак делом величайшей важности. Он всегда задумывался над вопросом о том, как вдруг река его деятельности остановит свое течение; как из неутомимого туриста, чиновника, купца он обратится в мужа, в домоседа, в угодника желаний, может быть, капризов жены? Конечно, воспитание, образование детей, направление их жизни — все это достойная цель забот и трудов; но до детей, до тех пор, когда настанет опять его очередь опять пустить в ход обычную машину деятельности — долго. А до тех пор? Оттого он не тяготился холостою жизнию, медленно шел по этому пути вперед, недоверчиво вглядывался в хорошенькое личико, отрицательно покачивал головой и отходил прочь, легко отрезвляясь от ложившегося легким туманом на его воображение впечатления. Оттого он пренебрегал долго Ольгой, не вглядывался в нее пристально, любовался, как милым ребенком, шутя, мимоходом забрасывал ей в жадный ум свежую, новую или смелую мысль, как зерно, без развития, награждал ее метким наблюдением, на окружающее, на нее или на самого себя, т. е. на жизнь, на мужчину, на женщину; но без порядка, без системы, и потом забывал. И то было знаком большой доверенности, какой он не оказывал никакой другой женщине, особенно девушке, значит, он много ценил ее, т. е. отличал от прочих. Этим и ограничивалось его исключительное внимание к ней. Благодаря ее робкой, самолюбивой застенчивости, он видел только залоги прекрасного будущего, но не угадывал он сознательно и вполне прекрасной, простой, естественной женщины во всем блеске лучей прелести, благородства, глубокой бездны ума и сердца, которую ему придется наполнять и никогда не наполнить. Но она не забывала его летучих уроков, она бессознательно проникалась его духом, его взглядом и оттого так легко управилась с первым

опытом, с первой любовью, в которую многие женщины неразумно и неосторожно кладут всю жизнь. Штольц, предвидя в браке конец своей внешней, общественной жизни, не предвидел, до какой степени поглотит его жизнь внутренняя, семейная, как он будет жить не одной, а двойной жизнию и какое бремя нескончаемой заботы возложит на него эта девочка, это хорошенькое дитя... И вдруг эта жизнь с Ольгой, кажется, такая тихая, обратилась ему в вечный труд и науку. Еще до женитьбы, в Париже, он был поражен ненасытною жаждою ее ума, подвижностью ее характера, а женившись, он открыл, что жажда ее сердца никогда не унималась и что его ума, сердца, опыта, знаний — ставало конечно на удовлетворение этой жажды, но только при неусыпной бдительности, при непокладном труде и усилиях, при вечной борьбе и движении.

Только напряженной любовью и вниманием, расположенных <sic!> в строгой и мудреной системе, удавалось ему унимать порывы то ума, то сердца, прерывать лихорадку жизни, укладывать в строгие размеры и давать плавное течение. И то на время: едва он закрывал доверчиво глаза, там опять поднималась тревога, слышался новый вопрос беспокойного ума, вопль или стон встревоженного или утомленного сердца и вновь надо было готовить свежую, новую пищу, вновь успокоивать раздраженное воображение, уснувшее самолюбие. Он предвидел, что это будет всегда так, даже когда она сама довоспитается до строгого понимания жизни, сердце, ум, воображение никогда не уснут, что она будет вечно бьющимся пульсом его жизни и что ему всегда придется наблюдать, чтоб он бился ровно, что сама она не в силах взять на себя многого в жизни и что ему предстоит вечно бороться с двумя жизнями, вместо одной. Вдруг, внезапно, ум ее пустел, и это было еще меньшее зло! Надо было будить ее самолюбие, звать к труду, искать пищи и готовить новую пищу, быть на страже ума, пока он переваривает заданную пищу. Там сердце вдруг томится чем-то, не пустотой, нет, а требует нового, иногда небывалого фазиса жизни, воображение напевает таинственным голосом, и она вслушивается в этот голос, сердце ищет этих звуков около себя — и ему опять задача отыскивать ключ к периодической скуке, к этим порывам к чему-то, куда-то и не всегда помогало <sic!> ему физиологические объяснения и нервы не всегда оправдывали в ее глазах явление. Надо было творить, и он, как художник, как мыслитель, созидал ей разумное, полное значения бытие, ткал ей существование, как Пенелопа,* и распускал опять ткань.

Она любила детей по природе и по сознанию, как долг. Но просидев долгие часы у колыбели и отходя, она искала усталым взглядом Карла, и потом взгляд этот блуждал вокруг и искал — не кого-нибудь, а еще чего-нибудь. Карл караулил этот взгляд и обращал его от детского долга на другой какой-нибудь уже готовый долг жизни, бравший столько же часов, созданный или по крайней мере открытый им. Задумывалась она над явлением, он вручал ей

ключ, томила ли ее глухая грусть, он дорывался до дна и подводил ее к источнику и потом возводил и то и другое в идею и правило. То, что он прежде кидал ей беспорядочно, теперь приводилось в строгую систему — и жизнь ее текла, постоянно сопутствуемая идеею и согретая теплотою любви, в которую они оба верили и которой были достойны. Вера в случайности, туман — все исчезало, и галлюцинаций в жизни не было. Светла, проста, разумна и свободна открывалась перед ней жизнь, и она, как будто в прозрачной воде,[a] видела в ней каждый камешек, рытвину и потом чистое дно.

Но Штольцу долго, почти всю жизнь предстояла немалая забота поддерживать на одной высоте свое достоинство мужчины в глазах самолюбивой, страстной Ольги, — не из пошлой ревности, а для того, чтоб не помрачилась эта хрустальная ясность ее жизни, а это могло бы случиться, если б хоть немного поколебалась ее вера в него. Каково же всю жизнь быть или казаться выше всех своих собратий, мужчин, в глазах ее, заслонять их собою, ни в чем и никогда не уступать никому и на минуту не сойти с своего пьедестала. Штольцу это было легче, нежели другому, но трудно было сохранить в этой трудной роли простоту и естественность, не драпироваться в костюм всесветного умника, не рисоваться никогда. С другой, может быть, и нужно тайком прибегнуть к такому способу, но с Ольгой нельзя; и заметь она это однажды, кредит его подорван без возврата.

Многим женщинам не нужно ничего этого: раз вышедши замуж, они покорно принимают и хорошие, и дурные качества мужа, безусловно мирятся с приготовленным им положением и сферой или так же покорно уступают первому, случайному увлечению, сразу признавая невозможным или легкомысленно не находя нужным противиться ему: судьба, — дескать, страсти, женщина — создание слабое и т. д. Даже если муж и превышает толпу своим зорким умом, этой обаятельной силою в мужчине, такие женщины гордятся этим преимуществом мужа, как каким-нибудь дорогим ожерельем, — и то в таком только случае, если ум этот остается слеп на их жалкие женские проделки, а если он осмелится прозирать в мелочную сеть их лукавого, пошлого существования, в комедию их ничтожного, иногда грязного и порочного существования, им делается тяжело и удушливо от этого ума. Ольга не знала ни той логики покорности слепой судьбе и с презрением отвергала эти будничные легкие страсти и увлечения.

С. 360.

37 *После*: невозможно. — Штольц понимал все это и употреблял вдвое сил против того, что бывало тратил на самые сложные и мудреные соображения в сложных отношениях, во всяких встречах и случаях жизни.

---

[a] *Против слов*: как будто в прозрачной воде, — *на полях запись*: вечная весна [165]

С. 361.

1–9 вся лихорадка∽тупеет... / вся лихорадка жизни разбивались бы о заботы о варенье, соленье, об ожидания праздников, о родины, крестины, об апатию и сон мужа! Она плачет, мучается, потом привыкает, толстеет, ест, спит, тупеет...

14–23 *Против текста*: на миг плененная∽пожал плечами. — *на полях зачеркнутая запись*: Разговор Ольги || с Карлом: она || дорывается и сознается, || что вышедши за Обло||мова, она полюбила || бы Карла... || Карл говорит о честно||сти Ильи Ильича, о той || негибнущей честности, || [о вере] на которую || можно положиться, ко||торая редка и которая || умрет не выдав || своих убеждений... оттого он и любит его...[166] || Они едут в Петерб‹ург›,[167] несмотря на всю || тину, он уцелел [168]

38–41 — А я разве не делал?∽с пьяницей! / *зачеркнуто:*

— Последние два раза я был развлечен, очень занят, торопился к тебе и не мог сладить с Ильей. Зато теперь я не отстану и вытащу его из этой ямы, разве бездна откроется какая-нибудь, стена станет между нами! Посмотрим, если еще он не опустился совсем, можно раздуть искру жизни, отрезвить, как пьяницу. Первый мой выезд в Петербурге будет к нему!

— И мой! — сказала Ольга, — ты один не сладишь...

— Ну, с тобой я уверен в успехе, только надолго ли? Чуть с глаз долой и опять все пропало.

С. 362.

21–23 Я люблю∽иные? / Я не люблю его — и тогда любила в нем — тебя. Если б я вышла за него, я бы полюбила все-таки тебя... Но то, что в нем есть, что-то такое, чего я хорошенько не могу объяснить себе, что я любила в нем, тому я, кажется, осталась верна. Это не любовь, это особенное, доброе чувство... Но он мне дорог и до сих пор, и я не изменюсь, как иные...

— Кто же это иные?

28–34 Хочешь,∽верности. / Но что дороже всего — это честное, неподкупное сердце: это его природное золото, которое он пронес сквозь всю грязь, все ничтожество жизни и уцелел. Все отскакивало от этой чистоты, обман, эгоизм, равнодушие, слабости — он падал от толчков, охлаждался, заснул, наконец, убитый, разочарованный, потеряв силу жить, но не потерял честности,

35 *После*: грязи. — Закопай ты это сердце куда хочешь, тысячу лет пролежит оно под спудом, в прахе, в забвении — и все в нем будет тлеть и никогда не угаснет вера в добро, в людское достоинство,

С. 363.

3–5 Ольга засмеялась,∽плечо мужа. / Ольга проворно оставила свое шитье, подбежала к Карлу, обвила его шею руками, несколько минут поглядела лучистыми глазами прямо ему в глаза и вдруг прижалась губами к его губам.

С. 367.

6 *После*: тишины. — *зачеркнуто*: Он давно считал себя в мирной пристани, где мог не страшиться никаких треволнений. Уже несколько лет тому назад он решил, что идеал его жизни достигнут, хотя [а]

С. 376.

5–17 с сильным биением∽молчание. / *зачеркнуто*: с сильным биением сердца, с напряженным вниманием.

— Обломовщина! — отвечал Штольц и всю дорогу до самого дома на все ее расспросы хранил мрачное молчание.

18 X / Заключение.

ВАРИАНТЫ ПРИЖИЗНЕННЫХ ИЗДАНИЙ

ОЗ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

С. 8.

5 *После*: завернуться в него. — и все еще бы осталось материи на какой-нибудь парижский полуфрак.

С. 14.

31 — А где немцы сору возьмут, — / — У них, у этих немцев, и сору-то негде взять, —

35 Где им сору взять? / Где они сору-то возьмут?

41–42 — Ты лучше убирай. / — ты только рассуждаешь, а ты лучше убирай!

С. 25.

10 Есть такое призвание. / У многих есть такое призвание.

С. 30.

14–16 Квартира сухая,∽не валится. / сроку всего какая-нибудь неделя.

31–32 *Фразы*: А я терпеть не могу никаких перемен! — *нет*.

С. 31.

41–45 *Текста*: Обломов взглянул∽Он задумался. — *нет*.

46 продолжал он. — / сказал Обломов. —

С. 67.

47 спросил он. / сказал испуганный Обломов.

С. 68.

21 *После*: в Киссинген — или в Гомбург,* —

[а] *Не завершено.*

С. 70.

31 *После*: добродушно прибавил Захар. — полагая, что, может быть, этот способ неупотребителен потому, что не всем известен.

С. 80.

30 готовясь к обычным трудам. / готовясь к знакомым упражнениям.

С. 94.

47 то кипело; / то клокотало, как кипяток;

С. 117.

23–25 — Нет, это такие господа,∾сказал Захар / — Это такие господа, которые выдумывают мысли, — объяснил Захар.

— Что ж они у вас делают? — спросил дворник.

— Что? Один трубку просит, другой хересу. — сказал Захар

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

С. 121.

21 — Где ты пропадал? / — Что ты это пропал? Где ты был? —

С. 157.

31–32 *Слов*: и погрузил напряженный, испытующий взгляд в ее глаза. — *нет*.

С. 166.

9–10 — M-r Обломов...∾ — прибавила она кротко, — / — Ну, так и быть, я не сержусь, прощаю, — сказала она, —

С. 174.

5 в нежности они не переходили никогда границ умеренности, / они не переходили никогда границ умеренности в нежности,

С. 177.

26 а в воскресенье у нас всегда кое-кто есть — / а в воскресенье непременно: у нас всегда кое-кто есть —

С. 179.

27 *Слов*: Да вы там пропадете без меня! — *нет*.

С. 181.

17 И ласка была какая-то сдержанная, все выражение лица / Выражение было

С. 183.

38–39 *Фразы*: — Ничего нет?∾что-то впереди. — *нет*.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

С. 286.

13–14 поверенный распорядится», / поверенный приведет в известность»,

С. 289.

46 *Слов*: что это такое, чего мне недостает, — *нет*.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

С. 292.

11–12 *После*: как в прошедшем году, — повторят их так же и в будущем,

С. 297.

20 без смутных предчувствий, / без смутных, неясных намеков, предчувствий,

С. 320.

8 грозный образ, / грозный и определенный образ,

С. 322.

47 Вы... вы не любите... / вы разве любите?

С. 341.

28 прочел тайну жертв / прочел тайну бескорыстных жертв

С. 352.

17–18 *Слов*: потому что в жизни без движения она задыхалась, как без воздуха. — *нет*.

С. 353.

27 другое, другое, высокое, / другое, высокое,

С. 354.

31 Спрашивала глазами небо, / «Что это за новости!» — с испугом думала она, озираясь во все стороны, спрашивала глазами небо,

34 *После*: без начала, без конца. — Чего же ей хочется? Что это за тоска?

С. 355.

28–29 Она сухо улыбнулась. ∾ спросил он. / Она сухо улыбнулась.
— Он теперь в Одессе. Ты знаешь?
— Да, ты сказывал, — равнодушно отозвалась она.
— Что ты, спать хочешь? — спросил он.

С. 358.

25–26 вооружаться твердостью и терпеливо, настойчиво идти своим путем. / вооружаться твердостью, спокойствием.

С. 359.

3 *Фразы*: До сих пор ты еще познавала жизнь, а придется испытывать ее... — *нет*.

5 *Слов*: Береги силы! — *нет*.

13–14 *Слов:* настанет пора «испытаний», где — *нет*.

С. 360.

39–40 *Слов*: и ревниво, деятельно, зорко возделывал, берег и лелеял ее. — *нет*.

С. 363.

7 стыдливая улыбка, / безжизненная улыбка,

1859[1]

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

С. 7.

8–10 гулявшими беспечно∾не тревожит. / но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. (*ОЗ, 1884, 1887*)

15 Душа / а душа (*1884, 1887*)

16 рук. / руки. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 8.

4 так что Обломов / так что и Обломов (*ОЗ, 1884, 1887*)

11 не чувствуешь его на себе; / тело не чувствует его на себе; (*ОЗ, 1884, 1887*)

38 картины, вазы, мелочи. / и картины, и вазы, и мелочи. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 10.

37 предпринять что-нибудь решительное. / до окончания плана предпринять что-нибудь решительное (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 11.

11–12 с широкими∾бакенбардами, / с необъятно широкими∾бакенбардами, (*ОЗ, 1884, 1887*)

33 *После*: об этом старинном доме. — единственной хроники, веденной старыми слугами, няньками, мамками и передаваемой из рода в род. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 12.

28 *После*: Ведь ты же изломал. — Ни о чем не подумаешь! (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 13.

21 погляди в углах — / погляди-ка в углах-то — (*ОЗ, 1884, 1887*)

25 на середину / на средину (*ОЗ*)

37 — А книги и картины обмести? / — А книги, картины обмести?.. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 14.

4 *После*: Ведь это гадость! — заметил Обломов. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 15.

1 — Да правда! — / — Да право! — (*ОЗ, 1884, 1887*)

9 делалось как-нибудь, / сделалось как-нибудь так, (*ОЗ, 1884, 1887*)

---

[1] В скобках указаны все печатные источники текста, где встречается данный вариант, или те, где отсутствует указанный фрагмент текста.

42 — Так умыться готово? — / — Так умыться-то готово? (*ОЗ, 1884, 1887*)

43 *После*: — Готово! — сказал Захар. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 17.

12 свежестию лица, / свежестью лица, (*ОЗ, 1884, 1887*)

40 — Разве вы ездите верхом? / — А! Вот что! Разве вы ездите верхом? (*ОЗ, 1884, 1887*)

41 заказал. / заказывал. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 18.

4 *После*: — Да... никак. — сказал Обломов. (*ОЗ, 1884, 1887*)

5 *После*: Что вы, Илья Ильич! — с изумлением говорил Волков. (*ОЗ, 1884, 1887*)

10 с ними... / вы с ними... (*ОЗ*)

38 набиралось и до ста... / набиралось до ста... (*ОЗ, 1884, 1887*)

39 — Боже мой! / — Боже ты мой! (*ОЗ, 1884, 1887*)

40 тем веселее. / тем веселей. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 19.

28–29 поедешь с визитом, / поедешь с визитами, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 20.

7 — и готов. / — и готово. (*ОЗ, 1884, 1887*)

9 *После*: — Хорошо, привезите! — говорил Обломов. (*ОЗ, 1884, 1887*)

13–14 фамилия Тюменева не уписалась; / фамилия Тюменев не уписалась; (*ОЗ, 1884, 1887*)

22 цветы рвать и кататься — / цветы рвать, кататься — (*ОЗ, 1884, 1887*)

31 спокойно-сознательным / покойно-сознательным (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 21.

23 *После*: — Да и дела много... — нет, не могу! (*ОЗ, 1884, 1887*)

37 *После*: нарочно. —

— Не может быть! — сказал Обломов.

— Нет, нет! Это напрасно, — с важностью и покровительством подтвердил Судьбинский. — Свинкин ветреная голова. Иногда черт знает, какие тебе итоги выведет, перепутает все справки. Я измучился с ним; а только нет, он не замечен ни в чем таком... Он не сделает, нет, нет! Завалялось дело где-нибудь; после отыщется. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 22.

16 *После*: Вот и ты ведь не пишешь, — возразил Судьбинский. (*ОЗ, 1884, 1887*)

30 *После*: Хорошенькая? — спросил Обломов. (*ОЗ, 1884, 1887*)

43 *После*: непременно! — сказал Обломов. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 24.

10 *После*: — Много у вас дела? — спросил Обломов. (*ОЗ, 1884, 1887*)

37–38 великолепная, можно сказать, обличительная, поэма: / великолепная, можно сказать, поэма: (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 25.

17 из потехи, что вот кого ни возьмем, / из потехи, что ли, что вот кого-де ни возьмем, (*ОЗ, 1884, 1887*)

20 Изображают они / Изображают-то они (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 27.

19 *После*: ласкаются. — Впрочем, надо отдать им справедливость, что и любовь их, если разделить ее на градусы, до степени жара никогда не доходит. (*ОЗ, 1884, 1887*)

35 *После*: способен. — Если дадут сделать и то, и другое, он так сделает, что начальник всегда затрудняется, как отозваться о его труде; посмотрит, посмотрит, почитает, почитает, да и скажет только: «Оставьте, я после посмотрю. да, оно почти так, как нужно».

Никогда не поймаешь на лице его следа заботы, мечты, что бы показывало, что он в эту минуту беседует сам с собою, или никогда тоже не увидишь, чтоб он устремил пытливый взгляд на какой-нибудь внешний предмет, который бы хотел усвоить своему ведению.

Встретится ему знакомый на улице: «Куда?» — спросит. «Да вот иду на службу, или в магазин, или проведать кого-нибудь». — «Пойдем лучше со мной, — скажет тот, — на почту, или зайдем к портному, или прогуляемся», — и он идет с ним, заходит и к портному, и на почту, и прогуливается в противуположную сторону от той, куда шел. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 28.

13 — К Овчинину, поедемте. / — Да к Овчинину-то, поедемте. (*ОЗ, 1884, 1887*)

35 чтоб не мешать Обломову / это все, чтоб не мешать Обломову (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 29.

16 — А если хорошо / — А коли хорошо (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 30.

9 стало быть нужно. / Торопит, стало быть нужно. (*ОЗ, 1884, 1887*)

32 *После*: квартира! — заговорил Обломов. (*ОЗ, 1884, 1887*)

32 посмотрите, / посмотрите-ка, (*ОЗ, 1884, 1887*)

33 где оно?/где, бишь, оно? (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 31.

5 *После*: из бурого сургуча. — Огромные бледные буквы тянулись в торжественной процессии, не касаясь друг друга, по отвесной линии, от верхнего угла к нижнему. Шествие иногда нарушалось бледно-чернильным большим пятном.

8 Тут он пропустил / Тут Обломов пропустил (*ОЗ, 1884, 1887*)

23 и тогда будет исполнено, водворим крестьян / и тогда всякое средствие будет исполнено, водворить крестьян (*ОЗ, 1884, 1887*)

27 не подал. / не подавал. (*ОЗ, 1884, 1887*)
33 доходцу, / доходцу; будет, (*ОЗ, 1884, 1887*)
46–47 предлагает «яко тысячи две помене»! / предлагает «тысящи яко две помене»! (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 32.
28 *После*: — А кто у вас губернатор? — спросил Алексеев. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 33.
31 дожил / и дожил (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 34.
31 *После*: без надежды на проявление. — как бывали запираемы, по сказкам, в тесных заколдованных стенах духи зла, лишенные силы вредить. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 36.
18 сразу попал в обе туфли. / сразу попав ими в обе туфли. (*ОЗ, 1884, 1887*)
28 *После*: — Только вот троньте! — яростно захрипел он: (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 38.
2 мадера / мадера-то (*ОЗ, 1884, 1887*)
8 — Дай деньги, / — Да постой, дай деньги, — (*ОЗ, 1884, 1887*)
30–31 чрез неделю / через неделю (*ОЗ, 1884, 1887*)
41 даром / даром-то (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 39.
3 Туда, говорят, / Да туда, говорят, (*ОЗ, 1884, 1887*)
11 — Что ж / — Да что ж (*ОЗ, 1884, 1887*)
20 говорил он. — / сказал Тарантьев. — (*ОЗ, 1884, 1887*)
22 *После*: От всего близко, — говорил Обломов, — (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 40.
6 Как же это я / — Да как же это я (*ОЗ, 1884, 1887*)
9 *После:* здесь, — летом-то, (*ОЗ, 1884, 1887*)
17 менять / менять-то (*ОЗ, 1884, 1887*)
27 — Где письмо? / Где письмо-то? (*ОЗ, 1884, 1887*)
39 отыскивание квартиры / отыскание квартиры (*ОЗ, 1884, 1887*)
41 спокойствие / спокойствие-то (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 41.
3 портер набавил! / еще портер набавил! (*ОЗ, 1884, 1887*)
6 *После*: на Выборгскую сторону? — отвечал Тарантьев. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 42.
8 делать / делать-то (*ОЗ, 1884, 1887*)
22 в народе. / в народе-то. (*ОЗ, 1884, 1887*)
28 — Теперь мне еще рано ехать, — прежде дай кончить план... /

— Теперь мне еще рано ехать, — отвечал Илья Ильич, — прежде дай кончить план преобразований, которые я намерен ввести в имение... (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 43.

13 *После*: — Послезавтра. — сказал Обломов. (*ОЗ, 1884, 1887*)

16 послушай, / послушай-ка (*1884, 1887*)

19 *После*: — Что еще? — спросил Тарантьев. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 44.

9 Куда / Куда, бишь, (*ОЗ, 1884, 1887*)

12 Куда это я их положил? / Куда это я их? (*ОЗ, 1884, 1887*)

15 о человеке, / о человеке, который мне близок и (*ОЗ, 1884, 1887*)

19 *После*: — К чему ты это говоришь мне? — спросил Обломов. (*ОЗ, 1884, 1887*)

24 горя! / горя-то! (*ОЗ, 1884, 1887*)

25 в Саксонии / в Саксонии-то (*ОЗ, 1884, 1887*)

31 — Чем же / — Да чем же (*ОЗ, 1884, 1887*)

32–33 *После*: в башмаках, — в сентябре, (*ОЗ, 1884, 1887*)

41 настоящий / настоящий-то (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 45.

2 он тебя в глаза обманывает, как твой староста. / он тебя в глаза обманывает, как малого ребенка. Разве большие учатся чему-нибудь? (*ОЗ, 1884, 1887*)

15 план: / план-то свой: (*ОЗ, 1884, 1887*)

25 *После*: скотина! — кричал Тарантьев. (*ОЗ, 1884, 1887*)

39 *После*: в смирительный дом! — сказал Обломов. (*ОЗ, 1884, 1887*)

43 *После*: поминай как звали. — жилет-то бархатный, а рубашка тонкая, голландская: двадцать пять рублев стоит. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 47.

2 *После*: десять лет назад. — Но он все сбирался и готовился начать жизнь,* все рисовал в уме узор своей будущности; но с каждым мелькавшим над головой его годом должен был что-нибудь изменять и отбрасывать в этом узоре. (*ОЗ, 1884, 1887*)

34 «Когда же жить? жить?» — твердил он в тоске. / «Когда же жить? когда жить?» — твердил он. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 48.

4 но даже и ревность, / но даже ревность, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 49.

20 чаще / больше (*ОЗ, 1884, 1887*)

24 любовные отношения / любовные интриги (*ОЗ, 1884, 1887*)

26 не уступали любви / не уступали повестям любви (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 50.

3–4 *Слов*: с синевой под глазами, дев — *нет* (*ОЗ, 1884, 1887*)

8 обходил их. / обходил таких дев. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 51.

28 *После*: уроки. — Все это вообще считал он за наказание, ниспосланное небом за наши грехи. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 52.

35 свечку / свечу *(ОЗ, 1884, 1887)*

С. 53.

3 библиотека, / как будто библиотека, (*ОЗ, 1884, 1887*)

4 по всем частям знаний. / по разным частям знаний. (*ОЗ, 1884, 1887*)

14 Он воротился / И он воротился (*ОЗ, 1884, 1887*)

38–39 «Бог даст, ~ и не в деда. /

— Отцы и деды не глупее нас были, — говорил он в ответ на какие-нибудь вредные, по его мнению, советы, — да прожили же век счастливо; проживем и мы: даст бог, сыты будем.

Получая, без всяких лукавых ухищрений, с имения столько дохода, сколько нужно было ему, чтоб каждый день обедать и ужинать без меры, с семьей и разными гостями, он благодарил бога и считал грехом стараться приобретать больше.

Если приказчик приносил ему две тысячи, спрятав третью в карман, и со слезами ссылался на град, засуху, неурожай, старик Обломов крестился и тоже со слезами приговаривал: «Воля божья; с богом спорить не станешь! Надо благодарить господа и за то, что есть».

Со времени смерти стариков хозяйственные дела в деревне не только не улучшились, но, как видно из письма старосты, становились хуже. Ясно, что Илье Ильичу надо было самому съездить туда и на месте разыскать причину постепенного уменьшения доходов.

Он и сбирался сделать это, но все откладывал, отчасти и потому, что поездка была для него подвигом, почти новым и неизвестным.

Он в жизни совершил только одно путешествие, на долгих, среди перин, ларцов, чемоданов, окороков, булок, всякой жареной и вареной скотины и птицы и в сопровождении нескольких слуг.

Так он совершил единственную поездку из своей деревни до Москвы и эту поездку взял за норму всех вообще путешествий. А теперь, слышал он, так не ездят: надо скакать сломя голову!

Потом Илья Ильич откладывал свою поездку еще и оттого, что не приготовился, как следует, заняться своими делами.

Он уж был не в отца и не в деда. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 54.

11 *После*: блага. — Тогда только решается он отдохнуть от трудов и переменить заботливую позу на другую, менее деловую и строгую, а более удобную для мечтаний и неги. (*ОЗ, 1884, 1887*)

23–24 *После*: зажгут всю кровь в нем, — задвигаются мускулы его, напрягутся жилы, (*ОЗ, 1884, 1887*)

26 привстанет на постели, / привстанет до половины на постели, (*ОЗ, 1884, 1887*)

34 в окно, / в окно, к небу, (*ОЗ, 1884, 1887*)

36 Сколько раз / И сколько, сколько раз (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 57.

33 как будто ловит его, / как будто ловит ее, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 58.

13 *После*: с проклятиями. — К счастью, он очень редко воспламенялся таким усердием.

Все это происходило, конечно, оттого, что он получил воспитание и приобретал манеры не в тесноте и полумраке роскошных, прихотливо убранных кабинетов и будуаров, где черт знает чего ни наставлено, а в деревне, на покое, просторе и вольном воздухе.

Там он привык служить, не стесняя своих движений ничем, около массивных вещей; обращался все больше с здоровыми и солидными инструментами, как то: с лопатой, ломом, железными дверными скобками и такими стульями, которых с места не своротишь.

Иная вещь, подсвечник, лампа, транспарант, пресс-папье, стоит года три, четыре на месте — ничего; чуть он возьмет ее, смотришь — сломалась.

— Ах, — скажет он иногда при этом Обломову с удивлением. — Посмотрите-ка, сударь, какая диковина: взял только в руки вот эту штучку, а она и развалилась!

Или вовсе ничего не скажет, а тайком поставит поскорей опять на свое место и после уверит барина, что это он сам разбил; а иногда оправдывается, как видели в начале рассказа, тем, что и вещь должна же иметь конец, хоть будь она железная, что не век ей жить.

В первых двух случаях еще можно было спорить с ним, но когда он в крайности вооружался последним аргументом, то уже всякое противоречие было бесполезно, и он оставался правым без апелляции. (*ОЗ, 1884, 1887*)

28 *После*: занятий. — Если ему велят вычистить, вымыть какую-нибудь вещь или отнести то, принести это, он по обыкновению с ворчаньем исполнял приказание; но если б кто захотел, чтоб он потом делал то же самое постоянно сам, то этого уже достигнуть было невозможно.

На другой, на третий день и так далее нужно было бы приказывать то же самое вновь, и вновь входить с ним в неприятные объяснения. (*ОЗ, 1884, 1887*)

37 *После*: не было никаких. — Ему никогда не приходило в голову подвергать анализу свои чувства и отношения к Илье Ильичу; он не сам выдумал их; они перешли от отца, деда, братьев, дворни, среди которой он родился и воспитался, и обратились в плоть и кровь.

Захар умер бы вместо барина, считая это своим неизбежным и природным долгом и даже не считая ничем, (*ОЗ, 1884, 1887*)

38 Он бросился бы / а просто бросился бы (*ОЗ, 1884, 1887*)

43 жизнь его, / жизнь барина, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 59.

26 *После*: в слезы. — Боже сохрани, чтоб он поставил другого какого-нибудь барина не только выше, даже наравне с своим! Боже сохрани, если б это вздумал сделать и другой! (*ОЗ, 1884*)

34 начинал / вдруг начинал (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 62.

27 облилось румянцем / вдруг облилось румянцем (*ОЗ, 1884, 1887*)

28 *После*: поэтична. — что он мгновенно повернулся лицом к подушке. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 63.

2–3 *Слов*: с улицы несется треск от езды. Везде говор, движение! — *нет.* (*ОЗ, 1884, 1887*)

20 *После*: таскают меня? — хриплым шепотом прибавил Захар. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 64.

18 Что же / Что ж (*ОЗ, 1884, 1887*)

21–22 Где это видано завтрак / Где это видано завтракать (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 65.

18 И так нет! / да и так нет! (*ОЗ, 1884, 1887*)

28 полулист / пол-листа (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 66.

6 от этого другого *что*! / от этого другого-то *что*! (*ОЗ*, *1884*, *1887*)

С. 68.

14 Вы посмотрите, / Вы посмотрите-ка, (*ОЗ, 1884, 1887*)

20 *После*: что делать? — спросил он (*ОЗ, 1884, 1887*)

21 *После:* — Поезжайте в Киссинген, — или в Эмс, — (*1884, 1887*)

23 Там проживете / Там проживите (*ОЗ, 1884*)

26 «Вот еще!» — шепнул Обломов. / «Вона!» — подумал Обломов. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 69.

30 уморить меня? — / уморить, что ли, меня? — (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 70.

23 табак уже уехал... / табак уж уехал... (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 71.

3 картины приколотить — / картинки приколотить — (*ОЗ, 1884, 1887*)

8 Я / Да я (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 73.

43 Трескает он / Трескает-то он (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 75.

12 *После*: всхлипывать. — сипенье и хрипенье слились в этот раз в одну, невозможную ни для какого инструмента ноту, разве только для какого-нибудь китайского гонга или индийского тамтама. *(ОЗ, 1884, 1887)*

С. 76.

32 наступила / наступала (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 77.

4 изложить план на бумаге / изложить план на бумагу (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 80.

13–14 представляет / представлял *(ЛС, ОЗ, 1884, 1887)*

С. 82.

1–2 о чем, о ужас, напечатано было даже в газетах. / о чем уже умолчать никак было нельзя. (*1884, 1887*)

3 Не наказал господь / Не наказывал господь (*ЛС, ОЗ, 1884, 1887*)

41–42 населил наше воображение Вальтер Скотт. / населило наше воображение перо Вальтера Скотта. *(ЛС, ОЗ, 1884, 1887)*

С. 84.

31–32 лежал / лежит *(ЛС, ОЗ, 1884, 1887)*

С. 92.

36 слушает ее, / слушал ее, *(ЛС, ОЗ, 1884, 1887)*

С. 96.

21 выговаривает / выговаривало *(ЛС, ОЗ, 1884, 1887)*

28 батюшко-то его, / батюшка-то его, (*ОЗ, 1884*)

С. 97.

15–16 тихо застывали и незаметно испускали / тихо застывая и незаметно испуская (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 99.

31 когда его сделали, — / как его сделали, — (*ЛС, ОЗ, 1884, 1887*)

45 *После*: часть плетня — в одном месте *(ЛС, ОЗ, 1884, 1887)*

С. 103.

20 вот как Лука Савич / вот как еще Лука Савич *(ЛС, ОЗ, 1884, 1887)*

27 говорил / говорит *(ЛС, ОЗ, 1884, 1887)*

28 вот / вон *(ЛС, ОЗ, 1884, 1887)*

47 всей комнаты / всей компании (*ЛС, ОЗ, 1884, 1887*)

С. 104.

12 стук сапогов / стук сапог (*ЛС, 1884, 1887*)

16 Смотри-ка! — / Смотрите-ка! — *(ЛС, ОЗ, 1884, 1887)*

С. 105.

9 какие бы то ни было. / какие бы то ни были. (*ОЗ, 1884, 1887*)

30 в гости на неделю, / гостить на неделю, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 106.

1 Придут последние дни: / пришли последние дни: (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 108.

25 трагедия Сумарокова, / трагедии Сумарокова, (*ЛС, ОЗ, 1884, 1887*)

С. 109.

13 супу, да жаркова, / супу, да жаркого, (*ЛС, ОЗ, 1884, 1887*)

С. 110.

38 мечтали о шитом мундире / мечтали и о шитом мундире (*ЛС, ОЗ, 1884, 1887*)

С. 116.

1–2 за эти две бороды, / за эти две бороды-то, (*ОЗ, 1884, 1887*)

16, 19 скажу барину; / скажу барину-то; (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 117.

23–24 — Нет, это такие господа∾не дай бог... / Нет, это такие господа, которые сами выдумывают, что им понадобится, — объяснил Захар.
— Что ж они у вас делают? — спросил дворник.
— Что? Один трубку спросит, другой хересу... — (*1884, 1887*)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

С. 120.

23 Двери распахиваются, / Двери размахиваются (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 125.

8 с помощию / с помощью (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 128.

3 мускулов и нерв, / мускулов и нервов, (*ОЗ, 1884, 1887*)

21–22 с досадой, переносил терпеливо / с досадой, с гордостью и переносил терпеливо (*ОЗ, 1884, 1887*)

29 внутренно был горд / был внутренно горд (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 129.

14 отступался, / оступался, (*ОЗ, 1884, 1887*)

23 среди увлеченья / среди увлечения (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 130.

7–8 *Слов*: что человек вообще слишком испорчен и что нет еще настоящего воспитания» — *нет.* (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 131.

4 уж не мог / уже не мог (*ОЗ, 1884, 1887*)

43 *После*: богу! — сказал Штольц (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 132.

3 *После*: Что же случилось? — спросил Штольц. *(ОЗ, 1884, 1887)*

С. 133.

8 — Вот избаловался человек: с квартиры тяжело выехать! / — Вот избаловался-то человек: с квартиры тяжело съехать! (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 137.

36 *После*: если они таковы? — Зачем так крепко жмут друг другу руки? *(ОЗ, 1884, 1887)*

С. 139.

25 в банке? / в банк? (*ОЗ, 1884, 1887*)
31 — Никуда. / — Ни за что! *(ОЗ, 1884, 1887)*

С. 145.

30 такие сильные / какие сильные (*ОЗ, 1884, 1887*)
31–32 Семенов, Степанов... / Семенов, Алексеев, Степанов... (*ОЗ, 1884, 1887*)
36 увезу / я увезу (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 146.

7 пожелал / пожелал Обломову *(ОЗ, 1884, 1887)*
29 причесывать барина. / причесывать Илью Ильича. (*ОЗ, 1884, 1887*)
35 Он задумался / Обломов задумался *(ОЗ, 1884, 1887)*
40 все, что не прочел, / все, чего не прочел, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 147.

12 на мельницу, / на мельницы, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 148.

9 будил его / будит его *(ОЗ, 1884, 1887)*
15 *Слов*: писал тетради прозы, стихов и плакал над поэтами. — *нет.* (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 150.

27 Она стоит у бюста, / Боже! Она стоит у бюста, *(ОЗ, 1884, 1887)*

С. 152.

26 — Очень охотно... / Да, я очень охотно... (*ОЗ, 1884, 1887*)
36 — думал он, — / подумал он, — (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 153.

31 заметил он. — / заметил Обломов. — (*ОЗ, 1884, 1887*)
32 стало неловко.. / стало так неловко... (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 154.

7 *После:* — Не смею, — отвечал Обломов, — (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 155.

37 чтобы знали, / чтоб знали, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 156.
22–23 вся эта голова... / вся голова... (*ОЗ, 1884, 1887*)
26 начинает кипеть и биться... / начинает будто кипеть и биться. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 158.
42 остановилась, усталая, / остановилась, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 159.
14 долго, / она долго, (*ОЗ, 1884, 1887*)
20 и никогда / и иногда (*1884, 1887*)

С. 160.
9 все эти передовые люди, / все эти Жорж Занды, (*ОЗ, 1884, 1887*)
19 после остаются / после них остаются (*ОЗ, 1884, 1887*)
41 разыгрался комизм, / разыгрывался комизм, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 161.
13 не начинала жить! / не начала жить! *(ОЗ, 1884, 1887)*
17 спасает / спасет (*ОЗ, 1884, 1887*)
25 дрожал, / и дрожал, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 162.
22 (Она сильно покраснела) / Она сильно покраснела — (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 163.
13 — Не получили вы письма / — Не получили ли вы письма (*ОЗ, 1884, 1887*)
14 *После*: — Получил. — отвечал Обломов. (*ОЗ, 1884, 1887*)
27 Она молчала. Потом сорвала ветку / Она молчала. Она сорвала ветку (*ОЗ*)
46 *После*: я напишу. — сказала она. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 164.
27 выпрямившись, / выпрямилась *(ОЗ, 1884, 1887)*
29 *После*: Глаза ее — вдруг (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 165.
9 Нечего делать, / Теперь, нечего делать, (*ОЗ, 1884, 1887*)
11–12 чтоб вы позволили себе... / чтоб вы позволили... (*ОЗ, 1884, 1887*)
46 спросила она мягко, / спросила она, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 166.
10 прибавила она кротко, — / прибавила она мягко, — (*1884, 1887*)
28 начертал / начертил (*1884, 1887*)

С. 167.
30 выколоти / выколоти-ко (*ОЗ, 1884, 1887*)
32 *После*: в кухню», — говорил он. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 172.
7 и пытливый взгляд / а пытливый взгляд (*ОЗ, 1884, 1887*)
9 пробирался луч мысли, и вдруг все лицо озарилось догадкою. . / про-

бирался луч мысли, догадки и вдруг все лицо озарилось сознанием... (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 176.

21 тяжеле прежней. / почему-то тяжеле прежней. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 179.

7 *После*: в город перееду, — сказал Обломов. (*ОЗ, 1884, 1887*)
10 *После*: станем переезжать? — отвечал он. (*ОЗ, 1884, 1887*)
25 *После*: готов. — сказал Обломов. (*ОЗ, 1884, 1887*)
35 *После*: барышню? — спросил Обломов. (*ОЗ, 1884, 1887*)
41 *После*: что, мол, ему делается?.. — отвечал Захар. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 181.

32 тихо и незаметно, / тихо и осторожно, (*ОЗ, 1884, 1887*)
40 там, / на дне его души, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 183.

20 Заниматься можно, / Заниматься! Заниматься можно, (*ОЗ, 1884, 1887*)
31 *После*: Например, мое. — сказал он. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 184.

34–35 Он с восторгом, украдкой кидал взгляд на ее головку, на стан, на кудри и сжимал судорожно ветку. / Он то с восторгом, украдкой кидал взгляд на ее головку, на стан, на кудри, то сжимал ветку. (*ОЗ, 1884, 1887*)
36 — Опять жизнь, опять надежды! — / — Это все мое! Мое! — (*ОЗ, 1884, 1887*)
44 никогда не спрашивала, / никого не спрашивала, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 186.

15 ехала / ехала и (*ОЗ, 1884, 1887*)
42 силы. / новой силы. (*ОЗ, 1884, 1887*)
45 кто-то наклонится / кто-то ночью наклонится (*ОЗ, 1884, 1887*)
46 — шепнет она, вздрогнув, но с улыбкою, / — повторит она иногда с улыбкой, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 187.

5 образ Ольги / образ Ольги, во весь рост, (*ОЗ, 1884, 1887*)
6 она тут. / она тут, тут. (*ОЗ, 1884, 1887*)
38 чрез / через (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 188.

27 *После*: делали? — спросила она. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 189.

8 его существованием / существованием Обломова (*ОЗ, 1884, 1887*)
27 изумленный взгляд: / ее изумленный взгляд: (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 190.

28 *После*: оно и непохоже. — сказала она. (*ОЗ, 1884, 1887*)

32 Не странно ли, что, и в горе, и в счастии, / а, между тем, странно, и в горе, и в счастьи, (*ОЗ, 1884, 1887*)
34 мне так же, как / мне бы так же, как (*ОЗ, 1884, 1887*)
37 И на ее лице / На лице ее (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 191.
3 я не знаю, боюсь этого: / я не люблю этого: (*ОЗ, 1884, 1887*)
4–5 долго и задумчиво, как будто мысленно поверяла / долго, как будто поверяла (*ОЗ, 1884, 1887*)
17 повторила она почти про себя, все еще вникая / говорила она задумчиво, как будто вникая (*1884, 1887*)
44 *После*: — Что ж жизнь, по-вашему? — спросил Обломов. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 192.
7 *Фразы*: Одно без другого невозможно. — *нет*. (*ОЗ, 1884, 1887*)
38 раздается / раздастся (*ОЗ, 1884, 1887*)
42 — добавила она. / — сказала она и засмеялась. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 193.
4–5 все проникнуто истиной и симпатией. / все говорит. (*ОЗ, 1884, 1887*)
9 *После*: отчего же? — спросила она. (*1884, 1887*)

С. 194.
36 сегодня стремишься к желаемому страстно, / сегодня достигаешь желаемого страстно, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 195.
15–16 *После*: к биению своего сердца, — потом ощупал его руками, поверил, увеличилась ли отверделость там, наконец, (*ОЗ, 1884, 1887*)
27–28 раздалось вдруг в памяти, и сердце начинало согреваться, но потом похолодело. / раздалось вдруг опять в памяти, и сердце начинало согреваться, но вдруг опять похолодело. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 198.
27 *После*: как она». — с той ветки, на которую сели невзначай!» (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 199.
17 *После*: Подай сюда! — сказал Обломов. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 200.
25 все так тихо, / так все тихо, (*ОЗ, 1884, 1887*)
40 прижала платок / и прижала платок (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 201.
8 *После*: сидел — подле нее, (*ОЗ, 1884, 1887*)
46 заплакала. / заплакала она. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 202.
1–2 После: — не правда ли? — перебила она. (*ОЗ, 1884, 1887*)
2–3 вы бы сегодня / вы бы и сегодня (*ОЗ, 1884, 1887*)
17 *После*: нельзя оправдать — результатов (*ОЗ, 1884, 1887*)

41 халат вам будет дороже? / халат ваш будет вам дороже? (*ОЗ, 1884, 1887*)

44 *После*: — Отчего невозможно? — спросила она. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 204.

11–12 «Ведь не одна любовь, / «Ведь это не одна любовь, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 205.

15 *После*: оно было необходимо. — решила она. (*1884, 1887*)

С. 206.

1 не выдумала их, / не выдумывала их, (*ОЗ, 1884, 1887*)

15 расставаться, — / расстаться, — (*ОЗ, 1884, 1887*)

20 Глаза у ней горели / Глаза у ней сияли (*ОЗ, 1884, 1887*)

37 шептал он, / бормотал он, (*ОЗ, 1884, 1887*)

42–43 появлялось на одной щеке, пропадало, потом являлось на другой. / появлялось то на одной щеке, то на другой. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 207.

30 спрашивал он, / думал он, (*ОЗ, 1884, 1887*)

32 думал он, / опять думал он (*ОЗ, 1884, 1887*)

39 она все меняется, все движется куда-то / она движется все куда-то (*ОЗ, 1884, 1887*)

40 говорил Штольц. / говорит Штольц. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 208.

6 он посылал / он звал (*ОЗ, 1884, 1887*)

37 вон чего захотел! / вона чего захотел! (*ОЗ, 1884, 1887*)

39 не отвечал ему, / не отвечает ему, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 209.

17 пересиливает не только судьбу, / не только пересиливает все грозы судьбы, (*ОЗ, 1884, 1887*)

41 в ее отношениях / во всех ее отношениях (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 210.

38 крепко пожмет руку, / пожмет руку, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 212.

13–14 улыбалась странно, бессознательной улыбкой, / улыбалась странной, бессознательной улыбкой, (*ОЗ, 1884, 1887*)

17 оставляя ему обе руки, / оставляя обе руки, (*ОЗ, 1884, 1887*)

29 щеки рдеют румянцем, / на щеках рдеют два розовые пятна; (*ОЗ, 1884, 1887*)

43 утром ходила / долго утром ходила (*ОЗ, 1884, 1887*)

44 теряясь в догадках, / терялась в догадках, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 213.

4 А другой на его месте... / А другой? Другие смотрят так дерзко... (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 214.
33 и не намекала ему. / и не намекала Обломову. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 216.
24 честного / благородного (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 217.
26 — А я! — / — А я-то! — (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 218.
24 — пристала она. / — приставала она. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 219.
5 *После*: Как? — спрашивала она. — (*ОЗ, 1884, 1887*)
14 *После*: — Ты говорил. — сказала она. (*ОЗ, 1884, 1887*)
20 *После*: — Еще. . . — да только. — ответил он. (*1884, 1887*)
28 *После*: спросила — она (*ОЗ, 1884, 1887*)
43 читала у него / читала (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 220.
3 няня Кузьминишна! — / няня Кузьминична! — (*ОЗ, 1884, 1887*)
39 *После*: отвечала ей? — спросил он. (*ОЗ, 1884, 1887*)
41 *После*: ты краснеешь! — с ужасом сказал он. (*1884, 1887*)

С. 221.
31 *После*: я преступница: — и ты тоже: (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 223.
20–21 с покойной гордостью / с спокойной гордостью (*ОЗ, 1884, 1887*)

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

С. 226.
21 *После*: Ведь ты не видал? — сказал Тарантьев. (*ОЗ, 1884, 1887*)
22 *После*: — И видеть не хочу, — отвечал Обломов. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 227.
36 Приезжай смотреть. / Приезжай посмотреть. (*ОЗ, 1884, 1887*)
45 *После*: достался? — отозвался Тарантьев. (*ОЗ, 1884, 1887*)
46 *После*: прибавлю на обед. — сказал Обломов. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 228.
1 я заплачу. / заплачу. (*ОЗ, 1884, 1887*)
15 выпучил глаза в ответ / выпучил глаза (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 229.
11–12 живут так весь век. И Андрею это нравится! / живут так, как будто в этом вся жизнь. И Андрею она нравится! (*ОЗ, 1884, 1887*)
19 мыслью. / какою-то мыслью. (*ОЗ, 1884, 1887*)
38 *После*: С чего начать? — спрашивал он. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 230.
23 Сейчас поезжай / Сейчас и поезжай (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 231.

4 установленных / уставленных (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 232.

21 просила подождать. — / попросила подождать. (*Атеней, ОЗ, 1884, 1887*)

С. 233.

28 я все забываю, / я не знаю, (*Атеней, ОЗ, 1884, 1887*)

39 *После*: бывает у вас? — спросил Обломов. (*Атеней, ОЗ, 1884, 1887*)

45 — Вы часто ходите со двора? / — Вы часто выходите со двора? — спроспл Обломов. (*Атеней, ОЗ, 1884, 1887*)

С. 234.

41 — Надо бы это разобрать, — / — Надо бы это было разобрать, — (*Атеней, ОЗ, 1884*)

С. 235.

22 — Вы передайте, / — Вы им передайте, (*Атеней, ОЗ, 1884, 1887*)

29–30 — Ужели и Михей Андреич приходит?
— Ей-богу, правда. /
— Ужели и Михей Андреич приходит? — спросил Обломов.
— Ей-богу, правда, — прибавила она. (*Атеней, ОЗ, 1884, 1887*)

34 *После*: и пыль стереть. — спросила она. (*Атеней, ОЗ, 1884, 1887*)
После: — Я не перееду. — сказал он. (*Атеней, ОЗ, 1884, 1887*)

С. 236.

12 *После*: — Да, на днях я заеду. — сказал Обломов. (*Атеней, ОЗ, 1884, 1887*)

С. 238.

9 нюхает спирт, / нюхает свой спирт, (*ОЗ, 1884, 1887*)

41 легкий сюртучок, / свой дикий сюртучок, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 239.

15 локтями / локтями-то (*ОЗ, 1884, 1887*)

31 баба? / баба-то? (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 240.

9 застенчиво отвечала она. / отвечала она. (*1884, 1887*)

13 *После*: Чей это такой сухой кашель? — спросил Обломов. (*ОЗ, 1884, 1887*)

14 она / она у нас (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 241.

20 *После*: — Я был, да вас не было. — перебил Обломов. (*1884, 1887*)

С. 242.

8 *После*: будущего года» — прочитал Обломов. (*ОЗ, 1884, 1887*)

9 — говорил Обломов. — / — говорил он. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 243.

7 *После*: вам здесь будет удобно. — прибавил он. (*ОЗ, 1884, 1887*)

25 *После*: Ведь денег-то нет у нас! — спросил он. (*1884, 1887*)
35 *После*: — Где помнить? — отозвался Захар. (*1884, 1887*)

С. 244.
43 он улыбался, / он улыбнулся, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 245.
6 подняла завесу / приподняла завесу (*ОЗ, 1884, 1887*)
32 выгребала / выгребла (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 246.
1 завистию / завистью (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 247.
8 *После*: всегда есть: — сказала она, — (*ОЗ, 1884, 1887*)
30 сказал он, — / сказал Обломов, — (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 248.
28 с изумлением спросила / вдруг с изумлением спросила (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 249.
7 Через пять минут / Чрез пять минут (*ОЗ, 1884, 1887*)
26 он не слышит. / он и не слышит. (*ОЗ, 1884, 1887*)
33 устремлен на него. / устремлен был на него. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 250.
45 где был Захар, / где стоял Захар, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 251.
10 «поэтический миг», / поэтический миг, (*ОЗ, 1884, 1887*)
33 счел ее / счел это (*ОЗ, 1884, 1887*)
43 *После*: — Поди сюда! — сказал Илья Ильич. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 252.
23 *После*: — Я хочу с тобой говорить, а не с Анисьей. — возразил Обломов. (*ОЗ, 1884, 1887*)
25 *После*: — Я не выдумывал. — сказал Захар. — (*ОЗ, 1884, 1887*)
28 *После*: Анисья мне... — говорил Захар. (*ОЗ, 1884, 1887*)
40 женщины, / разные женщины, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 253.
11 *После*: осматривая стены. — комнаты. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 254.
4 *После*: — Ведь вы велели стоять! — сказал Захар. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 255.
27 как их зовут. / как их и зовут. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 256.
14 отложил свидание / отложить свидание (*ОЗ, 1884, 1887*)
32 Пришло послезавтра. / Пришло и послезавтра. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 257.

47 взглянула / заглянула (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 258.

15 *После*: — И нет, и быть не может! — возразил Обломов. (*ОЗ, 1884, 1887*)

16–17 *После*: — поговорим лучше о другом. — беззаботно сказала она. (*ОЗ, 1884, 1887*)

43 *После*: — Что? — с испугом спросил он. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 259.

11 *После*: Из магазина. — отвечала она. (*ОЗ, 1884, 1887*)

18 спросила / вдруг спросила (*ОЗ, 1884, 1887*)

30 *После*: — А ты как? — говорил он. (*ОЗ, 1884, 1887*)

41 *После*: — Я не шучу, право так! — сказала она покойно, — (*ОЗ, 1884, 1887*)

44 *После*: — А если человек воротится? — спросил он. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 260.

25 — спросила она, отрезвляясь от задумчивости. / — спросила она с нетерпением. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 261.

3 хочу, чтоб взгляды / чтоб взгляды (*ОЗ, 1884, 1887*)

23 заметил он. / прибавил он. (*ОЗ, 1884, 1887*)

25–26 Она глядела сухо / спросила она, глядя сухо (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 262.

20–21 живо представив себе, / как можно! Он живо представил себе, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 263.

26 Она / и она (*1884, 1887*)

38 *После*: сделайте одолжение, — говорил Обломов, — (*ОЗ, 1884, 1887*)

44 *После*: — Ужели и Маша привыкает? — спросил Обломов. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 264.

35 — прибавпл он / — прибавил Обломов (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 265.

27 сняли, / уже сняли, (*ОЗ, 1884, 1887*)

27–28 Нева собралась уже замерзнуть. / Нева собралась замерзнуть. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 267.

17 Как же быть? / Как же быть-то? (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 268.

32 а в апреле / и в апреле (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 270.

13 Как? Что ты? / Как ты? Что ты? (*ОЗ, 1884, 1887*)

21 *После*: Как можно ей сюда? — сказал Обломов. (*ОЗ, 1884, 1887*)

29 говорил он. / говорил Обломов. (*ОЗ, 1884, 1887*)

44 *После*: — Да куда я пойду семь верст киселя есть? — отговаривался Захар. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 271.

17 будет готово... / будет готов... (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 272.

12 *После*: — Не ячмень ли сел? — спросила она. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 275.

32 тот же огонь / этот же огонь (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 276.

21 прочесть / и прочесть (*ОЗ, 1884*)

29 нежность и грация теряют / сила нежности и грации теряет (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 277.

27 *После*: — Что говорят? — спросил Обломов. (*1884, 1887*)

С. 279.

24–25 да, через год, / да, да, через год, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 282.

40 *После*: такого человека? — спросил Обломов. (*1884, 1887*)

С. 284.

32 *После*: — Что ты? — с изумлением сказал Тарантьев. (*ОЗ, 1884, 1887*)

45 *После*: непреклонна!» — Ее трудно убедить...» (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 285.

2 перед спальней, / перед спальной, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 287

18 я решился сам / я решил сам (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 288.

7 разбитым голосом. / томным голосом. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 290.

8 бейте, позорьте меня!..» / бейте, бейте, меня!..» (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 291.

39–41 *Слов*: густым слоем∾отчаянно, — *нет*. (*ОЗ*)

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

С. 294.

15 пулярдку, / пулярку, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 296.

16–17 Ваня и Маша / Ваня или Маша (*ОЗ, 1884, 1887*)

24 взглядывая в дверь, / взглядывала в дверь (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 297.

10 посмотрит на кастрюлю, / смотрит на кастрюлю, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 300.

26 *После*: к ужину? — спрашивает он. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 302.

26 *Слов*: стукнув дышлом в забор, — *нет.* (*ОЗ, 1884, 1887*)

41 чрез плетень / через плетень (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 305.

4 *После*: Не любовь ли? — спросил Штольц. (*ОЗ, 1884, 1887*)

5 с вздохом / со вздохом (*ОЗ, 1884, 1887*)

38 уснул! / заснул! (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 306.

26 *После*: — Она не поверит. — возразил Штольц. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 307.

14 вот что сделай, кум, — / вот что сделаешь, кум, — (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 309.

22 сидит у ней, / сидит у нее, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 312.

10 спрашивал он. / спрашивал Штольц. (*ОЗ, 1884, 1887*)

15–16 глядя в глаза Ольге. / впиваясь глазами в Ольгу, изучая каждую жилку, глядя ей в глаза. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 314.

2–3 ловить его взгляд, каждое слово, / ловить в его взгляде, в каждом слове, (*ОЗ, 1884, 1887*)

16 решать вопрос / решать и вопрос (*ОЗ, 1884, 1887*)

33 *После*: и ни на кого более. — в целом мире. (*1884, 1887*)

С. 315.

1–2 что-нибудь похоже на это, / что-нибудь похожее на это, (*ОЗ, 1884, 1887*)

31 — я плакать готова, / — плакать готова, (*1884, 1887*)

С. 316.

25 не проронит слова, / но не проронит слова, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 317.

5 порождают боль и стоны, / порождают стоны, (*ОЗ, 1884, 1887*)

7 не шутит / не шутил (*ОЗ, 1884, 1887*)
14 А что ж Ольга? / А что же Ольга? (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 319.
15–16 как она выпутается из этих жизненных дилемм, / как она выйдет из этого положения, (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 320.
7–8 «добрыми делами» / добрыми делами (*ОЗ, 1884, 1887*)
13 *Слов*: и от счастья, и от ужаса, — *нет.* (*ОЗ, 1884, 1887*)
21–22 чтоб он видел и искупление. Но силы нет: где взять ее? Или поступить, как поступают / чтоб он видел и искупление. Она слыхала, как поступают (*1884, 1887*)
36 терзалась она / терзалась Ольга (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 321.
19 нужно говорить с вами, — / нужно поговорить с вами, — (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 322.
1 вырвалось у нее. / вырвалось у ней. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 323.
12 в ясность и порядок / в ясность и в порядок (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 324.
4 стараясь выговорить / стараясь выговаривать (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 326.
13 *После*: стало празднично. — Ей было легко. (*ОЗ, 1884, 1887*)
37 перед вами / пред вами (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 328.
5 Но вдруг / Но вдруг он (*ОЗ, 1884, 1887*)
17 «Перед вами / «Пред вами (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 329.
4 — Отчего же / — Отчего ж (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 330.
28 расползался / расползается (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 331.
24 лучше Ванюшу: / лучше Ванюшу, что (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 333.
25 из известного сундука / из заветного сундука (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 335.
26 *После*: не ждали... — Да если б можно бульон какой-нибудь. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 336.
9 *После*: Я думал, что ты забудешь. — сказал Штольц. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 343.
22 *После*: Ты что за святой! — возразил кум. (*ОЗ, 1884*)
39 *После*: знать ничего не знаю! — говорил он, — а (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 344.
36 говорил он, ударяя по столу кулаком. / говорил он, оживляясь. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 345.
7 всей дружбой / я всей дружбой (*ОЗ, 1884, 1887*)
21 тупоумия, грубости — / тупоумия, грубость — (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 350.
7 без натяжек. / без злоупотреблений. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 355.
28–29 Она сухо улыбнулась.
— Что ты, спать хочешь? — спросил он. /
Она сухо улыбнулась.
— Да, ты сказывал, — равнодушно отозвалась она.
— Что ты, спать хочешь? — спросил он. (*1884, 1887*)

С. 356.
23 *После*: боюсь, — продолжала она, — (*ОЗ, 1884, 1887*)
32 робко / так робко (*ОЗ, 1884, 1887*)
47 *После*: — Что ж ты молчишь? — спросила она с нетерпением. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 357.
10 *После*: говори! — нетерпеливо приставала она. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 358.
15 *После*: освежают жизнь. — говорил он. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 365.
19 реформе. / перемене. (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 371.
28 *После*: — Какой же посланник? — спросил Обломов. (*ОЗ, 1884, 1887*)
37 — Разве это политика? — / — Вона! Разве это политика? (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 374.
9 *После*: — Ах, как это можно! — перебил Обломов. (*1884, 1887*)

С. 375.
5 не смел взглянуть / не смея взглянуть (*ОЗ, 1884, 1887*)
36 *Слов*: когда меня не будет!.. — *нет.* (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 376.

31 является по временам / появляется по временам (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 379.

14 гордым молчанием. / покорным молчанием. (*ОЗ, 1884, 1887*)

20–21 в эту жизнь / в ее жизнь (*ОЗ, 1884, 1887*)

С. 382.

10 иногда задумываюсь, / иногда задумаюсь, (*ОЗ, 1884, 1887*)

1887

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

С. 29.

10–11 — Куда?
— А в Екатерингоф?.. /
— А что?
— Да в Екатерингоф? (*1884*)

С. 30.

45–46 туда положил. / тут положил.

С. 32.

22 с слабой надеждой, / с сладкой надеждой, (*1884*)

С. 88.

43–44 знания и забот / занятий и забот

С. 103.

11–12 шипят∽нитки. / скрипят∽нитки. (*1884*)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

С. 161.

33 «Дернуло меня, брякнул!» — / «Дернуло меня брякнуть!» — (*1884*)

45–46 хоть сквозь землю провалиться! / хоть сквозь землю провались! (*1884*)

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

С. 249.

35–36 Вон, кивает теперь, / Вон, кажется, теперь, (*1884*)

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

С. 327.

5 О чем не плачут женщины? / О чем не заплачут женщины?

С. 334.

18–19 — Нет, маменька, это само разорвалось! — сказал Ваня.
— Утри нос, не видишь? — заметила она, бросив ему платок. /

— Нет, маменька, это само разорвалось, — сказал Ваня.

— То-то само! Сидел бы дома да твердил уроки, чем бегать по улицам! Вот когда Илья Ильич опять скажет, что ты по-французски плохо учишься, — я и сапоги сниму: поневоле будешь сидеть за книжкой!

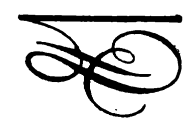
— Я не люблю учиться по-французски.

— Отчего? — спросил Обломов.

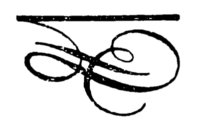
— Да по-французски есть много нехороших слов...

Агафья Матвеевна вспыхнула, Обломов расхохотался. Верно и прежде уже был у них разговор о «нехороших словах».

— Молчи, дрянной мальчишка, — сказала она. — Утри лучше нос, не видишь? (*1884*)



ПРИЛОЖЕНИЯ



Л. С. Гейро

РОМАН И. А. ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ»

Среди крупнейших произведений русской литературы XIX в., определивших ее неповторимое своеобразие, одно из первых мест принадлежит роману «Обломов».

Впервые опубликованный в 1859 г., роман Гончарова до настоящего времени сохраняет свое обаяние как произведение высокого нравственного пафоса, беспощадной авторской откровенности, подлинного гуманизма. Глубокое знание «механизма» жизни, эпический талант, мастерство психологического анализа, точность социальных характеристик позволили Гончарову в эпоху бурного общественно-политического подъема в России найти исключительно емкое и выразительное определение стоявшего на пороге своей гибели дореформенного уклада русской жизни — «обломовщина». Это определение неоднократно было использовано В. И. Лениным для характеристики всего отжившего, тормозящего общественное развитие и развитие личности.

В середине 1870-х гг., рассматривая в статье «Лучше поздно, чем никогда» истоки своего творчества, Гончаров заметил: «.. от Пушкина и Гоголя в русской литературе теперь еще пока никуда не уйдешь. Школа пушкино-гоголевская продолжается доселе, и все мы, беллетристы, только разработываем завещанный ими материал. ‹. .› Поэтому не удивительно, что черты пушкинской, лермонтовской и гоголевской творческой силы доселе входят в нашу плоть и кровь, как плоть и кровь предков переходит к потомкам».[1] Учитывая это имеющее принципиальное значение высказывание Гончарова, представляется вполне уместным обратиться к двум суждениям его великих предшественников для того, чтобы определить с их помощью суть преемственности и новаторства в творчестве Гончарова-романиста.

В 1830 г. на страницах «Литературной газеты» А. С. Пушкин заметил: «В наше время под словом *роман* разумеем историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании» (*Пушкин*, т. 7, с. 102). Н. В. Гоголь в 1835 г. на страницах «Арабесок» в статье о Пушкине писал: «...чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту,

---

[1] *Гончаров И. А.* Собр. соч.: В 8-ми т. М., 1980, т. VIII, с. 111, 112. Далее это издание цитируется с указанием тома и страницы в тексте.

чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было между прочим совершенная истина» (*Гоголь*, т. 8, с. 54).

Между этими годами — один из самых ответственных периодов в жизни Гончарова: Московский университет (1831—1834) и приезд в Петербург (1835). В Москве он пережил запомнившееся ему на всю долгую жизнь событие: появление на одной из университетских лекций Пушкина («для меня точно солнце озарило всю аудиторию...» — VII, 241). В Петербурге он узнал о трагической гибели великого поэта («...в моей скромной чиновничьей комнате, на полочке, на первом месте стояли его сочинения, где все было изучено, где всякая строчка была прочувствована, продумана... И вдруг пришли и сказали, что он убит, что его более нет... <...> Я не мог понять, чтобы тот, пред кем я склонял мысленно колени, лежал бездыханен. И я плакал горько и неутешно, как плачут по получении известия о смерти любимой женщины... Нет, это неверно — о смерти матери. Да! Матери!..»).[2]

Светом пушкинского творчества была озарена вся жизнь Гончарова. Мы не можем утверждать, что молодой Гончаров читал знаменательные слова Пушкина о романе и Гоголя о Пушкине. Но его произведения, в особенности «Обломов», классический образец русского романа, оказались, как было очевидно уже современникам и как подтвердила история русской литературы, одним из самых мощных и убедительных свидетельств правоты этих слов.

«Сон Обломова» — «увертюра всего романа» (VIII, 111) — появился на страницах «Литературного сборника с иллюстрациями», изданного редакцией журнала «Современник» в 1849 г. Разрешение на выход в свет сборника было дано цензурой 22 марта. Обратимся к свидетельству современников этого события, чтобы понять состояние русской интеллигенции, потрясенной ожесточенным правительственным террором эпохи «мрачного семилетия», наступившим вслед за европейскими революциями 1848 г. В феврале 1849 г. И. С. Аксаков пишет стихотворение, которому суждено было увидеть свет только в 1859 г.:

Пусть гибнет все, к чему сурово
Так долго дух готовлен был:
Трудилась мысль, дерзало слово,
В запасе много было сил...
Слабейте, силы! вы не нужны!
Засни ты, дух! давно пора!
Рассейтесь все, кто были дружны
Во имя правды и добра!

В июне 1849 г. Т. Н. Грановский пишет А. И. Герцену: «Положение наше становится нестерпимее день ото дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас новою стеснительною мерою. Доносы идут тысячами. <...> Деспотизм громко говорит, что он не может ужиться с просвещением. <...> О литературе и говорить нечего. Есть с чего сойти с ума.

---

[2] *Гончаров в воспоминаниях*, с. 255—256.

‹...› Много порядочных людей впали в отчаяние и с тупым спокойствием смотрят на происходящее. Когда же развалится этот мир? ‹...› Слышен глухой общий ропот — но где силы для оппозиции? — Тяжело, Герцен, а выхода нет живому».[3]

Появившийся в такое время гончаровский «эпизод из неоконченного романа» не мог не обратить на себя внимание читателя и критики. Мемуары современников свидетельствуют о том, что многие по достоинству оценили общественно-политическое и художественное значение этого произведения, положившего начало резкой критике явления, названного позднее «обломовщиной». Но, по условиям времени, печать не могла должным образом отреагировать на публикацию. Даже «Современник» в лице Н. А. Некрасова вынужден был ограничиться такой информацией: «„Сон Обломова“ ‹...› эпизод, который, впрочем, имеет в себе столько целого и законченного, что его можно назвать отдельной повестью, — есть образчик того нового произведения, которое, нет сомнения, возобновит, если не усилит, прекрасные впечатления, оставленные в читателях за два года перед этим напечатанною в Современнике „Обыкновенною историею“. В этом эпизоде снова является во всем своем художественном совершенстве перо-кисть г. Гончарова, столько замечательная в отделке мельчайших подробностей русского быта, картин природы и разнообразных, живых сцен. Мы удерживаемся хвалить этот эпизод только потому, что он помещен в нашем издании».[4]

Лишь через 10 лет в том же «Современнике» демократическая мысль получила возможность определить свое отношение к одному из самых социально острых произведений XIX в., оценив теперь уже полностью написанный роман как нечто «более, нежели просто удачное создание сильного таланта». Русская революционная демократия в лице Н. А. Добролюбова увидела в «Обломове» «произведение русской жизни, знамение времени» (*Добролюбов*, т. 4, с. 314).

Пока же, в конце 1840-х гг., в подцензурной печати возможен был лишь принципиально иной подход к «обломовщине», впрочем, так же чреватый серьезными последствиями, точнее говоря — заложивший основу так называемой «эстетической критики» будущего романа. Отзываясь на «Сон Обломова», рецензент «Москвитянина», скрывший свое имя под буквами «А. В.» (взгляд из будущего позволяет сопоставить этот отзыв с выступлениями А. В. Дружинина, о которых речь впереди), писал: «Способность сочинителя к фламандской школе и вместе к гогартовскому роду ярко высказывается этим отрывком из романа. Описание пошлостей жизни в захолустье отчетливо до порошинки; ярко наброшенные тени на невозмутимую тишину, на это наружное во всем бессмыслие и беззаботность обрисовывают *застой* жизни как нельзя лучше; но иронический тон красок нейдет к захолустьям; тут нет виноватых. Мало ли на земном шаре мест, где жизнь еще прозябает и не дает еще плодов. Если в этих захолустьях живет еще только сер-

---

Звенья. М.; Л., 1936, т. VI, с. 359, 360, 361.
[4] Современник, 1849, № 4, отд. III, с. 97, 98.

дечная, хотя и неразумная доброта, необщительная простота, то над ними нельзя трунить, как над детьми в пеленках, которые несмотря на свое неразумие очень милы, что доказывает и „Сон Обломова“».[5]

Заявленная в «Сне Обломова» тема постепенно оказывается определяющей и на долгое время становится названием будущего романа.

Надо полагать, что первоначальное название (в рукописи оно не отражено, окончательный вариант вписан, сколько можно судить по почерку, значительно позже) связано было именно с I частью романа, преимущественно посвященной разоблачению «обломовщины» как социально опасного явления русской жизни середины XIX в. Последующая трансформация названия обусловлена резким изменением первоначального замысла, выдвижением в идейный и психологический центр повествования судьбы одного героя, человека большого сердца и высоких нравственных принципов, жизнь которого определяется гнетущим воздействием крепостнического уклада, проникающим во все сферы общественного бытия и общественного сознания. Особая заслуга Гончарова состоит в том, что при таком повороте замысла тема «обломовщины» не только не «потерялась» на страницах романа, но приобрела еще более мощное звучание, получила колоссальный общественно-политический и нравственный резонанс.

В 1852 г. в Петербурге распространяются слухи о том, что Гончаровым написан новый роман «Обломовщина», но автор не надеется увидеть его в печати.

Нельзя исключить, что принятое писателем в августе того же 1852 г. решение отправиться в «дальний и опасный путь» (VIII, 202) — кругосветное плавание на фрегате «Паллада» в качестве секретаря при адмирале Е. В. Путятине, помимо других причин, было вызвано и общественно-политической ситуацией в стране в целом, и конкретными обстоятельствами, связанными с невозможностью печататься: чистейшей утопией были бы надежды на публикацию в условиях жесточайших правительственных репрессий произведения столь резко выраженной антикрепостнической направленности.

Итогом гончаровского путешествия стали очерки «Фрегат „Паллада“». Начиная с первого отдельного издания 1858 г. они открываются очерком «От Кронштадта до мыса Лизарда». «Все было загадочно и фантастически прекрасно в волшебной дали <...>, — писал на его страницах автор будущего «Обломова». — Но вот явился человек, мудрец и поэт, и озарил таинственные углы. <...> внес жизнь, разум и опыт в каменные пустыни, в глушь лесов, и силою светлого разумения указал путь тысячам за собою» (II, 13). Но Гончаров не был бы достойным представителем великой русской литературы XIX в., если бы пафос утверждения безграничных возможностей человека не сочетался в его творениях с глубоким и трезвым социально-критическим анализом современной действительности. И в этом плане «Фрегат „Паллада“» дает нам самые широкие возможности проникнуть в существо гончаровских пред-

[5] Москвитянин, 1849, № 11, кн. 1, отд. IV, с. 76—77.

СОНЪ ОБЛОМОВА.

ЭПИЗОДЪ ИЗЪ НЕОКОНЧЕННАГО РОМАНА.

Гдѣ мы? Въ какой благословенный уголокъ земли перенесъ насъ сонъ Обломова? Что за чудный край!

Нѣтъ, правда, тамъ моря, нѣтъ высокихъ горъ, скалъ и пропастей, ни дремучихъ лѣсовъ, нѣтъ ничего грандіознаго, дикаго и угрюмаго. Да и зачѣмъ оно, это дикое и грандіозное? Море, напримѣръ? Богъ съ нимъ! Оно наводитъ только грусть на человѣка: глядя на него хочется плакать. Сердце смущается робостью передъ необозримой пеленой водъ и не на чемъ отдохнуть взгляду, измученному однообразіемъ безконечной картины. Ревъ и бѣшеные раскаты валовъ не нѣжатъ слабаго слуха: они все твердятъ свою, отъ начала міра одну и ту же пѣснь мрачнаго и неразгаданнаго содержанія; и все слышится въ ней одинъ и тотъ же стонъ, однѣ и тѣ же жалобы будто обреченнаго на муку чудовища, да чьи-то пронзительные, зловѣщіе голоса. Птицы не щебечутъ вокругъ; только безмолвныя чайки, какъ осужденныя, уныло носятся у прибрежья и кружатся надъ водой.

Безсиленъ ревъ звѣря передъ этими воплями природы, ничтоженъ и голосъ человѣка, и самъ человѣкъ такъ малъ, слабъ, такъ незамѣтно исчезаетъ въ мелкихъ подробностяхъ широкой картины. Отъ этого можетъ быть такъ и тяжело ему смотрѣть

Первая страница публикации главы «Сон Обломова» в «Литературном сборнике с иллюстрациями. Издан редакцией „Современника“».

ставлений о коренных проблемах надвигающейся переломной эпохи. Характер ответа на поставленные временем вопросы определял и гражданскую и человеческую ценность личности. Ответы Гончарова не оставляют сомнения в его позиции.

Наблюдая, как под бдительным присмотром нынешнего властителя мира, английского колонизатора, коренные жители острова Мадера «добывали, обливаясь потом, драгоценный сок своей почвы, как катили бочки к берегу и усылали в даль, *получая за это от повелителей право есть хлеб своей земли*» (II, 19, подчеркнуто мною. — *Л. Г.*), Гончаров не только дает одну из самых резких в подцензурной печати тех лет оценку антигуманной сущности британского колониализма, но и выносит суровый приговор российскому крепостному праву.

Постоянно возвращаясь к мысли о судьбах русского народа, вглядываясь в одну из опасных минут на море в лицо своего вестового Фаддеева, Гончаров видит, как «...все отскакивает от этого спокойствия, кроме одного, ничем не сокрушимого стремления к своему долгу — к работе, к смерти, если нужно» (II, 82).

Уже этих слов достаточно, чтобы понять и оценить отношение писателя к русскому национальному характеру в самых коренных его основах, чтобы не задумываться о том, каково отношение писателя к понятию «барин», столь часто и принципиально возникающему на страницах романа «Обломов». Увиденное и передуманное за два года путешествия по континентам и странам, сопоставленное с жизнью родины, «примеренное» на почву «родной Обломовки» (II, 70) отразилось решающим образом на замысле второго гончаровского романа, не было забыто и при работе над третьим. Мысли о России корректировались впечатлениями путешествия, русская действительность, представшая по возвращении на родину, уточняла и углубляла представления, родившиеся и осмысленные за ее пределами. Страшноватый образ «новейшего англичанина», воплощающего собой повседневность делового общества, следуя потребностям которого, человек, сам того не замечая, превращается в хорошо налаженную машину, настойчиво требует успокоительного контраста. И писатель находит его, рисуя на страницах своих очерков образ хозяйственного и распорядительного русского помещика, не чуждого при этом и благородных душевных движений. Эта идиллия, однако, не находит себе места в другом повествовании о русском барине — помещике Илье Ильиче Обломове. Разоряющийся сам и полностью ответственный за обнищание своих крепостных, герой романа мало походит на героя небольшой интермедии, включенной в «очерки путешествия».

Каково же будущее российской Обломовки, почву которой писатель унес с собой в дальние страны, «и никакие океаны не смоют ее!» (II, 70)? Каким образом новейшему реформатору и цивилизатору Штольцу удалось в короткие сроки благоустроить пришедшее в упадок наследственное имение его друга Ильи Ильича? Тому самому Штольцу, о котором так зло и так умно написал И. Ф. Анненский: «. Штольц человек патентованный и снабжен всеми орудиями цивилизации, от Ран-

далевской бороны до сонаты Бетховена, знает все науки, видел все страны: он всеобъемлющ, одной рукой он упекает Пшеницынского братца, другой подает Обломову историю изобретений и ‹открытий›; ноги его в это время бегают на коньках для транспирации; язык побеждает Ольгу, а ‹ум› занят невинными доходными предприятиями» (*Анненский*, с. 268). В романе «Обломов» об этом ни слова. Зато есть указание, что обломовские мужики «пойдут работать насыпь» и обломовский хлеб «по чугунке покатится к пристани» (с. 375).[6] О том, во что обходились мужикам успехи новейшей цивилизации, читатель узнал несколько позже выхода в свет «Обломова» — из статей Н. А. Добролюбова «Опыт отучения людей от пищи» (1860) и В. А. Слепцова «Владимирка и Клязьма» (1861) и, наконец, из некрасовской «Железной дороги» (написана в 1864 г., с цензурными купюрами опубликована в 1865):

Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то все косточки русские...

Кстати, о «невинных доходных предприятиях». Критики романа «Обломов» немалое место уделили недоумевающим рассуждениям о том, чем же собственно так занят Штольц, каковы, так сказать, точки приложения его сил?[7] Надо полагать, они были в своих недоумениях не совсем правы. По всему роману Гончаров весьма умело расставил вехи, по которым довольно легко определиться в деятельности Штольца. Еще легче сделать это по рукописи, где говорится так: «...он понимал, что любовь в лице Ольги помешает ему ездить в Сибирь копать золото, посылать грузы пшеницы за границу, участвовать в компаниях, даже служить казне так, как он понимал службу» (см.: Варианты, с. 493). Но приглядимся к печатному тексту. Вот Штольц вывозит Обломова «в люди», захватив «с собой обедать одного золотопромышленника» (с. 136). Воспользуемся здесь и далее сведениями не какого-нибудь специального издания, а широко известного Словаря Брокгауза—Ефрона. Из него мы узнаем, что в 1812 г. были разрешены поиски золота немногим частным лицам, в 1838 г. было уже разрешено производство золотого промысла потомственным и личным дворянам, почетным гражданам и купцам первой гильдии в Западной и Восточной Сибири, за исключением нескольких районов. Постепенно снимались и эти ограничения. В итоге, если с 1831 по 1840 г. в России было добыто 4 тыс. 328 пудов 12 фунтов золота, то с 1851 по 1860 г. — уже 15 тыс. 695 пу-

---

[6] Страницы текста романа «Обломов» здесь и далее указываются по настоящему изданию.

[7] А. В. Дружинин заметил по этому поводу: «Весьма подробно и поэтично описывая нам детство Штольца, г. Гончаров так охлаждается к периоду его зрелости, что даже не сообщает нам, какими именно предприятиями занимается Штольц, и эта странная ошибка неприятно действует на читателя, с детства своего привыкшего глядеть неласково на всякого афериста, которого деловые занятия покрыты мраком неизвестности» (*Дружинин. Литературная критика*, с. 305—306).

дов 22 фунта. Такова экономическая ситуация, вырисовывающаяся за одной строкой текста романа. Теперь излюбленные пункты вояжей Штольца. Киев — главный торговый центр свеклосахарной промышленности, самая значительная контрактовая ярмарка, куда съезжались со всего юго-западного края крупные промышленники. Нижний Новгород — знаменитые ежегодные Макарьевские ярмарки, центр всех купеческих расчетов, движение огромных капиталов. Одесса — крупнейший центр хлебного экспорта России, до 1843 г. — статус порто-франко, складочное место для иностранных товаров, распространявшихся не только в России, но транзитом — в Австрии и через Кавказ — в Персии; крупный коммерческий банк способствовал развитию торговли. В 1822 г. вывоз — 3 745 000 р., привоз — 20 062 000 р.; в 1857 г. — вывоз 24 197 000 р., привоз — 13 438 100. Наконец, Крымский полуостров, где Штольц поселился с женой «в тихом уголке, на морском берегу» (с. 347), в те годы едва начинал осваиваться как курортное место, так что и здесь Штольц оказался одним из пионеров. За пределами России. О Лондоне и Париже можно не говорить: все ясно. Лион. После Парижа занимал первое место по производству шелковых тканей. Большая торговля вином, шерстью, хлопком и т. п.

Все это в целом дает достаточно яркое представление о масштабах «негоций» Штольца и одновременно заставляет нас при оценке гончаровского романа внимательнейшим образом учитывать не только общественно-политическую, но и экономическую ситуацию в России времени создания романа.

Итак, говоря, «сколько Штольцев должно явиться под русскими именами!» (с. 130), Гончаров проявил себя как глубокий и точный социолог русского общества эпохи повсеместного наступления капитализма. Но только рассматривая основные идейные и сюжетные коллизии романа «Обломов» в контексте всего гончаровского творчества и в контексте эпохи, можно с достаточной уверенностью судить о позиции автора, о том, кому принадлежат его симпатии, кто из героев романа хотя бы в малой степени приближается к социальному и этическому идеалу Гончарова.

«Сон» и «Пробуждение» (VIII, 111) — так охарактеризовал писатель этапы русской жизни, отразившиеся в его романах. О том, как «общечеловеческий и частный урок» (II, 45), который Гончаров извлек из кругосветного путешествия, повлиял на восприятие романистом центральных событий русской жизни, он не говорил никогда. Однако ни «Обломов», ни «Обрыв» не могут быть глубоко поняты без сопоставления с «Фрегатом „Паллада“». Дело даже не в том, что Штольц и Тушин своим появлением в качестве антагонистов Обломова — Райского — Волохова во многом обязаны впечатлениям, полученным Гончаровым во время путешествия на фрегате. И не в том, что историческая правомерность «обыкновенной истории» первоначального противостояния Александра и Петра Адуева, а затем предельного приближения Александра к типу делового человека, сделавшего «карьеру и фортуну», была подкреплена для Гончарова опытом наблюдений за мощным наступлением

буржуазных идеалов и нравов на возвышенные иллюзии добуржуазного общества.

Суть проблемы состоит в том, что, как очень немногие из его современников, писатель еще в середине 50-х годов мог собственными глазами увидеть, глубоким своим умом проанализировать те изменения, которые совершались во всех аспектах жизни на этапе окончательного становления буржуазного общества. Путешествие Гончарова способствовало проведению почти в идеальных условиях своеобразного социального эксперимента: сопоставлению «классической» страны капитализма Англии, простирающей свое влияние чуть ли не на все континенты, и феодальной Японии, замкнутой в патриархальных традициях далекого прошлого. Отдавая дань преобразовательной деятельности «новейшего англичанина», восхищаясь достижениями науки и техники, Гончаров не принимает машинизации человеческой личности, которую неминуемо несет с собой буржуазный прогресс. Бездуховность, пусть носителем ее будет самый деятельный, вооруженный всевозможными знаниями человек, не могла быть принята Гончаровым. Именно поэтому гончаровские прагматики Петр Адуев, Штольц, Тушин, несмотря на все авторские попытки психологической нюансировки этих характеров, несмотря на то, что Штольцу отдана любовь Ольги, а Тушину — симпатия и доверие Веры, любимых героинь писателя, не могут считаться близкими гончаровскому идеалу человека. В отличие от Александра Адуева, Обломова, Райского, эти герои лишены великой потребности сомнения во всем, критического отношения к себе, представления о том, что истина может лежать вне пределов их образа жизни и их взглядов. Итог их жизни слишком хорошо был известен Гончарову со времен «Фрегата „Паллада“». Попытки их идеализации, самый яркий пример которой — Тушин в «Обрыве», оказались художественно несостоятельными. И сам Гончаров отлично это понимал.

Симпатии Гончарова — историка, психолога, социолога своего времени отнюдь не принадлежат безраздельно Штольцу.

Может быть, они принадлежат Обломову?

Прежде всего, о чем должна говорить читателю фамилия героя, давшая название роману? Понять это тем более необходимо, что, как давно отмечено, фамилия друга и антагониста Обломова, Штольца, переводится с немецкого словом «гордый».[8] Что же противопоставляется в романе «гордости»? Первый ответ подсказывается самим текстом: конечно, это «голубиная нежность» (с. 363) Ильи Ильича. Ответ необходимый, но недостаточный. Какие дополнительные нюансы может нам подсказать фамилия героя?

---

[8] Быть может, не случайно также и его имя Андрей, прочно связанное в христианской традиции со святым Андреем Первозванным, т. е. намекающее на роль Штольца как пионера нового образа жизни. Существенно, что и фамилия предшественника Штольца (в черновой редакции романа) — Почаев (и тоже Андрей) также значащая. В. И. Даль (*Словарь*, т. 3, с. 370) так поясняет слово «починать»: «приступать к делу, браться за что, стать делать, положить чему начало».

Давно уже обращено внимание на зафиксированные в *Словаре* В. И. Даля (т. 2, с. 593) такие значения слова «облом», как «грубый и неуклюжий, мужиковатый человек», возможно здесь и сопоставление со словом «облый» («полный, плотный, толстый, тучный, тяжеловатый» — там же, с. 598). Не следует упускать из виду и старинное значение слова «облый», также зафиксированное В. И. Далем: «округлый, кругловатый» (там же). Вспомним в тексте реплику Штольца: «Точно ком теста, свернулся и лежишь» (с. 134). Последнее значение наводит на ряд сопоставлений, в том числе — и на мысль о толстовском Платоне Каратаеве: «Своего рода персонификацией идеала гармонически развившегося „первобытного“ шара человеческой личности является в „Войне и мире“ образ Платона Каратаева с его „круглыми“ движениями, „круглыми“ головой и фигурой, „круглыми“ глазами и улыбкой, „круглыми“ морщинками, подчеркивающими округлость, т. е. гармоничность его сознания».[9]

В ином плане, выделяя во множестве ассоциаций, связанных с фамилией героя, «значение о б л о м к а», рассматривает эту проблему Ю. М. Лощиц: «В самом деле, что такое обломовское существование, как не обломок некогда полноценной и всеохватной жизни? И что такое Обломовка, как не всеми забытый, чудом уцелевший „блаженный уголок“ — обломок Эдема? Здешним обитателям о б л о м и л о с ь доедать археологический обломок, кусок громадного когда-то пирога. Вспомним, что пирог в народном мировоззрении — один из наиболее наглядных символов счастливой, изобильной, благодатной жизни. ⟨...⟩ „Сонное царство“ Обломовки вращается вокруг своего пирога, как вокруг жаркого светила».[10]

Таков, конечно, не исчерпанный здесь слой разнообразных лексических ассоциаций, преимущественно связанных с народными речениями. Но возможны и литературные параллели, тоже содержательные и богатые, причем, что весьма любопытно, преимущественно поэтические. Вспоминается, например, пушкинская «Моя родословная»:

Родов дряхлеющих обломок
(И по несчастью не один),
Бояр старинных я потомок...

Заметившая эту параллель А. А. Жук считает, что такое «читательское воспоминание ⟨...⟩ бросает на героя уже тень своеобразного „ис-

---

[9] *Купреянова Е. Н.* Публицистика Л. Н. Толстого начала 60-х годов. — В кн.: Яснополянский сборник. Тула, 1955, с. 102. Ранее исследовательница приводит отрывок из рукописи Л. Н. Толстого, где писатель рассуждает о том, что «шар ⟨...⟩ есть образец совершенства», комментируя это высказывание следующим образом: «Именно „естественное совершенство“, „первобытную гармонию“ детской натуры, постепенно уродуемые и нарушаемые „насилием“ над ней общества и воспитания, и имел в виду Толстой, утверждая, что „идеал наш лежит не спереди, а сзади“» (с. 101). См. также: *Галаган Г. Я.* Л. Н. Толстой: Художественно-этические искания. Л., 1981, с. 122; *Лощиц Ю.* Гончаров. 2-е испр. и доп. изд. М., 1986, с. 182.

[10] *Лощиц Ю.* Гончаров, с. 182, 183.

торического фатума“».[11] В этом плане, дополняя исследовательницу, можно назвать и лермонтовское гневное обращение к «надменным потомкам», где аллюзионно звучит пушкинский мотив: «Пятою рабскою поправшие обломки | Игрою счастия обиженных родов!»

Идея оскудения дворянских родов действительно вполне отчетливо прослеживается на страницах романа и в преданиях о «старинном быте и важности фамилии», об «отжившем величии», и в прямом авторском комментарии: «Дом Обломовых был когда-то богат и знаменит в своей стороне, но потом, бог знает отчего, все беднел, мельчал и, наконец, незаметно потерялся между нестарыми дворянскими домами» (с. 11).

Сопоставления такого рода кажутся вполне очевидными и закономерными. Но вот что интересно. Возможным оказывается включение слова «обломок» и в другой ассоциативный ряд, придающий ему иной оттенок, не только социальный, но и философский. Так, В. И. Мельник считает, что поставить вопрос «об исторической взаимосвязи (а не только противоположности) „старой“ и „новой“ правды» мог подсказать Гончарову сборник стихотворений Е. А. Баратынского «Сумерки» (1842). «Речь, — пишет исследователь, — идет о фамилии главного героя романа ‹...› Очевидно, что писатель подчеркнул в ней значение слова „обломок“. Но обломок — чего? На этот вопрос, как нам представляется, помогает ответить одно из стихотворений сборника Баратынского».[12] Вот две строфы этого стихотворения:

Предрассудок! он обломок
Давней правды. Храм упал;
А руин его потомок
Языка не разгадал.

Гонит в нем наш век надменный,
Не узнав его лица,
Нашей правды современной
Дряхлолетнего отца.

Прозвучавшее в стихотворении сопоставление справедливо представляется В. И. Мельнику существенно необходимым для уяснения позиции Гончарова.

Рассуждения о фамилии главного героя романа не сводятся, таким образом, к решению частного, хотя и важного вопроса. Вокруг него группируется ряд проблем, выявляющих диалектику авторской мысли, идейно-художественную концепцию личности Обломова.

Итак, с одной стороны — представление о гармонии, уравновешенности, приобретающее в контексте романа глубокий философский смысл (вспомним обломовский вопрос Штольцу: «Где же тут человек? Где его целость? Куда он скрылся, как разменялся на всякую мелочь?» —

[11] *Жук А. А.* Русская проза второй половины XIX века / Пособие для учителей. М., 1981, с. 45.

[12] *Мельник В. И.* Философские мотивы в романе И. А. Гончарова «Обломов»: (к вопросу о соотношении «социального» и «нравственного» в романе). — *РЛ*, 1982, № 3, с. 97.

с. 137). С другой — дисгармония, разрушение, упадок. С одной стороны — возвеличивание «естественного человека», с другой — кризис «детского» сознания и трагедия обособленности, замкнутости, «единичности».[13]

И все это вместе составляет в диалектическом единстве рассмотренных выше противоположностей одно миросозерцание, одну судьбу, один характер человека, живущего в эпоху перехода от «Сна» к «Пробуждению», барина Ильи Ильича Обломова. И все это вместе противопоставлено другому герою романа, обещающему, согласно авторской концепции, в скором будущем стать типичным явлением русской жизни. За ним не стоит многовековой уклад, ему не сопутствуют ни предания, ни традиции, ему не свойственны сомнения и не присущи противоречия. Это человек без прошлого. В настоящем же он располагает одним, но зато завидным преимуществом: умеет и любит трудиться, более того, труд, как он сам неоднократно говорит, — главное содержание его жизни. За ним не стоят, как за Обломовым, десятки поколений, которые «сносили труд как наказание, наложенное еще на праотцев наших, но любить не могли, и где был случай, всегда от него избавлялись, находя это возможным и должным» (с. 97). Сам Обломов если и признает какой-то труд, то только труд души. Что же до всякого другого, то тут он с наивной уверенностью в своем праве позволяет себе с гордостью заявлять, что «воспитан нежно <...>, ни холода, ни голода никогда не терпел, нужды не знал, хлеба себе не заработывал и вообще черным делом не занимался» (с. 74).[14] Но каков смысл жизни Штольца? Смог ли бы он ответить хотя бы себе на вопрос, поставленный в другом гончаровском романе, «Обыкновенной истории»: «...что было главною целью его трудов? Трудился ли он для общей человеческой цели, исполняя заданный ему судьбою урок, или только для мелочных причин, чтобы приобрести между людьми чиновное и денежное значение, для того ли, наконец, чтобы его не гнули в дугу нужда, обстоятельства?» (I, 177).

[13] Эстетическое содержание такого столкновения противоречивых, разнонаправленных сил глубоко раскрыто Н. Я. Берковским в его книге «О мировом значении русской литературы» (Л., 1975, с. 111): «Илья Ильич Обломов, как неоднократно говорится в романе, — поэт и защитник поэтической жизни, равновесия сил, „выделки покоя", как он сам это называет. Правоту ему дает лишь антитеза его сословному быту — буржуазный, деловой, европейский прозаизм Штольца, несмотря на попытки автора улучшить его, явно безнадежный, превращающий деятельность в цель для самой себя, а действующего человека — в служебное средство, и навсегда, без каких-либо обещаний исправить положение, покамест человек останется буржуа. Аргументами от буржуа Гончарову не удается побороть Обломова, но Гончаров показывает, как сама же эта дворянская поэзия жизни разрушает себя, потому что у ней нет деятельного обмена с жизненной прозой, как боязнь прозы, усилия, временного отчуждения от личных интересов делает невозможным общение с людьми, любовь — поэзия любви уничтожена Обломовым в его истории с Ольгой, где он спрятался от прозы любви, от деятельной стороны отношений к другому человеку, от самоотречения, и все потерял таким образом».

[14] В рукописи романа еще острее: «никакими подлыми делами не занимался» (*ГПБ*, ф. 207, № 6, л. 48 арх., 25 авторской паг.). Далее ссылки на рукопись непосредственно в тексте с указанием листа.

Так мы подходим к существу споров, возникших на страницах журнальной периодики конца 1850-х гг. и не смолкающих сегодня. Ко времени выхода в свет романа «Обломов» сложились уже определенные традиции в понимании творчества Гончарова, у некоторых критиков, высказавшихся о романе, были в прошлом и собственные выступления, посвященные Гончарову. Новое произведение должно было подтвердить или опровергнуть прежние представления о творческой и социальной позиции писателя, об особенностях его дарования. Очевидно, что в условиях общественно-политической ситуации конца 50-х годов полемика приобретала принципиальную остроту. Горячность, с какой критики отстаивали свою точку зрения, вполне соответствовала и восприятию романа в читательских кругах. С момента публикации последней части романа в четвертом номере «Отечественных записок» не прошло и года, как в двенадцатом номере «Библиотеки для чтения» А. В. Дружинин свидетельствовал: «... „Обломов“ победоносно захватил собою все страсти, все внимание, все помыслы читателей. В каких-то пароксизмах наслаждения все грамотные люди прочли „Обломова“. Толпы людей, как будто чего-то ждавших, шумно кинулись к „Обломову“. Без всякого преувеличения можно сказать, что в настоящую минуту во всей России нет ни одного малейшего, безуездного, заштатнейшего города, где бы не читали „Обломова“, не хвалили „Обломова“, не спорили об „Обломове“» (*Дружинин. Литературная критика*, с. 295).

Таковы были некоторые итоги читательской жизни романа. У начала ее стояла статья Н. А. Добролюбова, увидевшая свет 12 мая 1859 г. на страницах пятого номера «Современника» под знаменательным названием «Что такое обломовщина?». «... Талант Гончарова, — писал Добролюбов, — покорил своему неотразимому влиянию даже людей, всего менее ему сочувствовавших. Тайна такого успеха заключается, нам кажется, сколько непосредственно в силе художественного таланта автора, столько же и в необыкновенном богатстве содержания романа» (*Добролюбов*, т. 4, с. 308).

В первую очередь критик задался целью, вслед за автором романа, проследить причины возникновения и определить сущность понятия «обломовщина» в совокупности ее социальных и нравственных проявлений. Рассмотреть героя романа как ее носителя, с присущим ему «одним неизменным качеством — отвращением от серьезной и самобытной деятельности» (там же, с. 316).

«Ясно, — пишет Добролюбов, — что Обломов не тупая, апатическая натура, без стремлений и чувств, а человек, тоже чего-то ищущий в своей жизни, о чем-то думающий. Но гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не от собственных усилий, а от других, — развила в нем апатическую неподвижность и повергла его в жалкое состояние нравственного рабства» (там же, с. 318).

Рассматривая «противоядие Обломову», как Добролюбов оценивает функции Штольца в романе, критик приходит к выводу, что этот герой «не дорос еще до идеала общественного русского деятеля». И в плане социальном: «... что он делает и как он ухитряется делать что-нибудь

порядочное там, где другие ничего не могут сделать, — это для нас остается тайной» (там же, с. 340). И в плане личном, ибо он «мог удовлетвориться своим положением, успокоиться на своем одиноком, отдельном, исключительном счастье» (там же, с. 341).

Самым лестным для автора романа образом отказавшись говорить о женских характерах: «Разбирать женские типы, созданные Гончаровым, значит предъявлять претензию быть великим знатоком женского сердца», — Добролюбов все же счел необходимым дать, хотя бы и очень скупую, оценку Ольги Ильинской. «Ольга, — писал он, — по своему развитию, представляет высший идеал, какой только может теперь русский художник вызвать из теперешней русской жизни ‹...› живое лицо, только такое, каких мы еще не встречали» (там же). Выделяя такие качества Ольги, как «простота и ясность мышления» (там же, с. 342), то, «как воля Ольги послушна ее сердцу» (там же), обращая внимание на неудовлетворенность героини романа спокойным течением своей жизни, критик решительно утверждает, что «в ней-то, более нежели в Штольце, можно видеть намек на новую русскую жизнь» (там же, с. 341).

Итак, в статье Добролюбова дан выверенный, социально-конкретный анализ «обломовщины», и сегодня не вызывающий сомнения в своей исторической обусловленности и точности.

20 мая 1859 г. писатель сообщал И. И. Льховскому: «„Обломов“, по выходе всех частей, произвел такое действие, какого ни Вы, ни я не ожидали. Увлечение Ваше повторилось, но гораздо сильнее, в публике. Даже люди, мало расположенные ко мне, и те разделили впечатление. Оно огромно и единодушно. Добролюбов написал в „Современнике“ отличную статью, где очень полно и широко разобрал обломовщину» (VIII, 273). Развивая в тот же день свою мысль в письме к П. В. Анненкову, романист заметил о Добролюбове: «Двумя замечаниями своими он меня поразил: это проницанием того, что делается в представлении художника. Да как же он, не художник, знает это? Этими искрами, местами рассеянными там и сям, он живо напомнил то, что целым пожаром горело в Белинском. После этой статьи критику остается — чтоб не повториться — или задаться порицанием, или, оставя собственно обломовщину в стороне, говорить о женщинах. Такого сочувствия и эстетического анализа я от него не ожидал, воображая его гораздо суше» (VIII, 276).

Бесспорными представляются два факта принципиальной важности. Во-первых, Гончаров был вполне удовлетворен социальным анализом «обломовщины»; во-вторых, он считал проницательным и глубоким эстетический анализ своего романа и своего художественного метода. И в этом плане имеет смысл отметить преемственную связь статьи Добролюбова со статьей В. Г. Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года», значительная часть которой была посвящена «Обыкновенной истории».

Остановимся только на одном моменте, привлекшем особое внимание Гончарова. «...При избытке фантазии, — писал он в „критических за-

метках" „Лучше поздно, чем никогда", — и при — относительно меньшем против таланта — уме образ поглощает в себе значение, идею; картина говорит за себя, и художник часто сам увидит смысл — с помощью тонкого критического истолкователя, какими, например, были Белинский и Добролюбов» (VIII, 104—105). Думается, что Гончаров имел в виду совершенно определенные высказывания названных им критиков. Выражая неудовлетворение эпилогом «Обыкновенной истории», Белинский писал: «Г-н Гончаров рисует свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности и насладиться своею способностию рисовать; говорить и судить и извлекать из них нравственные следствия ему надо предоставить своим читателям» (*Белинский*, т. 10, с. 343). Сравним эти строки с двумя замечаниями Добролюбова: «Он вам не дает, и, по-видимому, не хочет дать, никаких выводов. Жизнь, им изображаемая, служит для него не средством к отвлеченной философии, а прямою целью сама по себе. Ему нет дела до читателя и до выводов, какие вы сделаете из романа: это уж ваше дело. Ошибетесь — пеняйте на свою близорукость, а никак не на автора.

‹...› Таким образом, Гончаров является перед нами прежде всего художником, умеющим выразить полноту явлений жизни. Изображение их составляет его призвание, его наслаждение...» (Т. 4, с. 309, 312). По свидетельству П. С. Бейсова, изучавшего пометы Гончарова на статье Добролюбова, писатель выделил именно это высказывание критика, особо подчеркнув слово «наслаждение».[15] Романист увидел здесь точное и глубокое определение сущности своего отношения к творчеству.

Все последующие отзывы критики о романе «Обломов» так или иначе перекликались с добролюбовской статьей. И если точка зрения Д. И. Писарева в его ранней рецензии на «Обломова» (Рассвет, 1859, № 10, отд. II, с. 5—21) во многом была близка добролюбовской (позднее, в статьях 1861 г. «Писемский, Тургенев и Гончаров» и «Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова» Писарев резко пересмотрел свое отношение к роману), то в выступлениях критиков иной общественно-политической ориентации находим прямую или скрытую полемику с Добролюбовым, и в первую очередь в области социальной оценки «обломовщины». Одно из наиболее ярких выступлений такого типа — статья А. В. Дружинина. Это был не первый отзыв Дружинина о Гончарове.

В начале 1856 г. на страницах «Современника» была опубликована статья того же автора «Русские в Японии, в начале 1853 и в конце 1854 годов. (Из путевых заметок) И. Гончарова» (sic!). Формально посвященная гончаровским заметкам о путешествии, по своему содержанию она была значительно шире. Хорошо осведомленный о литературных планах писателя, критик основное внимание уделял творческому методу Гончарова и «Сну Обломова» как отрывку из неоконченного романа, как бы предуведомляя читателя о том, что воплощение давнего замысла станет в ближайшее время реальностью.

---

[15] *Бейсов П. С.* Гончаров и родной край. Куйбышев, 1960, с. 111.

Гончаров был признан «талантом самостоятельным <...>, поэтом настоящим, важным по своему направлению, — поэтом, еще не вполне высказавшимся, но истинно обильным надеждами». «Надо, — писал Дружинин, — изучать „Сон Обломова“ и „Обыкновенную историю“, надо думать много о ходе нашей родной словесности, чтобы понять важность Гончарова как писателя, чтоб оценить духовную его энергию, от которой мы ждем многого и весьма многого».[16] Неудивительно, что в письме к Н. А. Некрасову от 10 января 1856 г. Гончаров заметил об этой статье: «...поджигающая к дальнейшему труду, притом в ней так много угадано и объяснено сокровеннейших моих стремлений и надежд!» (VIII, 228).[17]

Поставив перед собой задачу определить основные особенности художественного метода Гончарова, критик настойчиво подчеркивал именно те обстоятельства, которые, как покажет будущее, станут решающими в его оценке «Обломова». «Все, что есть в нашем авторе сатирического и отрицательного, кажется нам только частностью, временным и случайным видом его дарования, украшениями общего здания, но никак не капитальною его собственностью»,[18] — писал Дружинин. «Нашему поэту, — наставлял критик, — необходимо поближе ознакомиться с собственным направлением, признать законность своей артистической самостоятельности и затем сделаться истинным художником-фламандцем, с полной верой в свое призвание. Всякое уклонение от мирных отношений к окружающей его действительности, всякая уступка моде или прихотям отрицательной критики, всякое колебание в виду не вполне сознанной цели только могут повредить будущности г. Гончарова, как писателя. <...> Его направление нам любезно и понятно, оттого и наши надежды на г. Гончарова весьма велики».[19]

Именно таким образом осмысленное «направление» таланта Гончарова было положено Дружининым в основу его статьи о романе «Обломов». Посвятив ее преимущественно трагедии Обломова-человека, глубоко и оригинально рассмотрев лиризм и психологизм Гончарова, критик остановился и на понятии «обломовщина». И здесь он вступил в резкую, хотя и не объявленную полемику с добролюбовской статьей. Признавая, как и Добролюбов, типичность рассмотренного Гончаровым явления: «Обломов и обломовщина: эти слова недаром облетели всю Россию и сделались словами, навсегда укоренившимися в нашей речи. Они разъяснили нам целый круг явлений современного нам общества, они поставили перед нами целый мир идей, образов и подробностей, еще недавно нами не вполне сознанных, являвшихся нам как будто в ту-

---

[16] Современник, 1856, № 1, отд. III, с. 10.

[17] Ср. также две записи в «Дневнике» А. В. Дружинина. 12 января 1856 г.: «Поутру видел Некрасова. Гончаров ужасно доволен моей статьею о „Русских в Японии“» и 13 января: «Утром был у Некрасова <...>. Сообщено мне о том, как я ублажил Гончарова <...> статьей...» (*Дружинин А. В.* Повести. Дневник. М., 1986, с. 371).

[18] Современник, 1856, № 1, с. 9.

[19] Там же, с. 17, 18.

мане» (*Дружинин. Литературная критика*, с. 297), критик отказался от рассмотрения социальных корней «обломовщины». Углубленный в нравственно-психологический анализ, он писал: «Русская обломовщина так, как она уловлена г. Гончаровым, во многом возбуждает наше негодование, но мы не признаем ее плодом гнилости или растления. В том-то и заслуга романиста, что он крепко сцепил все корни обломовщины с почвой народной жизни и поэзии — проявил нам ее мирные и незлобные стороны, не скрыв ни одного из ее недостатков» (там же, с. 309). Здесь его позиция обнаруживает сходство со взглядами А. А. Григорьева, в целом весьма скептически оценившего роман как «отвлеченный математический итог недостатков или дефицитов того, что автор романа называет Обломовкой», а самому Гончарову отказавшего в идеале («яркое, — но чисто внешнее дарование без глубокого содержания, без стремления к идеалу»).[20] Открыто полемизирующий с Добролюбовым («публицистом „Современника“»), Григорьев хотя и признает, «насколько обусловлена современными обстоятельствами отрицательная сторона этих увлечений, то есть сторона вражды к Обломовке и обломовщине», но все же уверенно утверждает, что, рассекая Обломовку — этот «полный, художнически созданный мир, влекущий вас неодолимо в свой очарованный круг. . .», подобно тому, как это сделал Добролюбов, «анатомическим ножом» анализа, нельзя не почувствовать, как «бедная обиженная Обломовка заговорит в вас самих, если только вы живой человек, органический продукт почвы и народности».[21]

Откликнулись оба критика и на другие проблемы, поставленные в гончаровском романе. Велика заслуга Дружинина в оценке Ольги Ильинской, ее роли в жизни Обломова и ее места в структуре романа в целом: «Без Ольги Ильинской и без ее драмы с Обломовым не узнать бы нам Ильи Ильича так, как мы его теперь знаем, без Ольгина взгляда на героя мы до сих пор не глядели бы на него надлежащим образом. В сближении этих двух основных лиц произведения все в высшей степени естественно, каждая подробность удовлетворяет взыскательнейшим требованиям искусства — и между тем сколько психологической глубины и мудрости через него развивается перед нами!» (*Дружинин. Литературная критика*, с. 302—303).

К Штольцу критик остался вполне равнодушным, заметив, что «это человек обыкновенный и не метящий в необыкновенные люди, лицо, вовсе не возводимое романистом в идеал нашего времени, персонаж,

---

[20] По этому поводу Б. Ф. Егоров пишет: «Получается так, что, когда идеалы писателя близки критику, он их хорошо понимает, он достаточно конкретен и историчен <. . .> По отношению же к тем авторам, идеалы которых чужды ему, критик достаточно беспощаден: чаще всего он их вообще „отлучает“ от идеала». — В кн.: *Григорьев А.* Литературная критика. М., 1967, с. 27.

[21] *Григорьев А.* И. С. Тургенев и его деятельность: По поводу романа «Дворянское гнездо». . . — В кн.: *Григорьев А.* Литературная критика, с. 322, 331, 329, 326. «Статья третья» и «статья четвертая и последняя», в которых критик коснулся и гончаровского романа, впервые опубликованы в журнале «Русское слово» (1859, № 6, отд. II, с. 1—52; № 8, отд. II, с. 1—40).

обрисованный с излишнею копотливостью, которая все-таки не дает нам должной полноты впечатления» (там же, с. 305).

Отношение критика к Агафье Матвеевне Пшеницыной совсем иное. По степени восторженности оно не уступает отношению к Ольге Ильинской. Страницы, ей посвященные, Дружинин оценивает как «верх совершенства в художественном отношении», в заключении же романа автор, по мнению критика, «переступил все грани своей обычной художественности» и в «дивном анализе ее души и ее прошлой страсти» (там же, с. 307) достиг совершенства, едва ли не пушкинского. Здесь Дружинин опять сближается с А. Григорьевым. Решительно не принявший Ольгу Ильинскую, из которой, по мнению критика, «вопреки многим грациозным сторонам ее натуры ‹...› выйдет преотвратительная барыня с вечною и бесцельною нервною тревожностью, истинная мучительница всего окружающего, одна из жертв бог знает чего-то», А. Григорьев заявляет, что из двух героинь Гончарова «беспристрастный и не потемненный теориями ум выберет ‹...› Агафью Матвеевну ‹...› потому, что она гораздо более женщина, чем Ольга». Штольца он рассматривает как «порождение искусственное», образец «бесцельной деятельности для деятельности, которая математически резко, но верно представлена Гончаровым в фокусе (ибо личностью я фокуса назвать не могу)» этого героя.[22]

Так в скрещивании противоположных мнений, в разнонаправленных оценках критики рождалось многоаспектное представление о романе «Обломов».

Роман еще многие годы продолжал быть объектом журнальных и читательских дискуссий, но главные направления всех споров, заданных неисчерпаемым богатством социально-философского, нравственного, психологического содержания «Обломова», определились именно в год его первой публикации.

Была, однако, еще одна, если можно так выразиться, внутренняя, интимная, жизнь романа в особой читательской среде — в среде писателей-современников. Некоторые из них оказались свидетелями, другие — в какой-то степени и участниками осуществления грандиозного гончаровского замысла.

Жизнь эта началась задолго до завершения «Обломова». По собственному признанию, писатель всегда «был крайне недоверчив к себе. „Не вздор ли я пишу? годится ли это? Не дичь ли?“ — беспрестанно я мучал себя вопросами. ‹...›

Садясь за перо, я уже начинал терзаться сомнениями. ‹...› Поэтому я спрашивал мнения того, другого, зорко наблюдал, какое производит

[22] *Григорьев А.* Литературная критика, с. 334, 335, 290, 316.

мой рассказ или чтение впечатление на того или другого — и этим часто надоедал не только другим, но и самому себе» (VII, 353).

В последние годы работы над «Обломовым» частым слушателем Гончарова, мнением которого он очень дорожил, становится И. С. Тургенев. В течение всего этого времени Гончаров получает письма от Тургенева, побуждающие его к творческому труду. В одном из них (от 11 (23) ноября 1856 г.) говорилось: «...не хочу и думать, чтобы Вы положили свое золотое перо на полку; ‹...› некоторые слова Ваши, сказанные мне перед отъездом, подают мне повод думать, что не все надежды пропали. Я буду приставать к Вам с восклицаниями: „Обломова"!..» (*Тургенев. Письма*, т. 3, с. 40).

Завершая летом 1857 г. роман, автор признается в одном из писем из Мариенбада: «Тургеневу скажите, ‹...› что, когда я писал, мне слышались его понуждения, слова и что я мечтаю о его широких объятиях» (VIII, 247—248). Это письмо датировано 2 (14) августа. Судьба Гончарова складывается так, что через несколько дней он встречается в Париже с Тургеневым. 19 (31) августа и 20 августа (1 сентября) читает черновой вариант «Обломова» И. С. Тургеневу, В. П. Боткину и А. А. Фету — «необработанный, в глине, в сору, с подмостками, с валяющимися вокруг инструментами, со всякою дрянью» (VIII, 249). Впечатление слушателей было самое благоприятное. 21 августа (2 сентября) 1857 г. Тургенев в письме к В. П. Боткину заметил: «.. Гончарову повторяю, что его „Обломов" вещь отличная — но требует необходимых сокращений...» (*Тургенев. Письма*, т. 3, с. 149),[23] а 9 (21) сентября он же писал Н. А. Некрасову: «...Гончаров прочел нам с Боткиным своего оконченного „Обломова"; есть длинноты, но вещь *капитальная* — и весьма было бы хорошо, если б можно было приобрести ее для „Современника"...» (с. 151). 25 августа (5 сентября) Гончаров пишет Ю. Д. Ефремовой: «...Тургенев слышал только начало ‹...›, а Боткин слышал все и очень тонко понял, что́ я хотел выразить. Он предсказывает успех, но все мы трое решили, что за отделкой работы много».[24] В конце октября Л. Н. Толстой сообщает В. П. Боткину и И. С. Тургеневу, что Гончаров «потихоньку приглашает избранных послушать его роман...».[25]

В течение 1858 г. автор «Обломова» читает свой роман во многих петербургских домах. 1 и 3 марта «новый роман» слушает Дружинин. 5 марта роман в присутствии Дружинина Гончаров читает у издателя «Библиотеки для чтения» В. П. Печаткина.[26] 10 марта П. В. Анненков пишет в Москву Е. Ф. Коршу: «На днях мы удостоились выслушать из

[23] В свою очередь В. П. Боткин писал И. И. Панаеву 29 января 1858 г.: «Это действительно капитальная вещь. Может быть, в нем и много длиннот, но его основная мысль и все главные характеры выделаны рукою большого мастера. Особенно превосходна вторая часть» (Тургенев и круг «Современника». М.; Л., 1930, с. 437).

[24] *НА*, с. 29—30.

[25] *Толстой*, т. 60, с. 234. Письмо от 21 октября—1 ноября 1857 г.

[26] *Дружинин А. В.* Повести. Дневник, с. 406.

уст самого Гончарова весь его роман вполне — Обломов. Чудная и превосходная штука. Образованная, добродушная и очень благородная по себе апатия влюбилась, засуетилась, хотела выйти из себя, но попрыгав маленько, невидимо, незаметно опустилась опять к самой себе. Лицо женщины, растолкавшей ‹?› апатию, особенно хорошо, рама картины мастерская, психологический анализ превосходен и все кончается ровной грустию, как по отходящем явлении. Немножко многословно, но ведь мы умеем *переносить* недостатки, не то что Московские Сибариты, которые и в постель не ложатся, как только заметят складочку на простыне».[27]

В сентябре роман слушали А. А. Краевский, Вл. Н. Майков, С. С. Дудышкин, А. В. Никитенко. Последний записывает в дневнике: «Много тонкого анализа сердца. Прекрасный язык. Превосходно понятый и обрисованный характер женщины с ее любовью. Но много такого еще, что может быть объяснено только в целом. Вообще в этом произведении, кроме неоспоримого таланта, поэтического одушевления, много ума и тщательной, умной обработки. Оно совершенно другого направления, чем все наши нынешние романы и повести».[28] Тогда же слушателями были сделаны и некоторые критические замечания.[29] Не перестающему сомневаться в своих силах писателю нужны новые и новые отзывы. В октябре Гончаров читает «Обломова» в доме своих старых друзей — Е. П. и Н. А. Майковых. По свидетельству Е. П. Майковой в письме от 27 октября 1858 г. к сыну, поэту Аполлону Майкову, Гончаров «...начал читать со второй части, женщины великолепны! Читал только два вечера, еще на два или на три осталось чтения».[30]

Наконец, в апреле 1859 г. происходит огромное событие в жизни Гончарова. Роман «Обломов» завершается печатью на страницах четвертого номера «Отечественных записок».[31] И немедленно, буквально через несколько дней, автору передают пророческий отзыв, утверждающий, что его произведению суждена долгая жизнь у русского читателя. 16 апреля 1859 г. Л. Н. Толстой, уже в эти годы в высшей степени взыскательно относящийся к литературному творчеству (и это Гончарову хорошо известно), пишет А. В. Дружинину: «Обломов — капитальнейшая

---

[27] *ГБЛ* (М.3099.7).

[28] *Никитенко. Дневник*, т. 2, с. 34. Запись от 10 сентября 1858 г.

[29] 17 сентября 1858 г. Гончаров благодарит И. И. Льховского за «замечания», касающиеся первоначального рукописного текста «Обломова»: «...многие из них неоцененны, и я буквально последовал им, кроме капитальных: сил нет». И добавляет, имея в виду именно чтение в присутствии А. В. Никитенко: «Кроме того, я переделал главу **Штольц с Ольгой в Париже**, она показалась слушателям неестественной, как и Вам» (*ЛА*, т. 3, с. 145).

[30] *ИРЛИ*. 17374. Л. 25.

[31] По данным Санктпетербургского цензурного комитета (*ЦГИА*, ф. 777, оп. 27, № 291, л. 80) «билет», т. е. разрешение на выпуск в свет тиража четвертого номера «Отечественных записок», был выдан 20 апреля. Однако, судя по дате цитируемого ниже письма Л. Н. Толстого и по сообщению Гончарова в письме к А. Н. Майкову от 11 (23) апреля, где говорится, что IV часть романа «выходит завтра» (VIII, 269), выход в свет апрельских «Отечественных записок» состоялся между 12 и 15 апреля.

вещь, какой давно, давно не было. Скажите Гончарову, что я в восторге от Облом[ова] и перечитываю его еще раз. Но что приятнее ему будет — это, что Обломов имеет успех не случайный, не с треском, а здоровый, капитальный и невременный в настоящей публике» (*Толстой*, т. 60, с. 290).[32]

Эти слова подтверждаются другим откликом на выход «Обломова». «Успех, — свидетельствует Гончаров в „Необыкновенной истории“, — превзошел мои ожидания. И Тургенев однажды заметил мне кратко: „пока останется хоть один русский, — до тех пор будут помнить Обломова“» (VII, 357—358).

Какие бы критические бури ни возникали по временам вокруг произведений Гончарова, как ни трагично сложились впоследствии его отношения с Тургеневым, память об этих двух отзывах писатель сохранил до конца своих дней.

В последние годы жизни Гончарову привелось услышать еще один глубоко тронувший его отклик на «Обломова». Знаменитый юрист А. Ф. Кони писал Гончарову 8 ноября 1882 г. о впечатлении, полученном при перечитывании «Обломова»: «...я снова плакал над некоторыми страницами, снова восхищался этим чудным, точно из мрамора вырубленным языком, и горделиво вспоминал, что имею честь пользоваться Вашею дружбою. Но только теперь я более ценю и понимаю глубину Ваших образов и тот нравственный свет, который от них разливается... Нет! Вы должны издать Ваши сочинения. Вы не имеете права лишать молодое поколение Вашей родины возможности наслаждаться этими облагораживающими строками. Вы не можете отнимать у людей, измученных жизнью, возможность забыться над Вашей книгою и освежить свою душу высоким художественным наслаждением».[33]

Через несколько месяцев после этого письма, 2 февраля 1883 г., Гончарова в связи с 50-летним юбилеем творческой деятельности посетила делегация русских женщин. В поздравительном адресе за 100 подписями говорилось: «Вы поистине нам дороги; дороги, как всякая русская слава дорога каждой русской женщине; дороги, как художник, тонкое, деликатное перо которого нарисовало несколько прелестнейших в нашей литературе женских типов; наконец, дороги, как честный, умный и добрый человек: последнее многим из нас известно по личному опыту, для других — очевидно из ваших сочинений.

---

[32] Отвечая на одобрительный отзыв Л. Н. Толстого, Гончаров 13 мая 1859 г. пишет: «Слову Вашему о моем романе я тем более придаю цену, что знаю, как Вы строги, иногда даже капризно взыскательны в деле литературного вкуса и суда. <...> Словом, угодить на Вас нелегко, и тем мне приятнее было приобрести в Вас доброжелателя новому моему труду. Еще бы приятнее мне было, если б Вы не рикошетом, а прямо сказали и о моих промахах, о том, что подействовало невыгодно. <...> Я желал бы указания не на случайные какие-нибудь промахи, ошибки, которые уже случились и, следовательно, неисправимы, а указания каких-нибудь постоянных дурных свойств, сторон, замашек, аллюр и т. п. моего авторства, — чтобы (если буду писать) остеречься от них. Ибо, как ни опытен автор (а я признаю за собой это одно качество, то есть некоторую опытность), а все же ему одному не оглядеть и не осудить кругом и с полнотой самого себя» (VIII, 271).

[33] *Кони А. Ф.* Собр. соч.: В 8-ми т. М., 1969, т. 8, с. 54.

О таланте Вашем говорено уже много. Распространяться о нем еще значило бы повторять избитую истину. Но позвольте нам теперь только указать на то ваше свойство, которое нам особенно симпатично, — а именно на *искренность*, глубоко лежащую в основе всех ваших произведений. Это — драгоценный перл, не всегда присущий и самым даровитым художникам, но который вашим произведениям сообщает особенную прелесть и убедительность. Она, эта искренность, заставляет с безграничным доверием относиться и к скрывающемуся в вас, за художником, моралисту. Читая вас, не только наслаждаешься, но и учишься: у *Бабушки* — житейской мудрости; у *Ольги*, как любить и с достоинством переносить разочарования; у *Веры*, как, „после горьких опытов, ошибок гордости и неведения“, не падать духом, не умаляться, „а возрастать на пути разумной, сознательной жизни“».[34]

Писатель, намеревавшийся посвятить свой «Обрыв» «русским женщинам», что зафиксировано в черновой рукописи романа, воспринял эти слова как исключительной важности оценку своей литературной деятельности, нравственного потенциала своих произведений. Искренне взволнованный, он в ответном письме, помещенном на страницах «Вестника Европы», говорил: «С какой тонкостью, с каким женским тактом поняли и оценили вы во мне то, что я сам всего более ценю в себе и в других моих собратиях по перу: это — *искренность.* Признав ее в моих сочинениях, вы добрались и до ее источника — сердца.

Кому же и добираться до сердца, как не вам, женщинам?

Вы правы. Те образы, которые, вы говорите, вам полюбились в моих сочинениях, писаны более всего сердцем, — оттого, конечно, вы и полюбили их. Вы угадали, что автор страдал вместе с бабушкой и Верой, что он разделял муки Райского, — скорбел с Ольгой об Обломове, — с Обломовым о нем самом, — одним словом, что он, рисуя эти образы, сам жил их жизнью, плакал их слезами!»[35]

Так сам писатель в нескольких лирических строках подвел один из главных итогов своей творческой деятельности. Жизнь его романов, в том числе и «Обломова», подтвердила справедливость его слов, впрочем, — естественно — далеко не исчерпывающих все богатство гончаровского наследия.

«Ключ <...> к сочинениям» (VIII, 101) Гончарова следует видеть прежде всего в напряженных поисках социально и психологически обусловленного нравственного идеала, которыми пронизаны «образы, картины и простые несложные события» (VIII, 102) его романов. Мечтая

[34] Вестник Европы, 1883, № 3, с. 445.
[35] Там же, с. 446.

о синтезе (VIII, 103), ожидая читателя, который «прочтет между строками и, полюбив образы, свяжет их в одно целое» (VIII, 102), автор «Обыкновенной истории», «Обломова», «Обрыва» имел в виду главным образом этическую идею, объединяющую его создания и проясняющую их смысл. В этой связи становятся понятными и слова Л. Н. Толстого о «большом влиянии» (VIII, 480) Гончарова на его писательскую деятельность, и замечание Ф. М. Достоевского о «большом уме» Гончарова.[36]

Постоянная обращенность его творчества к судьбе русской женщины имеет тот же источник. Предпринятое еще Пушкиным, подхваченное и развитое Гончаровым сопоставление двух женских характеров («один — безусловное, пассивное выражение эпохи, тип, отливающийся, как воск, в готовую, господствующую форму. Другой — с инстинктами самосознания, самобытности, самодеятельности», кажущийся «капризным, таинственным, малоуловимым», VIII, 112) проходит через его «трилогию» в прямой связи с окружающею героинь жизнью и показом того, «как последняя на них отразилась» (VIII, 113). При этом, несмотря на трагические перипетии личного бытия героинь, именно женские характеры определяют светлое, оптимистическое начало всех трех романов.

В системе «сцеплений» гончаровского романа («Я <...> вижу *не три романа, а один*» (VIII, 107), — подчеркивал писатель) значительное место занимает также со- и противопоставление двух типов героя — личности, склонной к индивидуально-творческому, но абстрактно-идеализированному восприятию мира с порывами к «высокому, великому, изящному» (Александр Адуев, Обломов, Райский), и героя-прагматика (Петр Адуев, Штольц, Тушин) как воплощения «трезвого, делового, нужного» (VIII, 108).

Борение этих двух начал, в котором отражается реальное содержание времени, во многом определяет идейно-художественную структуру «Обыкновенной истории» и «Обломова». Но в последнем романе Гончарова привычная диалогическая структура осложняется введением новых элементов. Здесь обнажается еще одна грань авторской концепции: отчетливо звучит идея борьбы «старой» и «новой правды» и совместного их противостояния «новой лжи». Исследуя глубинные процессы переходной эпохи, Гончаров особое внимание уделяет проблеме выбора пути, не боясь при этом (тема «обрыва») показать и тупиковые, на его взгляд, ситуации.

Настойчиво подчеркивая, что все романы, но «особенно „Обломов" и „Обрыв", *тесно и последовательно связаны между собою*, как связаны отразившиеся в них, как в капле воды, периоды русской жизни» (VIII, 104), Гончаров от анализа бытовых привычек и поведения своих героев в обыденных житейских ситуациях, от пристального изучения их душевных движений в критические моменты бытия, от детальнейшего описания сформировавшей их среды переходит к синтезу, достигая вы-

[36] *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30-ти т. Л., 1986, т. 29, кн. 2, с. 78.

сот социально-психологического обобщения на уровне символа. Избранная романистом эпическая манера повествования исключает возможность прямого авторского вмешательства: «...я не выдумывал ничего: сама жизнь писалась у меня, как я переживал ее и видел, как переживают другие, так она и ложилась под перо. Не я, а происшедшие у всех на глазах явления обобщают мои образы» (VIII, 131).

Постоянное обращение Гончарова к истокам литературного творчества (эпическим и библейским преданиям, мифу и фольклору), прямое (с. 93, 364) или косвенное (с. 103) упоминание Гомера в «Обломове» и пушкинского летописца Пимена в «Обрыве» (VI, 415) не только не случайны, но тесно и прямо связаны с гончаровской теорией типического («...тип слагается из долгих и многих повторений или наслоений явлений и лиц, где подобия тех и других учащаются в течение времени и, наконец, устанавливаются, застывают и делаются знакомыми наблюдателю»), с его представлением о предмете и характере искусства («творчество (я разумею творчество объективного художника...) может являться только тогда, по моему мнению, когда жизнь установится: с новою, нарождающеюся жизнию оно не ладит...», VIII, 407—408). Еще во «Фрегате „Паллада“» Гончаров придумает себе маску повествователя, которому по служебной обязанности приходится «заменить робость чиновника и апатию русского литератора энергиею мореходца...» (II, 14), наденет ее в «Обломове» («литератор, полный, с апатическим лицом, задумчивыми, как будто сонными глазами», с. 380), чуть приподымет в «Обрыве», рисуя Райского, и уже не снимает вплоть до «Литературного вечера» («беллетрист Скудельников»). По мысли Гончарова, этот прием не только должен характеризовать своеобразие творческой личности вообще (ср. пушкинское: «Пока не требует поэта...»), но — прежде всего — подчеркнуть объективность и типичность происходящего, его независимость от авторских предубеждений, симпатий и антипатий. В этом плане творческая манера Гончарова противостоит и учительному пафосу Л. Толстого, и лиризму Тургенева, и страстной проповеди одержимого «тоской по текущему» Достоевского, хотя каждая из этих характеристических черт присутствует и у Гончарова, но в иных формах и пропорциях.

Другой важной особенностью гончаровской манеры письма является насыщенность и плотность текста, особенно в лирико-философских его фрагментах. Здесь происходит достаточно редкое в прозаическом повествовании выявление поэтического подтекста, создающегося за счет тонкого и продуманного использования богатейшей культуры русского художественного слова — от сказок, былин и песен, от стихов Державина, «Горя от ума» Грибоедова, поэзии и прозы Пушкина и Лермонтова и до стихов Баратынского, А. Григорьева, Тютчева, А. К. Толстого, Фета включительно. В столь прозрачном на первый взгляд гончаровском тексте скрываются самые разнохарактерные и разнообразные содержательные пласты.

И последнее. Романы Гончарова, при всей философской, психологической, лирической глубине, а порою и изысканности повествования

и стиля, насыщены самыми разнообразными приметами времени их создания: от театральных новостей и модных романсов до изменения реальной ценности находящихся в обращении денежных единиц, от деталей городского и помещичьего быта середины XIX в. до газетных новостей и сугубо местного, и общеевропейского значения, от судебной практики до литературно-журнальной полемики, от характеристики медицинских предписаний до тонкостей чиновничьего делопроизводства. Эта трудно уловимая теперь и потому сегодня почти никем не оцененная модель эпохи для современников писателя придавала особую прелесть житейскому, бытовому фону романа: с одной стороны, способствовала ощущению сиюминутности происходящего, а с другой — выявляла одну из важнейших идей писателя: присутствие непреходящего, вечного, общечеловеческого в каждом моменте повседневной жизни.

«Живая импровизация» — так отозвался Белинский о первом романе Гончарова, язык его произведений, «чистый, правильный, легкий, свободный, льющийся» (*Белинский*, т. 10, с. 344), не были только плодом вдохновения и мастерства художника. Творчество давалось Гончарову ценой огромного, изнурительного и напряженного труда. Путь писателя к созданию романов, имеющих, в первую очередь «Обломов», мировое значение, исключительно важен и поучителен.

История создания романа, от замысла к его воплощению и публикации, рассмотренная в контексте жизни Гончарова, определяет основное содержание следующей статьи.

Л. С. Гейро

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ РОМАНА «ОБЛОМОВ»

1. НА ПУТИ К РОМАНУ

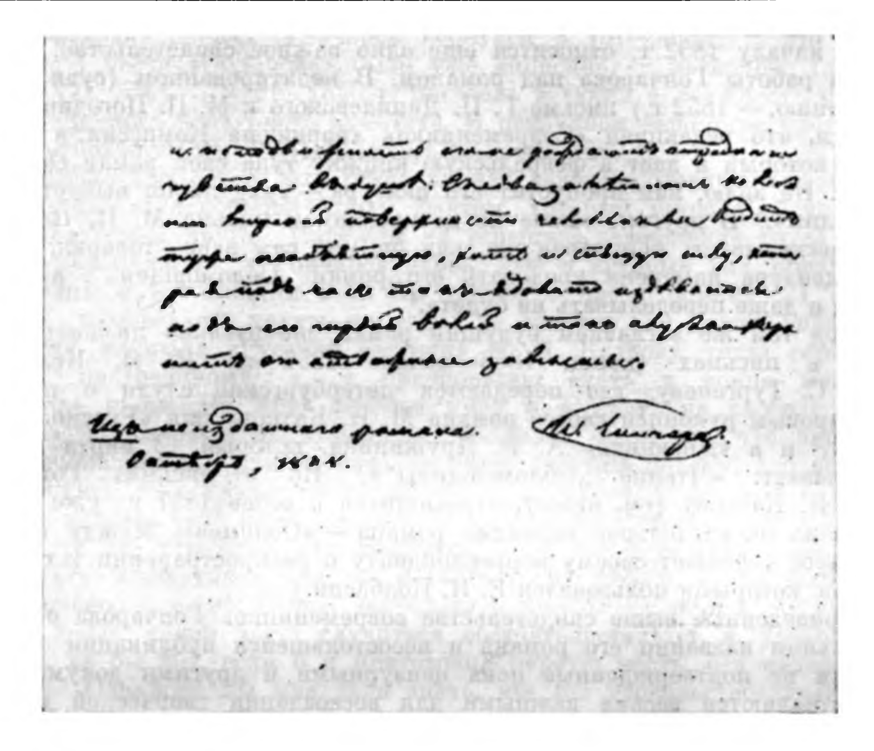
История создания романа «Обломов» достоверно восстанавливается по письмам и мемуарам Гончарова.

«В 1848 году, и даже раньше, с 1847-го года, — вспоминал писатель, — у меня родился план „Обломова“. Я свои планы набрасывал беспорядочно на бумаге, отмечая одним словом целую фразу, или накидывая легкий очерк сцены, записывал какое-нибудь удачное сравнение, иногда на полустранице тянулся сжатый очерк события, намек на характер и т. п. У меня накоплялись кучи таких листков и клочков, а роман писался в голове. Изредка я присаживался и писал, в неделю, в две, — две-три главы, потом опять оставлял и написал в 1850 году первую часть» (VII, 353).

Автограф начала главы «Сон Обломова» (ч. I, гл. 9).

В марте 1849 г. вышел из печати «Литературный сборник с иллюстрациями», изданный редакцией журнала «Современник», где с подзаголовком «Эпизод из неконченного романа» напечатана 9-я глава I части — «Сон Обломова».

В середине июня 1849 г. Гончаров выехал на родину, в Симбирск, в надежде написать там роман, о публикации которого в «Отечественных записках» он уже предварительно договорился с А. А. Краевским. Но надежды не оправдывались: «...все выходило длинно, тяжело, необработанно, все в виде материала» (VIII, 200).


Из неизданного романа.
Октябрь, 1848.
И. Гончаров.

То же. Внизу помета: «Из неизданного романа. Октябрь, 1848» и подпись: И. Гончаров.

Вернувшись в Петербург, Гончаров, вплоть до 1852 г. «служил и писал очень лениво и редко, пока все еще материалы» (VII, 354) уже двух романов — «Обломова» и задуманного в то же симбирское лето «Обрыва». Завершив вчерне I часть будущего «Обломова», Гончаров вернулся, по-видимому, к мысли о его публикации. 12 августа 1852 г.[1] он сообщил Е. А. и М. А. Языковым, что бывает «иногда у Коршей: читал у них рукопись». Речь, вероятно, шла о доме журналиста и переводчика Е. Ф. Корша, который позднее, в 1858—1859 гг., стал редактором-издателем журнала «критики, современной истории и литературы» «Атеней». Это были, по всей видимости, начальные главы «Обломова», в чем убеждает заметка от редактора «Атенея», сопровождавшая в январе-феврале 1858 г. публикацию отрывка из III части романа: «Подарив „Атеней“ мастерскою сценою из своего давно задуманного и давно начатого романа, автор живо напомнил нам приятные часы, проведенные с ним в 1852 году за чтением первой части „Обломова“».[2]

[1] Письмо без года. Датируется по содержанию (упомянута предстоящая свадьба Вл. Н. Майкова — август 1852 г.). — *ИРЛИ*, 8952, LI б. 2, л. 31 об.
[2] *Атеней*, с. 53.

К началу 1852 г. относится еще одно важное свидетельство, касающееся работы Гончарова над романом. В недатированном (судя по содержанию, — 1852 г.) письме Г. П. Данилевского к М. П. Погодину сообщается, что редакцией «Современника» «наряжена Комиссия к Гончарову, который и даст в февральскую книжку туда свой роман *Обломовщина*. Не знаю, как пропустит его цензура — вряд ли он выйдет цел и невредим».[3] В другом, также не датированном письме М. П. Погодину он рассказывает: «Гончаров же, как он мне сам вчера говорил, увидя, как цензура намерена уродовать его роман „Обломовщина“, взял его назад и даже переделывать не будет».[4]

Под тем же заглавием будущий роман значительно позже фигурирует в письмах (конец 1856—начало 1857 г.) Е. Я. Колбасина к И. С. Тургеневу, где передаются петербургские слухи о продаже Гончаровым рукописи своего романа М. Н. Каткову для «Русского вестника»,[5] и в «Дневнике» А. В. Дружинина, который 13 марта 1856 г. записывает: «Чтение „Обломовщины“».[6] Но в письмах Гончарова к М. Н. Каткову (см. ниже), относящихся к весне 1857 г., уже зафиксировано окончательное название романа — «Обломов». Между прочим, Гончаров сообщает своему корреспонденту о распространении тех самых слухов, которыми пользовался Е. Я. Колбасин.

Приведенные выше свидетельства современников Гончарова о первоначальном названии его романа и несостоявшейся публикации 1852 г., хотя и не подтвержденные пока цензурными и другими документами, представляются весьма важными для воссоздания творческой истории романа.

7 октября 1852 г. из Кронштадта выходит фрегат «Паллада», на котором Гончаров отправляется в кругосветную экспедицию к берегам Японии в должности секретаря при адмирале Е. В. Путятине.

На море Гончаров работал над путевыми записками и «кое-что вносил» в «программы» будущих романов «Обломов» и «Обрыв», хотя, по его признанию, «писать было некогда» (VII, 355).

---

[3] *Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1898, кн. 12, с. 221.

[4] *ГБЛ*, ф. 231 (М. П. Погодина), разд. 2, карт. 10, ед. хр. 28. Дата письма установлена по упоминанию «Современника», который, сообщает Г. П. Данилевский, «вышел с новыми рассказами Тургенева и очерками Диккенса и со статьей о русской исторической литературе в 1851 г.». Имеется в виду № 2 журнала за 1852 г. (ценз. разр. 2 февраля 1852 г.), где помещен рассказ Тургенева «Три встречи» и статья А. Н. Афанасьева «Русская историческая литература в 1851 году». Дата подтверждается также сообщением об «Отечественных записках», еще не вышедших. В них, по словам Г. П. Данилевского, ожидалась публикация «интересной второй части романа Григоровича». В первых номерах «Отечественных записок» за 1852 г. действительно начался печатанием роман Д. В. Григоровича «Проселочные дороги» (часть II помещена в № 2 журнала).

[5] Тургенев и круг «Современника». М.; Л., 1930, с. 303, 317.

[6] *Дружинин А. В.* Повести. Дневник. М., 1986, с. 378.

В феврале 1855 г. Гончаров вернулся в Петербург. В это время помимо I части «Обломова» было уже написано «и несколько глав далее» (VII, 356). 5 марта 1856 г. писатель вступил в должность цензора Петербургского цензурного комитета. В цензурном ведомстве прослужил он (с небольшим перерывом) вплоть до конца 1867 г.

В 1855—1856 гг. работа писателя над давно задуманным произведением становится общеизвестным фактом, который широко обсуждается в литературных кругах. Надежды на успешное завершение труда постепенно укрепляются, и Гончаров вновь, уже в который раз, обращается к мыслям о публикации хотя бы только I части романа. 21 апреля 1857 г., намереваясь уехать на отдых за границу, он пишет редактору-издателю журнала «Русский вестник» М. Н. Каткову, тогда еще либерально настроенному: «...я предполагаю ехать в конце мая или в начале июня. Не одно леченье имел я в виду: на свободе я попробую, не приведу ли в порядок Обломова, т. е. все, что написано, о продолжении я и думать пока не смею (частию потому, что не умею продолжать, если начало не выработано, частию от старческой немощи), но так однако, чтоб не запереть себе выхода во вторую часть. Скажите, будет ли это пригодно для Вестника, если бы я обещал роман туда (заметьте, пожалуйста, это *бы*: я обещать не люблю, когда дело мною не кончено, т. е. не люблю запродавать шкуры на живом медведе, да и бог знает, какие могут случиться обстоятельства), т. е. удовольствовались ли бы Вы, если б я приготовил первую часть, без надежды на вторую? Однажды Вы мне дали знать, что Вы удовольствовались бы и этим, но только, чтоб все написанное мною было закруглено, как вещь конченная. А мне бы этого не хотелось: я не отчаиваюсь черкнуть когда-нибудь и еще, хотя чувствую, что эта надежда очень неверна, но я столько раз обманывался в хорошем, что считаю себя немного вправе обмануться и в дурном».[7]

21 июня 1857 г. Гончаров приезжает в Мариенбад. «Постепенный упадок сил, апатия и угрюмость» (VIII, 232) оставляют писателя, и в течение нескольких дней он переходит к совершенно противоположному состоянию. Именно здесь летом 1857 г. Гончаров «*написал в течение семи недель почти все три последние тома* (т. е. части. — *Л. Г.*) „Обломова", кроме трех или четырех глав». «В голове, — вспоминал писатель в середине 1870-х гг., — у меня был уже обработан весь роман окончательно — и я переносил его на бумагу, как будто под диктовку» (VII, 357).

О том, что в позднем свидетельстве Гончарова нет ни малейшего преувеличения, убедительно свидетельствуют его письма, относящиеся к лету 1857 г. 29 июля (9 августа) он сообщает Ю. Д. Ефремовой: «...ежедневно по возвращении с утренней прогулки, то есть с 10 часов до трех, я не встаю со стула, сижу и пишу почти до обморока.

---

[7] Неточно опубликовано: *Цейтлин*, с. 160—161. Печатается по автографу (*ГБЛ*, Катков, 2. 32) с уточнениями по копии (*ГБЛ*, Катков, 21), снятой, по-видимому, до того, как оригиналы писем были повреждены огнем.

Встаю из-за работы бледный, едва от усталости шевелю рукой... <...> я приехал сюда 21 июня нашего стиля, а сегодня 29 июля, у меня *закончена первая часть Обломова, написана вся вторая часть* и довольно много *третьей*, так что лес уже редеет, и я вижу вдали... конец. <...> недописанное нетрудно будет, несмотря на занятия, докончить и в Петербурге. Главное, что требовало спокойствия, уединения и некоторого раздражения, именно главная задача романа, его душа — женщина — уже написана, поэма любви Обломова кончена: удачно ли, нет ли — не мое дело решать, пусть решают Тургенев, Дудышкин, Боткин, Дружинин, Анненков и публика, а я сделал, что мог. <...> Если теперь и написал *что-нибудь*, так это, должно быть, мариенбадская вода помогла. Это *что-нибудь* составляет *сорок пять* моих писаных листов,[8] а Вы знаете, что значит мой писаный лист.[9] Надо считать сорок пять листов, написанных здесь, да первой части сколько!»[10] (VIII, 237—239).

2 (14) августа Гончаров пишет И. И. Льховскому: «...я приехал сюда 21 июня нашего стиля <...>, а числа эдак 25 или 26-го нечаянно развернул Обломова, вспыхнул — и 31 июля у меня написано было моей рукой 47 листов![11] *Я закончил первую часть, написал всю вторую и въехал довольно далеко в третью часть.*[12] <...> мне еще недели три пристальной работы осталось до окончания Обломова. *Локти*[13] уже давно на сцене. Поэма изящной любви кончена вся: она взяла много времени и места <...> Действие уже происходит на Выборгской стороне: надо изобразить эту выборгскую Обломовку, последнюю любовь героя и тщетные усилия друга разбудить его. Может быть, все это уляжется в нескольких сценах — и тогда хвала, хвала тебе, герой!» (VIII, 243—246).

К осени 1858 г. работа над рукописью романа завершается. После переговоров с редакторами нескольких журналов («Русского вестника», «Библиотеки для чтения», «Русского слова») Гончаров в сентябре 1858 г. принимает решение опубликовать роман в «Отечественных записках» А. А. Краевского.

Как ни стремительна и коротка была история создания романа «Обломов», вошедшая в историю русской литературы как «мариенбадское чудо», осмысление и завершение замысла, его уточнение во всех деталях и мелочах стоили автору многих трудов.

Первой публикации предшествовала и сопутствовала ей громадная работа по отделке и совершенствованию текста романа.

---

[8] Т. е. почти завершена III часть романа.

[9] В авторском листе рукописи романа «Обломов» в среднем 6556 знаков (в странице современной машинописи — не более 2000 знаков). Подробнее об этом см. далее, на с. 559 наст. изд.

[10] В рукописи I части романа 30 гончаровских листов. Авторская пагинация II части начинается с 1-го листа.

[11] Т. е. завершена III часть романа.

[12] Точнее — IV (так был разделен роман при публикации, подробнее см. ниже, с. 557).

[13] Имеется в виду Агафья Матвеевна Пшеницына.

22 августа 1857 г. Гончаров заметил в письме к И. И. Льховскому: «Я сам в первый раз прочел то, что написал, и узрел, увы! что за обработкой хлопот — несть числа» (VIII, 249).

Напряженная работа по подготовке рукописи романа к печати проводилась Гончаровым в сложных условиях: он сочетал ее с обширными служебными занятиями. По подсчетам А. Мазона, в 1856 г. писатель процензурировал 10 453 рукописных листа и 827 $^{3}/_{4}$ печатных листов, в 1857 г. соответственно — 8584 и 1039, в 1858 — 19 211 и 1052 $^{1}/_{4}$.[14]

Особенно больших усилий стоила Гончарову обработка I части романа, вчерне написанной, как уже говорилось, еще в 1850 г., когда не только частности и детали, но и структура будущего романа, его основные темы и сюжетные коллизии едва ли определились. Требовалась если не коренная, то, во всяком случае, очень существенная перестройка. 5 (17) ноября 1858 г. в ожидании корректуры I части Гончаров писал И. И. Льховскому: «За десять лет хуже, слабее, бледнее я ничего не читал первой половины первой части: это ужасно! Я несколько дней сряду лопатами выгребал навоз и все еще много!» (VIII, 255). 20 ноября (2 декабря) того же года он писал брату в Симбирск: «Если кто будет интересоваться моим новым сочинением, то посоветуй не читать первой части: она написана в 1849 году и очень вяла, слаба и не отвечает остальным двум,[15] написанным в 1857 и 58, то есть нынешнем году. А в 1849 году у меня самого еще неясно развился план всего романа в голове, да и меньше зрелости было. Оттого она и должна сделать дурное впечатление...».[16] Та же просьба в письме к Л. Н. Толстому от 4 декабря 1858 г.: «Не читайте первой части „Обломова“, а если удосужитесь, то почитайте вторую часть и третью: они писаны после, а та в 1849 году и не годится» (VIII, 256).

Пометив I часть «Обломова» в публикации «Отечественных записок» датой «1849 года» (II и III части в журнале и последующих, кроме 1862 г.,[17] переизданиях имеют дату: «1857 года», IV часть — «1857 и 1858 г.»), Гончаров попытался таким образом оправдаться перед читателем, предотвратить невыгодное, как ему казалось, сопоставление написанных в разное время частей романа.[18]

---

[14] *Mazon A.* Un maître du roman rùsse Ivan Gontcharov. Paris, 1914, p. 198.

[15] Количество частей в романе определилось только в процессе первой его публикации. По этому поводу Гончаров в письме к В. П. Боткину от 30 января 1859 г. заметил: «Я все непокоен, пока не кончится последняя часть в апреле, только тогда вздохну свободно, а вчера еще сдал всего вторую часть в печать: теперь ее оттискивают. Неожиданно выходит вместо 3-х четыре части, несмотря на убористый шрифт „Отечественных записок“» (VIII, 257—258).

[16] Новое время, илл. прилож., 1912, 9 июня, с. 10.

[17] В издании 1862 г. все части не имеют дат.

[18] По этому поводу А. В. Дружинин заметил: «Поработав и тяжело поработав над невозможною задачею, г. Гончаров наконец убедился, что ему ‹...› не загрузить пропасти, лежащей между двумя Обломовыми. ‹...› Убедясь в этом, автор романа махнул рукой и подписал под первою частью романа все объясняющую цифру 49 года. Этим он высказал свое положение и откровенно отдавал себя как художника на суд публики. Успех „Обломова“ был ему ответом — читатель прощал

Значительная часть работы по шлифовке и уточнению текста производилась, по всей вероятности, уже в корректурах. По свидетельству А. Ф. Кони, «к *условиям* творчества Гончарова, кроме его медлительности, относилась и тяжесть самого труда, как орудия творчества. Сомнения автора касались не только существа его произведений, но и самой формы в ее мельчайших подробностях. Это доказывают его авторские корректуры, которые составляли, подобно корректурам Толстого, истинную муку редакторов. В них вставлялись и исключались обширные места, по нескольку раз переделывалось какое-либо выражение, переставлялись слова, и уже подписанная к печати корректура внезапно требовалась обратно для новой переработки». Как рассказывает А. Ф. Кони, сам Гончаров по этому поводу говорил: «...вот так и я пишу — горестно и трудно, а другим оно дается шутя».[19]

Это свидетельство подтверждается и обширной перепиской Гончарова с М. М. Стасюлевичем в период публикации в «Вестнике Европы» «Обрыва» (см., например, VIII, 346), и замечанием самого Стасюлевича в письме к Е. С. Некрасовой от 8 февраля 1884 г.: «Ужасно и вспомнить, что проделывал со мною Гончаров в корректуре своего „Обрыва“, но все же я за это не осужу его».[20] Надо полагать, что нечто подобное происходило и с корректурами «Обломова».

Публикация романа «Обломов» в «Отечественных записках» 1859 г. подвела итог первому и главному этапу творческой истории этого произведения. Но работа Гончарова над текстом романа не была завершена. Верный своей «несчастной слабости вырабатывать донельзя» (VIII, 205), автор вновь и вновь возвращается к уже напечатанному тексту романа. История печатных изданий «Обломова», вышедших в свет при жизни писателя, ставит перед исследователем творческого пути Гончарова весьма сложные задачи. Но прежде чем обратиться к ним, проследим, как работал Гончаров над воплощением своего замысла, над рукописным текстом романа, и, наконец, посмотрим, какие изменения произошли на этапе движения от рукописи к первой публикации и к дальнейшим переизданиям.

*

Техника творческого труда Гончарова не менялась на протяжении десятилетий. Его рукописи — от романов «Обломов» и «Обрыв»[21] до мемуаров и очерков последнего периода жизни — представляют собой двойные листы бумаги, как правило большого формата, «в виде простынь» (как писал о них сам Гончаров — VIII, 334), разделенные

несовершенства частные за наслаждения, доставленные ему целым творением». *Дружинин. Литературная критика*, с. 299.

[19] *Гончаров в воспоминаниях*, с. 241—242.

[20] *ГБЛ*, ф. 196 (Е. С. Некрасовой), карт. 23, ед. хр. 48.

[21] Рукописи «Обыкновенной истории» и «Фрегата „Паллада“» не сохранились.

пополам. Правая сторона предназначалась для основного текста, левая — для исправлений, дополнений и т. п. Некоторое представление об их внешнем виде дает письмо Гончарова к С. А. Никитенко от 13 (25) июля 1868 г. по поводу рукописи «Обрыва»: «Переписывать надо, как всегда, в половину листа, только не такого огромного формата, как были тетради с A до Z. С ними трудно возиться — а обыкновенной средней величины — и на гладкой, а не шероховатой бумаге. Места не жалейте, не очень часто строки, чтоб было где поправлять на полях».[22]

Листы исписаны мелким, не всегда разборчивым почерком (сам Гончаров называл его «уродливым» — VIII, 330) весьма плотно. На первоначальной стадии работы встречаются листы с колоссальной, трудно представимой плотностью текста: выноски на поля, выноски к выноскам вдоль края страницы, дополнения к ним, помещающиеся между строками в свободном месте, в углу листа, словом, везде, где есть микроскопический просвет. Так, например, в I части романа лист 6-й авторской (11—12 об. арх.) паг. вместил 14 142 знака, во II части лист 3-й авторской (62—63 арх.) паг. — 9744 знака (примеры выбраны наугад, возможны листы с еще большей плотностью). В III и IV частях плотность текста меньшая. Например, лист 33-й авторской (123—124 об. арх.) паг. III части романа содержит 7809 знаков; в IV части лист 49-й авторской (156—157 об. арх.) паг. — 7532 знака.

Как видно из цитированного выше письма к С. А. Никитенко, для Гончарова имели некоторое значение и цвет и фактура бумаги. Но часто (например, в рукописи «Обрыва») он пользовался первым, что попадалось под руку: синяя и желтая бумага различных форматов, плотности и т. п. Как правило, это происходило при переезде во время летних отпусков из города в город, при перерывах в работе.

Рукопись романа «Обломов» содержит 103 листа авторской паг. (203 арх.). Часть I — лл. 1—30; части II—IV — лл. 1—73.

В основном это массив однородной бумаги; за редчайшим исключением — заполненные до конца двойные листы.

Из всех известных нам рукописей только в рукописи романа «Обломов» имеется на полях рисунок (л. 18-й авторской паг. I части), по всей вероятности, это портрет кого-то из героев.

По всей рукописи прослеживается преимущественно два варианта почерка: в основном тексте и во вставках на полях, как правило в тех, что произведены позже. Разумеется, есть и вставки, произведенные синхронно с написанием основного текста. Первые два листа I части представляют явно перебеленные черновые материалы. Они написаны ровным, аккуратным крупным почерком, почти не содержат помарок. Более таких листов нет.

Деление на главы в рукописи романов «Обломов» и «Обрыв» присутствует далеко не всегда. Нумерация глав, как правило, не производится. Так, в I части «Обломова» намечены лишь несколько глав: никак не выделены 1—4-я и 6-я. В III части не выделены 2-я, 6-я, 9—12-я главы.

---

[22] *Ежегодник 1976*, с. 198.

В IV части отсутствует обозначение 3-й, 6-й и 7-й, 11-й глав. Будущие главы отделяются обычно линейкой, цифровое обозначение отсутствует, слово «глава» всегда сокращено (гл.). Окончательное деление на части (в рукописи «Обломова» выделена часть I и «часть II-я и следующие») и главы осуществляется лишь при завершении произведения и подготовке его к публикации.

«Вставных» листов в рукописи «Обломова» немного. Это двойной лист (другая бумага, чем в основном массиве рукописи, л. 112—113 арх. паг.), вложенный в 28-й лист авторской паг. II части (диалог Ольги и Обломова об их будущем), и лист с пометой А. А., вложенный в 47-й лист авторской паг. (11-я глава III части).[23]

Черновой характер рукописи и специальные пометы[24] свидетельствуют о том, что перед набором она была сдана переписчику. Перебеленная рукопись, вероятно, правилась автором, отдельные листы вновь переписывались и лишь затем шли в набор. Но если три последние части «Обрыва» перебелялись таким вдумчивым и не формально относившимся к делу человеком, как С. А. Никитенко, которая, по словам Гончарова, знала «местность — и все, решительно все, что касается до романа» (VIII, 331), то рукопись «Обломова» не имела столь квалифицированного переписчика. Не отсюда ли многочисленные неточности в первопечатном тексте романа, расхождения его с рукописным текстом в тех случаях, когда трудно предположить улучшающую авторскую правку?

---

[23] Наличие этой пометы привело к рождению легенды, довольно прочно укоренившейся в литературоведении. Среди знакомых Гончарова была некая Авдотья (по другим сведениям — Августа) Андреевна Колзакова (см. о ней: *ЛА*, т. 3, с. 104). Какое-то, видимо, непродолжительное время писатель находился с ней в дружеских отношениях, может быть, даже был ею увлечен. К 1857 г. наступило, вероятно, охлаждение, о чем позволяет судить письмо Гончарова к И. И. Льховскому от 25 (13) июня 1857 г. (VIII, 231), где Колзакова упомянута под инициалами А. А. (см. также письмо ему же от 2 (14) августа, VIII, 244). Этот биографический эпизод и наличие пометы А. А. в рукописи 11-й главы III части «Обломова» послужили для исследовательницы творчества Гончарова О. М. Чемены основанием предположить, что «разрыв Гончарова с А. А. Колзаковой, повлекший сложные и тягостные переживания писателя, нашел отражение в сцене прощания Обломова с Ольгой» (*Чемена*, с. 38). На самом же деле «А. А.» — вовсе не инициалы Колзаковой, а литерное (в отличие от обычного для Гончарова, цифрового) обозначение «вставного» листа, вложенного в основной текст. На листе 152 об. арх. паг. также помета: «А. А. К 46 листу». На полях того же листа еще раз — «А. А.».

Отрывок текста, записанный на этом листе, теснейшим образом связан с сюжетом романа, характером его главного героя, не имеет и не может иметь отношения к жизненной судьбе Гончарова. Заметим, кстати, что в рукописи романа «Обрыв» также имеется дополнительный лист с пометой «А. А.», уж вовсе никакого отношения к любовному диалогу не имеющий (спор Райского и Волохова, не вошедший в окончательный текст, — *ИРЛИ*, 19521/CXXX б. 4, л. 46 арх. паг., с авторской пометой: «Перед этим окончание предыдущей главы на полулисте А. А.»).

[24] Например, на л. 6 (арх. паг.) в скобках помета: «здесь следует выписка на II листе». На л. 11 об. (арх. паг.) также в скобках замечено: «Письмо старосты см. Л. I на следующей странице после зн‹ака›» (далее — соответствующий условный значок), и т. п.

Для воссоздания полной истории текста романа «Обломов» в настоящее время недостает, таким образом, следующих материалов: наборной рукописи, черновых автографов глав, которые в имеющейся рукописи представлены в другой редакции, и главы «Сон Обломова», а также всех корректур прижизненных изданий романа.

Однако и сохранившиеся материалы дают достаточно широкие возможности для того, чтобы проследить многие важнейшие этапы работы Гончарова над текстом романа «Обломов» от возникновения замысла до его воплощения.

Характер и обстоятельства творческого труда Гончарова достаточно своеобразны. Об этом свидетельствуют и его письма периода работы над романами «Обломов» и «Обрыв», и позднейшие высказывания, занимающие важное место в статьях и мемуарах 70—80-х гг. Ярко и образно рассказал Гончаров о своем состоянии в процессе творческого труда и о технике самого этого процесса в «критических заметках» 1879 г. «Лучше поздно, чем никогда»: «Рисуя, я редко знаю в ту минуту, что значит мой образ, портрет, характер: я только вижу его живым перед собою — и смотрю, верно ли я рисую, вижу его в действии с другими — следовательно, вижу сцены и рисую тут этих других, иногда далеко впереди, по плану романа, не предвидя еще вполне, как вместе свяжутся все пока разбросанные в голове части целого. Я спешу, чтоб не забыть, набрасывать сцены, характеры на листках, клочках — и иду вперед, как будто ощупью, пишу сначала вяло, неловко, скучно (как начало в *Обломове* и *Райском*), и мне самому бывает скучно писать, пока вдруг не хлынет свет и не осветит дороги, куда мне идти. У меня всегда есть один образ и вместе главный мотив: он-то и ведет меня вперед — и по дороге я нечаянно захватываю, что попадется под руку, что есть что близко относится к нему. Тогда я работаю живо, бодро, рука едва успевает писать, пока опять не упрусь в стену. Работа, между тем, идет в голове, лица не дают покоя, пристают, позируют в сценах, я слышу отрывки их разговоров — и мне часто казалось, прости господи, что я это не выдумываю, а что это все носится в воздухе около меня и мне только надо смотреть и вдумываться» (VIII, 105—106).

Уточняя и дополняя это высказывание, романист в письме к Д. М. Цертелеву от 16 сентября 1885 г. заметил: «. . .для романа или повести нужен не только упорный, усидчивый труд, но и масса подготовительной, своего рода черновой, технической работы, как делают и живописцы, т. е. набрасывание отдельных сцен, характеров, черт, деталей, прежде нежели все это войдет в общий план и т. п. Словом, недилетантская работа требует всего человека. . .».[25]

[25] *Гончаров. Статьи*, с. 333.

Изучение творческого архива писателя (рукописи романов «Обломов», «Обрыв», поздних очерков и мемуаров Гончарова) убедительно подтверждает точность и достоверность вышеприведенных авторских свидетельств. Безвозвратно погибли, по-видимому, «клочки» и «листки» «с заметками, очерками лиц, событий, картин, сцен и проч.» (VII, 354) «Обломова», «тетради, листки, листочки, клочки и carnets» (VIII, 334) к «Обрыву», но и на страницах черновых рукописей обоих романов мы видим многочисленные (в рукописи «Обрыва» — более 60) заметки для памяти, относящиеся и к описанию героев, главных и второстепенных, и к содержанию только что задуманных глав, и «ключевые» слова авторских характеристик (например, в «Обрыве»: «бабушка как конь»), речи персонажей («ей-богу» Агафьи Матвеевны Пшеницыной), и соображения о структуре романа, расположении и последовательности отдельных глав, стержневых эпизодов и т. д. и т. п.

Эти заметки, или «программы», как называл их Гончаров, записаны, как правило, на полях рукописи, в углу или вдоль листа, очень мелким почерком, без знаков препинания и часто без прописных букв в начале новой фразы. По мере использования они (за редкими исключениями) вычеркиваются. Иногда же (см.: Варианты) заметки весьма подробны, занимают чуть ли не полный лист, касаются нескольких героев или сюжетных коллизий.

В отличие от рукописи романа «Обрыв», где заметки чаще всего делались на будущее, задолго до того, как реализовалось их содержание (это объясняется прежде всего длительной — около 20 лет — историей создания романа), в рукописи «Обломова» «программы» представляют собой, как правило, конспекты — подробные или краткие — содержания ближайших глав, наметки характеристик, тут же развернутые. Исключений немного. Так, на первом листе рукописи «Обломова» под шапкой: «переделать начало так» (Варианты, с. 386) намечено содержание первых восьми глав I части, излагается событийная канва, но основное внимание уделено психологической характеристике главного героя романа и его слуги Захара, зафиксированы важнейшие детали образа жизни и душевного склада Обломова. Здесь же (Варианты, с. 388) упоминается знакомый Гончарова, черты которого автор романа намеревался использовать для характеристики центрального героя (см. также далее: «Как Никита Вас.: где сел, так уж нелегко встанет» — Варианты, с. 413). По мере углубления замысла писатель от попыток такого рода, по-видимому, отказался. В следующих «программах» очевидно движение авторской мысли в тех же двух основных направлениях: быт героев (главных и второстепенных) в соотнесении (иногда прямом, иногда подразумеваемом) с их внутренним миром; фиксируется их социальное происхождение, род занятий, среда на разных этапах жизни; семья, детство и юность, первые шаги на служебном поприще, общественные связи и т. д.; рассматривается сфера духовных интересов (или, напротив, бездуховность). Намечены взаимные отношения героев, причины и поводы их знакомства (линия Обломов — Алексеев, Обломов — Тарантьев).

Пристальное внимание уделяет Гончаров сопоставлению Алексеева и Тарантьева как разных социально-нравственных типов, каждый из которых по-своему дополняет Обломова. В посвященных этой теме «программах» обнажается излюбленный авторский прием контрастных характеристик: совершенно не сходные на первый, невнимательный, взгляд, герои находятся, как выясняется в ходе повествования, в тесной диалектической связи. Позже (во II части) этот прием своеобразного двойничества используется при соотнесении, с одной стороны, Обломова и Захара, с другой — Ольги и Анисьи. От столь грубых параллелей Гончаров при доработке текста, естественно, отказался, но в рукописи они присутствуют. Так, вместо слов: «. . . держись, Илья Ильич!» (с. 202) в рукописи читалось (зачеркнуто): «Боже мой! Да никак она. . . Анисья, а я — Захар!» (л. 101. Здесь и далее листы указаны по арх. паг.). И далее вместо: «„Ах, если б сквозь землю провалиться!“ — думал он, внутренно мучась, по мере того как мысль Ольги открывалась ему вполне» (с. 202) — в рукописи читается: «„Батюшки! никак она — Анисья, а я Захар!“ — сверкнуло у него в голове, лишь только мысль Ольги, как молния, озарила его душу» (л. 101 об.). И еще раз, после слов: «краска бросилась в лицо» (с. 204) в рукописи было: «— Анисья и Захар! — мелькнуло опять в уме» (л. 102 об.).

Особо выделены (подчеркнуты) Гончаровым ключевые слова в социальной характеристике Обломова, отчасти обращающие читателя к мотивам русского фольклора, занимающим исключительно важное место в главе «Сон Обломова»: «авось», «может быть», «как-нибудь» (с. 76). В заметках, посвященных Обломову, важно отметить сочетание подчеркнутой «физиологичности», вызывающей некоторую неприязнь («любил грязненький халат; обедать любил нараспашку, чтоб взять кость обеими руками и глодать, замусоливши и руки и рот» — Варианты, с. 413), и, с другой стороны, — проявления напряженной внутренней жизни, хотя и здесь в первых набросках — настойчивый акцент на слове «лежа» («Он любил жить, мечтать и волноваться лежа» — Варианты, с. 414). Уже в ранних «программах» как антипод Обломова (в сфере деловой жизни) возникает Штольц: вначале — в словах Захара, обращенных к Тарантьеву: «Вот Карлы Мих. жаль нет. . .» (Варианты, с. 408), затем — самого Обломова: «— Кабы Штольц приехал» (Варианты, с. 409). Позднее Штольц выступает уже в роли нравственного наставника, учителя жизни: «Штольц <. . .> натолковал ему» (Варианты, с. 414) и т. д. Далее все чаще возникают мотивы духовного борения Обломова с самим собой, но по-прежнему в обязательном сопровождении «снижающих» оговорок. Так, в заметке, начинающейся словами: «Да не подумают, чтоб дух его был так же всегда покоен, как тело» (Варианты, с. 427), описание нравственных терзаний или смелых порывов Обломова прерывается своего рода ремарками: «лежа», «так с угара бывало. . .», «и вскоре после того слышалось храпенье». Окончательное решение образа долго не приходит, возникают несоответствия в характеристиках героя. Заметив это, автор делает для себя ряд пометок на будущее, например: «противоречие: выше сказано, что чтение и поэты

не заронили в него ничего, а тут он пылок и мечтатель: сгладить это» (Варианты, с. 430).

Значительная часть заметок посвящена Захару. Набросаны диалоги барина и слуги, намечены взаимная связь и взаимное отталкивание героев: «мешали друг другу, оттого, что видели ближе один другого» (Варианты, с. 434), различные аспекты их взаимоотношений, своеобразные проявления «преданности» Захара Обломову как порождение крепостнического уклада жизни.

Иногда «программы» буквально нанизываются одна на другую, совмещая самые разнородные мотивы будущего повествования. Здесь и «болезненная неразвитость» (Варианты, с. 437) Обломова, и черты городского быта, и мечты героя, и житейская беспомощность, и его раздумья о судьбе беглых мужиков. Несколько «программ» посвящено важнейшему в социальном плане (если не считать отсутствующей в рукописи главы «Сон Обломова») диалогу слуги и барина о «других» и дальнейшим размышлениям Обломова на эту тему, приводящим героя к вопросу: «отчего же я не другой?» (Варианты, с. 441).

Некоторая часть помет отражает сомнения автора в правильности избранного им решения, соображения о структуре будущего повествования, месте того или иного эпизода в контексте романа. В «программе» начала романа после характеристики ночных терзаний Обломова: «вскакивал и плакал холодными слезами, слезами отчаяния над своим бессилием» (Варианты, с. 388) в скобках добавлено: «это пожалуй пусть он расскажет Почаеву». К аналогичному конспекту прибавление в скобках: «или пожалуй поместить это в главе: *Обломов и Захар*» (с. 389). Характеризуя отношение Захара к Обломову, Гончаров помечает также в скобках: «Это все можно поместить в сцену у ворот» (с. 434). Аналогичная заметка (в скобках) в тексте 7-й главы I части: «Тут впоследствии можно перенести из предыдущей главы о позах лежанья, о других его мечтах, как он мечтает о судьбе человечества, как вдохновенно озирается и т. п.» (с. 438). Не исключено, что такого рода замечания появлялись при повторном чтении рукописи или в результате дружеской критики.

Более всего «программ» в I части романа. Это понятно: она создавалась на протяжении нескольких лет, общий замысел не был оформлен, на ходу менялись старые решения, принимались новые, приходилось перестраивать и характеристики, и сюжет. Так, например, дважды мелькнувшая в «программах» Вера Павловна (по всей вероятности, пассия Обломова) исчезает, ни разу не появившись непосредственно в действии. Уходит из романа Почаев, который должен был существовать параллельно со Штольцем и, возможно, выполнять его функции.

II, III и IV части романа написаны, как уже говорилось, «залпом» летом 1857 г. в Мариенбаде. Поэтому здесь «программы» немногочисленны, как правило, немедленно реализуются, менее подробны (нет надобности в их детальном развертывании). Очень небольшая их часть реализована только в рукописи; как правило, они воплощаются в окончательном тексте, иногда дословно. По-прежнему в «программах» намечаются наиболее ответственные диалоги (Обломова и Ольги, Штольца

и Ольги, Обломова и «братца»), главные мотивы психологических, бытовых, житейских характеристик.

Ряд заметок сделан, по-видимому, уже после создания основного корпуса романа, поскольку соответствующие им фрагменты текста вписаны на полях рукописи.

Анализ «программ» в их совокупности дает возможность проследить логику возникновения осуществленных и не осуществленных в процессе работы Гончарова над романом замыслов, определить систему расстановки смысловых, сюжетных, идейных акцентов и способствует, следовательно, полному и всестороннему осмыслению романа «Обломов» в его завершенном виде.

Составление «программ» представляет собой один из важнейших и самых значительных этапов работы Гончарова над рукописью «Обломова». Обратимся теперь к исследованию других уровней, на которых шла работа над текстом.

2. РАБОТА ГОНЧАРОВА НАД РУКОПИСЬЮ

Обращение к рукописи романа «Обломов», в особенности двух первых его частей, показывает, что в черновых материалах зафиксированы различные этапы авторской работы: создание первоначального текста, одновременные или (судя по содержанию, способу записи и почерку) более поздние дополнения значительного объема, произведенные над строкой и на полях, и, наконец, процесс окончательной (в пределах данной рукописи) отделки: сокращения, исправления, замены и т. п., сделанные, по-видимому, уже после того, как роман вчерне был завершен. Последний этап работы — дописывание глав и фрагментов, появившихся лишь в первой публикации романа, в рукописи не отражен. Объем такого рода исправлений настолько велик, что исключает всякую мысль о возможности их внесения в корректуру журнального текста. Здесь следует предположить наличие промежуточного между черновой рукописью и первой публикацией допечатного источника.

Следуя за автором романа, обратимся к названным выше трем основным этапам его работы: созданию первоначального текста с одновременной и последующей правкой, подготовке романа к печати и прижизненным изданиям. Деление это, разумеется, весьма условно, строгие границы каждого этапа наметить невозможно. От черновой рукописи приходится уходить к первопечатному тексту и более поздним публикациям, а от них вновь возвращаться к рукописным материалам. Из обзора истории создания романа «Обломов» по необходимости практически исключены материалы, представленные в разделе Варианты и достаточно наглядно рисующие процесс и смысл гончаровской работы над текстом. Основное внимание сосредоточено на менее объемных фрагментах черновой рукописи, требующих подробного анализа, классификации и комментария.

Учитывая, что в разделе Варианты представлен только собственно текстовой материал, и, следовательно, никак не отражен способ записи

не вошедших в окончательный текст отрывков (поля, над строкой и т. п.), не описаны отсутствующие в рукописи и впервые появившиеся в печатном тексте эпизоды, не показаны мелкие словесные разночтения, число которых чрезвычайно велико, остановимся в первую очередь именно на этих важнейших, характеризующих суть творческого процесса Гончарова моментах.

В соотношении с общим объемом романа (в машинописных страницах) вписанное на полях и над строкой составляет около одной седьмой части текста.

Подсчет строк и слов, вписанных на полях рукописи в каждой из частей романа по отдельности, дает материал для выводов, подтверждающих вышеприведеный анализ рукописи в целом. На полях I части вписано 132 слова и 651 строка, во II части соответственно — 175 и 1251, в III — 57 и 194, в IV — 76 и 136. Всего же на полях вписано примерно 77 страниц. Над строкой в I части вписано 736 слов и 123 строки, во II — 765 и 60, в III — 225 и 11, в IV — 152 слова и 18 строк. Всего около 8 страниц. Эти цифры говорят о том, что основная правка (уточнения и дополнения) производилась в I и II частях романа, III и IV части правились мало.

Вписанное над строкой, как правило, является уточнением, заменой зачеркнутого и производится по ходу работы над текстом. Но бывает и так, что, начав править строку, Гончаров переходит уже на поля, где продолжается правка и одновременно делаются или значительные дополнения, или замены весьма объемных фрагментов.

Не останавливаясь на мелких дополнениях и исправлениях, поскольку их классификация и анализ будут представлены в других разделах, обратимся к тем вставкам на полях, которые имеют принципиальное значение для характеристики героев, уточнения духовной, нравственной и бытовой атмосферы романа, его сюжета и структуры.

Дополнения на полях I части романа прежде всего затрагивают характеристики Обломова и Захара, описание их быта, привычек и т. п. Некоторые центральные эпизоды этой части вписаны именно на полях. Дополняется весьма краткая в первом варианте характеристика письма старосты и отношения к нему Обломова. Главное здесь — задуманный героем «план разных перемен и улучшений в порядке управления своим имением» (с. 10), возвращение к которому станет в дальнейшем одним из важнейших мотивов как I части, так и всего романа. На полях характеризуются внешность Захара, особенности его костюма, воспоминания героя об Обломовке: «предания о старинном быте и важности фамилии», «слабые намеки на отжившее величие» (с. 11).

Более страницы занимает вставка, посвященная диалогу барина и слуги об утерянном платке и необходимости уборки квартиры, ярко рисующему характеры и отношения к жизни каждого героя. Далее путем мелких дополнений на полях эта тема углубляется. На полях впервые появляется еще один важный момент в оценке Обломова (Захар подает барину неоплаченные счета), опять-таки связанный с бытом. Ключевые слова этого фрагмента: «разве нельзя до завтра?» (с. 15). Та

же тема варьируется в словах: «не смей и напоминать о квартире» (с. 16), в прениях о разговоре с хозяином, в затруднениях Обломова «о чем думать: о письме ли старосты, о переезде ли на новую квартиру, приняться ли сводить счеты? Он терялся в приливе житейских забот...» (с. 16). Несколько далее на полях записано все письмо старосты и дополнения к нему. Еще один сквозной мотив — обломовские упования на помощь Штольца: «Хоть бы Штольц скорей приехал! <. .> Он бы все уладил» (с. 32) — также впервые возникает именно на полях, углубляясь по мере определения структуры романа. На полях же вписаны строки о квартире на Выборгской стороне, которую Тарантьев характеризует так: «Главное, спокойствие какое тебе будет: все равно как у родной сестры. Двое ребятишек, холостой брат, я всякий день буду заходить...» (с. 40). Продолжением этих слов служат соответствующие фрагменты III и IV частей. Понятно, что появиться они могли как результат осмысления автором будущей судьбы героя на одном из более поздних по отношению ко времени написания I части этапов создания романа. «Мостом» в последующие части является и записанный на полях фрагмент разговора Обломова и Тарантьева: «...я найму тебе квартиру — слышишь ты? — прибавил он. — Ну, хорошо, хорошо! — с нетерпением говорил Обломов, чтоб только отвязаться от него» (с. 45—46). Характеристика жизненных принципов героя (слова Обломова, обращенные к Тарантьеву: «Перестань хвастаться, а выдумай, как бы и с квартиры не съезжать, и в деревню не ехать, и чтоб дело сделалось...», с. 42) также появилась, вероятно, позднее, когда окончательно определилась роль главы «Сон Обломова» в идейном содержании романа. Реплика героя тесно связана с одним из основных, хотя прямо и не заявленных, мотивов этой главы: «По щучьему веленью, по моему хотенью», напоминающим сказку о Емеле-дурачке, эту, по словам Гончарова, «злую и коварную сатиру на наших прадедов, а может быть, еще и на нас самих» (с. 93). С горькой иронией вкладывает Гончаров в уста Тарантьева, испытывающего «инстинктивное отвращение к иностранцам» (эти слова вставлены на полях), такую тираду: «Русский человек выберет что-нибудь одно, да и то еще не спеша, потихоньку да полегоньку, кое-как, а то на-ко поди!» (с. 44). Это один из немногих в романе прямой выпад против образа мыслей, рожденного Обломовкой и обломовцами.

Тему закономерной социальной связи сегодняшней жизни слуги и барина с их обломовским прошлым развивает целый ряд вставок на полях, посвященных Захару. Таковы, например, весьма важные формулировки: «Он принадлежал двум эпохам, и обе положили на него печать свою» (с. 56), или: «Это Захар делал не из злости и не из желания повредить барину, а так, по привычке, доставшейся ему по наследству от деда его и отца — обругать барина при всяком удобном случае» (с. 57). На полях мотивирована крайняя неловкость слуги в обращении с барскими вещами (с. 57, см. также: Варианты, с. 506); там же помещены оценка своеобразного отношения Захара к Обломову (от слов: «Захар умер бы вместо барина...», Варианты, с. 507, см. также с. 435) и подробное описание Захара, начинающееся словами: «Ленивый

от природы, он был ленив еще и по своему лакейскому воспитанию» и до слов: «...голос барина заставлял его покидать лежанку» (с. 60). На полях же это описание дополняется авторским рассуждением о привычке Захара «лгать и в то же время внутренно благоговеть» перед барином (с. 61). На полях читаем и запись, раскрывающую характер Захара в общении с детьми, которая предоставляет иные, уже не социальные, а психологические возможности для сближения этого героя с Обломовым (с. 60).

Весьма любопытна параллель, проводимая Захаром между «старым барином» и Ильей Ильичом в связи со склонностью Обломова к «жалким словам»: «Мы при старом барине родились и выросли, он и щенком изволил бранить, и за уши драл, а этакого слова не слыхивали, выдумок не было!» (с. 65).[26]

Множеством реплик и авторских ремарок дополнен на полях рукописи знаменитый диалог Обломова и Захара. В их числе слова Обломова: «Разве у меня такое здоровье, как у этих „других“? Разве я могу все это делать и перенести?» (с. 74). Здесь же заметки автора, свидетельствующие о полнейшей бессмысленности обломовских воспитательных мер: «слово *благодетельствует* доконало его!», или: «Чем меньше понимал он, что говорил ему в патетической речи Илья Ильич, тем грустнее становилось ему», или: «И Захар, не понимая, что он сделал, не знал, какой глагол употребить в конце своей речи» (с. 74). Завершаются эти ремарки ужасом Захара по поводу упомянутой барином «змеи» и словами: «Оба они перестали понимать друг друга, а, наконец, каждый и себя» (с. 75).

В связи с данным диалогом следует коснуться и некоторых исключений и замен, произведенных Гончаровым на стадии подготовки романа к печати. Часть их, возможно, является следствием автоцензуры.

Так, вместо замечания Обломова: «Стану ли я беспокоиться? Из чего мне?» (с. 74), в рукописи читаем: «Захочу, так чужими руками высморкаюсь, приставлю сторожа чихать за себя... Так как же я другой? Пойду ли я охотой на целый день из дома? стану ли переезжать? беспокоиться?» (Варианты, с. 439). Не вошла в окончательный текст еще одна авторская характеристика Обломова: «...избалованный с детства в деревне потворством отца и матери и всеобщими угождениями целого дома, он не мог сносить противоречий ни от кого и в нем укрепилась [привычка этого влияния на других]. Нагрубит ли ему чужой человек или про-

[26] В. И. Мельник в статье «Философские мотивы в романе И. А. Гончарова „Обломов“» справедливо отметил, что автор «не случайно вставляет в роман довольно большую сцену „пропекания“ словом Захара». Исследователь видит здесь указание на «Выбранные места из переписки с друзьями» и полемику писателя «с этой гоголевской книгой» (*РЛ*, 1982, № 3, с. 88). Думается, что именно в цитированных словах Захара, сопоставляющего «старые» и «новые» методы барского воздействия, полемический пафос Гончарова проявляется особенно ярко. Интересно, что А. И. Герцен, рассказывая в «Былом и думах» об отце, который «докучал» дворовым «капризами, не пропускал ни взгляда, ни слова, ни движения и беспрестанно учил», заметил: «...для русского человека это часто хуже побоев и брани» (т. 8, с. 40).

хожий на улице, он сейчас грозил ему сделать с ним что-нибудь такое, чего тот и представить себе не может, отправить его туда, куда ворон костей не занашивал, дать знать о нем в полицию — и вот сейчас там все бросятся исполнять его желание. Захар, глядя и слушая это, также составил себе какое-то преувеличенное понятие о могуществе своего барина» (Варианты, с. 435—436). Впрочем, возможно, что такого рода суждения, ярко рисующие крепостнический характер воззрений Обломова на жизнь, были заменены или вовсе устранены как прямо обличительные, не соответствующие окончательному замыслу романа и концепции образа главного героя. Приведенные фрагменты точно соответствуют первоначальному названию романа — «Обломовщина».

Из вариантов, связанных с социальными проблемами, следует также отметить зачеркнутые слова, характеризующие Захара. После слов: «Этот рыцарь» в рукописи: «был двумя или тремя поколениями моложе». Показательно и зачеркнутое продолжение фразы: «От одной (эпохи. — *Л. Г.*) перешла к нему по наследству безграничная преданность к дому Обломовых, а от другой, позднейшей, утонченность и развращение нравов» (с. 56). В рукописи далее следовало: «...философия века проникла и в передней» (л. 37 об.). Сюда же можно отнести также не вошедшую в печатный текст авторскую оценку слез Захара, пролитых им в порыве раскаяния при разговоре с барином о «других» (см. с. 75): «Эти слезы были более форма, нежели потребность, так, общее место, как иногда кинуться в ноги» (Варианты, с. 440).

В главах, посвященных взаимоотношениям Захара и Обломова, Гончаров затронул чрезвычайно важную для того времени проблему, поставленную, между прочим, и в мемуарах Герцена. Во второй главе I части «Былого и дум» Герцен писал: «Я довольно нагляделся, как страшное сознание крепостного состояния убивает, отравляет существование дворовых, как оно гнетет, одуряет их душу. ‹...›

Разумеется, есть люди, которые живут в передней, как рыба в воде, — люди, которых душа никогда не просыпалась, которые взошли во вкус и с своего рода художеством исполняют свою должность».[27] Гончаровский герой, кстати, прошел, как можно судить по рукописному (отчасти и печатному) тексту романа, всю лестницу барской службы, «начиная от дворового мальчишки, до мажордома включительно» (в рукописи, л. 38 об., зачеркнуто; более поздний вариант: «...до дядьки Ильи Ильича»).

Тему петербургской Обломовки углубляют многочисленные вставки на полях: детали бесед слуги и барина о неведомо куда девшихся или неизвестно на что истраченных деньгах (при разных обстоятельствах и поворотах судьбы главного героя подобные разговоры неоднократно повторяются), о подсчете расходов (с. 66), обсуждение неудобств переезда (с. 70) и т. п.

---

[27] *Герцен*, т. 8, с. 42. См. также драматическую сцену Н. В. Гоголя «Лакейская» (опубликована в 1842), где, по словам Ю. В. Манна, «характеризуется дух целого социально-психологического явления» (*Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 7-ми т., М., 1967, т. 4, с. 474).

По мере прояснения авторского замысла возникают и вставки другого рода, посвященные духовному миру Обломова, его взаимоотношениям с окружающими. После слов: «Что ж он делал?» на полях запись: «Да все продолжал чертить узор собственной жизни. В ней он, не без основания, находил столько премудрости и поэзии, что и не исчерпаешь никогда и без книг и учености» (с. 53). На полях находим столь важные оценки, как: «Он не какой-нибудь мелкий исполнитель чужой, готовой мысли; он сам творец и сам исполнитель своих идей», или: «Освободясь от деловых забот, Обломов любил уходить в себя и жить в созданном им мире» (с. 54). На полях вписаны строки об отношении героя к женщинам (от слов: «Впрочем, он никогда не отдавался в плен красавицам...» и до слов: «...какой-нибудь пансионерки на возрасте», с. 49).

Значительная часть деталей обломовской сельской идиллии, подробная картина которой развернется уже во II части, также появилась на полях рукописи (от слов: «А между тем в столовой...» и до слов: «...потом отходят ко сну...», с. 62). Особое место занимают мечтания героя, которому видятся «всё ясные дни, ясные лица, без забот и морщин, смеющиеся, круглые, с ярким румянцем, с двойным подбородком и неувядающим аппетитом; <...> вечное лето, вечное веселье, сладкая еда да сладкая лень...» (с. 62).

Предварительно намеченные в «программах», реализуются на полях фрагменты покаянных размышлений Обломова о «других», вовсе не соответствующие тому образу, который нарисован был им Захару (с. 77). Они свидетельствуют о духовном прозрении героя, хотя и кратковременном, но обнадеживающем.

В рукописи II части романа дополнения относятся преимущественно к характеристикам Штольца и Ольги Ильинской. Работа над образом Обломова проходит в основном по тем же направлениям, что и в I части.

По контрасту с обломовским детством рисуются юные годы Штольца (с. 121, от слов: «Однажды он пропал...» и до слов: «...выучил роль»). В соответствии с общим замыслом романа вводится на полях подробное описание княжеского дома, овеянного жизнью «благородно-бесполезно в неге протекших поколений, в парче, бархате и кружевах» (с. 124).[28] Пространная характеристика (более страницы) завершается словами: «С одной стороны Обломовка, с другой — княжеский замок, с широким раздольем барской жизни,[29] встретились с немецким элементом, и не вышло из Андрея ни доброго бурша, ни даже филистера» (с. 125).

Запись на полях вводит и контрастное (по отношению к Обломову) описание внешности Штольца (от слов: «Он худощав; щек у него почти вовсе нет...» и до слов: «...употреблял столько мимики, сколько было нужно», с. 128), и столь же контрастную оценку отношения Штольца к жизненным неурядицам («...страдал без робкой покорности, а больше с досадой, переносил терпеливо только потому, что причину всякого

---

[28] Эти строки также записаны на полях.
[29] Конец записи на полях.

страдания приписывал самому себе, а не вешал, как кафтан, на чужой гвоздь», с. 128). Дополняются философские воззрения Штольца: «У него не было и того дилетантизма, который любил порыскать в области чудесного или подонкихотствовать в поле догадок и открытий за тысячу лет вперед. Он упрямо останавливался у порога тайны, не обнаруживая ни веры ребенка, ни сомнения фата...» (с. 129). Дальнейшие дополнения идут в том же русле: он говорил, что «нормальное назначение человека — прожить четыре времени года, то есть четыре возраста, без скачков...», «выше всего он ставил настойчивость в достижении целей ...» (с. 130) и т. д.

С уяснением общего замысла романа связана еще одна вставка на полях — лирико-философское объяснение причин, определяющих многолетнюю дружескую связь двух столь различных людей, как Штольц и Обломов. В его основе едва ли осознанная героем тяга к восполнению оскудевающих духовных богатств в процессе простого человеческого, а не нужного (делового) общения: «Андрей часто, отрываясь от дел или из светской толпы, с вечера, с бала ехал посидеть на широком диване Обломова и в ленивой беседе отвести и успокоить встревоженную или усталую душу, и всегда испытывал то успокоительное чувство, какое испытывает человек, приходя из великолепных зал под собственный скромный кров или возвратясь от красот южной природы в березовую рощу, где гулял еще ребенком» (с. 131).

Заметим, кстати, важное обстоятельство: в отличие от любви Ольги и Обломова, развертывающейся на фоне русского пейзажа (символом их чувства становится ветка сирени, в рукописи — ветка березы), чувство Штольца к Ольге осознается им во время пребывания за границей, объяснение происходит в Швейцарии, семейная жизнь проходит на Южном берегу Крыма.

Разработав «подробный план» того, что он «намерен делать» (с. 135) с Обломовым, поспорив с другом об интересах света и общества (многие аспекты этого спора записаны на полях), провозгласив знаменитую формулу: «теперь или никогда» и еще более знаменитую: «обломовщина», познакомив приятеля с Ольгой, Штольц уезжает за границу, надолго (вплоть до IV части) исчезнув из романа. Наметив все важнейшие черты героя, в том числе и некую душевную черствость и сухость Штольца (не случайно Обломов говорит ему: «— Как ты иногда резко отзываешься о людях, Андрей, ...», с. 135),[30] Гончаров оставляет его и обращается к характеристике Ольги Ильинской. Но прежде он вносит ряд важных деталей в описание центрального героя романа.

Продолжены мотивы I части: поиски непонятно куда ушедших денег, тщетные попытки найти бумагу для письма, обрастает новыми деталями обломовская идиллия сельской жизни. Наслаиваются новые черты,

---

[30] Весь пассаж о доме Ивана Герасимовича, в какой-то степени предвосхищающий житье героя на Выборгской стороне, вписан на полях. Так же пренебрежительно, как отозвался Штольц о приятеле Обломова, отзовется он впоследствии об Агафье Матвеевне: «Простая баба; грязный быт, удушливая сфера тупоумия, грубости — фи! ..» (с. 345).

исподволь готовящие появление в судьбе Обломова Ольги — размышления героя о будущей жене, с которой можно «думать вслух, мечтать, считать минуты счастья, как биение пульса; слушать, как сердце бьется и замирает; искать в природе сочувствия...» (с. 140). На полях вводятся воспоминания Штольца о юношеских замыслах Обломова «„служить, пока станет сил, ‹. .› работать, чтоб слаще отдыхать, а отдыхать — значит жить другой, артистической, изящной стороной жизни, жизни художников, поэтов» (с. 142—143), о заброшенных ныне в угол переводах из Сея, о мечте «заглянуть в германские университеты...» (с. 143) и т. п. Все это резко противоречит тому, что говорилось о жизни юного Обломова в рукописи I части. В процессе работы над романом содержание этого образа значительно изменилось; многие фрагменты I части исключаются, а II часть дополняется названными выше эпизодами. Важна для понимания Обломова и завершающая воспоминания Штольца фраза: «Ты всегда был немножко актер» (с. 143), в которой открыто намечена заявленная впоследствии в статьях Гончарова связь Обломова с Александром Адуевым и Борисом Райским.

Признание Обломова в беседе со Штольцем: «. . никакое ярмо не тяготит моей совести: она чиста, как стекло; никакой удар не убил во мне самолюбия...» (с. 144) много позже подтверждается также записанными на полях словами Ольги, обращенными к Илье Ильичу: «...ваша нежность, ваша осторожность, забота обо мне, боязнь за мое счастье, ваша чистая совесть...» (с. 206), а затем, в конце романа (с. 362), высокой оценкой, которую дает нравственному облику своего друга Штольц. Столь же значительно по содержанию и столь же тесно связано с будущими главами еще одно замечание героя, вписанное на полях рукописи: «— Ты сказал давеча, что у меня лицо не совсем свежо, измято, — продолжал Обломов, — да, я дряблый, ветхий, изношенный кафтан, но не от климата, не от трудов, а от того, что двенадцать лет во мне был заперт свет, который искал выхода, но только жег свою тюрьму, не вырвался на волю и угас» (с. 145).[31] Не случайно через много лет после выхода в свет романа Гончаров так доволен был откликом П. Г. Ганзена, который резюмировал «характер или господствующую черту *Обломова* словом *потухание*». В ответ писатель заметил: «Мотив *погасания* есть господствующий в романе, ключом или увертюрой которому служит глава *Сон*» (VIII, 473).

Во II части получают развитие и другие, намеченные на полях I, мотивы. Размышляя о том, как сделать первый шаг к обновлению, Обломов утешает себя: «Да и Штольц тут, под боком; он сейчас скажет» (с. 147). Здесь же сюжет «слов», переживаемый теперь уже самим Обломовым: «Одно слово («обломовщина». — *Л. Г.*), — думал Илья Ильич, — а какое... ядовитое! .» (с. 146) — и затем — Захаром (с. 167). Дальнейшее развитие находит и фольклорная тема («по щучьему ве-

---

[31] *Предшествующая этому фраза Обломова от слов*: Или я не понял этой жизни, или она никуда не годится... — *и до слов*: и я забывал все это и гаснул... *также записана на полях.*

ленью»), только уже не в обломовском быту, а в сфере духовной жизни героя. «После мучительной думы он схватил перо, вытащил из угла книгу и в один час хотел прочесть, написать и передумать все, что не прочел, не написал и не передумал в десять лет» (с. 146). Намеком на будущее развитие сюжета являются размышления Ильи Ильича о том, что нужно «поселиться в Обломовке, знать, что такое посев и умолот, отчего бывает мужик беден и богат; ходить в поле, ездить на выборы, на завод, на мельницу, на пристань» (с. 147). Эти слова почти точно повторяются в диалоге Обломова и Мухоярова. Выясняется, что герой так и не успел узнать, «что такое барщина, что такое сельский труд, что значит бедный мужик, что богатый; ‹...› в каком месяце и что сеют и жнут. .» (с. 280). Иначе говоря, так и не постиг деловую, а не идиллическую сторону сельского быта.

Так в каждой части романа намечается дальнейшее движение сюжета и получает разрешение задуманное ранее.

Особое место среди дополнений на полях рукописи II части занимают вставки, касающиеся Ольги Ильинской. Главное их содержание — мотивировка дальнейших поворотов в судьбе героини, в ее взаимоотношениях с Обломовым и Штольцем.

Ощущая необходимость объяснения двух сложных обстоятельств: во-первых, того, почему Ольга так быстро и раскованно пошла навстречу своему чувству к Обломову, и, во-вторых, почему она изменила этому чувству, полюбив Штольца, Гончаров считает необходимым сделать ряд вставок в уже написанный текст. Он акцентирует воздействие Штольца на формирование характера Ольги: «Не оттого ли, может быть, шагала она так уверенно по этому пути, что по временам слышала рядом другие, еще более уверенные шаги „друга“, которому верила, и с ними соразмеряла свой шаг.

Как бы то ни было, но в редкой девице встретишь такую простоту и естественную свободу взгляда, слова, поступка» (с. 149). Подчеркивает самостоятельность ее суждений и самобытность ее поведения: «Одни считали ее простой, недальней, неглубокой, потому что не сыпались с языка ее ни мудрые сентенции о жизни, о любви, ни быстрые, неожиданные и смелые реплики, ни вычитанные или подслушанные суждения о музыке и литературе: говорила она мало, и то свое, неважное — и ее обходили умные и бойкие „кавалеры“; небойкие, напротив, считали ее слишком мудреной и немного боялись» (с. 149).

Фрагмент на полях, посвященный внешности Ольги, позволяет одновременно оценить и ее своеобразную красоту: «...если б ее обратить в статую, она была бы статуя грации и гармонии» (с. 151), и тонкую натуру Обломова, сумевшего, в отличие от многих других, понять одухотворенную прелесть Ольги: ведь именно он нарисовал «в памяти» столь выразительный портрет своей избранницы.

Уже в первом разговоре героев (с. 152—153, на полях от слов: «Вдруг она явилась перед ним на пороге балкона. . .» и до слов: «В это время подошел Штольц») определяется принятая Ольгой впоследствии тактика в ее отношениях с Обломовым: будоражить его самолюбие, вы-

ражать уверенность в его возможностях, и — одновременно — намечены первые проявления исподволь нарастающего в душе Ольги недовольства поведением героя, его реакцией на жизненные трудности и т. д. «Мужчина ленив — я этого не понимаю», — говорит Ольга Илье Ильичу уже при первой встрече (с. 152). Затем эта мысль постоянно варьируется в связи с намерением Ольги «возвратить» своего избранника «к жизни» (с. 161; запись на полях: «У ней, в умненькой, хорошенькой головке...» и до слов: «...считала это уроком, назначенным свыше»). Все это отзовется в прощальном объяснении героев, в попытке Ольги оправдать свое отступление, свою слабость. Исправления, дополнения, уточнения, связывающие между собою все четыре части романа, сделаны Гончаровым тонко и ненавязчиво, они легко и естественно входят в основной текст, сливаясь с ним и составляя цельное и гармоническое единство. Не случайно, завершая в августе 1857 г. роман, Гончаров заметил: «...я видел, что дело не в стиле у меня, а в полноте и оконченности целого здания. Мне явился как будто целый большой город и зритель поставлен так, что обозревает его весь и смотрит, где начало, средина, отвечают ли предместия целому, как расположены башни и сады, а не вникает, камень или кирпич служили материалом, гладки ли кровли, фигурны ли окна etc. etc.» (VIII, 244).

Анализ рукописи показывает, насколько точно сделаны дополнения к повествованию о том, как настойчиво и упорно, но нежно и деликатно пыталась Ольга пробудить в Обломове желание новой жизни. Введен абзац от слов: «Она даже видела и то, что, несмотря на ее молодость, ей принадлежит первая и главная роль в этой симпатии...» и до слов: «Она разнообразно торжествовала свое первенство в этом поединке» (с. 181—182), вписана фраза: «...но больше и чаще всего она толкала его вперед, дальше, зная, что он сам не сделает ни шагу и останется неподвижен там, где она оставит его» (с. 182). В записанном на полях ответе Ольги на признания Обломова (от слов: «Она слушала молча...» до слов: «Она тихо шла вперед, наклонив голову» [32]) особенно важным представляется следующее замечание героини: «— Зачем жил! — повторила она. — Разве может быть чье-нибудь существование ненужным?» (с. 183). Заявленная здесь тема продолжает на полях рукописи углубляться: «...по мере сближения с ним, от сарказмов над вялым и дряблым его существованием, она перешла к деспотическому проявлению воли, отважно напоминала ему цель жизни и обязанностей и строго требовала движения, беспрестанно вызывала наружу его ум...» (с. 189).

Нравственно-философское обоснование отношения Ольги к Обломову: «...любовь — тоже долг: мне как будто бог послал ее, — досказала она, подняв глаза к небу, — и велел любить» (с. 192) — также вводится на полях рукописи.

Развертывание сюжета обязывает Гончарова вносить в картины безмятежной любви героев поправки с расчетом «на будущее», дополнения,

---

[32] *Фраза*: — Ничего нет? — вопросительно повторила она, но живо, весело, со смехом, как будто не веря ему и предвидя, что есть у него что-то впереди. — *появилась только в издании 1859 г.*

свидетельствующие об очень постепенном, едва заметном назревании конфликта. Выяснив реакцию Ольги на свое письмо, Обломов постепенно успокаивается: «...ему с каждым шагом становилось легче; выдуманная им ночью *ошибка* была такое отдаленное будущее...» (с. 204). В этих словах на минуту воскресает Обломов I части, который, «хотя <. .> смутно и предвидел неизбежность переезда, <...>, но он мысленно отдалял это тревожное событие своей жизни хоть на неделю, и вот уже выиграна целая неделя спокойствия!» (с. 76). Все чаще появляются на полях психологически точные детали, которые возвращают читателя к прежнему Обломову и одновременно предвещают его будущую трагедию. Более прямо и определенно ту же функцию выполняет фрагмент, рефреном которого становится зевота невыспавшегося Обломова (от слов «Он шел за ней и рассуждал про себя о письме...» и до слов: «ошибок и будущих отдаленных гроз...», с. 204—205).

Весьма важна в контексте всего романа вписанная на полях фраза, завершающая раздумья героя о едва не состоявшемся разрыве с Ольгой: «Как это можно? Да это смерть!» (с. 205). Еще через несколько страниц на поля рукописи вносится полученное Обломовым от Штольца письмо, завершающееся словами: «„Помни наш уговор: теперь или никогда“...» (с. 208), и начало фрагмента: «Впрочем, Ольга могла только поверхностно наблюдать за деятельностью своего друга, и то в доступной ей сфере» (с. 208). В результате намеченная ранее тема неизбежного разрыва героев укрупняется и постепенно становится одной из ведущих.

После фиксации на полях первых намеков на обломовскую боязнь огласки, ранее намеченных в «программе», после знаменательной фразы (на полях же): «Он ободрился и рад был, что Ольга так легко снимала с него бремя ответственности» (с. 219), — следует обширная авторская сентенция: «И он молчал: без чужой помощи мысль или намерение у него не созрело бы и, как спелое яблоко, не упало бы никогда само собою: надо его сорвать» (с. 221).

Таковы лишь основные аспекты большой, требующей точности и мастерства работы, проведенной Гончаровым на полях рукописи II части романа. Главное ее направление (помимо обычных забот: уточнение характеристик героев и т. п.) — подготовка читателя к событиям III части: к трагическому завершению столь счастливо и гармонично, просто и естественно, полно и возвышенно начавшейся любви, к нравственно-психологическому и социальному объяснению судьбы героев.

Вставок на полях III части, как уже говорилось, значительно меньше, чем в I и II частях. Продолжается борьба Ольги за Обломова. В этой связи на полях появляется объемный, более страницы диалог от слов, определяющих основную тему: «Что ж теперь делать? С чего начать? Не сидеть же сложа руки. Начинается обязанность, серьезная жизнь...» и до слов: «— Да ты прежде шагни два раза, а там...» (с. 229—230).

Трагически отзываются в жизни Ильи Ильича все ранее совершенные ошибки: и контракт на квартиру, подписанный им не читая в день

отъезда на дачу, и оставшееся без ответа письмо старосты, с воспоминанием о котором возвращается мотив I части: «доходу „тысящи яко две помене“» (с. 253), и бессмысленные препирательства с Захаром из-за денег, и многое другое, ранее зафиксированное на полях рукописи и здесь, в III части, нашедшее свое продолжение также на полях.

Продолжается и подготовка к последнему решительному объяснению героев. Его предвещают многие мелочи и бытовые детали. «Не ячмень ли сел?» — так начинает Ольга разговор с Обломовым в его квартире на Выборгской стороне (заканчивается этот фрагмент словами: «... важная причина заставила меня не быть две недели... я боялся...», с. 272). На ту же тему и другой вписанный на полях отрывок этого разговора, начинающийся словами: «Ты боишься, дрожишь, как мальчик... Не понимаю! Разве ты крадешь меня?» и завершающийся: «У тебя нехорошо: какие низенькие комнаты!» (с. 273).

Короткая фраза в конце 7-й главы свидетельствует о появлении у героя еще одной, едва ли не последней иллюзии. Ей не суждено осуществиться с Ольгой, но она окажется реальностью с Агафьей Матвеевной Пшеницыной: «Полно жить одиноко: есть у него теперь угол; он крепко намотал свою жизнь; есть у него свет и тепло — как хорошо жить с этим!» (с. 277).

В 9-й главе возобновляется заявленный во II части мотив «обломовщины» (фрагмент текста от слов: «— Где вы учились? — спросил Обломов. .» и до слов: «... ну, так решите же, как изворотиться», с. 282).

На полях вписана вся 10-я глава — заговор Мухоярова и Тарантьева, означающий конец всем обломовским надеждам. Глава эта своим бытовым колоритом несколько снижает напряжение, создает паузу, необходимую для восприятия трагической 11-й главы — прощального объяснения героев.

В IV части принципиально важных (как, впрочем, и мелких) вставок на полях очень немного. Замысел определен во всех деталях, судьбы героев решены, роман пишется почти без помарок. Подводятся итоги, завершаются центральные и периферийные темы.

Итогом возникшей в I части и прошедшей через весь роман темы «других» являются размышления Обломова, зафиксированные на полях IV части: «Другим, думал он, выпадало на долю выражать ее (жизни. — *Л. Г.*) тревожные стороны, двигать созидающими и разрушающими силами: у всякого свое назначение!» (с. 368).

Существенную роль играет и дополнение, посвященное Захару, — финальная оценка его отношения к барину. Нищий и спившийся, он не принимает предложения Штольца переселиться в деревню: «— Ехать-то не охота отсюда, от могилки-то!» (с. 382).

Несколько строк на полях подводят итоги взаимоотношениям Ольги и Штольца, подводят именно в том дидактически-апологетическом смысле, которому подчинены окончательные авторские оценки Штольца: «Чем больше, чем сознательнее она веровала в него, тем труднее было ему держаться на одной высоте, быть героем не ума ее и сердца только,

но и воображения. А она веровала в него так, что не признавала между ним и собой другого посредника, другой инстанции, кроме бога» (с. 360).

Другие же дополнения на полях идут — в нравственно-психологическом плане — вразрез с апологетической концепцией образа Штольца.

Таковы три вставки общим объемом чуть больше машинописной страницы, связанные с отношением Ольги, ставшей невестой Штольца, к Обломову. Внесенные во 2-ю главу, они рисуют прежнюю Ольгу, с симпатией и сочувствием относящуюся к герою; Обломова, для которого разрыв с Ольгой по-прежнему остается глубокой трагедией, и Штольца с его нравственной глухотой, особенно ярко ощутимой на фоне благородства его друга и невесты. В ответ на искреннее беспокойство Ильи Ильича о судьбе Ольги Штольц неуместно шутит: «— Что: грустит, плачет неутешными слезами и проклинает тебя...». Как характерна для Штольца эта шутка, так же характерна и ответная реакция Обломова, на лице которого с каждым словом друга являлись «испуг, сострадание, ужас, раскаяние» (с. 303). Он готов «сейчас, сию минуту» ехать к Ольге, выпрашивать ее прощение (с. 304). «Стыд и горе» (с. 305), оставшиеся в его душе, продолжают томить героя своей неизбывностью.

Весьма важна для понимания нравственно-философского смысла, заключенного в образе Обломова, небольшая вставка на полях 10-й главы IV части: «Никто не видал последних его минут, не слыхал предсмертного стона. Апоплексический удар повторился еще раз, спустя год, и опять миновал благополучно: только Илья Ильич стал бледен, слаб, мало ел, мало стал выходить в садик и становился все молчаливее и задумчивее, иногда даже плакал. Он предчувствовал близкую смерть и боялся ее» (с. 377).

Завершающие повествование о рождении, жизни и смерти Ильи Ильича Обломова слова требуют пристального к себе внимания. Ответ на вопрос о том, как случилось, что герой романа, заключивший себя в «простой и широкий гроб остального своего существования, сделанный собственными руками...» (с. 368),[33] так боялся расстаться с жизнью, до сих пор не дан. Проблема эта заслуживает серьезного изучения, далеко выходящего за пределы творческой истории романа.[34]

* *

Иной аспект движения творческой мысли Гончарова вырисовывается при изучении весьма многочисленных фрагментов текста, решительно отброшенных автором в ходе работы над рукописью и при подготовке романа к печати.

Достаточно полное представление об исключенных из чернового текста разнообразных эпизодах, характеристиках и т. п. дают помещенные в настоящем издании варианты. Обратимся лишь к тем небольшим по

---

[33] *Слова*: сделанный собственными руками — *вписаны на полях.*

[34] См., например, статью М. В. Отрадина в кн.: *Гончаров И. А.* Обломов. Л., 1979, с. 446.

объему фрагментам, которые в указанный раздел не вошли, но представляют значительный интерес для оценки разных сторон творческого процесса писателя.

В описании едва ли не всех героев романа за пределами окончательного текста остались (или были трансформированы) детали, иначе, чем это сделано в окончательной редакции, освещающие черты характера данного героя, эпизоды его жизни. Их устранение, как правило, вызвано эволюцией общего замысла романа.

С образом Алексеева, выведенного в окончательной редакции романа на периферийный план, первоначально были связаны попытки социально-философского осмысления Гончаровым соотношения личности и «толпы», размышления о влиянии среды на формирование индивидуального характера. Они нашли глубокое отражение в «программах» I части: «праздная форма», «легион», «океан», «общее место» (Варианты, с. 398, 399), в рассуждениях об «океане человечества», состоящем из «капель»: «много ли капель брызнула история на берег — где прочие?» (с. 397). Там же впервые возникло понятие «массы», «множества», «большинства» «формы без оттенка» (с. 394) и, наконец, была найдена обобщающая формула: «Не мир, но улица и может быть всего лучше бы назвать его легион» (с. 396). Формулировка «легион», «океан» повторяется еще в одной «программе» (с. 398), а затем делается попытка «вживить» найденные определения непосредственно в текст. При этом возникают новые формулы, которые многократно шлифуются, но отбрасываются одна за другой. И наконец, в распространенной бытовой характеристике формулируется еще одно определение, которое в измененном и сокращенном виде входит в окончательный текст романа, завершая и обобщая характеристику Алексеева (с. 27). В рукописном же тексте Гончаров им не ограничился, стремясь сконцентрировать в заключительных словах все найденные ранее формулы. После слов: «неясный ее отблеск» в рукописи читается: «или, если [хотите], пожалуй, бледный последний литографический оттиск первоначальной картины. Так, праздная форма, которую природа пустила гулять по белу свету, забыв влить в нее содержание. В то же самое время такого человека видишь везде. Он встречается на каждом шагу. Он населяет публичные места. Утром его увидишь зевающего в кондитерской за газетой, в полдень улицы кишат им во множестве, заглянешь вечером в театр, он там, и к ресторатору, везде видишь, т. е. лучше и приличнее было бы назвать его легионом» (Варианты, с. 398).

В целом число строк, посвященных Алексееву в рукописи, почти в два раза превышает текст, отведенный этому персонажу в окончательной редакции романа. Надо думать, что широко задуманный и тщательно разработанный образ человека из «толпы» оказался при окончательном оформлении замысла романа не нужным Гончарову и был оттеснен на задний план. Примерно то же произошло и с Тарантьевым, которому в рукописи романа даются весьма подробные характеристики. В процессе эволюции образа Обломова столь распространенное в первоначальном тексте описание его окружения лишилось смысла и было

оставлено лишь в качестве фона. Впрочем, за Тарантьевым оказалась закрепленной еще и роль вестника дурных перемен в жизни главного героя.

Обратившись к работе над I частью «Обломова» и «прочитавши внимательно написанное», Гончаров, по его собственному признанию в письме к А. А. Краевскому от 25 сентября 1849 г., «увидал, что все это до крайности пошло, что я не так взялся за предмет, что одно надо изменить, другое выпустить, что, словом, работа эта никуда почти не годится» (VIII, 200). Таково было типичное состояние писателя в течение всего времени, пока вырабатывался в его творческой фантазии замысел произведения в целом. Позднее, уже по поводу «Обрыва», Гончаров, жалуясь на преследующие его творческие неудачи, заметил в письме к С. А. Никитенко от 28 июня (10 июля) 1860 г.: «Написано уже много, а роман собственно почти не начался; я все вожусь с второстепенными лицами, чувствую, что начал скверно, не так, что надо бы сызнова начать Нет, если б план был обдуман, ясен, тогда бы роман шел правильно, слитно и стройно; потом легко бы было и отделывать» (VIII, 296). Надо полагать, что нечто подобное происходило и на первых этапах работы над «Обломовым», отсюда перегруженность I части романа множеством характеристик, эпизодов и деталей, которые на последующих стадиях романа показались автору ненужными. Как справедливо заметил один из первых исследователей и комментаторов черновой рукописи «Обломова» А. Г. Цейтлин, «сами по себе они зачастую художественны, но в композиции романа играли скорее отрицательную роль».[35]

Другие отброшенные на заключительных стадиях работы Гончарова над романом фрагменты являлись как бы связующим звеном между различными эпизодами, скрепляли собою повествование, но при окончательной отделке романа или оказались ненужными, или подверглись дополнительной весьма существенной правке, произведенной в свете уже установившегося и утвердившегося замысла. Среди них строки, едва ли не зеркально отражающие отдельные моменты жизни, привычки, взгляды первоначально далеких, но затем сближенных друг с другом героев.

Вот лишь несколько примеров.

Не последнее место в рассуждениях Обломова о прелестях усадебного быта занимают мечты о барской любви: «...а тут тебе на траву то обед, то завтрак принесет какая-нибудь краснощекая прислужница с голыми, круглыми и мягкими локтями и с загорелой шеей, потупляет плутовка взгляд и улыбается, знает чему...» (л. 42, ср. с. 63). Появившиеся в 1-й главе I части, эти строки с вариантами повторяются в 8-й главе II части (с. 141), предвосхищая позднейшее увлечение героя Агафьей Матвеевной. Уже при знакомстве с ней Илья Ильич, хотя и мельком, обращает внимание на руки Агафьи Матвеевны, а затем эта деталь оказывается одной из ключевых во внешности «хозяйки».

[35] *Цейтлин А. Г.* Материалы к «Обломову»: (Краткий комментарий). — В кн.: *Гончаров И. А.* Обломов. Харьков, 1927, с. 536.

В беседе с Обломовым, пришедшим отказываться от квартиры, Агафья Матвеевна между прочим говорит: «Двадцать четвертого июня братец именинники, так обед бывает, все чиновники из канцелярии обедают» (с. 234). Далее в рукописи зачеркнуто: «почти что целые сутки пробудут. Всё в роще тогда, ковров туда настелем, беседку сделаем: очень весело» (л. 120). Отброшенная фраза вспомнится Гончарову в конце романа. Илья Ильич уговаривает Штольца погостить вместе с Ольгой на Выборгской стороне: «В роще чай бы стали пить, в ильинскую пятницу на Пороховые бы Заводы пошли, за нами бы телега с припасами да с самоваром ехала. Там, на траве, на ковре легли бы!» (с. 339).

Так завершается своеобразная цепочка ассоциаций, начало которой — в сельской идиллии Обломова: «— Потом, как свалит жара, отправили бы телегу с самоваром, с десертом в березовую рощу, а не то так в поле, на скошенную траву, разостлали бы между стогами ковры и там блаженствовали бы вплоть до окрошки и бифштекса» (с. 141).

Нередко переработка текста произведена лишь частично, сохранились рудименты первоначальной редакции. В этом случае рукопись помогает установить происхождение того или иного образа, той или иной метафоры. Таков один из эпизодов диалога Обломова и Ольги, получившей письмо героя. Ольга намеренно перебирает самые неприятные для Обломова факты его прошлой жизни, известные ей от Штольца. Отвечая на ее упреки, герой говорит: «— Я отравился и отравил вас, вместо того, чтоб быть просто и прямо счастливым ⟨...⟩ — Пейте квас: не отравитесь, — язвила она» (с. 203). В рукописи (л. 102) цитированная реплика Обломова завершалась иначе: «...вместо того, чтоб пить из полной чаши...».[36] Романтически-высокопарному замечанию Ильи Ильича подчеркнуто противопоставлялся прозаический ответ Ольги, возвращающий героя к тем обстоятельствам его быта на Гороховой, о которых ему хотелось бы забыть навсегда. В окончательном тексте романа этот контраст несколько смягчен, вследствие чего реплика Ольги оказалась не так тесно, как в рукописи, связанной со словами Обломова.

Любопытен первоначальный вариант портрета Агафьи Матвеевны, явно, хотя и не без иронии, ориентированный на фольклорный идеал красоты. Вместо «очень бела» (с. 232) в рукописи читалось (впоследствии частично зачеркнутое): «[красива, т. е.] бела, [с круглым лицом, с румянцем]» (л. 119 об.). Оказавшийся в данном контексте лишним, в конце романа этот намек реализуется уже без всякой иронии, соединив детские представления героя о счастье, навеянные сказками няни, с жизнью на Выборгской стороне под покровительством «Милитрисы Кирбитьевны», воплотившейся для Обломова в «хозяйке», Агафье Матвеевне Пшеницыной.

[36] Ср. в стихотворении А. А. Дельвига «Элегия» («Когда, душа, просилась ты...»): «Когда еще я не пил слез | Из чаши бытия...» и стихотворение М. Ю. Лермонтова «Чаша жизни»: «Мы пьем из чаши бытия | С закрытыми очами...».

Другого рода сокращения Гончаров производит с тем, чтобы, набросав общие контуры происходящего, оставить читателю возможность психологической догадки, сделать его не просто свидетелем, но едва ли не участником центральных событий в жизни героев романа.

Такого рода правка (примеры см. в разделе Варианты) имеет и более широкое значение, подсказываемое признанием Гончарова в письме к И. И. Льховскому от 2 (14) августа 1857 г.: «Герой может быть неполон: недостает той или другой стороны, не досказано, не выражено многое: но я и с этой стороны успокоился: а читатель на что? Разве он олух какой-нибудь, что воображением не сумеет по данной автором идее дополнить остальное? Разве Печорины, Онегины, Бельтовы etc. etc. досказаны до мелочей? Задача автора — господствующий элемент характера, а остальное дело читателя» (VIII, 244).[37] Подобные мысли занимали не только Гончарова. Об этом, в частности, свидетельствует относящееся к тому же 1857 г. выступление К. С. Аксакова на страницах журнала «Русская беседа». Рассматривая в «Обозрении современной литературы» рассказы из «Записок охотника», не касающиеся «крестьянского быта», критик замечает, что в них «развилась чрезмерная подробность в описаниях: так и видно, как автор не прямо смотрит на предмет и на человека, а *наблюдает* и *списывает*; он чуть не сосчитывает жилки на щеках, волоски на бровях. Если автор думает этим средством схватить физиономию и жизнь явления, то это очень ошибочно; подобная подробность налагается, как рамка, на представление читателя, ибо ему ничего не остается дополнять, ибо свобода его собственного представления, которую необходимо должно возбуждать в нем чтение изящного произведения, стеснена, и явление утрачивает свою живость. Напротив того, схватите основные черты предмета и оставьте все остальное дополнить самому читателю; не связывайте свободы его представления. В каждом произведении деятельно участвует и читатель; породите в нем целый ряд таких ощущений, о которых вы не говорите, но которые возникают, ибо вы сумели тронуть то, что их производит. В истинно изящных произведениях сказано много того, о чем и не говорит автор. . .».[38]

Нельзя исключить, что размышления Гончарова могли быть в какой-то мере связаны с цитированным высказыванием К. С. Аксакова, тем более, что речь шла о Тургеневе, с которым в этот период Гончаров не только ощущал глубокие творческие связи, но и, по всей ве-

---

[37] Как нечаянный отклик на эти слова Гончарова воспринимается замечание А. В. Дружинина: «Обломов, лучшее и сильнейшее создание нашего блистательного романиста, не принадлежит к числу типов, „к которым невозможно добавить ни одной лишней черты“ — над этим типом невольно задумываешься, дополнений к нему невольно жаждешь, но дополнения эти сами приходят на мысль, и автор со своей стороны сделал почти все нужное для того, чтобы они приходили» (*Дружинин. Литературная критика*, с. 308—309).

[38] *Аксаков К. С., Аксаков И. С.* Литературная критика. М., 1981, с. 222. Названная проблема привлекает и современных исследователей. Убедительно рассматривается она, например, в статье И. Подгаецкой «„Свое“ и „чужое“ в индивидуальном поэтическом стиле» (*ВЛ*, 1982, № 7, с. 173).

роятности, неосознанно вступал в творческое соревнование. Не случайно, быть может, приведенные слова Гончарова вводились замечанием: «Меня перестала пугать мысль, что я слишком прост в речи, что не умею говорить по-тургеневски...» (VIII, 244).

Пристальное внимание обращает писатель и на нюансировку психологических деталей, стремясь устранить все лишнее, все «подсказки», открывая тем самым широкий простор читательскому сопереживанию и соучастию.

Так, в сцене объяснения Ольги и Обломова за символикой и намеками скрывается рождающийся глубокий духовный контакт. Автор заставляет героев, которые находятся в состоянии высочайшего эмоционального и интеллектуального подъема, угадывать невысказанное, таящееся в глубине их смятенных душ. Вместо слов: «Он остановился, она тоже. — И? — повторил он вопросительно» (с. 184) в черновой редакции был более пространный фрагмент, там же несколько сокращенный: «Она остановилась. Он тоже. — Эта ветка [имеет для меня глубокий смысл. Вы машинально, без всякой мысли дали мне ее? и .. или .. она выражает ...] . начал он. Что значит? что выражает?» (л. 91).

За обменом недосказанными, незавершенными репликами таятся признание в любви, обещание поддержки избраннику на всех его жизненных путях, так и не произнесенные Ольгой вслух. Любое лишнее слово разрушило бы поэтическую атмосферу происходящего. Придавая этой сцене огромное значение, Гончаров тщательно шлифует каждую фразу. Не удовлетворенный сделанным в рукописи, он продолжает работу с текстом уже в печатных изданиях «Обломова». Только в журнальной публикации появились заключительные слова пробужденного к новой жизни героя, поверившего в любовь Ольги: «„Это все мое! Мое!“ — задумчиво твердил он и не верил сам себе». Но и этот вариант не удовлетворил автора романа. Лишь в издании 1862 г. была найдена окончательная формула: «— Опять жизнь, опять надежды! — задумчиво твердил он и не верил сам себе» (с. 184).

*

Весьма обширную область работы Гончарова над первоначальным рукописным текстом романа «Обломов» составляет работа над словом. Это многоаспектный труд, подробный анализ которого остается пока делом будущего. В данном обзоре истории создания романа представляется целесообразным остановиться лишь на некоторых характерных особенностях творческого почерка Гончарова.

В середине 70-х годов писатель заметил: «...как ни скромна степень художественности моего дарования, но и во мне сказался необъяснимый процесс творчества, то есть невидимое для самого художника, инстинктивное воплощение пером-кистью тех или других эпох жизни, которых судьба поставила его участником или свидетелем. Всего стран-

нее, необъяснимее кажется в этом процессе то, что иногда мелкие, аксессуарные явления и детали, представляющиеся в дальней перспективе общего плана отрывочно и отдельно, в лицах, сценах, по-видимому не вяжущихся друг с другом, потом как будто сами собою группируются около главного события и сливаются в общем строе жизни!» (VIII, 138).

С этой точки зрения интересно проследить, как в не вошедших в окончательный текст или подвергшихся дополнительной переработке фрагментах формировалась характеристика психологического состояния героев в различных жизненных ситуациях. Как ни мелки в количественном отношении эти детали, в смысловом плане они играют важную роль, во многом определяя и структуру романа и содержание образа.

Особое место занимают здесь строки, посвященные Ольге Ильинской и Обломову на разных этапах зарождения взаимного чувства героев и его отражения в их поведении или внешности. Здесь важен каждый оттенок произнесенного слова или душевного движения. И рукопись отражает тщательную и вдумчивую работу писателя над строкой романа.

Сугубое внимание уделял Гончаров тем деталям, которые становились лейтмотивом образа или романа в целом. Так произошло, например, со знаменитой веткой сирени. Первоначально вместо нее в рукописи фигурировала «ветка березы». Соответственно не было эпизода, начинающегося словами: «Это ветка сирени?» и до слов: «. . . свернула канву» (с. 183). Впервые без правки эпизод с «веткой сирени» появляется в середине 10-й главы II части (с. 204). Этот символ высокого чувства героев (как и лето, проведенное в парке) превращается затем в символ угасания любви, предвестник разрыва. Впервые в таком значении он возникает в тягостных размышлениях Обломова, встретившего в ответ на мольбу о поцелуе решительный отпор Ольги. «Боже! Сирени поблекли, — думал он, глядя на висящие сирени, — *вчера* поблекло, письмо тоже поблекло, и этот миг, лучший в моей жизни, когда женщина в первый раз сказала мне, как голос с неба, что есть во мне хорошего, и он поблек! . .» (с. 207). Наступит время, когда предчувствие героя оправдается. Порывая с Обломовым, Ольга говорит: «Я плачу не о будущем, а о прошедшем ‹. .› оно „поблекло, отошло“. . . Не я плачу, воспоминания плачут! Лето парк помнишь? Мне жаль нашей аллеи, сирени. . . Это все приросло к сердцу: больно отрывать! . .» (с. 289). В конце романа этот символический образ возникает в описании последнего приюта героя «между кустов, в затишье. Ветки сирени, посаженные дружеской рукой, дремлют над могилой, да безмятежно пахнет полынь» (с. 376).

Так замыкается жизненный круг героя. Так сливаются воедино детские впечатления Ильи Ильича (вспомним описание Обломовки: «Там надо искать свежего, сухого воздуха, напоенного — не лимоном, и не лавром, а просто запахом полыни, сосны и черемухи. . .», с. 80). Так находит лирическое воплощение благодарная память любви и дружбы, скорбным аккордом завершается тема взлета и угасания героя.

Лаконичная, но глубоко волнующая формула далась Гончарову в итоге настойчивой и упорной работы (в первой публикации главы

«Сон Обломова» вместо «полыни» было просто «травы». В рукописи IV части (л. 199 об.) вместо «ветки сирени» читалось «ветки вербы», слова: «посаженные дружеской рукой» отсутствовали, вместо «полынь» — «крапива»). Только при окончательной отделке романа писатель нашел слова, сводящие воедино все поэтические моменты жизни героя, слова, овеянные пушкинской светлой печалью.

Вместе с тем следует отметить, что весьма чуткий к стилю своих романов Гончаров настойчиво и последовательно устраняет повторения в непрямой характеристике героев того или иного мотива, грозящего стать назойливым, навязчивым.

Вот два примера.

При второй встрече Обломова и Ольги впервые в описании физиологического состояния героя появляется деталь, сопровождающая затем все этапы его влюбленности. «„Да, я что-то добываю из нее, — думал он, — из нее что-то переходит в меня. У сердца, вот здесь, начинает кипеть и биться... Тут я чувствую что-то лишнее, чего, кажется, не было... Боже мой, какое счастье смотреть на нее! Даже дышать тяжело“» (с. 156). Рукопись свидетельствует о том, как возник и сформировался этот мотив. Фраза: «Тут я чувствую ⟨. . .⟩ не было» вписана на полях. Вместо последних слов в рукописи было: «О, боже, какая сладость. . .». Далее смысл сказанного в рукописи расшифровывался: «в боку еще пуще, вот уж ему дышать тяжело, но хорошо: это бремя наслаждения. . .» (л. 78). Подобные ощущения неоднократно повторяются как свидетельство все углубляющегося чувства. При этом в рукописной редакции романа явно нарушаются пропорции. Заметив это, Гончаров решительно исключает или заменяет примелькавшуюся деталь, избегая ее превращения в назойливое клише. Так, вместо фразы: «Она подошла к нему так близко, что кровь бросилась ему в сердце и в голову; он начал дышать тяжело, с волнением» (с. 206) в рукописи было: «Она подошла к нему так близко, что он вдруг почувствовал затверделость у сердца и начал дышать ускоренно, с волнением» (л. 103 об.). Аналогичное исправление в начале III части. Вместо: «У него кипела кровь, глаза блистали» (с. 225) в рукописи читается: «Отверделость у сердца была с кулак, там кипела кровь» (л. 115 об.).[39]

Такого же рода изменениям подвергается и характеристика Ольги Ильинской. Отмеченная уже при первом знакомстве с героиней деталь ее внешности: «Брови придавали особенную красоту глазам это были две русые, пушистые, почти прямые полоски, которые редко лежали симметрично: одна на линию была выше другой, от этого над бровью лежала маленькая складка, в которой как будто что-то говорило, будто там покоилась мысль» (с. 151) становится определяющей, в первую очередь

[39] В том же направлении правится дважды к этому времени опубликованный (в «Отечественных записках» и в издании 1859 г.) текст при подготовке издания 1862 г. В предложении: «Обломов с вечера по обыкновению прислушивался к биению своего сердца, потом ощупал его руками, поверил, увеличилась ли отверделость там, наконец углубился в анализ своего счастья. . .» — снимаются слова: «потом ощупал наконец» (с. 195).

обращает на себя внимание героя в те именно минуты, когда он ждет от Ольги ответа на мучающие его вопросы и сомнения. Но и здесь необходимо было уберечься от злоупотребления найденным образом. На первых этапах работы Гончарову это не всегда удавалось. Поэтому при повторном чтении он в нескольких случаях снял или исправил соответствующие строки. Словами: «Взгляд ее задумчиво блуждал по деревьям» (с. 218) он заменил строку: «Бровь у ней легла повыше другой, а глаза беспокойно блуждали по деревьям» (л. 110 об.). После слов: « — Еще что? — спросила она» (с. 219) уже на стадии рукописи вычеркнуто: «и бровь ее лежала выше другой брови, и складка ясно была видна над бровью» (л. 111). В печатном тексте: «продолжала она» (с. 285), в рукописи написано и затем зачеркнуто: «...вдруг спросила она, и бровь у ней легла выше другой, и явилась складка над ней» (л. 149).

В первоначальном тексте романа заметно проявилась и присущая Гончарову склонность к сентенциям. Многие из них при доработке текста устранены, скорее всего вследствие постоянного стремления писателя избежать дидактики. Художник, утверждал он, «перестанет ‹. .› быть художником ‹...› если удалится от образа и станет на почву мыслителя, умника или моралиста и проповедника. Его дело изображать и изображать» (VI, 456). За пределами печатного текста романа «Обломов» были оставлены многие глубокие наблюдения, претендующие на афористическое обобщение. Так, о Захаре и Обломове в рукописи говорилось: «Два близких человека как два поставленные друг против друга зеркала.[40] Не скроешь ни малейшего штриха ни в достоинстве, ни в недостатке» (Варианты, с. 436). Или: «между ними» (практическими и духовными потребностями Штольца) «установилась гармония, т. е. разумное сочетание полезных стремлений с тонким удовлетворением высших потребностей духа» (с. 450). К такого же рода философско-психологическим наблюдениям относятся не вошедшие в окончательный текст романа слова: «...сущая любовь редкое благо: те немногие, сердца которых озарены ею, знают это и не признают жизни, радостей и скорбей вне — любви» (с. 493).

Некоторые же афоризмы, напротив того, вписываются на поля рукописи и включаются затем в печатный текст. Таковы, например, замечание Обломова: «Это все Андрей: он привил любовь, как оспу, нам обоим» (с. 264) или авторская сентенция: «Письмо вышло длинно, как все любовные письма: любовники страх как болтливы» (с. 198). В несколько измененном виде вошла в окончательный текст весьма важная для характеристики Обломова формула: «...воспоминания — или величайшая поэзия, когда они — воспоминания о живом, негибнущем счастье, или неизлечимая болезнь, когда они касаются засохших ран» (л. 177, ср. с. 338). Она интересна также и тем, что, по всей видимости, ориентирована на многослойные ассоциации с русской поэзией первой половины XIX в. Здесь и начальная строка («Поэзия воспоминаний...») стихотворения П. А. Вяземского «Родительский дом», неоднократно упо-

[40] Рядом поставлен авторский вопрос.

мянутая в письмах Гончарова. И реплика Софьи из столь высоко ценимой Гончаровым комедии «Горе от ума» («Воспоминания! как острый нож оне»). И, возможно, трансформированные в соответствии с контекстом романа строки из стихотворения К. Н. Батюшкова «Мой гений»: «О память сердца! ты сильней / Рассудка памяти печальной. . .».

Склонность к жестким формулам присуща Штольцу, что вполне соответствует его «учительной» роли в романе. Именно этому герою принадлежит определение «обломовщины» и другая важнейшая социальная формула романа: «Началось с неуменья надевать чулки и кончилось неуменьем жить» (с. 306). В рукописи она была более распространенной. Предваряющие ее слова: «. . . среди теток, нянек и дядек» вписаны на полях. Вместо них было зачеркнутое уже в рукописи замечание: «. . . Ох, уж эти мне няньки да дядьки. Это нельзя, это далеко, это высоко, это трудно: Ванька, Петрушка, Захарка пойдут, сделают, съездят» (л. 164 об.). На этом примере хорошо видно, как, отсекая лишнее, Гончаров достигает предельной сжатости и одновременно емкости текста.

Отчетливо просматривается в рукописи и процесс рождения другой столь же знаменитой формулы обломовского бытия. В I части романа раздумья героя сопровождает своеобразный рефрен. Если соотнести рукописные листы с окончательным текстом романа, то цитируемые далее слова должны были бы находиться на многих страницах. «Боже мой! Ах, если б кто знал жизнь-то мою, не позавидовал бы» (л. 7. Зачеркнуто и перенесено ниже). «Ах, боже мой, боже мой! если б кто знал жизнь-то мою, не позавидовал бы. . . только горести» (л. 7 об.). «Ох ты господи! как мудрено жить на свете и т. п.» (л. 8). «И он покачал головой, как будто упрекая судьбу, что она рассыпает ему терния по пути жизни. „— Да! со вздохом произнес он: ошибется тот, кто понадеется на спокойствие этой жизни!“ И опять вздохнул» (л. 11 об.). «„Ах, ты боже мой! боже мой! что это за тоска жить на свете!“ — в величайшем унынии произнес Обломов. . .» (л. 12). «Не позавидует мне, кто знает мою жизнь. . . — сказал он» (л. 24 об. Зачеркнуто). В конечном счете этот рефрен трансформируется в формулу: «Трогает жизнь, везде достает» (с. 17), а все промежуточные варианты остаются за пределами печатного текста.

В высшей степени поучительна авторская работа над слогом всех без исключения героев романа. Она заслуживает подробного и специального изучения. В связи с затронутой здесь проблемой афоризмов рассмотрим в качестве примера только один конкретный аспект речевой характеристики Андрея Штольца.

Обдумывая этот образ, Гончаров намеревался, по-видимому, особое внимание обратить на речь своего героя. Об этом свидетельствует, в частности, подвергшийся основательной переработке, но так и не вошедший в окончательный текст романа фрагмент (см.: Варианты, с. 448—449, ср. текст, с. 120), которым открывалась характеристика Штольца и одновременно — II часть романа. Мысль о безукоризненном освоении полунемцем Штольцем всех тонкостей русского языка представлялась, вероятно, Гончарову очень важной. Но по зрелом размышлении рома-

нист отказался от первоначального намерения пробудить таким образом симпатию и доверие читателя к своему герою и ограничился весьма скупой характеристикой. В своих высказываниях Штольц никогда не выходит за пределы книжной литературной речи. Не поэтому ли не вошел в окончательный текст еще один его афоризм: «Нужда — вот учитель. Тогда и сыщешь, что умеешь» (л. 164 об., зачеркнуто), в какой-то мере приближающийся к народным речениям.

Сам же Гончаров, владевший всеми богатствами русского народного и литературного языка, пользовался ими виртуозно.

На игре разного рода штампами романтической и сентименталистской литературы в сочетании с сочным и ярким языком автора-реалиста, насыщенным фольклорными мотивами и образами, построен, в частности, «Сон Обломова». В тех же случаях, когда книжные аллюзии противоречили или не соответствовали окончательно сложившейся характеристике того или иного героя, Гончаров решительно их устранял. Так, в описании юности Обломова была фраза: «И он бывал не прочь увековечить священный и неразрывный союз дружбы с приятелями за обедом, среди чаш, объятий, стихов и фраз» (Варианты, с. 416). Почерпнутая как будто из характеристики Александра Адуева, она оказалась в контексте жизни Обломова неуместной и была оставлена за пределами окончательного текста романа.

Творческая практика Гончарова полностью подтверждает его обстоятельные и глубокие суждения, поводом для которых послужил роман П. А. Валуева «Лорин». Изложенные в письме к автору от 6 июня 1877 г. соображения Гончарова проливают яркий свет на его собственное романное творчество. «Следя за интересом интриги, за участью, характерами лиц, слушая их речи — внимание читателя ждет и жадно просит (особенно в разговорах) тех нечаянностей, игры, капризов, смелых и сильных оборотов, огня, того нервного трепетанья, каким кипит живая речь живого человека», — пишет Гончаров своему корреспонденту. Без объяснения «психических и других прецедентов, которые могли привести» к тому или иному вопросу действующего лица, сцена, утверждает Гончаров, «остается психологически неверною». Нужно постоянно обращать внимание на «реальность или естественность речей», слушать не только *о чем*, но и *как* говорят герои. «Таковы условия художника, на то у него наблюдательный глаз, палитра и кисть».[41]

Эти высказывания представляются исключительно важными для понимания характера и содержания работы Гончарова над рукописью романа «Обломов», более половины текста которого приходится на диалоги героев, главных и второстепенных.[42] Диалоги Обломова и Ольги, Ольги

[41] *Гончаров. Статьи*, с. 315, 309.

[42] Любопытно, что на эту особенность структуры романа обратил внимание И. С. Тургенев, прослушав его первоначальную редакцию в авторском чтении.

и Штольца имеют решающее значение в их судьбе и соответственно занимают центральное место в структуре романа.

На нескольких примерах было выше показано, как оттачивал Гончаров каждую реплику, как добивался он психологической и жизненной достоверности, соответствия слов, жеста, интонации характеру и событию. Помещенные в настоящем издании варианты рукописного текста дают для такого рода анализа достаточно обширный материал. Остановимся на не представленных в названном разделе разночтениях, которые показывают, сколь серьезное значение придавал писатель и тому, как вводится та или иная реплика, как настойчиво стремился избежать монотонности, тавтологии и т. п.

На первом этапе, поглощенный смыслом описываемых событий, автор не всегда успевал одновременно работать над стилем. Но уже при повторном просмотре начиналась вдумчивая и скрупулезная отделка реплик, продолжавшаяся и при подготовке рукописи к печати, и далее, вплоть до издания 1862 г. включительно.

Основные направления этой работы следующие.

1. Везде, где это возможно, снимаются «слова автора» типа: «сказал», «спросил», «отвечал» и т. п.

2. В зависимости от контекста имя героя заменяется местоимением (он, она) или наоборот.

3. Изменяется (чаще нейтрализуется) характер (эмоциональный, событийный, бытовой) той или иной реплики. Это происходит в тех случаях, когда он подсказан ситуацией и потому не требует дополнительных уточнений. Например, вместо «со вздохом сказал Обломов» — «сказал Обломов» (с. 43), вместо «— Как так? — заботливо спросил Штольц» — «Как так?» (с. 132) и мн. др.

4. Во избежание монотонности характеристик вместо слов: «говорил», «сказал», «ответил» там, где контекст не позволяет снять ремарку, производятся замены (чаще — нейтральные, реже — уточняющие высказывание, жест, интонацию говорящего). Диалог становится более динамичным и выразительным. При обмене короткими отрывистыми репликами, их быстрой смене приходится тщательно следить за глаголом, избегая многократных использований одного и того же слова. В пространных диалогах с глубоким психологическим подтекстом важна эмоциональная наполненность «слов автора», способ «подачи» каждой реплики.

В рукописи I части романа употребляемые в «словах автора» глаголы чаще всего однообразны: видно, что Гончаров предполагает в дальнейшем вернуться и заменить их. И действительно, вместо повторяющегося «хрипел Захар», вводится: «сказал» (с. 13), «говорил» (с. 14), «настаивал» (с. 15), «отвечал» (с. 15), «заговорил» (с. 36) и т. п. При характеристике речи других персонажей часто встречающиеся «говорил», «сказал», «произнес», «спросил» заменяются столь же нейтральными

В письме к В. П. Боткину от 21 августа (2 сентября) 1857 г. он, настаивая на том, что роман требует некоторых сокращений, заметил: «...тем более, что этот ряд диалогов и без того несколько может утомить» (*Тургенев. Письма*, т. 3, с. 149).

или же, напротив, эмоционально насыщенными словами: «заметил» (с. 18), «приказывал» (с. 45), «разразился» (с. 64), «умолял» (с. 203), «взывал» (с. 188), «отозвался» (с. 179), «опровергал» (с. 278), «оправдывался» (с. 336), «настаивал» (с. 342).

Новые ремарки уточняют душевное состояние героев. Вместо «закричал на него Тарантьев» — «заголосил Тарантьев» (с. 36), вместо «сказал он» — «произнес он с раскаянием» (с. 201), вместо «опять сказала она» — «шептала она» (с. 211), вместо «строго сказал Обломов» — «крикнул Обломов» (с. 228), вместо «спросила она» — «допрашивала она» (с. 273), вместо «сказал он» — «О! — простонал он страстно» (с. 276), вместо «с яростью сказал Тарантьев» — «с ненавистью прохрипел Тарантьев» (с. 345) и др. Встречаются и замены конструкции в целом: вместо «сказала она» — «остановила его она» (с. 362), вместо «сказала решительно хозяйка» — «решила хозяйка» (с. 370).

Всего в рукописи такого рода правка проведена почти в 300 случаях.

Чтобы не возвращаться более к этому вопросу, добавим, что аналогичная работа осуществлялась и при подготовке очередных переизданий романа. Так, в издании 1859 г. по сравнению с «Отечественными записками» она проведена в 224 случаях. При этом очень часто «слова автора» снимаются вообще или уточняются, меняется их конструкция. В издании 1862 г. насчитывается 110 изменений в диалогах, преимущественно это устранение поясняющих слов типа: «сказал», «спросил» и т. п. В нескольких случаях проводится правка: вместо «сказала она и засмеялась» — «добавила она» (с. 192) и др. В издании 1887 г. только 2 изменения такого рода, причем нельзя с уверенностью утверждать, что они принадлежат именно Гончарову, а не наборщику: «думает Обломов» (с. 150) вместо «думал Обломов», «решила она» (с. 318) вместо «решала она».

Столь же ответственно, с тою же мерою авторской взыскательности относился Гончаров и ко всем другим стилевым аспектам романа, добиваясь максимальной выразительности каждого слова.

Целеустремленно и плодотворно проведенная правка затрагивает практически все морфологические категории: глаголы и глагольные формы, существительные, прилагательные, местоимения, числительные, наречия, союзы. Не менее тщательно занимается Гончаров такого рода «мелочами» при подготовке романа к печати: в первой публикации находим множество словесных вариантов, в рукописи не зафиксированных.

Вот лишь несколько примеров таких замен (варианты распределены по частям речи; при сопоставлении на первое место поставлен рукописный вариант). Глаголы: «не лез» — «не ходил», «не выдержал» — «не вынес», «не обесчестить себя» — «не опозориться», «стояли» — «теснились». Существительные: «ни потребностью» — «ни необходимостью», «сознания сил в себе» — «расцветания сил», «без резигнации» — «без робкой покорности», «клеймили бранью» — «клеймили укором». Прилагательные: «старые» — «поседевшие», «нежные» — «томные», «прекрасные» — «выразительные», «бессознательный взгляд» — «пытливый взгляд»,

«жадным» — «испытующим». Местоимения: «халат Ильи Ильича» — «этот халат», «от этого холодного» — «от такого холодного», «дал ему» — «дал сыну», «мотив» — «все тот же мотив». Наречия: «все повторялись» — «ежегодно повторялись», «особенно способен» — «именно способен», «страшно, грозно, вдохновенно» — «вдохновенно», «гордо» — «грациозно», «стороной» — «гордо», «энергически» — «сердито».

Примеров такого рода замен, уточнений и т. п. можно было бы привести множество.

Особенно насыщена исправлениями рукопись I части. Она буквально испещрена вычерками, вставками над строкой и на полях, заменами вписанного на полях одним, двумя и более вариантами. Подбирается и тут же отбрасывается вереница слов, оттачивается каждая фраза.

Вот Обломов, никак не решающийся встать, слышит бой часов. Нужно показать его реакцию на неумолимо бегущее время, и Гончаров перебирает целый ряд слов: «с горестью» (зачеркнуто), «горестно» (зачеркнуто), «почти со слезами» (зачеркнуто), «с ужасом» (зачеркнуто) «воскликнул Илья Ильич. 11 часов! а я еще не умывался, не молился». Отбрасывается вся фраза и над строкой вписывается новый вариант: «„Вот и 11 пробило, а я все лежу, неумытый! — с горечью произнес Илья Ильич, — и ни за что по сю пору не принимался“» (л. 8). Далее рассматривается еще несколько вариантов этого фрагмента, но в конечном счете все восемь строк изымаются из текста.

Идет работа над характеристикой Алексеева. Гончаров пишет: «... не сформировал он себе никакого взгляда на жизнь, на людей: никогда не поймаешь на лице его следа заботы, мечты». Плавно идущая фраза обрывается, начинаются поиски слова: «что бы доказывало» (отброшено), «выражало» (отброшено), «показывало, что он в эту минуту...» (л. 9), — слово найдено, но все в целом автора не устраивает. Весь данный фрагмент в окончательный текст не входит.

Характеризуются детство и юность другого персонажа — Тарантьева. Фраза только началась: «Напитанный примерами зла ум его», но уже следует ряд отброшенных глаголов: «искал», «лукаво искал», «выводил», «объяснял» и, наконец, — «отыскивал мутную причину во всяком примере добра и благородства» (л. 15 об.). Но и это предложение, вместе с двумя предшествующими, в окончательную редакцию 3-й главы I части не попадает.

В 5-й главе II части романа подыскивается определение взгляда Ольги, брошенного на Обломова. Слова «пытливого», «молчаливого» отбрасываются сразу, возникает и закрепляется вариант «безмолвного, но пытливого, настойчивого», (л. 76), в печатном тексте эпитет «пытливого» отброшен (с. 152). В окончательной редакции этой главы Ольга на вопрос Ильи Ильича: «— Вы любите Андрея?..» (с. 157) отвечает «серьезно»; в черновом тексте зачеркнуты варианты: «покойно», «[очень] покойно и ясно» (л. 78 об.). В другой психологически важной ситуации, когда Ольга неосознанно для себя ждет от Обломова повторного признания в любви, автором романа ведутся упорные поиски оценочного слова, необходимого для ее ответной реплики: «тихо» (зачеркнуто), «холодно»

(зачеркнуто), «скороговоркой отвечала она, присмирев» (л. 85). Окончательная редакция появляется только в печатном тексте (с. 172).

В сцене объяснения героев по поводу письма важны каждая фраза, каждый оттенок мысли и чувства. Здесь (при абсолютной ясности замысла) идет кропотливая работа над словом. Один пример. Отвечая на упрек Ольги, Обломов вдруг останавливается. «Его поразило это предположение, потому что ему вдруг стало ясно, что это правда» (с. 201). В рукописи, вместо последних слов, вписано на полях: «ему только теперь стала ясна справедливость его». Этому предшествовали два зачеркнутых варианта: *а.* «оно было не совсем безосновательно», *б.* «он тоже вдруг почувствовал». (л. 101). Окончательное решение появилось лишь на последней стадии работы, возможно уже в корректуре.

Финальные фразы этой главы в их окончательном варианте: «Проходя мимо окон Ольги, он слышал, как стесненная грудь ее облегчалась в звуках Шуберта, как будто рыдала от счастья.

Боже мой! Как хорошо жить на свете!» (с. 207) — вписаны (без слов «как будто рыдала от счастья») на полях. Им предшествовало несколько незаконченных зачеркнутых набросков: сегодняшнее утро *а.* изливалось *б.* облегчалось *в.* боль [сердца] груди изливалась *г.* она изливала истому бо‹ль› (л. 104 об.).

Не сразу далась Гончарову и другая фраза, характеризующая душевное состояние Ольги после вечера в саду: «А отчего смутилась она — и сама не знает. Отчего ее грызло и жгло воспоминание о вчерашнем вечере, об этом расстройстве?» (с. 212). В рукописи зафиксировано несколько отброшенных вариантов, но и последний, не зачеркнутый не удовлетворил Гончарова и был изменен при подготовке романа к печати. Вот этот вариант: «[И отчего смутилась она — и сама не знает]. Оттого ли, что он вчера ни словом, ни даже пожатием не ответил на ее нежный шепот, а поспешил ее вывести из темноты на свет. . .» (л. 107).

Столь же упорно работал Гончаров над последним решающим объяснением героев, приведшим к разрыву. Эти листы рукописи III части в прямом смысле слова исписаны вдоль и поперек, едва ли не каждая фраза подверглась стилистической правке. В качестве примера приведем только одну. Во фразе: «Умница пропала — явилась просто женщина, беззащитная против горя» (с. 289) определение «беззащитная» — это четвертый вариант, было: «чистая, неподдельная», «простая», «невооруженная» (против горя) (л. 152).

Подводя некоторые итоги сказанному о работе Гончарова над рукописной редакцией романа, следует, по всей вероятности, привести несколько цифр. В I части романа подверглось правке 2157 строк, во II — 2583, в III — 1076, в IV — 1331. Всего — 7147 строк, или около 40% текста (здесь и далее — в пересчете на машинописные страницы). На полях рукописи и над строкой записано около 80 страниц, вычеркнуто уже на стадии рукописи в общей сложности около 34 страниц машинописного текста (часть I — 16.5 страницы, часть II — 6 страниц, часть III — 6 страниц, часть IV — 5.5 страницы). Не вычеркнуто в рукописи, но не вошло в окончательный текст примерно 20 страниц. Заменено на

той же стадии черновой работы около 52 страниц машинописного текста, соответственно по частям 15, 23, 6 и 8 страниц, всего же заменено около 73 страниц.

Анализ первого основного этапа работы Гончарова над созданием романа «Обломов» — от возникновения замысла до завершения черновой редакции — дает, по-видимому, возможность говорить о резком своеобразии творческого процесса писателя, открывает новые возможности для понимания его творческой индивидуальности.

От обдумывания «программ», с которого начиналась работа Гончарова и над романами («Обломов», «Обрыв»), и над произведениями «малых жанров» (очерки, статьи, мемуары 70—80-х годов), «программ», являющих собою драгоценный материал для установления творческой истории подавляющего большинства творений Гончарова, писатель шел к возведению огромного здания своих романов, обнимающих в совокупности целую эпоху русской жизни середины XIX в. Сравнение это принадлежит самому Гончарову, он неоднократно обращается к нему в письмах и статьях («...дело не в стиле у меня, а в полноте и оконченности целого здания», VIII, 244; «...для зодчества нужно упорство, спокойное, объективное обозревание и постоянный труд, терпение...», VIII, 260). Обстоятельно, точно и вместе с тем весьма эмоционально говорил он об этом в письме к И. С. Тургеневу от 28 марта 1859 г., пытаясь (в сопоставлении со своим) определить творческий метод своего литературного друга-врага. Это письмо, являющееся важнейшим психологическим документом, многое дает для понимания творческой истории романов Гончарова, создававшихся и с колоссальным упорством труженика («служу искусству, как запряженный вол...», VIII, 260), который, обдумав общее содержание своего произведения и создав первоначальный вариант, затем, на полях ставших уже привычными огромных листов, вносит в характеры героев, в обстоятельства их житейского быта и духовного бытия черты решающей — социальной, философской, психологической — важности, и с вдохновением поэта («...волнение мое доходит до бешенства: так и в молодости не было со мной. Я едва могу сидеть на месте, меряю комнату большими шагами, голова кипит...», VIII, 235).[43]

Рассказывая о создании «Обломова» мариенбадским летом 1857 г., Гончаров не раз замечал: «Неестественно покажется, как это в месяц кончил человек то, чего не мог кончить в года? На это отвечу, что если б не было годов, не написалось бы в месяц ничего. В том и дело, что роман выносился весь до мельчайших сцен и подробностей и оставалось только записывать его. Я писал как будто по диктовке. И, право,

---

[43] Ср. письмо Гончарова к С. А. Никитенко, относящееся к весне 1868 г. — кануну завершения «Обрыва»: «...передо мной открывается такая прекрасная, поэтическая даль, что я буквально, как одурелый, хожу по комнате и едва сдерживаю крики от раздражения нерв, а слез сдержать не могу: глаза заплывают ими. Что же это такое? — спросите Вы. Вместо всяких страстей пробуждается художническая, творческая сила: я изнемогаю под ней <...> Не сочтите меня за сумасшедшего, а только за взволнованного художника» (*Ежегодник 1973*, с. 51—52).

многое явилось бессознательно; подле меня кто-то невидимо сидел и говорил мне, что писать» (VIII, 243).

Нечто подобное происходило и летом 1868 г., в период завершения «Обрыва»: «Да, я не пишу роман — Вы правы: он пишется и кем-то диктуется мне», — признавался Гончаров в письме к М. М. Стасюлевичу от 6 (18) июня 1868 г. (VIII, 334).

В такие часы и месяцы творческого подъема, рожденного годами продумывания и кропотливой подготовительной работы, на одном порыве создавались целые главы и даже части обоих гончаровских романов. Именно тогда появлялись многие страницы, на которых почти пусты поля, предназначенные для поправок, вставок, уточнений и проч., и почти полностью отсутствуют «программы»: они не нужны более, все созрело в воображении и просится на бумагу; только бы не отвлечься, не потерять мысль, не забыть. . .

Так внешний вид творческих рукописей Гончарова, смысловой их анализ и сухая статистика с беспристрастностью документа подтверждают истинность и точность лирической исповеди художника, прозвучавшей в его письмах.

3. ОТ РУКОПИСИ К ПЕРВОЙ ПУБЛИКАЦИИ

Значительная работа проводилась Гончаровым уже после того, как роман «Обломов» был вчерне завершен.

На промежуточной между завершением черновой редакции и первой публикацией романа стадии (август 1857—конец 1858 г.) Гончаров дописал ряд эпизодов и кардинально переработал несколько глав.

В рукописи 2-й главы I части (с. 17—26) отсутствует «парад гостей», а в рукописи 8-й главы I части — визит доктора. Рассматривая эти эпизоды, А. Г. Цейтлин предположил, что они являются «рудиментом» «первоначального композиционного плана».[44] На самом деле, как сказано выше, описание гостей Обломова в рукописи предусмотрено не было.[45] Дополнив 2-ю главу этими эпизодами, Гончаров тщательно проследил за тем, чтобы некоторые из названных лиц, хоть мельком, но участвовали бы в дальнейшем повествовании. Так, в печатном тексте II части (с. 134) в число приятелей Обломова (о них он рассказывает Штольцу) внесены Пенкин, Судьбинский и Волков. В тексте рукописи они не упоминаются. В промежутке между созданием черновой редакции I части и началом работы над II частью был, по-видимому, написан эпизод с доктором (на дополнительных листах, до нас не дошедших). В этом убеждает

---

[44] *Цейтлин*, с. 186.

[45] Б. В. Томашевский считал, что данные сцены — развитие намеченной в предварительных планах «программы», записанной в начале I части (см.: Варианты, с. 387): «. . . в окончательном печатном тексте романа часть этого конспекта была использована (эпизоды с квартирой, счетами, письмом старосты). Но другая часть или изменена в корне (записки от приятелей превращаются в посещения приятелей), или временно откладывается. . .» (*Юров Б.* [*Томашевский Б. В.*]. Как работал Гончаров. — Литературная учеба, 1931, № 9, с. 110).

тот факт, что в I части отсутствовал не только сам эпизод, но и ссылка на него в разговоре Обломова с Захаром («Послушай-ка, что говорит доктор!», с. 69), а во II части, в беседе Обломова со Штольцем, данный эпизод уже обыгрывается (с. 131), причем не на полях, а в основном тексте. Далее эта тема прорабатывалась уже, по-видимому, на стадии подготовки романа к печати: только в первой публикации появились строки: «Ведь это вредно, — сказал он про себя. — Что делать? Если с доктором посоветоваться, он, пожалуй, в Абиссинию пошлет!» (с. 167) и «Не надо и в Египет ехать» (с. 170).

Некоторое количество дополнений было сделано уже при подготовке очередных изданий романа, но об этом речь пойдет ниже, в разделе, посвященном прижизненным переизданиям романа «Обломов».

Помимо охарактеризованных выше эпизодов, в рукописи романа отсутствуют (иначе говоря, внесены на стадии подготовки к печати) в I части: 31 строка и 374 слова; во II — 161 строка и 547 слов; в III — 37 строк и 91 слово; в IV — 118 строк и 11 слов. О кардинально переработанных (по существу заново написанных) двух главах IV части будет говориться ниже.

Произведенные при подготовке романа к печати дополнения можно условно разделить на несколько групп.

В первую очередь, это дополнения, вызванные композиционными соображениями, появившимися на заключительной стадии в связи с окончательным решением замысла романа в целом. К ним относятся уже названные и небольшое число других. Таковы, в частности, мелкие отсылочные связки («как сказано», с. 58), фразы, подводящие итог тому или иному эпизоду: «Вот как подвинулись дела» (с. 147) или: «Чего не бывает на свете! Как же это могло случиться? А вот как» (с. 152).[46] Одна из вставок (первый абзац 4-й главы IV части) связывает значительно отдаленные друг от друга во времени эпизоды: разрыв Ольги и Обломова, приезд Штольца к другу на Выборгскую сторону и случившуюся между двумя этими событиями встречу Ольги и Штольца в Париже.

Рассматривая дополнения, произведенные в каждой из частей, остановимся лишь на самых существенных.

Из сравнительно небольших дополнений, сделанных в I части, следует отметить относящиеся к характеристикам Обломова и Захара. В связи с намеками на «отжившее величие» (с. 11) дома Обломовых находятся введенные в печатный текст строки о Захаре, который, по его словам, потерял голос «на охоте с собаками, когда ездил с старым барином и когда ему дунуло будто сильным ветром в горло» (с. 12). Несколько существенных вставок относятся к характеру Обломова, который постепенно вырисовывается из мелочей его быта, из разговоров

[46] Эта авторская ремарка объясняется тем, что, по первоначальному плану (Варианты, с. 463—465), Обломов в письме к Штольцу охарактеризовал истоки своей любви, ее развитие. Теперь же необходим был выразительный, но немногословный переход от прежнего Обломова к новому, для чего и использована Гончаровым цитированная фраза.

с Захаром, Алексеевым и Тарантьевым. В ответ на реплику Алексеева Обломов говорит: «— Ну, пусть, эти „некоторые“ и переезжают. А я терпеть не могу никаких перемен!» (с. 30).[47] Причины социальной и житейской беспомощности Обломова следует искать в крепостническом укладе жизни, ярчайшим выражением которого в романе является бытие обломовцев, их отношение к труду. Именно в главе «Сон Обломова» определяются (среди прочего) истоки будущих высказываний героя о «других». «Зачем им, — пишет Гончаров, — разнообразие, перемены, случайности, на которые напрашиваются другие? Пусть же другие и расхлебывают эту чашу, а им, обломовцам, ни до чего и дела нет. Пусть другие и живут, как хотят.

Ведь случайности, хоть бы и выгоды какие-нибудь, беспокойны; они требуют хлопот, забот, беготни, езды, не посиди на месте, торгуй или пиши, — словом, поворачивайся, шутка ли!» (с. 105).

Очевидна связь этих слов и с ответной репликой Обломова Алексееву и в особенности — с диалогом барина и слуги.

Обусловленные социальным происхождением и положением возможности барина, о которых с таким чувством повествует Обломов Захару, чаще всего служат для героя достаточным оправданием собственной беспомощности в самых простых житейских вопросах. По словам Н. А. Добролюбова, эти черты «превосходно подмечены и с необыкновенной силой и истиной сосредоточены в лице Ильи Ильича Обломова».[48]

Но в одну из «ясных сознательных минут в жизни» героя он ощущает призрачность своих доводов (с. 77—78). Именно здесь Гончаров делает две существенно важные вставки. «„Ведь и я бы мог все это... — думалось ему, — ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, а помудренее этого! Куда же все это делось? И переехать что за штука? Стоит захотеть!“» (с. 77) и еще: «Вспомнил он подробности сцены с Захаром, и лицо его вспыхнуло целым пожаром стыда.

„Что, если б кто-нибудь слышал это? — думал он, цепенея от этой мысли. — Слава богу, что Захар не сумеет пересказать никому; да и не поверят; слава богу!“» (с. 78).

Та же мысль акцентируется в диалогах Обломова с приятелями. Повествуя Алексееву о своих «несчастьях», Обломов глядит на него «вопросительно», «...с слабой надеждой, авось не выдумает ли, чем бы успокоить» (с. 32). С той же целью он не раз обращается к Тарантьеву, имея «простодушие верить, что Тарантьев в самом деле способен посоветовать ему что-нибудь путное» (с. 35).

---

[47] Второе предложение отсутствует в рукописи и в «Отечественных записках». Внесено в издание 1859 г.

[48] *Добролюбов*, т. 4, с. 317. И. Ф. Анненский по этому поводу писал: Обломов — «эгоист по наивному убеждению, что он человек особой породы и на него должны работать принадлежащие ему люди. Люди должны его беречь, уважать, любить и все за него делать; это право его рождения, которое он наивно смешивает с правом личности» (*Анненский*, с. 267—268).

Другой, уже нравственно-психологический аспект жизни героя раскрывается в обширной вставке, которая во многом объясняет дальнейшие события романа, а именно увлечение Обломова Ольгой: «Пуще всего он бегал тех бледных, печальных дев, большею частию с черными глазами, в которых светятся „мучительные дни и неправедные ночи“, дев с не ведомыми никому скорбями и радостями, с синевой под глазами, дев, у которых всегда есть что-то вверить, сказать, и когда надо сказать, они вздрагивают, заливаются внезапными слезами, потом вдруг обовьют шею друга руками, долго смотрят в глаза, потом на небо, говорят, что жизнь их обречена проклятию, и иногда падают в обморок. Он с боязнью обходил их» (с. 50).

Стоит отметить, что на этот фрагмент обратил особое внимание И. Ф. Анненский. Почти полностью (за исключением последней строки) процитировав его, поэт и критик заметил, что здесь Гончаров дал «адуевщине», которая еще в период создания «Обыкновенной истории», а тем более — в период «Обломова», была «для него уже пережитым явлением», «точно вычеканенную характеристику».[49]

Начало II части посвящено Штольцу. Здесь мы находим несколько существенных вставок, дополняющих первоначальные (рукописные) характеристики героя: об отношении его матери к «немецкому характеру» (с. 123), о причинах отъезда молодого Штольца в Петербург (с. 126) и др.

Исключительный интерес представляет вставка, продолжающая начатую на полях рукописи подробную характеристику Штольца (от слов: «Выше всего он ставил...» и до слов: «отверзалась непроходимая бездна», с. 130). Намеченный еще в рукописи мотив «бездны», «стены» находит в печатном тексте романа полное выражение: «Но он неспособен был вооружиться той отвагой, которая, закрыв глаза, скакнет через бездну или бросится на стену на авось. Он измерит бездну или стену, и если нет верного средства одолеть, он отойдет, что бы там про него ни говорили». Эти слова не только выявляют трезвый практицизм Штольца, но становятся рефреном отношения героя к судьбе друга, появляясь на страницах романа в те моменты, когда от Штольца требуется не деловая хватка, не знание всех пружин экономической и чиновничьей жизни, но самоотверженность, даже самоотречение. Именно в этой главе звучит фраза об Обломове, «в котором каждая черта, каждый шаг, все существование было вопиющим протестом против жизни Штольца». Наконец, только в печатном тексте в той же главе появляется авторское объяснение того, как и зачем оказался в романе, посвященном жизни и судьбе русского барина Ильи Ильича Обломова, полунемец, полурусский, негоциант Андрей Иванович Штольц.

К той же философско-экономической, если можно так выразиться, сфере относятся дополнения, сделанные в печатном тексте 4-й главы

---

[49] *Анненский*, с. 263.

II части. В их числе и ответ героя на впервые прозвучавшее в устах Штольца слово-обвинение «обломовщина»: «Помплуй! — прибавил он смелее. — Да цель всей вашей беготни, страстей, войн, торговли и политики разве не выделка покоя, не стремление к этому идеалу утраченного рая?» (с. 142). И фрагмент диалога двух героев: «— Зачем же ты не вырвался, не бежал куда-нибудь, а молча погибал? — нетерпеливо спросил Штольц.

— Куда?

— Куда? Да хоть с своими мужиками на Волгу: и там больше движения, есть интересы какие-нибудь, цель, труд. Я бы уехал в Сибирь, в Ситху.

— Вон ведь ты всё такие сильные средства прописываешь! — заметил Обломов уныло» (с. 145).

С другими весьма ответственными эпизодами, которые были намечены в рукописи, но требовали серьезной проработки, связана еще одна группа дополнений, произведенных на этапе движения от рукописи к печатному тексту.

Многие строки, впервые появившиеся в печатном тексте, свидетельствуют о том, как на заключительном этапе работы над «Обломовым» совершенствовалось дарование Гончарова — мастера точных психологических характеристик. История зарождения и развития высокой любви героев тщательно прорисовывается и дополняется многими деталями уже после того, как роман был вполне завершен в черновой редакции.

Углубляется описание чувст влюбленного Обломова: «У него вихрем неслись эти мысли, и он все смотрел на нее, как смотрят в бесконечную даль, в бездонную пропасть, с самозабвением, с негой» (с. 156). В начало любви Обломова и Ольги вводится музыка, становящаяся затем рефреном их чувства. Эпизод с первым упоминанием арии из оперы Беллини «Норма»: «Casta diva... Casta diva! — запел Обломов. — Не могу равнодушно вспомнить Casta diva, — сказал он, пропев начало каватины, — как выплакивает сердце эта женщина! Какая грусть заложена в эти звуки! И никто не знает ничего вокруг Тайна тяготит ее; она вверяет ее луне...» (с. 141—142) — вписан на полях рукописи. Его продолжение — слова Штольца: «— Ты любишь эту арию? очень рад: ее прекрасно поет Ольга Ильинская. Я познакомлю тебя — вот голос, вот пение! Да и сама она что за очаровательное дитя! Впрочем, может быть, я пристрастно сужу: у меня к ней слабость...» (с. 142) — впервые появляется только в печатном тексте. Как дальнейшее развитие этой темы внесены в печатный текст строки: «В заключение она запела Casta diva: все восторги, молнией несущиеся мысли в голове, трепет, как иглы, пробегающий по телу, — все это уничтожило Обломова: он изнемог» (с. 154). Описание пробужденного к жизни героя дополняется словами: «Он не спал всю ночь: грустный, задумчивый проходил он взад и вперед по комнате; на заре ушел из дома, ходил по Неве, по улицам, бог знает что чувствуя, о чем думая...» (с. 155). В печатный текст романа вводится также фрагмент, усиливающий впечатление, произведенное на Обломова пением Ольги: «Ее взгляд встре-

тился с его взглядом, устремленным на нее: взгляд этот был неподвижный, почти безумный; им глядел не Обломов, а страсть.

Ольга поняла, что у него слово вырвалось, что он не властен в нем и что оно — истина.

Он опомнился, взял шляпу и, не оглядываясь, выбежал из комнаты. Она уже не провожала его любопытным взглядом, долго, не шевелясь стояла у фортепьяно, как статуя, и упорно глядела вниз; только усиленно поднималась и опускалась грудь...» (с. 159).

Только в печатном тексте появляется авторское определение страсти: «В этой комедии или трагедии, смотря по обстоятельствам, оба действующие лица являются почти всегда с одинаковым характером: мучителя или мучительницы и жертвы» (с. 182), полно и разносторонне подтвержденное в следующем романе Гончарова — «Обрыв».[50]

10-я глава II части, следующая за объяснением героев, открывается в печатном тексте словами, пронизанными глубоким лиризмом: «Обломов был в том состоянии, когда человек только что проводил глазами закатившееся летнее солнце и наслаждается его румяными следами, не отрывая взгляда от зари, не оборачиваясь назад, откуда выходит ночь, думая только о возвращении назавтра тепла и света» (с. 194). Вместе со следующим абзацем (вписанным на полях рукописи) это вступление составляет разительный контраст фразе, которой в рукописи первоначально открывалась 10-я глава: «Завтра Обломов встал утром бледный и мрачный...» (л. 95 об.).

Внесенное в печатный текст романа замечание Ольги: «Я однажды навсегда узнала, увидела и верю, что вы меня любите, — и счастлива, хоть не повторяйте мне никогда, что любите меня» (с. 191) вызывает у влюбленного героя шекспировские ассоциации и глубоко умиляет его. Но такая же по типу реакция Ольги на предложение Обломова выйти за него замуж, напротив, возбуждает у Ильи Ильича чувство некоторого разочарования: «...ему хотелось бы в эту минуту не гордости и твердости, а слез, страсти, охмеляющего счастья, хоть на одну минуту, а потом уже пусть потекла бы жизнь невозмутимого покоя!

И вдруг ни порывистых слез от неожиданного счастья, ни стыдливого согласия! Как это понять!

В сердце у него проснулась и завозилась змея сомнения.. Любит она или только выходит замуж?» (с. 223).

Парижскую ситуацию Штольц—Ольга готовит внесенный на последней стадии работы над романом фрагмент: «Да разве после одного счастья бывает другое, потом третье, такое же? — спрашивала она, глядя на него во все глаза. — Говорите, вы опытнее меня.

Но ему не хотелось уже утверждать ее в этой мысли, и он молчал, покачивая одной рукой акацию.

[50] Такого же рода вставка сделана в IV части «Обломова»: «А в любви заслуга приобретается так слепо, безотчетно, и в этой-то слепоте и безотчетности и лежит счастье» (с. 314).

— Нет, любят только однажды! — повторил он, как школьник, заученную фразу.

— Вот видите: и я верю в это, — добавила она. — Если же это не так, то,[51] может быть, и я разлюблю вас, может быть, мне будет больно от ошибки и вам тоже; может быть, мы расстанемся!.. Любить два, три раза... нет, нет... Я не хочу верить этому!» (с. 203—204).[52]

На редкость выразительная деталь найдена Гончаровым при описании исповеди Ольги. Лишь в первой публикации — журнале «Отечественные записки» — появляются слова, точно характеризующие состояние героини, которой очень непросто далось признание. Все рассказала Ольга Штольцу, «только прошла молчанием душный вечер в саду — вероятно потому, что все еще не решила, что за припадок с ней случился тогда» (с. 325).

Жестко сводится к финалу лейтмотив I части романа: упования Обломова в любых обстоятельствах его жизни на помощь Штольца, его инфантилизм, его полная беспомощность. Но если в I части трудности, одолевающие героя, были так легко преодолимы и вызывали у читателя улыбку, то в III части в минуты прощального объяснения героев беспомощность Обломова оборачивается трагедией: «Ах, Андрея нет здесь: он бы все уладил! — с огорчением прибавил он.

Ольга усмехнулась, то есть у ней усмехнулись только губы, а не сердце: на сердце была горечь» (с. 285).

В IV части романа при подготовке рукописи к печати сделаны, сравнительно с предшествующими частями, лишь немногие дополнения.

Внутренне (хотя они как будто посвящены разным темам) перекликаются две вставки. Одна — реакция Обломова на известие о женитьбе Штольца: «Мало-помалу испуг пропадал в лице Обломова, уступая место мирной задумчивости; он еще не поднимал глаз, но задумчивость его через минуту была уж полна тихой и глубокой радости, и когда он медленно взглянул на Штольца, во взгляде его уж было умиление и слезы» (с. 336). Другая — реакция Ольги на разговор со Штольцем о судьбе Обломова: «В ее воспоминании воскресло кроткое, задумчивое лицо Обломова, его нежный взгляд, покорность, потом его жалкая, стыдливая улыбка, которою он при разлуке ответил на ее упрек... и ей стало так больно, так жаль его...» (с. 363).

При подготовке романа к печати продолжается, следовательно, тот же процесс «увязывания» различных бытовых и нравственно-психологических эпизодов, которым в основном определяется характер вставок на полях рукописи, произведенных на предшествующем этапе работы над текстом.

---

[51] Цитированное далее было в рукописи.

[52] Ср. мучительные раздумья Ольги в Париже: «Если она любит Штольца, что же такое была та любовь? ‹...›

Если же то была первая, чистая любовь, что такое ее отношения к Штольцу? ‹...› вторая любовь — чрез семь, восемь месяцев после первой!» (с. 317—318).

С помощью различных по объему и содержанию дополнений создается система взаимоперекликающихся мотивов — одна из особенностей структуры романа «Обломов».

Ответственным этапом в истории создания всех гончаровских романов является работа писателя над именами героев. Одни из них определились сразу, другие — в результате довольно длительных раздумий и колебаний автора.[53] Выбор имени или фамилии героя, как правило, не бывает у Гончарова случайным. В плане творческой истории романа «Обломов» особый интерес вызывает процесс определения имени, отчества и фамилии Штольца.

В окончательном тексте полное имя Штольца встречается впервые в конце 3-й главы I части (с. 36). Во всех прижизненных изданиях герой здесь назван не Андреем Ивановичем, а Андреем Карловичем.[54]

Проникшая в печатный текст авторская описка не случайна. Она объясняется достаточно полно отраженными в рукописи колебаниями Гончарова в именовании героя — антипода Обломова, тесно связанными с изменением общего замысла романа. На первых этапах работы в роли Штольца предполагался другой герой — Андрей Павлович Почаев (ср. позднюю заметку Гончарова на полях рукописи: «Почаев этот потом исчезает из романа — и вместо его является сам *Штольц*», Варианты,

---

[53] Следствием таких колебаний были иногда и ошибки, проникшие даже в печатный текст произведений Гончарова. Исследователи «Обыкновенной истории» заметили, что мать Сонюшки, невесты Александра Адуева, при первом упоминании (I, 38) именуется Марьей Васильевной, а затем — Марьей Карповной, а сама Соня — Софьей Васильевной в I части и Софьей Михайловной — во II.

В рукописи романа «Обломов» Агафья Матвеевна Пшеницына трижды (в 1-й, 5-й и 10-й главах IV части) названа Агафьей Тимофеевной. Ольга Сергеевна Ильинская в «программе», относящейся к только еще задуманному эпизоду встречи с ней Обломова (запись на полях 8-й главы I части), названа Ольгой Павловной. В сцене знакомства Обломова и Ольги (5-я глава II части) она несколько раз именуется Ольгой Ивановной. В текст журнальной публикации романа проникла ошибка в отчестве Алексеева (приятеля Обломова): с «Иваном Васильевичем» вместо: «с Иваном Алексеевичем» (в рукописи здесь — «с Иваном Ивановичем»).

Не всегда устойчиво именование героев в рукописи романа «Обрыв». Жена Козлова неоднократно названа не Ульяной Андреевной, а Ульяной Павловной; Леонтий Козлов не Ивановичем, а Яковлевичем; Марфенька — Марфой Павловной (правильно: Васильевной), наконец, Викентьев — Николаем Викентьевичем (правильно: Андреевичем; эта описка перешла в первую публикацию — «Вестник Европы» и только в отдельном издании 1870 г. была исправлена). Наконец, Марк Волохов унаследовал свою фамилию от Леонтия, в рукописи неоднократно названного Волоховым (подробнее см. об этом: *Ежегодник 1973*, с. 53). Нельзя поэтому согласиться с О. М. Чеменой, которая считает, что только в рукописи «Обломова» именно в отношении Штольца проявилась «редкая для автографов Гончарова неустойчивость имени и отчества героя...» (*Чемена*, с. 42).

[54] В соответствующем месте рукописи Штольц именуется Карлом Михайловичем.

с. 442). Штольц же, приятель обоих, Почаева и Обломова, выступавший, по-видимому, вначале как эпизодический персонаж, «остался», как сказано в рукописи, «в Германии. Он купил себе там землю и заводит ферму» (там же). В Россию он намерен был приезжать лишь «по делам». Из пометы Гончарова явствует, что в недошедшем до нас особом «прибавлении» к рукописи воспоминаниям Почаева и Обломова должна была быть посвящена «отдельная сцена или глава» (Варианты, с. 448), которую впоследствии заменила, вероятно, 3-я глава II части, где действует уже Штольц.

По мере того, как определялась роль этого героя в романе, происходила последовательная трансформация его имени и отчества. Отвечая на упреки критики и вопросы, «отчего немца, а не русского поставил я в противоположность Обломову?» (VIII, 115), Гончаров заметил: «Я вижу однако, что неспроста подвернулся мне немец под руку — и, должно быть, — тогда (я теперь забыл) мне противно было брать чисто немецкого немца. Я взял родившегося здесь и обрусевшего немца и немецкую систему неизнеженного, бодрого и практического воспитания» (VIII, 116).

После указанного выше первого упоминания Штольц встречается в «программе» — не вошедшей в окончательный текст реплике Захара, обращающегося к Тарантьеву: «...вот Карлы Мих. жаль нет: он бы вас выучил» (Варианты, с. 408). Затем в споре Обломова и Тарантьева (глава 4-я) несколько раз упоминается только имя (Карл), а затем (глава 6-я) — фамилия и имя: Карл Штольц. Так же в первой публикации главы «Сон Обломова» («Литературный сборник...»), где в качестве приятеля маленького Илюши фигурирует Карл Штольц.

В рукописи 1-й главы II части, посвященной детству Штольца, он назван уже Андрюшей и только в конце главы — единственный раз во всей рукописи — Александром. Далее, в начале 2-й главы, в реплике Обломова — Андрей, в реплике Захара — Андрей Иваныч. Под этим именем Штольц упоминается и действует во II и III частях романа и в начале IV (вплоть до 4-й главы). Последний раз Андреем Иванычем дважды называет его Ольга: при встрече в Париже и при известии об отъезде героя в Лондон. Затем до конца 4-й главы на протяжении всего объяснения Ольги и Штольца имя героя ни разу не названо.

Андрей или Андрей Иваныч вновь появляется в начале 6-й главы IV части.

Но далее в рукописи романа, начиная с 8-й главы IV части, герой именуется только Карлом (л. 63—65 авторской, 183—188 об. арх. паг.). То же — в 10-й и 11-й главах (л. 72—73 авторской, 201—203 арх. паг.). В рукописи последней, 11-й, главы Захар обращается к Штольцу, называя его Карлом Андреичем (л. 202 об. арх. паг.).[55]

---

[55] Утверждая, что «Штольц в черновом автографе обладает двумя именами (Карл, Андрей) и четырьмя отчествами (Михайлович, Андреевич, Иванович и Карлович)», О. М. Чемена (с. 42) допустила неточность — сочетания «Андрей Карлович» в рукописи нет. Оно лишь однажды, как сказано выше, встречается в прижизненных изданиях романа.

Исследователи творчества Гончарова (А. Мазон, О. М. Чемена) справедливо связывали указанный разнобой в именовании героя с различными этапами работы Гончарова над романом.

О. М. Чемена соотносит решение этого вопроса с проблемой датировки тех глав, где после устойчивого прежде «Андрей Иваныч» писатель возвращается к уже отброшенному Карлу и Карлу Андреевичу. Она обращает внимание на письмо Гончарова от 15 (27) августа 1857 г. из Франкфурта на Майне,[56] в котором автор «Обломова» сообщает: «Менее нежели в два месяца написано моей рукой 62 листа,[57] и еще осталось закончить две последние сцены: прощание Обломова навсегда с приятелем и заключение,[58] небольшую сцену, в которой досказывается, что сталось со всеми героями романа. Сцены набросаны и могли бы быть кончены в три-четыре присеста».[59]

Из данного сообщения можно, по всей вероятности, сделать вывод о том, что последние главы романа вчерне набросаны до Мариенбада.

[56] Полный текст письма и место хранения автографа в настоящее время неизвестны. Отрывок из письма (без обращения и упоминания адресата в тексте) опубликован Л. С. Утевским в его книге «Жизнь Гончарова» (М., 1931, с. 112—113). Указанный публикатором адресат — С. А. Никитенко сомнителен. Дочь друга Гончарова петербургского цензора и профессора (позднее — академика) А. В. Никитенко действительно находилась в оживленной переписке с Гончаровым, но позднее (писем ранее 1860 г. не сохранилось), уже по поводу «Обрыва» (см.: *ЛА*, т. 4, с. 107—162; *Ежегодник 1976*, с. 183—221). В мариенбадское лето 1857 г. С. А. Никитенко было 17 лет. Трудно представить, что юной девушке адресовано (причем, как видно из контекста, далеко не первое) письмо такого содержания: «Труда еще бездна: обработка лиц и сцен, несмотря на то, что многие сцены вылились так, что не требуют больших хлопот, и что другие я успел обработать тотчас. Потом, надо решить, годится ли это, и если годится, то в какой мере. Этого я один решить не умею, надо с помощью приятелей, в том числе и с вашей, конечно, и более нежели с чьей-нибудь. Я боюсь одного: ну как вы вдруг возмутитесь этой опекой и откажетесь? Тогда помните, пройдет в печать много глупостей, которым бы вы могли помешать». С большей степенью вероятности такая просьба могла быть обращена к И. И. Льховскому, который летом 1857 г. был посвящен во все подробности гончаровской работы над романом и к чьим советам писатель весьма внимательно прислушивался. Другое, тесно связанное по содержанию с цитированным письмо было отправлено Льховскому 22 августа из Парижа (VIII, 248—250). Документально это предположение подтвердить пока нельзя: среди писем Гончарова к Льховскому (*ИРЛИ*, ф. 134, оп. 8, № 7), так же, впрочем, как и среди писем к С. А. Никитенко (*ИРЛИ*, ф. 134, оп. 8, № 11, 77), автографа названного письма нет.

[57] Т. е. завершена 7-я глава IV части. Лист заполнен целиком, внизу линейка (знак завершения главы), следующая, 8-я, глава начинается с нового 63-го листа.

[58] Под этим заглавием в рукописи объединены последние, 10-я и 11-я, главы романа (л. 72—73 авторской, 201—203 арх. паг.).

[59] Из писем Гончарова к Ю. Д. Ефремовой следует, что надежды писателя не оправдались. В письме из Парижа от 25 августа (5 сентября) он замечает: «Я бы жил в Париже, если б была какая-нибудь возможность заниматься, но об этом и думать нельзя: с утра тянет на улицу <...> От этого я хочу поехать в Дрезден и поселиться там до октября, дописать последнюю главу романа, или две—три сцены и выработать, что успею, из написанного» (*НА*, с. 29). А в письме из Дрездена от 23 (11) сентября сообщает: «Не знаю, удастся ли мне по крайней мере кончить здесь последнюю главу; здесь холода пошли, и в комнате руки костенеют, оттого работать и неприятно» (*НА*, с. 32). 8 (20) октября 1857 г. Гончаров вернулся в Петербург.

Этим обстоятельством легко объяснить и употребление на их страницах имени Карла Штольца.

Весьма убедительной представляется догадка О. М. Чемены о том, «почему и когда Карл Штольц превратился в Андрея Штольца» (с. 43). Исследовательница обращает внимание на рукопись 9-й главы IV части, где на 68 листе авторской (194 арх.) пагинации впервые назван по имени сын Обломова — «Андрюша». В той же главе Обломов, сообщая другу о своей женитьбе на Агафье Матвеевне, говорит: «А этот ребенок — мой сын!» (л. 70 авторской, 197 об. арх. паг.). В рукописи после этих слов начато и зачеркнуто два незавершенных варианта: *а.* его *б.* А я назвал его (вместо них — под строкой — запись: «прибавил Обломов»). Указание О. М. Чемены: «В этом месте писатель остановился и докончил только в печатном тексте: „А я назвал его Андреем, в память о тебе!“» (с. 43) — не совсем точно.[60] Учитывая, что Штольца в черновом варианте главы зовут все же Карл, а не Андрей, нельзя с уверенностью говорить, как именно должна была завершаться оборванная мысль Обломова. Иначе придется предположить, что, называя Штольца последовательно Карлом, Гончаров имеет в виду переименовать его в Андрея. Вспомним, кстати, что в этом варианте отчество Штольца — «Андреевич». Скорее всего при создании предварительной редакции данной главы у Гончарова возникла идея как-то связать имя мальчика со Штольцем, но к окончательному решению он пришел позднее, при подготовке романа к печати. Общий же вывод исследовательницы не вызывает сомнений: «Придавая весьма важное значение тому, чтобы сын Обломова наследовал имя Штольца, Гончаров должен был переименовать и Штольца, так как мальчик, конечно, не мог носить имя Карла» (с. 43).

Остается неразрешенным вопрос о времени создания 8-й главы IV части. О. М. Чемена обратила внимание на то, что эта глава написана на иной, чем весь прочий текст IV части романа, «более плотной, белой глянцевитой бумаге (формат листа 348×222 мм)» (с. 42) [61] и в вышеприведенном письме Гончарова не упомянута. Одним из аргументов в пользу того, что данная глава написана ранее всего остального текста IV части, О. М. Чемена считает следующее обстоятельство. В статье «Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбов обратил внимание на произнесенное Штольцем похвальное слово «сердцу» Обломова и отнесся к нему весьма критически. По этому поводу О. М. Чемена (с. 44) цитирует (с грубыми ошибками) не вошедшую в печатный текст романа и «самую напыщенную», как ей кажется, фразу этого фрагмента: «За-

---

[60] Во-первых, О. М. Чемена неверно воспроизвела последовательность гончаровской правки: слова: «прибавил Обломов» — не дополняют, а заменяют зачеркнутый текст. Во-вторых, начало следующей фразы в окончательном тексте отнюдь не повторяет черновой вариант, а заменяет его и звучит так: «Его зовут Андреем...» (с. 375).

[61] Таким образом была исправлена ошибка А. Мазона, утверждавшего что все главы IV части, включая 8-ю, написаны одним почерком на одной бумаге (см.: *Mazon A.* Un maître du roman russe Ivan Gontcharov, p. 439).

копай ты[62] это сердце, куда хочешь, тысячу лет пролежит оно под спудом,[63] в прахе, в забвении — и все в нем будет тлеть и никогда не угаснет вера в добро, в людское достоинство...» (л. 65 авторской, 188 арх. паг.). Вслед за тем О. М. Чемена утверждает: «Незаслуженные дифирамбы дворянскому сердцу Обломова, изъеденному язвой крепостничества, которая атрофирует мускулы и размагничивает волю, могли быть написаны Гончаровым только ante factum, а не post factum, так как в завершенном романе нет таких благородных и возвышенных деяний и подвигов Ильи Ильича, которые заслуживали бы столь лестной оценки» (с. 44—45).

Оставив в стороне трактовку данного фрагмента, заметим, что аргументация О. М. Чемены не выдерживает критики по существу.

Начнем с того, что не менее апологетические строки, продолжающие «апофеоз» и вошедшие в печатный текст романа: «...пусть волнуется около него целый океан дряни, зла, пусть весь мир отравится ядом[64] и пойдет навыворот — никогда Обломов[65] не поклонится идолу лжи, в душе[66] его всегда будет чисто, светло, честно.. Это хрустальная, прозрачная душа;[67] таких людей мало; они редки; это перлы в толпе! Его сердца не подкупишь[68] ничем; на него всюду и везде можно положиться» (с. 362) — вписаны на полях (т. е., вероятнее всего, именно post factum, при окончательной отделке рукописи). Более того. Только в печатном тексте романа появилось следующее дополнение к цитированным словам: «Многих людей я знал с высокими качествами, но никогда не встречал сердца чище, светлее и проще; многих любил я, но никого так прочно и горячо, как Обломова. Узнав раз, его разлюбить нельзя. Так это? Угадал?

Ольга молчала, потупя глаза на работу. Андрей задумался.

— Ужели не все тут? Что же еще? Ах! — очнувшись, весело прибавил потом. — Совсем забыл „голубиную нежность“ ..» (с. 362—363).

Весьма существенным в этом плане представляется и другой факт, на который О. М. Чемена не обратила внимания. Еще в заключительной главе II части романа находим не менее восторженный гимн сердцу Обломова, чем тот, что процитирован исследовательницей. В печатном тексте романа он звучит так: «. .в душе у него теплилась вера в дружбу, в любовь, в людскую честь, и сколько ни ошибался он в людях, сколько бы ни ошибся еще, страдало его сердце, но ни разу не пошатнулось основание добра и веры в него» (с. 213). В рукописи же, несколько выше приведенных здесь строк, после слов: «слышал нескромный шепот ее сердца?» читаем: «В нем (Обломове. — *Л. Г.*) горит луч истинной любви, в нем горит чистое сердце, полное невидимой никому

---

[62] *У Чемены*: Закопать бы
[63] *У Чемены*: под сукном
[64] *В рукописи далее*: тонких, безнравственных теорий
[65] *В рукописи*: никогда он
[66] *В рукописи*: а в душе
[67] *В рукописи*: Это его натура
[68] *В рукописи*: не обманешь и не подкупишь

доблести, уважения к ней (Ольге. — *Л. Г.*), ее доверенности, значит, в нем теплится вера в добро, чистота души, верность чувств, значит, ему можно всегда верить, в нем сияет истинный блеск человеческого достоинства» (Варианты, с. 472).

Нетрудно заметить, что здесь содержится та же мысль, что и в заключительном панегирике обломовскому сердцу.

Не убедительными представляются и другие, основанные уже не столько на рукописи, сколько на истории взаимоотношений Гончарова с Е. П. Майковой аргументы О. М. Чемены в пользу высказанного ею предположения о создании 8-й главы IV части ранее написания всей этой части в целом. Верная своей задаче доказать, что прототипом гончаровской героини была Е. П. Майкова, О. М. Чемена именно под таким углом зрения пытается рассмотреть историю данной главы. Характеризуя 8-ю главу как «внесюжетный компонент, разросшийся почти до уровня „романа в романе“, в котором противоречия внешне счастливого брака Штольцев после 3—4 лет супружества ощутительно отражают происходивший тогда в обществе сдвиг взглядов на положение женщины в семье» (с. 41), она пишет: «Черновой автограф 8-й главы IV части „Обломова“ набросан в Петербурге явно под впечатлением наблюдений над семьей младших Майковых в зиму 1856/57 года» (с. 42).

Вопрос о датировке 8-й главы необходимо попытаться решить. Но ответ на него следует искать не в личной жизни Гончарова и не в анализе авторской концепции образа Обломова, как это попыталась сделать О. М. Чемена, а в пристальном изучении рукописи романа, в первую очередь — в сопоставлении 4-й и 8-й глав, исключительно посвященных Ольге Ильинской и Штольцу.

4-я глава рассказывает о встрече в Париже, об исповеди Ольги Штольцу, о решающем объяснении героев. 8-я — о семейной жизни Штольцев. Понятно, что они теснейшим образом связаны между собой. Обе эти главы в неизвестном нам допечатном источнике подверглись кардинальной переработке. По сравнению с рукописным в печатном тексте обеих глав не только трансформированы в связи с общим замыслом многие существенно важные фрагменты, но и вновь написан ряд центральных эпизодов.

4-я глава, видимо, потому и показалась слушателям ее черновой редакции «неестественной» и была автором переделана (об этом рассказал Гончаров И. И. Льховскому в письме от 17 сентября 1858 г.), что в ней слишком просто и безболезненно дался Ольге ее разрыв с прошлым, ее рассказ о взаимоотношениях с Обломовым, ее признание Штольцу в любви. В ней отсутствует большой фрагмент, посвященный попыткам Штольца разгадать тайну Ольги, нет здесь и описания нравственных мук героини, болезненно переживающей свою измену старой любви и возникновение новой.

В первоначальном варианте 4-й главы характеристика нравственного кризиса, переживаемого Ольгой, фактически отсутствовала. В рукописи читаем: «В ее чистой, простой и здоровой натуре явления совершались

правильно и естественно, и она подошла к решению важного вопроса тою же прямой, неуклоняющейся в сторону дорогой, какой шла, когда над ней разыгрывалось первое, тогда еще не знакомое ей чувство любви к Обломову. Она переживала ее фазисы и шла, зорко наблюдая за всем и не выпуская из рук воли... Тут было то же самое, но она шла тверже, еще сознательнее и видела дальше вперед. Она решила вопрос, когда надо было остановиться, когда не было пути вперед» (Варианты, с. 488). Но еще показательнее и важнее для нас другой фрагмент главы. Не веря, что Штольц не мог «угадать» ее любви к нему, Ольга говорит: «Но я недавно угадала, что до него [еще] я любила вас, в нем любила вас и теперь.

— Любите...

— Вас... — прошептала она и совсем наклонила голову.

— То, что я любила в нем, я опять нашла, — говорила она в доверчивой исповеди — и не разлюблю никогда» (зачеркнуто) (л. 171 об.— 172).

На полях Гончаров вернулся к этому фрагменту еще раз, отшлифовав его, но смысл объяснения героев остался тем же (см.: Варианты, с. 491).

Итак, уже в 4-й главе была поставлена и решена тема любви Ольги к Штольцу, неосознанно для самой героини зародившейся задолго до ее знакомства с Обломовым. Был ли в таком случае смысл сначала записывать для памяти в виде «программы» к 8-й главе следующую заметку: «Разговор Ольги с Карлом: она дорывается и сознается, что вышедши за Обломова она полюбила бы Карла...» (Варианты, с. 496), а затем в той же главе развертывать ее в диалоге Ольги и Штольца (там же), если все это было уже сказано тремя главами раньше?

Объяснение здесь может быть только одно: 8-я глава, хотя бы вчерне, была написана ранее 4-й. Не решив, войдет ли в роман, в каком объеме и на каких правах написанное в 8-й главе, Гончаров использует этот материал — и вполне логично использует — в сцене объяснения Ольги и Штольца в Швейцарии.[69] Затем, когда резко изменился текст 4-й главы, соответственно изменился и текст главы 8-й. Но произошло это где-то за пределами дошедшей до нас рукописи, поэтому в известном нам варианте ничего не правится.

Анализ 8-й главы позволяет прийти к еще одному существенному выводу. Из содержания ее чернового варианта со всей очевидностью следует, что уже на данном этапе автором определены центральные эпизоды романа, важнейшие повороты в судьбах героев. Состоялся и кончился разрывом роман Ольги и Обломова: «Но она не забывала его (Штольца. — *Л. Г.*) летучих уроков, она бессознательно проникалась его духом, его взглядом и оттого так легко управилась с первым опы-

---

[69] Ср. замечание Гончарова в письме к Ю. Д. Ефремовой от 29 июля (9 августа) 1857 г.: «Будет ли три части, *или конец я сокращу* (подчеркнуто мною. — *Л. Г.*) — еще не знаю сам, я занимаюсь настоящим и не спешу заглядывать в будущее...» (VIII, 239).

том, с первой любовью...» (Варианты, с. 493). Определилось место решающей встречи Ольги и Штольца, их будущее («еще до женитьбы, в Париже, он был поражен ненасытною жаждою ее ума...», с. 494), продуманы и мелкие детали сюжета. Так, например, уже на этом этапе работы над романом Гончаров решил, что Штольц именно дважды — после встречи и объяснения с Ольгой за границей и после женитьбы — побывает у Обломова на Выборгской стороне («Последние два раза я был развлечен, очень занят, торопился к тебе и не мог сладить с Ильей», Варианты, с. 496). Таким образом, если считать установленным, что 8-я глава написана ранее 4-й и до Мариенбада, то вырисовывается одна из причин «мариенбадского чуда». Не только финал романа (на это, как мы знаем, существует прямое указание Гончарова) был продуман и вчерне записан до лета 1857 г., но и концепция всего произведения была уже к этому времени запечатлена в творческом сознании писателя. Уже тогда он не испытывал никаких иллюзий о возрождении Обломова. Трагедия героя, раздавленного «обломовщиной», была определена всем ходом его жизни.

При изучении работы Гончарова над IV частью романа возникает еще один небезынтересный вопрос.

В статье «Лучше поздно, чем никогда» Гончаров писал: «Я закончил свою *вторую* картину русской жизни, *Сна*, нигде не пробудив самого героя *Обломова*. ‹...› В последнем свидании со Штольцем только вырывается у Обломова несколько сознательных слов — и напрасно я вставил их. Я поместил их в конце, когда один приятель, гонявшийся всегда в произведениях искусства за сознательною мыслию, но мало вообще доступный непосредственному действию образа, заметил мне: „Что же он, ужели не отзовется на призыв Штольца?“

Я и вставил несколько слов, из которых выглядывает сознание и самого Обломова.

И образ его немного, так сказать, тронулся от этого, немного потерял целости характера: в портрете оказалось пятно. Но это, к счастию, в самом конце. Не надо было трогать вовсе. ‹...› Образы так образы: ими и надо говорить» (VIII, 113—114).

Приведенные здесь слова Гончарова сохранившимися рукописными материалами не подтверждаются. Почти не правленная (за исключением нескольких стилистических изменений) рукопись 9-й главы IV части не содержит вставок, соответствующих указанию автора. Некоторое количество мелких разночтений не касается интересующего нас вопроса. История печатного текста романа также не дает почти никаких дополнительных сведений. В какой-то степени соответствуют замечанию Гончарова лишь отсутствующие в рукописи и первой журнальной публикации романа слова Обломова: «...мне давно совестно жить на свете!» (с. 374). Трудно судить, их ли имел в виду писатель.

Вторая часть признания Гончарова в его авторской исповеди вполне соответствует истории текста романа. «Штольц, — пишет Гончаров, — уходя в последний раз, в слезах говорит: „*Прощай, старая Обломовка: ты отжила свой век*!“

И того бы не нужно говорить. Обломов сам достаточно объясняет себя, прося Штольца *уйти, не трогать его*, говоря, что он *прирос одною больною половиною к старому, отдери — будет смерть*! [70]

Этим бы и следовало закончить вторую картину *Сон*, то есть непробудимым сном ...» (VIII, 114). Действительно, прощание Штольца с Обломовкой, которое должно означать выход в будущее, уход от старого мира, в рукописи отсутствует. Надо полагать, что эта мысль могла возникнуть и получить в романе хотя и тезисное, не удовлетворившее автора воплощение, только под влиянием общественной ситуации конца 50-х годов. Вместе с также отсутствовавшим в рукописи фрагментом II части, который завершается словами: «Но вот глаза очнулись от дремоты, послышались бойкие, широкие шаги, живые голоса... Сколько Штольцев должно явиться под русскими именами!» (с. 130), названный эпизод открывает, как считал Гончаров, «дальнейшую, третью перспективу: это картина *Пробуждения*» (VIII, 114), путь к роману «Обрыв».

Подготовку заключительных слов Штольца Гончаров осуществляет весьма тщательно. Прежде всего это введение в окончательный текст намека на предстоящие изменения в русской жизни: «Я тебе расскажу много-много: ты не знаешь, что закипело у нас теперь, ты не слыхал?

Обломов смотрел на него вопросительно.

— Ты не видишься с людьми, я и забыл: пойдем, я все расскажу тебе...» (с. 374). Вместо этих слов в рукописи лишь союз «или...», отражающий колебания Штольца, не привлечь ли к разговору Ольгу (следующая фраза: «Знаешь, кто здесь, у ворот, в карете, ждет меня.. Я позову сюда!», л. 197). Отсутствует в рукописи и заявленная в окончательном тексте романа тема сына Обломова, названного «в память» о Штольце Андреем. Наконец, в рукописи нет и своеобразного завещания Обломова: «— Не забудь моего Андрея! — были последние слова Обломова, сказанные угасшим голосом».[71] И наконец, мотив наследования под эгидой Штольца закрепляется в словах: «Но поведу твоего Андрея, куда ты не мог идти... и с ним будем приводить в дело наши юношеские мечты» (с. 376). Куда же поведет Штольц Андрюшу Обломова, каков путь наследника главного героя романа? Уж не путь ли это Тушина? В романе «Обломов» ответа на этот вопрос не получаем. Впрочем, не находим его и в «Обрыве». Гончаров был согласен с тем, что «образ Штольца бледен, не реален, не живой, а просто идея» (VIII, 115). Но он же вынужден был признать, что и Тушин, в котором автору «Обрыва» виделся «намек на настоящее новое поколение, на лучшее его большинство ...» — также «фигура бледная, неясная ...» (VIII, 128).

Десять лет, протекшие от завершения «Обломова» до завершения «Обрыва», не дали Гончарову ответа на вопрос об истинном герое вре-

[70] Может быть, именно в этих фразах (с. 374) прозвучал названный Гончаровым отклик Обломова на призыв Штольца. Но эти строки содержатся уже в рукописи.

[71] В издании 1862 г. мысль уточняется: Обломов передает другу духовное попечение о сыне только после своей смерти: «когда меня не будет!..» (с. 375).

мени. Попытки объясниться на сей счет: «Никто не знает, в какие формы деятельности и жизни отольются молодые силы юных поколений, так как сама новая жизнь окончательно не выработала новых окрепших направлений и форм» (VIII, 136) — были несостоятельны. Гончарову-художнику Тушин удался еще в меньшей мере, чем Штольц, что является неопровержимым свидетельством неуверенности писателя в своей правоте. Ни Штольц, ни Тушин в герои времени не годились.

Переходным этапом на пути от рукописи к первому изданию полного текста романа «Обломов» были публикации в 1849 и 1858 гг. двух отрывков из романа. Первый — глава «Сон Обломова», второй — небольшой отрывок из 2-й главы III части. «Сон Обломова» появился в печати вскоре после рождения замысла романа. Отрывок из III части — в год подготовки вчерне написанного романа к публикации.

Рукопись «Сна Обломова» до наших дней не дошла; первая публикация главы является, следовательно, единственным документальным свидетельством раннего этапа работы Гончарова над созданием романа. Разночтения первой публикации этой главы в тексте «Литературного сборника...» по сравнению с последующими изданиями весьма существенны, однако их анализ с текстологической точки зрения не проводился (в посвященной «Сну Обломова» работе В. И. Страхова печатные варианты рассматриваются лишь в плане изучения психологии творческого процесса писателя).[72]

Существует достаточно распространенное мнение, что «Сон Обломова», опубликованный впервые в начале «мрачного семилетия» разгула правительственной реакции, подвергся серьезным цензурным преследованиям.[73] Действительно, и характер разночтений этой главы по сравнению с окончательным текстом романа, и в особенности пропуски, обозначенные в публикации «Литературного сборника...» различным количеством строк точек (одна, полторы, четыре и т. д.) или обрывающими фразу (иногда вклинивающимися в нее) четырьмя точками, позволяют предположить цензурное вмешательство. Эти пропуски в большинстве

[72] *Страхов*, с. 185—214.

[73] *Цейтлин*, с. 108, 114—115. Об истории «Литературного сборника...» см. в кн.: *Евгеньев-Максимов В.* «Современник» в 40—50 гг.: От Белинского до Чернышевского. Л., 1934, с. 249—254. Из собранного исследователем материала явствует, что какое-то нам неизвестное произведение Гончарова было анонсировано редакцией «Современника» еще для «Иллюстрированного альманаха» (1848). Однако в составе «Иллюстрированного альманаха», насколько можно судить по сохранившемуся перечню входивших туда произведений, сочинений Гончарова не было. В этой связи В. Е. Евгеньев-Максимов писал: сличение «Литературного сборника...» «с содержанием „зарезанного цензурой“ „Альманаха“ свидетельствует, что только в очень незначительной части он повторяет уничтоженный „Иллюстрированный альманах“. Весь же основной материал, среди которого находим такой шедевр, как „Сон Обломова“ Гончарова, был подготовлен редакцией заново» (с. 254).

своем восполнены уже в «Отечественных записках». Лишь один пропуск не восстановлен ни в одном из изданий романа. После слов: «Они на том стоят, чтоб дети были толстенькие, беленькие и здоровенькие» (с. 98) в «Литературном сборнике...» следует строка точек. Что за ней скрывалось в авторской рукописи — неизвестно по сей день.

Выборочно анализируя купюры в тексте «Литературного сборника...», А. Г. Цейтлин справедливо заметил, что там устранен «ряд подробностей, содержавших ироническую или сатирическую оценку крепостнического уклада или старого быта» (с. 114). Сосредоточившись только на этих пропусках, исследователь не обратил внимания на купюры иного характера и на разночтения текста «Литературного сборника...» с окончательной редакцией романа. Между тем (при отсутствии рукописи) характер и способ перехода от публикации фрагмента далекого от завершения романа к публикации полного его текста имеет особо важное значение. Поэтому представляется необходимым подробно проанализировать текст «Литературного сборника...» в сравнении с последующими публикациями главы «Сон Обломова» уже в составе романа в целом.

А. Г. Цейтлин (с. 114) отметил, что в «Литературном сборнике...» «увещевание „стариков" мужикам: „Куда вас несет... Чего вам надо? Не замайте; вас не гонят" (с. 84) лишилось последней фразы, которая была заменена более спокойными словами: „сидели бы дома!"». С этим связан и другой пропуск, не названный исследователем. Фрагмент: «— Нездешний, так и не замайте! — говорили старики, сидя на завалинке и положив локти на коленки. — Пусть его себе! И ходить не по что было вам!» (с. 85) заменен в «Литературном сборнике...» строкой точек.

С характеристикой обломовского быта связан еще целый ряд замен и пропусков в тексте «Литературного сборника...». Строкой точек заменен иронический пассаж (от слов: «И никогда бы ничего и не было напечатано...» и до слов: «о чем, о ужас, напечатано было даже в газетах», с. 81—82; ср. вариант других изданий романа: «о чем уже умолчать никак было нельзя»),[74] посвященный выдающемуся событию в жизни обломовцев, попавшему даже в газеты, до той поры не ведавшие о существовании Обломовки. Речь идет о крестьянской вдове Марине Кульковой, родившей «зараз четырех младенцев».

Вместо слов «...ни сильные страсти, ни отважные предприятия не волновали их. И какие бы страсти и предприятия могли волновать их?» (с. 83) в «Литературном сборнике...» читаем: «сильные страсти не волновали их». Отсутствует здесь и целый ряд связанных с этой заменой характеристик: фраза «Какие же страсти и волнения могли быть у них?» (с. 84), фрагмент: «— Вот день-то и прошел, и слава богу! — говорили обломовцы, ложась в постель, кряхтя и осеняя себя крестным знамением. — Прожили благополучно; дай бог и завтра так! Слава тебе,

[74] Примеры, приведенные ниже, дополняют названное в монографии А. Г. Цейтлина. В скобках указаны страницы по тексту настоящего издания.

господи! Слава тебе, господи!» (с. 92). Строкой точек заменены слова: «...там (в Верхлеве. — *Л. Г.*), кроме дома Штольца, все дышало тою же первобытною ленью, простотою нравов, тишиной и неподвижностью» (с. 96). Вместо подробного описания того, как неукоснительно следуют обломовцы вековым обрядам (от слов: «Они с бьющимся от волнения сердцем...» и до слов: «..заботливое ухаживанье за ним» — с. 98), — невыразительная фраза: «ожидали пира, именин, свадьбы и т. п. Как только рождался ребенок, заботою родителей было задать после крестин пир». Да и само слово «обряды», в особенности если оно связано с церковными ритуалами, тщательно изгнано из текста «Литературного сборника...». Вместо «...крестин, именин, семейных праздников, заговенья, розговенья...» (с. 97) в «Литературном сборнике...» только «именин, семейных праздников». Вместо «при разных обрядах» (с. 97) — «при разных случаях». Вместо «...эпоха обрядов, пиров...» (с. 98) — «эпоха пиров»; вместо «обряда, пира» (с. 98) — «пира». Во фразе «Навязывались им, правда, порой и другие заботы, но обломовцы встречали их по большей части с стоическою неподвижностью, и заботы, покружившись над головами их, мчались мимо...» (с. 98) сделано несколько весьма существенных изменений. Другое начало: «Но всматриваясь пристальнее в *давнопрошедший* (подчеркнуто мною. — *Л. Г.*) быт Обломовки, видим, что скромным ее обитателям навязывались...». Вместо «с стоическою неподвижностью» — «с стоическим равнодушием». Такого же рода замены сделаны и в других местах текста. В предложении «Обитатели этого края далеко жили от других людей» вместо «далеко» читаем: «довольно далеко». Слова «...никаких сношений ни с кем не имели» смягчены: «никаких почти сношений...» (с. 83).

Устранено из текста «Литературного сборника...» все, что связано с церковной обрядностью, в том числе и ставшее бытовым присловье «ей-богу» (вместо «ей-богу! Такой грех!», с. 104, в «Литературном сборнике...»: «право! такой грех»). Отточие заменяет слова: «... и перекрестит рот, примолвив: „Господи помилуй!“» (с. 101); отсутствует ремарка: «и перекрестив друг друга...» (с. 105); нет слов: «дадут выпить святой водицы...» (с. 106); нет фразы «Возблагодарили господа бога...» (с. 112). Вместо: «...жить иначе — грех» (с. 84) — «...жить иначе — не нужно»; вместо: «...как от какого-нибудь наказания господня» (с. 91) — «...как от какой-нибудь напасти». Вместо: «знамения небесные, огненные столпы» (с. 94) в «Литературном сборнике...» только «огненные столпы». Сняты и упоминания «адских сил». Вместо «...кипит, точно поселился бесенок какой-нибудь, который так и поддразнивает его...» (с. 112) — «кипит и поддразнивает его»; нет слов: «Бесенок так и подмывает его». Вместо фрагмента от слов: «То ли бы дело, если б каждый день, как вчера...» и до слов: «строго заметила хозяйка» (с. 103) в «Литературном сборнике...» две фразы: «что бы вот всегда так, как есть? грустно, как подумаешь... — Да, грустно, особенно когда вспомнишь, что надо когда-нибудь умереть, — заметила хозяйка». Отсутствует в тексте «Литературного сборника...» важное замечание: «А весной удивятся и обрадуются, что длинные дни насту-

пают. А спросите-ка, зачем им эти длинные дни, так они и сами не знают» (с. 101). Заменено строкой точек еще одно суждение о размеренном, однообразном быте хозяев Обломовки и их гостей: «Им бы жаль было, если б обстоятельства внесли перемены в их быт, какие бы то ни было. Их загрызет тоска, если завтра не будет похоже на сегодня, а послезавтра на завтра» (с. 105).

Изымаются из текста «Литературного сборника. .» многие приметы помещичьей жизни. В предложении: «...из нескольких сот душ не умер никто...» (с. 84) отсутствует слово «душ»; нет фразы: «. . точно колонны у предводителя в дому!» (с. 99); вместо «у нашего брата, дворянина» (с. 108) — «у нашего брата». Особенно тщательно удаляются отрицательные характеристики крепостнического быта.

Целую группу составляют пропуски, связанные с традиционным именованием крепостных. Нет слов: «...и по ней (галерее. — *Л. Г.*) дозволяется ходить только „людям", а господа не ходят» (с. 86); вместо «...людям не велено было...» (с. 107) — «прислуге не велено было»; вместо «человека» — «лакея» (с. 88). Хотя бы и в нейтральном контексте изгоняется опасное слово «рабство». Так, вместо «...оставались уже у него (предания. — *Л. Г.*) в рабстве до старости» (с. 93) в «Литературном сборнике...» читаем: «. . в плену до старости». Заменяется слово «свита», как, по-видимому, приличествующее только царской фамилии. Вместо «...позовет с собой Настасью Ивановну или Степаниду Агаповну, или другую из своей свиты...» (с. 88) — «...позовет с собой какую-нибудь Настасью Ивановну или Степаниду Агаповну». Вместо «и свита» (с. 89) — «и гости и слуги»; вместо «Весь этот штат и свита дома Обломовых...» (с. 86) — «Все население дома Обломовых». Даже в описании мух, которые, попав в кружку с квасом, «...сильно начинают шевелиться» (с. 90), изымаются слова: «в надежде на улучшение своего положения». В применении к обитателям обломовского дома оказалось, вероятно, непозволительным выпущенное в «Литературном сборнике...» сравнение: «Так иногда собаки любят сидеть по целым дням на окне, подставляя голову под солнышко и тщательно оглядывая всякого прохожего» (с. 91). Неприличным, возможно, было и замечание о том, что сквозь ступеньки обвалившегося крыльца в господском доме «...и свиньи пролезают в подвал» (с. 99) (в «Литературном сборнике...» — «собаки»). Вместо «приискать ему (барчонку. — *Л. Г.*) подругу — тоже поздоровее, порумянее» (с. 98) в «Литературном сборнике...» неуклюжая фраза: «приискать подругу под пару ему». Вместо «...казалось им чуть не самоубийством» (с. 101) — «казалось им каким-то отчаянным делом»; вместо «в чужом доме, среди злодеев» (с. 96) — только в «чужом доме». Вместо фразы, которой характеризуется тишина, соблюдаемая всеми домочадцами, когда глава семейства садится писать письмо: «. . говорили все таким робко-почтительным голосом, каким говорят, когда в доме есть покойник» (с. 107) — «шепотом говорили все».

Исключены из текста «Литературного сборника...» намеки на привычную манеру обхождения помещиков Обломовых с крепостными. Во

фразе: «Вот я тебе дам бегать!» (с. 88) отсутствует слово «дам»; нет слов «Вот я вас! .» (с. 111). Нет слов: «...и начали чинить правосудие: кого за волосы, кого за уши, иному подзатыльника; пригрозили и отцам их. Потом уже...» (с. 112, далее — по тексту).

Снимаются компрометирующие Обломовых детали. В реплике Обломова старшего: «— Эй, Игнашка? Что несешь, дурак? .» (с. 88) отсутствует ругательство. Нет оговорки о том, что кусок знаменитого обломовского пирога доставался кучеру Антипу «в виде особой милости» (с. 89). Во фразе: «И мать давала волю своей необузданной фантазии» (с. 92) выпущен эпитет. Вместо слов: «...старик Обломов перекрестился и сказал с выражением ужаса, скороговоркой, что „этакого молодца надо посадить в острог“» (с. 101) в «Литературном сборнике...» читаем: «...старик Обломов сначала побледнел, потом наотрез отказался верить». Снимается намек на игривую ситуацию при обсуждении примет: «Дамы начали смеяться и перешептываться; некоторые из мужчин улыбались...» (с. 104).

Отсутствует выразительный обмен репликами между хозяйкой обломовского дома и слугой (в рассказе об испугавшем всех письме): «Да пошел больно ругаться солдат-то: хотел начальству жаловаться; я и взял.
— Дурак! — сказала барыня» (с. 107).

Несколько мелких замен связано с мотивом сна, объявшего героя романа, и сна, царящего в Обломовке. Дважды производятся замены. Вместо: «. . все тихо, все сонно в трех-четырех деревеньках...» (с. 82) в «Литературном сборнике...»: «...все тихо, молчаливо...»; вместо: «Тихо и сонно все в деревне...» (с. 83) — «Тихо все в деревне...». Вместо «сонная жизнь» (с. 87) — «увядшая жизнь».

Устранены из публикации «Литературного сборника...» и разного рода обобщающие суждения. Из текста о «строгой, лишенной вымысла действительности» (с. 94), окружающей русского человека, изъят эпитет «строгой». В посвященной будущему маленького Илюши, чье воображение населилось «странными призраками», фразе: «...печально озирается вокруг и все видит в жизни вред, беду. .» (с. 95) отсутствуют слова: «в жизни вред».

Но самые большие и важные пропуски находим в социальной характеристике крепостнического уклада жизни и мировоззрения. В тексте «Литературного сборника...» почти полностью отсутствуют посвященные этой проблеме две существенно важные страницы (96—97 от слов: «...как батюшко-то его, в плисовых панталонах, в коричневой суконной ваточной куртке...» и до слов: «. . представали пред каждого из них»). Именно здесь говорится о принципиальном ничегонеделании родителей Обломова, которое обеспечивается тяжким трудом их крестьян: отец «день-деньской только и знает, что ходит из угла в угол, заложив руки назад, нюхает табак и сморкается, а матушка переходит от кофе к чаю, от чая к обеду. .» (с. 96). О том, что глава семейства ничего не смыслит в ведении хозяйства, «а подай-ко ему не скоро носовой платок, он накричит о беспорядках и поставит вверх дном весь дом» (с. 96). Об отношении обломовского семейства к труду: «Они сносили

труд как наказание <...>, но любить не могли...», к жизни вообще: «Они никогда не смущали себя никакими туманными умственными или нравственными вопросами...», «Норма жизни была готова и преподана им родителями <...> с заветом блюсти ее целость и неприкосновенность, как огонь Весты» (с. 97) и т. п. Здесь же один из важнейших концепционных моментов будущего романа — разлагающее влияние окружающей среды на Обломова-мальчика: «Может быть, детский ум его давно решил, что так, а не иначе следует жить, как живут около него взрослые. Да и как иначе прикажете решить ему?» (с. 96). Не вошла в текст «Литературного сборника...» и фраза :«...гадают на червонного короля да на трефовую даму, предсказывая марьяж», с. 105, свидетельствующая о бессодержательном и удручающе монотонном существовании дома Обломовых.

Особую группу (небольшую по объему) составляют разночтения в тексте «Литературного сборника...», которые объясняются тем, что публикуемому фрагменту романа необходимо было придать некую цельность и законченность. Отсюда замены такого рода. Фраза: «Снится еще Илье Ильичу большая темная гостиная в родительском доме ...» (с. 100) в «Литературном сборнике...» начинается иначе: «А вот и знакомая большая темная гостиная в Обломовке...». Вместо: «Мать сидит...» (с. 100) — «Жена Ильи Иваныча сидит...»; вместо: «Отец...» (с. 100) — «Илья Иваныч». Фраза: «Видит Илья Ильич во сне не один, не два такие вечера, но...» (с. 105) начинается иначе: «И не один, не два таких вечера, — а...»; отсутствует предложение: «Илье Ильичу ясно видится и домашний быт его, и житье у Штольца» (с. 111).

В публикации «Литературного сборника...» есть и детали, указывающие на фрагментарность повествования. Так, после слов «на самом дне оврага» (с. 83) в «Литературном сборнике...» значится: «и так далее». Вместо слов: «что есть у других» (с. 84) — «и т. п.». Естественно, что в «Литературном сборнике...» по сравнению с окончательным текстом романа имеются разночтения стилистического характера, хотя и весьма небольшие (в пределах одного-двух слов). Текст главы для «Литературного сборника...» был в языковом и стилистическом отношении отделан с большой тщательностью.

Из всего сказанного ясно, что для понимания характера работы Гончарова над первой публикацией главы «Сон Обломова» не только и даже не столько важны обозначенные точками купюры, сколько пропуски и замены, никак в тексте не выделенные.

Происхождение названных выше разночтений и купюр в тексте «Литературного сборника...» однозначному определению не поддается. В настоящее время нет убедительных оснований разделить уверенность А. Г. Цейтлина, расценившего, о чем уже говорилось, обозначенные точками купюры в «Литературном сборнике...» как следствие прямого вмешательства цензуры.[75]

---

[75] В. И. Страхов по этому поводу пишет: «Подавляющее большинство изменений представляют собственные исправления писателя. Только восемь вставок из

Дата цензурного разрешения, выставленная в «Литературном сборнике...» в целом, — 22 марта 1849 г. Вошедшая в сборник драма В. А. Соллогуба «Местничество» разрешена цензурой 8 февраля 1849 г. В Журнале заседаний С.-Петербургского цензурного комитета имеются соответствующие записи от 8 и 22 марта. Под пунктом 6 рубрики «Слушали» запись: «Представленные на разрешение Комитета г. ценсором коллежским асессором Шидловским следующие статьи для издаваемого при журнале Современник альманаха: 1. Сон Обломова (Эпизод из романа) 2. Фомушка (рассказ) и 3. Египетская сказка. Кроме того, г. Шидловский докладывал Комитету о приложенных к означенному альманаху семнадцати политипажах. Комитет разрешил г. ценсора Шидловского одобрить к напечатанию три упомянутые статьи альманаха и тринадцать политипажей, остальные же четыре политипажа признал подлежащими запрещению и положил удержать их при делах Комитета». 22 марта (пункт 5 рубрики «Слушали») запись: «Словесное донесение г. ценсора коллежского асессора Шидловского о том, что редактор журнала Современник просит о разрешении ему назвать предназначенный к изданию при этом журнале иллюстрированный альманах Литературным сборником с иллюстрациями. Ценсурный Комитет изъявил на это свое согласие».[76] Как видим, никаких сведений о претензиях цензуры к произведению Гончарова нет. Вместе с тем из протоколов Комитета, связанных с другими вошедшими в состав «Литературного сборника. .» материалами, явствует, что они, в отличие от «Сна Обломова», подвергались цензурному вмешательству. Так, о статье под названием «Общие понятия о физиогномике», рассмотренной 11 января Ю. Е. Шидловским, было замечено, что, «не содержа в себе ничего противного Уставу о ценсуре», она «может быть допущена к напечатанию, за исключением некоторых мест и выражений, означенных им в этом сочинении».[77] Рассмотренная же цензорами И. И. Срезневским и А. Л. Крыловым драма Соллогуба «Местничество» «не иначе может быть дозволена к напечатанию, как по надлежащем исправлении и исключении отмеченных в ней мест . . .».[78] Многие фрагменты драмы, вызвавшие неудовольствие цензуры, внесены в Журнал заседаний. 25 января 1849 г. слушалось «донесение» А. Л. Крылова о том, что «издатель илл. альманаха представил ему драму „Местничество", исправленную автором, который в иных местах сделал даже более исключений, нежели предназначено было отметками его превосходительства господина председателя Комитета и обоих ценсоров, читавших эту драму». Надо полагать, что претензии цензуры к «Сну Обломова» нашли бы, подобно всем другим, отражение в делах Комитета.

двухсот изменений, внесенных во вторую редакцию „Сна" (имеется в виду текст «Отечественных записок». — *Л. Г.*) возможно отнести к числу восстановленных купюр цензуры» (*Страхов*, с. 213—214).

[76] *ЦГИА*, ф. 777, оп. 27, ед. хр. 42, л. 56 об.—57, 67 об.—68.

[77] Там же, л. 14.

[78] Там же, л. 19. Заседание 18 января.

Следует, вероятно, думать, что Гончаров, хорошо осведомленный о характере действий цензуры тех лет, сам произвел сокращения в главе «Сон Обломова» и сделал это, надо сказать, виртуозно. Ряды точек, обозначавших купюры, можно было, между прочим, легко объяснить незавершенностью романа.

Заканчивая обзор проблем, связанных с отдельной публикацией «Сна Обломова», следует остановиться на соотношении текстов «Литературного сборника...» и «Отечественных записок». Уже говорилось о том, что в журнале были восстановлены все, кроме одного, пропуски публикации «Литературного сборника...».

По какому источнику это было сделано? По черновой рукописи? По фрагментам беловой, оставшимся за пределами «Литературного сборника...»? Почему именно эти материалы были впоследствии утрачены? В настоящее время ответ на эти вопросы не найден.

Другие, не связанные с восстановлением купюр и устранением автоцензурных замен, исправления и уточнения весьма незначительны. В данном случае Гончаров мог пользоваться (как это было позднее, при подготовке к печати романа «Обрыв») отдельным оттиском «Литературного сборника...».

Небольшая часть изменений была сделана, по всей вероятности, на завершающем этапе работы Гончарова в связи с уточнением замысла романа в целом (примеры см. в других разделах данной статьи). При последующих изданиях романа в главу «Сон Обломова» никакие серьезные изменения не вносились.

Значительно проще обстоит дело с публикацией в журнале «Атеней» отрывка из 2-й главы III части. К этому времени роман вчерне был завершен, а публикуемые страницы подготовлены так, что могли набираться непосредственно по рукописи. Об этом свидетельствуют пометы (значки, которыми отмечен в рукописи данный фрагмент) и несколько карандашных правок для наборщика — сделаны более понятными неясно написанные слова. Важно отметить, что стилистическую правку, произведенную, по-видимому, в корректуре журнала, Гончаров при издании романа полностью не учел. Так, в предложении: «Опять поехал Обломов, любуясь на крапиву у заборов и на выглядывавшую из-за заборов рябину» (с. 230) было в первом случае устранено повторение («у заборов»), в тексте полной публикации это исправление не учтено. Выражение «скаканье на цепи» (с. 232) было в «Атенее» исправлено на «прыганье на цепи», в окончательном тексте — как в рукописи. Всего в окончательном тексте этого эпизода не учтено 35 исправлений, произведенных в «Атенее». Все они сугубо стилистические, очень мелкие, существенного значения не имеют. Однако в нескольких случаях это улучшающая или уточняющая правка, к сожалению, забытая писателем.

В заключение обзора публикаций двух отрывков из романа «Обломов» следует подчеркнуть, что в сопоставлении со всеми другими источниками их изучение дает возможность устранить некоторое количество ошибок, проникших во все последующие издания романа и не обнаруженных ни самим Гончаровым, ни современными текстологами.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ

ЗАПИСКИ.

1859.

ГОДЪ ДВАДЦАТЬ-ПЕРВЫЙ.

ЯНВАРЬ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ И. И. ГЛАЗУНОВА И К°.

Титульный лист журнала «Отечественные записки», в котором впервые был опубликован роман.

4. ЖУРНАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ И ПЕРВОЕ ОТДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ РОМАНА

Впервые полностью роман «Обломов» был опубликован в первых четырех номерах журнала «Отечественные записки» за 1859 г.

С выходом в свет «Отечественных записок» начинается история печатного текста романа, почти не привлекавшая, в отличие от его творческой истории, серьезного внимания исследователей.

Остановимся прежде всего на отношении Гончарова к корректуре своих произведений. Как видно из цитированных выше и других документов, Гончарову всегда хотелось самому держать корректуру хотя бы первой публикации. Помимо того, что он вносил порою значительную правку в текст уже на стадии верстки, а иногда и сверки, писатель далеко не был безразличен и к технической стороне дела, в частности к опечаткам. В тех случаях, когда обстоятельства складывались так, что он сам держать корректуру не мог или когда он был заинтересован в двойном контроле, Гончаров обращался за помощью к кому-либо из близких друзей (во времена «Обломова» это И. И. Льховский, в период издания «Обрыва» — С. А. Никитенко), не переставая тревожиться за судьбу рукописи в течение всего периода ее прохождения в типографии. Волнения писателя были вполне обоснованными. Издатели (редакторы, корректоры, наборщики) позволяли себе в те годы весьма активное вторжение в сугубо творческие вопросы, далеко не всегда ставя об этом в известность автора. Так было, например, в 1857 г. с первым изданием «Фрегата „Паллада“» и вторым изданием «Обыкновенной истории», корректуры которых, по просьбе Гончарова (сам писатель работал в это время над «Обломовым»), держал И. И. Льховский. 5 (17) июля Гончаров писал И. И. Льховскому из Мариенбада: «Мне совестно, что я вас обременил этим, но скажите откровенно сами, что я мог сделать, на кого оставить, кроме вас? Где бы нашел друга снисходительнее и мягче?»[79] Через несколько дней другое письмо тому же адресату: «Зачем Глазунова приказчик приходит в недоумение по поводу моего текста: вот забота! Пусть недоумевает лучше по поводу типографских ошибок. Велите оставить Фаддеева в покое: ведь в начале письма сказано, что оно написано после всех других, следовательно и Фаддеев был на сцене. Жаль, что они возятся со шрифтом и не послушались меня: у меня не меньше их смысла и вкуса. Жаль также, что Вы хотите посылать корректуры к Ефрему Ефремовичу: не хотелось бы мне этого по разным причинам, между прочим и потому, что едва ли это было бы не бесполезно: дело для него совсем новое. Притом Вы говорите, что Глазунов хочет взять еще корректора; тогда бы Вам оставалось только пробегать листы слегка. <...> *если Вам вовсе нельзя прочитывать ни разу,* то конечно лучше в таком случае посылать к Барышову» (VIII, 234).

Корректуру журнальной публикации романа «Обломов» Гончаров, как это известно из его писем, держал сам. Сложнее обстоит дело с пер-

[79] *ЛА*, т. 3, с. 108.

вым отдельным изданием романа. Четвертый номер журнала «Отечественные записки» был подписан цензурой 8 апреля 1859 г. Через месяц, 8 мая того же года, было дано цензурное разрешение отдельному изданию романа. 22 мая Гончаров выехал за границу на четыре месяца. Возвратился он в Петербург 20 сентября. 30 сентября вышло из печати отдельное издание, в котором, по сравнению с журнальной публикацией, содержится 448 разночтений. Это, по всей вероятности, означает, что Гончаров правил текст романа сразу же по получении очередного номера «Отечественных записок» (сведениями о том, что корректуры отдельного издания посылались автору за границу, мы не располагаем). Таким образом, ко времени окончания журнальной публикации текст был уже подготовлен к отдельному изданию, что и позволило последнему так быстро появиться в свет. В период пребывания Гончарова за границей И. И. Льховский, доверенное лицо писателя, также находился в отъезде — кругосветном путешествии на корвете «Рында». Надо, следовательно, полагать, что корректуры первого отдельного издания романа «Обломов» проходили без участия автора или близких ему людей. Это обстоятельство в какой-то мере объясняет, почему в отдельное издание вкралось довольно много неточностей, не замеченных автором.

Обратимся теперь более подробно к анализу журнальной публикации и первого отдельного издания романа «Обломов».

Варианты «Отечественных записок» в большинстве своем совпадают с рукописными. При подготовке первого отдельного издания 1859 г. уточнения и исправления в тексте проводятся в том же направлении, что и в рукописи: правка диалогов, мелкие стилистические изменения, небольшие сокращения.

Из заслуживающих внимания сокращений укажем на следующие. В пространном описании халата Ильи Ильича после слов: «...Обломов мог дважды завернуться в него» (с. 8) в журнале (как и в рукописи) читается: «...и все еще бы осталось материи на какой-нибудь парижский полуфрак». После слов: «— Можно и из графина напиться! — добродушно прибавил Захар» (с. 70) в «Отечественных записках» и в рукописи было: «... полагая, что, может быть, этот способ неупотребителен потому, что не всем известен». Оба сокращения сделаны уже в издании 1859 г.

В нескольких случаях в том же издании сделаны по сравнению с «Отечественными записками» небольшие дополнения. Завершена начатая еще в рукописи работа над диалогом Алексеева и Обломова: фраза «А я терпеть не могу никаких перемен!» (с. 30) отсутствовала и в рукописи, и в журнальной публикации. Внесено отсутствующее и в рукописи, и в первой публикации дополнение к письму старосты:

«Обломов взглянул на конец письма.

— Месяца и года нет, — сказал он, — должно быть, письмо валялось у старосты с прошлого года; тут и Иванов день,[80] и засуха! Когда опомнился!

---

[80] Разговор Обломова и Алексеева происходит 1 мая. Иванов день — 24 июня. См. также: Примечания, с. 654.

Он задумался» (с. 31).[81]

В «Отечественных записках» и в рукописи отсутствуют слова: «. . и погрузил напряженный, испытующий взгляд в ее глаза» (с. 157), характеризующие реакцию Обломова на взволновавшее его замечание Ольги. Нет в «Отечественных записках» реплики Захара, обращенной к барину, собравшемуся за границу: «Да вы там пропадете без меня!» (с. 179). По сравнению с текстом рукописи и журнальной публикации дополнен диалог Ольги и Обломова в конце 8-й главы II части: «— Ничего нет? — вопросительно повторила она, но живо, весело, со смехом, как будто не веря ему и предвидя, что есть у него что-то впереди» (с. 183). В прощальный диалог героев также внесено в издании 1859 г. несколько слов: Ольга спрашивает Илью Ильича, может ли он сказать, что ей нужно для ощущения полноты жизни, «. . . что это такое, чего мне недостает. . .» (с. 289). Отсутствует в «Отечественных записках» замечание Штольца: «До сих пор ты еще познавала жизнь, а придется испытывать ее. . .» и его же слова: «Береги силы! . .» (с. 359). В рукописи данный фрагмент представлен в другой редакции. Нет в «Отечественных записках» и в рукописи замечания, касающегося отношения Штольца к жизни после женитьбы на Ольге: «. . . ревниво, деятельно, зорко возделывал, берег и лелеял ее» (с. 360). Отсутствуют в журнальной публикации и существенно важные слова, характеризующие героиню: «. . . в жизни без движения она задыхалась, как без воздуха» (с. 352). Раздумья Штольца о том, что впереди у него и Ольги не одни радости, а жизнь, «где ждут „горе и труд“» (с. 359), — дополняются в издании 1859 г. словами: «настанет пора „испытаний“».

В издании 1859 г. сделан также ряд стилистических исправлений. Отметим несколько сравнительно крупных. Вместо слов: «— А где немцы сору возьмут. . .» в журнале читается: «У них, у этих немцев, и сору-то негде взять». Соответственно исправлен дальнейший текст. Вместо: «Где им сору взять?» в «Отечественных записках» было: «Где они сору-то возьмут?». Вместо «ты лучше убирай» (с. 14) в тексте первой публикации: «Ты только рассуждаешь, а ты лучше убирай!». Вместо слов «Квартира сухая, теплая; в доме смирно: обокрали всего один раз! Вон потолок, кажется и непрочен: штукатурка совсем отстала, — а все не валится» (с. 30) в «Отечественных записках» и рукописи было: «сроку всего какая-нибудь неделя». Так только в отдельном издании 1859 г. была реализована «программа», намеченная еще в рукописи (см. Варианты, с. 414, 421).

Весьма любопытно исправление в главе «Сон Обломова», точнее — в небольшом ее фрагменте, посвященном крестьянину, который с наступлением весны «потянет опрокинутую вверх дном телегу то за одну, то за другую оглоблю или осмотрит и ударит ногой праздно лежащую под навесом соху, готовясь к обычным трудам» (с. 80). Вместо последних слов в «Отечественных записках» и в «Литературном сборнике. . .»

---

[81] *Далее в «Отечественных записках» вместо слов*: А? — продолжал он — *читается*: А? — сказал Обломов.

I.

Въ Гороховой Улицѣ, въ одномъ изъ большихъ домовъ, народонаселенія котораго стало бы на цѣлый уѣздный городъ, лежалъ утромъ въ постели, на своей квартирѣ, Илья Ильичъ Обломовъ. Это былъ человѣкъ лѣтъ тридцати-двухъ-трехъ отъ-роду, средняго роста, пріятной наружности, съ темно-сѣрыми глазами, но съ отсутствіемъ всякой опредѣленной идеи, всякой сосредоточенности въ чертахъ лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала въ глазахъ, садилась на полуотворенныя губы, пряталась въ складкахъ лба, потомъ совсѣмъ пропадала, и тогда во всемъ лицѣ теплился ровный свѣтъ безпечности. Съ лица безпечность переходила въ позы всего тѣла, даже въ складки шлафрока. Иногда взглядъ его помрачался выраженіемъ будто усталости или скуки; но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать съ лица мягкость, которая была господствующимъ и основнымъ выраженіемъ, не лица только, а всей души; а душа такъ открыто и ясно свѣтилась въ глазахъ, въ улыбкѣ, въ каждомъ движеніи головы, руки. И поверхностно-наблюдательный, хо-

Первая страница первого отдельного издания романа (СПб., 1859).

было: «готовясь к знакомым упражнениям». Не исключено, что в первоначальном варианте Гончаров вспомнил строку из стихотворения Г. Р. Державина «Крестьянский праздник»:

Поют под пляской в песнях сельских,
Что можно и крестьянам быть
По упражненьях деревенских
Счастливым, радостным — и пить.

По сравнению с текстом «Отечественных записок» в издании 1859 г. следует отметить также замены, несколько уточняющие психологические характеристики героев. Так, вместо слов: «— M-r Обломов... — строго начала она, потом вдруг лицо ее озарилось лучом улыбки, — я не сержусь, прощаю, — прибавила она кротко» (с. 166) в журнале и рукописи было: «Ну, так и быть, я не сержусь, прощаю, — сказала она». Вместо слов: «И ласка была какая-то сдержанная, все выражение лица такое сосредоточенное...» (с. 181) в первой публикации было: «Выражение было такое сосредоточенное...». В издании 1859 г. Гончаров устраняет некоторые длинноты первоначального текста, излишнюю экзальтацию в описаниях душевных движений героев, излишние уточнения. Так, посвященные мятущейся героине слова: «спрашивала глазами небо» в журнале (рукопись дает другую редакцию) предварялись фразой: «„Что это за новости!“ — с испугом думала она, озираясь во все стороны...». Там же (после слов: «...в ней видела она непрерывное, но однообразное течение жизни, без начала, без конца», с. 354) снят ненужный в контексте размышлений Ольги вопрос: «Чего же ей хочется? Что это за тоска?».

В нескольких случаях в издании 1859 г. устранены стилистические неловкости, не замеченные автором при подготовке романа к печати.

Несмотря на значительные исправления, внесенные в текст первой публикации при подготовке отдельного издания 1859 г., Гончаров не был, по-видимому, полностью ими удовлетворен и продолжил отделку и шлифовку романа при следующих его переизданиях.

5. ИЗДАНИЕ 1862 г. КАК ОСОБЫЙ ЭТАП ПЕЧАТНОЙ ИСТОРИИ РОМАНА

Спустя полгода после выхода в свет первого отдельного издания романа «Обломов» Гончаров увольняется со службы. На протяжении почти двух лет (до сентября 1862 г.) он находится в непривычном для себя состоянии свободы от служебных обязанностей. Летом 1860 г. он продолжает работу над будущим «Обрывом», но завершить ее не удается. Из писем Гончарова к родным известно, что его материальное положение в это время весьма затруднительное. В таких условиях особенно важными для писателя становятся переиздания его произведений. Столь редкое в своей жизни свободное время Гончаров использует для просмотра своих сочинений. 15 ноября 1861 г. получено цензурное раз-

I.

Въ Гороховой улицѣ, въ одномъ изъ большихъ домовъ, народонаселенія, котораго стало бы на цѣлый уѣздный городъ, лежалъ утромъ въ постели, на своей квартирѣ, Илья Ильичъ Обломовъ. Это былъ человѣкъ лѣтъ тридцати-двухъ-трехъ отъ-роду, средняго роста, пріятной наружности, съ темно-сѣрыми глазами, гулявшими безпечно по стѣнамъ, по потолку, съ тою неопредѣленною задумчивостью, которая показываетъ, что его ничто не занимаетъ, ничто не тревожитъ. Съ лица безпечность переходила въ позы всего тѣла, даже въ складки шлафрока. Иногда взглядъ его помрачался выраженіемъ будто усталости или скуки. Но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать съ лица мягкость, которая была господствующимъ и основнымъ выраженіемъ, не лица только, а всей души. Душа такъ открыто и ясно свѣтилась въ глазахъ, въ улыбкѣ, въ каждомъ движеніи головы, рукъ. И поверхностно-наблюдательный, холодный человѣкъ, взглянувъ мимоходомъ на Обломова, сказалъ бы: «добрякъ долженъ быть, простота!» Человѣкъ

томъ I. 1

Первая страница **второго** отдельного издания романа (СПб., 1862).

решение второго издания романа «Обломов» (выход из печати — 30 января 1862 г.); 7 декабря 1861 г. датировано цензурное разрешение третьего издания «Обыкновенной истории», 6 февраля 1862 г. — цензурное разрешение второго издания «Фрегата „Паллада“».

21 января 1862 г., за девять дней до выхода в свет второго отдельного издания романа «Обломов», Гончаров пишет А. В. Никитенко, который был тогда главным редактором газеты «Северная почта»: «На рецензию „Обломова“ в „Северной почте“ рассчитывать не дерзаю, но на несколько строк, на краткий отзыв, который бы напомнил публике о втором издании, надеяться буду, любезнейший друг Александр Васильевич!

И как теперь дело идет не столько о моей литературной репутации, сколько о сбыте этого второго издания, то если Вы благоволите вставить как-нибудь слова: что *в первой части местами сделаны сокращения длиннот и кое-где сглажен слог, словом, роман тщательно автором просмотрен* (что совершенно справедливо), то это много поможет сбыту книги, о чем я теперь сладостно мечтаю» (VIII, 309—310).

Именно это издание является центральным в истории прижизненных публикаций «Обломова», с ним связана столь важная проблема, как выбор источника текста для современных научных и массовых изданий романа.

Дело в том, что в тексте издания 1862 г. содержится 819 разночтений по сравнению с последним прижизненным изданием романа в составе второго «Полного собрания сочинений» Гончарова (1887). Из них 246 соответствуют тексту «Отечественных записок» и (или) изданию 1859 г. Оставшиеся 573 принадлежат только изданию 1862 г.[82] За 95 лет, прошедших со дня смерти Гончарова, этот факт никем не был установлен, хотя еще в 1931 г. Б. В. Томашевский обратил внимание на две редакции портрета Обломова, одна из которых представлена во всех, кроме 1862 г., изданиях романа, вторая — только в издании 1862 г. Сопоставив рукописную и две печатные редакции портрета, Б. В. Томашевский писал: «Значит, мы имеем такую последовательность: в рукописи — полное подчеркнуто физиологических подробностей описание, в первом издании оно приобретает романтическую окраску, наконец, во втором издании — установка явно рассчитывается на реалистический характер изложения».[83]

Современными исследователями творчества Гончарова, в том числе и ответственными за новейшие переиздания романа «Обломов», статья Б. В. Томашевского была, по-видимому, основательно забыта. Проблема

---

[82] В разделе Варианты помещен полный список всех разночтений издания 1859 г. по сравнению с изданием 1862 г. Поэтому здесь речь идет только о наиболее существенных разночтениях, в сумме своей характеризующих особенности издания 1862 г., принципы авторской работы над ним.

[83] *Юров Б.* [*Томашевский Б. В.*] Как работал Гончаров, с. 117. Статья Б. В. Томашевского до настоящего времени является единственной обобщающей работой, посвященной особенностям творческого процесса Гончарова, в ее основу положен анализ всего массива рукописей писателя.

выбора источника текста этого романа поставлена не была, хотя во всех авторитетных изданиях советского времени существует обязательная формула: печатается по тексту последнего прижизненного издания с учетом (или исправлениями по... — тут формула варьируется) предшествующих публикаций. Она означает, что текст последнего прижизненного издания (1887) сверяется со всеми предшествующими публикациями. Но именно такая сверка и должна была обнаружить важнейшую особенность печатной истории романа «Обломов», привести текстологов к проблеме выбора источника текста.

Соотношение первой публикации «Обломова» в «Отечественных записках» и первого отдельного издания 1859 г. вполне обычное: в журнальную публикацию автор вносит исправления (общее их число, как уже отмечалось, 448; по частям: I — 78, II — 96, III — 124, IV — 150) и таким образом готовит первое отдельное издание. На основе этого издания готовится второе отдельное издание 1862 г., в котором наличествует весьма значительное количество разночтений по сравнению с изданием 1859 г. Затем приходит очередь двух «Полных собраний сочинений», в составе которых роман «Обломов» выходит в свет в 1884 и 1887 гг. Казалось бы, в основу этих изданий должно быть положено издание 1862 г. Но этого не происходит. Линия последовательного исправления и уточнения текста романа от первой публикации до последнего прижизненного издания прерывается. Издания 1884 и 1887 гг. готовятся на основе издания 1859 г. Таким образом, издание 1862 г., практически отменившее текст 1859 г., остается в стороне. Это означает, что роман «Обломов» существует в двух печатных редакциях. Одна представлена линией — «Отечественные записки» — издание 1859 г. — издание 1884 г. — издание 1887 г. Другая — «Отечественные записки» — издание 1859 г. — издание 1862 г. Задача, следовательно, состоит в том, чтобы определить ту редакцию, которая представляет последнюю творческую волю автора и должна быть принята в качестве источника подлинно авторского текста романа «Обломов».

В самом общем виде произведенная Гончаровым правка текста, предназначенного для издания 1862 г., происходила в нескольких направлениях. Во-первых, сокращения, во-вторых, смысловые, в-третьих, стилистические изменения. Велась она на разных уровнях: от слова (в том числе и грамматических форм) до изменения фразы и, наконец, до вторжения в значительные по своему объему фрагменты. Сокращения текста — как связанные с его переработкой, так и совершенно самостоятельные.

Лексико-грамматические изменения делятся на несколько групп: меняются окончания имен существительных, прилагательных и местоимений; уточняются время, лицо, число глагола, происходит замена формы прошедшего времени на деепричастие и наоборот, изменение вида и времени причастий и т. п., замена местоимений на имя собственное и наоборот, вставка или устранение местоимений; замена (проведена непоследовательно) устаревших падежных окончаний в родительном падеже имен существительных; редукция союзов и т. д.

В этом отношении издание 1862 г. не является исключением: такого же рода разночтения находим и в тексте других публикаций романа.

В сугубо лексическом плане своеобразие издания 1862 г. состоит в настойчиво проведенной Гончаровым смене литературных форм на просторечные и наоборот в зависимости от говорящего лица. В аналогичных случаях проводится и устранение частиц «-ка» или «-то». Такие исправления особенно последовательно сделаны в речи Обломова (в примерах первым приводится чтение 1862 г., вторым — 1859 г.): «погляди в углах» (с. 13) — «погляди-ка в углах-то», «посмотрите» (с. 30, 68) — «посмотрите-ка», «Да послушай» (с. 43) — «Да послушай-ка», «Куда» (с. 44) — «Куда, бишь», «где оно?» (с. 30) — «где, бишь, оно?» и т. п. Выразительна замена в речи Захара книжного: «— Да право!» на «— Да правда!» (с. 15) и простонародного в речи главного героя — «„Вона!“ — подумал Обломов» на литературное «„Вот еще!“ — шепнул Обломов» (с. 68).

Всего в издании 1862 г. 229 лексико-грамматических изменений.

Не является индивидуальной особенностью издания 1862 г. и правка диалогов, характерная и для предшествующих публикаций, и для рукописи. Направления правки те же: снимаются пояснительные слова автора, изредка меняется вся конструкция.

Таким образом, при подготовке издания 1862 г. Гончаров производит улучшения, подобные тем, что были им сделаны ранее на этапе перехода от рукописного текста к журнальной публикации и первому отдельному изданию романа.

Но этим работа над подготовкой второго отдельного издания романа не исчерпывается.

Значительный интерес представляют произведенные в тексте издания 1862 г. сокращения.

Сокращения текста без соответствующей переработки контекста можно разделить на несколько групп, более или менее объемных. Сравнительно небольшие делятся (конечно, очень условно) на следующие.

1. Снимаются усилительные наречия, эпитеты и проч., т. е. устраняется гиперболизация гоголевского типа (вместо «с необъятно широкими <...> бакенбардами» — «с широкими <...> бакенбардами», с. 11).

2. Снимаются излишние уточнения: вместо «часть плетня в одном месте» — «часть плетня» (с. 99); вместо «образ Ольги, во весь рост» — «образ Ольги» (с. 187); вместо «нюхает свой спирт» — «нюхает спирт» (с. 238); вместо «и ни на кого более в целом мире» — «и ни на кого более» (с. 314).

3. Уточняется авторская мысль. Так, например, в ответ на упреки Штольца Обломов говорит: «Да я ли один? Смотри: Михайлов, Петров, Семенов, Алексеев, Степанов... не пересчитаешь: наше имя легион!» (Варианты, с. 510). Перебирая наиболее распространенные фамилии, автор механически вписал в данный ряд и Алексеева, забыв, что эту фамилию носит один из персонажей романа, приятель Обломова. В издании 1862 г. эта небрежность устранена: Алексеев в перечне имен отсутствует (с. 145).

4. Устраняется перегруженность диалогов, описаний обстановки действия и т. п. бытовыми деталями. Такого рода сокращения бывают довольно объемными. Снимаются, например, подробности диалога Обломова и Судьбинского (Варианты, с. 501), сокращаются описания обломовского имущества, не возвращенного Тарантьевым (с. 504), и характеристика письма, полученного героем романа из деревни (с. 502), устраняется налет физиологизма в описании поведения и ощущений Обломова в минуты душевных волнений (с. 505, 513).

5. Более лаконичной становится характеристика действующих лиц, особенно второстепенных. В описании Алексеева отсутствуют слова: «Впрочем, надо отдать им справедливость, что и любовь их, если разделить ее на градусы, до степени жара никогда не доходит» (с. 502) и целый пассаж в 16 строк от слов: «Если дадут сделать и то, и другое...» до слов: «в противуположную сторону от той, куда шел» (там же). Подвергается сокращениям и характеристика Обломова. Отсутствуют в издании 1862 г. фразы: «Но он все сбирался и готовился начать жизнь, все рисовал в уме узор своей будущности; но с каждым мелькавшим над головой его годом должен был что-нибудь изменять и отбрасывать в этом узоре» (с. 504); «Все это вообще считал он за наказание, ниспосланное небом за наши грехи» (с. 505); «Тогда только решается он отдохнуть от трудов и переменить заботливую позу на другую, менее деловую и строгую, а более удобную для мечтаний и неги» (там же).

Аналогичным сокращениям подвергается и характеристика Захара (с. 506—507).

Стилистическая правка, целью которой является достижение выдержанного во всех деталях и мелочах сугубо национального звучания романа «Обломов», проводилась Гончаровым последовательно и тщательно на всех этапах работы. Еще на стадии рукописи снято сравнение громоздкой и крайне неудобной «повозки», на которой любящие родные отправили Обломова в Москву, с индийской колесницей, на которой возят «идолов». О письме старосты в рукописи было сказано, что оно «казалось писано было по-китайски. Буквы огромные, бледные, точно выведенные квасом...» (л. 11 об.). В тексте «Отечественных записок» и издании 1859 г. первое предложение отброшено, а вся фраза перестроена (см. с. 502). В издании 1862 г. авторская редактура продолжается: все предложение от слова «огромные» до слов «большим пятном» снимается (см. с. 31). В этом же издании устраняется и другое, также взятое из иноземного быта сравнение: «Сипенье и хрипенье (Захара. — *Л. Г.*) слились в этот раз в одну, невозможную ни для какого инструмента ноту, разве только для какого-нибудь китайского гонга или индийского тамтама» (с. 508).

Значительная часть сокращений в издании 1862 г. вызвана переработкой текста. Прежде всего следует назвать уточнение портрета главного героя на первой странице романа, о котором говорилось выше.

Столь же значительно сокращено и переработано описание системы хозяйствования в Обломовке, ведущегося отцом героя. Почти целая стра-

ница текста от слов «Отцы и деды не глупее нас были...» и до слов «. . заняться своими делами» (с. 505) заменена одной фразой: «„Бог даст, будем сыты!“ — говорил он» (отец Обломова). Соответственно исправлено начало следующего предложения. Вместо «Он уж был не в отца и не в деда» читается: «Илья Ильич уж был не в отца и не в деда» (с. 53).

Весьма характерна для издания 1862 г. уточняющая правка на уровне слова или фразы. Чаще всего это замена эпитета, выравнивание ритма. В смысловом отношении такая правка чаще всего нейтральна, но всегда очень убедительна. Таково, например, устранение длиннот: «...обманывает как малого ребенка. Разве большие учатся чему-нибудь?» исправлено на: «...обманывает, как твой староста» (с. 45). Снимаются не замеченные на предшествующих этапах работы над текстом повторения в соседних фразах. Во всех изданиях после слов: «...совсем пропадет та искра участия, которую он так неосторожно погасил в самом начале» (с. 181) было: «Надо раздуть ее опять, тихо и осторожно...» (с. 512). В 1862 г. последнее слово правится на «незаметно» (с. 181). В соседних предложениях: «Она показалась Обломову в блеске, в сиянии ‹...› Глаза у ней сияли...» последнее слово правится на «горели» (с. 206; то же на следующей странице). Вместо «говорила она задумчиво, как будто вникая в себя» в 1862 г.: «повторила она почти про себя, все еще вникая» (с. 191). В предложении: «Теперь, при вас, я уверен во всем: ваш взгляд, голос, все говорит» меняется конец: «...все проникнуто истиной и симпатией» (с. 193). То же далее. Вместо «...сегодня достигаешь желаемого страстно, до изнеможения, а послезавтра краснеешь, что пожелал...» в 1862 г. читаем: «...стремишься к желаемому страстно...» (с. 194); вместо: «Розовое пятно появлялось то на одной щеке, то на другой» — «Розовое пятно появлялось на одной щеке, пропадало, потом являлось на другой» (с. 206). Устраняется слишком частое повторение «сквозной детали». Вместо «. . на щеках рдеют два розовые пятна» — «...щеки рдеют румянцем...» (с. 212). Снимается налет наивности, не присущей Ольге (скорее это, как и слово «дерзко», из лексикона героини «Обрыва» Марфиньки). Вместо «А другой? Другие смотрят так дерзко...» в 1862 г.: «А другой на его месте...» (с. 213). Исправляется смысловая оплошность в реплике Ольги: «А если не уйду, я преступница и ты тоже: помни это, Илья»: убираются слова «и ты тоже» (с. 221). Правятся фразы: «Разве это жизнь? А между тем живут так, как будто в этом вся жизнь.[84] И Андрею она[85] нравится!». Вместо малоизвестного «дикий» (т. е. серый) сюртучок в 1862 г. читаем: «легкий сюртучок» (с. 238). Вместо неловкого выражения: «сила нежности и грации теряет свои права»: «Нежность и грация теряют свои права» (с. 276). Клише «томным голосом» заменено выразительным сочетанием: «разбитым голосом» (с. 288). Вместо громоздкого выражения: «впиваясь глазами

[84] *Вместо*: как будто в этом вся жизнь — *в 1862 г.*: весь век (с. 229).
[85] *Вместо*: она — *в 1862 г.*: это.

в Ольгу, изучая каждую жилку, глядя ей в глаза»: «глядя в глаза Ольге» (с. 312). Вместо расплывчатого: «как она выйдет из этого положения...»: «как она выпутается из этих жизненных дилемм...» (с. 319). Нейтральная характеристика поведения Мухоярова заменяется более динамичной: вместо: «говорил он оживляясь»: «говорил он, ударяя по столу кулаком» (с. 344).

Иногда вследствие замены одного-двух слов уточняется или даже меняется какой-то момент в характеристике персонажа. В двух случаях это касается Агафьи Матвеевны Пшеницыной. Так, в изданиях до и после 1862 г. она говорит о канцелярии, где служит «братец»: «...я не знаю, как она называется», в издании 1862 г.: «...я все забываю, как она называется» (с. 233). На издевки родни после смерти Обломова она отвечает «достоинством своей скорби и покорным молчанием»; в издании 1862 г. заменен эпитет: «гордым молчанием» (с. 379). Выразительна и замена одного слова в сцене решающего объяснения Ольги и Обломова. В ответ на обвинение Ольги «потухший взгляд» героя «ясно говорил: „Да, я скуден, жалок, нищ... бейте, бейте меня!..“». Вместо последних слов в издании 1862 г. читаем: «...бейте, позорьте меня!..» (с. 290).

Комический эпизод, рисующий (со слов Захара) Обломова как в своем роде мецената («Ходят всё сочинители...»), впервые появился в «Отечественных записках». Там были небольшие разночтения по сравнению с текстом обоих «Полных собраний сочинений...». Фраза: «Чиновники, что ли, такие?» — отсутствует. Вместо слов: «нет, это» и до слов: «что не дай бог...» в журнале был короткий диалог Захара и дворника (см.: Варианты, с. 498). Исправления, соответствующие тексту «Полных собраний...», внесены в издание 1859 г., но не удовлетворили Гончарова. В издании 1862 г. вместо обмена репликами между Захаром и дворником появляется новое определение: «...которые все валяются по диванам, пьют херес да курят трубки. Иной раз так натопчут, что не дай бог...» (с. 117).

Есть в издании 1862 г. и небольшое количество вставок. Они очень невелики по объему (в пределах слова, максимум — предложения). Кроме указанных в других разделах данной статьи, назовем следующие. Размышления Штольца, который «„был бы счастлив, если б удалось ему на себе оправдать свое убеждение, но что достичь этого он не надеется, потому что это очень трудно“», дополнены словами «„что человек вообще слишком испорчен и что нет еще настоящего воспитания“» (с. 130). Описание юного Обломова тех дней, когда он мечтал со Штольцем о трудовой жизни, о путешествии, дополнено так: «писал тетради прозы, стихов и плакал над поэтами» (с. 148).

Другие мелкие вставки имеют преимущественно уточняющий характер. Например, фраза: «Она вдруг остановилась...» дополнена эпитетом: «усталая» (с. 158). Реплика Ольги: «Да, и у меня, кажется, достанет сил прожить и пролюбить всю жизнь...» дополняется словами: «Одно без другого невозможно» (с. 192). Фраза «Она была бледна в то утро, когда открыла это (любовь к ней Штольца. — *Л. Г.*), не выходила целый день,

волновалась...» дополнена словами: «и от счастья, и от ужаса» (с. 320). А конец другой фразы (там же): «...рассказать про свою любовь, чтоб он видел и искупление» дополнен так: «Но силы нет: где взять ее?». Изменено и начало следующего предложения: вместо: «Она слыхала, как поступают...» — «Или поступить, как поступают...».

Фраза делается более скупой, снимаются романтические штампы: вместо: «...как рождалось чувство на дне его души» в издании 1862 г. читаем: «...как рождалось чувство там» (с. 181, в начале фразы, кстати, уже было: «глядела в его душу»). Снимается лишний разделительный союз «то...то» и уточняется тем самым ритм: «Он с восторгом, украдкой кидал взгляд на ее головку, на стан, на кудри и сжимал судорожно ветку» (с. 184, ср. с. 512). Делится на две длинная фраза, неуместный в устах взволнованного Обломова оборот: «а между тем» заменяется словами: «Не странно ли, что» (с. 190). Резко улучшается звучание и уточняется смысл слов Ольги: «Влюблена, нет... я не знаю, боюсь этого: я вас люблю! — сказала она и поглядела на него долго и задумчиво, как будто мысленно поверяла и себя, точно ли она любит» (с. 191; так сделано в издании 1862 г., ср. с. 513).

Важное значение имеют два исправления, внесенные в текст издания 1862 г. Может быть, ярче всех других они показывают, насколько продуманным было авторское вторжение в текст романа, дважды до этого опубликованный. Беседуя с Обломовым, Пенкин говорит: «Но, умоляю вас, прочтите одну вещь; готовится великолепная, можно сказать, поэма: „Любовь взяточника к падшей женщине“». В издании 1862 г. Гончаров так правит конец этой во многих отношениях важной фразы: «...великолепная, можно сказать, обличительная поэма...» (с. 24). Скорее всего, это исправление ошибки двух предшествующих изданий: вводные слова «можно сказать» относятся именно к определению «обличительная». Второе изменение представляется еще более существенным. Характеризуя Обломова, Гончаров пишет: «Давать страсти законный исход, указать порядок течения, как реке, для блага целого края, — это общечеловеческая задача, это вершина прогресса, на которую лезут все эти передовые люди, да сбиваются в сторону» (с. 160). Так в издании 1862 г. был устранен выпад против идей жорж-зандизма — отголосок споров Гончарова с Белинским, о которых писатель вспоминал в конце 70-х годов (VIII, 91—93), — в «Отечественных записках» и в издании 1859 г. было: «лезут все эти Жорж Занды».

Особый случай — пропущенная в диалоге Ольги и Штольца реплика героя. Штольц сообщает жене, что он передал от ее имени поклон некому Бичурину. Далее авторская ремарка: «Она сухо улыбнулась» (с. 355). В «Отечественных записках» вслед за этим идет реплика Штольца: «— Он теперь в Одессе. Ты знаешь?» и ответ Ольги: «— Да, ты сказывал, — равнодушно отозвалась она». В издании 1859 г., по которому, вероятно, готовился текст 1862 г., реплика Штольца пропущена. Гончаров заметил, по-видимому, этот пропуск, но не стал восстанавливать реплику Штольца, а вычеркнул и ответную реплику Ольги. В следующих за 1862 г. изданиях романа (1884, 1887) первая реплика:

«— Он теперь в Одессе. Ты знаешь?» — пропущена, а вторая: «— Да, ты сказывал, — равнодушно отозвалась она» — сохранена, т. е. повторена ошибка издания 1859 г.

Пересматривая текст «Обломова» для издания 1862 г., Гончаров внес еще одно весьма важное исправление, устранив проникшую в издание 1859 г. смысловую опечатку. 6-я глава II части открывается словами: «Обломову, среди ленивого лежанья в ленивых позах, среди тупой дремоты и среди вдохновенных порывов, на первом плане всегда грезилась женщина как жена и иногда — как любовница». Так эта весьма ответственная характеристика звучит в издании 1859 г. и в двух «Полных собраниях сочинений». В рукописи же, в журнальной публикации и в издании 1862 г. последние слова читаются иначе: «... и никогда — как любовница» (с. 159). Понятно, что в этом чтении коренным образом меняется не только смысл данной фразы, но и один из важнейших моментов авторской концепции образа Обломова в целом.

Такого рода правка, как и другие многочисленные изменения, произведенные в тексте первого отдельного издания романа «Обломов» при подготовке издания 1862 г. со всей очевидностью свидетельствуют о том, что мы имеем здесь дело с ясно и последовательно выраженной творческой волей автора, уточнившего ряд ответственных эпизодов романа, тщательно выправившего его стиль и слог. Текст издания 1862 г. отличается еще и тем, что в нем автором исправлен ряд ошибок, вкравшихся в первое отдельное издание романа и затем повторенных в обоих прижизненных «Полных собраниях сочинений». Сверка подобного рода исправлений с рукописью подтверждает авторитетность издания 1862 г. Более того. Сравнение текста «Отечественных записок», изданий 1859 и 1862 гг. с изданиями романа в составе «Полных собраний сочинений» со всей очевидностью доказывает, что в изданиях 80-х годов количество новых смысловых ошибок, допущенных по вине издателей (наборщика, корректора и проч.), весьма велико: искаженные эпитеты, пропущенные слова и строки, неверные союзы и предлоги, нарушенное согласование, не оправданные смыслом перестановки слов и словосочетаний, измененные времена глаголов и глагольных форм и т. п.

Есть, следовательно, все основания считать (несмотря на те осложняющие проблему выбора источника текста моменты, о которых речь пойдет в следующем разделе настоящей статьи), что именно издание 1862 г. в полной мере соответствует авторской воле, понимаемой не формально, но как явление последней творческой переработки текста, произведенной Гончаровым в расцвете его физических, нравственных и созидательных сил.

6. ПОСЛЕДНИЕ ПРИЖИЗНЕННЫЕ ИЗДАНИЯ РОМАНА «ОБЛОМОВ» В СОСТАВЕ ДВУХ «ПОЛНЫХ СОБРАНИЙ СОЧИНЕНИЙ»

К началу 80-х годов «Обломов» стал библиографической редкостью. Тому было много причин. Первая из них — недовольство писателя критикой тех лет, в особенности — реакцией на роман «Обрыв». 30 августа

1878 г., объясняя в письме к П. Г. Ганзену свое творческое молчание и нежелание переиздавать свои сочинения, Гончаров заметил: «Если другие не видели, не могли или не хотели видеть того, что я вижу сам, то значит этого и нет в трех моих романах. Пусть это приснилось мне во сне Обломова.

По всем этим причинам, и меня самого одолевает *погасание* и *потухание*. Прежде всего *погасло* влечение к литературе вообще, а потом *потухло* и участие к собственным своим сочинениям и мне стало просто (как говорится по-русски) *тошно* даже думать о них» (VIII, 473). Все чаще ощущает себя Гончаров «уже отошедшим, прошлым, а не современным писателем...» (VIII, 460), не желая, как он пишет, возобновлять «издания своих сочинений, хоть их давно, кроме „Обрыва", в продаже нет, и даже нет и у меня самого, в моей маленькой библиотеке» (VIII, 461).

Сыграла свою роль и поразительная авторская взыскательность. С первых шагов на литературном поприще (об этом уже говорилось выше) и до конца дней писатель, не доверяя себе, постоянно нуждался в дружеской поддержке. Как на немногих других, огромное впечатление производили на Гончарова печатные отклики на его произведения. В 1870 г., слушая и читая отзывы об «Обрыве», автор временами готов во всем согласиться со своими критиками и как будто даже оправдывается в том, что решился опубликовать роман: «Если б знали, с какой печалью прятался я в свой угол — и брался за перо, одно, чем я кое-как мог владеть, и то с какими сомнениями, с какою недоверчивостью! Обращался к другим, поверяя им вчерне свои литературные планы, спрашивая, годятся ли? А меня казнили и казнят до сих пор, не подозревая, как я нуждаюсь в пощаде, как мне тяжело, больно».[86] То же происходило и позднее. А. Ф. Кони, который в 70—80-х годах был ближайшим другом Гончарова, вспоминал: «Ему было свойственно страдальчески переживать тяжелые муки рождения своих произведений. Он часто сомневался в себе, падал духом, бросал написанное и принимался за то же произведение снова, то не доверяя своим силам, то пугаясь разгара своей фантазии».[87] М. М. Стасюлевич, рассказывая о том, какие неожиданные трудности возникли при публикации в «Вестнике Европы» «Мильона терзаний», как отказывался автор подписать свой «критический этюд» не только полным именем, но даже двумя буквами «И. Г.», подчеркивает, что это было «в высшей степени характерно»[88] для романиста. Искреннее «недоверие к себе — до трусости»[89] одолевало писателя всю его творческую жизнь. В том же 1887 г. он пишет А. Ф. Кони: «Мне крайне хочется заручиться Вашим мнением о не-

[86] Письмо к С. А. Никитенко от 18 сентября 1870 г. — *ИРЛИ*, ф. 134, оп. 8, № 11, л. 119.

[87] *Гончаров в воспоминаниях*, с. 241.

[88] Там же, с. 235.

[89] Письмо к К. Р. (вел. кн. К. К. Романову) от 21 июня 1887 г. — *ИРЛИ*, ф. 137, оп. № 65, л. 44.

скольких набросанных мною очерках: я прочел бы Вам один, много — два; чтение не заняло бы и часа, или около того.

Я читал Софье Ал‹ександровне› Ник‹итенко›, Мих‹аил› Матв‹еевич Стасюлевич› вчера заехал ко мне, я и ему немного прочел — оба они одобряют, но мне нужен и Ваш голос, который и был бы решающим. Если б и он был в пользу мою, тогда бы я мог сдать кое-что в журнал. . .».[90] В феврале 1888 г. он дарит авторские оттиски воспоминаний «На родине» А. Ф. Кони и С. А. Никитенко, замечая в письме к А. Ф. Кони от 13 февраля 1888 г., что им обоим он «так много обязан ‹. . .› за сочувствие и содействие к последним ‹. . .› трудам! Не будь Вас ‹. . .› я — пожалуй, по недоверию к себе, не дописал бы статьи».[91] 4 февраля 1891 г., за несколько месяцев до смерти, он пишет Д. Н. Цертелеву о своих мемуарах «По Восточной Сибири. (В Якутске и Иркутске)»: «Статью мою похваливают и в газетах и кн. Волконский (сын декабриста С. Г. Волконского. — *Л. Г.*) и другие довольны ею, но сам я вечно недоволен своим трудом — таково свойство моей натуры!».[92]

Несколько раз Гончаров то возвращается к мысли о переиздании своих сочинений, хотя, как признается он в письме к П. Г. Ганзену от 7 июля 1878 г., «это сопряжено с нравственною, большою для меня пыткою. . .» (VIII, 466), то вновь отказывается от нее. В 1880 г. на вечере у Я. П. Полонского заходит «между прочим разговор о том», что сочинения Гончарова «следовало бы издать вновь, так как их нет в продаже и они становятся библиографическою редкостью». Когда писатель, по свидетельству очевидца «до сих пор почти не принимавший участия в общем разговоре, услышал эти последние слова, он чуть было из-за стола не выскочил.

— Как, к чему это делать, зачем вновь издавать мои сочинения? их теперь никто не будет читать! — воскликнул он с раздражением».[93]

В бесконечных сомнениях и колебаниях Гончарова сыграла отрицательную роль и печальная история взаимоотношений с Тургеневым. На это, между прочим, намекал романист в одном из своих писем к П. Г. Ганзену: «. . . есть и другие причины, по которым лучше бы и легче бы мне было тихо и незаметно просидеть в своем углу и не шевелить минувшего» (VIII, 467). Мы располагаем еще одним свидетельством по этому поводу — воспоминаниями А. Ф. Кони: «Последний отголосок этого состояния видел и я, когда летом 1882 года в Дуббельне, ссылаясь на трудности приобретения и дороговизну ставшего редкостью „Обломова“, я уговаривал его издать полное собрание своих сочинений. „Такой совет мне мог бы дать, — сказал мне, мрачно потупясь, Гончаров, — лишь недруг: разве вы хотите, чтобы меня стали обвинять в том,

[90] Письмо от 7 мая, четверг, без года. — Там же, 4904/XXV б. 67, л. 127—127 об. Датируется по содержанию. Речь идет об очерках «Слуги старого века».

[91] *ИРЛИ*, ф. 134, оп. 8, № 3, л. 4.

[92] Там же, 24123. CXII б. 15, л. 11 об.

[93] *Ободовский К.* Листки из записной книжки. — Исторический вестник, 1893, № 12, с. 777.

что я обокрал Тургенева?!“ Мне стало ясно, что навязчивая идея завершила свой круг».[94]

Выход в свет первого «Полного собрания сочинений» Гончарова состоялся только в 1883 г.

Этому событию предшествовали длительные переговоры Гончарова с издателем И. И. Глазуновым, настойчивые просьбы друзей, в особенности А. Ф. Кони, способствовала этому в какой-то степени и материальная необеспеченность писателя. Известно, что в октябре 1882 г. Гончаров дважды ездил в Гатчину, летнюю резиденцию Александра III, хлопоча об увеличении пенсии. 22 октября 1882 г. Гончаров был принят царем. Именно тогда состоялся, вероятно, тот разговор, о котором писатель рассказал А. Ф. Кони: «Вы как будто угадали, говоря в письме, что мне надо бы „повелеть“ издать мои книги: хотя повеления не было, или если было, то в форме вопроса: „печатаю ли я свои сочинения?“. Я конечно поспешил отвечать утвердительно, и даже испросил позволение сам лично представить их, когда они будут готовы.

Вследствие этого, неделю тому назад, я подписал контракт, которым уступаю мое авторское право на все сочинения Глазунову, так что Вам нет надобности зачитывать чужой экз‹емпляр› „Обломова“.

Но об этом прошу пока не говорить никому, чтобы через провинциальную печать не дошло до здешних газет, которые разболтают прежде времени, а между тем книги выйдут в печать вероятно не ближе осени.

Вы много утешаете меня, читая „Обломова“. Я думал, что его, и вообще таких старых книг, как мои, читать нельзя. Впрочем теперь это не мое дело: я не навязывал, ко мне приставали, чтоб я уступил, и если будет невыгодно, пусть на меня не пеняют!».[95]

Но и здесь подстерегали Гончарова неожиданности, на этот раз связанные со здоровьем. В начале декабря его постигла болезнь глаз, сопровождавшаяся сильными болями. Через короткое время она привела к потере правого глаза. Писатель, по всей видимости, был лишен возможности готовить тексты своих сочинений к изданию и тем более держать корректуры.[96]

Первое «Полное собрание сочинений» Гончарова вышло в свет в 1883 г. (роман «Обломов», тт. II и III, помечен 1884 г.). Второе «Полное собрание сочинений» вышло в 1886 г. («Обломов» помечен 1887 г.). Тексты этих изданий, как говорилось выше, не идентичны, хотя и в мелочах.

Какие же издания романа «Обломов» были в это время в распоряжении Гончарова? По какому источнику печатался текст романа в «Пол-

---

[94] *Гончаров в воспоминаниях*, с. 252.

[95] Письмо от 11 ноября 1882 г. — *ИРЛИ*. 4904/XXV б. 67, л. 49 об.—50. Ответ на письмо А. Ф. Кони к Гончарову от 8 ноября 1882 г. (см.: *Кони А. Ф.* Собр. соч.: В 8-ми т., т. 8, с. 54).

[96] Ср. примечание Гончарова в рукописи мемуаров «В университете» (1887): «Это было писано в 60-х годах, с потерей глаза в 1882 году я, к сожалению, должен был совсем оставить чтение» (*ГПБ*, ф. 209, № 4, л. 12 авт. паг.).

ном собрании сочинений»? И главное, было ли в руках автора издание 1862 г.? Никаких прямых сведений об этом мы не имеем. На основании же косвенных данных (письма к П. Г. Ганзену — VIII, 461, 466 и к А. Ф. Кони) легко себе представить, что у Гончарова этого издания могло не быть, как не было последних изданий (1862 и 1868 гг.) «Обыкновенной истории». Известно, например, что в 1877 г. Гончаров передал А. А. Толстой свой первый роман в издании 1848 г., хотя в последующих его переизданиях, в особенности книге 1868 г., была произведена весьма значительная правка, дающая основание исследователям «Обыкновенной истории» считать этот текст второй редакцией романа (см.: I, 510—511).

Возникает естественное предположение, что текст романа «Обломов» в составе первого «Полного собрания сочинений» готовился по изданию 1859 г., а издание 1862 г. было автором просто забыто. Однако при таком решении вопроса в свою очередь требуют объяснения два существенных обстоятельства. Прежде всего следует отбросить мысль о том, что текст «Полного собрания...» был механическим переизданием текста 1859 г. Авторское вторжение в текст романа безусловно производилось: только в обоих собраниях сочинений появился фрагмент, отсутствующий как в рукописи, так и во всех предшествующих изданиях. В 5-й главе IV части развернут диалог Агафьи Матвеевны и Вани. Выговаривая сыну за разорванную куртку, Пшеницына замечает: «Мальчишки, должно быть, разорвали: дрался — признавайся? — Нет, маменька, это само разорвалось, — сказал Ваня» (с. 334). В рукописи, «Отечественных записках» и двух отдельных изданиях далее читается: «Утри нос, не видишь? — заметила она, бросив ему платок».[97] Между цитированными строками в изданиях 1884 и 1887 гг. вставка: «— То-то само! Сидел бы дома да твердил уроки, чем бегать по улицам! Вот когда Илья Ильич опять скажет, что ты по-французски плохо учишься, — я и сапоги сниму: поневоле будешь сидеть за книжкой!

— Я не люблю учиться по-французски.

— Отчего? — спросил Обломов.

— Да по-французски есть много нехороших слов...

Агафья Матвеевна вспыхнула, Обломов расхохотался. Верно и прежде уже был у них разговор о „нехороших словах“» (Варианты, с. 524).

Как, при каких обстоятельствах появился в тексте двух «Полных собраний...» этот фрагмент? Может быть, записанный на отдельном листке, он выпал при наборе журнальной публикации и пропуск остался незамеченным вплоть до начала 80-х годов? Или, написав эти строки позднее, автор забыл внести их в наборную рукопись или корректуру первой публикации? Ответ на этот вопрос пока не найден.

Определение источника, по которому печатался текст «Обломова» в «Полных собраниях сочинений», осложняется еще одним, требующим объяснения фактом. Дело в том, что заключительные строки III части в рукописи, журнальной публикации и издании 1859 г. читались иначе,

---

[97] *В изданиях 1884 и 1887 гг.*: «Утри лучше нос, ...».

чем в обоих «Полных собраниях. . .». В рукописи, «Отечественных записках» и в издании 1859 г. было так: «— Снег, снег, снег! — твердил он бессмысленно,[98] глядя на снег, лег в постель и заснул свинцовым, безотрадным сном». Лишь в издании 1862 г. после слов «глядя на снег», появились строки: «густым слоем покрывший забор, плетень и гряды на огороде. — „Все засыпал!“ — шепнул потом отчаянно» (с. 291),[99] точно воспроизведенные в 1884 и 1887 гг.

Как попали в текст «Полных собраний. .» слова, впервые включенные только в издание 1862 г., ни в одном из других, как сказано выше, многочисленных случаев, не учтенное автором при подготовке «Полных собраний. . .»? Пока, за неимением фактов, возможно только одно предположение: выразительные, глубокие по своему символическому звучанию, бросающие трагический свет на дальнейшую судьбу героя строки запомнились автору и были введены им в текст «Полных собраний. .» по памяти.

Выделение проблем, осложняющих определение источника текста в издании «Обломова» 1884 и 1887 гг., отнюдь не отменяет принятое на основании вышеприведенной характеристики издания 1862 г. решение рассматривать текст именно этого издания как наиболее полно отражающий авторскую волю. Выбирая источником текста издание 80-х годов, мы сохраняем 9-строчный фрагмент, не имеющий сколько-нибудь значительной эстетической ценности. Утрачиваем же результаты серьезного, кропотливого и очень важного во многих отношениях труда, предпринятого Гончаровым при подготовке издания 1862 г. При такой постановке вопроса выбор источника текста для данного издания представляется очевидным. В его основу положен текст 1862 г.

В напряженной и плодотворной работе Гончарова над «Обломовым» четко выделяются три основных этапа: создание первоначального чернового текста, подготовка рукописи романа к публикации и, наконец, создание новой редакции романа, увидевшей свет в издании 1862 г.

В истории печатного текста романа некоторого внимания заслуживают и проблемы так называемой «внешней передачи» авторского текста, которые, по единодушному мнению специалистов, являются в теории и практике текстологии наименее разработанными. Только на первый взгляд такого рода вопросы представляются сравнительно легко разрешимыми. Как справедливо заметил А. Б. Шапиро, в процессе установления «окончательного», т. е. подлинно авторского, текста «приходится задумываться над множеством самых разнообразных вопросов чи-

---

[98] *В рукописи*: без смыслу

[99] *В рукописи намечалось, но было отброшено решение, по внутреннему смыслу близкое окончательному*: «Так и на сердце мое, на всю жизнь упал снег», — подумал он (Варианты, с. 486).

сто лингвистического характера. Здесь и явления лексики, и факты грамматические, и вопросы орфографии, пунктуации и транслитерации».[100] При подготовке научных изданий произведений классики, в первую очередь — академических собраний сочинений, постоянно возникают разного рода затруднения, преодолеть которые удается далеко не всегда. Академик М. П. Алексеев, рассказывая о текстологических особенностях Полного собрания сочинений И. С. Тургенева, в частности, заметил: «Пунктуация Тургенева, — как, впрочем, и его орфография, — специально еще не изучалась; мы имеем поэтому мало возможностей судить о том, насколько они отражали сложившуюся к его времени пунктуационную и орфографическую практику русской письменной речи и в каких отношениях они были свойственны ему самому. Текстологические инструкции, действовавшие при подготовке к печати ПСС, именно в этой своей части были слишком общими и предусматривали немногие индивидуальные особенности оформления рукописей Тургеневым, и эти особенности не были исследованы предварительно и могли быть удержаны в печатном тексте лишь выборочно, более или менее случайно».[101]

Обращаясь к современным изданиям сочинений Гончарова, следует признать, что при их подготовке подобные вопросы, по всей видимости, даже не поднимались.

В данном разделе статьи сделана первая попытка в меру лингвистической подготовленности автора определить некоторые локальные проблемы, возникающие при изучении прижизненных изданий романа «Обломов». Решение более общих вопросов возможно лишь на материале всего творческого наследия Гончарова на базе подготовки академического собрания сочинений писателя.

«. . . значительно более низкий, по сравнению с современным, уровень организации редакционно-издательского дела не только в первой, но и во второй половине прошлого века, очень заметно сказывавшийся на качестве изданий прежних времен»,[102] определенным образом повлиял и на прижизненные издания произведений Гончарова. Неупорядоченность орфографии и пунктуации, в какой-то мере преодоленная только с введением в 80-х годах XIX в. «Гротовского правописания», отрицательно сказывалась и на печатном тексте романа «Обломов», выходившего в разные годы на базе различных типографий и прошедшего через руки переписчиков, редакторов, корректоров, наборщиков, каждый из которых придерживался своих собственных, далеко не во всем совпадающих с общей тенденцией даже в той мере, в какой она существовала в те годы, правил правописания.

В этом плане прижизненные издания романа «Обломов» являют собою весьма пеструю картину. Сам писатель, по всей вероятности, не уде-

---

[100] *Шапиро А. Б.* Текстологические заметки. — В кн.: Академику Виктору Владимировичу Виноградову к его шестидесятилетию. Сборник статей. М., 1956, с. 285.

[101] *Алексеев М. П.* Текстологические особенности издания И. С. Тургенева. — В кн.: Текстология славянских литератур. Доклады конференции. Ленинград, 25—30 мая 1971 года. Л., 1973, с. 18—19.

[102] *Шапиро А. Б.* Текстологические заметки, с. 285.

лял орфографической и даже пунктуационной, т. е. влияющей на интонацию, а иногда и смысл, стороне издания своих сочинений серьезного внимания. В какой-то мере об этом позволяет судить сравнение его рукописей с печатными текстами. Надо думать, что он довольно спокойно воспринимал унификацию, проводимую издательскими и типографскими работниками. Так, если в рукописи мы встречаем *только* форму: «эдак», «эдакий» (или: «эдакой»), то во всех изданиях романа «Обломов» приняты исключительно: «этак», «этакий» (или: «этакой»). В рукописи Гончарова встречается «вулкан» и «волкан», причем чаще второе (в *Словаре 1867* — обе формы),[103] «номер» (в рукописи) и «нумер» (все издания, в *Словаре 1867* — обе формы), «противуположность» (в *Словаре 1867* только так) и «противоположность», «вздрагивать» и «вздрогивать» (в *Словаре 1867* только первая), «оспаривать» и «оспоривать» (в *Словаре 1867* только вторая), «устроивать» и «устраивать» (в *Словаре обе формы*). Те же колебания (вовсе не всегда совпадающие в данном конкретном случае с авторской рукописью) в печатных изданиях.

Гончаров пишет только «мебель» (так в *Словаре 1867*), в «Отечественных записках» и в издании 1859 г. только «мёбель», в более поздних — разнобой. Гончаров преимущественно употребляет формы «снурок» и «сторы» (немногие исключения носят случайный характер). В изданиях встречаем «шторы» (только в одном случае) и часто — «шнурок» (в *Словаре 1867* на равных правах «сторы», «снурок» и «шторы», «шнурок»).[104] У Гончарова — «бифстекс» (так и в *Словаре 1867*), в изданиях — разнобой. У Гончарова только «ботвинье» (в *Словаре 1867:* «ботвинье, я, ср.» и «ботвинья, и, ж.»), в изданиях встречается и «ботвинья». Формы родительного падежа: «нерв» и «нервов» (в *Словаре 1867* только первая форма), «басурман» и «басурманов», «брелок» и «брелоков», «бисквит» и «бисквитов», «сапог» и «сапогов» — и у Гончарова и в изданиях употребляются на равных правах (в более поздних изданиях романа чаще — вторая форма). У Гончарова только «замужство», так же (за случайными исключениями) в изданиях (в *Словаре 1867* помета: «замужество то же, что замужство»). Более частым в рукописи является написание «шкап», встречается и «шкаф». То же соотношение в изданиях (в *Словаре 1867* формы равноправны). У Гончарова только «галстух» (в *Словаре 1867* — «галстук»), в изданиях — «галстух». В рукописи часто формы «плеча», «колена» (двойственное число), в изданиях, как правило: «плечи», «колени». Гончаров весьма часто (исключений немного) употребляет архаическое «кресла», «с кре-

---

[103] В качестве контрольного справочного издания использован *Словарь 1867* как промежуточный для периода от выхода первого (1859) и последнего (1887) прижизненных изданий романа «Обломов». Ссылки на *Словарь 1867* приводятся непосредственно в тексте без указания тома и страниц.

[104] Приводим соответствующие словарные статьи: «Стора — оконная занавеска, которая поднимается и опускается. Штора — занавес у окошка, поднимаемый и опускаемый посредством шнура. Снурок, снур — витая из нити, шерсти, шелка веревочка. Шнур — веревочка, плетенная из бели, бумаги или шелку».

сел», в изданиях в абсолютном большинстве «кресло», «с кресел»[105] (в *Словаре 1867* так: «кресло, употребительнее во мн.: кресла, сел, сидит в креслах»). Безразлично (за исключением издания 1862 г., где на это обращено особое внимание автора) употребляются частицы «-ко», «-ка» в речи разных по уровню культуры героев (Штольца, Обломова, Захара). Так же не дифференцированно употребляется «нынче» и «нонче». В рукописи чаще более архаическая формула: «вошла в комнаты», чем «. . . в комнату», в изданиях — разнобой. В рукописи — «в дому», в печатном тексте — «в доме» и «в дому». *Словарь 1867* во всех значениях дает только «грамота» (в том числе: «кредитивная грамота»), во всех изданиях — только «граммата». В рукописи — «панспонской подруге» (в *Словаре 1867* в этом значении — «пенсионный»), в «Отечественных записках», изданиях 1859, 1862 гг. — как в рукописи, в изданиях 1884, 1887 гг. — «пансионной». Современный Академический словарь русского литературного языка регистрирует в произведениях середины XIX в. обе формы: «пансионный» (В. А. Соллогуб), «пансионский» (И. С. Тургенев, С. Т. Аксаков). В *Словаре* В. И. Даля — только «пансионное» (ученье).

Не всегда дифференцированно употребляются полные и краткие формы отчеств (Сергеевна и Сергевна, Иванович и Иваныч, Матвеевна и Матвевна). Такой разнобой прослеживается во всех переизданиях романа. В рукописи же тенденция очевидна: в диалогах, как правило, краткая форма, в повествовании от автора — полная.

И в рукописи и в печатных изданиях прилагательное «милосердный» встречается и в форме «милосердый». В *Словаре 1867* только «милосердый», но наречия и «милосердно» и «милосердо». В *Словаре* В. И. Даля только «милосердый». Любопытно употребление в романе слова «двуличный». В рукописи, «Отечественных записках» и издании 1859 г. — «двуличневого спутника», в поздних изданиях — «двуличного» (с. 128). В *Словаре* В. И. Даля обе формы: «двуличневый» и «двуличный», в *Словаре 1867* «двулишневый — то же, что и двуличный в 1 значении» (двуличный человек) и в значении «отливающий двумя цветами» («двулишневая тафта»).

В «Отечественных записках», изданиях 1859 и 1862 гг.: «— Посмотритесь в зеркало, — продолжала она, с улыбкой указывая ему его же лицо в зеркале. . .» (с. 159). В изданиях 1884 и 1887 гг. — «Посмотрите. . .». *Словарь 1867* дает форму «посмотреться» («девушка посмотрелась в зеркало»). Современный Академический словарь регистрирует обе формы: «Я посмотрелся в зеркало» (М. Ю. Лермонтов) и «Хоть бы ты в зеркало посмотрела. . .» (М. Е. Салтыков-Щедрин).

Во всех изданиях читаем «диры» (с. 330), в рукописи — «дыры», в *Словаре 1867* на равных правах: «дирка», «дира» и «дырка». В рукописи и первых изданиях — «скрып», в 1884 и 1887 гг. — «скрип». *Словарь 1867* указывает: «скрып» то же, что «скрип».

---

[105] В нескольких случаях во всех изданиях сохранено «кресла»: «оборачиваясь с креслами к Захару» (с. 69), «приподнимаясь с кресел» (с. 71).

И в рукописи, и в печатных изданиях встречается «смородинной» (водки, с. 333, 338) и «смородиновой» (с. 369), но на «смородинном листу» (с. 239). *Словарь 1867* дает «смородинный» (лист, варенье) и «смородиновка» (наливка): формы «смородиновый» нет. В *Словаре* В. И. Даля — «смородовое варенье», «смородный, или смородинный куст».

Последовательно употребляется Гончаровым глагол «стареться» (через ѣ, в *Словаре* Даля эта форма с пометой: «менее правильно»). Он сохранен и в печатных изданиях (в *Словаре 1867*: «стареть», но «стариться»).

Во всех изданиях, кроме публикации отрывка III части в «Атенее», — «резиновые калоши». В «Атенее» и *Словаре 1867* — «резинные», т. е. «сделанные из резины». Гончаров пишет «резинковые» (в *Словаре* Даля: «резинные, резинковые помочи, подвязки. Резинковые калоши»).

Гончаров пишет: «за неумением грамоте» (с. 31), в отдельных изданиях — разнобой, в двух «Полных собраниях...» — «...грамоты». *Словарь 1867* дает форму «за неуменьем грамоте».

В родительном падеже существительных с предлогом Гончаров склоняется к формам на «у»: «много шуму» (ср. с. 35), «ни шуму ни гаму» (с. 39), «вы с холоду!» (ср. с. 17). В печатных изданиях последовательно «а», в *Словаре 1867* «шум, шума», но «наделать шуму». Гончаров употребляет форму «двое, трое суток», «полсуток», «на полсуток» (ср. с. 120), в печатном тексте: «полсутки», «на полсутки». В изданиях «трои сутки» (с. 35, 301), «сутки, двои» (с. 193), «двои, трои сутки» (с. 312), в рукописи романа — «двое, трое суток». В *Словаре 1867* форма «суток». В рукописи «на Ивана Купалу» в печатном тексте — «на Ивана Купала» (с. 127). В именительном падеже множественного числа Гончаров употребляет форму «года» (с. 46, так и во всех изданиях до 1887 г.), в 1887 — «годы». У Гончарова архаическое «два... посетители» (с. 35), во всех изданиях — «...посетителя».

Французское «Monsieur» (в обращении) Гончаров в рукописи последовательно сокращает: «M-r», в печатных изданиях, как правило, — «мсье» или «м-сье», но иногда «мусьё», «мосье», однажды — «M-r».

Особый случай — употребление слов «латынь», «латинский» (язык). В изданиях — разнобой: «по-латыни» (1887) и «по-латини» (предшествующие); «латынскую» (грамматику) — 1884, 1887 гг. и «латинскую» («Отечественные записки», 1859, 1862); «латынью» (1887), «латинью» («Отечественные записки», 1859, 1862). В рукописи (и в *Словаре 1867*) — «латынь» и «латинский».

Характерны для изданий романа колебания глаголов типа «прочесть» (с. 266), «прочитать», «почитать». Первая форма — в двух «Полных собраниях...» и в издании 1862 г., вторая (в том же контексте) — в «Отечественных записках», издании 1859 г. и, наконец, последняя — в рукописи романа. Или: «поднимать», «поднять», «подымать». В рукописи, в «Отечественных записках», в изданиях 1859 и 1862 гг.: «не поднимет» (с. 57), в издании 1884 г. — «не подымет», в 1887 г. — «не подымает». В издании 1887 г. — «попотчевать», в «Отечественных записках», издании 1859 г. — «попотчивать», в 1862 и 1884 гг. — «поподчи-

вать» (с. 76). *Словарь* В. И. Даля дает формы «потчивать» и «потчевать», со специальным указанием: «Подчивать — ошибочно...». *Словарь* же (*1867*) предлагает формы: «попотчивать (от потчивать)» и «подчивать; подчиванье». Любопытны колебания в написании глаголов «прильнуть» и «прильпнуть». Мухояров жалуется Тарантьеву, что на приеме у «генерала» от страха у него «язык прильпе к гортани» (с. 343). Так в рукописи и всех изданиях до 1884 и 1887 гг. Намеренно употребленный архаизм написан здесь совершенно правильно. В двух «Полных собраниях...» неверное: «прильпне» (ср. в составленных И. И. Срезневским «Материалах для Словаря древнерусского языка» (М., 1958, т. 2, стб. 1427): «прильпнути, прильпну, прильпе» — «прилипнуть, пристать»). *Словарь 1867* дает два глагола: «прильнуть» и «прильпнуть». Первый из этих глаголов употреблен в другой сцене романа: «...бросится к Ольге, прильнет губами к ее рукам...» (с. 379). Так во всех изданиях, кроме «Отечественных записок», где форма: «прильпнет».

Интересно употребление во всех изданиях и в рукописи слов «переездка» (с. 30) и «переезд» (с. 76, но здесь же и «переездка») в одном значении. Правомерность этого подтверждается *Словарем 1867*, где читаем: «„переезд" — то же, что переездка. Переездка — действие переезжающего и переехавшего». Таким образом, тенденция современных изданий Гончарова во избежание «разнобоя» в обоих случаях сделать «переезд» не правомерна.

Стоит обратить внимание на употребление в романе Гончарова при глаголе «надеяться» конструкции: «надеяться чего», в настоящее время устаревшей. В «Словаре Академии Российской» 1814 г. как равноправные зафиксированы обе конструкции: «Он надеется лучшего счастия. На его честность, слово, верность, правосудие можно надеяться». Ср. в романе «Обломов» диалог Ольги и Обломова: «— Стало быть, я могу надеяться. . — вдруг, радостно вспыхнув, сказал он.

— Всего! Но.

Она замолчала» (с. 184).

Для рукописи романа характерен разнобой в написании названий церковных и крестьянских праздников (Святая неделя, Рождество, Пасха, Светлый день, Крещенье, Петровки, Троица, Семик, Святки, Масленица), при этом чаще встречаются прописные буквы, чем строчные. Аналогичный разнобой и в печатных изданиях.

К типичным синтаксическим казусам, примеры которых приведены в цитированных выше текстологических заметках А. Б. Шапиро, относятся в печатных текстах Гончарова, в частности, следующие. Они интересны, между прочим, и тем, что история их возникновения легко восстанавливается с привлечением рукописи романа.

Характеризуя Обломова, Гончаров пишет: «Кто только случайно или умышленно заглядывал в эту светлую детскую душу — будь он мрачен, зол, — он уж не мог отказать *ему* во взаимности...» (с. 131. Подчеркнуто мною. — *Л. Г.*). Так во всех прижизненных изданиях. Это отмеченный А. Б. Шапиро типичный случай «нарушения правил согласования личных местоимений с существительными», вызванный тем, что «по

существу содержания высказываемой мысли местоимение указывает на отсутствующее в предложении, но явно подразумеваемое другое существительное, с которым оно и приводится в синтаксическую связь».[106] Однако это нарушение произошло уже на стадии первопечатного текста и закрепилось в дальнейших переизданиях. В рукописи — согласование с существительным «душа»: «уже не мог отказать ей», в печатном тексте — местоимение «ему» указывает на Обломова.

Похожий, но более сложный случай такой. Рассказывая о быстром, трудно объяснимом для постороннего наблюдателя взрослении молодой девушки, Гончаров пишет: «И каждый час малейшего, едва заметного опыта, случая, который мелькнет, как птица, мимо носа мужчины, схватывается неизъяснимо быстро девушкой: она следит за *его* полетом вдаль, и кривая, описанная полетом линия остается у ней в памяти неизгладимым знаком...» (с. 177. Подчеркнуто мною. — *Л. Г.*). Так во всех прижизненных изданиях. Вчитавшись в текст, видим пример вызывающего сомнение согласования: «за его полетом вдаль». Чьим: опыта, случая? Ответ дает рукопись, где вместо: «мелькнет, как птица» читаем: «мелькнет, как воробей» (л. 88). Отсюда, видимо, и «его полетом». Заменив слово «воробей» на слово «птица», Гончаров забыл соответственно изменить дальнейшее. Так и возник отмеченный казус.

Стилю Гончарова была свойственна особенность, отчетливо прослеживаемая в рукописи, но практически не отразившаяся в печатном тексте романа. Это склонность к не совсем обычному порядку слов, в том числе — постановке частицы «бы» перед глаголом. В «Очерках текстологии» Б. В. Томашевского отмечено, что в изданиях XIX в. «велась систематическая борьба с постановкой частицы „бы“ не после глагола. Часто, под влиянием этих споров, сами авторы вытравляли из своего языка живые формы, заменяя их теми, которые общим мнением утверждались как единственно правильные».[107] Именно так произошло и с романом «Обломов». Вот лишь некоторые выборочно взятые характерные примеры перестановки слов в печатных изданиях по сравнению с рукописным текстом (первым следует печатное чтение, вторым — рукописное): «было бы подумать» (с. 10) — «бы было подумать»; «хотя он» (с. 11) — «он хотя»; «над собой барина» (с. 11) — «барина над собой»; «но только он уперся было» (с. 12) — «но только что было он уперся»; «вы ему скажите это» (с. 37) — «вы это ему скажите»; «Я уж» (с. 42) — «а уж я»; «я неминуемо должен» (с. 42) — «неминуемо должен я»; «лучше и выше» (с. 59) — «выше и лучше»; и т. д.

Поскольку такого рода унификация была писателем принята и оригинальная особенность творческого почерка Гончарова не отразилась в печатном тексте романа, мы не можем, по-видимому, вторгаться в одобренный Гончаровым текст. Однако следует заметить, что стремление посторонних лиц (в данном случае, вероятно, корректоров) к наведению привычного «порядка» привело к разнобою в ряде прижизненных изда-

[106] *Шапиро А. Б.* Текстологические заметки, с. 291—292.
[107] *Томашевский Б. В.* Писатель и книга: Очерки текстологии. М., 1959, с. 58.

ний (многие «мелочи» такого рода оказывались незамеченными) и разночтениям, отношения, по всей видимости, к автору не имеющим.

С особенностями авторского употребления лексических и грамматических форм также связаны значительные по объему группы разночтений в печатных изданиях романа. Так, Гончаров склонялся к деепричастиям на «-вши»: «отслуживши», «вошедши», «присевши», «написавши», «ставши», «воротившись», «вставши». В печатном тексте эти формы заменяются на: «отслужив» (с. 60), «войдя» (с. 64), «присев» (с. 64), «написав» (с. 148), «встав» (с. 266), «воротясь» (с. 248). И опять-таки, в зависимости от усердия и внимательности корректора и наборщика, встречаются и непоследовательность и разнобой.

В рукописи абсолютное первенство принадлежит полной форме предлога «через», в печатных изданиях (за редчайшими исключениями, которые легко объяснить корректорскими упущениями) — «чрез». И другой предлог — «перед» в рукописи, как правило, в полной форме, в изданиях же, как правило, — «пред». Формы «середину» — «средину», «собирается» — «сбирается» у Гончарова чаще полные. Те же колебания и в изданиях. В качестве примера можно назвать следующие случаи (из весьма многих): «среди» — «середи», «на середину» — «на средину», «собирается» — «сбирается», «через» — «чрез», «перед» — «пред», «с сосредоточенным» — «с средоточенным». Названные примеры почерпнуты в основном из публикаций «Отечественных записок» и 1859 г. Но и в 1859 и в 1862 гг. такого рода разночтения появляются и на других страницах. В издании 1884 г. названные изменения частично сохраняются, частично исчезают. В 1887 г. появляются новые (те, что приведены первыми в названных выше примерах).

То же можно сказать и о других многочисленных случаях разнобоя в разных изданиях романа. Так, для Гончарова характерно употребление частиц «бы», «же», наречия «уже» в полной форме. В печатных же текстах мы наблюдаем тенденцию к их редуцированию, тоже, конечно, недостаточно последовательно проведенную и плодящую многочисленные разночтения от издания к изданию, особенно часто — в случаях: «что же» — «что ж», «уж» — «уже».

Заслуживает внимания также и отразившееся в печатных изданиях романа «систематическое устранение в середине XIX века корректорами слова „вон“ в значении указательного наречия и замена его словом „вот“. Очевидно, здесь играло роль желание сохранить слово „вон“ в одном только значении («прочь», «подите вон»)».[108] Причем здесь можно видеть и противоположную тенденцию: замену «вот» на «вон». Так, если на с. 66 («Вот оно тут записано...») и с. 308 («Вот и селянку несут») зафиксированное в рукописи «вон» заменено на «вот», то на с. 342 наблюдаем обратное явление: вместо «вот тут, на углу...» (чтение рукописи») — «вон тут, на углу...». Надо думать, таким образом, что и у самого писателя не было четкого представления о разграничении этих двух слов.

[108] Там же, с. 57.

Весьма показательны также происходящие от издания к изданию изменения глагольных форм (совершенный и несовершенный вид, настоящее и прошедшее время, единственное и множественное число, изменение страдательных причастий на действительные и наоборот, замены суффиксов причастий и т. п.), различия в окончаниях имен прилагательных и существительных (полная и редуцированная форма) и т. п. Однотипные примеры на разных страницах можно найти во всех печатных изданиях. Прилагательные: «светлой» — «светлою», «естественною» — «естественной»; существительные: «тишиною» — «тишиной»; местоимения: «у ней» — «у нее»; сравнительная степень прилагательных: «веселей» — «веселее», «скорее» — «скорей» и т. д. (Как и ранее, здесь первыми приведены чтения 1887 г.). Очень пеструю картину представляют изменения времени и вида глаголов от рукописи к печатным изданиям. Вот несколько примеров из «Отечественных записок» (на первом месте) в сравнении с текстом рукописи или печатных изданий, начиная с первого отдельного 1859 г.: «присылал» — «прислал», «не был» — «не бывал», «оставались» — «остались», «не было» — «не бывало», «видали» — «видели», «раздается» — «раздался», «не удастся» — «не удается», «не случалось» — «не случилось», «не выкричится» — «не выкричишься»,[109] «говорит» — «говорил», «останавливался» — «остановился», «припоминал» — «припомнил», «не слыхать» — «не слышать», «сидел» — «сидит». Следует добавить, что бо́льшая часть разночтений в данном случае возникла в изданиях 1884 и 1887 гг., часто это уже не разночтения, а опечатки, не замеченные автором.

Сопоставление рукописного текста романа с его печатными изданиями дает основание предположить, что к значительной части указанных разночтений Гончаров относился безразлично или просто не обращал на них внимания. Отражающие тенденции живого разговорного языка, подобные отклонения могут быть, по всей видимости, сохранены в тексте романа, хотя в отдельных случаях теоретически возможно предпочтение той формы, которая зафиксирована в рукописи, тем, что привнесены в процессе нескольких переизданий романа.

Сложнее обстоит дело с изменением времени причастий. Трудно предположить, чтобы во всех без исключения случаях оно шло от автора, тем более, что во всех переизданиях романа встречаются несовпадающие разночтения. Скорее всего, это типичная для изданий XIX в. несогласованность действий ряда посторонних лиц, через руки которых проходила рукопись, а затем — корректуры романа. Так, в предложении: «... почти крикнул он с пылавшими глазами» (с. 26) суффикс причастия настоящего времени появился в изданиях 1884 и 1887 гг. Во всех изданиях, кроме 1862 г., в предложении: «... первые признаки... подступившего к сердцу благоговейного чувства...», в 1862 г. — «подсту-

---

[109] Именно о таких случаях Б. В. Томашевский писал: «Нет ничего легче, чем прочесть рукописное *ш* как *т* и обратно... На этом основана типичная опечатка в книгах с старой орфографией: смешение глагольных форм на *шь и тъ*...» (Писатель и книга, с. 39).

павшего» (с. 73), в рукописи — «подступающего». Любопытный случай такой. В главе «Сон Обломова» (см. с. 82) (публикация «Литературного сборника...») читаем: «. . кавалькада мужчин, сопутствующих какой-нибудь леди в прогулках к угрюмой развалине или поспешающих в крепкий замок...». В «Отечественных записках», изданиях 1859 и 1862 гг. изменено время первого причастия («сопутствовавших») и союз «или» ошибочно заменен союзом «и». В изданиях 1884 и 1887 гг. первое причастие вновь в настоящем времени, но союз по-прежнему «и». Вследствие допущенных в публикации «Отечественных записок» ошибок, перешедших в два отдельных издания, возникла явная несогласованность во времени двух причастий (одно в прошедшем, другое — в настоящем), что устранено в обоих «Полных собраниях...», но союз оставлен «и». В изданиях 1884 и 1887 гг.: «с подавленными слезами», в рукописи, «Отечественных записках» и двух отдельных изданиях — «с подавляемыми» (с. 250).

Особого внимания при лингвистической подготовке текста заслуживает оформление прямой речи. «... в XIX веке слова автора, вставлявшиеся в середину прямой речи, не всегда выделялись двумя тире. К тому же обычно каждая из частей прямой речи заключалась в кавычки, а для того, чтобы читателю было ясно, что вторая часть прямой речи принадлежит не другому лицу, а тому же, которому принадлежит первая часть, после слов автора ставилось двоеточие. Однако эти пунктуационные приемы последовательно не проводились. В произведениях второй половины XIX века и дореволюционных лет XX века наблюдается смешение всех этих приемов».[110] Наблюдение А. Б. Шапиро можно отнести и к рукописи романа «Обломов». При оформлении прямой речи Гончаров осуществляет ее выключение из абзаца и графическое разделение на реплики отдельных лиц, при этом каждая реплика начинается с новой строки, т. е. применяет тот же способ, который используется в изданиях настоящего времени. Однако отделение прямой речи от слов автора проводится иначе, чем это принято теперь. В случаях, когда слова автора вторгаются в прямую речь, как правило, разделительное тире не ставится и его функцию выполняет двоеточие. Вот как выглядит в рукописи реплика Захара (ср. с. 12: «— Ах, ты господи! ворчал Захар, отправляясь в кабинет: что это за мученье!» — л. 6). В других случаях функцию тире и двоеточия выполняют запятые, иногда на месте двоеточия встречается точка и тире: «— Ну оставим это! с нетерпением прервал Илья Ильич. — Ну ты иди с богом, куда хотел...» (л. 23, ср. с. 45). Все эти случаи легко поддаются модернизации, причем без всякого ущерба для авторского слова.

Сложнее решать проблему модернизации в тех случаях, когда «конструкции прямой речи используются для передачи не осуществленных высказываний, а мыслей или намеченных к произнесению высказываний...». В современной практике здесь используются «те же пунктуационные приемы, что и при собственно прямой речи, но в начале абзаца не ставится тире, а прямая речь заключается в кавычки».[111]

[110] *Шапиро А. Б.* Основы русской пунктуации. М.: Наука, 1955, с. 329.
[111] Там же, с. 330—331.

Попытки такого рода дифференциации сделаны и в рукописи Гончарова, и в прижизненных изданиях романа. И здесь в ряде случаев возникают не просто решаемые вопросы. Следует подчеркнуть, что в первых публикациях романа («Отечественные записки», издания 1859 и 1862 гг.) названное разграничение проводилось более тщательно и вдумчиво, чем в обоих «Полных собраниях...», где во всех случаях механически в начале абзаца проставлялось тире и снимались кавычки. В настоящем издании предпринята попытка дифференцировать вышеупомянутые случаи употребления прямой речи, опираясь при этом на рукопись романа и первые его прижизненные издания.

Из всего сказанного должно быть ясно, что проблемы лингвистической подготовки текста романа «Обломов», как и всех других произведений Гончарова, весьма далеки от решения. На сегодняшнем уровне их разработки нельзя проводить сколько-нибудь серьезных вторжений в авторский текст. Только при подготовке академического собрания сочинений Гончарова, определив в самом начале круг важнейших вопросов, можно будет, проанализировав все публикации и все сохранившиеся архивные материалы, представить ясную и четкую картину и принять соответствующие решения. При подготовке данного тома такая работа проведена выборочно, только в случаях, кажущихся на основании изучения рукописи и прижизненных публикаций романа бесспорными.

Итак, в настоящем издании представлены первые итоги комплексного осмысления некоторых аспектов творческой истории романа «Обломов», основанного на детальном изучении известных на сегодняшний день рукописных материалов и сопоставлении всех изданий «Обломова», вышедших при жизни Гончарова.

Главным итогом проведенных разысканий представляется следующий вывод. Переиздания «Обломова» в составе двух «Полных собраний сочинений» не могут рассматриваться в качестве этапного события в работе писателя над романом. Выход в свет «Полных собраний...» — это значительное событие в культурной жизни 1880-х гг.: читателю вернулось центральное произведение замечательного русского романиста — не переиздававшийся в течение 20 лет роман «Обломов». Это огромной важности факт в жизни писателя. Но в истории самого текста «Обломова» это факт скорее отрицательный. При подготовке «Полных собраний...» Гончаров по многим причинам, о которых речь шла выше, упустил из виду издание 1862 г., тщательнейшим образом выправленное им самим. В результате роман «Обломов» на протяжении более чем ста лет был представлен многомиллионному читателю в, смело можно сказать, несовершенном, не соответствующем последней творческой воле автора виде. Настоящее издание романа, подготовленное на основе текста 1862 г., — попытка исправления этой несправедливости.

ПРИМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Сон Обломова. (Эпизод из неконченного романа). — *ЛС*, с. 213—252 (ценз. разр. 22 марта, вып. в свет 28 марта). Подпись: «И. Гончаров».

Отрывок из романа «Обломов». — *Атеней*, с. 53—60 (ценз. разр. 2 янв., вып. в свет начало янв. (?)). Подпись: «И. Гончаров».

Обломов. — *ОЗ*, 1859, № 1, с. 1—142 (ценз. разр. 9 янв., вып. в свет 14 янв.); № 2, с. 255—384 (ценз. разр. 10 февр., вып. в свет 14 февр.); № 3, с. 1—84 (ценз. разр. 12 марта, вып. в свет 18 марта); № 4, с. 275—390 (ценз. разр. 8 апр., вып. в свет 20 (?) апр.). Подпись в каждом номере: «И. Гончаров».

Обломов. Роман в 4-х частях, т. 1, 2. СПб., Д. Е. Кожанчиков, 1859 (ценз. разр. 8 мая, вып. в свет 30 сент.).

Обломов. Роман в 4-х частях, т. 1, 2. 2-е изд. СПб., 1862 (ценз. разр. 15 нояб. 1861 г., вып. в свет 30 янв. 1862).

Обломов. — Полн. собр. соч., т. 2, 3. СПб., И. И. Глазунов, 1884.

Обломов. — Полн. собр. соч., т. 2, 3. СПб., И. И. Глазунов, 1887.

Обломов. Черновая рукопись. 203 л. — *ГПБ*, ф. 209, И. А. Гончаров, № 6.

Печатается по тексту: Обломов. Роман в 4-х частях, т. 1, 2. 2-е изд. СПб., 1862, сверенному со всеми прижизненными изданиями и черновой рукописью. Устранены опечатки и очевидные описки.

Кроме того, введены следующие исправления.[1]

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

С. 10, строка 43: «ничто не мешает думать и лежа.» вместо «не мешает думать и лежа.» (по рукописи, *1887*).

С. 12, строка 24: «— Куда ж вы его положили — почем мне знать?» вместо: «— Куда ж его положили — почему мне знать?» (по рукописи).

С. 16, строка 1: «присылал:» вместо «прислал:» (по рукописи, *ОЗ*).

С. 31, строка 14: «ранние морозцы» вместо «ранние морозы» (по рукописи, *ОЗ, 1859*).

С. 31, строка 22: «о беглых мужиках проведать;» вместо «о беглых мужиках;» (по рукописи).

С. 34, строка 29: «вершить» вместо «вершать» (по рукописи).

С. 36, строка 7: «Андрей Иванович Штольц.» вместо «Андрей Карлович Штольц.» (Ошибка во всех прижизненных изданиях).

С. 39, после строки 17: «— Сам ты подумай! к чему мне в глушь-то переезжать? разве нельзя здесь сыскать квартиру, уж если такая беда пришла...» (по рукописи).

С. 48, строки 23—24: «ранее покинуть службу.» вместо: «заранее покинуть службу.» (по рукописи, *ОЗ, 1859, 1884, 1887*).

С. 53, строка 19: «не исчерпаешь никогда и без книг и учености.» вместо «не исчерпаешь никогда без книг и учености.» (по рукописи).

---

[1] Отсутствие в перечне исправлений ссылок на рукопись означает, что данного фрагмента в ней нет или он представлен в другой редакции.

С. 53, строка 42: «частными трудами поддерживать общее благосостояние.» вместо «честными трудами поддерживать общее благосостояние.» (по рукописи, *ОЗ, 1859*).

С. 58, строка 26: «в невозможности исполнить его.» вместо «невозможности исполнить его.» (по рукописи).

С. 74, строка 33: «чуть слышно просипел Захар.» вместо «чуть слышно прошипел Захар.» (по рукописи).

С. 82, строка 37: «сопутствующих какой-нибудь леди» вместо «сопутствовавших какой-нибудь леди» (по *ЛС*).

С. 90, строка 32: «плюнет или промычит» вместо «плюнет и промычит» (по *ЛС, ОЗ*).

С. 91, строка 4: «уж прибежал к краю,» вместо «уж прибегал к краю,» (по *ЛС*).

С. 91, строки 11—12: «лежащего у нее на коленях.» вместо «лежавшего у нее на коленях.» (по *ЛС*).

С. 91, строка 15: «мало-помалу нарушилась тишина:» вместо «мало-помалу нарушалась тишина:» (по *ЛС*).

С. 94, строка 23: «Смерть у них приключалась» вместо «Смерть у них приключилась» (по *ЛС, 1859, 1884, 1887*).

С. 95, строка 4: «по деревням шел,» вместо «по деревне шел,» (по *ЛС*).

С. 98, строка 20: «от глазу» вместо «от глаза» (по *ЛС*).

С. 99, строка 43: «и говорят долго о том,» вместо «и говорят только о том,» (по *ЛС*).

С. 100, строка 7: «отделан был почти заново.» вместо «отделан был заново.» (по *ЛС*).

С. 105, строка 17: «беготни, езды,» вместо «беготни,» (по *ЛС*).

С. 110, строка 35: «*очевидную* выгоду» вместо «очевидную выгоду» (по *ЛС*).

С. 111, строка 3: «поражал противников,» вместо «поражал соперников,» (по *ЛС*).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

С. 124, строки 19—20: «видит томные голубые глаза,» вместо «видит темные голубые глаза,» (по *ОЗ, 1859, 1884, 1887*).

С. 131, строка 3: «случайно или умышленно» вместо «случайно и умышленно» (по рукописи, *ОЗ*).

С. 137, строка 11: «что водит ими в жизни?» вместо «что водит их в жизни?» (по рукописи).

С. 141, строка 34: «там блаженствовали» вместо «так блаженствовали» (по рукописи).

С. 141, строка 37: «шапка мужика с цветком» вместо «шапка мужика с цветами» (по рукописи).

С. 145, строка 11: «подал мне руку?» вместо «пожал мне руку?» (по рукописи).

С. 157, строка 46: «не хотели даже слушать» вместо «не хотите даже слушать» (по рукописи, *ОЗ, 1884, 1887*).

С. 163, строка 1: «повторила она.» вместо «говорила она.» (по рукописи).

С. 189, строка 9: «напоминала» вместо «напомнила» (по рукописи).

С. 194, строка 41: «ускользает, —» вместо «ускользнет, —» (по рукописи).

С. 196, строка 12: «кликнул» вместо «крикнул» (по рукописи).

С. 196, после строки 12: «— Чего изволите?» (по рукописи).

С. 199, строки 15—16: «а потом велели отдать письмо.» вместо «а потом отдать письмо.» (по рукописи).

С. 200, строка 18: «тучей лепятся» вместо «кучей лепятся» (по рукописи).

С. 201, строка 3: «Он смотрел на нее» вместо «Он посмотрел на нее» (по рукописи).

С. 203, строка 31—32: «женщина, едва начинающая жить?» вместо «женщина, начинающая жить?» (по рукописи).

С. 208, строка 14: «будто все дело на уме! Совсем нет!» вместо «будто все дело на уме!» (по рукописи).

С. 208, строка 22: «разложен был план» вместо «расположен был план» (по рукописи).

С. 210, строка 23: «но и у нее» вместо «но у нее» (по рукописи).

С. 215, строка 42: «склоняют голову с уважением» вместо «склоняют голову с обожанием» (по рукописи, *ОЗ*).

С. 223, после строки 6: «— С той минуты!» (по рукописи).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

С. 232, строка 29: «видел в дверь» вместо «видел» (по рукописи).

С. 233, строка 10: «я нанял квартиру у вас;» вместо «я нанял квартиру;» (по *Атеней*).

С. 236, строка 19: «не смотрел по сторонам» вместо «смотрел по сторонам» (по рукописи).

С. 245, строки 41—42: «сорваны с гряд петрушка или салат, —» вместо «сорвана с гряд петрушка или салат, —» (по смыслу: «и салат» в рукописи отсутствует, отсюда единственное число причастия).

С. 252, строки 40—41: «пойдет по лакейским,» вместо «по лакейским,» (по рукописи, *ОЗ*).

С. 255, строка 35: «Мне самой» вместо «Ей самой» (по *1884, 1887*).

С. 270, строка 10: «на наше крыльцо прошла.» вместо «на наше крыльцо пришла.» (по рукописи).

С. 274, строка 11: «начал он, заминаясь,» вместо «начал он, запинаясь,» (по *ОЗ*).

С. 274—275, строки 47—1: «страхи и заботы!» вместо «страсти и заботы!» (по рукописи, *ОЗ*).

С. 283, строка 3: «приведу» вместо «привезу» (по рукописи).

С. 286, строки 34—35: «многое изменилось» вместо «много изменилось» (по рукописи).

С. 287, строка 27: «такою покойною» вместо «так покойною» (по *1887*).

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

С. 309, строка 10: « — Что ты меня учишь?» вместо « — Что ты меня мучишь?» (по рукописи).

С. 314, строка 6: «недоступный уголок ума,» вместо «недоступный уголок.» (по рукописи).

С. 337, строка 31: «ловя руку Штольца.» вместо «ловя руки Штольца.» (по рукописи).

С. 365, строка 12: «погрозил» вместо «пригрозил» (по рукописи, *ОЗ, 1859, 1884, 1887*).

С. 366, строка 34: «все у ней так и кипит в руках, все она движется,» вместо «все она движется,» (по рукописи, *ОЗ*).

С. 368, строка 14: «созидающими» вместо «создающими» (по рукописи).

С. 370, строка 45: «под сурдинкой,» вместо «под сурдиной,» (по рукописи).

С. 375, строки 13—14: «и все для нее,» вместо «для нее,» (по рукописи).

С. 376, строка 28: «Арапка» вместо «арапка» (по рукописи).

С. 377, строки 15—16: «сосредоточилась и остановилась» вместо «сосредоточилась боль и остановилась» (по рукописи, *1887*).

С. 379, строка 17: «горючими слезами» вместо «горячими слезами» (по рукописи).

ПРИМЕЧАНИЯ

К ОСНОВНОМУ ТЕКСТУ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

[1] *В Гороховой улице...* — На этой улице, одной из главных в Петербурге, жили люди «средних классов». Ее первые два квартала принадлежали к аристократической Адмиралтейской части города, застроенной особняками знати, где «промышленность и торговля ‹...› преимущественно сосредоточена на предметах роскоши». По мере удаления от центра облик Гороховой меняется: по-прежнему «здания отличаются громадностью, но великолепие и изящество в строениях замечается реже» (*Михневич*, с. 58, 59). Выразительное описание одного из домов Гороховой оставил А. И. Герцен: «Дом, в котором мы живем, — от души петербургский дом: во-первых, шестиэтажный, во-вторых, в нем нет секунды, когда бы не пилили бы, не звонили бы в колокольчик, не играли бы на гитаре и пр. Жильцов малым чем меньше, нежели в Ноевом ковчеге, да и состав похож...» (письмо к Ю. Ф. Курута от 11 июня 1840 г. — *Герцен*, т. 22, с. 81).

Любопытно, что в 1840-х гг. И. С. Тургенев «задумал серию очерков о жизни „петербургских углов", о сумрачном городе, о пестром люде, населяющем его центральные улицы и отдаленные кварталы». Среди записанных им «сюжетов» под третьим номером значилось: «Один из больших домов на Гороховой и т. д.» (*Бялый Г. А., Муратов А. Б.* Тургенев в Петербурге, Л., 1970, с. 71). На Гороховой же «поселил» Н. Г. Чернышевский героиню романа «Что делать?» Веру Павловну («в многоэтажном доме ‹...› между Садовой и Семеновским мостом»). Современное название Гороховой — ул. Дзержинского.

[2] *..в складки шлафрока.* — Шлафрок — домашний халат.

[3] *человек мел кабинет его...* — Человек — здесь: лакей, слуга.

[4] *...служить скорее скрижалями...* — Скрижаль — плита, таблица с написанным на ней текстом (преимущественно культовым).

[5] *к Святой неделе...* — Имеется в виду пасхальная неделя, приходящаяся на период с 22 марта по 25 апреля ст. стиля (пасха — подвижный праздник). Главным днем пасхальной недели и вообще главным христианским праздником, установленным в честь воскресения Иисуса Христа, является пасха — светлый день, светлое воскресенье.

[6] *...перед Рождеством..* — Рождество — день 25 декабря ст. стиля, христианский праздник рождения Иисуса Христа.

[7] *...от зеленщика...* — Зеленщик — торговец зеленью.

II

[1] *с множеством мельчайших брелоков.* — Брелок (фр. breloque) — безделушка, подвеска на цепочке карманных часов.

[2] *вдохнул ароматы Востока...* — Гончаров использует один из штампов так называемого светского романа. Ср. в романе В. С. Филимонова «Непостижимая» (СПб., 1841, ‹т. 1›, с. 119): «...для нее не нужны ни волшебные звуки, ни аромат Востока...», по поводу которого иронизировал В. Г. Белинский (*Белинский*, т. 5, с. 507).

[3] *Рейт-фрак* (нем. reiten — ездить верхом) — костюм для верховой езды.

[4] *Ведь сегодня первое мая ‹...› едем в Екатерингоф.* — Екатерингоф — загородный парк на западной стороне Петербурга (ныне Парк им. 30-летия ВЛКСМ). 1 мая в Екатерингофе бывали гулянья, собиравшие столько людей, что, по словам современника, «...в свете первая столица | На мая первое число | Пуста, как

в жатвы день село...» (*Хвостов Д. И.* Майское гулянье в Екатерингофе 1824 года. СПб., 1824, с. 4). Отчеты о гулянье ежегодно помещались в газетах и журналах, а в 1824 г. художник К. Гампельн выполнил гравюру «Екатерингофское гулянье» (см.: *Комелова Г.* Сцены русской народной жизни конца XVIII—начала XIX века по гравюрам из собрания Государственного Эрмитажа. Л., 1961, с. 64—71). См. также примеч. 2 к гл. I части четвертой.

[5] *Сегодня мы с ним в балете; он бросит букет. <...> Ах! ведь нужно ехать камелий достать...* — Характерная примета петербургского светского быта, для которой было найдено и подходящее название — «цветобесие» (ср.: *Соллогуб В. А.* Букеты, или Петербургское цветобесие. Шутка в одном действии. СПб., 1845). Употребляя это слово без кавычек, журнал «Современник» писал в «Театральном обозрении»: «Итальянские певцы ввели у нас в большую моду цветы, венки и бриллианты. Со времени Рубини и Гарцпи в Петербурге истреблено великое множество камелий, садовники начинают наживаться <...> Воспитание камелий сделалось ремеслом...» (*Совр.*, 1850, № 4, отд. VI, с. 193). Цена особо роскошных букетов доходила до 25 р. (*Совр.*, 1858, № 9, «Современные заметки», с. 245).

[6] *А дача! Утонула в цветах! Галерею пристроили, gothique. Летом, говорят, будут танцы, живые картины.* — Волков здесь и ниже (с. 19) перечисляет, насколько можно судить по роману К. К. Павловой «Двойная жизнь» (между 1844 и 1847), наимоднейшие увлечения большого света: «Прошло уже несколько дней с тех пор, как Вера Владимировна переселилась в одно из тех милых готическо-фантастическо-китайских зданий, какими усеян Петровский парк. Тут также все соответствовало требованиям и условиям света. <...> Приближался день, который Вера Владимировна всегда праздновала, — день рождения Цецилии. И в этот раз она делала разные приготовления, чтобы его провести как можно веселее: обед, концерт, bal champêtre, ужин, — все только возможное учреждалось с большим старанием и с большими издержками. Веселие людей высшего круга неимоверно дорого» (*Павлова Каролина.* Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1964, с. 252, 268. *БП БС*).

[7] *Напрасно я забыть ее стараюсь...* — Первые строки романса Н. Ф. Вителяро без заглавия на слова неизвестного автора (см.: Подарок любителям пения. Собрание песен, романсов, арий, куплетов... М., 1876, с. 323).

[8] *только и слышишь: венецианская школа...* — Речь идет об одной из главных живописных школ Италии XV—XVI вв., к которой принадлежали Джорджоне, Тициан, Веронезе, Тинторетто.

[9] *то на русском, то на французском театре.* — Французская драматическая труппа постоянно играла в Михайловском театре Петербурга (ныне Малый оперный), заполнявшемся преимущественно аристократической публикой, дипломатами, иностранцами, чем и определялся его репертуар: «...все лучшие и новейшие произведения театров Водевиля, Гимназии, Variétés, Пале-Рояльского и больших бульварных...» (*Театрал*, с. 55). Гончаров иронически отзывался о понятиях и философии, добытых «с досок Михайловского театра» (см. «Обрыв», ч. IV, гл. 5).

[10] *Вот опера будет, я абонируюсь.* — Абонироваться — закрепить за собой место в театре на сезон, купив абонемент.

[11] *А не хотите ли со мной есть устриц?* — Таково, судя по книге М. И. Пыляева «Старый Петербург» (СПб., 1909, с. 419), одно из модных развлечений петербуржцев (свежие устрицы доставлялись в город с прибытием первых иностранных кораблей как раз в то время, о котором идет речь в данной главе).

[12] *Это был господин в темно-зеленом фраке с гербовыми пуговицами...* — Такова была форменная одежда русских чиновников почти всех ведомств (*Свод законов 1*, т. 3, с. 390).

[13] *Начальник отделения!* — В дореволюционной России отделение — часть государственного или судебного учреждения, в составе отделения могло быть несколько столов (отделов).

[14] *...в статские махнешь.* — Статский советник — чиновник 5 класса согласно введенной Петром I Табели о рангах, где высшим был первый класс.

[15] *Еще нынешний год корону надо получить; <...> нельзя два года сряду...* — Речь идет, видимо, об ордене св. Анны, первая и вторая степень которого были

как бы двух разрядов: с изображением короны (высший разряд) и без него. Повышение в чине, награждение орденами осуществлялось либо в обычном порядке, за выслугу лет, либо до истечения установленного срока — «за отличия» (*Свод законов 2*, т. 3, кн. 1, с. 57, 75, 148).

[16] *...в письмах отменили писать «покорнейший слуга», пишут «примите уверение»...* — Вероятно, такие изменения должны были расцениваться как некоторые либеральные веяния. Однако в авторитетном труде Н. В. Варадинова «Делопроизводство или теоретическое и практическое руководство к гражданскому и уголовному, коллегиальному и одноличному письмоводству, к составлению всех правительственных и частных деловых бумаг и к ведению самых дел с приложением к оным образцов и форм» (СПб., 1857), цензором которого был Гончаров и который был ему подарен автором 28 марта 1857 г. (*Летопись*, с. 71), обе формулировки существуют на равных правах. Лишь во втором издании книги Варадинова (СПб., 1873) примеры первой («покорнейший слуга») в количественном отношении значительно уступают примерам второй.

[17] *...формулярных списков...* — Формулярный список — послужной список чиновника.

[18] *У нас прибавляют три стола и двух чиновников особых поручений.* Стол — отдел учреждения в дореволюционной России. Чиновники особых поручений состояли при высоких должностных лицах: министрах, директорах департаментов, губернаторах и т. п.

[19] *...тысяча двести рублей жалованья <...> да награды рублей до тысячи.* — Жалованье чиновника 6 класса обычно составляло 225 р. серебром или около 800 р. ассигнациями в год. (О соотношении серебра и ассигнаций см. примеч. 2 к V гл.). Столовые же и квартирные деньги не являлись «общей принадлежностью содержания гражданских чинов» и определялись «не по чинам, но штатами и положениями для некоторых только должностей» или назначались какому-либо лицу «особыми высочайшими повелениями». Денежная награда не должна была превышать годового жалованья. Удостоенный этой награды мог быть представлен к чину или к ордену, но только «за особенное отличие» и «по действительным заслугам» (*Свод законов 1*, т. 3, с. 496, 181, 202, 199).

[20] *Вон Пересветов прибавочные получает, а дела-то меньше моего делает и не смыслит ничего.* — «Прибавочное за отличную службу жалование лично чиновникам назначается, соответственно ходатайству начальства и заслугам чиновников, с условием, пока удостоившийся сей награды будет находиться в настоящей должности или в том же ведомстве» (*Свод законов 1*, т. 3, с. 201).

[21] *...получу прогоны на пять лошадей, суточных рубля по три в сутки.* — В соответствии с п. 1 «Правил для проезжающих на почтовых лошадях» таковые «должны иметь непременно подорожные, по установленной форме, на то число лошадей, какое им следует по званию» (*ЦГИА*, ф. 1289, оп. 1, ед. хр. 1121, л. 52). Как начальник отделения, т. е. чиновник 6 класса (см. *Свод законов 1*, т. 3, с. 263 и след.), Судьбинский должен был получить прогоны на трех лошадей (там же, с. 185). Пять лошадей, видимо, знак благоволения начальства. Суточные его вместе с квартирными должны были составить 0.9 р. серебром (там же, с. 190, 195), что по официальному курсу выражалось примерно в 3 р. ассигнациями (см. примеч. 2 к V гл.).

[22] *...отец действительный статский советник...* — т. е. чиновник 4 класса согласно Табели о рангах.

[23] *дали Владимира...* — т. е. наградили орденом св. Владимира.

[24] *...его превосходительство* — о лице 3 и 4 класса Табели о рангах.

[25] *...не то мнение <...> подведешь в записке...* — Мнение — официальное заключение по какому-нибудь вопросу, требующему решения.

[26] *у постели его стоял <...> господин, заросший весь бакенбардами, усами и эспаньолкой.* — Эспаньолка (фр. espagnol) — короткая остроконечная бородка. В изображении Гончарова Пенкин — фрондер не только в своих речах. Во внешнем облике этот мелкий литератор старательно и даже назойливо подчеркивает партикулярность, независимость, хотя бы от таких установлений, как сенатский указ 1837 г. «О воспрещении гражданским чиновникам носить усы и бороду» (*Собра-*

ние 2, т. 12, ч. 1, с. 206). Примечательно, что в благонамеренном обществе ношение бороды, усов, бакенбард считалось проявлением легкомыслия (см., например: *Лорер Н. И.* Записки. М., 1931, с. 218. Ср. также в стихотворении В. Курочкина «Общий знакомый»: «Старичков остаток бедный, | Чуя зло везде, | Образ мыслей самый вредный | Видит в бороде...» — впервые: БдЧ, 1856, № 12, с. VI—VII).

[27] *...мне удалось показать и самоуправство городничего, и развращение нравов в простонародье...* — В Пенкине выведен один из деятелей так называемой обличительной литературы 50-х годов XIX в. «Документально яркие картины чиновничьего произвола и хищений, появлявшиеся из-под пера целой армии писателей-обличителей, — пишет С. А. Макашин, — ‹...› жадно читались всей низовой грамотной Россией. С точки зрения революционных демократов, эти обличения, хотя их авторы и не связывали рисуемых ими картин произвола и грабительства с общими политическими порядками тогдашней России, являлись хорошим агитационным средством в подготовке борьбы с самодержавно-помещичьим строем ‹...› Но вскоре положение изменилось. ‹...› Либеральное движение в условиях резкого обострения классовой борьбы, в условиях назревавшей революционной ситуации стало, на правом своем фланге, постепенно превращаться в опору правительственной и помещичьей реакции» (*Макашин С.* Салтыков-Щедрин на рубеже 1850—1860 годов: Биография. М., 1972, с. 138). Важно также отметить, что правительство не чинило препятствий обличительной литературе, рассматривая ее как «своего рода клапан для ослабления силы демократической критики режима» (там же).

[28] *...чухонки...* — По *Словарю* В. И. Даля, чухонцы — «петербургское прозвание пригородных финнов» (т. 4, с. 616).

[29] *...будочника...* — Будочник — полицейский сторож.

[30] *В их рассказе слышны не «невидимые слезы»...* — Ср. в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя: «...озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы!» (т. 1, гл. 7).

[31] *Это значит, забыть, что в этом негодном сосуде присутствовало высшее начало; что он испорченный человек, но все человек же, то есть вы сами.* — Слова Обломова напоминают авторское рассуждение Н. В. Гоголя во втором томе «Мертвых душ» (гл. 2) по поводу чичиковского «анекдота» о «черненьких и беленьких»: «В самом деле, необыкновенно странны были своею противуположностью те чувства, которые родились в сердцах троих беседовавших людей. ‹...› Что значит, однако же, что и в паденье своем гибнущий грязный человек требует любви к себе? Животный ли инстинкт это? или слабый крик души, заглушенной тяжелым гнетом подлых страстей, еще пробивающийся сквозь деревенеющую кору мерзостей, еще вопиющий: „Брат, спаси!“ Не было четвертого, которому бы тяжелей всего была погибающая душа его брата». Противопоставление души человека и ее телесной оболочки восходит к Библии, где скудельный (глиняный) сосуд символизирует бренность всего земного.

[32] *...наша редакция вся у Сен-Жоржа сегодня...* — Ресторан Сен-Жоржа находился в доме № 24 по набережной Мойки.

[33] *Раут* (англ. raut) — званый вечер без танцев.

[34] *Тарантьев обедать придет: сегодня суббота.* — Первое мая (см. текст, с. 17 и примеч. 4 к гл. II) приходилось на субботу в 1843 и 1844 гг. — в это время начинается действие романа. Подробно о хронологии «Обломова» см.: *Цейтлин*, с. 162—164.

[35] *Иванов день* — 24 июня ст. стиля.

[36] *...исправнику кланялся...* — Исправник — начальник уездной полиции, председатель земского суда.

[37] *...просятся на оброк. В недоимках недобор...* — Оброк — денежный или натуральный сбор, взимающийся помещиком с крестьянина. При всей своей тяжести этот вид крепостнической эксплуатации был все же менее жестоким по сравнению с барщиной, даровым принудительным трудом крестьянина в хозяйстве помещика. Оброк открывал для крестьян бóльшие возможности роста товарности их хозяйства, торговли и промыслов. Недоимки — не уплаченная в срок часть сбора.

[38] *Обломов взглянул на конец письма. ‹...› Он задумался.* — В рукописи и первой публикации романа этого фрагмента, уточняющего дату письма, не было.

Возможно, он введен Гончаровым под влиянием критической рецензии Г. А. Кушелева-Безбородко (подписана К. Б.) в журнале «Русское слово» (1859, № 7), озаглавленной «О значении романа нравов в наше время. (По поводу нового романа г. Гончарова „Обломов“)». В целом эта рецензия была весьма поверхностной и вызвала иронический ответ в «Отечественных записках» (Убийственная критика. (Посвящается г. К. Б., знаменитому критику г. Гончарова в «Русском слове»). — *ОЗ,* 1859, № 10, «Русская литература», с. 118—123, без подписи), но одно замечание рецензента обратило, видимо, на себя внимание Гончарова: «В этом письме нас несколько удивила жалоба старосты, которая вовсе не вероятна: во-первых, *пятую неделю дождей нет — эдакой засухи старики не запомнят.* Обломов получил письмо это за несколько дней до 1-го мая — полагая, что на почте оно осталось по крайней мере одну или полторы недели. За пять недель до отсылки письма из именья еще было начало марта месяца, в это время, как кажется, дождей нельзя ждать, только бы морозы покончились, да реки все прошли, и то ладно. Потом староста толкует о побеге в Иванов день, т. е. 24-го июня, некоторых крестьян и пишет об этом еще в апреле месяце. Стало быть, он предугадывает побег? он не только мошенник, но даже колдун!» (с. 9).

III

провинциальный подьячий старого времени. — Подьячий — здесь мелкий чиновник, писец. Характеристика нравов провинциального чиновничества в рукописи представлена значительно шире, чем в печатном тексте (см.: Варианты, с. 404—405). Не исключено, что такое сокращение было вызвано публикацией в журнале «Русский вестник» в 1856—1857 гг. «Губернских очерков» М. Е. Салтыкова-Щедрина, имевших всероссийский успех и вышедших уже в начале 1857 г. отдельным изданием. Первый очерк этого цикла назывался: «Прошлые времена (Рассказ подьячего)» (*РВ*, 1856, август, кн. 2).

2 *...в присутственном месте...* — т. е. в государственном учреждении.

3 *поучить чему-нибудь, кроме мудреной науки хождения по делам.* — Речь идет о профессии ходатая по делам, т. е. поверенного по делам. Выразительную характеристику представителя этой профессии находим в очерках нравов Ф. В. Булгарина «Ходатай по делам, или На то щука в море, чтоб карась не дремал» и «Ходатай на ловле» (Полн. собр. соч. СПб., 1844, т. 7, с. 1—6, 6—10), в которых рассказывается о плутнях ходатаев.

4 *Корнелий Непот* (ок. 100—после 32 г. до н. э.) — римский историк и поэт; его сочинения считались в школьной практике образцовыми.

5 *...в земском или уездном суде.* — Земский суд — орган земской полиции, «власть и обязанность» которого «ограничиваются наблюдением за скорым и точным исполнением законов и учреждений, а равно судебных приговоров и предписаний начальства». Земский суд составлялся из выбранных дворянством председательствующего в нем исправника и нескольких заседателей (*Свод законов 1*, т. 2, с. 431). Уездный суд — низшая судебная инстанция по уголовным и гражданским делам.

6 *...из Михея не выработался делец и крючкотворец...* — По *Словарю* В. И. Даля, крючкотворствовать — «пролазничать лукавыми изворотами в исках, тяжбах, приказных делах» (т. 2, с. 208); делец — знающий законы и приказной порядок.

7 *...место писца в одном департаменте...* — Департамент — в дореволюционной России отдел министерства.

8 *перейти служить по винным откупам.* — Откуп — передача государством частному лицу за определенный денежный взнос права на взыскание налогов, а также на монопольную торговлю. В дореволюционной России особенно с 1827 г. получил широкое распространение откуп питейного сбора, отмененный лишь в 1860 г. В 1858 г. на страницах печати разгорелась полемика об откупной системе. В 1859 г. развернулось широкое народное движение против откупов, сопровождавшееся, особенно в Поволжье, разгромом питейных заведений. Надеясь перейти служить по винным откупам, Тарантьев мечтает о быстром обогащении,

что вполне могло стать реальностью. Так, «Отечественные записки» писали: «Откупная система <...> существует многие десятки лет и все и вся пили всякую бурду, какую угодно было, по какой угодно цене давать откупщикам, созидавшим себе на этой бурде великолепные палаты, зимние сады и мильоны» (*ОЗ*, 1859, № 2. «Современная хроника России», с. 73).

9 *...два русские пролетария...* — По *Словарю* В. И. Даля, пролетарий — «бобыль, бездомок или безземельный, бесприютный, захребетник» (т. 3, с. 493).

10 *...без рук для производительности и только с желудком для потребления...* — На протяжении романа Гончаров неоднократно (см. с. 53, 101) обращается к политико-экономическим теориям, распространенным в его время, и проблемам политической экономии, широко обсуждавшимся в научной литературе и на страницах журналов. Не случаен был, по мнению современного историка русской политико-экономической мысли, не только интерес студента Обломова к статистике, истории, политической экономии, ибо «таковы были отрасли знания, знакомство с которыми сулило усвоившему эти науки репутацию передового человека» (*Штейн В. М.* Очерки развития русской общественно-экономической мысли XIX—XX веков. Л., 1948, с. 105). Процитировав отрывок черновой редакции «Обломова» (см.: Варианты, с. 424), в котором говорится, что «в политической экономии с изменением разных обстоятельств и условий государственного быта, изменяются и самые истины...», В. М. Штейн замечает: «...это мнение нашего великого писателя, подсказанное, несомненно, передовыми взглядами, бывшими в обращении в его время, очень удачно схватывает основной мотив, сосредоточивавший общественный интерес на политической экономии и статистике. Этим мотивом было убеждение в смене общественных форм и „разных обстоятельств“» (Указ. соч., с. 105).

В условиях России 1840—1850 гг. особый интерес вызывала теория производительности, связанная с именами Ж. Сисмонди (1773—1842), Ж. Сея (1767—1832), А. Смита (1723—1790), которая анализировала взаимодействие между производством стоимости и ее распределением между отдельными агентами капиталистического товарного производства. Теория приписывала способность производить стоимость труду, земле и капиталу. Доход каждого из этих факторов объявлялся равным производительному вкладу данного фактора. Наблюдая, как русское просветительство поворачивает от эстетики к экономике, создает целое передовое направление в отечественной политической экономии, ярче всего представленное такими трудами, как рукопись В. Н. Майкова «Об отношении производительности к распределению богатств», «Об источниках и употреблении статистических сведений» (Киев, 1846) Д. П. Журавского, «Мальтус и его противники. Обзор различных мнений об отношении производительности к развитию населения» В. А. Милютина (*Совр.*, 1847, № 8, 9), рукописная записка А. П. Заблоцкого «О крепостном состоянии в России» (1841) и др., Гончаров, судя по роману «Обломов», видел в этом одну из важных примет времени. См. также: *Муратов А. Б.* И. А. Гончаров в министерстве финансов. — В кн.: И. А. Гончаров: Новые материалы о жизни и творчестве писателя. Ульяновск, 1976, с. 37—57.

IV

изволь в английском магазине купить. — Этот магазин фирмы Никольс и Плинке находился на углу Невского проспекта и Большой Морской улицы (*Михневич*, с. 483).

2 *...в питейной конторе...* — В государственном учреждении, осуществляющем надзор за розничной питейной торговлей (см. также примеч. 8 к гл. III).

3 *...на Выборгскую сторону...* — На глухую окраину старого Петербурга.

4 *Безбородкин сад* — обширный парк на правом берегу Невы, с 1790 г. принадлежавший графской семье Кушелевых-Безбородко, в 1868 г. уничтожен пожаром (ныне район Полюстрова, застроенный промышленными и жилыми зданиями).

5 *Охта* — пригород Петербурга по обоим берегам реки Охты, притока Невы.

6 *Портер* — сорт черного пива.

7 *Целковый* — серебряный рубль.

[8] *...в Шумиловой вотчине...* — Вотчина (отчина) — родовое землевладение, переходившее от отца к сыну.

[9] *...передаст секретарю...* — Секретарь (коллежский или губернский) — чиновник одного из низших (10 или 12) классов Табели о рангах.

[10] *...разумеется, со вложением.* — Речь идет о взятке. См. также очерк «На родине» (VII, 293).

[11] *...в службе за надворного перевалился...* — Надворный советник — чиновник 7 класса согласно Табели о рангах.

[12] *Добро бы в откупа вступил...* — См. примеч. 8 к гл. III.

[13] *тиски для русских денег!* — Т. е. печатная машина для изготовления поддельных купюр.

[14] *Акции какие-то... Ох, уж эти мне акции, так душу и мутят!* — Акция — пай, вносимый в предприятие и дающий право на участие в прибылях. Начиная с 1830-х гг. акционерные компании основываются и в России. Однако, указывал известный словарь петрашевцев, «как проявление промышленности новейшего времени, акции нигде еще не получили полного развития; не везде вселяют доверенность, часто рушатся и разоряют предприимчивых антрепренеров и доверчивых акционеров, почему и существует весьма много суждений pro и contra об этом предмете» (Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка, издаваемый Н. Кириловым. СПб., 1845—1846, вып. 1—2, с. 6). Впрочем, по другому источнику, «стремление к акционерным компаниям вскоре усилилось до такой степени, что лишь только замышлялось какое-нибудь предприятие, акции его были с жадностью разбираемы и число желающих участвовать в нем своими капиталами нередко превышало определенный для них размер» (*Совр.*, 1847, т. V, отд. IV, с. 1). В середине 1830-х гг. в министерстве внутренних дел и в министерстве финансов, где служил Гончаров, шла подготовка акционерного законодательства, закончившаяся изданием 6 декабря 1836 г. «Положения о компаниях на акциях» (*Шепелев Л. Е.* Из истории русского акционерного законодательства (1836 г.). — В кн.: Внутренняя политика царизма (середина XVI—начало XX в.). Л., 1967, с. 168—196). К концу 1850-х гг. «из компаний, возникающих преимущественно с экономической целью, первое место занимают акционерные компании, развивающиеся в новейшее время в громадных размерах» (Краткий политико-экономический словарь. СПб., 1859, с. 68).

[15] *...в смирительный дом не отправишь?* — Смирительный дом — в России XVIII—XIX вв. тюрьма для заключенных за нетяжкие преступления.

[16] *подгорюнившись, погрузился не то в дремоту, не то в задумчивость.* — В *Словаре* В. И. Даля (т. 3, с. 169) «подгорюниваться, подгорюниться» — «сидеть горюя, склонив голову на руку». «Ходит подгорюнясь — подперши рукой голову».

V

коллежский секретарь чином. — Чиновник 10 класса согласно Табели о рангах. Вышедшим из университета с младшей ученой степенью кандидат (т. е. окончившим его с отличием) на службе присваивался чин коллежского секретаря (*Свод законов 1*, т. 3, с. 33).

[2] *до десяти тысяч рублей ассигнациями.* — Ассигнации — бумажные деньги, введенные в России в 1769 г. Их курс, постоянно менявшийся, в 1840 г. составлял 3.5 р. ассигнациями за один серебряный рубль. В 1843 г. ассигнации были изъяты из обращения, заменены серебряным рублем и приравненными к нему денежными билетами. Отсюда частые в тексте романа пересчеты ассигнаций на серебро.

[3] *Обломов прослужил кое-как года два; может быть, он дотянул бы и третий, до получения чина...* — Для производства чиновников, имеющих аттестат об окончании высшего учебного заведения, из 10 в 9 класс требовалась выслуга лет четыре года; при определенных условиях этот срок мог быть сокращен (*Свод законов 1*, т. 3, с. 102).

[4] *В этом свидетельстве сказано было <. .> всякой деятельности».* — Выданный Обломову документ является своеобразной и весьма удачной пародией Гончарова на стиль и характер медицинских рекомендаций и документов того времени. На это

указывает, в частности, полученная самим Гончаровым справка врача Д. Ф. Обломиевского, необходимая для предоставления писателю «заграничного отпуска для лечения». Вот ее текст, датированный 6 марта 1859 г.: «Сим свидетельствую, что г. статский советник Иван Александрович Гончаров давно страдает от брюшного полнокровия приливами крови к голове, бессонницею, трудным пищеварением, головными болями, ипохондрическим расположением ‹*1 нрзб.*›, что употребленные им на месте в 1857-м году мариенбадские воды доставили ему большое облегчение, которым он пользовался около году, но потом, от сидячего рода жизни и усиленных занятий, снова оказались те же припадки и достигли прежнего развития.

Почему полагаю для его необходимым снова употребление у источника той же мариенбадской воды, а чтоб упрочить ее действие, после вод для развлечения путешествие в течение полутора месяца и, наконец, купанье в Средиземном море» (*ЦГИА*, ф. 772, оп. 1, № 4807, л. 3—3 об.).

5 ...*«мучительные дни и неправедные ночи»..* — Слова из стихотворения Н. Ф. Павлова «Романс» («Она безгрешных сновидений...»). См.: *Павлов Н. Ф.* Повести и стихи. М., 1957, с. 308. Строку из этого романса («...гаснет вера в лучший край») Гончаров вспоминает и в «Обрыве» (ч. 1, гл. 13).

6 *Нижний* — т. е. Нижний Новгород (ныне г. Горький).

VI

...*до пятнадцати лет в пансионе...* — Пансион (фр. pension) — в дореволюционной России закрытое учебное заведение, в котором воспитанники получали полное содержание.

2 *«И ты, Брут, против меня!...»* — Шутливая перефразировка легендарных слов Юлия Цезаря, увидевшего среди заговорщиков, покушавшихся на него, своего соратника Брута.

3 . *гомозится..* — По *Словарю* В. И. Даля, — возится, копается, кишит (т. 1, с. 373).

4 *под ферулой мысли и науки.* — Ферула (лат. ferula) — хлыст, розга, в переносном значении — строгое обращение, надзор.

5 *Но цвет жизни распустился и не дал плодов.* — Здесь и далее (см. с. 183, 318) Гончаров употребляет распространенный в романтической поэзии 1820-х гг. оборот «цвет жизни». Ближайшим образом толкование этой метафоры в тексте романа сливается со стихотворением В. А. Жуковского «Теон и Эсхин»:

И роскошь, и слава, и Вакх, и Эрот —
Лишь сердце они изнурили;
Цвет жизни был сорван; увяла душа;
В ней скука сменила надежду.

Внимание Гончарова к этому стихотворению могло привлечь и высказывание о нем В. Г. Белинского: «Обаятельна жизнь сердца; но без практической деятельности, источник которой заключался бы в пафосе к идее, самый богато наделенный дарами природы человек рискует скоро изжить всю жизнь и остаться при одной пустоте мечтательных ожиданий и действительного отвращения к чувству бытия. Романтизм, без живой связи и живого отношения к другим сторонам жизни, есть величайшая односторонность!» (*Белинский*, т. 7, с. 195—196).

6 *Он учился всем существующим и давно не существующим правам, прошел курс и практического судопроизводства...* — Из этих слов следует, что Обломов, как и герой «Обрыва» Райский, учился на юридическом факультете. Любопытным комментарием может служить запись в «Дневнике» А. В. Никитенко от 12 июля 1841 г.: «Декан юридического факультета и профессора представили в совет университета проект об уничтожении в этом факультете некоторых вспомогательных предметов, в том числе и русской словесности, для облегчения студентов, будто бы обремененных науками ‹...› Но тут была другая тайная причина, а именно: угодливость студентам из аристократов, которые предпочитают юридический факультет остальным. Эти молодые люди занимаются наукой между прочим, и потому, ко-

нечно, каждый предмет считают для себя обременительным» (*Никитенко*, т. 1, с. 232—233). Прямое указание на окончание Обломовым университета имеется только в рукописи романа (л. 74).

[7] *...открыть какие-нибудь новые источники производительности земель...* — См. примеч. 10 к гл. III.

[8] *Еруслан Лазаревич* — герой «Сказки о Еруслане Лазаревиче». Этому произведению посвящена монография Л. Н. Пушкарева (М., 1980), где подробно прослеживается история формирования и распространения сказки от лубочных листов XVIII в. до первого (1847) издания наиболее древней ее редакции. Называя ряд русских писателей XVIII—XIX вв., обращавшихся к сказке, исследователь упустил из виду Гончарова. Между тем в свете весьма интересных сведений об отношении русских литераторов к герою сказки, приведенных Л. Н. Пушкаревым, обращение к нему автора «Обломова» представляется существенно важным. Цитируя запись М. Ю. Лермонтова в альбоме В. Ф. Одоевского: «...Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21 году проснулся от тяжкого сна и встал, и пошел, и встретил он тридцать семь королей и семьдесят богатырей и побил их, и сел над ними царствовать... Такова Россия», — исследователь замечает: «Из этого высказывания видно, что образ Еруслана впитал в себя черты богатыря вообще (и особенно Ильи Муромца) и имя Еруслана стало нарицательным» (с. 84). Там же говорится, что «лубочные издатели распространили эту сказку по Руси в сотнях тысяч экземпляров: редко какое литературное произведение может похвастаться такими тиражами в то время» (с. 3). Таким образом, упоминание Еруслана Лазаревича в контексте авторской характеристики Ильи Обломова нельзя считать случайным.

[9] *иногда даже совсем потеряется...* — Потеряться, по *Словарю* В. И. Даля, — растеряться, быть озадаченным (т. 3, с. 355).

VII

[1] *Он был уже не прямой потомок тех русских Калебов, рыцарей лакейской...* — Имеется в виду Калеб Бальдерстон — герой романа Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста», дворецкий графа Равенсвуда. Характерно, что В. Г. Белинский, говоря о «Капитанской дочке» А. С. Пушкина, называет Савельича «русским Калебом» (*Белинский*, т. 7, с. 577). Это сопоставление оказалось настолько устойчивым, что уже в конце 1860-х гг. его повторил И. С. Тургенев в повести «Бригадир»: «Этот старый слуга нисколько не походил на „Савельича" или на „Калеба"...». М. П. Алексеев, оспаривая примечание в собрании сочинений И. С. Тургенева (М., 1953—1958), отсылающее к роману «Вещи как они есть, или Злоключения Калеба Вильямса» английского писателя Уильяма Годвина (1756—1836), пишет, что оно «безусловно ошибочно» (Тургеневский сборник. I. М.; Л., 1964, с. 256). Та же ошибка — во всех комментированных изданиях гончаровского «Обломова».

[2] *...без страха и упрека...* — Рыцарем без страха и упрека был прозван храбрый и великодушный французский воин Пьер дю Террайль Баярд (1476—1524).

[3] *норовит усчитать <...> гривенник и непременно присвоит <...> медную гривну...* — Гривенник — 10 копеек серебром. Гривна — 10 копеек медью.

[4] *снять со свечи...* — т. е. снять нагар.

VIII

подумал было о парке, но <...> нашел, что дорого... — Парк в помещичьем быту того времени — огороженная роща с ухоженными дорожками для гуляния. Устройство парка, естественно, требовало расходов, а вместе с тем не сулило хозяйственных выгод.

[2] *...в мажордомы...* — Мажордом (фр. maiordome) — домоправитель.

[3] *Поезжайте в Киссинген <...> или в Тироль...* — Киссинген — курорт в Германии. популярный у англичан и русских. Тироль — альпийская область Австрии.

[4] *...ведь нехотя заплачешь, как он станет этак-то пропекать».* — Ср.: Н. В. Гоголь. «Выбранные места из переписки с друзьями» (гл. «Русский помещик»):

«...а который посмел бы оказать ему какое-нибудь неуваженье или не послушаться умных слов его, то распеки тут же при всех...» и далее: «Мужика не бей. <...> Но умей пронять его хорошенько словом...».

[5] *...отвечал барину известной песней, только в прозе.* — *Чем же я огорчил вас Илья Ильич?* — Имеется в виду народная песня XVIII в. «Чем тебя я огорчила...» или, возможно, совпадающая с нею лишь одним первым стихом песня А. П. Сумарокова «Чем тебя я оскорбила...», которая в песенниках иногда печаталась со словом «огорчила», «досадила» (*Новикова А. М.* Русская поэзия XVIII—первой половины XIX века и народная песня. М., 1982, с. 35; Песни и романсы русских поэтов. Л., 1965, с. 75, 979. *БП БС*). В рукописи песня названа точно: «...он отвечал барину известной песней, *чем тебя я огорчила* только в прозе» (л. 24 авт. паг., 47 арх. паг.).

[6] *...определил ему <...> отсыпной хлеб...* — т. е. зерно, хлеб, выделяемый на содержание как паек.

[7] *«А может быть, <...> авось обойдутся <...> ну, как-нибудь да сделают!* — Выделенные Гончаровым слова имеют глубокие корни как в фольклорной, так и в литературной традиции эпохи. Ср. приведенную у В. И. Даля пословицу: «Русский-де человек на трех сваях стоит: авось, небось да как-нибудь» (*Даль В. И.* Полн. собр. соч.: в 10-ти т. М., 1897, т. 6, с. 324). Широкое хождение в списках имело стихотворение И. М. Долгорукова (1798) «Авось»: «О слово милое, простое! | Тебя в стихах я восхвалю! | Словцо ты русское прямое. | Тебя всем сердцем я люблю!» (Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в. Л., 1959, с. 403. *БП БС*). В примечании к стихотворению П. А. Вяземского «Сравнение Петербурга с Москвой» (1811), при жизни поэта не пропущенному в печать цензурой, С. А. Рейсер, имея в виду строки: «У вас авось — | России ось — | Крутит, вертит, | А кучер спит», замечает: «*Авось* — старинное русское слово (XVI в.), которое постепенно приобрело свойство идиомы, характеризующей национальные качества русского человека, — они зафиксированы в ряде соответствующих пословиц и поговорок. „Наклонность дразнить счастье, играть в удачу и есть великий русский авось“, — писал В. О. Ключевский в „Курсе русской истории“, т. 1, М., 1937, с. 324. Слово „авось“ <...> неоднократно упоминалось в таком контексте в ряде стихотворений Вяземского, Языкова, Пушкина, Некрасова и др.» (Вольная русская поэзия второй половины XVIII—первой половины XIX века. Л., 1970, с. 786. *БП БС*).

[8] *...в ковчеге завета отцов наших...* — Ковчег завета — ларец, в котором хранились скрижали (каменные доски) со священным древнееврейским текстом («Законы Моисея»); переносно: духовные ценности, духовное наследие.

IX

[1] *...мороз <...> к Крещенью усиливается...* — Крещенье — христианский праздник 19 января ст. стиля в память о крещении Иисуса Христа.

[2] *.воздуха, напоенного — не лимоном и не лавром...* — Ср. в «Каменном госте» А. С. Пушкина: «...ночь лимоном | И лавром пахнет...» (сц. II). Ироническое использование пушкинских слов — одно из проявлений борьбы Гончарова с романтизмом. В 1840-х гг., когда была написана и опубликована глава «Сон Обломова», Испания была модной темой в русской романтической поэзии и драматургии. (См.: *Алексеев М. П.* «Письма об Испании» В. П. Боткина и русская поэзия. — В кн.: Алексеев М. П. Русская культура и романский мир. Л., «Наука», 1985, с. 190).

[3] *не забывая почти никогда Ильина дня...* — Ильин день — 20 июля ст. стиля. В *Словаре* В. И. Даля приводятся народные поговорки об этом дне: «Илья грозы держит», «Вознесенье с дождем, Илья с грозой» и др. (т. 2, с. 41).

[4] *...ни египетскими, ни простыми язвами.* — Египетские язвы (библ.) — одно из десяти бедствий, которые бог наслал на Египет за то, что фараон отказался освободить евреев из плена (Исход, гл. VII, ст. 12).

[5] *.ни шаров огненных...* — Подразумевается шаровая молния.

...эпизод о войне двух роз... — Война алой и белой розы — междоусобная война (1455—1485) феодальных родов Ланкастеров (в их гербе была алая роза) и Йорков (в их гербе была белая роза) за английский престол.

[7] *...картины, которыми так богато населил наше воображение Вальтер Скотт.* — В молодости Гончаров «изучил» Вальтера Скотта «пристально» (VII, 218). Ирония Гончарова 1840-х гг. по поводу поэтического инвентаря Вальтера Скотта свидетельствует о том, что, по-видимому, и для него «шотландский бард ‹...› отошел уже ‹...› в прошедшее, — не возбуждает ‹...› прежних восторгов — тем менее может возбуждать уже фанатизм» (*Григорьев*, с. 77).

[8] *...стать к лесу задом, а к нему передом.* — «Магические» слова, встречающиеся в русских сказках (см., например: Русские сказки в ранних записях и публикациях (XVI—XVIII века). Л., 1971, с. 82).

[9] *была их Колхидой...* — Колхида — древнегреческое название юго-восточного и восточного Причерноморья (Западная Грузия). По древнему мифу, сюда отправились греческие храбрецы-аргонавты за золотым руном.

[10] *и, наконец, все оканчивалось той рыбой, которая держит на себе землю.* — Восходит к древнейшим народным поверьям, что земля стоит на ките (трех китах). Ср.: *Даль, Словарь*, т. 2, с. 112.

[11] *взнос подати или оброка...* — Подать — в дореволюционной России налог с крестьян и мещан. Оброк — см. примеч. 37 к гл. II.

[12] *чуть было собственноручно не запарился до смерти в землянке.* — Землянка — «хозяйственное помещение (хлев, баня, кладовая и т. д.) земляночного типа ‹...› Баня в земле ‹...› Черная баня в огороде». «Словарь русских народных говоров» (Л., 1976, вып. 11, с. 258), откуда почерпнуты эти сведения, указывает на распространение слова «землянка» в значении «баня» именно в Поволжье (быв. Уфимской и Казанской губ.), т. е. на родине Гончарова.

[13] *...сажен за пятьдесят...* — Сажень — дореволюционная мера длины (2.134 м).

[14] *Сельцо* — по *Словарю* В. И. Даля (т. 4, с. 172), деревня, где располагается барский дом. Далее в тексте романа Верхлёво называется селом (по *Словарю* В. И. Даля (там же) — деревня, где есть церковь). Устранить это противоречие не представляется возможным (рукопись главы «Сон Обломова» не сохранилась).

[15] *Девчонка* (или девка) — название крепостной женской прислуги независимо от возраста.

[16] *...тоненький голос бабы: трудно было распознать, плачет ли она или импровизирует заунывную песню без слов.* — Ю. М. Лотман, комментируя «Евгения Онегина» (строка «Унывным голосом поют...»), отмечает, что «мысль об „унылом" характере русских песен высказывалась Пушкиным несколько раз», и приводит также слова В. Г. Белинского: «Грусть есть мотив нашей поэзии — и народной и художественной» (*Лотман*, с. 384).

[17] *...подле своей пешни...* — Пешня — тяжелый лом на деревянной рукоятке.

[18] *женится на ‹...› Милитрисе Кирбитьевне.* — Речь идет о героине русской сказки о Бове-королевиче.

[19] *...о подвигах наших Ахиллов и Улиссов..* — Ахилл — герой гомеровского эпоса, наделенный красотой, силой, ловкостью, верный в дружбе и великодушный воин. Улисс (Одиссей) — герой гомеровского эпоса, храбрый, предприимчивый, хитроумный. Совершил множество подвигов, испытал и различные приключения.

[20] *...об удали Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича, о Полкане-богатыре, о Колечище прохожем.* — Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович — герои русских былин и сказок. Полкан-богатырь — персонаж русских сказок, полуконь-получеловек. Колечище (калечище) — калика, нищий, просящий милостыню пением псалмов и духовных песен (калики перехожие). Калечище прохожий действует, например, в «Истории о славном и храбром богатыре Илье Муромце и о Соловье-разбойнике». См.: Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. М., 1985, т. 2, с. 352—355; т. 3, с. 266—274.

[21] *...созданную нашими гомеридами.* — Гомериды — корпорация древнегреческих эпических певцов (рапсодов), возводивших себя к Гомеру, исполнявших его поэмы.

[22] *...в плисовых панталонах, в <...> ваточной куртке.* — Плис (шведск. plys) — хлопчатобумажная ткань с ворсом. Ваточная куртка — теплая, на вате.

[23] *...огонь Весты.* — Веста (римск. миф.) — богиня домашнего очага, в ее храме поддерживался «вечный» огонь.

[24] *...заговенья, розговенья...* — Заговенье — канун поста, последний день, когда можно употреблять скоромную (мясную, молочную) пищу. Розговенье — первый день мясоеда после поста.

[25] *Они отступятся от весны <...> если не испекут в начале ее жаворонка.* — Речь идет о народном обряде встречи весны, когда пелись песни-веснянки, выпекались булки, пышки в виде жаворонков и т. п.

[26] *..уселась <...> с донцом, <...> пошла за мочками.* — Донце — «доска, составляющая часть простого русского прядильного прибора, на которую пряха садится для прядения» (*Словарь 1867*, т. 1, с. 734). Мочка — пучок льна для прядения.

[27] *...у предводителя в дому!* — имеется в виду предводитель дворянства, дворянский представитель, избиравшийся губернским или уездным дворянским собранием.

[28] *обитым <...> бараканом...* — Баракан — плотная шерстяная ткань для обивки мебели.

[29] *Вообще они глухи были к политико-экономическим истинам о необходимости быстрого и живого обращения капиталов, об усиленной производительности и мене продуктов.* — В духе политико-экономических теорий, пользовавшихся авторитетом в 1840—1850-х гг. (см. примеч. 10 к III гл.), «Краткий политико-экономический словарь» (СПб., 1859) указывал: «Капитал <...> переходя от одного лица к другому, оставляет у каждого из них частицу самого себя, содействуя таким образом возрастанию всеобщего богатства» (с. 62).

[30] *Она и семика не дождалась...* — Семик — народный праздник поклонения душам умерших, справлявшийся в четверг на седьмой неделе после пасхи. В этот день заплетаются ветки деревьев, совершаются другие обряды.

[31] *...в Петровки здесь была...* — Петровки — у православных пост перед Петровым днем (29 июня ст. стиля).

[32] *Прохора и Никанора день* — 4 января ст. стиля.

[33] *...дождемся святок <...> И олово лить, и воск топить. и за ворота бегать...* — Речь идет об обычае святочных гаданий девушек. «Льют олово или свинец, воск и золото в воду, — говорится в «Словаре русских суеверий» М. Д. Чулкова (СПб., 1782), — загадывая прежде, и какое изображение выльется, то и верят крепко, что то в жизни с ними случится. <...> Выходят за ворота с первым куском во рту, и спрашивают у мимоидущего об имени, веря, что тем именем муж ее будущий называться будет» (с. 120—121).

[34] *...все хохочут долго, дружно, несказанно, как олимпийские боги.* — Ср. в «Илиаде» Гомера; «Смех несказанный воздвигли блаженные жители неба...» (песнь 1, ст. 599. Пер. Н. И. Гнедича).

[35] *Марьяж* (фр. mariage) — свадьба, брак; в карточной игре, гаданиях на картах — соединение дамы и короля при раскладке карт.

[36] *...восстанет язык на язык, царство на царство...* — Цитата из Евангелия от Марка (гл. XIII, ст. 8).

[37] *...даже кометы в тот год не было...* — Появление кометы считалось предвестием страшных бед.

[38] *...потрут бодягой или зарей...* — Бодяга (Spongia) — водяное растение. Заря или зоря (Ligisticum Livisticum) — травянистое растение. Оба применяются в народной медицине при ушибах.

[39] *...закрывали печи, когда в них бегали еще такие огоньки, как в «Роберте-Дьяволе».* — Имеется в виду сцена на кладбище в опере французского композитора Дж. Мейербера (1791—1864) «Роберт-дьявол». В 1843 г. опера шла в Петербурге в исполнении гастролирующей там немецкой труппы (*Вольф А.* Хроника петербургских театров с конца 1826 до начала 1855 года. СПб., 1877, ч. I, с. 48). В 1846 г. оперу, имевшую большой успех у русских романтиков, слушал в Москве А. Григорьев и в ее описании отметил сцену на кладбище: «Вот блудящие огни засверкали на гробах...»(*Григорьев*, с. 186, 406).

[40] *Обломов достал старый календарь.* — В русских календарях XIX в. давались многочисленные сведения и справки по астрономии, географии, истории, о движении поездов, пароходов, расписание почты и т. п.

[41] *...случайно увидит доставшуюся ему после брата небольшую кучку книг и вынет, не выбирая, что попадется.* — В не вошедшем в окончательную редакцию эпизоде Илья Иванович Обломов рассказывает: «Покойник брат мой, слава богу, учился не мало на своем веку, вон и книги-то все у меня от него достались...» (см.: Варианты, с. 423).

[42] *Голиков* И. И. (1735—1801) — русский историк, автор обширного сочинения (1788—1789) «Деяния Петра Великого».

[43] *Новейший* <...> *Сонник* — книга, содержащая толкование снов.

[44] *«Россияда»* (1779) — эпическая поэма русского писателя-классициста М. М. Хераскова (1733—1807).

[45] *...Трагедия Сумарокова...* — А. П. Сумароков (1717—1777) — русский драматург-классицист.

[46] *Ведомости* — одно из общих названий газет в дореволюционной России (например, «Санкт-Петербургские ведомости», «Губернские ведомости»).

[47] *Эти восклицания относились к авторам — звание, которое в глазах его не пользовалось никаким уважением; он даже усвоил себе и то полупрезрение к писателям, которое питали к ним люди старого времени.* — Ср. письмо Гончарова к С. А. Никитенко от 8 (20) июня 1860 г.: «У нас литератор не был растением, рождающимся на общественной почве, из общественных потребностей; это было какое-то одинокое, отдельное, случайное растение, роскошь, а отнюдь не потребность, и притом роскошь, признававшаяся долго вредной, как табак в старину. Его топтали, давили, истребляли — и он почти всегда был контрабандой. Только ведь со времени Гоголя начали видеть в писателе-художнике что-то серьезное, нужное и важное» (VIII, 286). Ср. запись в «Дневнике» А. В. Никитенко от 8 августа 1840 г.: «Один мне знакомый действительный статский советник отзывает меня в сторону и говорит:

— Это Брюллов с вами? Рад, что вижу его, я еще никогда не видал его. Замечательный, замечательный человек! А скажите, пожалуйста, ведь он, верно, пьяница: они все таковы, эти артисты и художники!

Вот какое сложилось у нас мнение о „замечательных людях“» (т. I, с. 224). См. также статью В. П. Степанова «К вопросу о репутации литературы в середине XVIII в.». — В кн.: Русская культура XVIII—начала XIX века в общественно-культурном контексте. (XVIII век, сб. 14). Л., 1983.

[48] *...из Гаги пишут.* — Гага — архаизированное произнесение названия столицы Нидерландов Гааги.

[49] *...сочинения госпожи Жанлис перевели на российский язык.* — Жанлис М. (1746—1830) — французская писательница, автор популярных в России сентиментальных романов из светской жизни, переводы которых стали появляться с 1790-х гг. «„Рыцари Лебедя“ г-жи Жанлис, — вспоминал Ап. Григорьев, — и знаменитая „Матильда, или Крестовые походы“ г-жи Коттен — вот что составляло насущную пищу читающей „публики“, преимущественно женской ее половины. <...> Над „Матильдой“ проливалось несчетное количество слез и Малек-Аделем ее решительно бредили барыни и барышни...» (*Григорьев*, с. 71). Впоследствии развенчанию этих романов много способствовал В. Г. Белинский: «...они изображали не общество, не людей, не действительность, а призраки больного или праздного воображения» (*Белинский*, т. 6, с. 32. См. также: т. 1, с. 206; т. 2, с. 172, 174, 362; т. 10, с. 104, 374, 376).

[50] *...морген фри — нос утри...* — Вероятно, искаженное немецкое Morgenfrühe — рано утром.

[51] *Родительская неделя, суббота* — поминальная. Общерусский обряд поминовения происходил на первой неделе после пасхи (Фомина неделя). По обычаю на родительской неделе пекут блины.

[52] *Страстная неделя* — последняя неделя великого поста, последняя неделя перед пасхой.

53 *...не щадил ‹...› доннерветтеров...* — т. е. ругательств (от нем. Donner Wetter! — гром и молния!).

54 *Времена Простаковых и Скотининых миновались давно.* — Намек на героев комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» (1782).

55 *...вместе с книгами, развозимыми букинистами.* — Яркое представление о букинистах того времени дает помещенный в сб. «Вчера и сегодня» (кн. 2, СПб., 1846) очерк П. Ефебовского «Петербургские разночинки» (с. 105—114).

56 *...заторелым на службе дельцам...* — Торить — приучать, упражнять для навыка (*Словарь 1867*, т. 4, с. 607).

57 *Между титулярным советником и коллежским асессором разверзалась бездна, мостом через которую служил какой-то диплом.* — По указу Александра I от 6 августа 1809 г., инициатором которого был М. М. Сперанский, для производства из 9 в 8 класс требовался диплом о высшем образовании или прохождение специального экзамена. Современный исследователь отмечает, что указ этот практически не применялся и существовал только на бумаге (*Шевелев Л. Е.* Отмененные историей. Л., 1977, с. 47—101). Однако в момент выхода в свет указа он, по-видимому, произвел на чиновничество сильное впечатление. Об этом свидетельствует появление нескольких стихотворений, написанных от лица раздраженных или испуганных чиновников, первое из которых (А. Н. Нахимова) появилось в легальной печати, вызвало недовольство властей и распространялось во множестве списков; второе — известно только в списках (автор не установлен). Подробнее см.: Вольная русская поэзия второй половины XVIII—первой половины XIX века. Л., 1970, с. 242, 451, примеч. — с. 784, 833. *БП БС* (составление, подготовка текста, вступительные заметки и примечания С. А. Рейсера).

58 *Они мечтали о шитом мундире для него...* — т. е. о чиновничьей карьере. В соответствии с «Общим положением о разделении шитья по разрядам для различия должностей» (*Свод законов 1*, т. 3, с. 396—397) чем выше была должность чиновника, тем более богатое шитье украшало его мундир.

59 *...на пути просвещения и честей...* — Честь — чин, звание.

60 *Зачем? Куда? А Васька, а Ванька, а Захарка на что?* — Ср. замечание Гончарова в его воспоминаниях «На родине»: «„Митька“, „Васька“, „Гришка“! — скажут на это новые люди, — разве это не мерзко? — Теперь мерзко, да и нельзя: крепостных людей нет, и никто не позволит называть себя кличками, как собак. А тогда не казалось мерзко: все старого поколения люди привыкли к этому, и я не слыхивал, чтобы тогдашние пожилые помещики, умные, образованные, даже в столице, иначе звали прислугу, как: „малый“ или „Петрушка“, „Егорка“, „Машка“, „Дашка“ и т. д. Другой манеры звать не было...» (VII, 285). Ср. также ‹Письмо к Н. В. Гоголю› В. Г. Белинского: «...ужасное зрелище страны, ‹...› где люди сами себя называют не именами, а кличками: *Ваньками, Стешками, Васьками, Палашками.* .» (1847. *Белинский*, т. 10, с. 213).

X

1 *Неугодлив, видно?..* — В *Словаре* В. И. Даля «неугода — брюзга, человек на которого не угодишь» (т. 2, с. 540).

2 *..не дает повадки!»* — По *Словарю* В. И. Даля, повадка — поблажка, потачка (т. 3, с. 139).

3 *Казачок* — мальчик-слуга.

4 *...лакей, в ливрейном фраке нараспашку, с аксельбантами и в штиблетах.* — Ливрейный фрак, обычно с шитьем, аксельбантами (нем. Achelband) — наплечными шнурами, штиблеты, гетры на пуговицах — парадная одежда швейцаров, лакеев, кучеров.

5 *...больно тароват!* — По *Словарю* В. И. Даля, тороватый — расторопный, ловкий, бойкий (т. 4, с. 420).

6 *— Дедушка-то ‹...› у вас был: приказчик с толкучего.* — Толкучий рынок в Петербурге находился на Садовой улице, внутри Апраксина двора, и представлял собою «центр лоскутного торга, разумея под сим продажу и покупку всевозможного старья и хлама» (*Михневич*, с. 459).

7 *Пойдем в полпивную...* — В. И. Даль в своем *Словаре* (т. 3, с. 116) поясняет: «.. различают пиво белое и черное, да полпиво, или брагу». Полпивная — заведение, торгующее полпивом и другими напитками.

XI

1 *Тут же из-за спины Захара кто-то разразился звонким хохотом.* — В окончательной редакции романа нет объяснения тому, как Штольц оказался в квартире Обломова. Оно есть в рукописи: Захар, вернувшись из полпивной, забыл затворить дверь (см.: Варианты, с. 441—442).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

1 *...разбирал <...> Гердера, Виланда <...> Телемака.* — Гердер И. Г. (1744—1803) — немецкий философ-просветитель, теоретик искусства, писатель. Виланд К. М. (1733—1813) — немецкий писатель, автор религиозно-дидактических сочинений. Телемак, т. е. «Приключения Телемака», — философско-утопический роман французского писателя Ф. Фенелона (1651—1715). Надо полагать, что юный Штольц «разбирал по складам» именно оригинал «Телемака»: ср. замечание Гончарова в его воспоминаниях «В университете»: «Я переводил à livre ouvert Корнелия Непота, по которому все учились, как по „Телемаку“ Фенелона во французском языке» (VII, 231).

2 — *Добрый бурш будет.* — Бурш — см. далее примеч. 10.

3 *.забудется за Герцом...* — Герц А. (1803—1888) — французский композитор, пианист и педагог.

4 *всю <...> земскую полицию.* . — Земская полиция — полицейские органы в уезде: земский исправник, земский суд, становые приставы, низшие чины — сотские, десятские.

5 *Поташ* — углекислый калий, получаемый из древесной или травяной золы; употребляется в стекольном производстве, мыловарении.

6 . *сделается <...> бюргером...* — Бюргер (нем. Bürger) — горожанин в Западной Европе; переносно: обыватель.

7 *.ряд благородно-бесполезно в неге протекших поколений.* . — Ирония Гончарова связана с официальным именованием дворянства как «благородного сословия», зафиксированным и в словарях того времени. По *Словарю* В. И. Даля, «благородный — происходящий из дворянского рода, дворянин» (т. 1, с. 94). Исторически это определялось «Грамотой на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства», изданной 21 апреля 1785 г. Екатериной II. «Дворянское название» рассматривалось здесь как «следствие, истекающее от качества и добродетели начальствовавших в древности мужей, отличивших себя заслугами, чем, обращая самую службу в достоинство, приобрели потомству своему нарицание благородное» (*Собрание 1*, т. 22, с 347).

8 *как бьют зорю в кавалерии и пехоте...* — По воинскому уставу о закате и восходе солнца оповещал барабанный бой.

9 *...какие сабли и шпоры гусарские и какие драгунские...* — Гусары (венг. huszar), драгуны (фр. dragon) — виды кавалерии, имели различия в вооружении, обмундировании и амуниции.

10 *...не вышло из Андрея ни доброго бурша, ни даже филистера.* — Бурш (нем. Bursch) — в Германии название студента, принадлежащего к одной из студенческих корпораций. Филистер (нем. Filister) — самодовольный и ограниченный человек с мещанскими представлениями. Смысл сопоставления бурша и филистера выясняется из письма Гончарова к П. Г. Ганзену от 30 августа 1878 г., где писатель касается образа Александра Адуева: «Этот последний выражает собой именно юношеские *порывы*, составляющие обыкновенную историю всех молодых людей, и потом превращается в тип положительного человека (дядя), как бывает с большин-

ством. У немцев — *бурши и филистеры*» (VIII, 472). Ср. также высказывание о филистерах В. Г. Белинского (*Белинский*, т. 4, с. 375).

[11] *..в ближайшем университете, где было около сорока профессоров, получил призвание к преподаванию того, что кое-как успели ему растолковать сорок мудрецов.* — В рукописи вместо «около сорока профессоров» читается: «три студента и около сорока профессоров» (л. 60 об. арх. паг.). В «Отечественных записках» 1855 г. находим любопытную справку о числе германских университетов того времени (17) и наличии в них студентов: более всего — в Мюнхенском (1731), менее всего — в Ростокском (92). См.: *ОЗ*, 1855, № 12, отд. VI, «Смесь», с. 11.

[12] *..сто талеров...* — Талер (Taler) — старинная немецкая серебряная монета в 3 марки.

[13] *университет русский должен будет произвести переворот в жизни его сына и далеко отвести от той колеи, которую мысленно проложил отец в жизни сына.* — Отчетливо намеченное в окончательной редакции и еще более заметное в рукописи романа противопоставление германских и русских университетов, акцент на общественно-нравственном значении русских университетов во многом связан с обстоятельствами времени. «С начала 1849 г. в связи с неистовством правительственной реакции все настойчивее стали распространяться слухи о предстоящем закрытии университетов (или по крайней мере большинства из них) и замене их узко специальными учебными заведениями <...> В целях опровержения этих слухов Уваров (министр народного просвещения, реакционер. — *Л. Г.*) поручил И. И. Давыдову (в 1847—1858 гг. — директор Главного педагогического института в Петербурге. — *Л. Г.*) написать статью „О назначении русских университетов и участии их в общественном образовании“, официально предложив затем напечатать ее в „Современнике“ (1849, № 3, с. 37—46). <...> Несмотря на архиреакционный характер статьи, она вызвала подозрительное внимание Комитета 2 апреля (тайного «Комитета для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений». — *Л. Г.*) и недовольство царя. В своей резолюции Николай I разъяснял Уварову, что требует от общества слепого и безропотного повиновения любым мероприятиям правительства. „Должно повиноваться, а рассуждения свои держать при себе...“» (см. примечания И. Я. Айзенштока к «Дневнику» А. В. Никитенко — т. 1, с. 522. См. там же запись А. В. Никитенко от 3 апреля 1849 г.).

[14] *Он на Ивана Купала по ночам в лесу один шатается...* — По народным поверьям, в ночь на 24 июня ст. стиля (купальская ночь) цветет папоротник, с помощью «нечистой силы» открываются клады, совершаются разные чудеса.

II

[1] *— Страсти, страсти всё оправдывают, — говорили вокруг него...* — Эта мысль восходит к учению Ж.-Ж. Руссо, к его знаменитому роману «Юлия, или Новая Элоиза» (1761).

[2] *. «коснел»...* — Слово библейского происхождения (Экклезиаст, гл. VIII, ст. 12).

[3] *..прожить четыре времени года, то есть четыре возраста...* — Восходит к поэмам Ж. Делиля «Воображение» (1809) и «Сельский житель» (1800). В начале XIX в. Делиль пользовался широкой известностью в России. Отрывки из его поэм под названием «Четыре возраста человеческих» и «Четыре времени года» в переводе А. Воейкова были напечатаны в журнале «Новости литературы» (1824, № XVI, с. 58—63; 1826, май, с. 110—112).

[4] *что только отверзалось и откликалось на зов этого <...> сердца.* — Образный строй этой характеристики Обломова отчасти восходит к Евангелию от Матфея (гл. VII, ст. 7).

III

[1] *— Грамотность вредна мужику: выучи его, так он, пожалуй, и пахать не станет...* — По всей вероятности, отголосок споров, вызванных появлением в «Русской беседе» письма В. И. Даля к издателю журнала А. И. Кошелеву. «Грамота сама

по себе ничему не вразумит крестьянина; она скорее собьет его с толку, а не просветит, — писал Даль. — Перо легче сохи; вкусивший без толку грамоты норовит в указчики, а не в рабочие, норовит в ходоки, коштаны, мироеды, а не в пахари; он склоняется не к труду, а к тунеядству» («Русская беседа», 1856, № 3, «Смесь», с. 3). Статья Даля вызвала решительное осуждение передовой печати (см., например, статьи Е. П. Карновича в «Современнике», 1857, № 10, отд. II, с. 123—138; № 12, отд. II, с. 167—176).

2 *«Путешествие в Африку».* — Весьма вероятно, что здесь имеется в виду реально существовавшая книга Е. П. Ковалевского «Путешествие во внутреннюю Африку» (СПб., 1849). Отрывок из этого труда был помещен в том же номере «Современника» (1848, № 11), где Гончаров (под псевдонимом «А. Чельский») напечатал первое из трех «Писем столичного друга к провинциальному жениху».

3 *— Что это на тебе один чулок нитяный, а другой бумажный?* — «Нитяный — сделанный из ниток. Нитка — прядь льняная или шерстяная». «Бумажный — сделанный из хлопчатой бумаги» (*Словарь 1867*, т. 2, с. 966, т. 1, с. 183).

4 *Экзекутор* — в дореволюционной России чиновник, ведающий хозяйственными отделами в государственном учреждении.

5 *...только что не в голландских рубашках ходит...* — т. е. сшитых из особо тонкой материи, называемой голландским полотном.

IV

1 *Аренда* — особое вознаграждение за государственную службу в виде земельного надела, отдаваемого в пользование награжденному на определенный срок (обычно 12 лет); нередко заменялась денежными выдачами.

2 *Отличный пример для ищущего движения ума!* — Вся фраза имеет некоторый оттенок вольнодумства. А. В. Никитенко в своем «Дневнике» (т. 1, с. 354, запись 27 ноября 1852 г.) отметил, что цензор его статьи о В. А. Жуковском посоветовал исключить из нее слова «движение умов».

3 *И пошел о Лудовике-Филиппе...* — Речь идет о французском короле (1830—1848), свергнутом февральской революцией 1848 г.

4 *...отчего французский посланник выехал из Рима?* — Можно предположить, что речь идет о французском дипломате Ф. Лессепсе, который в 1849 г. вел в Риме переговоры о мире между Римской республикой и Францией.

5 *Мехмет-Али* (1769—1849) — правитель Египта; в 1831 и 1839 гг. вел войну против Турции, мечтал о завоевании Стамбула (Константинополя).

6 *. не удалось Дон-Карлосу* (1788—1855) — брату испанского короля Фердинанда VII, претенденту на испанский престол.

7 *...роют канал...* — Имеется в виду, вероятно, Суэцкий канал, строительство которого началось в 1859 г. В журнале «Современник» сообщалось о том, что в России предполагается разместить акций компании Суэцкого канала на сумму 12 миллионов франков (1858, № 10, с. 273—278).

8 *..отряд войска послали на Восток...* — По-видимому, речь идет о событиях, связанных с Крымской войной: создании во Франции «восточного войска» и переброске его на Дунай в марте—июне 1854 г.

9 *— Детей воспитаешь, сами достанут: умей направить их так. —Нет, что из дворян делать мастеровых! — сухо перебил Обломов.* — Этот диалог, возможно, является своеобразным отголоском споров и размышлений, характерных для жизни дворянского общества середины XIX в. Ср., например, запись Л. Н. Толстого в дневнике 1847 г. Разбирая «Наказ» Екатерины II, Толстой отметил: «Наша аристократия рода исчезает и уже почти исчезла по причине бедности; а бедность произошла от того, что благородные стыдились заниматься торговлею». Л. Д. Опульская по этому поводу замечает: «Вполне возможно, что эта запись и соответствующий ей ход мысли отразились в первом черновике „Четырех эпох развития“. Но, описывая спор родителей о судьбе сыновей, Толстой вложил в уста княгини-матери такие слова: „Твои планы насчет детей — отдать их в коммерческое училище, послать их за границу, дать им капитал и сделать их коммерциантами большой руки — так ли? — мне не по душе, я откровенно скажу, я боюсь. Ты хочешь,

чтобы они были тем, чего у нас в России нет. Знаю, знаю, ты будешь приводить мне примеры молодых людей, которых я много видела за границей — там это очень хорошо, и у нас может быть, но со временем только"» (цит. по: *Толстой Л. Н.* Детство. Отрочество. Юность. М., 1978, с. 483). Ср. также позднее замечание Гончарова об Адуеве старшем; «...он достиг значительного положения в службе, он директор, тайный советник, и, кроме того, он сделался и заводчиком. Тогда, от 20-х до 40-х годов — это была смелая новизна, чуть не *унижение* (я не говорю о заводчиках-барах, у которых заводы и фабрики входили в число родовых имений, были оброчные статьи и которыми они сами не занимались). Тайные советники мало решались на это. Чин не позволял, а звание купца не было лестно» (VIII, 108).

[10] *Как же прокормить с тремя стами душ такой пансион?* — Судя по числу крепостных, Обломов был среднепоместный дворянин (см.: *Лотман*, с. 37). По его же словам, доход от имения составлял примерно 6 тыс. и представлялся герою романа весьма незначительной суммой: «Ведь я с голоду умру! Чем тут жить?» (текст, с. 32). Своеобразным комментарием к доходам Обломова, т. е. к тому, какой уровень жизни они ему обеспечивали, может служить письмо Гончарова брату Николаю Александровичу в Симбирск от 30 июня 1858 г. в ответ на желание адресата переехать в Петербург: «Если б ты был еще не женат, тогда дело другое, ты бы мог поступить на 700 руб. сер‹ебром› жалованья, а женатому человеку в провинции в наше время и с тысячью рублями трудно прожить, ты это знаешь, а в Петербурге с 1500 руб. сер‹ебром› семейному едва можно прокормиться... В Петербурге надо получать не менее двух тысяч руб. сер‹ебром›, чтобы жить безбедно...» (Новое время, 1912, № 13017, 9 июня. Приложение).

[11] *— Сейчас же в ломбард, — сказал Обломов, — и жил бы процентами.* — Ломбард принимал на сохранение деньги с выплатой установленных процентов.

[12] *в компанию, вот хоть в нашу?* — Компания — торговое или промышленное товарищество.

[13] *— Зачем же хлопочут строить везде железные дороги, пароходы.* — Развитие транспортных связей — одна из характерных примет российской действительности 1840—1850-х гг. Протяженность первой в России железной дороги (между Павловском и Петербургом), открытой в 1838 г., была 24 версты, к 1861 г. общая длина всех железных дорог составила 1589 верст. В 1843 г. на Волге было основано первое пароходное общество, в 1849 г. — общество «Меркурий», в 1853 г. — «Самолет», в 1853 г. товарищество «Медиатор» открыло рейсы между Петербургом и другими балтийскими портами (*Семенов А.* Изучение исторических сведений о российской внешней торговле и промышленности с половины XVII столетия по 1858 год. СПб., 1859, ч. 2, с. 266—267).

[14] *— Барин! — повторил Штольц ‹. . .› — Джентльмен есть такой барин, ‹. . .› который ‹. . .› сам же снимает с себя сапоги.* — Как ранее (см. текст, с. 123—124) мать Штольца, Обломов вкладывает в слово «джентльмен» вполне определенное социальное содержание: барин, благородный, дворянин. Таково было и в самом деле первоначальное значение этого слова на его родине, в Англии, вплоть до XVII в. Позже к джентльменам мог быть причислен человек, «хоть и не благородный (т. е. не дворянин. — *Л. Г.*), но хорошего происхождения» (*Johnson S.* A Dictionary of the Englich Language. London, 1877, p. 516). В сущности каждый обеспеченный человек в Англии XIX в. стал «джентльменом» (*Ерофеев Н. А.* Туманный Альбион: Англия и англичане глазами русских. 1825—1853 гг. М., 1982, с. 165—169). «Однако за пределами Англии, — пишет Н. А. Ерофеев, — в частности в России, акцент делался зачастую прежде всего на соблюдении определенных моральных норм» (там же, с. 169). Сославшись в подтверждение такого вывода на несколько русских авторов XIX в., Н. А. Ерофеев в своем интересном «имагологическом» труде, к сожалению, не учел ряда важных и показательных высказываний Гончарова, который понятия «джентльмен», «джентльменство» связывает с серьезными и глубокими своими рассуждениями о жизни, о судьбе человека. Гончаров считает необходимым отметить: в начале XIX в. слова «джентльмен» «еще не было в русском словаре» (VII, 271), что, разумеется, отнюдь не исключало «джентльменства» как явления жизни. «Это был, — вспоминал писатель о своем крестном отце и вос-

питателе, — чистый самородок честности, чести, благородства и той прямоты души, которою славятся моряки, и притом с добрым, теплым сердцем. Все это хорошо выражается английским словом „джентльмен“» (VII, 271). Что Гончаров не связывал «джентльменства» с принадлежностью к дворянству, видно из очерка «Литературный вечер»: «— Не высший, не низший, а просто круг благовоспитанных людей, то, что называется — джентльменов у англичан или порядочных людей у нас!» (VII, 94). Однако для писателя джентльменство — нечто большее, чем благовоспитанность или другой набор каких-либо «положительных» качеств, индивидуальных свойств человека. «*Порядочный человек*, — считал он, — есть тесное гармоническое сочетание *наружного* и *внутреннего, нравственного* уменья жить» (*Совр.*, 1848, № 11, отд. VI, с. 8. Под псевдонимом «А. Чельский»). Отсюда уже недалеко и до социально емкого и афористически лаконичного «приговора» Обломову: «Началось с неуменья надевать чулки и кончилось неуменьем жить» (текст, с. 306). Любопытно, что в появившемся в год выхода в свет романа «Обломов» издании (автор обозначен литерами «А. С.») «Объяснение 1000 иностранных слов, употребляющихся в русском языке» (М., 1859) слово «джентльмен» объясняется следующим образом: «В прямом смысле значит дворянин; в применении — человек с изящными манерами и аристократическими привычками, одним словом, порядочный человек, как теперь говорится» (с. 26).

15 . *жизнь есть поэзия.* — Ср. в статье В. Г. Белинского «Стихотворения М. Лермонтова» (*ОЗ*, 1841, № 2): «Поэзия есть выражение жизни, или, лучше сказать, сама жизнь» (*Белинский*, т. 4, с. 489).

16 . . *красноречивое молчание, ‹. .› не от сенатского дела.* — Сенат в России являлся одним из высших правительственных органов. Два департамента Сената ведали рассмотрением кассаций по судебным делам (уголовным и гражданским). Он являлся инстанцией, принимающей жалобы частных лиц и органов самоуправления на неправильные распоряжения министров и губернских мест.

17 *Кого не любишь, кто не хорош, с тем не обмакнешь хлеба в солонку.* — Интересно, что В. И. Даль приводит поговорку: «В сольницу хлеба не макают» с пояснением: «крошки остаются» (*Словарь*, т. 4, с. 268).

18 *После обеда мокка, гавана. .* — Речь идет о дорогих сортах кофе и сигар.

19 *Разве у меня жена сидела бы за вареньями да за грибами? Разве считала бы тальки ‹. . .› Разве била бы девок по щекам?* — Ср. в поэме А. С. Пушкина «Граф Нулин»: «Занятий мало ль есть у ней? | Грибы солить, кормить гусей. . .» (ст. 33, 34) и в «Евгении Онегине»: «Она езжала по работам, | Солила на зиму грибы, | Вела расходы, брила лбы, | Ходила в баню по субботам, | Служанок била осердясь. . .» (гл. 2, XXXII). Талька — моток ниток.

20 . . . *Casta diva, — сказал он, пропев начало каватины, — как выплакивает сердце эта женщина! — «Casta diva»* — начало арии Нормы из одноименной оперы В. Беллини (1801—1835). Выдающейся исполнительницей этой роли была Джулия Гризи (1811—1869), которая в 1849—1852 гг. гастролировала в Петербурге в Итальянской опере, вызывая всеобщее восхищение. Восторженный отзыв о пении и игре Гризи в «Норме» оставил В. П. Боткин в статье «Итальянская опера в Петербурге в 1849 году» (*Совр.*, 1850, № 1, отд. VI, «Смесь», с. 91—93). Перевод слов «Casta diva» как «Пречистая дева» во всех современных изданиях романа неточен. Пречистая дева — это обращение к богоматери. Между тем, Норма, жрица богини Дианы, принадлежит к касте друидов, жрецов древних кельтских племен, и в своей ночной молитве взывает именно к Диане, богине Луны: «Непорочная богиня, разливающая сребристые свои лучи по этому древнему, священному лесу. . .» (Норма. Двухактная лирическая трагедия. Текст Феличе Романи. Музыка Винченто Беллини. СПб., 1877, с. 17).

21 . . . *спуститься в Геркулан.* — Речь идет о древнем городе вблизи Неаполя, погибшем в 79 г. н. э. во время извержения Везувия. Раскопки города велись с 1738 г. до 30-х годов XX в.

22 . *глядя на гравюры рафаэлевских мадонн, Корреджиевой ночи; ‹. . .› на Аполлона Бельведерского.* . — Рафаэлем выполнено множество изображений богоматери, наиболее известное «Сикстинская мадонна» (1515—1519). См. об этой картине в статье Гончарова «„Христос в пустыне“ картина г. Крамского» (VIII, 68—70).

Ср. также письмо Гончарова к К. Р. (вел. кн. К. К. Романову) от 20 июля 1887 г.: «Ни Тициан, ни Гвидо Рени, ни Мурильо, ни Рубенс с Рембрандтом не достигали (хотя и гении) той высоты творчества, какой достиг Рафаэль в Сикстинской Мадонне (больше всего) и потом в других своих Мадоннах-матерях и в младенцах» (*ИРЛИ*, ф. 137 (Романова К. К.), № 65, л. 60 об.). Речь идет также о картине итальянского живописца эпохи Возрождения Корреджио (ок. 1489—1534) «Ночь», знаменитой скульптуре древнегреческого ваятеля Леохара (IV в. до н. э.) «Аполлон Бельведерский», копия которой находится в Ватикане.

23 *перевод из Сея...* — См. примеч. 10 к гл. III части первой.

24 *.сидел на студенческих скамьях в Бонне, в Иене, в Эрлангене...* — Упоминаются немецкие города, центры университетского образования.

25 — *Теперь или никогда!* — В «Словаре иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода» А. М. Бабкина и В. В. Шендецова (кн. 2, М.; Л., 1966, с. 946) приведены английский оригинал этих слов «Now or never» и пример их употребления русским писателем начала XIX в. Англоязычный источник выражения не указан.

26 *с Пречистенки ходил в Кудрино..* — Пречистенка — ныне улица Кропоткина в Москве. Кудрино — ныне район пл. Восстания в Москве.

27 *романы Коттень...* — Коттен М. С. (1770—1807) — французская писательница, автор известного в свое время исторического романа «Матильда» (1805). См. также примеч. 49 к гл. IX части первой.

28 *двенадцать лет во мне был заперт свет, который искал выхода, но только жег свою тюрьму.* — Возможно, реминисценция лермонтовского «Мцыри»: «Знай, этот пламень с юных дней, | Таяся, жил в груди моей; | Но ныне пищи нет ему, | И он прожег свою тюрьму...».

29 *уехал в Сибирь, в Ситху.* — Ситха — город на Аляске, основанный в 1799 г. русскими поселенцами.

30 *наше имя легион!* — Восходит к тексту Евангелия (Марк, гл. V, ст. 9; Лука, гл. VIII, ст. 30).

31 *Тарантас* — крытая повозка с приспособлением для уменьшения тряски. Надо полагать, что именно Обломову не случайно пришла мысль о необходимости приобретения тарантаса. В 1840-х гг. исключительной популярностью пользовалась повесть В. А. Соллогуба «Тарантас. Путевые впечатления», созданная под непосредственным воздействием «Мертвых душ» и давшая повод В. Г. Белинскому для написания одной из программных его статей. В главах повести Соллогуба «Русский барин», «Помещик» и других перед читателем представала с отрицательной стороны жизнь всех сословий России. «Такой способ изображения — сопоставление идеологии героя и русской действительности, ее подлинного положения и ее реальных запросов, проверка ими „достоинств“ героя — явится одним из основополагающих в последующем русском общественно-психологическом романе» (*Пруцков Н. И.* Русский роман 40—50-х годов. — В кн.: История русского романа. М.; Л., 1962, т. 1, с. 380).

32 *.на пароходе до Любека...* — Любек — немецкий город на побережье Балтийского моря.

V

написанное огнем на стенах, как Бальтазару на пиру. — По библейской легенде, на стенах чертога, в котором пировал царь Валтасар, внезапно появились огненные слова «Мани — факел — фарес» (исчислено, взвешено, разделено), предвещавшие гибель его царства (Кн. пророка Даниила, гл. V).

2 *Этот* <...> *вопрос был для него глубже гамлетовского.* — Имеется в виду начало монолога Гамлета в одноименной трагедии В. Шекспира (д. 3, явл. 1): «Быть или не быть — вот в чем вопрос» (пер. Н. А. Полевого, 1837).

3 *...англичане послали корабль на Восток...»* — Возможно, имеется в виду рейд английской эскадры к Дарданеллам в июне 1853 г., за 10 месяцев до начала Крымской войны.

бумага, даже гербовая... — Такая бумага (с изображением герба) употреблялась для официальных документов. Ее стоимость — пошлина за делопроизводство.

[5] *...в домашнем пальто..* — Пальто (устар.) — мужская домашняя одежда.

[6] *Одни считали ее простой, недальней, неглубокой...* — В *Словаре* В. И. Даля такое пояснение: недальний — «человек добрый, но не дальный умом» (т. 2, с. 510).

[7] *Он ‹...› смотрел на нее как будто не глазами, а мыслью, всей своей волей, как магнетизер...* — По *Словарю* В. И. Даля (т 2, с. 288), «магнетизировать — подвергать действию животного магнетизма, лишая сознательности, свободной воли...». Вплоть до 1860-х гг. представления о гипнозе основывались на допущении особых «флюидов», или магнетических волн, якобы распространяемых магнетизером.

VI

в боскете. — Боскет (фр. bosquet) — небольшая искусственная рощица, садик с подстриженными деревьями.

VII

[1] *Счастливый, сияющий, точно «с месяцем во лбу».* — Фольклорный мотив, восходящий, по указанию Б. А. Рыбакова, к древнейшим славянским преданиям (*Рыбаков Б. А.* Язычество древних славян. М., 1981, с. 593). В *Словаре* В. И. Даля зафиксировано народное речение: «Еще какого захотела ‹жениха›, во лбу месяц, а в затылке ясны звезды?» (т. 2, с. 371).

[2] *...в Абиссинию пошлет!* — Абиссиния — принятое в Европе XIX в. название Эфиопии.

[3] *.. играет, как будто на инструменте...* — По-видимому, реминисценция трагедии В. Шекспира «Гамлет» (ср. реплику Гамлета в д. 3. явл. 2).

VIII

[1] *На цепочке висит золотой лорнет.* — Лорнет (ниже: лорнетка, фр. lorgnette) — складные очки в оправе с ручкой.

[2] *имения Ольги, которое как-то попало в залог при одном подряде, да там и село.* — Подряд — договор, по которому определенное лицо обязуется за известную цену выполнить указанную в договоре работу или поставить какие-либо товары, материалы. При заключении подрядного договора с государственным учреждением подрядчик был обязан предварительно обеспечить качество и своевременность выполнения обусловленных работ, для чего вносил в залог свое имущество на сумму до одной третьей части стоимости подряда.

[3] *в петлице фрака носил много ленточек.* — В рукописи уточнение: «орденских ленточек» (л. 85 об. арх. паг.). Ленточки в петлице указывают на то, что ордена — иностранные.

[4] *.надел эполеты...* — Эполеты — парадные офицерские погоны. «Для получения первого офицерского чина не обязательно было иметь военное образование: военные науки преподавались в ряде гражданских учебных заведений, а некоторые из дворян брали домашние уроки или слушали частные лекции по военным предметам. Студент из дворян по указу 3 ноября 1806 г. лишь три месяца служил рядовым и три месяца подпрапорщиком, после чего получал офицерский чин» (*Лотман*, с. 47—48).

[5] *протанцевала ‹...› несколько контрдансов..* — Контрданс (англ. country-dance) — старинный танец, род кадрили.

[6] *примолвили после.* — Примолвить — сказать в дополнение к старому.

[7] *...заглядывал в куртины...* — Куртина (фр. courtine) — группа деревьев одной породы, участок леса, сада.

[8] *перед ними Рубикон ‹...› надо перешагнуть.* — «Перейти Рубикон» — крылатое выражение, означающее принятие бесповоротного решения (в 49 г. до н. э., перейдя реку Рубикон, Юлий Цезарь начал гражданскую войну).

9 *Ольга, как всякая женщина в первенствующей роли, то есть в роли мучительницы ‹. . .› не могла отказать себе в удовольствии немного поиграть им по-кошачьи. .* — Это один из любимых гончаровских образов, часто встречающийся в его письмах, использованный в романе «Обрыв». Он, вероятно, восходит к басне Лафонтена «Кошка, превращенная в женщину», две строки которой в вольном переводе Н. М. Карамзина были включены в его повесть «Чувствительный и холодный. Два характера» (1803).

10 *читал «Историю открытий и изобретений».* — Вероятно: *Beckmann J.* A History of Inventions. Discoveries and Origins. 2 v. London, 1846.

11 *Сонетку ‹. .› барону.* — Сонетка (фр. sonnette) — комнатный звонок для вызова прислуги, приводимый в действие лентой, шнурком; Ольга вышивает, по-видимому, ленту.

IX

1 *Галатея, с ‹. .› Пигмалионом.* — Пигмалион — легендарный древнегреческий скульптор. Он влюбился в созданную им статую женщины. Богиня Афродита оживила статую, и Пигмалион женился на Галатее.

2 *заиграет музыка нерв, услышите шум сфер, будете прислушиваться к росту травы.* — Вспоминая эту сцену в письме к Е. А. и С. А. Никитенко от 16 (28) августа 1860 г., Гончаров писал: «Это силы играют ‹. . .› от рождающегося чувства любви; натура в известный период просыпается, обожженная жизнью, просит движения, жаждет деятельности и наслаждения. . .» (VIII, 305). Шум сфер — реминисценция пифагорейской философии, вошедшая в романтическую концепцию любви, весьма распространенную в русской поэзии 1820-х гг. Ср., например, в «Пятой фракийской элегии» В. Г. Теплякова: «Душой гармонию Вселенной | И хор небесных сфер он слышал, упоенный, | В святом безмолвии страстей!». В авторских примечаниях Тепляков приводит цитату из хорошо известного Гончарову романа Ж.-Ж. Бартелеми «Путешествие молодого Анахарсиса по Греции» (1788, рус. пер. 1803—1819): «Движения тел небесных производят сладкую, божественную гармонию. Музы, сиренам подобные, поставили на звездах свои престолы. Они-то учреждают мерное течение горних сфер и присутствуют при той вечной, восхитительной музыке, которая слышна только в безмолвии страстей и наполняла, как уверяют, душу Пифагорову чистою радостью» (Поэты 1820—1830-х годов. Л., 1972, т. 1, с. 631, 657. *БП БС*). Рост травы — реминисценция стихотворения Е. А. Баратынского «На смерть Гете» («И чувствовал трав прозябанье. . .»), характеризующего творческие силы человека. Таким образом, в данном эпизоде Гончаров сближает две сферы человеческого переживания: любовную и творческую.

3 *«Ах, если б испытывать только эту теплоту любви, да не испытывать ее тревог!* . — Восходит к пушкинскому стихотворению «Выздоровление», которое Гончаров иронически использовал позже в «Обрыве» (ч. II, гл. 12).

4 *съездить ‹. . .› на Иматру.* — Иматра — водопад на реке Вуокса в Финляндии.

5 . *читал «Revue».* — Имеется в виду, вероятно, петербургский журнал «Revue étrangère de la littérature, des sciences et des arts», издававшийся в 1832—1863 гг. В нем печатались произведения иностранных, по преимуществу французских, авторов, а также информация о заграничной жизни.

6 . *сослаться на Гершеля.* — Имеются в виду английские астрономы В. Гершель (1738—1822) или, вероятнее, его сын Дж. Гершель (1792—1871), изучавшие двойные звезды, т. е. близкие друг к другу и составляющие физические системы. В 1847 г. на русский язык была переведена главная популяризаторская работа Дж. Гершеля «Очерки астрономии». Пассаж о двойных звездах в рукописи отсутствовал и появился лишь в первой публикации романа. Ср. также во «Фрегате „Паллада“»: «Я думал, что Гершель здесь делал свои знаменитые наблюдения над луной и двойными звездами, но нам сказали, что его обсерватория была устроена в местечке Винберг, близ Констанской горы. . .» (II, 160).

7 *бросался ‹. .› за новыми увражами. . .* — Увраж (фр. ouvrage) — крупное, богато иллюстрированное издание.

[8] *«Это слова... как будто Корделии!»* — Растроганный Обломов вспоминает, повидимому, сцену из шекспировского «Короля Лира», в которой Лир выслушивает слова дочерней любви и поражен речами Корделии: «Моя любовь не скажется словами. | Я, государь, люблю вас так, как мне | Мой долг велит, не больше и не меньше» (д. 1, сц. 1, пер. А. В. Дружинина. — *Совр.*, 1856, № 11, с. 221).

[9] *И Ольга не справлялась, поднимет ли страстный друг ее перчатку, ‹...› бросится ли для нее в бездну...* — Намек на стихотворения Ф. Шиллера «Der Handschuh» и «Der Taucher» («Перчатка» и «Кубок» в пер. В. А. Жуковского).

X

[1] *— Пейте квас: не отравитесь, — язвила она.* — «Квас — принадлежность русской допетровской кухни — считался напитком национальным и простонародным» (*Лотман*, с. 205).

[2] *Иисус Навин* (библ.) — сподвижник Моисея; остановив солнце, продлил день, чтобы довести до конца сражение, сулившее победу его народу (Кн. Иисуса Навина, гл. X, ст. 12).

XI

[1] *Вот почитаешь о французах, об англичанах ‹...› стрелять львов или змей ловить.* — В период работы Гончарова над романом в «Современнике» (1848, № 6, отд. IV, Смесь) публиковалось в пер. Вл. Н. Майкова «Путешествие английского туриста по Востоку» (в пер. В. А. Солоницына — № 5, в пер. неизв. авторов — №№ 3, 4), а в «Репертуаре и Пантеоне» (1846, № 11, Смесь, с. 392—394) была помещена заметка, перепечатанная «из одной французской газеты», — «весьма интересное письмо одного охотника за львами в Алжире».

[2] *в благородной праздности...* — См. примеч. 7 к гл. I.

[3] *выселить ‹...› на пустошь* — т. е. на невозделанный, незаселенный участок земли.

[4] *документы для заклада имения в совет.* — Имеется в виду Опекунский совет, который осуществлял контроль за соблюдением личных и имущественных прав недееспособных лиц (малолетних, душевнобольных и т. п.). При Опекунских советах существовали ссудные кассы, выдававшие деньги под залог имущества. Для залога требовалось закладное письмо, или закладная, — подробная опись имущества, удостоверенная официально или двумя свидетелями.

[5] *сколько ни ошибался он в людях, сколько бы ни ошибся еще, страдало его сердце, но ни разу не пошатнулось основание добра и веры в него.* — Ср. письмо Гончарова к И. И. Льховскому от 25 (13) июня 1857 г.: «Кажется, пропасть дурного — бездонна в человеке, но чуть ли источник хорошего еще не глубже и неиссякаемее. ‹...› Я хочу сказать, что глубина дурного не превышает глубину хорошего в человеке и что дно у хорошего даже да у него просто нет дна, тогда как у зла есть...» (VIII, 230).

[6] *Селадон* — дамский угодник, волокита (по имени героя романа «Астрея» французского писателя Оноре д'Юрфе (1568—1625)).

XII

[1] *— Ты вошла бы в залу, и несколько чепцов пошевелилось бы от негодования...* — Ср. широко бытовавшую в XIX в. французскую поговорку о женщинах, пренебрегающих общественным мнением: «Une femme qui jete son bonnet par-dessus le moulin» («Женщина, которая забросила свой чепчик за мельницу»). Ср., например, в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина» слова княгини Бетси, адресованные Анне: «Положим, я забросила свой чепец через мельницу, но другие поднятые воротники будут вас бить холодом, пока вы не женитесь» (ч. V, гл. 28).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

[1] *Сейчас в управу подаст...* — Имеется в виду управа благочиния, орган городского полицейского управления с судебными функциями по мелким гражданским и уголовным делам.

[2] — *Ну так заплати же мне теперь по крайней мере за извозчика ‹...› три целковых ‹. .› Да отсюда три целковых — вот двадцать два рубля!* — Шесть целковых (см. примеч. 7 к гл. IV первой части) в переводе на ассигнационные рубли (см. примеч. 2 к гл. V первой части) составляют 21 р. Следовательно, верный себе, Тарантьев пытается обсчитать Обломова на рубль. Но затем, забывая об этом, он, получив от Обломова четыре целковых (14 р. ассигнациями), ожидает от него еще семи рублей, т. е. производит правильный расчет.

[3] — *Отсюда дилижанс ходит за полтинник...* — Судя по стоимости проезда в Петербург дилижансом, Обломов жил в Парголове (*Михневич*, с. 66). Это подтверждается и расстоянием до города, указанным Обломовым в письме к Штольцу: «...я живу на даче, в двенадцати верстах от города...» (см.: Варианты, с. 464). Гончаров и сам неоднократно бывал в этой живописной местности, где летом поселялись многие его друзья и знакомые.

II

[1] *Что это все они как будто сговорились торопиться жить!»* — Слова Обломова напоминают о стихотворении П. А. Вяземского «Первый снег»: «По жизни так скользит горячность молодая, | И жить торопится, и чувствовать спешит!», строка которого послужила эпиграфом к I главе пушкинского «Евгения Онегина».

[2] *мне надо искать квартиру в другой части города.* — Часть — район Петербурга. Город делился на части, отличающиеся уровнем городского благоустройства, характером застройки, социальным, а иногда и национальным составом населения, так что они образовывали как бы город в городе (выразительные характеристики частей Петербурга в кн.: *Михневич*).

[3] — *В канцелярии ‹...› Где мужиков записывают...* — Имеется в виду казенная палата.

[4] *...с Николы перестала...* — День св. Николая Чудотворца праздновался два раза в году: 6 декабря и 9 мая ст. стиля.

[5] *в Ильинскую пятницу, на Пороховые Заводы ходили.* — Ильинская пятница — пятница той недели, на которую приходится Ильин день (20 июля ст. стиля). Пороховые заводы находились в пригороде Петербурга, граничащем с Выборгской частью, в 1720 г. там была построена церковь пророка Илии (*Михневич*, с. 165).

[6] *Братец ‹...› на тоню ходят...* — Тоня — место, где за особую плату ловят рыбу; рыбная ловля.

[7] *Колпино* — селение (ныне город) вблизи Петербурга, где 9 мая ст. стиля, в день св. Николая, бывала многолюдная праздничная ярмарка, на которую приезжали жители столицы (Колпино, селение Ижорских императорских заводов. СПб., 1854, с. 63—70).

[8] *Двадцать четвертого июня братец именинники...* — т. е. в Иванов день.

[9] *Ерани* — герань.

[10] *...в резинковых...* — В *Словаре* В. И. Даля форма «резиновые» отсутствует; имеется «резинные» и «резинковые» (т. 4, с. 90).

[11] *Морская* (Большая и Малая) — ныне ул. Герцена и ул. Гоголя в Ленинграде.

[12] *Конюшенная* (Большая и Малая) — ныне ул. Желябова и Перовской в Ленинграде.

III

[1] *Летний сад* — самый старый сад Петербурга—Ленинграда, разбитый в 1704 г. на левом берегу Невы.

IV

[1] — *Абонируйся в кресло, — прибавила она <...> «Господи! — подумал он в ужасе. — А у меня всего триста рублей денег».* — Абонемент на кресла обычно приобретался богатой публикой. А. С. Пушкин, например, такой возможности не имел (*Лотман*, с. 150). В 1853 г. цена за кресло в Большом театре Петербурга во время гастролей Итальянской оперы доходила до 8 р. (*Театрал.* с. 118).

[2] *...по части <...> чистки блонд.* — Блонды (фр. blondes) — шелковые кружева.

[3] — *К Рождеству: это наш приход.* — Гончаров обычно очень точен в топографии Петербурга (см. примеч. 1 к 10-й гл. части четвертой). Однако ни одним известным нам справочником не подтверждается то, что на Выборгской стороне была церковь Рождества.

[4] *повторить каватину.* — Каватина (ит. cavatina) — небольшая ария лирического характера.

[5] *Успеньев день* — церковный праздник в память смерти (успения) Богородицы (15 августа ст. стиля).

V

feuilles d'automne... — название сборника стихотворений В. Гюго (1831, рус. пер. 1832).

[2] — *Смольный монастырь* — архитектурный ансамбль на левом берегу Невы, построенный в 1748—1764 гг. по проекту В. Растрелли.

VI

[1] *Азы* — буквы.

[2] *...некогда покладываться, — отвечала она, уклоняясь опять от стула.* — В *Словаре* В. И. Даля (т. 3, с. 241) «поклад» — залог, заклад, условье, уговор с пометой, что в Академическом словаре ошибочно вместо «проклад» от «проклажаться». «Проклажаться» Даль комментирует так: «наслаждаться, тешиться, нежиться, долго спать, мало работать и пр.» (т. 3, с. 490). Надо полагать, что Гончаров имеет в виду именно глагол «проклажаться».

[3] *Это все Андрей: он привил любовь, как оспу, нам обоим.* — Возможно, что этот оригинальный образ запомнился Л. Н. Толстому: в романе «Анна Каренина» (ч. 2, гл. 7) в салоне княгини Бетси говорят: «— Но браками по рассудку мы называем те, когда уже оба перебесились. Это как скарлатина, чрез это надо пройти. — Тогда надо выучиться искусственно прививать любовь, как оспу».

[4] *...мосты сняли, и Нева собралась уже замерзнуть.* — Речь идет о Литейном мосте, соединяющем центр города с Выборгской стороной, который был устроен на плашкоутах, т. е. не был постоянным, а наводился по мере возможности при благоприятных условиях на реке (*Михневич*, с. 107).

VII

[1] *...в чайном магазине <...> дожидаются.* — В 1890-х гг., как, по-видимому, и в описываемое в романе время, чайная торговля располагалась в д. 29 по Симбирской улице (Адресная книга С.-Петербурга на 1892 г. СПб., 1892, с. 604), т. е. невдалеке от дома, где поселился Обломов.

[2] *...сходить к Сергию пешком.* — Возможно, имеется в виду Троицко-Сергиевский монастырь в Стрельне, близ Петербурга.

[3] *...ехать на Рыбинскую пристань...* — Эта пристань на Волге была крупным центром рыбной и хлебной торговли, главной перевалочной базой для волжских грузов, направляющихся в Петербург.

VIII

[1] ...*распределить барщину*. — Барщина — см. примеч. 37 к гл. II части первой.
[2] ...*сколько <...> хлеба <...> ссыпано в магазины*... — Магазин — амбар, склад.
[3] *Есть такие молодцы, что весь век живут на чужой счет, наберут, нахватают справа, слева, да и в ус не дуют!* — Ср. высказывание Гончарова в его воспоминаниях «На родине»: «Итак, он жил прежде всего долгами, как отец Онегина, по словам Пушкина. Тогда, кажется, и все старое поколение пробавлялось этим способом: только „ленивый“, по пословице, не делал долгов. Когда, бывало, упрекнут когонибудь долгами, у виноватого всегда был готов стереотипный ответ: „У кого их нет?“ <...>

Долги делались и не платились как-то помимо всяких вопросов о нравственности, как хождение в церковь и усердное исполнение религиозных обрядов у многих молящихся часто не вяжется с жизнью» (VII, 300).

IX

[1] ...*тридцать рублей с тягла*. — Тягло — податная обязанность, объект налога (участок пашни, надел крестьянской семьи).
[2] *Четверть* — старая русская мера объема сыпучих тел (около 210 л).
[3] *Прогоны* — деньги, предназначенные на оплату за проезд на почтовых лошадях, см. примеч. 21 ко II главе части первой.

X

[1] *«Заведение»* — в просторечии — трактир.
[2] ...*стояло двое-трое <...> дрожек*... — Дрожки — легкий четырехколесный экипаж.
[3] *Надзиратель* квартальный — одна из низших офицерских должностей городской полиции.
[4] *Литейная* — улица, соединяющая Неву с Невским проспектом.

XI

[1] *Царское Село* — ныне г. Пушкин, вблизи Ленинграда.
[2] *«Да, я скуден, жалок, нищ... бейте, позорьте меня!..»* — По смыслу и ритму, возможно, восходит к Евангелию (Апокалипсис, гл. III, ст. 17—18): «Ибо ты говоришь: „я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды“; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг».

XII

[1] *Наметался* — по *Словарю* В. И. Даля, «набил руку, сноровился, получил навык» (т. 2, с. 439).

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

[1] *Троица* — христианский праздник на пятидесятый день после пасхи.
[2] *Первое мая* — в прошлом народный праздник в честь весеннего возрождения природы, имеющий очень древнее происхождение.
[3] ...*на Смоленском кладбище*... — Оно находится на Васильевском острове, на берегу реки Смоленки. 28 июля ст. стиля в кладбищенской церкви бывала праздничная служба в честь иконы Смоленской богоматери.
[4] *Милютины лавки* — торговые ряды на Невском проспекте (ныне д. 27).

[5] *Пулярдка* (фр. poularde) — курица, специально откормленная для стола.

[6] *вино он брал с биржи...* — Биржа — торговая площадь, рынок, торговая пристань.

[7] *...непокладные руки, которые обошьют их, накормят, напоят, оденут и обуют и спать положат.* — Намек на русскую пословицу: «Раздень меня, разуй меня, уложи меня, покрой меня, переверни меня, перекрести меня, а там, поди, усну я сам» (*Даль В. И.* Пословицы русского народа. М., 1862, с. 563). На использование этой пословицы в тексте романа обратил внимание А. Г. Цейтлин, но прямого перифраза ее он не заметил (*Цейтлин*, с. 379). Существенно также указание исследователя на повесть В. И. Даля «Павел Алексеевич Игривый», опубликованную в 1847 г., в которой помещик в разговоре со слугой почти буквально воспроизвел названную пословицу (там же, с. 485).

II

. *какому-то господину с большим крестом на шее.* — Форму большого креста, который носился на ленте, надеваемой на шею, имели несколько российских орденов.

[2] — *Наш-то столбовой..* — Столбовой дворянин — принадлежащий к старому дворянскому роду.

[3] .*не пожалел третного <. .> жалованья.* — Т. е. жалования за четыре месяца.

III

.. *он его еще акциями допечет.* — См. примеч. 14 к IV главе первой части.

[2] *Магарыч* — по *Словарю* В. И. Даля, «угощенье <...> при сделках и продажах, род взятки, побора» (т. 2, с. 288).

[3] *заемное письмецо...* — Заемное письмо — письменное обязательство лица, которому передается заем.

IV

[1] *Лион* — город во Франции, крупный центр промышленности и международной торговли, известный своими ежегодными ярмарками.

[2] *Рубини* Дж. (1795—1854) — итальянский оперный певец. В 1843—1845 и 1847 гг. гастролировал в итальянской опере в Петербурге.

[3] *Вспомнила <...> писателей, «мыслителей о любви»...* — В рукописи эти слова отсутствуют, появились на завершающей стадии работы над романом, возможно в корректуре. Таким образом, есть основания для предположения, что внимание Гончарова привлекла опубликованная в «Отечественных записках» (1859, № 3, с. 1—28) статья Н. Н. (Н. С. Назарова) «Нынешняя любовь во Франции» (по поводу книги Мишле), в которой дается выразительный перечень книг: «L'Amour» p. *J. Michelet*, «De L'Amour» p. *de Stendhal*, «De L'Amour et de la Jalousie», p. *P. J. Stahl*, «Le bien et le mal qu'on a dit de l'amour» p. *E. de Deschanel,* «Les femmes», p. *A. Karr,* «Encor les femmes» p. *A. Karr*, «Les femmes comme elles sont» p. *A. Houssaye*, «Phisiologie du mariage» p. *H. de Balzac*, «The Koran» by *L. Sterne*, «Madame Bovary (Mœurs de province)» p. *G. Flaubert,* «Fanny», étude p. *E. Feydeau*, «Le roman d'un jeune homme pauvre» p. *O. Feuillet*, «Geschichte der französischen Litteratur» von J. Smidt.

К Фелье Гончаров относился отрицательно. Ср. в рукописи начала 4-й главы IV части «Обрыва» вошедший в окончательную редакцию романа неполностью дневник Райского: «Пусть бы пришли наши Шекспиры сюда, и вон те петербургские и другие знатоки и толкователи так называемых „тайн сердца" и страстей и выложили бы тут свои понятия и философию, почерпнутую с досок Михайловского театра, из этих глубоких сердцеведцев Эмилей Ожье, Октавов Фельё и К°» (*ИРЛИ*, ф. 163, оп. 1, № 84, л. 10 об. арх. паг.). Гончаровские оценки других перечисленных выше (кроме «Госпожи Бовари») произведений неизвестны. И, видимо, иронию Гончарова вызвали и сами попытки теоретизировать на тему «о любви». Ср. также за-

мечание во «Фрегате „Паллада"»: «Если много явилось и исчезло разных теорий о любви, чувстве, кажется, таком определенном, где форма, содержание и результат так ясны, то воззрений на дружбу было и есть еще больше. В спорах о любви начинают примиряться; о дружбе еще не решили ничего определительного...» (II, 40).

[4] *..стала бы заниматься «добрыми делами»...* — Кавычки, введенные в издании 1862 г., подчеркивают цитатность этих слов, намекающих на Послание апостола Павла к ефесянам (гл. II, ст. 10): «Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять».

[5] *сказала ‹...› про корнета.* — Корнет — первый офицерский чин в дореволюционной кавалерии.

[6] *Немезида* (греч. миф.) — богиня возмездия.

«Оставь надежду навсегда» — надпись над вратами ада в «Божественной комедии» Данте (Ад, III).

[8] *«Ваше настоящее люблю...* — Здесь текст письма не полностью совпадает с его текстом на с. 197.

V

французский горошек... — Были распространены два сорта парникового сахарного горошка из Франции: парижский и де Грас.

[2] *Фермуар* (фр. fermoir) — ожерелье.

[3] *пошел поблизости, в публичный сад.* — Имеется в виду Безбородкин сад (см. примеч. 4 к главе IV части первой); в описываемое время в нем размещалось увеселительное заведение «Тиволи».

VII

курьер от генерала... — По Табели о рангах гражданским чинам 4—2-х классов (от действительного статского до действительного тайного советника) соответствовал военный чин генерала различных ступеней (генерал-майор, генерал-лейтенант и т. д.).

[2] *.язык прильпе к гортани.* — Восходит к псалму 136 (ст. 6).

[3] *— Да я бы его повесил! ‹...› — И тебя бы на одну осину!* — В апокрифических преданиях говорится о том, что, не выдержав мук совести, Иуда повесился на осине. В народном сознании «осина проклятое дерево...», годное лишь для того, чтобы на нем повесить преступника. «На осину б его! — удавить» (*Даль. Словарь*, т. 2, с. 696).

[4] *обнес перед начальством...* — Обнести — очернить, оклеветать, оговорить.

[5] *Бесчестье? Ты заплатишь мне за это! Сейчас просьбу генерал-губернатору.* — По уложению 1845 г. бесчестье, или личная обида, являлось уголовно наказуемым деянием. В то же время обиженный мог, не возбуждая уголовного дела, предъявить иск для присуждения платы за бесчестие (*Собрание 2*, т. 20, ч. 1, с. 957—958). Просьба — иск, жалоба. Генерал-губернатор — в дореволюционной России начальник края с высшей военно-административной властью.

VIII

[1] *Флигель* (флюгель) — старинный клавишный музыкальный инструмент, напоминающий современный рояль.

[2] *Эрар С.* (1752—1831) — французский фабрикант музыкальных инструментов.

[3] *...любовь, с силою Архимедова рычага, движет миром..* — Греческий ученый Архимед (ок. 287—212 гг. до н. э.) дал математический вывод законов рычага. Ему приписывают фразу: «Дайте мне точку опоры, и я сдвину землю». Любопытно, что Штольц высказывается здесь как типичный романтик. В этом смысле его слова сопоставимы, например, с «Дон Жуаном» А. К. Толстого: любовь «законами живыми | Во всем, что движется, живет. | Всегда различна от вселенной, | Но вечно с ней съединена, | Она для сердца несомненна, | Она для разума темна». Восходит,

вероятно, к «Божественной комедии» Данте: «Но страсть и волю мне уже стремила, | Как если колесу дан ровный ход, | Любовь, что движет солнца и светила» (пер. М. Лозинского).

[4] *...на их Хлой с барашками.* — Хлоя — героиня буколического («пастушеского») романа древнегреческого писателя Лонга (II—III вв.).

[5] *. удавившиеся Вертеры...* — Вертер — герой сентиментального романа И. В. Гете «Страдания молодого Вертера» (1774); несчастная любовь и уязвленное самолюбие приводят его к самоубийству.

[6] *..видел сфинкса с его загадкой...* — Сфинкс (греч. миф.) — чудовище, убивавшее тех, кто не мог разгадать загадку, которую оно загадывало.

[7] *улыбка сатира...* — Сатир (греч. миф.) — низшее лесное существо, в мифах изображаемое ленивым, полупьяным, похотливым.

[8] *...от праздного раздражения мысли.* — Ср. в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Не верь себе»: «Иль пленной мысли раздраженье».

[9] *. бранила его «старым немецким париком».* — Ср. фр. vieille perruque (букв.: старый парик) — упрямый рутинер, консерватор.

[10] *...гордиться «ученой женой».* — Ср. название комедии Мольера «Ученые женщины».

[11] *...синий чулок* (англ. blue-stocking) — насмешливо-презрительное название женщин, поглощенных учеными интересами и равнодушных к своей внешности. Восходит к названию литературно-ученого кружка в Англии, во главе которого стоял Б. Стеллингфлит (1702—1751). Пренебрегая модой, он носил синие чулки. По другой версии синие чулки носили дамы, члены этого кружка.

[12] *Прометеев огонь* — в переносном значении — знание.

[13] *Мы не Титаны с тобой ‹...› не пойдем, с Манфредами и Фаустами..* — Титаны (греч. миф.) — божества старшего поколения, восставшие против Зевса, богоборцы, наделенные физической и духовной мощью. Манфред — герой философской поэмы Байрона «Манфред» (1817). Фауст — герой одноименной трагедии И. В. Гете (завершена в 1831 г.).

[14] *таких людей мало; они редки; это перлы в толпе!* — Похвальное слово Штольца обломовскому сердцу вызвало резкое несогласие Н. А. Добролюбова. Процитировав слова Штольца, Добролюбов писал: «Распространяться об этом пассаже мы не станем; но каждый из читателей заметит, что в нем заключена большая неправда» (*Добролюбов*, т. 4, с. 338). Нельзя полностью исключить предположения, что и в романе «Что делать?» присутствует своеобразная полемика Н. Г. Чернышевского с Гончаровым. Гимну обломовскому сердцу Чернышевский противопоставляет характеристику «особенного человека» Рахметова: «Мало их, но ими расцветает жизнь всех; без них она заглохла бы, прокисла бы; мало их, но они дают всем людям дышать, без них люди задохнулись бы. Велика масса честных и добрых людей, а таких людей мало; но они в ней — теин в чаю, букет в благородном вине; от них ее сила и аромат; это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли» (*Чернышевский Н. Г.* Что делать?: Из рассказов о новых людях. Л., 1975, с. 215). Правда, Чернышевский утверждал, как раз в период работы над «Что делать?», что он прочел «полторы из четырех частей „Обломова"» и не предполагает прочитать «когда-нибудь остальные две с половиною» (*Чернышевский Н. Г* Полн. собр. соч.: В 15-ти т. М., 1939, т. 1, с. 634), но с данным пассажем он несомненно был знаком по статье Н. А. Добролюбова «Что такое обломовщина?» (в 1862 г. он издавал четырехтомное собрание сочинений Добролюбова). См. также статью: *Егоров Б. Ф.* Кого пародировал Н. Г. Чернышевский в рецензии на книгу Н. Готорна? — в кн.: Вопросы изучения русской литературы XI—XX веков. М.; Л., 1958, с. 321—322.

IX

[1] *Корчаги* — большие глиняные или чугунные горшки.

[2] *Надо перо другого Гомера, чтобы исчислить с полнотой и подробностью...* — Для стиля гомеровского эпоса характерно поразительное искусство детализированного, пластически выразительного, поэтизирующего описания: труда земледельца

или ремесленника, мирного и военного быта, сражений, поведения и поступков героев, их внутреннего состояния (см.: *Лосев А. Ф.* Гомер. М., 1960, с. 257—267; *Сахарный Н.* Гомеровский эпос. М., 1976, гл. VIII, IX). «Что или кто был реальнее Гомера, — писал Гончаров П. А. Валуеву 6 июня 1877 г. — Какая правда в живописи деталей: в пирах, в битвах, в описаниях ран, до мелочных описаний домашней жизни, утвари в „Одиссее“? etc. etc. etc.» (VIII, 439).

[3] *Кухня была <...> палладиумом <...> хозяйки...* — Палладиум (лат. palladium) — защита, оплот.

[4] *...макароны с пармезаном...* — Пармезан — сорт сыра.

точно в диораме... — Диорама (греч. dia — насквозь, horama — вид) — вид живописи, при которой изображение выполняется на просвечивающем, специально освещенном материале.

[6] *...молила бога, чтоб <...> избавил его от всякой «скорби, гнева и нужды»..* — Точная молитвенная формула (по Часослову): «...избави нас от всякия скорби, зол и болезней».

[7] *чепцы заказывались <. .> чуть ли не на Литейной, башмаки не с Апраксина, а из Гостиного двора, а шляпка — представьте, из Морской!* — Перечисляются городские районы (части), в которых располагались дорогие магазины и мастерские (см. также примеч. 1 к гл. I части первой, примеч. 2 к гл. II части третьей).

[8] *Вот какая философия выработалась у обломовского Платона и убаюкивала его среди вопросов и строгих требований долга и назначения!* — Гончаров намекает, по всей вероятности, на диалог Платона (427—347 гг. до н. э.) «Теэтет», в котором, по характеристике В. С. Соловьева, помещена «речь об истинном философе, как чистом теоретике, находящем свою свободу и достоинство в намеренном отчуждении ото всего практического, делового, житейского, как „рабского“ и „унизительного“» (статья «Платон» в Энциклопедическом словаре Брокгауза—Ефрона).

[9] *Дмитриев И. И.* (1760—1837) — русский поэт-сентименталист.

[10] *Обетованная земля* — т. е. обещанная. Выражение восходит к Библии (Исход, гл. III, ст. 8, 17).

X

[1] *Многое переменилось и на Выборгской стороне: пустая улица, ведущая к дому Пшеницыной, обстроилась дачами.* — А. Ф. Кони определенно указывал на Симбирскую улицу (со второй половины XVIII до середины XIX в. она называлась Бочарной, ныне — ул. Комсомола — см.: *Горбачевич К., Хабло Е.* Почему так названы? Л., 1985, с. 165): «От академии мы сворачиваем вправо и по длинной Симбирской улице, совершенно провинциального типа, очень хорошо описанной Гончаровым в „Обломове“, приходим, миновав Новый Арсенал, в пригородную местность, носящую название Полюстрово...» (*Кони А. Ф.* Петербург. Воспоминания старожила. — Собр. соч.: В 8-ми т. М., 1969, т. 7, с. 36). Другие топографические приметы также «сходятся» к этой улице (см. примеч. 3, 4 и 5 к гл. IV части первой; 5 к II гл., 3 к IV гл., 1 к VII гл. части третьей).

[2] *Четвертак* — серебряная монета в четверть рубля.

[3] *...указывая на нее просвирне...* — Просвирня — женщина, занимающаяся выпечкой просвир (просфор, просфир), белых круглых хлебцев, употребляемых в православном богослужебном обряде.

XI

[1] *Не хочешь ли писать «Mystères de Pétersbourg»?* — Иронический намек на роман Э. Сю «Парижские тайны» («Les Mystères de Paris»). В России 1840-х гг. был также популярен роман «Тайны Лондона» французского писателя Поля Феваля (1817—1887), который он издал под псевдонимом Френсис Троллоп. О романе Э. Сю В. Г. Белинский писал: «...по выходе этого романа отдельным изданием, он в короткое время был расхватан, прочитан, перечитан, зачитан, растрепан и затерт на всех концах земли <...> возбудил множество толков, еще более нелите-

ратурных, нежели сколько литературных, и породил великое желание подражать ему...» (*Белинский*, т. 8, с. 168).

[2] *она померла в холеру...* — Скорее всего имеется в виду эпидемия холеры, начавшаяся в Петербурге весной 1848 г. Отдельные вспышки заболевания наблюдались и в начале 1854 г.

[3] *понес посуду* ‹...› *богемскую.* Богемия — устаревшее название Чехии, которая издавна славилась изделиями из хрусталя.

[4] *булавой наотмашь.* — Булава — жезл, длинная палка с шаром наверху, принадлежность парадной формы швейцара.

[5] *старуху смял, в часть взяли...* — Часть — отделение городской полиции в дореволюционной России.

ПРИМЕЧАНИЯ К ВАРИАНТАМ РУКОПИСИ

1. ПРИМЕЧАНИЯ К ЗАПИСЯМ НА ПОЛЯХ

Об особенностях творческого процесса Гончарова и значении маргиналий («программ») на полях рукописи подробно см. выше, с. 562—565. В данном разделе комментируется содержание авторских «программ» в его соотношении с окончательным текстом романа.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

[1] *Сон Обломова* — единственная глава романа, имеющая название, впервые напечатана в *ЛС*. Рукопись главы не сохранилась. Мы располагаем лишь автографом начала главы, находившимся в собрании Ф. Л. Шардиуса — архивариуса Петербургской академии и хранителя медалей и антиков Эрмитажа. В 1852 г. собрание было пожертвовано его владельцем Тартускому (тогда Дерптскому) университету. В фундаментальной библиотеке университета в настоящее время хранится двойной лист, на котором рукой Гончарова записано начало главы «Сон Обломова» от слов: «Где мы? В какой благословенный уголок земли перенес нас сон героя?» и до слов: «...так глубоко хоронит его отважные замыслы». Существенных разночтений с окончательным текстом нет. Данный отрывок — вовсе не часть полной рукописи главы, как это принято считать, а именно образец почерка, запись, произведенная, по всей вероятности, специально для коллекционера (хотя сведениями о знакомстве Гончарова с Шардиусом мы не располагаем). Об этом свидетельствует и беловой характер автографа, и, в особенности, подпись и дата в нижней части не заполненного до конца листа: «Из неизданного романа. Октябрь, 1848. И. Гончаров».

В рукописи I части романа обращают на себя внимание многочисленные отсылки (особенно в «программах») на листы римской пагинации (от I до V). В самой рукописи имеются только два листа римской пагинации, в обоих случаях зачеркнутой (л. V и VI) и исправленной на арабскую (соответственно 20 и 21). Но это явно другие листы, не те, на которые делались отсылки, поскольку их содержание, как правило, не соответствует тексту отсылок. Из анализа отсылок и соответствующих им вставок (в тех немногих случаях, когда это соответствие наличествует) можно сделать следующий вывод: римской пагинацией помечены предварительные материалы, а не листы сплошного романного текста. Вставки отличаются аккуратным видом, почти лишены правки, т. е. явно откуда-то (вероятнее всего, именно с листов, имевших римскую пагинацию) переписаны. Таково, в частности, письмо старосты, целиком помещенное на полях. Ему предшествует зачеркнутая авторская помета (л. 11 об. арх. паг.): «письмо старосты — см. л. I». Позже указание на лист заменено отсылкой на следующую страницу рукописи.

Другой ряд вставок и рукописных листов, соответствующих по содержанию авторским пометам, написан столь же небрежно и торопливо, как и основной текст,

в нем имеется множество исправлений. Здесь иной случай: по-видимому, — в предварительных материалах, — на листах римской пагинации, имелись лишь наброски, воплощаемые уже непосредственно в основном тексте или на полях (см. пометы и «программы» на многих листах гончаровской пагинации).

Очень редко верхнюю часть листа занимают сплошь «программы», текст продолжается внизу. Здесь мы имеем дело скорее всего с листом предварительных набросков, затем использованным для записи уже продуманного текста.

Судя по тому, что авторская пагинация рукописи романа нигде не нарушена (ср. «программу» с. 440), автограф (или копия, или правленый печатный текст *ЛС* с дополнениями) главы «Сон Обломова» был приложен к рукописи уже после завершения работы над романом в целом. Запись Гончарова на первом листе рукописи (см. с. 387) о времени создания романа сделана была, по-видимому, осенью 1888 г. 27 октября этого года Гончаров обратился с письмом к В. В. Стасову, который, заведуя в это время художественным отделом Публичной библиотеки в Петербурге, настаивал на передаче Гончаровым для хранения в собрании библиотеки творческих рукописей писателя. Содержание авторских помет на рукописи «Обломова» (см. также с. 448) и на конверте, в который была вложена рукопись: «*Обломов.* Собственноручная полная первоначальная черновая рукопись автора. Начата в конце сороковых годов — окончена в 1857 году и напечатана в *Отеч‹ественных› Записках* 1859 года. Сентябрь. 1888. И. Гончаров» (л. 204) — в основном соответствует описанию, предназначенному для В. В. Стасова (см.: VIII, 485).

[2] *Его будят записками, ‹...› от женщины, которая его любит...* — Этот мотив подробного развития в рукописи не нашел. См. Варианты, с. 386, 398, 409, 438. «Программа» в целом намечает основное содержание первых восьми глав I части и некоторые мотивы не вошедшей в окончательную редакцию романа главы, посвященной Почаеву (см.: Варианты, с. 441—448).

[3] *Позы лежанья.* — Этому моменту в характеристике образа жизни Обломова Гончаров уделял серьезное внимание (см.: Варианты, с. 429—430). Гончаровские характеристики имеют важное значение не только для понимания эволюции центрального образа романа, но и представляют значительный интерес в плане этносемиотики. Стоит заметить также, что в «Литературном сборнике...» (см. с. 208) рядом со «Сном Обломова» помещена статья за подписью: *** «Трактат о физиономике», где цитировались слова швейцарского писателя Лафатера (1741—1801) из трактата «Физиогномические фрагменты для поощрения человеческих знаний и любви»: «Я утверждаю ‹...›, что верное изображение десятков двух удачно выбранных положений нашего тела, в минуты, когда мы думаем, что никто не наблюдает за нами, могло бы привести нас к познанию самих себя и составить источник полезных замечаний; может быть, более ничего бы не было нужно для полного понятия о характере всякого человека. ‹...› Удивительное согласие, существующее между походкою, голосом и телодвижениями, никогда не бывает обманчиво».

[4] *в главе Обломов и Захар),* — т. е. в 7-й главе окончательной редакции.

[5] *праздная форма* — Запись относится к характеристике Алексеева. См., в частности, «программы» и текст на с. 394—398 Вариантов и примеч. 8.

[6] *умывать‹ся› готово* — Относится к одному из поздних диалогов Обломова и Захара. См. также «программу» на с. 393 Вариантов.

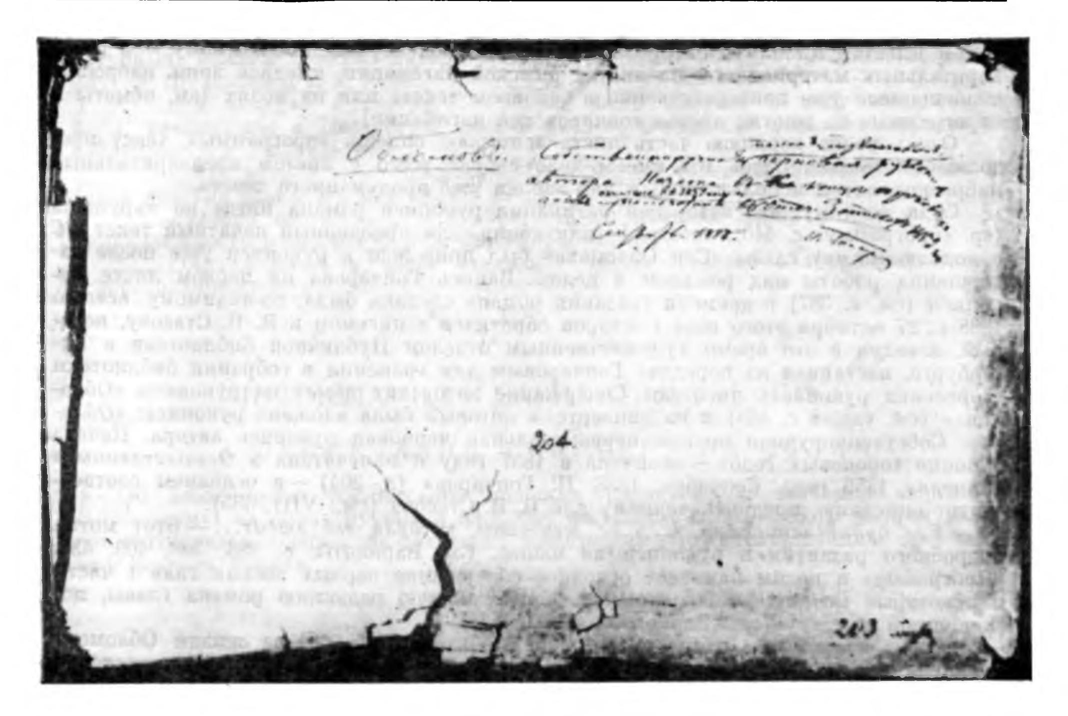
[7] *лоб перекрестить...* — Эти слова (ср. далее: *богу не помолился.*) в разных вариантах неоднократно встречаются на первых листах рукописи при описании безуспешных попыток Обломова встать с постели и приступить к делам. В целом в «программе» намечены основные мотивы 1-й и 8-й глав.

[8] *не выезжал из Петерб‹урга› ‹...› о ком* — Обширная «программа» полностью посвящена характеристике Алексеева (2-я глава окончательной редакции). Некоторые положения этой «программы», как и следующих (см. с. 397—399, 403 Вариантов), нашли развитие только в черновом тексте (с. 396—398 Вариантов).

[9] *Надо ли ‹?› чтоб в ‹...› Он вторит Обломову во всем* — См. предыдущ. примеч.

[10] *легион, океан* — См. примеч. 8.

[11] *снег дождь заботы* — Наброски разговора Обломова с Алексеевым о екатерингофском гулянье (2-я глава, с. 28—29 окончательной редакции и Варианты, с. 398—399).



Конверт, в который вложена рукопись романа, с надписью рукой И. А. Гончарова: «*Обломов*. Собственноручная полная первоначальная черновая рукопись автора. Начата в конце сороковых годов — окончена в 1857 году и напечатана в *Отеч‹ественных› Записках* 1859 года. Сентябрь. 1888. И. Гончаров».

[12] *ни кожи, ни рожи* — См. примеч. 8.

[13] *(Общ‹ее› место)* — см. примеч. 8.

[14] *‹1.› потом, когда пришел другой и они ‹...› заранее тревожить себя), как-нибудь* — Наброски конца 3-й и 4-й глав (с. 32 и 46 окончательной редакции), фрагмента 7-й главы (с. 76 окончательной редакции). См. также: Варианты, с. 409.

[15] *(шинель просит:* — В более поздних черновых записях и в окончательной редакции — фрак (4-я глава, с. 45 окончательной редакции). См. также: Варианты, с. 406, 408, 411—413.

[16] *‹2.› — Уж Немец твой... шельма: ‹...› начал смягчаться* — Наброски 4-й главы (с. 43—44 окончательной редакции). Более подробно см.: Варианты, с. 410.

[17] *Тарантьеву назначено ‹...› не знали* — «Программа» 3-й главы (с. 33—34 окончательной редакции). Значительно подробнее развита в черновой редакции (Варианты, с. 401—406).

[18] *— Э! говорит он! ‹...› знаю я их.* — Этот мотив ни в черновой, ни в окончательной редакции развития не получил, трансформировавшись в тему отца Штольца.

[19] *— Э! что это за выдумка: ‹...› отец шельма.* — Ср. 4-ю главу, с. 44—45 окончательной редакции; подробнее см.: Варианты, с. 410—411.

[20] *что выше его образования, он ругал, не доверчив* — Набросок тут же записанного текста.

[21] *как дело делать, так лень...* — Ср. 3-ю главу (с. 33—34 окончательной редакции).

[22] *оргии все проделки* — В печатный текст этот мотив не включен (см. с. 34 окончательной редакции).

23 *Этот человек противуположен ‹. .› уйдет удивленный* — Подробно — в черновой редакции (Варианты, с. 406). В окончательной редакции (с. 35—36) — несколько иначе.

24 *живешь как свинья* — В окончательной редакции более мягко: *По-мещански живешь...* (с. 38) и: *.живешь, точно на постоялом дворе* (с. 39). Этот и следующий (*а вот у такого-то не то что у тебя*) мотивы еще раз были намечены в рукописи (Варианты, с. 406 — «программы»), но полностью осуществлены не были (ср. Варианты, с. 408).

25 *он сделался взяточником, не имея случая брать* — Ср. в окончательной редакции (с. 34—35) и Вариантах (с. 405).

26 *и бог знает, во что бы развились ‹...› и отец с улыбкою* — См. примеч. 22.

27 *что ваш родственник-то ‹...› как и вы* — Наброски начала 4-й главы (с. 36—37 окончательной редакции).

28 *но все же ‹. .› взяточник* — Разработка начала 4-й главы, см. с. 37 окончательной редакции.

29 *наконец грязный образ жизни отца* — См. примеч. 22.

30 *сделали его неопрятным* — Развито здесь же.

31 *жизнь — нищая* — Эти наброски характеристики Тарантьева подробного развития не получили.

32 [*Захар чешет его.*] ‹...› *зачем подаешь мне* — «Программа» одного из фрагментов не вошедшей в окончательную редакцию главы, посвященной Почаеву (Варианты, с. 444). Ср. в окончательной редакции (с. 119 — конец I части, 3-ю главу II части, с. 131, 135).

33 *отчаянные меры* — Ср. 4-ю главу (с. 42 окончательной редакции).

34 *Да у тебя чай зеленчак...* — См. начало 4-й главы (с. 37 окончательной редакции и «Варианты», с. 407—408).

35 *Один говорил за него и избавлял его от труда говорить* — Набросок 3-й главы (с. 35 окончательной редакции).

36 *взял денег, ‹...› все-таки* — Намечен последний эпизод 4-й главы (с. 45—46 окончательной редакции).

37 *просит шинели* — Наброски 4-й главы (с. 45 окончательной редакции). См. примеч. 15.

38 *...палец обрезал* — Ср. в окончательной редакции 4-й главы (с. 43).

39 *— Вот ты не хочешь ничего сделать, ‹...› попрекаешь, что ли* — «Программа» одного из эпизодов 4-й главы (с. 44).

40 *отчего не лососина* — Описание претензий Тарантьева дано подробно только в рукописи (Варианты, с. 408 («программа» и текст)). В окончательной редакции см. с. 37.

41 *винные откупа* — Ср. с. 34, 38 окончательной редакции.

42 *Захар! дай ему шинель.* — См. примеч. 37.

43 *— прежде жилетку-то отдайте* — Ср. с. 45 окончательной редакции и Варианты, с. 411—412.

44 *вот Карлы Мих. жаль нет ‹...› вас выучил* — Этот мотив не реализован ни в черновой, ни в окончательной редакции.

45 *дрянью кормишь* — См. примеч. 24 и с. 37 окончательной редакции.

46 *портер* — См. с. 41 окончательной редакции.

47 *хоть бы Штольц приехал* — См. с. 43 окончательной редакции

48 *‹1.› пиши к исправнику, да к соседу.* — Ср. с. 42—43 окончательной редакции. Эта тема уже встречалась в «программах» (Варианты, с. 400, 406).

49 *‹2.› счеты, чай, украли мясник и Захар* — Ср. с. 66—67 окончательной редакции.

50 *— Кабы Штольц приехал* — См. с. 43 окончательной редакции.

51 *— Ну уж, чай, у себя так где в Саксонии-то и хлеба-то не видал ‹...› и проч.* — Наброски одного из основных эпизодов 4-й главы (с. 44—45). Саксония упомянута также в отдельной «программе» (Варианты, с. 411). В рукописи оценка Тарантьевым Штольца дана подробнее и резче, чем в окончательной редакции (см.: Варианты, с. 410—411).

52 *(ярость Тарантьева)* — См. предыдущее примеч.

[53] *Саксония* — См. примеч. 51.

[54] *встать не хочет. Ему лишь дома было ‹...› утомляется долговременным молчанием.* — Детально намеченная характеристика домашнего быта и образа жизни Обломова, близкая по способу воплощения к «физиологическому очерку», подробно реализована в рукописи (Варианты, с. 418—422). Вошла в состав 5-й и 6-й глав в резко сокращенном виде.

[55] *Он боялся движения. Его не пугали, например, трещины потолка.* — Ср. с. 50 окончательной редакции.

[56] *галерея ветха,* — Единственное упоминание в «программах» детали из главы «Сон Обломова».

[57] *Наставала одна из редких и грустных минут, ‹...› видно от квасу раздувает:* — Основная мысль заключительных страниц 8-й главы.

[58] *а жизнь, движение пугали.* — См. с. 50 окончательной редакции.

[59] *Он любил жить, мечтать и волноваться лежа* — В рукописи этот мотив развит более определенно и резко (см. «Варианты, с. 429 («программа» и текст)), чем в окончательном тексте (с. 46, 54 окончательной редакции).

[60] *позы лежанья* — См. примеч. 3.

[61] *Ученье Обломова, приезд, служба, Захар* — Наброски основного содержания 5-й, 6-й, 8-й глав.

[62] *энциклопедичность ‹. .› да рассказать не могу...* — См. с. 51—53 окончательной редакции и Варианты, с. 426—427.

[63] *Приезд: не иначе понимал ‹...› в перинах...* — См. Варианты, с. 428.

[64] *Штольц натолковал ему ‹...› цель нашего создания. .* — Ср. с. 51 окончательной редакции, «программу» (с. 422 Вариантов). Подробнее о Штольце: Варианты, с. 424—426.

[65] *обманула служебная и светская роль,* — См. 5-ю и 6-ю главы (с. 46—52 окончательной редакции) и Варианты, с. 415—417.

[66] *в имении ‹. .› в семейном счастье, он все продолжал чертить узор своей жизни.* — Ср. с. 53 окончательной редакции; намечено также начало 5-й главы (*по смерти родителей*) и главное ее содержание. См. также Варианты, с. 415—416, 428—429.

[67] *Захар* — Намек на будущую 8-ю главу.

[68] *Он чувствовал ‹...› занялся планом...* — Ср. с. 53—54 окончательной редакции.

[69] *В службе с ‹. .› жениться все сбирался* — В основном эти наброски реализованы в черновой редакции — см. Варианты, с. 415—422.

[70] *(характера ‹...› деятельной жизни)* — Реализовано здесь же.

[71] *о цвете лица о расстроен‹ном› желудке* — Ср. с. 47 окончательной редакции.

[72] *Потом общество, потом женитьба* — См. примеч. 66. Мотив размышлений героя о женитьбе в рукописи I части не был развит. Об обломовском идеале жены см. II часть романа (6-я глава).

[73] *другое поприще — общество* — Ср. Варианты, с. 422—423.

[74] *говядина* — Уже реализовано, см.: Варианты, с. 408, т. е. ранее «программы».

[75] *уж этот Обломов* — См. Варианты, с. 418.

[76] *постарел не летами, а умом, сердцем...* — Центральный мотив I части романа.

[77] *с летами ‹...› не трещина, а жизнь, движение* — Эта мысль развивается здесь же и на других страницах рукописи. Была зафиксирована и в более ранней «программе» (Варианты, с. 414); ср. конец 5-й главы, с. 50—51 окончательной редакции.

[78] *1. — 3. так не удалась ему ‹...› на каждом человеке* — Мотив, получивший более подробное развитие в дальнейшем, был уже намечен ранее в «программах» (Варианты, с. 414, 425—426).

[79] *но без грусти ‹...› глазами* — См. данную, 6-ю главу и Варианты, с. 416—417, 420—422.

[80] *Что ж он делал? ‹...› уходил в себя* — Намечено основное содержание данной, 6-й главы. См. также «программу», с. 414; Варианты, с. 432—433.

[81] *Не сжились эти образы с воображением Обломова, не пристали* — Ср. с. 52—53 окончательной редакции и Варианты, с. 425—426, «программу», с. 422.

82 *...аппетит только остался долее* — Реализовано здесь же.

83 *Жизнь и ученье — целая бездна* — См. с. 52 окончательной редакции и Варианты, с. 424—425.

84 *танцы* — Реализовано только в черновой рукописи — см. Варианты, с. 422.

85 *Да не подумают, ‹...› он уставал..* — Один из важнейших моментов характеристики душевного мира Обломова, ср. с. 54, 56 окончательной редакции и Варианты, с. 430 («программа») и 430—431.

86 *Не так, ‹. .› план.* . — См. с. 53—54 окончательной редакции.

87 *остальное время он проводит волнуется лежа.* — См. примеч. 59.

88 *позы, волнения* — См. примеч. 3.

89 *иногда плачет ‹. .› подушку* — См. примеч. 85.

90 *(противоречие: ‹. .› сгладить это)* — Соответствующие данной заметке изменения текста сделаны частью в рукописи, частью уже, по-видимому, при подготовке романа к печати.

91 *О том, что он не практически Захар* — Наброски 8-й главы.

92 *мешали друг другу, ‹. .› и проч.* — Ср. с. 59 окончательной редакции и Варианты, с. 435 («программа»).

93 *чудовище привезли ‹...› Бог создал* — См. с. 70 окончательной редакции и Варианты, с. 439.

94 *преданность не проявлялась ‹...› внутри* — См. с. 56—60 окончательной редакции и Варианты, с. 434—435.

95 *(это все можно поместить в сцену у ворот)* — См. главу 10.

96 *вменить в постоянную статью* — Здесь же реализованная заметка к характеристике взаимоотношений Захара и Обломова.

97 *мешали друг другу* — См. примеч. 92.

98 *на двор приходили ‹...› занятий Обломова.* — Планируется начало 8-й главы (с. 61 окончательной редакции; см. также: Варианты, с. 437—438).

99 *Читатель думает, ‹...› об оранжереях и т. п.* — Ср. с. 61—62 окончательной редакции и Варианты, с. 436—438, т. е. «программа» воплощена здесь же.

100 *когда же пожить ‹. .› локтями* — Ср. с. 63 окончательной редакции.

101 *счет от прачки: не умеет счесть.* — Нереализованный мотив, характеризующий житейскую беспомощность Обломова. Заменен эпизодом в «лавке» с ассигнациями (см. с. 426 Вариантов). Ср. также с. 53 окончательной редакции.

102 *Он облокотился ‹...› мужики?* — Ср. с. 76 окончательной редакции.

103 *А! Тебе пришел ‹...› болезненная неразвитость* — «Программа» заключительного эпизода 8-й главы.

104 *два несчастья случились с ним* — См. с. 76 окончательной редакции.

105 *окна вставлены* — Планируется начало 8-й главы (с. 61 окончательной редакции, см также: Варианты, с. 436—437).

106 *(Тут впоследствии ‹...› озирается и т. п.)* — Этот замысел не осуществлен в полной мере (см. главу 6, с. 54, 56 окончательной редакции).

107 *не серди меня — не вникнул? ‹...› и печалится.* — Наброски знаменитого монолога Обломова о «других» и конца 8-й главы (с. 73—78 окончательной редакции).

108 *Захар закупорил его. ‹. .› Захар ли?)* — Ср. с. 75—76 окончательной редакции (*если б не стащили* — см. «Варианты», с. 440).

109 *утро ‹. .› И засыпает.* — Наброски конца 8-й главы (с. 77—79 окончательной редакции).

110 *губы вздулись ‹от› внутрен‹него›* — Не реализованный в окончательном тексте мотив отражения душевной тревоги на лице Обломова.

111 *ни от холода, ни от голода не терпел ‹...› работы не знал...* — Реализовано здесь же.

112 *пойду ли ‹...› переезжать...* — Ср. с. 71—75 окончательной редакции.

113 *когда тот расчувствовался, ‹...› квасу...* Ср. с. 75 окончательной редакции.

114 *не умылся* — Реализованная здесь же заметка.

115 *Это поместить после, когда он ‹...› за бумагу,* — Этот замысел частично реализован во II части (с. 146 окончательной редакции), но как результат разговора со Штольцем.

116 *‹1.› отчего же я ‹...› от квасу-то раздувает* — Ср. с. 78 окончательной редакции.

117 *Недостает главы Сон Обломова* — См. примеч. 1. Следующая помета (*Перед этой главой ‹. .› в рукописи нет*) относится к концу 80-х годов.

118 *упрашивает минуточку* — Ср. с. 118 окончательной редакции.

119 *(Почаев этот ‹...› сам Штольц)* — Заметка конца 80-х годов, см. примеч. 2.

120 *подниматься дай бумаги написать* — Реализовано в этой же главе (Варианты, с. 447—448).

121 *ноги зудят* — Относится уже ко II части романа (начало 4-й главы, с. 136 окончательной редакции).

122 *клочок все тот же Куда бы нибудь пошел* — Заметки, реализованные в 8-й главе I части, с. 65, 74.

123 *2й разгов‹ор›* — Возможно, имеется в виду 3-я или 4-я главы II части.

124 *признайся ‹...› кури...* — Заметки, реализованные в данной главе, см.: Варианты, с. 447—448.

125 *Следует характеристика Почаева.* — Вероятно, имеется в виду дальнейшее описание Штольца, заменившего в окончательной редакции романа Почаева (см. 2-ю главу II части).

126 *(Отдельная сцена или глава. См. Прибавл‹ение?›)* — Вероятно, имеется в виду будущая 4-я глава II части. Прибавлениями Гончаров, как правило, называл дополнительно вложенные в рукопись листы; были ли они в данном случае написаны, неизвестно.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

127 *Часть IIя и следующие ‹...› Октябрь 1888 г.* — См примеч. 1.

128 *(здесь можно вставить описание старинного дома)* — Эта «программа» реализована лишь частично.

129 *ячмени* — Запись относится к началу 3-й главы (с. 131 окончательной редакции).

130 *ты езди ‹...› Рассказ* — Наметки 4-й главы.

131 *разговор их, ‹...› жизни* — Намечено основное содержание 4-й главы.

132 *обещает приехать и обманывает.* — Имеется в виду несостоявшийся отъезд Обломова за границу к Штольцу.

133 *Отчего Штольц ‹...› возвращаются ‹...› в березовую рощу* — Ср. конец 2-й главы (с. 131 окончательной редакции). В рукописи этой главы соответствующий данной «программе» фрагмент вписан на полях.

134 *Они думали, ‹...› здесь счастье* — Эта заметка не реализована; неясно также, к кому из героев романа она может относиться.

135 *и чувство ‹...› бабочка* — Этот набросок реализован только в рукописи (см.: Варианты, с. 471).

136 [*решение и Захар.*] — «Программа» 10-й главы (письмо Обломова к Ольге).

137 *Гаданье и проч.* — Заметки к началу 12-й главы, см. с. 217 окончательной редакции.

138 *письмо* — Вероятно, от Штольца (начало 11-й главы).

139 [*тетке*] *мать могла бы спросить меня* — Заметка к 12-й главе (см. с. 220 окончательной редакции).

140 *Отчего она любит Обломова ‹...› Она идет и задумывается* — Ср. 11-ю главу, с. 214 окончательной редакции.

141 *на душе лежало сказать Ольге* — Ср. конец 11-й главы, с. 215—216 окончательной редакции.

142 *я рада, что вы написал‹и›* — Вероятно, набросок ближайшей сцены (см. с. 206 окончательной редакции).

143 *Клеопатра* — Ср. с. 212 окончательной редакции: «Он где-то видал эту улыбку; он припоминал какую-то картину, на которой изображена женщина с такой улыбкой только не Корделия». В рукописи (л. 106 об. арх. паг.) эти строки в другом, недоработанном варианте после слова «улыбку» следует: «[припоминал]

это [улыбка] на картине представлена женщина, но не Корделия [а, кажется... Клеопатра...]».

[144] [— *Ну, если вам и придется выстрадать,* ‹...› *покойно*] — Набросок разговора Ольги с Обломовым после письма героя (см. с. 202 окончательной редакции).

[145] *Но не всегда* ‹...› *(после сцены)* — Наброски конца 11-й главы (до и после сцены в саду), с. 210—213 окончательной редакции.

[146] *Хорошо — странно теснит* — Ср. в этой же главе: «Мне страшно и тебя ‹...› Но как-то хорошо страшно! ‹...› у меня тут теснит, у сердца» (с. 211 окончательной редакции).

[147] *Обломов задум‹ывается?›* ‹. .› *болтовня и проч.* — Наброски конца 11-й главы (с. 215—216), начала главы 12-й (с. 217—219 окончательной редакции).

[148] *ревность,* — См. с. 218 окончательной редакции и с. 472 Вариантов.

[149] *письмо от Штольца* — Заметка к началу 11-й главы (с. 208 окончательной редакции). Соответствующий фрагмент текста вписан на полях рукописи.

[150] *Мой долг.* ‹...› *не была здесь.* — Наброски диалога Ольги и Обломова (конец 12-й главы, с. 222—223 окончательной редакции), см. также: Варианты, с. 477.

[151] *у него явилось* ‹...› *взгляда.* — См. с. 223 окончательной редакции.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

[152] *другая сторона медали:* ‹. .› *издержки* — «Программа» 4-й главы (с. 253, 255—256 окончательной редакции).

[153] *ей-богу правда* — заметка, относящаяся к Агафье Матвеевне; имеется в виду их разговор с Обломовым при первой встрече. Соответствующий фрагмент (с. 234 окончательной редакции) вписан на полях рукописи.

[154] *Сватьба (сцены в театре, в летнем саду)* — «Программа» 4-й и 5-й глав (с. 250, 249, 257—260 окончательной редакции).

[155] *подкрался Захар.* ‹. .› *убеждается в этом* — Наброски сцены с Захаром (4-я глава, с. 252—254 окончательной редакции).

[156] *ответств‹енность› ляжет* ‹...› *долг* — Набросок решающего разговора Обломова и Ольги в доме Обломова (7-я глава, с. 275 окончательной редакции). См. также Варианты, с. 482—483.

[157] *минута решений* ‹...› *это твой долг* — То же, что предшествующая запись.

[158] *Сознайся, что ты лгал...* ‹...› *Время решений наступило* — То же, что предшествующая запись. См. с. 272—275.

[159] *Теперь или никогда: говорил Штольц* — В такой именно формулировке эта запись не реализована, но подразумевается в диалоге Ольги и Обломова (ср. с. 275 окончательной редакции и Варианты, с. 482—483).

[160] *Я не знаю,* ‹...› *— Я просто барин!* — «Программа» 9-й главы (разговор Обломова с Иваном Матвеичем, с. 280—282 окончательной редакции).

[161] *говор‹ит?› басом* — запись относится к 8-й главе — попытке Обломова убедить «хозяйку» в том, что «та барышня, про которую болтает Захар, огромного роста, говорит басом...» (с. 278 окончательной редакции).

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

[162] — *Ей воображение* — Заметка к разговору Штольца с Агафьей Матвеевной («вообразила, что Штольц намекает на этот долг...» — с. 340 окончательной редакции).

[163] *А что жемчуг,* ‹...› *надобности* — Набросок того же разговора (с. 341 окончательной редакции).

[164] *Тарантьева прогнал* — Заметка к 7-й главе (с. 345—347 окончательной редакции).

[165] *вечная весна* — Один из мотивов характеристики замужней жизни Ольги. Развивается в конце 8-й главы (см. с. 360 окончательной редакции).

[166] *Разговор Ольги* ‹...› *оттого он и любит его...* — Эта мысль резко выражена в рукописи (см. здесь же и первую редакцию объяснения Ольги и Штольца, Ва-

рианты, с. 491). Соответствующий данной «программе» фрагмент вписан на полях рукописи. *Карл говорит <...> не выдав своих убеждений...* — Ср. Варианты, с. 496 и окончательную редакцию, с. 362.

[167] *Они едут в Петерб‹ург›,* — Ср. конец 8-й главы, с. 363 и конец 9-й главы, с. 376 окончательной редакции.

[168] *несмотря на всю тину, он уцелел* — Ср. с. 374—375 окончательной редакции. Здесь акцент иной, нежели в «программе», — приговор Обломову выносит Штольц: «Погиб ты, Илья...» — с. 375.

2. ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ ВАРИАНТОВ[1]

ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

С. 388. (*как В. А. Яз.*)... — В статье «Работа И. А. Гончарова над образом Ольги в романе „Обломов"» Е. В. Бершова расшифровывает данное сокращение как «Василий Андреевич Языков» (Учен. зап. Калининградск. пед. ин-та, 1958, вып. 4, с. 130). По всей видимости, имеется в виду один из членов семьи Языковых, со многими из которых Гончаров был знаком, а с иными — дружен (см.: VII, 362).

С. 389. ...*накинет халат, как тогу.* — Тога (лат. toga) — верхняя мужская одежда римлян, полукруглый кусок материи с выемкой для ворота, обернутый вокруг туловища через левое плечо.

С. 389. *На картине, изображавшей <...> Минина и Пожарского...* — К. Минин (ум. до сер. 1616) — земский староста из Нижнего Новгорода, организатор ополчения русского народа против иноземных интервентов. Он призвал к военному руководству ополчением князя Д. М. Пожарского (1578—1642), что и послужило сюжетом для большого числа картин, на которых обычно изображался Минин, простирающий руки к подымающемуся с одра болезни Пожарскому.

С. 396. *Готты* — восточногерманские племена.

С. 397. ...*такой человек иногда женится и плодится.* — Восходит к тексту Библии (Бытие, гл. I, ст. 28).

С. 398. ...*последний бледный литографический оттиск с нормального человека.* — Литография — способ печати, при котором оттиски получаются непосредственно на бумагу с камня, на который наносится рисунок. Вследствие износа камня каждый последующий оттиск все менее точно воспроизводит оригинал.

С. 402. *Он был очень искусный диалектик...*, т. е. человек, искусный в ведении спора.

С. 403. ...*к одному вольноотпущенному музыканту...* — Вольноотпущенный — крепостной, получивший волю; такая милость чаще оказывалась крепостным музыкантам, художникам, актерам.

С. 404. *И шуме и гуде...* — Первый стих украинской народной песни: «I шумить, и гуде, дрібен дощик іде!».

С. 404. *Пряди моя пряха.* — Первый стих русской народной песни (см.: *Кашин Д.* Русские народные песни. М., 1833, ч. 3, с. 65).

С. 404. *Экосез* (фр. écossaise) — старинный танец, шотландский по происхождению.

С. 404. *Матридура* — старинная пляска.

С. 404. ...*после скаканья и порсканья...* — Порсканье — натравливание криком гончих псов на зверя.

С. 405. ...*рыцарей Фемиды...* — Фемида (греч. миф.) — богиня права, законного порядка; иносказательно: правосудие. По существу и характеру описания фрагменты черновой редакции, посвященные отцу Тарантьева, «подьячему старых

---

[1] Разъясненное в Примечаниях к основному тексту романа повторно не комментируется.

времен», весьма близки произведениям русских просветителей XVIII в., в частности, знаменитой комедии В. В. Капниста «Ябеда», которая, по словам поэта и драматурга А. И. Писарева, «покрыла вечным позором кривodушие и лихоимство преступных служителей Фемиды» (Атеней, 1828, № 5, с. 70).

С. 406. *Зеленчак* — дешевый нюхательный табак.

С. 408. ...*приготовить с каперсами*... — Каперсы (гр. kapparis) — колючий полукустарник, его маринованные бутоны употребляются как пряная приправа.

С. 410. ...*спекуляторы хуже картежников*. — Спекулятор — по *Словарю* В. И. Даля, «предприимчивый оборотистый человек в торговых, промышленных делах» (т. 4, с. 289).

С. 415. ...*жизнь браминов*... — Брамин — жрец индуизма.

С. 416. ...*ах, зачем мы горемычные родились на белый свет*. — Из хора девушек в опере А. Н. Верстовского (1799—1862) «Аскольдова могила» (1835).

С. 417. ...*возвращался к своим пенатам*... — Пенаты (лат. penates) — боги-покровители семьи; переносно: родной дом.

С. 418. ...*войдет в* <...> *салопе*... — Салоп — верхняя женская одежда в виде широкой длинной накидки.

С. 418. ...*нанимал* <...> *квартиру* <...> *у Владимирской*. — Владимирская церковь находилась на одной из центральных улиц Петербурга, недалеко от Невского проспекта (здание сохранилось — Владимирский проспект, 20).

С. 419. ...*вистик*... — Вист (англ. whist) — карточная игра вчетвером.

С. 421. *Кронштадт* — портовый город на острове Котлин, вблизи Петербурга, морская гавань столицы; были популярны морские прогулки в Кронштадт.

С. 423. ...*психоядрие*... — Психоядрие — психиатрия (греч. psychē — душа; jatreia — лечение).

С. 423. ...*по синенькой берет*. — Синенькая — кредитный билет в 5 р. (по цвету купюры).

С. 423. ...*бумаги дестей пять извели*... — Десть — единица счета писчей бумаги (в России — 24 листа).

С. 424. ...*выучивая историю Шрека*... — И. Шрек (1733—1808) — немецкий историк, автор многотомных трудов по истории церкви.

С. 424. *Карл V* (1500—1558) — император Священной римской империи.

С. 424. *Лютер М.* (1483—1546) — религиозный реформатор, основатель немецкого протестантизма.

С. 424. *Фридрих Великий* (1712—1786) — прусский король.

С. 424. ...*урок* <...> *из пунических войн* <...> *или из реформации?* — Речь идет о войнах Рима с Карфагеном (264—146 гг. до н. э. с перерывами). *Реформация* (лат. reformatio) — широкое социально-политическое и идеологическое антифеодальное движение, охватившее Западную и Центральную Европу в XVI в. и принявшее форму борьбы против католической церкви.

С. 424. *Плутарх* (ок. 45—ок. 127 гг.) — древнегреческий писатель, автор знаменитых жизнеописаний греческих и римских государственных деятелей.

С. 424. *Тацит* (ок. 58—после 117 гг.) — римский историк.

С. 424. *Саллюстий* (86 г. до н. э.—35 г. до н. э.) — римский историк.

С. 425. ...*вавилонское столпотворение* (библ.) — постройка башни, которая должна была достичь неба, предпринятая великим множеством людей. Разгневанный бог смешал языки строителей, они перестали друг друга понимать и не достроили башню. Здесь — в значении: множество (языков).

С. 425. ...*и Божество* <...> *и любовь*. — Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновенье...»).

С. 426. ...*заговорив* <...> *о падении Римской империи, об Альфреде Великом*... — В 476 г. под натиском германских племен прекратила существование Западная Римская империя, а в 1453 г. — Восточная (Византия), побежденная турками. Альфред Великий (ок. 849—899) — король Англии, способствовал созданию законодательства, просвещению народа.

С. 426. *Норманны* (northman) — так в Западной Европе называли скандинавов в период их завоевательных походов на Европу (конец VIII—середина XI в.).

С. 426. *Рашид* — вероятно, Абдаллах ибн Али ибн Рашид, основатель феодальной династии (1835—1921) в Северной Аравии.

С. 426. *Югурта* (160—104 гг. до н. э.) — царь Нумидии, талантливый полководец.

С. 426. *Аттилла* — вождь (?—453 гг.) кочевого племени гуннов.

С. 426. *Локк Дж.* (1632—1704) — английский философ.

С. 426. *Маккиавелли Н.* (1469—1527) — итальянский политический мыслитель.

С. 426. *Спиноза Б.* (1632—1677) — нидерландский философ.

С. 428. *Он мог ехать только на долгих.* — «В этих случаях лошадей на станциях не меняли, а давали им отдохнуть, ночью тоже, естественно, не двигались с места (ночная езда была обычной при гоньбе на перекладных), от чего скорость путешествия резко уменьшалась» (*Лотман*, с. 108).

С. 431. *титулярного советника...* — Титулярный советник по Табели о рангах — гражданский чин 9 класса.

С. 442. *fumus patriae* — дым отечества. Известное латинское выражение, использованное, в частности, в стихотворении Г. Р. Державина «Арфа» («Отечества и дым нам сладок и приятен») и в «Горе от ума» Грибоедова (д. 1, явл. 7).

С. 444. *Дивиденд* (лат. dividendus) — часть прибыли, подлежащая распределению между акционерами.

С. 445. — *А из Гражданской палаты был запрос?* — Гражданская палата — высшее губернское учреждение, решающее тяжбы и споры.

С. 447. — *О дружба! это ты!* — Цитата из стихотворения В. А. Жуковского «Дружба». Процитировано также в воспоминаниях Гончарова «На родине» (VII, 305).

С. 447. *...читаю Карамзина историю...* — Речь идет об «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина (1766—1826); двенадцать томов этого сочинения вышли в 1816—1829 гг.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

С. 449. *Шишков А. С.* (1754—1841) — русский писатель, прозаик и поэт-архаист. В вызвавших бурные споры книгах «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» (1803) и «Прибавление к рассуждению о старом и новом слоге российского языка» (1804) ориентировал современную литературу на старославянский язык.

С. 449. *Каченовский М. Т.* (1775—1842) — русский историк, основатель «скептической школы» в русской историографии; в Московском университете преподавал не только историю, но и «российскую словесность».

С. 449. *Булгарин Ф. В.* (1789—1859) — русский журналист и писатель, после 1825 г. — крайний реакционер, издатель продажной газеты «Северная пчела». В своей «Сцене из частной жизни в 2028 году от Рождества Христова» Булгарин изобразил сочувственное отношение потомков к его деятельности за то будто бы, что «этот Сочинитель даже сильно критиковал безграмотных сочинителей своего века, а особенно дурных стихоплетов» (*Булгарин Ф. В.* Полн. собр. соч. СПб., 1844, т. 7, с. 67).

С. 449. *Греч Н. И.* (1787—1867) — русский журналист и филолог, после 1825 г. — крайний реакционер, многолетний сотрудник Ф. В. Булгарина. Как филолог Греч был автором ряда получивших признание трудов по русскому языку: «Учебной книги российской словесности» (1819—1822), «Практической русской грамматики» (1827) и др.

С. 449. *...держат в хлопках.* — По *Словарю* В. И. Даля, «хлопки — пакля, очески... пеньки и льну» (т. 4, с. 551). Держать в хлопках — нежить, баловать.

С. 450. *...верил изречению Гамлета: друг Горацио и т. д.* — Имеется в виду реплика Гамлета (д. 1, явл. 3) в трагедии В. Шекспира «Гамлет»: «Горацио! есть многое и на земле, и в небе | О чем мечтать не смеет наша мудрость» (пер. Н. Полевого, 1837).

С. 451. ...*от месмеризма до вертящихся столов включительно.* — Месмеризм — медицинская система, выдвинутая австрийским врачом Ф. Месмером (1734—1815), широко распространенная в XVIII в. В ее основе — представление о «животном магнетизме» как о некоей силе, обладание которой позволяет отдельным индивидуумам благотворно воздействовать на течение всех заболеваний. Столоверчение — по определению В. И. Даля в его *Словаре*, «вошедшее в новейшее время в обычай месмерическое или магнетическое сообщенье бездушным предметам самодвижной силы, как сообщают ее, например, и электричество, магнит и пр.» (т. 4, с. 329).

С. 452. *дать паспорты...* — Крепостным паспорт выдавался как удостоверение того, что их продолжительная отлучка из имения разрешена помещиком.

С. 453. ...*фрак не от Руча — вот не годишься.* — Руч — модный петербургский портной, упомянутый в «Записках сумасшедшего» («Дай-ка мне ручевский фрак...») и в «Ревизоре» («Платье заказываю Ручу, триста рублей за пару») Н. В. Гоголя. Его мастерская, по косвенным данным, находилась на Невском проспекте угол Большой Морской (ныне Невский просп., д. 9—13. См.: Адресная книга Санкт-Петербурга на 1892 год. СПб., 1892, стб. 513). В 1840-х гг. цена сшитого на заказ мужского костюма доходила до 70 р. (*Пушкарев И.* Описание Санкт-Петербурга и уездных городов санктпетербургской губернии. СПб., 1841, ч. 3, с. 21).

С. 454. *Измен волненье, <. .> Толпы безумное веленье Или блистательный позор.* — Неточная цитата из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы» (надо: «Толпы безумное гоненье»).

С. 455. *Вот хоть бы сегодня перед этим Хохоревым жеманились <. .> Не правда это?* — Не исключено, что Гончаров имеет в виду В. А. Кокорева (1817—1889), миллионера, откупщика, автора ряда статей по экономическим вопросам в «Русском вестнике» и других изданиях.

С. 455. *О'Коннел Д.* (1775—1847) — ирландский сепаратист, борец за эмансипацию католиков в Ирландии.

С. 455. *Сегодня Египетский Паша корабль послал в Константинополь.* — По рукописи, где зачеркнуто: Али, — можно судить о том, что речь, как и в окончательном тексте, с. 138, идет о Мехмете Али (1769—1849), правителе Египта.

С. 457. ...*я бы лежал на какой-нибудь козетке.* — Козетка (фр. causette) — два кресла на единой основе, расположенные одно против другого в виде буквы *S*.

С. 458. ...*камеральные науки* (нем. Kameralistik) — направление в германской экономической мысли XVII—XVIII вв., совокупность знаний по ведению государственного хозяйства. Камеральные науки преподавались в русских университетах.

С. 458. *Робертсон У* (1721—1793) — шотландский историк, изучавший Средневековье. Его главный труд «History of the Reign of the Emperor the Charles V» («История государствования императора Карла V», 1769) в четырех томах был переведен на русский язык (М., 1839).

С. 458. *Юм Д.* (1711—1776) — английский философ, сформулировавший основные принципы агностицизма, и историк.

С. 458. ...*за пустой бред горячки...* — Ср. в «Евгении Онегине»: «Простим горячке юных лет | И юный жар и юный бред» (II, 15).

С. 458. ...*ты хотел не верхоглядом пробежать по трактирам Европы.* — Ср. высказывание Гончарова во «Фрегате „Паллада"»: «Нет науки о путешествиях <...> писатель свободен <...> описывать страны и народы исторически, статистически или только посмотреть, каковы трактиры — словом, никому не отведено столько простора и никому от этого так не тесно писать, как путешественнику» (II, 16).

С. 460. *Нибур Б. Г.* (1776—1831) — немецкий историк античности, основоположник «критического метода» в изучении истории.

С. 460. *Тьери О.* (1795—1856) — французский историк, основоположник романтического направления во французской историографии.

С. 462. *Лувр* — художественный музей в Париже.

С. 462. *Версаль* — пригород Парижа, известный своим дворцово-парковым ансамблем, в который входит и дворец Трианон.

С. 462. ...*напоминая о пройденной половине жизни...* — Это и более позднее признание Обломова позволяет вспомнить начало «Божественной комедии» Данте:

«Земную жизнь пройдя до половины, | Я очутился в сумрачном лесу, | Утратив правый путь во тьме долины» (пер. М. Лозинского). Ср. в письме Обломова Штольцу: «...я мгновенно проснулся и вот уже стою на возвратном пути с моей темной тропинки — опять к свету, к блеску, к счастью, к жизни» (Варианты, с. 465).

С. 464. *Мишле Ж.* (1798—1874) — французский историк романтического направления; в 1838 г. на русский язык был переведен его многолетний труд «Précis de l'histoire moderne» («Очерк новой истории»).

С. 465. *Винкельман И. И.* (1717—1768) — немецкий историк античного искусства.

С. 465. «*Римские элегии*» (1790), «Итальянское путешествие» (1816—1829), которое Обломов называет «письма из Рима», — сочинения И. В. Гете.

С. 471. *Канова А.* (1757—1822) — итальянский скульптор-классицист.

С. 471. *Фидий* (нач. V в. до н. э.—ок. 432—431 до н. э.) — древнегреческий скульптор классического периода.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

С. 481. *только никак не могла склонить тетку приказать сделать суп с потрохами.* — Как и квас, это любимое Обломовым блюдо должно свидетельствовать о национальном и простонародном характере его вкусов. Ср. в ранней (печатной — сб. «Для легкого чтения». СПб., 1857, т. 5, с. 380) редакции стихотворения Н. А. Некрасова «Признания труженика»: «Может быть, мой вкус немного груб, | Но люблю я с потрохами суп». Социальная характеристика некрасовского героя близка к «обломовщине».

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

С. 492. *Штольц всегда смотрел на женитьбу, как на гроб — не любви.* — Ср. афоризм «Всякий брак — любви могила», приписанный составителем словаря «Опыт русской фразеологии» (СПб., 1902, т. 1, с. 72) М. И. Михельсоном поэту Д. Д. Минаеву. В «Обрыве» (ч. III, гл. 19) Гончаров также вспоминает его: «Брак есть могила любви».

С. 494. *Пенелопа* — героиня гомеровского эпоса, верная супруга Одиссея. Чтобы избавиться от преследования женихов во время долголетнего отсутствия мужа, она прибегла к хитроумной уловке. Обещав избрать себе нового супруга, после того как закончит ткать покрывало на гроб тестя, она ночью распускала все, что успевала наткать за день.

ВАРИАНТЫ ПРИЖИЗНЕННЫХ ИЗДАНИЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

С. 497. *Гомбург* — до 1866 г. главный город ландграфства Гессен—Гомбург, один из наиболее модных тогда немецких курортов.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

С. 497. *Но он все сбирался и готовился начать жизнь...* — Ср. в поэме В. С. Филимонова «Дурацкий колпак»: «Я все откладывал, все медлил наслаждаться. | Я все *сбирался жить...»* (Поэты 1820—1830-х годов, т. 1, Л., 1972, с. 145. *БП. БС*).

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Анненский — Анненский И. Ф. Гончаров и его Обломов. — В кн.: Анненский И. Книги отражений. М.: Наука, 1979.
Атеней — Атеней. М., 1858, ч. 1.
БдЧ — журнал «Библиотека для чтения».
Белинский — Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М.: Изд-во АН СССР, 1953—1959, т. I—XIII.
БП БС — «Библиотека поэта». Большая серия.
ВЛ — журнал «Вопросы литературы».
ГБЛ — Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (Москва).
Герцен — Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. М.: Изд-во АН СССР, 1954—1966.
Гоголь — Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М.: Изд-во АН СССР, 1937—1952, т. I—XIV.
Гончаров в воспоминаниях — И. А. Гончаров в воспоминаниях современников. Л.: Худож. лит., 1969.
Гончаров. Статьи. — Гончаров И. А. Литературно-критические статьи и письма. Л.: ГИХЛ, 1938.
ГПБ — Отдел рукописей и редких книг Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).
Григорьев — Григорьев Аполлон. Воспоминания. Л.: Наука, 1980.
Даль. Словарь — Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х т. М., 1955.
Добролюбов — Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9-ти т. М.; Л.: Гослитиздат, 1961—1964.
Дружинин. Литературная критика — Дружинин А. В. Литературная критика. М.: Сов. Россия, 1983.
Ежегодник 1973, 1976 — Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1973, 1976 гг. Л.: Наука, 1976, 1978.
ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом) АН СССР (Ленинград).
ЛА — Литературный архив. Л.: Изд-во АН СССР, 1951, 1953, т. 3, 4.
Летопись — Алексеев А. Д. Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960.
Лотман — Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Пособие для учителя. Л.: Просвещение, 1980.
ЛС — Литературный сборник с иллюстрациями. Издан редакцией «Современника». СПб., 1849.
Михневич — Михневич В. Петербург весь на ладони. СПб., 1874.
НА — Невский альманах: (Из прошлого). Пг., 1917, вып. 2.
Никитенко. Дневник — Никитенко А. В. Дневник: В 3-х т. М.: ГИХЛ, 1955—1956.
ОЗ — журнал «Отечественные записки».
Пушкин — Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.: Наука, 1962—1965, т. I—X.
РВ — журнал «Русский вестник».
РЛ — журнал «Русская литература».
Свод законов 1 — Свод законов Российской империи. СПб.
т. 2 — 1842.
т. 3 — 1842.
Свод законов 2 — Свод законов Российской империи. СПб., 1876, т. 3.

Словарь 1867 — Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением императорской Академии наук. 2-е изд. СПб., 1867, т. I—IV.
Собрание 1 — Полное собрание законов Российской империи с 1649 г. СПб., 1830, т. 22.
Собрание 2 — Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. СПб., 1838, т. 12, отд. 1.
Совр. — журнал «Современник».
Страхов — Страхов В. И. О творческом процессе И. А. Гончарова: (Работа писателя над «Сном Обломова»). — Учен. зап. Саратовск. пед. ин-та, 1957, вып. 29, с. 185—214.
Театрал — Театрал. Карманная книжка для любителей театра. СПб., 1853.
Толстой — Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. [Юбилейное]. М.; Л.: ГИЗ—Гослитиздат, 1928—1959, т. 1—90.
Тургенев. Письма — Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28-ми т. М.; Л.: Наука, 1960—1968. Письма. 1961—1968.
1859 — Обломов. Роман в 4-х частях. СПб., Д. Е. Кожанчиков, 1859, т. 1, 2.
1862 — Обломов. Роман в 4-х частях. 2-е изд. СПб., 1862, т. 1, 2.
1884 — Гончаров И. А. Полн. собр. соч. СПб., И. И. Глазунов, 1884, т. 2, 3.
1887 — Гончаров И. А. Полн. собр. соч. СПб., И. И. Глазунов, 1887, т. 2, 3.
ЦГИА — Центральный государственный исторический архив (Ленинград).
Цейтлин — Цейтлин А. Г. И. А. Гончаров. М.: Изд-во АН СССР, 1950.
Чемена — Чемена О. М. Создание двух романов: Гончаров и шестидесятница Е. П. Майкова. М.: Наука, 1966.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГОНЧАРОВ

ОБЛОМОВ

Утверждено к печати
Редколлегией серии
«Литературные памятники»

Редакторы издательства *Е. А. Гольдич* и *Н. А. Никитина*
Художник *О. М. Разулевич*
Технический редактор *Р. А. Кондратьева*
Корректоры *Э. Н. Липпа, Г. И. Суворова* и *К. С. Фридлянд*

ИБ № 21451

Сдано в набор 18.06.86. Подписано к печати 24.06.87. Формат $70\times90^1/_{16}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 50.89 + 0.14 вкл. Усл. кр.-от. 52.13. Уч.-изд. л. 55.49. Тираж 75 000 (1 завод 1—30 000). Тип. зак. 546. Цена 7 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Наука». Ленинградское отделение.
199034, Ленинград, В-34, Менделеевская линия, 1.

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука».
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12.